воров были брошены все средства и методы: от хулиганства и саботажа мелких чиновников до утонченно издевательского законодательного крючкотворства высокопоставленных вашингтонских бюрократов. Эта унизительная травля маленькой страны обнажила перед всем миром уязвленное самолюбие империалистической державы и показала, с какой мучительной неохотой и раздражением вынуждена она сдавать свои позиции.

И все же, хотят этого американцы или не хотят, лед тронулся. Медленно, трудно, со скрипом и скрежетом, но тронулся. И, к жестокому разочарованию Вашингтона, небо не упало на землю, мир не рухнул во прах, канал не только продолжал нормально функционировать, но даже увеличил на десять процентов свою пропускную способность в 1980 году, по сравнению с 1979 годом. Об этом я узнал из первых рук: от чиновников новой администрации, с которыми встретился накануне отъезда из Панамы.

Их было двое: американец и панамец. Оба они заведовали отделами: американец —«отделом модернизации канала», панамец —«отделом по выполнению договоров». Американца звали Гильерме Ван Хорд, а панамца — Чарльз Макартур.

Американец рассказал о том, что уже за первый год, прошедший после вступления договоров в силу, численность персонала в зоне сократилась с четырнадцати до восьми тысяч. Грузооборот, однако, вырос на десять процентов, а доходы Панамы увеличились еще больше, благодаря увеличению пошлины с проводимых судов.

Панамский чиновник подтвердил, что существуют определенные проблемы, решение которых, безусловно, способствовало бы еще более успешной реализации предусмотренных договорами операций и процедур.

Воздав должное дипломатическому такту сеньора Макартура, я все же попытался выяснить, какие именно спорные проблемы возникли за этот год. В беседу вновь включился американец, заметивший, что «если даже у панамского правительства и появляются какие-то сомнения или неудовлетворенность, то это не повод для беспокойства, ибо все различия в точках зрения становятся объектом совместного изучения и могут быть успешно преодолены».

Фальшь казенного оптимизма американца была видна невооруженным глазом. Я вспомнил об этой беседе уже в Москве, спустя три месяца, когда прочитал сообщения из Панамы о возмущении, всколыхнувшем эту страну после того, как стало известно, что в Форте Гулик, вопреки духу и букве договоров, продолжается обучение сальвадорских офицеров, направляемых затем на расправу с патриотами, борющимися против хунты председателя Хосе Наполеона Дуарте. Обученные американскими инструкторами палачи и убийцы были переправлены в начале 1981 года в Сальвадор и включились в резню, заливавшую кровью эту маленькую страну. И протесты панамского народа и правительства по этому поводу не стали «объектом изучения» со стороны Вашингтона.

...У последнего шлюза — Мирафлорес — случилось небольшое ЧП: подталкивавший «Капитана Мезенцева» ко входу буксир совершил неуклюжий маневр и что-то отодрал или надломил какую-то стойку на корме.

— Составим акт,— сказал капитан Ларионов. — И пусть подпишут. Зачем мне на себя это брать? Я ведь после захода в Японию сдавать буду судно Черноморскому пароходству. Так пускай они сами и оплатят ремонт.

Панамцы не возражали. Виноваты, значит, заплатим. Тем более что поломка пустяковая, копеечная, и она не могла омрачить настроение после неплохо, в целом, выполненной работы: проводки такого неповоротливого гиганта через узкие шлюзы канала.

Солнце, давно уже пересекшее зенит, клонилось к вершинам холмов справа по носу. Туристы на набережной Мирафлореса щелкали затворами фотоаппаратов. Чувствуя себя после восьмидесяти километров канала бывалыми морскими волками, мы снисходительно взирали на них с высоты капитанского мостика: им показали один шлюз, дали пять минут на фотографирование и... «поторопитесь, джентльмены! Автобус отправляется обратно в отель!»

Впереди показался стремительно надвигавшийся изящный силуэт «Моста Америк», переброшенного через канал на самом выходе в Тихий океан. Даже громада «Капитана Мезенцева» прошла под его фермами с большим запасом.

С моря пахнуло ветром и ударило волной. Где-то далеко внизу приплясывал и вертелся на белых бурунчиках катер капитана порта, на котором оба лоцмана и мы с Громовым должны высадиться на берег.

Путешествие между двумя океанами закончилось.



Виктор КОНЕЦКИЙ

ТУТ ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ НАЗВАНИЯ

Меня так и тянет, так и тянет на авторитеты, хочется усилить воздействие на читательские мозги именами знаменитых людей; прикрыть спорность иных положений ссылкой на официальные печатные органы, указать даже дату и тираж источника... Но ведь тогда читать будет скучно!

Когда я поделился этими сомнениями с Виктором Борисовичем Шкловским, он посмотрел на меня сердито.

— Знаете,— сказал он,— в книгу о художнике Федотове я засадил большой кусок пейзажа из Гоголя. Тридцать лет прошло. И никто до сих пор не заметил. Воровать уметь надо. Если для дела, то это не воровство, а просто дележка.

Ну что ж, дорогой Учитель! Теперь держитесь — я попытаюсь украсть кусочек из Вас!

Не станете же Вы сами кричать на весь свет о том, какой Вы симпатичный, красивый, добрый, какое Вы замечательное облако в штанах, какой у Вас замечательный характер и почерк?

Восемнадцать лет назад получил из Москвы письмо на древнекхмерском языке. Почта потрудилась, чтобы письмо дошло, ибо на конверте по-русски были только арабские цифры — номер телефона нашей коммунальной квартиры.

Приблизительно через месяц я расшифровал текст. После чего отправился в гастроном и купил четвертинку перцовки.

«Прочитал книгу „Луна днем". Вероятно, Вы знаете, какая это ‹...› книга. „Повесть о радисте Камушкине", „Заиндевелые провода", „Две женщины" очень хороши. Пишу пока после радости, не зачерствела моя душа. „Две осени" и „На весеннем льду" мне не поверились ‹...› Пускай Ваш талант принесет Вам радость. Виктор Шкловский.

21 октября 1963 года.

Я печален. Ленинград у Вас замечательный. Новую Голландию, любимую мною, увидел снова. Прогулки, судьбы, сны — все верное. В. Ш. Телефон на конверте написал потому, что не поверил в название канала».

Я жил на канале Круштейна, Круштейну не везет. Во-первых, его здесь убили. Во-вторых, вечно его фамилию путают. В лучшем случае переиначивая на Крузенштерна.

Пьяный не от перцовки, а от счастья, я написал ответ. Возможно, в стихах.

Через три года судьба отправила Виктора Борисовича, его жену Серафиму Густавовну и меня в Чехословакию.

Встретились в Шереметьеве, прошли контроль, услышали, что вылет задерживается, и сели в кафе завтракать. Я был абсолютно уверен, что меня знают, помнят, высоко ценят. И вел себя соответственно: в шесть утра предложил спутникам по рюмке коньяку. Здесь Шкловский заинтересовался тем, кто я, собственно, такой. И к леденящему ужасу выяснилось, что мне не повезло крупнее, нежели Круштейну. Фамилию мою он слышал в первый раз, никаких опусов не читал и никаких писем мне не писал. Я лепетал про Новую Голландию, луну днем, телефон на конверте... — все впустую.

— Сима,— сказал Шкловский. — Выпей с ним коньяку. Он расстроился.

И Серафима Густавовна послушно выпила со мной в шесть утра рюмку.

В Праге Шкловского ждали кинокамеры и три дубля: его заставили трижды сойти по трапу самолета. Естественно, для этого ему пришлось дважды туда обратно забираться. Все это время он держал меня за локоть железной рукой. Затем ему на шею бросилась известная деятельница, пронырнув сквозь оцепление. Она его очень крепко целовала, но выяснилось, что Шкловский про нее никогда не слышал и кто она такая, знать не знает.

Вечером в номере гостиницы мы смотрели последние известия по телевизору.

Внимательно пронаблюдав себя на экране, Виктор Борисович с некоторым недоумением сообщил нам, что он выглядит симпатично, но сейчас хочет спать, а мы можем отправляться в бар.

Утром я должен был один уезжать в Братиславу. И понял, что меня не так страшит сама эта одинокая поездка, как то, что я расстаюсь со Шкловскими и что мне без них не жить, а в их глазах я — лгун.

В Братиславе узнал, что там в 44-м году

подпольно вышла на словацком языке книга Виктора Борисовича «Теория прозы»...

С каждой минутой хотелось скорее вернуться домой, найти головокружительно-хвалебное письмо и оправдаться. Как всегда в подобных случаях, бутерброд рухнул маслом вниз. Письмо куда-то запропастилось, ибо я еще не думал об архивах.

Потом, спустя многие годы, оно нашлось, но мораль здесь такова: мгновенная отзывчивость старого большого писателя к начинающему еще не означает, что начинающий пишет так, чтобы запомниться всерьез. И потому не следует обольщаться. И хотя в дальнейшем придется говорить о необычно добром отношении ко мне Шкловского, это не значит, что я обольщаюсь.

Преемственность поколений великая штука.

Сейчас Виктору Борисовичу — восемьдесят восемь.

Мне пятьдесят два.

Иногда он называет меня мальчиком.

Мне это очень приятно, хотя и немного смешно.

Когда я закончу эту рукопись, то сяду в поезд и поеду в Москву к Шкловским, чтобы показать ее и испросить разрешение на опубликование.

Вот это будет уже не смешно, а страшновато.

А вообще Виктор Борисович не может не понять, что каждая его написанная строчка очень интересна для сегодняшних людей. И особенно для молодежи. Не могут не быть интересны и его высказывания, хотя вы сами увидите, какая получается большая разница между его собственными строчками в письмах и моими, когда я пытался записывать за ним.

Невыгодное сравнение. И потому не будем ничего бояться.

Тем более, в семействе, где Виктор Борисович рос, баталии, некоторым образом, приветствовались:

«Самовар обычно швыряла мать. А начинал отец с посуды. Затем старший брат сдергивал портьеры. Я проскакивал сквозь двери в соседнюю комнату или на лестницу. Я проскакивал сквозь них буквально,— то есть не открывая, вынося их плечом или грудью вместе с филенками. Или без. Затем мы пили чай из самовара, который мать пыталась выправить.

И все становилось хорошо и бесследно. Два-три раза я не вышиб двери. И эти два-три раза остались навсегда больными рубцами, душевными шрамами».

С этого семейного воспоминания я начал иногда за Виктором Борисовичем записывать.

Май 72, Ялта.

«В Болдине Пушкин гнал прозу и халтурил, чтобы набрать на свадьбу.., получилось — на века.

Старик Гомер есть хотел; приходил в селенье: ему за обед петь надо было.., и намурлыкал „Илиаду".

Мать топила котят только в теплой воде.

Есть человекообразные люди, есть литературоподобные писатели; и тех, и других надо топить в теплой воде.

Но дров не хватит».

Я дал ему прочитать эту запись, указав: «Виктор Шкловский, в разговоре с самим собой на веранде в Ялте». Возле своего имени он приписал: «как будто». Зачеркнул. Написал строже: «Это сборная селянка». Зачеркнул. Написал: «Вероятно, это я, но это и „сборная селянка"».

Серафима Густавовна сказала:

— Это не селянка и не поселянка, а просто чушь. Не позорьте Витю. Он умнее.

С тех пор я им еще ничего не показывал.

Несколько раз я, начинающий автор, встречал в коридорах издательства грустного, молчаливого, понурого, незаметного человека — Михаила Зощенко. Таким он был незадолго до смерти. В сборнике «Статьи и материалы» Зощенко написал: «Мне трудно читать книги большинства современных писателей. Их язык для меня — почти карамзиновский. Их фразы — карамзиновские периоды.

Может быть, какому-нибудь современнику Пушкина так же трудно было читать Карамзина, как сейчас мне читать современного писателя старой литературной школы.

Может быть, единственный человек в русской литературе, который понял это — Виктор Шкловский.

Он первый порвал старую форму литературного языка. Он укоротил фразу. Он „ввел воздух" в свои статьи. Стало удобно и легко читать.

Я сделал то же самое.

Я пишу очень сжато. Фраза у меня короткая. Доступная бедным. Может быть, поэтому у меня много читателей».

Шкловский на это заметил, что: 1) Это лестное для него признание. 2) Зощенко работал одно время конторщиком на острове Новая Голландия, так нами любимом. 3) У каждого писателя короткость и сжатость фразы особые. Например, в своих метафорах Юрий Олеша не затемняет сравнением предмета, а дает два предмета: предмет описываемый и тот, который приведен к этому первому видению как бы на праздник, в гости.

У него было воспаление лицевого нерва, раздуло правую сторону физиономии. Я:

— Здорово больно?

— Нет. Но я люблю симметрию.

Серафима Густавовна готовит для доктора деньги — гонорар и конверт для денег. Конверт шикарный, из какого-то заграноконверта, с монограммой.

— Боже, как мне жалко конверта! Ничего не жалко для Вити, но это! Очень-очень жалко! Витя, ты слышишь?

— Нет.

Много, упорно, длительно дрался за одного кинорежиссера, за которым водились какие-то странные дела. Объясняет мне:

«У него было тяжелое детство. Родился в семье богатого ювелира. И в нэповские времена папа заставлял его глотать бриллианты. При каждом обыске глотал».

Кажется, они должны были делать сценарий по Андерсену.

Ольга Густавовна Суок-Олеша вспоминает самую для нее обидную шутку Юрия Карловича Олеши.

Она: «Юра, мне пришла сейчас в голову одна мысль...»

Он: «Ну, и как ей там в этом пустом и темном помещении?»

«По способу написания письма Вы видите, что книга прочитана внимательно. Обложка с трезубцем, соединяющим мифы и рифы, несколько замысловата. Книга же пронзает не буквы, а сердце. Книга полна печалью морского блуждания, когда товарищи и случаи штрихуют мир человека.

Характеры людей и автора разноформатны, а не сближены, и это очень хорошо. Коробка корабля и затаенная, подавленная эротика внятны. Народы взяты с краю, так, как их видит матрос. Море дано влюбленно, а каждая любовь — трагедия со многими актами, довольно привлекательными, и многоверстными антрактами, когда надо беречь коробку, терпеть ветер, тоску и непонимание.

Люди разговаривают друг с другом через отверстия портов. Мы все (и сухопутные) так живем. Мы говорим от себя, а нас воспринимают, как будто наши слова стираются.

История кораблекрушения и все рифы сделаны вами заново. Тут исписался карандаш... Очень хороша Сардиния, Маврикий и Англия, пахнущая с краю мочой. Какая трудная жизнь у нас. Я уже хожу. Рана, натертая гипсом, прошла. Кости молоды, но дороги наши старые, а почта жизни сурова.

Только сейчас ко мне приходил внук, которого я люблю, как отец. Дочь берет меня с опасением, как ручную гранату. Наше спасение только в нас самих, в ветре, который нас несет, сохраняя принудительную молодость. Она потом тяжела, как доспехи. Собачки, кошки и маленькие медведи, а также женщины на корабле, у вас поняты точно и хорошо. Где берег нашей страны, где порты, где счастье. Пить, Вика [1], надо соразмерив голод, лед, походы, казармы... Отнеситесь к себе так, как люди к книгам. Пожалейте человечество. 25 декабря 1972 г.».

Сон — повтор, кошмар — рефрен.

Кони Александринского театра скачут на него, мальчишку, под арку портика этого театра. Кони, мощные, могучие, тяжкие, занимают все пространство портика — деваться от бронзово-чугунных копыт некуда. И он с головой закрывается детским одеялом...

Я спросил, не может ли тут быть ассоциации с Медным Всадником и Евгением. Виктор Борисович сказал, что сон преследует с такого раннего возраста, когда он еще не мог читать поэму Пушкина и видеть иллюстрации Бенуа.

В прозе Виктора Шкловского прослеживается мотив «коней с бронзовыми грудями».

Жили в Ялте в Доме творчества. Он диктовал Серафиме Густавовне что-то о Софье Андреевне. Весна. Все цветет. Работать Серафиме Густавовне не хочется. И еще ей не нравится то, что Виктор Борисович Софью шпыняет. Она такому положению вещей всячески противится и Софью Андреевну защищает.

Он впадает в тихий и кроткий ужас:

— Сима, сядь, в таком случае, и напиши все сама!

Перерыв. Серафима уходит прогуляться.

Виктор Борисович совершает самостоятельное путешествие в душ, хотя это ему строго запрещено. И там очередной раз хлопается — огромный череп, полный мыслей, перевешивает навзничь. Поднялся сам и мочил разбитую голову под краном, пока не пришел я. Вызвали «неотложку», поехали в травматологический пункт. Там его пропустили без очереди. И без очереди вкатили укол от столбняка, хотя я умолял этого не делать. На пробоину в затылке наложили четыре скобки. Виктор Борисович молчал.

Когда ехали назад, угрюмо и испуганно сказал:

— Сима примет все это как личное оскорбление.

«Замечали: идет настоящая работа — времени нету? Пролетает. Если пролетает незамеченное время — работа настоящая».

«Даже вода устает течь. Киты устают давать ворвань и перестают рожать. Устают стальные корабли. Они прежде всех.

Капитаны, которые шаркают вокруг земного шара — как платяные щетки устают.

Устает и печень от алкоголя.

Пора-пора, покоя сердце просит.

У нас тут помер один украинский писатель. Приехал с женой. Жена его ждала к обеду. Он, кстати, вызвал дочь из Киева. Умер перед обедом. Не успев прославиться. Живет сейчас писатель Б. А. Пьет. Падает на не мягкие каменные лестницы. Опять пьет. Сейчас увезли в больницу. Печень.

У Вас, Вика Викочка, есть талант. Есть книги. Океан есть. Вы умеете нравиться. Какого полосатого черта Вы накликаете на себя. У смерти узкое горло. Ее не тошнит, она не отхаркивает.

Поставьте перед собой трудную задачу. Написать невероятно хорошую книгу. Чтобы все русалки продали хвосты и легли бы к Вам на постель. Или пошли читать книгу о своей родине,

[1] Следует пояснить, что так называли меня в детстве и так иногда называет меня В. Б. сейчас.

Мальчик (43 лет), не торопитесь на тот свет. Оживленные от инфаркта люди говорят, что там нет ни авансов, ни пивных, ни самого Бога, которому пора сделать строгий выговор.

У меня хорошие сны. Во сне строю планы. Спорю. Описываю. Перекраиваю строчки и жизнь.

Кстати.

В шестикрылой Серафиме Вы ничего не понимаете. У нее есть запасы летной мощности, и я ее за это очень люблю.

Любите людей, мальчик. Они умеют летать. Они бескорыстны, хотя и хлопотливы».

«Вы стали мифом, который заслонен от нас рифами.

Мы не можем организовать повсеместный розыск.

После того как мы с Вами расстались на вокзале, мы сразу заснули от огорчения потому, что мы знали, что Вы человек пиратского образа жизни и топите оставленные Вами корабли.

Под Мелитополем Сима меня разбудила (это — я) [1] и я увидел сугробы. Под Симферополем было уже распоряжение не пускать машины в Ялту. Не знали только — солить их или мариновать.

Но Сима схватила меня за шиворот, и я оказался в такси. Приехали в Ялту. Снег на горах. Потом снег потаял, потом он опять выпал. Горы заросли туманами, как лесами. Я (Витя) главным образом лежу и сплю, Сима (я) доказывает мне, что надо гулять.

Своих людей здесь мало. Знакомые кошки хромают. Заяц ведет распутный образ жизни. Мухтар вырыл себе берлогу и спит под кипарисом.

Так как Вы миф и риф и начальник спасательных станций, то мы просим Вас создать спасательную экспедицию.

Мы находимся на Южном берегу Крыма и бросаем пустые бутылки в море, пока без записок. В доме тепло, но скучно. Берите путевки и плывите к нам. Сообщите, когда прибудете, мы разложим сигнальные костры.

Диктор Симочки Шкловской (вписано рукой Шкловского. — *В. К.*).

Дальше и пишет, и диктует Сима. Хожу по набережной, читаю мерзкие детективы и даже не хочется виски, которые стоят в шкафу.

Солнца почти нет. А хочется ужасно. Миндаль цветет изо всех сил.

Сима. 14.03.73».

«Ну хоть бы одно слово, дорогой капитан!

Мы тут сидим, стучим зубами, а Вы прохлаждаетесь в Ленинграде.

И я как последняя собака (с вылезшей шерстью) должна в одиночестве пить свое виски.

Перед нами небольшая лужица. Говорят, называется Черное море. Серое, неуютное, холодное. А в горах снег.

[1] Письмо писала Серафима Густавовна под диктовку Шкловского.

Бегают собаки, кошки. Иногда попадаются писатели.

Витя (мой) хандрит. У него кружилась голова. Сейчас стала на место. А я бегаю на переговорный пункт, звоню Оле по телефону, зазываю к нам.

Завтра переезжаем в нашу 45-ю комнату и можем сдавать койки.

Хотя мы вас любим, но писать больше не будем. Не хотите нас знать — не надо. Мифы и рифы с вами.

Смотрим чудовищные картины и читаем чудовищные детективы.

А может быть, приедете?

19.III.73.Сима».

(Я не отвечал и не ехал, так как был в командировке.)

«ГАМБУРГСКИЙ СЧЕТ И ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ.

Выражение „гамбургский счет" появилось у меня так.

Союз писателей в старом своем составе, как одна из писательских организаций, находился в Доме Герцена по Тверскому бульвару. Было лето. На первый этаж, прямо в сад выходил большой тент; под тентом был ресторан, и весь первый этаж тоже был рестораном.

Поваром ресторана был человек, фамилию которого я забыл; знаю, что по прежней своей профессии он являлся цирковым борцом.

К нему приходили большие, уже немолодые люди, они садились тяжело на стулья и, как помнится мне, иногда нарочно их ломали.

Шеф-повар для своих друзей приготовлял винегрет; порции подавались в больших, специально купленных умывальных тазах. После такой закуски люди ели обед.

Раз пришел человек, менее других отяжелевший, но всех крупнее. Вокруг него сразу образовалась свита, расположившаяся по рангам: это был Иван Поддубный. Пришел он с борьбы: боролись в цирке Шапито. Было тогда Поддубному 70 лет. Его попросили выступить бороться.

Рассказывал он об этом спокойно:

„— Бороться в 70 лет,— говорил Поддубный,— нельзя, но показать, как борются, можно. Да и знали все, что меня по моему рангу положить нельзя. Нехорошо человека в 70 лет вдруг взять да и положить на лопатки".

(Я все это пересказываю через 40 лет, так что вы к кавычкам не относитесь как к цитированию документов, находящихся у меня на столе. Продолжаю рассказывать.)

„— Показываю я перекат и вдруг чувствую, что мой молодой напарник хочет меня прижать, вместо того, чтобы дать мне показать классический мост".

Дальше я рассказываю точно:

„— Бороться в 70 лет нельзя, но две минуты или одну минуту я могу быть сильнее другого борца на сколько угодно. Но я никогда не толкался. Если бы мы толкались, живых бы не было. Тут я его толкнул; его унесли на доске".

Тут шеф-повар сказал спокойно:

— Пускай помнит *гамбургский счет!*

Я спросил, что такое *гамбургский счет*, и мне объяснили, что это счет без условностей, без наигрыша. Его в старину устанавливали в Гамбурге на закрытых состязаниях — без публики.

Я, издавая книгу, написал о гамбургском счете. Мне посоветовали вынести это название на обложку. Было это в 1924 году.

Через 25 лет Константин Симонов ⟨...⟩ напомнил этот мой рассказ и на много лет прижал меня на лопатки.

Как мне говорил Александр Фадеев, „меня в дискуссии не должны были упоминать". Но старая статья, попавшая на заголовок книги, была задиристой; я в качестве людей, не выдерживающих гамбургского счета, упомянул Вересаева, Серафимовича и сказал про Горького, что он часто бывает не в форме. Она была выгодна для упоминания в полемике.

Я сейчас не собираюсь толкаться и скажу, что моя статья „Гамбургский счет" была неправильная. Но речь Симонова напечатала «Правда» в 1949 году. Через год в одном из очерков Овечкина, в разговоре колхозников я прочитал: „А вот мы сейчас ему устроим *гамбургский счет*". Это говорилось, насколько я помню, про соседа, который занимался показухой.

Запомнился термин и его смысл.

В спорте существует *олимпийский счет*, который, благодаря значению состязания, является истинным счетом, потому что у него есть показатели, которые можно проверить.

В искусстве правила счета иногда нарушают, и человек, объявленный чемпионом, вдруг появляется на лотке уцененных книг. Так что, значит, какой-то счет без показухи нужен.

Что же касается выражения *большой счет*, то я не помню, чтобы я его вводил. Помню, что раз Павленко выступал, я Петру Андреевичу говорю перед выступлением:

— А ты будешь говорить по большому счету?

Он меня переспросил:

— А что это значит?

Очевидно, термин еще был не общеупотребителен, но кто его пустил — я или кто-нибудь другой — не знаю.

Вот выражение *это факт вашей биографии*—это я пустил. Кажется, в споре с Полонским. Выражение это обозначало тогда: ваше решение и ваше мнение имеет значение только для вас самого — вы не авторитетны.

Прошу прощения, что для короткой справки я ответил так распространенно. Будем считать, что это факт моей биографии».

Это напечатано в «Вопросах русской речи», VI, Москва, 1965 год, изд. «Наука».

7 сентября 1973 года В. Б. написал сверху: «Участникам сегодняшних соревнований!»

Потом сказал, что взял у Симонова в долг 500 рублей и не отдает, и не отдаст, чтобы тому легче жить было.

«Для начала перепробовал три карандаша. Они все не писали, я сердился.

Но старый уже, короткий карандаш с графитом сказал: „Ладно, пиши".

А мне не пишется. Мне делается все трудно. Трудно ходится.

Вчера был вечер Андрея Вознесенского.

Перед этим написал я статью в газету „Советская культура" о Пушкинском спектакле в театре на Таганке. Пьеса о гибели Пушкина. Мне она показалась сажей, которую бросили в стакан с водой и долго мешали ложечкой.

Любимов, конечно, обиделся.

Встретились перед вечером. Он меня упрекал. Вышел я на эстраду. Перед этим большой хор пел что-то невнятно-церковное. Стояли они плотно. Их вой был не церковен и не старорусским... А я люблю Андрея.

Вышел я на сцену и говорил двадцать минут, говорил не про Любимова и не против него.

Говорил молодо. Без микрофона. Говорил крупно.

Надо сердиться, Вика. Надо сердиться, сынок мой Вика. Мы плывем своей дорогой, через прибрежную полынью вдоль берега и все же вперед.

Знакомые имена обратятся в имена морей и мысов.

Надо быть сильным, как силен капитан, которому некому передать управление. Писать всегда трудно. Очень трудно. Хотел написать несколько страниц о встречах Горького с Толстым. Написал уже три листа. Или меньше. Или больше. Вдохновение иногда подводило как пересохший фламастер. Иногда оно мышкой взбегало по ножке стола и бегало по страницам.

Все хорошо, сынок. Плохо то, что мне не 60 и не 70 и не 80. А пошло мне на девятый десяток. Сапоги все не по ногам. Телефонная книжка редеет. Мне скучно, сынок. А голова не хочет сдаваться, и голос отскакивает от потолка.

Надо учиться жить без счастья, но с радостью. Надо верить себе. Надо быть терпеливым с близкими и далекими. Мы писатели. Мы опираемся на многие дальние плечи. Должно выйти. И выйдет, друг. Вывезут гены и старуха муза ⟨...⟩ Работа должна быть туга ⟨...⟩ Работа всегда тяжела, и чем выше катишь камень, тем он тяжелее.

Мы и согласны и не согласны с временем. Мы утомлены смертями, блокадами, туманами и старостью (это я). Вдохновение сбило шею хомутом. Надо вести наш корабль из моря в море, из климата в климат. Учиться тому, что недостижимо.

Не отдавай своего сердца никому.

Оно тяжело в чужой сумочке даже хорошего человека.

У нас холодно. На даче топим камин. Из знакомых забегают только собаки.

Пиши утром. Пиши вечером. Пиши и радуйся. Земля, она вертится. Звезд я не видел давно. Вероятно, слишком много сплю. Удача в руке. Удача в настойчивости. Держись, штурман, самого дальнего

плавания. Карандаш все записал. Виктор Шкловский. 5 июля 1974 года».

После смотрения на самого себя в передаче по телевидению об Александре Грине: «Я был старым тюленем, который поглядывает из бассейна в зоопарке на окружающих людей снисходительно, потому что они живут не в воде».

В ноябре 1975 года они вернулись из Италии в лавровых венках, но Серафима Густавовна грустна, говорит:

— У меня внутри лягушки.

Рассказывают о главном впечатлении. Как старая итальянка, узнав, что они из России, принесла фотографию сына, погибшего под Сталинградом. И все спрашивала: «Может, вы его встречали, может, видели?» И потом каждое утро подкладывала им в комнату два свежих яйца.

— Она это сыну приносила,— сказал Виктор Борисович.

Я наткнулся в «Дневниках» Всеволода Вишневского на запись от 4 декабря 1943 года (ему зарезали пьесу «У стен Ленинграда»): «Дома читаю „Марко Поло". Забыть бы все горечи. Ну, все пройдет... Я это знаю».

Показываю запись Виктору Борисовичу, говорю, что вот, мол, бравый военмор в блокадную ночь его сочинением утешался.

Выясняется, что Шкловский начисто забыл о таком факте своей биографии, как книга-биография Марко Поло.

— И хорошо, что забыл. Плохая книга,— заключает он.

На книге «Эйзенштейн» (за которую получил Государственную премию СССР):

«...Конецкому, не для розыска предков, а для того, чтобы он чаще вспоминал про Виктора Шкловского. А у меня вокруг все срублено. Не очень надо так долго жить. Но ты живи, а то СССР забудет о том, что она шибко и громко морская страна.

Шкловский 83 года 9 месяцев. От Рождества Христова 1976 лета».

Надпись сделана в Ленинграде у меня дома. Кажется, в тот приезд их, когда Виктор Борисович снимался в автобиографическом телефильме и в гостинице «Ленинград», указывая в окно на «Аврору», вспоминал дни Октября.

Суть надписи в том, что мать Эйзенштейна была урожденная Конецкая, о чем я узнал только из книги Шкловского. Еще узнал, что предок наш прибыл из Тихвина мелким купчишкой, а потом они здорово разбогатели. Но все пошло с этого Ивана Ивановича Конецкого из Тихвина.

О своем впечатлении от фильма «Броненосец Потемкин» я сразу после прочтения книги «Эйзенштейн» написал Виктору Борисовичу письмо, но не отправил. Оно сохранилось. «Гипноз времени „Потемкина" и авторского гения не проняли меня. „Броненосец" и ныне и присно представляется в некотором роде пародией на историческую трагедию, несмотря на леденящие ноги карателей. Мне страшно, когда катится историческая детская колясочка по лестнице, но внутри — обычная скука. Быть может в фильме нет людей, которых успеваешь за экранное время полюбить? А потому их массовая гибель не обнажает моего сердца. Эйзенштейн не умел делать людей, как мне кажется, и на бумаге в замечательных рисунках у него с жизнью, ее теплом дело не ладится... В общем толпа любимым героем быть не может. Тут человек нужен. Хотя бы даже такой симпатичный дядя, как Иван Грозный.

Вы пытаетесь отдать приказ Будущему своей остротой и парадоксальностью, чтобы Будущее обязательно понимало Прошлое по-Вашему. Но Будущее плевать хотело на любые приказы — во что бы они ни были одеты. Оно возьмет от Вас и Вашего героя бег Вашей мысли, а не ее абсолютизм... Оно будет наслаждаться игрой ума, а не близостью Ваших истин к истине истин. Вы были, есть и будете поэтом и отчаянным романтиком при полной обойме формалистических патронов. А — „Все-таки она вертится!"— за Вами, хотя Вы и не произнесете таких слов даже шепотом.

Читать Вас обязательно надо с пером в руке и бумагой: очень много появляется в голове разного. Но у меня вечно нечем писать: как ушли в прошлое „вечные" ручки, так и я подался за ними... Чиркать на полях ногтем или загибать углы — плохой тон. И потому бег Вашей мысли — порывистый и зигзагообразный, как у солдат под огнем,— принося мне наслаждение и возбудив подпрыгивание моих мозгов, уносит возникшие гениальные мысли за видимый горизонт или в струи зефира. Туда им и дорога, ибо мимолетности чаще всего полны кокетства. И все-таки мне чудится, что как без кокетства нет женщины, так нет без него и сегодняшней писанины. А в том, что я гласно признаюсь в таком ерничестве,— Ваша заслуга».

Ольга Густавовна Суок, увидев мою фотографию, пририсовала усы. И написала: «Я вам пририсовала усы. И сразу Ваше лицо сделалось очень жестокое. Поэтому я в Вас не влюбилась и не влюблюсь!»

«Рукописи умнее авторов. Может быть, рукопись Шекспира даже не захотела бы разговаривать с автором». (Хозяином?)

18.02.76. Позвонил им, прочитав в «Лит. Грузии» «Встречи с Юрием Тыняновым» Гацерелия. Там определение Виктора Борисовича как гения, который и с Львом Николаевичем Толстым будет говорить иронично. Оказалось, что автор воспоминаний их Шкловскому прислал. И сразу вопрос мне: «Что написали?.. Я сегодня продиктовал пять страниц». Единственный писатель ныне, который начинает и заканчивает разговор таким вопросом.

Часто повторяет, что Суворов строго велел реквизировать у населения лошадей

только вместе с мужиком-хозяином, ибо хозяин будет лошадь кормить, а солдат ее быстро сгубит.

Спрашиваю в Москве по телефону:

— У вас дождь?

— Нет. Он уже ушел мочиться в другое место.

«Когда книга долго не получается — значит неправильно все».

Позвонил мне в Ленинград 20.04.75, когда узнал, что я еще не уплыл в моря; сразу стали говорить о любви. Я начал жаловаться на лживость женщин. Он после долгой паузы: «Мы все врем, мой мальчик. Они — может быть — немного больше. И запомни: они зеленые, а мы — синие».

Пришел пожилой мемуарист. Виктор Борисович похвалил его книгу воспоминаний. Мемуарист глухой и дико разговорился, возбудившись похвалой. Наконец, ушел. Шкловский сразу стащил штаны и полез в кровать. Жалобно сказал: «Какой ужас: я его откупорил!»

23 марта 76. Ночую у них в Москве.

Вечером у всех хорошее, легкое настроение, хотя у Серафимы Густавовны побаливает нога. Дают мне прочитать «Вступление» к телесценарию «Дон-Кихот».

Потрясающая штука! (Не знаю, осталось оно или выкинули.)

Автор сидит и листает «Микеланджело» — старинный великолепный фолиант: недавно привезли из второй поездки в Италию, где Виктор Шкловский стал почетным гражданином города Чертальдо.

Я говорю, что «Вступление» необходимо сделать эпилогом или послесловием, ибо тут такой уровень, что продержаться на нем потом семь-восемь серий не смог бы и Микеланджело. А под финал это будет таким хорошим хуком по мозгам даже тем, кто читал «Дон-Кихота» и считает, что понял его, что лучше и не надо.

Он орет на кухню Серафиме Густавовне: «А он не так глуп, как кажется, этот Конецкий!» И начинает доказывать мне, что даже Достоевский читал роман только в детском варианте. Убедительно доказывает.

Я звоню кому-то и в разговоре докладываю, что у Шкловских все отлично, хотя Серафима слегка хромает — вероятно, это Виктор Борисович хватил ее по щиколотке двухпудовой гирей...

И вдруг происходит какой-то шутливозловещий шок: они замолчали и своим молчанием выразили мне свое «фэ»! И у меня мелькнула мысль, а не был ли когда-нибудь такой случай, когда он запустил по супруге именно двухпудовой гирей и угодил ей именно в щиколотку?

«Маяковский?.. Вел счет деньгам на бумаге, но относился к ним легко. Лиля стоила много. Осип — ничего не стоил. Маяковский покупал ей жемчуг. Она жемчуг любила».

«Я ЗНАЮ, ВИКА,

КАК! ТЫ! ОТНОСИШЬСЯ К ТРУДНОМУ ПОЧЕРКУ И ПИШУ К ТЕБЕ *БУКВАМИ ПЛАКАТА*.

В Переделкино пришла жара.

У меня приняли две картины про меня самого.

Я сам себе в них в общем нравлюсь. Во-первых, голос. Во-вторых, это сделано не про одного себя.

„Сам“ животное, боящееся простуды и испуганно высокомерное.

Книга „Энергия заблуждения“ идет туго. У Толстого этой энергии предшествовала „постройка подмостков“. Потом (очень не скоро) „самоуверенность мастера“. Он до „самоуверенности“ не жалел себя.

Но я до января напишу книгу.

„Заблуждения“ попыток кончаются. ⟨...⟩ Пути у тебя нет, а сила есть.

Сима болела сильно и разнообразно.

Теперь поправляется и сильно мне помогает. Но я плохо хожу и даже падаю иногда от небрежности и старости. Кончил, потратив два года труда, Дон-Кихота.

В следующий раз сценарий пусть сам Сервантес пишет.

Сейчас я блуждаю в сценарии о Толстом, а результат его сомнителен.

Я не могу писать так крупно. Устал. Приезжай, друг и брат. 26 июля 1977 года».

«Дело было в начале нашего века в Питере. Весной шел ладожский лед. Шли толстые и белые крупные льдины ⟨...⟩ Смотрел на них Павлов. Шел лед по Финскому заливу мимо обкуренного, обкусанного льдом Чумного форта. Начинались белые ночи. Заря была на небе набекрень. Форт шуршал. Женщина говорила по телефону со стариком. Она считала, что умрет через несколько часов. Перед ней лежал термометр. Читала она „Декамерон“. Старик выжил ее из своей лаборатории. Она звонила ему по телефону, чтобы сказать:

— Я остаюсь при своем мнении (о психологии). Но я забыла вам сказать, что я вас люблю. Как-то не вышло. Потом зачем вам было это знать. Узнайте теперь. Идет ладожский лед. Дымы стоят над Кронштадтом. Утро молодое, как только что проросшая трава. У меня температура. Шестеро товарищей лежат мертвые. Я ходила за последним. Он гнал меня. Мы говорили о вас, о смерти, о любви.

Слушает Павлов.

Потом идет вся история.

Жена еще спит.

Он хочет ехать к женщине.

Она отрезана льдом и водой.

Она говорит как бы с того света.

Павлов говорит о Тургеневе, о молодости, которая прошла, и о себе, о любви к науке и весне. Он дает ей советы. Если бы не его дурной характер, она бы не ушла из лаборатории в Чумной форт...

...Не бесполезно только вдохновение. Надо охотиться на тюленей вплавь. Не верь слезам. Они ничего не значат».

Тут дело в том, что мы совместно придумывали рассказ,

Это было чудесно: придумывать вместе со Шкловским.

(Впереди еще несколько заготовок к нему Виктора Борисовича.)

Потом тяжело заболела Серафима Густавовна. Надолго уплыл куда-то я. Но рассказ был уже создан в воображении. Случайно встретив в аэропорту Олега Даля, я его рассказал. Олег был в восторге. Приставал к Виктору Борисовичу, чтобы мы его записали, но момент созревания был упущен, груша хлопнулась о землю. Кое-что из моментов рассказа и удивительных фраз Шкловского я использовал в рассказе «Чертовщина».

Сидим в приемном покое, куда привезли Серафиму Густавовну с острыми болями. Ей предстоит операция.

Молчим. Ждем. Никто из врачей к нам не выходит, ничего не известно. Виктор Борисович волнуется. Лицо невозмутимое, но крутит палку в озябших руках. Перчатки в спешке забыли. Говорю, что сейчас сам пойду к врачам.

— Не надо. Слушай. В меня попали из винтовки. Трехлинейка. В упор, сюда,— очень тихо, едва слышно говорит Виктор Борисович и тычет меня рукоятью палки куда-то в бок. — Приволокли на перевязочный. Врач: «Фамилию, адрес родных!» Спрашиваю: «Зачем?» —«Пригодится!»— и сестре: «Уже икал?» Она: «Да». Потом у врача: «Попа привести?» Я говорю: «Нет». Через десять суток выписался. Другой раз ступню осколком размозжило. Слышу, резать хотят: «Там, где вонять начнет». Говорю: «Нет». — «Ну, помрешь от гангрены!» Не помер. Человек делает один раз так, как надо. Смело. И тогда может помирать счастливым.

Через неделю после операции Серафима удрала из больницы. Операцию похищения возглавлял Виктор Борисович. Правда, из такси он не вылез.

Очевидно, опять вспомнил военные времена, когда командовал бронемашинами.

Печатать на машинке Виктор Шкловский за всю жизнь так и не научился.

Но был одним из первых автомобилистов на Руси.

«Это будет не женщина. Мужчина. Самый нелюбимый ученик Павлова. Он умирает на Чумном форту. Белая ночь. Павлов играет с умирающим в шахматы по телефону, смотрит в окно на Ботанический сад. Один из них не может слышать слова „лимон“. Судороги делаются. Жена Павлова очень волнуется. Она привыкла к пунктуальности мужа, к его режиму. А он ночью играет в шахматы. Павлов ее прогоняет. Грубо. Перерыв в связи. Павлов один... Смотрит на ледоход».

«Дорогой друг, умирающий на форту не умрет. Спутали диагноз. Или смерть?»

31 «Помни. Павлов хромал. Попович. Это Базаров перед революцией. Поклонник Фрейда. У него висели дурные картины Клевера Старшего. ‹...› Павлов, а не павловцы. Любил авто. И что за ним присылают. Особенно в дождь. Нравилось. Радио никогда не любил. Только часы проверял. Не знаю, милый, все это придумалось или знаю? Точно: любил городки. И перебегал из команды в команду. Называлось „казаковать“».

«Он завидует умирающему на форту. Все спрашивает температуру. Смотрел на ледоход, потом выпил мадеры, смотрел на себя в зеркало. Некоторое чувство опьянения. Действует у больного прививка или нет? Командует по телефону, как капитан с мостика. Понимал, что можно выработать условный рефлекс подлости».

«У него служитель. Бывший матрос. Служил ему рабски. В пятом году сидел за революцию. Матросы сидели легко. Тюрьма — корабль. Ржавчина на решетках. Надо оббивать. Красить. Как на корабле. Матросы в тюрьмах одинаково изводили и уголовников, и интеллигентов-революционеров. Павлов решает ехать к умирающему на форт. Матрос пригоняет катер. Ледоход. Им не пройти. И нет сертификата на катер. Павлов любил рассказ Куприна про студента, который застрелился, составляя бухгалтерский отчет своей хозяйке — содержательнице публичного дома».

«Умирающий себя изучает. Симптомы. Ощущения. Температура. Павлов ему мешает себя изучать. Раздражается. Но уважает и любит. Терпит. И не умер».

«Слова это наши неудовлетворенные желания. Я написал много и все плохо. Есть две хорошие фразы. Одну я написал Эльзе: „Мне тяжело жить. И ты мне помогаешь в этом“. „Женщины — полезная плесень. Как пенициллин“».

«Ученые умные люди говорят, что Вселенная бесконечна, но не безгранична. Мы единственные — мы мозг Вселенной. Мы пишем, чтобы показать, как мучается мозг в бесконечности, которая не безгранична».

Он прочитал мой рассказ «Елпидифор Пескарев» о квазидураке:

— Круги, мой мальчик, по воде от дождя: все они пересекают друг друга — вот ваше состояние сейчас.

Я считал рассказ социально значимым и вспомнил Шоу, который вообще ставил журналистику выше «прозы» за ее открытую публицистичность.

Виктор Борисович сказал, что если бы он мог хрипеть по десять часов подряд в Гайд-парке, то дело с его журналистикой было бы другим. Потом спросил:

— Тебе пишут читатели? Много?.. А мне почему-то нет. Почему мне не пишут?.. Мне совсем не пишут! И никогда не писали... — И вдруг: — Брусиловские офицеры были храбрые и славные ребята, но хреновые политики.

«Выходит не то, что выводим. Выходит

не то, что утверждаем». (Это речь идет о том, что получается в литературе при писании книги.)

«Витя и Сима живут уже неделю в Переделкино. Тает снег. Одна собака все время ловит свой хвост... Еще пусто. Кончил сценарий Дон-Кихота. Поймал ли я свой хвост — не знаю. До хвоста — ручаюсь — все вышло. И будет 8 или 9 частей и хватит этого с избытком на чай и сахар, а я буду писать об „Энергии заблуждения". Это выйдет наверняка. Примета такая: если к концу работы каждая книга дает подтверждение — значит хорошо. Хвост пойман.

Ловля жемчуга легче литературы, но жемчуг больше обесценен.

Я устал, друг.

Я очень, очень устал, друг.

Жена моя первая, с которой я прожил около тридцати лет, умерла. Я был у нее перед смертью, и она сказала „никто не виноват". Но в нашей жизни мы живем между рождением и смертью, переезжая через мостки надежды и отчаяния. Только во время работы свободны и уверены. Сама же работа как будто выходит,— но, как я писал тридцать семь лет тому назад Борису Эйхенбауму: „...промыт груз, песчинки (редкие) золота обрелись, и мы перед русской литературой не виноваты". Я прочел это старое письмо в одной книге в примечаниях.

Больно промывается в жизни, больно, когда из жизни выдирается песок. Но конец (неизбежный) почти радостен.

Не болей женолюбием и телопрезрением. Жизнь твоя сильно холмистая. Снег оседает. Собаки кружатся, ловя хвост. 15 апреля 1979 год».

«Погодка у нас умеренная.

Меня известили из Британии, что я доктор Сассекского университета.

Спросили мерку для мантии.

Если я ее получу, то приеду в ней вам на новоселье.

Новой книги еще не написал.

Мало, мало, совсем мало написал. Занимаюсь гимнастикой: машу руками, ногами и даже приседаю.

Весна запаздывает.

Она едет на улитках.

Сейчас накрапывает дождик.

Он, говорят, нужен садам.

Сады еще не цветут.

Виктор Шкловский.

Очень хотелось бы поехать с Вами вокруг света, чтобы скучать на океане.

Черное море тесно для скуки».

«Пишу. Диктую. Вероятно, поеду в Англию. Очень устал.

Книга (первая) собрания сочинений еще не вышла.

Что тебе написать о твоих делах.

Детдом, блокада, военная школа, полярные экспедиции. Но надо даже после этого жалеть себя и людей.

Женщина не белый медведь.

Она не может разжевать жестяную банку со сгущенным молоком.

Остановись на разгоне.

Я устал писать. Устал от людей, от трудных и очень поздних успехов. Пишу письмо с трудом.

Тебе тоже даже не тридцать лет».

Когда вернулся из Англии после получения почетного доктора Сассекского университета, оказалось, что наибольшее впечатление произвело то, что там есть для кошек противозачаточные таблетки и кошки их применяют. Наличие для кошачьего племени специальных входов и выходов в человеческие дома тоже было отмечено. Правда, рассказ о кошках был предворен все-таки надеванием почетной шапочки-кубанки и мантии-ризы:

— Теперь меня надо называть «Отец Виктор».

Я не согласился:

— Вас теперь надо называть Джек Потрошитель, потому что вы стали доктором... Рассердитесь, если закурю?

— Мне теперь все равно. Можешь положить меня на костер из окурков.

«Александр Бенуа?.. Он признавал Петрова-Водкина, чтобы пугать им Репина. И был высокий лицемер».

Больны оба — лежат. Кто-то уже приходил дежурить, но на третий день — пустота. Серафима Густавовна мрачно: «Кого же третьего?» Я: «Но ведь в Москве несколько миллионов человек!» Серафима Густавовна: «Нет. Никого нет. Ни родных, ни близких — все в отъезде...» Виктор Борисович прекращает невозмутимое чтение Платона или Плутарха: «Надо позвать в сиделки любого читателя: или Викиного, или моего. И они бы только радовались. Но мы никогда их не позовем... Знаете, что такое цикута? Белена. Очень тяжелая смерть — яд слабый. Надо выпить не меньше литра. И потом обязательно надо ходить, чтобы скорее дошло до сердца».

«Может, ко мне вернулась молодость?.. Построения распались и ничего не получается... Наверное, так бывало у Кутузова при Бородине. Сон видел. Плохой, но интересный. Плывет пароход „Виктор Конецкий"».

Я: Надеюсь, пароход не буксир какой-нибудь вшивый?

— Нет. Очень большой пароход. И красивый. (Явно врал.)

«В атаку я поднимал солдат два раза. Оба без мата. Только: „Айда, ребята!"»

«Бедные львы. Сперва их в цирке делают шелковыми. А потом учат для вида огрызаться».

«Чхендзе?.. Я встречал его потом в Германии. Он мечтал устроиться работать барменом на пассажирский пароход: языки хорошо знал... Философ Федоров?.. Он ве-

рил, что можно и должно воскресить всех прошлых покойников. Детей учил. Дал мальчику тему: куда расселить всех оживленных? Из этого мальчика вылупился Циолковский и придумал ракету. И на ней полетел Гагарин».

«Живем мы под Ригой, в Дубултах. Это на дюне, у самого Рижского залива.

Высокий дом — девятый этаж. Из окна виден залив и сильно запутавшаяся вокруг отмели река. Говорят, она длинная. Знаю, что она себе надоела и хочет куда-нибудь впасть. А дюна не пускает.

Живем мы с Симой здесь уже три недели. Ровно через неделю вернёмся в Москву, а там после короткого мороза слякоть. Ничего нового не написал. Придумал вот что: „Дважды два — четыре,— писал Достоевский,— но дважды два — пять, премилая штука". Это он написал, рыча. На самом деле в искусстве — дважды два — это что-нибудь.

Это многоцветный ответ — он как перо павлина: пигмент один, но под углом твоего взгляда разный.

Искусство, мой арктический друг, многоцветно, оно основано не на взгляде, а на рассматривании. Вот почему вопросы и ответы этой, как гневно рычал Толстой, „лите-рра-туры" бесконечны всегда...

Сима болеет. Здесь климат разный.

Осенью он похож на ленинградский.

Сима кашляет. Громко и испуганно. У нее температура. Мы болеем. Это разнообразно длинно и тяжело, как хвост павлина. Мне даже сказано, что я слишком часто думаю о старости. Но юбилеи отличают различными траурами. Мне снова 85. Это возраст замшелого и много раз загарпуненного кита. Желаю тебе: 1) Верить в себя. 2) Иногда трезвости. 3) Ровной волны. 4) Спокойных разлук и вдохновения. Очень желаю.

Уже семь. В городе очки. Солнце совсем окончательно село. Залив высморкался в тину низких волнишек и будет их сушить на луне ⟨...⟩ 9 ноября 1978 года».

«Озябший мальчик на большом корабле.

Ваша судьба жить,— а не пропадать,

Любить, а не обижать.

Писать, а не обижаться.

Бойтесь черновиков. Пьяных встреч. Пьяные друг друга не видят. Люди в бутылках одиноки и могут сообщить себя во множестве. Вы сделаны из хорошего металла и хорошо выдуты, но попали в блокадную стужь.

Написал, как написалось.

У меня в Ленинграде кроме тебя людей нет.

Новая Голландия пуста.

Большой город на отмелях пустеет.

Даже тюлени уехали еще при ⟨...⟩ Они грелись где-то около Ростральных колонн.

. . . .

Не надо всегда недовольно топорщиться.

Россия не может вечно притворяться сухопутной. Только не надо работать на износ. И не обрастать шкурой из битого стекла. Она не греет... Снимите с лица паутину. Плывем не к смерти. Ее вообще нет. Мне скучно, друг. Я даже разучился писать, но капитан обязан не потонуть и не садиться на мель. Да будет путь». Ноябрь 1978 г.

Я заметил, что все книги Виктора Шкловского — одна огромная книга.

Он сказал, что так у всех писателей — и больших, и малых.

Я сказал, что его книга должна получить гран-при среди всех, представленных на конкурс для гадания по строчкам.

— Гадай лучше на кофейной гуще, мой мальчик.

«Шостакович?.. Помню Шостаковича в трудное время, в 1921 году, когда в городе был голод, знал его и позднее. Он был человеком необычайно трудолюбивым, необыкновенно храбрым. Как-то совсем молодым он работал тапером, играл на рояле в одном кинотеатре на Петроградской стороне, и случился пожар, который начался со стороны сцены. А он продолжал играть, когда уже загорелся хвост рояля».

«Сегодня звонила Лиля (Брик), спутал ее голос с Эльзой. Очень ее голос... Как давно. Лиля сказала, что во всех сценариях у меня любовь гимназическая... Столько лет. И я назвал Лилю Эльзой».

Я сказал, что Виктору Борисовичу нужно написать об эхо — об эхо от предания, сказания, притчи, легенды, сказки.

— Уже написал. «Струна звенит в тумане...» А ты напиши, как в Японии вокруг островов в море выкидывают старые автомобили. Делают искусственные рифы. Они обрастают кораллами. И в кораллах поселяются рыбы. Это тоже об эхо.

В «Архиве Горького» есть запись о Маяковском, где упоминается Шкловский:

«Я не поражен смертью В. В. Маяковского. С первой встречи он вызвал у меня совершенно определенное впечатление человека надломленного, и тогда же я сказал кому-то, что этот парень скоро доломает себя,— он сам или кто-нибудь другой; вероятно, женщина. Видел я его у художницы Н. Любавиной весною 14-го года. Там читали стихи Клюев, Есенин, Шкловский, должен был читать и Владимир Владимирович. Длинный, неуклюжий, с лицом, обтянутым серой кожей, нахмурясь, облизываясь, гримасничая, обнажая больные зубы, он глухо, торопливо и невнятно произнес несколько строк, махнул рукой, круто повернулся, исчез в соседней комнате, притворив за собой дверь. Сказали, что он сконфузился. Хозяйка квартиры и Брик долго и безуспешно уговаривали его — читать. По рассказам Маяковский изображался человеком, который любит конфузить других, и было приятно, что рассказы оказались неверными.

Летом он приехал ко мне в Мустамяки. Очень скромный, милый человек с при-

страстием к словесным фокусам. Через десять минут он уже декламировал:

«Седеет к октябрю сова,
Се деют когти Брюсова"».

(Вторая половина апреля — май 1930 г.).

«Трудно нам писать. Не знаем мы дороги, по которой надо было бы идти... Трудно писать письма о горе.

Был у меня старший брат (от другой матери) Евгений. Большевик еще до войны. Он считался хорошим пианистом и превосходным хирургом. Служил в войну 14-го года в артиллерии врачом. Встретился я с ним мельком вольноопределяющимся. Когда взяли наши Перемышль, только Евгений догадался снять план города. Пригодился, когда мы Перемышль потеряли. Потом он был в Париже. В Москве. Убили его на Украине зеленые. Он вез поезд (надо было сказать «вел") с ранеными, затем отстреливался. Умер в Харькове. Другой брат был у меня филолог. Христианин ортодокс, крестился на церкви... Вечером молился, встав на колени. Еще был брат — очень красивый и неудачник. Жена его была взорвана, когда немцы велели женщинам очищать поля от мин... Сестра моя умерла давно. Две дочки ее умерли в Ленинграде в разное время. Я жив по ошибке. Умерли мои друзья, с которыми я работал. Умерли писатели, которых я любил... Мне 85 лет, я успею написать еще одну книгу. Какая она будет?

Писать я начал вообще крупно, а погода была... Стараюсь в теории восстановить имя. Радуюсь, когда случайно...

Друзей у меня, Вика, кроме тебя нет. Это не выдумаешь.

Ты видел больше меня и может быть еще увидишь пингвинов.

Жизнь идет. Мы заведены на много десятилетий. И проспать их нельзя.

Надо жить. Приходится, милый.

Я боюсь за себя и для себя не смерти. Она кругом. Боюсь передам в книге. Я об ней думаю даже сейчас, когда пишу тебе...

Писать старался разборчиво и даже правду.

Боюсь одиночества. Помню, как умер Тынянов. Он считался в литературе во всем виноватым. Мне пришлось самому брить его в гробу. Прошло года три и его уже называли сладко-конфетными словами. Новостей у меня мало. У внука родилась девочка. Зовут ее Василиса Никитьевна. Дерево жизни накладывает слой на слой. Еще не видел правнучки. От внука идет пар».

В начале 1979 года я уплыл в Антарктиду. Повезли на лайнере зимовщиков. Рейс был тяжелый не по каким-то особым морским обстоятельствам, а потому, что я как-то не вписался в пассажирское судно — не привык на них. И гнетущее ощущение «третьего лишнего» преследовало. И окружающий необыкновенный пейзаж не волновал.

13.03.1979 года получил радиограмму: «Живем остатками оптимизма тчк одна надежда яйцо пингвина а книгу кончаем тчк обнимаем дульсинея рыцарь львов».

Кончают книгу!

Я взбодрился и даже записал в дневнике:

«Вторые сутки в солнечном штилевом дрейфе среди слабого блинчатого льда и сморози. Адельки не покидают. Один вылезет на льдинку. Через полчасика к нему присоединяется другой или другая. Лед скользкий. Пингвин задумается, глядя то на нас, то на отражение собственного белого брюшка в зеркальной, розово-зеленой воде разводья; поскользнется и безмятежно — кувырк! — и никаких отрицательных эмоций, конфузливости, обиды.

Вот белый мишка в Арктике поскользнется на льдине, сразу сконфузится и злится на весь белый свет, особенно, если чувствует зрителей. (Зрителем можете быть вы или даже глупыш — мишке все одно обидно и огорчительно.)

Адельки — безмятежны в любой дурацкой ситуации. Так безмятежны и естественны дети и женщины в глухих деревнях и на севере, и на юге. Кстати говоря, Аделью звали жену знаменитого мореплавателя Дюрвиля. И он нарек пингвинов в ее честь.

Ребята из экспедиции кидают пингвинам корки от апельсинов.

Удивительный натюрморт: оранж на ультрамарине льда.

Пингвины не обращают на великолепный натюрморт внимания. Зато какие-то неизвестные птицы, темные личности с грязно-белыми шеями и головами дерутся за апельсиновые корки с базарным гамом. В азарте драк и перепалок они, как и адельки, поскальзываются на льдинах, но успевают взмыть в небеса за тысячные доли секунды, не коснувшись воды...»

Эта запись — Дульсинее вместо пингвиньего яйца.

А из яйца пускай растет пингвиненок...

На книге «Заметки о прозе Пушкина» Виктор Борисович написал: «Я эту книгу люблю. Хорошо придумана. Не дописана. Много я перепортил».

«Заметки о прозе Пушкина» напечатаны в 1937 году.

Это о несгибаемости таланта, даже если талант хотел бы согнуться.

Я перечитал ее в январе восьмидесятого, позвонил Виктору Борисовичу, спрашиваю: «Вы сами когда последний раз перечитывали?» — «Не помню». — «Замечательная книга!» — «Спасибо, дорогой. На нее за полвека не было ни одной рецензии. Это что-нибудь да значит!»

Напомнил Виктору Борисовичу, что о его работе сравнительно недавно сказал Г. М. Козинцев. Размышляя об импровизации в искусстве, режиссер подчеркивает, что это — «введение к разговору о Шкловском. Наука понималась и (наука об искусстве) как многолетний, глубоко продуманный, стройно выстроенный труд.

Шкловский был импровизатором. Он опровергал основы основ: фундаментальность, выстроенность, сосредоточенность. Афоризм был не его литературным стилем и даже не свойством личности, а способом работы 〈...〉 Его прием: выхватывать отдельные положения, детали, и не выстраивать их в систему, дополнив и развив другими, подобными же, а только — через пространство — чем-то соединив их на ходу, казалось бы, случайно, неорганично.

Такая связь оказалась крепче, чем фундаментальные научные постройки 〈...〉 Виктор Борисович попросту опускал все то, что знали и без него. Он торопился. Тезисы к выступлениям он сделал самими выступлениями. Имеющие уши да слышат! Зато все, что полагалось умалчивать, он говорил...»

На книге «За и против» (заметки о Достоевском) Виктор Борисович написал: «Это книга хорошая. Не дописана. Но правда кусочками в ней есть».

На книге «Заметки о прозе русских классиков»: «Это книга плохая. Каялся и перекаялся».

«Бессонница? Нет, теперь я ее не боюсь. Только в бессонницу мне снятся хорошие сны... Пещера. И я совсем один. Тихо. И я дописываю, дописываю. Я дописываю прошлые вещи... И я так счастлив!»

Вечер. Переделкино. Смотрим телевизор. Вдруг Виктор Борисович встает с кресла и говорит:

— Сердце болит!

Я открываю форточку. Серафима Густавовна дает ему нитроглицерин и т. д. Он стоит, держась за сердце.

— Сядьте, Виктор Борисович! Доктор Николаев велел вам сидеть, когда сердце...

Серафима Густавовна:

— А профессор Солодовников велел лежать! Ляг, Витя!

Виктор Борисович, как и положено старому вояке, выполняет последнее приказание командира — прикорнул на диване перед телевизором. Глаза закрыты, но вдруг раздается его смех. Не смех, а прямо захóдится в хохоте.

— Что с вами?!

Сквозь гомерический хохот:

— Так мне сидеть или лежать?

Наконец успокаивается:

— Я рассказ для тебя придумал, или, может, какого-то классика вспомнил. Пришли незнакомые люди к здоровому, интеллигентному, деликатному человеку и поставили ему клизму. Оказалось — ошиблись адресом... Господи, как все глупо. Закройте форточку.

Вечером 25.01.80 года звоню из Ленинграда — поздравить с 87-летием. Трубку взял Олег Даль. Потом Виктор Борисович говорит, что утром звонил мне и мы разговаривали. Я говорю, что этого не было, но утром я не спал и думал о нем.

— Значит, мне приснился телепатический сон, друг. Приезжай! Сядь в самолет и приезжай!

Говорю, что не смогу.

— А ты — как осминог: они могут через замочную скважину ногами вперед.

«Корабль наш идет с вмятиной на боку. Надо находить стройность в мачтах. Не заглядывай в душ, когда в нем моется женщина. Море, ты, кажется, один об этом знаешь,— море имеет свой уют. Мы только привыкли к морским поэтам. Ты умеешь видеть, умеешь спасать, умеешь последним уходить, когда вода угрожает. Плавай, друг. Вот и Сима тебя целует. А я отношусь к тебе не как к траве, а как к дереву. Деревья не боятся ветра. Ветер деревья причесывает.

Я пишу книгу и не могу ее дописать. Она просится стать теорией стиля. Есть очень убедительные мысли (и страницы) о бесконцовости современной хорошей советской прозы. Концов мы не умеем делать. Пушкин (достойный пловец) отодвигал подальше Онегина. 〈...〉 Ахматова (может быть помнишь) Анна о том писала, как он способен спокойно писать конец с его высшей воздушностью.

Достоевский, Толстой не умели завязывать узел на конце, чтобы песок не просыпался. Чехов отрезал конец. Он заметил, что конец или смерть или отъезд. Как он умен...

Я не умею быть молодым. А мне 88-й год.

Моя книга про общую теорию, а не про энергию заблуждения.

. . . .

Надо только не бояться усталости и плохого почерка. Ну вот 〈...〉 в шутке, в веселом разбеге карандаша. Живи долго, мальчик, долго, брат современник 〈...〉 У тебя есть то, что мне кажется молодостью.

Я допишу книгу. 15 июля 1980 г. Москва».

Это письмо написано после смерти Владимира Высоцкого:

«Я не умею печатать на машинке. Могу писать, но забыл алфавит. Вагон тронулся, и платформа с провожающими и деревом уехали в другую сторону...

Ты рассказывай нам о портах; там где-то в горах жила Мария Магдалина, которую не забыть. Деревья ушли, люди измельчали, но память о Магдалине прекрасна. Напиши о берегах, за которыми скрываются люди. Напиши о берегах истории. Милый друг, ты уже часто теряешь голос, а голос очень нужен для разговора по телефону... Остаются мифы не в пепле, а живые и требующие воспоминаний. То, что ты не написал, мяукает забытое в корзинке... У тебя есть друзья, для которых ты... не котенок в корзинке. Он мяукает потому, что с похмелья. Толпа провожала писателя, который умел петь хриплым голосом. Мой отец пил более пятидесяти лет. Пил и ругал мою седую мать. Потом бросил и читал в Михайловском артиллерийском училище курс математики.

Люди слушали Володю и вспоминали, что они люди. Милый Володя. Очень милый Володя. Пропасть легко, но... командир должен при аварии уходить последним.

Ведь ты по возрасту мог бы быть моим сыном.

Не мяукай.

Помни Марию Магдалину, которая во что-то верила и потому жива и бессмертна...

Виктор Шкловский, год рождения 1893». (11.08.80.)

Я прилетел в Москву хоронить Олега Даля. Олег очень любил Виктора Борисовича и даже стащил потихоньку от Серафимы Густавовны портрет молодого Шкловского.

И Виктор Борисович любил Олега.

К Шкловским я приехал вечером накануне похорон.

Серафима Густавовна и Виктор Борисович лежали на кроватях лицами вверх.

Шкловский попросил сесть к нему на кровать, взял за руку, прижал ее к все еще широкой, но слабо-пухлой груди и тяжело заплакал.

Прошептал:

— А ты думаешь, у меня жизнь? У меня ад.

Потом начал говорить, что мне всю жизнь не хватает крупного дела, во главе которого я должен был бы стать. Он придумал мне такое. Вся наша Арктика разделяется на девять секторов. В каждый сектор едет писатель и пишет про свой кусок. Это надо, потому что Арктика не зады, а фасад России.

— Сколько раз ты там был, мой мальчик?

Я сказал, что раз десять. У Виктора Борисовича сохраняется старое представление об Арктике времен Нансена, Амундсена, челюскинцев, и он с уважением произнес:

— Ну, такое уже и не соврешь! И ты должен стать во главе этой большой книги. А я буду у тебя начальником штаба. И я прилечу в Ленинград, соберу авторов книги и все объясню им, и вы ее напишите!..

А на столе в кабинете лежала книга о Толстом «Энергия заблуждения» в двадцать авторских листов. И книга эта вне очереди набиралась в «Советском писателе». И написана она практически за один год. И это после адовой работы над семью сериями «Дон-Кихота»!

Когда расставались, Шкловский еще раз потребовал от меня «крупного дела» и говорил, что прилетит хоть в Арктику, чтобы быть нач. штаба.

Назавтра Серафима Густавовна, несмотря на отговаривания, приехала на похороны. Толкучка у гроба была ходынская.

Нам удалось поднять ее по ступенькам возвышения к самому изголовью. Она ничего не видела и в пятидесяти сантиметрах от лица Олега.

Я взял ее руку и погладил ею по лбу Олега.

Она не заплакала.

Это было 7 марта 1981 года.

«Многие представляют Дон-Кихота слабым, нелепым, смешным, тщедушным человеком, который немного „не в себе"... Таким, кстати, написал его хороший французский художник Доре, а в наше время — Пикассо. Неверно. Дон-Кихот, которому было под пятьдесят — крепок, любил вставать пораньше и идти на охоту. Этот тренированный человек шпагой убил вепря! С одной шпагой он стоял между двух львов... Да ведь он просто сверхтореадор, настоящий храбрец! А к тому же очень образован: хорошо знал французский, итальянский, арабский, латинский и иные языки. Одним словом, это совсем иной человек, чем принято считать!

Это — великий реалистический роман с глубинной романтической скорбью о человеке.

Вот, собственно, почему я задумал написать сценарий большого телефильма и два года сидел над ним, как проклятый. Это сценарий о честном и мужественном Дон-Кихоте. Снова повторю Достоевского: *Дон-Кихот виноват только в том, что он не гений!* Да, он прежде всего человек. Его считают безумцем, а он видит жизнь по-настоящему».

«Жить вечно нельзя, но счастлив тот, кто умирает, не истратив себя, продолжая учиться. Восходит солнце. Тают снега, шумят овраги. Ручьи бегут в реки.

Большой писатель ширеет, как река, принимает опыт других, как притоки, и впадает в океан.

Океанские волны приветствуют его вхождение в вечный, медленно расширяющийся, нужный всем океан искусства.

Этот океан по крупице, по капле собирает в себя всю соль и всю мудрость земли»...

«Передайте Вике — мне совсем непонятно и я совершенно не знаю, зачем нужны наши старые письма, если нужно писать новые книги, но если хочет, пусть это печатает. Виктор Шкловский, май 1981 года».

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

Литература и искусство

НЕ ЗАГЛУШАЕМОЕ НИЧЕМ...

Юлия Друнина. Избранные произведения в двух томах. Т. I. Стихотворения (1942—1969). 384 стр. Т. 2. Стихотворения (1970—1980). Проза (1966—1979). 552 стр. М. «Художественная литература». 1981.

Конечно, имя Юлии Друниной и ее стихи говорят сами за себя. И все-таки речь о ее двухтомнике хочется начать с предпосланной ему статьи Константина Ваншенкина, сердечно и точно характеризующей жизненный и творческий путь поэтессы. Предисловие тактично настраивает читателя на то, чтобы он в обилии стихов разных лет лучше расслышал главную, ведущую ноту:

> Донесеньем из боя
> Остался мой стих —
> Из котлов окружений,
> Пропастей поражений
> И с великих плацдармов
> Победных сражений.
>
> (*«Я порою себя ощущаю связной...»*)

В «Страницах автобиографии» («С тех вершин»), написанных несколько лет назад, Юлия Друнина рассказала о мытарствах, которые ей пришлось претерпеть прежде, чем оказаться на фронте медсестрой. И, словно бы оправдываясь, заметила, что «прозаические детали в стихи не лезут». Тут она не вполне права: этих «деталей» в ее стихах достаточно (одна процедура «санобработки» в стихотворении «Баня» чего стоит!).

Замечательна жизнестойкость совершенно неопытного, да и порядком замученного всеми незадачами, бедами, хворями «солдатика», из чьей души они не вытравили ни чистоты, ни участливости, ни любопытства к жизни, земле, людям.

В хватившей окопного лиха девочке, перетаскавшей под огнем несчитанное число раненых и столько раз видевшей, как у только что вынесенного ею бойца на морозе «исчезает облачко у рта»,— в ней «жила, кипела, ныла», говоря словами Твардовского, будущая песня. И это так же удивительно, как то, когда, бывало, с полностью, казалось бы, разбомбленного фронтового аэродрома вдруг взмывает и отважно кидается в бой иссеченный осколками самолет.

Горожанка, Юлия Друнина, по собственному выражению, «в семнадцать лет, кочуя по окопам... увидала Родину свою». Это ощущение было присуще тогда многим (достаточно сослаться на признание Константина Симонова: «Ты знаешь, наверное, все-таки родина — не дом городской, где я празднично жил»...).

Юлия Друнина у в и д а л а р о д и н у не только в незнакомых ей прежде краях, опаленных войной, но узнала ее, можно сказать, в л и ц о в яростном облике вставшего над бруствером комбата и в еле выдавленном помертвелыми губами раненого: «Сестрица!», в простецком «Ваньке-взводном», этом «малюсеньком болтике — самом важном в махине войны», как сказано в совсем недавних ее стихах, и, конечно же, в своих ровесниках и ровесницах вроде той «Зинки» — Герое Советского Союза Самсоновой, которой посвящены

одни из первых и самых известных стихов поэтессы.

И за каждым из этих лиц открывалась, пусть и не всегда сразу ясно и полностью осознаваемая, даль своей особой судьбы, своей «малой родины», корней и истоков:

Знаешь, Зинка, я — против грусти,
Но сегодня она — не в счет.
Где-то в яблочном захолустье
Мама, мамка твоя живет.

...У нее ты была одна.
Пахнет в хате квашней и дымом,
За порогом стоит весна.

(«Зинка»)

Потом мир поэтессы бесконечно расширится, и, скажем, неказистый Ялуторовск, откуда рвалась она из эвакуации на фронт, «пусть неумело, но неумолимо» атакуя военкомат, теперь предстает перед нею как «таежная звезда, опальная столица декабристов», сосланных сюда и насаждавших здесь и «веселый сад с тайгою хмурой рядом», и свое понимание жизни, достоинства, патриотизма. И не эта ли «звезда» — дух «детей двенадцатого года», как назовет Друнина потом свой цикл,— светила тогда в числе прочих девочке, что скажет о себе впоследствии: «Я родом не из детства — из войны»? А в далеком Париже поэтесса услышит о мужестве Вики с громкой фамилией Оболенская и безвестного воронежского врача Елены, чьи судьбы сошлись в гитлеровских застенках (этому посвящены лучшие страницы очерков «Европа глазами солдата»).

И все же первое, основополагающее представление о глубоком, корневом родстве людей разных поколений, биографий, характеров было вынесено оттуда — из «сороковых, роковых» лет. Впоследствии именно оно поможет Ю. Друниной избежать в лучших стихах, посвященных «племени младому, незнакомому», налета высокопарного менторства и не достигающих цели нотаций. С каким интересом, пониманием, сочувствием вглядится она, например, в девчонку, шествующую по столичной улице, и, сквозь все атрибуты сегодняшней моды, различит истинную суть этой «пижонки»:

А в сумке «модерной»
Впритирку лежат
Пельмени,
Конспекты,

Рабочий халат.

А дома — братишка:
Смешной оголец,
Ротастый галчонок,
Крикливый птенец.
Мать... в траурной рамке
Глядит со стены,
Отец проживает
У новой жены.

(«Девчонка что надо!»)

В очерке «С тех вершин», рассказывая о движении наступающей армии, Ю. Друнина замечает: «И, конечно, никаких регулировщиц. Там, где они могут стоять,— по фронтовым понятиям, уже глубокий тыл. На переднем крае и прилегающей к нему полосе движение «регулируют» снаряды и мины».

Нечто похожее происходило тогда и в поэзии, лишенной не всегда благотворных услуг «регулировщиц» обоего пола. Потом, когда война ушла в прошлое, они, правда, старались навести порядок по своему разумению. И добро бы дело ограничивалось анекдотическими претензиями тогдашнего директора Литературного института, куда поступила Друнина, почему у нее в стихах «солдаты носят косы», «как в Китае» (речь шла о «светлокосом солдате» Зинке). Отзвуки некоторой растерянности, порожденной энергичными взмахами иных критических «флажков», сигнализировавших о «чрезмерной», «жестокой» памяти о только что пережитом, были ощутимы в творчестве поэтессы нескольких послевоенных лет.

И все-таки полностью отойти от своей кровной темы она была не в состоянии. «Как мне жить без тебя?» — могла бы она и в данном случае повторить слова своих стихов о любви. Пусть немногочисленные и заметно уступающие прежним стихам, строки Ю. Друниной о войне оказались в числе тех, что упорно размывали критические плотины, воздвигнутые на пути якобы уже устаревшей темы. И голос поэтессы становился все крепче, интонация — настойчивей и бескомпромиссней («Я опять о своем, невеселом...»):

Наши критики — наши судьбы:
Вознести и распять вольны.
Но у нас есть суровей судьи —
Не вернувшиеся с войны.

(«Били молнии. Тучи вились...»)

...Повсюду клубится за нами,
Поколеньям другим не видна —
Как мираж, как проклятье, как знамя —
Мировая вторая война...

(«Я опять о своем, невеселом...»)

Уместно ли здесь слово «мираж»? По первому впечатлению, нет. Уж очень оно назойливо «поэтично», да и привыкли мы, что мираж — это обычно сладостные видения воды и тенистых деревьев, которые дразнят изнывающих от жажды и зноя путников в пустыне. Однако для Ю. Друниной Великая Отечественная война — не только проклятие, но и знамя и «пароль», по которому опознается целое поколение,

как сказано в других ее стихах, не только ад боя, но и открытие родины, и незабвенные лица павших друзей, снова и снова встающих в памяти, как живые (вот он — «мираж!»)... Нет, еще успеется и нам помахать своим «регулировочным» флажком по адресу тех или иных строк поэтессы, успеется напомнить ей собственную аттестацию: «Там, где надо б тоненькой стамеской, действовала грубым топором!» Но здесь рука как-то замирает и опускается. И слава богу, потому что, не поняв, не разделив этого порыва к своей молодости, не оценив этой верности пережитому [1], мы окажемся просто глухими к творчеству Юлии Друниной, к этому противоречивому, как сама жизнь, смешению восторга перед жизнью, грусти перед ее скоротечностью («...вечереет, вечереет — ловлю последние лучи»), и ошеломленности собственным счастливым жребием («Окончился семьдесят третий — в какую я даль забрела!»), и вечного долга перед теми, с кем была вместе.

Была победа —
как далекий берег:
Не всякому до берега доплыть.

(«Московская, грохочущая осень...»)

Ночное виденье — «Опять, во сне, ползла, давясь от дыма, я к тем, кто молча замер на снегу...» — это, в сущности, претворение пафоса всего творчества поэтессы: спасти от забвения, как прежде, санитаркой, спасала от гибели. Спасти тех, с кем делила и сухарь, и ночлег, и короткие минуты боя в самоходках, о которых с такой незаживающей болью не скажет — простонет в «Страницах автобиографии»: «А как они горели, эти «коробочки», как горели!» Спасти и вовсе незнакомых, весть о ком дошла через много лет и властно позвала туда, к ним. Например, к героиням «Баллады о десанте» — ровесницам, крымским партизанкам, которые «ползли на опухших коленях в атаку — от голода встать не могли».

Празднуя с друзьями День Победы, Ю. Друнина восклицает: «Как горька ты, водка на полыни, как своею горечью сладка!» Подобное можно сказать и о ее стихах последних лет. Горечь их не нуждается в комментариях. Иное же свойство стихов порождено благодарным сознанием, что никто не забыт и ничто не забыто.

[1] Хорошо выразил это Константин Ваншенкин: «Друнина как бы постоянно повернута, нацелена, настроена на грозную давнюю волну, она словно радистка, страшащаяся сквозь звуки и шорохи жизни пропустить, не расслышать важное сообщение от своих, из фронтовой полосы своей молодости».

Ю. Друнина как-то написала, что и в поэзии осталась рядовой и что эта судьба ее не огорчает. Словом, она «солдат простой, без званий и наград», говоря словами одного из ее товарищей по судьбе, Сергея Орлова, чьей памяти она посвятила недавно цикл стихов.

Время внесло существенные поправки в эту самооценку: появились и «звания» и «награды», как появились они (пусть и с опозданием) у многих героев войны.

Но хочется надеяться, что поэтессе осталось присуще свойство, о котором она с нежностью вспоминает: «Мы ловили друг друга в коридорах, заталкивали в угол и зачитывали переполнявшими нас стихами. И никогда не обижались на критику, которая была прямой и резкой. Мы еще и понятия не имели о дипломатии».

И вот, снова «зачитанный» прошлыми и новыми стихами былой однокашницы и находясь во власти возбужденных ими воспоминаний, нет-нет да и посетуешь на то, что в двухтомник включены некоторые стихи, для поэтессы сравнительно случайные, неотличимые в потоке стихотворений (так и хочется сказать: стиховторений!) самых разных авторов: «Я немного романтик. Я упрямо мечтала, чтоб была наша жизнь словно трудный полет...» и т. п. Что здесь от Друниной, кроме женского окончания глагола?

В некоторых случаях даже самые дорогие для нее темы трансформируются на какой-то несвойственный ей песенно-залихватский лад: «Ржавые болота, усталая пехота, фронтовые дымные края... Неужели снова я с тобой, суровой, повстречаюсь, молодость моя?..»

Мало выразительны зарубежные стихи. «По правде сказать, было мне в Копенгагене чуть скучновато...» По правде-то сказать, читано, читано...

Обращение к дочери бывшего американского президента Джонсона («В годовщину Хиросимы...») «Как вам пляшется в эту ночь? Как хохочется, как вам пьется?» прискорбно для этого стихотворения перекликается со знаменитыми строками Марины Цветаевой: «...Как живется вам — хлопочется — Ежится? Встается — как?» Еще очевиднее «оступилась» поэтесса в чужую интонационную «колею» в другом случае:

В тот год,
От всей души удивлены
Тому, что уцелели почему-то,
Мы возвращались к жизни
От войны,
Благословляя каждую минуту.

(«Да, многое в сердцах у вас умрет...»)

Несмотря на «лесенку» строк, здесь явственно звучит интонация знаменитых стихов Твардовского «В тот день, когда окончилась война»: «Вот так, судьбой своею смущены, прощались мы на празднике с друзьями...»

Жаль, что порой в стихах о современной молодежи Ю. Друнина утрачивает ту высокую ноту, которая звучала в «Девчонке что надо!», и даже без особой нужды усваивает словарь изобличаемых ею же, да и в самом деле малосимпатичных персонажей. «Твой, с бычьей шеей, обормот, весь в лохмах, батниках и джинсах»,— так аттестуется рванувший от деревенской бабки в столицу юнец. Наверное, он действительно парень так себе. Только в этом ли одном суть? Название стихотворения «Опустевшее село» и его начало настраивают на другую, куда более серьезную волну. Тут уж и впрямь вспоминаются слова о «грубом топоре».

Хорошо, что в масштабах двухтомника (а вернее сказать: в масштабах всего творчества поэтессы) подобные стихи и строки не очень заметны. «Под сводами души» ее (пользуюсь словами Ю. Друниной о Сергее Орлове) первенствуют совсем иные звуки.

Ах, нехитрая песенка эта,
Почему будоражишь ты нас? —

восклицает автор, слушая «о кострах на снегу, о шинели да о тех, кто назад не пришел» («Наше — нам!»).

Не так ли волнует и собственное поэтическое слово Юлии Друниной, где бесконечно много дорогого сердцам читателей?

А. ТУРКОВ.

★

КНИГА МОЕГО ТОВАРИЩА

Владимир Огнев. Горизонты поэзии. Избранные работы в двух томах. М. «Художественная литература». 1982.
Владимир Огнев. Свидетельства. Дневник критика. 1970—1974. М. «Советский писатель». 1982. 472 стр.

Владимир Огнев, мой однокашник по Литературному институту, напечатал первую статью обо мне в 1948 году в... стенгазете! Он так ругал там моих переводчиков, что вообще чуть не лишил меня переводов на русский язык. Позже, в 1950 году, в журнале «Октябрь» он продолжил рассуждения о моей поэзии и русских переводах в статье «Поэт и его переводчики». Я вспоминаю о том давнем времени потому, что хочу, чтобы вы поняли, какой характер у критика В. Огнева. Если он в чем-то уверен — будет упорно стоять на своем. Для него, я заметил, не существует иных авторитетов, кроме истины. И он отстаивает ее, не сторонясь конфликтов, не боясь навлечь на себя гнев. Свое прежнее отношение к моим стихам он передал и в книге обо мне. Я не смущаясь пишу об этом, потому что Огнев всегда говорит правду, отмечая достоинства и недостатки. Но вернусь к его характеру. Огнев не умеет писать, не видя и не слыша своего героя. Ему надо знать о нем все.

В Дагестане он поднимался в горы, побывал в самых отдаленных аулах и не успокоился, пока ему не привели скакуна и он не поскакал на нем. Есть у нас в горах такой водоворот под водопадом, где, говорят старики, купалась когда-то шахиня. Горе было тому горцу, кто бы посмел окунуться в «Источник шахини»,— ему отрубали голову. Услышав эту легенду, Огнев бросился в ледяную воду горной реки, чтобы проверить на себе самочувствие горских смельчаков...

Одним из первых критиков Огнев открыл читателю богатый, разнообразный мир поэзии народов СССР. Более чем за тридцать лет работы в советской литературе он написал о поэтах Грузии, Армении, Литвы, Латвии, Украины, Кабарды, Балкарии, Татарии...

Когда раскрываешь двухтомник избранных работ В. Огнева, возникает широчайшая панорама братских литератур. Тут горная цепь вершин — ни одного случайного имени, что греха таить, поднятого порой удачным стечением обстоятельств на вершину славы! — нет, одни достойные имена, настоящие художники. Критик пишет об истинных, больших поэтах с подлинным уважением к их святыням, обычаям, традициям.

Я не хочу обидеть других, тоже хороших критиков, но я лично с особым удовольствием читаю книги Огнева — поэта в критике. Во втором томе его «Избранного» — теоретические работы о стихе. Читать их одно удовольствие. Автор умеет тесно увязать форму стиха с его глубинным духовным смыслом. Это не всем удается. И, наверное, в этом его особая сила.

В молодом Огневе я видел серьезного литератора также еще и потому, что хорошо знаю, как ценили его веское слово такие

Гурий. Но по мере развития сюжета Гурию пришлось потесниться и уступить преобладающее место Вавилову.

Своя стилевая аура окутывает каждого из персонажей. Иногда автор вмещает образ персонажа в короткую фразу, не более чем в три-четыре слова, сказанные как бы мимоходом, в придаточном предложении. Но характеристики потрясают своей меткостью. Таково, например, выражение: «Гурий, видя, что отец неистовствовал гордым смирением...» Три слова — весь человек! И далее о нем же: «...горя рвением жертвы...»

...Что может быть фантастичнее и неожиданнее действительности? — восклицал Достоевский.

Через много лет Всеволод Иванов ответил в «Ужгинском Кремле» соседством, почти сожительством сказочного с бытовой реальностью, фантастического с будничным. Один из персонажей романа — актер, в самом имени которого сочетались эти два потока; Ксанфий Лампадович Старков рассказывает как о заурядном случае, что душа его вознеслась к богу и беседовала с ним запросто о том о сем. А далее почти без перехода, взволнованно повысив голос, сообщает, что он, Старков, имеет «два пропуска на пленум... горсовета». Несовместное шествует под ручку на страницах «Ужгинского Кремля».

Для чего это слияние, быть может, несколько ошарашивающее иного читателя, хоть уже и обтерпевшегося в извивах фантазии Всеволода Иванова? Хотел ли писатель подчеркнуть присутствие сказочного в обыденном? Или разрушить это сказочное вторжением прозаической повседневности?..

Самое же удивительное в этом переплетении — высокая поэтичность.

И не следует думать, что автор в подобных случаях просто забавляется, ну, скажем, любуется причудами своего воображения, игрой языка и капризами сюжета, что в нем, авторе, есть что-то от скомороха. Нет! Он вплетает черты невероятного в реалистическую ткань отнюдь не для остроты контраста, а потому, что элемент фантастический становится у него одним из средств реалистического изображения.

Таков этот роман, на мой взгляд, самый «ивановский» из всех произведений писателя.

Только то, что было исповедью писателя, сказал однажды Горький, только то создание, в котором он с ж е г с е б я д о т л а, только оно может стать великим.

ЮРИЙ НАГИБИН

О Хлебникове

До столетия со дня рождения Велимира Хлебникова осталось около трех лет. Срок вроде бы немалый. К этому времени, возможно, откроют мемориальный музей поэта в Астрахани. Несомненно, и толстые журналы, и литературные еженедельники успеют заказать и получить обязательные в таких случаях статьи. Пермяк Владимир Молотилов, рабочий-наладчик двадцати семи лет, не публиковавшийся поэт, прислал мне письмо: напомните...

Первым моим побуждением было промолчать. Но все мои разумные соображения, продиктованные ясным сознанием своей неподготовленности к роли пропагандиста Хлебникова, показались смесью робости с душевной ленью. Второе явно мимо, я человек вовсе не ленивый, а как насчет первого? О Хлебникове пишут как об одном из крупнейших поэтов начала века, его упоминают в школьных и университетских программах, несколько лет назад в «Новом мире» были опубликованы воспоминания о нем Ал. Лейтеса, недавно в «Литературной учебе» появилась великолепная статья Константина Кедрова о «Звездной азбуке» (на всякий случай названная в подзаголовке «гипотезой»), значит, и литературной смене, которую мы столь бережно пестуем, он не противопоказан. Все так, но... Возникнут специалисты,

возмущенно одернут непрошеного заступника: чего, мол, он разоряется, мы сами все знаем и куда больше и точнее.

Осилил меня Молотилов не напором, не аргументацией, не взыванием к совести, а тем, что оговорился хлебниковскими строчками:

Нам много ль надо?
Нет: ломоть хлеба,
С ним каплю молока,
А солью будет небо!
И эти облака.

Встало в горле — не проглотишь. Да это и не поэзия — святая правда: поэту ничего не было нужно, кроме перечисленного, чтобы гореть, создавать новый язык, думать о Вселенной и будущем, управлять мирозданием. И, боже мой, какая это поэзия!..

Со всем смирением признаю, что ничего не открою, даже не приоткрою. Как замечательно сказано у Асеева: «...все... попытки описать значение В. Хлебникова падают и бледнеют перед одним движением его губ, произносящих такую строчку, как:

Песенка — лесенка в сердце другое...

Или:

Русь, ты вся поцелуй на морозе!

А сколько сотен таких строк разбросано у него неожиданными подарками читателю!»

Поведу я разговор с того, что наверняка известно «ведам», но едва ли ведомо читателям. Однажды некто из круга Хлебникова, кажется Крученых, рассказал, что знает командарма, у которого четыре ордена Красного Знамени; воин утверждает, что таких, как он, в стране всего семь человек. «Подумаешь,— сказал Маяковский,— таких, как я, всего один, а не хвастаюсь». «А таких, как я,— грустно сказал Хлебников,— и одного нет». Блестящая острота, но самое невероятное — это правда. Хлебников непостигаем, неохватен, необъясним, он не вмещается в обычные координаты.

Известно, поэт не бывает большим ученым в точных науках, это предопределенные самой физиологией разные сферы одаренности, бывают, правда, исключения, например, Гёте, но мы знаем, что исключения подтверждают истинность законов. Хлебников был гениальным научным провидцем, он опередил озарения Эйнштейна, Гайзенберга и Луи де Бройля, отверг существование эфира, на чем строилась теория света, первый заговорил о пульсации Солнца; не зная об открытии Бэра, догадался об изначальном биологическом числе и определил значение в жизни организма... поджелудочной железы.

Он был редкостно молчалив, тих, совсем не внешний человек — анти-Маяковский.

Но вот профессор Васильев вспоминает о студенческих казанских годах Хлебникова, что при его появлении на встречах студентов-математиков все почему-то вставали. Вставал и он сам, хотя уже многие годы был ординарным профессором. А Хлебников был в ту пору студентом второго курса, желторотым мальчишкой!

Объяснение этому в завораживающей силе его глубоко запрятанной личности. При забившемся в угол Хлебникове громогласный Маяковский становился тих, робок, застенчив, как девушка. Когда Хлебников вернулся из очередных странствий (о страничестве — особо), Брики одели его в поношенные вещи Маяковского: потрепанный серый костюм, ботинки военного образца, суконный тулупчик тоже военного покроя и круглую меховую шапку. Это было лучшее одеяние будетлянина за всю его жизнь. Но вещи с чужого плеча, даже с плеча друга-соперника ничуть не принижали Велимира. Он был человек вне бытовой. Марина Цветаева замечательно определила «быт» как непреображенную вещественность. Хлебников со своей вознесенной душой был не просто безбытен, а надбытен. Вещи ничего не значили для него, как и чувства, порождаемые вещной стороной существования. Поэтому он легко принимал любое даяние, так же как и единственный человек, в котором он признавал учителя,— Уолт Уитмен: шапку, сапоги, тулупчик, хламиду или кусок хлеба. Других ценностей ему не дарили, да он бы и не взял за ненадобностью. Все его имущество находилось при нем — странник может владеть лишь тем, что унесет на себе. А Хлебников был всегда в пути, он не знал оседлости. Он считал, что путь мыслящего россиянина идет на Восток (в Ин-

дию), к истоку древней мудрости, он уже шел однажды этим путем, но вернулся из Персии, не захотев кончить дервишем, затеряться омороченным безводьем, пеклом, миражами паломником, у него было призвание. Однако путь не был отменен, по убеждению Хлебникова европейские связи России давно стали бесплодны, отвлекающи, мертвы, он даже изгнал из лексикона все слова с латинскими корнями, чем еще более затруднил понимание своих текстов. Хлебников неутомимо тренировал себя — дорогами, голодом, умыванием кончиками пальцев (в пути не будет воды), одиночеством, молчанием, ношением тяжестей: мешок с бельем, мешок с рукописями. Пример Уолта Уитмена помогал. Но как быть с ученичеством, радостно признаваемым самим Хлебниковым? В литературе ученичество идет путем слова и стиля, хотя бы поначалу. Но что общего в стилистике Хлебникова и Уитмена? Другое дело — человечье сходство: первозданность, неуместимость в обычном земном пространстве, надбытность, устремленность в будущее, непластичность, превалирование (особенно у Велимира — ледяной кипящий лед!) вселенской любви над теплотою чувств к отдельному человеку. Поэтому ученичество здесь можно понять лишь так: Уитмен порой облегчал Хлебникову постижение самого себя и своих отношений с миром.

А вот Маяковский при разительной человеческой несхожести с Велимиром литературно, словесно взял от него очень много. В свою очередь Хлебникову с его устричным голосом хотелось походить на Маяковского — трибуна, горлана-главаря, метать громы в толпу, увлекать за собой верных. Ему этого не было дано. До чего же разные люди сошлись под знаменами «будетлянства»! Маяковскому не чуждо было все земное, он был жаден к жизни. А Хлебников довольствовался «ломтем хлеба и каплей молока». Ему не нужен был даже свой угол, чтобы писать, он умел выкраивать себе сосредоточенную тишину в любой толпе, в редакционном бедламе, посреди сходки; в чаду, дыму, ругани, спорах любого многолюдства он вытаскивал свой гроссбух и начинал набрасывать колонки цифр (надо было высчитать пульс истории), или стихотворные строчки, или неизменно чеканные формулировки мыслей. Он пребывал в постоянном размышлении, у него не было незаполненных минут. И вместе с тем всегда находились соображения, способные перекрыть самую дерзкую эскападу, самую эксцентричную выдумку. Настоящее его имя было Виктор. И раз, наскучив своим смирением, Маяковский выпалил: «Каждому Виктору хочется быть Гюго!» «Не более, чем каждому Вальтеру — Скоттом»,— тут же отозвался Хлебников своим тонким голосом [1].

Бескорыстие Хлебникова не имело подобия в человеческом обществе, оно евангельского чина. Как-то неловко даже применять к нему слово «бескорыстие», ибо тут заложена «корысть» как некая возможность. Когда-то замечательный поэт Михаил Кульчицкий написал прекрасное стихотворение о Хлебникове. В дни гражданской войны на разбомбленном белыми полустанке у остылого трупа матери коченела девочка. Подошел человек, сложил костерок и бросил ему в пищу тетрадки со стихами.

Человек ушел — привычно устало,
А огонь стихи начал листать.
Но он, просвистанный, словно пулями роща,
Белыми посаженный в сумасшедший дом[2],
Сжигал
Свои
Марсианские
Очи,
Как сжег для ребенка свой лучший том.

Я люблю это стихотворение, как и всю молодую, не успевшую набрать лет, опыта и усталости поэзию Михаила Кульчицкого, но считал «том», сжигаемый на костре для чужого угрева, нарядной и несколько наивной метафорой. И как же был я поражен, узнав, что действительность превзошла невероятностью поэтическую фантазию Кульчицкого. В маленькой книжке, изданной в 1925 году тиражом 2000 экземпляров, Татьяна Вечорка рассказывала со слов Велимира: «Ехал Хлебников куда-то по железной дороге. Ночью, на маленькой станции, он выглянул в окошко. Увидел у реки костер и возле него темные силуэты. Понравилось. Он немедля вылез из вагона и присоединился к рыбакам. Вещи уехали, а в карманах было мало денег, но несколько тетрадок. И когда пошел дождь и костер стал тухнуть — Хлебников бросал в него свои рукописи, чтобы подольше «было хорошо». Два дня он рыбачил, а по ночам глядел на небо. Потом ему все это надоело и он отправился дальше».

[1] Так со слов самого Маяковского передавала мне этот эпизод моя мать.
[2] Факт биографии В. Хлебникова.

Отправился без вещей. Без денег. Без рукописей. А ведь единственное, что Хлебников берег, были рукописи..

Самый близкий друг Велимира, известный график П.В. Митурич однажды забрал больного и, как потом оказалось, умирающего поэта в деревню, где учительствовала жена.

В воспоминаниях Митурича есть поразительная по глубине фраза: «Я понял его чисто физические труды, которые он совершил, чтобы донести свои мысли людям». Скорей бы вышла эта книга, в ней бесценные подробности жизни Хлебникова, рассуждения о математических его трудах, в чем отлично разбирался изобретатель, человек широкой научной мысли, «мирискусник» Петр Васильевич Митурич, и обстоятельства горестной кончины. Митурич предал земле останки друга и на гробе краской голубой, как глаза покойного, когда в них отражалось небо, написал: «Председателю земного шара».

Но я задержался на отношениях Велимира Хлебникова с миром вещным. Куда важнее жизнь его духа, но как же трудно об этом говорить!

Поэзию Хлебникова не просто любили те, кому она открывалась, ею бредили, ею жили, дышали, она становилась как бы вторым бытием. Она брала в плен такие мощные индивидуальности, как Маяковский, пожизненно околдовала Николая Асеева, знавшего Хлебникова от строки до строки. Лев Озеров, сам видный поэт и знаток поэзии, младший друг Асеева, в своих воспоминаниях пишет, что Асеев «пропускал через себя — причем часто — весь его (Хлебникова.— *Ю. Н.)* пятитомник. И потом опрокидывал на слушателей. Разбирался в текстах Хлебникова, как глубокий исследователь». Он пересмотрел «Уструг Разина», потому что Хлебников никогда не нумеровал страниц рукописей, поставив своих поэтических душеприказчиков перед сложнейшей задачей, выполнить которую они до конца не смогли, откуда и пошли композиционные алогизмы его поэм и больших стихотворений, так затрудняющие чтение.

Лев Озеров пришел навестить больного Асеева и нашел его почти выздоровевшим.

«— Знаете, меня не пилюли вылечили, а четыре строчки Хлебникова.

— Какие?

Асеев читает с наслаждением:

И тополь земец,
И вечер немец,
И море речи,
И ты далече...

— Каждая строка — эпопея».

Мне хочется воспроизвести по Асееву начало «Уструга Разина», поэмы редкой мощи и красоты, написанной как бы вдоль известной песни «Из-за острова на стрежень», без которой в пору моего детства не обходилось ни одно застолье. Одна и та же легенда выпевается в популярную хоровую песню и в большую поэзию, а разница всего лишь в словах, которые всем даны и не даны почти никому. И так: «Из-за острова на стрежень... выплывают расписные»...

По затону трех покойников,
Где лишь лебедя лучи,
Вышел парусник разбойников
Иступить свои мечи.

«На переднем Стенька Разин»...

Атаман свободы дикой
На парчовой лежит койке
И играет кистенем,
Чтоб копейка на попойке
Покатилася рублем.

Асеев восторгался звуковой живописью: «Так и слышишь и видишь: катится монетка».

Поэма отклоняется от песни, занятой лишь любовной историей, и впитывает в себя социальный смысл разинского разбоя: он не просто ножевой душегуб, атаман пиратской шайки, а «кум бедноты».

Концы разные. «Грянем песню удалую на помин ее души!» — восклицает песельный безунывный Разин. В поэме он молчит.

Волга воет, Волга скачет
Вез лица и без конца.
В буревой волне маячит
Ляля буйного донца.

Как вместительна короткая хлебниковская строка! Взрывчатая мощь сжата, спрессована в ней. Подобной сжатости, лаконичной силы умела добиваться Марина Цветаева с помощью особого синтаксиса, «задыханьем своих тире». Хлебников вообще обходился без знаков препинания, их расставляли после — друзья, редакторы.

Когда я перечитывал в ...надцатый раз «Уструг Разина», то сделал для себя неожиданное открытие: на меня дважды, если не больше, из хлебниковских строк глянуло дорогое лобастое лицо Андрея Платонова. Даже самый крупный писатель имеет предшественников, а если смелее — учителей, каждого можно с кем-то повязать, причем связи эти необязательно так прямы и очевидны, как молодой Пушкин — Байрон, Лермонтов — Пушкин, Достоевский — Гоголь. В Мандельштаме Цветаева слышала державинскую медь, допушкинский, державинский лад звучал у таких разных поэтов, как Хлебников и Вячеслав Иванов, а как сильны блоковские мотивы у деревенского Есенина! Я тщетно пытался уловить отзвук чьей-либо речи, хоть интонации у Андрея Платонова, ведь не с неба же взял он свой проникающий, неуклюжий, свой чудный язык. Это его собственная речь, им созданная и воспитанная, но что-то должно было подтолкнуть его руку в молодые годы, когда пальцы лишь привыкали к перу. Постоянно привязывают Платонова к Лескову, но это пустое занятие. Да, подобно автору «Левши» он любил прием сказа и часто им пользовался. Но этот прием — уступка повествования другому — вне проблемы влияния. Сказом пользовались многие, самые разные писатели, ну, хотя бы Зощенко, а что у него общего с Лесковым и Платоновым? Но вот строчки: «Время жертвы и жратвы, или разумом ты нищий, богатырь без головы?» Лишите их стихотворного чина, и будет самый что ни на есть Андрей Платонов. Равно как и тут: «И Разина глухое «слышу» подымется со дна холмов, как знамя красное взойдет на крышу и поведет войска умов». «Войска умов» — радость Платонова, но тут и вообще собрались его излюбленные слова: «ум», «голова», «жертва», «жратва»...

Я листаю прозу Хлебникова, и мне то и дело попадаются фразы, которые должны были глубоко запасть в душу молодого книгочея, паровозного подмастерья, позже инженера-мелиоратора, еще позже стихотворца и прозаика Андрея Платонова, научившегося возвращать слову первозданность, обнажать его скрытую сердцевину, а стало быть — и тайное всего сущего. О Платонове принято: ни на кого не похоже. Ан похоже!.. Хотя бы это — из письма Хлебникова к Вяч. Иванову: «Мне иногда казалось, что если бы души великих усопших были обречены, как возможности, скитаться в этом мире, то они, утомленные ничтожеством других людей, должны были избирать как остров душу одного человека, чтобы отдохнуть и перевоплотиться в ней». Да ведь отсюда один шаг до излюбленной мысли Платонова о спасении душой другого человека («Волшебное существо», «Роза»), лишь проговор высокомерия не платоновский, для Андрея Платонова все души равны (у фашистов нет души), ничтожных людей не существует (каты — нелюди). Но музыка фразы, сочетание слов, сами слова указывают нам прямо на платоновские истоки.

Чтобы завершить эту тему, приведу еще один отрывок. Здесь — важнейшая мысль Хлебникова о языке, думаю, не чуждая и Платонову — Человекову (под этой фамилией публиковал он нередко свои размышления о литературе и работах других писателей).

«Как часто дух языка допускает прямое слово, простую перемену согласного звука в уже существующем слове, но вместо него весь народ пользуется сложным и ломким описательным выражением и увеличивает растрату мирового разума временем, отданным на раздумье». То есть, сохраняя корень, играйте со словом, пока оно вам не улыбнется. Уверен, что выражение «растрата мирового разума временем...» мы услышали бы в свой срок от Платонова, не озари оно раньше Велимира Хлебникова; здесь же образцовый набор любимых автором «Епифанских шлюзов» слов, из его глубин вся истовая интонация и чуть печальная серьезность. Только русские писатели до конца серьезны (у нас невозможен Анатоль Франс в качестве национального гения), ибо слова не бросаются на ветер, слово предполагает делание, в каждом — зерно поступка, стон души и начало жеста. Знал ли Хлебников, как поражало Аполлона Григорьева, что Гегель мог сказать что-то дурное о светилах, а потом спокойно играть в вист?

Почему я уделил так много места побочному обстоятельству, за которое Хлебников никак не отвечает? Но ведь в этом лишнее свидетельство безграничности Хлебникова: каждый может найти в нем что-то для себя. Для одних это будут стихи простые, как трава:

Россия, хворая, капли донские пила
Устало в бреду
Холод цыганский
А я зачем-то бреду
Канта учить
По Табасарански.
Мукденом и Калкою
Точно большими глазами
Алкаю, алкаю.
Смотрю в бреду
По горам горя
Стукаю палкою.

Для других — праздник души — хлебниковские «перевертни», все эти «чин зван мечем навзничь», «пал а норов худ и дух ворона лап». Хотя для самого Хлебникова стихи последнего перевертня стали «отраженными лучами будущего, брошенными подсознательным «я» в разумное небо».

А как могуча революционная поэзия Хлебникова! Я говорю не о бросках в грядущий бунт «Уструга Разина», не о провидении перемен поры начала,— его слабый, тонкий голос, случалось, подымал людей, как раскаты громовержца Маяковского:

И зáмки мирового торга,
Где бедности сияют цепи
С лицом злорадства и восторга
Ты обратишь однажды в пепел.

Вершина его революционной поэзии — классический «Ладомир».

Не боялся Хлебников и злободневности, когда действительность озонила каленым железом. Им созданы после революции две поэмы в разговорном ритме блоковских «Двенадцати», что поэмам вовсе не в урон: «Ночь перед советами» и «Ночной обыск». Вот из последней:

— На изготовку!
Бери винтовку!
Топай, братва:
Направо 38.
Сильнее дергай!
— Есть!..
— Пожалуйста
Милости просим!

Хлебников знал и то, как много в мире достойного нежности:

Режьте меня,
Жгите меня,
Но так приятно целовать
Копыто у коня.

Ознакомившись с поэзией Хлебникова, пожалуй, можно безошибочно определить, к какому ключу припадали, прежде чем разойтись по своим путям, Маяковский, Пастернак, Асеев, Тихонов, Сельвинский, Кирсанов.

К любой душе найдется ключ у того, кто с полным правом сказал о себе:

Я, написавший столько песен,
Что их хватит на мост до серебряного месяца.

...В мои школьные годы поэзию Хлебникова не «разбирали», и если б не Маяковский, мы, верно, не услышали бы такой фамилии: Хлебников — и такого имени: Велимир — Великий мир. О магия слов! Нам говорили, что Хлебников был футуристом, звучало это неодобрительно. Маяковский тоже был футуристом, но его не осуждали. Особенно напирали на заумь, непонятность хлебниковской поэзии, в пример приводили, конечно, «Бобэоби пелись губы».

Но и сегодня серьезные, разъясняющие чудо Хлебникова статьи печатаются крайне редко — лишь в специальных журналах да университетских записках, а ведь это тоже заумь для любителей развлекательного чтива и телевизора. А что такое вообще — понятность, доступность? Трагедия Маяковского «Владимир Маяковский» понятна? А ранняя лирика Пастернака, а почти весь Артюр Рембо, Стефан Малларме —

называю первые попавшиеся имена и уж не говорю о многих современных поэтах?.. И разве только поэзия бывает непонятной?

Многим до сих пор непонятны импрессионисты в живописи и Рихард Вагнер в музыке, так что же — так и застрять на них до скончания века? Ну а мне непонятны не только новейшие открытия физиков (думается, их и сами открыватели могут лишь «расчислить», а не объяснить человеческим языком), но и телефон, и телеграф, и то, почему не плавится волосок в электрической лампочке. Самое любопытное, что среди гуманитариев таких немало, только не все признаются. Но ведь не остановится же из-за этого движение научной мысли. Должны подтягиваться неучи, а не буксовать наука. То же самое — в искусстве и в поэзии.

Любопытно о непонятных словах и вообще о непонятном рассуждал сам Хлебников.

«...Чары слова, даже непонятного, остаются чарами и не утрачивают своего могущества. Стихи могут быть понятными, могут быть непонятными, но должны быть хороши, должны быть истовенными».

«...Слову не может быть предъявлено требование: «будь понятно, как вывеска». Речь высшего разума, даже непонятная, какими-то семенами падает в чернозем духа и позднее загадочными путями дает свои всходы... Впрочем, я совсем не хочу сказать, что каждое непонятное творчество прекрасно. Я намерен сказать, что не следует отвергать творчество, если оно непонятно данному слою читателей».

Остановимся на последнем замечании, истинность которого бесспорна. У Хлебникова, о чем уже говорилось, есть стихи на любой вкус и даже на любой уровень: и прозрачные, как родниковая вода, и сложные, требующие не только поэтической, но и общекультурной, и даже научной подготовки, и то, что пренебрежительно называют «заумью».

Но зауми в том смысле, в каком мы употребляем это слово, говоря о Крученых, тоже футуристе первого призыва, такой зауми у Хлебникова нет. Словотворчество Хлебникова решало отнюдь не узколитературные задачи, хотя в огромной мере способствовало возникновению нового языка — после Хлебникова позорно стало писать, как Бальмонт. Но Хлебников вообще считал, что чином поэта не исчерпывается его земное назначение. Он ставит себе иные, космические цели, бесконечно далеко выходящие за рамки изящной словесности: создание всечеловеческого (и вселенского) языка и рáсчет закономерности ритмической поступи истории. Он и сам понимал, что взвалил на себя непосильную тяжесть. «Люди моей цели,— говорил он,— умирают в тридцать семь». Он имел в виду Моцарта и Пушкина. С первым у него была особая связь. «Я пил жизнь из чаши Моцарта»,— сказал он вблизи кончины, постигшей его в тридцать семь.

Студент-первокурсник Хлебников написал: «Пусть на могильной плите прочтут... он связал время с пространством». Через несколько лет это сделал языком математической формулы великий Эйнштейн. Теорию относительности Хлебников называл «верой четырех измерений». Четвертое измерение — время, введенное в систему координат, как бы обнялось с пространством и стало единым с ним целым.

Константин Кедров в статье «Звездная азбука» Велимира Хлебникова» расшифровывает выводы Хлебникова о том, что вúдение единого пространства и времени приводит к синтезу пяти чувств человека. Он пишет: «Соединить пространство и время значило для Хлебникова-поэта добиться от звука цветовой и световой изобразительности. Он искал... незримые области перехода звука в цвет».

Хлебников видел звуки окрашенными. Ничего невероятного в этом нет. И до него, и в его время были люди с таким устройством слуха и внутреннего зрения, что каждый звук вызывал у них совершенно определенную цветовую ассоциацию. Широко известен звукоцвет Скрябина. Иронизируя над цветовой клавиатурой, предложенной Скрябиным, Рахманинов осведомился, читая с листа партитуру «Прометея»: «Какого цвета тут музыка?» «Не музыка, а атмосфера, окутывающая слушателя,— холодно ответил Скрябин.— Атмосфера тут фиолетовая». Он-то в и д е л, и Рахманинов казался ему самоуверенным слепцом. Для Римского-Корсакова звуки тоже обладали цветом.

Артюр Рембо писал о разной окраске гласных: А — черно, Е — бело и т. д.

Для Хлебникова же окрашены были согласные, ускользающая женственность гласных мешала ему поймать их цвет. Вот (частично) цветоряд Хлебникова: Б — красный, рдяный, П — черный с красным оттенком, Г — желтый, Л — желтый, слоновая кость. Теперь прочтите: «Бобэоби пелись губы» — и подставьте хлебниковские цвета на

место согласных. Вы увидите говорящие накрашенные губы женщины: алость помады, белизну с чуть приметной прижелтью — «слоновая кость», что присуще здоровым, крепким зубам, наконец темноту приоткрывающегося зева. И никакой зауми.

А для чего это надо? — спросит здравый смысл. Почему не сказать то же самое на общедоступном языке? Именно потому, что Хлебников не считал русский, как и любой другой национальный язык, общедоступным. В доисторические времена общий язык наших косматых предков служил к их сближению и объединению, приветливое слово отводило занесенную для удара дубину. Но возникли государства, и каждое отгородилось от соседей не только границами, крепостями и армиями, но и недоступным для чужеземцев языком. С тех пор язык работает на разобщение народов, Хлебников же видел свою миссию в объединении людей, а для этого должен быть создан единый общедоступный язык. Тут нет ничего абсурдного. Равно как и в том, что нужен космический язык, который сделал бы возможным разговор обитателей разных звездных миров. Во дни Хлебникова эта мечта казалась безумной, но ведь безумным представлялся калужским обитателям человек завтрашнего дня, великий Циолковский, чьи осмеянные фантазии торжествуют в сегодняшнем мире. Хлебников вдохновенно призывал:

Лети, созвездье человечье,
Все дальше, далее в простор,
И перелей земли наречья
В единый смертных разговор...

Мне хочется вернуться к превосходной статье К. Кедрова. Ее сверхзадача, говоря языком театральной режиссуры, реабилитировать «темного» Хлебникова, которого даже серьезные и доброжелательные к памяти поэта литературоведы, вроде Дмитрия Мирского, предлагали отсечь от Хлебникова светлого, понятного и, стало быть, нужного. Работа Кедрова, хотя она высвечивает лишь часть неимоверного громозда, имя которому Хлебников, неопровержимо доказывает, что подобное расчленение единого поэтического тела преступно. О звукоцвете уже говорилось; Кедров вскрывает глубокий смысл языка птиц («Зангези»), который Хлебников, сын орнитолога, научился понимать с детства, и «языка богов» (из того же произведения), вещающих звуками пространства и времени, как первые люди, давшие название вещам, животным, явлениям; он показал связь космического мировоззрения Велимира с образным строем его поэзии и тем расшифровал множество загадок и ребусов. Он убеждает читателя, что Хлебников не футурист, а будетлянин, то есть не искатель новой формы, а открыватель нового смысла, требовавшего небывшей формы. После статьи К. Кедрова будешь по-иному читать Хлебникова, и многое, что прежде ставило в тупик, теперь явит скрытую суть. Мускульно, как в фехтовальном зале, ощущаешь разящий выпад рапиры-мысли, спасающий «Перевертень» Хлебникова, который даже Маяковскому казался «штукарством».

Кони, топот, инок,
Но не речь, а черен он.
Идем молод, долом меди
Чин зван мечем навзничь.

Вот как фехтует Кедров за честь Хлебникова: «...Хлебникову здесь важно передать психологическое ощущение протяженного времени, чтобы внутри каждой строки «Перевертня» читатель разглядел движение от прошлого к будущему и обратно. То, что для других лишь формалистическое штукарство, для Хлебникова поиск новых возможностей в человеческом мировидении». Словом, не игра, не фокус, а всплеск непрестанно напрягающейся над главной задачей мысли.

«Пора представить поэзию Хлебникова,— пишет Кедров,— как целостное явление, не делить его стихи на заумные и незаумные, не выхватывать отдельные места и строки, а понять, что было главным для самого поэта. Учитель Маяковского, Заболоцкого, Мартынова имеет право на то, чтобы мы прислушались именно к его собственному голосу». Золотые слова!.. Поэт, которого Маяковский называл «Колумбом новых поэтических материков», «зачинателем новой поэтической эры» и, наконец, «королем поэтов», должен явиться в полный рост своему возмужавшему, набравшему зрелости и душевного опыта народу.

О. КУРОЧКИН,
научный работник

Симферополь.

Письмо Твардовского

Уважаемая редакция!

В свое время, находясь под сильным впечатлением от знаменитой поэмы А. Твардовского, я написал нечто вроде стихотворного подражания «Василию Теркину» и рискнул отправить то, что у меня получилось, самому Твардовскому в «Новый мир». Вскоре пришел ответ. Зная, что письма выдающегося советского поэта, затрагивающие литературные проблемы, представляют большой общественный интерес, хочу познакомить редакцию с текстом ответа А. Твардовского.

4 ноября 1963 года.

Дорогой Олег Ростиславович!

Ваша рукопись «Теркин в Сакском производственном управлении» для журнала или издательства не может представить интереса, поскольку это не есть самостоятельное художественное произведение, а лишь прямое подражание общеизвестному «Теркину», построенное на местном материале. Таких подражаний или «продолжений» «Теркина» существует очень много, и с литературной стороны они имеют интерес особого рода — как свидетельство популярности «основного» «Теркина» в читательских кругах и, так сказать, его вторичной жизни в форме, приспособленной к конкретным фактам жизни. Это как бы современный письменный фольклор, если можно так выразиться. Нередко эти подражания и переделки «Теркина» даже печатаются на страницах многотиражек и т. п. изданий. Но это не меняет дела в смысле литературной оценки таких «Теркиных», как вообще не меняет, в сущности, дела большая или меньшая «набитость руки», литературно-техническая грамотность, владение стихом, как говорят (у Вас, например, все довольно бойко и грамотно).

Поверьте, что мне не доставляет удовольствия говорить Вам эти малоприятные вещи, но что же делать, если человек прислал 25 страниц стихотворного текста, имея какие-то надежды на «реализацию» этой рукописи,— не отмолчаться же попросту? В таких случаях (и они не редки!) я стараюсь хоть вкратце откликнуться. И будьте уверены, что не первому Вам (и наверняка не последнему) я говорю такие жестковатые слова, хотя предпочел бы, чтобы их говорил за меня кто-нибудь другой.

Наконец, в Вашем «Письме Теркина к А. Твардовскому» говорится:

Может быть, письмо в стихах
К истине пробьется,
Может, кто-нибудь в верхах
Нами вдруг займется.

Таким образом, Вы как бы ограничиваете свою задачу желанием только обратить внимание «верхов» на всяческие непорядки и неустройства в Вашем производственном управлении. Но я должен сказать прямо, что Вы тем менее можете дождаться реальных результатов, чем дальше будете от делового и точного изложения фактов, обозначения дат, цифр, названий местности. И нет необходимости в таком случае (в случае обращения к печати, к тем или иным органам информации) прибегать к стихотворной форме,— она мешает изложению фактов, достоверности, документальной точности.

Рукопись Вашу я оставляю в моем «теркинском» архиве, где у меня хранятся такого рода отклики на книгу о Теркине — «старом» и «новом». Возможно, что когда-нибудь эти материалы смогут быть частично или полностью опубликованы в каком-нибудь специальном издании.

Желаю Вам всего доброго

А. ТВАРДОВСКИЙ.

Думаю, что приведенное мною письмо способно обогатить наше представление о творческом и человеческом облике замечательного поэта.

СВЕТЛАНА ОВЧИННИКОВА,

театральный критик, лауреат премии Ленинского комсомола

В суфлерской будке Времени

«Можно все пиесы сделать вновь свежими, новыми, любопытными для всех от мала до велика, если только сумеешь их поставить как следует на сцену...»

Эти слова Гоголя подтверждает театральная практика не только минувшего десятилетия, но и спектакли нынешних 80-х, едва начавшихся.

Когда-то МХАТ родился благодаря пьесам Чехова и Горького. Это были две линии в искусстве «художественников». Сегодня время произвело любопытную коррекцию во взгляде на их драматургию: Чехов прочитывается театрами с горьковской беспощадностью в оценках людей и поступков, а к героям Горького подходят с чеховским щемящим сочувствием.

«Чайка» во МХАТе прочитана О. Ефремовым как история о человеческой глухоте: духовной, нравственной, даже чисто физической. В этом спектакле все говорят, но никто никого не слушает, каждый стучится в душу ближнего как в покинутый хозяевами дом с заколоченными крест-накрест окнами. Почти пустая сцена кажется захламленной, завешанной, загроможденной до удушливости: по ней трудно пройти не споткнувшись, по ней нельзя пробежать — можно лишь вяло передвигаться. Разобщенность, говорит спектакль, нивелирует индивидуальность, делает жизнь нестерпимой. Театр окунает зал в трагическую тягостность чужой разобщенности, заставляя задуматься о собственном бытии среди людей, о собственном желании высказаться, заменившем умение выслушать.

Театр на Таганке сочинил своеобразную эпитафию трем сестрам, создав жестокий спектакль об абсурдной и, увы, бесплодной мечтательности в страшные, марширующие времена. Светлые монологи звучат «за кадром», исполняемые Качаловым, Юрским — Тузенбахами из спектаклей иных времен.

В Малом театре Б. Львов-Анохин поставил «Фому Гордеева». Знаменательно само обращение к прозе Горького этого мастера камерных спектаклей, пастельных тонов в режиссуре. Сценографическое решение спектакля сразу же раскрывает замысел: простор неба и Волги, ввинчивающаяся вверх крутая лестница, ведущая то ли к пристани, то ли к капитанскому мостику,— и действие, ютящееся под лестницей. Налицо контраст: желание героя вырваться на простор — и необходимость существовать в пригибающем пространстве. Тема неволи звучит в спектакле с первых его аккордов. Тема духовного одиночества нарастает постепенно: от сцены к сцене, от встречи к встрече все безнадежнее и яростнее нетерпение героя достучаться хоть до чьей-то души...

В самом обращении Театра имени Маяковского к роману Горького «Жизнь Клима Самгина» — свидетельство острой потребности говорить с сегодняшним залом о жизненной позиции человека не публицистикой фраз, а публицистикой поступков. Луначарский ввел когда-то в обиход термин «самгинство». Его следы можно обнаружить и в наших днях. Что и растревожило театр. Словесные излияния Самгина, внешне интеллигентного, аккуратно деловитого, ухитряющегося существовать в расколотом мире «меж двух баррикад»,— в спектакле выслушивает жандармский ротмистр. Здесь — ключ к образному решению постановки, ее скупая и жесткая смысловая точность. Показывая тип «ужа», превращающегося в опасную змею (с пресмыкающимися человекообразными такое случается), театр исследует острым горьковским глазом и жизнь самгиных наших дней.

Спектакль Театра имени Ермоловой «Василиса Мелентьева» Островского не отличается, на мой взгляд, выверенной гармонией «Клима Самгина». Но в нем есть острота идеи, которую несут со сцены исполнители ролей Ивана Грозного (этот спектакль оказался лебединой песней замечательного артиста Ивана Ивановича Соловьева) и Малюты Скуратова (Г. Энтин). Соловьев играл Грозного не личностью, а личиной: он исследовал характер человека, развращенного безграничной властью. Не суть важно, кем она дана: господом богом или концерном цветной капусты, как в «Карьере Артуро Уи» Б. Брехта. В наш век авторитарных режимов, процветающих в буржуазном мире, В. Андреевым поставлен спектакль о губительности вседозволенности власти и для того, кто ею облечен, и для каждого, кто к ней прикасается. Давними временами проиллюстрирована жестокая и, увы, не сданная в архив истории фраза: «цель оправдывает средства»...

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ

★

МИХАИЛ ЛЬВОВ

ПАМЯТЬ

Юные следопыты

Они живут во мне неслышным гимном.
М. Луконин.

Нет одиночества у ветеранов,
Они роднее всем
день ото дня.
От океанов и до океанов
Им весь народ — бессмертная родня!

Нет у погибших наших одиночества —
И школьники, их юная родня,
Живая, трепетная ребятня,
Поют, как гимн, их имена и отчества,
Их,
ставших Светом Вечного Огня.

Награды на войне

Да, страна орденов не жалела —
Благодарной рукою она
За солдатское славное дело
Раздавала награды сполна.

Орден — гордость,
и слава,
и боль же:
Сколько сложено в битвах голов!
...Все же подвигов было побольше,
Чем в Монетном дворе орденов.

Годы

1

Мне снятся уральские танки,
Солдатское наше житье.
Я снова кидаю в атаки
Звенящее тело свое.

Ничто мне не кажется страшным
И кажется ночью сквозь сон:
Проснусь молодым и
отважным —
Из тех легендарных времен.

2

Отбушевали, отпылали,
Отговорили дни мои.
Не возвратятся эти дали,
Как ни зови, как ни моли.
И — утешенье небольшое
И от сознания того,
Что все ж они —
во мне, со мною,

Да только нет
меня того.
Отбушевали, отлетели
В невозвратимые
края
Мои и маи и метели,
Короче — молодость моя.

3

Вопросы века вновь — смертельны.
Продлится ль сдержанность ракет?
Вопросы чести вновь — дуэльны.
Дороже стали — Да и Нет!

И наши судьбы — не отдельны,
Мир сообща оберегай!
А сроки мне не беспредельны,
Не безграничны берега.

ИЗ ПОЭМЫ «ГОСПИТАЛЬ»

Г. З. Балянской.

1

Солдатский госпиталь — обитель
Повоевавших за страну,
Огромный звукоуловитель
И слышал столько про войну.
Чтоб не осталось погребенным
В небытие —
так много тем,—
Сюда б ходить с магнитофоном,
Записывать рассказы стен.
Раз не приходят прозы гении,
Магнитофон вживляй в кровать,
Чтоб те солдатские трагедии
Потом — для всех —
расшифровать.
Как много слышали тут уши
Палат
и госпитальных стен.
Великие
какие
души
В палаты попадали — в плен.
И — отбивались тут от смерти.
Налеты смерти отбивать
Им помогало милосердье —
Их не спешили отпевать.
Распластанные по палатам,
Убитые и раз и два,
Как полагается солдатам,
Я слушал — с сердцем
виноватым —
Солдатской памяти слова
И слезы сдерживал едва.

Вы о себе не написали
Поэмы — ни одной главы.
И пьесами не потрясали.
Шекспиры в жизни — это вы!

2

Здесь территория Отечественной,
Но не оконченной войны —
Такие раны человеческие
В палаты эти свезены.
Невероятные ранения
И память фронтовых ночей.

Сестер бессонные радения
И труд волшебников врачей.
...И после операционной
С ее стерильной белизной
Ты засыпаешь, окруженный
Отечественною войной.

3

Здесь продолжается война,
Но — в медицинском варианте,
Рука войны во всем видна.
С врачами вместе рано встаньте,
Придите в госпиталь, сюда,
Накиньте белые халаты,
Войдите в белые палаты

Как в залы страшного суда —
И вы увидите тогда,
Что тут еще война жива,
Не все излечены раненья,
И держат души и слова
На ветеранов тут равненье:

Врачи и сестры им нужны,
Кто до сих пор, как с поля боя,
Их с материнскою любовью,
Их с медицинскою любовью
Вытаскивает
из войны.

4

Представлен...

Рассказ соседа по палате.

Перед боем
я был к офицерскому званью
представлен,
А в бою —
был убит.
И за ратные в жизни
труды
Не забыт,
а солдатской молвой
и начальством прославлен,
А за бой
я представлен
был к ордену
Красной Звезды.
А потом уже, кажется,
был я представлен
и господу...
(Подобрали меня
санитары другого
полка.)
Но меня
отобрал у него
всемогущий
наш госпиталь
И решил оживить —
был я нужен
на фронте пока.
Восемь суток
врачи
продолжали
мое оживленье.
Получила несчастная
мать
в городишке родном
И одно —
с присвоением звания мне
поздравленье,
И другое —
пришла на меня
похоронка потом.
Возвратился
я сызнова в жизнь...
«Ограниченно годен»...
Через многие годы
меня и бумаги
нашли,
Пригласил военком —
мне вручили посмертный
мой орден.
Я — обычный солдат.
Ты в тетрадь
про меня не пиши.

5

Наши раны видны.
Мы — руины войны,
Человеческие руины,
Человеческие обломки.
Только в книгах —
для них — старинных
Нас увидят потом
потомки.
И грядущих годов
археолог
Разберет,
где прошел
осколок,
Где там
очередь
врезал ас.
Изваяет
ваятель
нас.
Перед будущими людьми
Воплощеньем
Добра и Любви —
Мы, как боги,
тогда предстанем,
Быть руинами
перестанем.

Друзьям

(Тост)

Пишу — всю жизнь, не требую «простоя»,
А требую пространства и простора.
И все — за жизнь!
Не «бодрячок» в годах —
Такому объяснение простое:
Штурмуя неоткрытое, и строя,
И принимая все удары стоя,
Стремясь и стать некрайними в рядах —
Быть первыми в открытьях и трудах,
Тогда себе мы задали Такое,
Что кончится не в наших временах.
Мы отвергали многое с порога!
Печаль? Не к месту! Грусть или нытье?
Себя мы этим грабили немного,
И все ж — все это обрывали строго,
И Главное — мы делали свое,
И выдавали зримо Громадье.
... Все та же продолжается дорога,
И сердце продолжается мое.
Оно хранит настрой первоначальный,
Из прошлого в грядущее летя.
Оно звенит — не звон стекла хрустальный,
Звенит — об Жизнь, о ближний Край и Дальний,
Где домны как бокал индустриальный,
Об этот мир — прекрасный и реальный,
И радуется — чисто, как дитя,
Физически не молодо хотя.
1983.

МИХАИЛ НАЙДИЧ

Уцелевший

«А! Попятились!» —
вслед вражьим танкам
Послан был и последний снаряд...
Уцелевший боец стал подранком,
Но глаза —
поглядите — горят!

Он в лесу был. Один.
Будто леший.
А костры догорали вдали.
Он потряс кулаком побелевшим:
«Что? Дошли до Москвы?
Доползли?»

Он сквозь слезы глядел
на опушку
И подбитые танки считал...
У своей скособоченной пушки,
У примятого крепко щита
Он и горд был
и даже напуган,
По-мальчишески строен и мал.

И доверчиво так,
будто друга,
Остывающий ствол обнимал.

***

Поле было в белых бугорках,
А перед атакой —
было ровным.
Цепью негустой пошли солдаты
С трехлинейками
наперевес;
Красная сигнальная ракета
Рассыпалась,
задевая лес,
Оставляя хвост нечеткий дыма...
Вот и все.
А так необходимо
Было до окопов добежать,
Добежать и в ход пустить
гранаты —
Падали. И, словно виноваты,
В чем — незнамо,
слизывали снег.
Затихали... Санитары к ним
Подползали и вздыхали горько:
«Тут уж не помочь!»
И падал снег.
Падал снег и падал.
И под вечер
Поле было в белых бугорках.
Поле было. В белых. Бугорках.

За рекой

Глянь на солнышко
из-под руки —
Вон березы стоят, поле выбелив.
За Донцом за рекою — враги,
Мы пока их оттуда
не выбили.
Скоро выбьем!
Есть все-таки долг
И пружиною сжато терпение...
Просыпается утречком полк
От веселого птичьего пения.
Все пройдет...
На другом рубеже
Вспыхнут памяти давней
отметины —
И со смешанным чувством
в душе
Мы припомним
июль сорок третьего:
«Как вы пели красиво, дрозды!
Вам тогда
даже дождики вторили!
Как вы пели красиво, дрозды,
За рекой, на чужой территории».

СОФЬЯ ПЕТРЕНКО

Два стихотворения

***

Ах, какая случилась радость!
Я живою вернулась с войны
И теперь по Литейному мчалась,
Всем и каждому улыбалась
Под капель — перезвон весны.

Только вдруг осторожною стала,
Бесшабашная! Вот те на!
И с оглядкой от стен отступала —
Как бы вывеска не упала
Иль цветочный горшок с окна.

Предо мной не апрельской наледью
Расстелилась незнамо куда,
Самобранной широкой скатертью
Жизнь —
а я перед ней молода!..

* * *

Ни бой, ни марш, ни караульный пост,
Ни воинские будни полевые
Не пригасили блеск далеких звезд,
Не притупили запахи лесные.

Сноровка долгая армейских лет
Всегда со мной в пути нелегком новом.
Все ж жизни соль и радостей основа —
Души доверчивость и материнства свет.

АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ

★

О ПРОПОРЦИЯХ

Все на свете русские бревна,
что на избы венцовые шли,
были по три сажени — ровно
миллионная доля Земли.

Непонятно, чего это ради
мужик в Вологде и Твери
чуял сердцем мильонную радиуса
необъятно всеобщей Земли?

И кремлевский собор Благовещенья
и жемчужина на Нерли
сохраняли — мужчина и женщина —
две мильонные доли Земли.

И как брат их березовых родин,
гениален на тот же размер,
Парфенона дорический ордер
в высоту шесть саженей имел.

Научились бы, умиленно-
пасторальные кустари,
соразмерности с миллионной
человечески общей Земли!

Ломоносовскому проспекту
не для моды ведь зодчий Москвы
те шестьсот тридцать семь сантиметров
дал как модуль красы и любви.

Дай, судьба, мне нелегкую долю —
испытанья любые пошли —
болью быть и мильонною долей
и моей и всеобщей земли.

1983.

МАТЬ

Я отменил материнские похороны.
Не воскресить тебя в эту эпоху.

Мама, прости эти сборы повторные.
Снегом осело, что было лицом.
Я тебя отнял у крематория
и положу тебя рядом с отцом.

Падают страшные комья весенние
Новодевичьего монастыря.
Спят Вознесенский и Вознесенская —
жизнью пронизанная земля.

То, что к тебе прикасалось, отныне
стало святыней.
В сквере скамейки, Ордынка за ними
стали святыней.
Стал над березой екатерининской
свет материнский.

Что ты прошла на земле, Антонина?
По уши в ландыши влюблена,
интеллигентка в косынке Рабкрина
и ермоловская спина!

В скрежет зубовой индустрий и примусов,
в веке, замешенном на крови,
ты была чистой любовью, без примеси,
лоб-одуванчик, полный любви.

Ты — незамеченная Россия,
ты охраняла очаг и порог,
беды и волосы молодые,
как в кулачок, зажимая в пучок.

Как же ты сможешь, как ты там сможешь,
там без родни?
Носик смешливо больше не сморщишь
и никогда не поправишь мне воротник.

Будешь ночами будить анонимно.
Сам распахнется ахматовский томик.
Что тебя мучает, Антонина,
Тоня?

В дождь ты стучишься, ты не простудишься,
я ощущаю присутствие в доме.
В темных стихиях ты наша заступница,
Тоня.

Рюмка стоит твоя после поминок.
С корочкой хлебца на сорок дней.
Она испарилась наполовину.
Или ты вправду притронулась к ней?

Не попадает рифма на рифму,
но больше не знаю я связи с тобой!

Жизнь оборвалась. Стою у обрыва,
малая часть твоей жизни земной.

«Благодарю тебя, что родила меня
и познакомила этим с собой,
с робким присутствием идеала,
что приблизительно звали —любовь.

Благодарю, что мы жили бок о бок
в радости дня или ужасе дня,
робкой любовью приткнувшийся лобик —
лет через тысячу вспомни меня».

Я этих слов не сказал унизительно.
Кто прочитает это, скорей
матери ландыши принесите.
Поздно — моей, принесите — своей.

ЮЛИУ ЭДЛИС

★

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ

Чип умер двенадцати лет, от старости.

Отец купил его Ольге ко дню рождения в тот год, когда она пошла в школу, а когда Чип умер, Ольга перешла на третий курс медицинского.

Однако на самом деле Чип умер в более преклонных летах: отец купил его в зоомагазине на Кузнецком уже достаточно зрелым кенаром, обученным множеству колен и трелей, а ведь это дается только временем. Но в семье все равно возраст Чипа исчисляли с того самого Ольгиного дня рождения, когда он появился в доме.

Впрочем, если смотреть в лицо непреложным фактам, то и семьи к тому времени никакой уже не было и никакой это был не подарок, а замаливание греха, жалкая попытка улестить собственную совесть.

Дело в том, что за два месяца до этого отец ушел из дома.

Но об этом — ниже.

В доме остались четверо: Ольга, мать, бабушка — мамина мама — и парализованный после инсульта, недвижимый и безгласный дед — бабушкин муж. И хотя в трехкомнатной квартире у Ольги была отдельная, девятиметровая, комната, Чипа поселили у бабушки — она настояла на этом из боязни, что ночами Чип будет мешать девочке спать. На самом же деле бабушке жилось очень тоскливо и одиноко, хотя рядом на своей длинной и узкой железной кровати лежал больной дед. Но своей немотой и полнейшей отрешенностью он только усугублял бабушкино одиночество.

Бабушка прожила с дедом целую жизнь и всю жизнь любила его, и теперь она никак не могла привыкнуть к мысли, что этот парализованный, изменившийся до неузнаваемости и, собственно, чужой старик — тот самый человек, с которым она прожила столько нелегких, но, как ей теперь казалось, беспечальных, добрых лет, с которым она играла в молодости в любительских спектаклях в Народном доме Казанской железной дороги, где они оба служили — он инженером-путейцем, она телеграфисткой, — и который нет еще и года как, идучи домой по Разгуляю, вдруг грохнулся средь бела дня наземь и пролежал в декабрьском грязном снегу не менее часа, пока его не забрала вызванная кем-то из прохожих «скорая» в Басманную больницу, откуда его через полгода выписали вот этим новым, незнакомым и чужим стариком.

Чип скрашивал бабушкино одиночество в те долгие ночные часы, когда она чувствовала себя никому не нужной.

Со временем бабушке стало казаться, что она научилась по-своему толковать щебетание Чипа в ответ на ее сетования или просто будничные замечания насчет погоды, здоровья или отсутствия понимания со стороны дочери и внучки.

Иногда она даже беседовала с Чипом как бы на равных.

Все очень страдали от ухода отца, особенно же он сам. Он ужасно мучился собственной унизительно-неразрешимой виной, ведь он был добрый и совестливый человек, до бессильных слез любивший дочку и, как это ни странно звучит при сложившихся обстоятельствах, чрезвычайно привязанный к семье и дому. Вполне возможно, что и ушел-то он единственно потому, что не мог изо дня в день прикидываться и лгать себе и всем и этой ложью унижать в собственной душе свою любовь к дочери и семье. В том числе и к матери — к бывшей своей жене.

Чувство неотмолимого греха не отпускало его ни на день, ни на час, но, как это ни странно, этот тяжкий душевный груз был вместе с тем непостижимым каким-то образом сладостен и даже, если угодно, мучительно-милосерден, ибо, как казалось самому отцу, он-то и оставлял хоть какую-то надежду на прощение или хотя бы на искупление вины.

Пусть не сейчас, не сразу, но когда-нибудь в будущем.

И отец и мать старались всячески уберечь Ольгу от травмы, от унизительного, как им казалось, понимания того, что произошло в семье. Но она, несмотря на свои семь лет, все понимала, пусть и не умом, а одним сердцем.

Не исключено, что в семь лет это одно и то же — ум и сердце. Потом, правда, это проходит и ум и сердце начинают жить порознь.

Родителям же от сознания того, что, оберегая дочь от травмы, они и сами стали выше дрязг, пошлых, оскорбительных сцен и взаимных попреков, — от сознания этого им становилось чуть легче на душе.

Во всяком случае, уже не так важно было, что о них думают и как все это выглядит со стороны.

Итак, Чип поселился у бабушки в комнате. На ночь клетку накрывали старой скатертью и убирали на шкаф. Чип, пошуршав в темноте крыльями, умолкал и до самого утра не подавал голоса.

И лишь дед, у изголовья которого на всю ночь оставляли бледный ночник, не спал и, мыча про себя что-то нечленораздельное для других, но полное глубокого смысла для него самого, косился красным, налитым кровью после инсульта глазом в сторону шкафа, и было ясно, что Чипа он не любит и ревнует к нему бабушку.

Кроме Чипа и бабушки, никто в эту комнату, собственно, и не заходил: матери было некогда — работа, магазины, дом, а потом, когда Ольга пошла в школу, уроки с нею, ну и, само собою, спасительные, как хватание за последнюю соломинку, разговоры с приятельницами по телефону далеко за полночь; Ольге же и вовсе было не велено сюда ходить — считалось, что своим мычанием и налитым кровью глазом дед может ее напугать. Но Ольга боялась не деда с его красным глазом и неопрятной, колючей седой щетиной на лице, а запаха залеженного тела, спертого воздуха, лекарств, судна, в которое дед ходил, — нечистый этот запах болезни и безнадежности страшил ее больше, чем сам дед.

Днем, а именно на то время, которое Ольга, вернувшись из школы, приготовив уроки и погуляв час-другой во дворе, проводила в своей комнате, бабушка переносила Чипа от себя к ней. В Ольгины обязанности — в этом взрослые видели некий особый педагогический умысел — входило убирать Чипину клетку, насыпать в кормушку свежее конопляное семя и менять в блюдце воду.

Поначалу Чип занимал и даже поражал Ольгу, она подолгу зачарованно следила, как он ест, как чистит клювом перышки или почесывает лапкой шею, как пьет, запрокидывая голову и булькая в горле водой, или же как, склонив ее набок, косит золотисто-шоколадной бусинкой глаза, переводя взгляд с предмета на предмет мелкими, дергающимися рывками, словно заводная игрушка. Либо же слушала, как он, прочистив горло, выводит свои коленца и рулады и, закон-

чив музыкальную фразу или внезапно оборвав ее на неразрешенном гармоническом перепутье, тем же мигом уронит головку набок, словно критически и даже недоверчиво прислушиваясь к отзвуку своего пения в воздухе.

Но через несколько месяцев Чип не то чтобы ей надоел, просто уже ничего нового, неожиданного она в нем больше не обнаруживала, да и уроков задавали все больше, времени стало не хватать не то что на Чипа, но даже на то, чтобы погулять во дворе («девочка совершенно лишена кислорода»,— привычно сетовала мать), и в итоге так вышло, что Чип окончательно и безвыездно остался жить в бабушкиной комнате, прожил там всю жизнь и пережил деда, и бабушку, и Ольгины детство и юность.

Двенадцать лет для пернатых — это все равно что для человека сто. Девяносто как минимум. А и деду и бабушке далеко не было девяноста, когда они умерли.

Под старость Чип поседел. Его перья и особенно пух на груди и брюшке стали белесыми, будто поросли печальной плесенью. А в молодости он был до того желт, едко-лимонно желт, просто-таки химически едко, что у Ольги, когда она долго на него смотрела, пощипывало глаза, как от запаха дедовых лекарств.

Иногда Ольга задавалась вопросом — что думает Чип по поводу всего, что творится в доме? И вообще?

Бабушка утверждала, что вполне понимает не только щебетание и пение кенара, но и даже читает его мысли. Ну пусть не мысли в общепринятом, человеческом, так сказать, смысле слова, но то, что у Чипа есть свое вполне сложившееся и определенное отношение к миру (невзирая на то, что, казалось бы, этот мир ограничен для него стенами одной лишь комнаты или, более того, даже прутьями клетки),— в этом бабушка нисколько не сомневалась.

Как бы там ни было — имел ли Чип свою точку зрения на происходящее или не имел,— но волею обстоятельств, или, если угодно, судьбы, он стал свидетелем и даже, не побоимся этого слова, участником всех событий, которые имели место в доме и семье на протяжении двенадцати лет.

Целой птичьей жизни.

Впрочем, человеческий век тоже довольно-таки короток.

Когда родилась Ольга, отцу с матерью было по двадцать четыре года, они были однолетки. Подросши, она никак не могла взять в толк, каким это образом ее вполне еще молодые родители помнят и даже лично видели такое невообразимо давнее, совершенно для нее уже историческое событие, как война.

Помнили они, конечно же, не самое войну, а лишь эвакуацию, бесконечную холодную дорогу в теплушках, скудную жизнь в скученных и настороженных чужих городах, продуктовые карточки, страх, которого не было страшнее, потерять их в хмурых, серых очередях и — совсем уже далеко и нечетко, на самом краю детской их памяти,— надсадный вой воздушной тревоги и веселые, игривые белые облачка зенитных разрывов в беззащитно-ясном московском небе первых месяцев войны.

Тем не менее отец и мать почти с гордостью считали себя детьми той войны, и Ольга часто ловила их на том, что, когда они смотрят по телевизору фильмы про войну, особенно документальные, или даже просто слушая «Войну народную», или «Этот день Победы», или песню из «Белорусского вокзала», у них увлажняются глаза и светлеют лица и они, пряча друг от друга эти слезы, сопят и шмыгают носом.

Чип же, когда по телевизору показывали фильмы про войну и раздавались громкие (бабушка с годами стала терять слух, и телевизор приходилось включать на полную громкость) взрывы и стрельба, беспокойно метался по клетке, перелетал с жердочки на жердоч-

ку, опрокидывая блюдце с водой, и жалобно, словно взывая о милосердии, пищал. Но стоило накинуть на клетку скатерть, как он тут же успокаивался.

Зато музыкальные фильмы он смотрел, или, точнее, слушал, с несомненным удовольствием, уронив как бы в сладостной истоме голову набок. Бабушка утверждала, что, прослушав музыкальную передачу, Чип тут же пытается воспроизвести ту или иную мелодию. В его пении бабушка отчетливо различала заимствования или вариации на темы различных выдающихся композиторов, от классиков до наших современников.

Уйдя с Казанской железной дороги, бабушка в тридцатые и сороковые годы, в том числе и всю войну, работала на Центральном телеграфе, но в любительских спектаклях уже не участвовала.

Дед объяснял бабушкину измену любительскому театру ее, как он безжалостно выражался, погрязанием в тине быта. При этом он сознательно или бессознательно упускал из виду, что вслед за бабушкой, и, кстати, очень вскоре, он тоже отказался от сценической карьеры, пусть даже и любительской.

В отличие от бабушкиного ухода из мира изящных искусств свой собственный добровольный уход он обосновывал соображениями сугубо художественного порядка. Даже, если угодно, философского.

Дело в том, что дед напрочь и даже с каким-то сладострастным остервенением отрицал драматургию Чехова, Андреева, Горького, не говоря уж о тех, кто объявился после них. Для него русский театр начинался и кончался одним Островским.

Бабушка не без ехидства объясняла этот дедов ригоризм тем, что в пору его увлечения сценой дед имел наибольший и, собственно, единственный успех на Казанской железной дороге в заглавной роли в «Красавце-мужчине» Островского, все же остальные созданные им на подмостках образы проваливались с неизменной последовательностью.

Дед, если верить сохранившимся старым фотографиям — блеклая кофейно-коричневая печать на просторных паспарту из толстого, добротного, какого уже давно не делают, картона с золотым тисненым вензелем фотографического ателье где-нибудь на Кузнецком или, скажем, на Арбате,— на этих старых фотографиях дед и вправду был очень красив и, судя по самоуверенному и даже чуть надменному выражению лица, знал за собой эту красоту и, скрестив на груди руки с наследственно длинными и слабыми пальцами, глядел с карточки чрезвычайно неприступно.

Считалось, что инсульт и, как следствие инсульта, паралич и полная неподвижность (впрочем, вначале не полная — первые два или даже три года дед передвигался самостоятельно по комнате, опираясь на палочку и волоча правую ногу) имели причиной его приверженность к вину.

Действительно, последние лет десять, предшествовавшие инсульту, дед был склонен к этой слабости. Пил он, правда, не водку, а недорогой, цвета химических чернил портвейн и мадеру, а также еще не исчезнувший из продажи в те годы кагор. Пил он дома, один, сидя у окна и глядя насупленным, недобрым взглядом в тесный двор дома на Разгуляе — тогда вся семья еще жила в одной комнате старой коммунальной квартиры. Пил он, как сам не без чувства собственного достоинства объяснял, по-старинному, как то и подобает интеллигентному человеку, а именно — был постоянно, с самого утра, особенно как вышел на пенсию, не пьян, но и не трезв. В этом состоянии он становился раздражителен и агрессивен. Хотя при всем этом оставался в пределах приличий и даже подчеркнутой вежливости по отношению к домашним, но эта нарочитая, высокомерная благовоспитанность была для них тягостнее, чем откровенное пьяное тиранство.

Впрочем, Чипа в доме тогда еще не было и по поводу дедова печального порока и едкого характера он не мог иметь сколько-нибудь определенного мнения.

Когда, через сколько-то лет после смерти деда, Ольге впервые разрешили за праздничным столом попробовать красного вина, ей пришло в голову, что оттого-то и был таким красным, налитым кровью дедов неживой глаз, что пил он всю жизнь красное вино.

Но из всего вышесказанного вовсе не следует, что деда в семье терпели с трудом или, того хуже, не любили. Или что он, безусловно, не любил Чипа.

Правда, последнее никогда уже с полной точностью установить не удастся.

Отец относился к Чипу далеко не ровно. С одной стороны, как уже отмечалось, когда он принес его Ольге и увидел Ольгины широко распахнутые от восторга и счастья глаза и чуть потеплевшие, чуть смягчившиеся глаза матери — к тому времени его уже, соответственно, бывшей жены, — ему поверилось, что рано или поздно вина его и грех будут если и не забыты и прощены, то хоть станут не так неумолимы; с другой же стороны, Чип был как бы постоянным напоминанием об этой его вине и более чем что-либо другое свидетельствовал, что нечего строить по этому поводу прекраснодушных и, по правде говоря, совершенно тщетных иллюзий.

Вот почему, приходя к Ольге, отец не мог без душевного смятения и тоски глядеть на Чипа и слышать его фиоритуры.

Считалось, что отец «влип».

Слово это — «влип» — как простейшее и все приводящее к общему знаменателю объяснение пришло в дом извне, а именно — от ближайшей материной подруги Регины.

Чипа Регина не любила из глубоко принципиальных соображений. Она вообще считала, что брать от отца какие бы то ни было подарки (она говорила «подачки») — предел унижения собственного (имелось в виду материного) достоинства.

Дело в том, что в свое время Регинин муж тоже «влип», и ее не знающая удержу принципиальность произросла на горькой почве собственного опыта.

Эта недвусмысленная и не оставляющая никакой лазейки формулировка — «влип» — была безупречна тем, что с порога отметала самое предположение о возможности какой бы то ни было любви, страсти, душевного тяготения и прочего в этом роде. Следовательно, все происшедшее можно — и должно! — объяснить лишь нравственной слепотой отца, с одной стороны, а с другой — расчетливой порочностью той, которая его увела от матери.

Таким образом, преступление отца как бы несколько умалялось отсутствием заранее обдуманного злостного намерения, а отсюда просто-таки логически вытекало, что, открыв ему глаза на неприглядную правду, его можно (и должно!) спасти, вырвав из хищных лап совратительницы, и вернуть в лоно семьи, но при этом не прощать, никогда и ни при каких обстоятельствах не прощать! — напротив, денно и нощно напоминать ему о его вине, тыкать в нее мордой (еще одна выстраданная всей жизнью формулировка Регины), чтобы до конца своих дней он покорно и униженно ее искупал.

Похоже, единственно с этой целью отца и следовало вернуть в лоно.

Будет ли лучше и покойнее от этого кому бы то ни было — в том числе хотя бы и самой матери, — Регину совершенно не занимало: справедливость должна восторжествовать любыми средствами и любой ценой.

Считалось, что Регина — «цельная натура».

Чип Регину тоже не жаловал и замолкал всякий раз, как она приходила в дом.

А она называла его всегда только в третьем лице — «эта птица».

Ольге же Чип, особенно в молодые его годы, напоминал соловья из андерсеновской сказки. Причем не того настоящего, живого, а другого — искусственного. Чип и вправду был почти ненатурально красив: празднично-желтая, блестящая от ежедневных купаний в блюдце с водой грудка, отливающие медью или даже, если угодно, чистейшим золотом спинка и крылья, бледно-коралловые хрупкие лапки с растопыренными перламутровыми коготками. Несомненно, все эти несколько вычурные и даже, может быть, выспренние сравнения тоже пришли из андерсеновской сказки.

Но главное в Чипе были его глаза-бусинки, поразительно осмысленные и пытливые.

А если прибавить к этому его пение, этот сокрытый в его груди нежнейший органчик, способный извлекать такие колоратурные изощрения, такое пленительное бельканто, то невольно приходило в голову, что он весь — произведение высокого вдохновения великого мастера, а не слепой игры природы.

Итак, как уже отмечалось выше, отец «влип».

Когда это случилось, мать по совету той же Регины ограничила общение отца с Ольгой одним разом в неделю, по пятницам от трех до шести.

Но драконовский, как он был задуман, этот распорядок продержался недолго.

Во-первых, именно по пятницам нередко отец бывал занят, либо же, наоборот, мать оказывалась как раз в эти часы дома, а весь смысл этого графика заключался единственно в том, чтобы они не встречались.

Во-вторых, отец частенько забывал о времени и задерживался, и мать, вернувшись с работы, заставала его, и ей ничего не оставалось как, демонстративно хлопнув дверью, запереться у себя в комнате.

В-третьих, позже, когда Ольга училась уже в четвертом классе, в шестом, в седьмом, отец занимался с ней математикой, физикой и прочими противопоказанными неокрепшему детскому уму отвлеченными науками и засиживался допоздна.

Одним словом, со временем повседневная, все перемалывающая, все переиначивающая на свой живой лад жизнь стала брать свое, и отец уже чуть ли не через день, и даже без звонка, приходил в прежний свой дом.

А впоследствии случалось подчас и так, что они весь вечер проводили втроем (отец, мать и Ольга) или даже вчетвером (отец, мать, Ольга и бабушка), пили на кухне чай с бабушкиными оладьями с клубничным вареньем и смотрели по телевизору фигурное катание, «Клуб кинопутешествий» или еще что-нибудь такое, от чего нельзя оторваться.

Кстати, забота о корме для Чипа лежала на отце. В зоомагазинах на Кузнецком или на Арбате не всегда бывало в продаже конопляное семя или канареечная смесь, и отцу приходилось ездить на птичий рынок, к черту на рога, и он клял про себя все на свете.

Аппетит у Чипа был завидный, но более всего он любил мелко-мелко нарезанную свежую морковь. Бабушка где-то прочла, чуть ли не в «Науке и жизни», что именно морковный витамин более всего необходим птицам в неволе. Ольга же терпеть не могла сырую морковь.

Впрочем, Чип не был свободен в выборе. Никто и никогда ему не предлагал, скажем, хрустящий картофель в целлофановом пакетике или, к примеру, изюм в шоколаде.

Конфеты и картофель приносил Ольге отец. Мать, особенно вначале, была этим крайне недовольна: дома девочку кормят простой и здоровой пищей, какую едят все нормальные дети, а отец пичкает ее бог знает чем, и получается, что каждый его приход превращается

для Ольги в этакий, видите ли, праздник, а дни с мамой и бабушкой — серые будни!

Отец безропотно с ней соглашался, но хрустящий картофель и изюм, или орехи в шоколаде, или хоть те же бананы, торт «Прага» и пепси-колу приносить продолжал.

Кстати говоря, однажды в отсутствие бабушки отец с Ольгой дали Чипу поклевать орехов в шоколаде. Мигом с ними разделавшись, он долго и скандально требовал еще, и ничего такого с ним не случилось.

И хотя Чип не заболел, бабушка никогда не могла простить Ольге и особенно отцу этого случая и даже когда много времени спустя Чип сломал левую лапку, она с непреклонной убежденностью связывала этот несчастный случай с теми давними орехами в шоколаде.

Но об этом — ниже.

Дед был интеллигентом, как он сам утверждал, не то в четвертом, не то в пятом колене, а бабушка происходила непосредственно от кустаря-гравера, делавшего до революции и некоторое время спустя памятные надписи на внутренней стороне крышек серебряных и золотых карманных (других, наручных, тогда, собственно, и не было) мужских часов фирм «Лонжин» и «Павел Буре», а также на подстаканниках и, реже, на столовом серебре.

Сама же бабушка в юности работала в дорогом магазине игрушек и всяческих сувениров, а попросту говоря — всевозможных безделушек, принадлежащем дальней ее богатой тетке, на бывшей Тверской.

Эта бабушкина тетка приходилась в свою очередь еще более дальней родственницей известному московскому купцу и владельцу фабрики золотой канители К. С. Алексееву. Впрочем, он был более известен под фамилией Станиславский и вошел в отечественную историю как великий реформатор русской — и не только русской — сцены.

Так что, работая в магазине тетки и частенько бывая и даже временами живя в ее доме, бабушка уже в ранней юности не раз и не два, по ее словам, даже общалась и с самим Константином Сергеевичем, и со многими прочими корифеями тогдашнего властителя дум, а именно — Московского общедоступного художественного театра.

Не отсюда ли проистекало раннее и столь сильное увлечение бабушки, а затем и деда, сценой, пусть даже и любительской?

От дедовых родных и предков — земцев, земских врачей, приват-доцентов и инженеров-изыскателей, прокладывавших в конце прошлого и начале нынешнего века первую Байкало-Амурскую железную дорогу, от их библиотек, собраний гравюр, картин и автографов знаменитых современников, от ореховой, обитой вытертой от времени кожей кабинетной мебели, писем, девичьих стыдливо-потаенных дневников и переписанных от руки в альбомы в темно-вишневых бархатных переплетах стихов Надсона и раннего Блока или Северянина и несложных фортепьянных пьес Скрябина и Стравинского — от всего этого ничего или почти ничего не сохранилось, не дошло до наших дней. А вот от прадедушки-гравера и его жены, Ольгиной прабабки, не говоря уж об упомянутой выше бабушкиной тетке,— от них, как это ни странно, осталось и пережило две, а то и три русских революции и уж никак не менее двух мировых войн бесчисленное множество разнообразнейших вещей и вещиц, заполнявших до самой бабушкиной смерти все полки, полочки, висячие шкафчики и высокие, черного, облупившегося местами лака тумбы в ее комнате.

Почему-то история необычайно и даже, если угодно, капризно, чтоб не сказать — слепо, избирательна в смысле того, что она оставляет и чего не оставляет в наследие грядущим поколениям на пепелищах великих переломов и смутных времен.

Бабушкина комната была битком набита фарфоровыми и фаянсовыми фигурками собачек всевозможнейших пород и мастей, жеман-

ных пастушек, маркиз в пудреных париках, пьеро, коломбин и печальных арлекинов, счастливых поселян и поселянок с розовыми щечками и васильковыми глазками, а также целой толпой пай-мальчиков в коротких бархатных штанишках и курточках, с белыми отложными воротниками («маленькие лорды фаунтлерои» — непонятно для Ольги называла их чохом бабушка). У многих из них исторические потрясения поотшибали носы, тонкие, хрупкие пальчики, а некоторым даже головы, и они так и стояли, беспалые и обезглавленные.

Время, как уже отмечалось, кажется, выше, не знает ни пощады, ни милосердия.

Кроме изделий массового, как бы мы сейчас сказали, производства из фарфора и фаянса начала века (именно так, кстати, и назывался этот несколько лениво-изнеженный и даже упадочный эклектический стиль, а точнее — «модерн начала века», хотя, к слову сказать, по-французски тот же стиль называется fin de siècle — конец века, что по зрелому размышлению лишний раз убедительно доказывает полнейшую относительность всех общепринятых систем координат и точек отсчета) — кроме них, на полках и за зеркальным стеклом огромного бабушкиного букового буфета (резьба по дереву: подстреленные утки с бессильно свисающими вниз головами на неестественно длинных шеях, ягдташи, патронташи, голова вепря с ощеренными клыками и прочий охотничий аксессуар) было еще превеликое множество коробочек и шкатулок из сандалового дерева, по сей день пахнущих тепло и нежно то ли самим старым деревом, то ли едва уловимым, тревожащим память запахом далеких, невозвратно канувших времен; зеленые, на высоких изящных ножках, два бокала старинного венецианского стекла; бронзовые или под бронзу настольные лампы в виде обнаженных наяд и артемид с колчаном со стрелами на боку, на которые вместо былых абажуров с фестончиками и оборками были нахлобучены совершенно неподходящие самодельные колпаки из дешевого ситца; морские раковины с матово-розовым светящимся нутром, в котором, если приложить их к уху, все еще неистовствовал тропический океанский прибой, неизменно напоминавший бабушке Вертинского: «В бананово-лимонном Сингапуре...»

А еще в бабушкиной комнате на круглом столе, покрытом с тех пор, как заболел дед, не старинной камчатной скатертью с тяжелой бахромой по краям, а обыкновенной клеенкой в крупную клетку, стояло лубяное лукошко и в нем празднично-пестрые яйца: стеклянные — зеленые и синие, приятно-прохладные даже на вид, празднично расписанные деревянные и просто оставшиеся с прошлой и даже позапрошлой весны обыкновенные крашенки.

Более всех в семье любил эту не такую уж древнюю с исторической точки зрения старину не кто иной, как Чип.

Дело в том, что в первые годы жизни Чипа в доме его выпускали полетать по комнате. Самое странное, что эта идея принадлежала именно бабушке. Странно потому, что, скажем, к Ольгиной свободе и самостоятельности бабушка относилась куда более сурово: вплоть до четвертого класса бабушка неукоснительно провожала Ольгу в школу, хотя та находилась в двух шагах от дома и улица была тихая, с односторонним движением; более того, даже во дворе Ольге разрешалось гулять исключительно под бабушкиным присмотром, и именно бабушка с достойным удивления упорством сопротивлялась, к примеру, покупке велосипеда или коньков — зимою во дворе заливали водой баскетбольную площадку и ЖЭК даже нанял, правда, за счет родителей, тренера по фигурному катанию.

А вот Чипа бабушка поначалу выпускала почти ежедневно из клетки, предварительно закрыв наглухо дверь на балкон и все окна и форточки, чтобы он не улизнул на улицу.

Чип с нескрываемым восторгом, мелко и шелковисто шурша на лету лимонно-желтыми крыльями с более светлой, почти белесой изнанкой, совершал облет бабушкиной комнаты.

Вот тут-то и обнаружились его художественные, чтоб не сказать — эстетические, пристрастия: он садился исключительно на головы пастушек и фаунтлероев, отдавал должное экзотическим раковинам и, если буфет оказывался случайно открытым, венецианскому стеклу, но с совершеннейшим пренебрежением относился к предметам современного обихода, даже если это был бюстик Бетховена или фигурка гоголевского Собакевича, изготовленные, к слову сказать, из того же фаянса.

Впрочем, о вкусах не спорят, даже если речь идет о вкусах молодого, мало что успевшего повидать в жизни, да к тому же и воспитанного в неволе кенара.

Кстати говоря, самое время и место упомянуть без ложного стыда или ханжеского лицемерия, одной нелицеприятной правды ради, что до конца Чиповых дней пол его так и не был установлен с достаточной степенью точности. Утверждение отца, будто высокое искусство пения под силу только кенарам, то есть особям исключительно мужского пола, ни в Большой Советской Энциклопедии, ни у Брокгауза и Ефрона подтверждения не получило, а специальной литературы по орнитологии в доме не было.

Жертвами предрасположенности, точнее, пристрастия Чипа к модерну начала века, или, как уже отмечалось выше, fin de siècle, стали два старинных — к счастью, не те, венецианского стекла, а обычные хрустальные — бокала и групповая фарфоровая композиция, изображавшая счастливое пейзанское семейство. Композиция упала на пол, и многодетная семья еще недавно таких беспечных поселян оказалась расчлененной в прямом и фигуральном смысле слова: мать лишилась любимых чад, а все вместе — отдельных частей тела.

Склеить эту фарфоровую идиллию отказались даже в специальной мастерской на Красной Пресне.

В этих хранившихся в бабушкиной комнате совершенно, казалось бы, бесполезных безделках для Ольги с самого детства как бы таилась какая-то живая, но позабытая, щемящая тайна.

Когда Чип возник в доме, дед уже был безнадежно прикован к постели. Впрочем, это только так говорится — прикован к постели. Он действительно большую часть времени проводил на своей длинной и узкой кровати, к тому же очень высокой, так что даже дед при своем довольно-таки внушительном росте, сидя на ней, едва доставал пятками до пола, но раза два или три на дню его высаживали в кресло. Это было дачное кресло из дюралевых гнутых трубок и натянутой на них толстой шершавой парусины. Отец приделал к ножкам четыре колесика на подшипниках, кресло стало, как выразилась Регина, мобильным.

Когда деда высаживали в кресло и он сидел в нем, скособочившись на правую, больную, сторону, бабушка про него совершенно серьезно говорила «дед гуляет».

А Чип, бывало, летал в это время по комнате.

Деда плотно укутывали до самого подбородка одеялом, края которого еще и подтыкали под него с боков, как будто от взмахов Чиповых крыльев в комнате возникал такой сквозняк, что дед мог простудиться.

Поначалу, когда Чип только осваивал бабушкину комнату, в нее набивалась вся семья поглядеть на это зрелище.

Бабушка садилась на дедову кровать, и ее ноги, крошечные, тридцать третьего размера (обувь она себе покупала в мальчиковом отделе «Детского мира»), совсем по-детски болтались в воздухе.

Мать с Ольгой на коленях устраивалась на стуле у двери.

Отец при полетах Чипа присутствовал не более двух или трех раз, стоял, прислонясь спиной к дверному косяку, этаким бедным родственником. Едва ли есть нужда напоминать, что отец в это время уже не жил в доме, а лишь приходил навещать Ольгу. Впрочем, не уйди отец из дома, не испытывай он горькую потребность в искуплении своей вины, очень может быть, что Чип и вовсе бы тут не появился.

Но со временем это зрелище, как, впрочем, и всякое другое, всем приелось, мать и Ольга перестали приходить в бабушкину комнату, да и сама бабушка, выпустив Чипа из клетки, теперь занималась своими делами либо и вовсе уходила на кухню к плите и готовке.

И Чип летал один по бабушкиной комнате.

Впрочем, в комнате оставался еще дед. Но, судя по поведению Чипа, он деда совершенно не замечал, во всяком случае вел себя так, будто того можно было не принимать в расчет.

Что же касается деда, то он не сводил с Чипа взгляда. В его глазах, точнее в единственном его здоровом глазу, темно-карем с зеленоватым отливом, загоралось тревожное, напряженное выражение.

Кстати говоря, так и не было ясно, видит ли он тем, другим, пораженным болезнью глазом, или же обходится одним этим, здоровым.

Как бы там ни было, а дед неотступно следил взглядом за рваным, рывками, полетом Чипа по комнате, и, следуя за ним, дедов здоровый глаз вращался словно бы на шарнире.

Чип летал как-то судорожно, чтоб не сказать — истерично, чертя в воздухе острые, колючие зигзаги и неправильные треугольники. В полете Чипа, в смене направлений, в чередовании скоростей и углов атаки было невозможно усмотреть ни осмысленного побуждения, ни осознанной необходимости, ни, на худой конец, хотя бы простой последовательности причин и следствий.

Чип взлетал под самый потолок, садился там на круглый стеклянный плафон и, озирая с орлиной этой, головокружительной высоты комнату, не находил ничего более подходящего как чистить клювом перья на груди, на брюшке и почесывать лапкой шею; затем кидался вниз головой, словно бы во все потерявший веру самоубийца с моста, но на полпути к верной гибели менял решение, на едва уловимую долю секунды зависал в воздухе и, изнемогая то ли от ужаса перед столь только что близкой смертельной опасностью, то ли, напротив, от нежданного счастья чудесного спасения, садился на веер ближайшей фарфоровой маркизы либо же на гладко причесанную головку пай-лорда Фаунтлероя, чтобы тут же, торопливо хлопая немощными от долгой жизни в неволе крыльями и изо всех сил отталкиваясь лапками, перелететь еще куда-нибудь.

Итак, Чип летал.

Чип летал, а дед неотступно, с завистливой тоской следил за ним. Пораженный, налитый кровью дедов глаз был пуст и бесстрастен, как всегда. Но здоровый глаз... Он становился прежним — и даже не просто таким, каким был до паралича, он словно бы вновь становился таким, каким был давным-давно, в бесследно канувшие времена дедовой невозвратной молодости. Такими Ольга видела дедушкины глаза лишь на старых, с золотым вензелем фотографического ателье карточках. Такими были глаза у того чуть надменно красивого студента в серо-голубой форменной тужурке с полупогончиками, каким бабушка его помнила до последнего своего вздоха — того несравненного исполнителя заглавной роли в «Красавце-мужчине», молодого, полного сил и нетерпеливых упований русского потомственного инженера-путейца, свято хранившего переписку своего отца-путейца с Гариным-Михайловским, путейцем же и изыскателем первой транссибирской магистрали.

Но ни бабушка, ни тем более Ольга не видели и не могли увидеть полного надсадной зависти и тоски выражения дедова здорового глаза, жадно следящего за полетом Чипа.

Конечно же, никто не может хотя бы с приближенной точностью сказать, о чем думал или что чувствовал дед, следя за полетом Чипа по комнате.

Но то, что дед о чем-то упорно и, можно даже предположить, страстно думал в эти минуты,— несомненно.

Может быть, о том, что — вот, жизнь кончена.

И что кончилась она задолго до того, как придет спасительная смерть.

И что это несправедливо и жестоко.

Вполне допустимо также предположить, что, глядя на Чипа, дед думал о том, как относительно и неопределенно само понятие свободы.

Вот Чип (так, вполне вероятно, думал или мог думать дед или, по крайней мере, вправе предположить мы, что он мог так думать), Чип почти наверняка убежден, что несвободен по той простой причине, что полет его (точнее даже не самый этот полет, а его, Чипа, изначальная, родовая предназначенность для полета) ограничена узкой, длинной (5,5 м на 2,5 м) и низкой (2 м 60 см) бабушкиной комнатой, в то время как всякой птице по неоспоримому естественному праву принадлежит не более и не менее как все поднебесье.

Предельная же степень свободы, которой хотел теперь для себя дед, была возможность невозбранно двигаться, передвигаться хотя бы по той же тесной бабушкиной комнате.

Но тут же дед вспоминал войну, вернее не самое войну, а свое ранение и госпиталь, госпитальную койку, на которой он лежал после ранения и контузии, и неотступную, ни на секунду не отпускавшую чудовищную боль и этой болью питавшиеся мысли о смерти как единственном от нее избавлении; тогда он был готов, ни мгновения не колеблясь, только предложи ему кто-нибудь, с радостью и слезами счастья согласиться вот на эту, нынешнюю свою несвободу: лежать неподвижно и даже умирать без боли в своей постели, в своем доме.

И тут ему пришла, или, точнее, неминуемо должна была прийти, еще одна мысль, самая странная, самая страшная, которую он и здоровый-то не осмелился бы облечь в слова.

В этой жесточайше трезвой и ясной мысли была такая унизительность и вместе такой вернейший залог не подвластного никому покоя, что дед громко и нетерпеливо застонал.

Чип испугался дедова стона и перелетел с настольной лампы под бронзу на бокал из горного хрусталя русской работы начала века.

Чип не понимал деда, как, впрочем, и дед не понимал Чипа.

Дед, как уже было упомянуто выше, был потомственным, в четвертом или даже пятом поколении, интеллигентом. Об этом уместно лишний раз напомнить хотя бы с тем, чтобы объяснить склонность деда — и до инсульта и после — к самоанализу, а также к мучительным и бесплодным поискам ответов на вопросы, на которые ответов заведомо нет.

Он искал, если угодно, свое место под солнцем, вернее — в системе мироздания.

Дед и его отец, точно так же как, несомненно, и деды и прадеды тоже, иначе они не были бы интеллигентами, тем более русскими интеллигентами, много и напряженно думали о себе и о мироздании.

Они были уверены, что думают о себе в соотношении с безмерностью мира совершенно бескорыстно. Более того — с полнейшим самоотвержением и готовностью принести себя в жертву во имя общего блага.

Юношей, особенно в студенческие годы, дед мечтал о революции,

или, точнее, о Революции как о высшей и единственной форме Свободы. Причем, и это извинительно по младости его тогдашних лет, перед его мысленным взором представала не та свобода, которая восторжествует и воцарится в результате революции, а ничем не ограничиваемая, никем не упорядочиваемая свобода самой Революции как трагически-прекрасного всеисторического действа с пламенными монологами вдохновенных народных трибунов, с несчетными и вместе стройными толпами послушных их воле борцов на баррикадах, подсвеченных, словно бы огнями рампы, кровавым отсветом мятежа, со стремительными взлетами прямого, как стрела, исторического сюжета и завершающим его торжественно-монументальным очищающим катарсисом.

Но революция пришла совсем иною — обыденной, не театральной, неудержимо жаждущей безотлагательного, хоть и справедливого возмездия.

И дед — испугался.

Потом начались долгие — правда, это теперь кажется, что долгие, а на самом деле это были промелькнувшие как один огнедышащий миг два коротких десятилетия от двадцать первого года до сорок первого,— начались годы восстановления, нэпа, пятилеток, индустриализации, коллективизации, стахановских починов, напряженной подготовки огромной страны к неминуемой, как все понимали, войне. Но дед еще долго не мог избавиться, не мог перебороть в себе этот нежданный и унизительный страх.

Но это не был страх — и дед этого не мог со временем не понять — перед самой революцией, перед ее неизбежной кровью и возмездием, а перед безжалостной правдой, перед тем, что не оправдались, не осуществились юношеские прекраснодушные упования мальчика из хорошей семьи.

Это был страх перед самой жизнью, перед разом рухнувшими иллюзиями и книжно-идеальными мечтаниями о синей птице.

Птица же — в данном случае имеется в виду отнюдь не метерлинковская, вспорхнувшая во времена дедова отрочества с подмостков уже упомянутого вскользь Художественного общедоступного театра, а обыкновенный и, по чести говоря, ничем особенно не примечательный кенар по имени Чип,— птица в это время, пока недвижный дед, следя за ней печальным и жадно-завистливым взглядом своего единственного живого глаза, думал, или, по крайней мере, предположительно мог думать, свою обращенную вспять думу, шелковисто хлопоча крыльями, носилась по бабушкиной комнате, перелетая с одного fin de siècle на другой.

Дед думал.

Как ни странно это может показаться, но деда излечила от страхов война.

Война, которой, казалось бы, ничего на свете страшнее нет.

Дед, хоть и не воевал на передовой, а всего-навсего служил в железнодорожных войсках за линией фронта, навидался на ней страшного по горло. Впрочем, слово «служил», как и слово «воевал», в смысле участия деда в войне не самое подходящее, в данном случае надо бы скорее всего сказать «прошел войну» или, может быть, «выполнял свой долг».

Как бы там ни было, все эти четыре года — с июля сорок первого по сентябрь сорок пятого — между тем, как жил дед и что делал, с одной стороны, и, с другой, его мыслями и убеждениями, короче говоря — его душой, не было не только, как прежде, пропасти, не только противоречия или хотя бы двусмыслицы, но даже трещины, даже узкой и невидимой глазу трещинки.

Потом, после войны, до самой своей болезни и даже до самой смерти, дед вспоминал об этих четырех страшных, выше всяких человеческих сил годах как о лучшем времени своей жизни.

О времени, когда он был и оставался самим собою до конца и когда, собственно, от него и требовалось лишь одно: чтобы он был и оставался самим собою, но — до конца, до самого последнего и, если понадобится, смертного конца.

Так понимал он тогда свой долг, и выполнять этот долг было легко душе.

Четыре года день за днем он делал все, чего от него требовала война, делал не по принуждению, а единственно лишь потому, что ничего другого он не мог, не хотел и не считал нужным делать. И поэтому дед на войне никого и ничего не боялся. Кроме смерти, разумеется, но на то и война, с этим приходилось считаться.

Дед пришел с войны совсем другим человеком, и поначалу бабушку это приводило в недоумение и даже пугало, но со временем она привыкла к нему, новому.

Дед проболел почти полных тринадцать лет, последние пять не вставая с постели, а два так даже не пересаживаясь с кровати в свое кресло на колесиках. Он лишь виновато и вместе сердито косился на бабушку своим налитым кровью глазом и мычал что-то, полное раздражения и укора.

Когда дед начинал мычать, Чип метался в испуге по клетке, натыкаясь грудью на металлические прутья.

А бабушка плакала едва слышными, мелкими слезами, уткнувшись лицом в кухонное полотенце или передник.

Мать, если это происходило во время приходов отца к Ольге, начинала почему-то на него кричать, будто он был виноват в дедушкиной неизлечимой болезни и в том, что ни у кого уже не было ни сил, ни нервов, и неизвестно было, сколько это может еще так продолжаться.

Отец и сам в такие минуты чувствовал себя вдесятеро виноватее, и грех его перед всеми казался ему чернее самого черного предательства.

Когда дед умер, Ольге было двенадцать лет.

Взрослые по-прежнему полагали, что ребенка может оградить от душевных травм хлипкая, из прессованной древесной стружки дверь, и пытались свести Ольгино общение с больным дедом до минимума.

Но и об Ольге — тоже ниже, хотя бы потому, что у нее времени и простора впереди было гораздо больше, чем у кого-либо другого. Ее жизнь еще только начиналась.

Чего никак нельзя было сказать о Чипе.

Потому что птичий век много короче, и Чип старился день ото дня.

С годами все на него почти перестали обращать внимание. Кроме бабушки, разумеется.

Чип стал неотъемлемой частью дома, быта, более того — как бы частью обстановки квартиры, вроде мебели, книг, бабушкиного fin de siècle или вечно испорченного смесителя в ванной. К нему привыкли и пригляделись, и кроме необходимости купить и не забыть ему засыпать в кормушку конопляное семя или канареечную смесь и налить свежую воду в блюдце, попутно вычистив клетку и сменив в ней бумажную подстилку,— кроме этих простейших забот никто в доме — опять же кроме одной бабушки — не испытывал по отношению к нему никаких иных обязательств.

К тому же его перестали выпускать из клетки, и он не летал больше по бабушкиной комнате.

Теперь случалось даже так, что бабушка забывала закрыть скатертью его клетку на ночь, и он до утра мучился бессонницей.

Бабушка всегда была душою дома, его, как было принято некогда говорить, добрым гением.

Собственно, бабушка всю жизнь держалась единственно на своей доброте.

В свое время она даже не окончила гимназию и была вынуждена пойти работать в магазин своей дальней богатой родственницы на бывшей Тверской по той простой причине, что надо было кормить себя и помогать многодетной и малоимущей семье.

Во всем и во всех она видела одну доброжелательность. Она была готова всем без разбора безоговорочно верить, и, вероятно, именно поэтому мало кто отваживался ее обмануть или обвести вокруг пальца. Для этого надо было быть совсем уж отпетым негодяем. А если ее и обманывали или попросту обсчитывали или обижали, то лишь в случае полнейшей очевидности этой обиды она не решалась ее отрицать, но тут же приводила такие веские объяснения неблаговидным поступкам обидчика, что не только она сама, но и все вокруг склонялись к тому, что его можно и даже следует если и не простить, то, на худой конец, хотя бы понять.

В бабушке просто-напросто сказывалась привычка жить с детства в большой неимущей семье, привычка к зависимому положению приказчицы в магазине у тетки, к длительному — до самых последних лет, когда она вместе со всеми переехала вот в эту трехкомнатную отдельную квартиру,— проживанию в коммуналке на Разгуляе. Да и вообще к быту двадцатых, тридцатых и сороковых годов с его скученностью, скудностью, постоянными перебоями со снабжением. Эти характерные особенности быта тех лет породили в бабушке, как это ни парадоксально, именно доброту, открытость и такое сердоболие, что она могла показаться на сторонний и не очень проницательный взгляд наивной, почти юродивой. В том, само собой разумеется, смысле юродивой, какой в это слово вкладывали в давние времена: юродивой — не от мира сего.

Кстати говоря, в наш век люди не от мира сего, во всяком случае в массе своей, почти совсем повывелись. Как вывелись, к примеру, многие редкостные звери, птицы и даже отдельные виды никому не причинявших вреда легкомысленных бабочек.

Хотя, с другой стороны, было бы смешно и даже нелепо внести людей не от мира сего в Красную книгу природы.

Выше уже упоминалось о том, что в первые годы жизни Чипа в доме его выпускали полетать по бабушкиной комнате. Со временем он настолько к этому привык и даже обнаглел, что, если бабушка хоть на мгновение забывала закрыть дверь, он стрелой — впрочем, это скорее напоминало не стрелу, а маленькую огненно-желтую молнию — вылетал из комнаты и, словно бы потеряв голову от счастья, носился по квартире. Стоило неимоверных усилий водворить его обратно в клетку.

Раза два, летом, Чип вылетал в открытую по недосмотру форточку наружу, во двор, но оба раза дальше балкона мигрировать не отважился, садился там на бельевую веревку и, раскачиваясь на ней словно бы в задумчивости, внимательно и без особого удивления взирал на беспредельность мира.

Хотя, само собой разумеется, никто не возьмет на себя ответственность строить ни на чем, собственно, не основанные догадки о том, что именно думал, раскачиваясь на бельевой веревке, Чип по поводу вышеозначенной беспредельности.

И тем более никто не возьмется ответить, движимый какими соображениями, Чип предпочел распахнувшейся перед ним свободе возвращение в тесную клетку, пусть даже эта клетка и была ему родным домом.

Однажды, выпорхнув из бабушкиной комнаты, Чип метался бешено-желтой шаровой молнией по всей квартире.

Реакция членов семьи на подобные его эскапады была совершенно различной: Ольга от души развлекалась, мать носилась за Чи-

пом с полотенцем в руках, пытаясь загнать его обратно в бабушкину комнату, бабушка же пребывала в паническом страхе, что Чип вылетит в форточку и тут же станет добычей не знающих пощады дворовых кошек.

Дед, забытый всеми на своей длинной и узкой железной кровати, в таких случаях ощущал как никогда остро и обреченно свое одиночество, и сердце его переполнялось тоскою по Чипу и — как ни трудно в это поверить, зная нрав деда и его сложные отношения с Чипом,— бессильной любовью к нему, а если посмотреть на это дедово чувство с философской точки зрения, то и ко всему сущему вообще.

Так вот, в тот раз Чип вылетел молнией из бабушкиной комнаты, и опасность состояла в том, что на кухне по случаю июльской жары было распахнуто настежь окно.

Чип перелетел с книжных полок на пианино фабрики «Красный Октябрь», расстроенное со времен отцова отступничества от музыки (о чем будет упомянуто ниже) и давно никуда не годное, и уселся там на куст или, точнее, на букет желтых и рдяных кленовых осенних листьев: мать каждый год, до начала ноябрьских дождей ездила в недальнее Подмосковье и возвращалась оттуда с ворохом пожелтевших, но еще не окончательно увядших и обесцвеченных кленовых и частично дубовых листьев, подсушивала их не слишком горячим утюгом, и они стояли в большой керамической вазе на пианино, сохраняя свою свежесть — если это слово уместно употребить в отношении сухих осенних листьев — до следующего ноября.

Бабушка называла их «неопалимая купина».

Итак, Чип уселся на «неопалимую купину», не испытывая никаких сожалений о содеянном, ни тем более укоров совести. Но тут под ним неожиданно подломился стебелек, на котором столь хрупко держался сухой лист, и Чип, не успев даже взмахнуть крыльями, провалился внутрь керамической вазы, и было слышно, как он забился там в ужасе, в кромешной тьме.

Но еще больше Чипа испугалась бабушка, да и мать с Ольгой тоже. Мать кинулась к пианино, одним махом вытащила из вазы и бросила на пол ветки с листьями — они тут же, сухо и мертво шурша, рассыпались в бронзовый прах — и извлекла из вазы насмерть перепуганного Чипа.

Но лишь после того как его водворили обратно в клетку, точнее даже на следующий день, обнаружилось, что он сидит на жердочке, вцепившись в нее одной только лапкой и подогнув под себя другую, и в полном укоризны и невысказанного горя молчании.

Странное дело — казалось, лишь сейчас все вдруг увидели и убедились, как полна неукротимой, хоть и неслышной, не бросающейся в глаза решительности бабушка, словно бы вся ее жизнь, особенно после того как заболел и окончательно слег дед, не была одним сплошным доказательством именно этой ее тихой, как бы смущающейся самой себя энергии.

На следующее же утро бабушка соорудила из картонной коробки из-под обуви временную клетку для Чипа, наделала ножницами аккуратные дырочки, чтобы воздух беспрепятственно в нее проникал, выложила изнутри ватой и не мешкая кинулась с притихшим Чипом в коробке в районную ветеринарную поликлинику.

Ольга поехала вместе с ней — ехать надо было довольно далеко, с двумя пересадками, и за всю дорогу бабушка не проронила ни одного слова.

Ветеринар в поликлинике подтвердил, что у Чипа сломана лапка, но мало чем мог помочь.

С тем и возвратились домой.

В последующие несколько дней бабушка не отходила от клет-

ки Чипа, утешала и отвлекала его разговорами, и даже дед притих, словно бы и он принимал близко к сердцу Чипову беду.

На самом же деле очень возможно, что сосредоточенный на собственной своей беде дед и не заметил беды Чипа.

Через неделю, как велел врач, бабушка осторожно сняла с лапки тугую повязку, но Чип остался навсегда инвалидом. Лапку он никогда уже так и не смог разогнуть, но боли, по-видимому, никакой не чувствовал и не очень горевал по поводу своего увечья.

Если посмотреть на жизнь с философской, точнее, со стоической точки зрения, то — все проходит, все забывается на этом свете.

Как бы там ни было, Чип прекрасно научился обходиться одной лапкой. Правда, полеты по бабушкиной комнате на этом прекратились.

Судя по тем же старым фотографиям, бабушка никогда не была так картинно красива, как дед. Но она была на них прелестна — другого слова тут не подыскать, и даже очень уместно, что оно отдает, если угодно, некой позабытой в наш деловой век несмелой женственностью.

На одном из снимков бабушка была в плоской, чуть набекрень белой меховой шапочке, и подбородок ее утопал в таком же пушистом воротнике стоечкой. У нее было нежное, милое лицо с маленьким, откровенно простолюдинским носиком, такой же маленький, бантиком рот, и половину ее лица занимали глаза.

Даже на потерявшей от времени глянец фотографии было видно, какие они у нее лучистые, просто-таки сияющие добротой и тихой радостью. Разве что чуточку испуганные — то ли от робости перед страшноватым ящиком под черной суконной накидкой, то ли от необходимости долго сидеть с застывшей на лице напряженной улыбкой («улыбнитесь, барышня, и не двигайтесь, прошу вас!»), то ли бабушка вообще испытывала что-то вроде легкого испуга, точнее пугливого недоумения перед жизнью. Во всяком случае, даже сейчас, пронесенный через всю жизнь, в глазах ее теплился — именно теплился, именно доброе, отрадное тепло излучали ее глаза — этот легкий испуг-удивление.

Но он ее только красил, даже в старости.

Вероятнее всего, она не боялась жизни, вернее боялась не жизни, а того, что ее простые и доверчивые представления об этой жизни могут быть обмануты или как-то унижены.

Вообще, главная и обезоруживающая всех, кто ее знал, черта была в ней именно терпеливая и даже не требующая взаимности доверчивость. Что не мешало ей меж тем быть не только душою, но и главою семьи, хотя властолюбивый и вздорный дед никогда этого не замечал и рассмеялся бы в лицо всякому, кто осмелился б ему это сказать.

Бабушку было нетрудно представить себе княгиней Волконской или Трубецкой, едущей за мужем-декабристом в бескрайнюю сибирскую ссылку. Или сестрой милосердия на севастопольских редутах в Крымскую кампанию. Но так же легко и просто бабушку можно было вообразить и кем-нибудь поскромнее, побудничнее. Скажем, сиделкой при неизлечимом больном (какой она, собственно, и была при дедушке тринадцать лет кряду), пряхой за прялкой в курной избе или попросту терпеливо и молча стоящей в двадцатые, тридцатые, не говоря уж о военных сороковых годах, в бесконечных очередях за хлебом, за керосином, за ливерной колбасой.

Она и в молодости была хрупкого сложения, тонкокостна, неприметна. А к старости стала еще меньше, и уже лет в двенадцать Ольга ее переросла чуть ли не на целую голову. Выше уже было упомянуто о том, что бабушка носила мальчиковую обувь тридцать третьего размера и покупала ее себе в «Детском мире» на Лубянской площади.

Бабушка так и говорила — Лубянская, а не площадь Дзержинского. И вообще называла московские улицы и переулки старыми, до переименования, названиями: Мясницкая, Воздвиженка, Хамовники, Поварская, Пречистенка — в ее устах они звучали как-то необыкновенно уютно и мирно.

В войну — вторую, то есть Отечественную,— бабушка возвращалась после вечерних или ночных смен на Центральном телеграфе с бывшей Тверской на Разгуляй через весь затемненный огромный город — метро в эти ночные часы уже не работало, чаще всего и трамваи не ходили, либо же их надо было ждать часами, и бабушка шла, бывало, пешком, не боясь ни темноты, ни немецких налетов, ни комендантских патрулей.

Бабушка ничего не боялась. Вернее, боялась, но делать было нечего и надо было идти.

Вот это «надо» — надо — было заложено в бабушке от рождения, и она делала все то, что надо, так же естественно, тихо и без аффектации, как дышала, ела, пила, как любила деда и свою дочь, как любила Ольгу. И как любила всегда отца Ольги, своего зятя.

Кстати говоря, именно в тот давний день Ольгиного рождения, когда, как уже было упомянуто, отец принес в дом молодого и полного радужных надежд Чипа, бабушка и сказала ему, глядя на него снизу вверх — отец был вдвое ее выше — своими ставшими к старости еще более лучистыми глазами: «Ты мой первый и единственный зять, и я тебя буду любить всегда, так и знай».

Так вот когда, по укоренившемуся в обиходе выражению материной лучшей подруги Регины, отец «влип» и между ним и матерью происходили долгие, изматывающие (особенно тем, что их приходилось вести вполголоса, чтобы не услышала материн беззащитный плач семилетняя Ольга за стеной), мучительные объяснения, когда дед, все еще тогда понимавший, грозно мычал и угрожающе размахивал здоровой рукой, сидя в своем дачном кресле на колесиках, одна бабушка не изменила своего отношения к отцу, именно она шла открывать, когда он звонил в дверь, а если он приходил в отсутствие матери, всякий раз — и не с каким-либо дальним умыслом, а так же просто и естественно, как прежде,— предлагала ему поужинать или попить чаю.

Бабушка полюбила отца с первого взгляда еще в тот день, когда мать привела его в их коммунальную квартиру на Разгуляе. А однажды полюбив, бабушка ни за что, никаким насилием воли над сердцем разлюбить уже не могла.

Это бабушкино незыблемое отношение к отцу после того, как он «влип» и когда затрещали по всем швам семья и дом — тот самый дом, который бабушка своими руками строила по крохе, по зернышку всю свою жизнь,— может быть, и было единственное, что в известном смысле выделяет эту печальную историю из тысяч и сотен тысяч таких же печальных и таких же, по правде говоря, будничных историй, а также побудило хрониста приняться за настоящее, выносимое на общий суд жизнеописание.

Итак, отец «влип».

Он с ходу, очертя — как все, и в первую очередь Регина, считали — голову влюбился в женщину, у которой было уже два мужа, ребенок — ровесник Ольги и, по слухам из достоверных источников, перепроверенных той же Региной, тьма любовников.

Но отцу это было решительно все равно, он пребывал в том состоянии, когда море по колено. Более того, все приводимые ему в предостережение неоспоримые факты он перетолковывал в пользу своей новой пассии: она была несчастна с двумя мужьями, натерпелась, набедовалась и теперь сумеет вдвойне оценить мирное и покойное счастье, которое обрела наконец в его, отца, лице; что же до

несколько избыточного списка романов и прочих летучих увлечений, то и эта сторона ее биографии свидетельствует лишь о том, что она мучительно и упорно искала истинной, одной на всю жизнь любви; наличие сына говорит, в свою очередь, о том, что и с нелюбимым мужем — не то с первым, не то со вторым, отец этого пока не знал с достаточной точностью,— она хотела создать настоящую, надежную семью.

Новая отцова жена была моложе матери и, если смотреть фактам, даже неприятным, в лицо, несколько красивее, свежее и — вот это уж было очевидно даже на предвзятый взгляд — гораздо более, чем мать, модная и уверенная в себе женщина.

Впрочем, у нее было много и других, менее бросающихся в глаза, но зато неизмеримо более пригодных для обыкновенной семейной жизни достоинств. Например, она совершенно не умела огорчаться по мелочам, портить себе и другим настроение, а также была абсолютно не приспособлена к постоянному выяснению отношений, чем так часто и столь многие злоупотребляют в семейной жизни.

Словом, судя по всему, отец нашел свое счастье.

Оно продолжалось недолго.

В том смысле, что всему рано или поздно приходит конец. Но нам всегда кажется, что — рано.

Отцова новая жена не была, как сейчас принято говорить, запрограммирована на длительные чувства и привязанности. Это была ни вина ее, ни даже беда, поскольку она сама в этом особой беды не видела. Пока она любила — а вовсе не исключено, что она и отца искренно и даже по-своему глубоко, хоть и непродолжительно, любила,— пока она любила, не было жены более покладистой, нежной и даже верной. Такой она была и с первым мужем, и со вторым, и с третьим — то есть с отцом,— такой она останется, надо полагать, до скончания своего, увы, тоже недолгого, века.

Тем не менее, «влипнув» и переженившись, отец был донельзя счастлив.

Если, конечно же, можно назвать счастливым человека, испытывающего неотступное чувство горькой вины. Человека, у которого при одном взгляде на дочь и на свой прежний дом навертываются на глаза жалкие слезы и он запирается в ванной, чтобы никто этих слез не увидел.

Судя по всему, можно, ибо отец, несмотря ни на что, был несомненно счастлив.

Он влип (на сей раз кавычки совершенно ни к чему) по самые уши.

Новая его жена, кроме данных, собранных и систематизированных Региной и в общем и целом соответствующих реальной действительности, была еще и замечательный музыкант-аккомпаниатор, концертмейстер Московской консерватории.

Очень возможно, что в том, что отец влюбился именно в эту женщину, а не в какую-либо другую, сыграло определенную роль то обстоятельство, что она была музыкантша.

Дело в том, что отец и сам когда-то был музыкант. То есть, точнее, музыкантом он так и не стал, но в свое время поступил и три года проучился в Гнесинском на отделении народных инструментов.

Родство душ или хотя бы призваний — это тоже, кроме, разумеется, всего прочего, в подобных ситуациях нельзя сбрасывать со счетов.

На отделение народных инструментов отец поступил потому, что, еще учась в музыкальной школе, бредил возрождением народной музыки на самой, разумеется, современной, обновленной исполнительской основе.

Еще в школе отец пытался, и небезуспешно, сколотить то оркестр балалаечников, то ансамбль рожечников или гудошников, то даже концертную группу исполнителей на гребешках в сопровождении деревянных ложек. Начинания имели шумный успех, но как-то быстро и незаметно даже для самого отца увядали.

В те достославные шестидесятые годы начинаний вообще было хоть отбавляй.

В Гнесинский отец поступил на отделение народных инструментов единственно с этими далеко идущими замыслами.

Он отпустил негустую рыжеватую бородку, рыжеватые же, точнее, пепельные с ржавым отливом волосы до плеч и в один прекрасный день дошел в своем рвении до того, что попросил бабушку сшить ему косоворотку.

Бабушка не сразу принялась за дело, да и негде было достать выкройку, искусство шитья косовороток к тому времени успело порядком позабыться, как и искусство игры на гребешках или деревянных ложках.

Но вскоре настоятельная необходимость в косоворотке сама собой отпала, поскольку отцу стало не до музыки.

Отца погубил спорт.

Как впоследствии, по словам все той же Регины, его погубила слепая страсть.

Отец с детства играл в теннис и уже в девятом классе музыкальной школы получил первый разряд. Когда он поступил в Гнесинский, выяснилось, что институту он нужен как теннисист в не меньшей, а очень может быть, и в гораздо большей степени, нежели как музыкант и ревнитель народной музыки. На карту были поставлены честь и достоинство одного из самых славных музыкальных заведений столицы, и отцу пришлось, образно говоря, сменить скрипичный ключ на теннисную ракетку.

Впоследствии ему не раз приходило в голову, что в том был перст судьбы.

Полной правды ради надо, однако, сказать, что теннис и на самом деле был вторым его призванием, или, на худой конец, увлечением, и, как показало дальнейшее, не менее сильным, нежели музыка. Это-то его и погубило.

Правда, он стал гордостью института.

В те годы отец играл и за сборную «Буревестника» и за сборную Москвы, а однажды был даже включен кандидатом в студенческую сборную страны, но на Универсиаду так и не поехал по не зависящим от него обстоятельствам.

Раза два он выиграл даже у молодого Тоомаса Лейуса, а кто такой был в те времена Тоомас Лейус, объяснять не приходится.

Тренировки, сборы, соревнования съедали без остатка все его время, на музыку и вообще на учебу его не оставалось. Ну и успехи — первая ракетка «Буревестника», третья ракетка Москвы — тоже кружили голову, обещали славу.

То есть, если воспользоваться ретроспективно Регининой позднейшей формулировкой, отец тогда тоже «влип».

И тоже был совершенно счастлив, вот что примечательно.

Тут невольно приходит на ум несколько риторический вопрос: может быть, мы именно и единственно тогда и бываем счастливы, когда «влипаем»? В широком, разумеется, смысле слова.

Кстати говоря, уходя навсегда из дома, отец из каких-то одному ему ведомых соображений, впрочем, может быть, и по случайной забывчивости, не взял одну из своих старых ракеток — ту самую, которой он в единственный раз выиграл студенческое первенство страны. Можно предположить, что он оставил ее не столько как память о себе и о главной в своей жизни удаче, сколько потому, что очень хотел, чтобы и Ольга научилась играть в теннис. Ольга не на-

училась, а вот Чип очень любил во время своих эскапад садиться передохнуть на эту ракетку, висевшую на гвоздике в коридоре. Мелко перебирая лапками, он поднимался и опускался по струнам, которые служили ему чем-то вроде шведской стенки.

Бабушка никогда не забывала, убирая в квартире, стереть с ракетки пыль.

Ракетка и по сей день висит там же на стене в коридоре, но пыль с нее теперь вытирают редко. Потому что нет уже ни бабушки, ни Чипа, да и все поросло быльем и ракетка ни у кого уже не вызывает никаких воспоминаний. Висит и висит.

Впрочем, все уже упомянутое выше, как и то, чему еще предстоит быть изложенным ниже, есть не что иное, как более или менее последовательное и ни на что не претендующее жизнеописание рядовой, ничем, собственно говоря, не примечательной канарейки, а вовсе не опыт извлечения из простых и неопровержимых фактов каких бы то ни было далеко идущих умозаключений.

В жизни вообще всего интереснее факты. Собственно говоря, она и состоит из одних фактов. Независимо от того, соответствуют эти факты нашим представлениям о ней или не соответствуют.

К примеру, смерть деда стала несомненным фактом задолго до того, как он умер.

Дед был обречен, все это знали, как знали и то, что одна только смерть может избавить его от мук полной недвижимости и, в последние годы, почти растительного существования. Более того, все понимали, что смерть избавит не только его, но и всех остальных, прежде всего бабушку, от не меньших и вполне, в отличие от деда, осознаваемых страданий.

Дед проболел тринадцать лет, и почти столько же прожил в доме Чип.

Все понимали, что смерть в данном случае — благо и избавление, и тем не менее делали все, что было в их силах, чтобы эта смерть наступила как можно позже.

Потому что, кроме страданий, страха смерти и так называемого здравого смысла, есть еще круговая порука всех живых перед лицом смерти. Ведь и с тобою самим может случиться нечто подобное — и неизбежно, неотвратимо случится! — и ты хочешь быть вправе рассчитывать, что близкие будут твою жизнь отстаивать так же упрямо и терпеливо, как ты отстаивал чужую.

Иначе чем объяснить, что старую, никому уже, если смотреть правде в лицо, не нужную птицу — речь идет все о том же Чипе — ни бабушка, ни Ольга, ни даже менее их сентиментальная мать не захотели отдать в живой уголок бывшего Ольгиного детского сада, когда заведующая садом, приятельница матери, предложила это им из самых, кстати говоря, добрых побуждений?

Мать никогда особенно и не занималась Чипом — для нее он навсегда так и остался (хотя, очень может быть, она и самой себе в этом не признавалась) зарубкой, болезненно напоминающей о предательстве отца; Ольга, выросши, им тоже мало занималась; оставалась одна бабушка, а она стала совсем старенькой и на ее руках был безнадежно больной дед. Да и самому Чипу в живом уголке было бы, очень может быть, куда веселее, там бы он опять почувствовал себя нужным и интересным для других.

И все-таки решено было его не отдавать.

А дед умер.

И опять стал похож на старые свои фотографии, на «красавца-мужчину» из стародавнего любительского спектакля на Казанской железной дороге.

Дед умер сразу после полуночи, и бабушка до самого утра не сказала об этом матери и Ольге, не стала их будить и всю ночь просидела одна, если не считать Чипа, рядом с мертвым, холодеющим дедом.

И лишь под утро, в сером, зыбком свете февральского позднего рассвета увидела это — а именно, что дед вдруг стал похож на себя прежнего, давнего — и вдруг вспомнила, что та же мысль поразила ее, когда он вернулся с войны.

За тринадцать лет болезнь так исказила дедовы черты, да и в его характере вытащила наружу самые тяжелые для окружающих стороны — эгоизм, брюзгливость, раздражительность,— он так далеко ушел от всего и всех в свою болезнь, в недвижность и немоту (и от бабушки, как это ни странно, дальше и бесповоротнее, чем от всех остальных), что все эти последние годы ей было никак не узнать в нем того, прежнего.

Она заботилась о нем, выхаживала, кормила с ложечки, стирала замаранные простыни, выбиваясь из сил, переворачивала с боку на бок, чтоб у него не образовались пролежни, но делала она все это не для того, прежнего, знакомого и близкого, каким он был для нее всю ее жизнь, а для ничего общего не имеющего с тем, прежним, чужого, раздражительного старика, каким он стал.

А умерев, он опять стал похож на самого себя, и бабушка сразу его признала.

Если раньше, выхаживая этого чужого старика, ночами она плакала о том, прежнем, то теперь, в ночь, когда он умер, она плакала о них обоих — и о том, прежнем, и об этом, недвижном и безъязыком, к которому она успела привыкнуть и привязаться за эти тринадцать лет.

В ночь его смерти бабушка поймала себя на мысли — и не удивилась ей, не испугалась,— что и она тоже как бы стала в эту ночь собою прежней, той далекой и, казалось, безвозвратно забытой милой девушкой с Разгуляя с чуть испуганным нежным лицом и вечно удивленными глазами, какими она глядела со старых фотографий на толстых картонных паспарту.

Они опять встретились, бабушка и дед.

Впрочем, она знала, что главная и окончательная, бесповоротная встреча им еще только предстоит.

Она надеялась, что теперь этой встречи ждать уже недолго.

На время дедовых похорон и поминок клетку с Чипом перенесли в Ольгину комнату и на весь день закрыли скатертью. Это случилось с ним впервые — одиночество и темнота так надолго. Но Чип перенес их безропотно. Он был уже и сам очень стар и готов ко всему, а может быть, по-своему тоже горевал о деде.

А заодно и о собственной своей старости, а также, возможно, о том, что, по всему видать, уже недолго ждать того часа, когда тьма скроет от него навсегда свет дня.

Если, согласно новейшим научным данным, признано с неоспоримой достоверностью, что киты или, скажем, слоны чуют загодя свою смерть и выбрасываются на берег или уходят умирать в одиночестве в чащу леса, почему нельзя предположить, что и малый кенар способен на то же, пусть даже вопреки тому, что прожил всю жизнь среди людей.

Тем более что Чип уже изрядно подустал от жизни.

За дедовым гробом шло («шло»— так говорится лишь по привычке, никто не шел, а все поместились вместе с обитым красной камкой и пахнущим сырыми сосновыми дровами гробом в одном погребальном автобусике) совсем немного народу. А если уж называть вещи своими именами, то и никого, кроме бабушки, матери, Ольги и отца да еще двух или трех дедовых старых товарищей по Казанской железной дороге или по войне.

Похоронили его на Преображенском кладбище. Был конец февраля, оттепель, под ногами таял и хлюпал желтый кладбищенский снег.

Собственно, Ольга плохо знала деда — она родилась через два

месяца после того, как деда разбил паралич, и когда к нему впервые привели годовалую внучку, дед уже почти совсем не разговаривал. Он ласково и как-то виновато глядел на нее и, пытаясь дотянуться своей здоровой рукой и погладить ее по голове, замычал громко и нечленораздельно. Ольга испугалась, заревела в голос, потом долго не могли ее успокоить.

Со временем страх перед больным дедом, перед его налитым кровью глазом и грозным мычанием прошел, но осталась память об испуге при первой встрече с ним.

Выросши, Ольга испытывала по отношению к деду не любовь, а чуть опасливую, на расстоянии, жалость. И жалость скорее даже не к нему, а к бабушке — за то, что она была цепью прикована к больному деду, никуда не могла выйти, разве что в соседнюю молочную или булочную, и даже вечерами, когда она, покормив и напоив его чаем из горлышка чайника, уходила на кухню смотреть телевизор, дед и тут не давал ей покоя.

Ольга жалела, конечно же, и деда, но бабушку больше, а виною всех бабушкиных бед был дед и его болезнь.

Ей запали надолго в память хмурые, тесные и скользкие от разъезжающегося под ногами февральского снега кладбищенские аллеи, сырое и низкое небо над головой, голые, мокрые стволы берез. Но более всего ее поразили печальные, набрякшие от сырости водою искусственные венки на свежих могилах. Крашеная стружка слиняла, лужицы под венками тускло и маслянисто отсвечивали всеми цветами радуги.

Но потом все произошло так быстро и споро, что Ольга ничего и не успела запомнить: заколотили гвоздями крышку, опустили на длинных осклизлых веревках гроб в яму, засыпали мокрой, слипшейся землей.

Комья тяжелой глины гулко ударялись о крышку гроба, и казалось, что гроб пуст.

Долго потом, когда она думала о деде, прежде всего ей приходил на память зев нагло-жадной, ненасытной земли.

А Чип надолго пережил деда, и нет никакой уверенности в том, вспоминал ли он его.

Так уж сложилась дедова жизнь, что — кроме, разумеется, близких — его смерть мало кем была замечена.

Надо признать, что это было несправедливо.

Дед прожил долгую и не такую уж бесполезную жизнь. К тому же он прожил ее честно и достойно. Он был хороший инженер, и его ценили на Казанской железной дороге, в свое время он увлекался изобретательством — тогда это называли упорно рационализаторством — и сконструировал не один довольно-таки оригинальный и полезный для дела механизм или даже агрегат, у него были авторские свидетельства, бабушка их хранила вместе со старыми фотографиями и письмами в дальних глубинах шкафа, где доживали свой век многие совершенно бесполезные вещи.

Дед воевал, и опять же честно и достойно. И если на войне ему тоже бывало страшно, то он старался преодолеть или хотя бы не выказывать свой страх. И пусть у него не было боевых орденов, одни медали, пусть дедовы изобретения не были лампочкой накаливания Эдисона — Яблочкова, ни даже тормозом Вестингауза — дед прожил свою жизнь как подобало.

Как подобало интеллигентному человеку, сказал бы он сам.

Но, оказывается, этого мало для того, чтобы за твоим гробом шла притихшая толпа опечаленных друзей или хотя бы сослуживцев.

Как это ни покажется странно, но если исключить войну, которую он не колеблясь считал самым высоким делом и событием всей своей жизни,— как это ни покажется даже сомнительно со стороны, но, перебирая в памяти свою жизнь, дед прежде всего вспоминал лю-

бительские спектакли в Народном доме Казанской железной дороги и бабушку — такой, как на той давней фотографии: удивленное, чуть испуганное юное лицо, лучистые, в пол-лица глаза, из-под меховой, несколько набекрень шапочки выбивается прядь мягких волос.

Дед никогда не знал другой женщины, кроме бабушки. Даже на войне.

При этом, по ее же словам, он всю жизнь тиранил ее вечной раздражительностью, мелким самодурством. Бабушка и в глаза ему говорила, что характер у него не сахар.

Но она его любила и такого. Других мужчин, кроме него, для нее просто не существовало на свете. В самом прямом смысле слова: она их не замечала, не видела. Это были просто прохожие, знакомые, сослуживцы, и только.

Мир меняется.

И Чип менялся. Он седел, особенно грудка и брюшко, голова его заметно облысела, пушок едва прикрывал желтоватую пергаментную кожу. Впрочем, может быть, это была не просто старость, а какая-нибудь болезнь.

Вскоре после того, как умер дед, в новой отцовой семье начало происходить неладное. Но сам отец об этом узнал, как водится, последним.

Первой принесла на хвосте эту новость, конечно же, Регина. Какими-то неведомыми путями она все и обо всех узнавала раньше их самих.

Отец и прежде считал, что жизнь вообще ему не удалась.

Когда его включили в сборную и он выиграл личное первенство страны среди студентов, стало ясно, что надо выбрать что-нибудь одно: музыку или теннис.

На самом же деле выбор был сделан: за время тренировок и соревнований отец совершенно запустил занятия, отстал по всем дисциплинам, особенно по специальности, но главное и, как вскоре выяснилось, необратимое заключалось в том, что в нем самом угас интерес к обновлению народной музыки. Он и сам не заметил, как это произошло. А если и отмечал про себя что-нибудь в этом роде, тут же приходила успокоительная мысль: вот пройдут очередные состязания — и он навсегда вернется к музыке, к серьезному делу. Но, выиграв, скажем, межвузовские соревнования, он тут же, естественно, начинал готовиться к городским, за городскими неумолимо надвигались республиканские, всесоюзные, Универсиада... И хотя он выше первого места на студенческом первенстве, да и то один-единственный раз, не поднимался, а только входил в первую десятку, в первую пятерку, но и этого было достаточно, чтобы тешить свое честолюбие и иметь как бы внутреннее право отодвигать, откладывать музыку на завтра, на послезавтра, на потом.

Очень, кстати сказать, распространенный случай.

Конечно же, это говорит в первую очередь о том, что отец был человек слабый и безвольный.

Однако если взглянуть непредвзято на всю остальную его жизнь, в частности, на его отношение к матери после того, как он с ней расстался, к Ольге, бабушке и даже к деду и Чипу, то факты говорят об обратном. Во всяком случае, так полагал он сам.

Регина же утверждала, что отец всегда и во всем выбирал путь наименьшего сопротивления.

Кстати говоря, в этом смысле судьба Чипа тоже дает пищу для размышлений. Выше уже упоминалось о том, как, выскользнув из бабушкиной комнаты на кухню, а оттуда через открытую форточку во двор и доставив тем бездну беспокойства и тревог всей семье, он через некоторое время вернулся оттуда как ни в чем не бывало. Не говорит ли это, хотя бы на уровне гипотезы, о том, что, вернувшись в клетку с кормушкой и блюдцем со свежей водой, Чип тоже

выбрал в жизни путь наименьшего сопротивления, а именно предпочел неизвестности и превратностям свободы сытость, безопасность клетки?

Впрочем, перед отцом этот вопрос стоял не так односложно: или — или.

Ведь отец даже в пору самых главных своих теннисных успехов верил, что музыка никуда от него не уйдет и он рано или поздно к ней вернется.

К тому же это зависело не от него одного.

Дело в том, что когда от отца уже нельзя было ждать новых блистательных достижений, вдруг выяснилось, что в институте у него сплошные «хвосты», а профессор по специальности сменился, пришел другой, очень далекий от симпатий к какому бы то ни было виду спорта, они с отцом не нашли общего языка, да и без того сдать все «хвосты» и наверстать упущенное было очень и очень непросто, чтоб не сказать — невозможно. Отец, застигнутый врасплох и оскорбленный в лучших своих чувствах новым, далеким от прежнего попустительства отношением к себе ректората и общественных организаций, еще недавно не чаявших в нем души, ушел из института не доучившись.

Впоследствии он утверждал, что даже хлопнул на прощание дверью.

Но вопреки его ожиданиям никто его не отговаривал от этого шага, не умолял остаться.

К тому же родилась уже Ольга и надо было кормить семью, а на студенческую стипендию не очень-то разгуляешься.

У отца по сей день сохранились нотные тетрадки с его собственными юношескими переложениями малоизвестных народных мелодий. Но он давно в них уже не заглядывает, они лежат в старом драном портфеле, закинутом за шкаф, вместе с совершенно не нужными уже, постылыми грамотами и медалями, завоеванными на различных спортивных соревнованиях, который, кстати говоря, он даже забыл взять с собой, когда уходил из семьи.

Институт он бросил сам, а из большого спорта все равно не миновать было уйти: возраст. Да и техника мирового тенниса ушла далеко вперед.

Пришлось навсегда расстаться с мечтами — впрочем, отец не очень обольщался насчет их достижимости и в более молодые и бесшабашные времена — об Уимблдоне и Кубке Дэвиса.

Однако он был мастер спорта, известный в недалеком прошлом теннисист, и его охотно взяли в «Динамо» тренером по работе с детьми. У него, кстати говоря, вообще была педагогическая жилка, и дело пошло неплохо. Кроме того, он стал давать частные уроки на динамовских кортах на Петровке.

Росла Ольга, ее надо было вывозить летом на дачу, семья получила новую трехкомнатную квартиру на Ямском поле, деньги были нужны.

Ну и так далее и тому подобное.

Последним отзвуком юности и юношеских упований было то, что, когда по радиоточке на кухне передавали музыку — настоящую, серьезную музыку,— отец молча выключал репродуктор. В семье к этому привыкли и не спорили с ним. Хотя бабушка очень любила слушать радио, когда возилась у плиты. Но с годами она стала понемножку глохнуть, так что это уже не имело такого значения.

Тем более что репродуктор бабушке заменял Чип. Правда, он тоже со временем постарел и перестал петь. И хотя это несомненно совершенно случайное и ни о чем не свидетельствующее, с материалистической хотя бы точки зрения на мир, совпадение — Чип перестал петь накануне дедовой смерти.

А вскоре после смерти и похорон деда начались нелады в новой семье отца.

Ольге тогда шел шестнадцатый год, Чипу, соответственно, девятый или, очень может быть, даже десятый.

Условно можно считать, что по человеческим масштабам Чип уже перевалил за пенсионный возраст.

Да и отцу тогда было уже за сорок. Тоже немало, особенно для спортсмена, пусть даже и бывшего. Потому что про отца говорили (да и он сам про себя) не «бывший музыкант», а «бывший спортсмен».

Хотя на самом деле он был отнюдь не «бывший», а еще вполне молодой и здоровый человек, правда начавший грузнеть и седеть — седеть он начал рано, с висков. Дела его в детской спортивной школе шли как нельзя лучше, дети его любили, он умел с ними разговаривать совершенно на равных. На Петровке тоже от жаждущих приобщиться к теннису не было отбоя — этот спорт стал не просто модой, но и чем-то вроде отличительного знака принадлежности к престижной части общества, то есть даже не самый теннис, а скорее спортивная одежда и обувь фирмы «Адидас» и ракетки с эмблемой «Данлопп», «Вилсон» или, на худой конец, «Доннэй».

Все, казалось бы, шло прекрасно, и все разом рухнуло.

Отцова новая жена была красива, а быть красивой совсем не так просто, как может показаться со стороны: невольно приходится ломать себе голову, что делать с собственной красотой, а также над тем, что годы идут, а точнее — уходят, как вода в песок.

К тому же отцова жена была до чрезвычайности жизнелюбива, а это тоже недешево обходится: хочется, чтобы твоя жизнь была наполнена радостями и удачами, чтобы она вообще была — одна сплошная радость и удача.

А это уже не только непросто, но и небезопасно.

Отцова новая жена задумывалась над жизнью именно в этом смысле: ей ужасно хотелось (и она была совершенно уверена в том, что имеет неоспоримое на это право) беспрестанного праздника, праздника изо дня в день, вечной легкости и беспечального, не слишком обременительного для души счастья.

Как ни странно, все это ей прямо-таки шло в руки.

В том числе и отец.

Он был добрый, покладистый, легкий человек и любил ее нежно и, если угодно, даже пылко — случай не такой уж частый в наш, мягко говоря, психастенический век.

Во-вторых, она была хорошим аккомпаниатором и часто ездила в зарубежные поездки, а значит, проблема модных шмоток, как она сама выражалась, очень и очень немаловажная для женщин вообще, а для таких, как отцова жена, особенно, разрешалась довольно-таки просто.

Ну и так далее и тому подобное.

Но и ей шло уже к сорока и она все чаще задумывалась: что дальше?

Особенно неотступно одолевали ее подобные мысли, когда она придирчиво и с растущей тревогой рассматривала себя в зеркале или когда с жадным любопытством пролистывала модные журналы «Вог» или «Эль».

Отец в таких случаях только посмеивался и в благодушном неведении надвигающейся катастрофы говорил о своей новой жене, что она «слишком женщина».

Что там ни говори, но с годами — а если смотреть правде в глаза, дело шло к критическому для современной женщины возрасту — все в ее жизни (и в ее жизни с Ольгиным отцом, естественно, тоже) ей наскучило, приелось, отдавало будничной преснятиной и, главное, не сулило никаких сногсшибательных или хотя бы неожиданных перемен в обозримом будущем.

Как бы там ни было, но слепой случай распорядился так, что аккомпаниатор некоего известного французского скрипача — имя и фамилия, само собой, не играют особой роли — во время московских гастролей серьезно заболел, и отцову новую жену вызвали в Госконцерт и в ультимативной форме предложили аккомпанировать приезжей знаменитости.

На что она — имеется в виду отцова жена — дала, разумеется, свое согласие.

Она была очень способной и опытной аккомпаниаторшей, и на нее можно было положиться.

Знаменитость же оказалась сравнительно молодым (между тридцатью и сорока годами), милым и обаятельно-доступным человеком, лауреатом конкурсов имени Чайковского и имени Лонге, чем-то напоминающим бывшего спортсмена, даже более того — бывшего теннисиста (что можно с известным допуском считать не просто случайным совпадением, а, если угодно, злой иронией судьбы), с такими же седыми висками и загорелым даже среди зимы лицом, как у отца.

То ли это роковое обстоятельство, введшее, может быть, новую отцову жену в заблуждение или, что тоже вполне вероятно, показавшееся ей и вправду указующим перстом судьбы, то ли, если не побояться смотреть правде в лицо и называть вещи своими именами, тот несомненный факт, что француз был гораздо увереннее в себе и, что называется, жовиальнее отца, но она влюбилась в него без памяти, и к тому же с первого взгляда, точнее — с первого концерта в Малом зале Московской консерватории.

Не в оправдание ей, а все той же нелицеприятной правды ради следует со всей определенностью упомянуть, что отцова новая жена была человеком увлекающимся, легким, если уместно так выразиться, на подъем, но ни в коем случае расчетливым или тем более корыстным.

Вероятнее всего, она просто-напросто, ничего, по своему обыкновению, не загадывая наперед, влюбилась в этого француза так же без оглядки и махнув на все рукой, как в свое время влюблялась в предыдущих своих мужей, в том числе, само собой, и в отца.

Тем более что это новое ее увлечение было несомненно подготовлено и предвосхищено тем самым фатальным в ее возрасте вопросом: что дальше?

Все решилось в течение каких-нибудь трех гастрольных недель, предусмотренных контрактом скрипача с Госконцертом.

Первым делом застигнутый врасплох, растерянный и раздавленный, отец прибежал, естественно, к матери.

Мать при первых же лихорадочных словах отца не удержалась от характерного для любой женщины в подобной ситуации восклицания: «я так и знала!» Впрочем, может быть, она воскликнула и иначе: «этого следовало ожидать», или «так тебе и надо», либо же «за все рано или поздно приходится расплачиваться»— с абсолютной точностью никто этого знать не может, так как разговор они вели с глазу на глаз, запершись в комнате.

Правда, эта комната граничила с комнатами Ольги и бабушки, перегородки были тонкие, панельные, и Ольга с бабушкой не могли не слышать того, о чем говорили отец с матерью.

Тем более что отец был возбужден, чтоб не сказать — доведен до полного отчаяния, и не соразмерял свой голос с необходимостью не быть услышанным дочерью и бывшей тещей.

Собственно, он орал во все горло, мало стесняясь в выражениях.

Потом он побежал опрометью, как это с ним случалось и тогда, когда они расходились с матерью, в ванную и долго там рыдал, хлюпая носом и громко сморкаясь.

Но самое удивительное и не объяснимое общепринятой логикой заключается в том, что не успел он выскочить за дверь и укрыться

в ванной, как и мать и бабушка — Ольге это было отлично слышно благодаря безупречной звукопроницаемости московских новостроек второй и третьей категорий — тоже зарыдали.

Причем, а это уж и вовсе не укладывается ни в какие рамки, обе — от жалости к отцу.

Потом, когда он пришел несколько в себя — на это ему потребовался не год и не два,— отец уже был в состоянии посмеиваться над собой и над этой историей с французом. Но это был, как принято в таких случаях говорить, смех сквозь слезы.

Ольга как раз тогда проходила в школе Гоголя.

Собственно говоря, это выражение — «смех сквозь слезы»— вполне применимо и к Чипу. К его пению в неволе, например, или к тому, каким смешным казался он сам со стороны — той же Ольге хотя бы,— когда, выпущенный из клетки, судорожно и нелепо натыкаясь на стены, оконное стекло, люстру и прочее, летал по бабушкиной комнате, а ведь это он, собственно говоря, радовался воле.

Со стороны это, должно быть, действительно выглядит смешно. Или даже, может статься, жалко.

Что же до отца, то все дело в том, что он очень любил свою новую — теперь уже, увы, бывшую — жену. И, сам того, вероятно, не осознавая, долго не мог поверить, что и она, эта красивая, хрупкая, обольстительная женщина («блестящая женщина», как сказали бы когда-то) любит его тоже. Строго говоря, он ждал с замиранием сердца — особенно в первые годы, потому что со временем он свыкся со своим счастьем и даже уверовал в его незыблемость,— ждал, что все вот-вот кончится, рассеется, как радужный туман, как мираж какой-нибудь.

Потому что он сам — тщательно это утаивая даже от самого себя — считал себя неудачником.

Со стороны он и казался, наверное, именно неудачником: начав с музыки, с мечты о служении, так сказать, изящным искусствам, он кончил тем, что учит теннису неловких детишек, из которых едва ли хоть один выйдет в чемпионы, а заодно и поспешающих за модой незамужних девиц и не первой молодости старших научных сотрудников.

Много лет спустя, когда умерли и дед, и бабушка, и Чип, а Ольга уже училась в медицинском и влюбилась и собиралась замуж, когда отцу и матери было уже под пятьдесят и вместе с возрастом снизошла на них некоторая умиротворенность, отец с поразившей его самого ясностью вдруг подумал, что на самом деле он прожил удивительно полную, не дававшую ему ни минуты передышки, ни мгновения пустоты, а значит — по крайней мере в высшем смысле слова,— счастливую жизнь.

Дело в том, что в глубине души отец был уверен, что ему так и не удалось завоевать в своей жизни ни одного главного приза. Это выражение — «приз»— следует в данном случае толковать расширительно, а не только в смысле рода его занятий, а именно тенниса. Ему казалось, и, если смотреть фактам в лицо, небезосновательно, что слава и успех (сначала предполагаемая музыкальная слава, а затем и спортивная) обошли его стороной. Во всяком случае, обманули его ожидания.

В юности отец грезил именно славой. То есть всеобщим, не знающим исключений и сомнений признанием. Попросту говоря, поголовной восторженной любовью.

А поскольку и музыка и спорт — занятия публичные, открытые для обозрения и суда всех и каждого, то и славы ему хотелось громкой, шумной, с аплодисментами, с цветами, с фотографиями и интервью в газетах.

Так вот, когда в жизни отца объявилась эта обольстительно-яркая, полная неотразимого очарования и не омрачаемой никакими

сомнениями уверенности в этой своей неотразимости женщина, вполне естественно, что он воспринял ее как тот самый вожделенный главный приз, который столь долго не давался ему в руки.

Вполне возможно, что он был недалек от истины.

В том смысле, что, по мнению многих авторитетов, чтоб не сказать властителей дум, как прошлого, так частично и настоящего, любовь — разумеется, в высшем или, точнее, даже возвышенном смысле слова — есть единственная цель, единственное благо и единственная награда человеческой жизни.

Отцу не оставалось ничего иного как довериться собственному счастью. Что и сделал бы, надо полагать, на его месте каждый.

Да и некогда, собственно говоря, было раздумывать.

После разрыва и развода со второй женой и ее отъезда со скрипачом отец остался, казалось бы, совершенно один.

Не говоря уж, что — у разбитого корыта.

На самом же деле, это было вовсе не так. По крайней мере, не совсем так.

Во всяком случае, дело обстояло отнюдь не так просто, как могло бы показаться на сторонний и не очень проницательный взгляд.

Во-первых, он стал бывать почти ежедневно в старом, точнее в прежнем своем доме, то есть у Ольги, матери и бабушки. Если это объяснять единственно тем, что тут его жалели и были преисполнены желания помочь ему, как он сам выражался, зализать раны,— подобная версия будет отнюдь не исчерпывающей.

Его здесь любили.

О незыблемости любви к нему бабушки уже упоминалось.

Об отношениях Ольги с отцом будет полно и подробно рассказано ниже.

Что же касается матери, то она любила его уже, естественно, не прежней любовью, не той, которой она любила его тогда, когда была его женой и когда они жили вместе, как и не той болезненной и несколько мстительной любовью, которую она испытывала к нему, когда он ушел из семьи. Теперь это была ровная, чуть печальная и если не все, то многое простившая любовь-дружба, любовь-сочувствие, любовь-память, черпающая свое постоянство из совместно прожитых с отцом годов, из общих, уже не жалящих душу воспоминаний о том молодом и добром, что было в прежней их жизни.

К тому же мать просто-напросто была хорошим и верным человеком.

А быть доброй и верной по отношению к бывшему мужу — явление не менее редкостное и достойное удивления, чем вообще любовь.

Но вот что и в самом деле может показаться совершенно неправдоподобным, во всяком случае с естественнонаучной точки зрения, так это то, что именно когда брошенный, оставшийся, казалось бы, в полном одиночестве отец стал почти ежедневно приходить в прежний свой дом,— именно тогда Чип вдруг неожиданно запел вновь.

До этого в течение по крайней мере полутора или даже двух лет он хранил полнейшее молчание. Старость, подумали все с грустью, все проходит.

Но Чип, ко всеобщему удивлению, вновь запел. Правда, ненадолго. Фигурально говоря, это была его лебединая песнь.

Хоть на самом деле, как известно, лебеди не поют. Правда, в пении Чипа уже не было той самозабвенности, того упоения собственным голосом и виртуозностью, характерными для него прежде. Он более не склонял голову набок, как бы вслушиваясь в отзвуки своей песни, еще звенящие в воздухе, и не закатывал самодовольно свои глазки-бусинки. Не стало также прежнего изыска в его фиоритурах, прежнего изощренного блеска в руладах и каденциях. Его искусство стало проще и сдержаннее. В нем как бы зазвучала некая

высокая, покойная мудрость, некое светлое примирение с жизнью, с ее неотвратимой, если воспользоваться музыкальной терминологией, кодой, с ее заключительным аккордом, свойственные зрелой поре большого мастера, его несуетному осеннему, озаренному нежарким последним солнцем дню.

Однако, что бы там ни было, Чип вновь запел.

Кстати говоря, тот душевный покой и примирение с тем, что жизнь сложилась именно так, а не иначе, которые столь явственно проявились в зрелом искусстве Чипа, снизошли в той или иной степени и на всех прочих членов семьи. Если, разумеется, слово «семья» вообще уместно в данном контексте.

Конечно же, кроме тесного мира самой семьи, существовал огромный, бескрайний мир страны и даже всего человечества, малой, но тем не менее неотъемлемой частью которого была судьба каждого в отдельности и всех вместе, совокупно — отца, матери, деда, бабушки и, несмотря на юный ее возраст, Ольги. И само собою, их жизнь и судьба в решающей степени зависели от этого бескрайнего мира.

Нет сомнений, что в этом большом мире есть профессии и роды занятий куда более важные и необходимые, чем работа тренера по теннису и даже врача-косметолога. Но и без них тоже ведь не обойтись. И отец и мать, несмотря на кажущуюся узость или, можно сказать, специфичность их работы, ощущали себя не просто малой, но и вполне равноправной, необходимой частью этого большого мира. Что уж тут говорить о деде — путейце и участнике войны или о бабушке-телеграфистке в самые тяжкие военные времена — уж их-то работу никак не назовешь ни второстепенной, ни тем более ненужной.

В конце концов, общественная значимость человека измеряется не только и не столько его профессией, должностью или же его участием в делах, его прямо не касающихся, сколько тем, как честно, добросовестно и бескорыстно он делает свое дело на своем месте.

Это можно в полной мере отнести к отцу. Он любил свою работу и делал ее хорошо, и за это его любили и отдавали ему должное его ученики, коллеги и начальники. Он, как и мать, твердо знал, что теннис нужен его подопечным не только в часы досуга, но в гораздо большей степени тогда, когда они, набравшись бодрости и жизнелюбия на корте, возвращаются с новыми силами в свои НИИ, КБ, почтовые ящики и ученые советы.

И в этом смысле надо со всей решительностью отмести как несостоятельные любые поползновения судить о нем только и исключительно сквозь призму чисто семейных, или, как это принято называть, камерных, коллизий и пертурбаций.

Мать все эти годы прожила не так пусто и безрадостно, как может показаться иному излишне торопливому читателю нашего правдивого, хоть и беглого повествования. Точнее — хроники. Или даже — жизнеописания. Хотя, строго говоря, в нем нет ничего сочиненного или домысленного, так что в данном случае слово «сочинение» не следует понимать слишком буквально.

Матери было к тому времени уже за сорок, но она все еще была на удивление молода и жизнеобильна.

Сама ее профессия как бы предполагала в ней эту моложавость: она была врачом-косметологом.

Трудно уверить своих пациенток в пользе, чтобы не сказать — в чудодейственности косметических процедур и манипуляций, если ты сама в твои сорок с лишним лет не являешь собою наглядного примера возможности победить время и неумолимые, казалось бы, следы, оставляемые им на женском лице. Впрочем, может быть, в данном контексте было бы лучше сказать — на лике женщины.

Кстати говоря, сама мать как раз и не прибегала к помощи косметологии.

Она даже давно бросила подкрашивать волосы, и выяснилось, что седина, кое-где уже посеребрившая ее голову, скорее красит ее, чем старит, придавая, особенно в разгар лета, ее загорелому, без единой морщинки лицу некий ореол повелительницы собственного возраста. Подглазья ее стали глубже, темнее, отчего большие серые глаза, унаследованные ею от бабушки и в свою очередь переданные в наследство Ольге, казались еще больше и лучистее.

Во всем остальном она тоже доверилась собственной счастливой натуре, и о ней никак нельзя было сказать — «врачу, исцелися сам».

Самое же замечательное и необъяснимое в ней было то, что, работая в Институте красоты, мать никогда ни под каким видом не брала со своих пациенток ни денег сверх того, что они платили в кассу института, ни даже дорогих подарков — разве что цветы или в особо трудном и требующем максимума усилий и внимания случае коробку конфет «Ассорти».

Хотя, с другой стороны, нет и не может быть слишком высокой платы за красоту и свежесть возвращаемой тебе молодости.

В результате — и об этом вполне уместно упомянуть — даже при отцовых ежемесячных ста рублях, которые он давал матери и Ольге, денег в семье всегда было в обрез.

Собственно говоря, все в доме теперь держалось на матери. После смерти деда бабушка сильно сдала, почти — а со временем и вовсе — не выходила из дому, гуляла, по ее собственному выражению, лишь на балконе, благо деревья во дворе за эти годы еще больше разрослись и превратились, опять же по ее словам, в настоящий лес. Ольга училась уже в десятом классе, не за горами был аттестат и пугающее даже при одной мысли о нем поступление в институт, в какой — еще решено не было, так что помощи от нее было немного.

Нельзя сказать, чтоб за эти годы в жизни матери не появлялись мужчины. Однажды она даже сделала было попытку —«провела эксперимент», как она сама впоследствии говорила с чуть вымученной усмешкой,— завести новую семью. Эксперимент продолжался около полугода, новый мамин муж, тихий и робкий доктор геологических наук, океанолог, даже переехал жить в материну комнату, но был так скучен и бесцветен, что ее и без того не очень пылкая привязанность к нему скоро превратилась в едва сдерживаемую зеленую тоску, и он, безмолвно собрав в чемодан свои коллекции экзотических раковин, окаменелых морских звезд и нежно-розовых обломков коралловых рифов, которые всю жизнь собирал и таскал с собою, ушел из материной жизни так же незаметно и покорно, как и появился в ней.

Были и другие, но ни один из них так и не пустил корней в ее жизни.

Причиной тому была, как это ни покажется парадоксальным, неубывающая с годами ее молодость, точнее говоря, почти по-юношески прямолинейный максимализм: мать все еще ждала, надеялась и верила в новую большую любовь.

Что там ни говори, а на поверку пятый десяток, умиротворенность души и несколько увядшая острота желаний — отнюдь не панацея от жажды полного и непреложного счастья.

На меньшее мать была не согласна.

Иногда не сговариваясь она и отец встречались глазами и тут же, смутившись или даже словно бы испугавшись того, чтó они смогут прочесть во взглядах друг друга, отводили их, и тогда Ольге казалось, что они, боясь в этом признаться не только друг другу, но даже каждый самому себе, подумывают втайне о том, не начать ли все снова...

Но поскольку «снова» в этих обстоятельствах могло означать

лишь «сначала»— начать жизнь сначала,— а они знали по собственному опыту, что это невозможно, что это никому еще не удавалось, вот они и отводили глаза и молчали.

Собственно говоря, это был бы тот же самый, уже упомянутый путь наименьшего сопротивления.

А отец и мать были еще вовсе не так стары и не так еще устали от жизни с ее вечным ожиданием несбыточного, чтобы согласиться на повторение уже однажды пережитого, а не мечтать о чем-то совершенно новом и неведомом.

Иногда у Ольги складывалось впечатление, что она гораздо старше и многоопытнее отца с матерью.

Впрочем, лишь до того дня, когда пришла и ее очередь в первый раз влюбиться и испить эту чашу до дна.

Во всем доме один лишь Чип не испытал восторгов и горечи любви.

Любовь обошла его стороной.

В жизни же прочих членов семьи любовь всегда играла первостепенную, чтоб не сказать — основополагающую, роль. Как, впрочем, и отсутствие любви. Отсутствие любви ими переживалось как беда, как худшее из зол.

Несомненно, что жажда любви и тоска по ней — такая же сильная, пламенная страсть, как и сама любовь.

Собственно говоря, это всего лишь две стороны одной медали.

Короче говоря, мать тоже жила в постоянном и нетерпеливом ожидании любви. Это в ее-то годы. Хотя, как уже упоминалось выше, она не только внешне, но и внутренне была все еще молода. Достаточно сослаться хотя бы на тот факт, что по субботам и воскресеньям она, надев синий тренировочный костюм (синий цвет был ей очень к лицу, и она это знала) и штормовку, с тяжеленным рюкзаком за плечами приставала на Белорусском вокзале к какой-нибудь группе завзятых туристов и отправлялась с нею — то есть с совершенно незнакомыми и гораздо моложе ее годами людьми — в турпоход по Подмосковью, невзирая на погоду. Пасмурное, холодное небо или даже дождь радовали ее не меньше, чем безоблачная летняя теплынь. Она с одинаковым восторгом любовалась весенней поляной в золотой россыпи одуванчиков и сиротливым осенним березняком, не говоря уж о праздничной радости, которую рождал в ее душе зимний лес, сверкающий до рези в глазах снежными блестками и воскрешающий в памяти далекую юность с ее лыжными вылазками в Сокольники, с ее воскресными, в электрических разноцветных отражениях на гладком блестящем льду катками в Парке культуры, с острой сладостью эскимо или пломбира в лютый рождественский мороз, с первыми поцелуями — как гладки, нежны и холодны были щеки ее и того, кого она неумело и бесстрашно целовала, щеки и губы пахли морозом, праздником, новогодними каникулами...

Однажды мать даже заставила робкого и совершенно не спортивного доктора геологических наук купить себе ботинки с коньками и потащила его с собой на каток на Патриаршие пруды. Правда, ничего из этого не получилось, если не считать порванных связок голеностопного сустава океанолога.

Этот вечный бой с неумолимостью времени поддерживал в ней не только физические силы, но и силу духа.

Мать умела радоваться жизни, и в этом она была полной противоположностью отцу.

Отец был человеком скорее меланхолического склада души.

Кстати говоря, вторая отцова жена обладала сполна такой же жизнерадостностью, таким же брызжущим жизнелюбием, что и мать. И тем не менее они были совершенно, просто-таки непримиримо разные. В том смысле, что вторая отцова жена радовалась радостям жизни, а мать — самой жизни, жизни как таковой.

Очень даже может быть, что отец любил именно этих двух женщин — а в том, что он любил и одну и другую, сомневаться не приходится — как раз за это общее им обеим радостное мироощущение. И, вероятнее всего, потому, что ему самому его недоставало. Отец был веселый, смешливый, легкий и даже легкомысленный человек, но при этом он постоянно и остро ощущал необратимый — всегда и неизменно в одну сторону! — ход времени, вечное его убывание, жил прошлым, сожалением о нем и вообще воспоминаниями больше, чем надеждами на еще несбывшееся. За всякой безмятежностью он с жесткостью рентгеновского луча видел печальное или, по крайней мере, повседневное ее, как он сам выражался, зазеркалье.

Из этого, однако, вовсе не следует, что отец был, скажем, ипохондриком. Ничуть не бывало. Просто он, говоря опять же языком музыки, то есть языком его собственной юности, наряду с каждым чистым, полным звуком слышал его дальнее глухое эхо, вместе с каждым тоном — его обертон. Эту отцовскую черту очень точно выражают известные строки поэта: «Мне грустно и легко, печаль моя светла». Отец с полным основанием мог бы подписаться под ними.

Можно смело утверждать, что нечто очень схожее с подобным умонастроением — «печаль моя светла»— свойственно и отдельным представителям царства пернатых, тому же Чипу хотя бы. Многие его опусы и музыкальные пассажи были сочинены — а точнее, исполнены — в несомненном миноре. И это несмотря на постоянное наличие в кормушке конопляного семени или канареечной смеси, а в блюдце — свежей, дважды на день сменяемой бабушкой воды.

И все же глубоко не прав был бы тот, кто взял бы на себя смелость утверждать, будто в основе минора и элегической грусти Чипова музицирования лежала односложная неудовлетворенность жизнью.

Печаль, очень может быть, есть не что иное, как оборотная сторона бескорыстнейшей радости и полноты жизни, мужественное, хоть и горестное понимание того, что эта полнота и несказанная прелесть — уходят.

Это вовсе, разумеется, не значит, что надо постоянно только и делать что печалиться об этом и лить бесполезные слезы.

Отнюдь.

Печаль, собственно говоря,— это наша плата за радость.

И уж вовсе нет никаких оснований полагать, что отец был человеком минорного — в вышеупомянутом, само собой, смысле — склада души потому, что считал себя неудачником. Дело обстояло решительно противоположным образом: он и считал себя неудачником именно и единственно в силу того, что был от рождения человеком несколько печального умонастроения.

Будь он настоящим, прирожденным неудачником, он непременно завидовал бы баловням судьбы.

Отец им не завидовал. Он их даже по-своему жалел.

Что же касается его предопределенного, казалось бы, самими нынешними холостяцкими обстоятельствами его жизни одиночества, то тут дело приняло и вовсе неожиданный оборот.

Выше уже было упомянуто, что семья — или, во всяком случае, нечто очень близкое, если не быть ригористом, к понятию «семья», включающему в себя ответственность, заботу и тревоги о ближних, чувство собственной необходимости им и получаемые от них в ответ (именно в ответ, а не взамен) тепло и те же заботы и тревоги,— в этом смысле семья у отца как бы была и даже более того, ему подчас казалось, что теперь она у него есть в большей степени, нежели прежде. Речь, разумеется, идет об Ольге, матери и бабушке.

И никакой, как казалось отцу, роли не играет то обстоятельство, что он живет не под одной крышей с этой своей семьей, а на другом конце Москвы, точнее — у черта на рогах, в Чертанове.

Но и там он был не один.

Короче говоря, бабушка была не единственной его тещей.

У второй отцовой жены была мать, и эта мать (вторая отцова теща) жила вместе с дочерью и очередным ее мужем (то есть с отцом) в недорогой кооперативной квартире в Чертанове.

И когда ее дочь уехала со своим скрипачом, эта вторая по счету отцова теща осталась с отцом в Чертанове.

Не исключено, что она просто-напросто несколько подустала от неутомимой влюбчивости, точнее — от неиссякаемой, прямо-таки пугающей любвеобильности собственной дочери.

К тому же тут, в Москве, прошла вся ее жизнь.

Очень может быть также, что она, как и бабушка, тоже любила отца.

Как это ни покажется неправдоподобным со стороны, но похоже, что тещи любили отца больше или, по крайней мере, дольше, чем жены. Конечно же, подобное явление — редкость и, уж во всяком случае, исключение из правила.

Кстати говоря, вопреки распространенному мнению, далеко не каждое исключение призвано подтверждать общепринятое правило.

Во всех прочих отношениях вторая теща отца была совершенно другим человеком, нежели бабушка. Если угодно, диаметрально или даже полярно противоположным.

Вторая отцова теща была светской женщиной.

Покойный ее муж был в войну морским офицером на северном театре военных действий. Правда, он служил в интендантстве.

В комнате тещи на стене на самом видном месте — над телевизором — висела мужнина фотография первого послевоенного года, до демобилизации: чуть нахмуренное крупное лицо, остриженные ежиком, в первой легкой седине волосы, золотые капитан-лейтенантские погоны, золотой же пояс и на нем, искрясь в свете трехсотваттных ламп фотографического ателье, кортик.

Теща и по сей день хранила в ящике буфета этот офицерский золоченый кортик и награды мужа. Среди них было два ордена Отечественной войны и один Красной Звезды: интендант интенданту тоже рознь.

На противоположной стене висел такого же формата и в такой же латунной окантовке портрет самой тещи, сделанный в тот же день и в том же фотоателье на улице Горького, напротив Центрального телеграфа, у знаменитого в те времена фотомастера Файбусовича.

На портрете у нее был высоко взбитый по тогдашней моде, волною, кок, высветленные перекисью роскошные волосы, несколько искусственный — по требованию фотомастера — и смелый наклон головы.

После демобилизации тещин муж работал сначала главным администратором, а потом до самой пенсии и скорой после пенсии смерти — заместителем директора одного из домов творческой интеллигенции.

Отсюда, собственно говоря, и светскость тещи.

Она не манкировала ни одним просмотром, ни одной премьерой, ни одним банкетом или приемом для иностранных деятелей культуры, не говоря уж о фестивалях и всевозможных кинонеделях, и очень скоро стала — так ей, во всяком случае, хотелось думать — совершенно своим человеком в мире изящных искусств.

Кстати говоря, она еще и сейчас, в свои шестьдесят с немалым, давно овдовев и поневоле отойдя от светского коловращения, не теряла, по ее собственному выражению, форму, регулярно красилась под блондинку, и если смотреть на нее со спины, так ей вообще можно было дать не больше пятидесяти. Ну от силы пятьдесят пять.

Отца она приняла и полюбила отнюдь не сразу. Растерянная и

даже напуганная упомянутой избыточной любвеобильностью дочери, она просто-напросто боялась самого факта ее третьего (и, как она не без оснований опасалась, не последнего) брака. Поэтому она еще долго с опаской и недоверием приглядывалась к отцу.

К тому же в мире, в котором она столько лет жила и к которому — пусть даже не прямо, а лишь по касательной — принадлежала, профессия теннисного тренера с незаконченным высшим образованием была не из самых престижных.

Хотя на самом деле, если отвлечься от этой, собственно говоря, наносной, нахватанной светскости, она была человеком простым, добрым и благожелательным.

Отец называл ее за глаза экс-тещей.

Короче говоря, экс-теща осталась жить с отцом, ухаживала за ним, кормила, обстирывала, ждала с беспокойством, когда он задерживался где-либо допоздна. Они даже смотрели вместе по телевизору хоккей, футбол, сопотские фестивали и фигурное катание в те редкие вечера, когда он оставался дома.

Более того — и это непреложный факт, которому, однако, читатель вправе по своему усмотрению верить или не верить,— со временем Ольга, бабушка и, что может показаться и вовсе невероятным, даже мать не только познакомились со второй отцовой тещей, но и стали ездить друг к другу в гости.

Возил их с Ямского поля в Чертаново и обратно отец, который к тому времени, залезши в неоплатные, во всяком случае в обозримом будущем, долги, купил машину — одиннадцатые «Жигули» цвета «коррида», что, по мысли дизайнеров, означает «кровь на песке». Но потом они стали ездить и сами на метро, тем более что не надо было делать пересадок.

Неисповедимы пути господни.

Собственно говоря, неисповедимого, точнее — необъяснимого или, на худой конец, непонятного на свете вообще гораздо больше, чем принято думать.

Как уже упоминалось выше, отец никому не завидовал. А стало быть, он не был на самом деле неудачником. Ибо классический неудачник, подобно огурцу, состоящему, как известно, на девяносто процентов из воды, состоит в той же пропорции из зависти.

Зависть — то самое первичное сырье, из которого жизнь наладила массовое производство неудачников. Причем, что характерно, можно чувствовать себя обойденным судьбой и быть снедаемым лютой завистью, даже будучи осыпанным регалиями и почестями.

Потому что в глубине души каждый знает себе истинную цену.

Собственно говоря, отец всю свою жизнь был дилетант — сначала в музыке, потом в теннисе.

Более того, он по самой своей природе был именно дилетант — в расширительном, разумеется, смысле.

Очень может быть, что именно в этом и состояло его обаяние.

Не исключено также, что за это его и любили женщины. Это давало им ощущение некоторого превосходства над ним. Они могли его не только любить, но и жалеть. Женщинам это совершенно необходимо. До поры до времени, конечно же. Потом они начинают тосковать по мужчинам с сильной волей, твердым характером и неукоснительной программой жизни.

Но, с другой стороны, от таких мужчин они тоже скоро устают, и их снова тянет к слабым, неуверенным в себе и требующим от них жалости и сочувствия.

Принцип маятника.

Отец имел успех у женщин.

Он был интересен им странной и даже, пожалуй, несколько загадочной смесью спортивной мужественности, этакого пересаженного на отечественную почву плейбойства, с некой зыбкой, без

видимых причин печалью и неутолимой жаждой чего-то, чему они и имени-то не знали.

Они восхищались им и вместе глядели на него несколько по-матерински: с обожанием, но снисходительно и даже чуть сверху вниз.

Он был довольно-таки сложной молекулой, отец.

Особенно же его любили дети и подростки. Он на удивление легко и сразу, без всяких усилий со своей стороны находил с ними общий язык. Просто-напросто он разговаривал с ними как равный с равными. Впрочем, так оно и было на самом деле: он и был в известном смысле ребенком, подростком с седыми висками.

Хотя со временем стал грузнеть, отяжелел, и теперь не только виски, но и вся голова у него стала похожа на тронутую инеем пшеничную копенку.

Кроме того, он был прирожденным педагогом, в данном случае — тренером. Он не мог да и не стремился сделать из своих учеников мастеров и чемпионов, но научить их любить теннис и его простые, естественные и доступные радости — это он умел.

И этого с него было достаточно.

Отца огорчало, что ему так и не удалось привить Ольге любовь к спорту. Как и то, что она не стала музыкантом. То есть не пошла по его стопам.

Он считал, что Ольга вообще пошла в мать. Он был даже доволен этим — если сам он считал себя неисправимым дилетантом, то мать, на его взгляд, была воплощением профессионализма, и не только в том, что касалось ее специальности: мать, за что бы ни бралась, все делала уверенно, спокойно и все, как считал отец, ей удавалось.

И все же про себя он печалился, что дочь пошла не в него, а в мать.

Хотя на самом деле все обстояло совершенно наоборот и Ольга росла полнейшим его повторением и подобием. Все в ней самое глубинное и не подверженное переменам было как раз от него.

Верхний слой ее характера — упорство, настойчивость, трудолюбие и даже некоторый раздражавший, точнее, ставивший в тупик отца педантизм были действительно унаследованы ею от матери. Но все, что было под этим верхним слоем и что составляло самую суть, или, точнее, тип, ее души — мягкость, неуверенность в себе, неумение довести до конца дело, начатое, казалось бы, с такой настойчивостью и педантизмом, ее затаенная мечтательная грусть, которую она, как, впрочем, и сам отец, упорно прятала за иронической колючестью суждений и слов,— все это было несомненно от него.

Ольге, как и отцу, было непросто жить.

А уж когда она вырастет — правда, это уже выходит за рамки настоящего жизнеописания, поскольку задолго до этого Чипу предстоит умереть и вместе с этим неизбежным событием жизнеописание исчерпает себя и те скромные задачи, которые оно перед собой ставило,— когда Ольга станет совсем взрослой и уйдет, как говорится, в самостоятельное жизненное плавание и станет все решать за себя сама и сама же нести бремя содеянного и несодеянного, ей будет, по всей видимости, и вовсе непросто жить.

Но до этого было еще далеко.

Чип был еще жив и вполне, казалось, здоров, более того, как уже упоминалось, он опять, после почти двухгодичного перерыва, стал петь.

А бабушка занемогла.

Она держалась долго и стойко.

Ее жизнь была не из самых легких и безоблачных. Даже напротив. Один дед чего стоил — даже до болезни, более того, даже в молодости еще, в лучшую их с бабушкой пору,— дед с его стра-

хами, брюзгливостью, мелким и, в общем, безобидным, но утомительным тиранством, не говоря уж о его приверженности к вину, один дед выпил немало бабушкиной крови.

Ну и прочие тяготы, заботы, неустройства, а также, как уже упоминалось выше, исторические потрясения и катаклизмы — все это ложилось в первую очередь на слабые бабушкины плечи.

Бабушка слегла.

И, словно чуя беду — а пернатые, как известно, даже землетрясения или, скажем, цунами чуют загодя,— Чип вновь перестал петь.

Теперь уже окончательно.

Врачи бабушкину болезнь определяли по-всякому, и почти наверняка каждый из них был по-своему прав: это были хорошие врачи, товарищи матери еще по институту, внимательные, опытные. Некоторые из них в отличие от матери стали профессорами и докторами наук, а один так даже академиком.

На самом же деле бабушка умирала от старости.

Точнее говоря — от усталости: она просто устала жить.

Всем было ясно, что бабушке уже не встать. Даже Чипу — иначе с чего бы ему умолкнуть навсегда именно в эти дни?

Знала это и бабушка. Она тоже умолкла, как и Чип.

Вообще с годами они стали чем-то очень похожи, бабушка и Чип.

Мать не в первый раз бросалась спасать бабушкину жизнь. Несколькими годами ранее — уже после дедовой смерти, когда бабушка стала сдавать и стариться, увядать прямо на глазах,— она простудилась, «гуляя» на балконе.

Воспаление легких, к тому же двустороннее, да еще в ее-то возрасте,— не шутка. Мать всю ее исколола уколами, ставила горчичники, грелки, поила чаем с малиной, доставала из-под земли дефицитнейшие лекарства.

Воздух из бабушкиных легких вырывался с трудом, но не с хрипом, а с едва слышным, без жалобы шипением.

Материны друзья-врачи, навещавшие на дому бабушку, прятали глаза и разводили руками — они были уверены, что бабушкины дни сочтены.

И все же мать выходила ее. Это было почти чудо.

Во второй раз чуда ждать было нельзя. Бабушка не болела, она угасала.

И Чип перестал петь.

Когда мать уходила на работу, а Ольга — она уже была студенткой первого курса — на занятия, приезжал дежурить у бабушкиной постели отец. Он на эти часы отменял все занятия в детской спортивной школе и на динамовских кортах на Петровке, сидел у бабушкиного изголовья, давал по часам лекарства, сажал на судно, поил водой из горлышка фаянсового чайника из давно разрозненного кузнецовского сервиза, разговаривал с нею, когда она была в состоянии разговаривать.

Но чаще бабушка впадала в забытье, в рыхлую, бездонную дрему, и тогда-то и было слышно, как вырывается из ее легких воздух с едва слышным шипением.

Бабушка умирала так же тихо, застенчиво и без жалоб, как и жила.

Когда она задремывала, отец уходил в соседнюю, материну или Ольгину, комнату, садился в кресло и пытался читать. Но внимание его было не в состоянии ни на чем закрепиться, из памяти тут же испарялась только что прочитанная страница, и отец просто сидел, глядя невидящими глазами за окно на начинающие невнятно желтеть и краснеть листья разросшихся деревьев — было начало осени, первая половина сентября,— и не столько думал, сколько вразброд, бессвязно и без мысли вспоминал.

А за стеной были бабушка и Чип, оба старые и безмолвные.

Время от времени отец вставал, неслышно отворял дверь в бабушкину комнату, на цыпочках переступал порог и, если бабушка не дремала, видел, как она, неловко повернув голову на высоких подушках, глядит неотрывно снизу вверх на Чипа.

Чип сидел недвижно на жердочке в своей клетке и тоже, только сверху вниз, молча глядел на бабушку.

Словно между ними шел долгий, без слов разговор о самом главном, насущном и теперь уже наверняка неотложном.

Отец так же тихо возвращался в соседнюю комнату, садился в кресло, брал книгу и тут же ронял ее на колени и, уставившись в окно, вспоминал.

Впрочем, это были даже не воспоминания, а бессвязные их обрывки, слабые тени мыслей о том, что было за эти долгие, казалось даже — безначальные годы с ним, с матерью, с бабушкой, с Ольгой и со всеми прочими, кто так или иначе прошел через его и их жизнь, пропав бесследно или оставшись в ней навсегда. А также о том, как скоро все проходит. И еще о том, что из всех людей на земле он более всего задолжал за свою жизнь именно бабушке.

Он знал, что самой бабушке никогда не приходила и не могла прийти в голову мысль о том, что кто-то — дочь ли, внучка, зять, покойный ли муж или тот же Чип — чего-то ей недодал, чего-то самого главного и нужного так ей и не сказал, чем-то не поделился.

Или хотя бы, на худой конец, не помолчал рядом с нею об этом самом главном и неотложном.

Эта маленькая, слабая и тихая женщина, теперь уже старуха, теперь уже не жилец на этом свете, всю свою жизнь не только везла на себе дом, хозяйство, стояние в очередях за хлебом насущным, но была сердцем и душою семьи — и даже тогда, когда семья эта бесповоротно распалась. Более того, именно благодаря ей, никогда и ни во что не вмешивающейся, не лезущей в чужую жизнь, именно благодаря ей эта семья, даже распавшись, каким-то странным, необъяснимым образом продолжала существовать.

И вот — бабушкин век подходит к концу.

Медицина была бессильна.

И даже любовь — тоже.

Едва вздымались, жадно глотая воздух, и опадали легкие, отказали почки, пульс еле-еле прослушивался.

Отец сидел и думал о том, что бабушка всю жизнь отдавала, отдавала, отдавала себя — свою заботу, любовь, тревогу и ненавязчивую нежность — и ничего не только не требовала взамен, но и удивилась бы и смущенно замахала своими тоненькими, кожа да кости, руками с узловатыми пальцами и пожелтевшими обломанными ногтями: не надо! как можно даже подумать об этом?!

В бабушкиной комнате висела большая отцова фотография в старинной деревянной рамке с облупившимся темным лаком. Бабушка не сняла ее со стены и тогда, когда отец разошелся с матерью и ушел из дома. Регина, уже не раз и не два упомянутая выше, бурно возмущалась, проводила с бабушкой долгие и нервические разъяснительные беседы, требовала от матери, чтоб та не сидела сложа руки и не давала себя в обиду, мать тоже устраивала сцены, даже кричала на бабушку и плакала, но бабушка так и не убрала фотографию.

На ней отец был снят в давние свои годы, еще студентом и чемпионом Москвы, вскоре после того, как они с матерью поженились.

Фотограф его снял на корте сразу после победной финальной партии, с ракеткой в руках, разгоряченного, потного, счастливого, с пестрым полотенцем вокруг сильной, молодой шеи. Отец тогда еще носил свою рыжеватую бороду и длинные прямые волосы до

плеч, он их повязывал, чтоб не мешали во время игры, шерстяной ленточкой вокруг лба.

На фотографии, если бы ему дать вместо ракетки в руки топор или, скажем, меч, он был бы похож на древнерусского веселого и бойкого мастерового или ратника.

Потом, когда жизнь пошла размеренной и отмеренной на годы вперед невалкой поступью и в ней не стало уже места для мечтаний о музыке или, на худой конец, о том, чтобы стать первой ракеткой страны и выиграть, скажем, Уимблдонский турнир, он сбрил бороду, остриг волосы и из иконописного воина или мастерового превратился в обыкновенного современного, шестидесятых и семидесятых годов нашего столетия, молодого, потом не очень молодого, а спустя — и погрузневшего, седеющего человека без особых примет.

По обеим сторонам от этой фотографии на бабушкиной стене висели еще две: отец и мать, он — в белой накрахмаленной рубашке и при узком, жгутиком, галстуке, она — в платье с подложенными по тогдашней моде ватой плечиками, в день их помолвки; вторая — Ольга восьми или девяти месяцев от роду, впервые вставшая на ножки и крепко вцепившаяся ручонками в край деревянной решетки ее детской кроватки, толстощекая, со вздернутым носиком, повязанная цветастым материным платком — «купчиха», называла Ольгу на этой фотографии бабушка.

И — ни одной бабушкиной фотографии, ни одной фотографии покойного деда.

Иногда, входя на цыпочках в комнату умирающей бабушки, отец заставал ее повернувшейся лицом не к Чипу, а к висящим невысоко на стене этим фотографиям.

Бабушка и с ними вела свой безмолвный разговор о самом насущном и неотложном.

Словно она хотела напоследок что-то такое объяснить дочке, зятю и внучке, наиважнейшее и совершенно необходимое им, чтобы они все наконец поняли, и тогда она со спокойной душой сможет их покинуть.

Бабушке всю жизнь казалось, что она всем чего-то недодала.

Мать вся извелась, хотя и она яснее ясного понимала — она хоть была и косметолог, но все же врач,— что ничем бабушке уже не помочь. Но она бежала сломя голову каждые три часа с работы домой, чтобы сделать вовремя совершенно уже бесполезный укол, измерить давление, сдать на анализ мочу или кровь, напоить и накормить бабушку, сменить ей постельное белье и повязки с мазью — у бабушки пошли по всей спине и ягодицам пролежни.

Именно в эти трудные дни и недели сполна проявилась в матери ее упорная, целеустремленная воля и то, что она называла «чувством долга» и что на самом деле было просто добротой и любовью, которые она, словно бы стесняясь их, прятала за унаследованной от своего отца, Ольгиного деда, безапелляционностью и окриком.

Доброта, долг и воля — именно из этих черт складывался сильный, иногда даже трудный для домашних характер матери.

Правда, свою личную жизнь мать так и не сумела наладить. Очень может быть, что именно благодаря этому своему характеру.

Ольга приходила после трех, а иногда и четырех «пар» из института, после анатомички, лабораторных занятий и физкультуры, как она сама говорила, «без задних ног», кидалась помогать матери, но все делала невпопад, не по-материному, отчего меж ними вспыхивали короткие, но бурные стычки со взаимными упреками, криком и хлопаньем дверьми.

Собственно говоря, Ольгу всегда воспитывала бабушка — матери было недосуг, отец давно жил отдельно. Бабушкино воспитание состояло в том, чтобы снять с внучки какие бы то ни было домашние заботы и дела. Отец и мать настаивали, чтобы Ольга с малолет-

ства сама застилала за собой постель, мыла посуду, убирала свою комнату, а когда она стала постарше — то и стирала всякое мелкое свое белье. Ольга не спорила, но покуда она умывалась утром в ванной, бабушка неизменно успевала застелить ее кровать и приготовить завтрак. А пока Ольга после обеда или ужина хоть на секунду выходила из кухни, бабушка молниеносно перемывала всю грязную посуду. О стирке и уборке комнаты и речи быть не могло, все это бабушка переделывала, пока Ольга была в школе, а мать на работе.

До самой бабушкиной смерти Ольга так и не научилась толком ни готовить, ни стирать, ни шить — все делала бабушка; мать устраивала бабушке по этому поводу сцены, обличала ее в потакании Ольге, в том, что она хочет вырастить из внучки тунеядку и белоручку, и призывала на помощь, как она говорила, авторитет отца.

Бабушка виновато выслушивала все их поучения и пени, беспрекословно со всем соглашалась, но упорно продолжала делать за Ольгу все.

После бабушкиной смерти Ольга всему научилась и все делала охотно и быстро и, моя посуду или стирая, думала с щемящей болью о бабушке.

Все эти два месяца бабушкиной болезни, точнее — бабушкиного умирания, Ольга ходила притихшая, испуганная, и видно было по ней, как она взрослеет день ото дня.

Она очень любила бабушку, но прежде как-то не задумывалась над этим и вообще, как она теперь понимала, печалясь и стыдясь, мало о бабушке думала. Бабушка — была, как были сама жизнь, дом, детство, небо, лето, весна, зима. Как была она сама, Ольга, и весь необъятный, неизъяснимый мир вокруг. А о том, что ты есть и есть целый мир вокруг тебя,— об этом как-то не думаешь.

А бабушки не стало.

О Чипе в течение этих семи или восьми тяжелых недель попросту забыли. Впервые за все годы его жизни в доме мать и Ольга забывали убирать его клетку, а однажды он двое суток провел впроголодь и даже без свежей воды в блюдце.

Но Чип не роптал и не сетовал, он, очень может быть, понимал, что сейчас не до него.

Зная хоть сколько-нибудь Чипа и его биографию, невозможно ставить под сомнение, что он, проживший всю жизнь, если можно так выразиться, бок о бок с бабушкой, более того, живший одной с нею жизнью, а если уж идти до конца, воспитанный и сформировавшийся в нравственном климате этой семьи и наконец ставший, не побоимся этого слова, полноправным ее членом,— можно ли ставить под сомнение, что Чип чувствовал и переживал вместе со всеми беду, постучавшуюся, как говорилось в старину, в двери дома?!

И только тогда мы получим ответ на вопрос, почему Чип именно в это время перестал петь.

Очень может быть, что подобный вывод вызовет нарекания или даже недоверчивую усмешку со стороны ученых-орнитологов. Но Чип любил бабушку, а любовь объясняет многое такое, в чем наука плутает как в трех соснах.

Бабушка умерла.

Был конец сентября, бабье лето никак не кончалось.

Стояли такие ясные, чистые дни, и ночи тоже были прозрачные, словно отлитые из темного стекла, искрящегося вспышками высоких звезд, в полдень так красно и жарко полыхали клены, березы и осины, так молодо-свеж был по утрам воздух, что от счастья и собственной чистоты и легкости, а также от чуть горчащего, как крепкий бабушкин чай, предощущения того, что с недалекими уже дождями вся эта чистота и хрупкость посереет и облетит и что вообще

все так непрочно, хрупко на этом свете,— от всего этого хотелось плакать чистыми же и свежими слезами.

В такой-то день бабушка и умерла.

В отличие от деда ее кремировали — в ограде семейного участка на Преображенском кладбище стало уже тесно.

Урна с прахом занимает гораздо меньше места, чем гроб.

«Прах» — было новое для Ольги слово. Прежде оно встречалось ей лишь в старых книгах или в официальных сообщениях о похоронах государственных деятелей и разных знаменитостей, и оно казалось ей устаревшим и даже чуточку смешным.

А теперь оно стало простым, обыкновенным и потому пугающим.

Кремация прошла как-то тихо, неприметно, и не она запомнилась Ольге, матери и отцу. В автобусе опять поместились все — и родные, и несколько соседей по дому, и единственная оставшаяся в живых давняя, еще со времен коммунальной квартиры на Разгуляе, бабушкина близкая подруга Глафира Васильевна, тоже очень старая, тучная, едва передвигавшаяся на толстых, разбухших ногах в теплых домашних тапочках. Ну, разумеется, и вторая отцова теща.

На следующий же день бабье лето неожиданно оборвалось, грянула слякотная осень, зарядили холодные, наводящие тоску дожди, предать урну земле было нельзя — земля набухла, напиталась водой, могла осесть и даже провалиться в яму, надо было дожидаться весны.

Поминки тоже были тихие, немноголюдные, бабушка и при жизни не любила и даже боялась толчеи, шумного застолья.

Никто в эти дни и не вспомнил, что Чипу забыли задать корм и налить в блюдце свежей воды.

Когда все разошлись, мать, Ольга и отец остались втроем. Если не считать Чипа.

За стеной была пустая, теперь уже бывшая бабушкина комната, им было страшно туда входить, и они не знали, как им теперь без бабушки жить и что с ними будет дальше.

Правда, там продолжал жить Чип.

Впрочем, и он вскоре умер.

Запомнился же Ольге, матери и отцу и врезался навсегда в память не день бабушкиной смерти и поминок, а совсем другой день, а именно когда они в мае следующего года захоронили на Преображенском кладбище белую, отлитую из тяжелого алебастра урну. Этот день пришелся на девятое мая — День Победы.

К тому же так в тот год совпало, что это был и день поминовения усопших.

Когда они приехали на Преображенское, их поразило невообразимое количество народа на кладбище.

Захоронение урны не заняло слишком много времени — отец заранее договорился с кладбищенскими рабочими, как ни странно, в этот день они были, против обыкновения, совершенно трезвые, быстро и споро выкопали яму, врыли в нее цементную кубическую нишу, в которую затем поставили урну, засыпали землей, подровняли холмик, получили свою десятку и заторопились дальше.

Мать и Ольга вымели за ограду мусор, высадили в землю купленные на соседнем Преображенском рынке цветы, вымыли со стиральным порошком прабабкин каменный памятник с отбитым крестом.

Почти у каждой могилы копошились люди, их было в этот день не счесть. И были они какие-то притихшие, спокойные, доброжелательные, охотно одалживали друг другу лопату, веник, банку с серебряной или бронзовой краской.

Стояла солнечная, непривычно теплая для начала московского мая погода, уже застенчиво зеленели первые листочки, полезла из жирной кладбищенской земли первая трава.

И все это вместе было похоже на радостный и, несмотря на как бы разлитую в воздухе и отражавшуюся на лицах людей покойную печаль, светлый праздник.

Управившись с бабушкиной могилой, отец, мать и Ольга пошли к центру кладбища, к братским могилам и Вечному огню.

На улочках-аллеях было не протолкаться, над головой нежарко сияло весеннее солнце.

Ближе к Вечному огню народу стало еще больше.

На братских могилах — на могилах безымянных солдат, многие из которых были наверняка не москвичами, а сибиряками, казахами, украинцами или кавказцами и у которых не могло быть в Москве родственников и близких,— на этих могилах тоже лежали цветы.

В покойной, светлой тишине стоял какой-то едва уловимый ухом, нежный и дальний не то звон, не то мелодичное серебряное позвякивание. Он стоял еле слышной, ускользающей, но неизменной нотой в густо-солнечном воздухе, и было неясно, откуда он доносится.

Вечный огонь горел на покатом, со срезанной вершиной постаменте из темно-красного гранита над главной братской могилой. Пламя то вскидывалось красным и желтым, то становилось в ярком солнечном свете прозрачным и исчезало из глаз.

Серебристый легкий звон стоял в воздухе оттого, что люди, подходившие к Вечному огню или проходившие мимо, бросали на гранитный цоколь серебряные и медные денежки, они ударялись с певучим, долго не гаснущим звуком о полированный камень и скатывались вниз, к широкому основанию. Вся земля вокруг Вечного огня была в белых и желтых кружочках монет.

Никому, даже бойким преображенским, сокольническим и черкизовским мальчишкам не приходило в голову поднять монетку и прикарманить ее.

Монеты блестели на солнце, и, может быть, от этого их блеска навертывались на глаза слезы.

Негромкий, нежный звон плыл над головами, и было похоже, будто тысячи маленьких серебряных колоколов благовестят вразнобой.

Они долго стояли втроем у Вечного огня, мать держала Ольгу за руку, и Ольга чувствовала, какая у нее горячая, напряженная рука. Отец обнял ее за плечи — Ольга сильно выросла за последний год-два, просто-таки вымахала, переросла мать и почти сравнялась с отцом.

Справа, и слева, и сзади, и спереди молча стояли десятки и сотни людей, не сетуя на толчею, не проталкиваясь вперед и никуда не торопясь.

Очень может быть, что это был первый и единственный такой светлый и чистый праздник во всей бабушкиной жизни. Пусть это даже и произошло после ее смерти и она ничего этого не увидела.

Потом они, не переговариваясь и не обмениваясь впечатлениями, поехали с Преображенки домой, точнее к матери и Ольге на Ямское поле, на отцовых «Жигулях» цвета «коррида». Отец молчал и думал о том, что, когда он умрет и уйдет в землю, ему больше всего на свете хотелось бы слышать хоть изредка, хоть раз в году над своей могилой этот нежный, хрупкий звон.

Мать и Ольга тоже молчали.

Ольге казалось, что она открыла сегодня в себе и в людях новый, совершенно неведомый ей до сих пор мир. И она надеялась всей душой, что сегодняшнего дня ей хватит на всю жизнь.

А мать вдруг вспомнила старое, давным-давно забытое слово: «вечность».

Не в мистическом, конечно же, смысле. В философском, если угодно.

Впрочем, философия — это от ума, это работа и плод выверенного, бесстрастного разума. Философия тут ни при чем.

Чип весь этот день провел дома в полном одиночестве. Теперь он уже не страдал даже от него — он стал слишком стар и для этого.

В философском опять же смысле, в данном случае как раз вполне уместном, старость — это и есть, может быть, окончательный и бесповоротный уход в одиночество. Или, по крайней мере, привычка к нему. Точнее даже — потребность в нем. Наверное, так нам легче приготовиться к одиночеству смерти, свыкнуться с мыслью о ней.

Единственным человеком в семье — хотя это и слишком сильно сказано, точнее было бы: единственным близким семье человеком,— который продолжал испытывать к Чипу повышенный интерес и всякий раз, приходя в гости, ждал и даже понукал Чипа вновь запеть, как то и подобало, на ее взгляд, уважающему себя кенару, была вторая отцова теща, мать его уехавшей со скрипачом второй, и теперь уже, соответственно, бывшей, жены. Она еще надеялась услышать Чипово пение.

Дело в том, что прежде — так уж сложилась ее жизнь — она ни разу не слышала канареечного пения.

Но Чип молчал.

Он уже никак не походил на андерсеновского соловья, выкованного из червонного золота, с изумрудами или рубинами вместо глаз и с волшебным музыкальным механизмом внутри, он стал похож скорее на больного желтухой старого, печального воробья.

Он был уже не броско-лимонного цвета, перья и особенно пух на груди и брюшке поседели и стали всего лишь неопределенно охристы. Голова его и вовсе облысела, и глаза уже не глядели на мир веселыми бусинками, а словно бы затянулись полупрозрачной тусклой пленкой.

Теперь Чип большую часть дня сидел отрешенно на жердочке, вцепившись в нее из последних, убывающих сил единственной своей здоровой лапкой и поджавши под себя увечную, и дремал или, очень может быть, уходил в себя и в воспоминания о своей пусть и прожитой в неволе, в клетке, но все же такой дивной и такой некогда безбрежной жизни.

Иногда он в этой своей полудреме не удерживался на жердочке и сваливался вниз, на дно клетки. Но и больно ударившись, он не жаловался и не пенял на судьбу.

Каким бы это запоздалым парадоксом ни показалось стороннему наблюдателю или даже самому хронисту и жизнеописателю, именно теперь Ольга вновь, как двенадцать лет назад, полюбила Чипа.

Очень может быть, она просто созрела для любви вообще.

Теперь уже она вместо отца ездила за конопляным семенем или канареечной смесью на Кузнецкий и Арбат, меняла Чипу воду в блюдце и бумажную подстилку на дне клетки.

Ей даже казалось, что она — как когда-то бабушка пение Чипа — понимает его молчание.

Когда она глядела на престарелого, безмолвного Чипа, на Ольгу накатывала печаль.

Впрочем, это была странная печаль — в ней было больше томительной, изматывающей надежды, больше ожидания неведомо чего, чем горечи и сожалений. Это была даже, можно сказать, вовсе и не печаль, а то, что в старину называлось томление духа.

А может быть, и плоти.

Ей было уже девятнадцать лет, она училась на втором курсе медицинского, была мечтательна, прямодушна и преисполнена нетерпения, а любви — не было.

У нее до сих пор не было ни одного мальчика. Она ни разу не влюблялась, и в нее тоже никто еще не был влюблен.

Душа ее и сердце томились. Ей казалось, что она уже отчаялась ждать.

Собственно говоря, Ольга была уже не только готова к любви и для любви, но и — любила. Вот только предмет этой любви пока отсутствовал.

Иногда Ольгу даже охватывало смятение. Ей казалось, что любви уже не дождаться, что все уже позади и впереди ничего ее не ждет. Довольно распространенный, чтоб не сказать — типичный случай, если иметь в виду ее девятнадцать лет.

Когда Ольгино смятение и, не побоимся этого слова, испуг перед будущим подступали к горлу и требовали выхода, сочувствия или хотя бы простого понимания, отец и мать переводили все в шутку и, как в подобных случаях поступают все родители, позабыв о собственной томительной жажде любви в их девятнадцать лет, утешали ее стертыми и мало обнадеживающими сентенциями вроде «все впереди», «куда ты торопишься», «все в свое время» и так далее и тому подобное.

У взрослых вообще наблюдается нечто вроде аберрации памяти, или, точнее, притупления уставшего, чтоб не сказать — оглохшего от грохота и торопливости жизни слуха на молодое, нетерпеливое сердце.

Красивой в полном смысле слова Ольгу, очень может быть, и нельзя было назвать, но выросла она тоненькой, высокой, на длинных, по моде, ногах, с едва выступающей, по той же неумолимой моде, грудью, а талия у нее была такая, что отец своими большими, сильными ладонями теннисиста почти мог ее обхватить.

У нее были большие, совсем как у матери и у бабушки, но только еще больше и лучистее серые глаза. Даже не серые, а какие-то дымчато-синие, в мелких серебряных брызгах, или, точнее, искорках. А волосы были в отца — густые, пепельные, с совершенно бронзовым отливом. Она их носила то конским хвостом, то рассыпала тяжелой, плотной волной по плечам, но отец больше всего любил, когда она собирала их в тугой узел на затылке. Тогда становилась видна ее высокая нежно-юная шея и, когда она ходила в летних открытых сарафанах на бретельках, покатые, округлые и вместе трогательно еще детские плечи.

Отец вообще любил ее без памяти, а теперь, когда от него ушла вторая его жена и он остался, собственно говоря, совершенно один, Ольга стала его единственной, если уместно это выражение, страстью.

Ольга тоже его очень любила и страдала, когда он — ей для этого не нужны были его слова — казался самому себе обойденным судьбой.

Но вслух они об этом меж собой никогда не говорили.

Она и с матерью далеко не всем делилась. Мать была менее, чем отец и сама Ольга, склонна к рефлектированию. Очень может быть, у нее попросту не хватало на это ни времени, ни сил.

Отец считал, что Ольге надо специализироваться по психиатрии. Мать же была категорически против — она знала, что такое работа врача вообще, а психиатра особенно, сколько на это нужно физических сил, самоотвержения и терпеливости.

Она хотела, чтобы Ольга пошла по ее стопам и стала косметологом.

Но окончательное решение вопроса насчет будущей специальности оставалось за Ольгой. Иногда, глядя на дряхлеющего на глазах Чипа и на его подогнутую под брюшко увечную ногу, Ольге приходила мысль стать ветеринаром и лечить птиц.

Чип меж тем угасал, как еще совсем недавно угасала и бабушка.

Временами Ольге казалось, что Чип и бабушка как бы слились в одно и что новая, вспыхнувшая в ней именно после смерти бабушки любовь к Чипу — это просто-напросто недоданная, не израсходованная при жизни бабушки нежность и жалость к ней.

Она любила и жалела Чипа, кроме всего прочего, и из какого-то неотступного чувства вины перед бабушкой.

Любовь к Ольге пришла совершенно внезапно, когда она, вконец отчаявшись ее дождаться, готова была махнуть на себя рукой и, за неимением лучшего, заняться всерьез наукой.

Он ездил на мотоцикле.

При этом он был виолончелистом и учился в том самом Институте имени Гнесиных, в котором учился — точнее, недоучился — отец.

Мотоцикл был без коляски, но он придумал и сконструировал хитроумное приспособление, позволяющее приторачивать виолончель вдоль мотоцикла справа.

У него вообще были, сверх, разумеется, музыкальных, еще и разнообразнейшие технические задатки. Например, он сделал для Ольги параллельный телефон — до этого телефон существовал только в материной комнате, и Ольге приходилось бежать сломя голову на каждый звонок, и часто она добегала, когда в трубке раздавались уже ехидные гудочки отбоя,— так вот, он установил в Ольгиной комнате самодельный аппарат, состоящий из одной трубки с приделанным к ней диском с цифрами, очень похожий на полевую рацию.

Его чуть ли не каждый день останавливали и штрафовали гаишники: приторочённая к мотоциклу виолончель никак не предусматривалась правилами уличного движения.

К тому же он всегда повсюду опаздывал и превышал скорость.

А вообще он был высоченный и до чрезвычайности тощий, чуть надменный и немногословный мальчик хрупкого и даже несколько женственного склада. Это впечатление усугублялось тем, что на его смугло-бледном лице под густой и рассыпающейся на обе стороны копной черных волос постоянно лежала розовая, почти прозрачная, как бы девичья тень румянца.

Только руки — крупные, широкие ладони, длинные, сильные пальцы — были мужские и, казалось, принадлежали не юноше, а совершенно взрослому человеку.

Когда они впервые встретились, Ольга не только не запомнила, но просто даже и не успела разглядеть его лицо.

Она, как всегда, опаздывала на занятия и, стоя на остановке восемьдесят второго автобуса на улице Правды, голосовала безнадежно вытянутой рукой. Но машины — и такси и леваки — проносились мимо, не обращая на нее никакого внимания.

И когда около нее резко, с каким-то истерическим визгом притормозил мотоцикл (в тот первый раз без приторочённой к нему виолончели; потом-то они преотлично приспособились ездить втроем: он, Ольга и виолончель) и некто в защитном шлеме и очках во все лицо сказал традиционное в подобных случаях: «Вам куда?» — Ольга в полнейшем цейтноте взобралась на заднее сиденье и, обхватив за талию спасителя-мотоциклиста, помчалась с ним на адски тарахтящей машине, предназначенной, как заметила впоследствии мать, больше для самоубийства, чем для безопасного передвижения, сначала по Ленинградскому проспекту, потом по улице Горького (по Тверской, как бы непременно уточнила покойная бабушка), по Садовому кольцу до Зубовской и — направо, к своему Второму медицинскому.

В тот день она впервые села на мотоцикл.

Ей это пришлось по душе.

Когда он домчал ее до института, она едва удосужилась бросить ему на ходу «спасибо».

Даже если бы она и обернулась, то лица его все равно бы не увидела — он так и не снял очки и шлем.

Но у нее и обернуться-то не было времени. Точнее, ей это и не пришло в голову.

За весь день она ни разу о нем не вспомнила — ни сидя на лек-

циях, ни на лабораторных, ни к вечеру, когда, совершенно выдохшаяся и измотанная, вышла из института.

Однако самое необъяснимое во всей этой истории заключается в том, что, не вспомнив о нем ни разу за весь день, Ольга ничуть не удивилась и даже сразу, без малейших колебаний узнала его, когда, выйдя из института, обнаружила, что он ее ждет на том самом месте, куда доставил утром.

Она ждала любви, и вот та явилась — что ж тут удивительного?!

Она удивилась лишь его лицу, когда увидела его без очков: ей показалось, что именно его — с этим его лицом, с этими рассыпавшимися на обе стороны прямыми черными волосами и с этим смугло-розовым, словно бы светящимся изнутри румянцем, с его, наконец, мотоциклом и виолончелью,— одним словом, что именно его-то она и ждала.

Вот это-то полнейшее, как ей теперь казалось и в чем она мгновенно, но раз и навсегда, на веки веков уверилась, совпадение ее ожиданий с нежданно нагрянувшей реальностью ее и поразило—и только.

К тому же, как выяснилось, его звали Глеб, и это имя ей тоже показалось давно знакомым, полным некоего тайного, устойчивого значения, другого имени у него и не могло быть.

Случилось так, что в тот же день к вечеру, когда заходящее городское солнце неспешно изливалось на прощание на Москву-реку, на Нескучный сад на противоположном берегу и на притихшую после часа пик Фрунзенскую набережную, отец ехал на своих «Жигулях» цвета «коррида» на лужниковские корты. Он ехал по широкой пустой набережной и думал бог весть о чем.

И когда навстречу ему на строжайше наказуемой правилами дорожного движения вплоть до лишения водительских прав скорости — навстречу ему и мимо него — пронесся бешеный мотоцикл с двумя седоками, в этот короткий, почти иллюзорный миг, когда мотоцикл и «Жигули» поравнялись и умчались в противоположные стороны, отец успел увидеть и запечатлеть, как на моментальном фотоснимке, в памяти смуглое, сосредоточенное и даже чуть нахмуренное от напряжения и ответственности лицо парня в шлеме за рулем, а из-за его плеча, прижавшись подбородком к этому плечу и всем телом — к спине парня, которого она тесно обхватила руками за талию, счастливое и чуть испуганное, испуганно-счастливое от бешеной этой скорости и тугого ветра лицо девушки с разметанными, летящими как бы отдельно от нее пепельно-бронзовыми волосами.

И в то же мгновение отец безошибочно, до острой и сладкой боли, сжавшей безжалостной рукой его сердце, узнал в этой девушке с разметанными волосами — не свою дочь, нет, а свою собственную юность, свою первую, с такими же испуганно-счастливыми глазами любовь, а в парне — самого себя, того давнего, с рыжеватой бородкой и длинными, по плечи, волосами, повязанными вокруг лба шерстяной ленточкой, что делало его похожим не то на бойкого мастерового, не то на древнерусского ратника.

Хотя, собственно говоря, у отца никогда, ни в юности, ни после, не было мотоцикла и он никогда не мчался на нем с недозволенной скоростью с девушкой, всем телом тесно прижавшейся к нему и с разметанными по ветру волосами.

Единственно о чем он успел подумать в этот краткий, мгновенно умчавшийся в прошлое миг, это о том, что парень превышает скорость, а это рано или поздно добром не кончится, и что первый же гаишник оштрафует его и за скорость и за то, что на девушке не было шлема.

Это он подумал, а всему остальному — молодости, скорости, бесстрашию и испуганно-счастливым глазам девушки — всего лишь успел позавидовать.

Хотя, как уже упоминалось выше, он был по природе совершенно не завистлив.

А на следующий день умер Чип. Точнее, той же ночью.

Утром мать вошла в бывшую бабушкину комнату и увидела, что Чип лежит на дне клетки на спине, лапками кверху.

Он умер, конечно же, от старости, но всем — отцу, матери, Ольге и даже не менее их печалившейся по этому поводу второй отцовой теще — пришло в голову, что умер он потому, что все написанное ему на роду и приговоренное судьбою прожить, увидеть, быть свидетелем или даже, не побоимся опять этого слова, участником,— все это имело место и осуществилось, и теперь он был вправе с чистой совестью и чувством исполненного долга, от которого он никогда не уклонялся, тоже уйти.

Чип пел, пока пелось, и о том, о чем пела его душа, и ни разу не сфальшивил. И умолк он тогда, когда петь ему стало больше не о чем.

Он имел полное право уйти.

Чипа уложили в картонную коробку — это с ним, как упоминалось выше, уже однажды было,— выложенную изнутри ватой, и на белизне ваты он опять казался празднично-желт и вновь стал похож на кованного из червонного золота андерсеновского соловья с теперь уже навсегда сломанным музыкальным механизмом в грудке.

Похоронили его за городом, в лесу, на двадцать третьем километре Минского шоссе. Поехали вчетвером — отец, мать и Ольга на отцовых «Жигулях» цвета «коррида», а сзади на своем мотоцикле с притороченной сбоку виолончелью — Глеб.

Был конец мая, лес уже зеленел распахнуто и просторно, невдалеке пел первый майский соловей — живой, не андерсеновский.

Пока хоронили Чипа, Глеб стоял чуть поодаль, в стороне и не мешал им.

Когда яма была вырыта, коробку с мертвым Чипом положили на дно, Ольга засыпала ее землей, потом старой, тускло-бронзовой, как и Ольгины волосы, хвоей.

Они постояли втроем — отец, мать и Ольга — молча, думая каждый о своем.

Но им так только казалось — что каждый о своем, на самом деле они думали об одном и том же.

Потом они пошли к машине, а Глеб к своему мотоциклу, и поехали обратно, в Москву.

Думали же они о том, что вот — кончилась одна жизнь и надо начинать другую.

В том смысле, что надо жить.

Но об этом — ниже.

СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ

★

«СТИХОВ ПИШУ МАЛО — НАСТУПЛЕНИЕ БЫЛО»

Прости меня, мама! С тех давних пор,
Как с тобой обнялись в расставанье мы,
Я судьбам своим и чужим вперекор
Не утешился расстояниями.

Ни дорогами, ни раздорожьями,
Ни путями не шел осторожными
И не бросил, о боли увечась,
Ни азартов своих, ни абречеств.

Но беды не взяли во мне ни аза,
Не с того ли, что, трудно мне, грустно ли,
Надо мною вполнеба твои глаза,
Путеводные, светят без устали.

Сентябрь 1943 г.

Эти стихи, которые так и называются — «Маме»,— одно из множества писем Сергея Сергеевича Наровчатова с фронта. Мать бережно хранила их почти сорок лет — всю пачку в сереньких дешевых конвертах с неизменным адресом: «Москва, Центр, ул. Мархлевского, д. 19/4, кв. 15. Наровчатовой Лидии Яковлевне». И обратный адрес: «Полевая почта 57872-А. С. Наровчатов». Подготовить публикацию сама она не успела — Лидия Яковлевна всего на несколько месяцев пережила сына. Письма передала нам дочь Сергея Сергеевича, Ольга Сергеевна Наровчатова. Мы выбрали для публикации часть писем 1944—1945 победных годов.

Во всех автобиографиях Наровчатов писал: «Военные годы — самые емкие и наполненные в моей жизни... На войне я сформировался и как человек, и как поэт». И в сознании читателей Сергей Наровчатов остался прежде всего поэтом славной плеяды фронтового поэтического братства. При всем разнообразии и значительности своей последующей деятельности он до конца остался верен главной теме своей жизни — перечитайте последнюю его поэму «Фронтовая радуга».

Письма с фронта, которые мы публикуем,— свидетельство формирования личности. Молодой офицер, за плечами которого уже была война с белофиннами, прошел с полной выкладкой всю Отечественную — с самого начала до самого конца. В его лирике 1941—1945 годов, которую он неизменно включал во все свои сборники, живость и непосредственность впечатлений, гражданственность и порывистость чувства сочетаются с нетерпеливым желанием проникнуть в ход истории. Впоследствии стремление сомкнуть «обе полы времени» — настоящее и прошлое России — станет ведущим в его творчестве. Но и в письмах с фронта вы почувствуете неистребимую любознательность молодого Наровчатова, уважительный интерес к содержанию жизни других народов, бешеную его работоспособность, ощутите ту волну патриотического подъема, без которого, пожалуй, просто не состоялась бы эта личность.

Почувствуете вы и то, как он молод. Не потому только, что в одном из писем он сообщит о своем двадцатипятилетии, но и в желании покрасоваться перед близкими («Я сам король, будь хоть одет в рубище из рубищ, и на известное время с меня хва-

тит сознания того, что я пишу хорошие стихи и буду их писать»,— из письма от 6 декабря 1944 года), в напористой энергии своих рассказов, в пылкости и непримиримости чувств и привязанностей. Духовная связь его с матерью, с отцом, со всем, что олицетворяет отчий дом, звучит в письмах юношески откровенно. Вот письмо к отцу, Сергею Николаевичу Наровчатову:

«22.III.42.

«Дорогой папа!

2 апреля день твоего рождения — тебе исполняется 58 лет — это немало — за этот срок ты успел очень многое увидеть и многое пережить, но если бы с нами, смотря мимо лиц наших, разговаривал незнакомый человек — он решил бы, что мы с тобой ровесники!

Не все складывалось удачно в твоей жизни — но главная твоя удача в том, что ты остался верен себе, а этим не все могут похвастать в твои годы. И поэтому ты молод, отец. Я бы хотел дожить до твоих лет с тем запасом энергии, который тебя отличает.

Я бы во многом хотел походить на тебя...

Я бы хотел заимствовать у тебя удивительную способность интересоваться самыми различными вещами, быть так же влюбленным в знание, как ты. Я бы хотел перенять все твое энтузиастское, с чем ты так хорошо и прямо смотришь жизни в глаза.

Я бы хотел быть добрым, как ты, но теперь это уже вряд ли получится... Моя молодость замешена на крутых дрожжах. Я пережил уже около тысячи людей — друзей и врагов — бывших примерно в равных условиях со мной. Как понимаешь, это не так-то просто получалось... Я родился с ясной головой и я многое понимал... После финского похода я стал готовить себя к следующей, уже Большой войне... Я не опущу голову ни перед кем и ни перед чем. У меня много дурных привычек, и вряд ли когда-нибудь я полностью освобожусь от них — но все же, надеюсь, хорошие качества во мне перевешивают дурные. Этим я на 75/100 обязан тебе и маме, на 20/100 встречавшимся мне хорошим людям на пути и на 5/100 — себе самому.

Ты мне многое дал — все-таки я видел всегда перед глазами хорошего человека — а этого удобства на дому, понимая Дом шире, чем обычную квартиру, многие лишены.

За все хорошее — а плохого я от тебя не видел, не знал, да и не ожидал никогда — спасибо!..»

Публикуемые письма — живой голос трудных и прекрасных победных дней, голос поэта, которому многое удалось сказать о своем поколении.

Д. ТЕВЕКЕЛЯН.

3.II.44.

Моя родная мама!

Прости молчание. Не писал с 20-го числа. Все время в походе — стремительном и безостановочном. Славянская речь, ставшая привычной Польша — далеко позади, воюем в Германии. Мы все-таки пришли на эту проклятую землю...

Все чертовски интересно. Мы прошли насквозь цитадель немецких захватчиков и разорили и сожгли гнездо наиболее махрового пруссачества. Ты не представляешь, что это такое, все рассказы бледнеют перед тем, что я увидел здесь. Во-первых — это гигантское рабовладельческое поместье. Не говоря о помещиках, каждый крестьянин-немец имел у себя от 5 до 20 иностранных рабов, работавших на него с утра до ночи ни за понюх табаку. Я встречал здесь и поляков, и французов, и чехов, и итальянцев, и больше всего наших русских. На какую-нибудь тупую скотину — немецкого кулака, самодовольного и мелочного, работали учитель из Курска, капитан французской армии, студентка Пражского университета и девушка из Мелитополя, мечтавшая стать инженером (эту картину я застал в одной деревне, где сами же бывшие рабы повесили негодяя, эксплуатировавшего их 3 года, на воротах его же дома). Здесь собрана вся Европа — мимо полыхаю-

щих немецких домов возвращаются вольные толпы бывших невольников. «Куда идешь?» — спросил я одного француза, остановив его на дороге. «К де Голлю!» «А ты куда?» — спросил я девушку-украинку. «До Черниговщины!» Меня поразил возок, запряженный по русскому давнему обычаю тройкой лошадей. В нем сидели две русские девушки. На одной был соболий палантин, цветной платок, бобровая муфта на руках. Простое русское круглое лицо. Я подошел. «Кто ты?» «Настя из-под Новгорода». «Откуда у тебя все это?» «Бойцы подарили, езжай, говорят, царицей до самого Ильменя». И вправду — и при мне к ней подходили солдаты, расспрашивали, сочувствовали (она сломала ногу у немцев на работе), каждый одарял ее, чем мог и хотел, а потом желал счастливого пути. Это было олицетворением освобождения наших невольников, светлым символом возвращения на Родину.

У помещиков работали уже не десятки, а сотни рабов. Я был в усадьбе фельдмаршала фон Бока, потом побывал в поместье фон Паулюса. Это средневековые замки с портретами предков, с шкафами, полными хрусталя, со стенами, убранными тканями, с оленьими рогами над каждой дверью. И во всем — отвратительный, давящий дух пруссачества — чинного и жестокого, самодовольного и наглого. Нет, они никогда не ожидали, что мы придем сюда. Но мы пришли, чтоб навек вытравить этот яд, чтобы никогда уже они отсюда не смогли напасть на нас.

Немцы отступают, яростно сопротивляясь, бои идут жестокие. Но мы идем вперед, и каждый километр пути приближает нас к концу войны. Впереди еще центральная Германия, ее север, где мы наверняка побываем раньше своих медлительных союзников...

6.II.44.

...Два дня назад послал большое письмо. Рассказывал о нашем походе, о встречах, о виденном. Расскажу и о менее интересном, о бытовом, о повседневном. Как мы живем? Немцы умели пожрать и имели что пожрать — ограбили всю Европу. Нет того, что бы можно было захотеть из еды и чего нельзя было бы достать, не прилагая к тому малейшего усилия. Понимаешь?!

Более подробно мне было бы противно описывать. Я не фриц, который весь поход на Россию рассматривал как поход за жратвой и выпивкой. У нас более серьезные задачи, и более серьезные вещи мы имеем в виду. Трофеев до черта. Но только плевать я на них хотел.

Риска достаточно. Не только на передовой, но и в тылу. Страна врагов. И поэтому надо быть настороже. Наган всегда в руках или в головах, ежели сплю. Счастлив, что привелось участвовать в этих битвах. Мне, воюющему с 41 года, особенно радостно видеть позор и разгром своих врагов. Я вспоминаю им осеннюю Москву, Брянск, Ленинград, ораниенбаумский пятачок.

Бок о бок со мной действует и мятется Мишка Луконин. Хочу встретиться. Уже видел людей, встречающих его повседневно. Все говорят о его обаянии, смелости, таланте. Послал ему записку — авось дойдет.

Я все время в передовых частях. Перерывы в письмах из-за этого. Буду слать оттуда...

18.VIII.44.

...Сегодня я отправился в командировку. Вместе со Славентантором и Вайцем (фотокорреспондент) — в тыл. Весь день бродили по лесу — говорили с народом, делаем полосу к годовщине блокады Ленинграда. Мы записываем, Вайц снимает. Погода с утра стояла скверная — моросил дождь, лес здесь заболоченный, ноги вязнут в мшистом болоте. К вечеру погода прояснилась — выглянуло солнце. Лес сразу стал веселее. Поляны поросли брусникой. Паслись на приволье, пока оскомину на зубах не набили. Ночую я у артиллеристов. В землянке

с парторгом. По фронтовым условиям — прилично, тепло, просторно (я, он, ординарец), коптилка, стол, покрытый газетой. После Москвы — странно. Отвык я уже от этого. Спать придется не раздеваясь — подстилка на топчане застелена плащ-палаткой. Настроение хорошее — оно не покидает меня все время. Вечером в клубе — кинопередвижка. Показывали «Миссию в Москву». Занятная вещь. Глазами американцев поглядеть на свою страну. Только никто не похож. И Таня Литвинова, занимающая в фильме видное место, очень разнится от живой, с которой я познакомился у Эренбурга. Завтра возвращаемся в редакцию — они уже перебрались на новое место, придется разыскивать. Здоровье в порядке. Об этом не беспокойся...

30.VIII.44.

...Статью Симонова мне прислали из Ленинграда. Это то, что было мне нужно. Суть не в том, о ком в ней больше говорится — обо мне или Мишке Луконине, а суть в выводах и тенденции. Симонов с лихвой выполнил свое обещание. Во всеуслышание он ставит вопрос о вызове в Москву на творч. конференцию, о членстве в ССП и о сборнике. Кроме того, о нас говорится как о реальной силе, представляющей новое поэтическое поколение. Если принять во внимание то, что статья инспирирована сверху — значение ее усиливается. «Литература и искусство» не щедра на такие статьи — это первое официальное слово. Меня не интересуют ни комплименты, ни оговорки — не это главное. (Кстати, «Пропавшие без вести» напечатаны целиком — я не ожидал этого.)...

27.IX.44.

Дорогая мамочка!

Экзотические бумага и конверт — память Прибалтики. Из газет ты уже знаешь, что эти дни у нас шли победные бои. Мы получили три благодарности Верховного Главнокомандующего — этот поход был проведен блистательно. Через неделю наступления мы сбросили немцев в море и утвердились по всей стране. Все это время шел с наступающими частями и лишь вчера, после 10-дневного отсутствия, возвратился в редакцию. Эта неделя была, пожалуй, самой счастливой из всех подобных недель войны. Труден был очень первый день боев, когда мы прорывали укрепленную полосу немцев. Потом мы не слезали с машин, преследуя поспешно отступавшего врага. Я ехал на разведывательной машине передовой части — это была фантасмагория. Мы первыми врывались в города, пробыв там несколько часов, мчались дальше. Места здесь удивительно красивые и не тронутые войной. Города совершенно не похожи на наши — узкие улицы, дома с готическими крышами, крытые черепицей, чистота ослепительная. Женщины — европейского склада, светлые волосы, голубые глаза. Встречали нас с цветами — и, право, это было очень хорошо. По-русски здесь мало кто разговаривает, по-немецки еще кое-как. Деревень, как мы привыкли их понимать, нет — хутора в один-два дома, связанные желтыми лентами дорог. Крестьяне в шляпах и сюртуках, разъезжают на велосипедах, вид городской... Сейчас бои кончились, весь край очищен от немцев, и у них снова начинается мирная жизнь. Находимся мы очень далеко от места первоначальной стоянки и еще дальше от того места, куда я выезжал, возвращаясь из Москвы. Выгляжу я хорошо — волосы мало-помалу начали отрастать — я писал уже тебе, что побрился наголо. Получил письма от Михаила — он на прежнем месте, и все у него в порядке — и от Платона Воронько — он получил еще орден и медаль, принят в члены ССП, работает в Киеве, все складывается у него как нельзя лучше.

Огорчен, что ты медленно поправляешься. Все мои мысли с тобой, моя родная мамочка, и ты все время была рядом во время последних

боев и скитаний. Я верю в нашу скорую встречу — мы снова будем вместе и все у нас будет хорошо.

Крепко и много целую тебя, моя ненаглядная. Спасибо за ласковые письма — они мне дороже всего и с ними легче жить и воевать. Выздоравливай скорее. Счастья тебе и спокойного сердца.

Всегда твой

Сережа.

Целую папу и Оленьку.

2.X.44.

...Я долго не получал твоих писем — мы оторвались от почты, и лишь сегодня мне передали два твоих письма, письмо отца и письмо Львова, которое ты мне переслала. О блистательном нашем походе я уже писал тебе подробно в прошлом письме. Это, пожалуй, самая яркая и счастливая страница во всей моей военной жизни. Были и опасности, и скачка верст, и вино, и поцелуи, и цветы, и неожиданности, и новые места, не похожие ни на что, ранее виданное. Я ничего не писал о своей работе, но об этом тоже стоит сказать несколько слов. Работали много и продуктивно. Меня послал редактор старшим бригады. Работу редакции оценили как отличную, а работу нашей бригады как лучшую в редакции. Хвалили нас на партсобрании. Работали и верно не за страх, а за совесть — случалось и ходить в разведку, и отстреливаться, и первыми входить в города. Настроение сейчас великолепное — и дела хороши, и вокруг хорошо. На дворе, так же как у вас, золотая осень. Воздух синий и прозрачный, листья багровеют ковром под ногами и левитановскими полотнами над головой... стоим пока в тылу, в городе своеобразном и необычайном для русского глаза. Но воевать еще, верно, будем — надо добить зверя в его берлоге. Чувствую себя хорошо. Обриться я уже обрился чуть не месяц назад наголо. Курю втрое меньше, чем прежде. Стихов пишу мало — наступление было. Теперь снова возьмусь. Рад, что ты поправляешься, но дай бог это произошло бы поскорей и накрепко...

5.X.44.

Мама, родная и хорошая моя!

Позавчера был мой день рождения. 25 лет... В этот день меня наградили орденом Красной Звезды и присвоили капитанское звание. Просто здорово! Утром меня вызвал редактор и трижды поздравил — с именинами, с орденом и со званием. А потом отпустил меня на целый день — «празднуй!..»

18.X.44.

Родные мои!

Побывал уже в Латвии и Литве. Из Вильнюса и Двинска отправил вам открытки. Сейчас двигаюсь дальше. Буду писать из Польши — до нее здесь подать рукой. Жив, здоров, настроение хорошее...

26.X.44.

Моя родная мама!

Заранее поздравляю с праздником 7 ноября.

Жизнь идет необычайным чередом — о непохожести ее на нашу я уже писал тебе. За эти дни я перевидал еще много интересного, ездил в командировку, и впечатлений было хоть отбавляй. В городе шумно и людно; хоть он и вдвое меньше городов Эстонии, в которых мне случалось бывать, но жизнь здесь бойчее и откровеннее. Едва ли не в каждом доме — лавка или лавчонка. За прилавком стоит пан торговец или пани хозяйка и «прошу, пан...». Каждая лавка одновременно и закусочная — продают и самогон, и молоко, и белый хлеб, и пирожные, и разную снедь. Тут же и галантерея, и часы, и жакеты, и разная всячи-

на. Народ разговорчивый, охотно отвечают и поддерживают беседы. Говорили мы с людьми самых различных классов и сословий. Все поляки. Евреев немцы здесь вырезали до единого, как и по всей стране. Ночь заставила нас постучаться в дверь одного дома, нам открыли и предложили ночлег. Хозяин оказался мелким торговцем. Наше пребывание оказалось ему выгодным — мы поужинали, накупив снеди в его же лавчонке. Он много рассказывал о притеснениях немцев — в ненависти к ним сходятся здесь все от мала до велика. Все, с кем я разговаривал, производят впечатление одержимых идеей восстановления польского государства. Пожилой аптекарь, окончивший фармацевтический фак. в Варшаве и объездивший всю Европу, просто трясся, когда рассказывал, что он должен был кланяться в пояс немецкой солдатне. О Майданеке он говорил со слезами на глазах — это страшное место стало нарицательным для немецкого господства. Особо гордятся поляки тем, что среди них немцы не нашли квислингов — это действительно показательный факт. В городе работают гимназии — мужская и женская. И в той и в другой уже взрослые ребята и девушки (здесь их зовут «паненки»). Это объясняется тем, что немцы закрыли все учебные заведения от гимназий до университетов (профессура Варшавского и Краковского университетов была почти полностью истреблена) и в течение пяти лет молодежь была лишена возможности образования. В старших классах — 20—21-летние. Система преподавания, как у нас до революции, — закон божий (но не священник, а ксендз), латынь, логика и т. д. Тяга к образованию большая — сразу же после открытия заново гимназии они оказались переполненными. Высшее образование здесь получить было нелегко, и люди, обладающие им, пользуются почтительным уважением. Когда я говорил, что окончил в Москве университет, со мной становились вдвое вежливей — здесь это марка общественного положения. Нравы здесь свои — наблюдал я и крестный ход, и шумный базар, и местный праздник. Девушки в воскресенье назначают свидания у ограды костела: «Я выйду, когда кончится обедня». Совершенно серьезно меня спросили, сколько у моих родителей недвижимости и сколько лежит в банке — «пану 25 лет, а он уже капитан — такая карьера обеспечивается не воздухом». Можно было бы много рассказывать о местных нравах и обычаях, но меня ограничивают размеры письма — продолжу в следующий раз. Я здоров, все у меня в порядке, настроение хорошее, скучаю без твоих писем — они мне необходимей всех экзотик.

Ребята тоже сейчас кочуют по заграницам. От Слуцкого пришло письмо из Болгарии, Мишка в Венгрии, у него сейчас жаркие бои. Очень сердечное письмо прислал Платон Воронько. Он в Киеве, избран пред. правления клуба укр. писателей, напечатали его поэму, работает он в редколлегии «Дніпро»...

22.XI.44.

...У нас все спокойно. Жизнь течет своим чередом, и пожаловаться не на что — много здесь интересного и неожиданного, чего раньше не видел и не слышал. Я всегда был жаден до впечатлений, а здесь их хоть отбавляй. Отчужденности я не ощущаю — в котле этих страшных испытаний многое переплавилось, и думается мне, не только здесь, но и в Ново-Зеландии нас встречали бы хорошо. Везде есть плохие и пошлые люди, но везде есть хорошие и интересные — первых избегаю, вторых не сторонюсь.

Живем мы так, как жили месяц, год, два года назад. Меняются страны и люди, но воинский обычай, раз заведенный порядок остается прежним.

Пишу стихи. Пришлю в скором времени. Скучаю по тебе. О многом бы хотелось побеседовать, о многом рассказать, мудрая моя слушательница и советчица...

24.XI.44.

...Жизнь у меня течет своим чередом. Погода стоит теплая, можно без шинелей ходить — климат здесь мягче, чем в России. О местных нравах я писал уже вам. Кое-что становится утомительным — мне уже надоели лошадиные челюсти Пилсудского, выпирающие на меня с каждой стены, равно как и мелкое мошенничество торговцев, вымогающих у тебя путем бесчисленных уверток лишний грош.

Польская интеллигенция, с которой приходилось сталкиваться, весьма своеобразна. Образование у них не шире, чем наше: по крайней мере мне не приходилось здесь попадать впросак. Польскую историю я знаю значительно лучше, чем они русскую,— я занимался ею лет пять назад, а память у меня цепкая, и в отличие от них я могу оперировать фактами русской и украинской истории, которая известна им лишь понаслышке. Да и свою-то историю они рассматривают как историю царей и войн, не умея как-либо глубже вникнуть в нее. Это относится к университетским воспитанникам и даже людям с магистерскими степенями — пороки буржуазной ограниченности здесь сказываются со всей силой. Трех китов польской литературы — Мицкевича, Словацкого и Сенкевича — я знаю не хуже любого поляка, Мицкевича я помню наизусть, Словацкого читал в свое время пристально, Сенкевича тоже. Это дает возможность говорить свободно. Западная литература им известна, пожалуй, хуже, чем нам. Русскую они знают весьма поверхностно — Толстой, Достоевский, Пушкин, Чехов, Горький... Ни Гончаров, ни Грибоедов, ни Крылов, ни многие другие наши классики им не известны. Из современных наших писателей известны Шолохов, Толстой, Эренбург. Эренбург здесь издан дважды полным собранием сочинений. Под влиянием Маяковского находится вся новая польская поэзия, его здесь — что меня обрадовало — знают. Продолжателем его линии был крупнейший из молодых поэтов Польши — Тувим, который, как говорят, погиб на баррикадах во время Варшавского восстания. Я сейчас читаю в подлиннике Словацкого — это большой поэт прошлого века. Если Мицкевич был Пушкиным для Польши, то Словацкий — ее Лермонтов. Пробую разбирать и новых поэтов — интересно.

В чем я, конечно, профан — это в католической образованности, которой здесь пропитаны все в той или иной степени. Я не знаю ни Августина, ни Франциска Ассизского, ни ритуала, ни особенностей. О шляхте разговор особый — нигде, как известно, не было столько мелкого дворянства, как в Польше. Оно деклассировалось в значительной своей части, но — что особенно примечательно — сохранив при этом старые предрассудки и старую спесь. Пусть он гол, как сокол, но крестьянина он зовет холопом и относится к нему с нескрываемым пренебрежением, свою родословную помнит наизусть, забывая все остальное при этом,— какого-нибудь своего деда, служившего доезжачим (т. е. попросту псарем) у Яна-Казимира или Владислава, вспоминает кстати и некстати. Досадно, что от этих предрассудков не свободна и их молодежь, в остальном совершенно современная и европеизированная. С ними трудно договориться, будто мы люди разных планет. «Разбойник»,— сказала одна красавица о Хмельницком. «Почему?» — удивился я. «Так он же ризав шляхту!!!» — и панна подняла на меня небесные очи, полные такого изумления по поводу того, что я не могу понять этой простой истины, что я просто растерялся. Как ей сказать, что с моей точки зрения он именно поэтому-то и хорош, что резал шляхту, а не мирволил ей? Объяснить трудно и почти бесполезно — повторяю: мы люди разных миров.

Однако я забылся и, верно, утомил тебя. Думаю, что все-таки тебе будет небезынтересно читать мой рассказ о чужих людях чужой земли — это рассказ очевидца, который ты не прочтешь в книгах.

24.XII.44.

...Я рад, что тебя заинтересовал мой сбивчивый рассказ, он не претендует на полноту и непогрешимость оценок, но так или иначе это рассказ очевидца. Говоря о сумбурности настроений и мешанине взглядов, я не разумел под этим того широкого обобщения, которое ты придаешь этим словам. Конечно, можно выделить основные тенденции и течения в духовной жизни нации — это же не стоячее болото, но изменчивая река. Я говорил лишь о внешнем впечатлении — это раз, и второе — в сравнении с нашей страной, где духовная жизнь народа монолитна, где людьми управляет одна идея, это государство, где правят сразу четыре партии и где спорят десятки разных течений и оттенков, производит чрезвычайно пестрое впечатление. Это я и разумел, говоря о сумбурности поляков и разномастности их убеждений.

Дни, которые мы переживаем, чреваты событиями, которые надолго определят жизнь и устройство человечества на нашей грешной планете. «В каждой капле спит потоп, сквозь малый камень прорастают горы...» И особенно интересно сейчас быть в самой гуще событий, наблюдать общественный водоворот, да и самому временами окунаться в него. Я не завидую москвичам — за беготней, повседневщиной и житейскими заботами они не видят ничего и не знают ничего, война проходит мимо них, напоминая о себе лишь ограничениями питания и комфорта, они вдалеке от ее опасностей, но и вдалеке от той колоссальной переделки, которая совершается всюду. К сожалению, многие не понимают, что переделка и становление мира не вопрос послевоенных конференций, к-рые в значительной мере будут фиксировать уже происшедшее и установившееся, но процесс, к-рый происходит уже сейчас, непрерывно и неумолимо. Жизнь моя течет своим чередом. Несмотря на изрядную загруженность повседневщиной, я нахожу время и для стихов, и для работы над собой. Я настойчиво изучаю историю философии и думаю дать папе бой по приезде. Я ушел еще не далеко — штудирую элейскую школу, но то, что прочел, знаю, как свои собственные стихи. Я уже писал тебе, что читаю в подлиннике Словацкого, из русских же поэтов я всюду таскаю с собой сборник Эренбурга — о нем я тебе расскажу как-нибудь в следующий раз.

Установились морозы. Ночью месяц в кольце — значит, еще крепче будут. Снега до сих пор нет — странное впечатление от травы в декабре... Получил полушубок и — вовремя: сегодня за 15° зашло...

11.I.45.

Моя родная и ненаглядная!

Мама моя!

Почта одарила меня новогодними поздравлениями — твоими и папиными, письмами от 28 и 30 декабря, 2 и 4 января. Я сегодня долго, наверно, не смогу заснуть, думая о тебе, припоминая наши разговоры, все ласковое и хорошее, связанное с тобой. Я очень люблю тебя, моя родная и милая мама. Очень люблю и очень помню... Да и не то что помню — просто ты всегда и везде со мной, незабываемая и светлая.

После Нового года, встреченного хмельно и весело, снова пошли дни за днями, в меру однообразные и обычные. Было несколько дней подряд нужное настроение, которое временами находит на меня. А тут что-то особенное было нужно — вдруг стало думаться, что и стихи-то — главная моя отрада здесь — пишу я, словно в воду камни бросаю,— и не к кому и не для чего. Да и бог весть — хороши ли они, нужны ли они,— а я просто маньяк, привязанный к поэзии, как каторжник к ядру. И снова ощутил и глушь, в которой торчу, и оторванность от родины. Вот, мама моя, бывает же такое... Но милостивая судьба, верно, всякий раз насылает на меня такую хандру, чтобы сильней отконтрастировать то светлое, которым оно меня дарит вперемежку с хмурым... Первой вестью такой было короткое письмо Эрен-

бурга. В конце декабря я все-таки собрался написать ему. С письмом я послал стихи — «Рассказ о восьми землях» и «Польские стихи». Ответ пришел удивительно быстро — через 10—12 дней. Вот что он пишет — привожу дословно:

«Дорогой Наровчатов! Наспех среди газетных дел хочу Вас поблагодарить за Ваше исключительно интересное письмо. Спасибо и за хорошие стихи. Я пересылаю их в «Новый мир». С Новым годом! Желаю Вам счастья — человеку и поэту. Жму Вашу руку. Ваш Илья Эренбург».

Это была первая хорошая весть.

А еще через несколько дней меня вызвали на фронтовое совещание писателей. Сперва были доклады и прения по ним, потом вечер с чтением. Читало около 20 поэтов и стихотворцев. Я читал одним из последних, когда внимание зала было уже утомлено. Волновался. Зал гулкий, кроме поэтов и писателей — офицеры, командование, солдаты — все вместе. Произошло неожиданное. Я начал читать стихи, и через два четверостишия водворилась тишина. Когда я дочитал до середины, зал загремел аплодисментами. Дочитал первое ст-ние — снова аплодисменты. Читаю второе, третье... — я сразу стал первым на этом вечере. Меня окружили полукольцом, жали руки, повторяли и заучивали строки. Матусовский — помнишь, когда-то грохотавший на меня, тогда еще мальчишку,— подошел, говорил что-то восторженное, волновался, жал руку. Трегуб, Исбах поздравляли с успехом, с «большой поэзией». Безымянные майоры и солдаты записывали мой адрес, благодарили... Здорово получилось. И читал ведь я без всякой скидки на пеструю аудиторию — читал то, что написал последние месяцы, лирику, простую и сложную одновременно. И проняло всех. От солдата — до Эренбурга. Хорошую встряску дало мне это совещание. И еще одно было там хорошо — встретился я с Женькой Аграновичем — старым моим приятелем по стихам, с кем мы в ряду с Кауфманом, Павлом Кульчицким, Слуцким начинали свою поэтскую дорогу. Он тоже был в центре внимания в этот день — хорошие стихи читал,— и это было особенно приятно — два однокашника после 3 1/2 лет разлуки, случайно встретившись, взяли верх над другими и незнакомыми...

Редактор мой после этого вечера говорил со мной серьезно и хорошо. Он предложил, если я сделаю 10—15 добротных стихов о наших людях для нашей газеты, в апреле — мае отпустить меня в творч. командировку в Москву. Здорово!..

20.I.45.

...Все хорошо. Идем дорогами Большого наступления. Уже который день в боях. Немцы ожесточенно сопротивлялись, но теперь бегут. Темпы продвижения все нарастают. Иду с наступающими частями, делю с ними походные тяготы и боевые удачи. Устаю зверски, но настроение великолепное. Пишу тебе из вновь захваченного города, который завтра покидаю для других городов и сел, которые еще нужно освобождать. Вижу уйму интересного. Когда будет больше времени, напишу подробно. Чтобы искупить грех короткого письма, посылаю большие стихи[1] при нем. Свеженаписанные. Пишу эти дни много. Запоем просто. Все сочиняю вслух. Эти стихи я двое суток держал в голове, пока сегодня впервые не перенес на бумагу. Объясняю непонятности: «кёзаданакым» — узбекское ласкательное слово, дословный перевод «кругом глаза», Хамза и Навои — узбекские поэты, «джан» — любимая, милая, ненаглядная. Вот и все. Напиши, как понравились...

15.II.45.

Получил твое письмо от 5.II. Рад, что нравятся мои новые стихи. Я сам считаю, что подошел к тому, чего так долго искал. «Период

[1] Имеется в виду стихотворение «Капитанский тост».— *Д. Т.*

сомнений», к-рый тебя встревожил,— кончился. Пишу все время, буду присылать. За два последних дня — две знаменательные встречи. Видел и говорил с Эренбургом. Он объезжал наш фронт и был у нас. Был рад мне. Долго говорили о лит-ре, о поэзии. Слушал его новые стихи, а он — мои. Письмо, к-рое я ему послал в декабре, запомнилось ему, он вспоминал отдельные его положения, говорил разные хорошести по этому поводу. Стихи, к-рые я тогда ему послал,— «Разговор о восьми землях» и «Польские стихи» он отдал в «Новый мир». «Будут ли они напечатаны?» — спросил я его. «Безусловно»,— ответил он. Посмотрим.

Новые мои стихи хвалил. Подробно разбирал их по строкам. Взял с собой 5 ст-ний, хочет отдать их в «Октябрь». Сетовал, что я не писал ему новых писем, я сослался на поход и командировки, что и соответствует истине. Рассказал мне о Москве, о литературной и нелитературной жизни столицы. Окончание войны, по его прогнозу,— май месяц.

22.II.45.

Поздравляю тебя с нашим праздником — днем Красной Армии. Счастья и здоровья тебе, хорошая моя!..

Папе я отправил большое письмо в двух конвертах, где рассказал о своих впечатлениях в неметчине. Прочти его, оно, наверно, будет интересно тебе. Сейчас я только что вернулся из одного города, за который уже несколько дней идут бои. Совинформбюро уже несколько раз сообщало о нем и о боях по уничтожению окруженного гарнизона. Немцы сопротивляются с упорством обреченных в этой старой польской крепости. Генералитет вылетел на самолете, остались солдаты и офицеры, но и эта сволочь продолжает сопротивляться. При мне к ним были отправлены парламентеры с предложением сдаться, на 4 часа прекратился всякий огонь с обеих сторон, я ходил по городу, как по летнему саду,— тихо, солнечно, непривычно. Но немцы отказались капитулировать, и начался штурм. Видимо, сегодня-завтра над городом заплещет наш флаг, участь его предрешена, и снова над Москвой загремят салюты в нашу честь.

Снова видел польскую землю — как она не похожа на неметчину! Бедная, разоренная, нищая страна, но насколько ближе к нам ее люди, насколько сердечней относятся наши бойцы к ним. На дороге из города я встретил трех полек. Три земные мадонны в старых дождевых плащах, облепленные кучей детишек мал мала меньше. Они шли из города. «Дзень добрый, пани!» «Дзень добрый, пан официр». Я вступил с ними в разговор. Подошли наши бойцы. Расспрашиваем. Оказывается, они три дня ничего не ели, скрываясь в подвале от обстрела. Не прошло и 5 минут, как бойцы натащили им и хлеба, и сала, и молока для малышей. «Куда же вы сейчас?» — спросил я. «Куда очи смотрят...» «Идите вон до тех хат, там поляки живут, они вас приютят. А вы,— обратился я к солдатам,— помогите им вещи дотащить, вишь ведь измучились как». Солдаты охотно сделали это. Реакция полек была самая неожиданная. Одна из них поставила мальчишку, которого тащила на руках, на землю, подошла ко мне и расцеловала «прямо в ýста», как говорят поляки...

6.III.45.

...Сегодня у меня что-то грустноватое настроение. Из Ленинграда прислал мне Мишка Дудин только что вышедшую книгу Георгия Суворова. Первую и последнюю. Я живо вспомнил красивого гвардейца, с которым я в первую же встречу говорил так, как не говорю с людьми, знающими меня много лет. Мы до встречи еще слышали друг о друге, и когда я взошел на порог бревенчатого сруба, где он жил в те дни, навстречу мне поднялся рослый красавец и сказал одно слово: «Наровчатов?» «Суворов?» — спросил я. И мы по-русско-

му расцеловались. Потом, я помню, была дымная ночь, читали стихи до рассвета, говорили о жизни, о будущности, о поэзии. Меня поразила тогда жадность к жизни и заинтересованность во всем незнакомом и неизведанном этого парня. Мы о многом тогда договорились, и я не вспомню ни одного случая, когда человек так сразу пришелся мне по сердцу, как он. Это было взаимно. Следующие встречи укрепили дружбу. Где-то дома у меня до сих пор должно храниться его письмо в стихах ко мне — хорошее, доброе письмо. И потом — нарвские бои и гибель на нарвском льду. Давняя боль снова ожила сегодня, когда я читал знакомые стихи, которые я когда-то слушал с живого голоса. Заключительные строки одного его ст-ния можно поставить памятной метой всей его короткой и прекрасной жизни:

Свой добрый век мы прожили как люди
И для людей...

Мих. Дудин написал к книге хорошее вступление — печальное и светлое одновременно.

Свою книгу он тоже прислал мне. Это уже 6-й или 7-й дудинский сборник. Хороший сборник. Талантлив он, черт, до удивления.

16 марта Оленька празднует трехлетие. Поздравляю ее, желаю всяких хорошестей, здоровья, счастья. Она уж, наверно, вовсе большая выросла, хорошая моя девочка...

26.IV.45.

Моя родная, хорошая мама!

Меня можете поздравить с новым орденом — Отечественной войны II ст.— это уже пятая награда у меня. В начале апреля я получил медаль «За оборону Москвы», позавчера мне вручили орден.

Мы очень далеко ушли на запад, места, где я встретился с Мишей, давно остались позади. На очереди встреча с союзниками. Повидаем их где-нибудь на Эльбе, если только до Дании не доберемся к тому времени. В мае, думается, война окончится, и май уже не за горами. Погода стоит ветреная и холодная, весна поздняя. Дни солнечные, в безлюдных садах и парках уже зацвели яблони, но ветер с моря резкий и влажный. Но, господи, как надоели мне все эти померанские и прусские земли, хоть бы уж скорее в Россию, соскучился я по ней. В Москве небось весна в разгаре, мокрый асфальт, солнца осколки по лужам, девушки в цветных платьях... Была у нас здесь в гостях труппа из Малого театра — я с ними вечера целые о Москве вспоминал...

Сейчас мы снова идем на запад, следите за мной по московским салютам, мы их немало уже получили и немало еще получим...

4.V.45.

...Прости за мое молчание. Я до щеми сердечной волнуюсь, представляя себе, как оно тревожило тебя. Но в той круговерти, в беспрестанных переездах и кочевьях, в которых мы живем, когда даже почта отстает от нас на десятки км, я вынужден был редко писать тебе письма.

Поздравляю тебя, папу, Олю, Мишу и тетю Тоню с прошедшим праздником. Москва в огнях! Москва снова светит всеми окнами — какое счастье, господи...

Мы прошли далеко на запад — по московским салютам ты можешь представить, где я. Война кончается — верю в близость нашей встречи.

Из Москвы мне прислали из издательства «Интернациональная литература» переведенные и изданные на французском языке мои стихи «Пропавшие без вести». У меня руки дрожали, когда я читал свои строки на чужом языке. Кто их перевел, кто отдал их в печать

и кто мне их переслал — не знаю, обратного адреса нет. Я отдал читать их французам, которых мы освободили из немецкого плена, — это был триумф...

29.V.45.

Моя родная мамочка!

Сегодня я хочу поподробнее рассказать тебе о своем житье-бытье. Я редко пишу последнее время и этим письмом я хоть отчасти попробую исправить этот грех.

Вот уже третью неделю мы живем на мирном положении. Город, в котором мы стоим, выделяется из других городов Германии тем, что совершенно не пострадал от бомбардировок союзной авиации, и тем, что в нем нигде не найдешь следов боя — он капитулировал без единого выстрела. Город известен еще тем, что в нем находится один из старейших университетов Германии — вся городская жизнь вращалась вокруг обслуживания этого большого учебного заведения с десятками клиник и институтов. Предприятий и заводов здесь не было, были только мастерские и мелкие «гешефты», как они здесь называются. В городе сейчас совсем мирно. Улицы многолюдны, движение, торгуют все магазины, бары, отели. Живем мы сейчас по-городскому, спим на перинах, на чистом белье. Мебель — кресла, зеркала, шкаф, комод. На столе — настольная лампа. Электричество. Ванна. Душ. Питание очень хорошее... наша столовая теперь преобразилась. Платим мы — марками, злотые и рубли не ходят.

Насчет демобилизации пока ничего не слышно. Пора, кажется, писать письма Тихонову — авось он чем-нибудь поможет. Живем мы здесь очень хорошо, но в Россию тянет сильно...

10.VII.45.

Моя родная и хорошая мама!

Вчера послал большое письмо, рассказ о своем житье-бытье. Сегодня снова захотелось поговорить с тобой.

Ты как-то спрашивала, достал ли я что из вещей. Я никогда не придавал серьезного значения тряпкам, но одеться все-таки нужно. Ты видела Мишку в Москве? Ты писала, что он франтит? Так вот — твой сын будет одет с иголочки, мама, и с ног до головы. Студенческая пора кончилась, мне придется общаться с лучшими людьми России, и хороший костюм хоть и не определяет сути, но, как и внешность, служит своеобразной вывеской перед входом в магазин.

Франтить я в Москве, как и другие мои товарищи, приезжающие отсюда, буду по праву. Пусть разная сволочь, отсиживавшаяся по теплым углам от войны, завидует, глядя на нас, нам пришлось перенести то, что им и не снилось, зато и одеты мы будем так, как им и во сне не приснится, зато и живем мы сейчас в десять раз лучше любого из них...

14.VII.46.

...Положение таково. В конце июня у нас была комиссия Гл. управления кадров Главпуркка. Беседовала с каждым. Я снова настаивал на увольнении, приводя все доводы, которые приводил и раньше. Беседа дала результаты. Через несколько дней по указанию пред. комиссии меня вывели за штат, а документы оформили на увольнение в запас и послали на утверждение в Москву. Сейчас нахожусь в резерве. Ничего не делаю. Жду приказа. Сколько его ждать — бог весть. Ребята, на которых посылали документы еще в апреле, получили приказ только на днях. Но полагаю, что в августе все же все придет к желаемому концу.

Читаю невероятно много. Глотаю книги, просиживая целыми днями в читальне. Занимаюсь латынью — она мне понадобится при поступлении в аспирантуру; вернее, при работе над диссертацией. Успехи кое-какие есть: прошел за месяц курс полутора классов гим-

назии. Стихов не пишу — ожидание меня выбивает из творческой колеи, настроение беспокойное, пока не получу приказ, не успокоюсь...

19.VII.45.

Моя родная мамочка!

Мы наконец на нашем постоянном месте.

Живу в просторной угловой комнате в первом этаже. Два больших окна нерусского типа — т. е. длинные и широкие — выходят в сад — цветы, ягоды, яблони. Комната очень светлая и просторная. Выложил я свои книги. Их у меня скопилось изрядно. Очень хорошие книги — всех веков и на всех языках. Есть книги начала 16 в., есть Расин 18 в. на французском, Цицерон на латинском 18 в. с пометками на полях и комментариями какого-то аббата времен Луи XVI, есть в прекрасном издании Диккенс на английском языке. Сейчас разрешена пересылка бандеролями — часть, видимо, вышлю. На стены я повесил старинные панно с кавалерами 18 века, с замками и тавернами и несколько акварелей. На столе цветы. Гопля, мы живем!

Город, где мы будем теперь жить,— один из лучших городов Германии. Это центр целой провинции, бывшая столица Мекленбургского герцогства. Дома большие — четырех- и шестиэтажные, масса магазинов, улицы многолюдные, шумные, на перекрестках полицейские. Здесь два месяца были сперва американцы, а затем англичане — все цело, город был ими взят почти без боя. Есть театр оперы и балета, оперетта, варьете, кинотеатры. Посещаются они очень усердно — народу до черта. Был в опере, смотрел «Виндзорские проказницы». Оркестр хороший, голоса приличные. Варьете не понравилось — русский зритель к этим штукам не привык, уж больно все развязно. В кино идут иностранные фильмы. Функционирует местное правительство — об образовании этих провинциальных президентств ты, верно, читала в газете.

Много читаю. На немецком. Прочел Гейне, Шницлера, Андерсена и еще кое-кого из классиков. Никогда не думал, что у меня есть способности к языкам, но, оказывается, есть. В Польше я довольно быстро выучился понимать и через пень колоду говорить на незнакомом языке и даже прочитал в подлиннике Мицкевича и Словацкого, сейчас же я не только воскресил знания языка, когда-то штудировавшегося мной, но увеличил их раза в два с лишком.

Из Москвы получил несколько тревожных писем от друзей и подруг — беспокоятся молчанием. Сел за ответные письма — пора.

Ну, целую тебя крепко и много. Целую папу и Ольку. Счастья, здоровья, самого наилучшего. Как у тебя с печенью? Прошло ли? Обеспокоился очень. Еще раз целую.

Всегда твой

Сережа.

По легенде тут жил великан и согревал кочевавший там народ своим теплом. Потом налетели злые духи, загнали великана под землю. Это Уренгой. Мы достали его, освободили из-под земли. За шесть-семь лет все наши затраты окупятся, и система начнет работать, как божий дар.

— Борис Евдокимович, я встречал людей, которые не вполне понимают нашу торговую сделку, ее называют сделкой века. Как это? Продаем газ, наше богатство, а сами останемся на чем?

Министр улыбнулся.

— Каждое государство чем-нибудь обязательно обменивается с другими государствами. Это вполне естественно. Почему же мы должны быть исключением? Мы в 1982 году получили пятьсот один миллиард кубометров газа. Что же, мы не можем продать тридцать миллиардов? Ведь нам самим нужен не только газ, но и многое другое, а для этого нужна валюта. За газ мы получили хорошую валюту, а что такое эта капля для нас? Так что тревоги ваших знакомых неосновательны.

Главным для нас было сформулировать философию отрасли, создать самонастраивающуюся систему. Если б не сумели этого сделать, потребовался бы урядник, надсмотрщик. Социальные проблемы. Надо было в наших экстремальных условиях полярной тундры сделать труд престижным. И чтобы каждый мог получать от завоеваний социализма — и в материальном и в духовном плане — свою часть. Тут все нехожено. Человек живет на трассе. Вместе с тем он живет в нашем обществе. Он должен тут, на трассе, получить возможность осознавать себя членом социалистического общества, социалистическая демократия не должна быть для него чем-то умозрительным, существующим где-то там, за трассой. Она должна быть реальной здесь, на трассе. Рабочий человек должен чувствовать себя хозяином на трассе.

Объемы нашего строительства. Мощность компрессорных станций равняется мощности целого Днепрогэса. Каждая тысяча километров трубы — это миллион тонн металла. С этим надо уметь справляться. И мы требуем от командиров производств, чтобы они не только занимались трубами, но и думали. Думали над социальными проблемами, понимали философию нашей отрасли, нашей страны, нашего времени.

Почему у нас в отрасли собрались, как вы говорите, личности? По своей природе человек — натура ищущая. Он прежде всего ищет себя, хочет проверить себя на все. Идут к нам два потока людей. В одном те, о ком я только что сказал,— ищущие, желающие знать, на что они способны. В другом потоке люди, которые стремятся нажить тут опыт, знания, идут выразить себя. Здесь открывается грандиозное поле — иди, выдумывай, пробуй, как правильно сказал поэт.

АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ

★

«В ОСТРОВАХ ОХОТНИК...»

Кампучийская хроника

Глава первая

Еще несколько таких пробуждений здесь, в Пномпене, когда на черных фасадах в пять утра, перед отменой комендантского часа, загораются желтые, лампадно-чадные окна. Шлепает, шелестит падающая из кранов вода. Стучат по камням голые пятки. Позванивают звоночки выводимых велосипедов, прислоняемых к стенам у дверей. Мостовая еще пуста, под запретом. Поднимаются на окнах циновки, и видно, как женщины, неприбранные, медлительные после сна, отвязывают москитные пологи, скатывают на полу постели, расчесывают длинные черно-блестящие волосы. Мужчины, полуголые и худые, с переброшенными через плечо полотенцами, пьют чай за низкими столиками, поглядывают на безлюдную улицу, на звездное небо, прислушиваясь к шелестам, звякам. И вдруг на углу визгливо и яростно, с мембранным металлическим эхом, ударит в громкоговорителе музыка. И сразу метнутся на дорогу тени велосипедистов, полосуя тьму, легкие, острые, как стрижи. Гуще, чаще — и вот, мигая и вспыхивая, сплетаются в колючий подвижный ворох, мешаются с треском моторов, с лучами автомобильных огней, окутываются бензиновой вонью, растревоженным тлеющим запахом нечистот, сладостью гниющих фруктов, дымом жаровен. Над крышами, гася молниеносно звезды, налетает латунный рассвет. Лужа на тротуаре липко желтеет. Разгромленное здание рынка проступает горчичной громадой. И на грязном балконе напротив, где разбрызганы метины артиллерийских осколков, начинает розоветь сохнущий женский платок.

Еще несколько таких пробуждений, и он вместе с женой, слава богу, оставит этот номер в отеле, напоминающий походный бивак: москитные сетки, фотокамера, фляга, обшарпанный полевой бинокль, оставит корреспондентство, Пномпень и вернется в Москву, в свой любимый ухоженный дом с видом на Яузу, на хрупкую лазоревую колокольню, к любимым занятиям, к работе над докторской диссертацией, прерванной три года назад, когда его, востоковеда, знающего вьетнамский и кхмерский, выступавшего в периодической прессе с анализом индокитайских проблем, пригласили в газету, предложили корпункт в Пномпене, еще разгромленном, умертвленном, недавно освобожденном от полпотовских банд. И он, работавший некогда в прессе, дороживший памятью о своих молодых стремительных рейдах на Дальний Восток, в Ханой, в джунгли на тропу Хо Ши Мина, искусился этой возможностью, бесценной для любого ученого, оказаться в самом центре, ядре исследуемых проблем. Принял предложение газеты, приехал работать в Пномпень.

Кириллов стоял под душем, разбивая о плечи вечно теплую, не несущую свежести воду, смывая ночную испарину. Смотрел сквозь приоткрытую дверь на жену, расставлявшую по столу чашки, вазочку с вареньем, галеты. Ее рукодельный сарафан из цветастой таиландской ткани открывал смуглые полные плечи с глянцевито-влажным отливом. Черно-стеклянные, как у кампучиек, волосы раздувались от крутящегося в потолке вентилятора, и она, раздражаясь, отгоняла их от лица быстрыми взмахами. Ее круглое лицо казалось рассеянным, и на нем светилась радостная растерянность и забота, появившаяся в последние перед сборами дни. Она отходила от столика и поспешно, с ножами и ложками, возвращалась к нему, стараясь попасть под пропеллер, спасаясь от горячего влажного воздуха, тампоном стоящего в номере, не обновляемого сквозь открытый балкон. Там, среди ровного потного жара, гремела, дребезжала толпа.

— Большие чемоданы начнем упаковывать вечером, когда ты вернешься. А мелкие вещички я уж сама сейчас начну собирать,— говорила она, торопя его, вся уже нацеленная в предстоящий день, в обременительно-желанные хлопоты, в скорое московское будущее.— Я тебе говорила? Сегодня у нас в Культурном центре мероприятие с кхмерскими врачами из госпиталя. Не спозаранку. Я могу и попозже пойти. А сейчас начну упаковываться.

Он вытирался мохнатым, непросыхающе-влажным полотенцем, стараясь встать на такое место, где перекрещивались бы легковейные сквознячки от крутящихся лопастей, дули струйки кондиционера. Слушал ее наставления. Согласно и чуть насмешливо принимал ее волю.

— Ты, пожалуйста, заскочи сегодня на рынок, ладно? А то потом замотаемся и забудем купить, что хотели. Ну, эти бронзовые статуэтки и колокольчики. Я заметила, в Москве они пользуются наибольшим успехом. Все-таки в них есть аромат буддизма, аромат Кампучии.

Он охотно, следуя ее мыслям, уже сидел в московском застолье, не мешая ее громким, чуть бестолковым рассказам, в подтверждение которых она раскрывала коробку, одаряла милых сердцу друзей темной бронзой, под восхищенные оханья нежно звучащей в ее бережных смуглых руках.

— Ты знаешь,— сказала она, перестав накрывать на стол, глядя на него почти умоляюще, словно он мог не поверить,— мне сегодня опять наше Троицкое приснилось. Будто я лежу у самой печки, за той перегородочкой, где твоя шуба висела. Тебя нет, но я знаю — ты где-то близко. То ли на улице, где луна, сугробы, наш куст колючий. То ли в сенцах, где лыжи твои стоят. Я вижу в оконце оставленные тобой на снегу следы, глубокие, с тенью. И печка так жарко натоплена, такая духота в избе, что нечем дышать. И я удивляюсь, почему же ты вышел на снег без меня, почему ничего не сказал? Проснулась, а электричество опять отключили. Вентилятор встал, кондиционер не работает. Задыхаюсь, под пологом лежать невозможно. А ты хоть бы что! Спишь, только часы твои светятся. Я по твоим часам следила: полночи вентилятор бездействовал. Только под утро завертелся, и я ненадолго заснула.

Он мимолетно подумал, что перебои с электричеством опять участились, но это оттого, что на станции меняют машины, устанавливают новые агрегаты, и через пару недель, обещают, Пномпень получит в достатке энергию. Перестанут размораживаться холодильники, отключаться кондиционеры и фены. Но это их с женой уже не будет касаться.

— Ты знаешь, я лежала в темноте и думала. Неужели скоро мы окажемся среди русской весны и лета? Поедем в наше Троицкое, и опять у нас под ногами будет прохладная молодая трава, по которой можно бесстрашно ходить босиком. И студеная речка, в которую можно безбоязненно войти и поплыть. И я услышу ту самую изуми-

тельную, не исчезнувшую за эти годы деревенскую речь, которой мы когда-то так восхищались. Пойдем на могилу к тете Поле, приберем ее, повесим на крест веночек. Выпьем красного рюмочку, как когда-то она сама выпивала. Помнишь? Пригубит, захмелеет, разрумянится и запоет: «В островах охотник цельный день гуляет, если неудача, сам себя ругает...» Я все думаю последнее время о тех наших днях, о том нашем дне бесконечном, который все длится, длится...

Она умолкла, и в продолжение ее слов здесь, в Пномпене, в латунно-недвижном воздухе с душным испарением сточных канав и цветущих, словно лакированных, деревьев вдруг пахнуло сухой белизной снегов, солнечной сыпучей метелью из другого пространства и дня, наполнило его мгновенным ликованием, силой и кануло, оставив по себе похожее на испуг страдание. Так бывало не раз, когда нежданно, в минуту усталости или слабости или на грани погибели он вдруг кидался в ту даль за спасением, в тот день, отпущенный им обоим как чудо. И они проживали тот день многократно, всю остальную жизнь, выкликали из прошлого те солнечные сухие метели.

Он выпил чай, подливая себе в розовую чашечку из фарфорового с синим аистом китайского чайника. Обнял жену на прощание, прикоснувшись губами к влажному шелковистому плечу, испытав мимолетное волненье, нежность, легчайшую боль за нее.

— Не хлопочи сегодня с ужином, ладно? — сказал Кириллов, сжимая в ладони брелок с ключами.— Помотаюсь по городу, нанесу прощальный визит в отдел печати МИДа, заеду за тобой в Культурный центр, и мы поужинаем у китайца.

Он спустился вниз, постоял перед своей серо-стальной «мицубиси», жмурясь от солнечного туманного жара, привыкая к маслянистому ожогу улицы, движением зрачков охватывая ее мельканье.

Велосипедист в синей повязке упругими сандалиями давил педали, нес на багажнике деревянную поперечину, на которой вниз головами висели связки кур, растопырили крылья, мерцали кровяными налитыми глазками, проносили полураскрытые клювы над горячим асфальтом. Другой велосипедист вез на рынок корзины; окруженный их белым, выпуклым ворохом, он ловко лавировал, пронося в потоке свой плетеный горб. Продавец соков толкал тележку со стопкой нарезанного зеленого сахарного тростника и давилкой, похожей на старый «Зингер», оставлял за собой тонкую строчку воды от тающего, укутанного в тряпку льда. Тонконогий, бритый, в белом шелковом облачении, прошел послушник, долго сквозил в толпе своей белизной, черно-синей голой макушкой. Две молоденькие женщины, в брюках, в одинаковых сиреневых блузках, остановили свои велосипеды, запрудили поток и, не замечая этого, беспечно смеялись, показывая друг другу пучки редисок.

Кириллов смотрел на шелестящее, вспыхивающее спицами многолюдье, на истошно гудящие, мигающие поворотными сигналами мотоциклы, на «лады», «москвичи», «тойоты», с гудками пробирающиеся по осевой, увязающие среди велосипедных рулей, соломенных шляп и повязок. Отмечал про себя, что и этот день неуловимо отличается от вчерашнего усилением, повышением жизненности. Пномпень, доставшийся ему безгласным и вымершим, с обугленной чернотой переплетов, трупным ветерком из подвалов, все эти месяцы медленно собирал в себя загнанную, распуганную жизнь, смелеющую, стекавшуюся в него опять ручейками. Крестьяне из соседних провинций, редкие уцелевшие старожилы заселяли город, возвращали ему голоса и лица. Город, все еще раненый, с перебоями дыхания и пульса, оживал, торговал, работал.

«А ведь может статься, что больше уже никогда его не увижу, и надо таким и запомнить,— подумал одновременно с печалью и облегчением Кириллов.— Еще два денечка последних...»

Он заметил, как подкатил к тротуару автобус, остановился у ржавого, с пустыми глазницами светофора. Из автобуса вышли пионеры, тонконогие, хрупкие, в белых рубашках, шелковых красных галстуках, синих пилотках. Заскользили уверенно сквозь толпу, рассекли перекресток, запрудили его. Худой длиннорукий юноша в белых толстопалых перчатках вскочил на тумбу, легкими точными взмахами, верещаньем свистка стал управлять перекрестком. Погнал велосипедистов в узкие ворота, образованные пионерами, давая простор тяжелому армейскому грузовику с тюками риса, «мерседесу», стремительно скользнувшему на открытый асфальт. Кириллов умилялся, любовался движением детских рук. Подумал: «Ну что ж, муниципалитету хвала. И это и это запомнить...» Сел в машину, в ее душное накаленное чрево, запуская мотор, включая кондиционер, зная, что через минуту прохладная свежесть выдавит из машины пропахшую пластиком духоту.

По дороге в министерство иностранных дел он завернул в агентство Аэрофлота, где — шуткой на шутку — перемолвился с красивой желтоволосой сотрудницей, напомнив о билетной брони, о местах багажа, раскланялся с полузнакомым, виденным пару раз в посольстве аграрником-рисоводом, у которого завершался контракт.

— Я никак не знаю, каким мне рейсом лететь,— с узбекским акцентом, беспокойно блуждая по рекламе лиловыми глазами, спрашивал рисовод.— Через Ханой или Хошимин?

— Теперь все равно. По времени то же самое,— легкомысленно отозвался Кириллов, не желая вникать в чужую, казавшуюся пустяковой проблему. А сам радостно, мгновенно вообразил предстоящий ему полет. Из Пномпеня над туманно-голубыми, курчавыми в джунглях горами с оловянной струей Меконга в Хошимин, недавний Сайгон, с разгромленными коробами ангаров, где в бетонных пазухах догнивают взорванные бомбардировщики, алюминиевым сором блестят разодранные, расщепленные «дугласы», завалились на бок пятнистые, без винтов «сикорские». Полет над вечерними Гималаями с их зелеными, красными ледниками, словно вставленными в хребты прозрачными кристаллами, потом в Бомбее, в жужжании порта — аметистовый, огромный «ди си» с синей надписью «Панамерикен». Краткий сон над тьмой океана, и в Карачи под крыло самолета подкатывает цистерна с горючим, и шофер-пакистанец, разматывая шланг, отирает мокрый, в бисере лоб. Полет над Афганистаном в ночи, над незримыми зубьями Гиндукуша, а под утро — мимолетный промельк Ташкента, и вот уже апрельские разливы в полях, сияние березняков, упругий удар о землю в аэропорту Шереметьево, и она, его Вера, ликуя, хватает его за руку, восторженно смотрит в глаза, требует, чтоб и он ликовал.

По дороге в министерство, продолжая вбирать последние, прощальные впечатления, он проехал мимо Ватпнома, спрятанного в тенистые кущи, одетого в деревянные леса реставрации, но уже украшенного бумажными фонариками, шелковыми полотнищами. Храм готовили к близкому празднованию буддийского Нового года, когда площадь перед святилищем наполнится возбужденной, нарядной толпой, из нее полетят вверх цветные шары и змеи, ударят хлопушки салюта, в вечерних дымах жаровен заскользят, замелькают лучи прожекторов, и храм, позлащенный, с парусной стройной кровлей, поплывет над толпой как корабль. «Но и этого уже не увижу»,— без сожаления подумал Кириллов, осторожно обгоняя велорикшу, везущего в своей трехколесной повозке женщину в шляпке.

Он сделал шелестящий вираж вокруг памятника Независимости, воздвигнутого Сиануком, успев разглядеть в золотистом воздухе каменные резные скульптуры и смуглые лица караульных с красными ярлыками петлиц. Свернул на набережную Меконга, громадно и тускло ослепившего его утренним солнцем. Река текла могуче, пустынно, без кораблей, челноков, далекие лесистые берега тонули в тумане.

На набережной у воды сидели полуголые тонкоплечие люди. Мальчишки, глазированно-блестящие, ныряли у берега, доставали отекавшую голубоватую грязь, рассматривали ее на ладонях, роняя на животы потеки жидкого ила. Тут, говорили ему кампучийцы, на каменном спуске к Меконгу, полпотовцы расстреляли и бросили в реку захваченных в плен военных, их жен и детей. Рассказывали, что в первое время ныряльщики доставали золотые кольца и серьги, браслеты и украшения из серебра. Все гранитные плиты были в толстом слое застывшего ила, в обломках извлеченных со дна ракушек.

Королевский дворец в островерхих золоченых шпицах заструился головами драконов, засверкал лезвиями света, тая в глубине бархатно-алый прохладный сумрак с резными колесницами, тронами, с нефритовым, полупрозрачным Буддой, чуть слышно дышащим, выгибающим стан на высоком среброкованом алтаре.

В министерстве иностранных дел, в приемной, секретарша с тихой улыбкой пригласила его в гостиную, обитую темным шелком, усадила за низкий столик, поставила перед ним высокий стакан с напитком, с плавающими кубиками льда. Он жадно пригубил, останавливая себя, зная, что влага не надолго остудит его тело, тут же выступит под рубашкой горячей росой. Он, европеец, так и не научился управлять своей плотью в изнуряющей, днем и ночью работающей парилке. Ожидал представителя отдела печати, чтобы сказать на прощание несколько слов благодарности, обеспечить своему преемнику теплый прием и контакты.

В гостиную вошел Сом Кыт, представитель министерства, работающий с социалистической прессой, невысокий, смуглый, с мягкими осторожными жестами. Его широкоскулое, темногубое лицо было настоящим кхмерским лицом, знакомым Кириллову по пресс-конференциям, по одной-двум поездкам, организованным для журналистов. Он поднялся навстречу кхмеру, стараясь в улыбке, в рукопожатии выразить всю меру сердечности, за которой должны последовать слова признательности и несколько мелких, но важных для преемника просьб.

Кириллова не смущала сдержанность Сом Кыта. Несмотря на внешнюю замкнутость, он был постоянно вежлив, внимателен ко всем пожеланиям корреспондентов.

— Дорогой Сом Кыт,— Кириллов говорил по-французски, придавая своим первым словам полушутливый тон протокола.— Я пришел поблагодарить вас за то добро, что видел от вас все это время. Вы откликались на все мои пожелания, которые теперь, задним числом, могут показаться капризами.

— Я рад вашему визиту,— ответил кхмер на чистом французском.— Я сегодня сам собирался искать вас. Ваша просьба нашла в министерстве отклик. Мы готовы пойти вам навстречу.

— Какая просьба? — не понимая, переходя на кхмерский, спросил Кириллов, чувствуя, что в словах Сом Кыта таится какая-то темная точка, растет, приближается, наподобие стремительной воронки, готова раскрыться.— Какая просьба, дорогой Сом Кыт?

— Месяц назад вы обратились к нам с пожеланием посетить северо-западные районы Кампучии. Я приношу извинение за промедление с ответом. В этой поездке есть доля риска в связи с продолжающимися террористическими актами на дорогах к северу от Баттамбанга. Требовалось время на составление программы и разработку маршрута. Теперь все трудности позади. Я собирался вас известить: мы можем выехать завтра.

Маленький стремительный водоворот приближался, разрывая, отталкивая это солнечное легкое утро с предвкушением отъезда в Москву, с чувством прощального, необязательного пребывания в этом городе, откуда его выносило на самолетных моторах, на нетерпении,

на счастливом страстном стремлении в прежнюю, желанную жизнь, уже доступную, уже почти наступившую. Темная воронка, как фреза, увеличиваясь, рассекая острыми кромками эту чаемую жизнь, возвращала на поверхность реальную, неисчезнувшую, с прогрохотавшим за окнами военным грузовиком, с обугленным, иссеченным фасадом, с замкнутым смуглым лицом Сом Кыта, выкладывающего на столик программу поездки.

Действительно, месяц назад Кириллов обратился в отдел печати с просьбой организовать для него поездку на северо-запад, к границе с Таиландом. Но ответа так долго не было, что он перестал его ждать. Отказался от поездки к границе, стал готовиться к другой — на родину.

И первая мысль теперь: извиниться перед Сом Кытом, отшутиться, сказать что-нибудь про встречу в Москве, про готовность служить ему гидом в Кремле и московских музеях. А уж эту поездку к границе пусть совершит его преемник, человек достойный и деятельный, с которым ему, Сом Кыту, будет приятно общаться.

И вторая мысль: выйдет некорректно, неловко. Он, Кириллов, поднял эту проблему, заставил работать МИД, вверг в заботы и хлопоты большое число людей, желавших ему помочь. А теперь, когда программа готова и можно отправиться в этот отдаленный, еще не посещавшийся журналистами район, он идет на попятную.

И третья мысль: он не может отказаться, он должен поехать, следуя этике отношений двух дружественных стран, двух людей, пусть не близких, знающих друг о друге не много, но связанных общей работой, общим товариществом, действующих заодно в этой измученной, возрождающейся стране.

И четвертая мысль: ему, журналисту, ученому, опять предоставлен уникальный, счастливый случай видеть, узнавать, понимать. Ввергнуть себя в сверхплотный, непознанный пласт, в такой раскаленный контакт с действительностью, где ценою трат обретается знание о грозном мире.

И пятая мысль: о жене, ничего не ведающей об этом разговоре, укладывающей свои легкие сарафаны и платья, развешивающей их мысленно в московском шкафу.

Эти мысли возникли в нем как единая бесшумная вспышка усталости, тревоги, обостренного, посекундно нарастающего интереса, затмевающего все остальное, переводящего его волю и дух на привычный, оставленный было регистр. И пройдя сквозь мимолетную, незаметную для собеседника тень, сделав — не логикой, не размышлением, а всей своей сущностью — выбор, он улыбнулся Сом Кыту:

— Не знаю, как благодарить вас за помощь. Надеюсь, поездка будет плодотворной. Если вы не возражаете, я готов познакомиться с программой.

Сом Кыт бережно раскрыл на столе старую, склеенную на сгибах скотчем туристическую карту Кампучии. Стал пояснять маршрут.

Поездка была рассчитана на неделю. Совершалась не самолетом, а машиной по шоссе номер пять, вдоль юго-западной кромки озера Тонлесап, до Баттамбанга и Сиемреапа, с заездом в крестьянские кооперативы, на фабрики, с посещением пагод. Предусматривала встречи с интеллигенцией и духовенством и, если позволят обстоятельства, посещение вьетнамских и кампучийских частей, стоящих на пути у полпотовских, проникающих из Таиланда банд. План поездки был согласован на самом высоком уровне, и Сом Кыту до конца рабочего дня оставалось подписать несколько пропусков, открывающих доступ в военные части, а также разослать радиограммы в провинциальные комитеты, извещая о прибытии.

— Еще раз, товарищ Сом Кыт, хочу поблагодарить министерство за эту поездку,— произнес Кириллов по-кхмерски, окончательно оставив тон протокола, перейдя на естественный для спутников тон партнерства.— Я бы хотел узнать, как мы будем решать в дороге проблему

ночлегов и продовольствия. Стоит ли брать с собой москитную сетку, запас продуктов?

— Ночевать мы будем в отелях. Обедать и ужинать в ресторанах. В Баттамбанге и Сиемреапе вы можете рассчитывать на европейскую кухню. Единственно что следует, быть может, с собою взять — это медикаменты.

— Какие именно?

— Профилактические, от лихорадки. Мы, быть может, будем работать в джунглях. И желудочные. Хотя, повторяю, мы будем есть в ресторанах, где соблюдается гигиена.

— Благодарю за совет. В конце концов от лихорадки и желудочных заболеваний можно защититься москитной сеткой и кипятильником. Это ведь не таиландский снаряд и не гранатомет диверсанта, перед которыми москитная сетка бессильна.

Сом Кыт улыбнулся, сдержанно откликаясь на шутку.

— От возможных случайностей на дорогах нас защитит охрана.

— На какой машине мы едем? — поинтересовался Кириллов, представляя себя и Сом Кыта в своей «мицубиси», а сзади пятнистый, наполненный солдатами грузовик.

— Мы поедем на «тойоте»,— сказал Сом Кыт.— Дорога очень плохая, не ремонтировалась пять лет, и нужен вездеход. Машина вместительна и надежна. Кроме нас и шофера поедут два солдата охраны. На похожих «тойотах» перемещаются представители ЮНИСЕФа. Это в какой-то мере обезопасит нас от нападения из засады. Полпотовцы не стреляют по ЮНИСЕФу, зная, что ЮНИСЕФ доставлял, да и сейчас доставляет через Таиланд продовольствие в их лагеря.

— Хорошо,— сказал Кириллов, соглашаясь с разумностью доводов. Белые машины с голубой, видной издали эмблемой международной помощи часто сновали по городу, связывались в сознании людей с поставками риса в недавние страшные месяцы, грозившие мором и голодом. Продовольствие из соцстран поступало другими каналами, не связанными с рекламой.

В своих репортажах и очерках Кириллов писал о советском рисе, спасшем голодающие, обреченные на гибель селенья. О советском бензине, оживившем убитые Пол Потом промышленность и транспорт. О советских портовиках, вернувших к работе пирсы и краны Кампонгсома. О советских врачах, положивших предел эпидемиям в Пномпене.

— Завтра в пять утра машина придет за вами в отель,— сказал Сом Кыт, аккуратно складывая карту.

— Нет,— попросил Кириллов,— если можно, к посольству. Утром я отгоню мою машину в посольство и буду вас ждать у въезда.

— Хорошо,— сказал Сом Кыт.— На всякий случай я живу рядом с вашим посольством. Дом двенадцать, первый этаж.

— Я очень рад, дорогой Сом Кыт, что мы едем вместе.

— Спасибо,— ответил тот.

Кириллов катил по городу, над которым клубилась желтая едкая туча, бесшумно вспыхивая молниями. Выбирая улицы побезлюднее, он проехал мимо бывшего концлагеря Туолсленг, о котором писал в первых после приезда в Пномпень репортажах,— угрюмого грязного здания, опутанного колючей проволокой. Теперь тут размещался музей полпотовских зверств, выставлялись орудия пыток, экспонировалась выложенная черепами карта Кампучии, предсмертные фотографии узников, мужчин и женщин, пропущенных через истязания. В глазах у всех было одинаковое выражение близкой, необъяснимой для них смерти.

Он миновал концлагерь, с облегчением оставляя за собой бремя неисчезнувших, накопленных здесь мучений. Чтобы снять с себя этот гнет, вернулся на многолюдную трассу, медленно ехал среди звонов, визгов и выкриков.

Предстояло немедленно действовать. Заручиться поддержкой друзей-вьетнамцев, подготовить жену, смягчить ее огорчение. Но нечто невнятное, останавливающее, почти цепенящее, возникнув в нем, разрасталось, превращалось в чувство тревоги и недоумения.

Он катил по узкому, свободному пространству вдоль осевой, сдувая гудками легких, блистающих спицами наездников, оставляя за машиной ртутный след. Эта тревога, проносимая им сквозь горячий Пномпень с клубящейся тучей, наполненной душным ливнем, была связана не с заботой о предстоящих встречах, не с мыслью об огорчении жены, не с опасностями предстоящей дороги, хотя и это присутствовало в нем. А возникло некое знакомое чувство, что снова, в который уж раз кто-то незримый, зорко за ним наблюдающий, управляющий его судьбой, легчайшим щелчком от нажатия невидимой кнопки послал команду. И эта команда отклоняет его путь от желанного, того, к которому стремится душа. Коррекция чуть заметным поворотом рулей, и он пойдет по иному, проложенному в чьей-то карте маршруту. Так было всегда: стоило возникнуть ощущению свободы, стоило воспрянуть душе и она, душа, уносилась в желанный простор, стремясь что-то вспомнить, вернуться туда, где было ей хорошо, где была она дома, как снова — бесшумный щелчок в области сердца, и оно, откликнувшись болью, послушно принимает команду.

Он ехал в смятении по городу, не умея распознать источник этой нацеленной на него воли, действовавшей всю его жизнь, вписывающей его жизнь, стихию его души в задуманный жесткий чертеж.

Застревая в клубках перекрестков, тормозя, слыша, как шуршат по машине одежды, прикасаются чьи-то руки, замечая, как быстрые блестящие глаза заглядывают на него сквозь стекло с велосипедных сидений, из повозок, из-за маленьких столиков под навесами, где китайцы, держатели крохотных харчевен, ставили перед едоками чашки с дымящимся супом, с красно-проперченной дунганской лапшой и бутылочки с соевым соком, Кириллов стремился выбраться на безлюдное место. Свернул на пустырь, на красную липкую землю, где огромно, достигая пальмовых лохматых вершин, громоздилась свалка машин, самая крупная в городе. Это было кладбище убитых Пол Потом механизмов, собранных в громадный курган, знаменующих, как было задумано, окончание эры моторов, начало иной, домоторной эры. Кириллов встал, открывая стекло, пуская в салон струю горячего, влажного воздуха.

Пахло цветущими деревьями и кислотой разлагающегося железа, истлевающего и гниющего в едких испарениях тропиков. Казалось, деревья усиленно испускают свои природные терпкие яды, чтобы поскорей уничтожить и растворить отданный им на истребление металл.

Кириллов смотрел на измятые, взметенные вверх скелеты «мерседесов», «пежо», «кадиллаков», на их выдранные, пустые глазницы, ржавые диски, ошметки проводов и пружин. Будто автомобили встретились здесь в страшном одновременном ударе, спикировали в свалку с разных направлений, высот, сминаясь в металлический ком. Было тихо, беззвучно, но он помнил время, когда вся огромная жестяная гора тихо дребезжала, звенела, охваченная негромкими неторопливыми стуками. Это жители Пномпеня, спрятавшись в недра кургана, вырезали, выколачивали зубилами из мертвых машин последние остатки металла, обгладывая автомобили, выбирая из крыльев, капотов и крыш по лоскуту. Собранные металлические стопки несли на окраины, где вдоль дамб, вдоль сырых, с цветущими ирисами болот толпились рукодельные, наспех возведенные жилища, вбирая в себя прибывающих в столицу крестьян. Они, эти кампучийские крестьяне, терпеливые и смиренные, превращали изделия могущественных автомобильных компаний в свои утлые жилища. Теперь острый кризис жилья миновал. Возрожденные, пущенные заводы и фабрики строили рабочим жилье, сносили убогие лачуги.

Устав от вида обломков, он тронул машину, направившись было в посольство, но снова, желая продержаться в исчезающе-кратком состоянии свободы, проехал сквозь город к окраине, затормозив у телевизионной мачты, мертвой, с разгромленной у основания студией. В сорванные двери виднелись взломанные шкафы с электроникой, тонкие приборы и механизмы со следами остервенелых ударов. Через порог с мокрой земли устремились в помещение цепкие зеленые стебли. Уже ворвались внутрь студии, оплели металл, продожая бесшумно работу погромщиков. Карабкались на пульты компьютеров, застилали дисплеи, тянулись к дырявому, сквозящему потолку, к самой мачте, норовя добраться до ее железных конструкций, нависнуть, источить и свалить.

Было жутко смотреть на это агрессивное торжество природы, торопящейся стереть все следы ненавистной ей техники, на столь быстрое и простое исчезновение с лица земли плодов человеческой деятельности, казавшихся незыблемыми. Но он знал — оборудование вновь заработает, вновь оживут в домах померкнувшие голубые экраны...

Неподалеку, под могучим дуплистым деревом оранжевый бонза расставил поминальный алтарь, курящиеся тростинки, нищенскую дароносицу. Сидел, скорчившись, подхватив грязно-оранжевые полы хламиды. На дымки, на куренья шли какие-то медленные печальные женщины, затянутые в длинные юбки, и худые тихие дети с коричневыми, казавшимися огромными глазами. Приближался буддийский Новый год, повсюду обильно курились алтари: поминали убитых.

Кириллов старался в который раз понять мотивы убийства цветущего, полнокровного города, которым еще недавно любовалась вся Азия, убийства не постепенного, не частями, а разом, в одночасье, как были убиты Герника и Хиросима. Пномпень был разрушен не бомбовыми ударами чужой авиации, не ненавистью чужеземцев, а усилиями самих кампучийцев. Одержимые фанатической «крестьянской», «деревенской» идеей, ненавидя цивилизацию, машины, всех, кто стоял у станков, сидел в аудиториях, держал перо или кисть, колонны «кхмер руж» входили в покоренный Пномпень. Заранее, в лесах, в период партизанской борьбы, политическая верхушка полпотовцев планировала избиение госаппарата, военных, университетских и банковских служащих, инженеров, врачей и бонз — всего, что составляло опору культуры. По городу несся военный «джип», и человек с мегафоном, облаченный в черную форму, истошно кричал: «Всем покинуть город! Скоро начнется бомбардировка!»

Началось изгнание из города: жителей — всех, поголовно — строили в долгие стенающие колонны, гнали вон, в поля, на дороги, и «город», отданный на растерзание «деревне», город без жителей, остывал, как тело, из которого вылили кровь.

Он помнил освобожденный Пномпень в первые дни приезда. Распахнутые настежь квартиры с нетронутой на столах посудой. Город простоял так три года до падения Пол Пота, пока не кинулись в него из провинций тысячи изнуренных, обнищавших людей. Ворвались в него, расхватывая, растаскивая рассыпавшуюся в руках одежду и утварь, заселяя многолюдно особняки и дорогие кварталы.

В великих трудах постепенно новые власти возвращали городу жизнь — подключали электричество, воду, отводили эпидемии, голод, давали работу и хлеб. И медленно, в муках город подымался из праха.

В первые дни работы, наблюдая рухнувший город, он все спрашивал себя: «Почему умертвили Пномпень? В чем природа инстинкта, отрицающего прогресс и культуру? Неандертальский рецидив, ориентированный на джунгли, на пещеры, именовавшийся «кампучийским социализмом»?»

За эти два года, встречаясь с пленными палачами и чудом уцелевшими жертвами, с интеллигентами, скрывавшимися под личиной

крестьян, с крестьянами, прошедшими через каторгу, с политиками и военными, вырвавшими страну из погибели, выслушивая бесчисленные, жутко-однообразные исповеди об убийствах и казнях, сбивчивую, из демагогии и фанатизма состоявшую апологию «кхмер руж», именуемых в народе «черными воронами», он выстраивал концепцию катастрофы, поверяя ее теорией мировой социалистической практики, отрицавшей Пол Пота как нонсенс. Кампучия была жертвой «пещерного режима», спровоцированного в недрах революционного, меняющего мир обновления.

Было несколько явных и неявных причин, политических, культурно-философских, военных, которые ему, Кириллову, историку, взявшемуся за ремесло журналиста, предстояло оформить в своей будущей диссертационной работе.

Происшедшее не гнездилось исключительно в истории кхмеров, лишь имело свою в ней метафору. Так когда-то Ангкор, цветущий и славный, был покинут людьми, отдан лианам и джунглям, простоял сокрыто века, пока не прорубились к нему археологи, открывая в дебрях дивный заросший град.

Пномпень уцелел, не умер. Раненый, он продолжал жить.

Нгуен Фам, вьетнамский пресс-атташе, знакомый еще по Ханою, принял его в прохладной гостиной с лаковыми миниатюрами на стенах. Разливал кофе в крохотные чашечки, маленьким улыбающимся ртом, умными веселыми глазами выражая радушие, и Кириллов знал — неподдельное.

— На улице нечем дышать. Наверное, ливень будет.— Кириллов, пройдя из машины к посольскому особняку по бесцветному пеклу, снова успел перегреться. Откинулся в тень шторы, сторонясь полосы солнца.— Рано в этом году начинается сезон дождей.

— Да, тяжело, вы правы,— ответил Нгуен Фам, излучая сочувствие.— Но за местных крестьян можно порадоваться. Уже начали сеять рис. Ранние дожди — к урожаю.

— Интересно, как вы, северяне-вьетнамцы, переносите климат Кампучии? — Кириллов знал: Нгуен Фам родом из Ханоя. Там они и познакомились во время его первого журналистского приезда во Вьетнам. Их беседы в отеле прерывались воздушной тревогой, рвалось и мерцало в небе от налетов бомбардировщиков, висела красно-дымная трасса от умчавшейся ввысь ракеты.— И вообще, как вы себя здесь чувствуете? Легче вам или тяжелей, чем в Ханое?

— Да как вам сказать? Тогда, под бомбежками, мы были моложе, и многое казалось нам легче. А теперь прошли годы, и многое нам кажется тяжелым. Я хотел вас спросить, как здоровье вашей жены? Как Вера? Я не видел ее на открытии ярмарки.

— Благодарю, она здорова. Считает дни и часы до нашего отлета в Москву. А ваша жена? Почему и ее не было?

— Она сейчас в Хошимине. Ее отец назначен директором фабрики, да что-то заболел. Жена полетела его навестить.

— Передайте Раймонде, если я ее уже не застану: мы с женой часто вспоминаем замечательные хайфонские устрицы, которыми она нас угощала в Ханое вопреки всем воздушным тревогам.

Любезности — от чистого сердца — были произнесены, и можно было приступать к деловой беседе.

— Конечно же, ранние дожди — благодать для крестьян. Слава богу, Кампучия может надеяться на хороший урожай.— Кириллов отпил с наслаждением горько-сладкий глоточек кофе.— Но, видимо, ранние дожди — одновременно и помеха для армии. Мешают боевой активности.

— Насколько я знаю,— вьетнамец сделал глоток,— войска стремятся сейчас разгромить в горах последние базы Пол Пота, не допустить инфильтрации из Таиланда новых банд до начала обильных лив-

ней. Противнику трудно будет в сезон дождей проникать через болота и джунгли с продовольствием и оружием в Кампучию.

— Вы знаете, дорогой Нгуен Фам, кампучийцы предложили мне побывать в районе границы, и я завтра еду туда. Считаю необходимым проконсультироваться с вами. Рассчитываю на вашу поддержку.

— Пожалуйста. Мы всегда готовы помочь друзьям. Друзья должны помогать друг другу. Это очень хорошо, что вы едете. Уверен, кампучийцы покажут все, что вас интересует. И мы, разумеется, в свою очередь, пойдем вам навстречу. О чем бы вы хотели просить?

Кириллов мягко, ненастойчиво перечислил ряд хорошо продуманных просьб, связанных с посещением действующих вьетнамских частей, с предоставлением транспорта, быть может, и вертолетного.

— Вот и все,— весело сказал Кириллов, сопровождая свой перечень улыбкой.

— Хорошо,— улыбнулся в ответ Нгуен Фам.— Я обо всем доложу послу. Он помнит вас по Ханою. Он будет рад, узнав, что едете именно вы.

Они пожали друг другу руки, давние друзья, не смеющие загадывать, в каком уголке Азии им еще предстоит увидеться.

Перед тем как вернуться в отель к жене, желая продумать, проверить, все ли дела переделал, Кириллов проехал по набережной, свернул на разрушенный мост, вышел перед распавшейся пустотой, где внизу, в бурунах, ржавели разодранные взрывом конструкции, огромно, слепо катился шоколадный разлив реки, гнили на отмелях поврежденные теплоходы и пятнистые, килями вверх, военные самоходки. К машине подбежали дети, голые, босые и грязные, уставились на него настороженными, испуганными, голодными глазами.

Он приблизился к краю обрыва, чувствуя за собой тревожные взгляды детей. Перед ним, за рекой, в голубых волнистых туманах, лежала разоренная больная страна, населенная сиротами, вдовами. Еще тлела в могилах плоть миллионов убитых, еще в джунглях длилась борьба, там, у границы, еще боялась и пряталась жизнь. Эти синие дали и воды, эти близкие молчаливые дети нуждаются в защите и помощи. Поэтому он отложит свое возвращение в Москву, сядет завтра в «тойоту» и покатит на северо-запад по шоссе номер пять.

Он подъехал к советскому Культурному центру, когда из ворот по двое, по трое, сдержанно-оживленные, выходили кампучийцы — то ли после просмотра фильма, то ли после курсов русского языка. Вера, словно ждала его, распахнула окно библиотеки, крикнула нетерпеливо и весело:

— Иду, иду!

Кириллов, усадив жену рядом с собой, растерялся, боялся взглянуть на нее, поспешно рванул машину вперед, а въехав в поток, боясь расспросов, включил кассету, заслоняясь гремящим, яростным диксилендом от ее близкого, счастливого лица.

— Осторожней! — охнула она, когда он вплотную промчался мимо возницы, везущего на велотележке гончарную башню горшков, обогнал тяжелый армейский грузовик, в котором с автоматами сидели вьетнамцы.— У меня ведь ужина нет, ты помнишь? Помнишь, что мне обещал? — она легонько, пальцами, коснулась его затылка, и это была не только нежность, но и просьба ехать потише. И он, сбавляя скорость, усмехнулся их тонкому, безошибочному знанию друг друга.— Ты помнишь, что обещал?

— Конечно. Поужинаем под полосатым тентом.

Они вышли у ресторана с открытой верандой под натянутым полосатым тентом. Прошли мимо стойки, где хозяин-китаец, откупоривая толстобокую бутылку, им поклонился. Миновали большой зал, пустой в этот час, с рекламными плакатами польской и чехословацкой авиакомпаний на стенах и негромким, для услаждения слуха, джазом.

Очутились в заднем, с прогалом на улицу, помещении, продуваемом ветром, с маленькими, не слишком опрятными столиками, за которыми сидели кампучийцы, поглядывали на перламутровую пивную пену в своих стаканах, кидали в пенные пузыри кубики льда. Едва они устроились за столиком так, чтобы видна была улица, металлически потемневшая от тучи, с чьей-то сорванной соломенной шляпкой, мчащейся среди спиц и педалей, к ним подошла жена хозяина, широколицая, увядшая китаянка, устало улыбаясь, расставила перед ними приборы, блюдечки с белыми хлебцами, свежими, испеченными из пшеничной душистой муки.

— Ты выбирай. В прошлый раз я выбирала, теперь, пожалуйста, твоя очередь.— Она отдала ему карту и тут же добавила: — Пожалуйста, угости меня супом из креветок, если их привезли сегодня из Кампонсома. И возьми, я тебе советую, на прощание две порции лягушек. В Москве, я знаю, ты будешь вспоминать о лягушках и требовать, чтобы я пошла на болото с сачком и ведрами. Так что закажи земноводных, торопись напоследок!

Он передал заказ китаянке. Отказался от пива, но попросил принести две рюмки камю. Смотрел, как она вдалеке за стойкой снимает черную пузатую бутылку, отирает пыль, наполняет рюмки. Рядом, в проеме, шелестела, мерцала улица. Два служителя-китайца мускулистыми худыми руками перевертывали прозрачную глыбу льда, несли ее, отекающую водой, в ледник, где хранилась свежая рыба, моллюски, омары, привезенные торговцами с побережья. Вера, не замечая его состояния, была говорлива, трунила над ним — над его недавней слишком короткой стрижкой, над его буддийской манерой улыбаться по всякому поводу, даже по поводу лягушек и устриц. И он не мог улучить минуту, чтобы сказать ей, разрушить столь любимые в ней веселье и легкомыслие, не частые в последнее время.

На крохотном подносе китаянка принесла коньяк. Он сам снял рюмки, и Вера подняла свою, щурясь, собрав у глаз тончайшую кисею морщинок, напоминавших крылья бабочки. Она не увяла, не изменилась резко за эти годы, а лишь поутихла, погрустнела, посмуглела, утратив млечную девичью свежесть и горячий, слишком яркий румянец, созвучный с тем давним троицким днем: млечность — со снегами и тихими, в сугробах, метелями, румянец — с зорями и снегирями на дорогах. Он, прожив с нею свою молодость и зрелость, пройдя через ссоры и взаимное раздражение, порой тяжелое, нападавшее на обоих уныние, утомление друг другом, а однажды почти потеряв ее, он мог сказать, что не было помимо нее женщины для него. Он исчерпывался ею целиком. У них не было детей, он чувствовал их отсутствие как постоянную боль, сочетавшую их в безмолвное, на бережении основанное единство. Он суеверно думал о себе и о ней как о людях, волей судьбы не имеющих продолжения в будущем и нашедших свое завершение друг в друге. Смотрел на ее узкое запястье, охваченное гибким индийским серебром, на золотистую рюмку у ее губ.

— Ну вот, мой милый,— начала она, чокнувшись с ним мимолетно.— Слушай, что я тебе скажу. Что собиралась сказать весь день, поджидая тебя. Вот видишь, подходит к концу еще один наш с тобой срок. Как и те другие, прошедшие. Я ведь помню тебя еще тем молодым аспирантом, которого мы, первокурсницы, боготворили. А когда ты покинул цивилизацию и уехал в деревню, мы распускали о тебе таинственные слухи, строили фантастические предположения. Помню тебя деревенским мужичком-лесничком в твоем добровольном изгнании. Видите ли, пожелал жить на природе, «осознать себя в мироздании»! Я приехала в Троицкое поразведать о тебе, подивиться на твое место в мироздании. Как видишь, так и дивлюсь по сей день. Помню, как ты укатил на целину, на осеннюю жатву, прямо после свадьбы, из-под венца. Ты говорил, что хочешь проверить свою способность быть вместе с народом в самые трудные его часы, а мне казалось все это надуман-

ным, невозможным, обидным для меня: как ты мог меня покинуть? Ходила в университет, сдавала зачеты, ждала твоих писем, плакала от обиды и любви к тебе. Помню тебя солдатом,— худой, измученный, приехал в отпуск, и твои ночные пробуждения, вскрики. Все тебе казалось, что на Москву летят враждебные ракеты и тебе надо куда-то бежать, на какой-то твой пост. Помню тебя ученым, как ты писал свою кандидатскую, пропадал в Историчке, в Иностранке, а я поджидала тебя у Яузы, и как хорошо нам было идти до Лефортова, и на той осенней, черной, ночной воде в прудах плавали утки. Помню наше темное время, о котором говорить не хочу, вычеркиваю его и вымарываю. Твое газетное время, бесконечные проводы, возвращения, ночные твои появления, твои рассказы, твои сувениры — то цветок из пустыни, то камень с какой-то горы, то лоскут алюминия из крыла самолета, то глиняный лепной петушок. И потом Вьетнам, пекло, самый разгар этих ужасных бомбежек. Я раскрывала газеты, колдовала, заговаривала заголовки корреспонденций. Отводила от тебя их самолеты, их авианосцы, чтобы они не долетели, не доплыли, промахнулись, разбились. Может, эти мои колдования помогли в той войне вьетнамцам? Помню наше краткое, последнее, казалось, такое спокойное, такое прочное житье в Москве, наш новый дом, к которому успели привыкнуть, обилие свободного времени, обилие у тебя интересной работы, замечательных, приходивших к нам в гости людей, ваши бесконечные, исполненные дружелюбия диспуты. И опять ты сорвался с места, опять понесся — за новым, как ты объяснял мне, опытом. И вот теперь Кампучия, наш пномпеньский период. Тут было много страшного и жестокого, но и важного для меня, для тебя. Об этом будем еще вспоминать, извлекая, как ты говоришь, «уроки и назидания для старости». Но я рада, что он кончается, этот период, и мы скоро будем в Москве. И я хочу тебе сказать, мой родной, самое подходящее время сказать, что я тобою горжусь. Твоим умом, твоей волей и храбростью. Знаю, дома все это превратится для нас в какое-то новое качество. Для тебя, должно быть, в твою диссертацию. Для меня? В продолжение моей к тебе любви и служения. Вот и выпьем за это!

Они выпили, глядя не мигая друг другу в зрачки, слыша близкий над крышами гром. Двое прохожих вбежали под тент, спасаясь от пыльного ветра, смеясь, указывая пальцами на сорванные с голов, колесом катящиеся шляпы.

Им принесли суп из розовых, бледных креветок, остро-сладкий, с плавающими ломтиками ананаса. Они черпали ложечками-совочками ароматную гущу, откладывали на блюдце колючие панцири вываренных креветок. Китаянка принесла две тарелки обжаренных, нежнозолотистых лягушек, и они брали руками хрупкие конечности с нежными белыми мускулами, очищали до блестящих косточек.

Подошел хозяин, один из немногих хуацяо, китайцев, живущих за пределами Китая, кому новые власти позволили открыть ресторан. И он умело воспользовался дозволением. В его заведении всегда была свежая рыба, отменные мясо и птица. Он с поклоном осведомился, всем ли довольны гости. Улыбнулся Кириллову как старому знакомому.

Под тент залетел, пробежав по стеклянным рюмкам, отблеск молнии. Треснуло, ударило в крыши, и на камни, на асфальт, превращаясь у земли в белую пыль и пар, рухнул ливень, тяжелый, сплошной, горячий, плюща, разгоняя толпу, расшвыривая к стенам велосипедистов.

Они смотрели из-под тента на водопад, у Веры было изумленное, восхищенное лицо, и он, одолевая шум ливня, неуверенным голосом произнес:

— Знаешь, я все медлил... Все не хотел тебя огорчать... Нам придется ненадолго отложить наш отъезд. Ненадолго, дней на десять...

— Что? — она повернулась к нему, и он успел разглядеть колеблющуюся грань на ее лице, как бы между светом и тенью. Между недавним, все еще длящимся ликованием и испугом, набегающим, как тьма, готовым обратиться в страдание. Его поразила эта черта, словно бритвой рассекающая надвое ее лицо.

— Помнишь, я обращался с просьбой в МИД организовать мне поездку к границе? Ну, помнишь, я тебе говорил? Так вот, они дали согласие. Завтра утром еду на северо-запад, к границе. Все уже решено. Может, и к лучшему? — пытался он ее заговаривать.— Увижу Ангкор. А то что скажут наши в Москве? Жить в Кампучии и не увидеть Ангкора! Видишь, мечты сбываются...

— Я чувствовала, ты что-то таишь,— она медленно качала головой, и он испытывал муку, видя эти горестные покачивания.— Сразу в машине почувствовала. Боже мой, почему нельзя быть ни в чем уверенной! Неужели всю жизнь надо чувствовать, что ты живешь на вулкане? Почему тебе надо ехать? Твой срок окончен! Сюда едет сменщик Лукомский! Вот пусть он и отправляется к границе! Полон сил, полон газетного рвения! Все хвастался в Москве, что лучший среди вас знаток восточной архаики. Вот и увидит Ангкор! Почему именно тебя, измотанного, истрепанного лихорадкой, на последнем пределе усталости, перед самым отлетом в Москву, где кончишь с этой газетной чехардой, станешь нормальным человеком, почему тебя на границу, в джунгли?

Она почти кричала сквозь хлюпанье и стуки воды. Два кампучийца за соседним столиком на нее оглянулись. Кириллов беспомощно, желая отвести ее тоску, прервать ее болезненные причитания, неловко шутил:

— Как почему меня? Ты же знаешь, я крупнейший специалист по границам. Все с чего началось? В Троицком, ты помнишь, мы устанавливали границу между нашим и соседним лесничеством, и я брал тебя с собой на санях, и ты правила нашей лошадкой, и вывалила-таки нас с лесником в сугроб. Ты помнишь?

На мгновение, от воспоминания или от молнии, в глазах ее стало ярко и слезно. Она быстро накрыла его руку своей.

— Прости,— сказала она.— Прости. В котором часу ты едешь?

— В пять утра.

— Надо идти собираться.

— Да есть еще время! Дождь переждем. Что собирать-то? Положи рубашек штук пять. Кипятильник, чай. Да пару бутылок водки. Все уместится в сумку.

— Консервы, пакеты с супами? Может быть, кастрюлю, посуду? Где вы там будете есть? Где спать? Боже мой, да ведь там малярия!

— Да что ты! Спать и есть мы будем в отелях. Баттамбанг — вполне цивилизованный город. Со мной едет чиновник МИДа, Сом Кыт, ты его знаешь. Сделаю дело и скоро вернусь.

— Господи!..

Ливень кончился, превратился в испарину. Улица в туманных сумерках стеклянно блестела. Мчался по асфальту клокочущий темный поток. Дети, визгливые, голопузые, барахтались, торопились вымокнуть, плюхались животами в воду, окатывали друг друга. Их родители, стоя на балконах и в открытых дверях, не мешали им, радовались дождю. И уже мчались велосипедисты, подымая на спицах прозрачные перепонки воды.

— Пойдем,— сказала она уже иным голосом, собранная, озабоченная, устремленная в предстоящие сборы.— Поглажу тебе в дорогу рубахи.

Они лежали в номере без огня, приподняв марлевый полог. Он смотрел на ее лицо, близкое, чуть светящееся, на ее ноги, вытянутые, отливавшие во тьме серебром. В потолке чуть слышно лепетал вентиля-

тор. Сквозь открытую балконную дверь виднелась улица с последним перед комендантским часом движением. Торговец соками устало толкал по мокрому асфальту тележку с затепленной лампадкой, похожую на алтарь. Напротив, в доме без электричества, зажигались масляные светильники, озаряя внутренность комнат. Мужчина, полуголый, пронес на худой руке светильник, поставил его куда-то ввысь. Женщина кормила грудью ребенка. Другая, в соседнем окне, стелила на пол циновку, подвязывала москитную сетку. Знакомые, изученные до мелочей мирки, бесшумно, наивно открывавшие себя — свои труды, утехи. И уже катил по улице «джип», и солдат, высовываясь с мегафоном, возвещал начало комендантского часа, сдувал последних прохожих, последних возниц с лампадами, гасил на фасадах окна, будто кто-то невидимый летел над городом, тушил огни.

Кириллов чувствовал ее близкое дыхание, ловил смуглый отблеск на голом плече. Старался поместить голову так, чтоб огонь далекой — из окна напротив — лампады лучился в ее волосах.

— Поймай какую-нибудь музыку,— попросила она,— нашу, русскую...

Он положил себе на грудь маленький прохладный транзистор, включил, пробежал диапазоны, надеясь уловить и услышать сквозь хрусты и скрежеты далекий родной напев, подобный тому, что когда-то звучал в их зимней жаркой избе. Блестел самовар, пестрели на клеенке рассыпанные тузы и валеты, краснела недопитая рюмочка с ягодкой горькой смороды, и тетя Поля, восхищенная, умиленная, среди фикусов, чугунков и занавесок, старушечьим, с каждым куплетом молодеющим голосом запевала: «В островах охотник цельный день гуляет...»

Он крутил транзистор, но на грудь ему сыпались колючие вспышки, ударяли чужие голоса и звучания. Повсюду, куда бы он ни кидался, желая пробиться на север, его встречали заслоны. Бурливый Китай и Таиланд, кипящий Гонконг, клокочущие Сингапур и Малайзия. Били в бубны, свистели на флейте, окружали энергичной, быстрой речью. Он почувствовал себя в ловушке, испытав душный мгновенный обморок, словно на потолке выключили вентилятор. Весь эфир представился вдруг наполненным жалящими пламенными язычками, маленькими летающими драконами с красными ртами, цепкими колкими лапками, кольчатыми, перепончатыми хвостами.

Она протянула руку, убрала, заглушила транзистор. Наваждение исчезло. Ее прохладная ладонь скользнула ему на грудь. И он торопливо, благодарно прижал ее к себе, обретая вновь дыхание, биение сердца.

Из руки ее прямо в грудь лилась прохлада, расцветало хранимое, сберегаемое, принесенное сюда через хребты и пустыни, сквозь кровавую бойню, сквозь бремя прожитых лет чудо, видение того далекого, исчезнувшего дня, когда они были молодыми. Их Троицкое, зима, снегопады, заячья лежка в кустах...

Он просыпается от шагов тети Поли. Она нарочно, чтобы наделать побольше шума, наступает на самые шаткие скрипучие половицы. Бормочет, ворчит будто бы на полено — его сухой березовый стук слышится в печке — или на сковородку — картошка начинает гневно шипеть, ее горьковатый дух витает по дому, и кот, унюхав жарево, вякает и мурлычет. Но на самом деле все эти шумы — чтоб разбудить его, разрушить его молодой крепкий сон. Наконец она не выдерживает, грохочет чем-то длинным, то ли кочергой, то ли ухватом, отчего многоголосо и разом отзываются самовар, чугунки, стаканы, ведра, умывальник, и она среди этого хора восклицает:

— А ну-ка вставай у меня, а то лесники придут и девку твою уведут!

Он открывает глаза. Крохотное оконце синеет, до половины заваленное снегом. Куст шиповника, верх забора — в белой волнистой бахроме. У окна, в полутьме, его рабочий стол с кипой книг и бумаг. С потолочной балки свисает и медленно кружится голубоватая шкурка убитой белки. Ружье на стене. Залатанный полушубок. На ременной петле клеймо лесного объездчика, чугунное, с деревянной ручкой. Ситцевая — вместо дверей — занавесочка. И глядя на ее цветочки, он окончательно просыпается, испытывая похожую на испуг радость: там, за перегородкой, она, его Вера, должно быть, уже не спит, притаилась под одеялом, на высокой, с никелированными шарами кровати, прислушивается, как он там, то есть здесь, за перегородкой. И мгновенная мысль: опять сегодня будет огромный, наполненный ее присутствием день, бег на красных охотничьих лыжах, запах мороза и сгоревшей солярки, гомон мужиков на лесосеке, и вечером, как и вчера, они втроем станут играть в карты, будет свистеть, переливать через край самовар, и кот ляжет на половик, черно-бархатный среди белоголубой чересполосицы, и может быть — об этом страшно и сладко думать — может быть, это случится сегодня, желанное, ожидаемое, отдаляемое ими обоими, присутствующее уже в этих новогодних солнечных днях, морозных звездных ночах.

— А вот я на вас сейчас кота напущу,— шумит тетя Поля.— Он-то вас, лентяев, подымет!

Они завтракают втроем, тыкая вилками в горячую масляную сковородку. Из угла, из коричневых рам, смотрят на них образа в желтой и белой латуни с бумажной выцветшей розой, с линялым пасхальным яичком, и в их блеске — что-то новогоднее, елочное. Тетя Поля мигает глазками, поглядывает на них хитровато, а они то смело взглядывают друг другу в глаза, то смущенно озираются на фикусы, на белую печку, на фотокарточки на стене. Вера в синем пушистом свитере с высоким, под подбородок, воротом. Волосы черно-стеклянные, отражающие снег за окном, а румянец столь ярок, что ему хочется тронуть губами этот близкий жар на щеке.

— Не смотри на меня,— просит она, и он испуганно отводит глаза в окно, где розовеет, искрится перед восходом сугроб, разрезанный лыжным следом, где вертится на заборе прилетевшая сорока и шагают совхозные шоферы в валенках, оклеенных красной резиной, заводить в гараже свои стылые, обшарпанные грузовики.

— Ну вот что теперь,— командует тетя Поля. Все эти дни она их наставляет, опекает, бережет друг для друга, и они покорно ее слушаются, верят: она желает им добра, своим мудрым разумением ведет их по этим огненным дням.— Хозяин в лес, на работу. А ты, хозяйка, хотела пирог испечь. Сегодня, так и знайте, гостей ждать. Будут малеванные по избам ходить, цыганить. У меня бутылочка красненького припасена. А пирог давай вместе печь. Ступайте сейчас к Куличихе, молочка принесите. У них прошлым месяцем отелилась корова.

Тетя Поля достает глиняный узкогорлый кувшин с потресканной синеватой поливой, обтирает края полотенцем, передает Вере. С кувшином они выходят на улицу.

Небо красное над горой. Солнце не встало, но близко. Из-за леса, зубчатого, черного, подымаются два румяных столба, колеблются, движутся, и он суеверно связывает их с Верой, с собой: «Это мы... О нас... В этот день...» По заре высоко, маленькая и точеная, летит сорока. Застывшая, вмороженная в лед, розовеет колонка. Блестит врезанный в дорогу розовый тракторный болт. Соседка, несущая ведра, несет в них расплавленный розовый блеск.

— Скажи сюда что-нибудь,— она протягивает ему кувшин, и ему кажется, что в его бездонную глубину уловлено это утро, столбы зари, крохотная острохвостая птица, облачко пара от Вериного дыхания. Приближает губы к кувшину, говорит в его бездну:

— Люблю!

Они идут мимо изб. В окнах, в каждом, в сумерках топится печь. На мгновение возникает озаренный овальный зев, ленивое чадное пламя, темная тень хозяйки. И кажется, печи смотрят своими черно-красными ликами на них, идущих куда-то, провожают их.

Они заходят в избу к Куличихе. Тепло, пахнет дымом. Пущенное во всю мочь, играет радио. В печке рассыпалось на угли сгоревшее полено. Угол избы отгорожен жердями, и на соломе коричнево-темный теленок хмуро смотрит угольным глазом. Худая белесая девочка тормошит растрепанную куклу.

— А бабуня во дворе, доит,— тихо сообщает она.

В тесном парном сарае, наполненном коровьим дыханием, свистят молочные струйки. Куличиха, костлявая сухая старуха, цепко, ловко оттягивает соски. В дальнем углу, где насест с неподвижными курами и гора малиново-золотого навоза, раскаленно светится крохотное замусоренное оконце. Луч низкого солнца, пронзив сарай, впился в коровий бок, сверлит, жалит, отражается на кромке ведра, на косах и вилах, на сухих травинках. Под кровлей, очнувшись, процокал, переступая когтями, петух, загорелся, как слиток в луче.

— Сейчас, погодите, налью! — Куличиха перекрещивает, передвигает белые спицы молока, вкалывает их в клокочущее ведерко.

Они ждут. Он смотрит на Веру, стоящую среди солнечных пятен, развешанных по стенам грабель и кос, старых бензопил, мотоциклетных колес, и она ему так дорога, так хочется ее вот такой и запомнить, и она, угадав его мысль, говорит:

— Ты думаешь, я не смогла бы жить здесь, с тобой? Доить корову, топить печь, носить на коромысле воду, шубу тебе латать, пока ты бродишь в своих дремучих лесах. Думаешь, не смогла бы?

Они идут обратно по накатанной, уже белой дороге. Вмерзший тракторный болт как осколок стекла. Грузовик обгоняет их, за стеклом — малиновое, ухмыльнувшееся лицо шофера. Он несет молоко в кувшине. Оно дымится. Теперь ему кажется, что это из млечной белизны, из кувшина родился морозный утренний мир, белые поля, небеса, заиндевелая колокольня, незастывшая, в дымке река, далекий, стучащий трактор, распахивающий клином снега. И такое знанье о добром, истинном устройстве земли и неба! Так он любит ее! И как бы в продолжение этой любви, перенося ее на все сущее, он любит Куличиху, тетю Полю, петуха на насесте, белоснежную равнину с блестящими метелями. И, протянув ей кувшин, говорит:

— Выпей!

Стоит, улыбается, смотрит, как пьет она парное молоко на зимней дороге.

Теперь, спустя столько лет, оглядываясь в тот давнишний, исчезнувший год — из метелей, из весенних ручьев, из цветов, вспыхивавших на лугах и полянах, он спрашивает себя: что оно было, это скопившееся в нем ожидание, наивно открытая вера в свою неслучайность, в свой путь, в который он нацелен подобно каленой стреле, взведен на упругой, готовой метнуть тетиве? И не было при этом цели, которую он должен пронзить, а только светоносное, подобное небу будущее, где щедро уготованы ему вера, любовь.

Вернувшись в Москву из Троицкого, едва поселившись с Верой в их маленькой комнатке на Селезневке, где трамвай, поворачивая, сбрасывал с дуги синюю шелестящую искру, он уехал на целину, на жатву, объясняя Вере этот поспешный отъезд своим призванием историка, желанием понять свое время, свой народ, совершающий вмененный историей труд.

Его письма к ней, которые он спустя много лет перечитывал, найдя их в лаковой лаосской шкатулке с инкрустированной цаплей на крышке,— письма, наполненные молодой риторикой, не подкрепленной опытом умозрительностью, показались ему интересными именно этой на-

ивной свежестью, искренним изумлением перед возможностью видеть и знать.

Те длинные, идущие за Урал эшелоны с новыми тракторами, комбайнами, мерцавшими лаком и стеклами, в кумачах, транспарантах, напоминали ему парадное шествие. Он заражался их праздничностью, испытывал пьянящий восторг. А потом — зрелище огромной мастерской в открытой степи, где были собраны изувеченные в жатве машины с проломленными бортовинами, лопнувшими гусеницами, будто они расстреляны в упор из пушек, подорвались на минах. Усталые ремонтники в робах тыкали электродами, меняли узлы и детали, готовили машины к новой встрече с пшеницей, с этой изумрудной, шелковой степью, где наливается, зреет удар урожая. И он, глядя на изъеденное, сожженное хлебами железо, начинал догадываться о жестоких столкновениях природы и техники, о тяжком, непомерном труде человека, добывающего хлеб насущный.

Он поселился в длинном, сбитом из щитов общежитии в переполненной комнатке, где молодые крепкие парни, грубоватые на шутки и выходки, подобно ему учились водить комбайны, махали топорами на постройке коровника, латали прохудившуюся крышу зернохранилища, гоготали, пили вино, схватывались в коротких, быстро остывавших ссорах, смыкались тесно над общим котлом. Молдаванин, грузин, чуваш, белозубый полтавский хлопец, длинноносый, с тонкой улыбкой латыш, быстрый в движениях, похожий на кавалериста казах, — он попал в их пестрое братство, в их многоязычье, где от каждого лица проецировались образы других земель и народов, сочетавшихся в единую общую землю, в единый общий народ. И это единство во множестве вошло в него как знание о своем стомерном отечестве, из бессчетных дыханий слившемся в одно могучее, как эти степи, дыхание.

Погиб на дороге, рухнув в провал моста, их товарищ, татарин. Они несли его гроб на малое, за поселком, кладбище, менялись ношей в пути. Он смотрел, как к тесовым доскам припадает то раскосое лицо казаха, то худое, белобровое латыша. Готов был плакать, не стыдился близких слез. Проходили мимо мехдвора, где работал, крутил мотовило комбайн, мимо домов с выходившим навстречу людом. Сквозь горе, подставляя плечо под гроб, не умом, а сердцем, всей своей болью чувствовал: они — едины, они — одно. В гульбе, в трудах или в горе они — единый народ, одна, на шестой части суши, артель.

Написал ей об этом письмо. Вложил в него вырезку из местной газеты, свой первый напечатанный очерк, кинув в конверт колосок. В ответ она прислала ему рисунок: себя, сидящую у окна, за окошком трамвай, на столе колосок.

Целинная жатва, единственная в его жизни... Хлеба созревали, давили, теснили дороги, тревожили, будили ночами своей безымянной могучей силой, своим белым в ночи колыханием. Он выходил по утрам на бугор, чувствовал счастливым, страшащимся сердцем веющую из степи непомерную мощь, с которой ему предстояло сразиться.

Первый выход в поле. Красные, с крутящимися мотовилами, похожие на самолеты комбайны тронули ниву, ударили железом в белое стекло, надкололи. Закружили над нивой красной жужжащей эскадрильей, окутываясь стрекотом, блеском, вываливая за хвостами белые взрывы соломы. Укладывали в грузовики желтые, литые слитки пшеницы, и машины, отяжелев от зерна, уезжали на ток. Ему на мостике, под матерчатым тентом, казалось: из-под брезента, из кузова, высвечивают золотые полосы света, и грузовик уносится, охваченный сиянием.

Первые дни работы от синей зари до малинового вечернего солнца. Щедрая трата молодых непочатых сил, когда в обед сходились в круг, гремели ложками, подмигивали, подшучивали, успевали схватиться в короткой возне, пихнуть кулаком соседа. Разбегались к комбайнам

с удалыми пшеничными лицами наездники на грохочущих красных махинах.

И первая усталость, когда хлеба все вставали и вставали перед стригущим железом. Солнце как огромный, опущенный в степь электрод. Злые вспышки, хруст, скрип на зубах, кислая из фляги вода. Казалось, нива, едва он по ней проезжал, вновь зарастала хлебом, и он терял счет пространству и времени. Молчаливые, утомленные, сходились к котлу. Он заметил, как покраснели, слезятся глаза у казаха. Как усох, покрылся черной щетиной грузин, двигал худым кадыком под отвисшим воротом свитера.

Ломались мотовила и зубья, изъеденные шелком хлеба. Сообща ремонтировались, подползая под железное брюхо, касаясь друг друга кулаками, плечами, звеня инструментом, возвращая машину в жатву. Приходили с работы и падали в короткое, на три часа забытье. И во сне продолжали нестись колосья, мерцали стрекозы, взрывались копны соломы. Он уже не писал ей письма, некогда было писать.

Для него, горожанина, не привыкшего к тяжелой работе, настал момент изможденния, когда утром не захотелось вставать. Навалилась усталость, желание, чтоб его оставили здесь, на железной койке, как некогда мать по его капризу и жалобе оставляла дома, позволяла пропускать занятия в школе. Но он одолел в себе слабость, бросился догонять комбайнеров, черных, худых, шаркающих кирзой по стерне.

Пошли вдруг дожди. Под низкими, текущими с севера тучами пронеслись и исчезли стада легконогих сайгаков, и за ними, словно догоняя их, повалил белый снег. Неубранная пшеничная степь замутилась метелью, и комбайн молотил белые хлопья, и грузин комбайнер под сорванным тентом, весь в снегу, дыша паром, был как снеговик с угольными глазами.

Ранние сумерки. Каменно-синяя, придавившая степь заря. Срезанные валки пшеницы запаяны в лед, в непрерывный хрупко-блестящий желоб с вмороженными колосьями, васильками, стрекозами. Впереди по валку, разминая его и раскалывая, катит грузовик, и шофер из Полтавы высовывается из кабины своим закопченным, похожим на печной зев лицом, что-то кричит. А он не слышит сквозь вой шкивов, сидит за штурвалом, в обледенелой на спине телогрейке, ломая движеньем лопаток негнущийся железный доспех. И такая усталость, такая немочь, что впору бросить это дикое, не имеющее скончания поле, каменную, неживую зарю, непосильный, не его, не ему предназначенный труд и уехать прочь — к свету, к теплу, к милым сердцу. И такая слабость души, чувство тщеты придуманного самому себе испытания!

И вдруг от зари, от седых переполненных снегом туч явилась ему она, его Вера. Присела рядом на мостик, обняла горячей рукой, поднесла к губам гулкий, парной кувшин...

Добили последний хлеб. Шли молчаливой гурьбой, оставив под дождем избитые, с прогнутыми бортами комбайны.

Глава вторая

На рассвете Кириллов уселся в машину, принял от жены дорожную сумку с припасами, обнял ее, не вставая с сиденья, поймав на себе всевидящий взгляд голоногого юркого портье.

— Возвращайся скорей! Чтоб все было хорошо! — торопилась она сказать. — Рубашки у тебя в целлофане. И там же платки.

Она вскользь, промахиваясь, коснулась губами его виска, и улыбка ее была беспомощной, а глаза знакомо-испуганными, умоляющими.

— Через неделю! — он нарочито браво и резко захлопнул дверцу, отсекая себя от нее. И облегченно, как бы на время о ней забывая, пустил машину, обращаясь всем своим существом и энергией в предстоящее дело. Видел в зеркальце, как, удаляясь, она смотрит на него,

скрывается, превращается в невидимый, следящий за ним неотступно луч, в котором ему двигаться, жить.

Он подъехал к дому Сом Кыта, позвонил в облезлую дверь запущенного двухэтажного здания с металлическими жалюзи на окошках. Должно быть, прежде это был магазин, еще сохранилась на фасаде полустертая вывеска. Открыл Сом Кыт. На мгновение удивился. Затем смутился. Мимолетное выражение недовольства проскользнуло на его смуглом лице. Видно было, что ему неприятно открывать чужому свой унылый, обнаженный быт, голые стены, квадратное, тускло освещенное торговое помещение, где среди неуютных шкафов и кроватей стоял мотоцикл, верстачок с инструментами и запасными частями,— полугараж, полужилье, в котором вынужден был обитать работник МИДа. Жена Сом Кыта, немолодая, с худым, робким лицом, укладывала саквояж. Замерла, подняв на Кириллова глаза. И тот, извиняясь и кланяясь, не ступая дальше порога, вдруг почувствовал острое сходство между этими сборами и своими, недавними. Он сам и Вера, Сом Кыт и его жена, неустройство жилья, отсутствие в доме детей — все было неуловимо похоже.

— Дорогой Сом Кыт,— произнес Кириллов,— я только хотел убедиться, остались ли в силе наши планы.

— Я приеду к посольству через десять минут,— ответил Сом Кыт. Его жена виновато улыбалась Кириллову, будто о чем-то просила.

Кириллов загнал машину за ограду посольства, пустынного в этот утренний час. Передал ключи дежурному, пожелавшему счастливого пути. Направился на улицу, где в зеленой глянцевитой листве уже солнечно золотилось навершье пагоды, одной из немногих, восстановленных после погрома.

Хрустя и урча подкатила белая «тойота» с помятым, наспех выправленным и подновленным крылом. Сом Кыт распахнул створки в торце, и двое солдат, оставив на сиденьях автоматы и вороненую трубу гранатомета, гибко выпрыгнули на землю. Маленький мускулистый шофер тут же открыл капот, сунул в горячую глубину свои крепкие ловкие руки.

— Что-нибудь не в порядке? — как бы между прочим спросил Кириллов, сам же цепким взглядом осматривал машину, ее стертые, без протекторов шины, наспех замалеванный рубец на крыле.

Солдаты, молодые, в кофейной выглаженной униформе, улыбались Кириллову, радуясь предстоящей поездке, воле без муштры и казармы.

— Все в порядке,— успокоил его шофер.— Аккумулятор старый, слабый. А остальное в порядке.

— Тогда едем,— сказал Кириллов, передавая сумку солдатам, усаживаясь рядом с шофером, дружески кивая Сом Кыту.

Пномпень в золотистом солнце промелькнул за стеклами своими руинами, дворцами и пагодами. Меконг ударил бесшумной слепящей гладью. И синее пустое шоссе номер пять зашелестело под колесами их белоснежной машины.

Колеса шелестели лишь первые полчаса. Шоссе перестало быть синим и гладким, превратилось в рваную корку ломаного асфальта. Выбоины и колдобины шли непрерывно, словно трассу долбили снарядами. Машина билась, проваливалась в дыры с жестким хряском. Удары сквозь изношенные амортизаторы отдавались в черепе. Автоматы, труба гранатомета, липкая бочка с горючим подскакивали, колотили людей. Кириллов, боясь стиснуть челюсти, оглядывался на трясущихся, страдающих солдат, ждал очередного падения в яму. И только маленький скуластый шофер крутился, как вьюн, за рулем, пытался вписать «тойоту» в немыслимый, непрерывный зигзаг.

Они нагнали огромный разболтанный грузовик, ржавый и пятнистый, с поломанными бортами. В кузове тряслось заржавелое, в дырах сооружение, похожее на вытяжной шкаф. Пытались обогнать грузо-

вик, но медленная громада громыхала и виляла среди ямин, загораживая бортами шоссе, и не реагировала на гудки. Кириллов задыхался от жары и пыли, дымившей из-под грузовика. Не мог понять, куда и зачем движется по мертвой дороге доживающий век грузовик, везущий мертвый, отработанный хлам, не годный даже в мартен. Будто этот грузовик был послан ему из недавнего, уже миновавшего времени как напоминание о только что пережитой беде, о рухнувшей стране и хозяйстве.

Водитель чертыхался, сплевывал пыль, давил на сигнал, пытаясь сунуться в объезд на обочину. Но грузовик будто угадывал его намерения, тут же подставлял измызганный борт, сыпал на ветровое стекло сухую, рыхлую пыль. Один солдат не выдержал, что-то крикнул, оскалясь, открыл окошко, выставил автомат и дал в воздух долгую злую очередь. Грузовик остановился. «Тойота» обошла его, солдаты кричали, грозили кулаками, а из высокой кабины с расколотым стеклом смотрело усталое немолодое лицо с повязкой на лбу и рядом — два испуганных детских.

Кириллов глядел на дорогу, помнившую роскошные стремительные лимузины, безмятежные веселые лица богачей и туристов, мчавшихся развлекаться, подивиться на каменное чудо Ангкора, не ведавших, не прозревавших будущего. С тех пор по этой дороге, прогрызая асфальт, прокатились войска, простонали колонны изгнанников, прошаркали бесчисленные босые подошвы беженцев, погорельцев. Весь мятущийся, сорванный катастрофой народ прошел по этой дороге. И теперь он, Кириллов, движется в желобе людской беды и несчастья, упавшего на эти плодородные красноватые земли с зеленью пернатых, волнуемых ветром пальм, голубоватой, пленительно-чудной далью, не сравнимой ни с чем в своей нежности, красоте.

Он знал: мир во всей своей полноте сдвинут с былых основ, охвачен мучительной перестройкой и ломкой. Государства, выдираясь из-под рухнувших колониальных империй, складываются в новое мировое сообщество, в новое мировое хозяйство, внося в него каждое свой вклад и пай — ресурсами, уменьями, знаниями, неповторимостью национальных культур. Он верил: это медленно возводимое здание встанет в грядущем мире. Но любой просчет, любая деформация плана, любая злая диверсия оборачиваются крушением конструкций, обвалом возводимого свода. Он склонен был объяснять катастрофу страны и народа невежеством торопливых политиков, извращением социальных идей, мощным давлением извне сил, желавших превратить Кампучию в плацдарм войны и экспансии, в источник дарового сырья. Сочетание примитивной воли одних и целенаправленно-подрывной других развалило часть мирового здания у этого юго-восточного, обращенного к океану фасада.

— Взгляните, — прервал его Сом Кыт, указывая сквозь пыльное стекло, — это каналы, прорытые по приказу Пол Пота. Он хотел здесь выращивать много риса, надеялся на большие урожаи. Здесь работало несколько тысяч людей, рыли руками, палками, большинство погибло. Но направление каналов было выбрано неправильно. Вода по ним так никогда и не пошла.

Кириллов смотрел на ровные, сужавшиеся к горизонту, расчертившие красноватую землю каналы. Их безжизненный марсианский чертеж, знакомый ему, виденный почти во всех провинциях, и был чертеж катастрофы.

— Здесь у нас запланирована остановка. Посещение кооператива Претьлуонг. — Машина, повинуясь указаниям Сом Кыта, оставила ухабы шоссе, съехала на пыльный проселок.

На растрескавшейся, без травинки, земле, рядом с осыпью ржаво-красного канала копошились люди. Долбили рытвины, взмахивали мотыгами, наклонялись, подымали, несли что-то круглое, похожее на кочаны или тыквы. Тут же белели груды этих округлых, извлеченных

из земли плодов, и Кириллов гадал, что за неведомую агротехнику он наблюдает, что за редкий, неизвестный плод собирают крестьяне на этих безводных, с виду бесплодных почвах.

— Это что за культура? — поинтересовался он у Сом Кыта.

Но тот не ответил. Машина встала. Они вышли, двинулись по растрескавшейся твердой корке к работающим. Крестьяне, опустив мотыги, смотрели, как они подходят. Кириллов ступал по хрустящему грунту, вглядываясь в белые, аккуратно-округлые кучи, напрягая, расширяя зрачки, еще не веря, еще боясь ужаснуться и уже ужасаясь, столбенея, угадывая в округлых, костяного цвета шарах черепа, многоокие, с темными глазными провалами, с блеском хохочущих ртов. Одинаковые, словно калиброванные, устрашающие своим обилием, веселостью, неправдоподобной, не свойственной смерти свежестью белых зубов.

— Что это, что это? И здесь они тоже?..— тянулся он к Сом Кыту, но тот шел, не отвечая. Оглянулся, пропуская мимо девочку с худенькой шеей, несущую в руках череп. Она держала его бережно, как кувшин, донесла, положила с легким костяным стуком на груду, поправила, нацелив глазницу в ту же сторону, что и другие.

— Пол Пот,— сдавленно сказал Сом Кыт.— Место казни. Могилы...

Сутулый, в обвислой одежде крестьянин, руководивший работой, опустил к ступням перепачканную кирку, пояснил:

— Мы пришли сюда рыть водоемы перед началом больших дождей. Хотели использовать эту пустошь под посевы. Начали копать и сразу натолкнулись на это. Сначала одна могила, потом другая, потом третья, десятая. Наверное, все поле в таких могилах. Мы уже выкопали триста голов и все еще продолжаем их находить.

— Как это все случилось? Кем они были? — Кириллов смотрел на хохочущие черепа, пытаясь домыслить исчезнувшие лица, угадать имена. Над ними стекленел и струился воздух.— Как их убили? — спрашивал он, ожидая услышать одну из бесчисленных, повторяемых многократно историй, звучавших, как жуткое преданье.

— Не знаю,— ответил крестьянин.— Нас здесь не было в это время. Всю нашу общину угнали на север. Там мы корчевали джунгли, расчищали поля под посевы. Но я видел, как убивали наших людей. Их ставили вот так,— он чертил киркой линию,— голова к голове. Приковывали к железному пруту и вели. Перед вырытой ямой стоял охранник. В руках он держал мотыгу. Бил в затылок переднего, тот падал, его место занимал второй. Он тоже получал удар мотыгой в затылок, тоже падал. Наступала очередь третьего. И так удар за ударом, пока охранник не уставал. Его сменял другой. На моих глазах убили так восемьдесят или сто человек.

— За что? — спросил Кириллов.

— Ни за что. На всех не хватало еды.

— А что же вы теперь...— оглядывался он на стекленеющий воздух.— Что теперь собираетесь с этим делать?

— Хотим оставить их так, у дороги. Чтобы люди видели.— Крестьянин поклонился, отошел, застучал киркой о землю, отзывавшуюся костяным биллиардным звучанием.

Кириллов, страшась, почти на носках, ступал по растрескавшейся земле, бывшей недавно человеческой плотью. Заглядывал в открытые ямы, где белели россыпи костей, темнело тряпье. Над могилами дрожал выпущенный на свет тяжелый пар, и было трудно дышать. Вся окрестность текла и струилась, словно тут еще носились безгласно тысячи прозрачных, излетевших к небу душ.

Сом Кыт склонился над грудой голов, побледнел, съежился, усох. Касался черепов медленной напряженной рукой, словно гладил их и ласкал. И Кириллову казались страшными эти необъяснимые прикосновения. Он боялся смотреть в его сторону.

«Где я-то был в то время, когда это случилось? — старался он вспомнить, перешагивая ржавый железный прут с приваренными коль-

цами, в которые, как в браслеты, вдевались запястья казнимых.— Ну конечно, Москва, снегопад, вечернее миганье Садовой, белая тень Андрониковского монастыря. У нас гости. Вера, нервно-радостная и радушная, ставит на стол разносолы. Зажигает свои любимые красновитые свечи. Мы пьем, едим. Легкомысленные шутки, смешки. Остроумный злой анекдотик. Или едкая сплетня. Или, напротив, философский экспромт. Какой-нибудь изысканный интеллектуальный этюд, в который каждый по мере сил вкладывает свою долю. И поздние проводы, поцелуи. Набегающий зеленый глазок такси. И мы, усталые, идем с ней вдвоем, и я держу ее под руку... А в это время здесь, на безвестной утренней пустоши, они шли к своей яме, склоняя обреченные черноволосые головы, отдавая себя под тупые удары железа, и их палачи, утомившись, отдыхали, усевшись на землю, а они обреченно ждали, когда те отдохнут... Как искупить их смерть? Как искупить мое, одновременное с ними, благополучное пребывание в мире? Истребить палачей? Воскурить дымы алтарей? Поставить обелиск у дороги? Или великой любовью, немедленным, не терпящим отлагательства поступком помочь оставшимся жить, вот этим крестьянам, их детям? Заслонить их собою? Но как?»

Чувство вины, сострадание, его потрясенный дух требовали немедленного, конкретного действия. Но кругом голубели волнистые дали, блестели купы кокосовых пальм, темнели склоненные, изнуренные крестьянские лица. Девочка с худой шеей проносила мимо костяной шар.

Неслышно подошел Сом Кыт, бледный, бескровный.

— Кооператив рядом. Нас ждут,— сказал он чуть слышно.

Они повернули к машине.

Их принимал председатель кооператива. Миех Сирейрит — представил его Сом Кыт. Их привели в прохладную сумеречную хижину, поставленную на высоких сваях, близко к шелестящим вершинам пальм. Сквозь гладкий, словно пластмассовый пол, набранный из расщепленных пальмовых пластин, веяли свежие сквознячки, пахло близкой скотиной, душистым домашним дымом, как пахнут все крестьянские земные жилища. Так пахло и в Троицком, подумал он мимолетно.

Женщины, стуча тугими пятками, принесли в мешковине, вывалили на пол груду кокосов, зеленых, тяжелых, только что выломанных из пальмовых гнезд. Женщины улыбались, поглядывали на приезжих, большими ножами ловко, до белой мякоти, отсекали зеленые маковки орехов, будто откупоривали, открывали крышки, просекали маленькие отверстия, ставили перед гостями, воткнув в орех соломинку. Кириллов благодарно, с наслаждением тянул сладковатый прохладный сок, смачивал холодной струйкой иссохшие губы, язык. Поглаживал зеленый, похожий на тяжелую молочную кружку орех.

— В нашем селе...— председатель чуть прикрыл глаза, выговаривал слова медленно и спокойно, словно вспоминал.— В нашем селе раньше было пять тысяч жителей. При Пол Поте нас всех погнали на север, в болота, в джунгли. Не позволили взять с собой ни скот, ни одежду. Разлучили семьи, отделили мужчин от женщин, жен от мужей, и два года мы валили деревья, вырывали вручную пни, копали канавы, отводя болотную воду, пахали землю, впрягаясь вместо волов, сеяли рис и лишь издали, во время работы, наблюдали за своими близкими. Когда Пол Пота прогнали, мы вернулись сюда. Только половина людей вернулась. Наши дома сгорели, скот пропал, поля заросли лесом. Двести тридцать пять вдов, триста восемь сирот живут среди нас. Половина наших людей умерли от голода, от малярии или были просто убиты.

Он рассказывал свою повесть тихо, спокойно, словно летописец, словно не о себе, а читал какой-то древний свиток о давнишней постигшей его предков беде, от которой к ним, ныне живущим, дошел лишь пергаментный манускрипт.

— Государство как могло оказывало нам помощь. Дало рис для семян, одеяла, кровати, немного денег, чтоб мы могли купить инвентарь, несколько пар буйволов. Мы первым делом построили приют для сирот, больницу для хворых и раненых. Сообща поставили жилища, распахали наши заросшие земли, собрали первый, спасший нас от голода урожай. Сейчас мы вам покажем, у нас есть дома, есть птица, есть немного волов и буйволов, своя школа, свой учитель. Мы стараемся дать работу тем, кто лишился кормильца. Стараемся, чтобы в наших людях исчезли уныние и страх, потому что страх и уныние — это болезнь, грозящая смертью. Но многие из наших людей все еще болеют и мучаются.

Он был не стар, почти моложав на вид. Но глядя на его сухое, желтоватое, заострившееся во всех чертах лицо, Кириллов разглядел в нем и великое утомление, иссушившее кожу до последней кровинки, и великое, скопившееся под ве́ками горе, которое он не желал обнаруживать перед чужими, и великие бережение и заботу, положившие на его лоб перекрестие из глубоких морщин. Заботу о попавшей в беду общине, готовой умереть и исчезнуть, бережение, и мудрость, и волю вождя и ревнителя, ведущего свой народ сквозь погибель к спасению.

— Нам сообщили с посланцем, что в нашу деревню едут высокие гости,— председатель приоткрыл веки, и взгляд его был спокоен и прост.— Мы готовы показать нашему другу,— он чуть поклонился Кириллову,— все, что он пожелает увидеть. Если гости отдохнули немного, мы можем начать осмотр.

Они шли мимо взорванной пагоды, древнего длинного храма, превращенного в глыбы руин, с остатками игольчатых башенок, осыпавшихся, размываемых дождями фресок. Кириллов смотрел на маленьких будд с отбитыми руками, отколотыми носами, сидящих в терпеливых смиренных позах, напоминая больных на приеме в травматологическом пункте. Перешагивал каменные красно-золотые обломки, с которых смотрели фрагменты лиц — то длинный карий глаз, не утративший всевидящей силы, то розовый, в мягкой улыбке рот. Остатки стен с выпуклыми драконьими и львиными мордами были иссечены автоматами, продырявлены залпами пушек. Должно быть, храм с его толстой кладкой и амбразурами служил опорной позицией и во время боя был атакован, а затем, после взятия, разрушен зарядами тола. В его расколотой, открытой небу скорлупе наспех, из разломанных плит, соорудили алтарь. Маленький Будда, склеенный, с белыми швами на улыбающемся лице, сидел среди курящихся палочек. Перед алтарем вместо жертвенных чаш стояли две латунные артиллерийские гильзы с букетиками вялых цветов. И вид этих гильз с маркировкой калибра, принесших погибель храму и поставленных — в неведении зла — на алтарь, поразил Кириллова.

— Они ворвались сюда и перебили монахов,— говорил председатель, тихо кивая на пагоду, чью позолоту, лазурь, опрокинутые в траву, чтил еще его прадед.— Здесь раньше жило сорок бонз. Теперь у нас только один. Мы встретили его случайно на дороге и пригласили к себе.

Они приблизились к деревянному, на столбах, навесу, где рядами стояли самодельные ткацкие станы. Женщины, похожие друг на друга своими позами, монотонными движениями рук, остановившимися на мелькании нитей зорко-слепыми глазами, ткали многоцветные полосатые полотнища, медленно льющиеся на землю сквозь деревянные части станков.

— Это все вдовы,— тихо пояснял председатель.— Они не могут заработать на хлеб тяжелым трудом в поле. Ткани мы отвозим на рынок, и их дети не голодают.

Тихо падали на серый земляной пол красные, черные, желтые полосы. Кириллову казалось: вдовы, еще молодые и женственные, вплетают в разноцветные нити свою тоску, одиночество, и тот, кто на-

денет одежды, сшитые из этих материй, вдруг почувствует острый ожог.

Его провели в просторное, крытое пальмовыми листьями помещение, где стояли железные, похожие на клетки кровати с тонкими, не скрывавшими сеток циновками. Множество детей, больших и малых, сидело на этих кроватях. Они держали на коленях миски, ловкими, быстрыми щепотками хватали и ели рис, при появлении посторонних разом встали, воззрились чернильными, расширенными, не испуганными, а вопрошающими глазами. В этих глазах среди живого свежего блеска, детского любопытства, лукавства, готовности бежать и смеяться оставалось потаенное отражение боли и муки, того, что миновало, ушло и унесло с собой образы гибнущих близких.

— Их было очень трудно учить,— говорил председатель.— Они не понимали, что им говорят. Не хотели гулять и играть, а сидели здесь целыми днями. Сейчас они приходят сюда только поесть.

Они шли по селу мимо хижин, стараясь держаться в прохладе кокосовых пальм. Дома, сколоченные наспех из старых, кое-где обгорелых досок, были подняты на высокие сваи. Под ними, в тени, полуголые мужчины чинили деревянные бороны, сохи, смазывали дегтем двуколки. Кириллов жадно подмечал все, что говорило о продолжении жизни. Видел: здесь, в лачугах, среди дыма очагов, стука молотков, живет больное, израненное племя. Еще недавно оно колебалось на пограничной, предельной черте, стремясь на ней удержаться, не упасть, одолеть свою немощь, ожить и воскреснуть. Одолело, вернулось к жизни. Это сражение за жизнь отражалось на лице председателя, во взглядах двух мускулистых мужчин, перетаскивавших на руках изогнутую соху. Кириллов чувствовал: роковая черта медленно, в великих усилиях сдвигается в сторону жизни. Прокричал во дворе петух. Выкатила из проулка, застучала тяжелыми ободами двуколка, и возница им поклонился, и волы, качая складчатыми отвислыми шеями, окатили их жарким запахом пота. Село готовилось к севу. За домами, где начинались поля, в стекленеющем сухом воздухе люди копали водоемы — накопители для скорых ливней. В пруду, в темно-маслянистой, как нефть, воде спасались от зноя буйволы, выставив фиолетовые плоские спины, громадные полумесяцы запрокинутых рифленых рогов.

Они приблизились к облезлому двухэтажному дому, над которым в зелени пальм струился, щелкал на ветру красный двухвостый змей, праздничное предновогоднее украшение из шумного, блестящего шелка.

— Здесь мы храним семена для посева,— сказал председатель, ступая под навес, подымая голову к пролому в кровле.— А это,— он указал на дыру,— это упала американская бомба, еще давно, когда они нас бомбили. Не взорвалась, а только пробила крышу.

В помещении на чистом, подметенном полу стояли весы. Два крестьянина, взяв за углы дерюгу, бережно опускали на весы тюк риса. Весовщица двигала гирьками, старалась поймать драгоценное, ускользающее равновесие. Учетчик писал в тетради. Горстка риса, несколько зернышек, просыпалась на пол, и учетчик быстро, цепко, словно птица клювом, сощипал с пола зерна, кинул их обратно в тюк.

Кириллов смотрел на куль, чувствовал сквозь мешковину незримую, но близкую, дышащую белизну риса. Ему казалось: на этих драгоценных зернах, пронесенных сквозь бомбежки «летающих крепостей», пожарища деревень, избиения землепашцев, на этих зернах тончайшим резцом записаны все обиды и беды, нанесенные народу. Но тем же резцом, той же искусной рукой начертан на зернах тайный рецепт исцеления. Брошенные в землю, они оплетут своими корнями могилы, уловят в легкие подземные сети все осколки и упавшие пули, превратят былую боль и беду в хлеб насущный, в грядущие неистребимые урожаи.

Его окружили крестьяне, и он расспрашивал председателя, учетчика, смуглых внимательных земледельцев о пахотных землях, о плодородии почв, о видах на урожай, о количестве рук и ртов, о тягловой силе и сохах. Он старался понять, как далеко отодвинулся голод, что неотложно нужно хозяйству, чтобы рис, пополнив запасы семян, накормив общину, пошел в города. Он думал о поставках техники, о тракторах, в которых так нуждался крестьянский подорванный мир, о новых плодоносных сортах, способных здесь, в благодатном для злаков климате, трижды в год давать урожай, о грядущем превращении полупервобытных лоскутных наделов в житницу азиатского риса.

Он вдруг вспомнил плантации под Владивостоком на Ханке, зеркальные водяные квадраты, над которыми летал самолет, сеял с воздуха рис, а осенью разлапистые, на гусеницах, комбайны ходили по слякоти, оставляя на черной земле горы белоснежной соломы.

Они шли по селу, и в конце проулка Кириллов увидел тесно сдвинутую толпу. Подумал, что это митинг или богослужение. Люди, заметив председателя, расступились. На земле, в тени пальмы, на рассыпанной белой соломе лежала буйволица с огромным, вздутым горой животом, с бугрящимся в судороге боком. Запрокинула слезную глазастую морду, прижала уши. К рогам были подвешаны маленькие бренчащие колокольчики.

— Будет прибавление стада,— сказал председатель, и лицо его, скупое и сдержанное, осветилось быстрой, короткой улыбкой.

Люди, окружавшие телившуюся буйволицу, помогали ей чем могли. Когда она начинала дышать, вываливая язык, открывая желтые зубы, переводя дыхание в тягучий, страдающий, пересыпанный звоном бубенцов рев, женщины вместе с ней начинали стонать, причитать, словно брали на себя ее муки. Когда судорога сжимала ее мышцы, катилась под кожей волной боли, мужчины напрягали плечи и бицепсы, словно отдавали ей свою мощь. Девочка с тонкой шеей, та, что носила на поле страшную мертвую ношу, была теперь здесь, держала над головой буйволицы широкий лист, защищая ее от солнца. Мальчик, из тех, кто был в сиротском приюте, откликаясь на звон бубенцов, гремел раскрашенным бубном. Здесь были и другие сироты, убежавшие со своих железных кроватей, и вдовы, оставившие свои горькие деревянные станы. И старый выбритый бонза в желтой хламиде с голым костистым плечом, длиннопалыми худыми ногами. Все ждали рождения теленка, связывая с его появлением уверенность в своем воскрешении.

Кириллов суеверно, почти молясь, забывая, кто он и зачем приехал, сливался в ожидании с толпой, болел за них, за себя, желая им и себе единого, общего блага. Смотрел на рогатого зверя. Там, где розовели соски и струнно, в сухожилиях, натянулась нога, вдруг возникли голова теленка с розовым маленьким носом, слипшимися золотистыми ушами, крохотные костяные копытца. И вдруг, увеличиваясь, выскальзывая, выпадая на множество протянутых рук, родился теленок. И рев буйволицы, пересыпанный игрой бубенцов, слился с людским восхищенным гулом. Обнимались, пускались в пляс. Вдовы улыбались, охорашивались, оборачивались во все стороны. Сироты босоного топтались, норовя погладить теленка. Его положили на солому к голове буйволицы, и та, изможденная, умиленная, отражая столпившихся людей сиренево-темным, слезно блестящим глазом, лизнула теленка.

Председатель проводил их к машине. Положил на сиденье подарок — несколько зеленых кокосов.

Они пообедали в маленькой придорожной харчевне под открытым небом. Сидели за изрезанными щербатыми столами, пропитанными жиром и фруктовым соком. Наматывали на палочки нежные ворохи китайской лапши, отпивали из горячих чашек острый, переперченный красноватый отвар, похрустывая колечками лука. Солдаты штыками

раскупорили подаренные кокосы. Сок был сладок, охлаждал обожженный лапшой язык, а белая неспелая мякоть напоминала вкусом русский лесной орех. Солдаты, утолив голод, разрезвились, хохотали, подталкивали друг друга локтями, кидали обломками скорлупы в пальму.

Снова катили по дороге, напоминавшей нескончаемую трещину. Кириллов вглядывался в окрестные, появлявшиеся нечасто селения. У обочин глазели на их автомобиль дети, маленькие, голопузые, любопытные, много детей, недавно обильно народившихся. Словно семьи, поредевшие во время недавних мытарств, торопились восполнить убыль, множились, плодились, отгораживались от перенесенных несчастий новой, не ведавшей этих несчастий жизнью. И не было видно стариков, не вынесших тягот — долгих маршей, каторжных трудов, болезней. Их, стариков, чьим присутствием дорожит и гордится любой народ, думал Кириллов, создаст теперь только время, состарив ныне живущее поколение, накопив в старцах уроки, заветы, и тем вернет нации мудрость.

Машина вдруг встала. Шофер, огорченный, выскочил и полез под капот.

— Что стряслось? — спросил Кириллов.

— Подача топлива!

Шофер долго громыхал чем-то, ремонтировал. Захлопнул крышку, вернулся. Пытался завести — безуспешно.

— А теперь что? — опять спросил Кириллов.

— Аккумулятор пустой. Стартер не работает! — ответил блестевший от пота шофер.— Толкать надо! — и, кивнув солдатам, уселся за руль.

Солдаты налегли на пыльный торец, тяжело тронули упиравшуюся «тойоту». Сом Кыт, выставив вперед сухие руки, пришел им на помощь. Кириллов, выбрав рядом с ладонями Сом Кыта пустое, бархатное от пыли место, пристроился, надавил. Они вчетвером толкали машину, и Кириллов, видя свои белые руки рядом со смуглыми Сом Кыта, мельком всматривался в его близкое, нахмуренное в напряжении лицо, поразившее его недавно у сухого канала своей болезненной, пугающей бледностью. Сейчас оно снова было темно-коричневым, сдержанным, с твердыми от усилий скулами.

Двигатель застучал, заработал. Они снова катили по жаре, пропыленные, утомленные, ослепленные белым, равномерно жгущим солнцем, обдуваемые горячей струей ветра, приносившего запах душных болот и лесов.

Под вечер, после захода, по красной, как перец, пыли они въехали в Баттамбанг, одолев запруженный велосипедистами мост над зеленоватой недвижной рекой. В сумерках подкатили к двухэтажному, в маленьком парке, отелю с дергающейся неоновой вывеской. Шофер поставил под деревья машину, вылез, усталый, разминая затекшие ноги. Кириллов увидел под соседними купами точно такой же, как их, белый вездеход, но с синим клеймом ЮНИСЕФ.

— А это кто? — спросил он Сом Кыта.

— Я узнаю,— ответил, помедлив, тот.

Служитель, раскланявшись, принял от Сом Кыта бумаги, что-то записал в раскрытую книгу, отвел их наверх, в номера. Кириллову — отдельный, поменьше, а остальным — общий, с выходами на открытую, вдоль всего фасада галерею на уровне темных древесных крон.

Кириллов, чувствуя предельную усталость, рассеянно оглядывал грубо выбеленную комнату, деревянную некрашеную кровать, с четырьмя неструганными стояками, к которым была приторочена москитная сетка. Сломанный кондиционер, отсутствие в потолке вентилятора, не сулящие свежести сумерки — все увеличивало чувство усталости.

Ванна и умывальник бездействовали. Но под заржавелым душем стоял огромный глиняный чан с водой, в котором плавал железный таз.

Кириллов наклонился над чаном, слушая свое гулкое дыхание, легкий звяк о глину скользнувшего по воде тазика. Разделся, вымылся, стоя на кафельном нечистом полу, ополаскивая себя мутной водой, взятой, по-видимому, в реке.

Стало легче, вольней. Не вытираясь, разгуливал по номеру, чувствуя, как прохладно испаряется с тела вода. Побрился электробритвой, рассматривая свое сухое, с натянутой, запекшейся кожей лицо, светлые, скрывавшие седину волосы, невеселые, серые, вдруг горько сощурившиеся в отражении глаза.

Надел свежую рубашку, улавливая на ней легкий, сохранившийся запах утюга. Вышел на галерею и уселся за низкий столик, где уже стоял цветастый китайский термос и чашки. Пил бледно-зеленый теплый чай, наслаждаясь чистотой омытого, охлажденного тела.

Неслышно подошел Сом Кыт, выбритый, в свежих одеждах.

— Я отпустил солдат и шофера,— сказал он, присаживаясь. Кириллов налил ему из термоса чая.— У шофера здесь родственники, и они пошли к ним поужинать. Мы можем поужинать в ресторане у рынка. Здесь недалеко, и мы можем пройти пешком.— Он аккуратно, с кивком благодарности, пригубил из чашечки.— Вы просили узнать, чья машина внизу. Здесь остановилась итальянка, представительница ЮНИСЕФа. Приехала позавчера из Таиланда. Собирает сведения о потребностях и нуждах района с целью оказания помощи.

Кириллов всматривался в две одинаковые, белевшие рядом машины. И подумав, что пора наконец после переживаний первого дня ближе сойтись с Сом Кытом, предложил:

— Дорогой Сом Кыт, не хотите ли перед ужином выпить? У меня есть водка.

Но тот со сдержанным кивком благодарности отказался:

— Благодарю, я не пью.

Они двинулись пешком от отеля по темным горячим улицам. В домах светились открытые окна балконов, люди, отдыхая, смотрели на улицу. Лучились, перемигивались маслянистые коптилки торговцев, освещая то жареных на сковородке рыбин, то зеленые связки бананов. Фасады с лепниной и узорные решетки балконов, некогда нарядные и игривые, теперь обветшали, шелушились, были завешаны сохнущим бельем, вялыми, наподобие флагов, простынями. По невнятному совпадению запахов, желтоватых отсветов в окнах, лепных карнизов Кириллову показалось, что он находится в каком-то среднерусском летнем городке, быть может, Александрове или Касимове, и вот сейчас за углом увидит обвалившиеся торговые ряды с колоннадой, колокольню с остановившимися часами, ампирный особнячок, а в городском саду за штакетником дохнёт сквозь сирень наивно и страстно духовой оркестр. Но с балкона, разрушая иллюзию, прыснула визгливая азиатская музыка, в длинных окнах за деревьями зажелтели развешанные одежды буддийских бонз, и где-то рядом печально, сначала редко, а потом учащаясь, измельчаясь в коротких, торопящихся, тревожащих ударах, прозвенел монастырский гонг.

— Моя жена из Баттамбанга, — тихо и как-то внезапно сказал Сом Кыт, глядя на темную зелень куста, на решетку белого дома, и чувствовалось, что он что-то вспомнил, и вспомнил хорошее, и Кириллов был благодарен ему за приобщение к воспоминанию — к белизне проплывшего дома, к розовому, за оградой, кусту.

Из-за поворота с воем сирены, с миганием фиолетовых вспышек выскочили трескучие мотоциклы. Седоки в белых шлемах, в военной форме мчали во всю ширину улицы, тесня велосипедистов и пешеходов. За ними, слишком низко, словно на просевших рессорах, прошумел широкий, с хромированным радиатором «бьюик». Процессия промчалась, оставляя пыль и гарь, повернула в освещенную зелень увитых плющом ворот.

— Председатель народно-революционного комитета, — сказал Сом Кыт и добавил, как бы извиняясь, успокаивая Кириллова: — Я отпустил солдат, у них тут родственники и друзья, но в городе совершенно спокойно. Нам ничего не грозит.

Они вошли в ресторанчик с верандой над откосом, сбегавшим к темной реке. У стойки, из пестроты бутылок, бесшумно, с выражением готовности, возник хозяин. Провел их на веранду, в прохладу, забегая вперед, успевая смахнуть полотенцем со стола несуществующие крошки. И прежде чем залюбоваться мерцавшей рекой, Кириллов, отодвигая стул, заметил через столик белолицую темноволосую женщину, европейку, в белой кисейной рубашке, красивую в отдалении, с тонким сильным носом, пунцовым ртом, с ярко блеснувшими на него, Кириллова, глазами. Рядом с ней сидел кхмер в очках, что-то быстро ответил на ее беглый вопрос, должно быть, о нем, Кириллове. Кириллов чуть поклонился, и она, кивнув, белозубо улыбнулась в ответ.

— Как я понимаю, ЮНИСЕФ на этот раз представлен не просто синей эмблемой,— сказал он по-французски, принимая от хозяина карту заказов. Он выбрал себе стейк по-английски, пиво со льдом, передал карту Сом Кыту. Отмахивался от летящих из тьмы крылатых термитов, падавших обильно на стол. Хозяин снова махнул полотенцем, сбивая слюдяных насекомых. Там, куда он махнул, была темная ночная река, и женщина в черно-лиловых одеждах, еще темней, чем вода и трава, медленно входила в воду, приседала без плеска, охватывала свои черно-мерцающие плечи длинными руками, и было не видно, но угадывалось, как ткань, намокнув, приняла ее гибкие, округлые очертания.

— Как будет по-русски «вечер»? — спросил Сом Кыт, глядя на реку и на красноватые веретенные отражения на той стороне, поколебленные купающейся женщиной.

— Вы изучаете русский? — удивился Кириллов.

— Я изучаю немецкий, английский, испанский и русский.

— Так много языков одновременно? Ведь это, наверное, сложно?

— Я должен скорее их выучить. Когда кончится международная изоляция Кампучии, и ее признают все страны, и она займет свое место в ООН, я надеюсь получить место в каком-нибудь посольстве в Европе.

— А может быть, в Советском Союзе?

— Штат посольства в Советском Союзе и в социалистических странах укомплектован полностью. Но когда нас признает весь остальной мир, потребуется много знающих языки дипломатов.

— Какова же ваша первоначальная профессия, Сом Кыт? Как попали в МИД?

— Я преподавал историю в коллеже. После свержения Пол Пота в МИД набирали людей, знающих французский язык. Я знал французский язык. Так я попал в министерство.

И снова, как утром, когда он вошел в дом Сом Кыта, бездетный и тихий, и увидел беззащитное, умоляющее лицо женщины, ему опять почудилось некое сходство между ним и собой. Оба историки, изменили профессии, соединили свои усилия волею случая, двигавшего их из разных углов земли к этому тесному ресторанному столику.

Женщина медленно, словно грациозное водяное животное, колыхалась в ночной маслянистой реке, появлялась на красноватом волнуемом отражении. Итальянка за дальним столиком разговаривала со своим визави, чокнулась рюмкой и снова улыбнулась Кириллову.

— Дорогой Сом Кыт, — осторожно спросил Кириллов, — простите меня за вопрос. Я видел сегодня ваш дом, в котором не слышно детских голосов, как, впрочем, и в моем, бездетном... У вас есть дети?

И тот, чуть шевеля худой кистью, на которую, хрупко блестя крыльцами, сыпались слюдяные термиты, ответил:

— У нас было двое детей. Но они погибли. Нас разлучили. Жену погнали на северо-восток строить военную дорогу. Меня на север — пилить на болотах лес. А детей — младшему сыну было шесть лет, старшему двенадцать — куда-то сюда, на болота. Они умерли здесь, на пути в Баттамбанг, на прокладке каналов.

Кириллов молчал, чувствуя, как ноет, щемит где-то в глубине, под сердцем. Смотрел на смуглую руку Сом Кыта, по которой бежалили и скользили термиты, одевая ее мерцаньем. Тот резко стряхивал их, принимая от хозяина потную бутылку пива, миску с брусочками льда.

— А как будет по-русски «лед»? — спросил он Кириллова, наливая ему пива в стакан.

Они вернулись в отель с подмигивающей вывеской, вокруг которой роились мотыльки и термиты. Пожелали друг другу спокойной ночи. Кириллов направился было к себе, но спать не хотелось. Он выгнал из-под марлевого полога москитов, заправил кисею со всех сторон под тюфяк, вышел на галерею. Оранжевая, как буддийский монах, стояла над черными деревьями луна. Трещало, свистало в листве, на земле, в небесах несметное, незримое скопище, создавая своим равномерным, не имевшим направления и источника звуком иное пространство, геометрию ночного неправдоподобного мира.

Сквозь соседнюю полуоткрытую дверь он увидел лежащего под пологом Сом Кыта — полуголого, затушеванного кисеей, будто тот был в воде. Он читал, шевелил медлительными губами.

Кириллов двинулся по галерее мимо закрытых дверей, перед которыми стояли низкие столики, а на них отражали луну стальными крышками китайские термосы. В конце галереи сквозь черные ветви близких деревьев он увидел белую одежду, блеск бутылки, узнал лицо итальянки — белое, яркое в одной своей половине, обращенной к луне, с блестящим мерцающим глазом и темное, погруженное в лунную тень, с чуть видной искрой второго зрачка.

— Добрый вечер, — сказал он по-французски, не останавливаясь, а лишь замедляя шаг, готовый либо пройти мимо, либо откликнуться на приглашение присесть, оставляя женщине мгновение на выбор.

— Добрый вечер,— использовала она это мгновение. — Хотите выпить со мной?

— Интересно, что пьют путешественники из Европы после полуночи в странах Юго-Восточной Азии? — он присел на плетеный стул, наклонился к бутылке чинзано.

— Они пьют свою одинокую долю,— сказала она, и они рассмеялись дружелюбно и весело. Он назвался, налил обоим, выпил вино, всем своим видом показывая, как оно ему нравится, как он признателен ей за приглашение, за вино, за эту пустую веранду с оранжевой близкой луной.

— Меня зовут Лукреция Чикорелли, — сказала она, принимая его безмолвную благодарность. — Если вам интересно, я действую здесь от имени католического фонда в Париже. В прошлом месяце я побывала в Таиланде, а теперь вот здесь, в Кампучии. Я пыталась проехать к границе, но власти мне не позволили. Застряла здесь на несколько дней, завтра еду в Сисопхон, а потом возвращаюсь в Пномпень.

— Ужасные дороги, не правда ли? — он сочувствовал ее неудаче, ее трудной, объяснимой лишь одержимостью деятельности. Как бы вскользь, невзначай спросил: — Вы сказали — католический фонд? Простите, а кто его субсидирует? — Он знал, что подобные

фонды, озабоченные «кампучийской проблемой», как правило, субсидируются ЦРУ. Но хотелось услышать версию.

— Пожертвования, благотворительность, — сказала она. — Кое-что дает Ватикан. Наш фонд, если можно так выразиться, это фонд милосердия.

Давая ей понять, что расспросы не будут назойливы, не преступят известной черты, Кириллов закрыл на мгновение глаза.

— А что, — улыбнулась итальянка наивно и женственно, — что привело в такую даль вас? Вы — инженер? Военный? Какая-нибудь особая миссия?

— Да нет, никакой. Обычный журналист. Обычная журналистская миссия. Я еду в Сиемреап. Осмотреть Ангкор и Байон. Меня интересует состояние исторических памятников. Ведь многие при Пол Поте были разрушены. В таиландской печати то и дело появляются сообщения о том, что в районе Ангкора бои и часть барельефов и статуй пострадала. Это неправда. В Ангкоре спокойно. Я хочу осмотреть памятники, написать о работе реставраторов.

— И вы решили ехать в Сиемреап на машине? По такой ужасной дороге? Разве не нашлось самолета? — В ее улыбке был легкий упрек ему и за этот ответ, и за вопрос об источниках финансирования, легчайшая насмешка над ним.

— Самолет из Пномпеня летает не часто. Следующий обещали через неделю. Вот и пришлось машиной,— ответил он, как бы не замечая насмешки. И она, подобно ему, прикрыла на мгновенье глаза, успокаивая его, заверяя, что и ее расспросы не будут докучны и она не нарушит этикета, не испортит игры.

Он снова налил вино, отгоняя от рюмок, ее и своей, маленькие крылатые искры — на стол из тьмы на блеск стекла все сыпались и сыпались беззвучно слюдяные твари.

— Вы сказали, что были в Таиланде. В какой же форме и кому ваш фонд адресует помощь? — Бутылка была влажной снаружи, а вино прохладным, видно, лежало на льду. — Вы, как я понимаю, проводите здесь рекогносцировку... Я хотел сказать, проводите анализ и поиск, — спохватился он, как бы извиняясь за употребленное слово, исправляя двусмысленность.— Естественно, вам хочется знать, в какой форме и куда наиболее эффективно вложить ваши средства. Именно это я имел в виду. — Он знал: продовольственная помощь с Запада вместе с боеприпасами, и почти одними и теми же каналами, попадает в военные лагеря Пол Пота, размещенные вдоль границы в Таиланде. Вооруженные банды, проникающие в Кампучию, нуждаются и здесь в складах продовольствия и оружия.— По-видимому,— продолжал он, — нужно очень аккуратно и наверняка вкладывать ваши средства. Иначе, а это уже, увы, случалось, продовольствие может попасть в дурные руки. Оно может достаться бандитам, будет способствовать не целям милосердия, как вы говорите, а напротив — пролитию крови.

— Да, да, вы правы! — она слегка наклонилась к нему, ослепив на миг белизной лица, а затем ушла в тень, словно заслонилась от него, и он успел разглядеть выражение испуга, сменившееся выражением почти искренней боли. — Вы правы, определенные силы в Таиланде делают все, чтобы наши одежда, зерно, консервы не попали к этим несчастным беженцам. Дай бог если половина доходит. А ведь эти бедняки находятся на грани голодной смерти. Вы не представляете, как сильна в таиландских кругах коррупция. На Востоке она вообще всегда была необузданной. Помню, в Пномпене мы возмущались казнокрадством, царившим среди государственных служащих.

— Вы жили в Пномпене? Знаете язык?

— Я жила в Пномпене, знаю язык. У меня там было много друзей. Видимо, все погибли. Я так хочу подольше задержаться в Пномпене, но боюсь, мне не позволят.

Лицо ее открылось лунному свету, стало моложе, ярче, как бы выплыло из прежней исчезнувшей жизни, из другого, неведомого Кириллову Пномпеня — без руин, без кладбищ мертвых машин.

— Я так и не успела почувствовать, какая обстановка в Пномпене. — Словом «обстановка» она как бы обнаруживала интерес к человеку, обладающему недоступной ей информацией. — Интересно, как чувствует себя интеллигенция при новом режиме? Да и есть ли она вообще, эта интеллигенция, в нашем с вами европейском понимании?

Он видел, ее интересовало наличие в Пномпене кругов, вернее остатков кругов той интеллигенции, чьи корни уходили на Запад, в Париж, Нью-Йорк. Она была разгромлена, эта рафинированная, жадная до наслаждений прослойка, сошла на нет после крушения Лон Нола и явления «красных кхмеров». Ее остатки бежали в Европу или ушли в Таиланд, находятся на дотации Запада. Ссорятся, винят в поражении друг друга, деградируют на чужбине. Лучшая, наиболее жизнестойкая часть стремится вернуться на родину, способствовать ее возрождению. Отдельные реакционные ее группы с эфемерной военной структурой, вооруженные американским оружием, начинают входить в контакт со своими былыми губителями, заключают сделку с Пол Потом. Кириллов понимал итальянку, но не выдал своего понимания.

— Вы знаете, — сказал он, — интеллигенция есть, и ее все больше. Она казалась совсем уничтоженной, но зто не так. Многие, скрывая свою интеллигентность, рядились в простолюдинов. Теперь же, когда установилась стабильность, они понемногу обнаруживают свое истинное лицо. Оказывается, он не крестьянин, не подмастерье, а интеллигент. Появились учителя и чиновники, хотя по-прежнему не хватает врачей, инженеров. Но те, что есть, надо отдать им должное, работают с двойной нагрузкой. Что же касается власти, ее отношение к интеллигентам определяется их готовностью служить возрождению родины.

— Возрождению? О да! — Она благодарила за ответ, одновременно продолжая выспрашивать. — А как, скажите, обстоят дела со снабжением города? Верно ли, что по-прежнему нет резервов продовольствия? Что голод может вспыхнуть в любой момент, что возможны голодные волнения?

— Преувеличение! Про резервы не знаю, но рынок обилен. Мясо, рыба, птица — все что угодно! Хотя цены весьма высоки и доступны не всем. О голодных волнениях не может быть и речи. Муниципалитет нормирует продовольствие. Кроме того, он наделил жителей мелким скотом и птицей, и теперь — вам это, должно быть, трудно представить — в самом центре Пномпеня кричат петухи. Представляете, в районе Королевского дворца или Школы изящных искусств!

Она засмеялась, подняла изумленно брови, как бы представляя этот петушиный крик, продолжала расспрашивать:

— Я понимаю затруднения властей. Ну, положим, в столице в конце концов и удастся наладить регулярные поставки продуктов. Но в провинции? Вы сами могли убедиться, в каком состоянии дороги, мосты, связь. Вся инфраструктура разрушена. Нет складов, нет холодильников. Хотя — вы не знаете? — железная дорога Пномпень — Баттамбанг как будто действует? По ней иногда все-таки следуют поезда?

— Право, не знаю, — ответил Кириллов. — Это не моя забота. Моя забота — барельефы Ангкора, — и, желая переменить разговор, спросил: — А вы, наверное, бывали в свое время в Ангкоре?

И внезапно, срываясь из области умолчаний, уловок, оскальзываясь на тонкой невидимой грани, падая в свою усталость, женское одиночество, в разрушенное, истребленное прошлое, она яростно, зло сказала:

— В свое время? Да, в мое время я бывала везде! Я видела эту страну процветающей и счастливой! Конечно, вы скажете — и при Сиануке были казни, были жестокости. Но это пустяк. Он не казнил миллионами! У меня была прекрасная вилла, замечательные друзья! Я была счастлива! Я любила Камбоджу и кхмеров, их искусство, их веру. Я сочувствовала их стремлению к национальному возрождению, понимала их усилия, была готова им помогать! Быть может, Сиануку следовало бы уничтожать не сотни, а тысячи, тогда бы остались жить миллионы! Казалось, совсем недавно здесь, в Баттамбанге, у нас был праздник. Профессор Иенг Сисапон подарил мне серебряный буддийский сосуд. Его жена, танцовщица, танцевала ритуальный танец, осыпала нас лепестками роз. А сегодня мы разойдемся с вами по номерам без кондиционеров, без капли воды в кранах, и под пологом у вас, как бы вы ни старались, уже скопились москиты, эти ужасные твари!

Она прижала ладони к вискам, глаза ее блестели уже не злостью, не яростью, а слезами:

— Боже мой, боже мой! Мы с вами два европейца, два белых человека, мужчина и женщина, встретились бог знает где, в самом пекле Азии! На тысячу километров вокруг нет людей, способных понять вас, меня! Понять наши мысли, проблемы! А мы с вами вынуждены заниматься бог знает чем, говорить друг с другом бог знает как и о чем!

Она вдруг быстро, сильно положила свою ладонь на его руку, потянулась к нему, всматриваясь, дрожа слезным блеском, прелестная, беззащитная женщина с неведомой ему в прошлом судьбой, с непонятной нынешней жизнью, бросающей ее в джунгли, на разбитые дороги, в запущенные придорожные харчевни, среди выстрелов и насилий. Она смотрела на него мгновение, ожидая ответного порыва, но он молчал, и она отняла свою руку.

— Да, вы правы, пора! Спокойной ночи! — Она встала, пошла, высокая, в белых брюках, в белой кисейной рубашке, неся на спине чернильную живую волну волос. И Кириллов провожал ее как бы двойным, расслоившимся зрением: старался запомнить, понять услышанную от нее информацию и сострадал ей, винился, что не умел разгадать ее драму, еще одну в этой истерзанной, охваченной борьбой стране.

Он лежал под пологом без сна, улавливая сквозь марлю чуть слышное дуновение прохлады, окруженный волнистым свистом, достигавшим пронзительной громогласной вершины и вдруг смолкавшим. Думал: рядом за стеной не спит Сом Кыт, а через несколько номеров под такой же москитной сеткой не спит итальянка. И все они погружены в этот свист насекомых, в лунную ночь, в единое, омывавшее их время, ежесекундно снимавшее с каждого тончайший слой жизни. И это роднящее их исчезновение, казалось бы единственно важное, толкавшее их всех в одну сторону — друг к другу, а потом в никуда, даже оно не в силах одолеть отчужденности, спокойной и дружелюбной, как у него с Сом Кытом, утонченной и нервной, основанной на недоверии, как с итальянкой. Лишь мгновенная вспышка, порыв, как этот недавний, на который он не ответил...

Он лежал, думал. Вот он, Кириллов, сорока лет от роду, журналист и ученый, всю жизнь решал две задачи. Одну, явную, предмет его научных изысканий, — о мире, включенном в борьбу и конфликты, в непрерывное движение истории. И другую — о себе, вовлеченном в проживание жизни, конечной, временной, которой суждено оборваться. Рожденье, взросление, мужание, потери любимых и близких, свет, дарованный ему в Троицком неизвестно за что. Любовь к жене, их бездетность. Их глубокая общность и связь, сочетавшая их с вещей, мучительной силой, связь, в которой — он этого не мог объяснить — присутствует их общая смерть. Он решал эти две задачи.

Одну о мире — умом, трудолюбием, волей, изучая огромную машину политики, в которой, наподобие редуктора, вращались маховики и колеса держав, искрили, скрипели и сталкивались, обкалывались в гранях, зубцах. И другую — той неясной, не имеющей названия сущностью, душой, где живут отчаянье, боль, изумление, ожидание гармонии, счастья, ожидание повторения чуда — того деревенского утра, в котором он некогда жил.

Он берет в сенцах свои красные широкие лыжи с припоями вчерашнего снега. Оглядывается на приоткрытую дверь в избу, где в сумерках усмехается, светится глазами, губами ее лицо. Чувствуя ее за спиной, сходит с крыльца. Ставит на сугроб, в старый накатанный след свои охотничьи, похожие на лодки лыжи. Устраивает мешок за спиной, где одиноко болтается колотушка клейма. Набирает поглубже воздух и падает, как в воду, в легкий счастливый бег, невесомый — из скрипов, скольжений, из коротких ожогов внезапной, срывающейся из-под лыжин метели.

Пробегает селом, отворачивая от мохнато-промороженной церкви, от колхозной конторы, где пышут дымками столпившиеся бригадирские «газики». Перескакивает через осевшую, заваленную сугробами изгородь, услышав, как хрястнул в глубине мерзлый кол. Шлепает плоско вверх по горе, на мгновенье прилипая к склону. Отдуваясь паром, входит под елки, где внизу — синие тени, беличий сор, а вверху — горячие гроздья шишек, легкие стуки невидимого в солнечном дыму дятла. Выскальзывает из-под елей на выпуклое, прекрасное поле, огромное под небесами, окаймленное бором, дорогами, пересыпанное слюдой лисьих следов. Несется на лыжах, почти не касаясь земли.

Замедляя бег, подкатывает к торчащим из-под наста сухим заиндевелым соцветьям. Огненный клин лыжи останавливается перед зонтичным стеблем, хрупким, пересыпанным легчайшей белой пудрой. Он восхищается, любуясь совершенством его строения, зажигая смещением зрачка красное, зеленое, золотое мерцанье. Цветок пережил недавнее лето, прилеты шмелей, куренье пыльцы, умер, но родился в другой, зимней, кристаллической жизни и теперь несет в своих легких конструкциях знание о морозных, малиновых восходах, блистающих черных ночах. Маленький беззвучный божок, к которому он подкатил на лыжах, чтобы поклониться ему, молить суеверно: пусть сбережет и его и Веру, сочетает их среди этих снегов и метелей.

Он скользит сквозь сухие, торчащие из-под снега соцветья. Наезжает на них, ломает с чуть слышным звоном. Удар лыжи в ломкий стебель. Сбитый иней, лишенный каркаса, еще хранит одно мгновенье контур цветка и осыпается мелким блеском. Лыжа переезжает поверженный, словно черным резцом начертанный стебель.

И вдруг из-под лыж — взрыв, удар, взвинченный снежный буран. И в этом размытом вихре возникает распластанное изображение зайца. Прижатые уши, растопыренные когтистые лапы, бугор лохматой спины. Зверь в прыжке оглянулся на него круглыми, не испуганными, а хохочущими глазами. А он, с колотящимся сердцем глядя на воронку в снегу, оставшуюся под красным полозом, успевает подумать, что и в зверином хохочущем лике, и в поле, и в недавнем серебристом цветке — во всем этом как-то живет ее лицо, любимое, бело-алое.

Он ломится напрямик сквозь плети орешника на гул голосов, на стуки и хрусты, на запах дыма. Поляна утоптана, в ворохах обрубленных сучьев — два сине-дымных бледных костра. Скрипит и лязгает близкий невидимый трактор. Мужики по двое обминают снег у берез, машут топорами, выкалывая из стволов желтые, как сливки, ломти. Враскоряку, приблизив к снегу красные жаркие лица, держат на весу бензопилы, погружают в комли их звенящие вихри. Вых-

ватывают вибрирующую зубчатую сталь, когда береза начинает крениться, и вот, зачерпывая из небес жидкий ковш синевы, она хлещет ударом по снегу, подпрыгивает и пружинит. И другие лесорубы ловко, весело подбегают к поверженному дереву, начинают стесывать сучья, блестя топорами, поругиваясь и покрикивая.

Лесники видят его, машут, подмигивают синими хмельными глазами. Их двое. Сергей Полунин из Троицкого, долговязый ходок, работник, себе на уме. Его новый, недавно поставленный дом, словно сбитый из яичных желтков, красуется в центре села, пахнет смолой, коровой, железом и смазкой упрятанного в сарай мотоцикла, блестящей сталью нержавеющей цепи, на которой рвется клыкастый жаркий кобель, когда красивая молодая хозяйка выносит дымную миску с похлебкой. Другой лесник, Одиноков Сашка, вечно в подпитии, растерзанный, на одной пуговице, с легким сорочьим скоком, балагур, матершинник, гуляка, пропадающий по неделям из дома, бражничающий по окрестным деревням, пешком, без собаки, по пороше, по следу и запаху находящий зайца, бьющий сквозь хмель без промаха из разболтанной, брызгающей во все стороны пламенем «тулки».

Оба рады его появлению. Зовут за собой, торопят достать клеймо. Заговорщически кивают на пильщиков, на лошадь в санях, где под соломой припрятана водка и домашнее сало.

Подходят к свежесрезанным пням, осыпанным опилками. Березы, расчлененные на дровины, снесены в высокие поленницы, стоящие словно срубы. Он извлекает клеймо, прицелясь, бьет, чеканя на пне звезду, чувствуя затихающий в пне удар.

— Рубль удар! — торопят его лесники. Он рад их понуканиям, артельному, на поляне, труду, в котором и ему теперь место.

Они обмеривают поленницы, принимают содеянную лесорубами работу. Бригадир, здоровенный белесый мордвин, складным метром ощупывает дровины, плутовато ухмыляется лесникам, округляя недостающие вершки. А он, махая клеймом, делает вид, что не замечает его плутовства, его копеечной выгоды.

Собираются все к саням, круто дыша паром, откладывая бензопилы, вгоняя в стволы топоры. Тракторист в мазутной робе отирает о снег масленые черные руки. Достают бутылки и сало, одинокий драгоценный стакан. Наливают, пускают по кругу. Задрав кадыки, выпивают, похоже вытираясь ладонью, быстро хмелея, заговаривая разом бестолково и радостно.

Он отказывается от водки, удаляется от их голосов и запахов, идет мимо трактора, уткнувшегося в сугроб, мимо лошади с рыжими глазами к костру. Костровище с пепельной жаркой начинкой протопило снег, разметало вокруг себя розоватые обгорелые веники.

В поваленной березе торчит топор, вонзив в ствол блестящий мысок, храня короткий взмах вогнавшего его лесоруба. Вовлекаясь в этот неисчезнувший жест, он выдергивает из ствола литой, по руке инструмент, обрубает сучья. Движется вдоль ствола от комля к вершине, отсекая белые, а потом темно-розовые ветки. И вдруг, подумав о ней, поджидающей его за лесами, испытал такое волнение и нежность, что прижал ледяной топор к горячей щеке, словно хотел в своей щедрости и любви оживить и согреть разящую сталь.

Оставил за собой вечереющую поляну с галдящими пильщиками. Вышел на гладкую, накатанную добела дорогу, в которой блестели золоченые стружки соломы, румянились на елях высокие шишки, тихо посвистывали, перелетали с ветки на ветку синицы.

Он шел по дороге, тянул за собой на веревочке лыжи, и они колыхались послушно, постукивали на ледышках. Не было усталости, каждый шаг был сильным, свободным. Не было и мыслей, а в душе жило только ощущение своей воли, молодости. Дорога, безлюдная, казалась бесконечной в обе стороны, и, идя по ней, проложенной кем-

то словно для него одного, он благодарно следил за крохотной перелетающей в вершинах птахой.

Его нагнал грузовик. Знакомый шофер затормозил, приглашая в кабину. Он хотел отказаться, продолжить свой одинокий путь, но передумал, согласился, не желая обидеть шофера. Сел не в кабину, а запрыгнул в обмороженный кузов, где лежал в ледяном обнаженном блеске лом. Встал, ударив по кабине ладонью.

Мелькали ели, жег, свистел ветер, выбивал из глаз длинные слезные искры. Грузовик выскочил из леса на гору, и он вдруг вознесся над огромной родной предвечерней далью, где мерцали в заре деревни, белели колокольни, стояли над речками ветлы. И в глубоком остановившемся вздохе, в счастливом перебое ставшего необъятным сердца он почувствовал, как вырастает до неба, исполненный силой и счастьем, обнимает весь мир, царит в нем, но не грозно, не властно, а ликующе: он есть и был в этом мире всегда, никуда не уйдет вовек, и смысл его бытия — в этом недвижном, из мощи и любви озарении.

Теперь, когда он думал о своей больше чем наполовину прожитой жизни, казавшейся прежде неповторимой, с единственной, только ему на роду записанной судьбой, он обнаруживал, что жизнь его своими основными чертами, своими поворотами и изломами схожа с жизнью остальных современников, несет в себе приметы послевоенного, мирного течения лет, когда целое поколение, потеряв на войне дедов, отцов, взросло, возмужало в благодатное, не ведающее бойни время. Наговорилось, налюбилось, надурачилось, нафрондировалось, насладилось трудами и праздностью, ученьем и битьем баклуш, напутешествовалось за Урал, за Дунай, в Африку и в крохотные русские городки, не тронутые переменами, белеющие церквами за лесами, за реками. На неповторимость его судьбы всеобщая жизнь страны, поколения отложилась общими для всех вехами. Так было с целиной. Так стало и с армией.

Он, гуманитарий, изучавший в университете историю, был призван ненадолго в армию, разлучился с женой, с Москвой, был ввергнут в новый суровый опыт, выводивший его молодой интеллект на предельные рубежи, связанные с пониманием хода всемирной истории, своего в ней места. Чем тяжелей, изнурительней — лопатой, топором, молотком — была его работа, тем ярче были вспышки прозрения, подвигавшие его разум навстречу грозным вопросам века.

Они жили в одноэтажной казарме, среди чахлых, начинавших желтеть лесов.

Ночь. Он дежурный. Ровный двухъярусный строй железных кроватей. Спящие лица солдат. Мир в копошащихся сонных звездах придвинут к грозной черте. И он своими обветренными, почерневшими от железа руками, своим любящим сердцем охраняет мир от беды. Встает между миром и гибелью. Заслоняет собою мать, Веру, ту темную, с синей сосулькой арку, где целовал ее в свой короткий приезд в Москву, красно-белый фасад Третьяковки, куда когда-то вела его мать.

На болоте в торфяниках случился пожар. Пламя спалило сухие травы, смолистое сосновое мелколесье. Прогрызло в торфе красные дыры, ушло в глубину, стало глодать подземные пласты, двигаясь, вырываясь огненными протуберанцами. Их бросили на тушение пожара. Бульдозер выворачивал тяжелые дымные корни, заваливал огнедышащие ямы. Водитель, очумевший от дыма, кашлял, пил из ведра холодную воду. Они с лопатами двигались на стену огня, отсекая его от сухой луговины, где в дощатых сараях лежало имущество подразделения. Офицер направлял их хрупкую цепь, и он, подчиняясь приказу, вытирая едкие слезы, отплевываясь от песка и праха, шел, как в атаку, страшась, одолевая свой страх, обегая красные

раскаленные проруби, думая, что вот так же бежал в атаку отец. Погасили пожар. Ком горящего торфа обжег ему спину. Он лежал с волдырем в лазарете, мучался от боли, бессонницы. Писал жене бесконечное, на многих страницах письмо. Вспоминал, умолял, мечтал о близкой их встрече, переводя свою боль в нежность, мольбу. Она откликнулась, появилась, невидимая, в палате, присела у его изголовья, положила на ожог белый снег с той давнишней лесной поляны.

Глава третья

Утром он проснулся от рокота двигателя, голосов, смеха во дворе отеля. Не одеваясь, выглянул на галерею. Итальянка в дорожном комбинезоне усаживалась в машину. Бодрая, энергичная, с алыми смеющимися губами, прощалась с кампучийцем в очках, готовая продолжать свой путь, свой неясный Кириллову труд. Захлопнула белую дверцу с синей эмблемой, прикрывшись ею, как щитом. «Тойота» мягко покатила на улицу, затормозив у ворот, пропуская шеренгу солдат.

Появился Сом Кыт, сдержанный, аккуратно одетый, и Кириллов был рад его появлению. Вспомнил вчерашний разговор в ресторане, растерялся, не умея выбрать верный, свободный от сострадания тон. И по-русски сказал:

— Доброе утро.

Сом Кыт улыбнулся темными лиловыми губами с едва заметной, померещившейся благодарностью, ответил по-русски:

— Доброе утро.

Им предстояло сегодня несколько визитов и встреч. Первым было посещение недавно пущенного кирпичного заводика, почти кустарного «первенца баттамбангской индустрии», как пошутил про себя Кириллов, отлично понимая при этом, сколь важен для разрушенной экономики края сам этот первый пуск.

Сом Кыт достал клеенчатую тетрадь, куда был занесен график встреч. Рассказал Кириллову биографию директора завода Совангсона, с которым предстояла беседа. Инженер, обучавшийся прежде в Париже, он избежал истребления, скрыв свою профессию и истинное имя. Назвавшись простым ремесленником, работал на рубке леса и выжил. После крушения полпотовского режима сам явился к новым властям, предложил свои услуги. Ему поручили восстановление кирпичного производства, ибо жилища, больницы, школы лежали в развалинах и кирпич ценился, как хлеб. Совангсон, еще дистрофик после каторги, еще с приступами лихорадки, собрал голодных, не знавших города и кирпичного дела крестьян, сумел обучить их делу, сумел вдохнуть силы, сумел через срывы и нехватку материалов пустить первую печь, дать провинции первый кирпич. Сейчас он — близкий друг председателя Народно-революционного комитета, о нем знают в Пномпене, приглашают на работу в столицу. Он — перспективный человек, у которого большое будущее.

Кириллов переносил в свой блокнот из клеенчатой тетради Сом Кыта сведения о директоре, с интересом ждал этой встречи.

Они встретились с директором Совангсоном в маленькой конторке при заводе. Директор, с черной европейской бородкой, в очках, с почти полным отсутствием ритуальной восточной вкрадчивости, усадил Кириллова напротив себя, кратко приветствовал, сказал, что рад помочь чем может.

— Вы — ведущий инженер и, видимо, как никто осведомлены о хозяйственных проблемах провинции,— начал Кириллов, испытывая острый интерес к собеседнику, стремясь разглядеть в нем оптимиста, работника, одолевшего в себе и в других безнадежность, апатию.— Вы, по-видимому, представляете экономическую структуру

района, его потенциал, ориентацию. Мне бы хотелось услышать, как идет возрождение. Какие проблемы вам, инженеру, хозяйственнику, приходится решать?

Директор заговорил не сразу, словно пробегая мыслью по пространству провинции, где некогда на цветущих плантациях зрели плоды и злаки, работали заводы и фермы, пульсировали дороги и высоковольтные линии. Теперь многое из этого все еще ржавело и гибло, зарастало мхами и травами, нуждалось в спасении. Морщины на бледном директорском лбу сложились в мучительный ломкий чертеж.

Он перечислял наизусть, будто читал по списку, названия заводов и ферм, которые готовились к пуску, говорил о станках и моторах, о мощностях трансформаторов и электрогенераторов, о протяженности дорог, о нужной для их восстановления технике, о профтехучилищах, где крестьяне, знающие лишь деревянные сохи и ступы, должны превратиться в сварщиков, шоферов, дорожников.

Кириллов быстро писал, чувствуя, что эти сведения есть часть продуманных экономических выкладок, излагаемых языком эрудита.

Директор, пустивший крохотный кустарный заводик, который чавкал за окном мокрой глиной и оглушал ревом волов, криками погонщиков, изложил свой взгляд на индустриальное возрождение страны, возрождение, ориентированное на соседние Вьетнам и Лаос, на Советский Союз и соцстраны, основанное на обмене, на взаимной выгоде, гарантированное стремлением людей, ресурсами вод и земель, возможностью экспорта продовольствия и минералов с удобными выходами в океан.

— Я не фантазер, я прагматик. Я занимался во Франции горным делом и машиностроением. Я приспосабливал мои знания к той действительности, которая складывалась при Сиануке и Лон Ноле. Теперь в Кампучии иная действительность, и я размышляю над моделями, возможными в этой действительности.

Кириллов, отрываясь от блокнота, встретился с его глазами, умными, острыми, проницательно мерцавшими сквозь очки. Его губы шевелились энергично, уверенно. Это был инженер, особый тип человека, в котором главное — любовь к механизмам, исследование их, одинаковых на всех континентах. Но в этом кхмере, привлекавшем своей эрудицией, Кириллова интересовало другое. Как глубок его социальный выбор? Насколько он верил в социалистический путь Кампучии? Кто он — человек, прошедший сквозь ад лагерей, сломанный в прежних идеалах и верованиях и лишь вынужденный служить победителям? Или, напротив, его идеалы и верования были той силой, что провела его живым через ад, помогает действовать и творить в новой победившей реальности?

— Мне приятно, что в вашем лице я имею дело с оптимистом,— Кириллов пробирался сквозь экономические постулаты и термины к сущности собеседника, пытался нащупать ядро его личности.— Сегодня в Кампучии все больше оптимистов. К народу возвращается вера, надежда на благо. Хотел бы я знать, что помогает лично вам сохранить оптимизм?

И директор, понимая его, облегчая его задачу, улыбнулся:

— Инженеры вообще оптимисты. Они привыкли считать и думать. Моя профессия не дает мне впадать в уныние. Она, профессия, спасла мне жизнь. Там, в лесу, охранники не позволяли нам петь, говорить, даже думать. Угольком на стене лачуги я писал математические формулы, и это сохранило мой интеллект от распада. Дожди заливали наши бараки, пол превращался в гнилое зловонное болото. Я придумал сток для воды, мы осушили барак, избавились от лихорадки и язв. На корчевке мы вручную выдирали пни, надрывали себе жилы и умирали. Я сделал элементарное — из веревки и слег — уст-

ройство, и оно спасло наши кости от переломов, а мышцы от разрывов и растяжений. Я построил ловушки наподобие силков и капканов, в них иногда попадались полевые зверьки и птицы, и голодная смерть меня миновала. Инженеры — оптимисты, потому что они знают, как взяться за дело. Очень важно, чтобы у нации было достаточно инженеров.

Он улыбался и одновременно оставался серьезным. Он подшучивал над собой, приглашая и Кириллова к шутке, но говорил о вещах сокровенных, касавшихся жизни и смерти. Кириллов, встречавший немало примеров лицемерия и фальши, привыкший сомневаться, перепроверять многократно, верил своему собеседнику.

— Вы сказали о нации. Но для того, чтобы она жила, ей мало одних инженеров. В ней должно присутствовать нечто еще.

— Да! — перебил директор Кириллова.— В ней должна присутствовать вера! Вера нации в свою жизнестойкость. В то, что насилие не вернется, Пол Пот не вернется. Что людей не погонят в неволю, не отнимут у матери ребенка, не отнимут у жены мужа. Что дело, к которому их теперь призывают, не обернется бессмыслицей, гибелью, как те раскорчевки, уже зарастающие джунглями, как те каналы, по которым не может течь вода. Мы, кхмеры, нуждаемся сейчас больше всего в доброй мирной работе, дающей нам пропитание, заслоняющей от пережитого ужаса. Вот почему я решил во что бы то ни стало пустить кирпичный завод. Я больше всего боялся, что люди, увидев, как дело наше не клеится, печь не горит, кирпич при обжиге раскалывается, боялся, что они утратят веру, разбегутся, снова превратятся в нищих, бродяг. Я был и директор, и инженер, и монах, и учитель, и брат. Я был первым среди них и последним. У меня не было ни моторов, ни топлива, не было ни мастеров, ни рабочих. Я собрал весь мой опыт, весь опыт страшных лагерных размышлений над судьбой моего народа. Сообща, голодные и босые, вот этими руками мы пустили заводик. Когда-нибудь после, я знаю, мы будем пускать большие заводы, отправлять из Кампонгсома большие корабли, полные зерна и товаров. Но это, уверяю вас, нам будет сделать легче, чем было пустить вот этот маленький кирпичный заводик!

Кириллов кивал, соглашался, дорожил возможностью видеть верящую, стойкую духом личность. В нации, которую стремились убить, оставался и жил фермент, служивший гарантией жизни. Сохранился тип человека, знакомый ему по родине, человека, готового — вопреки всем бедам и тяготам — творить и строить. Возводить города из пепла. Подымать со дна корабли. Действовать вопреки убивающей логике смерти, неся в себе логику жизни.

— Я, наверное, вас утомил,— извинился директор.— Я расхваливаю мое детище, будто это атомная станция или космический корабль. Вовсе нет! Прошу! Приглашаю вас осмотреть производство!

Огромный, сколоченный из дерева чан, похожий на громадную бочку, стучал, сотрясался, сочилась сквозь щели коричневая глиняная жижа. Быки, впряженные в деревянные, уходящие в чан мешалки, шли по кругу, вздувая загривки, ревели, стенали от тяжести. Погонщики били их по бокам, понукали, скалились, сами очумелые, яростные. По дощатым желобам в чан бежала вода, сыпался бурый песок. В недрах чавкала глина, проворачиваемая незримыми лопастями, взбухала, пузырилась в невиданном деревянном реакторе, работающем на энергии бычьих сердец. Быки, пенно намылив ярмо, скользя копытами по жиже, надрывались, крутили грохочущий вал, словно земную ось, поддерживая вращение земли. Погонщики, закатав по колено штаны, тонконогие, грязные, визгливо, истошно вскрикивали, не давая быкам передышки, не давая земной оси замереть и застыть, двинуться в обратную сторону.

Созревшее месиво глины в лопающихся парных пузырях сползало на мокрые железные листы, дышало, готовое к лепке, готовое при-

нять на себя оттиск человеческих рук, восстать из мертвого праха или, не дождавшись оживления, опасть и осесть черствой грудой, не возрожденной чудом материей.

Рабочие совками врезались в глину. Отхватывали сочные доли, кидали их в формы. Встряхивали, тасовали, дергались головами, плечами, словно вколачивали в глину отпечатки лиц, ладоней, притоптывали голыми пятками, ходили в шаманском танце, заговаривали месиво, замуровывали в нем свои беды. Мальчик с деревянным клеймом метил круглой печатью каждый подготовленный кирпич.

Бесчисленные ряды кирпичей сохли на железных листах, испаряли влагу, туманили пространство. И сквозь их живое дыхание струилась и плавилась даль, колебался и расслаивался город, двоилась и подымалась в небо дорога, и велосипедист в синей шапочке парил, не касаясь земли. Казалось, все держится на зыбкой неверной грани, готовое испариться, исчезнуть, превратиться в мираж, обнаружив после себя пустоту.

Печь, как глазастый, многолапо упершийся в землю дракон, раскрывала огненный зев, высовывала раздвоенный красный язык, качала загнутым дымным хвостом, глотала жадно ломти, проталкивала их в свое сводчатое раскаленное чрево. Истопник просовывал в печь длинный железный прут, словно бил и колол дракона, и тот хрипел и взвивался от боли. Дух огня, обжигающих летучих стихий касался глины, превращал ее в легкую звонкую твердь, готовил ее к созиданию, воплощению в храмы и пагоды, дворцы и людские жилища, в непрерывно возводимый в мире чертог, куда каждый в свое время и час, перед тем как уйти и исчезнуть, вложит свой малый кирпич.

Горячие, поспевшие, как хлебы, кирпичи выходили на свет. Смугло-телесные, золотистые, они остывали под ветром. И уже подкатывали телеги, запряженные волами. Грузчики бережно клали кирпичи на телеги, накрывали их тканями, выезжали на дорогу, ведущую в город.

Несколько кирпичей упало на землю. Грузчики бросились их подбирать. Директор наклонился, поднял кирпич, положил его рядом с другими. Сом Кыт поднял и положил. Кириллов взял с земли теплый, сухой, слабо прозвеневший кирпич, положил его в общую кладку. Подумал: этот кирпич с крохотной, заключенной в круг эмблемой Ангкора захватил в себя и его, Кириллова, прикосновенье, будет хранить его, коптясь в очаге крестьянского дома, введет в соприкосновение с другими неведомыми людскими жизнями.

С Сом Кытом они посетили художника Нанг Равута. Один из немногих интеллигентов, уцелевших после избиений и чисток, он слыл теперь местной знаменитостью. Кириллов помнил, каких трудов стоило правительству открыть в Пномпене кинотеатр, собрать театральную труппу, наладить выпуск газет. Он хотел понять, чем же дышит культура в провинции и есть ли ей чем дышать, сохранились ли люди культуры.

В ателье художника двери были распахнуты на улицу, на жару, где дребезжали велосипедисты, гоняли голосящие дети, и всякий проходящий мог заглянуть в мастерскую.

Художник, как маленький бронзоволикий божок, спустился к ним по стремянке откуда-то сверху, голый по пояс, мускулистый, с ершистой седой головой. Держа пятнистую палитру и кисти, поклонился им. Сом Кыт представил Кириллова, объяснил цель визита, а Кириллов тем временем разглядывал огромное, уходящее к потолку панно, над которым трудился художник.

На обширном холсте грубо, бегло и хлестко была намалевана карикатура — группа разномастных, кривляющихся кукол, и над каждой были выведены их имена. Толстолицый, смазливо-отталкивающий Сианук. Маленький плотоядный Лон Нол. Ушастый, клыкастый, по-

хожий на кабана Пол Пот. В цилиндре, в штиблетах, с козлиной бородой дядя Сэм. На теле каждого был нарисован круг с темной сердцевиной наподобие яблочка мишени.

— Этот стенд заказал мне муниципалитет,— художник пришел на помощь Кириллову.— Такой же стенд я сделал для Сиемреапа, там не осталось своих художников. Скоро, вы знаете, мы празднуем Новый год. Эти стенды будут установлены в местах народных гуляний. Люди будут целиться в эти мишени стрелами, дротиками. Это их развлечет.— Он замолчал, изучая гостя, желая убедиться, что этот нехитрый, на потребу минуте, труд правильно понят.— Мне часто приходится рисовать агитационные плакаты. Может быть, вы видели на рынке плакат, призывающий соблюдать гигиену, не пить сырую воду? Или при въезде в город, у моста, призыв не сорить, убирать дворы и подъезды? Сейчас это очень насущно. Люди, поселившиеся в городах, не знают грамоты, не умеют читать, и многое приходится им объяснять изображением, рисунком.

Кириллов сравнивал его поденную, яростно-небрежную работу с теми агитками и плакатами, что явились в революционной России, были мгновенным отблеском схватки, на своих ярких, похожих на кляксы листах запечатлели резкое членение мира. Здесь, на этом холсте, действовала та же эстетика, металась та же кисть вовлеченного в борьбу искусства, занятого черновой, неблагодарной работой на рынках, в казармах, в больницах.

— Но помимо этих у меня есть и другие работы. Я их мало кому показываю. Они о том, что было с нами недавно, исчезло из жизни внешней, но здесь, внутри,— он дотронулся до груди,— здесь оно осталось. Эти рисунки я посвятил тем, кого нет сейчас с нами, кто не может говорить. Я говорю за них.

Он раскрыл широкую папку, стал выкладывать один за другим листы, на которых черной тушью были нарисованы сцены избиений и пыток, горящие храмы и хижины. Впряженные в оглобли женщины волокли по болоту тяжелые сохи и бороны, и надсмотрщики били их плетьми. Вереница согнувшихся, закованных в колодки людей падала в яму под ударами мотыг, один за другим, будто фишки домино. Вздернутый на дыбу мученик раздирался огромными клещами. Поверженный монах подставлял палачу свою бритую голову, и тот вгонял в нее громадный гвоздь. Все рисунки были орущие, стенающие, похожие на бред. Они сыпались из папки, наполняя мастерскую своим сверхплотным страданием, устремлялись, как духи, в квадрат растворенных дверей, в город, наружу, словно хотели вернуться в мир, откуда они были изъяты. И художник, зная их сокрушительную, ранящую силу, собирал их обратно в папку, заслонял своим маленьким телом улицу, велосипедистов, детей. Затягивал на папке тесемки, упрятывая виденные и пережитые ужасы.

— Мы все слишком много страдали. Мы измучились и ожесточились в страданиях. Мы привыкли к слезам, к плачу. Наши сердца превратились в камни. Сейчас нам нужно проповедовать умягчение сердец. Художник должен вернуть человеку сердце, вернуть добро, красоту. Я стремлюсь это делать в моих работах.

Он открыл другую папку, и, отрицая предшествующую, в ней возникли разноцветные, нарисованные в старинной буддийской манере, с обилием золота и лазури, танцовщицы, наездники, пагоды, улыбающийся под деревом Будда, хлебопашцы у розовых длинноногих волов, женщины, несущие младенцев. И не верилось, что этот разноцветный рай существует в той же душе, где чернеет и корчится орущий столикий ад.

— Если вам интересно, у меня есть еще работы, скульптурные. Подойдите сюда! — он поманил Кириллова в дальнюю часть мастерской, к плотно затворенным дверям.— Послушайте!

Кириллов прислонил ухо к двери. За тонкой переборкой услышал мерное, тихое шелестение, похожее на морошенье дождя или слабое, без пламени, тление.

— Что там? — спросил он.

— Мои скульптуры. Быть может, вы слышали, при Пол Поте меня схватили и хотели казнить. Охранник спросил меня, кем я был на свободе. Он всех для чего-то спрашивал перед тем, как отправить на казнь. Я сказал, что был художником. Тогда он спросил, смогу ли я сделать скульптуру. «Кого?» — спросил я. «Пол Пота»,— ответил он. Я сказал, что смогу. Взял фотографию Пол Пота и, сверяясь, вырезал из древесного ствола скульптуру. Она им очень понравилась. Они оставили меня жить, но заставили вырезать скульптуры Пол Пота одну за другой, много скульптур. Я вырезал, а сам думал — неужели мое искусство должно воспевать воплощение смерти, того, кто отправил на смерть моих друзей и родных, моих учителей и учеников? Неужели я моим искусством сохраню для потомков голову и лицо, которое я ненавижу, и он, убивший стольких, благодаря мне переживет и нас всех и себя самого, как знаменитые каменные лики Байона? Нет, думал я. Я выбирал для скульптур то дерево, которое уже было подпорчено жуками-пилильщиками, в котором уже поселились термиты. Я знал, что они сделают свое дело. Я вырезал много скульптур. Некоторые из них у меня. Посмотрите!

Он отворил дверь. В сумерках, по углам, большие и малые, некоторые в рост человека, стояли головы и бюсты Пол Пота, улыбающиеся, величавые, все в мелкой сыпи проточенных жуками отверстий, в белой муке иссеченной в прах древесины. В них, невидимая, совершалась работа. Насекомые неуклонно и слепо, проникнув внутрь голов, истребляли скульптуры, будто время не торопясь стирало, убирало следы того, что должно исчезнуть.

Скульптор подошел к большой улыбающейся голове, чуть тронул ее. Кусок щеки и губы отвалился, осыпался, и оттуда, изо рта и из глаз, густо полезли термиты, побежали торопливые глянцевитые муравьи, извергаясь в копошении из головы.

Художник затворил плотно двери, серьезный, властный, знающий все наперед. Medноликий божок с ершистой седой головой.

После обеда Сом Кыт сообщил Кириллову, что их ждут в буддийском монастыре у реки, в единственной уцелевшей пагоде, где верховный бонза Теп Вонг, совершающий поездку по провинции, готов принять советского журналиста. Кириллову был важен этот редкий, мало кому выпадавший визит.

Они проехали за город к реке, к рухнувшему, словно с переломленным хребтом, мосту. На другом берегу, за мостом продолжалась зарастающая, уходящая в джунгли дорога. Здесь же, на городской стороне, бугрились развалины монастыря, но не мертвые, а носящие следы обитания. Ухоженные, ровно посаженные, розовели лилии. На каменных чистых воротах красовался свитый в клубок дракон с белым, свежепроклеенным вдоль туловища швом.

Привратник с лицом морщинистым и коричневым, словно изюм, впустил их на просторный утоптанный двор с резкой игольчатой тенью пагоды. Кириллов, идя за монахом, за его оранжевым развевающимся балахоном, за желтыми, твердо стучащими о сандалии пятками, успел разглядеть подвешенное у входа било — корпус ржавого пустого снаряда. На земле перед храмом, на границе пекла и тени, стояли две медные чаши — ослепительно-яркая на солнце и тускло-туманная в тени. В их расстановке чудилось сходство с неким древним прибором (весами, часами?), как будто готовились к какому-то ритуалу. Это насторожило Кириллова предчувствием чего-то невнятного, к нему обращенного.

Их ввели в прохладную приемную с легким, стойким ароматом

сандала. Сом Кыт снял туфли, опустился на колени перед Буддой, румяно-белым, раскрашенным, как муляж, произнес отрешенно несколько сутр. Кириллов подобно ему оставил у порога обувь, прошел и уселся за маленький столик, на низкую резную скамейку.

— Нас просили подождать,— сказал Сом Кыт, перемолвившийся со служителем.— Верховный бонза Теп Вонг окончит беседу с монахами и выйдет к нам.

Кириллов смотрел в открытую дверь, туда, где на пыльном дворе стояли две медные чаши, ослепительно-яркая и тускло-погасшая. И вид этих чаш продолжал его тревожить и мучить. Граница света и тени говорила о некоей заложенной в мир двойственности, быть может, о добре и зле, о жизни и смерти, о выборе между тем и другим.

Изображение Будды, аляповатое, в цветных мазках, вдруг напомнило ему его детскую полузабытую игрушку — коня на колесиках: серые яблоки, красная сбруя, длинные, как у Будды, глаза, розовый, улыбающийся рот. Это странное сходство, как и вид стоящих, для чего-то приготовленных чаш, все усиливало его ожидание. И как бы в ответ на него в дверь влетела бабочка. Желтая, яркая, заметалась вокруг его головы, вокруг плеч Сом Кыта, будто опутывала их обоих общей, невидимой нитью. Стала кружить по комнате. И Кириллов, поставив ноги в носках на прохладный белесый пол, пристально следил за ней.

Ударило близкое било, сначала редко, внятно, затем учащаясь, измельчаясь до нервных пульсирующих звуков. И на последнем погасшем ударе, развевая оранжевую накидку, вошел верховный бонза. Наклонил бритую голубоватую голову, поднял ее, превращая землисто-желтое, болезненно озабоченное лицо в улыбающуюся маску, на которой за раздвинутыми губами желтели крупные зубы. Широким взмахом руки усадил их, поднявшихся, на скамейку. Сел сам, забросив обильные складки одежды меж колен. Замер, выставив костлявое худое плечо, продолжая улыбаться.

— Я знаю,— произнес он после минуты молчания,— вы проделали длинное и нелегкое путешествие. И вам еще предстоит длинный путь. Пусть исполнится все задуманное вами и вы благополучно вернетесь домой.

Бабочка, исчезнувшая было, вдруг снова стремительно налетела, вонзилась в воздух, облетела вокруг лиловой головы Теп Вонга, мелькнула у смуглого бесстрастного лица Сом Кыта, сверкнула желтизной над Кирилловым и, заметавшись, оставляя в воздухе тонкие, быстро гаснущие знаки, пропала. Кириллов следил за ней, пытался прочесть начертанные ею письмена.

— Я потревожил вас моим посещением, желая уточнить некоторые данные,— произнес Кириллов, раздваивая, расщепляя внимание: улыбающийся желтозубый Теп Вонг и Будда со знакомым лицом коня, две чаши — света и тьмы и легкая золотистая бабочка, принесшая ему невнятную, но важную весть.— Мы все знаем о страшном уроне, понесенном буддийскими общинами во время недавних гонений. Известны общие цифры потерь. Но, видимо, вам, совершающему эту поездку, открывается более полная картина несчастья.

Верховный бонза мгновенно согнал с губ улыбку, словно провернул невидимый диск. Сделался грустным, тревожным.

— Теперь мы действительно располагаем более полными данными,— ответил он, помолчав, внутренне просматривая список потерь — убитого, сожженного, взорванного.— За три года и восемь месяцев, когда мы пребывали во тьме, были уничтожены все монастыри и пагоды, умерщвлены почти все монахи. В начале сезона дождей семнадцатого апреля семьдесят пятого года началось разрушение пагод и убийство монахов. Прежде в Кампучии было тридцать пять тысяч

монахов, теперь же нет и трех тысяч. Разрушено бессчетное количество храмов, многие из них очень древние, известные культурному миру. О них написаны книги.

Теп Вонг напрягал голое худое плечо с выступавшей птичьей ключицей. Говорил с Кирилловым бесстрастным языком статистики. Обращался к собеседнику той своей частью, что была открыта политикам, прессе. Другая его сторона, невидимая, была обращена к разгромленным пагодам, истребленным духовным знаниям, умерщвленным сподвижникам — разоренному гнезду его веры, в которое вторглось зло, полной мерой осуществилось в судьбе соплеменников и теперь сгинуло. И он поставлен среди руин и пожарищ начать кропотливое пчелиное дело, повинуясь законам добра и продолжения жизни.

— Я родом из села,— говорил Теп Вонг.— Моя пагода находилась в полутора километрах от города. Я видел, как были убиты шестьдесят монахов, началось уничтожение изображений, изгнание людей из жилищ. Мы, монахи, не могли укрыться или сменить обличье. Нас легко узнать, у нас бритые головы. Некоторых из нас убивали на месте, других выгоняли на дорогу, третьих отправляли на тяжелые работы. Но монахи не умеют работать в поле. Они никогда не работали в поле и сразу же погибали от непосильных трудов. У монахов нет семей, и когда монаха изгоняли из храма, его некому было кормить и он умирал от голода.

Кириллов слушал еще одну, тихим голосом рассказываемую повесть о великих несчастьях. И его внимающая, откликающаяся на чужие страданья душа напряглась в ожидании и муке. И бабочка снова влетела в поле его ожидания, и, беззвучно охнув, он вдруг обрел иное зрение: он увидел тропку к реке, ту, давнишнюю летящую бабочку, они с отцом бегут за ней, ловят, а она ускользает от них. И вот они на волжских летних песках. Отец, голотелый, блестящий, занес его в реку, держит над бегущей, быстрой водой. Он видит сквозь волнистую толщу дно, желтый песок, гальку. Ему жутко. Река страшит и пугает, но он верит в отца, верит в его сильные руки, близкое смеющееся лицо. Два чувства в нем — страх перед волжской водой и жаркая детская вера в отца.

Отец был убит на войне, в зимней сталинградской степи. Когда-то в юности он отправился в степь искать могилу отца. Бродил по вьюжным заволжским дорогам, по засыпанным хуторам и селам, выспрашивал старух, выглядывал имена на братских надгробьях. Так и не нашел, изведясь и измерзнув, вернулся в Москву, сохранив в себе навсегда чувство вины, невыполненного сыновнего долга. И теперь изумленно, со страхом, боясь, что вот-вот пропадет, смотрел на бабочку. Снова видел близко, как тогда, на реке, родное лицо, вспоминал фронтовую фотографию: отец, молодой лейтенант, с усиками, с сияющими, солнечно-выпуклыми глазами...

— Почему же, как вы полагаете,— Кириллов, преодолевая наваждение, старался поддержать разговор,— почему такая ненависть к монастырям и монахам?

— В монастырях скопились ценности нашей древней культуры. Пол Пот использовал пагоды как тюрьмы и места уничтожения людей. Святыни были превращены в темницы и места казней. Людям говорили: «Монахи — это трупы. Кто хочет им поклоняться, пусть идет к трупам». Когда приходишь теперь на развалины пагод, видишь кости умерщвленных людей.

Бонза говорил о несчастьях, но улыбался широко, желтозубо, будто приглашая Кириллова не верить в силу несчастья.

Бабочка летала над ними, билась о невидимую, воздвигнутую между всеми живыми преграду. Кириллов был благодарен ей за то, что она вызвала образ отца из небытия. Он явился из русской ветре-

ной степи, отозвался через столько лет на зов, избрав для этого знойный день в кампучийской пагоде, где он, Кириллов, постаревший, перегнавший годами отца, сидит перед бритоголовым монахом и две чаши сквозь открытую дверь наполнены светом и тьмою.

Снова ударил гонг, мерно, тягуче, убыстряясь, исходя в мелких торопливых ударах, извлеченных из стальной оболочки снаряда. На дворе появились люди; мужчины, женщины, дети несли дымящиеся курения, проходили мимо поставленных чаш, что-то бросали в них.

— Конечно, своими силами мы не сможем построить заново пагоды. Народ приходит нам на помощь,— бонза улыбался застывшей улыбкой, кивая на людей перед храмом.— Они принесли нам деньги.

Кириллов опять видел Волгу в тяжелых зеленых льдах, огромную метельную степь в белых наледях. И мысль: где-то здесь отец, быть может, у него под ногами. Кинуться, прижаться лицом, прожигать дыханием лед, шептать сквозь мерзлую землю.

Отец ушел от него в тот момент, когда в нем, в ребенке, стали открываться первые сознание и память, и отец успел уронить в это первое сознание несколько зерен, нанести малые метины, как бы обозначив себя, сделав крохотные зарубки. Он, сын, бережно нес в себе эти зарубки, ожидая, что из них вдруг тронется в рост его дремлющая детская память и возникнет отец, живой, любимый.

...Вот отец усадил его на колени, рисует ему грузовик. И ему так нравится этот рисунок, красивые колеса и фары, красивая кабина с шофером. Но отец вдруг рисует взрыв, ударивший в грузовик, брызнувший черными карандашными брызгами. И таким неожиданным был этот взрыв, так жестоко перечеркнул красивый рисунок, что он не удержался, жалобно, громко заплакал. И отец утешал его, превращал взрыв в цветущий на обочине куст, рассаживал на нем белок и птиц.

В детском саду вечер. Все дети ушли, воспитательницы тоже ушли. Осталась одна сторожиха, ходит в тяжелых валенках среди желтых, с наклейками, шкафчиков. Он остался один. За ним никто не пришел. Обида на мать и на бабушку. Детское чувство беды и войны за черными окнами, в которые сыплет метель. Внезапные шаги в коридоре. На пороге — большой человек, в снегу, в блестящей тающей изморози. Идет к нему, улыбается, окликает по имени, прижимает к себе. И он, чувствуя щекой жесткие ворсины шинели, не узнавая в лицо, сыновним инстинктом понимает — это отец явился за ним. Окончена его мука, беда. Отец ведет, несет его в колючей пурге, и такая вспыхивает в нем радость, любовь!

Позже, узнав, что отец погиб, видел, как мать доставала все один и тот же треугольник письма, маленький фотоснимок отца в лейтенантской форме. И плакала, плакала, до обморока, до беспамятства, вызывая в нем такую боль, такое страдание. Тайком достал из письма этот маленький черно-белый портрет и спрятал, надеясь уберечь мать от слез. Сам доставал украдкой, рассматривал офицера в фуражке, с усиками, с сияющими глазами.

— Эти пожертвования пойдут на строительство? — спросил он рассеянно, глядя на вереницу людей, на крохотные дымки в их руках, на пальцы, кидавшие в чаши дар.— Деньги эти — на строительство пагоды?

— Нам очень трудно,— ответил бонза.— Нам нужно ремонтировать храмы, открывать монастырские школы. Мы нуждаемся в продуктах, деньгах. Но враг, принесший столько страданий, еще не до конца разбит. Еще гибнут люди. Мы хотим, чтоб скорей воцарился мир. Вы видели разрушенный мост? Мы решили отдать пожертвования правительству, чтоб скорей починили мост. Чтоб войска могли пройти по мосту в джунгли, где прячется враг.

Снова ударил гонг. Бонза, подхватив с колен оранжевые долгие

складки, распушил их. Поднял вверх руки с растопыренными пальцами. Продолжал улыбаться, давая понять, что аудиенция окончена. Кириллов поднялся, попрощался. Искал глазами желтую бабочку, не находил. Виденье, его посетившее, улетучилось, оставя по себе легчайшую боль, исчезающую мысль об отце.

Программа дня была выполнена. Завтра предстояла поездка к границе. Шофер и солдаты в преддверии трудной дороги погнали машину в мастерскую на другой конец города менять аккумулятор. Кириллов и Сом Кыт высадились из «тойоты» у рынка, среди лоскутно-красного вечернего многолюдья, скрипящих двуколок, длинных, облезших, неуклюже поворачивающих автобусов, дощатых прилавков, на которых под матерчатыми тентами, напоминавшими драные паруса, шла торговля, не спадавшая в час предвечернего зноя. Весь рынок напоминал огромный парусный флот.

Кириллов пробирался в тесноте, в криках и воплях, видя, как продавцы, покупатели, заметив его, прекращают торг, застывают с полуоткрытыми ртами, шепчутся, смеются у него за спиной, пораженные видом европейского, не появлявшегося здесь долгие годы лица.

Миновал мясные ряды, липкие, темные от крови, где доски столов раскисли от парного мокрого мяса и по ним лениво и сыто ползали жирные мухи. Рассеченные свиные туши. Ряды отрубленных поросячьих голов с белесыми ресницами. Торговцы при его появлении откидывали сальные рогожи, зазывали его криком «мсье», обдавали душным запахом млеющих на жаре кусков.

Протиснулся в рыбные ряды, где, скользкие, в чешуе, в перламутровой высыхающей слизи, лежали речные и озерные рыбы, от больших и круглых, как блюда, до мельчайших, как стеклянные подвески, мальков, пересыпанных крупинками тающего льда.

Тут же в ведрах продавали сонных живых лягушек, а в ситах — горстки дочерна обжаренных жуков-плавунцов со сложенными на животах гребными ножками.

Овощные и фруктовые ряды сочились сластью, пряностью. Специи в открытых мешочках зеленели, краснели. Хрустели раскалываемые кокосы. Лился сок из давилок. Кириллов чувствовал, как пропитывается едкими, сахарно-эфирными испарениями.

Он отмечал обилие продуктов, опровергавшее слухи о возможности голода в провинциях. Приценивался. Цены были высокие, но рынок клокотал, сыпал деньги. Город встречался с деревней, шел товарный обмен, шла жизнь.

Он осматривал прилавки контрабандных, привезенных из Таиланда товаров — транзисторов, радужных тканей, запасных частей к японским велосипедам и мотоциклам. Рассматривал изделия из золота — цепочки, кольца, кулоны,— накрытые стеклянными колпаками, под бдительным оком зорко-вежливых, хорошо одетых торговцев. И в дальнем углу, на земле, на горячем солнце наткнулся на скопище бесчисленных, не имевших применения предметов: лоскутов металла из ржавых автомобильных капотов, обломков бамперов, кусков магазинных вывесок, осколков посуды, истоптанных рукодельных сандалий, вырезанных из автомобильных покрышек, смятых латунных гильз — всего, что осталось от недавней разрушающей и крушащей поры, уже исчезнувшей, выброшенной на свалку, оставшейся лишь ворохом убитых, потерявших названия вещей.

Голосила толпа. Пестрел, мерцал, хлопал полотнищами рынок. Пекло солнце. Мухи то и дело шлепались на лицо. И он, окруженный чужими лицами, дурманящими запахами, стиснутый людскими жизнями, шумными, звучными, рвущимися себя обнаружить, закрепиться в этом мире, усилиться,— он вдруг испытал мгновенную усталость, тоску. Почувствовал себя инородным, чужим и непонятным, из дру-

гих широт и пространств. Он был здесь в самом центре, в самом ядре иного народа, иной культуры и расы, что много веков, подобно бьющему из недр гейзеру, выталкивает на поверхность желтолицых, смуглых, едкоголосых людей, сформированных по иному, отличному от его, Кириллова, образу, с другими губами и скулами, другим разрезом глаз, отпечатывает в них другой образ мира. А он — с иным, здесь неуместным лицом, иной любовью и памятью, заброшенный в чужую судьбу и историю,— что он такое? Где-то там, на севере, без него, в великих трудах и заботах существует его народ, вершится родная история. Там что-то ждет его, выкликает, беззвучно требует его возвращения — и ненайденная могила отца, и последнее материнское платье, вянущее в московском шкафу, и Троицкое на белой горе.

Слабость, посетившая его, была столь сильна, разом отняла столько сил, что он покачнулся. Сом Кыт возник перед ним, внимательно заглянул в глаза.

— Сегодня мы много работали,— сказал он.— Теперь пойдем отдыхать. Позвольте, я угощу вас напитком.

Он повернулся к торговцу соками, что-то сказал. Тот выхватил несколько сочных зеленых отрезков сахарного тростника, сунул под пресс чугунной, старомодной, с литым колесом давилки, пропустил сквозь валки, выжимая в стакан зелено-желтый мутноватый напиток, кинул брусочек льда. Протянул, улыбаясь.

Кириллов благодарно принял, устыдившись минутной слабости. Тянул сладостно-холодную жидкость, чувствовал на себе серьезный, внимательный взгляд Сом Кыта.

При выходе из рынка, где дымились маленькие открытые кухни и за столами под тентами люди хватали палочками горячую снедь, он увидел вьетнамских солдат, пивших кокосовый сок. Лица их были худыми, усталыми, форма — линялой, разодранной о сучки и колючки джунглей. Увидели его, зашептались. Один поднялся, спросил: «Советский?» И последовали крепкие молодые рукопожатия, улыбки, кивки. Кириллов шагал по городу, все продолжал улыбаться, все нес на ладонях их радостные, быстрые прикосновения.

В гостинице на галерее их поджидал худощавый человек в военной форме. Назвал свое имя — Тхом Борет и должность — офицер службы безопасности. Пожатие его руки показалось Кириллову негибким, неполным, и, отпуская ладонь Тхом Борета, он заметил, что пальцы его наполовину обрублены.

— Завтра по программе у вас поездка к границе,— сказал офицер.— Я считаю своим долгом предупредить вас, что к северу от Баттамбанга действуют несколько террористических банд. Сегодня днем была взорвана водоразборная заслонка на одном из каналов.

— У нас есть охрана,— сказал Кириллов, всматриваясь в изможденное, с рельефом скул и надбровных дуг лицо.

— Этого недостаточно. Мы дадим вам машину с солдатами.

— Спасибо.

— С кем бы вам хотелось встретиться?

— Я буду рад побеседовать со всеми, с кем вы сочтете возможным. Я бы просил о встрече с представителем уездной власти, чтобы он проинформировал меня о состоянии дел в уезде. Хотел бы, если это возможно, осмотреть места террористических актов. Если мне будет позволено, хотел бы встретиться с захваченными в плен террористами, услышать, как они смотрят на ситуацию в собственной армии.

Офицер записывал его просьбы в блокнот, и Кириллов видел, как неловко и трудно сжимают ручку обрубки пальцев.

— Мы постараемся устроить вам встречу с пленными завтра утром. Есть ли у вас просьбы еще?

— Может быть, по дороге они возникнут,— мягко улыбнулся Кириллов.

— Утром я за вами приеду,— сказал Тхом Борет, и Кириллов с галереи видел, как он садится на мопед, выкатывает в сумерки.

Они сидели на открытой галерее под звездами, наслаждаясь слабыми, шевелившими листву дуновениями. Маленький столик, чашечки, дощатый пол мерцали и искрились от бесчисленных прозрачных чешуек, оброненных обескрылевшими термитами. Чернели близкие деревья. Над ними чисто, ясно, словно в мороз, сверкал звездный ковш. Знакомый, он размещался иначе, задрав рукоять дыбом, меняя вид всего неба. Кириллов смотрел, как дрожит, стекает звезда, заслоняемая черной листвой.

— Как по-русски называется это созвездие? — спросил Сом Кыт, и лицо его в нежных, чуть видимых отсветах обратилось к ковшу.

— Большая Медведица,— ответил Кириллов, и ему показалось, что в глазах, на лбу, подбородке Сом Кыта крохотными искрами отразилось созвездие.— А по-кхмерски?

— Мама в детстве выводила меня на открытое место под звезды, называла это созвездие Крокодилом.

Кириллов отказался от привычного образа ковша, от северного имени Медведица. Соединил звезды иными линиями. Над деревьями вдруг засиял серебряный крокодил, растопырив лапы, изогнув в середину неба хвост, заняв центр, осмыслённо распределив по остальному своду другие созвездия.

Они молча смотрели на звезды. Кириллов старался видеть небо глазами Сом Кыта. Стремился почувствовать, что лилось с небес в душу кхмера, исчислявшего под этими звездами свои поколения.

— Когда нас угнали на каторгу, мы жили в бараке. Ни у кого из нас не было часов. По этому созвездию я узнавал время, будил всех, и мы еще в темноте, в четыре часа, шли на работу.

Замолчал, продолжая следить за медленным, едва заметным глазу вращением серебряного зверя. Кириллов ждал. Ощущал тончайшую полупрозрачную преграду между ним и собой, рассекавшую две их отдельные жизни. Что же должны они сделать, в чем открыться друг другу, как сложить и сверить свои истины, чтобы, прежде чем расстаться и порознь доживать свои жизни, возникло между ними единство? Это чувство остро поразило его. Чувство различия и сходства. Несочетаемости, разделенности полупрозрачной стеной — и возможности пройти сквозь нее. Случайности встречи — и скрытого в ней не случайного замысла.

— Вы удовлетворены тем, как проходит поездка? — спросил Сом Кыт.

— Да,— ответил Кириллов.— Я очень рад, что путешествую именно с вами. Ваши комментарии и советы помогают мне лучше понять, чем сегодня живет Кампучия, в чем ее основные проблемы.

— Председатель кооператива, и директор завода, и верховный бонза — все говорили одно. И я повторю вслед за ними: в первую очередь Кампучии нужно изжить из себя тьму. Надо изгнать из каждого кхмера тьму. Нас посетила тьма. Она всегда была и есть в мире. Она есть и в каждом из нас. Но иногда она начинает копиться, стекаться и множиться, разом посещает целый народ. И тогда в этом народе происходят несчастья. Умирают люди, пустеют города, гибнет хлеб, разрушаются храмы. Мы все стали жертвами тьмы,— и он замолчал, бесстрастный, с твердым лицом, высеченным из смуглого камня.

— Вы правы,— ответил Кириллов. Ему хотелось глубже вовлечь в разговор Сом Кыта, но увести его от образов буддийской поэтики.— Вы правы, есть законы гибели целых культур и народов. Мы, историки, пытаемся их обнаружить. Но появление Пол Пота не кроется в кхмерской истории, не кроется в революционном процессе как тако-

вом. Я полагаю, здесь сложная комбинация анархистских и нигилистических идей, европейского буржуазного модернизма, антипролетарских, экспортируемых из-за рубежа, навязанных силой доктрин и конкретной злой воли, сконцентрированной в группе кровавых маньяков.

— Есть законы тьмы и законы света,— спокойно, как бы не услышав Кириллова, произнес Сом Кыт.— Люди всю жизнь сражаются с тьмой, обращаются к свету, стремятся одолеть тьму. Нам, кампучийцам, пережившим несчастье, надо изгнать из себя тьму. Изгнать страх, ненависть, недоверие друг к другу, потребность мстить, убивать. Наша главная цель лежит сегодня не в экономике, не в политике, а в человеческом сердце. Вина Пол Пота в том, что он отобрал у нас чувство света, чувство надежды на свет. Многие не верят в возможность труда, в возможность семейной жизни, в возможность согласия. Вернуть чувство света — вот что нам надо. Я хочу, чтобы вы это почувствовали. Мне кажется, во время состоявшихся встреч вы это могли почувствовать.

Кириллов кивал, соглашался. Ему не мешали метафоры Сом Кыта. Он расшифровывал их для себя как горькую социальную истину. Народ, познавший полпотовский режим массовых погребений и казней, оказался отсеченным от будущего, утратил перспективу истории. Выпал из истории. Новая революционная власть вернула народ в течение истории, вернула ему социальную цель. Он знал безусловно: мир во всей пестроте, во всей неоглядной сложности, иногда заблуждаясь, иногда поддаваясь обманам, порой в своем нетерпении хватаясь за автомат и взрывчатку,— мир втягивается в социализм, в неизбежный, неотвратимый процесс. И он, Кириллов, в свои лучшие минуты, сквозь рутину и черновую работу, сквозь утомление души, чувствовал себя в согласии с этим мировым движением, сопрягал свои силы и цели с мощью двинувшегося в путь человечества. И это сознание пути, своего в нем участия, возвращало ему силы и энергию.

Кириллов ждал, что Сом Кыт снова начнет говорить, но тот молчал. Но и сказанного было довольно. Они молча сидели, слушая свисты цикад. Над черными деревами, надетый на незримую ось, вращался серебряный зверь. Они стали ближе друг другу, и оба об этом знали.

Простились, пожелав друг другу спокойной ночи. Сом Кыт ушел в свой номер. Там слышался смех. Солдаты, полуголые, выгнув свои гибкие спины, играли на кровати в карты.

Кириллов улегся под полог, переживая знакомое, посещавшее его иногда состояние. Будто он, живущий сегодня, ввергнутый в борьбу и политику, лежащий в этом маленьком номере, страдая от духоты и бессонницы, будто он имеет своего двойника, свое подобие. Когда-то они были едины, в том далеком январском дне. Но потом личность его раздвоилась, и одна половина, принявшая его нынешний вид, пустилась по дорогам, по странам, в яростном напряжении борьбы, а другая — в иное движение, в иное знание, приоткрывшееся на снежной дороге в летящем грузовике. И эти два двойника, пройдя по огромным кругам, должны непременно встретиться. Сойтись, восполнить друг друга, сложить воедино свой опыт, обрести полноту.

Разрезанный, съеденный наполовину пирог. Остывающий самовар, истертый кирпичом, с россыпью медалей, с двурогой ручкой крана, на котором висит прозрачная капля. Расколотая стеклянная вазочка, и в ней цветные липкие конфеты-подушечки. Все это сдвинуто на угол стола, клеенка под лампой сияет, и они втроем играют в карты. Он держит перед собой их замусоленный веер, вытягивает шею, подглядывает к тете Поле. Та сердится, выставляет остренький локоть, норовит шлепнуть его картой по носу. Вера, в темном свитере,

в его латаных валенках, возмущается, гневается, прижимает карты к груди:

— Это нечестно, бессовестно! Я так отказываюсь! — Она и впрямь готова кинуть карты, чуть не плачет. И он изумляется детской искренности, наивной силе ее огорчения. Для нее сейчас нет пустяков, и карточная игра выражает всю полноту отношения к миру.

— Ну не буду, не буду! — торопится он ее успокоить.— Храни на здоровье свои шестерки!

Сыплются карты, шелестят дамы, короли и валеты. В их шлейфах, коронах, кафтанах — карнавальная праздничность, созвучная новогодней ночи, многоцветной и звездно сияющей над избами. Масти несут в себе образы минувшего дня, еще до конца не исчезнувшего, горящего жарко под веками. Трефы — как темные с кругляшками в концах перекладин кресты на заброшенном кладбище, по которому он пробежал, ломая лыжами мерзлые кусты бузины. Черви — как протаявшая на солнечной кочке красная ветка брусники. Пики — словно стая ворон, поднявшаяся в белизне с металлическим криком. Бубны — румянец на щеках почтальонши, попавшейся ему на дороге.

Он снова проигрывает. Тетя Поля довольно посмеивается:

— Это кто же у нас опять дурачок?

Вера счастливо, беззвучно смеется, выхватывает, сует им в глаза некозырную шестерку, которую удалось напоследок подкинуть. И он опять удивляется полноте ее счастья, обнаруживающего себя во всякой малости.

В подполе под печкой прокричал петух, глухо, стыло. Вечером тетя Поля, боясь больших морозов, сняла с насеста и пустила в подпол петуха и кур. И теперь петуху пришла пора петь. От его сдавленных криков становится жутковато и сладостно. Чудится другая, укрытая в землю жизнь, другое пространство и царство. Они втроем это чувствуют, слушают подземные крики.

— Достань петуха! — вдруг просит она.— Достань петуха, погадаем!.. И зерна, зерна, тетя Поля!..

Она начинает тормошить и его и тетю Полю, и та, ворча, делая недовольное лицо, но втайне радуясь, увлекаясь предстоящей затеей, лезет за печь, достает из мешка горсть овса. Он наклоняется к подполу, тянет за железное, ввинченное в половицу кольцо. Из подполья дует сыростью, хладом. Он во тьме старается различить притаившихся птиц.

Сжимая плечи, протискивается вниз и в тусклом освещении видит белеющих, друг к другу прижавшихся кур, и среди них крутобокий, с выгнутой шеей петух накаляется злыми глазками, гневно нацеливается острым клювом. С опаской, осторожно он берет петуха за бока, и тот, недвижный, напрягает у него в ладонях крылья. Он подымает цветную птицу наверх, бережно ставит на пол, как вазу, и петух, ослепленный, замер. Пылает гребнем, упер в пол чешуйчатые желтые ноги, переливается золотом и синью.

— Вот сюда, поближе. Сейчас я посыплю овес,— она священнодействует, будто век занималась волхованием. Истово, увлеченно, уверенно, но и со страхом, с суеверным дрожанием рук хватает из миски зерна, сыплет перед нахохленной птицей.

Тетя Поля смотрит на их забаву. В глазах ее два тонких лучика, то ли печальных, то ли смеющихся. Она не мешает им тешиться, охраняет их, радуется их молодости, которой еще длиться и быть, когда она сама уйдет и исчезнет.

Петух, будто в нем срабатывает невидимая пружина, дергает головой, прозревает, напрягает на шее радужный ворох и внезапно, сильно бьет клювом в зерно, разбрызгивая, проклевывая до деревянной доски. Глаза его жадно блестят. Кривой клюв склонен набок.

Гребень утолщился, набряк кровью. Проглатывает зерна и снова с костяным стуком колотит, рассеивая, рассыпая из зерен узор.

— Все! Теперь убирай его! Я буду гадать! — командует она, и он послушно опускает птицу обратно в подпол. Петух, тяжелый, набитый зерном, вспыхивает в последний раз оперением, гаснет в темноте, как лампа.

— Теперь слушай меня, смотри!..

Она стоит над зерном на коленях, проводит над полом рукой, будто снимает с тайны покров. Лицо ее верящее, вещее. В нем страх и восторг. Он почти пугается, почти верит вслед за ней, чувствует свою от нее зависимость, ее власть над собой. Она читает по открывшимся ей письменам его судьбу, его жизнь, его смерть.

— Слушай, что скажу про тебя,— она всматривается в какую-то невидимую, ей одной понятную нить.— Твоя жизнь,— водит она пальцем над зернами,— ты видишь, вот, вначале такая полная, ясная, вдруг начинает двоиться, течь в разные стороны, как бы двумя ручьями. Один, вот этот, вскоре совсем прерывается, чахнет, вот-вот исчезнет. А вторая ветвь, второй ручей твоей жизни петляет, мечется, разлетается в разные стороны. И опять сливается с первым, образует круг, полноту. Ты спросишь, что это значит? Должно быть, очень скоро ты оставишь свои леса и деревню и начнешь метаться, искать себя сразу на нескольких разных дорогах. И будут у тебя на этих дорогах болезни — вот видишь? — печали, великие разочарования и какое-то то ли затмение, то ли усталость, а вот здесь, где исчезло зерно, ты чуть не погибнешь. Но ты будешь спасен вот отсюда, где кто-то очень верный и любящий следит за тобой. И в конце концов ты прозреешь, обретешь полноту, станешь наконец мудрецом!..

Он смотрит на ее летающую ладонь, на расположение зерен, в которых вещей подземной птицей проклевана его судьба, его жизнь. И вдруг чувствует, что еще немного, и от избытка любви и печали он может вдруг разрыдаться.

— Тетя Поля! — просит Вера, когда эта потеха окончена и овес до зернышка подобран ее цепкими пальцами.— Вы все обещали сундук свой раскрыть, показать наряды. Что у вас там, в сундуке?

Отмахиваясь, отнекиваясь, тетя Поля идет к сундуку, вставляет ключ в курлыкающий музыкальный замок, струнно, пружинно вызвонивший какой-то кузнечный напев. Отворяет горбатую крышку и являет на свет лежалый матерчатый ворох, скопившийся за целую жизнь.

— Чего смотреть? Выбирай!

Они обе, молодая и старая, склоняются к сундуку. В четыре руки извлекают одежды. Ему кажется, что вслед за лежалыми тканями множество лиц мгновенно населяют избу, множество чуть слышных голосов звучат, смеются и плачут.

— Подождите, а вот это, вот это что? — то и дело Вера достает сарафаны и юбки, прижимает к плечам, талии, будто на себя примеряет не одежды, а всю долгую тети Полину жизнь.— А вот это, вот это что?

Подвенечное платье, пожелтевшее, с тряпичной бесцветной розой, прожжено угольком у подола. Русская, с вышитым воротом, с заплатками на локтях рубаха мужа расползлась от сильных взмахов косой, топором, от широких объятий и плясов. Детские башмачки, стоптанные, хранящие память о крохотной быстрой ноге, скользнувшей когда-то по половице с сучком. Гимнастерка с позеленевшими пуговицами, с дырочкой над карманом — для ордена или гвардейского значка. Сукно немецкой шинели, перекроенное многократно, бывшее и детским одеялом, и пальтушкой, и ковриком. Шапки, тулупчик, крашеные нитяные клубки, старые кофты и блузки. И отдельно — проглаженное чистое одеяние на последний путь, завернутое береж-

но в белое полотенце. Тетя Поля рассматривала свой погребальный наряд, строго сжав губы, расправляя сбившуюся ткань.

На дне сундука лежало старинное зеркало в резной деревянной раме с откидной для упора ножкой, тусклое, с облезшей изнанкой, свинцово-туманное, словно время напустило в стекло свой дым.

Они ставят зеркало на стол, подходят втроем и смотрят. Отражаются, как на портрете, серьезные, охваченные одной рамой, запечатленные навсегда.

— Ну что же мы носы-то повесили? — Тетя Поля прибирает ткани в сундук, и вслед за подолами, рукавами и лентами ныряют под крышку растревоженные невесомые духи.— А мы вот что с вами сейчас!

Из угла, из-за печки она выносит черную бутылку с наливкой. Достает из шкафчика зеленые литые лафитники. Ловко, зубами, выдергивает деревянную пробку, обмотанную пропитанной соком тряпицей. Разливает густую, маслянистую, черно-красную наливку.

— А ну-ка, молодые, пригубьте!

Они пьют. Наливка сладкая, терпкая, склеивает губы. Смородиновая ягода чуть горчит. Мгновенный хмель коснулся их разом, разрумянил щеки. Глаза у всех заблестели.

— Тетя Поля,— просит Вера, и ему кажется, жар ее щек палит и его.— Тетя Поля, спойте «В островах охотник...». Ну пожалуйста, спойте!

Той хочется петь, но она отказывается, трясет головой. А Вера ее уговаривает, и тетя Поля начинает сдаваться. Глаза ее расширяются, будто видят иную даль, далекое былое застолье, мужа, родню, гостей. Выпрямляет стан, вытягивается, становится тоньше, легче. Дребезжащим старушечьим голосом, созвучным сучкам в потолке, латунным окладам иконы, линялым на занавеске цветкам, запевает:

В островах охотник цельный день гуляет...

А в нем — вдруг чудный, сладкий удар красоты, любви, грусти. Обожание здесь сидящих, понимание их всех, сведенных в зимней русской ночи, призванных жить на эту благодатную землю. И он, молодой на коне охотник, скачет в дубравах, в лесных островах и угодьях, в темной шляпе с пером, с красной розой в петлице, с ружьецом и в сапожках. А она, его милая, приподнявшись, следит за ним из трав и цветов.

Сидят втроем и поют. Три их голоса. Три цветка на черном подносе. Три ангела на темной иконе.

Вспоминая этот огненно-белый, звездно-блестящий день, он думал потом многократно: что было той силой, которая начинала в нем действовать каждый раз, когда в жизни его наступали покой, соразмерность? Что выталкивало его каждый раз из области испытанного, ясного опыта, ввергало в зыбкий, непроверенный мир, меняющий свои очертания, с тенями и тьмой, грозящих разрушением? Он копил в себе знание о жизни ценой усталости, утрат, черствея душой, обугливаясь и темнея, удалясь от белизны и покоя, быть может для того, чтобы, собрав рассеянную в мире тьму, вернуться с ней в былой свет, превратить и тьму в белизну, превратить в хлеб каменья.

Каждый период его жизни, каждый ее поворот был связан с поступком, в котором проверялась его способность действовать вопреки инерции жизни, его готовность отказаться от очевидных, лежащих на поверхности истин. Он словно готовил себя к какому-то предстоящему в жизни поступку, к грядущему, поджидавшему его огню. К какому, он и сам не знал.

После армии, вернувшись в Москву, жадно, стараясь наверстать проведенное вне книг, вне ученья время, он взялся за свою диссертацию. Воскресил аспирантские черновики и наброски. Библиотеки,

архивы, встречи с маститыми востоковедами, уроки языка. Его резкий, живой, изголодавшийся по знаниям ум утолял свой голод в беседах и спорах, среди идей, проверенных классическим опытом или едва народившихся, сомнительных, готовых исчезнуть под напором практических знаний. Вера работала в школе, добывала деньги на жизнь, давая ему возможность писать диссертацию. И он, встречая ее вечерами, утомленную, побледневшую, огорчался, мучался чувством вины. Снимал с нее пальто, бежал ставить чайник. Укорял себя за их утлый быт, подслеповатую комнату с видом на облезлый фасад, на вечно скрипящий, скрежещущий внизу трамвай.

В Москве, после армии, он застал, как ему показалось, новое состояние мыслей. Среди интеллектуалов, с кем ему выпадало общаться, вспоминались, открывались заново забытые понятия и истины, оброненные на дорогах во время быстрых виражей и движений. Старина, фольклор, деревенская красота, писанная и реченная, вдруг явились в город — собиранием икон и прялок, коллекциями крестьянских игрушек, домашними любительскими хорами, распевавшими песни Севера, обожанием всего, что дышало народностью. Университетские экспедиции и ревнители-одиночки, музейные этнографы и любители-дилетанты отправлялись в Заонежье, на Северный Урал, где чахли оставленные, заброшенные деревни. Привозили в столицу рукописные, времен Аввакума, книги, языческие заговоры и былины. И этот ввоз ощутимо менял городскую культуру, ее цвет, аромат, обращал к традиции, не давая ей исчезнуть и кануть.

И жило, росло другое направление умов, выхватывающее из будущего его скрытые контуры, связавшее себя с реальным социальным процессом — освоением новых пространств, космосом и вытекающими отсюда мышлением, социологией и политикой.

Эти два направления, часто отрицая друг друга, оттачиваясь в полемике, были двумя воплощениями одной и той же задачи — расширить, раздвинуть рамки своего времени, увеличить объем культуры. Он, востоковед, изучавший Китай и Индию, был увлечен российской историей, связанной с Востоком. Гуманитарий, вращавшийся в кружках филологов и историков, книжников и витий, он поверял их домыслы своим опытом, добытым на целине и в армии, и, конечно же, опытом Троицкого.

В ту пору в их комнатке на Селезневке появился искусствовед-реставратор, вечно всклокоченный, белобрысый, в одной и той же брезентовой, испещренной красками робе, в которой тонул на Мезени, когда перевернулась ладья, и он, едва умея плавать, вынес на себе Николу XVI века. Показывал его друзьям, называя свое спасение «чудом о Николе Мезенском». Часто полуголодный, без гроша, добывал для музеев шедевры, выхватывая их то из рухнувшей, открытой дождям часовни, то из брошенной, продуваемой ветрами избы. Его возвращения с севера превращались на их селезневской квартирке в небольшие выставки резного дерева, алых сарафанов, шитых жемчугом кокошников. С годами из суетливого, неухоженного скитальца, подвергавшегося насмешкам знакомцев, он превратился в маститого знатока древней живописи, автора переводимых на многие языки монографий. В его квартире, напоминавшей музей, собирались московские театралы, художники, дорожа его словом и мнением. Кириллов, сохранявший с ним дружбу, однажды застал у него космонавта, пристально, молча изучавшего изображение Ильи-пророка — человек в огненном шаре возносится в небеса.

Он дружил с молодым архитектором-футурологом, резко и зло отрицавшим помпезные здания, похожие на куличи, и уныло-бетонное однообразие новых районов. Его казавшиеся фантазиями проекты Города Будущего напоминали стальные цветы, взмывали в небо, отрывались от земли, сохраняя на ней живую природу. Его пророчества о соседстве журавля с самолетом, луга с заводом, о поселе-

ниях на дне океана и в космосе казались разноцветными, похожими на заонежские сказы утопиями. С годами из непризнанного, отвергаемого чудака, обивавшего пороги архитектурных мастерских, он превратился в резкого, волевого, с жестким изнуренным лицом строителя, возводящего в пустыне свой Город. Опреснитель, электростанция, сверкающие сооружения из бетона и стали, спасающие человека от злой радиации солнца, искусственно взращенные сады, бассейны — Город, откуда мобильные десанты устремлялись в пески за нефтью, золотом, никелем. Фантастическая, действующая в пустыне машина, вызывающая в памяти читанные когда-то книги о марсианских городах.

Бывал у них джазмен, наполнял дом звучанием своего саксофона. Он стремился, как говорил, в джазовых ритмах выразить славянскую музыкальность. Он так и сошел в безвестность со своими этюдами. Появлялся психолог, изучавший психологию толпы, ставивший свои эксперименты на площадях в часы пик, у проходных заводов, на митингах и демонстрациях. Также канул в безвестность.

К ним в дом стал захаживать немолодой известный писатель. Кириллову нравились его изящные, остроумно-ироничные новеллы, которые он дарил им с Верой, оставляя дружеские дарственные надписи. Нравились его манеры, седые красивые волосы, черно-серебряный перстень, небрежно поставленная в их заросшем дворе машина. Кириллову казалось: писателя привлекает их молодой, неугомонный дом, хоровод вечеринок, разномастный люд, яростные споры в застольях. Он строит здесь, моделирует мерцавший, как он говорил, новый роман.

Однажды Вера сказала, что писатель любит ее, зовет к себе, и она просит ее простить. Она устала от вечной неустроенности, убогого быта, этих сборищ, похожих на взрывы шутих, после которых — пустота и груда немытой посуды. Устала от неуверенности в завтрашнем дне, который, она знает, обернется какой-нибудь его новой выходкой, поездкой куда-нибудь в Арктику или к бурятским буддистам. Просила не винить ее, забыть Троицкое, забыть, что она есть на свете.

Месяц без нее как непрерывная — в душе, в костях, в сердце — боль. Ужас от того, что случилось. Чувство несчастья. Чувство сокрушившей его беды, когда образом этой беды стал ее поясок, забытый в шкафу, подворотня с голубым фонарем, где, казалось, недавно ее целовал, весь город, где в каменном кольце завернута, существует, живет его неистребимая боль.

Она вернулась через месяц, встала на пороге в темном, нарядном платье, с тоненькой цепочкой на шее. Сказала, что из театра. Что случившееся было безумием, наваждением. Он может ее ударить. Она страшно перед ним виновата. Не просит прощения. Просто пришла об этом сказать и сейчас уйдет. Любит его.

Он почувствовал, что наступило для него исцеление. Боль исчезла. Испытывал к ней нежное до слез бережение, жалость, робеющую, боящуюся себя обнаружить любовь. Грел ей чай, сушил ее промокшие туфли, набрасывал на плечи свой мохнатый, вязанный ею шарф. И Москва за окном туманилась, двоилась в осеннем дожде. Он обнимал ее, чувствуя, что они прошли еще один огненный, данный им в испытание срок, что-то спалив в нем бесследно, сохранив неопалимое. За дождями, туманами кто-то смотрел на них, любящий, из далекого белого дня, запевал негромко: «В островах охотник...»

Глава четвертая

Утром они сидели с Сом Кытом на галерее в теплой розовой тени. Щурились на брызги колючего белого солнца в листве. Изучали истертую туристскую карту. Сом Кыт вычерчивал Кириллову пред-

стоящий маршрут к границе: от Баттамбанга к Сисопхону и севернее, к пограничной черте, а оттуда — в Сиемреап к Ангкору. Тхом Борет, офицер безопасности, принес на очках два маленьких ослепительных солнца. Стиснул Кириллову руку своей твердой беспалой ладонью.

— А мы здесь, как видите, подсчитываем километры, запасы продовольствия и пресной воды,— пошутил Кириллов, ненавязчиво, сквозь смех, изучая изможденное лицо, на котором при свете дня виднелись слабые оспины и надрезы, словно древние отпечатки на кремне.— Сколько езды до границы?

— До самой границы нам вряд ли удастся доехать,— угадывая просьбу и любезно отказывая, сказал Тхом Борет.— По-видимому, только до Сисопхона или чуть севернее. Дальше ехать просто опасно. Вокруг Сисопхона, я сказал вам вчера, действует несколько банд. Каждый день нас извещают о случаях террористических актов. Передвигаться по дорогам даже днем рискованно. Трудно обеспечить безопасность.

— Какие сообщения о терроре поступили за последние сутки?— Кириллов продолжал изучать Тхом Борета. Ему казалось, что твердая кремневая оболочка лица — лишь верхний, недавно застывший слой, под которым, с трудом удерживаемая, кипит горячая магма. К ней, не окаменевшей, к невидимой человеческой сущности ему хотелось добраться.

— Вчера в Сисопхоне обстреляли дом председателя уездного комитета. Позавчера, я, кажется, вам говорил, разрушили дамбу. Сегодня утром мне сообщили: севернее Сисопхона подорвалась на мине машина ЮНИСЕФа. Шофер в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Представительница ЮНИСЕФа, женщина, убита взрывом.

— Итальянка? — вырвалось у Кириллова.— Та, что жила здесь, в отеле?

— Да,— ответил хладнокровно Тхом Борет.— Она покинула отель вчера утром. Видимо, мину заложили незадолго до появления машины. Возможно, организовано покушение специально на нее.

— Почему? С какой целью? — Кириллов, пораженный, глядел вдоль галереи, туда, где виднелся знакомый маленький столик под ветками. Он увидел их, недавно здесь сидевших, и ее лицо между светом и тьмой, блеск белых, открывавшихся в смехе зубов, и внезапное ее побуждение, когда она жарко коснулась его руки, словно что-то предчувствовала, от чего хотела спастись, призывала его на помощь.— Кто она? Вы о ней что-нибудь знаете?— спрашивал он Тхом Борета.

— Нам кое-что известно о ней. Она жила при Сиануке в Пномпене, была женой офицера генерального штаба. Муж ее был убит при Пол Поте, а ей удалось спастись. Она жила в Таиланде, была тесно связана с группой националистов. Похоже, под эгидой международной благотворительности снабжала их продовольствием, медикаментами, а также оружием. В Пномпене пыталась войти в контакт кое с кем из оставшихся прежних друзей. Может быть, ее гибель — простая случайность. Но, может быть, кто-то третий следил за ней, решил ее убрать. Группировки Пол Пота, Сон Сана и прочие стремятся объединиться в коалицию, но это лишь внешне, формально. Между ними по-прежнему происходит борьба — за власть, за оружие, за продовольствие. Возможно, убийство итальянки — следствие этой вражды. Все это предстоит еще выяснить.

Кириллов думал: вот еще одна жизнь, прошедшая сквозь катастрофу, колеблясь на рубеже света и тьмы, не смогла одолеть этот рубеж, канула в тьму.

Ожидали машины. Кириллов осторожно, чтоб не показаться навязчивым, расспрашивал Тхом Борета об обстановке в районе гра-

ницы. Сверял свои собственные представления и данные, полученные в столице, из посольских источников, с этими, непосредственными, из зоны борьбы, от участника этой борьбы. Его интересовали лагеря террористов, укомплектованные японскими сборными домами, западногерманскими кухнями, американскими медпунктами,— там велась подготовка боевых контингентов, иностранцы-инструкторы преподавали навыки диверсионной борьбы, учили пользоваться взрывчаткой для подрыва мостов, инфракрасными зенитными миниракетами «ред ай». Он расспрашивал Тхом Борета, старался запомнить названия и цифры, лучше понять тактику террористических действий — то, как противник, не считаясь с потерями, засылал в кампучийские джунгли боевые отряды; в горных, труднодоступных пещерах с источниками пресной воды устраивал тайные базы и оттуда мелкими группами наносил удары, перехватывал на проселках одиночные машины, истреблял в деревнях активистов. Тхом Борет отвечал на расспросы подробно и внятно, произносил названия деревушек, речек и гор, насыщал ответы статистикой. Впрочем, до известной черты, за которой начиналась область профессиональной секретности: замышлялись и длились неоконченные еще операции, уходили разведчики в стан врага, устраивались засады в горах, шли непрерывные кровавые стычки — изнурительная для обеих сторон борьба.

— Вы так хорошо знаете местность, мельчайшие горки, деревеньки,— сказал Кириллов, благодарный за сведения.— Вы, наверное, родом из этих мест? Из Баттамбанга или Сиемреапа?

— Нет,— сказал Тхом Борет, ослепляя его маленькими стеклянными солнцами, и лицо его в мельчайших надколах напоминало кремневый, прошедший обработку наконечник.— Я родился и жил в Пномпене. Но в этих местах пять лет назад я партизанил в отрядах «кхмер руж». Был командиром отряда. Поэтому знаю провинцию. Должно быть, теперь именно поэтому мне поручили район.

Кириллов не удивился. Он знал: многие из бывших командиров «кхмер руж» порвали с Пол Потом, возглавили антиполпотовскую революцию, занимают видные посты в партии и правительстве.

— Простите мое любопытство.— Кириллов, по роду журналистской профессии привыкший добывать информацию, знал, что в этой израненной стране судьбы тех, кто давал информацию, тоже были информацией и свидетельством. В каждой отдельной судьбе была выжжена, как клеймо, катастрофа. Подозревая подобное и в жизни Тхом Борета, Кириллов повторил свой вопрос: — Как вы пришли в безопасность?

— Я здесь воевал с войсками Лон Нола и первый вошел в Баттамбанг,— Тхом Борет отвечал с прежней сдержанной откровенностью, будто не делал различия между информацией служебной и личной: все — и служебное и личное — входило в контекст борьбы.— Когда мы штурмовали город, мне приказали взорвать у монастыря мост через реку и отрезать гарнизон неприятеля. Я взорвал этот мост вместе с караулом солдат. Когда мы сражались в джунглях, мне приказали напасть на колонну броневиков. Я напал на колонну, сжег пять машин и сам из пулемета расстреливал убегавшие экипажи. Но когда мы вошли в Баттамбанг и город был уже наш, мне приказали разрушить монастырь, в котором укрылись монахи, и я отказался. Потом мне приказали расстрелять врачей и раненых в госпитале, и я опять отказался. Я знал, что в городах, таких, как Пномпень, Баттамбанг, засело много грязных, продажных людей, спекулянтов, грабителей. Там свили гнезда шпионы, убийцы, и мы их должны уничтожить. Но когда один за другим стали поступать приказы убивать инженеров, учителей, архитекторов, я отказывался их выполнять. Меня арестовали, обвинили в связи с Вьетнамом и отправили в Пномпень, в Туолсленг.

Рассказ Тхом Борета был не исповедью, а как бы обычным отчетом, перечнем неких сведений, быть может, полезных другому. Кириллов слышал множество таких отчетов за годы работы в Кампучии, улавливал в них нарастание — с партизанской поры — народных надежд, стремление в новое общество, добываемое силой оружия, общество, в котором сбылись бы пусть неясные, пусть фольклорные представления о правде, добре. И потом, после победы Пол Пота, падение этих надежд до нуля, до отчаяния, до самого дна катастрофы — в ужас, в биологию выживания, в смерть.

— Меня привезли в Туолсленг и поместили в отдельную камеру. Стали выведывать мои связи с вьетнамцами, требовали, чтобы я назвал имена и явки. Мне показывали фотографии каких-то людей и спрашивали, знаю ли я их. Я никого не знал. Меня сначала просто били. Потом привязывали к кровати лицом вверх и жгли лицо и тело раскаленными железными палочками. Однажды ко мне привели вьетнамца. Спросили, знаю ли я его. Я его не знал. Тогда меня забили в колодку, закрепили недвижно руку и отрубили пальцы. Вылили на них банку спирта, и я потерял рассудок, несколько недель был в состоянии безумия. Когда я опомнился, меня снова повели на допрос. Поставили передо мной человека с лицом, сожженным паяльной лампой, и спросили, знаю ли я его. Я ответил, что нет. Тогда они привязали меня к столбу, привели в камеру мою жену, с которой, воюя в джунглях, я не виделся несколько лет. Спросили, знаю ли я ее. Я сказал, да, знаю, это моя жена. Они раздели ее, привязали к кровати и спросили, стану ли я наконец говорить. Я умолял пощадить жену, потому что я действительно ничего не знаю. Они клещами оторвали ей оба соска, и я видел, как брызнула кровь, и жена закричала, и лицо ее было как яма, полная смерти. Один из них достал маленькую стальную коробочку, раскрыл ее над грудью жены, высыпал на нее желтых сороконожек, которые, как только почуяли запах крови, кинулись и впились в ее оторванные соски. Это последнее, что я помню,— кричащую жену и ядовитых изогнутых сороконожек, впившихся в ее раны. Я потерял разум, был как безумный. Не знаю, почему они меня не убили. Меня освободили вьетнамцы. Когда я поправился, мне предложили бороться с Пол Потом, и я согласился.

Он умолк. Его кремневое, оббитое на страшной наковальне лицо было бескровным. В очках дрожали два слепящих жестоких солнца, на которые было невозможно смотреть. Кириллов, сострадая, принимая в себя его боль, одновременно думал, сколь беспощаден он должен быть к врагам, какую ненависть видят враги сквозь стекла его очков.

Во двор отеля въезжала «тойота». Шофер, опуская стекло, махал, приглашая садиться.

Мимо охранника с автоматом они въехали в просторный, засаженный деревьями двор с дощатым двухэтажным строением, похожим на надвратную башню. Ворота под башней, ведшие в другое, существующее за зданием пространство, набранные из толстых, окованных железом досок, были заперты. Перед ними стоял второй часовой, висел флаг республики с зубчатой эмблемой Ангкора.

— Здесь что?— спросил Кириллов, оглядывая цветущие кусты, посыпанные песком дорожки, нарядно раскрашенный флигель — все словно в сквере для прогулок — и угрюмые двери, от которых веяло тюрьмой и неволей.

— Здесь лагерь для перевоспитания пленных,— ответил Тхом Борет.— Пленные проходят здесь трехмесячный курс перевоспитания. Затем мы отпускаем их домой. Сегодня как раз выпускаем очередную партию в шестьдесят человек... Прошу вас сюда,— указал он на флигель.— Здесь вам покажут пленных.

Они уселись за пустым деревянным столом в прохладной, продуваемой ветром комнате. Солдат внес, прижимая к груди, тяжелые, как булыжники, кокосы, обрубленные с макушек, с торчащими пластмассовыми палочками, поставил их перед каждым. Кириллов, постоянно испытывающий жажду, потянул в себя непрерывную сладковатую струйку сока.

Отворилась дверь. Солдат впустил человека, сутулого, с длинной костлявой шеей, с черной нечесаной головой. Глаза исподлобья бегали пугливо. В вялых, опущенных углах рта, в крупных перепачканных руках была усталость, неуверенность. Человек не знал, как и куда поместить худое, неумелое тело.

Тхом Борет властно, кивком, указал ему место напротив, словно толкнул его блеском своих очков, и тот послушно, торопливо сел. Тхом Борет пододвинул ему кокос с трубочкой, но тот смотрел, не понимая, на плод, и Тхом Борет коротко, жестко приказал ему: «Пей!», и тот пугливо схватил губами трубочку, слабо зачмокал и тут же отпустил ее. Уставился в доски стола, выложив перед собой пальцы с нечищеными ногтями.

— Он был взят в плен два месяца назад,— сказал Тхом Борет.— Он из полпотовской банды. Вы можете с ним побеседовать. Второй— он там, за дверью,— из группировки Сон Сана. И с ним побеседуете. Что-нибудь нужно еще?

— Нет, спасибо,— ответил Кириллов, переводя взгляд на Сом Кыта, бесстрастно взиравшего на полпотовца, быть может, одного из тех, кто у сухого канала убил мотыгой его детей, и на Тхом Борета, чья воля и власть над пленным выражались в стиснутом, беспалом, выложенном на стол кулаке. Между ними троими пульсировало неисчезнувшее электричество пронесшейся над Кампучией грозы, обуглившей их всех. И Кириллов, вовлеченный в поле их отношений, чувствовал его как ожог.

В предстоящей беседе ему, журналисту, хотелось выяснить, кто он теперь, солдат разгромленной полпотовской армии. Каков он, боец «кхмер руж», недавний хозяин страны, палач и насильник, выбитый за ее пределы? Стараясь тоном, голосом, выражением лица снять ощущение допроса, мысленно экранируя пленного от солдата у двери, от полевого телефона с блестящей ручкой, от колючей жесткой оптики Тхом Борета, он стал спрашивать, пытаясь заглянуть в темные бегающие глаза человека.

— Простите, кто вы? Я бы хотел узнать ваше имя, откуда вы родом?

Пленный медленно поднял глаза, посмотрел на его чужое, некхмерское лицо, пытаясь сочетать его с кхмерской речью, с видом двух других, грозных для него соотечественников. Не смог, потупился, отнеся это ко всему остальному, случившемуся с ним, не имевшему объяснения.

— Мое имя Тын Чантхи,— тихо ответил он.— Мне двадцать семь лет. Я из деревни Трат, она тут, под Баттамбангом.

Он снова беспокойно забегал глазами, передвинул было лежащие на столе руки, опять торопливо вернул их на место, словно боялся выйти из отпущенного ему пространства.

— Значит, вы крестьянин? Занимались сельским хозяйством?

— Да,— был тихий ответ.

Кириллов, оглядывая его сутулые плечи и впалую грудь, сравнивал его с теми, кого видел в полях, на обочинах, роющими колодцы, ремонтирующими двуколки и сохи, таскающими кули с посевным зерном. Перед ним был точно такой же крестьянин, один из тех, во имя которых сначала освобождалась страна, совершалась революция, именем которых затем разрушался Пномпень, убивались другие крестьяне, в чьи руки, отодранные от сохи и мотыги, вложили автомат, кто, потрясенный, со смущенной душой, спутанным, ом-

раченным сознанием, ждал теперь своей участи на разоренной, измученной родине.

— Как вы попали в боевые отряды Пол Пота?— спрашивал Кириллов, делая освежающий глоток кокосовой влаги.

— Как? — переспросил он и, помедлив, ответил: — Это было почти год назад. К нам в деревню пришли из леса вооруженные люди. Стали ходить по домам, всех выводить на улицу. Силой увели нас с собой. Нас было сорок мужчин и восемь женщин. Нас всех увели в Таиланд и включили в войска.

Кириллов знал: банды Пол Пота под ударами вьетнамских и правительственных войск теряют солдат, тают от эпидемий и голода. Пол Пот теперь не истребляет людей, как бывало, не избавляется, как он заявлял, от излишков населения. Теперь он охотится за людьми, силой вербуя их в банды, где каждый солдат на учете.

— Я хотел вас спросить. «Красные кхмеры» всегда говорили, что они защищают бедных крестьян от богачей, от Сианука, Лон Нола. Теперь, когда «красные кхмеры» заключают союз с Сиануком, что они говорят об этом своим солдатам? Что они вам говорили?

Человек ответил не сразу, и в ответе его чувствовалась все та же душа, похожая на костровище с уцелевшей по краям путаницей обугленных веток, с дырой черного пепла посредине.

— Мы никогда не любили Лон Нола и Сианука. В нашей деревне были на стороне партизан. Мы помогали «красным кхмерам», когда они к нам приходили. Давали им рис, мясо, одежду. Мы радовались, когда они победили, когда партизаны вошли в Баттамбанг и Пномпень. Мы думали, у нас станет больше земли и мы перестанем платить налоги. Но нас выгнали из нашей деревни, переселили на болота и сказали, что мы теперь «ударная бригада». Нас там заставляли работать по тринадцать часов и не давали еды. Тогда очень много наших людей погибло от малярии и голода, и я понял, что «красные кхмеры» принесли нам несчастье. Нас освободили вьетнамцы и распустили всех по домам. Я вернулся в деревню, из старых досок построил дом и думал, что смогу спокойно работать. Но меня опять силой прогнали из дома, увели в Таиланд. Нам говорили наши начальники, что мы должны бороться с вьетнамцами; все кхмеры должны с ними бороться, потому что они захватили Кампучию, отнимают у крестьян рис, а народ голодает. Мы стреляли во вьетнамцев, минировали дороги, по которым шли их войска. Много наших людей погибло, а я рад, что попал в плен. Здесь мне объяснили в беседах и лекциях, что вьетнамцы спасли нас от режима Пол Пота, они наши друзья и не желают нам зла.

Так говорил, запинаясь, бегая глазами, кампучийский крестьянин, чье сознание, знающее лишь труд на красноватых пашнях, деревенские праздники и моления в пагоде, было смято встречными ударами пропаганды.

— Чему вас обучали в Таиланде?

— Мы учились стрелять из минометов и автоматов. Учились минировать асфальтовое шоссе и обычную земляную дорогу. Женщин обучали минометной стрельбе и минированию. А детям, кто был моложе шестнадцати, показывали только автомат.

— А зенитные ракеты «ред ай» вам не показывали? Вы знаете, что такое американские тепловые ракеты?

— Нет, я их не видел. Но некоторые их учились пускать. Они похожи на небольшие базуки, стреляют с плеча. Они чувствуют в небе горячие моторы.

Еще раз подтверждалось: полпотовцы переживают нехватку людей. Идет тотальная мобилизация в деревнях, в бой бросаются все, кто в силах держать оружие.

— В каких боях вы участвовали? — Кириллова интересовала тактика лесных сражений.

— Только в двух,— поспешил он ответить.

— В каких?

— Один раз мы подкрались к вьетнамскому командному пункту. Установили на горах, в трех разных местах, минометы. И в сумерках сделали три выстрела, с разных сторон, чтобы они не могли определить направление. И тут же ушли. Не знаю, какой мы им причинили вред, но они в темноте нас не преследовали. Второй раз мы заложили на дороге мину, ждали, когда проедет машина. Проехал большой грузовик с военными, но мина почему-то не взорвалась. В других боях я не участвовал.

— Как вы попали в плен?

— Сам пришел и сдался,— он взглянул на Кириллова первый раз прямо, словно умолял его верить.— Положил свой автомат.

Кириллов смотрел на «красного кхмера». Это был не тот закаленный в партизанских боях, выносливый, фанатичный, знающий свои цели и средства боец, что входил победно в Пномпень, сознательно, испытывая ненависть ко всему, что выше и сложнее его, участвовал в истреблении города, без тени сомнения убивал ударом мотыги, гнал на каторгу в малярийные топи своих соотечественников, а когда от границы двинулся вал вьетнамцев, отстреливался до последней пули, бросался с гранатой под танк. Тех фанатиков почти уже не осталось. Они были выбиты в кровавых боях. Их место заступили вот эти взятые в облавах крестьяне, страшащиеся вида оружия, кидающие его при первой возможности. Группировка Пол Пота еще существовала и действовала, еще держалась иностранным оружием, знаниями чужеземных инструкторов, но таяла, исчезала, была уже армией прошлого. Подобно иным разгромленным воинствам, выброшенным за родные пределы, была обречена на погибель. Она еще стреляла, взрывала, но бессильна была победить. Ее затронули разложение и упадок. Вот какую весть нес на своем лице этот пленный, не знающий, куда поместить свое изнуренное тело, свою измученную душу.

— После того как вы пройдете перевоспитание, чем бы вы хотели заняться?

— Я? — переспросил человек, словно изумляясь вопросу.— Я бы хотел вернуться в мою деревню и пахать землю.

Кириллов отпустил его, глядел вслед в сутулую спину. Всей душой желал ему счастья. Мысленно видел его, согнувшегося над сохой, идущего в борозде за парой круторогих быков.

Он провел опрос еще нескольких пленных и среди них — члена националистической группировки Сон Сана, хотел определить их моральный дух, готовность к сопротивлению, но нового не узнал. Подтвердилось общее, из первой беседы почерпнутое впечатление: военный процесс в стране завершился и лишь локально и искусственно поддерживался Западом и его союзниками для создания очага напряженности, для перенесения «кампучийской проблемы» в русло активной антивьетнамской и антикхмерской политики.

— Вы закончили? — спросил Тхом Борет, не вмешивавшийся в разговор, лишь иногда, когда пленный умолкал в нерешительности, одним блеском своих очков понуждая его говорить.— Если вы не устали и если вам интересно, можете посмотреть, как мы отпускаем пленных.

Кириллов согласился и, продолжая на ходу укладывать в памяти добытые сведения, вышел с остальными на солнце.

На земле, на солнцепеке, перед зданием с флагом рядами сидели люди в одинаковых позах, с одинаковыми смоляными волосами. Разом, словно птицы, они повернулись при появлении Тхом Борета и остальных, следили многоглазо и зорко за их приближением.

Перед сидящими возвышался стол. На нем лежала кипа бумаг. Темнел закрытый ящик, похожий на ларь. Блестела металлическая миска. Кириллов и Сом Кыт пристроились в тени. Тхом Борет в форме, перехваченный ремнями, блестя очками, прошел к столу, к другим военным, вытянувшимся перед ним. Снял очки, погасив два слепящих луча, стал близоруко щуриться. Лицо его утратило жесткость, было теперь не кремневым, а просто усталым и серым. Стоял у стола изнуренный больной человек, готовясь что-то сказать.

— Вы,— начал он, и голос его был не для команды, не для ораторской речи. Не было в нем приказа и окрика, а почти просьба.— Я очень рад вам сказать, что с этой минуты,— он посмотрел на часы,— вы больше не пленные, не солдаты врага, а свободные люди, как я, как вон те, что идут за оградой. Вы — граждане Кампучии, такие же, как и весь народ.

Сидящие не издали ни звука, только потянулись к нему глазами, жадно, остро, словно проверяли, словно искали подтверждения словам, а один, очень юный, тряхнул черно-блестящей копной волос, оглянулся на близкую улицу, где за оградой сновала толпа, мчались велосипедисты.

— Вы все,— продолжал Тхом Борет,— видели много горя. Вас заставляли делать зло другим людям, заставляли убивать, мучить, взрывать. В народе, в деревнях еще плачут вдовы убитых вами мужчин. Еще голодают дети, которых вы сделали сиротами. За ваши поступки можно было бы вас судить, строго наказать, может быть, даже убить. Но нельзя убивать бесконечно. Нельзя кампучийцам бесконечно убивать кампучийцев. Зло должно быть остановлено. Кто-то должен не сделать ответного выстрела и оставить патрон в патроннике. Наша власть не желает вам мстить. Слишком много было убито за эти годы, и мы не хотим убивать. Мы говорили с вами об этом много раз. Вы соглашались с нами. Вас ждет земля, ждут ваши родные и ваши дети, ждут ваши соседи, вас ждет родина, которая забыла вашу вину и помнит только одни пережитые вами несчастья. Идите сейчас домой и не несите с собой злых мыслей. Отдохните хорошенько и принимайтесь за работу. Теперь только работа, только братская помощь друг другу помогут забыть беду. Сейчас вам выдадут деньги и рис. Тот, кто живет дальше от города, у кого дорога длиннее, получит больше риса. По приезде домой вам хватит еды на три дня, а потом приступайте к работе. Счастливой дороги и доброго Нового года.

Они захлопали. Отросшие волосы на их головах заколыхались, как перья. Тхом Борет стал выкликать по списку. Каждому, кто подходил, выдавали из ящика деньги. Зачерпнув из мешка алюминиевой миской, сыпали рис кому в платок, кому в перетянутую узлами рубаху, в изношенные ветхие ткани, в которых они пробирались в лесах, стреляли, которые стелили под себя на ночлегах, накладывали вместо бинтов на ожоги и раны.

Кириллов вспоминал слова Сом Кыта о преодолении тьмы. Видел: Тхом Борет, изведавший страшное зло, остановил его на себе, не пустил его дальше, закрыл своим искалеченным телом огромный, клокочущий желоб, сквозь который втекает в мир зло. И оно, остановленное, бурлило где-то поблизости, не в силах залить этот солнечный двор с красным флагом на башне, с зубчатым силуэтом Ангкора.

Люди, получив свой рис на дорогу, шли к выходу, топтались у раскрытых ворот, словно боясь пересечь черту, все ту же черту между светом и тьмой. Переступали, убыстряли шаги. Почти бежали. Влетали с разбегу в толпу. Становились толпой, народом.

К воротам, где стояла их белая, готовая к движению «тойота», подъехал «уазик» с военными. Солдаты с гранатометами через плечо, с автоматами вышли, стали прогуливаться.

— Охрана пришла,— сказал Тхом Борет.— Можем ехать к границе.

Они погрузились в машины. Кириллов и Тхом Борет — в «уазик», а Сом Кыт с солдатами — в «тойоту». Двинулись через город, очень скоро сменившийся полями, рощами, в которых параллельно с шоссе тускло блестела, струилась железнодорожная колея.

Кириллов издали старался определить состояние дороги. Желтела полузаросшая насыпь. Мелькали маленькие аккуратные мосты. Солнце непрерывно бежало в стальном натянутом рельсе. Дорога, он это знал, вела к границе. В мирное время она служила сообщению и торговле. Во время войны была блокирована, потеряла весь парк вагонов и тепловозов, но оставляла возможность для быстрой переброски войск и припасов.

Кириллов смотрел в окно, ждал появления придорожных сел, которые обнаруживали себя сначала все учащающейся ездой велосипедистов, потом пешеходами с тюками, корзинами, мотыгами на плечах, и, наконец, близко к обочине возникало село, свайные хижины, пальмы, дым очагов и жаровен. Близость Нового года, его канун ощущались в нарядных, чистых, иногда ослепительно-ярких одеяниях женщин, в цветах, украшавших дышла воловьих упряжек. На хижинах обильно, празднично висели красные флаги. В пальмах на высоких шестах волновались двухвостые змеи. На одном перекрестке толпа шумно играла огромной раскрашенной куклой, колыхавшей белой красноглазой башкой. Кириллов махнул рукой тонкобедрой женщине, поймав ее молодой любопытный взгляд. Но среди оживления и праздничности, словно легкие набегавшие тени, все чаще начинали мелькать люди в солдатской форме. Солдаты при виде их кавалькады еще издали начинали вглядываться, узнавать, подымали полосатую, преграждавшую путь перекладину. У перекрестков были отрыты траншеи, иногда пустые, но чаще с солдатами, разморенными, но не дремлющими, вооруженными. Блеснул вороненым стволом зенитный, без чехла, пулемет. Кириллов чувствовал, что по мере приближения к границе их захватывает постепенно нарастающее поле тревоги.

— Вот здесь,— показал в окно Тхом Борет,— вот здесь итальянка погибла.

Кириллов окунул лицо в тугой пыльный воздух, увидел брошенный на обочину, разорванный белый корпус «тойоты» с синим закопченным клеймом. Чужая гибель и боль, к которым он прикоснулся, приняли образ женщины — она пустилась следом за ним, чуть касаясь травы ногами, с приподнятой в беге струей волос, отстала, пропала вдали... Дрожание раскаленного воздуха. Растрепанные зеленые пальмы.

Они въехали в Сисопхон, в солнечную разноцветную пыль, увязая в запруженных улицах. Пробивались гудками, катили среди ленивых телег, колыхающихся воловьих голов. В прохладной, с развевающимися занавесками комнате встретились с председателем народно-революционного комитета, встревоженным, неуверенным, тем самым, кого террористы обстреляли накануне в его собственном доме. И беседуя с ним, Кириллов все представлял рассекаемое очередью оконное стекло, брызги посуды, женские истошные вопли.

Председатель неохотно и скупо, словно не зная, чем обернется для него эта беседа, объяснял, что взрывы дамб и каналов враги предпринимают для того, чтобы создать искусственный голод и таким способом направить народ в Таиланд на заработки. Там, в Таиланде, их перехватят и загонят в лагеря и военные центры.

— Народ,— председатель немного оправился и стал разговорчивей,— народ приходит в комитет и просит построить в селах школы, больницы, а враги являются из Таиланда и уводят с собой целые селения.

Еще он сказал, обретая уверенность, возмущаясь, что бандиты не только стреляют, а занимаются грабежом, контрабандой. Из Кампучии в Таиланд течет поток серебра, драгоценностей, старинной буддийской бронзы и скульптур из храмов. Бандиты проникают в старые храмы, откалывают молотками головы маленьким каменным буддам и в Таиланде продают их за доллары. Много ценностей уплывает из Кампучии в Европу, Америку.

Председатель встал, прошел в угол комнаты, сдернул со стола покрывало. И Кириллов увидел лежащую навзничь обломанную статую с улыбающимся тихим лицом, желто-черные ритуальные колокольчики с отлитыми фигурами крылатых танцовщиц. Взял осторожно один, тряхнул и поставил. В воздухе долго и нежно продолжало звенеть.

Все это отобрано у бандитов, сказал председатель. Но главная беда крестьян, продолжал он, это обстрелы пограничных селений из таиландских орудий. Гибнут люди, скот, посевы. Поэтому после множества жертв власти решили убрать людей от границы, звакуировать все села на двадцать километров в глубь территории. А зто большая для народа мука. «Большая мука»,— повторил он со вздохом.

Они выехали из Сисопхона, и за городом шоссе в направлении границы быстро опустело. Только редкие и, казалось, испуганные велосипедисты шарахались от их машины, и слева тускло светилась пустая железнодорожная колея — продернутая в полях и рощах замолкшая струна.

Впереди запылило. Они нагнали железную гусеничную громаду транспортера. На броне сидели вьетнамцы в пробковых шлемах, в грязных намотанных на шеи тряпицах, защищавших их от москитов. Транспортер был американский, видимо захваченный в Южном Вьетнаме, грыз теперь гусеницами шоссе у границы с Таиландом. Кириллов успел разглядеть соскобленную краску с брони, где было клеймо США, а в люке — усталое, желто-серое лицо водителя.

Чем ближе подвигались к границе, тем чаще попадались войска. Разболтанные пятнистые грузовики, тоже американские, везли зеленые снарядные ящики. Прокатила батарея пушек, щитки орудий были исцарапаны и избиты, завешены вялой, сорванной недавно листвой. Проехала санитарная машина с крестом, рядом с водителем сидел солдат, и голова его была забинтована. Они уже были в зоне опасности, в зоне сгустившейся тьмы.

Внезапно «уазик» качнуло, поволокло, заколотило на выбоинах. Водитель остановил машину, что-то сказал Тхом Борету.

— Колесо спустило,— пояснил тот Кириллову.

Вышли, захватив автоматы. Обе машины встали на пустынном шоссе. Солдаты разминались, довольные паузой. Шофер возился с домкратом. Тхом Борет, извиняясь, сказал:

— Десять минут, не больше!

Кириллов был рад остановке. Решил пойти к железной дороге, взглянуть на нее своими глазами. Перепрыгнул кювет. По растрескавшейся почве двинулся на блеск колеи, чувствуя, как вслед ему смотрят, тревожась о нем, Тхом Борет и Сом Кыт, как солдаты сжимают оружие, оглядывая пустое пространство.

У насыпи, окруженный зеленью, сочился крохотный ручеек. Перескакивая его, Кириллов успел заглянуть в его мелкое светлое дно, спугнул с травинки прозрачную водяную стрекозу. И ее наивный, лучистый полет породил в нем забытое, детское чувство: ручеек был похож на другой, подмосковный, на их давней даче.

Колея уходила в обе стороны прямо, пусто, тронутая не ржавчиной, а словно смуглым загаром. Бетонные шпалы с металлической крепью были в хорошем состоянии, но начинали прорастать хрупкой, кол-

кой травой. Он прикоснулся к нагретому рельсу, смотрел в пустую, с вонзившейся сталью даль, голубую и волнистую у горизонта.

Его потянуло к ручью. Он спустился к воде, засмотрелся на желтое придонное дрожание песчинок, на слюдяное порхание стрекозки. И вдруг сладостное телесное чувство посетило его на безымянном километре азиатской дороги...

Из лучей, из блеска воды воссоздался забытый день. Мать с этюдником сидит на берегу заросшего пруда. Мокрый лист акварели повторил желто-белую, на той стороне, усадьбу, кажется, Суханово. Он застыл на бегу, поймав материнский, медленно-грациозный взмах кисти, испытав к ней мгновенный прилив нежности, любви, ему захотелось, чтоб она оглянулась, заметила в нем эту нежность. Кинул в воду камень, желая привлечь внимание,— и только испугал ее, раздосадовал.

Мать, не старая, не больная, впадавшая в забытье, в беспомощную несчастную сумрачность, а другая, ранняя, молодая, из детства, с прекрасным темнобровым лицом, расчесанная на прямой пробор, в том синем с прозрачными пуговицами платье, от которого по дому лился тонкий чудный запах духов. Этот запах связался в нем до конца со страницами старинных книг и альбомов, с деревянной скрипучей лестницей в Доме архитектора, спускаясь по которой вдруг попадаешь в серебряное сияние огромного зеркала, с дворцом в Кускове, где снег, янтари драгоценного паркета и бирюза застывшего, иссеченного коньками пруда, с полуразрушенной церковью в Раздорах, наполненной свежим сеном, куда ухнул из-под купола до самого пола.

Он вспоминал теперь мать всю разом, за все выпавшее им в совместной жизни время, молодой и старой одновременно. Вспомнил, как читала она ему, больному, про первый бал Наташи Ростовой, и корешок недавно купленной книги золотился сквозь легкий жар, и уже навсегда слились в его памяти и вальс Наташи, и влюбленность князя Андрея, и склоненное родное материнское лицо. Много лет спустя, когда мать болела и он к ней приходил, ухаживал за ней, поил чаем, бегал за лекарством в аптеку, раскрыл он их рассохшийся книжный шкаф и увидел «Войну и мир», потрепанную, с облезшей на корешке позолотой. Отыскал первый бал Наташи, стал читать матери. Она сначала противилась, потом увлеклась, благодарно ему улыбалась. А он, читая, возвращал ей через много лет ту полученную им энергию света, и она после чтения затихла в спокойном исцеляющем сне.

Теперь, в кампучийских предгорьях, мать снова посетила его. Он смотрел на слабое мерцанье воды недвижно, безмолвно.

— Ну вот можно и ехать!— Сом Кыт приблизился к нему осторожно, деликатно его окликнул. Кириллов очнулся, встал и двинулся обратно к машине.

Впереди замерцало, заклубилось. Стало приближаться, проступать шевелящимися живыми ворохами. Они вдруг въехали в дымное звякающее многолюдье, густо осевшее вдоль дороги. Катили среди разбросанного утлого скарба, курящихся костров и жаровен, словно очутились в таборе. Кочевники присели на краткий отдых, ненадолго коснулись земли. И так нежданно было появление этого скопища среди жарких безжизненных пустырей, что казалось: люди, и скарб, и повозки ссыпались прямо с неба, усеяли сорный пустырь.

— Кооператив «Коуп». Две тысячи жителей,— сказал Тхом Борет.— Переселяются от границы. Их все время обстреливали. Снаряды и ракеты рвались прямо в деревне. От этого места до границы ровно двадцать километров.

Их машина медленно двигалась, стараясь не наехать на груды сухих жердей, на расставленные по асфальту пожитки, на детей, замиравших, испуганно, до черноты расширявших глаза при их прибли-

жении. Пустые тарелки и миски светлели на пыльной земле, но к ним никто не подсаживался. Груды трухлявых бревен были сложены у обочины, две женщины, подняв гнилушку, несли ее куда-то в дрожащую даль. Вбитые в землю колья удерживали пузырящиеся синие пленки, под ними, укрываясь от зноя, недвижно сидели люди — казалось, утлый парусный флот, скомканный бурей, движется без путей. Катилась двуколка с легкими спицами, впряженный в нее человек, голенастый, с журавлиной шеей, бежал, на коляске в позе Будды сидел маленький старый бонза в желтой одежде, с бугристой бритой головкой. Пугливые, с проступающим рельефом ребер, ключиц и лопаток люди копали землю, но, казалось, их труд направлен не на строительство, а на разорение, в нем чудились паника, обреченность.

Женщина, босая, узкобедрая, заслонила собой двух грязных кривоногих голышей. Кириллов поймал ее ужаснувшийся взгляд. Вспомнил: вот так же выглядели в первые после освобождения дни лица всех кампучийцев. Он уже успел позабыть в Пномпене это общее состояние, это общее — из страха, из готовности бежать и спасаться — выражение лиц. Но вот опять повстречал его, опять содрогнулся.

Люди, на которых он смотрел из машины, не ведали мира. Они все еще были в войне, в области затмения и тьмы. Светило солнце, но, казалось, оно было с черной раковиной.

— Стоп, здесь! — Тхом Борет остановил машину около строящегося дома, темного, на сваях, короба, собираемого из старого дерева. Люди с пилами, молотками окружили строение, резали, колотили, строгали, и казалось, они строят в пустыне ковчег, торопятся успеть перед бедствием.— Строят школу,— сказал Тхом Борет, выходя из машины.

Их заметили, прекратили работу. Держали в опущенных руках инструменты. Тревожно следили за автоматами, гранатометами. Кириллов чувствовал их робость, пугливую беззащитность, готовность по первому слову что-то делать, от кого-то спасаться. Вошел в их круг, стараясь осторожными жестами, мягким выражением лица успокоить людей.

Тхом Борет подозвал их поближе, и они, оставив пилы и топоры, послушно сходились, усыпанные опилками, нечесаные, несмело топтались в тени от недостроенной школы, сквозь которую сквозила горячая испепеленная пустошь. Тхом Борет объяснил цель их приезда, представил Кириллова. Люди закивали головами, тихий шелест пронесся и стих. Они смотрели теперь на Кириллова, желая понять, что сулит им его появление.

Кириллов чувствовал ненужность, неуместность вопросов, ничего не добавлявших к очевидной, откровенной картине горя. И все же спрашивал: о частоте артналетов, об уронах, потерях, погибших полях, урожаях.

Они молчали, охваченные круговой немотой. Не желали, не умели впустить в свое несчастье другого.

Тхом Борет кивнул самому старшему, понуждая его к ответу. И тихий глухой ответ был о рвущихся на деревенских дворах снарядах, о чадных пылающих хижинах, о растерзанных взрывом быках, о бегущих с полей землепашцах, о воющем, нарастающем визге, ухающем за селом, вздымающем столб жирной плодородной земли с ростками зеленого риса. Кириллову хотелось своей широкой грудной клеткой, плотным сильным телом заслонить впалую костлявую грудь стоящего перед ним человека, его понурые стариковские плечи, всю его хрупкую жизнь, которую стремились истребить, вырвать из почвы, лишить солнца и неба.

Его рассказ был об уездном начальстве, о сельском сходе, о поднявшемся тихом плаче, когда всем миром, разобрав жилища до последних щепы и гвоздя, захватив с собой белье и посуду, храмовые святы-

ни и сохи, семена для посева и стареньких бонз, угоняя птицу и скот, торопились они спастись от огня, от войны — беженцы и погорельцы. Война гналась за ними, насылала свои колесницы, свои танки с крестами, самолеты с прицельной оптикой, Бежали, бегут с древнейших времен, оставляя пагоды, колокольни, мечети. Остановились в этой горькой долине, строят утлый ковчег из хлорвиниловых пленок и щепок, надеясь уплыть на нем от несчастья.

Кириллов вдруг остро, ясно ощутил, сколь неотложно важна помощь этим измученным людям, как истинно и глубоко в человеке стремление спасать другого, как связано оно с сокровенным, вмененным людям добром, с той извечной в его народе способностью делиться последней рубахой, последней коркой, И, стоя под тропическим солнцем, среди азиатских скуластых лиц, он перенесся на мгновение к родимой земле, к ее неоглядным нуждам и тяготам, к ее великим трудам и богатствам.

Негромкие жалобы кампучийских крестьян были на нехватку семенного зерна, обрекавшую их на скудный урожай и на голод. На близкие ливни, от которых им негде укрыться. На непаханую, дикую, без единого ключа и колодца землю, которую предстоит им осваивать. На начавшиеся детские болезни, на отсутствие учителей и врачей. На скудный, на пределе существования, быт, где на счету каждая ложка и гвоздь, где в сохи вместо волов будут впрягаться люди, а дети в четыре руки станут поднимать тяжелую мотыгу.

Кириллов записывал, держа на весу блокнот, будто рисовал с натуры этот разоренный войною край. Услышал, как на дороге заурчало, залязгало. В клубах синей гари, качая пушкой, шелушась броней, прошел танк, и усталый танкист, стоя по пояс в люке, хватал ртом воздух. Танк проехал сквозь табор, оставив дымный висящий след, словно прорубил туннель. И в этот туннель, невидимые, пронеслись клубящиеся грозные силы, пролязгали сквозь селенье, и народ расступился, пропустил их сквозь себя. Кириллов писал, слыша зловонье сожженной солярки, кислого металла и пороха, затмившее робкий дым очагов, запах древесных распилов.

Они пошли вдоль табора дальше и встали перед вбитыми в землю колами, на которых были укреплены сколоченные, покрытые циновками щиты, заменявшие пол, а сверху трепыхалась синяя пленочная крыша. Стен не было, открывался глазам бедный быт — ворохи тряпья, горшки, старая швейная машинка. Два детских лица поднялись из ветоши, наблюдали приход чужих. Рядом с жилищем шелестела все та же дырявая, в виде навеса, пленка, и под ней, привязанный, стоял бык.

Он понуро опустил костлявую голову с белыми бельмами. Тонкая липкая слюна тянулась до земли с воспаленных, в красной коросте губ. Его бока запали и шелушились, были покрыты язвами, на которых густо сидели мухи. Бык дышал, натягивая на ребрах кожу, и дыхание его было свистящим и хриплым.

Появилась женщина с ведром. Испугалась, увидев незнакомых. Поставила на землю ведро.

— Это вдова Бам Суана,— тихо сказал старейшина.— Ее мужа убил таиландский снаряд, а бык заболел.

Горе, что двигалось по этой земле, касалось не только людей. Оно касалось животных, растений, воздуха и камней.

— Я думаю,— тихо обратилась к Кириллову вдова,— может быть, бык поправится и мы сможем на нем пахать. Я собираю траву, делаю ему примочки и даю пить. Мне кажется, ему стало лучше. Пусть он останется слепой. Дочка будет идти перед ним и показывать дорогу, а мы с сыном станем править сохой. Мне кажется, он все-таки может поправиться...

Она подняла ведро, подошла к быку. Стала отжимать над ним мокрую тряпку, сгонять мух, прикладывать примочку к горячечно дышащим бокам. Бык ниже опустил голову. Кириллов видел: сквозь бельма из бычьих глаз льются слезы.

Они катили по безлюдной дороге к границе. Кириллов смотрел, как качается хлыст антенны над капотом «уазика», сечет близкие горы, леса. На обочине, вылезая кормой на асфальт, возник танк. По его осевшему в рытвину корпусу, не зеленому, а желто-ржавому цвету Кириллов издали понял, что танк подбит и сгорел. Тут же, неподалеку, зарывшись гусеницами в землю, ржавела боевая машина пехоты, а чуть в стороне на обутленных скатах осел транспортер.

Тхом Борет остановил машину. Все вышли. Кириллов разглядывал разбитую технику — оборванный порыв наступления, напоровшийся на встречный порыв. Видимо, здесь, у дороги, находился полпотовский противотанковый расчет, погибая, он отметил рубеж своей гибели телами сожженных машин.

— Вот здесь, у этой черты, мы должны повернуть обратно,— сказал Тхом Борет.— Дальше ехать нельзя. Дальше мы не можем обеспечить вам безопасность.

Кириллов, ссутулив плечи, мучаясь жаждой, проводя сухим языком по колючим губам, смотрел перед собой на шоссе. Ему казалось: от пыльной обочины, от развалившихся танковых гусениц через избитый асфальт проведена невидимая черта, тот предел, до которого они докатились и встали, исполнив намеченное. Оттуда, из-за черты, оттесняя, дует невидимый ветер, враждебные неясные силы чем-то грозят, словно все еще длят тот недавний гранатометный удар, развернувший танк толчком в лобовую броню. Он чувствовал это давление своим усталым измученным телом. Пора было поворачивать вспять. Впечатлений было довольно. Поездка его удалась, выполнена его задача. Теперь от этой черты можно развернуться — и обратно, в Ангкор, и дальше, в Пномпень. Через сутки обнять жену, успокоить ее и утешить, сбросить прелую, потную, пропитанную ядовитой пыльцой растений одежду. День-два на отдых. И потом его подымут широкие белые крылья «ИЛа», унесут в небеса от этих джунглей, от этой невидимой, прочерченной приграничной черты. И будет май в Москве, сирень на площади Большого театра и в толпе — родные, усталые лица москвичей. Он будет толкаться среди них, опускаться в метро, выныривать то у «России», у золотых церквей, то у Красных ворот с мерцающим в сумерках виражом Садовой. А об этой черте, о танковой упавшей плашмя гусенице и не думать.

Он переступил на месте пыльными башмаками. Чувствовал, как в душе его напряглась, выгнулась невидимая, слабо звучащая мембрана, отделяя его, стоящего здесь, от того, другого, гуляющего у Большого театра, в другом, будущем пространстве и времени. Медленно одолевал в себе искушение.

— Дорогой Сом Кыт,— Кириллов вглядывался в осунувшееся лиловогубое лицо кхмера, на котором проступила щетина и острые кости скул, а в углах покрасневших глаз скопилась мокрая пыль.— Мне кажется, нам следует продолжить путь и достигнуть границы. Иначе, и я надеюсь, вы со мной согласитесь, картина будет неполной. Какой журналист упустит возможность вести репортаж из тех мест, откуда бьет огонь артиллерии? Весомость каждого слова увеличивается на вес снаряда. Поэтому, дорогой Сом Кыт, мне кажется, мы должны просить любезно сопровождающего нас Тхом Борета сопровождать нас и дальше, к границе.

Он видел: Сом Кыт смотрит перед собой на асфальт, на ту же черту, незримо преграждавшую путь, на тот предел, где оканчивается их путешествие и можно разворачивать колеса машин в другую, без-

опасную сторону, туда, где в необжитом жилище его одиноко ждет жена, и корректный доклад в министерстве об исполненном деле, и отдых, и, быть может, близкое повышение по службе. Та же тончайшая, колеблющаяся мембрана звучала в душе Сом Кыта, Кириллов чувствовал, как тот пытается ее успокоить, одолеть искушение. Прокладывает себе путь сквозь невидимую, ведущую к границе черту.

— Я тоже думаю, что нам следует побывать на границе,— обратился Сом Кыт к Тхом Борету.— Иначе впечатления будут неполными.

— Дальше ехать нельзя,— твердо сказал Тхом Борет.— Таково условие программы. Дальше имеющимися средствами охраны я не смогу обеспечить вам безопасность. В вечернее время прекращается движение на трассах. Я не могу взять на себя ответственность. Программа полностью выполнена.

— Дорогой Тхом Борет,— Кириллов чувствовал, как кожаные сухие ремни стягивают ему щеки и губы, но старался улыбаться,— вы же знаете, что никакая программа, даже столь тщательно и разумно составленная, как наша, не может учесть всех экспромтов и неожиданностей.

— Неожиданностей я и боюсь,— твердо стоял на своем Тхом Борет.— Затем и составлялась и утверждалась программа, чтобы избежать неожиданностей. Я, ответственный за программу, не могу гарантировать вам безопасность.

— Дорогой Тхом Борет,— настаивал мягко Кириллов,— после того, что вы все перенесли в этой жизни, понятие «безопасность» приобретает относительный смысл. Не правда ли, Сом Кыт?

— Да,— кивнул тот. — Нам надо проехать к границе. Я говорю это от имени министерства иностранных дел.

— Не знаю,— колебался Тхом Борет. — Я не вправе принимать решение сам. Я должен связаться с председателем провинциального комитета. Должен связаться с Баттамбангом по радио.

— Так сделайте это,— сказал Сом Кыт.— Сделайте это от имени министерства иностранных дел.

Тхом Борет направился к «уазику», где блестел жгут антенны,— вызывать по рации Баттамбанг. Кириллов невесело усмехнулся, вспомнив образ давнишней, в детстве читанной книги: развилка пути, белый камень на обочине, богатырь на коне водит по земле копьем, на камне — вещие, начертанные кем-то слова. Нет ни коня, ни камня, лишь разбитый сгоревший танк, горстка усталых солдат, но все тот же отмеченный на дороге чьим-то древним извечным копьем рубеж.

Солнце пекло. Попискивала в «уазике» рация. Тхом Борет вызывал Баттамбанг. Кириллов, желая укрыться от зноя, спрятать от других свое изнуренное тело, подошел к танку. Ухватился за теплую скобу, за облупленную крышку люка. Влез в нутро танка.

В танке было сумрачно, душно. Выгорело все дотла. Будто влетела туда и взорвалась шаровая молния, единой вспышкой испепелив все живое и плавкое. Он устроился на сиденье водителя среди торчащих обугленных рычагов, рыжей осыпавшейся окалины, в которой валялась окисленная орудийная гильза. В сумрак вонзался и тонко, струнно дрожал луч солнца сквозь маленькое, прожженное в броне отверстие. Огонь кумулятивного снаряда пробил сталь, прожег в ней канал, вдунул в танк смертоносный пылающий шар. Кириллов наклонил голову, поймал зрачком круглый прожог в броне, поместил глаз в то место, где недавно свистело веретено плазмы. Его живое ухающее сердце находилось в том месте, где некоторое время до него билось сердце сгоревшего человека. Его живые ноги упирались в пепел и прах, бывший некогда человеческой плотью. И он, живой, смотрел сквозь пробоину на голубые горы, курчавые далекие заросли, на медлительную тихую птицу под белой тучей. И думал о родине.

Он видел ее внутренним зрением сразу всю, словно пролетал над ней в серебристой высоте, как крылатое семечко, бесконечно малое в сравнении с ней, огромной. И одновременно был больше ее, нес ее в себе, обнимая, окружая своей жизнью, был ее хранителем. Из сожженной брони, сквозь скважину, в которую струйкой дула смерть, он своим встречным, одолевающим гибель движением посылал ей, далекой, луч своей любви. Желал ей жизни вечной. Желал ей мудрости, доброты. Желал великого трудолюбия и терпения в неусыпной, затеянной предками работе по преображению жестокого мира, в которой бесчисленные вереницы работников гибли в огнях и бедах, спасая ее от бед и огней. И он, один из бесчисленных ее сыновей, на исходе сил слал ей в поддержку, в подмогу лучик своей малой жизни, надеясь, что он ей пригодится, долетит сквозь пространства земель и вод.

Здесь, в изувеченном танке, среди окисленной теплой брони, он думал о том белоснежном дне, из которого столько лет все черпал силу, спасаясь ею и спасая.

Тетя Поля окончила песню, а вслед все еще тянулся весь воссозданный ею мир цветов, красавиц, скакунов и наездников. Но вот и они отлетели в морозную темень за окошками, почти пропали и смолкли. Но потом превратились в невнятный звон, фырканье, скрип полозьев. Стали вновь приближаться, затопотали под окнами, пробарабанили в стекла, прозвякали щеколдой крыльца, прогрохали по мерзлым половицам сеней, опрокинули с аханьем пустое ведро, со стуком отворили дверь в избу, и в натопленный жар, окутанные паром, нанося на валенках снег, теснясь, визжа, заполняя все размалеванными, накаленными лицами, огненными подолами, вывороченными овчинами, ввалились ряженые. Пошли ходуном, валом, вытаптывая, высвистывая, расшатывая избу, точно вкатили огромное, цветное, грохочущее колесо.

— Эй, хозяева, принимай колдунов! Откупайся, а то заколдуем!

Летят со стола в подставленный мешок конфеты, кусок пирога, литой зеленый лафитник, бутыль с наливкой — все одним махом. Он видит, каким восторгом и ужасом отражает ее лицо нашествие размалеванного дикого толпища, как готова она влететь в их скачущий круг, в ночное разноцветное солнце и как страшится, робеет.

Он вглядывается в черное, сажей наведенное лицо то ли козла, то ли черта, блеющее, скалящее твердые, стиснувшие морковку зубы. И в солдата со свекольно-красными кругами на щеках, делающего «на караул» ухватом. И в бабу непомерных размеров в пегих юбках, с наклеенными мочальными волосами. И в цыгана с луковыми кругляками в ушах, с черными усищами из конского волоса. И постепенно под красками, сквозь рев и визг, колочение палкой в противень, хмельные переборы баяна, начинает узнавать лесников Полунина и Одинокова, и пильщика-мордвина, и шофера, подобравшего его на грузовик, и тракториста в валенках, оклеенных красной резиной, и старую толстую Куличиху, и молодую грудастую почтальоншу, и хромого возницу сельпо. Они, преображенные, утратившие знакомые дневные обличья, морочат, ворожат, пленяют, зазывают в свое толпище.

— Айда на коне кататься! Ему, вишь, вино в овес влили. Сдурел конь-то!

Он цепляет в рукав телогрейку, помогает Вере набросить тулупчик. И стиснутые, толкаемые, подгоняемые тумаками, они выносятся сгоряча на мороз, на студеный ветер и звезды. На дороге, в санях нервничает, мнется, фыркает конь, тот дневной, стоявший на лесосеке. Теперь он кажется огромным, гривастым, в серебристом кудлатом инее, с выпученными, черно-блестящими глазами.

Она смеется, протягивает к коню ладони, но тот кривит бархатные горячие губы, грызет железо, и на мохнатых, бьющих об дорогу копытах лунными серпиками блестят подковы.

Все окружили коня, навешивают на дугу конфеты, серебряные бумажки и ленточки. Кто-то тянется, никак не нацепит вырывающийся, норовящий улететь бубенец.

Насаживаются тесно и густо — тугая спина к спине, хохочущая голова к голове, хмельное дыхание к дыханию,— сжимают обморочно стенающий баян. И он, схватив незаметно ее близкую горячую руку, чувствует, как откликается она на его пожатие, как ей хорошо и счастливо. Ему хочется поцеловать ее близкое, быстроглазое, темногубое лицо.

— Эй, кто может, держись, а кто не может, ложись!.. Ну, пошел!.. Ну, поехал!.. Ну, черт, полетел!..— и скрипнув, дрогнув, сани рванули, понесли по деревне вой, визг.

Мелькают избы, мимо которых шли утром, но там, где в утренних окнах краснели печи, теперь мигают зажженные елки. Колокольня прошумела шатром, в радужных небесных сверканиях, на совхозной конторе полыхнул в темноте кумач. Кончилось Троицкое, и ветер с поля резанул по щекам, подхватил скрип саней, рев баяна, обезумевший гик возницы, храпящий ответ коня. И — мгновенье безвременья, бесшумный полет над землей. Глубоко внизу деревни бросают ввысь красные сыпучие искры. Тенистые поляны в лесах, на которых, задрав глазастые морды, смотрят вверх седые лоси. И внезапное, как пробуждение, падение вниз, в снег, в обжигающий дымный сугроб. Сани колыхнулись на повороте, и они вдвоем, уцепившись один за другого, вывалились в снежную глубину, видя, слыша, как удаляются сани, уносят пиликанье, звон бубенца.

Они стояли среди ветреного туманного поля с колыхающимися волнистыми небесами. Притихли, онемели вдруг, отдалились, боялись коснуться друг друга. Ему казалось, что они уже здесь были когда-то, он ее сюда приводил, уже видел и эту безбрежную пустоту в небесах, и эту стылую непроглядную даль. Мелькнула мысль о краткости, случайности их встречи, и охватила такая боль и тоска, непонимание, незнание себя, своих путей и дорог, что слезы вдруг набежали, и небо сквозь слезы оделось тончайшим перламутром.

— Ты что? — говорит она, трогая осторожными пальцами его губы и брови.— Пойдем!

Они медленно, она впереди, а он сзади, идут к селу. Она, нагибаясь, пишет на пышном снегу их имена. Он читает, и ему кажется, буквы медленно отрываются от снегов, уплывают в небо. Там среди высоких разноцветных разводов начертаны их имена.

Много позже, когда он защитил диссертацию и поступил в институт на работу, для них после стремительных, обильных переменами лет наступил покой. Их жизнь как бы остановилась, наподобие светила в небе. У них появился достаток. Они расстались со своей комнатушкой, с рассохшейся допотопной мебелью, перенеся в новый дом лишь березовое, залитое воском полено, светившее на столе среди их молодых вечеринок, освещая спорящие лица. В институте его ценили, сулили в науке будущее. Она была горда его успехом — статьями, монографией, выступлением на симпозиуме. Была хозяйкой дома, умела принять, привлечь, сгладить двумя-тремя словами возникающие шероховатости в разговоре. Жила его интересами, дорожила этим первым, выпавшим им на долю покоем. А он чувствовал, как в нем назревает знакомое беспокойство. Копится, ищет выхода, превращается в энергию движения, выталкивая его за пределы их светлых комнат с видом на Яузу, на голубую, как перышко сойки, колоколенку, и ему не терпелось снова кинуться навстречу многоголосой, оглушительной реальности, за пределы библиотек, кабинетов, туда, где

ждали его испытания, ждал неведомый опыт, требующий от него не просто мыслей и чувств, но и поступков.

Он оставил институт, подрядился в газету на внештатные, от случая к случаю, поездки, опять вернувшись к прежнему неустройству, к прежней бивачной жизни. Колыхнул, двинул с места застывшее было светило. Встречал его то на Курилах, то на Памире, то в белых тундрах Ямала.

Она мучительно перенесла перемену. Ей казалось: она виною всему. Их бездетный дом пуст для него и тягостен. Он бежит из дома, бежит от нее. Она не сумела создать ему дом. Он ошибся, женившись на ней.

Он чувствовал Верину муку, старался ее отвести, старался ее заговаривать. Следил, караулил, как в ней нарастает страдание, каждый раз кидался на помощь. Чтоб она не оставалась одна, чтобы мука ее не превратилась в болезнь, стал брать ее с собою в поездки.

...Танкер, как огромный серебряный клин, раздвигает обские воды, проходит сквозь радуги, дожди и туманы, погружаясь в запахи то пиленого леса, то мокрых холодных трав, то рыбьей икры и молоки. Она, его Вера, сидит на носу на посеребренном железе, и там, куда она смотрит, возникает красный, озаренный лучами бор, и белая отмель с перевернутыми, легкими, как семечки, лодками, и встречный, протяжно загудевший корабль. Весь угрюмый, под низкими тучами север согрет ее дыханием и взглядом.

Металлургический завод в ночной казахстанской степи мечет огненные рыжие космы, вздымает багровые, застилающие звезды, клубы, и кажется: идет извержение, глухие удары сотрясают степь. Днем они ходили по чадно-синим цехам, по которым несся нарастающий грохочущий вихрь раскаленного сляба, сминаемого в звенящую, обжигающую ленту. Смотрели, как в домнах, в тяжких закопченных квашнях, созревает чугунное месиво, выплескивается белой слепящей струей. Как в мартенах сплавляются, тают, превращаются в вялый стальной кипяток остатки разбитых машин. И ее лицо, изумленное, восхищенное, казалось ему центром, вокруг которого мечутся огненные стихии. Теперь они сидят в степи у крохотного тлеющего костра. Он палочкой выкатывает из углей картофелины, сдувает с них пепел, передает ей теплые клубни.

Карьер под Старым Осколом. Конический туманный провал — будто вглубь, в земное ядро — и на дне провала идет чуть различимое шевеление, движутся поезда и машины, чавкают механизмы, гложут, долбят, вычерпывают стальную сердцевину планеты. Они с Верой спускаются по бесконечной спирали, и уже наверху, затуманенные, остались метели, леса, морозное солнце, а здесь — металлический центр, отвердевший, кристаллический космос, осколки стальных метеоров. Она шагает перед ним по ржавой дороге, мимо зубьев ковшей, крутящихся колес, гусениц. И мимолетная мысль: она ведет его по кругам преисподней, показывает ему потаенную, жестокую сущность мира и выведет снова наружу, где белое поле, засохший из-под снега цветочек, остекленелая заячья лежка.

Он ездил, жадно наблюдал чертеж колоссальной, огнедышащей — из бетона и стали — цивилизации, возводимой от океана до океана, чувствовал сверхнапряжение народа, своим умом, умением выминающего из жестоких необжитых земель новую пластичную форму, строящего на шестой части земли невиданный доселе дом.

В «нефтяных городах» на Оби он видел создание энергетической базы, за которой следили в Гамбурге и Иокогаме. В Каракумах, плывя по ленивой воде канала, он видел, как мертвенно-лунный, изрытый ветрами грунт одевается цветением и зеленью и к воде торопится припасть, прикоснуться исчахшая в пустыне жизнь.

Он изучал цивилизацию социализма, создаваемую из грубой материи и из энергии духа и воли многомиллионного, действующего

на своих пространствах народа, стремящегося среди великих противоречий века воплотить вековечные чаяния — о правде, обилии, братстве.

Были мгновения успеха, когда свежий газетный лист нес в себе черно-белый оттиск только что виденных им зрелищ. Напечатанный очерк приносил удовлетворение, чувство, что он не ошибся в выборе, приносил заработок. Но бывали дни неудач, когда его неумение, недостаток журналистского опыта губили замысел. Очерк, не сумев уловить кипящий, ускользающий материал, выходил неживым, отвергался редакцией. И он погружался в тоску, в чувство своего дилетантства, своего бессилия, в досаду из-за наступившего безденежья.

Растерзанный, исчирканный карандашом материал лежит на столе. Отвращение к бумаге, к оставленным редактором пометкам, к себе самому, бездарному, покусившемуся на недоступное ремесло, отвернувшемуся от истинного своего назначения. И вся его жизнь — неоправданная, непрерывная ломка, вечный эскиз, подмалевок. И она, его Вера, расплатилась за это своим покоем, своим домом, чувством семьи и достатка. Он своими неудачами сделал и ее неудачницей, повинен в ее несчастьях.

Он винился перед ней, целовал ей руку, глядя, как в темной комнате мерцает на стене зеленоватое отражение Яузы. Каялся в том, что повел ее за собой по этим неверным путям и привел в тупик. Тоска его была велика. Она клала ему руку на лоб, чертила у виска легкие кольца, как бы скручивала обратно в свиток его больные мысли, его неверие в себя, превращала их в память о ночной мерцавшей дороге, где стоял запряженный в сани конь и кто-то молодой и счастливый вплетал ему в гриву красную ленточку.

Глава пятая

Он вылез из танка, отряхивая с ладоней мелкую рыжую пудру сгоревшей стали. Направился к машине, где Тхом Борет совещался с Сом Кытом, и оба они вместе с солдатами и «уазиком» отбрасывали длинные, предвечерние тени.

— Я получил разрешение доехать до пограничного пункта,— сказал Тхом Борет.— Надо ехать сейчас. Скоро начнет смеркаться.

— Мы заночуем у солдат,— пояснил Кириллову Сом Кыт.— Для бесед у нас будет вечер. А утром отправимся в Сиемреап.

— К сожалению, я не смогу сопровождать вас в Сиемреап,— сказал Тхом Борет.— Охрану обеспечат вьетнамцы. Им сообщили о нашем приезде. Надо ехать,— и он повернулся к машине.

Они катили, подымая солнечную пыль, навстречу синим кудрявым предгорьям. Подъехали к лесной опушке, сквозь которую дальше, в джунгли, уходила дорога. Под зеленым пологом, у вечерних красных стволов стояла палатка, замер закиданный ветвями транспортер, развернутый пулеметом вдоль трассы. Туда же смотрели расчехленные, в земляных капонирах пушки. Из палатки, где висели антенны и слышалось бормотание рации, вышли вьетнамцы, без шлемов, в легких рубашках, сандалиях. Двинулись к ним навстречу, улыбаясь, протягивая для рукопожатий руки.

— Тхеу Ван Ли,— представился Кириллову вьетнамец, легкий в движениях, гибкий в плечах и поясе, юношески-моложавый на расстоянии, а вблизи — со следами долгой, не юной усталости на смуглом, обтянутом сухой кожей лице, с пергаментными трещинками у глаз и у губ.

— Нам только что сообщили из штаба, что вы едете.

— Это и есть граница? — отвечая на рукопожатие, спросил Кириллов, озираясь на черные обугленные сваи, темные ямы с гнилой

недвижной водой, на синий опрокинутый остов автомобиля и алебастровую, с облупленной краской, скульптуру слона.

— Граница,— Тхеу Ван Ли, услышав от Кириллова вьетнамскую речь, радостно, чуть заметно дрогнул лицом, заулыбался шире.— Там Таиланд.

Сом Кыт протянул офицеру бумаги, но тот, продолжая улыбаться, отрицательно покачал головой, передал их другому, который стал тихо переводить с кхмерского содержание документов.

Тхом Борет и Сом Кыт продолжали говорить с офицерами, а Кириллов, чувствуя на себе взгляды сидящих на лафете артиллеристов, шагнул под деревья.

Оглядел слона — алебастр был исстрелян, изодран осколками, нарисованная ковровая попона облезла, иссеченная рубцами и метинами. Синий длинный кузов «кадиллака» хранил в себе последний, направленный к границе рывок, стремление ускользнуть, умчаться, он лежал перевернутый, с расплющенным задом, получив в хвост удар свинца и огня. В ямах на месте сожженных хижин кисли головни, и над ними, над золотистой гнилой водой роились комары и москиты.

Кириллов смотрел на границу, изгрызенную танковыми гусеницами, истоптанную пехотой, пропустившую сквозь себя тающие банды «кхмер руж», простреленную, продырявленную недавнюю границу войны. Одну из многих в сегодняшнем мире расплавленных, разрезанных автогеном границ. Вся карта мира, как мигающий пульт,— в аварийных огоньках индикаторов...

Сом Кыт отвлек его, подойдя:

— Нас приглашают пить чай.

Его стоическое невозмутимое лицо, усталое, освещенное низким, цвета сурика, солнцем, показалось Кириллову родным.

Они вошли в просторную палатку с утоптанным полом. Кругом были расстелены лежаки с марлевыми сетками. Стоял низенький, наспех сколоченный стол, деревянные плоские плахи вместо стульев. Чернели сталью сложенные в углу автоматы. За брезентовой перегородкой тихо бурлила рация, и связист настойчиво выкликал позывные.

— Вы устали с дороги,— приглашал их за стол Тхеу Ван Ли.— Рис уже варится, а сейчас освежитесь чаем.

Повинуясь командирскому взгляду, солдат принес закопченный, снятый с костра котелок. Тхеу Ван Ли вытряхнул в него пачку зеленого вьетнамского чая.

Кириллов пил, наслаждаясь горячим, дымно-чайным ароматом, напомнившим юношеские лесные прогулки. Вьетнамец улыбался, видя, что гость получает удовольствие.

— Мы рады вашему прибытию. Рады прибытию советского друга,— вежливо, полагая, что именно такие слова приличны при встрече, говорил Тхеу Ван Ли.— Спасибо, что вы посетили нашу воинскую часть.— Соблюдая церемонию, он одновременно зорко наблюдал за Кирилловым.

— Вдали от дома хочется видеть родные места, не так ли? — Кириллов кивнул на открытку с видом вьетнамских гор, прикрепленную к брезенту палатки.

— Скоро мы увидим родные места своими глазами,— сказал офицер.— Через несколько дней наша часть снимается и уходит во Вьетнам. Уже получили приказ. Скоро уходим домой.

— Я рад за вас,— сказал Кириллов.— Рад, что увидите родных и близких. Пусть эти последние дни в кампучийских джунглях пройдут для вас спокойно.

Он отдыхал от дорожной тряски, благодарный за приют, верящий в свои слова и свои пожелания.

— К сожалению, и эти последние дни не проходят для нас спокойно. Как раз сейчас, в эти минуты, завершается очень важная

операция. Наша часть проводит захват секретной базы противника. Как раз в эти минуты,— Тхеу Ван Ли взглянул на ручные часы.

— Что за секретная база? — Кириллов расслабленно продолжал пить восхитительный, утоляющий жажду напиток, стараясь продлить ощущение покоя, не торопиться с расспросами, как можно дольше оставаться среди необязательных, вежливых, приятных для гостей и хозяина фраз.

— Разведчики обнаружили в горах засекреченную базу, хорошо оборудованную. Там собраны большие запасы продовольствия и пресной воды. Я не знаю, может быть, эта база предназначена для крупных деятелей. Может быть, даже для самого Пол Пота. Я слышал по таиландскому радио: он собирается сюда прилететь вместе с западными журналистами и сделать какое-то заявление. Показать, что его правительство действует не в Таиланде, не за рубежом, а в Кампучии. Хотя едва ли. Говорят, Пол Пот большой трус. Эту базу мы сейчас атакуем.

Кириллов уже справился со своей усталостью, перевел ее в чуткое ожидание и фиксирование. Подключил к своим измотанным нервам скрытые, как неприкосновенный запас, ресурсы энергии.

— Вы полагаете, там могут находиться какие-нибудь крупные птицы?

— Мы не знаем. Несколько дней назад туда прилетал вертолет. Мы не знаем, кого и что он привез.

— Сом Кыт,— Кириллов обернулся к кхмеру, внимательно слушавшему, перевернувшему чашку донцем вверх,— вы слышали, Сом Кыт? Быть может, в самом деле это и есть та база, на которую в сопровождении прессы задумал прилететь Пол Пот? В последнем заявлении из Бангкока, вы помните, он утверждал, что его правительство отнюдь не правительство в изгнании, а национальное, действующее с территории Кампучии. Может, именно здесь и готовится этот спектакль?

— Едва ли это может случиться,— сказал Сом Кыт.— Пол Пот не пойдет на это. Такую базу можно соорудить и в Таиланде. Провести спектакль в Таиланде. Джунгли везде одинаковы. На пленке джунгли есть джунгли.

— А где эта база? — спросил Кириллов вьетнамца.— Как далеко отсюда?

— Она в горах, далеко. Мы связываемся с войсками по рации. Скоро выйдем на связь... А вот и рис, угощайтесь!

Солдат внес котелок, в котором белоснежно, овеваемый паром, мерцал рис. Поставил в центр стола, разложил перед всеми палочки. Кириллов достал из сумки бутылку водки. Открыл ее, а сам думал о далекой базе, где идет в этот час сражение, ахают минометы, солдаты в пробковых шлемах атакуют в вечерних сумерках.

Он налил водку в чашки, пронося бутылку сквозь прозрачный рисовый пар. Вьетнамские и кхмерские лица были в красных, струящихся сквозь открытый полог отсветах, Тхеу Ван Ли протянул к чашке гибкую руку, готовясь произнести любезный тост за гостей.

Он почти поднял чашку, когда далеко, приближаясь, буравя воздух, свертывая его в свистящую спираль, что-то пронеслось над деревьями и ахнуло, тряхнуло стволы. Взрыв, перепончато лопнув, медленно затихал шуршаньем опадавшей листвы, хлюпаньем липких комков. Вновь засвистело и шлепнуло, словно чмокнула огромная пробка. Тугой спрессованный удар прошел сквозь брезент, и Кириллов лицом ощутил давление взрыва.

— Таиландцы! Артналет! — Тхеу Ван Ли вскочил, делая успокаивающий охранительный взмах рукой.— Прикрывают проникновение банды. Или наоборот, отход ее через границу в Таиланд.

Они вышли наружу. Кириллов из-под крон смотрел на открытое за стволами деревьев пространство, откуда они недавно приехали,—

малиновая земля, темно-синий асфальт дороги. В лесу, то ближе, то дальше, скрежетало и рушилось, раскалывались и хрустели деревья, будто кто-то огромный ломился вслепую к опушке. Продрался, взметнул два высоких взрыва, разбухавших, осыпавшихся дымом и грязью. Артиллерия плотно стреляла несколько минут, снаряды рвались на брошенных крестьянских полях, словно перетряхивали их, жадно искали последнюю укрывшуюся жизнь.

Артналет прекратился внезапно. Стало тихо. Только птицы, сметенные с веток, полетели из джунглей, молчаливые, красные на солнце.

Вернулись в палатку. Тхеу Ван Ли улыбался смущенно, как бы извиняясь за прерванный ужин. Поднял чашечку с водкой. И тост был за дружбу братских армий, за удачу в личных делах и за скорое возвращение домой. Кириллов видел, что локти на рубашке вьетнамца аккуратно заштопаны, голая, в сандалии, нога расчесана в кровь от укусов лесных насекомых, а глаза без улыбки, усталые и тревожные, обращаются к отгороженному отсеку, где посвистывала рация и слышался голос радиста.

Они поужинали, отдыхали в сумерках. Когда стемнело, солдат принес и засветил три коптилки из сплющенных гильз, расставил их по палатке. Возникло три отдельных освещенных пространства, и в каждом совершалось свое. В дальней, у стены, области света два солдата, вьетнамец и кхмер, разбирали и чистили автомат. Протягивали к светильнику холодно-блестящие детали, передавали друг другу, словно обменивались чем-то лучистым, окружавшим их пальцы.

В ближнем, колеблемом шаре света сидели Тхом Борет и Сом Кыт, положив на колени руки, недвижные, одинаковые, повторявшие друг друга своими потерями, бедами, своим нынешним терпеливым и истовым ожиданием.

Третья коптилка, стискивая латунными кромками обгорелый фитиль, подымала прозрачную летучую сферу, в которой сидел он сам и Тхеу Ван Ли, заключенные оба в единый — из световых оболочек — объем.

— Я рад, что война для вас скоро кончится и вы вернетесь домой,— сказал Кириллов, чувствуя их совместный полет сквозь единое исчезающее время.

— Спасибо,— ответил Тхеу Ван Ли, благодарно склоняя голову, вписываясь в округлый прозрачный свод, отделявший свечение от тьмы.— Я воюю уже одиннадцать лет.

— Вы вернетесь к своей семье, к своим любимым и близким и отдохнете, наконец, от войны,— произнес Кириллов.

— У меня нет семьи, нет любимых и близких. Отец и мать, сестра и два брата погибли от бомбы. А жениться я не успел. Нет у меня дома, жены,— не жалуясь, не печалясь ответил вьетнамец.

— Где же вы воевали?

— Сначала воевал под Ханоем, был зенитчиком, отбивал налеты американцев. Однажды мы подбили их «Фантом». Мой напарник в этом бою был убит, а меня обожгло напалмом,— он притронулся к пуговице на своей линялой рубашке, будто хотел ее расстегнуть, показать ожог, но раздумал.— Потом я воевал на тропе Хо Ши Мина. Мой зенитный пулемет стоял на грузовике. Мы сопровождали войска на юг, прикрывая их от воздушных атак. Там я вывел из строя один вертолет, но попал под ковровую бомбежку, и меня контузило,— он коснулся своей головы, будто ощупывал невидимый бинт.— После госпиталя меня послали в пехоту. Я брал Сайгон. Мы вели бои на военно-воздушной базе, и я видел, как улетали последние транспорты с американцами. Там, в одном из ангаров, мы подорвались на мине. Мне перебило ногу,— он сморщился, качнул коленом, словно оно заныло, несколько раз, укрощая боль, погладил его ладонью.— Потом, во время боев под Лангшоном, нас перебросили с

юга на север. Я участвовал в рукопашных с китайцами, и мне проткнули штыком плечо. Здесь, в Кампучии, я брал Пномпень, с боями дошел до границы. Но пока не был ранен,— и он улыбнулся, оглядывая свои руки и ноги, отыскивая на своем израненном, обожженном теле место, которого не коснулся бы металл.— Теперь, наверное, я уж не буду ранен. Через некоторое время нас отводят с позиции. Возвращают во Вьетнам. Было решение правительств Вьетнама и Кампучии. Мы едем домой.

Он умолк. Они летели в бесшумной сфере огня, и рядом, по тем же орбитам неслись Сом Кыт и Тхом Борет, два солдата с «калашниковым». Три корабля, толкаемые пламенем самодельных латунных коптилок.

«Еще один народ,— думал он,— чья судьба — освобождаться от власти чужих империй, чья истина брезжит в прорезях ружейных прицелов, в пожарах сел, городов. В нем, в народе, энергия сегодняшней боли, претворенная в энергию боя, должна обернуться в грядущий ослепительный свет».

Его, этого света, и желал Кириллов сидящему перед ним человеку, бездетному и бездомному, искалеченному долгой войной, другу и брату, обретенному в армейской палатке. Чувство, его посетившее, было жарким и истинным, и он молча искал слова, отвечающие этому чувству, готовился их произнести. Но из-за брезентовой шторы вышел радист. Шагнул в их летучую сферу, разрушая ее. Кратко сказал:

— На связь!

Тхеу Ван Ли быстро встал, ушел за экран.

Все прислушивались, ждали его появления. Ловили его лаконичные «да», «докладывайте», «сколько», «еще раз повторите». Кириллов переглядывался с Сом Кытом. Их ожидание было общим, нетерпение было общим.

Тхеу Ван Ли появился из-за экрана, на щеке виднелся рубец, оставленный наушниками.

— База разгромлена. Противник на базе уничтожен. Есть пленные. Некоторым удалось вырваться из окружения. Преследование с наступлением темноты остановлено. С нашей стороны имеются убитые и раненые.

— Какая информация о базе? — хотел узнать больше Кириллов.— Кто захвачен в плен?

— Еще неизвестно. Точных сведений нет. Захвачены бумаги. Но основной их разбор состоится, когда на базу будут доставлены пленные. Вот и все сведения. По рации больше не узнать.

— Нельзя ли попасть на базу? — Кириллов оглянулся на Сом Кыта, сверяясь с ним, тот кивнул согласно.— Как далеко отсюда до базы? Нельзя ли ее осмотреть?

— Нет,— жестко сказал Тхеу Ван Ли.— Туда пешком добираться сутки. По тропам, в джунглях. Это опасно. Возможны засады, мины.

— А машиной?

— Звериные тропы, болота. Даже танк не пройдет. Артиллерия не проходит. Солдаты несут на себе базуки и минометы. Война в джунглях. Только пешком.

— А можно ли туда долететь вертолетом?

— Мы сообщили в штаб о взятии базы. Думаю, из штаба на базу полетит вертолет. Но этого я точно не знаю.

— Если пойдет вертолет, то откуда? — настойчиво допытывался Кириллов, выстраивая мгновенный, неточный, рассыпающийся и вновь собираемый воедино чертеж.— Откуда пойдет вертолет?

— Если он пойдет, то, наверное, из Сиемреапа. Там, на аэродроме, стоят вертолеты. Оттуда они обычно летают. Но этого я точно не знаю.

— Дорогой Сом Кыт,— Кириллов подсел к нему, осторожно положил ладонь ему на колено.— Хочу посоветоваться с вами. Для меня было бы крайне важно немедленно получить информацию о базе. Конечно, в конце концов бумаги попадут в МИД, и там я смогу познакомиться, но пройдет немалое время — пока-то их доставят из джунглей, пока рассортируют... Мне кажется, если вы согласитесь, нам следует утром ехать в Сиемреап, просить вертолет. Мне нужно самому побывать на базе, осмотреть ее, написать репортаж о разгромленной полпотовской базе.

Кхмер, соглашаясь, кивнул.

— В Сиемреапе,— сказал он, подумав,— мы окажемся лишь завтра под вечер. Это канун Нового года, и вряд ли нам дадут вертолет. Если вьетнамцы пойдут нам навстречу, мы получим вертолет послезавтра.

— Я рад, что вы согласны со мной. Утром на рассвете мы выезжаем. Может быть, все-таки удастся завтра получить вертолет.

Он был возбужден, но это возбуждение было предельной формой усталости, когда пущены в горение последние резервы энергии, тот запас, что природа оставляет на крайний случай. Это и был тот случай. Не напрасно они проделали путь. Не напрасно добирались к границе. Он выполнил ту задачу, с которой отправлялся в дорогу. И возникла другая, важнейшая. В ночных горах, в суточном переходе отсюда остывала, дымилась база. Оттуда, от дымящихся рытвин, от россыпей стреляных гильз, он должен повести репортаж о последних выпадающих на долю народа страданиях, о войне, отброшенной от домашних очагов и полей, о мире, долгожданном, спустившемся на эти реки и горы, о грядущей, исцеленной стране.

Он не думал об этом в деталях, а одной только общей мыслью. Он был профессионал-журналист, и его профессиональный долг подсказывал ему единственно правильный путь: пытаться добыть вертолет и лететь на базу.

Сом Кыт был его партнером и товарищем. Страна, о которой радел он, Кириллов, была Сом Кыту родиной.

— Тогда, если гости собираются рано вставать, они могут лечь отдыхать.— Тхеу Ван Ли приглашал ко сну.

Он уступил Кириллову свое самодельное походное ложе под марлевой сеткой. Кириллов благодарно улегся, старался успокоить сознание, выбросить из головы прожитый день. Но последним видением вставали перед ним мохнатые столбы разрывов и летели из джунглей молчаливые красные птицы.

Утром они простились с Тхом Боретом, отпустили его с охраной по сисопхонскому шоссе в Баттамбанг, где ему предстояли выезды на место террористических актов, допросы, расследования, скольжение по кромке между жизнью и смертью, стремление отодвинуть эту жестокую кромку подальше от воловьих упряжек, везущих зерно на поля, от крестьянских сох, скребущих влажную землю.

Тхеу Ван Ли вызвался их проводить по проселку до моста, охраняемого взводом солдат, по опасному отрезку дороги, вьющейся среди лесистых холмов. К палатке подъехал закопченный зеленый «джип», обтянутый по торцу и по крыше брезентом, с открытыми бортами и измызганными стальными сиденьями. Сом Кыт уселся в «тойоту» вместе с вьетнамской и кхмерской охраной, а Кириллов — рядом с Тхеу Ван Ли. И их две машины покатили по раздавленной, разбитой дороге, и артиллеристы у пушек махали им вслед.

Утреннее солнце влажно брызгало из листвы. Дорогу под колесами перебегали рыжие, горбатые, похожие на сусликов зверьки. Джунгли против солнца казались дубравой, и Кириллова, отдохнувшего за ночь, посетила мгновенная радость — иллюзия иной земли и дороги, где-то под Задонском, в дубах, с песчаной разъезженной ко-

леей, вот сейчас из-за крон возникнут ржавые главы собора, и запылит, зазеленеет палисадниками русский городок. Иллюзия быстро исчезла, но радость не проходила. И он после вчерашнего напряженья дорожил этой необъяснимой нечаянной радостью.

«Джип» продувало ветром. На приборной доске, зиявшей незастекленными пустыми отверстиями, еще виднелась полустертая наклейка с американской девицей. Два вьетнамских солдата, раздвинув колени, выставили в разные стороны автоматы.

— Дорогой Тхеу Ван Ли,— Кириллов стукался на ухабах о твердое плечо офицера,— вы ветеран трех войн. Разгромили трех неприятелей. Видели сверкающие пятки трех удиравших армий. Наверное, интересную книгу могли бы написать.

— Во Вьетнаме почти каждый мужчина мог бы написать такую книгу,— улыбнулся Тхеу Ван Ли, понимая шутку.— К сожалению, за эти одиннадцать лет я научился хорошо стрелять, но не научился хорошо писать. Когда вернусь домой и отмою руки,— он показал свои сухие, с въевшейся грязью ладони,— я возьмусь за бумагу и ручку. Нет, не книгу писать. Просто учиться.

— Вы не хотите остаться в армии?

— Признаться, нет. Устал воевать. Хочу поехать в родную деревню, где у меня ѐсть родственники. Хочу жениться. Хочу родить детей. На том месте, где взорвалась американская бомба, я посажу мандариновое дерево. Пусть цветет, пусть дети под ним играют, пусть куры ходят, клюют зерно. На войне, вы знаете, я неплохо изучил моторы. Видел много разных машин, и целых, и взорванных. Грузовики, самолеты, вертолеты, танки. И везде меня интересовали моторы. Я знаю много разных марок машин — американских, советских, китайских. Хочу работать механиком по тракторам. Родственники пишут, в нашу коммуну стали поступать тракторы.

— Я вас понимаю. Все так и будет, надеюсь.

Передернуло, колыхнуло воздух прозрачной тугой волной. Вблизи за стеклом над капотом со свистом и воем что-то пролетело, страшно и огненно, вытянув из леса мохнатый клин дыма, лопнуло в стороне от машины короткой вспышкой пламени, оставив чадную, опадающую копоть. Второй молниеносный удар — и похожая на кольчатого дракона вспышка, промерцав раскаленным глазом, превратилась у обочины в шаровой взрыв света, машину стукнуло, и шофер, безумно крутанув баранку, развернул «джип» поперек дороги, и ветер от крутого виража и взрывной волны ударил в открытый борт. Тхеу Ван Ли рванулся, растопырив руки, заслоняя собой Кириллова, с силой отталкивая его назад, дальше от леса, помещая себя между ним и зелеными кущами, из которых, тая, расширяясь, тянулись две дымные трассы.

— Базука! — крикнул он, толкая спиной Кириллова, выдавливая его из машины на землю, за колесо, на пыльный грунт. Махнул солдатам, ударил очередью наугад по опушке, нырнул вперед, навстречу трескам, скрываясь в зарослях.

Кириллов на земле, заслоненный резиновыми скатами, видел «тойоту», съехавшую в кювет, Сом Кыта в позе стартующего бегуна, прыгающих с открытого места навстречу стрельбе и лесу солдат. Успел осознать мгновенную картину случившегося: удар гранатометов из джунглей, их промах, взрывы на безлесном пространстве, бросок вьетнамцев навстречу стрельбе и засаде, и вот он один возле «джипа», заслоненный колесом и кюветом, из машины торчит ствол автомата, поодаль Сом Кыт смотрит на него, машет рукой, издали прижимая его к земле, а в близких перепутанных кущах — треск стрельбы, чмокнувший взрыв гранаты. Сердце его колотится, рту, открытому в испуге, не хватает дыхания, и глаза, округляясь в подлобье, приобретают панорамное видение, видят одновременно и небо и землю, пространство и сзади и спереди. Страх, слепой и горя-

чий, прошел сквозь него как судорога, вначале стиснув его мускулы в неподвижные комья, а затем распрямляя их, толкая его прочь от обочины, в чистое поле, прочь от стрельбы и взрывов. Но уже включились иные, контролирующие страх системы и силы, вновь собирали его в личность. Он выхватил из машины автомат и приподнялся, чтобы перебросить себя через шоссе.

Стрельба удалилась в глубь леса. Солдат вокруг не было. Только в стороне белела рубаха Сом Кыта, он оглянулся на Кириллова, резким жестом убеждая лежать.

Стрельба гасла, словно лес своей вязкой древесной жизнью рассасывал энергию боя, и она останавливалась, замирала в джунглях. Стало тихо. Только что-то чуть слышно звенело — то ли малая птица, то ли чешуйчатая, в придорожных каменьях, тварь.

Сом Кыт оказался рядом. Быстро, тревожно оглядел Кириллова с головы до пят, будто хотел, но не решался ощупать.

— Надо вот так лежать,— он все-таки надавил на плечо Кириллова, с неожиданной силой и властностью прижимая его к земле, а сам подымаясь над ним, заслоняя, как вьетнамец в машине.

Кириллов осторожно снял с плеча его руку:

— Мне кажется, там все уже кончилось.

Из леса, продираясь сквозь заросли, появились солдаты, вьетнамцы и кхмеры. Держа автоматы, растягивались вдоль опушки, занимая оборону, готовые стрелять, защищаться. Следом, под защитой их автоматов, показались четыре солдата, неся пятого. Двое — за ноги у голых щиколоток и двое — ухватившись за ткань рубахи у плеч, так что руки волочились по земле. Во всей провисшей, непружинящей, послушно-безвольной позе пятого была безжизненность. Кириллов еще издали, вглядываясь, понимая, что это убитый, различил в нем Тхеу Ван Ли. Ужасался и тому, что случилось, и своей, как теперь казалось, существовавшей все это время уверенности, что так и должно было случиться: Тхеу Ван Ли будет непременно убит. Тайная, неосознаваемая уверенность, которая вдруг стала явью, обожгла его острой виной: он, Кириллов, предчувствовал его неминуемую гибель, но не удержал, не помешал, а заслонил свою жизнь его жизнью.

Солдаты вышли на дорогу, держа убитого на весу. Тот висел — голова на сторону, пальцы прочертили на земле две пыльных бороздки. Со спины, из-под выпавшей из-под ремня рубахи капала кровь.

— В машину,— сказал солдат, но другие колебались, глядя на кровь, и солдат повторил: — В машину.

Раскрыли створки «джипа». Протолкнули вглубь тело. Оно прошуршало, и солдат, потянувшись, уложил на груди убитого раскинутые руки. Они легли бессильно и гибко, худые в запястьях, с металлическим браслетом часов.

— Надо ехать,— сказал шофер, оглядываясь на близкий лес.— Ехать надо.

— Вы перейдете ко мне? — Сом Кыт смотрел на лежащее в «джипе» тело.

— Нет, здесь,— поспешно ответил Кириллов, не умея объяснить своего желания остаться с убитым, боясь отсечь в себе чувство боли, вины, сострадания.— Я поеду в «джипе».

Они расселись по машинам и тронулись по пустынной, освещенной солнцем дороге, сначала начеку, ощетинившись автоматами в сторону зарослей, когда же поросшие лесом холмы отступили и они выкатили на безлесную сухую равнину, все расслабились, погрузились в молчаливое, в такт езде, раскачивание.

Кириллов смотрел на убитого, на его лицо, белевшее среди солдатских башмаков, чувствовал своим затылком, как бьется на железном полу затылок Тхеу Ван Ли. Эта смерть, мгновенно случившаяся,

приоткрыла простой механизм мира, чуть задернутый пологом из солнца, леса, дороги, из живых солдатских лиц,— механизм примитивный, наподобие деревянного винта в ткацком станке. Понимание этого делало бессмысленными все сложные мучительные усилия, именуемые постижением жизни. Эта простая истина, к которой он столь внезапно приблизился, делала не нужным ум, делала не нужной душу.

В своей жизни он видел убитых, незнакомых и дальних, кого не знал прежде: угодившего под танк пехотинца, вьетнамца на тропе Хо Ши Мина, кампучийцев в освобожденном Пномпене. И тех, кого знал, с кем только что вел разговор: вьетнамскую переводчицу, смешливую и прелестную, чья рука вдруг случайно коснулась в машине его руки, задержалась чуть дольше, и он на ухабах стал искать повторного прикосновения, и тревога «воздух» выгнала их всех из машины, и, лежа в кювете, он искал глазами ее маленькое легкое тело в защитной одежде с красным значком на груди, и пронесся над ними свистящий вихрь самолета, прочертив обочину серией мелких взрывов, и в дымной яме, где только что лежала она, тлели ошметки одежды, висел обрывок с красным значком, словно жизнь ее была вырвана с корнем, унесена у него из-под рук. И тогда после первого ужаса возникло это тихое, похожее на безумие прозрение — простой деревянный винт, заложенный в основание мира.

Но здесь, в машине, это состояние продолжалось недолго и сменилось другим. Он вдруг снова осознал, что эта смерть имела прямое к нему отношение, он — почти причина ее. Тхеу Ван Ли умер только потому, что он, Кириллов, жив. Вчерашним своим появлением в военной палатке, где был радушно принят, где вьетнамец угощал его чаем, уступил свое ложе, поместил вместе с собой в прозрачную сферу света, он, Кириллов, уже поставил его под пулю. Вьетнамец, кинувшись навстречу стрельбе, толкая Кириллова за машину, уступал ему уже не постель и не полог, а свое место в жизни. И что ему делать теперь? Чем благодарить за спасение? И кого благодарить? Как воспользоваться этим, ему предоставленным, для него сбереженным местом? Неужели они доедут сейчас до солдатского поста на шоссе, Тхеу Ван Ли унесут от него, похоронят в красноватой земле, а он, Кириллов, отделенный от него навсегда, улетит в Москву, будет спокойно жить, писать диссертацию, встречаться с друзьями, и не будет в его жизни поступка, не окажется слова и дела, коим он заплатит вьетнамцу за эту жертву?

Растерянно, в муке, он смотрел на близкое, неживое лицо, лежащее у его башмаков, не зная, что ответить на эти вопросы.

Но и это состояние исчезло, сменившись другим.

Эта единичная смерть в единичной, не менявшей картину войны перестрелке, входила в ряд бессчетных, во все времена, смертей — на войнах, на эшафотах, в застенках, смертей, имевших свои объяснения, свои великие или малые цели, своих свидетелей, певцов и поэтов. Постепенно великие цели, именуемые богом, служением царю и идее, распадались и меркли. Гасли царства, улетучивались религии, исчезали верования. Неужели история, требующая непрерывных жертв, неужели она всего только броуново движение народов и армий, варево идей и учений, которые теснят друг друга, уступая место все новым? Неужели и эта смерть канет бесследно, ничего не изменив на земле? И живущее в каждой душе безотчетное стремление к благу, желание видеть мир вместилищем этого блага, вера в неизбежное, по крохам, по каплям нарастание этого блага в охваченном бойней мире, неужели эти желание и вера никак не связаны с ведущейся в джунглях борьбой, с его, Кириллова, появлением на этой дороге, с ударами базук из засады, с легким броском вьетнамца в сторону стреляющих кущ, с этим неживым, с приоткрытыми

губами, лицом? И мир, меняющий свои очертания, есть только бесконечно длящийся абсурд?

Сомнение, настигнув его, не найдя немедленного разрешения, ушло, сменилось иным состоянием.

Вот он, Кириллов, в измызганной на локтях и коленях одежде, катится в американском трофейном «джипе» по пустой кампучийской дороге, склонившись над убитым, спасшим его от смерти вьетнамцем. А в этот час на другой половине земли, не ведая о нем, существует Москва, многолюдье ее площадей, его прежние друзья и знакомцы, тот дорогой и любимый мир, который живет два года без него и, наверное, не думает о нем. А он, Кириллов, что-то пропускает безвозвратно, от чего-то навеки отказывается, навеки себя чего-то лишает. Катит по безвестной кампучийской дороге, тратя еще один невосполнимо-единственный день своей жизни.

Так нес он в себе эту смерть, зная, что существует ответ на все невнятные, мучающие душу вопросы. Но ответ требует силы и свежести, ясности духа и разума, и не здесь, не теперь станет он отвечать. Откладывая на потом этот близкий, неизбежный ответ, он превращался в прежнюю действующую, наблюдающую, обдумывающую события личность. Стал прикидывать, как добыть вертолет, как добраться до захваченной базы.

Они доехали до магистральной дороги, ведущей в Сиемреап. У моста находился вьетнамский пост. Кириллов простился с солдатами, последний раз взглянул на убитого, отпуская его от себя, зная, что долг перед ним он уплатит. Пересел в «тойоту» к Сом Кыту. И они покатили в Сиемреап, молчаливые, нацеленные оба на единое, им предстоящее дело.

Целый день, до туманного знойного вечера, они катили мимо сел, пальмовых рощ, рисовых полей с первыми редкими хлебопашцами. То влетали в предпраздничные толпы с флагами, лотками, огромными, из папье-маше, пустотелыми куклами. То вновь оказывались среди волнистых отступающих гор, пернатых, млеющих пальм. И день казался нескончаемым, события утра отдалялись, были уже как бы вчерашними. Случившаяся смерть, дымные трассы, опушка с солдатами гасли, заслонялись зрелищами близкого праздника. Надрез, обнаживший вдруг голую кость, смыкался, глаза остывали, и острая боль сменялась, все глуше и глуше, болезненным воспоминанием о ней.

Они въехали в вечерний, красно-солнечный Сиемреап и сразу, не заезжая в отель, посетили вьетнамский штаб.

Их встретил заместитель командующего, маленький мускулистый полковник, крепкий в плечах, с коротким седеющим ежиком, желтыми прокуренными зубами. Яшмовая, с драконами, пепельница была полна сигаретных окурков.

— Как прошла вторая половина дороги? — спросил полковник, и Кириллов понял, что о первой половине, о перестрелке, засаде в лесу он осведомлен.

— Доехали без приключений,— Кириллов чуть усмехнулся, зная, что и о второй половине пути полковнику все известно. Вспомнил, как на постах у мостов и шлагбаумов, стоило проскочить их «тойоте», связисты начинали крутить ручки полевых телефонов и радисты надевали наушники.— Мы с моим коллегой признательны вам за обеспечение безопасности.

Сом Кыт кивнул, подтверждая благодарность.

— К сожалению, у границы все еще возможны инциденты,— сказал полковник, и они втроем, помолчав, безмолвно согласились не касаться случившегося, и видение убитого Тхеу Ван Ли мелькнуло перед Кирилловым и кануло.

— Мы благодарны вьетнамскому командованию за предоставленную возможность посетить боевую часть.— Кириллов взял на себя ведение беседы, зная, что Сом Кыт с трудом говорит по-вьетнамски. Молчаливо испросил на это позволения кхмера, получил молчаливо согласие.— Мы хотели уточнить, действительно ли база, которую вы вчера захватили, предназначалась противником для политических акций?

— Нам трудно судить об этом,— уклончиво ответил полковник.— Информация очень скудная. Только радиосводка.

— Быть может, для уточнения данных туда пойдет вертолет?— Кириллов чувствовал: полковнику известно все об их пребывании в части, о их намерении побывать на базе, о стремлении получить вертолет. Он ждал их появления в штабе, ждал расспросов о базе.— Вероятно, вы пошлете туда вертолет для вывоза бумаг и пленных?

— Мы избегаем посылать вертолеты в районы джунглей,— ответил полковник.— В прошлом месяце мы потеряли одну машину. У противника появились зенитные ракеты «ред ай». Они действуют ими по вертолетам и низко летящим самолетам. Мы избегаем посылать машины в горы, где нет навигации, нет резервных площадок.

Это не был прямой отказ. Это было осторожное отдаление просьбы, еще не произнесенной. Кириллов, досадуя на свой малый просчет, произнес эту просьбу:

— Мы хотели просить наших вьетнамских друзей позволить нам побывать на базе. Познакомиться на месте с захваченными бумагами. Именно поэтому мы решились потревожить вас вечером в канун праздника, за что приносим свои извинения. Мы просим, если это реально, предоставить нам завтра вертолет для посещения базы.

Полковник молчал. Кириллов чувствовал, что молчание его — лишь вежливость, лишь видимость обдумывания. Ответ был уже заготовлен.

— Завтра, вы знаете, Новый год. И едва ли состоятся полеты. Завтра все отдыхают. К тому же разрешение на подобный вылет может дать только командующий.

— Нельзя ли нам повидаться с командующим? — Кириллов улыбкой старался снять заключенную в этой просьбе известную бестактность.— Может быть, он пойдет нам навстречу?

— Командующий улетел в Пномпень,— сказал полковник.— И вернется не завтра.

Кириллов видел: положен предел разговору. Поднялся, поблагодарил полковника и все же завершил беседу последней попыткой:

— У нас к вам просьба, разумеется, если она не покажется вам очень трудной. Просьба связаться с командующим в Пномпене и изложить наши просьбы.

— Мы постараемся связаться с командующим,— помолчав, отозвался полковник. Встал, пожал им руки.— Желаю вам счастливого Нового года, добра вашим близким, исполнения всех ваших желаний.

— Желаем и вам счастливого Нового года, добра вашей семье и друзьям.

Они покинули штаб, добрались до отеля, огромного ветшающего дворца. Измученные, расстались, разбрелись по душным просторным номерам, помнящим богатых туристов из Америки и Европы, а ныне простаивающим без воды и кондиционеров.

Кириллов разделся и лег. Слышал, как неохотно погружается в ночь азиатский горячий город. Ощущал свое голое, потное, тоскующее по душу тело вместилищем огромной, похожей на болезнь усталости.

И снова мысль его, перебрав весь долгий исчезающий день, окровавленный и простреленный, устремилась в другое, вьюжное время, чудное, снежно-сверкающее, где он был поставлен среди мерцающих звезд и сугробов, и она, его милая, вела его за руку по на-

чертанным на снегу письменам. И чувство, что нынешняя, на моторах и пропеллерах, жизнь не уносит прочь, а, напротив, приближает его к былому, к той, другой, оставленной жизни, это чувство посетило его.

Они стоят на снегах. Лицо его поднято ввысь. Небо над ним выгнуто невидимой тяжестью, давлением живой, напряженной силы. Оно — тончайшая лучистая твердь, колеблемая незримым дыханием. Вот-вот оно распахнется, и откроется чудная, во весь свод, красота, ударит синева, прозвучит и прольется глубокое, к нему обращенное слово. Он ждет, стремится взглядом раздвинуть тугую завесу. Но она гибко колышется, не поддается, отделяет его от иного, недоступного знания.

— Идем,— говорит она, берет его за руку и ведет осторожно, но властно. И он послушно шагает, ставя ступни в ее неглубокие, оставляемые на насте следы.

Далеко за буграми в полях звенит бубенец, пиликает баян, налетают раскаты смеха, взвизги. И он ловит эти родные, ранящие и веселящие звуки, в которых и старинная лихая гульба, и давнишние тоска и рыдания, и далекий гуд невидимого за лесом пожара. И чья-то родная, потерявшая дом душа все колотится ветром в забитые темные ставни, кидается серым волком в овраг, золотится глазами, морочит бубенцом и гармоникой.

— Идем,— торопит она, и он, без собственной воли, весь в ее власти, идет за ней следом.

У края села они спускаются к застывшему ручью, бесснежно блестящему. Шагают по черному льду, в котором остекленели и замерли пузыри и волнистые струи и запаян хрупкий, золотистый в ночи дубовый листок — знак исчезнувшей осени, остановившееся, остекленевшее время. Он смущен ее волей и властностью. Откуда в ней эта настойчивость, сила? Кто ему дал ее в поводыри? Как он связан с ней среди этих ночных горизонтов?

Они идут мимо спящих изб, и он знает — в тепле, в темных срубах, упрятаны: вот в том — однорукий скотник-старик, уставший за день среди коровьих дыханий и переступов, а там — тракторист, вывозивший стога из полей, вечно хмельной и драчливый, с женой, продавщицей сельпо, а там — ветхая беззубая бабка, вдова приходского дьякона, ее полногрудая дочка-бухгалтерша и тонконогая школьница-внучка. А дальше, под белой крышей,— тетя Поля на старушечьей высокой кровати. Он любит их всех, спящих в избах, и предчувствует неизбежное, совместное, его и их, исчезновение с земли, и верит в длящуюся общую жизнь, и знает, что есть нечто, роднящее их, всех живущих, между собой...

— Вот здесь... Мы пришли... Постой...

Они останавливаются у старой кузни под разломанной крышей. Сквозь черные клетки обрешетки он видит, как пульсируют, напряжены небеса, осыпаются изморозью. Из кузни веет ледяным углем, железом, накаленной морозной наковальней, и кажется, в этой кузне были откованы доспехи небес, здесь трудился неведомый искусный работник.

Туманно, стоцветно. Он смотрит сквозь старые колья, призывая кого-то, ожидая ответа на вопрос, который не был задан: он сам со своей молодой, явившейся в этот мир жизнью, он сам и есть тот вопрос.

— Ты слышишь меня? — говорит она.— Ты слушай меня. Слушай, и помни, и знай. Я люблю тебя. И буду всегда любить. Буду всю жизнь беречь и хранить. Буду служить тебе любовью. Когда-нибудь, я это знаю, моя любовь сохранит тебя и спасет. Может, в тюрьме. Или в болезни. Или в безумье. Или на войне. Но когда-нибудь, ты

увидишь, когда тебе будет страшно и худо, я приду и спасу тебя. Ты слышишь меня? Ты мне веришь? Ты любишь меня?

Она кладет ему руки на плечи, тянется к нему, белея лицом. И то ли с ее лица, то ли из накаленного неба, из-за стропил разрушенной кузни, из-за темных елей — бесшумный, молниеносный удар света; пронесся над снегами, селом, над ними, озарил, промерцал и умчался, оставив гаснущий след.

Спустя много лет, когда кончилась пора журналистского ученичества, он приобрел имя, стал спецкором центральной газеты. Выполнял ответственные, связанные с политикой задания, отражал пропагандистские наскоки противника. Реального, живого противника он видел на пресс-конференциях, за коктейлем в журналистском баре, где представители американских, английских, западногерманских агентов, дружелюбные, очаровательные, обменивались с ним словами приветствий, и он отвечал им улыбкой, зная, что за каждым из них числятся десятки отточенно-острых, умно-беспощадных, направленных против его страны публикаций, использующих каждую боль, каждый промах и трудность, атакующих каждый успех и победу. Он видел противника в столицах Европы: штаб-квартира НАТО в Брюсселе, выходящие из машин генералы, и маленький, как свистящий топорик, истребитель британской армии, пикирующий над дорогой в Арденнах. И он видел противника в его яростном, истребляющем действии, атакующего социализм не в газетной статье, не пропагандистским залпом, а грохотом ракет и ковровых бомбежек, эскадрильями «фантомов», взлетающих с палуб авианосцев, превращающих деревни в жаркое пожарище, рисовые поля — в зловонное месиво. Несколько раз он ездил в воюющий Вьетнам, и там, наконец, его прежний опыт востоковеда, знатока этой пылающей оконечности Азии, слился с журналистской профессией, образовал сплав аналитика и репортера. Серия вьетнамских его публикаций получила широкий отклик.

Он ездил в районы Вьетнама, где американцы испытывали химические военные средства. Джунгли без крон, превращенные в остроконечные, вбитые в небо гвозди, в черный, мертвый частокол. Дохлые, разбухшие на жаре обезьяны, протухшие рыбы в черно-синей, похожей на нефть воде. Безжизненные термитники с ссохшимся комом умерщвленных сцепившихся насекомых. Бесшумный, без пролета бабочки, птицы воздух. И в местном госпитале — кашляющие кровью дети.

Он писал репортажи о зенитчиках, отражавших атаки «фантомов» на стратегический мост. Стальная дуга моста, пропускавшая сквозь себя трассы бомб и снарядов, грязно-желтые взрывы воды, и навстречу пикирующему, пульсирующему огнем самолету — раскаленные пунктиры зенитных пулеметов и пушек. Под каской темнобровое, в струйках пота лицо зенитчика, выбрасывающего вслед улетевшему самолету маленький, с красной царапиной кулак. Снял каску, и девичьи волосы рассыпались на затылке. Женский зенитный расчет держал у моста оборону.

На тропе Хо Ши Мина, разветвленной, как дельта, под шатром джунглей двигались непрерывно цепочки пеших солдат, вереницы велосипедистов с оружием, подскакивали на ухабах грузовики и пушки. Он перенес ковровую бомбежку, когда в лесу, надвигаясь стеной, превращая небо и землю в одну черно-красную клокочущую завесу, ломился кто-то огромный, слепой, раскалывая деревья, превращая грузовики в щепы, сдувая, сметая людей. Он упал в зловонную лужу рядом с крутящимся пушечным колесом, вдавился в жижу лицом, слыша, чувствуя, как кто-то гигантский прошел над ним, переставляя ухающие мохнатые ноги, провернул в высоте красные, в лопнувших сосудах глазища.

Вернулся в Ханой, в отель, измызганный и изодранный. Запер номер на ключ. И внезапное, наподобие безумия затмение смяло его. Продолжали взметаться взрывы, бежали и падали люди. Ему захотелось разбить графин с водой, висящий на стене репродуктор. Он чувствовал, как погружается в тьму и последним усилием сознания, желая уцелеть и спастись, схватился за внезапно мелькнувший образ: старая кузница, сугроб у реки, Вера запрокинула к мерцающим елям лицо и проблеск молниеносной лазури. Этот проблеск, как малая искра, повторился в ханойском отеле. Воскресил, вернул ему разум.

Глава шестая

Утром он проснулся и медленно, не сразу, втягивался в огромность пустынного старомодного номера с альковами, статуэтками, пейзажами в золоченых рамах. Из-за штор косо, бледно сочилось солнце. С металлическим эхом играла музыка. И это мембранное, резонирующее в громкоговорителях звучание породило мгновенную иллюзию московских праздничных толп, поющих на углах репродукторов. И следом — возвращение в реальность: Сиемреап, буддийский Новый год, и вот-вот прикатит машина вьетнамцев и их повезут к вертолету.

Одевался, чувствуя, как ломит тело после вчерашней дороги, неловкого прыжка из машины. На обоих локтях запеклись ссадины, и сгибая руки, он видел, как треснула корка, засочилась кровью. Запрокинутое неживое лицо возникло и, повинуясь его воле, исчезло.

Дали воду, и он принял душ и побрился. В его запасах оставалась последняя чистая рубаха. Прежде чем ее надеть, он вынул из сумки другую, скомканную, постирал ее и повесил на спинку кровати, зная, что она не скоро просохнет во влажном горячем воздухе.

Вышел в коридор, в полутемный холл в надежде увидать Сом Кыта, но того еще не было. Администратор отеля, немолодая, с былой красотой женщина улыбнулась из-за стойки печально. На стойку вскочила длиннорукая горбатая обезьяна. Защурилась, замигала на Кириллова, стала грызть ногти. Женщина тронула обезьяну гибкой, еще красивой рукой, снова слабо улыбнулась Кириллову.

Он вышел из отеля, с высокого каменного портала осматривал пустынную гулкую площадь, наполненную пружинно-металлической музыкой. Далеким пестрым пунктиром катили велосипедисты. Вьетнамский патруль двигался в тени пальм.

Сзади кто-то тронул его за локоть. Он оглянулся. Обезьяна, бесшумно подкравшись, вложила свою чернопалую руку в его ладонь. Его поразило это человекоподобное прикосновение сухой горячей руки, в котором было нечто от сочувствия, утешения. Словно зверь, наделенный проницательностью человека, исполнился к нему сострадания. Так и стояли рука об руку. Потом обезьяна, забыв о нем, кособоко покатилась по ступеням, мягко, с чуть слышным шлепком скакнула на пальму, тонко заскулила, грозя кому-то невидимому.

Вернулся в номер. И внезапная тоска и потерянность опять охватили его. Слабея, охнув, как от боли, он улегся плашмя на кровать, лежал лицом вверх, стиснув веки, чувствуя ломоту во всем теле, слушая непрерывную азиатскую музыку, все убыстрявшую визжащее яростное колесо. Ему казалось абсурдным пребывание здесь, в этом безвкусно-роскошном номере с неостановимым, необратимым проживанием минут, с которыми он не знал что поделать. Когда-то, очень давно, его захватила политика, грозные, формирующие сегодняшний мир силы понесли его, он отдал себя их движению, слил с ними свою волю, судьбу. И вот они привели его в этот номер и как бы на время оставили, отлетели. Смотрят на него, выжидают: что станет он делать, отпущенный на свободу, лежащий навзничь на скомканном, из китайского шелка, покрывале, на лазоревых птицах, цветах? Как воспользуется этой свободой?

Ну что ж, он ею воспользуется. Как нормальный, выполнивший свой долг человек. Он сделал, что должен был сделать, и может теперь вернуться. Его стремление добраться до базы — просто больная инерция вовлеченного в гонку сознания. Род психоза, которым он болен давно, добывая, разыскивая, накапливая бесконечные сведения. Они, эти сведения, увеличивают непомерно свой груз, но не приводят к простому ясному знанию, не приводят к истине, объясняющей жизнь. И надо прервать эту гонку, прервать накопление сведений. Повернуться вспять. Тем более что нет вертолета. Нет и, конечно, не будет. Надо найти Сом Кыта, поздравить его с Новым годом и пуститься обратно в Пномпень, где Вера, самолетный билет, близкое возвращение домой, туда, где смысл его бытия, где оставлено время на последние, важнейшие в жизни усилия: понять, кто он есть? Зачем родился и жил? Зачем дана ему Вера? Зачем было Троицкое? Надо помимо всяческой информации, помимо накопленных сведений понять, что есть жизнь, данная ему то светом, то бойней, то любовью, то великим унынием, то Россией, Кремлем, то душными джунглями, зрелищем разгромленных пагод.

Он чувствовал, что в состоянии подняться и тронуться в обратный путь. И никто ему не будет судьей. Сейчас от него самого зависит выбор решения. Он сам себе архитектор. Сам себе судья.

И он лежал, чувствуя сквозь веки бледное жидкое солнце, без прошлого и без будущего, на шаткой ускользающей грани личной свободы и воли, не умея ими воспользоваться.

Он вдруг почувствовал: в комнате кто-то есть. Открыл глаза — никого. Снова закрыл. И снова ясное ощущение, что комната его не пуста, что в дальнем, полутемном углу присутствует кто-то и наблюдает за ним. И этот кто-то — она, его Вера, в их московской квартире, сидит на диване с ногами в его кабинете, смотрит, как он работает. Ее долгий спокойный взгляд не мешает ему. Он любит, чтоб она вечерами сидела в кабинете, читала, вязала, пока он не устанет и они не пойдут перед сном на прогулку. Молодой снег сыплет в синеве фонарей, пронзаемый лакированным блеском машин. У Каляевской в маленькой булочной они купят теплые бублики, пойдут по улице Чехова, ломая обсыпанные маком кругляки, поедая их вместе со снежинками. Памятник Пушкину с проносящимися над его головой электрическими буквами на крыше «Известий», у подножья, на свежем снегу, краснеет гвоздика. Тверской бульвар сцепил в высоте голые ветки с притихшими сонными галками. Особняки, решетки в снегу, голубой в водостоках лед. Минуют огненный проруб Калининского проспекта, белую Кропоткинскую, дымно-розовый пар бассейна. Проходят любимый свой путь до ленивых льдов на реке, до морозной рекламы «Ударника», и если оглянуться — Кремль воспарит в ночной позолоте, и они, шагая обратно, глядят на дворцы и соборы. Днем в Александровском саду обрезали деревья, и она подняла отсеченную веточку тополя. Принесла домой, поставила в воду, и ветка распустилась, наполнила зимний его кабинет горько-миндальным запахом. Весной она высадила тополь во двор, ухаживала целое лето. Тополек прижился, подрос. Она говорила: под старость сядет под этим тополем, вспомнит прогулку, бублики, гвоздику у Пушкина, Кремль и их молодых, гуляющих по зимней Москве.

Открыл глаза. Дальний угол с золотистыми сумерками. Никого. Но все еще длился, чуть струился по комнате исчезающий запах мороза и горькой тополиной ветки.

Медленно встал. Тело болело, но слабость души прошла. Сомнение его миновало. Он одолел свою слабость, один или с помощью Веры, но дух его, потомившись на шаткой грани свободы, снова был в несвободе — в служении, в деле. На спинке кровати, под выстиранной рубахой, словно укрощенный ею, резной, с маленьким красным зевом, извивался дракон.

В дверь постучали. Вошел Сом Кыт, торжественный, в нарядной рубахе.

— С Новым годом,— сказал он, улыбаясь Кириллову, кланяясь ему от порога.— Я пришел вас поздравить. Пожелать вам, дорогой друг, здоровья, исполнения ваших желаний, благополучия вашим близким.

Он достал из нагрудного кармана, протянул Кириллову перламутровый инкрустированный ножичек на цепочке. Тот, растроганный, принял подарок. В ответ, поздравляя, достал из сумки новую, с золоченым пером паркеровскую ручку, одарил ею Сом Кыта. Оба стояли, держа подарки, улыбались друг другу.

— От вьетнамцев вестей никаких? — спросил Кириллов.

— Я был в провинциальном комитете, звонил к вьетнамцам. Вестей никаких.

— Думаю, они свяжутся со своим посольством в Пномпене и в конце концов пойдут нам навстречу.

— Сегодня едва ли нам дадут вертолет. Я вызвал машину. Мы можем поехать в Ангкор. Через несколько минут,— он взглянул на часы,— будет Новый год. Будет салют.

Они вышли из отеля на каменный подъезд. Их «тойота» белела у самых ступеней. Шофер и солдаты козырнули им, приложили ладони к фуражкам. Площадь была пустой, и только вьетнамский патруль медленно двигался в тени пальм.

— Ну вот сейчас,— Сом Кыт следил за секундной стрелкой.— Сейчас — Новый год!

И в ответ вдали, за деревьями, за красными черепичными кровлями прозвучала слабая очередь. Ей откликнулась другая, погромче. В разных концах города застрекотало беспорядочно, часто. Стрельба усиливалась, охватывала кольцами город. Над мохнатыми деревьями полетели пульсирующие колючие трассы, зачертили небо. Зашипели сигнальные, бледные на солнце ракеты. Весь город сотрясался, трескался, лопался от очередей, словно катились уличные бои. Рассыпанные гарнизоны и патрули палили яростно в небо в честь наступления буддийского Нового года, и близко над пальмами, оглушая, ударила трескотня,— это вьетнамцы, подняв автоматы, разряжали свои магазины, издали улыбались, кивали им, стоящим на ступенях отеля. Солдаты-кхмеры выскочили из «тойоты» и в два автомата, вбирая головы в плечи, по-мальчишески блаженно грохнули подряд несколько очередей, рассыпая гильзы, окутываясь дымом. Кириллов, оглушенный, затыкая уши, смеялся, глядя на Сом Кыта, и тот смеялся, а город свивал над собой букеты красных и зеленых, медленно парящих ракет, чертил молниеносные перекрестия автоматных и пулеметных трасс. Реже, реже — и смолкло. И вынеслись велосипедисты и дети, и площадь запестрела женскими длинными одеждами.

Они сели в машину, покатили по шумному, жаркому городу к окраине, к зеленому огромному лесу, к Ангкору.

Он знал Ангкор издавна, по хрестоматиям и альбомам. Издалека мечтал о нем, изучал, стремился к нему, связывая с его образом характер страны и культуры. И читая сводки о боях под Сиемреапом, он с болью представлял минометные взрывы, выкалывающие из черных стен барельефы царей и героев, автоматные трассы среди сумеречных ниш с каменными буддами. И пугался, и страдал, и стремился увидеть Ангкор.

Теперь, проехав по зеленой аллее, он вышел из машины и был поражен громадой сумрачного ступенчатого храма, растолкавшего джунгли. Косое, воронкой ввысь, расходилось небо. Падали из-за туч синие лучи. Храм словно приземлился с неба, как огромный инопланетный корабль — тяжкий, геометричный, инженерно сконструированный, переполненный ношей. На бесчисленных барельефах кишели люди, звери, растения, изделия рук человеческих, инструмен-

ты, оружие. И казалось, это из него, приземлившегося, высыпались на землю семена цветов и деревьев, превратившись в окрестные джунгли, изверглись звери, птицы и рыбы, населив небеса и воды, и люди построили свои города по образу и подобию Ангкора, избрали себе царей, затеяли войны, труды, моленья, повели исчисление времен, начали историю царств. Весь мир вышел из этого огромного каменного лона, здесь заложены программа конца и начала бытия.

Каменная, мощенная плитами, огражденная резными перилами дорога уводила к храму через наполненный водой, заросший лилиями ров. На перилах, на львиных и драконьих башках стоял ручной пулемет, и солдат-кампучиец в протершихся кедах, опершись локтями о камни, пропустил их, сделав знак глазами.

Они шли с Сом Кытом к медленно приближавшейся рукотворной горе. Под ногами у них, на плитах, извивались резные травы, струились звериные и рыбьи тела, и казалось, они движутся среди кишащей, шевелящейся жизни.

Они осматривали храм. Долго, бесконечно шагали в прохладных галереях, излучавших льдистое, исходящее из плит свечение, мимо высеченных барельефов, где клубящимся непрерывным напором скакали кони, ревели боевые слоны, сражались враждующие армии, падали в прах города, казнили пленных и мучеников, венчали триумфаторов, пировали, любили, строили ладьи, пускались в охоту и рыбную ловлю, молились, затихали на смертном одре, кружились бесплотными душами среди светил и галактик.

Он погружался не глазами — душой в бесконечные жития. Касался гладкого, то блестящего до черноты, то красноватого камня, ощупывая, как слепой, то голову молодого царя, то хобот боевого слона, то грудь танцовщицы, то терзаемого висящего пленника. Тела, казалось, были выточены из метеоритных камней, покрыты ржавыми, из космоса принесенными окислами, отшлифованы ревущим огнем, сотворены не земным мастерством, а в иной, небесной гранильне.

Он быстро устал. Понимал, что свидание с храмом слишком коротко. Что за эти минуты ему не обнять заложенный в сооружении смысл. Но не жалел об этом. Когда-нибудь после, в другой земле, ему явится видение храма, и смысл себя обнаружит.

Они обошли галерею с маленькими полуразбитыми буддами, лишенными рук и голов. По изглоданным, покосившимся ступеням они поднялись на самую высь, и он, задыхаясь, с ухающим сердцем, с кружащейся от духоты головой, смотрел на сумрачно-золотую, исстрелянную пулями статую, а в округлом проеме позади нее, как в иллюминаторе, синели озера, леса, летели птицы, дышали пашни, и Будда, словно пилот в золоченом скафандре, вел свой громадный корабль.

Осмотрев Ангкор, они побывали в соседнем Байоне. «Улыбающиеся горы»,— думал он, глядя на огромные мягкогубые лики, высеченные на черных утесах. Там, среди горячих, шуршащих осыпями изваяний он видел змею, стеклянно скользнувшую в трещину. Маленький зеленый кузнечик прыгнул ему на рукав, спокойно сидел, двигая прозрачным хлорофилловым тельцем. Кириллов, несмотря на усталость, пережил давно не посещавшее его чувство единства человека, камня и твари, сочетаемых, согретых общим для всех, бьющим из-за тучи лучом.

Они вернулись в отель. Войдя к себе в номер, Кириллов почувствовал себя столь уставшим, что едва раздевшись, ухнул на кровать и уснул.

Проснулся в сумерках с легкой, как в юности, и прозрачной веселостью. Лежал в темноте, пока не услышал приближающиеся шаги Сом Кыта. Поторопился подняться, застегнуть рубаху, пригладить волосы.

— Входите, дорогой Сом Кыт,— он зажег свет, почти с нежно-

стью глядя на знакомые, смугло-строгие черты кхмера.— Какими известиями вы порадуете меня на этот раз?

— На этот раз,— улыбнулся ему Сом Кыт,— я хочу сообщить вам, что нас ждет новогодний ужин. Полагая, что за время поездки вас могла утомить азиатская пища, я на свой риск заказал европейскую кухню. Стейк и овощи. Надеюсь, я вам угодил.

— Я тронут, дорогой Сом Кыт. Вы вспомнили, что я европеец, в то время как сам я об этом стал забывать. Стал забывать и о том, что в сумке у меня прячется еще одна бутылка водки. И как бы мне хотелось, чтобы вы, дорогой друг, изменили своей обычной привычке и в честь Нового года выпили со мной за компанию.

— Должен вам сказать,— улыбнулся кхмер белозубо,— за эти нелегкие дни я понял, что мне нравится наша компания. Я выпью немного водки.

Они ужинали одни в пустом, огромном, печальном зале с запыленными зеркалами и люстрами. Официант, облаченный в лежалый белый жилет, прислуживал им с выражением грусти, давая понять, что в прошлом его услугами пользовались великие люди. Но эта чопорная грусть на лице официанта и их одинокая трапеза, отраженная в десяти зеркалах, только веселила Кириллова. Тем более что горячее кровяное мясо розовело на тарелке, пестрели наклейки на бутылочках с соусами, зеленым плюмажем кудрявились листья салата.

Он налил в рюмки водку.

— Дорогой Сом Кыт, что пожелать вам в этот первый вечер Нового года? Выскажите свои пожелания, а я буду просить судьбу, чтоб она помогла им осуществиться.

Сом Кыт поднял рюмку и очень серьезно, не замечая легкой иронии в словах Кириллова, произнес:

— В этот первый вечер Нового года у меня нет личных желаний. У меня вообще не осталось личных желаний. Все мои желания связаны с судьбой моего отечества. Пожелаем ему, и вы и я, отдохновения в мире, урожаев на полях, младенцев в семьях. Пусть в Новом году тьма еще дальше отступит от его границ и порогов, от сердец и помыслов его сыновей. Ведь именно к этому, дорогой друг, мы с вами оба стремимся. За тем и пустились в дорогу. Если вы мне позволите, пожелаем в этом Новом году счастья моей дорогой измученной родине.

Они чокнулись, выпили во благо стране, шумевшей за шторами ночным гулянием, мерцавшей развешенными вдоль пальм цветными фонариками.

Ему было хорошо сидеть за чистой скатертью, есть вкусное мясо и пьянеть, глядя на торжественное лицо Сом Кыта.

— Дорогой Сом Кыт,— сказал он, испытывая умиленное чувство.— Я рад, что судьба нас свела. Мы многое пережили за эти дни. Поверьте, я дорожу вашим обществом. Эту поездку я никогда не забуду.

— В свою очередь, отвечу вам встречным признанием. Все эти дни я наблюдаю, как вы работаете, как не щадите себя. Я знаю, уже теперь вы бы могли пожелать вернуться в Пномпень. Ибо цель поездки достигнута. Но вы остаетесь, несмотря на усталость, несмотря на то, что вас ждет жена, ждет близкое возвращение на родину. Поверьте, я это очень ценю. Я учусь работать, глядя на вас. Я многому от вас научился. Видимо, так и должен работать настоящий журналист и политик.

— Ну какой я политик, Сом Кыт! Я — ученый! И скоро, обещаю вам, вернусь в Москву, к моей любимой библиотеке, к письменному столу, к моей диссертации. Если бы вы знали, как я хочу в Москву!

— Есть сведения, я поделюсь с вами, есть некоторые намеки на то, что меня могут послать на дипломатическую работу в Москву. Быть может, третьим секретарем посольства.

— Сом Кыт, да за это же надо выпить!

— Хочу вам сказать, что по возвращении в Пномпень буду счастлив принять вас с женой в моем скромном доме.

— С удовольствием приду! А когда вы с супругой приедете жить в Москву, я приглашу вас к себе. Поверьте, у нас будет много прекрасных вечеров в Москве!

— Вот за это и выпьем, за Москву!

И они выпили за красно-седые башни, и желто-белый, целомудренно-чистый дворец, и за диво Василия Блаженного.

— А теперь мы погуляем, не так ли?

Они медленно шли в толпе по переполненной улице. Кириллов чувствовал хмель, чувствовал жар от бесчисленных встречных лиц, освещенных гирляндами огоньков. Испытывал безотчетное, непрерывно длящееся блаженство. Женщина с лилово-черными волосами и приколотым к блузке цветком встретилась с ним глазами, улыбнулась, почувствовав его состояние. Двое юношей проводили его долгими взглядами, оглянулся — они все еще смотрели. Солдат-кампучиец, без оружия, пил сок, опустил стакан и посмотрел на него. Он радовался, что замечен ими, что их лица обращаются к нему, следят за ним, и мимолетно, с каждым, делился своим блаженством.

Рыночная площадь клокотала толпой, взрывалась возгласами, свистом, озарялась прожекторами, множеством масляных мигающих светильников на лотках и колясках. Люди ели, пили, брели, бежали, скакали, свивались в хвосты и очереди, в жужжащие пчелиные сгустки. И вид веселящегося люда, не помнящего прокатившихся бед и потерь, отзывался в Кириллове жарким желанием продлить их праздник, заслонить их собой, защитить.

— Как хорошо, Сом Кыт! Как хорошо!

— Да, хорошо!

В центре площади были устроены аттракционы. Народ густо окружил место игрищ, ликовал, стенал, замирал, и снова охал, и голосил наивным восторгом, наивным огорчением и радостью.

Их пропустили вперед, кивали, кланялись, вовлекали в игру. Они оказались перед дощатым белым щитом, на котором карикатурно, аляповато были намалеваны фигуры Пол Пота, Лон Нола, Сианука и дяди Сэма, и Кириллов вспомнил художника из Баттамбанга: его искусство жило, веселило, работало.

В руки им вложили по два пернатых заостренных дротика, и Сом Кыт, прицелившись, ловко, точно послал их в Пол Пота, пронзив ему лоб и жирную, исколотую другими попаданиями грудь. А Кириллов неумело, неловко метнул свой дротик и оба раза промахнулся, и его утешали, предлагали бросить еще.

Тут же, в соседнем скопище, они наблюдали народную игру, протекавшую в деревянном, похожем на просторную кадку загоне. В стенках кадки были выпилены круглые норки, кончавшиеся сетками, как биллиардные лузы. За пределами кадки стояла плетеная корзина с живыми крысами. Хозяин игры длинным сачком выхватывал из корзины крысу, помещал ее посреди кадки, накрывал колпаком. Играющие выбирали каждый свой номер, делали ставки, сыпали на поднос бумажные деньги. Хозяин снимал с испуганного, сжавшегося зверька колпак, и крыса, ослепленная светом, оглушенная гамом, сидела, мигала, шевелила усами. Толпа начинала свистеть, улюлюкать, кидать в крысу щепки, и та испуганно металась и рыскала по загону, пока не толкалась в лузу, ныряла в нее, билась, запутавшись в сетке, а толпа ревела, как в Колизее, и счастливец, гордый победой, собирал с подноса бумажный денежный ворох.

Им предложили сыграть и в эту игру, но они отказались. Гуляли, ели сласти и к полуночи, усталые, разморенные, вернулись в отель. У портала в тени от колонн они заметили военный «джип».

В холле из низкого кресла поднялся офицер-вьетнамец. Отдал честь. Поздравил с Новым годом. Сообщил, что из Пномпеня получена телеграмма командующего, и завтра утром их ждет вертолет.

Они простились с вьетнамцем. Потом друг с другом, до утра. Кириллов вошел к себе в номер, отрезвленный, точный и ясный. Собрал свою сумку. Медленно разделся и лег. Сегодняшний день еще трепетал и звучал за шторами, манил к себе отголосками. Но был уже пройден и прожит. На завтра был назначен полет.

Они идут по деревне к избе торопливо, почти бегом, он впереди, она сзади. Он не оглядывается, но знает — она боится отстать, и боится идти, и идет, и уже не отстает, и пойдет, куда он захочет, а он чувствует и ее страх и свой собственный — вдруг отстанет и это теперь не случится?— и знание, что оно непременно случится.

На дороге блестят замерзшие водяные капли. Сверкает втиснутый в лед тракторный болт, тот, что утром краснел на заре. Все видно ярко, остро в ночи, и их влечет бесшумная, неодолимая сила.

Изба. Проискрил на сугробе след, оставленный его утренней лыжей. Колючее плетение шиповника. На носках, чтоб не скрипнула на крыльце половица, не стукнула щеколда, пробираются в сени, в запах осиновых невидимых дров. Нащупал дверь. Душный, жаркий, темный дух дома. Оконца, тусклое сияние стекол. Старушечье, чуть слышное дыхание на высокой, в темном углу, кровати.

В шубах за занавеску, за перегородку, где тесно, бело от печи. Голубое, мерцающее льдом оконце. На печи колючая тень от шиповника. Сняли шубы. Ее темный пушистый свитер. Взмахи рук. Электрический треск волос, полыхнувшая на воздетых руках зарница. Красно-черное в темноте, тяжелое одеяло кровати.

Лежат близко, не касаясь друг друга, отдалившись друг от друга, закрыв глаза. И сквозь закрытые веки, сквозь все запреты и заповеди — медленное приближение друг к другу, без слов, одним дыханием, одним шевелением губ, скольжение, влечение друг к другу, падение с ледяного наката в сверкающую бездну. И нет избы, и длящийся молниеносный полет над снегами, лесами к далекой краснеющей точке, к малой багровой бусине, к красному тугому бутону, из которого вдруг вспыхнул алый огромный мак, превратился в шар красного света, и он, раскрывая глаза, ослепленный, в слепоте прозревает свою жизнь, свою смерть, свое избавление от смерти, свое, во веки веков, пребывание с нею, с любимой. Погасло. Он возвращается в крохотное пространство избы. Ночь. Тень шиповника на белой печи. Рядом она, его милая.

В черном небе латунная лента. Пальма, черная на заре, со страусиным плюмажем. «Джип» у подъезда. Капли воды на капоте, желтые, как мандариновые брызги.

Вьетнамский офицер, аккуратный, в портупее, козырнул Кириллову и Сом Кыту. Принял вещи. Оглядывался с переднего сиденья, когда проносились по пустынному городу. Любезно отвечал на вопросы. Да, их штаб связался с посольством. Да, видимо, это указание посла и командующего. Да, на базу вместе с ними полетит начальник разведки.

Аэродром был в легчайшей золотистой дымке, словно окутан пыльцой цветущих трав и деревьев. Они прокатили по бетону мимо военных транспортов, белесых старомодных истребителей, разрушенного двухкилевого американского бомбардировщика. На дальнем конце, одинокий, отточенный, темнел вертолет.

— Начальник разведки,— представился им невысокий, с седыми висками вьетнамец, в кителе без знаков различия, с кобурой и фотоаппаратом.— Экипаж готов. Можно лететь.

— Мы признательны командованию за предоставленную нам воз-

можность.— Кириллов пожал вьетнамцу руку, глядя не в лицо, а мимо, на поле, где расхаживал с карабином охранник, и в заре клубилась спутанная трава, и плавно скользила большая птица.— Должно быть, вы что-нибудь знаете о базе?

— Мы знали о ее существовании прежде. Долго ее искали. Она тщательно маскировалась. Мы засекли ее по передатчику. Несколько раз на короткое время он выходил в эфир. Мы послали на захват базы специальные части. Теперь она наша.

— Вы намерены вывезти пленных с базы?

— Да, бумаги и пленных. Вы бы, конечно, могли ознакомиться с ними и здесь, в Сиемреапе или даже в Пномпене. Но вы предпочитаете лететь.

— Мы полагаем, что оперативней все увидеть на месте.

— Как вам угодно. Командующий дал разрешение.

— Еще раз спасибо. А сколько мы будем лететь?

— Часа полтора.

— Спасибо.

Они уселись в вертолет на железные лавки. Тут же, укрепленная обручами, стояла оранжевая стальная цистерна с горючим. Лежали на полу два автомата. Пилоты захлопнули дверцу, запустили винты.

Их пронесло над бетоном, и Кириллов в иллюминатор успел разглядеть над собой ширококрылую, лениво сносимую птицу. Взмыли над пальмами, и косо, желто-серебряное, в разводах, блеснуло огромное озеро, словно приподняли над землей металлический лист, послали вслед вертолету бесшумную вспышку.

Вдруг возник Ангкор, обнаружил свой каменный, раздвинувший джунгли четырехгранник. И Кириллов, прижимаясь к стеклу, смотря на проплывающий внизу храм, представил, как сидит золоченый простреленный Будда, представил себя, вчерашнего, с зеленым кузнечиком на рукаве. Струнка шоссе натянулась и лопнула. И он вспомнил, как день назад мчался по дороге и где-то здесь укрывалась засада, был бой. В красноватых полях, над которыми они пролетают, лежит засыпанный Тхеу Ван Ли, тень вертолета скользит по его могиле. Но поля и дороги исчезли, и заклубились внизу зеленые волнистые джунгли, то с провалами горных долин, наполненных синей мглой, то с золотистыми, освещенными солнцем вершинами.

Вначале он зорко смотрел, стремясь различить тропы и двигающиеся цепочки солдат, вспышки и дымки перестрелок. Но леса тянулись непрерывно и плотно, поражая обилием неочеловеченной первобытной природы, в которой нет места людям, а господствуют стада слонов, обезьян, таятся проглоченные джунглями храмы, следы погибших, побежденных природой цивилизаций. Он старался сосредоточиться на этих мыслях, но они скоро утомили его, и он стал осматривать вертолет, оранжевую цистерну с топливом, лежащие на полу автоматы. Обнаружил, что на одном из его башмаков начинает отставать подошва. Попробовал ее, она еще держалась, но грозила вотвот отвалиться.

Его толкнуло спиной о шпангоут, и в толчке, в круговом, наклонившем вертолет вираже, увидел падающего на него с противоположной лавки начальника разведки, его растопыренные руки, и Сом Кыта, ухватившегося за ремни.

Машина выровнялась, заревела надсадно, продолжала горизонтальный полет. Начальник разведки метнулся к кабине, и один из пилотов снял шлемофон, слушал его сквозь гул, что-то отвечал ему в ухо.

Вьетнамец появился через минуту, растерянно наклонился к Кириллову:

— Горим!..

В правом иллюминаторе виднелось бледное мелкое пламя. Перь-

ями налетало к стеклу, пропадало, и вместо него тянулись синие волокна дыма. Пламя вновь возникло, злее и ярче, и откуда-то сверху, как в дождь, западали огненные тягучие капли.

— Горим! — снова не крикнул, а бесшумно, сквозь вой винтов, произнес начальник разведки и опять бросился к кабине.

Вертолет выл металлически и трескуче. Кириллов, отшатнувшись от обшивки, смотрел сквозь бледный наружный огонь на джунгли, не пугаясь, оцепенев, не давая места страху, не давая пространства никакому другому чувству.

Вьетнамец снова навис над ним жестким, седовласым лицом:

— Топливная система!.. Горючее!.. Будем садиться!.. Ищут место посадки!..

Вертолет снижался. Джунгли толпились внизу сплошным плотным войлоком. Зеленые, сквозь дым и красноватые огни они казались лиловыми, как через светофильтр. Он подумал, что вертолету для посадки нет места и придется садиться прямо в деревья. Представил удар в металлическое брюхо машины, ломающиеся вершины, хруст отсекаемых сучьев, скрежет и скрип металла.

Он поднялся, чтобы перейти к другому, бездымному борту, но из пола, снизу, из невидимых щелей ударил огонь, охватил нутро фюзеляжа, пропал, брызнул едкой, бескопотной вонью и снова возник, свистя и треща, окружив их всех, заслоняющих лица локтями, приседающих, стремящихся вырваться из обжигающих обручей.

— Бочка!.. Взорвемся! — крикнул вьетнамец. Отталкивая его, из кабины набежал на огонь пилот, упав на колени, что-то делал у бочки, перекрывал какой-то вентиль, напрасно, как казалось Кириллову, и бессмысленно.

Огонь почти пропал, но брюки его горели, и ногу вдруг обожгло и ужалило. Он стал бить по прожженной ткани, сшибая огонь, превращая его в тлеющие угольки.

И эта боль, и вид своей тлеющей одежды, и забившийся в кашле Сом Кыт, и начальник разведки, вместе с летчиком что-то творивший в дыму, и вой металла, и ожидание, что сейчас, сию минуту они умрут в огромной бесшумной вспышке, расшвыривающей их в небесах, осыпающей их горящей рухлядью на землю,— все это родило в нем мгновенный, черно-белый испуг, превращая весь мир в негатив. В сотрясенной душе было только страстное нежелание смерти, страстное отрицание гибели. Но приблизилось на тонком луче, возникло иное знание. Знание о единстве и разумности мира, о возможности в нем — сквозь гибель и смерть — добра и спасения. Возможности победы в борьбе, в той, в которой сложил свою голову отец в сталинградской степи и вьетнамец в стреляющих джунглях.

Распалась оболочка реальности, рассыпался металлический короб, и в избу в отворенную дверь, с облаком пара, давя на перламутровые кнопки, краснея подолами, лицами, ввалилась ликующая родная толпа, и родной, как дух, высокий, как спасение, голос запел: «В о-острова-а-ах охо-о-отник!..»

Это длилось мгновение и кончилось. Снова был вертолет. Огонь, треск обшивки. Внизу открылась поляна с одиноким деревом, и на поляне под деревом и дальше, запрокинув лица, стояли люди в военном.

«Свои? Чужие?.. Что теперь?..»

Он прижался к стеклу, глядя вниз на поляну. Горящий вертолет, свистя лопастями, шел на посадку.

Море охватило нас крепким соленым дыханием. Прорезая мелкую зыбь длинной пенистой полосой, на западе кипел сувой. Там схлестывались холодное течение с севера и теплое со стороны реки. Я стоял на корме, жадно курил папиросу, глядя на истончавшийся, все дальше и дальше уходивший берег, и было такое чувство, словно там я оставил кого-то, ставшего мне, городскому человеку, близким в этой деревеньке, на долгом и пустынном побережье, которое прежде, когда глядел на карту, представлялось мне холодным краем земли; и раньше думалось, что если пройду его, то чем-то возвышусь в собственных глазах, но никак не предполагал я в себе этой грусти и боли, которые теперь охватили меня.

И многие лица по сей день встают в моей памяти, и мне хотелось бы сказать о северных людях гораздо больше, и не только словом, но и делом помочь чем-то им, приобщиться к их нелегкому бытию.

Вечерами, когда ноябрьские сумерки наползают на город и заморозки прихватывают пожухлую листву на ветках клена, растущего под моим окном, я невольно думаю, каково сейчас там, на Белом море. Тундра, наверное, уже заметена снегами, небо робко цедит мутный свет в короткие полярные дни, а выжатый стужей воздух обжигающе-сух, и далеко слышен под порывами ветра гул еще туже натянутых морозом проводов.

Ненцы сменили летние палатки на зимние, обтянутые изнутри шкурами. Олени движутся от замерзшего моря вглубь суши, отыскивают под снегом все еще зеленый ягель, окуная в него обметанные инеем ноздри.

Рыбак Афиноген давно убрал сети с тоней, выкопал колья на побережье, чтобы их не изломало льдами; живет в деревне, готовится к зимней путине, когда приспеет время ехать на промысел наваги на Канин Нос. Или, может быть, решение вернуться на флот созрело в нем окончательно и корабль его бороздит воды Атлантики где-нибудь возле экватора под палящими лучами солнца, а в лицо ему дуют южные ветры, теплые и влажные в отличие от студеных Полуночника, Обеденника, Шалонника на его родных берегах.

А старуха Августа, наверно, сидит в своей избе и тихо напевает над прялицами, прислушиваясь к беснующейся за окном метели, к вою ветра в печной трубе, к грохоту ломающегося под берегом в штормовую ночь льда. И сколько терпеливости, сколько любви к своему краю и дому надо иметь, чтобы жить одной на этом крохотном островке и не соглашаться переехать в город к дочери, которая давно зовет ее к себе в удобную и теплую квартиру.

Когда я вспоминаю встречавшихся на моем пути людей, задумываюсь над их нелегкими судьбами, я забываю о всех своих мелких невзгодах и неудачах, потому что им во сто крат тяжелей, чем мне.

Придет время, и я снова вернусь туда, в эти тихие деревушки, приютившиеся на краю земли.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

В. АРХАНГЕЛЬСКИЙ

★

СВЕТ НАД ДОРОЙ

Писать я не собирался. Как отважиться повествовать о живой легенде, о человеке, имя которого знакомо полмиру! О жизни и подвигах которого создана целая литература, и она продолжает пополняться. Поставлены художественные фильмы, и их смотрели миллионы. Собственная книжка которого, едва увидев свет, стала бестселлером и выдержала массу изданий на 23 языках, в том числе на русском.

Имя легенды — Шандор Радо. Да, да, тот самый — «швейцарский».

Идя на встречу с ним в Будапеште, я пытался представить себе, каков он, феномен. Мысленно набрасывал собирательный образ, но получалось нечто нежизненное. В этом убедился сразу, переступив порог заветного домика. Радо ни на кого не похож. Не похож ни в чем. И прежде всего своей удивительной, неповторимой судьбой, вместившей в себя такой мощный жизненный пласт, что хватило бы на целое поколение.

Родился и вырос в империи Габсбургов, был в юные годы свидетелем ее блеска и могущества, а затем наблюдал сокрушительный распад громоздкого лоскутного государства, раздираемого национальными и классовыми противоречиями; прошел через окопную грязь первой мировой войны и с неизбежностью убедился в ее бессмысленности, враждебности интересам народов; в дни Октября поднял в своей части красное знамя и подвергся за это заключению — первому в жизни, в возрасте семнадцати лет; стал очевидцем рождения Венгерской советской республики и с оружием в руках сражался на ее баррикадах, а после ее падения оказался в изгнании в Австрии, затем в революционных отрядах Германии; в муках, урывками начинал и бросал учебу, чтобы снова браться за оружие, или, спасаясь от преследований, а нередко и верной виселицы, пускался в очередной вояж по Европе в поисках нового вида на жительство, слагал одно и принимал другое чужеземное гражданство, застревая на долгие годы там, где не хотелось оставаться и одного дня; через десятки кордонов, с чужим паспортом и под чужой фамилией — сколько их было на веку! — пробрался в революционную Россию, оказался в эпицентре великой социальной бури, пронесшейся над планетой, был на всемирном форуме коммунистов — конгрессе Коминтерна; и снова — Запад, снова борьба, организация всевозможных агентств, фирм, бюро, изготовление карт и атласов чуть ли не для всех европейских стран, для республиканской Испании в том числе; вечная тоска по милой родине, беспрестанные разлуки с женой и детьми, опасение за их жизнь и благополучие; словом, через немыслимую круговерть, наконец вплотную приблизился к осуществлению своей мечты — полностью отдаться любимой науке (картографии), утвердил свое имя среди ее светил и совершил самый главный и неожиданный перелом в своей судьбе, причем совершил сознательно, из идейных убеждений, исключительно по собственной воле и желанию,— стал разведчиком.

В 30-х годах, когда в Германии набирал силу фашизм, Радо понял, какая опасность нависает над человечеством. Он избрал оружие, которым, оставаясь невидимым, можно разить врага с колоссальной силой. Оружие, о котором еще недавно не имел никакого понятия.

— Товарищ Радо, ваша жизнь уникальна и неповторима. Что же особенно памятно и дорого?

— Называйте меня Александром Гавриловичем, я привык, и вам удобнее,— улыбнулся он.— Так зовут меня советские друзья. Шандор в переводе с венгерского — Александр, а Габор, имя отца,— Гавриил.

— Хорошо, Александр Гаврилович. Так вернемся к моему вопросу: самое памятное событие?

— Встреча с Лениным.

Уйпешт — пригород Будапешта. Здесь на рубеже двух веков, в ноябре 1899 года, родился Радо.

Гимназия, офицерская школа, затем артиллерийский полк, служба в бюро секретных приказов (впоследствии очень пригодятся ему приобретенные навыки). Прямым начальником Радо был некий майор Аладар Кунфи, возглавлявший бюро секретных приказов. Через его руки проходило все тайное тайных полковой жизни. Именно ему Радо обязан приобщением к марксистским идеям. Сам Кунфи был родным братом Жигмонда Кунфи — знаменитого публициста, профессора, лидера центристской социал-демократической партии, в то время рьяного сторонника Ленина. Радо стал с ним накоротке. «Крамола» переступила порог бюро секретных приказов.

Служа в армии, Радо одновременно учился в Будапештском университете.

Когда до Венгрии дошли вести о Февральской революции в России, Радо не был еще ни социалистом, ни коммунистом. Служил в австрийской армии, ненавидя ее всей душой за отупляющий казарменный дух и прусскую муштру, чуждые ему, венгру, великодержавные интересы ее политики. В Венгерскую коммунистическую партию он вступил в декабре 1918 года.

Вскоре Шандор демобилизовался, снял мундир, начал готовиться к экзаменам на юридическом факультете. Но произошли исторические события, которые круто повернули всю его жизнь, Радо рассказывает о них в своей книге «Dora jelenti...».

«В то время компартия вынуждена была уйти в подполье, и я поддерживал связь с райкомом не в Уйпеште, где меня слишком хорошо знали, а в другом районе Будапешта, в Йожефвароше, центральном. Когда же коммунисты вышли из подполья и, к моему немалому удивлению, пришли к власти 21 марта, получив большинство мест в правительстве, жизнь моя сделала крутой поворот и оказалась отныне навсегда связанной с политическими событиями эпохи.

Венгерские коммунисты, как это известно из истории, в начале 1919 года пришли к власти при действительно необычных обстоятельствах: партия из нелегального положения сразу стала правительственной. Но к радости по этому поводу с самого начала примешивался и привкус горечи: по решению руководства весьма немногочисленная тогда Коммунистическая партия объединилась с партией социал-демократов.

Число членов компартии не превышало нескольких тысяч, в то время как социал-демократов было около миллиона. Дело в том, что каждый трудящийся, вступая в профсоюз, автоматически зачислялся в ряды социал-демократов. Мы, молодые коммунисты, с чувством тревоги восприняли весть об объединении двух партий, пришедших, таким образом, к власти, опасаясь, как бы молодая компартия не растворилась в огромной социал-демократической массе, насквозь пропитанной мелкобуржуазной идеологией.

...Через несколько недель армии близлежащих буржуазных государств выступили в поход против Венгерской советской республики: началась интервенция.

В Будапеште спешно создавались интернациональные полки, в которые входили и жившие на территории Венгрии словаки, закарпатские украинцы, румыны, югославы, болгары, австрийцы, а также русские военнопленные. Старший брат моего друга Романа Янчи, назначенный политическим комиссаром 4-го интернационального полка, обратился ко мне, бывшему офицеру, с просьбой помочь ему, и я без долгих размышлений записался добровольцем в полк в первые же дни его формирования.

Вскоре по приказу комиссара дивизии товарища Ференца Мюнниха я был назначен комиссаром 51-го пехотного полка.

Приказ поверг меня в смущение: в девятнадцать лет — комиссар полка! Я не считал себя способным на это, но привел лишь одно возражение:

— Я не пехотинец, а артиллерист.

— Прекрасно,— сказал Мюнних.— Тогда я назначаю вас комиссаром дивизионной артиллерии.

Пришлось смириться из опасения, как бы меня не назначили на еще более высокий пост.

Начались ожесточенные бои. Венгерская Красная армия перешла в наступление и освободила от интервентов почти всю территорию Словакии, где народ провозгласил Словацкую советскую республику.

Вскоре, однако, обстановка резко изменилась. Премьер-министр Франции Клемансо предложил следующий компромисс: Венгерская советская республика отводит свои войска с освобожденной части Словакии и возвращает ее чехословацкому государству, а взамен получает всю территорию Венгрии к востоку от реки Тисы, которую к тому времени захватили румынские королевские войска.

Многие из нас сомневались, следует ли идти на предложенную Клемансо подозрительную сделку. В. И. Ленин в телеграмме правительству Венгерской советской республики прямо предостерегал против коварства посулов империалистов. Но, к сожалению, республиканское правительство, в котором к тому времени большинство составляли социал-демократы, пошло на предложение Антанты...

Дальнейшее хорошо известно. 31 июля пришло известие, что республиканское правительство подало в отставку. Никогда не забыть мне той летней ночи, когда мы, коммунисты Уйпешта, в последний раз патрулировали по его улицам, охраняя рабочую власть с оружием в руках.

События развивались бурно. В столицу нагрянули контрреволюционеры Миклоша Хорти, этого «сухопутного адмирала на белом коне» (так его презрительно называли рабочие). Начались аресты и казни.

Куда теперь? Вблизи границы с Австрией, в городке Капувар, что в области Шопрон, жил мой родной дядюшка, областной главный врач. С великими трудностями я добрался до него, а 1 сентября 1919 года бежал в Австрию. Мог ли я думать тогда, что это ясное утро станет началом моей многолетней эмиграции. Мы, венгерские политические эмигранты, в те дни были твердо уверены, что наше вынужденное пребывание за границей продолжится всего лишь несколько месяцев, что вскоре нам удастся вновь возродить и восстановить нашу венгерскую рабоче-крестьянскую республику. Ведь наша общая надежда и оплот мечтаний — советская Россия, советская власть продолжали существовать».

Молодость есть молодость. Пора надежд и безоглядной веры, особенно когда служишь революции. Шандор быстро свыкся с новым положением и включился в борьбу. В австрийской столице он основал первое в своей жизни агентство, РОСТА-Вин (РОСТА-Вена), ставившее задачей распространение на Западе правды о Советской России. Средство общения — радио. Ежедневно в эфир неслось «Всем! Всем! Всем!» — это Москва передавала заявления Советского правительства, знаменитые ноты Чичерина, которыми он бомбардировал западный мир, сообщения с фронтов гражданской войны, о социальных преобразованиях в стране. Аудитория у радио, конечно, огромная, но хорошо бы присоединить и печать...

Радо пошел советоваться к своему новому другу Косте Уманскому. Он знал, что восемнадцатилетний Костя у себя на родине слыл хорошим искусствоведом, прекрасно владел немецким, что, по-видимому, и дало повод наркому Луначарскому направить его на Запад для пропаганды новых форм революционного искусства. В 1920 году юный пропагандист появился в Вене, устроился переводчиком в австрийское министерство иностранных дел.

Уманский получал радиосообщения, переводил на немецкий язык и представлял в австрийский МИД для информации. Он и предложил Радо переводить материалы на европейские языки и размножать для левой прессы.

Так возникло нечто вроде венского отделения Российского телеграфного агентства. Радо именовался руководителем, Костя — секретарем. Ответственным редактором изданий упросили стать... графа Ксавера Шаффгоча, потомка одной из самых аристократических семей Германии. Этот симпатичный долговязый малый в годы войны попал в плен, без предвзятости наблюдал происходящее в России и заразился либерально-демократическими взглядами. Но граф, разумеется, лишь крыша (он предпочитал проводить время на охоте в своих родовых имениях в Верхней Силезии), всеми делами заправляли Радо с Уманским. «Молодые старики» — называли их.

Каждое утро в 10.00 к роскошному зданию австрийского министерства иностранных дел, где после поражения Наполеона заседал Венский конгресс, чинно и важно подходил молодой эфиоп. Невозмутимые швейцары, получившие от начальника отдела печати Шварца указание беспрепятственно пропускать дипломата, вежливо приветствовали гостя, не без внутренней усмешки разглядывая посланца экзотической африканской страны и недоумевая, должно быть, по поводу отсутствия экипажа у столь высо-

кой особы. Чужестранец же скалил в улыбке зубы, страшно сверкал и вращал выпуклыми глазами, топорщил огромные усищи.

Юный министерский клерк выходил навстречу и, пряча лицо в низком поклоне, придерживал дверь, а когда оба, торжественно прошествовав по длинному коридору, оказывались в его маленькой служебной комнатке, бросались друг другу в объятия и хохотали до упаду. Всю эту комедию придумал, конечно же, он, Уманский, мастак на всевозможные импровизации.

«Дипломат» забирал материалы и столь же торжественно покидал министерство.

— Собирайся, Шандор, поедешь в Москву на конгресс Коминтерна,— сказал ему Уманский.— Поедешь по чужому паспорту. Завтра узнаешь свою новую фамилию, имя и все прочее. Советую хорошенько изучить родословную, не забудь про бабушек и дедушек. Пригодится. Понял?

— Понял,— проговорил ошеломленный Радо, ничего не понимая. Костя пояснил, что он приглашен на конгресс как представитель РОСТА-Вин.

Итак, впервые он перестал быть самим собой, то есть Шандором Радо. Для конспирации решили отправить его с партией русских военнопленных. Выправили советский паспорт.

Ветхий паровозик, доживавший положенный срок, надсадно гудя и тарахтя, медленно полз по весенним лесам Померании, Западной и Восточной Пруссии. Бесконечные остановки, пересадки, вокзальная толчея и суета, проверки багажа и документов. Чем ближе к русской границе, тем чаще. Советский паспорт вызывал переполох. Полицейский или таможенный чиновник опасливо брал в руки документ, с испугом, ненавистью в глазах. Чего только с Шандором не вытворяли. Снимали с поезда, отводили в участки, допрашивали, перетряхивали содержимое чемодана, грозили тюрьмой и даже расстрелом, если не откроется, кто он и с каким секретным заданием едет к большевикам. На одной станции раздели догола, посадили в ванну с горячей водой и долго скребли, пытаясь обнаружить на теле «большевистского агента» тайнопись.

И вот наконец Себеж — русская пограничная станция.

— Здравствуйте, дорогие товарищи,— прозвучали первые приветственные слова,— с прибытием вас в советскую Россию.

Не было конца радостному ликованию, объятиям, поцелуям. Кто-то запел «Интернационал», пели впервые без опаски, смело.

В Москве Радо не терял времени попусту. На конгрессе выходила газета «Москва», по-нынешнему — многотиражка, он стал ее сотрудником.

Судя по Биографической хронике, Владимир Ильич просматривал «Москву», ссылался на ее материалы в своих выступлениях на конгрессе. Думается, он придирчиво пробегал глазами изложение своих собственных речей, ибо знал за газетной братией грешок — допускать вольности, отсебятину, а иногда и прямое искажение сути сказанного, не скрывал неудовольствия и вообще весьма неодобрительно относился к печатным переложениям своих речей. (В письме Евге Варге от 8 марта 1922 года Ленин советует ему: «...никогда не цитировать моих речей (текст их всегда плох, всегда неточно передан); цитировать только мои произведения».)

Шандор превосходно знал языки, и это облегчало работу. Он просиживал в редакции ночи, забывал про еду и сон, обкладывался словарями, справочной литературой, заглядывал в сочинения классиков, чтоб точно, сохраняя стиль, манеру, образное лексическое богатство, перевести на французский и английский речь Ленина.

Конгресс открылся 22 июня 1921 года. Все памятно, будто происходило вчера. В зале грянул «Интернационал», потом пели революционные песни разных народов, в том числе венгерский марш Ракоци.

Но вот огромный многоярусный зал Большого театра, заполненный снизу доверху, замер в минуте молчания перед памятью павших и замученных борцов. Затем процедурные вопросы. Вносится предложение — избрать почетным председателем конгресса товарища Ленина. Так и назвали — товарища Ленина, как всех остальных, просто, без титулов и званий. Но кто в театре не знал товарища Ленина! В едином порыве поднялись все...

Кому не знакома картина: Ленин, ссутулившись, сидит на ступеньке лестницы с карандашом в руках, низко склонившись над листками бумаги. Так вот Радо наблюдал эту картину собственными глазами.

Он со своей землячкой Самуэли сидел в первых рядах сбоку, слева, где стоял стол для прессы, накрытый красным сукном. Вдруг поблизости тихонько приоткрылась дверь и, осторожно ступая, вошел Ленин. С краю поднялись, предлагая ему пройти в президиум, но Владимир Ильич взглядом поблагодарил товарищей и приложил палец к губам: тише, мол, не будем мешать оратору. И опустился прямо на ступеньку. Так впервые Шандор Радо увидел Ленина.

— Какую черту в облике Владимира Ильича вы поставили бы на первый план?— спросил я Александра Гавриловича.

— Простоту.

— Как манеру общения и поведения?

— Не только. Можно, оставаясь далеким от народа и не любя его, искусно валять этакого ваньку-простофилю, посмотрите на американских деятелей, особенно когда они хотят пролезть в президенты. Милейшие парни: душа нараспашку, лучезарные улыбки, как у кинозвезд, видавшие виды джинсы, как у ковбоев. Объятия с докерами в порту, обед в простой шахтерской столовой, да еще так, чтобы непременно попасть на телеэкран. Ленинская простота,— продолжал Радо,— предстает как высокая нравственная категория, неотъемлемая черта облика политического деятеля нового типа. Простота во всем — в образе жизни, мышлении, характере, речи, внешнем облике, поведении. Поистине Ленин был прост, как правда. Что добавить к этим крылатым горьковским словам!

В Москве в голове юного картографа Радо родилась идея: создать и напечатать карту советской России. Первую на Западе карту социалистического государства! Но чтобы ее сделать, нужно много других, и притом самых разнообразных, карт. Где их взять? Молодость не ведает запретов и границ. Приметил Шандор в кулуарах Склянского, он служил в Реввоенсовете республики. Вот кто поможет! У кого же и просить карты, как не у военного ведомства. Подошел, представился. Склянский слушал, но понимал плохо.

— Чувствую, без переводчика не обойтись,— вдруг послышался голос рядом.

Обернулся — Ленин. Стоит и улыбается, поглядывает на них.

— Итак, в чем дело, товарищ? — обратился он к Радо по-немецки.

Конфузясь и краснея, Шандор изложил просьбу.

— А зачем, позвольте полюбопытствовать, вам понадобились карты России? — спросил Владимир Ильич.

— Я, товарищ Ленин, занимаюсь... простите... учусь на картографа. Хочу попытаться сделать для Европы карту советских республик.

— Для Европы! О, это уже интересно,— оживился Владимир Ильич.— Весьма интересно, товарищ... гм...

— Радо моя фамилия, Шандор Радо.

— Вы венгр?

— Да, товарищ Ленин. Правда, сейчас живу в Вене, в эмиграции.

Ленин взял его за руку выше локтя и неторопливо прошелся с ним по залу. Забросал вопросами. Сколько лет? Есть ли семья? Где родители? Кто они, чем занимаются, каких взглядов? Как относятся к его революционной «греховности»? Как живется на чужбине?

— Эмиграция не мать родная,— сказал задумчиво, вспомнив, должно быть, свои годы изгнания, Владимир Ильич.— Немалого мужества и выдержки требует от человека.

— Ничего, товарищ Ленин,— отвечал Радо,— это ненадолго. Вот накостыляем по шее буржуям, сметем с нашей земли и вернемся домой. Знамя мировой революции, товарищ Ленин, снова взовьется над венгерской землей.

Робость как рукой сняло.

— Чем занимаетесь в Вене, товарищ Радо? — снова вопрос.

— Перевожу на европейские языки бюллетени РОСТА и распространяю в левой прессе.

— Бюллетени? Георгий Васильевич что-то говорил про них. У вас там агентство?

— Да, товарищ Ленин, агентство, РОСТА-Вин называется.

— Вспомнил. Чичерин обещал прислать два-три бюллетеня. С удовольствием полистаю. Но вернемся к картам, товарищ Радо. Ответьте мне на такой вопрос: можно ли, а если можно, то каким образом отобразить в картах хищническую сущность и политику империализма?

— Затрудняюсь ответить, товарищ Ленин. Этим еще никто не занимался.

— Знаю, товарищ Радо, знаю. Ну а если попробовать?

— Наверное, можно.

— Посмотрите, каким был мир до четырнадцатого года. Сравните с тем, каким стал после семнадцатого. Произошла истребительная, развязанная кучкой международных бандитов империалистическая война, унесшая в могилу жизни миллионов людей. Революции в России, Германии, Венгрии, Словакии, Баварии, классовые сражения во многих других странах. Крах трех древнейших европейских династий, образование новых государств. Создание Коммунистического Интернационала. И вместе с тем непрекращающаяся грызня капиталистов за новые рынки сбыта, передел колоний, рост противоречий и неизбежность новых захватнических войн. Теперь скажите мне, товарищ Радо, может ли картография как наука стоять в стороне от всех этих исторических процессов?

— Не может, товарищ Ленин! — убежденно воскликнул он.

— И я говорю: не может. Не должна. Надо решительно и бескомпромиссно вносить классовое содержание в науку. Вы согласны со мной, товарищ Радо?

— Совершенно согласен, товарищ Ленин!

— Ну вот мы и договорились,— заключил удовлетворенно Владимир Ильич и вдруг, взглянув в сторону Склянского своими карими, с добрым прищуром глазами, предложил:— А может, останетесь у нас в России, товарищ Радо? Нам сейчас позарез нужны толковые специалисты-картографы. Задумали мы тут одно большое дело, а людей стоящих не хватает. Ну-с, решайтесь.

Радо растерянно молчал.

— Хорошо, пусть будет так, товарищ Радо,— Владимир Ильич дружелюбно потрепал молодого венгра по плечу.— Желаю успеха. Вернетесь в Вену — передайте мой привет и благодарность коллегам по агентству. Что до карт, думаю, товарищ Склянский поможет, я присоединяюсь к вашей просьбе...

Вот так получилось, что у истоков научной деятельности Радо встал Ленин.

— И я горжусь этим, постоянно подчеркиваю,— говорил мне старый профессор.— Вернулся я в Австрию после конгресса,— продолжал он,— и, как-то само собой получилось, взялся за изучение работ Ленина. Привез из Москвы целый чемодан: «Материализм и эмпириокритицизм», «Детская болезнь «левизны» в коммунизме», «Империализм, как высшая стадия капитализма», «Государство и революция».

Мысль Ленина всегда смелая и новаторская, всегда доказательная и глубоко аргументированная, всегда побуждающая к проникновению в суть, сердцевину явления, события, факта, к раздумью, о чем бы ни велась речь; всегда гибкая, пластичная мысль — логическое, самоназревшее руководство к действию.

Между прочим, я сообщил Радо не лишенный значимости факт.

— Вы говорите, в беседе Владимир Ильич назвал ваше агентство?

— Именно так. Даже пообещал посмотреть выпуски наших бюллетеней.

— И знаете, Ленин сдержал слово — просмотрел один бюллетень.

— Что вы говорите?! Нет ли пометки какой?

— И пометка имеется, ленинской рукой начертана. Бюллетень за двадцать шестое июня двадцать первого года, номер 270, в руки Ленина попал в конце месяца, еще продолжалась работа конгресса Коминтерна.

— А что за помета на нем?

— На обложке написано «в архив» и трижды подчеркнуто это слово синим карандашом, что обычно означало: прочел с интересом — важно, нужно, запомнить.

— Где сейчас тот ленинский экземпляр?

— Долгое время находился в кремлевской библиотеке Владимира Ильича. Ныне хранится в Центральном партийном архиве... Александр Гаврилович,— поинтересовался я,— а карты-то вы получили, что просили тогда в Кремле?

— Могло ли быть иначе! Пухлый сверток доставили прямо в отель. Даже фамилия сотрудника ВЦИК, вручавшего его, сохранилась в памяти — Егоров. Так и сказал: от товарища Ленина. Там была полная серия топографических карт европейской России масштаба 1:426000, карты Российской империи, новых административных единиц. Скромные картографические золушки, бледненькие, на грубой, шершавой бумаге, они не поражали ни глянцем, ни красками, как, например, их богатые сестры в Венском и Лейпцигском университетах, где я проходил курс, но ведь — от Ленина! Увы, в ту пору я не смог приступить к работе над атласом — все время отнимало РОСТА-Вин. Правда

о советской России на Западе «по милости Антанты» тщательно скрывалась. У нас же было одно средство общения — радио. Как я уже говорил, и оно усердно служило делу. Ежедневно в эфир неслось «Всем! Всем! Всем!». Ежедневно шла информация о жизни в советской России, и ежедневно за дело принимались переводчики. И вот уже бюллетени со свежими московскими новостями заполняли стол: немецкий, английский, французский тексты. Они рассылались по всему миру — в левые газеты и организации. Иногда поступали радиограммы со статьями «Правды» и «Известий» по вопросам международного рабочего движения и мировой политики. Однажды произошло чудо. В помещении агентства зазвучал голос Ленина! Вместе с ним в нашу полуголодную духовную жизнь как бы ворвались свежие ветры из советской России. Просто и доступно Ленин говорил о том, что такое советская власть, чем отличается от власти помещиков и капиталистов, какие цели ставит перед собой, как и кем осуществляется. Затем прозвучали речи о крестьянах-середняках, Третьем Интернационале, Красной Армии, памяти Свердлова и другие. И вдруг слышим имя Белы Куна! Нашего наркома и дорогого товарища. Ленин рассказывает о переговорах с ним по радио. «Товарищ Бела Кун,— слушали мы, притихшие, безмолвные, взволнованные,— хорошо знаком был мне еще тогда, когда он был военнопленным в России и не раз приходил ко мне беседовать на темы о коммунизме и коммунистической революции. Поэтому когда пришло сообщение о венгерской коммунистической революции, и притом сообщение, подписанное товарищем Белой Куном, нам захотелось поговорить с ним и выяснить точнее, как обстояло дело с этой революцией. Первые сообщения о ней заставляли несколько опасаться, не было ли обмана со стороны так называемых социалистов или социал-предателей, не обошли ли они коммунистов, тем более что те сидели в тюрьме. И вот на другой день после первого сообщения о венгерской революции я послал радиотелеграмму в Будапешт, прося Белу Куна прийти к аппарату, и задавал ему вопросы такого рода, чтобы проверить, он ли там присутствует, и спрашивал его, какие реальные гарантии имеются относительно характера правительства, его действительной политики. Ответ, который дал товарищ Бела Кун, был вполне удовлетворителен и рассеял все наши сомнения». Далее шла речь о первых успехах Венгерской советской республики, социализации промышленности...

По лицам моих товарищей текли слезы, и они не стеснялись их. Они впервые слышали Ленина, впервые узнавали о том, как русская революция, сама истекавшая кровью, протянула издалека нам руку братской помощи. Вдохновляла, ободряла, поддерживала. Ленин говорил с Белой Куном! И по горячим следам, в разгар венгерских событий, счел нужным поведать о них — пластинки были наговорены в марте девятнадцатого года — русским рабочим и крестьянам. Ленин обращался и к нам, принеся в Вену свое страстное, правдивое слово. Бог мой, да ведь это редчайшая пропагандистская возможность! Голос Ленина должны услышать как можно больше трудящихся австрийской столицы. Сказано — сделано. Повсюду на площадях и улицах города появились плакаты: приходите в зал Дрехера, услышите подлинные речи Ленина и их перевод. Что тут началось! Настоящее паломничество! Через зал Дрехера прошли и все венгры-эмигранты, в этом был особый расчет. Дело в том, что в дни венгерской революции в австрийской печати появились злонамеренные сообщения, будто Ленин недоволен Венгерской советской республикой, критикует ее. Клевету подхватила пресса других стран. Бела Кун просил Москву опровергнуть слухи. И меры последовали незамедлительные. Чичерин направил австрийскому правительству ноту, в которой указывалось, что ни Ленин, ни какой-либо другой член российского Советского правительства никогда не высказывался в смысле порицания ни в манифестах, ни каким-либо образом по поводу Венгерской республики или Белы Куна, как это приписывают Ленину венские рептилии. Советская Россия, говорилось в ноте, смотрит с величайшей братской привязанностью на советскую Венгрию и с изумлением — на достигнутые ею результаты. Товарищ Бела Кун глубоко уважается и ценится Лениным и всей советской Россией, и его блестящая работа признается ими по достоинству. Нота была опубликована в «Правде», но мои соотечественники не знали об этом. И вот мы воспользовались подходящим случаем и сопроводили речь Ленина о переговорах с Белой Куном своим комментарием.

С установлением прочных дипломатических отношений между двумя странами отдел печати советского посольства стал восприемником агентства. Радо начал сотрудничать в журнале — органе Коминтерна для стран Юго-Восточной Европы. Постоян-

ными агентами его были немцы, австрийцы, болгары, чехи, венгры-эмигранты, югославы, румыны. Как бывшему военному Радо поручили вести обзоры, в том числе с театров гражданской войны в России. Легко сказать — вести обзоры, но как это делать, находясь за тысячи километров от буденновских конармейцев? Приходилось ежедневно перелопачивать горы материалов из буржуазной прессы, чтобы, отбросив девяносто девять процентов плевел, наскрести микроскопический процент — но зато убойной силы! — истины.

Иногда выручали советские газеты. Путь их был длинен, опасен и ненадежен. Из Мурманска на рыбачьей лодке, под покровом ночи, тайком в норвежский порт Варде, оттуда пароходиком, тоже, естественно, нелегально, в Тронхейм, далее железной дорогой в Христианию (нынешний Осло). И уж после этого по европейским городам и весям — до столицы альпийской республики. Газеты фотографировали и рассылали, как и бюллетень РОСТА-Вин, в левые организации.

Однажды Радо вызвал к себе редактор журнала Лео Ланя, австрийский коммунист, впоследствии известный левобуржуазный писатель.

— Слушай, Шандор, тебя похвалил Ленин,— сказал он.

— Меня? Ленин?

— Именно тебя. Ему понравилась твоя статья о британской интервенции в Персии. Поздравляю.

Молодой человек ходил в тот день сам не свой, окрыленный неожиданной новостью. Ленин читал его статьи!

...Итак, атлас. Известен первый ленинский документ об *атласе* — записка от 10 августа 1920 года в Петроградский Совет. В ней говорилось:

«Прошу издать атлас, *подобный* книге «Железные дороги России» (издание картографического заведения А. Ильина, Петроград, 1 сентября 1918 года),

1) т. е. в одной книжке малого формата;

2) карты на 2 страницах книги по возможности *без загибания* листов;

3) на каждой карте *новые* границы губерний (с такими же цветами для каждых губерний, как у Ильина). *Все* уездные города вставить;

4) железные дороги с указанием *каждой* станции;

5) *новые* государственные границы;

6) особо: области и территории, отошедшие от бывшей Российской империи (на особой карте);

7) приложить *несколько* исторических карт, с указанием *линии фронтов* (гражданской войны) в разные периоды 1917—1920 годов».

— Бог ты мой,— воскликнул Радо,— да это же целая программа! Не указание политического деятеля, а задание ученого-специалиста. Интересно, как далее развивались события?

По-ленински: любое дело доводить до конца, каким бы оно ни казалось в масштабах революции. Не проходит и десяти дней, как в Петроград направляется вторая записка. Владимир Ильич уже загорелся, живет атласом.

23 апреля (сразу после дня рождения) следующего, двадцать первого года Ленин знакомится с пробным экземпляром «Атласа России», с неудовольствием обнаруживает массу недостатков и ошибок. Немедля садится за обстоятельное рецензирование атласа и 24 *апреля* отправляет в Петроград свой отзыв. *Еще через день* создается Особая научная комиссия по выпуску атласа под председательством военного инженера В. Кайсарова с включением в нее академика Д. Анучина, профессоров А. Борзова, Ю. Шокальского и других. Предписывается: отчеты о работе комиссии *ежемесячно* присылать в Совнарком Ленину.

Дело затягивалось, возникли неувязки. Засевшие за работу ученые не поняли до конца грандиозности дела. А тут Владимир Ильич тяжело заболел. После его смерти издание стало именоваться в печати «Ленинским географическим атласом», или «Географическим атласом Ильича».

Радо окончил университет, и все эти годы мысль об атласе по империализму стучала в его сердце, как пепел Клааса в сердце Тиля Уленшпигеля. Она не казалась ему более несбыточной и фантастической.

Миновали годы напряженной работы, настал срок, и Радо мысленно доложил Ленину: атлас по империализму готов. Он был выпущен издательством «Ферлаг фюр литератур унд политик» в 1930 году в Берлине, затем в Токио, Лондоне. Тиражи расходились моментально. Атлас пошел по странам мира. Недавно коллеги из ГДР решили преподнести сюрприз к 80-летию Радо — переиздали атлас факсимильным способом. Он написал предисловие, поведал о помощи Ленина.

«Идея издания такого, составленного с материалистических позиций, «Атласа» принадлежит не кому-нибудь, а Ленину. Таким образом, эта работа с полным основанием и правом может быть названа марксистско-ленинским атласом.

Летом 1921 года мне представилась возможность участвовать в историческом третьем конгрессе Коммунистического Интернационала. Пребывание в Москве я использовал не только для выполнения своих политических и журналистских задач, но и, будучи начинающим географом и картографом, для сбора материалов к первой политической карте и схеме дорог советской России.

Необходимый материал в виде карт достать было не так уж легко... Карты всех видов находились в ведении Народного комиссариата обороны. Во время перерыва на конгрессе, который заседал в Большом Кремлевском дворце, я попытался в одном из коридоров высказать народному комиссару обороны (здесь неточность, имеется в виду Э. М. Склянский, заместитель председателя Реввоенсовета Советской республики.— *В. А.*) свои пожелания относительно картографического материала. Однако мои познания в русском языке простирались не так далеко, а знание языков у комиссара было еще меньше, так что наше собеседование не могло сдвинуться с места.

Выход нашелся. Проходивший мимо человек небольшого роста, с острой бородкой и весело посматривающими глазами предложил нам, бурно жестикулирующим руками, но тем не менее абсолютно не понимающим друг друга, свою помощь переводчика. Конечно же, мы с радостью приняли эту помощь товарища Ленина, а это был именно он... Ленин поинтересовался моими картографическими планами и намерениями. В коротком разговоре, который на всю мою жизнь стал основополагающим, он рассказал, чего ожидает от картографии, наполненной духом классовой борьбы.

Прошли годы бурной жизни, прежде чем я смог воплотить эту мысль в картографической форме. Моей потаенной мечтой было, чтобы Ленин написал предисловие к этой работе. Но его уже не было, когда это картографическое собрание вышло в 1930 году в Берлине и в 1931 году в Японии. Предисловие написал его соратник, историк английского рабочего движения Федор Ротштейн. Известный ориенталист, он был в свое время первым советским послом в Персии (Иране). Атлас должен был издаваться в трех томах: первый, который перед вами,— об империализме, второй — о рабочем движении, третий — о Советском Союзе. Национал-фашизм перечеркнул этот план.

Полностью переработанное издание «Атласа» появилось в Лондоне в 1938 году под названием «Атлас от сегодняшнего до завтрашнего дня». На его содержание уже тогда легла тень второй мировой войны. Чешское издание должно было выйти в свет в марте 1939 года, в тот день, когда нацистские войска вступили в Прагу и уничтожили все материалы.

И вот теперь я могу держать в руках самый прекрасный подарок к своему 80-летию — новое рождение своего труда, созданного простыми средствами, но с боевой страстью. Еще раз спасибо всем, кто работал над ним».

Но первой ласточкой были карты. Радо понимал, что борьба с мировым империализмом и фашизмом не может быть успешной без решительной защиты Советского Союза — единственного в то время социалистического государства, оплота и надежды международного рабочего класса. Запомнились строки из резолюции конгресса Коминтерна: советская Россия остается первой и важнейшей твердыней мировой революции, безоговорочная поддержка советской России была и есть первейшая обязанность коммунистов всех стран.

Шандор Радо сделал выбор, навсегда связал свою судьбу со Страной Советов. В ней он нашел свою вторую родину. Часто приезжал в Москву, подолгу жил здесь и работал. Он готовил карты и путеводители по СССР, писал статьи для всевозможных сборников, альманахов, энциклопедий, выходящих на Западе, выступал с лекциями и докладами. В 1924 году в память о великом вожде Радо изготовил политическую карту

советских республик. Следующим был путеводитель на немецком и английском языках, изданный в 1925 году в Москве. Имя Радо становится широко известным в картографическом мире. Заказы поступали со всех сторон. Для немецкой энциклопедии «Мейер» он написал все содержащиеся в ней статьи по Советскому Союзу, сделал карты нашей страны для всех больших атласов, издаваемых в Германии. В Париже вышла подготовленная им карта первого пятилетнего плана, в Германии — европейской части нашей страны, в Женеве — карта СССР на французском, немецком и английском языках. В редакции «Большого советского атласа» он участвует в подготовке тома по иностранным государствам. Другим направлением научной деятельности Радо становится география и картография рабочего движения.

Приведу еще отрывок из рассказа Шандора Радо:

«Сближение правящих кругов Англии и Франции с фашистскими державами вынуждало меня хотя и с тяжелым сердцем, но всерьез подумывать о свертывании деятельности агентства Инпресс (Независимое агентство печати), о том, чтобы целиком посвятить себя научной работе как географа и картографа. Ведь за все время пребывания в Париже я не прекращал заниматься научными вопросами, стал сотрудником журнала парижского географического общества, готовил актуальные карты для французской прессы, а также редактировал том «Большого советского атласа мира», содержащий географические карты иностранных государств. С этой последней работой была связана и моя поездка в Москву в октябре 1935 года.

На этот раз, прибыв в Москву, я тотчас направился к старинному зданию на улице Разина, где помещалась редакция «Большого советского атласа мира». Там работал превосходный коллектив молодых картографов и географов, принявших меня с радостью. Встретился я и с моим старым другом Николаем Николаевичем Баранским, известным советским географом, который в то время возглавлял географическую редакцию Большой Советской Энциклопедии. По его предложению в разное время я написал несколько статей для Энциклопедии, в том числе о Венгрии (политическую часть этой статьи писал Бела Кун). Далее я имел встречи с венгерскими и немецкими товарищами, с которыми хотел посоветоваться относительно Инпресса. Однако дела мои приобрели совсем иной и неожиданный для меня поворот.

Вскоре после моего прибытия в Москву мне в гостиницу позвонил один венгерский товарищ. Мы встретились. В ходе нашей беседы он сказал, что у него есть некоторые связи с Генштабом Красной Армии и он там уже говорил о трудном положении, в котором находился Инпресс. Впрочем, я сам за день до этого жаловался по этому поводу своим венгерским друзьям. Товарищ сказал, что, по мнению работников Генштаба, в борьбе против фашизма я принес бы гораздо большую пользу, если бы, оставив обреченный на увядание Инпресс, перешел на другое поприще. И если я не возражаю, он мог бы представить меня соответствующим лицам.

Так началась новая глава в моей жизни.

В условленный час мой венгерский знакомый привел меня на квартиру, где мы встретились с Артузовым, одним из руководителей разведывательного управления Красной Армии в то время. Артузов сообщил мне, что Семен Петрович Урицкий, начальник разведывательного управления, хотел бы побеседовать со мной лично. Он рассказал мне об Урицком, о том, что тот еще до революции стал членом партии и имеет большой опыт нелегальной работы, в период гражданской войны на Царицынском фронте был начальником штаба и руководителем оперативного отдела 14-й армии. Артузов отзывался о нем как о выдающемся военачальнике, смелом и образованном.

В комнату вошел крепкого сложения, моложавый, лет сорока военный с небольшими усиками. На его гимнастерке сверкали два ордена Красного Знамени. Урицкий в учтивых словах осведомился о том, как я доехал, как устроился в гостинице, а затем прямо перешел к делу, не тратя времени на предварительное знакомство. По-видимому, у него были точные сведения обо мне.

— Я слышал,— сказал Урицкий,— у вас немалые трудности с агентством?

— Да, в настоящее время стало очень трудно работать,— признался я.— А если вспыхнет война, то, по всей вероятности, придется ликвидировать Инпресс окончательно.

Затем я подробно познакомил его с положением, в котором находилось агентство. Урицкий пристально смотрел на меня, о чем-то размышляя. На его лбу появилась глубокая морщина, глаза чуть прищурились.

— Я все понял,— сказал он, словно подводя итог.— Меня уже информировали, что вы согласны помочь нам. В таком случае, пожалуй, вам следует выбрать другую страну для постоянного местожительства. Давайте-ка вместе подумаем, где бы вы могли обосноваться на случай войны.

Урицкий встал, закурил, прошелся по комнате.

— Я хотел бы, чтобы вы хорошо представляли себе цели и задачи нашей работы. Нам известно, что вы не новичок в конспиративной деятельности, поэтому-то мы и пригласили вас. Однако для советского разведчика хорошая конспирация — это еще далеко не все. Надо уметь быстро ориентироваться в меняющейся политической ситуации, ведь разведка — это работа политическая. Прежде всего необходимо определить на данный период наиболее вероятных военных противников и только после этого привести в действие всю систему органов разведки. Вы сами хорошо знаете, что в Европе есть немало потенциальных противников Советского Союза. Но в первую очередь это Германия и Италия. Исходя из этих объективных обстоятельств, мы определяем и строим стратегию нашей разведки в капиталистических странах. В общих чертах это, пожалуй, и все.— Урицкий сел в кресло подле меня.— Давайте теперь решим, куда вас следовало бы перебазировать. Вы хорошо говорите на нескольких европейских языках, это я знаю. Итак, куда бы вы хотели поехать и каким образом прикрыть свою деятельность?

— Мне думается,— ответил я,— наилучшим вариантом было бы открыть где-либо картографическое агентство. Я с успехом уже возглавлял подобное агентство в Германии, потом во Франции. Оно называлось сначала Прессегеографие, а во Франции — Геопресс. Что касается страны, то проще всего обосноваться либо в Бельгии, либо в Швейцарии. По моему мнению, Швейцария едва ли вступит в войну, но для открытия агентства разрешение властей легче получить в Бельгии, а оттуда уже проще будет перебраться в Швейцарию...

Таким образом, из беседы с Урицким и Артузовым мне стало ясно, что в будущем для Советского Союза, как они считали, наибольшую опасность представляют нацистская Германия и фашистская Италия. Оба государства лихорадочно вооружаются, воскрешают и раздувают среди населения дух реваншизма, ведут оголтелую антикоммунистическую и милитаристскую пропаганду. Поэтому вполне возможно, что в случае войны именно эти агрессивные державы будут главными военными противниками Советского Союза. Значит, нам необходимо пристально наблюдать за их деятельностью на международной арене и своевременно раскрывать тайные планы фашистских главарей в отношении Советского Союза. В этом-то и состоит конкретная цель советской разведки».

Началась война. Из Женевы в Центр поступила радиограмма: «23.VI.41. Директору. В этот исторический час с неизменной верностью, с удвоенной энергией будем стоять на передовом посту. Дора».

Позже станет известно: днем раньше в Центр пришла радиограмма из Токио — от Рамзая. В обоих посланиях заверение в верности революционному долгу, мобилизационная готовность к подвигу. Разделенные многими тысячами километров, два легендарных советских разведчика, коммунисты-интернационалисты Радо и Зорге поняли, какая опасность нависла над Отечеством пролетариев всего мира.

Радиограммы, радиограммы, радиограммы. 6 тысяч! Столько послала Дора за время войны. Но не только количество — удивляет их поразительная достоверность. Когда донесения Радо из перехваченных гитлеровской контрразведкой и хранящихся в гестаповских архивах после войны начали проникать в западную печать, первой реакцией было удивление. Невероятно! Знать секретнейшие приказы верховного главнокомандования вермахта, стратегические и оперативные планы, содержание конфиденциальных бесед фашистских бонз, дипломатических переговоров, дислокацию и перемещение воинских подразделений от армейских группировок до дивизий и полков! Непостижимо! Неслыханно! Удивление сменилось недоумением, недоумение — яростью. Оголтелые неонацисты и реваншисты подняли вой об «ударе ножом в спину», «измене века», «национальном предательстве», погубившем «доверчивого» фюрера, взывали к отмщению.

День за днем, вернее ночь за ночью, над городами и весями, равнинами и горами, озерами и реками, фронтами кровопролитных сражений неслось: «Дора! Дора! Дора!» Придет время, и гитлеровская военная разведка, сев на хвост советских передатчиков, поломает голову над этим таинственным словом. Что это такое, бодрствующая

ночи напролет дьявольская Дора,— женское имя? подпольная кличка? закодированное название группы? символическое обозначение места?

Началась охота. Дело взял в свои руки центр радиотехнической разведки на Матейкирхплац в Берлине, во главе которого стоял генерал Эрих Фельгибель. Рапорты направлялись на самый верх — шефу абвера адмиралу Вильгельму Канарису.

Над группой Радо нависла серьезная опасность.

Представим его жизнь в Швейцарии. Для властей, заказчиков, соседей по дому № 113 по улице Лозанны на окраине Женевы, в мелкобуржуазном квартале Сешерон, для собственных детей и тещи — респектабельный ученый, глава фирмы современной картографии, нежный отец и приветливый зять (к вечеру без цветов в доме не появлялся). Заказы на карты и атласы, связи и контакты чуть ли не с пол-Европой. Почтовый ящик в отделе печати Лиги Наций — центра мировой политической жизни. Огромное здание ее располагалось в нескольких минутах ходьбы от дома. Официальные встречи, приемы, пресс-конференции, рауты и т. д. И все это, в том числе любимые карты, атласы, альманахи,— лишь ширма другой, настоящей, подпольной деятельности. Полная риска и опасностей, она протекала рядом, параллельно, часто пересекаясь с мнимой, ибо выполняли ее одни и те же люди, прежде всего сам Радо — ученый, бизнесмен, разведчик, отец семейства.

Его часто спрашивали — как? Как он, сугубо мирный человек, географ, привыкший к постоянному окружению своих неизменных широт и координат, циклонов и тайфунов, океанов и заливов, вулканов и гор, смог в течение многих лет, оставаясь неуязвимым, руководить разведывательной группой из 70 человек (феномен в истории разведки!), не имея за плечами специальной подготовки.

«Мне никогда и в голову не приходила мысль,— писал Александр Гаврилович в предисловии к своим мемуарам,— что я стану разведчиком. Разведка — сложное поприще, она требует особой подготовки. Люди, которые этим занимаются, проходят обучение в специальных школах. Я же никогда не оканчивал подобных школ. Меня всегда влекла наука, в частности картография и география. Но кроме научной деятельности у меня было еще одно страстное стремление — желание участвовать в борьбе за свободу и демократию, против фашизма и войны».

Часто вспоминались встречи с Урицким и Артузовым. Они тоже не были профессиональными разведчиками, считали себя прежде всего партийцами, направленными на особо опасный фронт — на борьбу с контрреволюцией. Ни специальных школ, ни курсов, ни училищ и академий у советской родины тогда еще не имелось. Из царской охранки кадры не возьмешь. Приходилось расти, закаляться, набираться ума-разума буквально на ходу, в схватках с коварным и хитрым врагом.

Однажды на глаза мне попалась памятка сотрудникам ЧК. Дата — июль восемнадцатого. Время, когда ни обширного свода законов, ни четко разработанных присяг, уставов, циркуляров у новой России еще не могло появиться. А вот чекисты имели свои правила. Памятка требовала: чекист, будь всегда корректным, вежливым, скромным, находчивым; не кричи, будь мягким; прежде чем говорить, подумай; на обысках будь предусмотрительным, умело предостерегай несчастья, будь точным до пунктуальности; всегда помни — ты призван охранять советский революционный порядок и не допускать нарушения его...

Канарис был уверен: в Швейцарии действует отборный отряд фанатиков, обученных и выдрессированных в лучших советских разведшколах. Была создана специальная зондеркоманда. Немецкие пеленгаторы с французского берега Женевского озера, а также со стороны итальянской и германской границ начали прощупывать наперехлест всю территорию Швейцарии. Цель состояла в том, чтобы установить местонахождение радиоквартир с точностью до квартала и дома. Для внедрения в группу засылали провокаторов и агентов гестапо. Контролировали часть переписки с Центром, затем на какое-то время фашистская разведка получила возможность посылать в Центр по каналам Радо дезинформационные телеграммы. Кольцо слежки сжималось. Последовали первые аресты.

И они немало озадачили. Никакого «отборного отряда». Таинственная, всезнающая Дора, нагнавшая столько страху, не дьявольский код, а всего лишь фамилия навыворот — Радо. Руководителя, венгра по национальности. В группе не было ни одного кадрового советского разведчика. Никто, кроме Радо и его жены (она скрывалась под подпольной кличкой Мария), не бывал в Советском Союзе.

Всю войну гиммлеровское гестапо билось над вопросом — кто? Кто те люди в рейхе, что поставляют Радо секретную информацию? Шаг за шагом контрразведка подбиралась к «Красной тройке» (такое кодовое название было дано группе Радо). Запеленговать удалось, в код проникнуть смогли, завести игру с Центром (разгаданную Москвой и потому с самого начала обреченную на провал) попытались, адреса и явки многих членов группы установили, агентов внедрили, передатчики обезвредили, собрать материалы на Радо — собрали. Оставалось сделать последний шаг — выследить и нанести удар по источникам в Берлине.

Но решающий шаг сделать не удалось. Тайна поразительного информирования швейцарской разведгруппы осталась неразгаданной. И поныне западные историки, писатели, журналисты, охочие до сенсаций и вымыслов, изощряются кто во что горазд. Кого только не подозревают в шпионаже! Даже партайгеноссе Бормана, правую руку Гитлера по партии, чуть ли не зачисляют в осведомители советской разведки.

Клубок противоречивых легенд сложился вокруг одного из самых удивительных сотрудников Радо — Люци. Одни называют загадочного Люци, Рудольфа Рёсслера, лучшим разведчиком второй мировой войны, подлинным патриотом Германии, другие, неонацисты, реваншисты и их духовные пастыри,— шпионом, предателем немецкого народа, продавшимся красным. Но это ложь. Радо не покупал ни Люци, ни кого-либо другого из своих сотрудников. Рёсслер сотрудничал с ним как идейный противник нацизма, не требуя никакой платы за свои ценнейшие сведения. Собственно, Радо и не смог бы «отблагодарить» его, если б даже захотел, ибо ни разу не встречался с ним, не знал подлинного имени. Люци категорически отказывался от личных контактов. Лишь после войны, когда о Рёсслере были написаны бесчисленные статьи и вышли книги, стала известна его биография.

В Венгрии выпущена книга Бернда Руланда «Глаза Москвы», которую Радо считает, и написал об этом в предисловии, прямым дополнением своих мемуаров. Руланд, бывший офицер войск связи, проходивший в годы войны службу в телетайпном центре верховного главнокомандования вермахта, проливает свет на загадочных информаторов Рёсслера. «Ответ на вопрос,— пишет он,— откуда черпал свои сведения Рудольф Рёсслер,— очень прост и в то же время потрясающ. И хотя в этом усомнятся историки, военные специалисты и профессионалы от шпионажа, им не опровергнуть доказанные факты».

«Однажды во время дежурства...— начинает Руланд свое повествование.— Эта ночь была похожей на все другие. В субботу 14 июня 1941 года в 7 часов вечера я принял дежурство от своего коллеги, которого сменил, и получил для передачи несколько секретных документов командования. Офицеров связи было трое. Мы посменно дежурили на берлинской Бендлерштрассе.

Я отметил данные по связи, потом отнес эти телеграммы в помещение, откуда они передавались адресатам. Со штатской сердечностью я поприветствовал 10 девушек-связисток в серых халатах, сидевших у телетайпных аппаратов. Телетайпы были чудесными: при передаче они в таком совершенстве шифровали текст, что никогда никакая неприятельская разведка не могла бы расшифровать систему кодов. Принимающие аппараты — в главной ставке командования, или в какой-либо армии, или в каком-либо высоком учреждении рейха, или в командованиях вермахта в Париже, Белграде или Бухаресте — за доли секунды автоматически воспроизводили истинный текст. Секретные телеграммы в зависимости от адресатов и срочности я распределял между аппаратчицами. В тот вечер я особо сердечно приветствовал Анжелику фон Пархим, обаяние и быстрота в работе которой оставляли очень хорошее впечатление. К моему удивлению, Анжелика приходила в замешательство, когда я оказывался возле нее. Такой я еще ее никогда не видел. Когда она сняла пальцы с клавишей аппарата, я заметил, что пальцы ее дрожали. И только тогда я заметил узкую белую телеграфную ленту, которая лежала на коленях у девушки... Можно сказать, без всякого намерения, механически я прочел несколько слов на этой ленте. Это была копия телеграммы генерал-полковнику Фромму...

— Почему вы сняли копию с этой секретной телеграммы? Она ведь предназначена одному адресату?

Анжелика хотела что-то сказать, но с ее уст не срывается ни звука. Здесь что-то не в порядке, мелькнула у меня мысль.

— Вы что-то скрываете от меня. Прошу следовать за мной. Я жду объяснения, почему вы сняли копию с телеграммы...

В мгновение ока замешательство Анжелики исчезло. Она спокойно передала мне эту копию. Я смял ее и положил в карман шинели. Анжелика фон Пархим следует за мной. Прежде чем мы дошли до двери моего служебного кабинета, она обратилась ко мне:

— Я очень прошу вас, не здесь. Нельзя ли об этом поговорить завтра утром, после дежурства? Тогда я все объясню.

Я не сразу ответил, ибо не знал, как вести себя. Мозг несколько секунд лихорадочно работал. Нарушая все правила, убираю из моего лексикона слово «долг» и отвечаю Анжелике:

— Ладно, но только я хочу знать всю правду.

— Можете на это рассчитывать.— Голос девушки говорит о том, что с ее сердца как бы упал камень.

После обеда мы встретились с Анжеликой в зале ожидания вокзала у зоопарка. Оба в штатском. Сидя за столом в углу зала, мы могли спокойно говорить. Официант подает эрзац-кофе. Мы закуриваем и первые минуты в легком замешательстве смотрим на не совсем чистую скатерть.

В зале шум, солдаты, возвращающиеся из отпусков в свои части... В этой типично вокзальной обстановке передо мной открылась тайна, знание которой было чревато опасностью для меня.

То, что я узнал в тот день — 15 июня 1941 года,— является только малой частью тайны, подробности которой я узнал после окончания войны.

Анжелика фон Пархим рассказала мне, что она имеет дружеские связи с одним дипломатом швейцарского посольства в Берлине, который желает поражения третьему рейху. Она уже несколько раз передавала ему «совершенно безвредную информацию»... (Только после войны я узнал от Анжелики, что человек, которому она передавала копии важных телеграмм, был не швейцарским дипломатом, а немецким офицером.)

— Анжелика! Вы вообще понимаете, что натворили? Это попросту называется шпионажем. И вы безусловно знаете, как это называется. Если я не доложу, то рискую головой, как ваш соучастник.

Мы снова закурили и молча смотрели на пустые чашки. Официант снова подал кофе. Анжелика вновь заговорила:

— Я клянусь вам всем, что является святым для меня, что я вас не предам, если попадусь.

— Рассчитывайте и вы на меня. Я вас не выдам.

— Спасибо.

Мой взгляд, наверное, говорил Анжелике, что я действительно ничего плохого ей не сделаю.

Анжелика фон Пархим могла быть спокойна. После нашего разговора я вернулся в свою квартиру, достал из кармана смятую копию телеграммы и с помощью спички превратил ее в ничто.

На следующей неделе, когда я дежурил и вошел в помещение передачи секретных документов, то не остановился возле аппарата Анжелики. Мы только вежливо приветствовали друг друга».

После войны Руланд разыскал Анжелику (имя это вымышлено автором, чтобы обезопасить мужественную антифашистку от возможной мести в Западной Германии). Старые друзья обрадовались встрече. Анжелика, теперь пожилая почтенная дама, привела с собой приятельницу Марию Калуши (имя и фамилия тоже вымышленные), свою бывшую напарницу по телетайпному бюро. Вдвоем они передавали секретную информацию офицеру общего управления вермахта (в книге — майор фон Кемпер), а уж он переправлял ее в Люцерн Рёсслеру. Опасаясь расправы, женщины взяли с Руланда слово, что он назовет их подлинные фамилии только после их смерти. Но автор книги «Глаза Москвы» вскоре после выхода ее в свет погиб в «случайной» автомобильной катастрофе, как сообщалось в западногерманской прессе. В предисловии Руланд писал, что наверняка наживет себе врагов среди бывших офицеров вермахта и абвера и они могут попытаться расправиться с ним. Предчувствие его не обмануло.

Суровые испытания легли на группу Радо, когда последовали первые провалы и аресты, были захвачены рации. Полиция разыскивала его по всей стране.

Сам Вальтер Шелленберг, любимый выученик Гиммлера, бригадефюрер СС,

начальник политической разведки рейха, управляющий из своей резиденции на Беркештрассе в Берлине огромной агентурной сетью, раскинутой по всему миру, зачастил в Швейцарию с конспиративными миссиями. Перед секретными службами этой страны он поставил категорическое требование: схватить Радо и выдать гестапо. В охоту за группой бросили всю здешнюю нацистскую резидентуру, а она была довольно многочисленной. Риббентроп в пятый раз направил в швейцарский департамент иностранных дел ноту с требованием арестовать Радо, причем он прямо назывался советским разведчиком.

Чтобы до конца понять, какой источник питал поразительное мужество и стойкость Радо, ссылаюсь на один эпизод. Однажды во время выступления Радо по телевидению ведущий задал ему вопрос: «В какие периоды своей жизни вы мысленно обращались к личности Ленина?» Он ответил: «В двадцатые годы, когда вернулся в Вену из Москвы. В тридцатые, когда вышел атлас по империализму. В период швейцарской жизни...— И заключил:— Впрочем, не было «периодов» — всю свою сознательную жизнь я не разлучался с Лениным. А порой эти встречи носили почти осязаемый характер. Так было однажды в Швейцарии».

...Радо с облегчением прикрыл за собой дверь. Постоял, переводя дыхание. Огляделся. В просторном зале кафе за простыми деревянными столами сидели редкие в этот утренний час посетители. Кто просматривал газету, кто безмятежно потягивал пиво из больших глиняных кружек, кто закусывал. Радо не хотелось быть на людях. Где же старина Фридрих? Поискал глазами в зале. А вот и он — высокий, согбенный, белый как лунь. Приблизился, тихо проговорил: «Давненько не заглядывали в «Ландольт», товарищ профессор» — и скупым жестом поманил за собой. Они прошли в небольшую квадратную комнату справа от входа. Здесь никого не было.

— Что с вами, товарищ профессор? — встревоженно спросил официант.— На вас, прошу прощения, лица нет. И почему — общий зал?

— Потом, Фридрих, потом,— ответил Радо.— Сейчас мне надо побыть одному.

Официант ушел. Радо заглянул в окно, прощупал взглядом прилегающую к кафе площадь, плотно задернул белую полотняную штору. В изнеможении опустился на стул.

Не далее часа назад, насмерть измотавшись, он едва свалил с себя осатанелого хлыща. Вцепился, точно колючая проволока,— наглый, хитрый, ловкий, не то гестаповец, не то из швейцарской охранки, скорее все же, судя по хватке, из команды Шелленберга. Сегодня ушел, но кто поручится, что завтра капкан не захлопнется. Положение более чем критическое. Деятельность организации практически парализована. Без передатчиков, радистов, шифров разведчик — ноль. И это в то время, когда Красная Армия ведет решительное наступление. Как нужна Центру его помощь! Что делать?

Как бы в поисках ответа Радо обводит взглядом комнату, деревянные столы, широкое окно, высокий, с лепным карнизом потолок, бра на голых стенах.

Этот серый дом в университетском квартале, угловой, между улицами Кандоль и Консей Женераль, выходивший фасадом на небольшую площадь в центре Женевы, с нависшим на уровне четвертого этажа миниатюрным балкончиком, он хорошо знал.

Радо любил бывать здесь. Приходил, устраивался за столом, всегда одним и тем же, крайним слева от двери из зала, раскладывал карты, книги, бумагу и углублялся в работу. Фридрих приносил неизменную рюмку коньяка и двойную порцию кофе. Когда он удалялся, Александр Гаврилович просовывал руку под стол, извлекал оттуда бумажный лоскуток, скрученный в трубочку наподобие папироски. Пробегал глазами текст, совал под стол другую крученую бумажку — либо приносил ее, либо тут же писал. В столе под крышкой был тайник, пользовались им в самом крайнем случае, знали о нем двое — сам Радо и Пакбо, член группы.

Содержание записок—сама невинность. Некая Сюзанна приглашала своего дружка Мишеля погулять в парке Мон Репо или пойти в кино, на танцы. Карл объяснялся в любви Шарлотте. Отец наказывал сыну купить соли или мыла в таких-то магазинах, выгулять фокса (сенбернара, дога) на набережной Арвы или навестить заболевшую тетушку. Конечно, Сюзанны и Мишели — не более чем подпольные клички его товарищей, «фокс» — ценные сведения, «сенбѐрнар» — приглашение на встречу, «магазин»— будь осторожен, «болезнь» — арест. Нередко, раскрутив папироску, Радо сгребал свои бумаги и, не притронувшись к коньяку и кофе, был таков.

Однажды случилось невероятное. Кабинетик, как всегда, пустовал. Радо домовито разложил на столе свой пасьянс. Фридрих поставил коньяк и кофе, но уходить не собирался. Александр Гаврилович недоуменно поднял глаза: что с ним? И почувствовал — бледнеет: старик держал в руках «папироску».

— Прошу прощения, господин профессор, не ваша ли это бумажка?

— Как она у тебя оказалась? — стараясь казаться спокойным, спросил Радо.

— Вчера делали уборку — и вот выпала из стола.

Провокация? Нет?

— Если скажу: не моя,— Радо снизу вверх глядел в глаза официанта (тот спокойно выдержал взгляд),— ты поверишь, Фридрих?

— Не обижайте старика, господин профессор. Отчего не поверю.

— И как поступишь?

— Никак. Разорву и выброшу... подальше от греха. Только мне показалось, прошу прощения, вы всегда сидите за этим столом... гм... гм... может, обронили ненароком. Что ж, извините, потревожил напрасно.

Старик сделал движение, намереваясь порвать рулончик. Радо остановил его рукой.

— А если — моя?

— Тогда возьмите — и делу конец.— Фридрих положил бумажку на кончик стола под салфетку.— И пусть господин профессор не сомневается: никто не заметил. Она лежала под столом, я поднял и сунул в карман. Теперь, с вашего позволения, я сам буду убирать в этой комнате. Верьте мне, товарищ профессор, я состою в социалистической партии, ненавижу эту проклятую войну, молю бога дать силы и победу русским.

Радо поднялся из-за стола, крепко пожал руку старика. Заметил: тот впервые назвал его товарищем. Официант стоял растроганный, на глаза навернулись слезы.

— Осмелюсь я еще кое-что поведать товарищу профессору?

— Конечно, Фридрих, я слушаю.

— Ведомо ли вам, что «Ландольт» — не как все женевские кафе? В некотором роде историческое?

— В том нет секрета, Фридрих,— кафе открыто в прошлом веке.

— Прошу прощения, товарищ профессор, старых кафе в Женеве столько же, сколько старых людей. У «Ландольта» особая примета.

— Какая же?

— Наше кафе посещал Ленин! — притихшим голосом произнес Фридрих. Он выпрямился, поднял седую, с гладким пробором голову.

— Но я давно хожу в «Ландольт», и вот только сегодня ты открыл мне свою тайну — почему?

— Так получилось. Бумажка... и вообще. Мне казалось, товарищ профессор не случайно выделяет этот стол.

— Тоже примета?

— За этим столом предпочитал сидеть Ленин.

— Этим самым?

— Этим самым. Столы дубовые, старые, не менялись с тех пор. А я в «Ландольте», считайте, пятьдесят лет, имел честь лично обслуживать товарища Ленина, воспоминание о нем — самое дорогое, что осталось у меня. Ну а когда произошла в России революция, глянул я на портрет в газете и дара речи лишился — он! Ульянов, мой уважаемый клиент! Господи, что происходит на свете: глава новой российской власти — из народа. И жена его, Крупская, душевная и благородная была женщина, ребятам моим подарки все приносила, теперь жена премьер-министра! Не замедлил, вырезал я портрет, наклеил на картонку и повесил дома на стену. Пусть все видят, с каким я человеком имел честь быть знакомым. Там и ныне висит — только другой, красочный, дипломат один советский подарил. И сына своего младшего Владимиром назвал... Вот как оно получается, товарищ профессор, а вы усомнились в старом Фридрихе...

Жан Жак Руссо как-то сказал: жить — это не значит дышать, это значит действовать. Не тот человек больше всего жил, который может насчитать больше лет, а тот, кто больше всех чувствовал жизнь. Убежден, что это и про него, Радо. Не жизнь сама по себе, не жизнь ради жизни, а жизнь, озаренная благородной и возвышенной целью служения народу, дает ему ощущение подлинного счастья...

Ведь как произошло второе рождение Доры?

На кафедру в Будапештском университете легко всходил моложавый профессор. Читал лекции, вел семинары. Все знали — это Радо. Никто не знал — это Дора. Ни друзья, ни коллеги, ни студенты. Он не имел права разглашать тайну. Между тем к скромному профессору кралась слава. Она обрушилась внезапно, оглушительная, как взрыв бомбы. На Западе вышла книжка с сенсационным названием «Война была выиграна в Швейцарии». Выиграна им, Радо, вернее благодаря деятельности руководимой им разведывательной группы. Затем другая, еще книжка. И пошло, покатилось по миру — Дора, Дора, Дора...

Он сразу стал знаменитостью. Его фотографии замелькали в газетах и журналах. Он улыбался с экранов телевизоров. Его узнавали на улицах, в метро, в театрах. Его квартиру захлестнул вихрь писем — со всех концов света. Телефон надрывался от звонков. Студенты на лекциях форменным образом сошли с ума: ни о какой географии и экономике, курсы которых он вел, слышать не хотели, требовали от своего, венгерского Джеймса Бонда рассказа о невероятных подвигах.

Да, это была слава. Шумная, стремительная, она захлестнула славу кинозвезд и популярных футбольных форвардов. Ее подхватили все. Кроме одного человека. Кроме Радо. В хмельной шумихе на Западе вокруг его имени была неправда. Сознательная, зловамеренная, преследующая далеко идущие цели.

Разведчик способен на многое. Но выиграть войну — не смешно ли!

Долг повелел сказать правду. Долг и чистая совесть коммуниста. Прежде всего надо было показать советского разведчика таким, каким он был в действительности. Радо должен был выступить против... Радо. Живой, настоящий, идейный борец, которому никогда не были безразличны такие понятия, как «человечность», «свобода», «мир», по собственной воле избравший свой нелегкий, но доблестный путь против идейного перевертыша, безнравственного политикана, человека без стыда и совести, каким изображали его на Западе. Радо должен был развенчать культ Радо — сверхчеловека.

Профессор засел за книгу. Никто не принуждал, не понуждал его. Исключительно веление честного, беспокойного сердца. Сознание долга. Не случайно воспоминания «Под псевдонимом Дора» начинаются и кончаются словами о долге...

...Тихо и плавно, как теплый июльский вечер, текла беседа с дорогим моим гостем — Шандором Радо. Сын, Тимур, нес вахту у магнитофона. Я решил сделать запись. Предупредил гостя, просил не стесняться. Если встретятся затруднения в русском, пусть говорит на английском или испанском, сын переведет, изучает языки в институте.

На следующее утро я спозаранку заехал в гостиницу. Радо не любил казенные буфеты, и мы перекусили в номере домашней снедью, жена снабдила, выпили по пиале чая. И не спеша направились в Мавзолей В. И. Ленина. Он сказал, что впервые побывал там в 20-х годах, вскоре после открытия доступа для трудящихся. Потом еще не однажды, всякий раз как приезжал в Москву. Теперь попросил пойти вместе. Я предложил автомобиль, но Александр Гаврилович категорически отказался: «К Ленину на машине? Да вы что, в самом деле?»

Радо снял берет, притих, ушел в себя. Придерживаясь за мою руку, шажок за шажком, огибая саркофаг полукольцом, продвигался вместе со всеми. Я украдкой наблюдал за ним. Хотелось уловить малейшее движение на лице, каждый жест, взгляд, звук голоса, хотя, знаю, в Мавзолее не говорят. Казалось, Александр Гаврилович совсем забыл, где он, кто с ним, зачем здесь все эти люди. Почему печальны их лица и почему так громко стучат их сердца? О чем думал он, восьмидесятилетний венгерский коммунист, старейший из всех, кто пришел сегодня в Мавзолей, и, без сомнения, единственный из них, кто видел Ленина в жизни? О чем вспоминал? Что хотел бы сказать тому, кто лежал в саркофаге в вечном сне? О чем спросить? На лицо Радо легла печать душевной боли и печали.

Вспомнились его слова: «Ленин для меня — исток всех истоков, начало всех начал. Ленину я обязан тем, что живу. Философия Ленина — мое мировоззрение. Его революционное учение — мои убеждения. Этика Ленина — мой личный моральный кодекс. Дело Ленина — мое жизненное дело. Без Ленина я не состоялся бы ни как человек, ни как ученый, ни как коммунист».

Теперь он пришел в Мавзолей снова повидаться с Лениным.

Оказалось, прощался с ним.

Навсегда.

В августе 1981 года его не стало...

Я встаю до зари. Включаю магнитофон. Мягким наплывом в комнату вливается знакомый голос. Будто и не расставались мы, сидим на диване рядышком, говорим. Русский у Радо дай бог каждому, изучать начал в двадцатом году в Вене именно потому, что «им разговаривал Ленин». Однако ж отсутствие практики чувствуется, нет-нет да и притормозится речь вибрирующим «з-з-з...» — Радо подыскивает в памяти нужное слово. Запись отличная, Тимур не подвел, молодец.

— Александр Гаврилович, как вы расцениваете столь знаменательный факт своей биографии — встречу с Лениным?

Молчание, хотя пленка крутится. Так и было, ответил не сразу. Ушел в себя, взгляд затуманился, впечатление такое, будто пытается сквозь толщу времени заглянуть в безвозвратно ушедшую молодость, в те неповторимые кремлевские минуты... Смежил веки. В комнате тишина.

— На мою долю выпало ни с чем не сравнимое счастье,— говорит Радо.— Встреча с Лениным, по существу мимолетная, полчаса, не более, никогда не оставляла меня. Век мой долог. Соткан из множества событий, встреч, дат, имен, фамилий, как яркая домотканая ряднина у доброй ткачихи из старого Уйпешта. Многое из памяти ушло, но Ленин — он всегда во мне, как биение сердца. Давайте представим изначальную, так сказать, ситуацию. Собрался конгресс Коминтерна. В Москву съехались выдающиеся революционеры. Куда ни бросишь взгляд в огромном кремлевском зале, куда была перенесена работа конгресса, всюду красная гвардия планеты: лидеры коммунистических, социалистических и рабочих партий, демократического движения, вожаки профсоюзов, КИМа. Что ни оратор на трибуне, то партия или страна за плечами. А кто был я?— ни заслуг, ни чинов, ни званий. Из всех достоинств — одна молодость, она предательски выпирала наружу. И вдруг — Ленин! Первый и главный человек в Кремле, в советской России, на всей земле! Ласково говорит со мной, смотрит на меня, жмет мою руку. Почетный председатель и фактический руководитель конгресса нашел минуту для молоденького безвестного венгерского коммуниста. Можете представить мое состояние. С тех пор мы неразлучны — Ленин и я, Шандор Радо. Теперь я старше моего Ленина — а я убежден: у каждого он свой — почти на тридцать лет. Но чем глубже уходил в историю двадцать первый год, тем явственнее становился след от памятной встречи. Пока не превратился в путь всей моей жизни.

— Александр Гаврилович, в ком во всемирной истории вы видите идеальное воплощение личности пролетарского революционера?

— Без сомнения, в личности Владимира Ильича Ленина.

— А что вам наиболее близко в этике и характере Ленина?

— Ленин — явление чрезвычайно многомерное. Непросто вот так, с ходу определить облик гения, как непросто проникнуть в тайны мироздания. Однако на первый план я поставил бы ленинскую целеустремленность и граждански-нравственную личную ответственность за судьбы человечества. Маркс говорил, что у каждого перед глазами есть определенная цель, такая цель, которая по крайней мере ему самому кажется великой и которая действительно такова, если ее признает великой самое широкое убеждение, проникновеннейший голос сердца. Голос ленинского сердца с юных лет подсказал ему цель — освобождение человека от эксплуатации и угнетения. Мир признал эту цель великой. Далее я выделил бы ленинскую логику и трезвость мышления. Вот, на мой взгляд, фундамент, на котором выросло и развилось стройное революционное учение, известное под названием ленинизм. Что до характера, то он представляется мне неким драгоценным сосудом, куда природа щедро вложила лучшее из того, что создано ею за тысячелетнюю эволюцию человеческого рода. От каждого народа взяла по крупице — алмазу. Но Ленин есть Ленин. К дарам природы он добавил путем железного самовоспитания прекрасные черты народного вождя, революционера, ученого. Сплав тех и других составляет, на мой взгляд, ленинскую личность. Черпать же из этого сосуда — не вычерпать. Земляне щедро одарены от рождения. Они получили в наследство не только ленинское учение, но и ленинский облик, ленинскую любовь к людям, ленинскую мудрость и простоту, ленинскую непримиримость ко всякой фальши и лжи, трудолюбие, упорство, ответственность за дела человеческие, ленинскую веру в лучшее будущее. Граней ленинского стиля — что капель в океане. Но из множества я хочу выделить одну — это искусство полемики. О, тут Ленин был непревзойденный мастер! Он не довлел над оппонентом силой своего громадного авторитета — я сказал! я думаю! я убежден! В то время такие, модные ныне, голые, бездоказательные утверждения не ценились. Ленин чужд был командования, начальнического пренебрежения к мнению противника. Натура сильная и цельная, он любил себе равных,

отстаивая истину, не унижал и не подавлял противника, а уважал его как личность, возвышал в нем человеческое достоинство. Словом, это был полемист блестящий, увлекающийся, удачливый.

— Какие черты Ленина-человека, Ленина-революционера вы хотели бы видеть в современном поколении коммунистов?

— Частично я уже ответил на этот вопрос. Но дополню еще. Прежде всего — ленинскую человечность. Помните у Маяковского: самый человечный человек. Удивительно верно! Я как-то говорил о своем юношеском удивлении при виде Ленина, сидящего на ступеньках. Совсем привел в расстройство жилет. Жилет на Ленине! Точь-в-точь как у моего университетского профессора. Да и весь ленинский, сугубо гражданский, интеллигентский облик резко контрастировал со строгими гимнастерками и френчами защитного цвета, перетянутыми на груди крест-накрест хрустящими ремнями, длинными, до полу, шинелями, буденовками со звездой. Такой вид мне казался более революционным, чем «буржуазные» белые рубашки, галстучки, воротнички, манжеты, жилеты, ботиночки со шнурками... Владимир Ильич пробыл на трибуне самую малость. Живехонько этак, быстрыми своими шагами устремился на край помоста, к залу, к людям. То одна, то другая рука — в броске, в замахе, тело — в движении. Глаза — в глаза, взгляд — во взгляд, лицо — в лицо. К одному, другому слушателю: а понятно ли я говорю? а вы согласны со мной?

...Радо часто звонил в Москву. Обычно ранним утром. Помнится, недели не прошло как он улетел — звонок.

— Здравствуйте, это я, Радо,— слышу знакомый голос.

— Александр Гаврилович — вы?

— Конечно, я. Не разбудил? Я из Будапешта. Как дела? Как работа движется? Кстати, гулял я тут в воскресенье с внуком в парке и вспомнил прелюбопытный случай из моей женевской жизни. Хотите, расскажу, может, пригодится вам?

В другой раз:

— Прочтите еще раз то место, где описана встреча с Лениным в Кремле.

— Там все, как вы рассказали. Я не прибавил ни слова.

— И все же вдруг...

Звонил и на следующий день, присылал мне книги и письма. Почерк у Радо крупный, вихревой, размашистый — писал, видно, второпях, в редкие досужие минуты между бесчисленными занятиями.

«12.2.1980.

Дорогой товарищ... При сем посылаю Вам ответы на вопросы (52 тетрадных листа! — *В. А.*). К сожалению, наша русская машинистка заболела и я не мог вовремя найти кого-нибудь другого вместо нее, поэтому и также из-за других обстоятельств, связанных с празднованием моего восьмидесятилетия. Никогда не думал бы, что человек из-за праздников неделями не может работать. Мои ответы, во всяком случае некоторые из них, немножко резковаты (ничего подобного я не обнаружил.— *В. А.*), поэтому я Вам даю всю свободу перестилизовать их (я ни разу не воспользовался этим правом: не было нужды.— *В. А.*)...»

«4.5.1980.

...После возвращения в Венгрию и проведения первомайских праздников первым долгом считаю поблагодарить Вас за возможность поехать (через 55 лет) в Узбекистан. Это путешествие мне дало огромное удовлетворение увидеть восточный народ (при моей предыдущей поездке еще отсталый и темный) в полном расцвете творческих начинаний и созидания благодаря разрешению национального вопроса на социалистических началах справедливости и равенства, завещанных нам великим Лениным. А что я увидел в Самарканде и Бухаре?! — колоссальные и одновременно изящные реставрации знаменитых старинных памятников. Ташкентские новые городские ансамбли, с прекрасным вкусом соединяющие восточные и современные архитектурные стили, останутся навечно в моей памяти. Все это я мог посмотреть благодаря Вашей любезности. Сердечный привет передайте при случае товарищу Рашидову. Я написал ему благодарственное письмо.

С лучшим дружеским приветом. Ваш Шандор Радо».

«Дорогой товарищ... При сем посылаю через моего друга Раимбекова (дипломат, работал в советском посольстве в Венгрии.— *В.А.*) книгу Бернда Руланда «Глаза Москвы». На просмотр. Книга (немецкий оригинал, переиздана в Венгрии) очень редка, нигде уже нельзя достать, единственный мой экземпляр. Прошу при первой возможности ее возвратить, тов. Каменкович (давний друг Радо, бакинский журналист.— *В. А.*) имеет русский перевод, можете у него его попросить. Посылаю Вам еще одну миниатюрную книжку, изданную к моему восьмидесятилетию Венгерским военно-историческим музеем, также последний экземпляр — на память Вам.

Обнимаю, Ваш Шандор Радо.

Будапешт, 9 мая 1980 г. День Победы!»

«10.5.1980.

Посылаю ответы на ваши дополнительные вопросы.

— Ваш девиз?

— Быть верным коммунистическому идеалу. Никогда не терять надежды.

— Ваш любимый писатель?

— Генрих Гейне. «Я сын революции,— писал Гейне о себе.— Я весь — радость и песня, весь — меч и пламя!..»

Сверкать я молнией умею,
Так вы решили: я не гром.
Как вы ошиблись! Я владею
И громовержца языком.

И только нужный день настанет,—
Я должен вас предостеречь,—
Раскатом грома голос грянет,
Ударом грозным станет речь.

Неистовому Гейне не суждено было увидеть «нужный день» родного народа. Умирая, он завещал возложить на свою могилу меч, ибо, говорил он о себе, «я был храбрым солдатом в войне за освобождение человечества». Безумству храбрых поем мы песню!

— Ваш любимый герой?

— Лайош Кошут.

— Ваше представление о счастье?

— Борьба во имя людей. Труд по любимой специальности. А также — прожить остаток дней вместе со своими сыновьями и внуками.

— Ваша мечта?

— Победа социализма и мира на земле.

— Ваша привязанность?

— Классическая музыка.

— Ваш любимый композитор?

— Бетховен.

— Какие из человеческих качеств более всего цените?

— Искренность, откровенность, прямоту.

— Какие не любите?

— Карьеризм, интриганство, бюрократизм.

— Что считаете наиболее характерным в духовном облике советского человека?

— Коммунистическую убежденность. Миролюбие. Оптимизм. Нравственную чистоту.

Примите дружеские пожелания от Шандора Радо».

Обязательность адресата умиляла. Не успевало отправиться в Венгрию письмо, как поступал незамедлительный ответ. Плюс постоянное утреннее общение по телефону. Необычное внимание в наш рациональный век, когда обыкновенное человеческое участие превратилось в дефицит.

...Вот она, на моей ладони, изящная книжная миниатюра, со спичечный коробок, упомянутая в письме. На светлой обложке — Радо, на обороте — дарственная надпись. Дата та же, что на письме,— «9.5.1980», в скобках — «День победы!». Оба слова с большой буквы и с восклицанием в конце.

Открывается книжица статьей о жизни и деятельности юбиляра. За ней следует список трудов — карты, атласы, путеводители, справочники, альманахи, учебники. На венгерском, английском, немецком, французском языках. Далее идут ордена, медали, почетные знаки отличия, каждый нарисован на отдельной странице — всего тридцать восемь. Затем рассказ в картинках о триумфальном «завоевании» мира книгой «Dora jelenti...» («Дора сообщает...»). Воспроизведены обложки и указаны адреса изданий — Будапешт, Париж, Штутгарт, Риека, Милан, Мальмё, Братислава, София, Прага, Москва, Бухарест, Барселона, Буэнос-Айрес, Мехико, Варшава, Таллин, Ужгород, Берлин, Лондон, Батуми... Общий тираж — полтора миллиона! Это книга самого Радо. А книги о Радо? Кто подсчитывал их тиражи? А статьи в печати? А теле- и радиопередачи?

Имя Радо — одно из самых уважаемых в научном мире. Перечень его титулов и званий занимает в моем блокноте несколько страниц. Назову лишь некоторые из них: профессор, доктор географических наук, доктор экономических наук, почетный доктор Московского государственного университета, почетный член географических обществ Венгрии, СССР, Болгарии, ГДР, а также парижского, Лондонского королевского, американского, итальянского, лауреат национальной премии первой степени, премии имени Кошута, председатель или член руководящих коллегий множества региональных, национальных, ведомственных ассоциаций, агентств, комиссий, коллегий, союзов, отделов по картографии, географии, экономике, геодезии. И так далее и тому подобное.

Так что славы и почестей более чем достаточно.

Чего же Радо не хватало?

Старый человек почувствовал, что приблизился к предельной черте. Пытался осмыслить прожитое, вглядывался в истоки.

А там был — Ленин.

Завершить земные дела без слова о Ленине он не мог.

Я понял это, наверное, еще в Мавзолее в то самое мгновение, когда почти физически ощутил до боли пронзительный взгляд Радо, устремленный на лицо Ильича.

— Александр Гаврилович,— спросил я Радо, когда мы возвращались из Мавзолея,— если бы случилось чудо и вам довелось бы вновь встретиться с живым Лениным, что бы вы сказали ему?

— Увы, таких чудес не бывает,— не сразу ответил он, опять надолго замолчал, затем вполне серьезно добавил:— И все же — вдруг бы? Ленин — целый мир, а о мире любое слово мало. Поэтому я сказал бы: «Спасибо!» — и поклонился.

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ВЛАДИМИР УСПЕНСКИЙ

★

ТРЕТЬЯ МОНГОЛЬСКАЯ

1

Есть у монголов поговорка, которая по смыслу соответствует нашему выражению «тесен мир» или «гора с горой не сходится...». Действительно, я вот прожил немало лет, прежде чем встретился с людьми, которых мог увидеть гораздо раньше. И вообще можно только удивляться, сколь сложные пути вели меня в неведомый мне ранее Улан-Батор.

Первый шаг по этой дороге (о чем я, разумеется, тогда не догадывался) был сделан еще в 1941 году, в глубине российских просторов, в городе Одоеве Тульской области. Во второй половине декабря началось отступление фашистов, оккупировавших наши края полтора месяца. Мне той осенью исполнилось четырнадцать лет, парень я был рослый, и гитлеровцы, схватив меня на улице, определили в рабочую команду, в обоз.

Колонна уходила на запад по разбитой, обледеневшей дороге. Буксовали машины; немцы сталкивали их в кювет, взрывали моторы. Батальон самокатчиков побросал на обочине все велосипеды. Тяжелые зеленые фуры на высоких колесах тащились медленно, кони скользили. А наши нажимали на хвост колонны. Воспользовавшись суматохой и сумерками, я сбежал.

В Одоев вернулся глубокой ночью. Вокруг города гремел бой, было светло от пожаров, от взлетавших ракет. Пробравшись садами и задворками до своего дома, с трудом переступил порог — настолько был утомлен, измучен. Свалился на пол в простенке между окнами — хоть какая-то защита от пуль и осколков — и сразу заснул.

Гулкие взрывы авиабомб, сотрясавшие мерзлую землю, разбудили меня утром. Бросился к окну и увидел картину, которая никогда не потускнеет в памяти. Под холодными лучами солнца ослепительно блестел снег. По нашей всегда тихой и пустой улице в колонне по двое ехали кавалеристы. Мелькали шапки, малиновые кубанки, казацкие башлыки. Рысью обгоняли колонну командиры в черных бурках. Проносились сани-розвальни с пулеметами, бойцы кутались в полушубки — только пар над воротниками. Сильные артиллерийские кони легко влекли выкрашенные в белое пушки. Во всем чувствовались напор, энергия, устремленность. В город ворвались эскадроны 1-го гвардейского кавалерийского корпуса генерала П. А. Белова.

В доме у нас разместился штаб 160-го гвардейского Камышинского кавалерийского полка. Звучали громкие, веселые голоса, звенели шпоры. У меня сразу появилось среди конников несколько приятелей. Вместе ездили за сеном, попадали под бомбежки. В хозяйственном взводе зачислили на довольствие, и я с большой охотой выполнял свои обязанности. Сани, веревка, вилы, трофейный карабин и две низкорослые косматые лошадки, очень неприхотливые и выносливые,— вот мое хозяйство. В корпусе имелось порядочно таких большеголовых невысоких лошадок, присланных из Монголии, чем-то похожих на коньков-горбунков.

Конечно, какие уж заслуги — сено возил, но, значит, и от этого была польза: с особой гордостью ношу я почетный знак 1-го гвардейского кавалерийского корпуса, вручавшийся ветеранам корпуса в связи с сорокалетием присвоения гвардейского звания, полученного в боях под Москвой. Славная история у этого корпуса. Он вступил в сражение с гитлеровцами на границе в первый же день войны, затем организованно от рубежа к рубежу отходил в глубь страны, нанося фашистам ощутимые

контрудары. Конница генерала Белова начала теснить гитлеровцев от столицы раньше общего контрнаступления советских армий, отбросив от Каширы части Гудериана. Два месяца гнали кавалеристы врага на запад, прорвались в тыл противника и почти полгода рейдировали там, освободив большую территорию. Но это потом, после Одоева...

Генерал Белов приехал в штаб полка в середине дня. Худощавый, моложавый, с небольшими усами. Он быстро прошел через двор, отвечая на приветствия бойцов. На генерале поношенная, стянутая ремнями шинель, шапка-кубанка и белые валенки. Он пообедал с командиром полка подполковником Князевым. Остался в комнате один. Я несколько раз заходил к нему. Он сидел в кресле, брал с этажерки книги, разглядывал иллюстрации. А на столе справа лежала большая военная карта.

Вечером он отправился дальше. Ему подвели широкогрудого, с точеными ногами коня. Генерал легко вскочил в седло, поправил на плечах бурку.

Так я увидел Павла Алексеевича Белова первый раз. С той поры минуло много времени, много событий. И вот через пятнадцать лет меня, журналиста, послали взять интервью у председателя Центрального комитета ДОСААФ. К моему удивлению и к большой радости, им оказался генерал-полковник Белов.

Он не очень изменился за пролетевшие годы, только пополнел да голова и усы стали седыми. В кабинете было холодно, он не закрывал форточки — ему не хватало воздуха: сердце.

Закончив служебный разговор, я спросил, помнит ли он бой за Одоев. Генерал оживился. Еще бы не помнить, как захватил корпус этот узел дорог! Павел Алексеевич достал из ящика стола тетрадь с записями военных лет и прочитал вслух несколько страниц. Я узнал некоторые подробности освобождения родного города.

Долго продолжался наш разговор. Первый из многих. Мы часто виделись потом в течение шести лет, иногда несколько раз в неделю. Несмотря на разницу в возрасте, стали друзьями. Он всегда находил возможность ответить на интересовавшие меня вопросы.

Скончался Павел Алексеевич 3 декабря 1962 года, оставив мне значительную часть своего личного архива: он знал, что я собираюсь написать повесть о людях 1-го гвардейского кавкорпуса.

Печаталась повесть в одном из толстых журналов, затем вышла в Воениздате под названием «Поход без привала». Начав рассказ с событий 1917 года, я довел его до лета 1942-го, когда Белов, совершив беспримерный в истории рейд по фашистским тылам, вывел свои войска на Большую землю. Заканчивается книга так: кавкорпус переформировывается перед новыми боями, у командования много дел и забот, к гвардейцам приехал маршал Чойбалсан, а Белова в этот момент вызвали в Москву. Старый друг Георгий Константинович Жуков говорит ему: «Ты уже отказался однажды от командования армией, теперь не выйдет. Принимай 61-ю армию, на этом участке готовится наше наступление».

Таков финал. Ветераны-беловцы советовали писать дальше, рассказать о том, как Белов победно провел свои полки и дивизии через болота и леса Брянщины и Полесья, как освобождал Брест и Варшаву и закончил войну севернее Берлина. Я постепенно продолжал работу. Однажды, разбирая фронтовые фотографии Павла Алексеевича, обратил внимание на несколько снимков, сделанных весной 1943 года. Солнечный день. Проталины. Голые деревья. Крестьянские избы на заднем плане. А впереди на высоком коне генерал Белов в необъятной бурке с острыми плечами, в черной кубанке. Этакий бравый кавалерийский начальник, отчаянный рубака. Трудно представить, что это высокообразованный генерал, не только практик, но и теоретик военного дела, интеллигентный человек, побеждавший врага прежде всего умом, а потом уж на поле боя, не знавший серьезных поражений всю свою жизнь.

Рядом с Беловым на столь же высоких конях двое всадников в незнакомой форме, без погон, с петлицами на воротниках шинелей, с нашивками на рукавах. Один в каракулевой папахе, перехвачен портупеей. На другом обычная солдатская ушанка. На обороте карточки надпись, сделанная Павлом Алексеевичем и свидетельствующая о том, что на фото вместе с ним запечатлены армейский комиссар Ю. Цеденбал и командующий погранвойсками МНР комкор Дорж. А сделан снимок возле деревни Новая Величня, которая находится между Мценском и железнодорожной станцией Горбачево (опять же мои родные места).

Вот другая фотография, сделанная там же и тогда же. Большая группа всадников. Белов, Цеденбал, Дорж и еще шестеро конников. Названы лишь двое: комиссар мотобронебригады Монгольской народной армии С. Батаа и знатный скотовод Абирмэд в национальном монгольском халате — дэли, в большой лисьей шапке. А остальные кто?

Еще фотографии, еще — и вот выделяющаяся среди них, изготовленная профессионалом, на хорошей плотной бумаге. Умное сосредоточенное лицо, гладкое, чистое, с большим лбом, с резко очерченными губами. Аккуратно подстриженные черные волосы зачесаны назад. На обратной стороне фотографии надпись по-русски: «Глубокоуважаемому Павлу Алексеевичу Белову. В память о пребывании в 61-й армии шлю вам эту карточку (она была снята в апреле 1943 года в Москве вскоре после нашего пребывания в 61-й и 20-й армиях). Ю. Цеденбал. Март 1959 года».

Я, конечно, и раньше знал, что монгольские друзья приезжали в армию Белова — об этом есть запись в его дневнике. Но лишь разглядывая снимки, невольно задумался: почему именно у Белова, а не в других войсках, они побывали? и что увидели, узнали, прочувствовали эти товарищи, впервые, наверное, оказавшиеся на фронте? какое впечатление произвел на них Павел Алексеевич? Ну и не на экскурсию же прибыли представители монгольского народа...

Ветеранам дорога память о боевом прошлом и уж тем более дороги фотоснимки, запечатлевшие события давних лет. Зная это, я решил отправить несколько карточек товарищу Цеденбалу. Вряд ли они у него есть, любительские ведь фотографии. Тут как раз вышла моя повесть о Белове. Пакет получился увесистый.

Прошел месяц-другой, ответа не было. А мне не давали покоя те снимки. Теперь я просто не мог ограничиться известными мне фактами. Расспрашивал сослуживцев Белова, старался найти какие-нибудь письменные свидетельства. И обратил внимание вот на что. В нашей литературе, художественной и мемуарной, достаточно подробно освещены события тридцать девятого года на Халхин-Голе. Можно вспомнить произведения, повествующие о боях завершающего этапа второй мировой войны, когда мощным ударом раздроблена была Квантунская армия самураев, и опять рядом плечо к плечу сражались наши солдаты и монгольские цирики. Ну и книга генерала И. Плиева «Через Гоби и Хинган», по которой, кстати, снят теперь советско-монгольский фильм! Участие же Монгольской Народной Республики в борьбе с гитлеровскими захватчиками практически не получило еще отражения в нашей литературе. Немногочисленный монгольский народ (полтора миллиона человек!) в меру своих возможностей старался всячески помочь Советской Армии. Монголия была тогда единственным нашим союзником, строившим социализм, она полностью разделила с Советским Союзом все трудности борьбы и радость победы. Вот несколько фактов и цифр. Одних лишь коней Монголия отправила нам на фронт более 400 тысяч. Среди них 30 тысяч так называемых подарочных. Это когда араты отбирали самых крепких, самых красивых, самых дорогих сердцу скакунов и посылали их в подарок лучшим бойцам-кавалеристам Красной Армии. На средства, собранные монгольскими трудящимися, была создана танковая бригада «Революционная Монголия». Полсотни бронированных машин этой бригады с боями прошли трудный путь от Подмосковья до Берлина. А эскадрилья «Монгольский арат», начав боевые действия на Украине, завершила их возле Праги. Причем монгольский народ принял на себя заботу о полном обеспечении этих воинских частей всем необходимым на все дни войны.

Постепенно, шаг за шагом собирая материал, сопоставляя сведения из различных источников, я узнал, что всего на советско-германском фронте побывало четыре монгольских делегации. Первая — в конце 1941 года, в состав ее входила С. Янжима, вдова неустрашимого сына Монголии Сухэ-Батора. Вторую делегацию возглавлял премьер-министр, главком Монгольской народной армии маршал Х. Чойбалсан. Третью — Генеральный секретарь ЦК МНРП, начальник Политуправления Монгольской народной армии Ю. Цеденбал. Именно эта делегация особенно интересовала меня. Она была наиболее представительной, много времени провела в войсках на передовой. Некоторые члены этой делегации запечатлены на оказавшихся у меня снимках. Но папка, в которую я складывал материалы, все еще оставалась тощей. Можно было написать очерк или главу для будущей книги, однако мне хотелось большего. Разглядывая фотоснимки, я думал: хорошо бы встретиться с этими людьми, услышать их воспоминания.

И вдруг — письмо из Улан-Батора:

«Уважаемый Владимир Дмитриевич!

Вернувшись на Родину после поездки за границу, я познакомился в ноябре с. г. с Вашим дружественным письмом.

Выражаю Вам искреннюю благодарность за книгу «Поход без привала» и фотографии, отражающие пребывание нашей делегации на Западном фронте в 1943 году.

Ваше письмо всколыхнуло во мне воспоминания о пребывании в 61-й армии Западного фронта, которой командовал генерал Белов Павел Алексеевич. Это был замечательный военачальник, с которым после войны мне довелось встречаться не раз.

От души желаю Вам новых творческих успехов в Вашей благородной деятельности.

Ю. Цеденбал,
Первый секретарь ЦК МНРП,
Председатель Президиума
Великого Народного Хурала МНР

30 ноября 1979 года».

Приятно, конечно, получить такое послание, тем более что для меня оно имело особое значение, я укрепился в мысли: тема, которая не дает покоя, важна и существенна. Ведь речь идет о боевом товариществе наших воинов, о советско-монгольской дружбе. И понял — надо ехать в Монголию, искать там участников событий, собрать и сохранить то, что еще не забыто.

2

Улан-Батор раскинулся в просторной речной долине, южную сторону которой прикрывает горный хребет, поросший лесом. Гостеприимные хозяева в первый же день отвезли нас, советских писателей, на вершину сопки, к величественному памятнику советским воинам. Отсюда просматривается весь город. И хорошо спланированная, просторная, застроенная современными зданиями центральная часть, и уцелевшие еще окраины, так называемые районы юрт. Очень удачное место выбрано для монумента. Издалека, за много километров виден он людям.

Через несколько дней нам предложили поехать в Тэрэлж, в красивую горную местность северо-восточнее Улан-Батора. Я сперва усомнился: целесообразно ли, имеет ли это отношение к тому делу, ради которого оказался в Монголии? Ведь я еще не побеседовал ни с одним участником третьей делегации. Конечно, не сразу их и разыщешь. Коллеги из монгольского Союза писателей делали что могли: уточняли фамилии, договаривались о свиданиях. Мне оставалось лишь ждать, смиряя нетерпение. Но и не только ждать: каждый час, каждый день пребывания в Монголии обогащали меня, давали возможность лучше понять тех людей, о которых намеревался писать. Я имел уже представление о характере монголов, об их сдержанности, даже замкнутости, за которыми при близком знакомстве проявлялись вдруг доброта и откровенность, обязательность и доверчивость, терпеливость и любовь к шутке...

Шоссе, по которому мы выехали из Улан-Батора,— это та самая дорога, по которой когда-то шли средь выжженной солнцем степи колонны бойцов, направлявшихся к Халхин-Голу. Громыхали танки, тряслись на ухабах грузовики, походные кухни. Обогнали мы взвод цириков, шагавших, вероятно, на стрельбище. Солдаты в шинелях, таких же, как наши, в шапках-ушанках — и аж сердце захолонуло: ясно представился мне этот путь в самом начале мирового пожарища, когда лишь первые сполохи предвещали приближение войны. Еще никто не знал, какой она будет долгой, губительной, страшной. И шли к Халхин-Голу наши красноармейцы и командиры, и пели они полную оптимизма песню:

Спокойно, дружище, спокойно —
И пить нам, и весело петь.
Еще в предстоящие войны
Тебе предстоит уцелеть.
Уже и рассветы проснулись,
Что к жизни тебя возвратят.
Уже изготовлены пули,
Что мимо тебя просвистят!

Увы, не всегда эти пули пролетали мимо. А японских милитаристов, опрокинутых, но не добитых тогда на Халхин-Голе, пришлось добивать воинам нового поколения. И мне, моряку-тихоокеанцу, в том числе. Дважды довелось высаживаться с ра-

диостанцией в тылу японских войск в портах Северной Кореи. Там навсегда остались многие боевые товарищи, и моя кровь запеклась где-то на каменистой вершине сопки. Об этом вспоминаю я по торжественным дням, прикрепляя к пиджаку медаль «Адмирал Ушаков», а рядом с ней монгольскую юбилейную медаль в честь разгрома японских захватчиков.

Сурова дорога, что ведет от Улан-Батора к Халхин-Голу. Она ушла от нас вправо. Мы свернули на север, к горам, а та дорога осталась южнее. И вскоре я очень пожалел, что проходит она по однообразной равнине, что наши красноармейцы, шагавшие когда-то по ней, не увидели, не могли увидеть удивительной красоты и многообразия, которые открылись нам за нагромождением скал в широкой долине.

Веками, тысячелетиями жара и морозы, дожди и ураганы разрушали, размывали, выветривали поверхность древних гор. Там, где прежде были их вершины, остались фантастические каменные глыбы разных размеров и форм. Много раз видел я исписанные туристами скалы и утесы Кавказа. Бывал на знаменитых красноярских Столбах. Десятки километров прошел вдоль Лены-реки, где над самой водой двухсотметровыми отвесами поднимаются знаменитые ленские щеки. Воспринял и оценил их величавость. Но в местности Тэрэлж пейзаж совершенно особый, неповторимый. Представьте себе эту долину, окруженную горами с такими вот причудливыми выветрившимися вершинами. И в самой долине то там, то тут вырастают средневековые замки, башни, словно бы застыли гигантские чудовища: черепахи, динозавры, птеродактили. А вот будто великан забавлялся: на огромной глыбе установлена глыба поменьше, потом еще и еще — целая пирамида. Каким чудом они держатся — уму непостижимо. А вокруг по склонам лес. Над рекой тополя, заросли багульника. И над всем этим — белоснежные вершины гор, до блеска отполированная синева небес и глубокая-глубокая тишина. И несколько строений, не разрушающих очарование пейзажа.

За редким исключением каждый человек любит свою родину, с детства милые места. Многие патриоты жизнь готовы отдать за несколько квадратных метров земли своего государства. Но далеко не у всех любовь к родной земле активно проявляется не только в критической ситуации, но и всегда, в обычные дни. Далеко не все люди могут сказать, что они постоянно заботятся о природе, стараются не брать от нее лишнего, стремятся сохранить, приумножить ее красоту, ее богатства. А у монголов это, пожалуй, национальная черта. Ни стар, ни млад ветку зря не сломает, траву не потопчет, мусор на лужайке после себя не оставит. С детских лет как-то само собой прививается забота о растительном и животном мире. Еще триста лет назад гора Богдо, которая возвышается над Улан-Батором, была объявлена заповедной. На ее склонах, вокруг нее, прямо на окраине города спокойно пасутся олени.

3

Утром мы побрились особенно тщательно и покрасовались перед зеркалом: женщину шли поздравлять. Среди других поручений было у нас и такое весьма приятное. Вместе с председателем Союза монгольских писателей Д. Цэдэвом отправились к известной писательнице Сономын Удвал, награжденной орденом Сухэ-Батора и нашим орденом Дружбы Народов. Приближалось 8 Марта. К тому же Удвал отмечала свой юбилей. Вот сколько причин и поводов для поздравлений. С удовольствием вручили ей приветственный адрес правления Союза писателей СССР, пожелали всего самого наилучшего. Она член ЦК МНРП, депутат Великого Народного Хурала. Деятельность Удвал, направленная на защиту человечества от угрозы новой войны, отмечена Золотой медалью Всемирного совета мира. Многие произведения писательницы посвящены дружбе советского и монгольского народов. Это, например, рассказы «Не забыть», «Катя-монголка». Но особое внимание привлекает повесть «Первые тринадцать». Тут вот какое дело. Еще совсем недавно монголы почти не выращивали хлеб. Его и сейчас иногда забывают подавать в столовой или в ресторане. Но вообще-то люди уже приобщились к этому питательному и вкусному продукту. И монгольские товарищи, используя наш опыт, подняли свою целину, распахали степь, не ведавшую плуга, и теперь полностью обеспечивают страну зерном.

О покорителях целины как раз и рассказывает С. Удвал в своей повести. И особенно символично, что зерно произрастает на берегах реки Халхин-Гол, на священной земле, политой кровью монгольских и советских воинов, защитивших ее от агрессора.

4

И вот наконец встречи с товарищами, которые запечатлены на старых фотографиях. Вечером в гостинице записывал услышанное.

Прежде всего: как формировалась делегация?

«На фронт поедет тот, кто лучше других поработает, своим трудом внесет вклад в борьбу с фашистами»,— говорил тогда Генеральный секретарь ЦК МНРП, начальник Политуправления Монгольской народной армии Юмжагийн Цеденбал. И люди старались заслужить столь высокую честь. Много мяса сверх плана заготовил для советских бойцов знатный скотовод Авирмэд, его стадо было одним из самых больших и тучных в Западной Монголии. Этот пожилой, спокойный, неторопливый арат словно бы олицетворял народные истоки партии, к нему охотно обращались товарищи по делегации, и он всегда давал простые и дельные советы. Жаль, что Авирмэд не дожил до наших дней и не удалось мне увидеть его. Однако те, с кем он ездил, до сих пор хорошо помнят скромного животновода, с большой теплотой говорят о нем. И в первую очередь — Санжийн Батаа, тогда заведующий отделом ЦК партии, принявший меня в своем кабинете в Доме правительства, который возвышается на центральной площади Улан-Батора.

Время, конечно, меняет облик людей, но я сразу узнал товарища Батаа по фотографии, настолько сохранилась в нем моложавость, подтянутость, энергичность. Человек он, судя по всему, впечатлительный, эмоциональный, с острой памятью. Именно от него узнал я много интересных и важных подробностей. С. Батаа в те годы был армейским политработником. И не просто политработником: ему, участнику событий на Халхин-Голе, доверили стать комиссаром моторизованной бронебригады — самой первой в вооруженных силах Монголии. Ведь почти все войска ее составляла тогда конница, и бронебригада стала началом современной механизированной, технически оснащенной армии МНР. Партия придавала бронебригаде особое значение, она имела высокую боевую готовность: подними по тревоге — и сразу на марш, в бой. И такое напряжение не на один день, а неделя за неделей, месяц за месяцем. Наверно, поэтому и включили комиссара в состав делегации. Чтобы к фронтовому опыту присмотрелся.

Познакомиться с боевым опытом очень хотел и начальник Управления пограничных войск республики комкор Дорж. У него-то как раз имелась особая причина оказаться в составе делегации. Несмотря на очень хлопотливую должность, он выкроил время для заготовки подарков советским бойцам. Он возглавил бригаду охотников для добычи джейранов: это и питательное мясо, и шкуры для различных изделий. Вот любопытный документ, датированный 30 января 1943 года:

«Успешно проводится работа по заготовке джейранов и кабанов в подарок для Красной Армии. В этой работе активное участие принимают служащие с охотничьим стажем местных и центральных организаций, а также опытные местные охотники. По данным вчерашнего дня, охотничьи бригады отстреляли всего 5153 джейрана и отправили их на перевалочные пункты. Кроме того, отстреляно и отправлено 174 кабана и 3403 штуки дичи...

Бригада начальника Управления пограничных войск Министерства внутренних дел товарища Доржа отстреляла 700 джейранов...»

Если перевести это в килограммы да на армейские нормы — сколько же бойцов можно обеспечить мясным довольствием!

Оба они, и Батаа и Дорж (с грустью узнал, что не дожили они до наших дней), были военными, но даже одинаковая форма не делала похожим одного на другого, а со временем внешнее различие проявилось еще больше. Батаа, несмотря на груз годов, так и остался худощавым, быстрым, подвижным. А Дорж широк в кости, осанист, грузноват. Был он военным министром Монголии, дипломатом. Потом возглавлял Комитет ветеранов революции и войны. Батаа и Дорж, оказавшись в делегации, быстро сдружились и пронесли дружбу через всю свою жизнь.

В Монголии тогда еще не было железной дороги. Делегация, насчитывавшая более двадцати человек, выехала из Улан-Батора на автомашинах, рассчитывая за сутки добраться до ближайшей советской станции Наушки. До перевала, традиционного места расставаний перед дальним путем, комкора Доржа провожала жена Цэрэндонгор, красивая, в шинели и армейской шапке. Форма очень шла ей. И дети, сыновья трех и пяти лет, тоже были обмундированы по-военному. Само собой это получилось. Жили

в военных городках, где и одежду-то детскую не разыщешь, а портному гораздо легче, привычней сшить гимнастерку, чем рубашонку.

Санжийна Батаа не провожал никто. Незадолго до отъезда он побывал в родном худоне (сельской местности), проведал семью. Восьмидесятилетний отец чувствовал себя плохо, совсем плохо... Там осталась с ним мать, осталась молодая жена Батаа, а сам он отправился в далекий путь...

На станции Наушки работа шла полным ходом. С прибывавших грузовиков переваливали в вагоны замороженные мясные туши, ящики с маслом и колбасой, мешки, набитые теплыми рукавицами, связки ватников, меховых телогреек, отдельно — унты для летчиков. 10 тысяч полушубков, 12 тысяч пар сапог и столько же пар валенок, 17 тысяч заботливо упакованных индивидуальных подарков и пачки писем с самыми сердечными пожеланиями советским бойцам.

Невелика пограничная станция Наушки, все пути ее в те дни были забиты до предела. 127 вагонов загрузила монгольская делегация. Радовались делегаты: не с пустыми руками ехали к сражающимся друзьям.

Эшелон двигался медленно, задерживаясь на разъездах великой сибирской дороги, пропуская спешившие к фронту составы с танками, самолетами, артиллерией. В крупных промышленных центрах члены делегации бывали на фабриках, на заводах. Беседовали с рабочими, своими глазами видели, как самоотверженно трудятся в цехах женщины, старики, дети. Санжийн Батаа старался спать поменьше, не терять времени: до поздней ночи просиживал у окна, глядя на проносящиеся мимо просторы, на санитарные поезда, на теплушки с бойцами, на очереди за водой возле высоких кирпичных башен, на строгих дежурных в красных фуражках,— ощущал напряженный военный ритм.

Товарищ Цеденбал посоветовал: дорога длинная, надо наладить быт, хорошо бы стенную газету выпускать. Вот Батаа — армейский политработник, он, конечно, стенной печатью занимался, может, ему и поручим?.. И поручили. Эта обязанность отнимала немало времени, но, в общем-то, была интересной. Члены делегации, переполненные впечатлениями, охотно писали заметки о том, что увидели, перечувствовали в последние дни. А сам редактор неожиданно для себя даже стихотворение сочинил. Сидел ночью возле окна, и как-то незаметно под стук колес родились проникновенные строки о великой советской стране, о русском народе, принявшем на себя главный удар фашизма ради спасения всего человечества... Эти стихи появились в очередном номере стенгазеты и привлекли внимание делегатов. Батаа с волнением наблюдал, как их читают. И не подозревал тогда, что сделал первый шаг в поэзию, создал самую первую из своих многочисленных песен...

Лишь 17 марта, проведя в пути без малого три недели, монгольская делегация прибыла в Москву. Торжественно встреченная на вокзале, она разместилась в гостинице «Метрополь». И сразу — знакомство с советской столицей.

5

В Москве делегация разделилась на две группы. Одна, возглавляемая заместителем командующего МНА комкором Ж. Лхагвасурэном, должна была отправиться в район Курска. Основной же группе, которой руководил Ю. Цеденбал, предстояло побывать в 61-й и 20-й армиях. При всем желании я не смог выяснить, почему именно в них. Вероятно, товарищи, составлявшие программу, рассуждали так: вот генерал Белов — завзятый кавалерист, а это близко монголам. Он отличился под Москвой, в его войска приезжал маршал Чойбалсан, в его корпус направляли коней из Монголии. Да, но Белов вот уж месяцев восемь командует общевойсковой армией...

Я отчетливо представляю себе, как встретил Павел Алексеевич известие о прибытии делегации. Тронул большим и указательным пальцами усы: «Ну, друзьям всегда рады». Вызвал любимца своего, начальника разведки Александра Кононенко, человека смекалистого, напористого, для которого не существовало слов «не могу» (добровольцем сражался в Испании, в начале Отечественной войны — старший лейтенант, в конце — полковник, прошел с Беловым все трудные перепутья). Сказал ему: «Садись, Александр Константинович, подумаем, как лучше принять монгольских товарищей». У Кононенко в отличие от генерала усы пышные, висячие, запорожские, в карих глазах веселый

блеск: «Чем встретить — это ясно. А вот чтобы увидели побольше, над этим надо помозговать»...

Между тем 23 марта группа Ю. Цеденбала прибыла в Тулу, где ее принял секретарь обкома партии. После дружеской беседы—отдых до наступления темноты. Погода держалась ясная, в светлое время на прифронтовых дорогах лучше не появляться. Лишь ночью отправились дальше, к городу Белеву, где располагался штарм-61. Короткую остановку сделали в Одоеве после крутого подъема от реки Упы, который с трудом одолели буксовавшие «эмки». Напились вкусной воды из колодца, дождались отставших и двинулись по тихим темным улицам родного мне городка, мимо разбитой церкви, мимо артиллерийского орудия на высоких колесах, брошенного у перекрестка. О многочисленных подробностях этой поездки я постараюсь рассказать в новой книге. А сейчас несколько эпизодов, особенно запомнившихся монгольским товарищам.

...В тот день, когда приехали в штаб армии, к ним привели фашистов, попавших в плен. Семнадцать гитлеровцев разного возраста, разных званий, разных родов войск. Монголы впервые видели этих «прославленных» завоевателей, имевших теперь, впрочем, не самый воинственный вид. Волна любопытства, вызванная их появлением, быстро спала, внимание сосредоточилось на двух пленных. Особенно на крепком, плечистом офицере-летчике лет двадцати трех. Он держался спокойно и самоуверенно. Насмешливо поглядывая на азиатов, ровным голосом отвечал на вопросы Цеденбала.

— Вас сбили, когда вы бросали бомбы на районный центр. Вы знали, что там нет военных объектов? Только женщины, дети!

— Там проходит шоссе.

— Но на шоссе днем пусто.

— Бомбы убивают не только тело,— сказал гитлеровец и глянул с любопытством: поймут ли его?

— Вам знакомы такие понятия, как мораль, нравственность? — едва заметно усмехнулся Цеденбал.— Скажите, вы сознательно бросали бомбы на мирных жителей?

— Я выполнял приказ. Я солдат.

— А если вам прикажут резать, душить малолетних детей? Родную мать, сестру, брата?

Летчик недоуменно повел плечами. В голове его просто не укладывалось, видимо, чего добивается этот начальник.

— Бесполезно, товарищ Цеденбал,— негромко произнес Павел Алексеевич.— Молодчик из гитлерюгенда, воспитанный в духе слепого повиновения и обожания фюрера.

— Я и стараюсь понять, насколько глубоко это зашло и насколько опасно для человечества. Отравленное поколение. Их мало победить, их придется еще и переубеждать.

Разговор был прерван яростной вспышкой гнева в другом конце комнаты, где комкор Дорж разговаривал с пленным танкистом, дюжим, рыжеволосым и туповатым на вид. В его машине найден был чемодан со скатертями, занавесками, женским бельем, даже платье с пятнами крови оказалось там. Танкист объяснил: им разрешают раз в месяц отправлять посылку домой, но теперь, когда нет наступления, не завоевывается новое пространство, собирать посылки стало труднее, приходится брать то, что осталось. А платье это с погибшей женщины вполне хорошее, из прочной ткани. Его нужно лишь постирать.

Тут и взорвался добродушный пограничник комкор Дорж, побагровело его лицо, заметней проступили многочисленные рябинки. Вскочил, крикнул:

— За мной, бандит!

— Подождите, куда вы? — остановил Белов.

— На улицу! — ответил Дорж.— Поговорю с глазу на глаз!

— Он пленный,— сказал Павел Алексеевич.— Он без оружия.

— Я тоже оставлю здесь пистолет.

— Не надо,— мягко, успокаивающе произнес Белов.— Я понимаю вас. Нам первое время тоже очень трудно было сдерживаться.

Крепко запомнился тогда комкору Доржу этот танкист. А Санжийну Батаа врезалось в память, как выступал товарищ Цеденбал перед батальоном, уходившим в бой. Они приехали в этот батальон верхом, человек шесть. Кони русские, высокие, непривычные. И садиться трудно, и в седле не очень уверенно себя чувствуешь: земля далеко.

Но ничего, держались. И увереннее всех — скотовод Авирмэд. К его дэли, к его мохнатой шапке были прикованы взгляды выстроившихся бойцов. Но вот заговорил Цеденбал, и головы как по команде повернулись к нему. Из всей делегации он один хорошо владел русским, говорил почти без акцента. К тому же прекрасный оратор, голос его звучал громко и чисто, скупыми жестами, интонацией он выделял то, что считал особенно важным. Цеденбал сказал бойцам: вы идете сражаться за свободу и счастье не только своего отечества, но за избавление всего мира от коричневой чумы, братский привет и спасибо вам от монгольского народа, который с волнением и гордостью следит за героической борьбой, за подвигами советских людей. Светлели лица бойцов, улыбки появились на них.

А утром, когда вдали еще грохотало, затихая, сражение, монгольские делегаты приехали в полевой госпиталь. Тяжелая картина: молодые искалеченные парни, еще вчера полные сил, теперь находились между жизнью и смертью. Как облегчить мучения раненых? Пожилой скотовод Авирмэд и здесь оказался не лишним. Когда принесли раненого и обмороженного бойца, всю ночь пролежавшего на снегу, принялся помогать санитарам. А потом, приподняв голову солдата, достал откуда-то из-под просторного дэли бутылочку, влил в рот красноармейца несколько капель.

В конце дня делегация направилась в батальон связи, значительную часть которого составляли девушки. Был митинг в сельском бревенчатом клубе, потом общий ужин и даже танцы. Внимание Доржа привлекла связистка лет двадцати, рослая и красивая, как его жена Цэрэндонгор. Даже что-то монгольское было в ней: скулы, узкий разрез глаз. Он спросил, русская ли она. Девушка ответила: да, казачка с реки Урал. И имя самое русское — Настя. Интересно и весело было говорить с ней. Почти не знали слов, а понимали друг друга.

На следующий день, когда делегаты уезжали из этой части, связистки пришли проводить их. А Насти не было. Дорж попросил передать ей привет и был удивлен воцарившимся вдруг молчанием. Что случилось? Женщина с погонами старшего лейтенанта объяснила. С полуночи Настя дежурила на линии. Прервалась связь. Девушка пошла, обнаружила обрыв. Линия действовала, а Настя долго не возвращалась. Слишком долго. Забеспокоились, отправились искать. Увидели ее в свежей воронке. Раненая Настя соединила концы провода, но двигаться уже не могла. Скончалась, зажав провод в руке.

Очень хотелось тогда комкору отомстить за погибшую девушку, самому выпустить по врагам пулеметную очередь. Но на передовую линию гостей не пускали. Заботились об их безопасности. Единственно что мог сделать Дорж — поднести к артиллерийскому орудию большой, 152-миллиметровый снаряд, тяжелый, блестящий, гладкий, с двумя поперечными кольцами.

С наблюдательного пункта хорошо просматривались в бинокль позиции противника, хотя расстояние было немалое. Артиллерийская батарея приготовилась к залпу. Прозвучала команда:

— В честь наших монгольских друзей по гитлеровским захватчикам — огонь!

Дорж увидел разрывы над вражескими траншеями, что-то летело там вверх, какие-то доски, мешки.

Артиллерия фашистов начала бить в ответ. Снаряды грохнули за наблюдательным пунктом. Но в этот момент, оставляя огненно-дымные хвосты, понеслись в сторону неприятеля сотни ракет: ударили легендарные «катюши». И комкор Дорж испытал удовлетворение: это за погибшую девушку, за молодую связистку...

В самом конце марта выдалось несколько очень теплых дней. Дожди и ночные туманы съели снег. Запенились ручьи, вспухли реки, раскисли дороги, пришла распутица, не проехать ни полозом, ни колесом. Застряли «эмки», вездеходы. Монгольскую делегацию увозили с фронта на гусеницах: в трофейных танках, перекрашенных в зеленый цвет. Но это лишь для дорогих гостей такой транспорт, всех желающих подобным комфортом не обеспечишь, а война продолжалась, не считаясь с погодой. Подоткнув за ремень полы шинелей, шагали мокрые, облепленные грязью бойцы. Измученные, охрипшие от ругани люди буквально на руках тащили вперед грузовики с боеприпасами и продовольствием. Бились, рвали постромки лошади, стараясь вытянуть застрявшие пушки, повозки.

Посреди обширного ровного поля — единственный сухой островок, поросший кустарником холм. Там можно было обогреться у костра, поесть, подремать. Люди

стремились туда как к самой желанной цели, много скопилось на холме бойцов, повозок, машин. И танкисты остановились передохнуть, им тоже досталось в трудном пути. Но едва лишь уселись возле костра, открыли банки с консервами, отовсюду понеслись тревожные крики: «Воздух! Воздух! Летят!» В разрывах туч мелькнули черные силуэты. Санжийну Батаа почудилось, будто прямо на него снижается, распластав двухметровые крылья и выставив клюв, гриф-ягнятник, хищная птица ёл, живущая в монгольских горах. А укрыться от хищника негде. Люди ложились на спину, выставляя вверх стволы винтовок, автоматов, пистолетов. Торопливо забили зенитки, затрещали выстрелы, но все звуки поглотил жуткий, нарастающий вой бомб, а затем — раздирающий уши грохот. Холм словно бы сдвинулся с места. Падали комья земли, расползался едкий дым. Даже тому, кто находился за броней, под днищами танков, казалось, что это конец, смерть. А каково же тем, кто на открытом, незащищенном месте...

Исчезли черные самолеты, гонимые истребителями, прекратился грохот, и установилась тишина, нарушаемая лишь криками да стонами раненых. Весь холм был изрыт дымящимися воронками, осыпан черной земляной крошкой. Уцелевшие бойцы помогали пострадавшим товарищам, осматривали машины и повозки, стараясь починить, собрать что возможно.

6

Три месяца не были они дома, а когда вернулись, в Монголии стояли уже по-летнему теплые дни, ярко зеленели склоны гор, пестрым многоцветьем украсилась степь. В сорока километрах от города, на перевале встретила комкора Доржа жена с сыновьями. Глаза ребят сверкали от радости и восторга. Особенно когда отец подарил им пистолеты, очень похожие на настоящие. Эту игрушку нашел Дорж в Москве.

Один лишь день провел комкор в семье. А утром выехал на границу проверять заставы, рассказывать цирикам, как сражаются с гитлеровцами русские воины.

Санжийна Батаа никто не встречал. Произошло худшее: пока он был далеко, скончался отец. Поклонившись его могиле, комиссар возвратился в свою моторизованную бронебригаду. Однако прослужил в ней недолго. Однажды пригласили комиссара в ЦК партии.

— Товарищ подполковник, мы хотим направить вас в Советский Союз. Учиться в Военно-политической академии.

— Близятся важные события, хотелось бы остаться в бригаде для боевой работы.

— Учеба, товарищ Батаа, это тоже боевая работа,— сказали ему.

Снова комиссар оказался в Москве, и теперь уж надолго. В столице Советского Союза узнал о капитуляции гитлеровской Германии. Очень хотелось побывать ему на празднике Победы, слить свою радость с радостью советских людей, своими глазами увидеть на Мавзолее руководителей партии и правительства, которые возглавляли борьбу. Рано утром ушел Батаа из общежития академии, на одной из улиц примкнул к колонне демонстрантов Свердловского района столицы...

Сколько же времени пролетело с тех пор! Не то что дети—внуки выросли у ветеранов! Мой приезд, наши разговоры всколыхнули воспоминания о далеком прошлом. Седоголовый генерал Дорж сам разволновался, показывая мне старые альбомы с фотографиями, говоря о фашистском танкисте-грабителе, о погибшей девушке-связистке.

А в жизни Санжийна Батаа поездка на фронт оставила еще один своеобразный след. Начав когда-то выпускать в вагоне стенную газету, он постепенно настолько приобщился к печатному слову, что просто не мог не писать. Прощаясь со мной, подарил на память книгу своих произведений.

Батаа не стал профессиональным поэтом, однако стихи его, главным образом на патриотическую тему, широко известны в Монголии. А его песня о Ленине, песня об Улан-Баторе весьма популярны в республике, часто звучат по радио и в концертах:

От знойных далей Гоби до северных лесов
Свободна и прекрасна земля моих отцов!
Я воспеваю радость спокойных, мирных дней,
И воспеваю мудрость я партии моей.
Привольная Монголия, как ты мне дорога,
И степи, и озера, и горы, и тайга...

Да, особенно приятно мне было познакомиться с ним, видным партийным работником, фронтовиком и поэтом. Долгим и интересным был наш разговор. Батаа пригласил съездить в его родной худон, побывать в Гоби. Я с радостью согласился. Вернувшись в Москву, получил от Санжийна Батаа письмо, в котором он напоминал о нашей беседе, обещал помощь в работе.

И вдруг — печальная новость: Батаа скоропостижно скончался от тяжелой болезни. Что ж поделаешь, возраст и пережитые трудности дают о себе знать. Стремительное, безжалостное время забирает от нас ветеранов, участников войны. И как важно успеть расспросить их, записать воспоминания.

7

Прошлое всегда неразрывно связано с настоящим и будущим. Собирая материалы военных лет, я дважды побывал в Монголии, узнал и увидел много интересного, важного, но особенно, пожалуй, запомнился тот мартовский день, когда пришло сообщение, что на околоземной орбите находится первый монгольский космонавт. Вершины гор, окружающих Улан-Батор, были покрыты свежим снегом и сияли чистейшей белизной на фоне высокого ясного неба. А небо в Монголии необычное: просторное, почти всегда безоблачное. Тучам с морей-океанов далеко ползти сюда, в Центральную Азию, а если они и добираются, то ослабевшие, истратившие заряд влаги. Почти не бывает пасмурных дней, почти круглый год сияет над страной яркое солнце, а по ночам таинственно и призывно блещут крупные звезды. Воздух прозрачен, сух, чист, поэтому краски на вечерних и утренних зорях яркие, разнообразные, самых невероятных тонов и оттенков. Такие можно видеть лишь здесь да еще, наверное, в космосе.

Как все народы издавна стремятся проникнуть в таинственные глубины мироздания, побывать на неизведанных планетах, так и монголы своими чаяниями и помыслами устремлялись в космические дали. И вот Жугдэрдэмидийн Гуррагча оказался там вместе со своими советскими товарищами. Можно представить, с каким волнением разом охватил он взглядом с огромной высоты всю свою просторную родину!

Монгольским Гагариным величают теперь Ж. Гуррагчу. Он поднялся в космос через двадцать лет после прорыва человека за пределы земного притяжения. Юрий Гагарин был первым. А Жугдэрдэмидийн Гуррагча стал сто первым, открыл счет второй сотне покорителей дальних просторов.

Совместный труд за пределами земного притяжения — символический итог нашей многолетней и верной дружбы, итог совместной борьбы. И начало новых путей, старт к новым общим успехам!

Улан-Батор—Москва.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. КАМЯНОВ

★

СЮЖЕТ И ВОКРУГ

Из опыта дебютантов 60—70-х годов

Я понять тебя хочу,
Смысла я в тебе ищу.

Пушкин.

Порядок это или нет, когда приходится разыскивать автора? Днем с огнем разыскивать по всему тексту романа, повести, новеллы? Персонажи — вот они, все на виду; подробности места и действия прописаны. Что же до самого прозаика, то, по отзывам некоторых рецензентов и обозревателей текущей прозы, он как бы отодвинулся в тень. Или уклоняется от прямых контактов с критикой.

И озадаченная критика объявляет розыск. Недавняя дискуссия на тему «Современный герой: позиция автора и логика жизни» («Литературная газета», 1982, №№ 5—29) тому наглядный пример. С газетных полос, занятых дискуссионными материалами, не раз звучали настойчивые призывы: «Автора! Пусть выйдет к рампе!» И, по впечатлению ряда выступавших, слабей других откликаются на такой клич позавчерашние дебютанты, прозаики одного либо смежных поколений, обозначаемые суммарно и невнятно то по возрастному признаку — «сорокалетние» (вариант — представители «полусреднего поколения»), то по территориальному — «реалисты московской школы». Эти весьма зыбкие аттестации, способные сбить читателя с толку, формируют образ «полусредних», единый и слитный, как на старинных изображениях дружин, где воин с воином словно сращены телами, стройно сдвинуты в своих островерхих шлемах.

А лица писательские? Их выражение? В самом ли деле так трудно различимы? И отчего возникли толки о трудной различимости или авторском «объективизме»?..

Жанр — лаборатория или жанр — ловушка?

Сомкнутого строя «полусредних», однако, нет. Если есть, то рассыпанный, да еще и по формальному признаку неоднородный: то голосом «сорокалетнего» прозаика заговорит кто-то из литературных ветеранов, а то и вовсе новичок. Так что намного вернее, преодолев обаяние метрик и анкет (возраст, место прописки), отказавшись от членения текущей прозы на школки и землячества, вести речь о существе дела — о необычной «скрытности» современного автора, которого мы привыкли наблюдать при ярком свете рампы и без всяких оптических помех.

Исходный тезис Руслана Киреева «возможны варианты» [1], давший толчок газетной полемике, возник перед участниками спора как досадная преграда на ровном месте, которую приходится брать без разбегу: разные попадались препятствия, а такого, кажется, не ждали.

Между тем тезис о желательных и возможных вариантах совсем не случаен и вырастает из художественного опыта, очень слабо освоенного теорией. Почти не замечена, к примеру, тяга прозаиков 70-х—начала 80-х к социальному портретированию, заведомо «объективному» первооткрытию и живописанию т и п о в, при котором авторские пыл и жар как бы не предусмотрены жанровой задачей, а преду-

[1] Напомню, что в статье, открывавшей дискуссию на страницах «Литературной газеты», Р. Киреев обосновывал право романиста решать художественную задачу «вариативно», предлагая читателю вникнуть в соревнование субъективных правд персонажей, притом вникнуть без явных подсказок автора.

СЕРГЕЙ МИХАЛКОВ

★

НОВЫЕ БАСНИ

В нашем доме

Где лопнула труба, где прохудился кран —
Там помощь оказать всегда готов Иван:
Здесь вентиль подтянуть, там заменить прокладку —
Урвать себе трояк, а то и всю десятку...
Дом без сантехника — как человек без рук.
Но тут случилась вдруг
Авария. Как раз под воскресенье!
Не просто где-то течь, а будто в наводненье
Позатопило этажи.
— А ну, теперь, Иван, на деле докажи,
Что слесарь ты высокого разряда! —
Иван сказал: — Раз надо, значит, надо!..
И я не прочь
Вам и на этот раз помочь,
Но лучше б вам пойти всем миром на затраты
И все узлы худые поменять,
Чем так-то тратиться на латки и заплаты!..—
Как тут Ивана не понять?
В иных больших делах, там, где не смотрят вглубь,
Теряют тысячи, чтоб сэкономить рупь!

Мяч и Клюшка

Хоккей с футболом с некоторых пор
Заревновали к публике друг дружку...
Футбольный Мяч увидел как-то Клюшку,
И между ними вышел разговор.
— Смотрю я на тебя — и мне смешно! —
Сказала Клюшка.— В чем твоя забота?
Тебе бы только залететь в ворота —
Кто победит, тебе ведь все равно —
Ты вряд ли сам болеешь за кого-то.
Уж если я служу, к примеру, «Спартаку»,
Я в руки не даюсь другому игроку!..
— Тебя, как и меня, ведет чужая воля,—
Ответил Клюшке Мяч.— Мы оба ни при чем:
Команда, что на льду, что на футбольном поле,
Победу достает где клюшкой, где мячом,
Но нам с тобою знать необходимо,
Что, так же как и я, ты тоже... заменима!

Портрет

Художник, чей талант иссяк давным-давно
(Сыграло в этом роль игристое вино!),
Не соблюдая самодисциплины,
Стал подходить к созданию картины,
На творчество больших не тратя сил:
Сперва на полотно из подмастерьев кто-то,
Используя оригинала фото,
Необходимый контур наносил,
А уж затем, спросонья щуря глазки,
Наш мастер по нему клал самолично краски,
Конечно, метод свой скрывая от огласки,
Поскольку критики, как все, не выносил...
Заказчик в мастерской. Он смотрит на портрет.
Тот глух и нем. В нем искры божьей нет!
Порвалась цепь: разрозненные звенья
Нарушили союз Труда и Вдохновенья!

Тюльпаны

В девятый майский день пришли ребята
К могиле Неизвестного солдата,
Чтоб молча положить тюльпаны на гранит...
Вот тут один Тюльпан другим и говорит:
— Зачем нас только утром дети рвали?
Чтоб мы на солнце к вечеру увяли?..
— Ты не жалей себя,— сказал Тюльпан-собрат,—
Как не жалел себя лежащий здесь солдат!
Твоя судьба в руках тебя растивших,
И если ты уже попал в букет,
Достойней пасть к ногам в боях погибших,
Чем украшать собой сомнительный банкет...

Бессонница

Сон потерял Степан Степаныч —
Не может спать, не в силах глаз сомкнуть.
Что только он не принимает на ночь,
Чтоб до утра хоть как-нибудь соснуть!
В бессоннице он ночи коротает:
То примется ходить, то пробует читать,
С лица осунулся и телом тает, тает...
Но отчего, никак не угадать!
Врачи не знают, в чем и где причина,
Что человек не спит уже какую ночь.
В семье порядок. Два женатых сына.
Не курит и не пьет... Что делать? Как помочь?..
А я диагноз выставлю суровый,
Имея предстоящий суд в виду:
Причина в «камушках», что в банке пол-литровой
Он закопал под яблоней в саду,
И в той, другой, уже побольше банке,
В которой раньше находился клей
И где он прячет золотой чеканки
Две с половиной тысячи рублей.

Не зря в народе говорится:
В ком совесть не чиста, тому некрепко спится!

ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ

★

МОЙ СТИХ

Пою. Но разве я «пою»?
Мой голос огрубел в бою,
И стих мой... блеску нет в его простом наряде.
Не на сверкающей эстраде
Пред «чистой публикой», восторженно-немой,
И не под скрипок стон чарующе-напевный
Я возвышаю голос мой —
Глухой, надтреснутый, насмешливый и гневный.
Наследья тяжкого неся проклятый груз,
Я не служитель муз:
Мой твердый, четкий стих — мой подвиг ежедневный.
Родной народ, страдалец трудовой,
Мне важен суд лишь твой,
Ты мне один судья прямой, нелицемерный,
Ты, чьих надежд и дум я — выразитель верный,
Ты, темных чьих углов я — «пес сторожевой»!

Сентябрь 1917 г.

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

ЮРИЙ ВИГОРЬ

★

У САМОГО БЕЛОГО МОРЯ

Третий день иду я вдоль берега Белого моря тундрой, зыбким кочкарником, чем-то напоминающим холмики густо укрытых травой могил. Шагаю неторопливо, то и дело приходится обходить чаруса-трясины. Словно предупреждая о чем-то, всю дорогу преследует меня унылый стенающий крик золотистых ржанок, которые гнездятся на болотных выплавках, поросших бледно зеленеющим мхом. Ничто здесь не бросается в глаза, все обыденно, бесприютно. Безлесая ширь до самого горизонта, от века не знавшая ни бремени дорог, ни плуга, какая-то первозданная дикость, и кажется, не земля под ногами, а корка земли, плесневелая, рыхлая, в темно-бурых гнилостных пятнах, упругая и податливая под тяжестью шагов.

Если ковырнуть носком ботинка — блестит, проступает снизу черная жижа, точно сукровица из пораненного места. Изредка встретится холмик, выпяченный метра на два над равниной, словно для того, чтобы взойти на него, оглядеться кругом, поразиться бесчисленности мертвых мелких озер в оторочке жирно чернеющего торфяника и, содрогнувшись от однообразно-печальной картины и безлюдья, пасть духом усталому, свернувшему от побережья путнику и, зарекаясь ходить дальше вглубь, поспешить назад к морю.

Низкое, грязно-серых тонов небо затянуто на востоке огромными войлочными облаками, непроницаемыми для солнца, и кажется, что изнемогающий под их тяжестью свод там, вдали, провис и касается кромки земли. Кругом стоит пронзительная, тревожная, оглушающая тишина, и словно слышишь шорох задевающих горизонт облаков.

Путь мой томителен, чувства иступились от однообразия окружающего, сосредоточиться на какой-то мысли невозможно, всю дорогу ищешь глазами перед собой: «Тут надо бы взять левее, вроде земля посуше, потверже. Эту веселенькую нарядно-зеленую полянку лучше обойти, под ней определенно трясина». И, забирая то влево, то вправо, я петляю как заяц, заметывающий следы. Я потерял уже всякую надежду встретить ненцев, решил выйти к морю, дойти до тони и отдохнуть у рыбаков.

У самого побережья тундра кончается обрывистыми изрезанными распадками, исхлестанными шквальными ветрами угорами. Песчаный с частыми валунами берег завален побелевшими от моря, от соленых ветров бревнами, что носило по волнам от самого Архангельска, от устья Двины. И наконец выбросило в прибылую воду, нагромоздило беспорядочно чуть не в человеческий рост. Кладбище строевого леса тянется насколько хватает глаз — огромные ели и сосны, из которых впору поставить здесь не один десяток деревень...

В море на песчаных кошках, где матово поблескивают под скупым солнцем зализанные зыбью валуны, лежат в окаменелой неподвижности морские зайцы, а по обнаженной отливом светлой влажной обóрочке, где медленно высыхают оставленные ушедшей водой водоросли, перебегают, копошатся, что-то хлопотливо ищут в рыхлом песке франтовато-нарядные, в черном оперении и белых манишках кулики-сороки, которых здесь, на побережье, бесчисленное множество.

Давно собирался я отправиться в поездку в Поморье, которую откладывал по не зависящим от меня обстоятельствам из года в год. Минувшей зимой, показавшейся мне в Москве бесконечно долгой и томительной, я не раз утешал себя мыслью: как только настанет лето, обязательно махнуть в эти заповедные края. И тут как нельзя более кстати предложение командировки от одной из газет на север, в Архангельскую область.

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

★

В конце 50-х годов вдова Евгения Багратионовича Вахтангова Надежда Михайловна передала в дар музею нашего театра два стихотворения Марины Цветаевой, посвященных Вахтангову. Стихи набело переписаны рукой М. Цветаевой, и по тщательности отделки можно предположить, что это далеко не первый вариант.

Близость Марины Цветаевой к III студии МХТ очевидна. Имя Вахтангова порою восхищало поэта, а иногда вызывало и чувство неприятия. Такая противоречивость, как мне представляется, есть одна из черт мятежного характера Цветаевой. Смена мнений и пристрастий была свойственна Марине Ивановне, и сегодня мы только поражаемся, с каким рвением и страстностью она всякий раз отстаивает свою точку зрения, внедряя заново рожденную мысль в душу читателя или слушателя! Круг самых близких друзей Марины Цветаевой — это круг лучших учеников Вахтангова. Они же являются главными действующими лицами «Повести о Сонечке». Это Юрий Завадский, Павел Антокольский, Владимир Алексеев и Софья Голлидэй. Можно себе представить, как часто на втором этаже дома № 6 по Борисоглебскому переулку, где в первые годы революции жила Марина Цветаева, произносились имя и отчество Евгений Багратионович! На репетиции к Вахтангову от Цветаевой уходили студийцы, а после репетиций возвращались к ней! М. Цветаева подробно описывает, как читала в III студии свою стихотворную драму «Метель» в присутствии самого Вахтангова — «их всех — бога и отца-командира».

Я могу с полным основанием утверждать, что творчество Вахтангова и Цветаевой формировало вкус и воодушевляло группу молодежи вахтанговского театра, а иногда мне кажется, что Евгений Багратионович и Марина Ивановна даже втайне ревновали друг друга и заочно боролись за первое место и лидерство в группе.

Всю жизнь я прожил в одном доме с Павлом Григорьевичем Антокольским, часто наблюдал, как он в последние годы прогуливался по двору со своим старым другом Юрием Завадским, и невольно думал, не являюсь ли я случайным свидетелем лирического эпилога «Повести о Сонечке». Иногда я набирался смелости и спускался вниз, во двор, и с величайшей осторожностью, чтобы не показаться навязчивым, заводил разговор о Цветаевой и Вахтангове. Ответ был всегда один и тот же — отношения были сложными и не явными. В глубине души беспредельно ценили друг друга и сознавали равенство! Поэтому мне вдвойне обидно, когда некоторые критики, цитируя Цветаеву, приводят строчки, намекающие на некоторую отчужденность, якобы разделявшую поэта и режиссера.

Сейчас, когда мы отмечаем 90-летие Марины Цветаевой и 100-летие Евгения Вахтангова, стихи, бережно хранящиеся в музее нашего театра, красноречиво устанавливают истину и открывают еще одну страницу в одухотворенном творчестве Марины Цветаевой.

Главный режиссер Театра имени Вахтангова,
народный артист СССР
Е. Р. СИМОНОВ.

Евгению Багратионовичу Вахтангову

Серафим — на орла! — Вот бой! —
Примешь вызов? — Летим за тучи!
В год кровавый и громовой —
Смерть от равного — славный случай.

Гнев Господень нас в мир изверг,
Дабы помнили люди — небо.
Мы сойдемся в Страстной Четверг
Над церковкой Бориса — и — Глеба.

Москва, Вербное воскресенье 1918 г.

Марина ЦВЕТАЕВА.

Е. Б. Вахтангову.

Заклинаю тебя от злата,
От полночной вдовы крылатой,
От болотного злого дыма,
От старухи, бредущей мимо.

Змеи под крестом,
Воды под мостом,
Дороги — крестом,
От бабы — постом.

От шали бухарской,
От грамоты царской,
От черного дела,
От лошади белой.

Москва 27 апреля 1918 г.

Марина ЦВЕТАЕВА.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Н. ЭЙДЕЛЬМАН

★

«ПОСЛЕДНИЙ ЛЕТОПИСЕЦ»

Главы из книги

ГЛАВА I. «ПО УШИ ВЛЕЗ В РУССКУЮ ИСТОРИЮ»

Тысяча восемьсот третий год отмечен в русской культуре исключительным событием: Николай Михайлович Карамзин, один из первых литераторов (а по мнению многих — первейший, рядом с Державиным), известный автор «Писем русского путешественника» и еще более известный автор «Бедной Лизы», издатель лучшего в ту пору журнала «Вестник Европы»,— тридцатисемилетний Карамзин решительно оставляет прозу, поэзию, журналистику и записывается в историки.

Бывало, что по своей воле отрекались от престола монархи — принимались сажать капусту, запирались в монастырь. Однако мы не можем припомнить другого примера, чтобы знаменитый художник, на высоте славы, силы и успеха подвергал себя добровольному заточению — пусть даже в храме науки, монастыре истории...

Карамзин меняет, ломает биографию именно в том возрасте, в каком позже погибнет Пушкин.

Мы же сейчас обратимся к его первой жизни лишь для того, чтобы легче понять вторую.

1766—1803

Карамзин точно знал, что родился в Симбирской провинции (будущей губернии), в деревне Карамзинке (Знаменское тож) 1 декабря; но он не знал года рождения: почти всю жизнь был убежден, что — в 1765-м (и поэтому восклицал в 1790-м — «мне скоро минет двадцать пять», а в 1800-м — «мне уже 35»). Лишь к старости историк государства Российского уточнит и собственную историю: надежные документы заставили помолодеть на год и отныне начинать биографию с 1 декабря 1766 года.

Подробность знаменательная! При записи в службу дворянским детям постоянно прибавляли или убавляли возраст, да и вообще куда меньше, чем в XIX и XX столетиях, интересовались точным счетом времени.

Какая разница, в конце концов, 1765-й или 1766-й?

Каракозовы, Карамзины (может, и Карамазовы) — характерные симбирские, волжские фамилии с плохо спрятанной восточной «чернотою» (Кара...).

Некий Семен Карамзин числился в дворянах при Иване Грозном (может быть за опричные заслуги), три его сына, Дмитрий, Томило и Курдюк, уже владеют землями на Волге; один из праправнуков — отставной капитан Михаил Егорович Карамзин.

Мать рано умерла, отставной капитан женился во второй раз на тетке Ивана Ивановича Дмитриева — и две будущие знаменитости породнились, да еще и подружились. У отца — от двух браков — шестеро детей; Николая сначала учат дома, затем — Московский пансион; с пятнадцати лет в Петербурге — в Преображенском полку, откуда выходит в отставку поручиком, имея от роду семнадцать лет.

Семнадцатилетний отставной поручик живет все больше в Москве — жизнью, по

существу, «разночинской», трудовой: зарабатывает переводами, встречается с хорошими людьми; двадцатитрехлетним отправляется в заграничное странствие — возвращается с «Письмами русского путешественника», затем сентиментальные повести, поэтические сборники: слава...

«Акселерация», о которой столько писано в наши дни: но кто же тогда семнадцати-двадцатилетние офицеры, литераторы, двадцатипятилетние генералы? Или (на другом общественном полюсе) — шестнадцати-восемнадцатилетние крестьянские отцы и матери семейств?.. Пик способностей, который, как выяснила современная наука, относится к двенадцати—четырнадцати годам, был, выходит, максимально близок к пику социальному, что имело последствия разнообразные, но преимущественно благие...

Впрочем, без матери, без отца, занятого большой семьей, без особых средств к существованию легко было, кажется, загулять или духом пасть, сбиться с пути... Соблазны! А симбирский мальчик не ангел: «...литература наша не была выгодным промыслом... В молодости, в течение двух-трех лет прибегал он, как к пособию, к карточной коммерческой игре» [1].

К друзьям доходили слухи, будто молодой Карамзин «прыгает серною с кирасирскими офицерами» (позже будет в числе «старшин» московского танцкласса). Одно из писем Дмитриеву обрывается на словах «бьет 11 часов, пора ехать ужинать»[2]; Николай Михайлович хочет обменяться с братом Василием дворовыми, ибо «купить хорошего повара никак нельзя; продают одних несносных пьяниц и воров»[3], и хотя в другой раз писатель посылает отпускную дворовому человеку Александру (прежде предполагалось это сделать после смерти владельца, но — «я не хочу, чтобы он ждал конца моей жизни»), при всем при том грозит и манит жребий светского человека, игрока...

Не сбылось.

Случайность... Однако восточная мудрость гласит, что каждый человек встречает на свете тех, которых должен был встретить: разнообразие характеров и типов в мире столь велико, что есть возможность встретить любого, но уже выбрать по себе: вору — вора, труженику — труженика...

Карамзин встретил, выбрал Дмитриева, Петрова, Новикова, Тургеневых, и они, конечно, его выбрали. Видно, сработал добрый заряд: домашний, полковой, товарищеский...

Те качества, которые у Пушкина так ясно (или, по крайней мере, нам кажется, что ясно) выявлялись в Лицее, для Карамзина, наоборот, приходится угадывать через результат, обратным движением от его поздних известных лет к ранним, едва различимым.

Хорошо бы написать историю дружбы в России. То была бы, разумеется, книга с примерами из двенадцати столетий: дружба военная, общинная, монастырская, дружба в беде, счастии, странствиях, мечтаниях, дружба в труде, в семье... До XIX века, правда, совсем почти не нашлось бы места для столь привычной нам дружбы школьной по той причине, что большинство вообще не училось, дворян чаще обучали дома. У Карамзина были прекрасные друзья, но, кроме неизменного Дмитриева, мы почти их не видим до его перехода из Преображенского полка в русскую литературу. Зато с 1784-го они при нем, он при них.

В Москве «работа, ученье, плоды праздных и веселых часов какого-нибудь немца, собственная фантазия, добрый приятель... и все эти противоскучия можно найти, не выходя за ворота». Так пишет восемнадцатилетнему Карамзину Александр Петров, один из важнейших в карамзинской жизни встречных — тот, с кем начинал писать, с кем мечтал о новом, свободном русском литературном языке, но кого вскоре оплакал и всю жизнь считал себя в долгу «пред своим Агатоном, которого душа была бы украшением самой Греции, отечества Сократов и Платонов».

Иван Петрович Тургенев, директор Московского университета, заметил молодого Карамзина по «масонским отношениям» и «отговорил от рассеянной светской жизни и карт».

---

[1] П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений в XII томах. СПб. 1878—1896, т. VIII, стр. 113.

[2] Здесь и далее постоянно цитируется издание «Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву». СПб. 1866.

[3] Письма Н. М. Карамзина брату Василию Михайловичу цитируются по журналу «Атеней», 1858, №№ 19—26.

Сколь же много скрыто за этой фразой (из записок Дмитриева): отговорил — то есть переменил направление жизни. Но можно ли переубедить молодца, если тот сам себя прежде не оспаривал? Главное событие, может быть определившее все дальнейшее, выходит, почти не отразилось в письмах, документах: памятью о нем осталась дружба, любовь к Карамзину четырех сыновей Ивана Петровича — братьев Тургеневых, столь заметных в пушкинскую, декабристскую эпоху.

Старший, годами воспитывавшийся на карамзинском «Детском чтении», Андрей Тургенев,— одна из замечательных личностей конца столетия: если б не смерть на двадцать втором году жизни, наверное, вышел бы в первые российские имена; второй брат, Александр Тургенев,— тот, кто позже отправит Пушкина в Лицей и проводит в последний путь к Святым горам: его имя часто будет являться на страницах нашего рассказа, так же как имена двух младших — Сергея и особенно Николая, «хромого Тургенева», будущего известного декабриста и одного из тех, кто столь же много спорил с Карамзиным, сколь уважал его...

Наконец, литературно-философское Дружеское общество (название говорит само за себя: наука и словесность неотделимы от дружества, нравственности, «внутреннего просвещения»). Здесь признанным лидером был славный Николай Иванович Новиков, зажигавший «молодых любословов» огнем просветительства и духовного обновления, «мистической мудрости». Племянник И. И. Дмитриева, очевидно со слов дяди, запишет, что в конце концов «Карамзин оставил [общество Новикова], не найдя той цели, которой ожидал».

И снова — одна строка вместо целой важной биографической главы. Да, Карамзин приходил в дом Новикова, что на углу Лубянки и Мясницкой; приходил за целью, то есть сам искал ее. И не согласился с их целью — но укрепился в уверенности, что цель должна быть. Он своим путем пошел — и они огорчатся, конечно, а следовало бы им радоваться: молодой литератор испытал, укрепил себя и благодаря тому, что к ним зашел, и оттого, что — вышел. Он всегда будет ценить возвышенное, духовное просвещение, но избежит масонско-мистического тумана и сохранит свой ясный, здоровый, чуть иронический взгляд для лучших дел жизни.

«Отъезжает за границу поручик Николай Карамзин» («Московские ведомости», 25 апреля 1789 года).

«Простите! Будьте здоровы, спокойны и воображайте себе странствующего друга вашего рыцарем веселого образа!»

Рига—Кенигсберг—Берлин—Дрезден—Веймар—Швейцария — Париж — Лондон — Петербург.

Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые!..

Карамзин блажен: Европа 1789—1790-го — жерло великого вулкана, пламени которого станет на все XIX столетие. Год как взята Бастилия, и еще осталось два года Людовику XVI.

И пламенный трибун предрек, восторга полный,
Перерождение земли...

Но Максимилиан Робеспьер — пока еще сравнительно незаметный депутат Национального собрания от города Арраса, а Наполеон Бонапарт — всего лишь артиллерийский лейтенант...

Нет! Нам сегодня, привыкшим к революционному гулу во всем мире, все же нелегко понять, что 1789—1793 годы были первым вселенским переворотом после более чем тысячелетней феодальной тишины (нидерландская, английская революции были замечены в десятки раз меньше: мир в XVI—XVII веках был куда более разъединенным, да и не дозрел еще, чтоб заметить...).

Кажется, наступает конец «главнейшим бедствиям человечества»: Карамзин ждет, что люди вот-вот «уверятся в изящности законов чистого разума».

Минуты роковые...

Возвращение на корабле из Лондона в Петербург в июле 1790 года.

В столице доброе знакомство с Державиным, который обещает литературную поддержку. А затем — карамзинское путешествие из первой столицы во вторую, о котором не стоило бы и вспоминать (кто не приезжал из Петербурга в Москву и обратно), если б не два обстоятельства.

Этим летом, 30 июля, за свое «Путешествие...» арестован Радищев Второе

же обстоятельство частное: в следующий раз Карамзин окажется на Неве «жизнь спустя», через двадцать шесть лет.

Вот как ездили и расставались в ту пору.

Карамзин торопится в Москву, любезную Москву!

Слава

1791 и 1792: два года Карамзин издает «Московский журнал», где публикуются лучшие авторы — Державин, Дмитриев, Херасков, более же всего сам издатель. Главный, самый сенсационный материал, из номера в номер,— «Письма русского путешественника»: Карамзин доволен и числом подписчиков (пренумерантов), очевидно достаточным, чтобы свести концы с концами,— 210 человек!

1792-й — «Бедная Лиза».

1794-й — повесть «Остров Борнгольм».

В следующие годы — несколько очень популярных (нарасхват, как тогда говорили) поэтических альманахов: «Аониды», «Аглая» (где опять же сам Карамзин, Державин, Дмитриев, другие...).

Федор Глинка: «Из 1200 кадет редкий не повторял наизусть какую-нибудь страницу из „Острова Борнгольма"».

В дворянских списках разом появляется множество Эрастов — имя прежде не частое.

Ходят слухи об удачных и неудачных самоубийствах в духе «Бедной Лизы».

«Ни одна живая Муза,—признается один из современников,—не стоила мне в жизни столько слез, сколько я пролил по Бедной Лизе Карамзина».

Ядовитый мемуарист Вигель припоминает, что важные московские вельможи уж начали обходиться «почти как с равным... с тридцатилетним отставным поручиком».

Цена слова

От успехов дохода почти не было — переиздания дополнительно не оплачивались, приходилось постоянно подрабатывать переводами. Слава худо превращалась в злато, но — платить за славу пришлось сразу же: «Боги ничего не дают даром». Когда друг Дмитриев, петербургский офицер, пишет о желании выйти в отставку и заняться словесностью, Карамзин ему объясняет: «Русская литература ходит по миру, с сумою и клюкою; худая нажива с нею».

К тому же поругивают старики, привыкшие к более сдержанному, классическому писательству, нежели у раскованного, сентиментального, «разговорного» Карамзина.

Обиделись и некоторые друзья, особенно из круга Новикова (А. М. Кутузов, И. В. Лопухин, Н. Н. Трубецкой). Люди примечательные и во многих отношениях почтенные, вот что они говорили и писали:

«...молодой человек, сняв узду, намерен рыскать на поле пустыя славы? Сие больно мне»;

«Не в состоянии был дочитать... дерзновенный дурак... Одержим горячкою... Быв еще почти ребенком, он дерзнул... предложить свои сочинения публике»;

«Он называет себя первым русским писателем, он хочет научить нас нашему родному языку, которого мы не слышали...»;

А. М. Кутузов удивляется: «Может, и в нем произошла французская революция»[4].

Сравнение мы запомним, пока же только заметим, что буквально в те дни, когда Карамзин подплывал к Кронштадту, почт-директор Иван Борисович Пестель вскрывает и читает письма Плещеевых А. М. Кутузову и Карамзину [5].

Почт-директор три года спустя родит сына — знаменитого декабриста, а еще через двадцать семь лет будет с Карамзиным обедать, однако это другие времена, другие песни. Пока же за старую дружбу с вольнодумцами Карамзин «попадает под колпак»: многого не зная, о многом догадывается (и не оттого ли вовсе не стремится сохранить свой архив для потомков?).

[4] Я. Л. Барсков. Переписка московских масонов XVIII века. Пгр. 1915, стр. 99.
[5] Там же, стр. 286.

Весной 1792-го Новикова и нескольких друзей арестовывают, других (в том числе Ивана Петровича Тургенева) высылают. «Состояние друзей моих очень горестно»,— сообщается Дмитриеву. В Петербурге распространяются слухи, будто и Карамзин из Москвы удален, на допросах же в Тайной экспедиции об издателе «Московского журнала» крепко спрашивают тех самых друзей-критиков, которые недавно сердились на «молодого человека, снявшего узду»; спрашивают, между прочим, о том, не Новиков ли с «особенным заданием» посылал «русского путешественника» за границу. Новиковцы были людьми высокой порядочности и, разумеется, Карамзина выгородили: нет, он пустился в вояж даже вопреки советам Новикова.

Гроза отступила — подозрения остались. Возможно, из-за этого «Московский журнал» не был продолжен в 1793-м.

Под черными облаками

Парижане торжественно сжигают «дерево феодализма».

Королевский дворец взят штурмом; 22 сентября 1792 года объявлено первым днем первого года новой эры.

Большинством в один голос конвент приговаривает Людовика XVI к смерти.

Почти все страны Европы объявляют Франции войну, но четырнадцать санкюлотских армий побеждают повсюду и занимают одну страну за другой.

Гильотина («национальная бритва») работает не переставая.

Под конец террор поглощает и тех, кто его провозгласил,— последние слова Робеспьера в конвенте: «Республика погибла, разбойники победили».

17 августа 1793 года. Карамзин — Дмитриеву (из Орловской губернии, где время проходит «с людьми милыми, с книгами и с природою»): «Поверишь ли, что ужасные происшествия Европы волнуют всю душу мою? Бегу в густую мрачность лесов — но мысль о разрушаемых городах и погибели людей везде теснит мое сердце. Назови меня Дон-Кишотом; но сей славный рыцарь не мог любить Дульцинею свою так страстно, как я люблю — человечество».

Позже П. Хераскову: «Политический горизонт все еще мрачен. Долго нам ждать того, чтобы люди перестали злодействовать и чтобы дурачество вышло из моды на земном шаре» [6].

Франция, Франция — «дурачество на земном шаре»; двадцатисемилетний писатель теряет охоту жить в свете и ходить «под черными облаками».

Через полгода после того как эти слова появились в одном из писем Дмитриеву, новой бурею принесены новые облака — Екатерина II умирает, на престоле Павел: из тюрьмы и ссылки возвращены Радищев, Новиков, друзья... Но не успели обрадоваться, как — новые жесточайшие гонения на литературу и литераторов; пугающие французские армии меж тем занимают Голландию, Италию, Египет — а новый царь получает донос о «вредности для правительства безбожника Карамзина». Расправа на этот раз могла быть скорой — позже Карамзин скажет, что Павел лишил «награду прелести, а наказание — стыда»...

Черные облака все же пронеслись и на этот раз: граф Ростопчин, один из главных павловских фаворитов, к писателю благоволит. Тем не менее о новом журнале и думать нечего. Остаются переводы, стихи — и то с опаскою, что, впрочем, не помешало Карамзину напечатать в сборнике «Аониды» (за 1798—1799 годы) стихи о древнем Риме, но, понятно, не только и не столько о Риме. Жестокие, горькие стихи:

> Тацит велик; но Рим, описанный Тацитом,
>   Достоин ли пера его?
> В сем Риме, некогда геройством знаменитом,
> Кроме убийц и жертв не вижу ничего.
>   Жалеть об нем не должно:
> Он стоил лютых бед, несчастья своего,
> Терпя, чего терпеть без подлости не можно!

Эти строки вполне можно было понять и как программу бунтовщиков...

Будущий историк, видимо, считает, что о тех, кто все «с подлостию» терпит, вряд ли стоит писать...

И если так — может быть, истина у французов, не стерпевших в 1789-м и после?

[6] «Библиографические записки», 1858, № 19, стлб. 588.

Как известно, царица Екатерина, узнав о казни Людовика XVI, слегла. Худо ей было, страшно.

Карамзину же — много хуже.

Тем, кто с самого начала боялся разрушенной Бастилии, ненавидел парижскую вольницу, тем жить теперь нелегко, но — просто: им ясно, кого любить, понятно, что ненавидеть.

Но как быть тем, кто надеялся, уповая на Париж первых трех лет революции,— и ужаснулся от следующих двух?

Оковы падали. Закон,
На вольность опершись, провозгласил равенство,
И мы воскликнули: Блаженство!
О горе! о безумный сон!
Где вольность и закон? Над нами
Единый властвует топор.
Мы свергнули царей. Убийцу с палачами
Избрали мы в цари. О ужас! о позор!

Пушкин, вечный Пушкин (который в эти дни еще не появился на свет), он заставит своего Андрея Шенье в 1825 году произнести слова, объясняющие и карамзинское: «Все худо! Видно нам не бывать счастливыми».

Декабрист Николай Тургенев позже вспомнит, будто Карамзин был одно время на стороне санкюлотов и даже пролил слезы, узнав о смерти Робеспьера. Сказано сильно, краски сгущены — нет, Николай Михайлович не был революционером, но надеялся. Надеялся на новую историческую весну, на быстрое, светлое торжество разума, просвещения... Надеялся в хорошей компании — с Шиллером, Гёте, Радищевым, множеством лучших умов Европы.

Но грохочут исторические громы; разлетаются по Европе грозные парижские формулы: «Свобода должна победить какой угодно ценой. Вы должны карать не только предателей, но и равнодушных» (Сен-Жюст).

«Гражданин, что сделал ты для того, чтобы быть расстрелянным в случае прихода неприятеля?» (из надписей на якобинском клубе).

Карамзин... «Может быть, и в нем произошла французская революция».

Он жил в сем мире для того,
Чтоб жить — не зная для чего...

Оказалось, что история не ходит путями сентиментального просвещения. Оказалось, что рай наступит не завтра, даже не послезавтра. Оказалось, что надо многое пересмотреть, а человеку сложившемуся, убежденному это необыкновенно трудно. И пока старые идеи утрачены, а новые не обретены — до тех пор неясно, как и зачем жить. Честный мыслитель в эти переходные месяцы и годы максимально открыт, беззащитен. Личные неприятности, которых прежде не заметил бы или мужественно пережил, теперь, в период «потери смысла» (выражение Тынянова), бьют наотмашь, насквозь, случается — наповал. Именно так полвека спустя другой русский писатель, разочарованный и потрясенный печальным, кровавым исходом другой французской революции, окажется на краю пропасти, куда его притом сталкивают запрет вернуться на родину, гибель сына, матери, жены, разбилась первая жизнь Герцена, но выжил, устоял, сумел начать вторую, а с нею — два главных дела: «Былое и думы», Вольную типографию.

Непохожесть Карамзина и Герцена тем более оттеняет сходство, подобие обстоятельств. Кризис, духовная драма, настигает обоих близ сорокалетнего рубежа; драма личная — не замедлит.

1793-й. Смерть любимого друга-единомышленника Петрова.

В деревенской глуши на Карамзина нападают разбойники — он чудом спасся (две легкие раны): не окажись вблизи нескольких мужиков, кинувшихся на подмогу, кончилась бы жизнь в июле 1794 года.

Любовь сначала счастливая — потом несчастная: не знаем даже ее имени. Только в письме И. И. Дмитриеву: «Теперь главное мое желание состоит в том, чтобы не желать ничего, ничего: ни самой любви, ни самой дружбы. Да, я люблю, если ты знать хочешь; очень любил, и меня уверяли в любви. Все это прошло; оставим Никого не виню».

Слабеет зрение писателя, опасность слепоты.

Тяжелейший упадок духа.

Приближается возраст гибели Пушкина. Как спастись? Кто спасет? Друзья зовут в Петербург — но опасно: «близ царя, близ смерти».

Карамзин серьезно задумывается, не пуститься ли в новое путешествие, по сравнению с которым европейский вояж 1789—1790 годов пустяк,— в Хили (то есть Чили), в Перу, на остров Бурбон (нынешний Реюньон в Индийском океане), на Филиппины, на остров Святой Елены (о котором до ссылки Наполеона почти никто и не знал): «Там согласился бы я дожить до глубокой старости, разогревая холодную кровь свою теплотою лучей солнечных; а здесь боюсь и подумать о сединах шестидесятилетия».

Это строки из письма Дмитреву от 30 декабря 1798 года. Угадываем тоску, которая гонит в теплые края из «павловских заморозков». С трудом можем сегодня вообразить, что значило в ту пору отправиться на Филиппины или в Хили: год на дорогу, десятилетия на разлуку.

Наконец, печалимся даже от случайного пророчества: седины шестидесятилетия, будто Николай Михайлович точно знает, что проживет не пятьдесят пять, не шестьдесят пять, но именно шестьдесят лет (без нескольких месяцев). Многие, видевшие его в конце жизни, запомнят «благородную седину».

Историком еще не стал, а уж сделался провидцем. И предстоящие странствия точно определил. Только не в пространстве — во времени!

Неужели Рюрик, Иван Калита ближе, чем Перу или остров Бурбон?

Но чтобы пуститься в путешествие до конца жизни, до седин шестидесятилетия, требовалось как можно быстрее одолеть самого себя, Николая Карамзина. Отправить хандру прочь с уходящим XVIII столетием.

У 1800-го

«Поэт имеет две жизни, два мира; если ему скучно и неприятно в существенном, он уходит в страну воображения и живет там по своему вкусу и сердцу, как благочестивый магометанин в раю со своими семью гуриями» (Карамзин — Дмитриеву).

В карамзинской «стране воображения» — огромные события, его «французская революция», которой мы снова почти не видим, не слышим, только удивляемся результату, тому, что выходит наружу, закрепляется печатным и письменным словом. Делается вывод, что время все-таки движется не вспять и нужно лишь разгадать законы движения.

Французская революция страшна, но не поглотила цивилизацию, как некоторые полагают, а принесла пользу — хотя бы потому, что «государи вместо того, чтобы осуждать рассудок на безмолвие, склоняют его на свою сторону».

Фраза, появившаяся в карамзинском журнале, не столько верноподданная, сколько автобиографическая: низкий поклон парижской буре за то, что о многом важнейшем думать заставила всю Европу вообще, Николая Карамзина в частности. История, казавшаяся до 1789-го довольно однообразной, вдруг преломилась; и сразу стали много интереснее и прежние, даже тусклые с виду исторические главы: все связано, сцеплено. Сегодня начиналось всегда — и нет более интересного дела, чем размышлять об этом.

Размышлять — не печатать... Однако и тут обстоятельства вдруг улучшаются.

Павел гибнет, на престоле Александр I, режим смягчен, просвещение амнистировано, Карамзин пишет «Оду на восшествие...»:

Весна у нас, с тобою мы...

Как и десять лет назад, он начинает журнал, очень скоро «Вестник Европы» становится самым интересным, самым читаемым: редакция выписывает двенадцать лучших иностранных журналов, обсуждаются главные, самые интересные вопросы европейской, российской умственной жизни и истории.

Снова почва под ногами: возвращение в литературу, журналистику... Все эти хорошие обстоятельства, разумеется, притягивают и домашнее счастье — подобно тому как прежние «черные облака» губили друзей и любовь.

Каждый день с покинувшим столицу Дмитриевым, постоянно — с Тургеневыми, Андреем Вяземским, Херасковым, Василием и Сергеем Пушкиными (Сергей Львович много лет спустя будет настаивать, что маленький Александр Сергеевич при появлении Карамзина оставлял игрушки и не спускал с гостя глаз). Однажды появляется восемнадцатилетний Жуковский...

24 апреля 1801 года Карамзин извещает брата о женитьбе на Елизавете Протасовой, «которую 14 лет люблю и знаю».

Итак, кажется, опять счастливая полоса в литературе, в личной жизни, удовлетворение общественное: среди послереволюционных бурь и первых наполеоновских походов — в России «дней Александровых прекрасное начало».

«Главное то, что можем жить спокойно... желательно, чтобы бог не отнял у меня того, что имею» (Карамзин — брату).

Мгновение, прекрасно ты...

Но близок пушкинский, тридцатисемилетний рубеж.

1802—1803

«Я лишился милого ангела, который составлял все счастие моей жизни. Судите, каково мне, любезнейший брат. Вы не знали ее; не могли знать и моей чрезмерной любви к ней; не могли видеть последних минут ее бесценной жизни, в которые она, забывая свои мучения, думала только о несчастном своем муже... Все для меня исчезло, любезный брат, и в предмете остается одна могила. Стану заниматься трудами, сколько могу: Лизанька того хотела. Простите, милый брат, я уверен в вашем сожалении».

Несчастья еще не кончились. Новая жизнь, однако, начиналась.

31 октября 1803 года — указ Александра I о назначении Карамзина историографом с жалованьем в год по две тысячи рублей ассигнациями.

Отказ от дальних странствий, от предлагаемой в Дерпте профессуры. Отказ от прозы, поэзии, журналистики.

До конца дней — в истории.

Это было похоже на прыжок в пропасть — будто в ответ на некий ему одному слышный зов.

Тридцать семь лет по-тогдашнему много больше, чем теперь: это уже поздняя зрелость; еще немного — и старость. Пушкин позже оценит подвиг Карамзина, начатый «уже в тех летах, когда для обыкновенных людей круг образования и познаний давно окончен и хлопоты по службе заменяют усилия к просвещению».

Решиться на такую перемену всего — цели, занятий, быта, так решиться!

Разумеется, у поступка имелся свой пролог (о котором уже кое-что говорилось).

Карамзин-историк начинался в Париже 1790 года, в минуты роковые, и в «Письмах русского путешественника», когда об этих минутах пришлось писать.

Еще не предвидя свой удел, он поместил в «Письмах...» важнейшее пророчество, обращенное как бы к другим:

«Больно, но должно по справедливости сказать, что у нас до сего времени нет хорошей Российской истории, то есть писанной с философским умом, с критикою, с благородным красноречием. Тацит, Юм, Робертсон, Гиббон — вот образцы! Говорят, что наша История сама по себе менее других занимательна: не думаю; нужен только ум, вкус, талант... У нас был свой Карл Великий: Владимир — свой Лудовик XI: царь Иоанн — свой Кромвель: Годунов — и еще такой государь, которому нигде не было подобных: Петр Великий. Время их правления составляет важнейшие эпохи в нашей истории и даже в Истории человечества».

Карамзин-историк образуется и в те мгновения, когда «парижские ужасы» были поняты как яркая вспышка тысячелетней истории, когда он «шутил» в одном из писем о необходимости ухода в кабинет «для философских мечтаний и умствований», о предпочтительности Юма, Гельвеция, Мабли «томным элегиям»: «...таким образом скоро бедная Муза моя или пойдет совсем в отставку, или... будет перекладывать в стихи Кантову Метафизику с Платоновою Республикою»[7].

[7] «Русский архив», 1872, №№ 7—8, стлб. 1325.

«Я,— признался он Дмитриеву еще 2 мая 1800 года,— по уши влез в русскую историю; сплю и вижу Никона с Нестором».

Все как бы устроилось само собою.

Карамзин постоянно делится с Иваном Ивановичем Дмитриевым своим желанием бросить все и заняться историей.

«Так приступай к делу, медлить нечего»,— сказал Дмитриев. «Я человек частный,— отвечал Карамзин,— без содействия правительства не достигну желанной цели; притом лишусь главных доходов моих: шести тысяч рублей, которые приносит мне Вестник Европы». «Ты ничего не потеряешь, трудясь для славы отечества,— отвечал Дмитриев,— пиши только в С. Петербург: я уверен в успехе». «Тебе все представляется в розовом виде»,— произнес Карамзин. Долго спорили они, наконец последний должен был уступить убедительному красноречию друга своего и сказал: «Пожалуй, я напишу, но берегись, если откажут». Письмо было отправлено товарищу министра народного просвещения М. Н. Муравьеву, воспитателю императора Александра, знаменитому покровителю просвещения. Результат письма известен: 31 октября состоялся высочайший указ...

Эпизод этот достоверен — позднейший биограф Карамзина М. П. Погодин пользовался надежными сведениями, в том числе рассказами Дмитриева и самого Карамзина.

Чего же не хватает в погодинской истории?

Во-первых, личной трагедии 1802 года, завещания умирающей первой жены Карамзина («Лизанька того хотела»); резкого, при тех обстоятельствах очень понятного желания переменить жизнь.

Но как ни важен этот эпизод, необходимо и второе, самое важное дополнение к рассказу Погодина. Почему Карамзин заводил такие разговоры с Дмитриевым? Чем плоха была ему литература, журналистика, где он занимал первые места и имел в достатке славу и читателей? Что за таинственный зов увлек так сильно — его, давно уж не мальчика, человека сдержанного, чуждого экзальтации? Ведь десятки замечательных современников с огромным интересом наблюдали за историческими вихрями конца XVIII века; не только наблюдали — постоянно думали о них, писали; но ни Гёте, ни Кант, ни Шиллер, ни Державин не пойдут в своем интересе к истории так далеко, чтобы бросить поэзию, философию, чтобы из девяти муз столь же решительно выбрать Клио. Тут были какие-то глубоко скрытые, особенные, коренные причины. Иначе не совершил бы Николай Карамзин в себе самом тайной «французской революции»...

Однако, прежде чем определять причину причин, заметим, что через два месяца после царского «посвящения в историки» состоялась вторая его женитьба: при замеченной уже нами в Карамзине закономерной связи общего и личного это кажется совершенно естественным. «Император пожаловал мне как историографу пенсию в 2000 рублей. Я отказался от своего журнала, чтобы заниматься лишь нашими анналами. После этой новости — вот другая, более важная для моего счастья. Погруженный 18 месяцев в глубочайшую печаль, я снова нашел в себе способность к тому, чтобы любить и быть любимым. Я смею еще надеяться на счастье; провидение сделает остальное... Моя первая жена меня обожала; вторая же выказывает мне более дружбы. Для меня этого достаточно...»[8]. Екатерина Андреевна Карамзина — наверное, лучшая из жен русских писателей.

«Будущего зов»

Прежде чем углубиться во вторую, «историческую» жизнь Карамзина, попытаемся все-таки понять...

Карамзин шел русскую историю открывать. Много лет спустя Пушкин запишет: «Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка — Коломбом».

Карамзин — Колумб, то есть первый... Между тем и сам Карамзин, и Пушкин, и еще немалое число образованных людей хорошо помнили, что в XVIII столетии древнюю Россию искали и находили Ломоносов, Татищев, Щербатов, Болтин и не только они. Пять томов русской истории составил и француз Левек...

Из этого ряда двое должны быть выделены особо.

Василий Никитич Татищев (1686—1750): после его смерти вышла

[8] Письмо В. Вольцогену 17 декабря 1803 года на французском языке («Отчет Императорской публичной библиотеки», 1894, стр. 168).

«История российская с самых древнейших времен», где рассказ о событиях останавливался на XVI веке.

Михаил Михайлович Щербатов (1733—1790), выпустивший 15 частей «Истории российской от древнейших времен», которые оканчивались на 1610 годе.

Карамзин будет часто на них ссылаться: много раз обратится к тем летописям, хронографам, духовным сочинениям, которые были обнаружены и впервые введены в оборот предшественниками.

Позже научный авторитет Татищева и Щербатова, в общем, возрастал. В середине XIX столетия крупный историк-юрист С. Ешевский станет сожалеть, что российская публика забыла «почтенный труд князя Щербатова», великий историк Соловьев тоже скажет немало добрых слов в адрес ученых XVIII столетия; в наши дни труды Татищева переизданы, подтвердились многие его сведения, к которым прежде относились скептически. Открыв любой современный курс историографии, мы найдем, что Татищев, Щербатов уважены там примерно так же, как Карамзин...

Но Карамзин — Колумб, а его предшественники, выходит, вроде тех доколумбовых путешественников, которые тоже достигли Америки, но мир об этом не скоро узнал, не оценил?

Дело в том, что Татищева, Щербатова не читали (за исключением узкого круга знатоков). Для большинства читающей публики, для круга Пушкина, декабристов — Карамзин станет действительно первым.

Восклицание известного Федора Толстого (после прочтения Карамзина): «Оказывается, у меня есть Отечество!» — выражает ощущение сотен, даже тысяч образованных людей...

Карамзин в нашем повествовании только еще приступает к работе, а мы, опережая события, толкуем о плодах... Но все же повторим (это нужно для объяснения карамзинского феномена): «История Государства Российского» имела больший общественный успех, чем любой другой исторический труд до и после Карамзина.

Могут возразить — а разве Соловьев (1820—1879), Ключевский (1841—1911) не издавались при жизни куда большими тиражами, чем Карамзин, разве не имели они настоящего признания? Да, все так. Но ведь тираж в три, шесть тысяч экземпляров в начале XIX века мог означать больший успех, нежели 10, 20, 50 тысяч сто лет спустя: он охватывал практически всю читающую публику.

Другие исторические труды имели не меньшее, иногда и большее научное значение; но о ком же еще как не о Карамзине могло быть записано: «Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества... Несколько времени ни о чем ином не говорили» (Пушкин).

Пред нами культурное событие, сопоставимое скорее не с другими трудами по истории, а с выдающимися общественно-литературными явлениями, такими, скажем, как грибоедовское «Горе от ума»...

Ни один последующий исторический труд, пусть много более совершенный, не мог иметь подобного значения, не мог быть первооткрытием, как не может быть «колумбовым плаванием» великолепный короткий бросок через океан суперсовременного лайнера.

Но отчего же Татищев, Щербатов, писавшие за несколько десятилетий до Карамзина,— отчего же не они? Ответ поверхностный таков: не было у них карамзинского таланта, скучно было разбирать их труды, «почтенные, но тяжелые по изложению» (Ешевский). Карамзин переводил «тяжеловесный, неудобочитаемый слог кн. Щербатова в изящные, литературно-отточенные, плавно-текущие периоды» [9].

Сказано хорошо, красиво — но мало. Не удовлетворяет нас это объяснение. Возможно, и не было у первых историков карамзинского пера, но писать умели, недурно высказывались на языке своего времени.

Итак, дело не в недостатке дарований. Дело прежде всего в языке. «Карамзин освободил язык от чуждого ига и возвратил ему свободу, обратив его к живым источникам народного слова» (Пушкин). Свидетельство, согласитесь, достаточно авторитетное.

Мы не беремся даже вкратце представить здесь борьбу за новый язык; пока же вот что повторим: без обновленного литературного языка невозможно было начать ту русскую историю, о которой мечтал Карамзин.

Меж тем как часто в современных книгах и статьях о нем его языковое и ис-

[9] «Русский исторический журнал», 1917, № 1-2, стр. 16—17.

торическое дело рассматриваются порознь: первое — по ведомству филологов, второе — историков. Мы же не устанем соединять: новый литературный язык — новая историография; живой язык письма — существенная причина того, что Карамзин был «обречен на успех».

Очень важная причина. Но — не самая главная!

На вопрос: «Что нужно автору?» — Карамзин однажды ответил, что «таланты и знание, острый, проницательный ум, живое воображение все еще недостаточны». Надо еще, «чтобы душа могла возвыситься до страсти к добру, могла питать в себе святое, никакими сферами не ограниченое желание всеобщего блага»[10]. Мы же за него «языком XX века» скажем несколько иначе:

Привлечь к себе любовь пространства,
Услышать будущего зов...

Карамзин услышал. Дело в том, что российским читающим людям 1800-х годов нужна именно такая история, которую он принялся писать. Очень нужна и с каждым годом нужнее.

После Татищева, Щербатова прошло немного времени — зато годы какие!

Чему, чему свидетели мы были...

Французская революция, дворянский энтузиазм против Павла, похороны Суворова, где резко выразились национальные, оппозиционные чувства; приближающаяся к русским границам волна наполеоновских войн; 1812-й, который еще впереди, но который словно предчувствуется лучшими умами — Карамзиным более всего.

Итак, в 1800-х годах ощутима та общественная, национальная потребность, которая, конечно, не в один день развилась: потребность исторического осмысления самих себя, своего места в родной и мировой истории, своего будущего, которое существует уже сегодня, взывая, чтобы его разглядели. Скажем и по-другому (вслед за Ю. М. Лотманом): лучшим результатом, итогом столетнего развития после Петра были люди, определенный, численно небольшой, а по значению огромный слой русских людей: мыслящее меньшинство, великий русский читатель! Карамзин — один из них; его друзья — среди них; будущие читатели его «Истории...» — тысячи людей, которых он не знает лично, но ощущает, угадывает, слышит «будущего зов».

Мы попытались ответить, определить причины карамзинского обращения в историки. Угадана общественная потребность: новый язык... А затем исторический труд Карамзина будет уж сам по себе образовывать новый язык, развивать и обогащать зовущий, призывающий век.

Однако до того «Историю...» следовало написать.

1803—1816

Карамзину казалось сначала, что за несколько лет дойдет до воцарения Романовых. Однако путь от Рюрика до Ивана Грозного занял тринадцать лет, и каких!

1805-й — пишет о первых киевских князьях — узнает об Аустерлице.

1807-й — татарское нашествие и Тильзитский мир.

1809-й — Наполеоном захвачена почти вся Европа — у Карамзина Куликовская битва.

Новый, 1812 год историк встречает близ 1500-го.

Так и чередуются в хронике жизни историографа дела домашние и всемирные: рождение детей, смерть стариков, собственные болезни; и притом — Батый и Мюрат, древняя Литва и новейшая Европа, князь Александр Невский и царь Александр Первый.

Годы трудов и трудов: писатель, поэт, историк-дилетант берется за дело неслыханной сложности, требующее огромной специальной подготовки. Если бы он избегал серьезной, сугубо ученой, «сухой» материи, а только бы живо повествовал о былых временах, «одушевлял, раскрашивал», это еще сочли бы естественным; но с самого начала каждый том делится на две половины: в первой — живой рассказ, и кому этого достаточно, может не заглядывать во второй отдел; там же — сотни примечаний,

[10] П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений, т. VIII, стр. 331—332.

ссылок на летописи, на латинские, немецкие, шведские, польские источники; там производится разбор их достоверности, тщательное сравнение версий.

Суровая наука. Положим, историк знает много языков. Но сверх того появляются источники арабские, венгерские, еврейские, греческие... И пусть к началу XIX века наука история еще не столь резко выделилась из словесности, как это случится позже,— все равно вчерашнему литератору придется теперь углубиться и в палеографию, и в географию, и в археологию... Татищев и Щербатов, правда, совмещали историю с серьезной государственной деятельностью, но ведь с каждым годом профессионализм возрастает; из Англии, Германии приходят серьезные труды; стародавние, летописно-наивные способы исторического письма явно отмирают...

Карамзину помогают отовсюду знаменитые ученые, молодые ученики, и это, разумеется, не умаляет заслуг самого историографа: его дело — как бы дело всей России; пишет же он сам, отыскивая наиболее точную, уникальную форму для соединения строгой науки с живым художеством.

Для своего труда Карамзин использует около сорока летописей (некоторые в разных списках) — прежний «рекорд» принадлежал Щербатову, изучившему двадцать одну летопись.

В «Истории...» упоминается 350 авторов и названий, они сопровождаются 6538 ценнейшими научными отсылками и примечаниями.

Но вот наступает 1812 год, и мастер прошедшего, как в 1790-м в Париже, снова свидетель роковых минут человечества. Историк покидает Москву за несколько часов до прихода французов, вскоре узнает, что любимый город сгорел, что погибли тысячи книг и рукописей, в том числе «Слово о полку Игореве», Троицкая летопись.

Кровь, огонь да еще смерть малолетнего сына — все это едва не сломило Карамзина, некоторое время считавшего, что уж не сумеет вернуться к «Истории...». Однако он чувствует себя обязанным хотя бы завершить, сдать уже сделанное; к тому же ощущает в 1812—1814 годах конец одной исторической эпохи, начало другой, необходимость понять самому, объяснить другим!

ГЛАВА II. «ПРИВРАТНИК БЕССМЕРТИЯ»

В конце января 1816 года, дождавшись разрешения Екатерины Андреевны вторым сыном, Александром (будущим приятелем Пушкина, Лермонтова), Карамзин вместе с Жуковским и Вяземским едет в Петербург; на время, в последний раз, расстается с женой, зато пишет ей ежедневно, а письма, к счастью, сохранились...

В Петербург, где он не был двадцать шесть лет, с момента возвращения «русского путешественника»...

Приехав в столицу 2 февраля, он в конце марта вернулся в Москву. 18 мая, отправив вперед обоз и людей, со всей семьей в карете покидает Москву окончательно — и через пять дней снова в Петербурге.

Месяцы важнейших для Карамзина событий. Петербург непривычен, впечатлений слишком много, суета, расходы: 500 рублей в месяц за карету, 70 рублей — лакей, 60 рублей — «на пищу двум человекам» [11].

Историографа всюду приглашают, принимают.

Обеды у Державина, Румянцевых, Олениных, Мордвиновых (между прочим, со старым приятелем Пестелем, тем самым почт-директором, что четверть века назад распечатывал для царицы Екатерины II карамзинские письма), чтение глав из «Истории...» у императрицы Марии Федоровны. Одна из ее дочерей удивлена, за что уж так ласкают этого человека; старинный острослов Ростопчин удачно отвечает — «потому что он привратник бессмертия».

И, конечно, постоянно — лучшие друзья: один раз до второго часу ночи, другой раз, кажется, всю ночь...

Арзамасцы — веселый литературный союз с шутовскими атрибутами (арзамасский колпак, обязательное угощение — арзамасский гусь, постоянные надгробные речи литературным противникам и самим себе, обязательные прозвища, заимствованные только из стихов Жуковского: Светлана, Дымная печурка, Чу, Вот я вас!, Сверчок...). Так дурачатся примерно три года, но как не вспомнить пет-

[11] Н. М. Карамзин. Неизданные сочинения и переписка. СПб. 1862, стр. 144.

ровские «потешные забавы», переросшие в военные дела; сначала шутки под Кожуховом, затем победы над Азовом... Здесь дурачатся Жуковский, Вяземский, Денис Давыдов, Батюшков, братья Тургеневы, Никита Муравьев, Михаил Орлов, чуть позже — Пушкин, а из «галиматьи» выходит лучшая русская литература...

«Не заводя партий, мы должны быть стеснены в маленький кружок... Должны быть под одним знаменем: простоты и здравого вкуса... Министрами просвещения в нашей республике пусть будут Карамзин и Дмитриев... И верно, верно отдадим со временем святой долг отечеству» (Жуковский)[12].

Одной вечной, как говорят, проблемы у этих шутников не было: проблемы отцов и детей. Для семнадцатилетнего Пушкина (Сверчка) Жуковский, Александр Тургенев, Батюшков — это тридцатипятилетние отцы, пятидесятилетний же Карамзин — дед. Однако равенство отношений поразительное: Жуковскому и в голову не приходит учить Пушкина, Карамзину — Жуковского. Нет ни детей, ни отцов, ни дедов — все дети: время такое, люди такие!

Впрочем, Карамзин единственный не имеет шутейного прозвища. «Вам, арзамасцам,— наставляет друзей Вяземский,— должно лелеять его и, согревая арзамасским союзом, не допускать до него холодный ветр Невы».

Ну они уж — не допускали! «Наш евангелист Карамзин!» — восклицает Жуковский.

Карамзин читает своим арзамасцам описание взятия Казани, и они довольны — до потери юмора (впрочем, Александр Иванович Тургенев вернул им эти привычные радости, когда вдруг громко всхрапнул при чтении, историограф же бровью не повел, и — не стали будить).

Однако спящий все расслышал и написал братьям Сергею и Николаю, что «История...» Карамзина «послужит нам краеугольным камнем для православия, народного воспитания, монархического управления и, бог даст, русской возможной конституции».

Такого, кажется, еще никто не говорил об историческом труде: зная хорошо тайные мысли братьев-декабристов, более умеренный Александр Иванович предлагает им «Историю Государства Российского» как устав и программу... «Брат всем восхищается»,— недоверчиво откликается Николай Тургенев, но «Историю...» ждет с нетерпением...

Они очень нужны друг другу — старый историограф и молодые арзамасцы. Вот лучший способ для мастера не отстать от эпохи! Вот постоянная питательная сила. В нескольких письмах Карамзин восклицает: «Да здравствует Арзамас!» — радуется связи «дружбы и воспоминаний», мечтает «жить и умереть» с этими арзамасцами.

И они с ним.

Батюшков — Жуковскому: «...если ты имеешь дарование небесное, то дорого заплатишь за него, и дороже еще, если не сделаешь того, что Карамзин; он избрал себе одно занятие, одно поприще, куда уходит от страстей и огорчений: тайная земля для профанов, истинное убежище для души чувствительной. Последуй его примеру».

Молодые арзамасцы везут своего «евангелиста» в Царское Село, и там возобновляется знакомство с кудрявым отроком, которого более десяти лет назад Карамзин изредка наблюдал в доме Сергея Львовича Пушкина. Дядя-арзамасец Василий Львович наставляет племянника насчет Николая Михайловича — «люби его, слушайся и почитай». Но даже такая любезная племяннику мораль, даже то обстоятельство, что Карамзину было не до стихов юного Пушкина,— даже все это не помешало симпатии и уважению лицеиста к историографу (тем более что все прочие лицейские «скотобратцы» завидовали; только Пушкин да еще Сергей Ломоносов — по старинным детским связям — могли запросто беседовать с самим Карамзиным!).

Аудиенция

Меж тем царь почти два месяца не принимает: идут придворные церемонии в связи с бракосочетанием младшей сестры Александра.

От того, как будут приняты во дворце восемь томов, зависит вся жизнь, благосостояние — но не таков историограф, чтобы просить: «Знаю, что могу съездить

[12] «Русский архив», 1900, № 9, стр. 26.

и возвратиться ни с чем...», «Хочу единственно должного и справедливого, а не милостей и подарков».

Если же царь не одобрит, ну что же: «...продать часть имения и жить по-мещански» (Карамзин — брату).

«Сколько дней для меня потеряно»...

«Твой друг знает свой долг по отношению к государю, но он знает также и свой долг по отношению к собственному моральному достоинству» (Карамзин — Дмитриеву).

Умные люди намекают — и Карамзин (в письме престарелому Николаю Ивановичу Новикову) сообщает, что «в Петербурге одного человека называют вельможею: графа Аракчеева».

К Аракчееву проситься не хочет, в середине марта решительно собирается восвояси...

Однако Аракчеев сам позвал...

Стоило посетить Аракчеева, как и царь п р и г л а с и л. Карамзин получает аудиенцию — и неслыханные милости. Чин статского советника, Анну 1 степени — Карамзин при всем политесе, как видно, не сумел, или не желал, скрыть своего безразличия ко всему этому: «...не мое дело умножать число аннинских кавалеров при дворе и слушать фразы; надобно работать...»

Главное — «История...».

Царь дал изрядную сумму — 60 тысяч — на публикацию, разрешение печатать в военной типографии. Без специальной цензуры.

Карамзин опасался цензоров: «Надеюсь, что в моей книге нет ничего против веры, государя и нравственности; но, быть может, что цензоры не позволят мне, например, говорить свободно о жестокости царя Ивана Васильевича. В таком случае, что будет история?» [13].

Действительно, что будет «История...»? Следует неожиданное: «Я буду твоим цензором»; вот когда это было впервые произнесено, вот кого копировал Николай I, беседуя с Пушкиным.

Милость — и зависимость; Пушкин хорошо это знал, когда писал: «...государь, освободив его от цензуры, сим знаком доверенности некоторым образом налагал на Карамзина обязанность всевозможной скромности и умеренности».

Карамзин не просил — царь с а м дал.

Петербург

Если печатать в Петербурге — значит, надо там жить и проститься с Москвою, где Карамзин, по его словам, провел «три возраста жизни».

Карамзин гуляет по Петербургу и округе — все отыскивает московские виды: «Я не в России, когда слышу вокруг себя язык чухонский»; «Берега Невы прекрасны; но я не лягушка и не охотник до болот»; с первых петербургских дней историк жалеет жену, которая, по его мнению, «приносит жертву», оставаясь в столице: «...двор не подходит ее характеру и складу ума»...

И снова Дмитриеву 27 июня 1816 года (сколько лет переписывались оттого, что Карамзин в Москве, а Дмитриев на Неве; теперь вдруг на старости лет поменялись местами — Дмитриев в отставке, историограф во дворце): «Меня еще ласкают, но московская жизнь кажется мне прелестнее, нежели когда-нибудь, хотя стою в том, что в Петербурге более общественных удовольствий, более приятных разговоров... Люби, люби Москву; будешь веселее».

Чуть позже: «Вижу перед собою... смерть или Москву в 1818 году».

Но постепенно все добрее к новому месту: «Вообще, не обижая Москвы, нахожу здесь более умных, приятных людей, с коими можно говорить о моих любимых материях». После встречаем такие слова: «Помышляю иногда о Москве, но не хотелось бы на старости переменять места, тем более, что и сыновья подрастают»; еще позже: «Люблю Москву как душу, хотя и не смею сказать, чтобы я желал теперь возвратиться в ее белокаменные стены»...

И все-таки до последних дней, как будто предвосхищая мечту трех сестер, время от времени восклицает: «В Москву, в Москву!»

Вот, думал, выйдут восемь томов — и в Москву; даже ящики архивных бумаг

[13] Это и другие письма Н. М. Карамзина А. И. Тургеневу цитируются по журналу «Русская старина», 1899.

до поры до времени не велел высылать со старого места — может, не понадобятся до возвращения; восемь томов выйдут — однако сразу новое издание: опять нельзя уехать. А там Екатерина Андреевна в положении — дорога вредна, «пусть жена родит — и в Москву» (вторая столица даже чин имеет: «...пора возвращаться в объятия бригадирши»). Но вот жена родила — пора еще том сдавать в печать; затем новые семейные обстоятельства, а там царь просит задержаться...

В общем, никогда больше Николаю Михайловичу Карамзину не увидеть Москвы: 18 мая 1816 года в последний раз у заставы обернулся, 22 мая 1826 года окончится жизнь. Последние десять лет и четыре дня пройдут в Петербурге или его окрестностях...

Пространство сужалось, расширялось историческое время.

Перед новой славою

В Петербурге Карамзины стараются, не всегда с успехом, сохранять московские привычки. Зимою — в городе, сперва на Фонтанке у гостеприимной Е. Ф. Муравьевой, затем «около Литейного двора, на Захарьевской за 4000 р., Нева в 100 саженях, не далек и Таврический сад; двор хорош и с садиком; всего довольно, и сараев, и амбаров, комнаты весьма не дурны, только без мебели» [14]. Летом и осенью они за городом, в Царском Селе, где по приказу царя для историка отделан китайский домик в царскосельском парке — с маленьким кабинетом во флигеле (друзья удивляются — как в столь малой келье помещается вся «История Государства Российского»!).

День Карамзина. Утром обязательный час прогулки (в любую погоду; в Царском Селе — верхом). Если очень холодно — утепляется: «...под сюртук — тетрадь». Особым царским разрешением государственному историографу дозволено ходить не только по дорожкам, но и топтать царскосельские лужайки...

После прогулки — чашка кофею, трубка и до трех-четырех за рабочим столом (если только ревматизм или жестокая лихорадка не скручивают — на неделю, случается и на месяц). Первые петербургские годы — корректура, корректура... Пока отодвинуты в сторону летописи XVI века, записки иностранцев, разнообразные документы о царе Иване Грозном: повествование замерло на 1560 годе. Идет тяжкая, нудная подготовка к печати восьми томов.

В четвертом часу обед, за которым допускается рюмка мадеры или специально присылаемой из Москвы другом А. Ф. Малиновским белой водки, «в которой желудок иногда имеет нужду». В эти часы сходится вся большая семья; отец сам обучает сыновей немецкому; дети спрашивают о религии — приходится «удерживать их любопытство ответами: «это непостижимо». Они молчат, думая может быть: «что же вы нам изъясняете?»...» (Карамзин — Дмитриеву).

Досуги куда более разнообразны, чем в Москве (чему хозяева не всегда рады). Забегают друзья-приятели, «и мы проводим вечера не скучно». Многодневный праздник — появление Дмитриева в Царском Селе (летом 1822 года): несколько лет не виделись, больше не увидятся — но около месяца живут рядом, «через садик». Каждое утро Карамзин заходит и застает друга-брата в постели, целый день не разлучаются, но не помнят, «чтоб хоть четверть часа мы были без свидетелей».

Кроме друзей, к вечеру являются постоянно иностранные визитеры, просители, надеющиеся на влияние историографа при дворе. Один из них замечает, что Карамзин «знал в совершенстве искусство беседовать, которое вовсе различно с искусством рассказывать».

Присылают приглашения ко двору, чаще всего от цариц старой и молодой: надо надевать нелюбезный мундир и пудриться. Во дворцах все очень любезны и ласковы — «но многие ждут моей Истории, чтобы атаковать меня... Суетность во мне есть... но я искренне презираю ее в себе, и еще более, нежели в других» (Карамзин — Дмитриеву).

Историк постоянно отказывается от почетных званий; соглашается в академики после долгих уговоров, не желая обидеть уговаривающих: «Где люди, там пристрастие и зависть: иногда славнее не быть, нежели быть академиком. Истинные дарования не остаются без награды: есть публика, есть потомство. Главное дело не получать, а заслуживать. Не писатели, а маратели всего более сердятся за то, что им не дают патентов».

[14] Это и другие письма Карамзина А. Ф. Малиновскому цитируются по изданию «Письма Карамзина к А. Ф. Малиновскому...». М. 1860.

День Карамзина подходит к концу. Поздно вечером чтение «не по древней Руси», вслух — чаще всего Вальтера Скотта «Айвенго», «Квентин Дорвард»: Карамзин настолько любит шотландца, что мечтает когда-нибудь у себя в саду поставить ему памятник. Иногда же историку приходится читать свое...

Лицейский Горчаков — дяде: «Некоторые из наших, читавшие из нее [«Истории...»] отрывки, в восхищении». Одному из первых учеников завидно, что он сам незнаком с историографом. «Некоторые» — это более всего Александр Пушкин, постоянный карамзинский гость (знаем, к примеру, что 1 июля 1818 года на озере в праздничном катере оказалась очень примечательная компания: Александр Тургенев, Жуковский, Карамзин, Пушкин).

«Однажды, отправляясь в Павловск и надевая свою ленту, он посмотрел на меня наискось и не мог удержаться от смеха. Я прыснул, и мы оба расхохотались...» (Пушкин).

В другой раз Карамзин говорит Пушкину по поводу сенаторов и других важных лиц: «Заметили ли Вы, мой друг, что из всех этих господ ни один не принадлежит к хорошему обществу».

Опять равный арзамасский разговор «деда» с «внуком». Младшему разрешено делать выписки из «Истории...»; старший рекомендует, чтобы именно первому лицейскому поэту заказали стихи в честь принца Оранского («Довольно битвы мчался гром...»).

Но вдруг семнадцатилетний Александр Пушкин пишет любовное послание тридцатишестилетней Екатерине Андреевне.

Пятидесятилетний Карамзин получает от жены или случайно прочитывает любовную записку юного лицеиста — да сколь нервного, ранимого! Какие же слова нашел втрое старший знаменитый писатель, чтобы такой «внук» во время этой сцены (как утверждали современники) плакал и смеялся, но притом не обиделся, не разъярился от собственной неправоты или чужой морали (как это было при нравоучениях, например, такого вполне положительного лица, как директор Лицея Энгельгардт)? Мало того, в пушкинских письмах с юга постоянный мотив — «где, что Карамзины?», «это почтенное семейство ужасно недостает моему сердцу»...

Отношения с историком однажды осложнились, но это произошло через полтора года после «записки и слез»; дело было в эпиграммах (о чем еще скажем), а история с любовным признанием тут совершенно ни при чем...

Какое же слово знал Карамзин, чтобы в столь невыносимом, щекотливом положении сохранить дружбу и любовь молодого гения? Ах, если б угадать...

Дальним отзвуком этой таинственной сцены и всего царскосельского романа остались на всю жизнь особые отношения Пушкина к жене, потом — вдове Карамзина. Гипотеза Тынянова, будто именно эта женщина была пушкинской Лаурой, Беатриче, потаенной возвышенной любовью, пронесенной через всю жизнь,— не подтверждена и не отвергнута... Она, однако, отражает (может быть, преувеличенно) некоторую безусловную истину: то особое отношение Пушкина, которое заставило смертельно раненного прежде всех других послать за Карамзиной.

Как жаль, что так молчалива была эта замечательная женщина. Но, может быть, иначе она не была бы такою...

Петербургский (или царскосельский) день окончен. Счастье: «...счастье... когда жена, дети и друзья здоровы, а пять блюд на столе готовы. Заглянуть в умную книгу, подумать, иногда поговорить неглупо: вот роскошь! К ней прибавить можно и работу без всякого отношения к славолюбию» (Карамзин — Дмитриеву).

«Карамзин... создал себе мир, светлый и стройный посреди хаоса тьмы и неустройства» (Вяземский — Александру Тургеневу).

Мы говорили о вещах безусловно важных вперемежку с «бытовой мелочью». Цель же была — приглядеться к личности историка. Ведь вклад в культуру — отнюдь не только книги, картины, промышленные и полевые плоды. Вклад каждого человека в культуру — это и его личность; биография же таких деятелей, как Пушкин, как Карамзин,— культурное явление высокого порядка.

Одно из любимых упражнений автора этой работы — по тексту сочинения определять характер, личность незнакомого сочинителя. Иногда это на поверхности, но чаще выявляется косвенно, многосложно...

Николай Михайлович Карамзин печатает восемь готовых томов и думает о следующих; одновременно гуляет, умеет вести беседу, учит детей немецкому, радуется

штофу московской водки, понимает, как не обидеть виновного Пушкина. Все вместе это связано куда больше, чем принято думать. Культура карамзинской личности глубоко запечатлена в его сочинениях, где, таким образом, сливается несколько элементов тогдашней и любой цивилизации.

Вскоре к ним прибавится еще один: это общественный отклик и одна из высших его форм —

Слава

«История Государства Российского, сочиненная Н. М. Карамзиным, в осьми томах, продается в Захарьевской улице, близ Литейного Двора, в доме Баженовой, во флигеле, у комиссионера Александра Косматова. Цена, с родословными росписями и с картою древней России, 50 рублей» [15].

Иначе говоря, на той же улице, в том же доме, где живет Карамзин, патриархально продается его «История...», а Екатерина Андреевна считает привозимые из типографии экземпляры.

К этому времени по восемь книжек на веленевой бумаге отосланы царю, царицам, Дмитриеву и еще нескольким особо важным читателям. Завершено почти двухлетнее превращение карамзинской рукописи в печатные тома. Нетерпение столичной публики и разные слухи опережают события.

Восемь томов — от древнейших времен до 1560 года.

«Болезнь остановила на время образ жизни, избранный мною... Это было в феврале 1818 года. Первые восемь томов «Русской истории» Карамзина вышли в свет. Я прочел их в моей постеле с жадностию и со вниманием. Появление сей книги (так и быть надлежало) наделало много шуму и произвело сильное впечатление, 3000 экземпляров разошлись в один месяц (чего никак не ожидал и сам Карамзин) — пример единственный в нашей земле».

Самые интересные мемуары о главном труде Карамзина написаны Пушкиным несколько лет спустя.

Пушкинский отрывок, кажется, не пропускает ни одной стороны события — и поэтому позволим себе прибегнуть к способу медленного чтения, то есть комментирования и попутного разговора при движении — от одной пушкинской фразы к другой.

«3000 экземпляров... пример единственный». Как трудно нам, в эпоху гигантских тиражей, сопоставлять числа: классический тираж XVIII — первой половины XIX века — 1200 экземпляров. В таком количестве выходили главы «Евгения Онегина», «Бориса Годунова», а прежде карамзинские повести, «Письма русского путешественника». Потом, правда, следовали переиздания — еще 1200, еще... Но чтобы сразу 3000 — неслыханно! Удивление Карамзина хорошо видно по его письмам Малиновскому, Дмитриеву, родственникам.

12 февраля 1818 года — «...осталась только половина экземпляров».

К 19 февраля — продано 1900.

27 февраля — «Сбыл я с рук последний экземпляр моей Истории... Это у нас дело беспримерное. В 25 дней продано 3000 экземпляров». Карамзин, как видим, говорит почти что пушкинскими словами (или Пушкин это письмо прочитал?).

К 11 марта — Карамзин получил еще 600 заказов сверх проданного тиража.

8 июня — объявление о начале печатания второго, «исправленного» издания. Газеты извещают о готовящемся переводе на французский, немецкий, итальянский...

Пушкин: «Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка — Коломбом. Несколько времени ни о чем ином не говорили».

«Все...»

Петербургская цена была по 50 рублей за восемь томов в обыкновенном переплете, в Москве продавали за 58, в провинции и того дороже: цена обычная, и немалая. Если бы грамотный мужик-середняк пожелал приобрести «Историю...», она обошлась бы ему примерно в два годовых оброка.

Понятно, простых читателей совсем немного. Больше всего покупает Петербург — литераторы, чиновники, военные, придворные... И все же нашлись покупатели среди «податных сословий». Такие люди очень интересовали историка, надеявшегося

[15] «Сын отечества», 1818, № 5, стр. 225.

на будущую российскую образованность. Он не забывает и в нескольких письмах упоминает бурмистра одной из деревень Вяземского, который просит у своего барина «гостинца» — «Историю...» Карамзина. «Я писал для русских,— восклицает автор в одном из посланий к Дмитриеву,— для купцов ростовских, для владельцев калмыцких, для крестьян Шереметева» (см. имена пренумерантов в VIII томе).

Итак, «все... бросились читать»: завтрашние декабристы и вчерашние новиковцы; из рук в руки — по известному рассаднику вольнодумства, училищу колонновожатых; об «Истории...» толкуют в гимназиях, семинариях, салонах, в ученых и литературных обществах...

Вот лишь некоторые из первых откликов.

Жуковский: «...я гляжу на Историю нашего Ливия, как на мое будущее: в ней источник для меня и вдохновения, и славы».

Вяземский называет восемь томов «эпохой в истории гражданской, философической и литературной нашего народа».

Историк, публикатор старинных документов И. П. Сахаров: «Здесь-то [в «Истории...» Карамзина] узнал я родину и научился любить русскую землю и уважать русских людей».

Еще и еще отклики: царь спрашивает мнение Вяземского об «Истории...» сразу после ее выхода — тот еще не успел прочесть; Александр же объявляет, что прочел «с начала до конца».

Заинтересовался и Запад (любопытство к российской истории подогревается усилением международной роли страны после 1815 года).

Зато суровый декабрист Николай Тургенев очень насторожен, он готовит важные возражения — но притом признается в дневнике: «Чувствую неизъяснимую прелесть в чтении... Что-то родное, любезное».

Такого успеха, мы уже говорили, не было (и в известном смысле не будет!) ни у одного из историков. Размышляя об этом несколько позже, Карамзин заметит друзьям, что кроме всего прочего винит в своей славе и удачу: «Есть же и у других таланты, которым не было средств не только развиться, даже и обнаружиться при обстоятельствах неблагоприятных; есть и трудолюбие, которое не имеет удачи» [16].

Если б не он, другим пришлось бы открывать древности, преподносить соотечественникам «историю, дотоле им неизвестную».

Но все же именно он успел.

Всеобщий энтузиазм слишком заметен, чтобы не вызвать и толков самых разнообразных, в том числе критических, иронических,— неизбежные спутники, а впрочем, и признаки славы...

Если бы Карамзин выдал свои тома до Бородина, до пожара Москвы и взятия Парижа — эффект хоть и был бы, но, думаем, много меньший. Россия, вернувшаяся из великого похода, желала понять саму себя, и, наверное, никто лучше друга-родственника Вяземского не оценил этого обстоятельства:

«Карамзин — наш Кутузов двенадцатого года: он спас Россию от нашествия забвения, воззвал ее к жизни, показал нам, что у нас отечество есть, как многие узнали о том в двенадцатом годе» [17].

Карамзин — Кутузов...

Но для того чтобы так понять свой народ и свое время, надо было самому стоять выше, глядеть дальше других. Герцен позже советовал мыслителю, деятелю быть на шаг впереди «своего хора», но никогда не на два. Если не опережать, сливаться с хором — не увидишь главного; слишком опередив, можно главного не услышать.

Противоречия с читателем, известное непонимание, таким образом, были в природе вещей, как и восторг, слава...

Пушкин: «В журналах его не критиковали. Каченовский бросился на одно предисловие.

У нас никто не в состоянии исследовать огромное создание Карамзина — зато никто не сказал спасибо человеку, уединившемуся в ученый кабинет во время самых лестных успехов и посвятившему целых 12 лет жизни безмолвным и неутомимым трудам. Ноты «Русской истории» свидетельствуют обширную ученость Карамзина,

---

[16] Здесь и далее записи разговоров Карамзина, сделанные его секретарем К. С. Сербиновичем, цитируются по журналу «Русская старина», 1874, №№ 9—10.

[17] «Остафьевский архив князей Вяземских» в пяти томах. СПб. 1899—1913, т. III, стр. 356.

приобретенную им уже в тех летах, когда для обыкновенных людей круг образования и познаний давно окончен и хлопоты по службе заменяют усилия к просвещению».

Пушкин пишет эти строки много позже, когда улеглись первые восторги... Собственно говоря, поэт впадает, как легко заметить, в некое противоречие: невиданный тираж, успех, открытие русским их прошлого — но «никто не сказал спасибо». Мы видим, что многие — сказали; и сам Пушкин, читая «с жадностию и вниманием», таким образом, благодарил, признавал...

Но критики в журналах действительно критиковали — и немало; в этом была даже смелость — нападать на сочинение государственного историографа, где на обороте титульного листа каждого тома значилось: «Печатано по высочайшему повелению». Пушкин, однако, в главном прав: такой ли критики было достойно это сочинение, необыкновенное во многих отношениях?

«Никто не в состоянии...»

Критиковал московский профессор Каченовский, позже — казанский ученый Арцыбашев, с печатной критикой выступил польский профессор Лелевель (один из будущих вождей восстания 1830—1831 годов); несколько специалистов разобрали «Историю...» в публичных лекциях, в письмах, впрочем предназначенных для многих. Была и критика политическая, эпиграмматическая, но это жанр особый и разговор особый... В «Истории...», понятно, находили неточности, ошибки, делали дополнения; Карамзин благодарил, многое учитывал, кое с чем не соглашался; это естественно. Уровень точности соответствовал эпохе, грубых, смешных просчетов не было — речь не о том шла, и главная критика — за другое. Не вдаваясь в тонкости, оттенки, подробности, скажем коротко, что в основном критиковали ученые — художника. Умный знаток митрополит Евгений (Болховитинов) позже запишет: «Татищев редко витийствует, подобно Карамзину, которого уже винят за то» [18].

Первые же критики сформулировали многое из того, что повторят вторые, пятые, десятые: вместо научной истории — художество, «сказочки»; слишком много авторской личности, слишком мало строгого разбора причин, следствий.

Здесь было много верного, серьезного. Действительно, как бы в стороне осталась главная дорога, трудно пролагаемая многими европейскими и русскими специалистами,— от «наивной летописи» к серьезной науке. Карамзин как будто оживлял умиравшую, отжившую традицию, все более нелепую для века разума и анализа.

И в то же время критики с водою постоянно выплескивали ребенка: действительно, никто не исследовал замысел Карамзина по законам, им самим провозглашенным. Сравнения с другими историками были справедливы; разбор именно этого историка был явно недостаточен.

К тому же критика, не привыкшая к гибким, академическим формулам, постоянно переходила на личность. Некоторыми двигало раздражение, зависть. Так, благородного Лелевеля подталкивал на критику Карамзина неблагородный Булгарин. Мотивы последнего были таковы: хорошо бы публично высмеять ошибки историка, «ставящего себя выше всех писателей, называющего и Тацита и Фукидида глупцами, а греков и римлян дикими людьми».

Дмитриев уверен, что Карамзин должен отвечать на резкие атаки Каченовского: «Иначе литература будет раздольем бумагомаракам»; он поощряет к антикритике Батенькова, Жуковского, упрекает их за «робость».

Вяземский еще горячее: «Я вовсе не приверженец самовластных мер; но у нас, где свобода печатания не разрешена, где об актере придворном говорить запрещается... честь [историографа] должна быть ограждена законами от ругательств презренного мерзавца?» Чуть позже: «Каченовский хрипит», его пора «отпендрячить по бокам» [19].

Пушкин сочинит на Каченовского четыре эпиграммы; напомним только:

Охотник до журнальной драки,
Сей усыпительный зоил
Разводит опиум чернил
Слюнею бешеной собаки.

[18] «Русский архив», 1890, № 12, стр. 443.
[19] «Остафьевский архив князей Вяземских», т. I, стр. 115, 197.

Вяземский «выдал» тоже четыре эпиграммы.

Друзья знают, что историограф будет недоволен, всякую защиту в печати «почитая ниже себя», но Вяземский признается, что он в этих вопросах «сын алькорана, а не евангелия» и хочет «за пощечину платить двумя»[20].

Взгляд же Карамзина на критику не переменился: все читать, ни на что не отвечать. Некогда отругиваться — надо работать. Если б это правило легко давалось, если б имелась нужная доза безразличного равнодушия — тогда не было бы никакой проблемы; но и не было бы, наверное, истории...

Немногие особенно близкие собеседники знали, сколько сдавленной нервности таилось под внешней маской благоразумия. Александр Тургенев однажды вдруг слышит, как историк досадует на холодные разборы в печати, после которых — не бросить ли работу? Наконец по настоянию Дмитриева Карамзин составил целую тетрадь антикритики, услыхал, что старый друг очень ею доволен,— и тут же кинул рукопись в камин!

Когда же Каченовский баллотируется в Российскую Академию, Карамзин объявляет, что «критика его весьма поучительна и добросовестна»: он не только сам за него голосует, но (воспользовавшись правом выступать от имени отсутствующих) присоединяет голоса Дмитриева, Жуковского, Оленина.

ГЛАВА III. МОЛОДЫЕ ЯКОБИНЦЫ

Пушкин: «Молодые якобинцы негодовали; несколько отдельных размышлений в пользу самодержавия, красноречиво опровергнутые верным рассказом событий, казались им верхом варварства и унижения. Они забывали, что Карамзин печатал «Историю» свою в России; что государь, освободив его от цензуры, сим знаком доверенности некоторым образом налагал на Карамзина обязанность всевозможной скромности и умеренности. Он рассказывал со всею верностию историка, он везде ссылался на источники — чего же более требовать было от него? Повторяю, что «История Государства Российского» есть не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека».

Затем Пушкин кратко сообщает о критике «Истории...» «умным и пылким» Никитой Муравьевым, о требованиях, предъявленных к восьми вышедшим томам декабристом Орловым, о «некоторых остряках», которые «за ужином переложили первые главы Тита Ливия слогом Карамзина. Римляне времен Тарквиния, не понимающие спасительной пользы самодержавия, и Брут, осуждающий на смерть своих сынов, ибо редко основатели республик славятся нежной чувствительностию,— конечно, были очень смешны».

В наше время пушкинские намеки и отсылки почти полностью расшифрованы, проанализированы в работах В. Э. Вацуро, С. С. Ланды и других. Тогда-то и раскрылась впервые серьезнейшая полемика первого историка с первыми революционерами.

Якобинцы — декабристы; Карамзин привез свою «Историю...» в столицу 2 февраля 1816 года. Ровно через неделю, 9 февраля, образовалось первое тайное общество будущих декабристов — «Союз спасения». «Шум, впечатления» от восьми томов разносятся в те месяцы, когда сложился «Союз благоденствия»: двести его членов и сотни сочувствующих все резче задают тон в журналах, гостиных, в армии...

Карамзин — сторонник просвещенного самодержавия, по его мнению, это исторически естественная для России форма правления.

Декабристы — противники самодержавия и рабства. Еще до выхода карамзинских томов они рисуют в своих письмах рядом с именем историографа знак ⍋: гасильник, то есть враг света, свободы.

...«Молодые якобинцы негодовали...»

Отсутствие «исторической философии» (главный научный упрек) декабрист Николай Тургенев объясняет просто: «...автор видел, что рассуждать хорошо трудно, а иногда опасно; и потому молчал»; «хромой Тургенев» решает не посылать такому историку свою книгу «Опыт теории налогов».

Ситуация осложняется еще и тем, что со многими из лидеров тайного союза Карамзин не только близко знаком, но видит их с пеленок, подолгу живет в их домах, встречается чуть ли не каждодневно. Более всего это относится как раз к Нико-

[20] «Остафьевский архив князей Вяземских», стр. 219—220.

лаю Тургеневу (с этой семьей тридцать лет дружбы), а также к Никите Муравьеву — сыну того, кто выхлопотал Карамзину должность историографа (или, как объявил о нем слуга в одном доме, графа истории). Именно в 1818—1820-м «левые настроения» очень сильны у Вяземского, Пушкина...

Мы знаем, к примеру, что 16 ноября 1818 года Карамзин целый день проводит в разговорах с Николаем Тургеневым и Луниным, 20 ноября опять с Тургеневым,— и так постоянно.

Именно через посредничество Карамзина Никите Муравьеву передается царское разрешение вернуться из отставки в военную службу. Для тех лет, когда еще не определились, резко не разделились общественно-политические лагери, совершенно обычно, к примеру, что на Николин день (в 1819 году) именинники Карамзин и Гнедич заезжают к имениннику Гречу и застают у него Николая Бестужева, Розена, Рылеева, Дельвига и Булгарина!

Подвиг честного человека — определяет великий поэт; но разве он хоть на миг сомневается и в честности «молодых якобинцев»? И разве у суровейших левых критиков «Истории...» настороженность не сочетается с восхищением? К тому же сохранились искренние радостные строки Тургенева и Батенькова о разрешении печатать «Историю...», о 60 тысячах отпущенных на это рублей; и кто язвительнее Николая Тургенева издевается над тупыми светскими толками о Карамзине?

Итак, спор честных: явление всегда примечательное и открывающее, как правило, больше истины, нежели ясное противоборство черного и светлого.

Прислушаемся же...

Около 1820 года декабрист Никита Муравьев перечитывает «Письма русского путешественника» (переизданные Карамзиным в 1814 году) и делает на полях замечания [21]; к этим замечаниям (даже не зная их) присоединяется Тургенев.

Итак, сопоставим тексты Карамзина и ответы Муравьева...

Карамзин (в Париже 1790 года, о королеве Марии-Антуанетте): «Нельзя, чтобы ее сердце не страдало; но она умеет сокрывать горесть свою, и на светлых глазах ее неприметно ни одного облачка».

Муравьев (на полях): «как все это глупо».

Декабриста не устраивают оценки личных качеств, когда сокрушаются миры, тем более что через три года королеву поведут на эшафот.

Карамзин (о наследном принце): «Со всех сторон бежали люди смотреть его, и все без шляп; все с радостию окружали любезного младенца, который ласкал их взором и усмешками своими. Народ любит еще кровь царскую!»

Муравьев: «от глупости».

В связи же с грядущей расправой над Бурбонами умилительная фраза Карамзина о «крови царской» приобретает второй, зловещий смысл (и декабрист, ставя в конце ее восклицательный знак, кажется, это заметил). Тут писатель, кстати, мог бы «перехватить инициативу»: ах вот как, народ любит «кровь царскую» от глупости (темноты, невежества, исторической отсталости),— но могут ли массы быстро поумнеть, перемениться и на что следует рассчитывать — на сегодняшний или завтрашний дух народа?

Карамзин: «Но читал ли [маркиз-революционер] историю Греции и Рима? Помнит ли цикуту и скалу Тарпейскую? Народ есть острое железо, которым играть опасно, а революция отверстый гроб для добродетели и — самого злодейства».

Муравьев: «вероятно мораль скверная».

Ответ не очень уверенный, потому что ведь и сам декабрист не хочет вовлекать народ в российскую революцию; но он все же находит скверной мораль, которую настойчиво выводит отсюда Карамзин.

Карамзин: «Всякое гражданское общество, веками утвержденное, есть святыня для добрых граждан; и в самом несовершеннейшем надобно удивляться чудесной гармонии, благоустройству, порядку».

Подчеркивая последнюю фразу, Никита Муравьев не сдерживается и прямо между строк вписывает — дурак.

---

[21] Е. И. Верещагина. «Маргиналии и другие пометы декабриста Н. М. Муравьева на «Письмах русского путешественника» в девятитомном издании «Сочинений» Карамзина 1814 года» (в сборнике «Из коллекции редких книг и рукописей Научной библиотеки Московского университета». М. 1981).

Любимому другу дома, «евангелисту арзамасцев» (а «беспокойный Никита» ведь один из них!) — самому Карамзину отвешено дурака!

Впрочем, про себя или в своем кругу сердятся и сильнее...

Муравьев не ограничился грубостью между строк, но еще и на полях откомментировал карамзинское «всякое гражданское общество, веками утвержденное, есть святыня»: «Турция святыня,— иронизирует декабрист,— и Алжир также».

Назвав два тиранических, рабских режима, Муравьев думает, что опроверг историка. В других сочинениях лидер Северного общества не раз выскажется о гнусности всякого деспотизма. В проекте своей декабристской конституции скажет: «Опыт всех народов и всех времен доказал, что власть самодержавная равно гибельна для правителей и для общества: что она не согласна ни с правилами святой веры нашей, ни с началами здравого рассудка. Нельзя допустить основанием правительства — произвол одного человека, невозможно согласиться, чтобы все права находились на одной стороне, а все обязанности на другой. Слепое повиновение может быть основано только на страхе и не достойно ни разумного повелителя, ни разумных исполнителей. Ставя себя выше законов, государи забыли, что они в таком случае вне законов, вне человечества! Что невозможно им ссылаться на законы, когда дело идет о других, и не признавать их бытие, когда дело идет о них самих. Одно из двух: или они справедливы — тогда к чему же не хотят и сами подчиняться оным; или они несправедливы — тогда зачем хотят они подчинять им других. Все народы европейские достигают законов и свободы. Более всех их народ русский заслуживает то и другое».

Карамзин же уверен, что общество, государство складываются естественно, закономерно и всегда соответствуют духу народа,— преобразователям нравится или не нравится, а придется с этим считаться. Он не сомневается, что и алжирский, и турецкий, и российский деспотизм — увы! — органичны; эта форма не подойдет французу, шведу — так же как шведское устройство не имеет российской или алжирской почвы. В письме Дмитриеву историк язвит: «Хотят уронить троны, чтобы на их место навалить кучи журналов». Идеал Карамзина, он не раз повторит,— республика, демократия, но — в будущем, когда страна «просветится». Однажды поведает Дмитриеву: «По чувству останусь республиканцем и притом верным подданным царя русского; вот противоречие, но только мнимое».

Пока что историк декларирует: «История народа принадлежит царю»; декабристы решительно отвергнут: «История народа принадлежит народу» (позже Пушкин вмешается в спор: «История народа принадлежит поэту»).

В «Письмах русского путешественника» мысль продолжена: «Утопия будет всегда мечтою доброго сердца или может исполниться неприметным действием времени, посредством медленных, но верных, безопасных успехов разума, просвещения, воспитания, добрых нравов. Когда люди уверятся, что для собственного их счастия добродетель необходима, тогда настанет век златой, и во всяком правлении человек насладится мирным благополучием жизни».

Муравьев подчеркивает слова «во всяком правлении» и замечает: «Так глупо, что нет и возражений».

Ах, не так уж глупо, даже если не согласиться! Несколько лет спустя Пушкин заставит своего Гринева сказать по-карамзински: «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений».

Революционер, конечно, возмущен «благополучием... при всяком правлении»: а как же миллионы крепостных, двадцатипятилетняя солдатчина, военные поселения, затхлое взяточничество, «неправда в судах»? Не сам ли Карамзин не раз замечает народное ожесточение, надеется на перемены?

Из-за этого всего, как видно, схватились осенью 1818-го умеренный историк и очень левый в то время родич Вяземский; Карамзин чуть позже досылает в письме резюме разговора (которое вполне подойдет и к заочному спору с Никитой Муравьевым): «Мы оба думаем так, как нам думать свойственно. Мысль не дело; а дело будет не по нашим мыслям, а по уставу судьбы. Между тем желаю знать, каким образом вы намерены через или в 10 лет сделать ваших крестьян свободными; научите меня: я готов следовать хорошему примеру, если овцы будут целы и волки сыты. Это и шутка и не шутка» [22].

[22] Сборник «Старина и новизна», СПб. 1897, кн. 1, стр. 65—66.

Волки сыты, овцы целы; но декабристы вовсе и не стремятся к такой гармонии, готовя охоту на волков!

После подобного же обмена мнениями с Николаем Тургеневым тот записывает (точно как Никита Муравьев): «Не о чем говорить».

Во Франции, пишет «русский путешественник», «...жизнь общественная украшалась цветами приятностей; бедный находил себе хлеб, богатый наслаждался своим избытком». «Неправда!» — негодует Муравьев.

Действительно неправда; иначе зачем бы восставать? Иначе и в России мужички благоденствуют.

«Но дерзкие,— продолжает Карамзин,— подняли секиру на священное дерево, говоря: „Мы лучше сделаем!"»

«И лучше сделали»,— вписывает декабрист прямо между книжных строк.

И лучше сделаем, надеются члены тайных обществ.

И хуже будет, пророчествует Карамзин, соглашаясь, что рабство — зло, но быстрая, неестественная отмена его гибельна.

Русский путешественник: «Всякие же насильственные потрясения гибельны, и каждый бунтовщик готовит себе эшафот».

Муравьев подчеркивает слова о бунтовщике, эшафоте и пишет на полях: «Что ничего [не] доказывает».

Поразительное столкновение мнений и судеб. Карамзин, свидетель «роковых минут» великой революции, помнит реки крови, предсказывает новые, заклинает не торопиться, пугает бунтовщиков эшафотом... Никита и не спорит, что, возможно, в перспективе — эшафот, Сибирь. И через четверть века, оканчивая дни в глухом селе Урик близ Иркутска, может быть, и вспомнит карамзинское предсказание, которое, впрочем, ничего не доказывает. Ибо можно, должно и на эшафот и на Тарпейскую скалу, если дело справедливое...

Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа,—
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?

И последняя апелляция Карамзина к естественному ходу истории и времени: «Предадим, друзья мои, предадим себя во власть Провидению».

Никита Муравьев: «революция была без сомнения в его плане».

Главные слова произнесены.

Карамзин считает то, что есть, естественным, не случайным; и он прав. Да и Муравьев согласен, только он в число естественных обстоятельств включает и саму революцию: французскую, что уже была, и русскую, которая впереди. Если «разумно и действительно» только сущее, то откуда же берутся перемены, кто их делает? Не считает разве сам Карамзин, что 1789—1794 годы закономерны, не признает ли (в письме А. Ф. Малиновскому), что «либерализм сделался болезнию [века]»?

Замечательная черта

Пушкин: «Кстати, замечательная черта. Однажды начал он при мне излагать свои любимые парадоксы. Оспоривая его, я сказал: «Итак, вы рабство предпочитаете свободе». Карамзин вспыхнул и назвал меня своим клеветником. Я замолчал, уважая самый гнев прекрасной души. Разговор переменился. Скоро Карамзину стало совестно и, прощаясь со мною, как обыкновенно, упрекал меня, как бы сам извиняясь в своей горячности: «Вы сегодня сказали на меня, чего ни Шихматов, ни Кутузов на меня не говорили»...»

Пушкинская зарисовка замечательна; Карамзин очень симпатичен. Выходит, реакционеры П. Кутузов, Шихматов называли его якобинцем, обстреливали справа; а теперь «молодые якобинцы» зачисляют — в «невежды», сторонники рабства. Пушкин «оспоривал Карамзина» не только явно, но и тайно: «Мне приписали одну из лучших русских эпиграмм; это не лучшая черта моей жизни».

В его «Истории» изящность, простота
Доказывают нам, без всякого пристрастья,
Необходимость самовластья
И прелести кнута.

Поэт уклончиво говорит об авторстве — «мне приписали»; однако сегодня в науке по этому поводу почти нет сомнений.

Притом мы слышим и несколько «любимых парадоксов»: о монархисте сегодня — республиканце завтра, об обязанности порядочного человека суметь сказать все — и не быть повешенным, о праве на любое мнение, в чем он, Карамзин, куда больший свободолюбец, чем его молодые противники. Однажды в сердцах заметит: «...те, которые у нас более прочих вопиют против самодержавия, носят его в крови и в лимфе». А в другой раз восклицает, что «если бы у нас была бы свобода книгопечатания, то он с женой и детьми уехал бы в Константинополь»; то есть Россия не готова, не дозрела, надо постепенно внедрять «медленные, но верные, безопасные успехи разума, просвещения, воспитания, добрых нравов». Резкая отмена цензуры выведет наружу черное, сдавленное, рабское и т. п.

Наконец, Пушкин напишет через несколько лет, что сказанное в пользу самодержавия у Карамзина красноречиво опровергнуто «верным рассказом события».

О том, как выходил этот главный парадокс, еще поговорим; пока же повторим, что критика слева была серьезна. К тому же если Николай Михайлович находит доводы и факты против декабристских идей — он, как человек честный, очевидно, обязан одновременно оспоривать и самодержавно-крепостническую, аракчеевскую систему, иначе — «рабство предпочитает свободе».

Многое сказать наверху — такая возможность имелась!

Близ царя

Двора, дворца Карамзин не любил — «не есмь от мира сего...». «Я не придворный! Историографу естественнее умереть на гряде капустной, им обработанной, нежели на пороге дворца, где я не глупее, но и не умнее других... Мне бывало очень тяжело: но теперь уже легче от привычки. Его уединение — в Царском Селе». Он признавался (все больше Дмитриеву), что ему близ царей бывало очень тяжело; что скучал от необходимости оставлять жену ради приглашения на иллюминацию в связи с бракосочетанием великого князя Николая Павловича; что не может серьезно относиться к придворному трауру, когда разрешаются танцы, но обязательно без музыки; что отказался от почетного придворного предложения написать об умершей благодетельнице великой княгине Екатерине Павловне, так как не видит возможности при том не говорить о себе. Время от времени вдруг замечает охлаждение придворных — «у того я не был с визитом; другому не оказал учтивостей и проч; иной считает меня даже гордецом, хотя я в душе ниже травы». Порою вообще считает, что расстался с двором (и тогда-то особенно тянет в Москву).

Впрочем, царицы Мария Федоровна и особенно Елизавета Алексеевна постоянно приглашают к обеду. В Павловске все замирали за столом, слушая, как вольно, почти без этикета Карамзин беседует с царицей-матерью, например, «о нравственной философии». Жена Александра I читала Карамзину свои дневники, но в некоторых местах «слишком интимного свойства» протягивала историку тетрадь, и он прочитывал молча.

Наиболее интересные отношения — с царем. Александр постоянно любезен, на балах постоянно танцует с Екатериной Андреевной, и Карамзин даже думает, что монарх к ней неравнодушен. Чаще всего видятся летом в Царском Селе, где Александр имел обыкновение в семь утра встречаться и прогуливаться с историком, подолгу беседуя в «зеленом кабинете», то есть под деревьями старого парка. Бывало, царь появлялся внезапно: однажды вспугнул стайку арзамасцев, в другой раз — «лицейского Пушкина»...

Царь присматривается к историографу, пытается понять место этого странного человека среди обширного многообразия двора — и не может. А ведь с тайными и действительными тайными советниками, с министрами Александр не может подружиться — никому не верит (только Аракчееву!); с низшими же не может по другой причине: во-первых, тоже не верит, во-вторых, для сближения должно их повысить, а тут — корысть и т. п. Что за дружба?

Карамзин не министр и не мелкий чиновник. Он — между; или скорее вне... Еще и еще раз царь убеждается, постоянно, каждодневно, что этот человек органически правдив и что, в сущности, он нужен царю больше, чем царь ему.

Александру кажется, что вот — второй друг (рядом с Аракчеевым!). Как можно

догадаться, историк говорит смело, но на душевное сближение идет неохотно и уверен, что, соблюдая дистанцию больше, чем хочется самому императору, он свободнее, спокойнее...

Однажды царь поинтересовался, отчего Карамзин решительно ничего не просит, и даже остро намекнул, что «друг человечества» теряет таким образом возможность помочь другим, если уж не желает — самому себе. И Карамзин принялся ходатайствовать, да как! Действительный статский советник Рябинин был отставлен из-за каких-то денежных дел. Карамзин ходатайствовал чисто по-карамзински: прямо объявил императору, что сути дела не представляет, с Рябининым незнаком, но Екатерина Андреевна знает этого человека очень давно и утверждает, что он благороден. Царь простил Рябинина — Карамзин же написал Дмитриеву, что «из всех милостей Александровых ко мне — эта есть главная».

Ему удалось устроить Жуковского педагогом при царской семье; по ходатайству Карамзина молодого приятеля Николая Кривцова назначают губернатором в Туле; оказана помощь в устройстве на лучшее место и выхлопотаны средства родному Вяземскому, не менее близкому Александру Тургеневу, беспокойному Никите Муравьеву, юному историку Погодину; не раз придется хлопотать за Пушкина. Не все получалось: ряд близких людей все равно обижен, удален... Но немало и получалось, кое-какие несправедливости пресечены.

И вот отметим известный перекос: о спорах историка с «молодыми якобинцами» мы знаем немало, а разговоры с царем едва слышны — это тайна. В результате позиция Карамзина кажется потомкам более односторонней, чем была: нарушено равновесие суждений и доводов, обращенных к обеим сторонам.

Между тем Карамзин толковал с царем обо всем. По его собственному признанию, «не безмолвствовал о налогах в мирное время, о нелепой губернской системе финансов, о грозных военных поселениях, о странном выборе некоторых важнейших сановников, о министерстве просвещения или затмения, о необходимости уменьшить войско, воюющее только Россию, о мнимом исправлении дорог, столь тягостном для народа, наконец, о необходимости иметь твердые законы, гражданские и государственные».

Другого надо бы проверить — Карамзина не надо, скорее наоборот: он столь редко говорит о собственных заслугах, что можно за него и п р и б а в и т ь, тем более что сохранились кое-какие подробности. Вяземский свидетельствует, что, «многое оспоривая у Лагарпа, [Карамзин] не сочувствовал крутым мерам Аракчеева» (бывший учитель царя Лагарп — это либеральный, европейский вариант; то есть тут историк говорил, что многое западное для России не подходит, но притом Аракчеев — это Аракчеев). Вообще «два друга» Александра не часто виделись; у историка своя сфера, у Аракчеева своя. Последний, обеспокоенный критицизмом Карамзина, однажды везет его в «образцовое поселение» близ Петербурга, и, конечно же, там не к чему придраться (Карамзин удивляется селениям на месте осушенных болот). Однако во всей поездке историка поразило более всего одно неожиданное обстоятельство: «Я не мог не заметить, что граф сам был в числе недовольных». Очевидно, Аракчеев, чтобы расположить собеседника, говорил о тяжкой жизни крестьян, солдат и о благородной идее облегчения их участи.

Впрочем, в те же дни Карамзин показывает своему секретарю восторженный, по его мнению, отчет Сперанского о военных поселениях и комментирует: «...этот государственный человек, так блистательно начавший и продолжавший свое поприще, взял, наконец, на себя обязанность аракчеевского секретаря».

Искренне, даже шумно радуясь, когда введение того или иного налога придерживается, Карамзин вообще, про себя, кажется, куда больший пессимист, чем в спорах с декабристами. Когда один из ближайших друзей приветствует освобождение прибалтийских крестьян (без земли), историограф охлаждает его пыл, справедливо сомневаясь, что эта реформа — пример для россиян. Намерения Александра он постоянно считает благородными (наверное, сомнения подступали, но Карамзин еще и умел наделять собеседника собственным прямодушием). Итак, «царь желает добра», но утверждает, будто «некем взять», то есть мало достойных людей наверху; и тут уж в «зеленом кабинете» звучит много нелестного о знатнейших вельможах, опасливо глядящих издали на эти вольные диспуты и частенько старающихся заискивать перед историком-фаворитом.

Нет, Карамзин, который собирался и умереть р е с п у б л и к а н ц е м (то есть сторонником свободного обсуждения главных дел страны многими людьми), не видит

пользы для родной страны в завтрашней конституции, парламенте; он надеется на менее радикальные и более надежные, по его мнению, лекарства — просвещение, литературу, печать; притом и в столь близких ему сферах он побаивается чрезмерных вольностей (при полной отмене цензуры собирается в Константинополь).

Наверное, Карамзин умел защитить перед Александром кое-какую литературу и образованность, но, по всем признакам, Аракчеев, Шишков лучше умели обвинить...

И секретарь Сербинович оставил нам очень сильную запись, открывающую, как переживал Карамзин из-за всего этого: «Без свободы в деле просвещения нельзя быть успеху. Покровительствуя исключительно одну систему, один образ мыслей и воспрещая все другие, нельзя дать правде обнаружиться и защитить себя от возражений тайных. Не стесняя никого, должно дозволить каждому идти своей дорогой, преподавая между тем народу всевозможные средства к образованию».

К тому же общее пессимистическое, усталое расположение царя (передававшееся, конечно, дворцу) выдвинуло на первый план не хорошие книги, статьи, мысли, а истового архимандрита Фотия, разговоры о мистике, загробных чудесах...

Карамзин говорил наверху обо всем; говорил сильно, как и свойственно честному человеку, который вообще — за эту систему и позволяет себе смелую критику именно потому, что за, потому что мечтает об исправлении... Противник же системы, скажем декабрист, так откровенно никогда не станет объясняться, опасаясь, во-первых, слишком себя обнаружить, а во-вторых, не видя проку в том, чтобы уговаривать врага...

Карамзин говорил сильно и налево и направо; слева все больше сердились, возражали, писали меж строк «дурака», справа вежливо выслушивали, улыбались, награждали, пожимали плечами — и все шло своим чередом. В чем историк, впрочем, и не сомневался. Он совсем не был наивен. Все своим чередом, все будет как будет, но и он не станет ни о чем молчать...

Когда царь спрашивает, он отвечает; однажды резко высказывается о том, о чем не спрашивают, и пишет царю: «Ваше величество, у Вас много самолюбия — у меня никакого. Мы равны перед богом... Я люблю только ту свободу, которой ни один тиран не сможет меня лишить». Эта фраза чуть не поссорила их, но Александр стерпел.

Итак, историограф царю нужнее, чем царь ему. Карамзин, человек признанных высоких добродетелей, возвышает царя в собственных глазах, улучшает его репутацию в образованном обществе... К тому же царь мечется, нетверд, подозрителен, а его друг-историк спокоен, открыт, знает, чего хочет. Александр ищет моральной поддержки... И затем продолжает искать ее у Аракчеева.

Но напомним о логике нашего повествования. Обрисовав споры Карамзина с декабристами, мы пытались показать, что он и с царем спорил, толковал обо всем.

Крупнейшим же противовесом тем «любимым парадоксам», которые не нравились «молодым якобинцам», станет следующий, самый трудный и страшный том «Истории Государства Российского» — Россия 1560—1584 годов.

Государь «не расположен мешать исторической откровенности,— пишет Карамзин Дмитриеву,— но меня что-то останавливает. Дух времени не есть ли ветер? А ветер переменяется. Вопреки твоему мнению, нельзя писать так, чтобы невозможно было прицепиться. Впрочем, мне еще надобно много писать, чтобы дописать царя Ивана».

На годичном заседании Российской Академии 5 декабря 1818-го историк спокойно мог произнести: «И власть самодержцев имеет свои пределы». Присутствовавший на заседании Александр Тургенев комментирует эпизод Вяземскому: «В Европе это почли бы за общее место, пошлою истиною; у нас верно дерзостию, которую вслух говорить опасно. Со временем это станут цитировать между характеристическими чертами нашего времени, беременного будущим».

(Окончание следует)

охота сделать леченым каждый трактор — комбайн, и это сильно сказалось на урожаях и на человеке земли. Нужда заставила осознать, вникнуть — и перед хлеборобом открыла фольклорные три дороги.

Первая — чини сам! Выгодно — покупай железки, старайся старинным мужицким образом.

Вторая — найми кузнеца, мастера, он за сходную цену скует, отладит, починит, он не благодетель и не нахлебник — сотрудник и соучастник.

Третья — не чинить вовсе, не лечить совсем, а вкладывать деньги и труд в такие машины, какие весь рассчитанный век, от звонка до звонка, проводят в безотказной работе. Дорого? Да ведь мило — и выгодно! Мозгуй, выбирай среди трех дорог, на то ты и хозяин.

Ноябрь 1982 года.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Н. ЭЙДЕЛЬМАН

★

«ПОСЛЕДНИЙ ЛЕТОПИСЕЦ»*

Главы из книги

ГЛАВА IV. ДЕВЯТЫЙ ТОМ

28 ноября 1818 года: «Описываю злодейства Ивашки».

9 февраля 1819-го: «Пишу об Ивашке».

8 января 1820 года. Карамзин опять с большим успехом читает из IX тома в годичном заседании Российской Академии. Через день царь на Фонтанке встречает Екатерину Андреевну и поздравляет ее с успехом мужа.

25 мая. Увлечен работой: «...все еще жалею, что утро коротко».

27 июня: «Видно... ему [Карамзину] так же трудно описывать царствование Ивана Васильевича, как было современникам сносить его» (шутка Д. Н. Блудова).

Октябрь: «Вывезу отсюда [из Царского Села] Ермака с Сибирью и смерть Иванову, но без хвоста, который еще требует добрых недель шести работы».

10 декабря 1820 года. IX том окончен — настроение хорошее, и в Москву к Малиновскому просьба выслать «все материалы для описания Феодорова царствования».

Меж тем Екатерина Андреевна рожает в девятый раз (дочь Елизавету), и граф Каподистрия шутит, что Карамзин «считает годы новорожденными детьми и томами российской истории».

В Петербурге слухи, будто IX том уже запрещен.

9 мая 1821-го. IX том поступает в продажу (через шесть дней его уже читает Николай Тургенев, через шестнадцать — возвратившийся с очередного конгресса император).

В IX томе 472 страницы текста и почти 300 страниц примечаний. Цена одной книжки — 15 рублей.

Том начинается словами: «Приступаем к описанию ужасной перемены в душе царя и в судьбе царства».

Прежние историки и публицисты не решались откровенно описывать эту эпоху. М. М. Щербатов хорошо знал, но в соответствующих книгах своей истории многое обходил... Только в потаенном своем сочинении «О повреждении нравов в России» сообщил некоторые мрачные подробности об Иване и других: ведь русские цари XVIII—XIX веков постоянно подчеркивали преемственность в отношении прежних правителей, и тем самым «обида» Ивану Грозному становилась политическим делом и для Петра I, и для Екатерины II, и для Александра I.

Карамзин же пишет свободно и страшно. Об «изверге вне правил и вероятностей рассудка», о «шести эпохах душегубства», когда царь, в очередной раз казнив своих сподвижников, набирал новых: «...сокрушив любезное ему дотоле орудие мучительства, остался мучителем».

Почти на каждой странице — казни, казни, сожжение пленных при известии о гибели Малюты, приказ уничтожить слона, отказавшегося опуститься на колени перед царем, семь жен Иоанна, опричные игры... Страшные десятилетия (когда, между прочим, и начался дворянский род Карамзиных).

---

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 2 с. г.

И все же при всех доказательствах не сгущены ли краски? Не преувеличены ли ужасы? Можно ли верить в беспристрастность летописцев? Первым поднял голос все тот же скептик Каченовский (за что был несправедливо заподозрен друзьями Карамзина, будто он «нравственный защитник» Ивана Грозного).

Позже русские, советские историки писали о той эпохе немало и действительно нашли, что в ряде картин краски сгущены: например, зимой 1570 года в Новгороде истребили не десятки тысяч (как пишет Карамзин вслед за современниками событий), а несколько тысяч человек; к тому же отмечались и прогрессивные черты в политике Ивана — централизация, ослабление боярства, присоединение новых земель, Судебник... Наконец, Карамзина упрекали за то, что он судит грозного царя по моральным меркам своего просвещенного времени, тогда как в XVI веке подобная резня — дело обыкновенное (чего стоит Варфоломеевская ночь 1572 года в Париже!).

Дискуссия не окончена, здесь нет возможности в нее углубляться. Но все же предложим несколько соображений насчет карамзинского Иоанна IV.

Карамзин был п е р в ы м, следующие уточняли, уже основываясь на его IX томе.

Число жертв действительно завышено, но и без того достаточно велико (в стране ведь 5—6 миллионов жителей); в советское время академик С. Б. Веселовский и другие исследователи показали, что и та кровь, которая пролилась на самом деле, многое подорвала в стране, имела неизмеримые моральные последствия; когда Карамзин цитирует летописцев, свидетелей описываемых зверств, то он как бы исходит из впечатлений того давнего современника событий... Преувеличение? Но, значит, очевидцу, многим очевидцам именно так казалось; это было их мнение — но притом и социальное впечатление. Если современникам представлялось все в крови и они удесятеряли число жертв — здесь мало воскликнуть, что ошибаются! Надо понять, отчего они ошибаются именно «в эту сторону»; и тогда явится истина не менее, а, может быть, более важная, чем точная статистика казней: предстанет общественная атмосфера террора и крови.

Что касается п р о г р е с с а, то Карамзин постоянно, даже подчеркнуто говорит и о верных, разумных действиях Грозного, а если эти слова все-таки тонут в предшествующих и последующих кровавых сценах, значит, так представлялся историку общий «колорит» этого царствования, то, чего он не желал принять ни при каких «оправданиях».

Наконец насчет того, что в XVI веке зверства расценивались иначе, чем в XIX. Но ведь обвиняющий, даже преувеличивающий голос современников как раз говорит о том, что террор был непривычен, далеко выходил за рамки «допущений» той эпохи. Впрочем, в 761-м примечании Карамзина к IX тому находим: «Людовик XI не уступал Иоанну в свирепости. Вот одна черта: в 1477 году казня герцога Немурского, он поставил его детей внизу эшафота, чтобы кровь несчастного отца излилася на них!.. Платон говорит, что есть три рода безбожников: одни не верят существованию богов; другие воображают их беспечными, равнодушными к деяниям человеческим; третьи думают, что их можно всегда умилостивить легкими жертвами или обрядами благочестия: Иоанн и Людовик принадлежали к сему роду безбожников».

Сравнений же с Варфоломеевской ночью, столь любезных некоторым публицистам, Карамзин как человек сведущий, объективный, конечно, не приводит: Иван Грозный резал — и в ночь с 23 на 24 августа 1572-го в Париже резали. Так! Но во втором случае была гражданская война: пусть подлое нарушение перемирия, но все же не «простая» казнь беззащитных; кроме того, Франция, не знавшая татарского ига, в 1572 году имела ряд преимуществ: начавшийся капитализм, буржуазия, вольности, городские парламенты, университет — то, что Россия еще не скоро узнает (расплата за черные, подневольные века). Иначе говоря, страшную резню 1572-го общественный, государственный организм Франции перенес все же куда легче, чем более отсталая российская структура — террор Ивана Грозного. Здесь разные к о н т е к с т ы внешне сходных событий: трудно доказать, что после Варфоломеевской ночи во Франции произошло усиление деспотизма, были задеты некоторые коренные моральные устои; о России же 1560—1584 годов историк имеет право сказать, что террор «губительною рукою» касался «самых будущих времен: ибо туча доносителей, клеветников, кромешников, им образованных, как туча гладоносных насекомых, исчезнув, оставила злое семя в народе; и если иго Батыево унизило дух россиян, то без сомнения не возвысило его и царствование Иоанново» [1].

[1] «История Государства Российского», СПб, 1821, т. IX, стр. 440.

14*

Поэтому карамзинские обвинения при многих частных неточностях **верны в целом**.

Но остался еще один вопрос вопросов: можно ли было такое переносить даже в XVI веке; как же не восстать? Карамзин видит проблему и пишет о **сопротивлении**: «Еще некоторые говорили о долге и чести; их не слушали — но они говорили, что думали, и явили пример, достойный лучших времен Рима» [2].

Карамзин приводит примеры пассивного сопротивления: Адашев, Сильвестр не роняют чести и отказываются участвовать в кровавой вакханалии; бывший митрополит Филипп не желает благословлять палача: «„Я давно ожидаю смерти: да исполнится воля государева!" Она исполнилась: гнусный Скуратов задушил св. мужа; но, желая скрыть убийство, объявил игумену и братии, что Филипп умер от несносного жара в его келье. Устрашенные иноки вырыли могилу за алтарем и в присутствии убийцы погребли сего великого иерарха церкви Российской, украшенного венцом мученика и славы: ибо умереть за добродетель есть верх человеческой добродетели, и ни новая, ни древняя история не представляют нам героя знаменитейшего» [3].

Карамзин взволнован — и сейчас не желает холодного измерения, кто больший или меньший герой; подобно Алеше Карамазову, он близок к тому, чтобы прошептать крайние, «революционные» слова: «Зрелище удивительное, навеки достопамятное для самого отдаленнейшего потомства, для всех народов и властителей земли; разительное доказательство, сколь тиранство унижает душу, ослепляет ум привидениями страха, мертвит силы и в государе, и в государстве! Не изменились россияне, но царь изменил им!» [4]

Царь — изменник!

Карамзин затем «спохватывается», но не изменяет написанного: «Между иными тяжкими опытами судьбы, сверх бедствий удельной системы, сверх ига моголов, Россия должна была испытать и грозу самодержца-мучителя: устояла с любовию к самодержавию, ибо верила, что бог посылает и язву и землетрясение и тиранов; не преломила железного скиптра в руках Иоанновых и двадцать четыре года сносила губителя, вооружаясь единственно молитвою и терпением, чтобы, в лучшие времена, иметь Петра Великого, Екатерину Вторую» [5].

Сохранился черновик этого листа: Карамзин после Екатерины вписал Александра, вычеркнул, снова вписал. И наконец сделал так, как и попало в печать: «...чтобы, в лучшие времена, иметь Петра Великого, Екатерину Вторую (История не любит именовать живых)».

Намек всем понятен, но никто не обвинил в «ласкательстве»: фраза даже несколько двусмысленна — «История не любит...», то есть будущее еще оценит, скажет по-своему, и неведомо как...

Но вообще в приведенном отрывке монархическая идея Карамзина представлена резко, сгущенно и страшно. Довод «в пользу самодержавия» — что даже против Ивана не восстали, даже его терпели!

Хорошо это или плохо? Историк находит громкие доводы в пользу естественности самодержавия, но отнюдь не умиляется, что все сошлось с ответом... Противоречия собственного рассказа его не смущают. Живые чувства, столкновения человеческого и «государственно-исторического» от этого становятся горячее, правдивее...

Но почему же он, монархист, консерватор, не остановился перед описанием тирании? Цель свою историк не скрывает: он дает отрицательный образец — в назидание, в поучение...

«Жизнь тирана есть бедствие для человечества, но его история всегда полезна для государей и народов: вселять омерзение ко злу есть вселять любовь к добродетели — и слава времени, когда вооруженный истиною дееписатель может, в правлении самодержавном, выставить на позор такого властителя, да не будет уже впредь ему подобных! Могилы бесчувственны; но живые страшатся вечного проклятия в истории, которая, не исправляя злодеев, предупреждает иногда злодейства, всегда возможные, ибо страсти дикие свирепствуют и в веки гражданского образования, веля уму безмолвствовать или рабским гласом оправдывать свои исступления» [6].

К этим строкам Карамзин дает примечание 762-е — и читатель легко находит в

[2] Там же, стр. 266.
[3] Там же, стр. 147.
[4] Там же, стр. 315—316.
[5] Там же, стр. 437.
[6] Там же, стр. 439.

конце книги: «См. историю французской революции». Пессимизм, возможность и опасность повторения соседствуют, как видим, с оптимистической надеждой («предупреждает иногда...»), с верой, что просвещение делает тиранию все менее возможной...

Карамзин оканчивает IX том. Вот последние строки:

«В заключение скажем, что добрая слава Иоаннова пережила его худую славу в народной памяти: стенания умолкли, жертвы истлели, и старые предания затмились новейшими; но имя Иоанново блистало на Судебнике и напоминало приобретение трех царств могольских: доказательства дел ужасных лежали в книгохранилищах, а народ в течение веков видел Казань, Астрахань, Сибирь, как живые монументы царя-завоевателя; чтил в нем знаменитого виновника нашей государственной силы, нашего гражданского образования; отвергнул или забыл название Мучителя, данное ему современниками, и по темным слухам о жестокости Иоанновой доныне именует его только Грозным, не различая внука с дедом, так названным древнею Россиею более в хвалу, нежели в укоризну. История злопамятнее народа!

Конец IX тома» [7].

Вот как писал и печатал Карамзин в 1821 году.

Больше всего именно этот девятый том подтверждает пушкинское: «...несколько отдельных размышлений в пользу самодержавия, красноречиво опровергнутые верным рассказом событий...»

Интереснейшее тому доказательство — отклики современников...

Восторженный Рылеев (20 июня 1821 года): «Ну, Грозный! Ну, Карамзин! Не знаю, чему больше удивляться, тиранству ли Иоанна или дарованию нашего Тацита» [8].

Тремя днями раньше высказался настороженный Николай Тургенев: «Карамзин хорош, когда он описывает. Но когда примется рассуждать и философствовать, то несет вздор. Здесь многие находят, что рано печатать историю ужасов Ивана царя» [9].

Тургенев слышит критику справа — не задето ли самодержавие «ужасами» одного из самодержцев?

Пять лет спустя на процессе декабристов несколько членов тайного общества на вопрос о происхождении вредных мыслей ссылались на «Историю...» Карамзина, особенно на том IX. К этим показаниям присоединился с другой стороны великий князь Константин Павлович, видевший в карамзинских описаниях соблазнительный источник крамолы. Как же это пропустили в столь горячее, преддекабристское время? Царь, точно известно, сделал несколько замечаний на полях IX тома, и Карамзин спросил, следует ли здесь видеть приказ. Александр, однако, боялся задеть своего историографа и предложил «печатать, как есть в рукописи» [10]. Успех восьми томов, общественная и литературная репутация Карамзина не позволяли остановить IX (который прозорливо не был включен автором в первый комплект — тогда «ужасы» могли бы задержать издание!).

Но Карамзин, разве он не понимал, что революционеры воспользуются? Время было такое... Неожиданно в одной точке, на одной книге сошлись желания разных читателей увидеть отрицательный образец тирана, деспота (как в римской истории отыскивали Тиберия, Нерона); или мечта историка (очевидно, внушенная Александру), что здесь образец, как не надо царствовать, урок всяким царям, полезное подспорье просвещенным монархам...

Последние главы IX тома — вольница Ермака — как бы выходят за пределы жутких казней и опричного мрака: оставляют надежду. Ермак почему-то особенно раздразнил Карамзина-художника.

21 июня 1820 года (Дмитриеву): «Между тем я в Сибири: пишу о твоем герое Ермаке... ищу и не нахожу ничего характерного: все бездушно — а выдумывать нельзя».

Благодаря записи Сербиновича мы знаем, какие характерные, то есть художественно-типические детали искал Карамзин в Сибири 1580-х годов: «...интереснейший эпизод нашей истории, с такими картинами, каких еще в ней не бывало. Здесь он

---

[7] «История Государства Российского», т. IX, стр. 471—472.

[8] «Русская старина», 1871, № 1, стр. 66.

[9] Сб. «Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу». М.—Л. Изд. АН СССР. 1936, стр. 349.

[10] М. А. Дмитриев. Мелочи из запаса моей памяти. М. 1869, стр. 63.

[Карамзин] несколько распространился о характере Ермака, о превращении его из разбойника в героя и о тех высоких нравственных условиях и обетах, которыми он обязал своих сподвижников и чрез которые получил столь блестящий успех».

Чувство художественно-историческое Карамзину редко изменяло: его могло з а н о с и т ь (по нашему понятию) далеко от настоящего объяснения, но он верно чувствовал, где, в каких сюжетах д о л ж н ы б ы т ь важнейшие ответы.

Ермак действительно чудо, вернее, первое звено в цепи чудес: невероятное освоение Сибири, через немыслимые дебри, невообразимые морозы, расстояния, лишения, опасности. Пушкин скажет семнадцать лет спустя: «Завоевание Сибири постепенно совершалось. Уже все от Лены до Анадыри реки, впадающие в Ледовитое море, были открыты казаками, и дикие племена, живущие на их берегах или кочующие по тундрам северным, были уже покорены смелыми сподвижниками Ермака. Выявились смельчаки, сквозь неимоверные препятствия и опасности устремлявшиеся посреди враждебных диких племен, приводили их под высокую царскую руку, налагали на их ясак и бесстрашно селились между ними в своих жалких острожках».

Чисто пушкинское столкновение разных понятий: в одной фразе эпитеты «неимоверный», «высокий», «бесстрашный», «жалкий» и все относящиеся к одним и тем же, казакам, открывателям, землепроходцам.

Тут была тема народа.

Правда, она присутствует в любом томе — от Рюрика до Ивана Грозного. Но так всегда у Карамзина — народ плюс власть (князья, цари, управляющие народом); роль самодержавия, мы знаем, представлялась Карамзину исключительной, творящей («российский палладиум»).

Но Ермак — случай особый: российский человек на воле, без царей, воевод, приказных. И горстка казаков, сотни, редко тысячи вчерашних крестьян, оказывается, несут в себе неслыханный заряд энергии, которая в д р у г ведет их за тысячи верст и позволяет учетверить размеры Российского государства.

Автор «Истории Государства Российского» приглядывается к народу внимательно, художественно. Действительно, «какая сила в нем сокрыта?». Вынесли многовековое иго, поднялись, свергли, побили мощных соседей, распространились на два континента, а через тридцать лет после Ермака, когда страна, казалось, рассыпается, когда царя нет и в Москве неприятель,— вдруг за Мининым и Пожарским (как во Франции за Орлеанской девой) поднимутся, спасут и — п о д ч и н я т с я...

Кажется, все мог великий народ, заряженный особенной исторической энергией, все мог — всех разбить, все освоить и даже самого себя закабалить.

Наверное, можно было бы сравнить его с бурлящим потоком, способным все препятствия размыть, всюду пробиться; но являются строители канала, плотины — и вся сила воды им уж принадлежит.

Карамзин о том и говорит — декабристы о том и говорят, но «с разными знаками». Для поклонников древних вольностей царская власть (сначала Рюриковичи, потом Романовы) вознеслась народною силою, и за то народ поработился — самодержавием и крепостным правом.

Карамзин же п р и в е т с т в у е т превращение «разбойника в героя» — соединение дикой казацкой вольницы с московской властью и отсюда удесятерение их общих сил.

Пишется о Ермаке, но, по сути дела, и о Разине, Пугачеве...

Крестьянский бунт, восстание против царей для Карамзина «бессмысленны и беспощадны» (хотя не он эти слова напишет); декабристы тоже не хотят Пугачева, но полагают, что главным виновником новой пугачевщины будет Аракчеев.

Зато Карамзин находит плоды своеобразного союза власти с народом в 1812-м...

Тема, важнее всех других, п о с т а в л е н а.

Ермак в IX томе сражается с Кучумом и посылает гонцов к Ивану Грозному.

Карамзинские герои, описанный им н а р о д, отправятся вскоре на страницы пушкинского «Бориса Годунова».

Но до того еще несколько нелегких лет.

ГЛАВА V. ПОСЛЕ ГРОЗНОГО

Три с лишним года читатели с нетерпением ожидают продолжения — следующих томов. Сетуют на медлительность Карамзина: за столько лет ни одной новой книги.

1 8 2 1—1 8 2 4 - е г о д ы: Шампольон расшифровывает египетские иероглифы и

дарит миру целую древнюю цивилизацию; революции в Испании, Португалии, Пьемонте, Неаполе, Греции, Латинской Америке («Газеты снова интересны,— кажется, радуется историк.— Как бы хотелось знать, что будет с греками»).

«...венец слетел с головы Фердинанда VII [Испанского], а остался на ней один колпак, почти шутовской»,— так почти весело писано Александру Тургеневу.

Улыбки, печаль, надежды и в других письмах.

«Поздравляю с новою революцией (португальскою). Скоро ли пройдет эта мода? Или мы пройдем скорее?»

«В Америке рождаются новые государства: Мексика и Перу могут со временем быть великими державами, богатыми и приятнейшими для жизни; но это еще далеко. Между тем видим Испанию в судорогах разрушения. Наше время заставляет более мыслить, нежели веселиться».

Попадаются, однако, строки куда более нервные, горячие: «Век конституций напоминает век Тамерланов: везде солдаты в ружье...»

«Между тем шумят о конституциях. Сапожники, портные хотят быть законодателями, особенно в ученой немецкой земле. Покойная французская революция оставила семя, как саранча: из него вылезают гадкие насекомые. Так кажется. Впрочем, будет, чему быть надобно, по закону высшей премудрости».

Эти сапожники, портные — действующие лица будущей «славной» шутки графа Ростопчина (во Франции граф понимает революцию: «Сапожники захотели стать князьями»; в России же 14 декабря не понимает: «Князья пожелали стать сапожниками»).

Российские *князья* все крепче и опаснее закладывают мины для будущего взрыва... Почти на глазах Карамзина — семеновская история 1820 года, «мирный бунт» важнейшего гвардейского полка.

Историк знает, предчувствует 14 декабря — и огорчается: не верит, отрицает для России этот путь.

Отношения с царем, с царицами по-прежнему хорошие. Все хорошо — и все печально... Старшую дочь Софью делают фрейлиной, его самого — действительным статским (генерал Карамзин!). Царь, зная нелюбовь историка к чинам, подчеркнул, что награждает историографа, а не Карамзина. Награжденный благодарил изысканно и ехидно — за признание заслуг историографа и «чин для публики».

Награды, чины и в то же время над другими очень близкими — *черные облака*, как некогда, в 1792—1793-м, над тогдашним Карамзиным. В опалу и отставку попадает друг-брат Петр Вяземский; Александра Тургенева, можно сказать, съели темные клерикальные силы, набиравшие голос возле трона. Карамзин горячился, пытался примирить с царем старинного друга, который никогда не был радикалом, заговорщиком и смотрел на вещи сходно с историком. Александр I, кажется, готов был уступить, но сам Тургенев понял, что ему с новым курсом не ужиться. По этому случаю Карамзин жалуется Дмитриеву: «Тургенев спокоен в чувстве своей правости; а я, любя его как брата родного, любя искренно и доброго царя, был грустен, и все еще жалею, очень жалею».

Порою нелегко сдержаться, соблюсти дистанцию. Однажды запишет о придворных: «Больше лиц, нежели голов; а душ еще менее».

Внимательно следят за историком-фаворитом многие могучие недоброхоты, крайние мракобесы — Магницкий, Рунич, Фотий, только и ждут сигнала, чтобы освистать, выкинуть. «Ты говоришь о нападках Булгарина: это передовое легкое войско, а главное еще готовится к делу, как мне сказывали: Магницкий etc. etc. вступаются будто бы за Иоанна Грозного. И тут ничего не предпринимаю: есть бог и царь!» (Карамзин — Дмитриеву).

Раньше, до 1820 года, историограф много спорил и направо и налево. Теперь все чаще находит и это бесполезным; *удаляется*: «...ось мира будет вертеться и без нас». Он стар для молодых, молод для стариков: о чем говорить? Уже все сказано...

«...мне уже ничего не надобно. Я простился даже и с мечтою быть полезным в государственном смысле; не простился только с историею: вот мое дело, вопреки нашим кастратам и щепетильникам».

То есть ему говорят, намекают, что есть дела поважнее, посовременнее его «Истории...»; или, наоборот, стоит ли так писать, например, о злодеяниях Грозного?

«...*вот мое дело*...»

Такая позиция обрекала на одиночество. Одиночество обострялось и распадом «Арзамаса»: одни уходят в декабристы, другие уезжают в дальние края, третьи —

в деревню, в частную жизнь. Вяземский воскликнет: «Умнейшие из нас, дельнейшие из нас, более или менее, а все вывихнуты: у кого рука, у кого язык, у кого душа, у кого голова в лубках... Арзамас рассеян по лицу земли, или, правильнее, по <...> земли» [11].

Одиночество. И сочувствие немногих избранных: «Мне кажется, что одному Карамзину дано жить жизнью души, ума и сердца. Мы все поем вполголоса и живем не полною жизнью, оттого и не можем быть довольны собою». Так писал Александр Тургенев Вяземскому [12].

Вяземский соглашался: «Карамзин... создал себе мир светлый и стройный посреди хаоса тьмы и неустройства».

И Вяземский и Александр Тургенев не принадлежат к тем соратникам Рылеева, Пестеля, Николая Тургенева, кто решился, кто нашел смысл жизни, и поэтому не согласятся, будто один историограф живет светло и стройно.

Но мы уже говорили, что моральную силу, чистоту души Карамзина признавали и большинство критиков.

Само существование такого человека, с такой позицией среди вихрей и столкновений 1820-х годов было уже событием, целым «политическим течением». Он же вослед надолго уезжающему за границу Александру Тургеневу шлет примечательное напутствие: «Для нас, русских с душою, одна Россия самобытна, одна Россия истинно существует: все иное есть только отношение к ней, мысль, привидение. Мыслить, мечтать можем в Германии, Франции, Италии, а дело делать единственно в России, или нет гражданина, нет человека: есть только двуножное животное с брюхом и с знаком пола, в навозе, хотя и цветами убранном. Так мы с вами давно рассуждали».

Одиночество — и свое дело. X том — время царя Федора Иоанновича, конец XVI столетия. XI том — Борис Годунов, Лжедмитрий. И постоянные попытки сегодняшнего года, века вторгнуться в мысли историографа, направить перо...

«Хотелось бы дописать до Романовых: тут конец поэмы — остальное наследникам. Еще бы два тома, и поклон истории».

3 марта 1821 года — Малиновскому благодарность за присылку из московского архива «двух ящиков» для X тома; сообщает, что написал первые «несколько строк».

30 сентября: «Я бреду вперед; описываю теперь убиение Димитрия».

5 декабря — просит приготовить «все о Годунове»: «...хочется отделать его цельно, не отрывком... На сих днях встретилось мне в бумагах 1597 года описание двадцати или тридцати блюд царского стола — находка любопытная!»

Позже просит планы зданий, космографию, в которой находится древнейшая карта России, времен Годунова.

31 марта 1822 года: «...кончил 4 главу 10-го тома и примусь за Годунова, описав судьбу России под скипетром Варяжского дому».

X том окончен; отправляющемуся на Венский конгресс царю историограф вручает тетради «в дорогу».

Царь, вернувшись, делает несколько замечаний, очевидно не настаивая. Карамзин в двух только местах «взялся поправить».

16 июня — жалуется Дмитриеву, что трудится над «Историей...» по пять часов в день, «иногда и бесплодно или почти бесплодно».

Друг Дмитриев оставляет «Воспоминания», и Карамзин их с наслаждением читает, требует еще и еще, но сам даже и не думает о чем-то подобном.

«История...» — это и есть его мемуары. Из своих старых веков он, понятно, хорошо видит дух своего времени и существо сегодняшних обстоятельств.

Но все ему мало, мало... Не оставляет бес современности, тянет к сверхсекретным политическим бумагам XVIII — начала XIX века, к тем годам, до которых его «Истории...» не дойти... Дмитриеву сообщается: «...как любопытно! Вижу перед собою и Долгоруких и Голицыных, и Бирона и Остермана... Недавно читал я также допросы Лестоку и Бирону, жалея, что не буду писать истории сего времени. Прелесть!» Прелесть — присоединим и мы свой голос, оценивая только что приведенные строки. Карамзин — чувствительный, сентиментальный, очень чуткий к нравственному началу — забывается: наслаждение ученого явно берет верх над ужасом потомка перед допро-

---

[11] «Остафьевский архив князей Вяземских», в пяти томах, СПб. 1899—1913, т. III, 1908, стр. 73.

[12] См. там же, т. I, 1899, стр. 294.

сами, казнями, кошмарами бироновщины; прелесты! — восклицает Карамзин, воображая, как бы хорошо можно было заполнить двухвековую пропасть между его «Историей...» и его современностью.

«Вообще я так много читал здесь о происшествиях петербургских, что этот город сделался для меня уже историческим: Нева, крепость, дворец напоминают мне столько людей и случаев! Отживая век для настоящего, с каким нежным чувством обращаемся к прошедшему».

Осмелимся поправить историка: именно оттого, что не отжил для настоящего, обращается он к вчерашнему; не жалеет времени и, добившись специального царского разрешения, погружается в дело Волынского («...две кипы и сундук. Гнусно и любопытно»); тянет к родному XVIII, к пожару Москвы — но где силы взять на все века?

«Осталось бы написать XII том и coup d'œil [взгляд, краткий обзор] до наших времен, для роскоши...» Мечта эта высказана в письме А. Ф. Малиновскому. Брату чуть иначе: «Заключу мою Историю обозрением новейшей до самых наших времен».

Вот для чего он читал из XVIII века... Но постоянно сам себя опровергает. Летом 1825-го он, например, объясняет Жуковскому, Вяземскому и Сербиновичу о французской революции (и, понятно, вообще о новейшей истории, которая так притягивает, что приходится крепко отталкиваться!): «...писать ее историю еще рано; предмет богатый, но слишком близкий к нашему времени. Современники требуют более подробностей, а история должна быть разборчива».

Нет истории без типических подробностей, но нельзя обнародовать подробности о недавнем: заколдованный круг — как выйти?

Пушкин скажет, что надо вести записки, чтобы на нас могли ссылаться; сам несколько раз будет за них приниматься, плоды четырехлетнего труда сожжет, снова возьмется — и не успеет...

Карамзин отпускает вежливый поклон XIX, XVIII и, не прекращая чтения записок, документов, удаляется в 1600-е...

22 сентября 1822 года: «...начинаю описывать гонение Романовых, голод, разбои, явление самозванца: это ужаснее Батыева нашествия».

28 сентября: «Теперь пишу о гонении Романовых, а самозванец стоит у дверей. Предмет любопытен: лишь бы удалось описать хорошенько».

30 октября: «...читал императрице Марии Ф. главу об избрании Годунова в цари вместо главы из романа Вальтер-Скотова и Гатчинское общество не дремало. Хорошо, если бы удалось еще с некоторою живостию дойти до конца, мною предполагаемого, чтобы высокоблагородное потомство, дочитав, могло сказать: „жаль!"».

Сегодняшний историк, возможно, удивится такому вниманию к форме: лишь бы «описать хорошенько... с некоторою живостию». Сохранившиеся листы черновиков насыщены стилистической правкой. Художественность рассказа для Карамзина-ученого — цель. Форма в определенном смысле важнее содержания, ибо без нее нет содержания, то есть былой жизни.

11 декабря: «Теперь пишу о самозванце, стараясь отличить ложь от истины. Я уверен в том, что он был действительно Отрепьев-расстрига. Это не новое, и тем лучше».

14 января 1823 года — в торжественном ежегодном заседании Российской Академии Карамзин читает отрывок об убиении царевича Дмитрия и об избрании на царство Бориса Годунова.

Николаю Тургеневу не понравились «эти слезы, эта тоска народа при смерти Федора Ивановича и при просьбах Годунова о принятии престола».

Историк читает, декабрист оспаривает, а главный истолкователь еще не знает, не подозревает — «в глуши Молдавии печальной»...

«Пушкин, говоря о Карамзине, рассказывал мне однажды: часто находил я его за письменным столом с вытянутым лицом — вот так (при этом слове он вытягивал сам свое лицо). Он отыскивал какое-нибудь выражение для своей мысли...» [13].

Пушкин со многими пытается разделить тоску по Карамзиным; просит Вяземского не забывать прозы — «ты да Карамзин одни владеют ею»; брату Льву Сергеевичу: «Напиши мне нечто о Карамзине, ой, ых».

Отголосок старых споров, эпиграмм... Карамзин только лучшему другу Дмитриеву написал откровенное мнение о «любезном Пушкине» (25 сентября 1822 года):

[13] «Литературное наследство». М. Издательство Академии наук СССР. 1952, т. 58, стр. 351 (запись М. П. Погодина).

«Талант действительно прекрасный: жаль, что нет устройства и мира в душе, а в голове ни малейшего благоразумия». Сам же любезный Пушкин за тысячи верст, конечно, тонко улавливает отношение одного из самых уважаемых им людей...

Сегодня, когда мы вольно или невольно расставляем российских писателей «по рангам», Пушкин, разумеется, главнее и нам, право, неловко за карамзинское мнение, будто у Пушкина «в голове ни малейшего благоразумия». Но что же делать, Карамзин в ту пору был читателям не менее важен, чем Пушкин; Карамзин так думал; Карамзин Пушкина несколько лет не видел — и судил по старинке. Пушкину карамзинский упрек, самый несправедливый, был все равно полезнее пошлой хвалы. И наконец, самое главное: Пушкин делом опроверг этот вздох историографа о себе... Смерть Федора, избрание Бориса — здесь он, Пушкин, вскоре произнесет главные слова!

Тема Бориса, самозванцев была, как видно, созвучна напряженному неустройству, ожиданию 1820-х — и малейшие сведения о карамзинском замысле будоражили молодых.

29 августа 1823 года дерптский студент и славный поэт Николай Языков пишет, что с нетерпением ждет карамзинских страниц о самозванце, ибо та эпоха «может дать хорошие матерьялы для романиста исторического». Пушкин же умом, душою, сомнениями, поэтическим опытом приближается к истории — и будто только ждет X и XI томов, чтобы приняться за «Комедию о настоящей беде Московскому государству...».

Как все просто выглядит сейчас, когда мы знаем то, что сбылось. И как все было зыбко летом 1823-го!

12 апреля Карамзин еще уверял брата, что работает усердно: кончил Федора Борисовича, начинает Лжедмитрия, осенью надеется начать Шуйского.

А затем так навалилась лихорадка, так худо было, что разнеслись слухи о смерти,— все лето приходил в себя и 6 августа открылся брату: «Я был действительно при дверях гроба... умер бы легко, не чувствуя смерти».

Умри Карамзин (не дай бог — хочется вдруг сказать), умри летом 1823-го — и выход XI тома (да, наверное, и X, с ним связанного) задержался бы, конечно, на несколько лет. И не написал бы Пушкин своего «Бориса» в 1825-м — а после 14 декабря совсем иная обстановка — и, вероятно, не написал бы совсем.

Страшно даже о таком подумать; но — обошлось...

X и XI

1823-й, 18 октября: «Дописываю теперь самозванца... После болезни имею к себе менее доверенности: не ослабела ли голова с памятью и воображением?»

Конец ноября — начало декабря: рукописи X и XI томов уходят в типографию. «Хуже всего то, что на меня часто находит грусть неизъяснимая, без всякой причины, и нервы мои раздражены до крайности». «Хорошо, если они [X и XI тома] так же разойдутся, как 9-й том. Кроме авторского честолюбия, это могло бы поправить и наши экономические обстоятельства».

21 января 1824 года. X том отпечатан.

С 4 марта X и XI тома рассылаются подписчикам.

14 марта (А. Тургенев — Вяземскому): «На Семеновском мосту только и встречаешь, что навьюченных томами Карамзина «Истории». Уж 900 экземпляров в три дни продано»[14].

В столице, как бывало и прежде, книжки прямо на квартире Карамзина продает Афанасий Иванович — «грамотный рядовой из сторожей департамента духовных дел».

Тома разошлись, но все же не так стремительно, сенсационно, как в 1818-м. Карамзин видел — что-то переменилось в воздухе; одни устали, другие далеко ушли.

Всего продано 2000 экземпляров — втрое меньше, чем в 1818-м,— но отказываться от «Истории...» рано было, и Карамзин, кажется, это вскоре почувствовал.

Восемь томов в 1818 году, как и IX том в 1821-м, как и X, XI в 1824-м, каждый раз становились значительным культурным, общественно-политическим событием, вызывали волну откликов, споров, ответов, подражаний, новых замыслов...

В напряженной, усталой атмосфере 1824-го, когда миновали надежды на реформы,

[14] «Остафьевский архив князей Вяземских», т. III, стр. 19.

когда окончились европейские революции, когда «либерал Пушкин» оставляет в черновике —

От Тибровых валов до Вислы и Невы,
От сарскосельских лип до башен Гибралтара:
Все молча ждет удара,
Все пало — под ярем склонились все главы.

В этом-то «остановившемся времени» бурные, живые страницы родной истории были свежим воздухом, признаком настоящей жизни.

Языков в Дерпте жадно читает новые тома, «эти любопытства полные доказательства великого таланта нашего Ливия. Дай бог, чтоб он сколько можно продолжал писать русскую историю, хотя бы до смерти Петра».

Грибоедов летом 1824-го находит, что «стыдно было бы уехать из России, не видавши человека, который ей наиболее чести приносит своими трудами».

Александр Бестужев, обдумывая разные способы исторического описания русской жизни, вздыхает: «...но что скажешь после Карамзина?»[15]

Наконец, Пушкин: «Что за чудо эти 2 последние тома Карамзина! какая жизнь! Это злободневно, как свежая газета».

Карамзин, кстати, хорошо знает от Вяземского, что Пушкин пишет «Бориса», просит рукопись, но — не успеет прочесть. Слишком мало времени, слишком много событий...

«Мы не рады тому, что бог не дал нам видеть этого общего бедствия».

Карамзин, всегда стремящийся в «минуты роковые» сам быть историческим свидетелем, жалеет, что не видел великого петербургского наводнения 7 ноября 1824 года. В Царском Селе та буря, что гнала обратно Неву, «ломала и рвала с корнем давнолетние деревья».

Царь скажет Карамзину слова, которые позже попадут в пушкинский «Медный всадник»: «Мой долг быть на месте... Воля божия; нам остается преклонить главу пред нею».

Наводнение это немалому числу мыслящих людей показалось близким предвестником других роковых минут и роковых лет.

ГЛАВА VI. ОСЕНЬ ЖИЗНИ

Карамзин — Дмитриеву. 22 октября 1825 года:

«...я точно наслаждаюсь здешнею тихою, уединенною жизнию, когда здоров и не имею сердечной тревоги. Все часы дня заняты приятным образом: в девять утра гуляю по сухим и в ненастье дорогам, вокруг прекрасного, не туманного озера... в 11-м завтракаю с семейством и работаю с удовольствием до двух, еще находя в себе и душу и воображение; в два часа на коне, несмотря ни на дождь, ни на снег: трясусь, качаюсь — и весел... знаешь ли, что я с слезами чувствую признательность к небу за свое историческое дело? Знаю, что и как пишу; в своем тихом восторге не думаю ни о современниках, ни о потомстве; я независим и наслаждаюсь только своим трудом, любовию к отечеству и человечеству. Пусть никто не будет читать моей Истории: она есть, и довольно для меня. Одним словом, я совершенный граф Хвостов по жару к музам или музе! За неимением читателей могу читать себя и бормотать сердцу, где и что хорошо. Мне остается просить бога единственно о здоровье милых и насущном хлебе до той минуты

Как лебедь на водах Меандра,
Пропев, умолкнет навсегда»...

Прекрасная проза, исповедь. Через год без малого после наводнения, за два месяца без малого до восстания. Ровно за семь месяцев до смерти.

О смерти заговаривает все чаще; брату признается, что смотрит на здешний свет «как на гостиницу». Меж тем работа «опять сладка», перед прощанием.

Жуковский и Александр Тургенев рассказывают (а Сербинович записывает) о недавно обнаруженном двухсотлетнем старце: появился на свет около 1620 года — в то самое время, куда вплотную подошли тома «Истории Государства Российского».

Старец прожил «недостающую часть»...

[15] «Литературное наследство», М. 1956, т. 60, кн. I, стр. 200.

А старинный знакомец, старше Карамзина на девять лет, граф Хвостов (на ужасных стихах которого оттачивает сатирические перья вся русская словесность),— граф Хвостов в отличие от Карамзина вовсе не унывает и восхищает историка не хуже того двухсотлетнего старца...

Жена умоляет лечиться — поехать за границу, снова увидеть мир «русского путешественника». Николай Михайлович, однако, никак не желает «трястись в карете или шататься на корабле».

Путешествие, да! — но по времени, в XVII век, к Шуйскому, Тушинскому вору, Семибоярщине, Минину и Пожарскому.

Последний том

«Пишу мало, однако ж пишу, во всяком случае последний XII-й том: им заговеюсь для двух тысяч современников (NB по числу купленных экземпляров) и для потомства, о котором мечтают орлы и лягушки авторства с равным жаром» (Дмитриеву).

Брату сообщает, что «хотелось бы скорее кончить, прежде охлаждения душевного».

Посланы в Москву подробные вопросы о Шуйском, получены обширные ответы. Молодого историка Калайдовича просят побывать в Тушине и описать место, где стоял Лжедмитрий II; корреспондент присылает историографу подробный план.

3 сентября 1825-го Карамзин жалуется, что «История не двигается вперед: в $3^1/_2$ месяца едва ли написал 30 страниц». Нужны помощники, наследники. Много лет в его работе участвуют Малиновский, Румянцев, Калайдович, Строев, Оленин, Александр Тургенев; теперь помогает Сербинович, все сильнее участие Погодина, Хомякова, историка донского казачества Сухорукова.

7 октября в Михайловском окончен пушкинский «Борис».

Карамзин дописывает в эти дни пятую главу XII тома: 1611 год, славная оборона Троице-Сергиева монастыря; еще немного — «и поклон всему миру, не холодный, с движением руки навстречу потомству, ласковому или спесивому, как ему угодно... Близко, близко, но еще можно не доплыть до берега».

15 ноября 1825-го: семья Карамзиных переезжает из Царского Села в город.

26 ноября из Таганрога прибывает курьер с сообщением о тяжелой болезни царя.

«Я, мирный историограф...»

Еще летом 1825-го Карамзин по просьбе молодой императрицы подобрал исторические справки о Таганроге — южном городе, куда собиралась царская фамилия. 1 сентября 1825-го историограф простился с Александром I, через день с царицей. Много лет спустя, уже во второй половине XIX века, вышла из архивных тайников запись Карамзина об одной из последних вечерних бесед с императором 28 августа с восьми до половины двенадцатого...

«В последней моей беседе с ним... я сказал ему, как пророк: «Государь, ваши дни сочтены, вы не можете более ничего откладывать и должны еще столько сделать, чтобы конец вашего царствования был достоин его прекрасного начала» [16]. Царь обещает...

Запись, поражающая и смыслом и краткостью.

Царю, как видим, делается прямое, недвусмысленное предсказание (впрочем, возможно, в ответ на его собственные предчувствия).

Историк знает — вот-вот нечто вспыхнет; а у царя уже доносы Шервуда и Бошняка о планах скорого восстания и цареубийства.

Александр обещает — но отчего же на другой день после его отъезда Карамзину «грустно, мрачно, холодно в сердце, и не хочется взять пера»?

Больше с этим царем не виделся. 27 ноября 1825 года в разгар молебствия во здравие во дворец примчался траурный гонец из Таганрога.

Открыли завещание Николаю — присягнули Константину — получили отказ Константина — готовятся присягать Николаю. Междуцарствие, какого не бывало со времен карамзинского XII тома.

---

[16] Н. М. Карамзин. Неизданные сочинения и переписка. СПб. 1862, часть первая, стр. 12.

Минуты роковые.

Историк присматривается к странному, притихшему Петербургу без императора. «...вот уже целый месяц, как мы существуем без государя, н, однако, все идет так же хорошо, или по крайней мере так же плохо, как раньше». Эти слова одного нз арзамасцев, сказанные при Карамзине, запомнил декабрнст Александр Муравьев, брат Никиты: для мятежников в описанной ситуацин это еще один довод, что самодержцы вообще не нужны. Карамзни иначе думает, но притом, разумеется, не скрывает своих опасений насчет ожесточенной Россин. В разговорах с императрицей-матерью н завтрашним царем Николаем приводнт такие страшные подробности (н, надо думать, исторические параллели с Годуновым, Лжедмитрнем, Шуйским), так «увлекся отрицанием», критикой правления Александра, что (согласно М. П. Погодину) Мария Федоровна просит нсториографа: «Пощадите сердце матерн!» «Ваше Величество,— отвечает Карамзин,— я говорю не только матерн государя, который скончался, но н матери государя, который готовится царствовать».

Вот таким был этот моиархист, который не умел, не мог лгать во спасение н говорил любимым монархам страшные вещи, да еще так писал про их предшественников, что будущий декабрист-смертник восклицал: «Ну, Грозный! Ну, Карамзин!»

14 декабря 1825 года с утра явился во дворец с дочерьми-фрейлинами: день присяги Николаю. Снаружи вдруг стрельба, крики, восстание! Историк видит оцепеневшего от страха Аракчеева и еще нескольких виновннков — ему нечего им сказать. Александра Федоровна, жена Николая, молится, Мария Федоровна повторяет: «Что скажет Европа!» «Я случился подле них: чувствовал живо, сильно, но сам дивился спокойствию моей души странной; опасность под носом уже для меня не опасность, а рок н не смущает сердца».

Он должен все видеть сам — как в Париже 1790-го, в Москве 1812-го. Идет на улицу. к Сенатской — людн запомнили человека в парадном придворном мундире, без шляпы, «с его статным ростом, тонкими, благородными чертами, плавною спокойною походкой и развевающимися на ходу жидкими седыми волосами».

«...видел ужасные лица, слышал ужасные слова, и камней 5—6 упало к моим ногам».

Он неиавидит мятеж, но все же, явно удивляясь самому себе, признается Дмитриеву: «Я, мирный нсторнограф, алкал пушечного грома, будучи уверен, что не было иного способа прекратнть мятеж».

Из других писем н разговоров тех дней мы восстанавливаем горькие, противоречивые чувства, одолевавшие Карамзина. Он, оказывается, уговаривал каких-то солдат или обывателей не бунтовать, разойтись. Другим бы это не сошло — одному из таких агитаторов чуть череп ие проломили прикладом...

Историограф «алкал», ждал пушечных выстрелов, негодовал: «Каковы преобразователи России: Рылеев, Корнилович...». Однако замешано, арестовано и множество своих, прежде всего близкие из близких — Никита н Александр Муравьевы, Николай Тургенев (ои, правда, в Англии, но объявлеи вне закона), Николай Бестужев, который один мог бы «продолжить... „Письма русского путешественника"»[17]; подписаны приказы об аресте Михаила Орлова, Кюхельбекера (переводившего «Историю...» на немецкий); в тюрьме и множество других старинных знакомых, читателей, почитателей — тех молодых людей, которые столь жадно ожидали его «Историю...» н которые там вычитали свое. В письме Дмитриеву Карамзин надеется: «Дай бог, чтобы истинных злодеев иашлось между ими не так много», с первых же дней обеспокоен, что теперь раздолье будет для аракчеевых, магницких, которые станут восклицать: «Мы же говорили!»

Декабризма Карамзин решительно не принимает, но он исторнк — и трудно не заметить широких причин, глубоких основ.

Карамзин: «Каждый бунтовщик готовит себе эшафот»; «что ничего не доказывает»,— отвечал Никита Муравьев.

Пришло время эшафота.

Карамзин: «Предадим, друзья мои, предадим себя во власть Провидению. Оно конечио имеет свой план...»

Муравьев: «...революция была без сомнения в его плане».

Нечестному легко помнить одно, забыв, желая забыть другое. Честному человеку — невозможно. «Я только зритель, но устал душою...— жалуется Карамзин Дмитриеву.— Авось скоро возвращусь к своей музе-старухе».

[17] «Литературное наследство», т. 60, кн. I, стр. 161.

Но в XVII век теперь не скрыться. К тому же в течение четверти века работы над «Историей...» древность и современность в каждом томе привыкли «к смешению».

Главные свои слова о 14 декабря и декабристах Карамзин произнесет очень скоро: «Заблуждения этих людей есть заблуждеиия века».

Значит, прав был Никита Муравьев: революция в плане провидения, ибо заблуждения века не могут ведь быть случайностью, простым «злым умыслом» одного, десятерых? Они в природе вещей — и если так... Если так — надо на всю русскую историю, давнюю и недавнюю, взглянуть по-новому, заметить то, что высветлилось в минувших веках от вспышки 14 декабря.

Честному человеку менять свои убеждения значит менять жизнь. Если же сил не хватает — умереть.

Декабрь — май

Карамзин заболевает через несколько дней — простудился на улицах и площадях 14 декабря. В представлениях современников н ближайших потомков нсториограф стал еще одной, пусть неявной жертвой рокового дня.

Если не спрямлять события, не романтизировать, то можно бы, казалось, возразить: нсторик н прежде серьезно хворал, теперь же болезнь то наступает, то отступает, и в хорошие дни Карамзин еще пишет, пытается совершать прогулки по городу...

И все же действительно имеино с 14 декабря Карамзин угасает. Подорвано не только здоровье, но н оптимистическая струна, на которой все держалось. Это подтверждают н некоторые его попытки выйти из крнзиса, ожить.

Еще накануне восстания новый царь просит Карамзина написать манифест о вступлении на престол.

Историк пишет, причем дважды обращается к «тени Александра I»: во-первых, упомянув «дела беспримерной славы для отечества», случившиеся в прошлое царствование; во-вторых, предложив Николаю I формулы «да будет наше царствование только продолжением Александрова!.. Да нсполнится все, чего желал, но еще не успел совершить для отечества Александр...».

Новому императору зто не пришлось по душе. Он крепко недолюбливал старшего брата (а после восстания вообще едва сдерживался, сетовал, что Александр I «распустил» народ); карамзинский намек на ожидавшиеся, но не сбывшиеся государственные реформы тоже раздражает Николая. Историографу было сказано, что царю «неприлично хвалить брата в манифесте» и что решительно не нужно «излишних обязательств».

Тут настал час Сперанского. Автор старых проектов государственного преобразования России теперь приглашен для составления документа, где о преобразованиях ни слова! Консерватор Карамзин отвергнут как либерал, левый. И он оставляет «секретную запись» обо всех зтих делах: «Один бог знает, каково будет наступившее царствование. Желаю, чтобы зто сообщение было любопытно для потомства: разумею, в хорошем смысле»; историк, как видно, опасается (и справедливо), что в истории с манифестом есть н дурной смысл...

С зтим царем диалогу не быть: «Новый государь Россни,— пишет Карамзин брату,— не может знать н ценить моих чувств, как знал и ценил их Александр. Я слишком для него стар и думаю только кончить, если даст бог, 12-й том Истории, чтобы куда-нибудь удалиться от двора, в Москву ли или в немецкую землю для воспитания сыновей».

Врачи объясняют Екатерине Андреевне, что легкие очень плохи, что грозит хроническое воспаление и отек (пенициллина еще не изобрели, спасение маловероятно). Больного не беспокоят, но в дни ухудшения он требует друзей н новостей. Иногда принимает в саду — «...люблю солнце и греюсь; да оно меня что-то не очень жалует»...

Последние беседы записывает Сербинович, который теперь только по воскресеньям может забегать к Карамзиным: его взяли иа службу в следственную комиссию по делу декабристов, где он разбирает и сличает сотни бумаг, переводит с польского и т. п.

Постоянно приходят Жуковский, Александр Тургенев, Блудов, Дашков — арзамасцы.

Месяц за месяцем идет секретный процесс над сотнями «государственных преступников» — за себя историк, разумеется, совсем не боится, не то что за других...

Еще раз вспомним, приведем в контексте примечательные воспоминания об историографе (декабриста Розена): «...журналы и газеты русские твердили о бесчеловечных умыслах, о безнравственной цели тайных обществ, о жестокосердии членов этих обществ, о зверской их наружности. Но тогда журналы и газеты выражали только мнение и волю правительства; издатели не смели иметь своего мнения, а мнения общественного не было никакого. Из русских один только Н. М. Карамзин, имевший доступ к государю, дерзнул замолвить слово, сказав: „Ваше Величество! заблуждения и преступления этих молодых людей суть заблуждения и преступления нашего века!"».

Один Карамзин... Мы знаем, что не он один просил, но репутация у него такая; и ведь нет сомнения, что при редких последних встречах с Николаем он говорил нечто подобное не столько для облегчения участи отдельных декабристов, сколько для вразумления царя на реформы.

Боязнь Аракчеева не оставляет Карамзина — и то, что сам граф Алексей Андреевич теряет фавор у нового царя, ничего не меняет. Он предчувствует (и ведь верно предчувствует!), что, взойдя на трон через подавление, аресты, трупы, Николай I выберет другую форму правления, нежели его старший брат в 1801 году; ведь выходило, что брат недосмотрел, распустил, что просвещение не оправдалось, что необходим новый курс.

Но притом Николай многого боится — и революции, и народа, и дворянства: ведь задет ряд видных семейств, арестованы родственники.

Поэтому курс на подавление сочетается с объявлениями и действиями «умиротворяющими». Да и в будущем, даже в самые жесткие годы николаевского правления, были министры, генералы для основного курса — и несколько сановников (Киселев, Перовский и другие) для смягчения, уравновешивания. Понятно, в первые месяцы неустойчивого положения подобное «раздвоение» было куда более сильным.

Тут-то и нужен был Карамзин.

Авторитетная фигура, уважаемая на разных общественных полюсах,— символ просвещенного курса, человек, немыслимый среди казней, крови, каторги; привлечение Карамзина без сомнения повышало авторитет нового царствования; поэтому неудача с манифестом не уничтожила большого интереса Николая I к историографу. Немалую роль тут играла, конечно, императрица-мать, весьма привязанная к Карамзину и посещавшая его во время болезни.

Еще в декабре 1825-го царь послал историку новое предложение — участвовать в составлении «бумаг государственных». Речь шла либо о должности статс-секретаря, либо о каком-нибудь министерском посте.

Карамзин решительно отказался, сославшись на здоровье и XII том, но уверенно предложил замену: два важнейших министерских места, внутренних дел и юстиции, были к этому времени заняты людьми больными, престарелыми и явно требовали укрепления. Карамзин рекомендует двух старинных друзей, помощников, арзамасцев — Блудова и Дашкова: просвещенные люди, способные, по его мнению политически уравновесить аракчеевскую угрозу. Царь согласился. Блудов и Дашков тоже. Их повысили, и вскоре они станут николаевскими министрами...

Другое же ходатайство Карамзина, одно из последних, наоборот, покрыто такой тайной, что и полтора века спустя мы представляем подробности довольно смутно.

Дело в том, что, по всей видимости. Николай Михайлович вместе с Жуковским убедил царя вернуть Пушкина. Согласно данным западных дипломатов «по настоятельным просьбам историографа Карамзина, преданного друга Пушкина и настоящего ценителя его таланта, император Николай, взойдя на трон, призвал поэта».

Карамзин объяснил царю всю выгоду, которую первый дворянин может получить вследствие амнистии первого поэта [18]. Так или иначе — лучшей официальной версией сочтена была личная царская инициатива: иначе от упоминания карамзинско-жуковской подсказки роль Николая I снижается, возникают подозрения, что он не знал или почти не знал о национальном гении...

Так Карамзин в последний раз помогает, пытается помочь...

Оставалось еще рассчитаться с самим собою.

XII том замер в междуцарствии 1610—1613 годов и после междуцарствия 1825-го.

11 января 1826 года: «Начинаю снова заниматься своим делом, т. е. Историею».

---

[18] См. об этом: Н. Эйдельман. Пушкин и декабристы. М. «Художественная литература», 1979, стр. 370.

Март — много читает по XVII веку, но не только: «...имею часто сладкие минуты в душе: в ней бывает какая-то тишина неизъяснимая и несказанно приятная»

«Смерть медлит» — последние слова в последнем историческом сочинении Тацита.

Однажды Карамзин признается, что «привык думать с пером в руке», но нет сил, а диктовать не любит. Тем не менее письма приходится диктовать дочерям. На всякий случай оставляет Блудову и Сербиновичу подробные инструкции — об окончании XII тома, о примечаниях, архивных бумагах... А тут — кашель с кровью, воспаление легких, похудел «так, что не узнать». Врачи не надеются; единственный зыбкий шанс — Италия.

Денег нет, даже долги. Никогда не просил за себя и прежнего царя, тем более этого. И все же приходится: как видно, настояли домашние заодно с Жуковским, Александром Тургеневым, Блудовым, Дашковым. Заходит и старинный противник — Сперанский, говорит, что «все в России принимают участие» в болезни Карамзина. Царь меж тем сам справился о здоровье, спросил о нуждах.

«Имея понятие о политических отношениях России к державам европейским», Карамзин 22 марта 1826 года просит царя о должности русского резидента во Флоренции: Италия нужна для здоровья, должность — для обеспечения заграничного житья.

Царь Карамзину 6 апреля 1826 года: «...место во Флоренции еще не вакантно, но российскому историографу не нужно подобного предлога, дабы иметь способ там жить свободно и заниматься своим делом, которое, без лести, кажется, стоит дипломатической корреспонденции, особенно флорентийской».

7 апреля Карамзин благодарит царя. Надеется «в чужой земле беспрестанно заниматься Россией».

У русского путешественника и план поездки уже готов. В июне на корабле из Кронштадта в Бордо — на это уйдет около трех недель. Затем каретой до Марселя и снова на корабле в Ливорно. В Царское Село этой весною уж не поедет и просит, если возможно, в зданиях, принадлежащих Таврическому дворцу, «уголок скромный, сухой и теплый, чтоб еще недели 3 подышать там лучшим городским воздухом».

Царь обещает дать специальный фрегат для историографа...

В этот же день Александр Тургенев пишет за границу своему брату, «государственному преступнику» Николаю Тургеневу: «Семейство [Карамзина] не знает всей опасности. Он исчезает для здешнего мира, но еще думает кончить в чужих краях 12-й том»[19].

В этот же день в Петропавловской крепости происходит сто первое заседание следственной комиссии: допросы Сергея Муравьева-Апостола, Барятинского, Бестужева-Рюмина.

В этот день в Варшаве арестован Лунин. Рылеев просит жену передать ему в камеру 11 томов Карамзина — последнее чтение... Михаил Бестужев также делит заключение с «Историей Государства Российского» (девятым томом!) и на одной из страниц набрасывает схему тюремной азбуки — той системы перестукивания, которой воспользуется несколько революционных поколений.

Жуковский в эти дни собирается за границу — нет сил для Петербурга накануне приговора, казней. Почти каждый день он заходит к Карамзину, а уезжает, не простившись: не хватило духу, знал, что больше не свидятся.

Меж тем складываются чемоданы для Италии, и Екатерина Андреевна, знающая, что вряд ли поедут, непроницаемо сдержанна в своем горе.

13 мая. Рескрипт Николая I. Сохранились черновики, написанные Жуковским. После торжественных слов («...русский народ достоин знать свою историю... История, Вами написанная, достойна русского народа!») прилагался указ царя министру финансов, и его тоже набросал Жуковский. Указ о том, что особая пенсия будет выплачиваться самому историографу, жене и детям, причем сумма не зависит от того, сколько Карамзиных останется на свете, до выхода всех дочерей замуж, до получения всеми сыновьями офицерского чина.

Жуковский оставил место для годовой суммы, и царь вписал число — 50 тысяч.

---

[19] «Русский архив», 1895, № 9, стр. 33.

Одиннадцать лет спустя, в дни пушкинских похорон, Жуковский напомнит Николаю I: «Так как Ваше Величество для написания указа о Карамзине избрали тогда меня орудием, то позвольте мне и теперь того же надеяться». Царь отвечал: «Я во всем с тобою согласен, кроме сравнения твоего с Карамзиным. Для Пушкина я все готов сделать, но я не могу сравнить его в уважении с Карамзиным, тот умирал, как ангел». Он дал почувствовать Жуковскому, что и смерть и жизнь Пушкина не могут быть для России тем, чем был для нее Карамзин [20].

Карамзин, получив неслыханную милость, вежливо благодарит за «благодеяния сверх меры», но посетивший историка в тот день Александр Тургенев дважды вспоминал о поразившем его редкостном явлении. Карамзин был разгневан, по-видимому, очень разгневан: он «рассердился за пенсию»[21]. Негодовал, потому что — слишком много, подозрительно много!

Карамзин разгневался — в последний раз в жизни, но сильно. Всегда чувствовал фальшь, лживый тон — и точно так же, как некогда воспротивился лестному желанию царской сестры быть крестной матерью его ребенка («это для людей», «для „молвы"»), точно так же недоволен документом, несомненно гарантирующим будущее его семьи, но — не даром, не даром...

13 мая — последний гнев Карамзина.

22 мая 1826 года Карамзина не стало.

Жуковский — Екатерине Андреевне из Дрездена 28/16 сентября 1826 года: «Тот, кто был на свете Карамзиным, о том воспоминание не может иметь ничего обыкновенного. Все уроки земной мудрости, все, что на земле есть прекрасного, соединятся в горестно-возвышенном чувстве: он был! Видишь пред собою прекрасную чистую жизнь и утешаешься, возвышаешь себя мыслию, что такая жизнь на земле возможна. Вспомнить об ней — значит поверить сердцем всему тому, что так слабо сберегает в будущем рассудок. Дружба к нему (не с ним, ибо мы не могли быть товарищами), но способность понимать его и любить — была моим главным моральным достоинством. Не иметь его свидетелем жизни своей, одобрителем своих дел есть великая потеря; но тем дороже должно быть воспоминание об нем; с этим воспоминанием не уснет в душе ничто его достойное. Глаза не видят, а сердце помнит. Моя истинно деятельная жизнь, можно сказать, теперь только начинается; тут-то и нужен бы был такой Судья, которого присутствие давало бы силу одобрения, награду <...>. Теперь помнить его есть то же, что было прежде любить: действие должно быть одно и то же. Напишите, прошу Вас, сделан ли надгробный памятник, если нет, я постарался бы здесь приготовить рисунок. Надобно, чтоб был самый простой и величественный. Надобно бы посадить кругом деревьев...»

Такая была судьба у Жуковского — оплакивать друзей.

Памятник стоит сегодня на кладбище Александро-Невской лавры; на плите два имени: Николай Михайлович, Екатерина Андреевна Карамзины.

ГЛАВА VII. ПОСЛЕ...

Карамзин прожил две жизни при жизни и еще одну — после.

Блудов, Сербинович разобрали почти готовую рукопись XII тома, на это ушло больше двух лет: душеприказчики, впрочем, были очень заняты в ту пору по секретным декабристским и иным делам...

Последний том вышел в начале 1829 года. Он оканчивался словами о 1611 годе: «И что была тогда Россия?..» Далее шла впечатляющая картина грабежа, разорения, завоевания, самоуправства. Как бы двигаясь с юга на север, историк миновал беззащитный «полуденный край», десятки сожженных городов близ Москвы... «Шведы, схватив Новгород, убеждениями и силою присвоили себе наши северо-западные владения, где господствовало безначалие, — где явился еще новый, третий или четвертый Лжедмитрий, достойный предшественников, чтобы прибавить новый стыд к стыду россиян современных и новыми гнусностями обременить Историю, — и где еще держался Лисовский со своими злодейскими шайками. Высланный наконец жителями Пскова и не впущенный в крепкий Ивангород, он взял Вороночь, Красный,

[20] См. сборник «Пушкин и его современники». Вып. VI. СПб. 1908, стр. 61 (запись А. И. Тургенева).

[21] «Русская старина», 1875, № 3, стр. 564; «Русский архив», 1895, № 9, стр. 48.

Заволочье; нападал на малочисленные отряды Шведов, грабил, где и кого мог. Тихвин, Ладога сдались генералу Делагарди на условиях Новгородских; Орешек не сдавался».

Орешек не сдавался... Последние слова последнего тома.

В 1829 году — второе издание всех томов.

В 1830—1831 годах — третье.

Четвертое издание — 1833—1835 годы, пятое в 1842—1843, шестое в 1853-м. Затем еще и еще полные издания, а также сокращенные «для публики» (без примечаний). Последние издания — в начале XX века; отрывки, извлечения — во многих хрестоматиях, сборниках наших дней. Одновременно переиздавалось (а кое-что появлялось в первый раз) из наследия Карамзина — прозаика, поэта, журналиста, публициста, человека.

1860 год — публикуются письма Карамзина А. Ф. Малиновскому.

1866-й — письма Карамзина Дмитриеву.

В том же году — «Николай Михайлович Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников». Материалы для биографии с примечаниями и объяснениями М. Погодина, в двух частях.

1897-й — «Письма Н. М. Карамзина к князю П. А. Вяземскому. 1810—1826».

1914-й — впервые полностью выходит «Записка о древней и новой России». Академия наук собирается издавать полное, академическое собрание Карамзина...

Суд потомства

Меж тем споры вокруг имени и наследия писателя-историка, начавшиеся при его жизни, делались все жестче. Споры о самых серьезных вещах: о прошлом и настоящем, об их взаимодействии в исторических трудах и в жизни Карамзина.

Литература огромная, и даже десятка работ вроде нашей не хватило бы для подробного ее разбора.

Но все же — когда дискуссии длятся столетие (а подчас продолжаются и в наши дни), есть возможность вычленить главное, увидеть некоторые общие контуры, не затемненные частностями.

Попробуем же...

Первая точка зрения, уже представленная в прежних главах, но с годами развивающаяся: критика научная.

То, что писал в 1829 году Николай Полевой, очень характерно и для его предшественников и для позднейших откликов: «Мы скажем, что никто из русских писателей не пользовался такою славою, как Карамзин, и никто более его не заслуживал сей славы. Подвиг Карамзина достоин хвалы и удивления. Хорошо зная всех отечественных, современных нам литераторов, мы осмеливаемся утверждать, что ныне никто из всех литераторов русских не может быть даже его преемником, не только подумать шагнуть далее Карамзина. Довольно ли этого?»

Отдавая должное новым материалам, слогу, общественному влиянию «Истории...», Полевой верно отмечает, что Карамзин «угадал стремление времени», «шел впереди всех и делал всех более».

Однако — «не ищите в нем высшего взгляда на события... Придет по годам событие: Карамзин описывает его и думает, что исполнил долг свой, не знает или не хочет знать, что событие важное не вырастает мгновенно, как гриб после дождя, что причины его скрываются глубоко, и взрыв означает только, что фитиль, проведенный к подкопу, догорел, а положен и зажжен был гораздо прежде».

Историк осуждается за то, что в последних томах видна «усталость», что красноречие его — за счет мысли: критик видит здесь «общий недостаток писателей XVIII века, который разделял с ними и Карамзин, от которого не избегал иногда и самый Юм. Так, дойдя до революции при Карле I, Юм искренне думает, что внешние безделки оскорбили народ и произвели революцию; так, описывая крестьянские походы, все называли их следствием убеждений Петра Пустынника, и Робертсон говорит вам это, так же, как при Реформации вам указывают на индульгенции и папскую буллу, сожженную Лютером. Даже в наше время, повествуя о французской революции, разве не полагали, что философы развратили Францию, французы, по природе ветреники, одурели от чада философии, и — вспыхнула революция! Но когда описывают вам самые события, то Юм и Робертсон говорят верно, точно: и Карамзин также описывает события, как критик благоразумный, человек, знающий подробности их весьма хорошо».

Тут у Полевого много верного. Действительно, как доходит до дела, до описания события, красноречивый рассказ Карамзина сильнее его теорий. Однако многие читатели и последователи покойного историографа не могли принять вывод критика, будто «Карамзин велик только для нынешней России и в отношении к нынешней России, не более», что «истинная идея истории была недоступна Карамзину».

Карамзина обвиняли, что в его «Истории...» «нет одного общего начала», нет «должной связи с историей человечества», есть масса мелких подробностей, но нет «духа народного»: он дает только «стройную, продолжительную галерею портретов, поставленных в одинаковые рамки, нарисованных не с натуры, но по воле художника и одетых также по его воле. Это летопись, написанная мастером, художником таланта превосходного, изобретательного, а не История».

Полевому, как известно, отвечал Пушкин. Мы отнюдь не собираемся сразу же присоединяться к гению, ибо речь идет не столько о соревновании талантов, сколько о столкновении идей.

В 1830 году Пушкин рецензирует первый том сочиненной Полевым «Истории русского народа» (название было тоже формой полемики с Карамзиным): «Приемлем смелость заметить г-ну Полевому, что он поступил по крайней мере неискусно, напав на «Историю Государства Российского» в то самое время, как начинал печатать «Историю русского народа». Чем полнее, чем искреннее отдал бы он справедливость Карамзину, чем смиреннее отозвался бы он о самом себе, тем охотнее были бы все готовы приветствовать его появление на поприще, ознаменованном бессмертным трудом его предшественника. Он отдалил бы от себя нарекания, правдоподобные, если не совсем справедливые. Уважение к именам, освященным славою, не есть подлость (как осмелился кто-то напечатать), но первый признак ума просвещенного. Позорить их дозволяется токмо ветреному невежеству, как некогда, по указу эфоров, одним хиосским жителям дозволено было пакостить всенародно».

Вслед за этими строками и следуют афористические пушкинские определения: «Карамзин есть первый наш историк и последний летописец. Своею критикой он принадлежит истории, простодушием и апофегмами хронике» (апофегма — сентенция, изречение).

Так через несколько лет после смерти историографа выявились два взгляда на его труд. Можно было бы сказать, что один — более со стороны строгой науки, другой — широкий, общественно-художественный. Не торопясь с присоединением или возражением одному или другому, сразу скажем, что у каждого есть своя доля правоты, как в любом серьезном суждении. Обе позиции тотчас после их провозглашения нашли сторонников; затем дискуссия продлится, углубится, обрастет новыми идеями, ответвлениями. Критические строки, сходные более или менее с тем, что написал Полевой, вдруг обнаруживаются у деятелей совершенно разного, порою и противоположного толка (так что внешнее совпадение слов часто лишь форма для очень непохожей сущности).

Вот несколько отрывков о карамзинской «Истории...».

Белинский: «...творение зрелое, монумент прочный и великий... плод глубокого изучения исторических источников, основательного и отличного по тому времени образования, творение таланта великого, труда добросовестного и бескорыстного». Притом, однако, если его творения отжили свое время, тем не менее имя его будет всегда знаменито и почтенно, даже бессмертно».

Чаадаев, с одной стороны (в письме А. И. Тургеневу, 1837 год), пропел гимн Карамзину: «Что касается в особенности до Карамзина, то скажу тебе, что с каждым днем более и более научаюсь чтить его память. Какая была возвышенность в этой душе, какая теплота в этом сердце! Как здраво, как толково любил он свое отечество! Как простодушно любовался он его огромностию и как хорошо разумел, что весь смысл России заключается в этой огромности!»

Последние слова, впрочем, отражают уже сложную историческую концепцию философа, который отчасти приписывает Карамзину собственные мысли; в другом же документе Чаадаев замечает, что «мы еще никогда не рассматривали нашу историю с философской точки зрения. Ни одно из великих событий нашего национального существования не было должным образом характеризовано, ни один из великих переломов нашей истории не был добросовестно оценен». Дальше пишется не без иронии, что «Карамзин рассказал звучным слогом дела и подвиги наших государей; в наши дни плохие писатели, неумелые антикварии и несколько неудавшихся поэтов, не владея ни

ученостью немцев, ни пером знаменитого историка, самоуверенно рисуют и воскрешают времена и нравы, которых уже никто у нас не помнит и не любит: таков итог наших трудов по национальной истории»[22].

С. М. Соловьев, признавая себя и своих коллег наследниками Карамзина, тоже видит в нем все больше ревнителя прошлого; задача же историка — превращение своего предмета в науку.

Еще суровее специалисты в конце XIX — начале XX столетия. Вот как отзывался о карамзинской «Истории...» П. Н. Милюков: «...с своими взглядами на задачи историка Карамзин остался вне господствующих течений русской историографии и не участвовал в ее последовательном развитии... Не внеся ничего нового в общее понимание русской истории, Карамзин и в разработке подробностей находился в сильной зависимости от своих предшественников»... От Щербатова Карамзин отступает «не к пользе истины в картинных описаниях «действий» и сентиментально-психологической обрисовке «характеров». Особенности литературной формы «Истории Государства Российского» доставили ей широкое распространение... Но те же особенности, которые делали «Историю...» превосходной для своего времени популярной книгой, уже тогда лишали ее текст серьезного научного значения» [23].

Наконец, в специальной статье о Карамзине, опубликованной в начале 1917-го, А. А. Кизеветтер соглашается с Милюковым, что карамзинская «История...» — крупное событие «в ходе нашей образованности», но не «в развитии нашей науки»; он находит также, что у Карамзина «заглавие труда... не совпадает с его содержанием. Это и не история государства: это история государей» [24].

Итак, снова и снова серьезные упреки в недостатке философии, теории: «сказочки» вместо подлинной истории! Академическая критика нет-нет, а переходит и на деликатные политические проблемы: Милюков намекает на декабристов, когда пишет, что в 1820-х «интеллигентные кружки находили [«Историю...» Карамзина] отсталой по общим взглядам и тенденциозной», а позже — «„История" Карамзина делается знаменем официально-«русского» направления».

Как видим, линия Полевого к началу XX столетия укрепилась прежде всего успехами послекарамзинской истории — науки. Акции Карамзина-историка в глазах его коллег постоянно снижаются...

Однако не замирает и линия защиты Карамзина.

Вместе с Пушкиным и после него много и интересно говорят об «Истории Государства Российского» прежние личные друзья автора.

Вяземский хлопочет, может быть, более других о сохранении карамзинского наследства: он пишет Дмитриеву (17 сентября 1832 года): «Многое из того, что видели мы сами, перешло уже в баснословные предания или и вовсе поглощено забвением. Надобно сдавать свои драгоценности в сохранное место».

В 1837-м: «Век Карамзина и Дмитриева сменяется веком Сенковского и Булгарина».

Блудов заметил, что «против Карамзина говорили наиболее те, которые обильно в его источнике почерпали и в его школе образовались».

Позже Вяземский сердится еще сильнее, особенно на молодых: «Ныне слог причисляется к каким-то предубеждениям и слабоумиям чопорной старины. Хотят ли порицать сочинение... не находят... более убийственного приговора, как следующий: сочинение писано карамзинским слогом... А между тем искусство существует».

«Для нас уж Пушкин стар, давай нам помоложе»[25].

Однако все чаще защита друзей сбивается на панегирик, на обвинение тем, кто осмелился о Карамзине толковать без должного почтения. Сам Вяземский однажды услышал упрек от жены историографа, что пишет биографию Фонвизина, а не Карамзина. Вяземский отвечал: «Ведь не напишешь же биографии, например, горячо любимого отца»[26].

Иными словами, нет биографии без разбора сильных и слабых сторон...

---

[22] П. Я. Чаадаев. Сочинения и письма. М. 1913, т. I, стр. 216; М. 1914, т. II, стр. 224—225.

[23] Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. Спб. 1895, т. XIV, статья «Карамзин», стр. 442.

[24] «Русский исторический журнал», 1917, № 1-2, стр. 16, 19.

[25] П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений в 12 томах. Спб. 1878 — 1896, т. VIII, стр. 309; т. XII, стр. 484.

[26] Сб. «Старина и новизна», книга вторая, Спб., 1898, стр. 5.

Меж тем один из больших почитателей Карамзина, П. А. Плетнев, заметил другому, Я. К. Гроту, что он не боялся бы писать биографию, например, И. А. Крылова: «Нечего церемониться, какой бы смешной случай ни пришлось рассказать. Попробуй это сделать с Карамзиным, например. Претензий не оберешься».

Цензура не пропускала некоторые вольные выражения историографа; «Записка о древней и новой России» полностью (после нескольких попыток) была напечатана только через восемьдесят восемь лет по смерти ее автора; Погодину «завернули» в 1846 году некоторые тексты, прежде — четверть века назад — уже пропущенные.

Карамзин, очищенный, упрощенный до одной ноты, идеализированный до блеска друзьями — из добрых побуждений, властями — «из видов», становится все более государственной, официальной фигурой («высочайшее согласие» на сооружение памятника дано еще в 1833 году). Собственно, это и закреплено николаевской формулой: Карамзин «...умирал, как ангел».

Все чаще и чаще в самых верноподданных изданиях мелькают обороты в духе — «священное имя Карамзина». С годами власть все сильнее его присваивает, а еще здравствующие друзья (Вяземский) идут навстречу официальному панегирику.

Революционный, демократический же читатель такого подхода решительно не признает.

«Карамзин решительно упал»

Катенин (1828): «История его подлая и педантическая, а все прочие его сочинения жалкое детство; может быть, первого сказать нельзя, но второе должно сказать и доказать»[27].

Кюхельбекер, отдавая должное слогу, умению Карамзина, все же замечает — «покойный и спокойный историограф».

Герцен, человек совсем не карамзинских идей, но сам изумительный историк-художник: «Великое творение Карамзина, памятник, воздвигнутый им для потомства,— это двенадцать томов русской истории... Но Карамзину не хватало того саркастического элемента, который от Фонвизина перешел к Крылову и даже к Дмитриеву — задушевному другу Карамзина. В мягком и доброжелательном Карамзине было что-то немецкое. Можно было заранее предсказать, что из-за своей сентиментальности Карамзин попадется в императорские сети, как попался позже поэт Жуковский. История России сблизила Карамзина с Александром. Он читал ему дерзостные страницы, в которых клеймил тиранию Ивана Грозного и возлагал иммортели на могилу Новгородской республики. Александр слушал его с вниманием и волнением и тихонько пожимал руку историографа. Александр был слишком хорошо воспитан, чтобы одобрять Ивана, который нередко приказывал распиливать своих врагов надвое, и чтобы не повздыхать над участью Новгорода, хотя отлично знал, что граф Аракчеев уже вводил там военные поселения».

Чернышевский, говоря о Карамзине, писателях XVIII века, призывает восхищаться «тем, что было у этих писателей лучшего», но в то же время находит, что «при появлении Пушкина русская литература состояла из одних стихов, не знала прозы и продолжала не знать ее до начала 30-х годов».

Проза карамзинской «Истории...», которую сам Пушкин считал образцовой, как видим, в расчет не принимается.

Мы выбрали несколько оценок с революционной стороны; еще красноречивее их отсутствие или почти полное отсутствие в конце XIX — начале XX века.

Тоньше других судит Аполлон Григорьев: он тоже отмечает «непонимание народности», но притом находит, что «образ мыслей и чувствований», как и язык Карамзина, улучшаясь с летами и с его «Историей...», все более и более приближается к языку старых памятников. Григорьев, можно сказать, вызывающе непоследователен — и в этой противоречивости живая мысль, искреннее нежелание свести концы с концами «любой ценой».

Вот еще пример такого рода: «Карамзиным... и его деятельностью общество начало жить нравственно». Написав это, Григорьев затем продолжал «как многие»: «Для нас, людей иной эпохи, в Карамзине почти что ничего не осталось такого, чем бы мы могли нравственно жить хотя один день; но без толчка, данного литературе и жизни Карамзиным, мы не были бы тем, чем мы теперь». Однако автор при том чуть ли не берет обратно все сказанное, вспоминая с наслаждением свое «суеверное» уважение к Карам-

[27] «Русская старина», 1911, № 6, стр. 612.

зину: «...как только перенесся я в его эпоху и в лета собственного отрочества, как только припомнил «Письма русского путешественника»... Белинский попрекал эту книгу ее пустотою... Все это так... а все-таки «Письма русского путешественника» книга удивительная!..»

Григорьев принадлежит к тем немногим читателям Карамзина, кто желает взглянуть многогранно, уйти от «общепринятых» крайностей. Тут он продолжил линию Пушкина; к ней явно близок и Гоголь, который, разумеется, не мог принять карамзинской манеры письма, но притом все же полагал, что «Карамзин представляет... явление необыкновенное. Вот о ком из наших писателей можно сказать, что он весь исполнил долг, ничего не зарыл в землю и на данные ему пять талантов истинно принес другие пять». Гоголь надеется, что настоящая оценка Карамзина еще впереди.

«О Державине, Карамзине, Крылове ничего не сказали или сказали то, что говорит уездный учитель своему ученику, и отделались пошлыми фразами».

Ничего не сказали или отделались...

Только что обозначенная линия исторического, нравственного понимания — не скрываем — кажется нам наиболее близкой к истине.

Но в течение многих десятилетий ее почти не замечают, почти не слышат; тут отнюдь не упрек, а историческая констатация: российская мысль, политическая, идейная борьба второй половины XIX — начала XX века развивалась в сложном водовороте притяжений и отталкиваний, где для таких явлений, как Карамзин, часто находились категорические, крайние, страстные оценки: либо панегирик, либо «решительно упал». Между тем именно из-за такой черно-белой палитры потомки историографа, очевидно, и боялись публиковать больше чем «нужно».

Официальная версия ангельской жизни не должна быть замутнена — и, что греха таить, 50 тысяч ежегодной пенсии (за сорок лет более двух миллионов) тут играли свою роль, да не только и не столько в грубо материальном смысле (все равно же не возьмут обратно!), сколько в моральном: неудобно, невозможно при такой награде говорить вольно, «выходить из образа», представлять настоящего Карамзина, который хвалил только то, что мог и порицать, кто защищал монархический принцип описанием таких самодержавных злодейств, что читатели «шли в декабристы», кто не зря сердился за восемь дней до смерти, что пенсия чересчур велика...

В 1911 году многознающий редактор «Русского архива» П. И. Бартенев поместил в своем журнале заметку о богатом собрании неопубликованных бумаг Карамзина, находящемся у его внуков Мещерских в имении Дугино Сычевского уезда, Смоленской губернии.

В 1915 году известный пушкинист Б. Л. Модзалевский описал бесценный альбом дочери Карамзина Екатерины Николаевны Мещерской (где были, между прочим, и автографы Пушкина). Альбом был утрачен во время революции.

И девяносто лет спустя семья, как видим, придерживала архив, боясь, как бы Карамзин не высказался...

Бумаги Мещерских... Самое любопытное, что огромный архив именно тех Мещерских, которые (породнившись с родом Паниных) владели до самой революции смоленским имением Дугино, — этот архив сохранился.

В Центральном государственном архиве древних актов (фонд князей Мещерских) две с лишним тысячи единиц хранения: личная переписка, бухгалтерские счета того самого Дугина вплоть до революции.

Но где же бумаги карамзинские?

Как видно, в имении было два сундучка — один повседневный, хозяйственный, семьи Мещерских, другой с карамзинскими реликвиями.

Куда он девался? Сгорел — но ведь другой, рядом, уцелел!..

Вывезен за границу? Но там не было ни одной публикации...

Растворился в других собраниях — может быть!

Закопан в земле — возможно!

Требует розыска? Без сомнения!

Двести лет спустя

Двести лет было тому старику, которому удивлялся Карамзин перед смертью... Два века, особенно последние два,— это очень много. Карамзин человек астрономически далекой эпохи, чей язык и убеждения считались глубокой стариной уже в 1840-х годах!

Но чудеса: статистика научных работ ясно показывает, что за последнее двадцатилетие после многолетнего спада (с конца XIX века) количество книг, статей, эссе, публикаций о Карамзине явно растет.

С немалым успехом «Бедная Лиза» явилась на сцену одного из лучших театров страны, Большого драматического в Ленинграде.

«Письма русского путешественника», в советское время печатавшиеся чаще всего в отрывках, в хрестоматиях, выходят в 1980 и 1982 годах полным изданием (и сверх того ожидаются в «Литературных памятниках»). Наконец, только что вышедшие «Избранные статьи и письма» Карамзина! И сколько сетований, что все это трудно достать — при тиражах, в сотни почти раз превышающих первые издания. И, разумеется, предполагающееся советское издание «Истории Государства Российского» разойдется мгновенно, хотя тираж будет, наверное, поболее всех дореволюционных, вместе взятых.

Значит, есть общественная потребность на книги того двухсотлетнего автора. Пусть притом и мода, поверхностное любопытство, но это ведь побочные дети спроса настоящего!

Отчего же?

Нелегко ответить, но попытаемся без претензий на исчерпывание темы. Снова повторим уже прежде бегло сказанное, что вклад Карамзина в отечественную культуру многообразен: реформа литературного языка, сентиментализм, наконец «История...», наш главный предмет. Историк — художник. Все это давно известно, важно, несомненно. В будущем, верим, произойдет новое «карамзинское» сближение исторического и художественного... Но еще и еще раз отметим тот вклад в русскую культуру, который именуется личностью Карамзина.

Высоконравственная, привлекательная личность, которая на многих влияла прямым примером, дружбою, но куда на большее число — присутствием этой личности в стихах, повестях, статьях и особенно в истории. Пушкинское «подвиг честного человека» —это ведь моральная оценка крупного, многолетнего научного труда. За строкою великого поэта-историка ощутима мысль о сверхчеловеческой трудности, подвиге — писать «Историю...», себе не изменить, не подладиться к сильным лицам или, наоборот, к молве, моде, «крылатой новизне»...

Решимся сказать (с некоторой опаскою), что это был и подвиг свободного человека: Карамзин ведь был одним из самых внутренне свободных людей своей эпохи, недаром среди друзей, приятелей его множество прекрасных, лучших людей: спокойно, никогда не споря с критиками, он свободно разговаривал и с царями и с декабристами, никого и ничего не боясь. Писал, что думал, рисовал исторические характеры на основе огромного нового материала — опытною рукою художника... Сумел открыть древнюю Россию, как Америку Колумб, и сообщить о своем открытии максимально возможному для эпохи числу людей. Притом сохранил достоинство Истории, достоинство историка.

«Карамзин есть первый наш историк и последний летописец».

Его любили, оспаривали, читали, становились лучше, спорили, бранили, притом обучаясь по его томам.

Интерес общественный, народный — это ведь тоже культурный фактор. Он как бы присоединяется к творению и, включаясь в его ткань, тоже светит потомкам.

Никуда не деться — открывая карамзинские главы о Мономахе, Батые, Куликовом поле, опричных казнях, избрании Годунова, самозванцах, сибирских казаках, мы уже не можем никак отвлечься от при сем присутствующих первых читателей: от арзамасских чествований, от рылеевского «Ну, Грозный! Ну, Карамзин!», от пушкинского посвящения на титульном листе «Бориса Годунова»...

Энергия их души и мысли будто запечатлелась между строками двенадцатитомника, и оттого это — памятник целой эпохи, нескольких культурных поколений, одна из ярчайших форм соединения времен: IX—XVII веков истории, XVIII—XIX веков историка, XIX—XX веков читателя.

«И поклон всему миру, не холодный, с движением руки навстречу потомству, ласковому или спесивому, как ему угодно...»

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

М. ФЕЛЬДМАН

★

ВСТРЕЧИ

В сентябре 1928 года старший оперативный уполномоченный отдела ОГПУ Михаил Федорович Фельдман (1899—1978) был рекомендован для работы в секретариате члена Политбюро, председателя Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) СССР Валериана Владимировича Куйбышева, заместившего на этом посту Ф. Э. Дзержинского.

Михаил Федорович родился в семье железнодорожного кондуктора. В 1918 году вступил в Красную Армию, в 1919-м стал комсомольцем, в 1920-м — коммунистом. Прошел путь от красноармейца до комиссара военной школы, служил в ВЧК — ОГПУ. Годы работы Фельдмана заведующим секретариатом В. В. Куйбышева в ВСНХ, Госплане, Совнаркоме и Совете Труда и Обороны совпали с напряженным трудом Валериана Владимировича над составлением и воплощением в жизнь первых пятилетних планов.

Рассказы Валериана Владимировича в кругу друзей были застенографированы по просьбе Фельдмана — так возникла книга: В. В. Куйбышев. «Эпизоды из моей жизни» (Изд-во ЦК ВКП(б), 1935). Краткая биографическая справка о В. В. Куйбышеве на листке отрывного календаря, в которой Валериан Владимирович нашел много неточностей, послужила Фельдману поводом для архивных поисков. Их результаты легли в основу книги «Валериан Владимирович Куйбышев 1888—1935. Материалы к биографии. Период подполья» (Партиздат ЦК ВКП(б), 1936). Михаил Федорович продолжал изучать биографию В. В. Куйбышева до конца своих дней. В итоге им была создана биографическая хроника «День за днем», охватывающая весь жизненный путь Валериана Владимировича.

Кроме биохроники, в архиве М. Ф. Фельдмана остались воспоминания, фрагменты которых, предоставленные его вдовой Валентиной Владимировной Васильевой, мы публикуем.

Меня встретил человек крепкого телосложения, широкоплечий, немного сутуловатый, как бы несущий за плечами бремя долгого подполья и изнурительного труда. Седина не коснулась его темно-каштановой шевелюры. Одет он был просто: штатский светло-серый костюм с голубой прожилкой, косоворотка. На отвороте пиджака значок члена ЦИК СССР.

Я подал Валериану Владимировичу Куйбышеву вынутый из-за обшлага длинной кавалерийской шинели пакет с моим личным делом. Он быстро перелистал его и сказал:

— Это все мне уже известно, мне доложили Расскажите коротко о себе.

Выслушав меня, как-то очень просто и мягко сказал:

— Ну вот и познакомились, теперь вместе будем работать.

Следующий день после нашей первой встречи с Валерианом Владимировичем был выходным и начался необычно. Рано утром зазвонил телефон:

— Говорит Куйбышев.

Валериан Владимирович спросил, что я собираюсь делать и не смогу ли поехать с ним на дачу. Я с радостью согласился. Куйбышев сообщил свой адрес, телефон гаража попросил вызвать машину и заехать за ним. Жил он тогда в Варсонофьевском переулке, в доме № 4.

За завтраком, одетый в знакомый мне по вчерашней встрече серый костюм, Валериан Владимирович сообщил, что взамен дачи в Серебряном бору ему предложили подмосковную дачу вблизи станции Красково по Московско-Казанской ж. д., которую он предполагает сегодня осмотреть. Попутно я узнал, что в связи с ремонтом кремлевской квартиры Куйбышев пользуется гостеприимством своего друга, старого чекиста Макса Дейча, но ему не хотелось бы долго обременять его. Валериан Владимирович

просил меня за время его поездки в Ленинград подыскать ему какую-нибудь временную квартиру.

Мы поехали в Красково. По пути заехали в ведомственный дом работников ВСНХ в Коптельском переулке, где Валериана Владимировича ждали его заместитель Валерий Иванович Межлаук и ученый секретарь Константин Яковлевич Розенталь с женой.

Разместились в машинах и спустя полчаса уже въехали в ворота дачного поселка, только что застроенного Моссоветом недалеко от станции, в молодом еловом лесу вдоль дороги, идущей по краю обрыва. Над небольшой спокойной речушкой Пехоркой стояли пять рубленых двухэтажных дач, огражденных штакетником. Осмотрели первую дачу незамысловатой архитектуры, обшитую снаружи вагонкой. Внутри — обтесанный сруб, пахнущий смолой, между бревнами пакля, деревянные крашеные полы, печное отопление. Внизу большая комната с верандой, две маленькие комнатушки и подсобные помещения. На втором этаже тоже две комнаты и веранда, как и внизу. Дача Куйбышеву понравилась.

Венчала дом видовая площадка, откуда просматривались полотно железной дороги, луга, поля, пойма Пехорки, обросшая кустарником и ивами. Все это нравилось Валериану Владимировичу. Мы долго стояли на площадке и любовались великолепием осени.

Здесь он работал над составлением плана первой пятилетки, готовился к многочисленным докладам, решал вопросы растущей промышленности, прочитывал бесконечный ворох деловых бумаг, которые извлекал из всегда туго набитого портфеля.

Все просто до аскетизма. Единственной роскошью выглядел допотопный граммофон с ярко расцвеченной розово-голубой трубой, который я раздобыл на складах, с набором пластинок Апрелевской фабрики. Как символ нового стоял отличный по тому времени радиоприемник московского завода типа «ЭЧС-1». Сейчас он стал экспонатом в московском Политехническом музее — первая веха советской радиотехники.

Куйбышеву в Краскове нравилось все: и сама бревенчатая уютная дача, и немудрящий уклад жизни в ней. Он любил прогулки по лесу и по берегам извилистой Пехорки, летом любил поиграть в волейбол, зимой — прокатиться на лыжах. Здесь ничто не мешало ни работе, ни отдыху, тем более что первое время на даче и телефона не было. Напряженная работа сменялась прогулками с фотоаппаратом. А дома на столе уже ждал урчащий самовар и простой обед или ужин. Валериан Владимирович любил зимой погреться у печного огня, беседовать или просто помолчать. Иногда мы засиживались допоздна и слышали стук колотушки сторожа, обходившего дачные участки.

А сколько здесь было теплых, дружеских и деловых встреч!

Приезжали из Москвы старые большевики и государственные деятели. Очень любил Валериан Владимирович «вторжение» веселой ВСНХовской молодежи: К. Розенталя, И. Краваля, Г. Смирнова, Б. Троицкого, А. Гайстера, В. Васютина и многих других. Особенно тепло относился к Константину Яковлевичу Розенталю и очень обрадовался, когда он с семьей стал соседом в Краскове. С его двойняшками Олежкой и Глебом и старшим сыном Игорем возился, затевал с ними игры, приговаривая «гоп, гоп». И стоило только Валериану Владимировичу приблизиться к их даче, как ребята выбегали к нему с радостными воплями: «Дядя Гоп идет!»

Удивительно, как этот занятой человек находил с молодежью простой, товарищеский язык, сам преображался в общении с нею, куда девалась его усталость!

Валериан Владимирович любил свой короткий досуг проводить за дружеской беседой, за деловыми разговорами. Здесь, если так можно выразиться, было продолжение «Делового двора». Встречи почти всегда возникали стихийно...

В Краскове тогда жил и Алексей Максимович Горький на даче, всегда переполненной приезжавшими из Москвы писателями, журналистами, деятелями науки. Кто только здесь не бывал! Алексей Максимович обладал даром искать и находить таланты.

Горький и Куйбышев были рады соседству, часто встречались на прогулках или у большого костра, разведенного на берегу Пехорки. Здесь собирались все жители дачного поселка, часто пели под аккомпанемент гармошки Семена Михайловича Буденного или вели неторопливые разговоры.

Алексей Максимович, пробыв долгие годы вдали от родины, как живительный воздух, впитывал вдохновенные рассказы Куйбышева о первой пятилетке. Говорил Валериан Владимирович весомо, убежденно, с цифрами из прошлого, настоящего и будущего нашей промышленности, рассказывал о подъеме ударничества, о волне нова-

торства, о научной организации труда, об изобретательстве и изобретателях. И тогда Горький поведал об изобретателе А. М. Игнатьеве, большевике-революционере, помощнике Л. Б. Красина по боевой дружине в 1905 году. Рассказал, как в 1918 году он познакомил Игнатьева с Владимиром Ильичем и предложил посетить Главное артиллерийское управление в Москве, где демонстрировался оптический прибор Игнатьева для корректирования стрельбы по воздушным целям. Владимир Ильич оценил оригинальное изобретение, дал ему высокую оценку, интересовался, есть ли у Игнатьева еще изобретения.

Алексей Максимович познакомил с Игнатьевым и Валериана Владимировича. Игнатьев рассказывал о своих боевых делах в 1905 году, о том, как ему приходилось помогать пополнять партийную кассу. Алексей Максимович заметил, что ему в тот период тоже приходилось добывать деньги для партийной кассы и за это не раз подвергаться преследованиям полиции.

— Ну а мне,— сказал Валериан Владимирович,— в то время студенту Медицинской военной академии в Петербурге, пришлось по поручению партии заниматься транспортировкой оружия с Финляндского вокзала...

В пору встречи с Куйбышевым Игнатьев работал над самозатачивающимися режущими инструментами, нашедшими широкое применение в промышленности. Первоначально это изобретение встретило серьезные затруднения и сопротивление некоторых специалистов. Потребовалось вмешательство авторитетных органов. Куйбышев назначил специальную комиссию для определения реальной ценности самозатачивающихся инструментов. Комиссия вынесла решение о целесообразности внедрения.

В 1933 году Куйбышев переселился на дачу в Морозовку, недалеко от станции Крюково (там находился дом отдыха ВЦИК), а Алексей Максимович — в Горки. Самым памятным в моих воспоминаниях о Морозовке осталась одна из прогулок с Валерианом Владимировичем. Как-то поздно вечером мы приехали на дачу, поужинали, спать не хотелось. Проиграли несколько пластинок, послушали радиопередачи, и Валериан Владимирович предложил прогуляться. Вышли. Была ясная звездная ночь. В тишине светились деревья, покрытые снегом. И Валериан Владимирович поразил меня рассказами о звездах. Казалось, рядом со мною идет профессор-астроном. На вопрос, откуда такие познания, объяснил, что в ссылке ему попался учебник по космографии, он его изучил и, увлекшись, прочел много книг по этому предмету.

Несмотря на то, что в Морозовку приезжали те же друзья и родственники, звучали те же песни, играли в те же игры, не было там той простоты и того очарования, что в Краскове. Горький, любуясь природой в Краскове, говорил: «Недаром — Красково!»

В Краскове в летние выходные дни округа оглашалась шумом и гамом, веселым смехом, стуком волейбольного мяча, воплями торжества той или другой команды. В игре принимали участие стар и млад. То и дело слышалось восторженное Валериана Владимировича: «А здорово мы им наклепали!»

Зачастую после игры мы пели революционные песни, которые так любил Валериан Владимирович. Была у нас своя запевала — Валя Васильева, Наркомпесня. Бывало, Валериан Владимирович говорил: «Споем «Дальневосточную». Наркомпесня, запевай!» — Валя запевала, а мы подхватывали. При всей своей одаренной натуре Валериан Владимирович не мог напеть ни одной самой простой мелодии, между тем замирал от восторга, когда слушал пение. Вот и говорил: «Ну запевайте, а я буду держать паузу».

К Валериану Владимировичу нередко приезжал художник Василий Семенович Сварог со своей милой женой. Обладая великолепным басом, Сварог пел под гитару арии из опер, романсы, песни...

Валериан Владимирович не питал особой привязанности к кремлевской квартире. Его беспокойная натура после тяжелого трудового дня требовала переключения. Он любил даже в самое позднее время, после вечернего или затянувшегося допоздна заседания выезжать за город.

Однажды мы очень задержались на работе. Освободились за полночь, Валериан Владимирович предложил поехать в Красково. Ехали в его машине с брезентовым верхом. Была зимняя ночь, шел сухой колючий снег, который с ветром проникал в машину. Мы изрядно продрогли. Посреди пути между Москвой и Красковом стоял трактир, всегда окруженный грузовиками и всевозможными повозками. Зашли погреться. В густом махорочном дыму стоял нестерпимый гвалт. Валериана Владимировича это не смутило, такие картины он часто наблюдал в свое время на сибирских трактах. Зака-

зали чай в традиционном большом чайнике. Вслушивались в шумную разноголосицу. Закусив и согревшись, тронулись в путь. Это чаепитие всколыхнуло в Валериане Владимировиче целый рой воспоминаний о трактирах царской России в сибирских городах, в Петербурге и Самаре, где в конспиративных целях проходили партийные встречи, были явки...

Как-то я привез в Красково мелкокалиберную винтовку, патроны и мишени. С тех пор эта винтовка стала постоянным спутником Куйбышева на прогулках в Краскове и в отпусках. Найдя подходящую площадку и развесив мишени, он принимался за стрельбу. Стрелял так метко, что корректировать не приходилось, все пули ложились кучно, но желания охотиться на птицу или зверя у него не было.

Вспоминаю интересный эпизод. Однажды Розенталю и Кравалю пришлось поздно задержаться в кабинете Валериана Владимировича, который был на заседании в Кремле, и мы в ожидании его организовали из этой винтовки стрельбу. Для мишени приспособили имеющиеся в кабинете какие-то справочники промышленных и торговых фирм. За этим занятием нас и застал неожиданно вернувшийся Валериан Владимирович, обычно он звонил мне, когда выезжал из Кремля. Мы смутились в ожидании разноса за это несерьезное занятие, но Валериан Владимирович взял винтовку и показал нам класс стрельбы.

Как-то по пути в Красково Валериан Владимирович сказал, что он давно лелеет мечту провести отпуск в Карелии. О ней ему много рассказывали С. М. Киров, академик А. Е. Ферсман, рассказывал и М. И. Калинин, отбывавший там ссылку в 1904 году в городе Повенец, о котором в старину говорили: «Повенец — всему миру конец». Сейчас Повенец венчает Беломорско-Балтийский канал.

Сергей Миронович предложил избрать местом отдыха поселок Медвежья Гора, недалеко от одноименной станции Мурманской железной дороги, в 560 километрах от Ленинграда.

Я заранее готовился к предстоящему длительному путешествию. Упаковал всю собранную по Карелии литературу, географические карты, гранки статей Большой Советской Энциклопедии, членом Главной редакции которой был Куйбышев, материалы, которыми он собирался заняться во время отпуска,— наметки контрольных цифр на 1929—1930 годы. В это путешествие его жена Ольга Андреевна с нами не поехала.

Настал долгожданный день отъезда — 26 июня 1929 года. С огромным «бумажным» багажом и личными вещами мы отправились на Ленинградский вокзал.

Обычно Валериан Владимирович, приезжая в Ленинград, деятельно использовал каждую минуту — допоздна объезжал промышленные предприятия, проводил совещания, заседания,— а в этот раз неторопливая поездка по городу.

— Непривычно, но ничего не поделаешь,— сказал Куйбышев.— Отпуск есть отпуск.

И решил задержаться еще на один день. В предыдущие деловые посещения Ленинграда мы не находили времени на достопримечательности и сейчас, осмотрев все богатства Эрмитажа и окрестностей Ленинграда, находились под сильным новым впечатлением.

По пути в Петергоф, в машине, Валериан Владимирович рассказывал о своей влюбленности в этот город, еще со времен юности оставивший в его памяти много счастливых дней, вспоминал места, где жил и работал, бурные события прошедших лет.

Уже в поезде мы еще долго вспоминали все детали нашего путешествия по Ленинграду. Рано легли спать — к Медвежьей Горе подъехали в 5 часов утра. На станции нас встречали пограничники.

На Медвежке, так мы называли это место, поселились в новой крестьянской избе, еще пахнущей смолой. Изба состояла из двух комнат с большими сенями. Удобств никаких. В одной из комнат высилась русская печь, в красном углу между двумя окнами — деревянный стол, две вделанные в стену скамьи, несколько табуреток. В другой комнате — деревянная кровать, небольшой стол. В сенях находился какой-то хозяйственный инвентарь, большая кадка с водой. На стене — маленький рукомойник, воды нам не хватало, но мы поутру обливались по пояс, поливая друг друга из большой кружки. Все окна завешаны марлей, только так можно было спастись от комаров.

Здесь нас окружала первозданная природа и сопутствующая ей простота в жилье, быту и пище. Вставали рано, делали гимнастику, умывались, завтракали, купались, грелись на солнышке, а затем подолгу гуляли. Ложились поздно — это была пора белых

ночей, Валериан Владимирович, пользуясь «продленным днем», подолгу занимался делами, много читал.

По давно заведенной привычке, находясь в отъезде, он регулярно со свойственной ему пунктуальностью сообщал в письмах Ольге Андреевне свои впечатления от поездок. Я помню, как правило, Валериан Владимирович старался свои письма опускать в ящик почтового вагона, вот и тогда, преодолевая пески Медвежки, мы направлялись на станцию к вечернему поезду, идущему из Мурманска в Ленинград.

Здесь я позволю себе процитировать выдержку из письма Валериана Владимировича Ольге Андреевне (с ее любезного разрешения).

1 июля 1929 года, понедельник, утро, Медвежья Гора: «Приехали 29-го числа в 4... После обеда пошли с Мишей по какой-то дороге, решили идти, пока куда-нибудь не придем, наконец дошли до полотна жел. дор. и по полотну вернулись обратно, всего прошли верст 15, устали здорово, но в 9 ч. снова соблазнились путешествием, на этот раз верхами. Проделали еще верст 15 и вернулись часов в 12 ночи. Спал на этот раз хорошо, но зато сегодня утром усталость такая, что отказался от утренней прогулки. После обеда пойдем куда-нибудь или поедем на мотоцикле (который Миша после больших трудов наладил, что-то капризничал)».

За время пребывания в Медвежке мы исколесили всю округу в радиусе 29—30 километров. Куйбышев подолгу бродил со мной лесом, по тропам, неизвестно кем протоптанным, неизвестно куда ведущим через болота, мхи. Карельская природа — суровая и дикая, отчего казалась нам особенно загадочной. Земля плодородная, черная, как сажа. Пески крупнозернистые, глубокие. Иногда мы шли молча по лесной тропинке среди величайших сосен без определенного направления, ни о чем не думая, прислушиваясь к лесным шумам. Часто тропа приводила нас в такую лесную глушь, куда едва проникал дневной свет. Кругом торчали сухие ветки, громоздились завалы сгнивших деревьев и сухого хвороста, пахло сыростью и гнилью, лес был наполнен сумраком.

Если лесные тропинки скрещивались или раздваивались, Валериан Владимирович, имевший богатый опыт таежных ссылок, всегда ножичком делал условные отметки на стволах деревьев, чтобы не заблудиться.

Среди кучно росшего леса иногда попадались совершенно высохшие стволы деревьев, которые стоило чуть потрясти, как дерево ломалось на звенья и падало, едва успеваешь отбежать. Мне это очень нравилось, и я часто проделывал этот эксперимент, но получил выговор от Валериана Владимировича за мальчишеские выходки.

В самых таежных местах, где, казалось, не ступала нога человека, встречались нам изыскательские партии. Начинались вопросы, расспросы...

Вспоминается такая встреча. Вышли однажды из темного леса на полянку, и совершенно неожиданно залаяла собака. Большая, черная, лохматая, увидев редкого здесь человека, она с добродушным лаем бежала нам навстречу. Обнюхав гостей, стала подвизгивать, приветливо махая пушистым хвостом. Впереди виднелась землянка, из которой на лай собаки показался коренастый старик. Длинная седая борода, морщинистое лицо с проницательным взглядом. Тут же у землянки на обрубках дерева завязалось знакомство с жителем таежной Карелии — девяностолетним смолокуром. Старик охотно рассказывал про свою жизнь. Куйбышев интересовался его работой, и смолокур подробно рассказал о процессе смолокурения, о необходимости изменить его, так как при устарелом способе перегонки смолы не удается получить такой ценный продукт, как скипидар,— он улетучивается. Валериан Владимирович вникал во все детали.

Иногда мы ездили верхом. Валериан Владимирович научился хорошо владеть лошадью на фронтах гражданской войны, а я раньше состоял в конной разведке частей особого назначения (ЧОН). Лошадей нам давали в Медвежьей Горе в пограничном отряде...

8 июля Валериан Владимирович писал жене: «Льют дожди. Если завтра не исправится погода, думаю съездить в Мурманск, посмотреть океан (хоть один раз в жизни надо же взглянуть на океан, хотя бы и северный). Вчера все же съездили верхом, проехали верст 12. Думаю и сегодня после обеда, несмотря на погоду и вопреки ей, съездить на мотоцикле в Повенец (городок на Онежском озере, 25 верст от Медвежки)... Из наших новостей наиболее крупной является установка в нашей хате радио. Слушаем Москву (Коминтерн), другие станции как-то не можем еще словить...»

И действительно, событием в нашей жизни стало появление радиоприемника, без которого мы были оторваны от всего мира, газеты к нам не доходили.

После почти двухнедельного пребывания в Медвежьей Горе Валериан Владимирович решил продолжить знакомство с северным краем и поехать в Мурманск.

Поезд мчал нас к Ледовитому океану. В пути всплыло в памяти Валериана Владимировича некрасовское стихотворение «Железная дорога». Он любил Некрасова, многие стихи помнил наизусть. Постоянная смена места жительства не давала ему возможности иметь свою, хотя бы маленькую библиотеку. Это стало возможным только с переездом Куйбышева в Москву, и им овладела неуемная жажда книг, но не книжное накопительство: он охотно раздавал товарищам книги для прочтения и не сожалел, если их не возвращали. Экслибриса не имел, на прочитанной книге обязательно оставлял на форзаце пометку — галку. Никаких заметок на страницах не делал, но благодаря превосходной памяти всегда мог найти в любой прочитанной книге нужное место.

Особый интерес Валериан Владимирович питал к энциклопедиям. Возьмет том, чтобы найти какое-нибудь малоупотребляемое слово, и энциклопедия потом подолгу остается у него в руках. В Карелию Валериан Владимирович просил меня захватить все вышедшие тома Большой Советской Энциклопедии.

Особое место в библиотеке Куйбышева занимала поэзия. Он сам сочинял стихи в детстве, а потом в ссылках, публиковал их в газете «Приволжская правда» под псевдонимом Встречный. 1 ноября 1918 года в Самаре Валериан Владимирович выступил с речью в честь годовщины Октябрьской революции на открытии общегородского клуба коммунистов, а по окончании торжественной части на концерте самодеятельности прочел свои стихи.

Будучи председателем Самарского ревкома и членом реввоенсовета 1-й, а затем 4-й армии, Куйбышев не оставлял мыслей о культуре, о поэзии. Так, в 1918 году, в пору яростной борьбы, впервые в России, в типографии штаба 4-й армии в Самаре, печаталась в русском переводе лирическая автобиография Данте «Новая жизнь».

...Приехали в Мурманск, расположенный на берегу Кольского залива, тогда молодой невзрачный городок, родившийся из поселка.

Здесь Куйбышев побывал в краеведческом музее, ознакомился с состоянием молодого тралового флота, осмотрел рыбный комбинат. При нас прибыл с моря траулер с большим уловом трески. Куйбышев подробно знакомился с производственным процессом промышленного использования рыбных отходов. На следующий день были в Александровске, где осмотрели самую северную в мире биологическую станцию. Из Александровска на катере пытались добраться до заповедника на острове Кильдин, но по мере приближения к океану усиливался шторм. Громадные волны перехлестывали через катер и рассыпались мелкими брызгами. Нас кидало, как щепку.

Валериан Владимирович сообщал Ольге Андреевне в письме 18 июля:

«Маршрут пока соблюдаем в точности. Были в Мурманске (осмотрели рыбные промыслы), в Александровске (осмотрели самую северную в мире биологическую станцию), поехали было на остров Кильдин, но когда выехали в океан, началась изрядная буря, к которой не была приспособлена наша моторная лодка. Пришлось вернуться. Океан все же видели. Не удалось только осуществить нашу мечту — искупаться в океане, так как все время была плохая погода, дождь, холод и т. д.

Сейчас мы уже миновали Медвежью Гору, где распрощались с сопровождавшими нас товарищами, и приближаемся к станции Кивач, где я и опущу это письмо в поезд, а сам останусь до следующего... чтобы осмотреть водопад и Кондопожскую бумажную фабрику...»

Водопад Кивач, воспетый Державиным, зачаровал Валериана Владимировича. Мы долго стояли, глядя, как вода, сползая с вышины, падает и разбивается о камни на миллионы брызг, блестя на ярком солнце алмазными осколками. Шел молевой сплав, и большие бревна рушились с шестнадцатиметровой высоты и, нырнув в воду, снова спокойно плыли дальше.

Возвращаясь из поездки по Карелии, Куйбышев остановился на сутки в Ленинграде, чтобы поделиться своими впечатлениями с Кировым. Встретились в Смольном.

Кабинет Сергея Мироновича, как вспоминается, был небольшой, уютный, обставленный скромной мебелью. Всюду на столах лежали образцы продукции ленинградской промышленности, куски различных минералов, добытых в недрах Кольского полуострова. Говорили о развитии хибинского химкомбината, об усилении изыскательских работ, о том, что нет такого места на советской земле, которое нельзя было бы поставить на службу народу.

Впоследствии в своей, как всегда, горячей речи на XVII партийном съезде Киров говорил: «...то, что вчера казалось совершенно непробудным, куда, как говорили, Макар телят не гонял, куда в царское время только в ссылку людей ссылали,— теперь там волей большевиков на базе природных богатств (апатиты, железо, молибден, слюда, торий, титан и др.), в полутундре, куда до сих пор нога человеческая не ступала, создан новый, быстро растущий индустриальный центр заполярного круга».

Вернулся Валериан Владимирович в Москву и приступил к работе полный творческих замыслов, накопившихся за время отпуска.

Сейчас, перелистывая и перечитывая страницы докладов, речей из огромного наследия Куйбышева, я вспоминаю исключительную обстановку напряженного труда и обстоятельств, в которых он готовился к выступлениям, оснащая их убедительными аргументами, доказательными примерами, фактами, цифрами, сравнениями.

Обычно подготовка к программным докладам проводилась им тщательно, задолго и начиналась с освобождения его от всех текущих дел. Политбюро или Совнарком предоставляли ему для подготовки доклада рабочий отпуск.

Вспоминается 1930 год. Шла напряженная работа по подготовке к XVI съезду партии. В начале мая Валериану Владимировичу предоставили семидневный рабочий отпуск для подготовки докладов о работе ЦК ВКП(б) за период от XV до XVI съезда на Бауманской районной партийной конференции в Москве и на 2-й краевой партийной конференции в Нижнем Новгороде.

Куйбышев поехал готовить доклады в Красково, где с головой ушел в работу. Прошло немногим больше месяца, и он снова получил рабочий отпуск на семь дней для подготовки доклада на XVI партсъезде «О выполнении пятилетнего плана промышленности». Местом работы Куйбышев вновь избрал Красково.

Дом превратился в штаб. Валериан Владимирович, не отрываясь от стола, готовил тезисы, зачитывал и обсуждал их с товарищами, привлеченными к составлению доклада,— с Розенталем, Кравалем, Рониным, Смирновым, Троицким и другими.

Когда тезисы с учетом замечаний, внесенных при обсуждении, были готовы, каждый из участников получал свой раздел, все расходились по комнатам и верандам и погружались в работу. Законченные разделы передавались Куйбышеву, который окончательно редактировал доклад и материал тут же отправлял машинистке.

26 июня началась работа съезда. Иногда после вечернего заседания Валериан Владимирович выезжал в Красково отдохнуть и переночевать.

2 июля с отчетным докладом ЦКК выступил Г. К. Орджоникидзе. Со свойственной ему прямолинейностью он резко критиковал работу всех отраслей народного хозяйства и промышленности, критиковал отдельных, крупных в то время хозяйственников. Критика была живой, объективной, вскрывающей недостатки в работе промышленности.

Партийный съезд проходил в Большом театре. Я находился за кулисами и близко видел всех сидящих за столом президиума, среди них Куйбышева, внимательно, сосредоточенно слушавшего речь Орджоникидзе.

Все ВСНХовцы были подавлены. По окончании заседания Куйбышев сел в машину не рядом с шофером, как обычно, а сзади. Поехали в Красково. За всю дорогу Валериан Владимирович не проронил ни слова. На даче он отказался от ужина, выпил стакан крепкого чая, резко встал из-за стола и поднялся к себе в комнату.

Утром я увидел на стуле возле кровати записку, в ней Валериан Владимирович писал, что не мог уснуть всю ночь, просил не будить его, если заснет, давал указания о порядке рабочего дня, а конверт, лежащий под запиской, велел прочитать товарищам и спрятать в сейф.

Приехав в Москву, я собрал в кабинете Куйбышева тех, кому было адресовано письмо,— Розенталя и Краваля. Письмо выражало отношение Куйбышева к критике Орджоникидзе со всей свойственной Валериану Владимировичу объективностью, с полным отсутствием личной амбиции: «1) Устами Серго говорит партия, ее генеральная линия; 2) партия, как всегда, права; 3) хозяйственники не должны превращаться в какую-то касту, они должны вместе с партией, помогая ей, вскрыть безбоязненно недочеты и впрягаться в работу; 4) хозяйственники должны самоочищаться и более смело пополнять свою среду свежими пролетарскими силами».

«Не надо допустить,— писал Куйбышев,— чтобы хозяйственники выступили с критикой доклада Орджоникидзе. Если вы согласны со мной, примите нужные меры... Не унывайте, друзья! Для дела рабочего класса важно не самочувствие хозяйственника, а успех продвижения вперед...» (Подлинник документа хранится в ЦПА ИМЛ.) Валериан Владимирович закончил письмо словами: «Я плохо написал. Но вдумайтесь, и вы поймете, что интересы партии требуют только такой реакции на доклад т. Орджоникидзе...»

Выступая на съезде — 7 июля на вечернем и 8-го на утреннем заседаниях — с докладом «О выполнении пятилетнего плана промышленности», Куйбышев никаких замечаний по поводу критики Орджоникидзе не высказал...

После съезда началась напряженная работа по выполнению его решений, направленных на усиление темпов индустриализации страны. Но выпадали дни и часы отдыха, это время Валериан Владимирович, как всегда, проводил в Краскове.

Запомнился один из таких дней. Солнечный, жаркий, летний. Валериан Владимирович в воскресенье позволял себе немного больше поспать. Вышел к завтраку хорошо отдохнувший, в приподнятом настроении. Он ждал приезда друзей: Розенталя, Краваля, Смирнова и Дейча. И когда они приехали, предложил устроить пикник в лесу. Начались сборы, уложили в рюкзак продукты... Ушли далеко в лес, разожгли костер, уютно расселись вокруг, говорили о делах, шутили, веселились. Валериан Владимирович попросил нас встать, провозгласил тост за успешное выполнение пятилетки и поблагодарил товарищей за помощь в подготовке доклада к съезду.

Публикация В. ВАСИЛЬЕВОЙ.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. ОВЧАРЕНКО

★

ЖИЗНЬ НАРОДНАЯ

Горьковские традиции в творчестве сибиряков

1

В 1930 году в статье «О литературе» М. Горький с полемическим заострением писал, что русская дооктябрьская литература «была по преимуществу литературой Московской области» и еще нескольких смежных с ней областей. В статье утверждалось, что «Урал, Сибирь, Волга и другие области остались вне поля зрения старой литературы, так же как Украина... поле наблюдений старых великих мастеров слова было странно ограничено, и жизнь огромной страны, богатейшей разнообразным человеческим материалом, не отразилась в книгах классиков с той полнотой, с которой могла бы отразиться».

Историки литературы могли бы возразить, что «старые писатели» отнюдь не проявляли равнодушия к жизни, протекавшей за пределами центральных областей России, и в меру своих знаний рассказывали о ней. Первыми, вынужденные обстоятельствами, заговорили о «местах не столь отдаленных» еще протопоп Аввакум и Александр Радищев. Пропутешествовав «на привязи» в течение трех лет из Москвы через Глазов, Березовские Починки, Вышний Волочек, Пермь, Томск до якутской слободы Амга, В. Короленко за четыре года пребывания в ней написал доставившие ему всероссийскую известность рассказы о якутских крестьянах, ленских ямщиках, сибирских каторжниках и местных крестьянах-правдоискателях («Яшка», «Убивец», «Сон Макара», «Соколинец», «Федор Бесприютный»). В 1888—1889 годах по путям переселенческого движения в Приуралье и Сибирь устремился Глеб Успенский. Он посетил Пермь, Тюмень, Томск, Тобольск, рассказав в цикле «Поездки к переселенцам» и в других очерках о горестях и лишениях, подстерегавших человека, ищущего счастья на новых землях. Удручающе на писателя подействовали однообразие дальней дороги, обширность и пустынность вольных мест, время от времени оглушаемых «разбойничьим, могучим, грозным, даже просто ужасающим, беспощадным и немилосердно жестоким свистом». В 1890 году А. Чехов поехал через всю Сибирь, чтобы попасть на Сахалин и открыть его читающей России. Более сорока лет писал об уральской жизни Д. Мамин-Сибиряк, включив в литературу, по словам М. Горького, «целую область русской жизни», до него «не знакомую нам».

Конечно, обо всем этом М. Горький знал хорошо. Но к сибирским писателям он проявлял особенно большой, с годами все усиливавшийся интерес. Быть может, известную роль в этом играл тот факт, что его отец родился и до семнадцати лет жил в Сибири, а сам Алексей Максимович дружил со многими революционерами, не раз отбывавшими политическую ссылку за Уральским хребтом. Еще в молодости он познакомился с трудами сибиреведов Н. М. Ядринцева, Г. Н. Потанина, высоко оценил работы историка-демократа А. П. Щапова, «сына дьячка и (бурятской) крестьянки».

На Втором съезде писателей РСФСР в 1965 году Александр Смердов процитировал слова М. Горького, ставшие пророческими: «Сибири пора иметь не только новеллистов, но и писателей, работающих в крупных масштабах, у вас — сибиряков — от природы хорошие задатки, здоровая кровь... Если Сибирь в науке дала Менделеева, а в живописи Сурикова, то почему бы ей не дать такую же величину в литературе? Я думаю, что наш будущий крупный романист будет из сибиряков...»

Надо заметить, что М. Горький еще до

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ЕВГЕНИЙ ВОРОБЬЕВ

★

САМАЯ ТРУДНАЯ ДОЛЖНОСТЬ

«Будто эти два июля не разделены двадцатью годами. Такие же благодатные дни, пронизанные солнцем, такое же небо в разрозненных торопливых облаках, тот же ветерок, не приносящий прохлады... Точно так же грузовик подымает на полевой дороге облако пыли. Но тогда пыль, поднятая гусеницами танков, тягачами и орудиями на прицепе, копытами батарейных лошадей, смешивалась с землей, взметенной снарядами, вполнебосклона стояло пыльное затмение и тусклое солнце уподобляло ясный день вечеру.

Шоссе, бегущее из Курска на юг, перерезает на шестьсот восьмом километре глубокая лощина... Мы бродим по опушке рощи, по крутояру, обходим старые воронки и рвы, полузасыпанные землей. На дне их уже растут дубки, акации, дикие яблоньки...»

Корреспонденция «Поле боя» написана на курской земле, опубликована с фотографиями в журнале «Огонек» (1963, № 32). Симонов настоял на подзаголовке «Репортаж бывших фронтовых корреспондентов Евгения Воробьева, Якова Рюмкина, Константина Симонова».

В первых числах июля Симонов сказал мне:

— В нашем распоряжении всего два месяца. Пятого августа праздник. Годовщина первого салюта. Двадцатилетие. А нам пора ехать. На днях ехать. Рассматриваю эту работу как свой солдатский долг. Ты, кажется, согласен со мной? Вот и хорошо!

Симонов старался вырвать из забвения имена многих и многих погибших воинов, с которыми находился рядом в дни орловско-курской битвы.

Поиски шли с весны. Симонов начал их, когда этим, в сущности, еще никто серьезно не занимался. В штабных документах полков, бригад находили списки захороненных, составленные писарями в дни боев под Понырями. Симонов привлек к работе бывших командира полка И. Ф. Мельникова и заместителя командира бригады И. И. Боднарчука.

Конечно, такая работа не под силу нескольким доброхотам. Но идею поддержали и генералы, и ветераны, и журналисты. «После розысков, шедших несколько месяцев,— читаем в очерке «Поле боя»,— благодаря деятельной помощи Управления кадров Министерства обороны и Курского облвоенкомата были уточнены списки бойцов и офицеров 1023-го полка и 129-й танковой бригады, похороненных под Понырями. В первом списке 173 фамилии, во втором — 113. Мельников и Боднарчук — один приехал с Поволжья, другой с Украины — увидели на старых пожелтевших листах свои подписи».

По пыльной привокзальной улице, мимо палисадников с недозрелыми яблоками бежала простоволосая женщина в железнодорожном кителе, ее обгонял босоногий белоголовый подросток. Они кричали на всю улицу:

— Ходьте до сквера! Константин Симонов приехал! Чекай на мене... Говорить будет. Все ходьте до памятника. Писатели в Понырях!

Самодеятельные гонцы-зазывалы бежали и в другую сторону поселка. Группа ветеранов собралась у памятника, стояли в строю пионеры.

Мельников напомнил Симонову о дне, когда школьное здание, где учатся сейчас эти ребята, захватили фашисты. Лишь несколько классов удерживали бойцы батальона Петра Зозулина. Симонов успел до стихийного митинга обойти с Мельниковым вокзал. Вот здесь в билетной кассе сидел с рацией Зозулин, в зале ожидания лежали без глотка воды раненые, в будке «кипяток» краны были сухими. Вспомнили, как до войны в короткие минуты стоянки проходящих поездов галдел, суетился привокзальный рынок, пассажиры ведрами покупали знаменитую местную антоновку...

К скверу подходили, прибегали запыхавшиеся жители. Приковыляли на костылях, тактично не обгоняя друг друга, два инвалида. Толпились уже и вокруг сквера. В руке Константина Михайловича диктофон, он записывает на пленку выступающих, но перед тем как самому взять слово, диктофон выключил. Отчетливо помню, он говорил об этой братской могиле, где нашли вечный покой несколько тысяч безымянных воинов, сказал, что всех нас привела сюда наша общая беда.

Другой митинг состоялся у подножия памятной ветеранам высоты 254,6, возле безымянного обелиска. На нем значится: «В памяти народной вы будете чтимы в веках». Симонов проговорил эту фразу в диктофон.

Итак, в масштабах одного полка, одной бригады и одной битвы задача решалась успешно.

5 августа 1963 года, когда всенародно отмечалась годовщина победы на орловско-курской дуге, торжественно открыли две мемориальные доски. На одной обнародовали 173 фамилии, на другой — 113. Доски установили у памятника в привокзальном сквере в Поныpях и в селе Никольском возле здания школы. По адресам, найденным в документах двадцатилетней давности, за подписями работника военкомата и Симонова (просьба местных товарищей) были посланы письма родственникам.

Как знать, может быть, именно здесь, в Поныpях, за восемь лет до опубликования зародились пронзительные строки: «А к мертвым, выправив билет, все едет кто-нибудь из близких, и время добавляет в списки еще кого-то, кого нет... И ставит, ставит обелиски».

Уже были написаны «Солдатами не рождаются». Но автору очень хотелось побывать под Могилевом, проверить приметы местности, описанной в четвертой главе романа «Живые и мертвые». После редактирования, всех корректур провести, так сказать, авторскую рекогносцировку. В будущем (1965) году романы выйдут в «Советском писателе»...

Вот здесь, невдалеке от путевой будки железной дороги, под насыпью был врыт блиндажик лейтенанта Михаила Хорышева. Он воевал с забинтованной головой, в сбитой набок пилотке; совсем молодой парнишка. Путевой обходчик сидел на насыпи, закатав до колен штаны, грел на солнце худые, со вздувшимися венами старческие ноги. Хорышев подарил обходчику трофейные сапоги и темно-зеленый мундир немецкого лейтенанта. Заодно и подкормил старика: хлеб, три тараньки, котелок воды...

На обратном пути из лета 1941 года Симонов молчал, но миновав шлагбаум у переезда, вспомнил вслух:

— Хорышев потерял в одном бою половину роты, около тридцати человек. А какие потери понес капитан Тушин под Шенграбеном, помнишь? Не помнишь. У капитана Тушина за час боя из сорока человек прислуги выбыли семнадцать. И при этом Тушин, в фигуре которого было что-то совершенно не военное, все соображал, все делал, что мог делать самый лучший офицер в его положении...

Капитан маленького роста Тушин понравился в деле не только Андрею Болконскому. Он был любимцем своих солдат и стал любимым героем Симонова.

Спустя десятилетие Симонов писал:

«Места, где ты был тридцать лет назад, иногда совершенно не узнаешь, а иногда узнаешь сразу... Неподалеку при дороге стоит теперь обелиск с надписью, говорящий о том, как 388-й стрелковый полк в июле 1941 года «с беспримерной стойкостью» отбивал здесь атаки немецких танков. Имен погибших на обелиске нет, да в данном случае вряд ли и возможно было написать их все; 388-й полк лег здесь, в боях за Могилев, почти целиком».

Но были пропавшие без вести, к которым Симонов обращался памятью часто и с волнением. Это список бойцов, сержантов, офицеров 388-го полка Кутепова и артиллеристов, сражавшихся вместе с ним. Всего 22 фамилии, у иных указаны инициалы и должности.

«Само упоминание в блокноте всех этих фамилий говорит о том, что каждый из этих людей совершил тогда, в боях под Могилевом, нечто такое, что, по мнению их прямых начальников, заслуживало быть отмеченным в печати»,— читаем мы во фронтовом дневнике «Разные дни войны».

За пять лет до издания дневников Симонова я привез из Белоруссии еще тепленький сигнальный экземпляр сборника «Солдатами были все», выпущенного издательством «Беларусь», летопись могилевского сражения.

— Самый дорогой подарок из всех, какие я от тебя получал.— Симонов жадно перелистывал книгу.

Напечатали отрывок из его воспоминаний о 12—14 июля; те дни он провел у деревни Буйничи в полку Кутепова. Заканчивался отрывок словами, не вошедшими позже в дневник: «Кто знает, может быть, кто-то из этих людей все-таки еще отзовется. Это одна из тех надежд, которые, то загораясь, то снова потухая, неотступно сопровождают мою работу».

Надежда то загоралась, то потухала вновь, но не тускнели в памяти эти 22 пропавших без вести. Жила духовная совместимость с этими людьми, близость, привязанность к ним. Если бы я не шагал рядом с Симоновым по буйничскому полю четверть века спустя после боев, я бы не понял, как он предан пожизненно своим однополчанам.

До нашей поездки в Буйничи Симонова не оставляла какая-то непроходящая, стойкая озабоченность. А когда мы вернулись оттуда и он убедился, что его не подвела зрительная и эмоциональная память, что в романе точно воссоздана позиция роты Хорышева,— настроение улучшилось. Это ощущалось все последующие дни, когда мы выступали в частях Белорусского военного округа. В Могилев мы приехали из Минска, дальше дорога лежала в Кричев, в Чаусы.

Симонов хотел побывать на лесной опушке, где когда-то находился штаб фронта. Без труда нашли опушку, побродили, увидели блиндажи, полузасыпанные песком, смутно приметные за молодым сосняком, и Константин Михайлович пожалел, что с нами нет режиссера Столпера, который в эти дни искал, выбирал натуру для фильма «Живые и мертвые».

— А теперь займемся вторым нашим делом,— напомнил мне Симонов после обеда.

Мимо давно парализованной мельнички, бездельно стоявшей у мостика, отправились мы в предместье Заречье, отделенное от города речкой Басей. Речка растеклась по двум протокам; левый называют Переплюйкой, правый — Самоволкой. Нашли в Заречье остатки фундамента того дома, в котором провел детство и юность Лев Маневич. В самом городке на улице Маневича (бывшей Кооперативной) разыскали товарища его юных лет Савелия Давыдова, сына водовоза.

Нужно признаться, что когда мне предложили написать книгу о жизни и деятельности Героя Советского Союза Льва Маневича, я отказался. Сослался, в частности, на то, что никогда не писал о военных разведчиках, детективный жанр мне чужд. Но еще в Москве Симонов посоветовал мне не давать окончательного ответа до поездки в Чаусы.

Вернувшись поздно вечером, почти ночью, с улицы Маневича в нашу неказистую гостиничку, Симонов сказал убежденно:

— Будет безнравственно, если ты откажешься. По твоей вине жизнь героя, ныне рассекреченная, может еще надолго остаться в безвестности.

После вчерашних пеших прогулок и позднего ужина с жареными грибами и грибными соленьями у Савелия Давыдова встали поздно. Я подошел к окну, увидел толпу ожидающих — пожилые люди в военном, пионеры — и сказал об этом Симонову. Тот брызгался над тазом из рукомойника.

— Разве мы уславливались о встрече?— обеспокоился он, глянув в окно.

— Нет.

— А все же неловко.— Он наскоро вытерся.— Тем более ветераны. Гимнастерки на плечах повыгорали. В кирзовых сапогах. Столько лет прошло, а солдатское обмундирование не сносили. Бзу. Срок носки четверть века.

Симонов торопливо сошел вниз.

Непредусмотренная встреча с читателями. Автографы Симонова на книгах, в в школьных тетрадях, по слезному настоянию ветерана войны — политрука — на чистой страничке его военного билета. Взлохмаченного, рыжеволосого, сверхобильно веснушчатого парнишку Симонов осчастливил надписью в учебнике химии. Я прочел через плечо: «Химия — великая наука. Жаль, я этого не понимал, когда учился в школе. Не повтори моей ошибки...»

На следующий день, уже далеко от Чаус, нас ждали встречи с танкистами; мы присутствовали на учениях, бывали и застолья. Самочувствие у меня было неважное, давала о себе знать старая контузия, часто кружилась голова. Симонов наблюдал, как я за столом отбояривался от настырных угощателей. Звучали стихи, тосты следовали один за другим, гостеприимство било через край. Рядом со мной всякий раз садился подполковник из политотдела округа. Он внимательно, заботливо ограждал меня от почти принудительных возлияний.

Через три дня мы уезжали, и генерал устроил прощальный ужин. Я выпил свои наркомовские граммы, и мне вдруг захотелось высказаться. В ту минуту мне, чуток подвыпившему, тост мерещился глубокомысленным и остроумным. Однако подполковник, которому я протянул пустой стаканчик, начал осторожно отговаривать:

— Может, хватит? Вы уже приняли, товарищ Воробьев...

— Налейте немного. Хочу на прощанье сказать несколько слов...

— Может, все-таки не стоит, товарищ Воробьев? — Он отодвинул бутылку и с опаской, растерянно посмотрел на Симонова.

Веселую разноголосицу, гомон и суматоху застолья перекрыл громоподобный — иначе не назовешь — хохот. Не слышал, чтобы Симонов так смеялся. С трудом перебарывая смех, объяснил: чтобы уберечь меня от сорокаградусной «демьяновой ухи», он загодя провел за моей спиной оперативный инструктаж. И тут же сторожививший меня за обедами и ужинами подполковник огласил полученную им три дня назад от Симонова инструкцию:

— «С Воробьевым нужно быть очень осторожным... Стопку водки еще куда ни шло. Но это для него предел. После второй он совсем неуправляем. Мы с ним все наплачемся и горя не оберемся. Отличный товарищ, но крепенько закладывает. Совсем недавно лечили от запоя...»

Когда Александр Столпер готовился к съемке фильма «Живые и мертвые», Симонов, по своему обыкновению, писать сценарий не стал, поручив и доверив это самому режиссеру. Это не значит, что Симонов отстранился и не принимал участия в доводке сценария. Много авторских подсказок, поправок, находок вошло в окончательную редакцию. Столпер говорил мне, что Симонов еще никогда так усердно не работал над текстом. Наступила пора приглашать актеров. И именно этим были заняты автор и режиссер, когда мы втроем прогуливались по Южной аллее дачного поселка в Красной Пахре.

Симонов и Столпер — старые друзья. В дни кратковременного творческого отпуска Симонова, единственного за годы войны, они виделись в Алма-Ате, куда эвакуировалась киностудия «Мосфильм». Столпер снимал тогда фильм по пьесе Симонова. В повести «Двадцать дней без войны» можно найти выразительный, пластичный портрет Столпера: «...хотя режиссер старается идти быстро, ему это трудно; сильно нагнувшись вперед, закинув руки за широкую, словно надломленную в пояснице спину, он разговаривал на ходу с тем чуть заметным напряжением, с которым люди говорят, когда превозмогают боль».

Симонов на роль Синцова предложил Кирилла Лаврова. Столпер охотно согласился, на днях Лаврова вызовут на кинопробы из Ленинграда.

Значительно труднее было подобрать актера на роль Серпилина. Перебрали несколько фамилий — не то, не то, не то... У мостика, ведущего на Малую аллею, Симонов остановился как вкопанный, сосредоточенно помолчал и неожиданно выпалил:

— А что, если нам попробовать Папанова?

Нужно было видеть в тот момент выражение лица Столпера. Он вообще не очень хорошо слышал и решил, что ослышался... Но Симонов внятно и твердо еще раз произнес фамилию. Столпер растерялся:

— Ты, Костя, серьезно или шутишь?

— Совершенно серьезно. Недавно я видел пьесу Назыма Хикмета «Дамоклов меч». Папанов играл безработного боксера. Неожиданно мне открылась трагическая сторона его комедийного дарования, и я подумал, что он может подойти на роль Серпилина.

— Но при появлении его на экране зрители начнут улыбаться, предвкушая нечто смешное... Легко сказать — сыграть генерала... А хватит ли у него значительности?

— Не в том дело, хватит ли у него генеральской значительности. А дело, Шура, в том, что у Папанова лицо старого солдата. Не знаю его биографии, но даю руку на отсечение, что он был на фронте и хлебнул солдатского лиха. Ты понимаешь меня? В свое время, если бы не было Тенина, Папанов вполне мог сыграть «человека с ружьем». Глядя на Папанова, зритель поверит: прежде чем надел генеральскую папаху и галифе с лампасами — наматывал портянки, ходил в кирзачах или ботинках с обмотками.

В то время я работал со Столпером на «Мосфильме», был главным редактором Второго творческого объединения, которым руководил Иван Александрович Пырьев (там и будут снимать фильм «Живые и мертвые»). Был близко знаком со Столпером, но никогда не видел его в таком недоумении и веселой растерянности: «Опять ты меня, Костя, разыгрываешь».

Папанова пригласили на кинопробу и по совету Симонова сыграли эпизод — знакомство Серпилина с комиссаром полка Шмаковым (артист Любецкий). Прозвучала реплика о том, что Серпилин незадолго до войны был разжалован, демобилизован и сидел в тюрьме, а позже реабилитирован по всем статьям.

«— Ну вот и окончательно познакомились! — рассмеялся Шмаков. радуясь концу напряженного разговора.— А то вдруг кому-нибудь из нас помирать, и вышло бы даже неудобно: не знали бы, какие инициалы в похоронной писать.

— Эх, Сергей Николаевич, брат мой во Христе и в полковой упряжке! — покачал головою Серпилин.— Уметь помирать — это еще не все военное дело, а самое большее — полдела. Чтоб немцы помирали — вот что от нас требуется... Вот вы тут о смерти заговорили, и я вам тоже скажу, чтоб не возвращаться, чтоб вы меня до самых потрохов поняли. Помереть на глазах у всех я не боюсь. Я без вести пропасть не имею права! Поняли?»

Посмотрели кинопробу, у Симонова и режиссера сомнений не было: вот он, Серпилин!

Позже Симонов признавался, что когда писал роман «Солдатами не рождаются», перед его глазами стоял Папанов с его характерной негероической внешностью, его бытовыми интонациями; они оказались очень сочными и точными в устах генерала. Папанов помог автору сделать образ более пластичным.

Чрезвычайно любопытно, как была описана внешность Кутепова во фронтовом дневнике (цитирую по белорусскому сборнику «Солдатами были все»): «Это был высокий, худой человек с очень некрасивым усталым лицом, с ласковыми не то голубыми, не то серыми глазами и доброй детской улыбкой». Можно не сомневаться, что именно внешний облик Папанова побудил автора через пять лет вычеркнуть из текста выделенные мною слова.

Забегая вперед скажу, что спустя годы Симонов в безоговорочном согласии с молодым режиссером Алексеем Германом хотел поручить роль военного корреспондента Лопатина цирковому артисту Юрию Никулину. В этом, конечно, был известный риск. Может быть, Никулин понравился Симонову в отличном фильме «Когда деревья были большими»? Не знаю. Но кандидатуру Юрия Никулина не утвердили, не решались на клоуна надеть майорские погоны. Помню, Симонов в сердцах сказал: «Мы еще посмотрим, кто будет лежать на лопатках» — и сломил сопротивление кинодеятелей. Никулин надел очки, мешковатую военную форму, зажил на экране Василием Николаевичем Лопатиным. Можно спорить о частностях, но Симонов считал работу Юрия Никулина чрезвычайно интересной. Занятая в этом фильме актриса Лия Ахеджакова сказала в интервью: «Если бы меня спросили, где лучше Юрий Никулин — в «Двадцати днях без войны» или кинокомедиях, я бы затруднилась ответить».

Симонов приступил к заключительному тому трилогии — «Последнему лету». Название прижилось сразу, а вот крестины предыдущего романа затянулись. Первоначальный вариант «Середина войны» не нравился никому и вскоре разонравился самому автору. Роман был окрещен «Солдатами не рождаются», но неожиданно в редакции «Знамени», где рукопись готовили к печати, возникли сомнения. Кому-то в названии померещился пацифизм. Симонов, желая проверить редакторов, а заодно и себя, попросил генерала армии Алексея Семеновича Жадова провести мини-плебисцит среди маршалов и генералов: насколько правильны опасения? Алексей Семенович отнесся к просьбе со всей серьезностью, провел устную анкету и доложил своему зятю: военачальники одобрили название, двусмысленности не нашли, опасения абсурдны.

Симонов уединился на даче и засел за роман «Последнее лето» (1965—1970). В те годы просьб, приглашений приехать и выступить было множество, но Симонов от выступлений отказывался. И лишь когда пришло приглашение заведующей библиотекой Дворца культуры Ярцевского хлопчатобумажного комбината Т. А. Андреевой, писатель дал согласие. Он не решился отказать читателям, а прежде всего читательницам с многострадальной Смоленщины. К тому же Симонов вскоре после войны баллотировался в Ярцевском округе в Верховный Совет СССР.

Почти трехмесячные упорные бои группы генерала Рокоссовского в районе Ярцева и партизанская война в этом крае унесли много жертв. Среди 1150 прядильщиц, ткачих, рабочих, служащих, приветствовавших 18 ноября 1971 года Симонова, были вдовы, получившие некогда похоронки, сироты, пришли старые матери, приехали издали смоляне, кровно заинтересованные и близко принимавшие к сердцу творчество любимого ими писателя.

Несколько неожиданным для Симонова было почти единодушное несогласие, острое сожаление читательниц, вызванное гибелью Серпилина, и многочисленные просьбы оставить его в живых. Там эти просьбы прозвучали впервые. Магнитофонная пленка сохранила возражения автора:

— Тут возник такой вопрос, он имеет отношение ко всем трем книгам: почему Серпилин не дожил до конца трилогии? Вопрос для меня очень серьезный, о тяжелом всегда тяжело рассказывать... А для того чтобы рассказать, должен заново пережить. И только когда я заново это переживу, я заставлю читателя пережить вместе со мной. Моя цель — дать почувствовать читателю, какой была война. И если мы в ней вначале терпели поражения, если у нас были тяжелые ошибки, если победа нам досталась столь дорогой ценой, если для победы понадобились неимоверные усилия, которых, наверное, никто и нигде, ни один народ на свете не выдержал бы,— так об этом же надо рассказать. Все, что я скажу, имеет отношение и к внутренней необходимости для меня распроститься с Серпилиным. В первом романе он не был главным героем, оставался для автора второстепенным, но постепенно становился все крупнее и крупнее, и к концу работы в нем заключалась душа книги. Ну оставил бы я в живых Серпилина. Но как мне было дать почувствовать читателю, что мы потеряли на войне двадцать миллионов человек, что в каждом доме у нас помнят об этих потерях, что нет таких семей, где не живут отзвуки войны? Самый дорогой или один из самых дорогих людей ушел из каждой семьи. Как вот это мне дать почувствовать, не называя цифры двадцать миллионов? Я же не историю пишу, не публицистическую статью. Значит, я должен расстаться в книге с самым дорогим мне человеком, его жизнью заплатить за победу. Я Серпилина оживить не могу. Хотел бы, но это невозможно. Если вы на меня сердитесь, значит, верите, что он убит, а если верите, что убит, как же я могу его оживить?..

Симонов уже ответил на записки, пришедшие из зала, на все устные вопросы, но и после того как конференция закрылась, он долго стоял за кулисами сцены, окруженный ткачихами. Они не могли примириться с гибелью так полюбившегося им Серпилина!

Не забыть мне, как Симонов утешал бывшую партизанку. Словно у нее случилось непоправимое несчастье и она, потеряв близкого человека, безутешна. Автор, отказавшийся воскресить Серпилина, по-сыновьи нежно положил ей руку на худое плечо. Ткачиха провела по лицу уголком непестрого платка, наскоро вытерла слезы, навернувшиеся на большие, в притемненных впадинах, давно выплаканные глаза...

Не только распорядок дня, не только образ жизни, но даже какие-то привычки, можно сказать, сам характер Симонова менялся по мере того, как он вживался в новую книгу. Впрочем, может быть, характер оставался неизменным и подобная эволюция таилась в его неистовой требовательности к самому себе, в его вдохновенной целеустремленности? Чем ближе, интимнее он знакомился с персонажами будущей книги, тем решительнее отрешался от окололитературной сутолоки, от будничных хлопот и забот, тем больше бывал одержим своими замыслами, записями, рукописью, предчувствием романа или повести.

Помню зимние месяцы «великого сидения» за письменным столом. Симонов изо дня в день с раннего утра до позднего вечера работал самозабвенно, исступленно, ненасытно. К телефону не подходил. Из-за тяжелой двойной двери смутно слышалось, как он глуховатым, усталым голосом наговаривал в магнитофон. А если Симонов правил, переписывал набело уже расшифрованные записи, за дверью было тихо-тихо. Пересуды о том, что он свою прозу не писал, а диктовал,— зряшные. Я не раз видел листы исчерканной рукописи Симонова после очередной правки, безжалостно перекореженные стенограммы того, что он рассказывал будущему читателю, опираясь на свою блистательную, цепкую память. Он вел многочасовые диалоги с героями книг и пьес, психологические поединки с ними.

В разгар работы над пьесой «Четвертый» Симонов обмолвился за ужином, что за весь день к столу вообще не присел — мерил шагами кабинет, включал-выключал диктофон. Все реплики действующих лиц многократно произносил вслух.

— Разговорная интонация, если ее удается точно найти, услышать, формирует, лепит фразу, делает ее более выразительной. И жестов не следует стесняться — пластичнее воображать себе персонаж. Иногда я мечусь из угла в угол кабинета, как по сцене — от одного действующего лица к другому. Хочется избежать унылой похожести реплик в диалогах, ссорах, нравственных дуэлях, драках между ними.

Прежде чем написать пьесу, Симонову необходимо выговорить, вышагать ее, отмахать рукой с зажатой в ней трубкой.

В конце 60-х годов — зима запомнилась жестокими стойкими морозами — мы виделись ежедневно еще и потому, что Симонов взял меня, жившего тогда одиноко в соседней даче, на котловое довольствие (по его выражению), и я дней десять — двенадцать подряд обедал у него. Он заканчивал «Последнее лето», а я корпел над своей «Землей, до востребования».

В тот продрогший день Симонов уже просидел около шести часов за столом перед незрячим, покрытым толстым слоем инея окном во всю стену. Изрядно устал и потому затеял за обедом назидательный разговор о том, что необходимо устраивать перерывы в работе.

— Хотя бы два круга на своих на двоих вокруг квартала — и снова к столу...

Говорилось так, будто он сам строго придерживается этого правила, а я не уразумел, как это полезно при таком творческом напряжении.

— Давай сегодня наденем валенки, овчинные полушубки и прошвырнемся по морозцу в конце рабочего дня. Согласен?

— Конечно. Когда за тобой зайти? Часов в шесть, в половине седьмого?

— Это, пожалуй, будет рановато. Понимаешь, старик... Хочу сегодня главу закончить.

— Тогда, может, в восемь, в половине девятого?

— Согласен... — произнес он в нерешительности, с плохо скрытым оттенком сожаления.— Впрочем, пожалуй, удобнее всего будет часов в десять. А лучше — знаешь? В половине одиннадцатого! Я сам зайду за тобой. Пройтись по морозцу перед сном тоже очень полезно...

Затворником Симонову стать не удалось — ему время от времени приходилось наведываться в Москву по неотложным делам и надобностям.

Еще в молодые годы он научился водить машину. Но после войны забыл о своих водительских правах, как объяснил мне, ради экономии времени. Я не встречал людей, кто умел бы лучше его дорожить своим и, кстати сказать, чужим временем. Едучи ли на дачу, с дачи, колеся по городу, Симонов нередко брал лежавшую на сиденье или у заднего стекла алюминиевую доску с зажимом для бумаг — какое-то подобие портативного пюпитра. Он читал почту или, если дорога позволяла и не слишком трясло, на ходу делал пометки, строчил ответы.

Почта его была весьма обильна и разнообразна. Помимо писем от читателей, ветеранов войны, начинающих поэтов, писателей, к нему обращались со всякими просьбами, в том числе вздорными, анекдотичными. Один просил оплатить его пай в жилищном кооперативе, другая хотела сыграть главную роль в фильме по его сценарию, какая-то девица жаждала исповедаться наедине, кто-то, пребывая в длительном запое, требовал выслать ему телеграфом сотню рублей и последний сборник стихов. Симонов очень страдал от всевозможных беспокойщиков (так однажды назвал назойливых и настырных просителей Антон Павлович Чехов), но в меру сил отвечал всем. Нехватка времени, но неиссякаемый запас вежливости, такта и терпения...

В машине он просматривал также материалы, присылаемые из Бюро газетных вырезок, листал журналы, прочитывал рецензии, публикации, откладывал иные газеты, журналы для чтения на сон грядущий. В подобных поездках с дачи или из Москвы на дачу мы теряли его как собеседника; пассажиры, если они были, ехали молча.

И осенью страда «Последнего лета» не кончилась... Изредка семейство отправлялось в дальний лес. Это называлось «за кислородом и за грибами». Разбирался Симонов в грибах неважнецки, за что ему в одну из дальних прогулок присвоили ученую степень кандидата мухоморных наук.

На иных полянах, лесных опушках Симонов замедлял шаг, останавливался, нарочно отставал от спутников, доставал из кармана куртки диктофон и что-то наговаривал. Он гулял по лесу, пропахшему палыми листьями и грибами, неразлучный со своей компанией: с Серпилиным, маленькой докторшей, генералом Львовым, Синцовым. Такие прогулки Симонов называл активным отдыхом.

Я пытался оспорить формулу «активный отдых»:

— Какой же это отдых? Та же работа. Только не за письменным столом.

Неосторожно добавил, что любой портативный диктофон, когда его все время включают-выключают, опасаясь оборвать нить повествования, становится тяжелым...

— Какая в нем тяжесть? — Симонов демонстративно подержал диктофон на ладони вытянутой руки, притворяясь непонятливым.— Вот у художника Фалька жизнь потруднее моей. Эренбург рассказывал об этом кудеснике. С рассветом наденет рабочую блузу, навьючит на себя мольберт, ящик с красками, складной стул — и в лес или в поле. А после обеда, короткого отдыха Фальк садится за второй холст и ловит предвечернее освещение. Надеюсь, чувство внутреннего такта подсказало тебе, насколько необоснованны все придирки к моему активному отдыху при дневном освещении...

В 1966 году Симонов был участником большого кинематографического форума в Москве. Присутствие обязательно, а слушать подряд все речи ему не хотелось. Сидел в президиуме, не внимая чьим-то пустопорожним словам, и — я видел из зала — держал перед собой блокнот и что-то записывал. В перерыве, когда мы прогуливались по фойе, он, заговорщицки улыбнувшись, признался:

— Вчера форум прошел успешно. На вечернем заседании перевел четыре эпитафии Киплинга. Силен старик Редьярд, ох силен!.. А вот сегодня работа застопорилась. Всего две эпитафии. Может, после перерыва дело пойдет успешнее. Если, конечно, не будет серьезного разговора о художестве, о киноискусстве.

В следующем перерыве Симонов отчитался:

— Мне помог один маститый балаболка. Под его речь перевел еще одну эпитафию.

Он бывал доволен, как озорник мальчишка, когда ему удавалось остановить ручеек быстротекущего времени, чтобы время бесследно, бездельно не просачивалось сквозь пальцы.

В конце лета 1973 года Симонов вместе с Ларисой Алексеевной отправился из Гульрипши в Краснодар. В местном музее хранятся малоизвестные работы художника Малевича и материалы о нем, необходимые для монографии, которую писала Л. А. Жадова, кандидат искусствоведения. В путешествие отправились на «Волге».

— Дорога сильно утомила? — спросил я, когда мы увиделись в Москве.

— Дорога как дорога.

— Помнится, после Новороссийска крутые подъемы, спуски у станции Тоннельная.

— Разве? Откровенно говоря, не заметил. Особенно любоваться пейзажами было некогда.

В словах его прослушивалась та лукавая интонация, за которой почти безошибочно я угадывал желание огорошить меня. Посмеяться над моей недогадливостью, о самом существенном упомянуть как бы между прочим. Дескать, сам не придает этой мелочи большого значения, а если великодушно делится ею, то лишь для того, чтобы унять мое преувеличенное любопытство.

— Некогда? А чем был занят?

— Чтобы не слишком уставать в дороге, переводил попутно Галактиона Табидзе. Могучие поэты Тициан и Галактион!

— И много успел?

— Трудный вопрос. Чем измерять работу переводчика? Если с точки зрения кассира — успел совсем немного. Но худо-бедно — пять стихотворений...

И я вспомнил запись Симонова во фронтовом дневнике, где он рассказал, как «без отлучки от колес» сочинял «Корреспондентскую застольную». Ехал в открытом «виллисе», сидел, закутавшись в бурку, на холодном ветру неохота даже вытащить руку. И он бубнил себе под нос, сочинял, а потом зубрил только что сочиненные строфы, чтобы закрепить в памяти все, начиная с первой. Водитель решил, что подполковник тронулся умом — всю дорогу громко разговаривал сам с собой,— и по приезде сигнализировал об этом в санчасть штаба фронта.

Тридцать лет отделяют «Корреспондентскую застольную» от впервые зазвучавших по-русски пяти стихотворений Галактиона Табидзе. Сколько же сотен, тысяч часов транзитного труда осталось за спиной Симонова на проселочных шоссейных дорогах, железнодорожных, морских и воздушных путях!

За два последних десятилетия я был частым свидетелем того, как Симонов успешно спрессовывал, сгущал свое время, но запомнился лишь один разговор на эту тему.

— Эх, поскупился господь бог, когда выделил нам на сутки только двадцать четыре часа. Не надо было скаредничать! Что ему стоило добавить еще несколько часов,— вздохнул Симонов, итожа наш разговор.— В твоей пухлой книге «Земля, до востребования» мне все же удалось выудить одну хорошую фразу про время, которое стремительно убегает от нас даже тогда, когда мы держим свои часы на цепочке... Тем более преступно транжирить время. Будто его у нас навалом, невпроворот. Разве прожигать жизнь — только кутить в ресторанах? Прислушайся: «неплохо убили время». Будто время—какое-то бремя, обуза, непосильная ноша. Или вдумайся в слово «времяпрепровождение». Я всегда, еще с юности, боялся этого страшного слова.— И он проскандировал: — Вре-мя-пре-про-вож-де-ние!..

От площади Маяковского в Москве до Могилева мы доехали в «рафике» киностудии. Ехали со съемочной группой фильма «Шел солдат...». От «Волги» Симонов отказался.

2 июля 1974 года, спустя десять лет после первой совместной поездки, мы вновь шагали в Буйничах по полю, о котором автор фильма скажет с экрана зрителю: «Одному человеку этот мирный пейзаж ничего не говорит, а для других — это поле боя... Я не был солдатом, был всего-навсего корреспондентом, но и у меня есть кусок земли, которой мне век не забыть,— поле под Могилевом, где я впервые видел в июле сорок первого, как наши сожгли тридцать девять немецких танков...»

Шагая по этому полю, Симонов вдруг остановился и произнес:

— Может быть, я только потому и остался в живых, что тринадцатого июля половина роты Хорышева и сам лейтенант полегли здесь...

Огромную усталость, а одновременно много творческой радости, упоения работой принес автору фильм «Шел солдат...» (режиссер М. Бабак). Экран во весь голос рассказал о солдатском житье-бытье на переднем крае, о солдатских горестях и маленьких радостях в минуты передышки между боями.

Тогда же Симонов обратился к нравственному и боевому солдатскому опыту и в течение нескольких лет провел 70 дотошных интервью с полными кавалерами ордена Славы. Опасался, как бы бесценный фронтовой клад не остался втуне, дожидаясь и не дождавшись своего слушателя и тем более читателя. «Не быть у времени в долгу!»

20 апреля 1976 года Симонов пригласил друзей на просмотр телефильма об Александре Твардовском. Режиссер Дмитрий Чуковский свел в этом фильме артиста Ми-

хаила Ульянова и поэта Константина Симонова. Впрочем, идея этого дуэта принадлежала Симонову. Талантливейшее чтение стихов Ульяновым часто проецировалось на лицо Симонова, снятое крупным планом. У зрителя-слушателя телефильма надолго остались в памяти «Перевозчик-водогребщик», отрывок из стихотворения «Я убит подо Ржевом», много других прекрасных строк. Не забыть страдальческих и восхищенных глаз Симонова, который внимал чтецу Ульянову; оба были потрясены поэтической силой Твардовского.

Одновременно со съемками фильма «Александр Твардовский» шла трудоемкая подготовка к изданию двухтомника «Разные дни войны». Симонов вернулся к своим фронтовым дневникам, ширилась переписка с ветеранами, участились поездки в Подольский военный архив, во фронтовых событиях многое уточнялось, дополнялось, исправлялось.

Публикация дневников и съемки шести (за полтора года!) телевизионных фильмов из серии «Солдатские мемуары» были сопряжены с изнурительной работой.

По просьбе Симонова в фильме «Пехота есть пехота» Булат Окуджава, сам хлебнувший окопного лиха, проникновенно исполнил новую песню «А мы с тобой, брат, из пехоты». Помню, Окуджава стеснялся, отказывался сниматься, а Симонов упросил его. Брала за душу не только мелодия. В песне, как и во всем фильме, звучала доверительная, братская, но при этом далекая от панибратства интонация фронтовика.

Подробные рассказы полных кавалеров ордена Славы и несколько тысяч читательских писем — это шесть-семь тысяч страниц на машинке. Но разве только листажом стенограмм, метражом кинопленки и магнитофонных записей измеряется труд в эти годы Симонова, ревностного летописца войны?!

Зимой 1977/78 года шли съемки документального фильма о Михаиле Булгакове, его также делал Дмитрий Чуковский, с которым Симонов творчески сроднился.

Поздним зимним вечером, близко к полуночи, Симонов, продолжая править свою рукопись, сказал крайне устало, что рано-рано утром его будут ждать на киностудии.

— Приходится работать и при утреннем освещении. Знаешь, как Фальк рисовал букет? Не отрываясь. Пока цветы не увянут и не поблекнут краски.

Я осмелился заметить, что все краски потускнеют, если работать на износ, пересиливая чрезмерную усталость.

— Ты у нас верхолаз человеческих душ, много строек объездил,— сказал Симонов колюче, раздраженно.— Допускаю, можешь объяснить, что такое усталость металла. Но, к сожалению, ошибочно судишь об усталости человека при исполнении им своего долга.

— Неосторожное обращение с самим собой. Неугомонный мученик! Сверхурочный подвижник! Чувствуешь себя скверно, а работаешь под высоковольтным творческим напряжением. Это жизнеопасно. Ты к себе безжалостен, Костя.

Обычно ироничный, уклоняющийся от подобных разговоров, на этот раз он заговорил в несвойственной ему манере, обозлившись:

— Безжалостным можно быть к кому-либо или к чему-либо. Но к самому себе?! Какая может быть жалость к самому себе, если речь идет о нравственном долге? — Он закашлялся.— Ты забыл, что я председатель комиссий по литературному наследию и Твардовского и Булгакова. Мои обязанности не исчерпываются тем, чтобы сочинить воспоминания для сборника, который прочитает узкий круг родных и знакомых. Я не могу отказаться от телетрибуны перед многомиллионной аудиторией. Надо, чтобы люди знали, какое они получили богатое наследство! Своим безжалостным разговором ты лишь,— он никак не мог откашляться,— вызвал у меня сожаление, что я не сделал такого же фильма о Назыме Хикмете. Обязан был сделать как председатель комиссии и по его наследию! А ты разглагольствуешь о жалости...

Еще до ноября семьдесят восьмого года, когда фильм был показан впервые по телевидению, Симонов рассказал мне о последней прогулке Михаила Афанасьевича, безнадежно больного, с женой. Разговор — его можно назвать предсмертным — касался того, как Елене Сергеевне вернее, надежнее сберечь рукопись романа «Мастер и Маргарита». Булгаков считал роман своей главной книгой.

Симонов хотел убедить в этом и телезрителей; они всмотрелись на экране в рукопись восьмой главы романа, помеченной «30.X.34». В верхнем правом углу заглавного листа сохранилось воззвание Булгакова к самому себе: «Дописать раньше, чем

умереть!» Прочитав эту надпись, автор фильма Симонов обратил наше внимание на то, что слово «умереть» Булгаков подчеркнул.

Всего сорок девять лет прожил Булгаков. Однажды Симонов, забыв о моем присутствии или отрешась от меня, погруженный в себя, вслух прикинул:

— Доживи я только до этого возраста, не успел бы даже написать «Последнее лето».

А я ужаснулся мысли, что никогда не прочитал бы дневник «Разные дни войны», две последние повести Лопатина и многое другое, без чего мне и сегодня трудно было бы представить свою жизнь на склоне лет.

Рассказ об отчаянной перегруженности Симонова останется неполным, если умолчать о том, что он готовился к изданию десятитомного собрания сочинений. Напряженного труда потребовал первый том. Никогда еще ни один сборник его стихов, избранных переводов не был столь полным и одновременно столь строгим по отбору. Симонов подарил мне абонемент на собрание сочинений и первый том с надписью на титуле: «Дорогому Жене Воробьеву 1/10 моих сочинений и всю наличную любовь! Твой К. С. 12.IV.79».

Он очутился в трагическом цейтноте, «в узком промежутке», понимал, что не увидит всех томов своего сочинения. Что может быть горше для писателя? И работал не покладая рук, пытался сделать максимум того, что хотел и что мог. Увидел Симонов лишь первый свой том — «Стихотворения. Поэмы. Вольные переводы», одну десятую своих сочинений... В этом томе впервые опубликован перевод эпитафии Редьярда Киплинга «Просьба»: «Заканчивая путь земной, всем сплетникам напомню я: так или иначе, со мной еще вы встретитесь, друзья! Я вам оставлю столько книг, что после смерти обо мне не лучше ль спрашивать у них, чем лезть с вопросами к родне!»

Перелистывая теперь книгу, я уверился, что эпитафия «Просьба» не случайно напечатана на последней странице.

У Симонова не найти образа фронтового солдата, равноценного Василию Теркину по масштабу, эмоциональной и психологической глубине. Но несправедливы упреки некоторых критиков, которые, желая уколоть побольнее, называли Симонова офицерским писателем.

Всю войну писатель служил специальным корреспондентом центрального органа армии «Красная звезда». Оперативному, бесстрашному спецкору Симонову поручалось освещение самых значительных, ключевых событий войны, его командировали на горячие участки. Представьте себе разочарование, даже недоумение читателей «Красной звезды», если бы газета осталась без материалов Симонова об обороне Одессы, о Сталинградской битве, об орловско-курской дуге, о переходе наших войск через границу, о подписании фельдмаршалом Кейтелем акта о капитуляции в Карлсхорсте.

Да, у Симонова нет книги, где рядовой по званию может быть назван главным героем. Но каждый рассказ, каждая повесть, каждый роман полон почтительного внимания, сочувствия к многотрудной солдатской судьбе, полон скрытого восхищения неброской солдатской храбростью, выносливостью его духа и тела, его мудрой окопной сноровкой и нравственным богатством.

Только тот фронтовик имеет моральное право писать о солдатской доблести, кто сам не раз смотрел «в глаза опасности глазами смелости»... Специальный корреспондент Константин Симонов, никем и ничем не понуждаемый кроме как своей честью и воинским достоинством, отправлялся с матросами в разведку в тыл врага на полуостров Рыбачий, плавал во вражескую Констанцу на подводной лодке, ходил в атаку на Арабатской стрелке на Сиваше, высаживался вслед за нашим десантом в Феодосии, не раз переправлялся через нагретую осколками Волгу в пылающий, грохочущий, рушащийся Сталинград. Если вспомнить, в каких передрягах побывал спецкор К. Симонов и при этом остался жив,— его можно назвать баловнем судьбы.

Он рассказывал редактору «Красной звезды» генералу Д. И. Ортенбергу: «Мне пришлось в эту поездку быть в таком переплете, когда много испытываешь на своей шкуре: и прицельный огонь по тебе, и ощущение человека, идущего в атаку, и ощущение человека, которого поднимают, когда он залег, и ощущение человека, который уже сам после этого поднимает других. Все это мне потом помогло и беседовать с людьми, и давать более достоверно в очерках какие-то черточки психологии солдат и офицеров, оказавшихся в сложных боевых обстоятельствах».

Не только в очерках, добавлю я, но в главах каждой новой книги Симонова становилось все больше окопных подробностей, крупиц солдатской психологии.

Присмотримся пристальнее к образам офицеров, генералов, живущих на страницах Симонова, и мы заметим характерную эволюцию авторских симпатий к ним и критериев в оценке командирского авторитета, всего поведения на войне. Справедливо сказать, что образы Артемьева и Синцова, с которыми мы познакомились в «Товарищах по оружию», поблекли (отчасти потому, что эти два персонажа дублировали в чем-то друг друга), а образы офицеров, генералов с солдатской закалкой и закваской оказались более полнокровными, живучими. В офицере, завоевавшем симпатии автора, почти всегда можно обнаружить солдатскую сердцевину.

Автору небезразлично, что заместитель командира полка Чугунов «не хотел носить офицерской шинели с отворотами. И погоны нашивал и перешивал все на ту же, солдатскую... И капитанские, и майорские. Говорил: на крючках удобнее! Рассчитывал до конца войны ее доносить...»

Эта подробность обязана появлением в «Последнем лете» Ивану Федотовичу Мельникову, который в дни операции «Багратион» командовал полком. Познакомились мы еще на фронте — поехал к нему, прослышав такое: когда полк делал марш-бросок, Мельников слезал с кобылы Лысухи и топал во главе полка с матушкой пехотой. Мельников заинтересовал Симонова своим солдатским нутром, благородным демократизмом. Сочиняя роман, Симонов обстоятельно беседовал с Мельниковым. Судя по длине пленки, беседа продолжалась три с половиной часа. В расшифрованной стенограмме Мельникова можно прочесть: «За всю фронтовую жизнь я не имел офицерской шинели. Не любил. По ночам лазал по переднему краю, в солдатской шинели все подогнано, застежки на крючках, ползешь — прекрасно. А у офицерской лацканы мешают. Да и пуговицы — сразу видно кто».

Наиболее острые моральные конфликты связаны у Серпилина с пониманием солдатского долга, с его неприятием трусости, безнравственного поведения. Вспомним негодование комбрига Серпилина, отказавшего паникеру и дезертиру Баранову в своем сочувствии и прощении («Живые и мертвые»). Вспомним поведение генерала Серпилина, который отказался штурмовать без должной подготовки населенный пункт Грачи («Солдатами не рождаются»). В те минуты он подвергал опасности не только свою служебную репутацию — жизнь! Но при первой же возможности Серпилин взял штурмом деревню Грачи, избежав лишних жертв. Вспомним, наконец, день, когда командарм Серпилин («Последнее лето») вызвал к себе солдата Никулина, отданного под военный трибунал. Солдату угрожал расстрел за нечаянное убийство им офицера на учениях. Серпилин взял на себя огромную ответственность, вызволил неудачника и отправил на передовую, исповедуя при этом и строгость и справедливость.

Одну из последних бесед с Симоновым провел литературный критик В. А. Косолапов по просьбе издательства «Книга». Симонов был очень откровенен:

«Бывают и такие читательские письма и выступления на читательских конференциях, которые подталкивают писателя на активные действия. Заставляют его поразмыслить. Поершиться сначала, может быть, но потом поразмыслить над сутью сказанного. Меня, например, в ряде случаев упрекали на читательских конференциях и в письмах в том, что я больше пишу офицеров, чем солдат. Подчас выражали это даже в более резкой форме, иногда и в статьях, что я, дескать, офицерский писатель и так далее. Проанализировав, посмотрев, что я написал, в общем, можно найти долю истины в этих упреках...

Я где-то затаил это недовольство собой, и отчасти именно оно меня подтолкнуло: что я не сделал в прозе, сделать в кино. Сделать фильм «Шел солдат...». Сделать целую серию телевизионных фильмов «Солдатские мемуары». Вот сейчас, если мне кто-нибудь скажет, что я офицерский писатель, я отвечу, что мы можем поспорить!.. После нескольких лет работы над этими фильмами я знаю войну сейчас лучше, чем знал ее в день окончания».

Было бы несправедливо умолчать о том, что Симонову удалось вылепить интереснейшие фигуры военачальников, чьи характеры проявились не только во взаимоотношениях с подчиненными (включая порученца и ординарца), но и во всеоружии глубокой стратегической мысли. Сколько уже перелистано военных книг, где командиры, комдивы, члены военных советов, комиссары фигурируют как принудительный антураж. Существует неписаное, но принятое иными писателями к исполнению обязатель-

ное «штатное расписание», согласно которому несколько действующих лиц романа разгуливают в брюках с лампасами и в генеральских папахах. Заслуга Симонова как романиста в том, что конфликты, которые приходится решать персонажу в высоких чинах, лежат на стратегической глубине.

Погожим летним днем 1966 года на даче Г. К. Жукова шли съемки документального фильма «Если дорог тебе твой дом». Киноинтервью у маршала брали Симонов и редактор «Военно-исторического журнала» консультант фильма генерал Н. Г. Павленко.

Много неожиданных фактов, острых эпизодов — четверть века хранились они в памяти — ожило в рассказе маршала. Проблескивали неизвестные нам драгоценные подробности, касающиеся дней и ночей трагического октября и зимы 1941/42 года на Западном фронте. Маршал, генерал и полковник запаса обсуждали и вопросы военной стратегии. Содержательность беседы была обусловлена не только нашим высоким уважением к хозяину. Откровенность, значительность разговора объяснялись и тем, что Георгию Константиновичу был чрезвычайно интересен, симпатичен Константин Михайлович как собеседник, любящий и знающий военную историю. Познакомились они еще на Халхин-Голе, не раз встречались на фронтах Отечественной войны, встретились и 8 мая 1945 года в Карлсхорсте, когда капитулировал германский вермахт.

Я не принимал участия в обсуждении масштабных фронтовых проблем, но иногда, как старожил фронта, набирался смелости и подсказывал даты боев, названия географических пунктов, фамилии командиров. Мне довелось видеть Жукова на рубеже августа — сентября 1941 года. Это было на дальних подступах к Ельне в штабе полка, которым командовал Батраков (107-я стрелковая дивизия). Был и очевидцем боя за освобождение селения Угодский Завод, той же фронтовой зимой рассказал некоторые подробности уроженцу тех мест Г. К. Жукову.

Наша беседа касалась не одного Западного фронта, вспоминались и далекие от Подмосковья разные разности, начиная со стародавней службы Жукова в кавалерии под командованием Рокоссовского, когда они, бывало, соперничали в Ленинграде в конкур-иппиках, в турнирах по фехтованию. Рассказал Жуков и о своем прилете осенью 1941 года в Ленинград, где он сменил Ворошилова, о драматических событиях тех дней, об их тогдашних спорах и разногласиях, о стратегических планах обороны города.

Стенограмму киноинтервью с Г. К. Жуковым и все, что засняли операторы, увезли в громоздком тонвагене на «Мосфильм». Но сколько любопытного прозвучало в кабинете маршала до съемки, в минуты технических заминок, после съемки!

Возвращаясь в город, Симонов не отрывался от своей портативной алюминиевой доски. Зачем перегружать память и всецело ей доверяться, если можно записать немедля, не откладывая на поздний вечер. Я вслух вспоминал фразы Жукова, а Симонов, продолжая писать, одобрительно кивал своей контуженной головой:

— Ухо хорошо, а два лучше...

Выступления Симонова я слышал в Москве, Минске, Ленинграде, Курске, Могилеве, Поныpях, Смоленске, Чаусах, Бресте, Рязани, Ярцеве, Зембине, Кричеве и других местах. Не раз приходилось выступать вместе с ним. Бывал на поэтических вечерах Симонова, когда аудитория накалялась до температуры всеобщего восторга; не забыть его поэтических вечеров в Бресте, Курске, в Центральном доме работников искусств.

На городском активе в Курске Симонов читал стихотворение «Если бог нас своим могуществом...». Впервые на моей памяти он запнулся, перепутал очередность строф. И нужно было слышать, как зал стоусто с громогласным наслаждением проскандировал строчки: «Ни любви, ни тоски, ни жалости, даже курского соловья, никакой, самой малой малости на земле бы не бросил я...» Симонов признался после вечера, что его взволновало это синхронное сочувствие.

Не помню случая, чтобы Симонов, прочитав впервые какую-нибудь мою рукопись, похвалил ее. Если нравилось, в ходу были два слова скупой похвалы: «годится» или «получилось» — высшая мера одобрения чего-то, сделанного мною. Щедрее оценивал мои выступления перед читателями, иногда даже не скупился на комплименты.

В феврале 1978 года Симонов проводил в Минске заседание совета по очерку и публицистике Союза писателей СССР, обсуждалась военно-патриотическая тема.

Совет завершил работу дневным заседанием, а вечером предполагалось выступление группы писателей в большом зале окружного Дома офицеров.

Перед обедом мы спустились в вестибюль гостиницы «Минск». Симонова поджидала группа офицеров и суворовцев — делегация из училища. Товарищи упрашивали Симонова поехать к ним. Жаль, времени в обрез, через два с половиной часа ему надо быть в Доме офицеров. Но суворовское училище совсем близко, машина ждет у подъезда, она же отвезет после встречи. Отказать суворовцам? У Симонова просто язык не поворачивался, за много лет я не помнил такого случая.

— Ну что ж,— вздохнул он,— считайте, что уговорили. Вот мы вдвоем с товарищем Воробьевым к вам и поедем.

Я уже подготовился к вечеру в Доме офицеров. Перед Симоновым извинюсь, подумал я, что он несколько минут будет вынужден вечером слушать меня повторно.

Напомнил суворовцам слова Хемингуэя, посвященные американцам, павшим в Испании: «Весной мертвые почувствуют, что земля оживает... Мертвые стали частицей испанской земли, а испанская земля никогда не умрет... Те, что достойно сошли с нее... уже достигли бессмертия».

С Хемингуэем, сквозь годы мчась, перекликается Александр Твардовский в гениальном стихотворении «Я убит подо Ржевом». Разве убитый боец, обратившй к нам свою надежду, веру и тревогу, не остается нашим современником? Не чувствует себя частицей русской земли, не чувствует каждую весну, как земля оживает?

Я — где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я — где с облачком пыли
Всходит рожь на холме...
. . . .
Где травинку к травинке
Речка травы прядет,—
Там, куда на поминки
Даже мать не придет...

Мы сидели с Симоновым за столиком с микрофоном. Я посмотрел в его сторону и внезапно увидел, что он плачет — слеза течет по щеке. Симонов не заметил моей нечаянной наблюдательности, и, кажется, мне удалось уберечь его от смущения. Сбивчиво, не очень-то складно закончил я выступление, к тому же и время было на исходе.

— Может быть, это получилось у тебя случайно,— сказал Симонов, подсмеиваясь, когда мы одевались, торопились в Дом офицеров,— но ты сегодня был в ударе. Суворовцы остались довольны...

«Газик» училища прыгал по наледям и рытвинам февральской мостовой, а я не мог оправиться от пережитого Симоновым волнения. За долгие, долгие годы лишь дважды видел его плачущим: когда хоронил отчима — Александра Григорьевича и когда умерла мать Александра Леонидовна. Но слезы Симонова, вызванные стихами Твардовского, потрясли своей необъяснимостью.

Я держался за спинку переднего сиденья и неотрывно думал: почему Симонов, обладая такой выдержкой, не совладал со своими чувствами? Наверное, представил себе, как «корни слепые ищут корма во тьме», подсознательно побывал «там, куда на поминки даже мать не придет»...

Невеселую эту загадку я, к горечи и боли своей, отгадал в будущем году.

В середине январского дня 1979 года раздался поджидаемый мною телефонный звонок, и я услышал:

— Шагай к подъезду, нам пора.

Мы ехали в Дом кино на гражданскую панихиду. Накануне вечером условились вместе проводить в последний путь Александра Борисовича Столпера.

Столпер преданно любил творчество Симонова и создал по его произведениям шесть фильмов: «Парень из нашего города», «Дни и ночи», «Жди меня», «Живые и мертвые», «Возмездие» и «Четвертый». Лучшим из этих фильмов Симонов считал «Живые и мертвые». Когда мы возвращались с «Мосфильма» после просмотра, я сказал, что картина очень волнует, а первая серия безусловно лучше второй.

— Что же ты удивляешься? — ответил Симонов.— Ведь и первая часть романа написана лучше, чем вторая. Шура не виноват...

По дороге на Васильевскую я спросил:

— А где Шуру захоронят?

Симонов раздраженно отмахнулся от вопроса:

— Неужто под конец так важно: где три аршина нам дадут? — процитировал строчку из своего стихотворения.

Мне суждено было услышать от него эти стихи несколько лет назад, но не помню, где и когда их позже напечатали.

В Доме кино было уже многолюдно, а народ все прибывал. Симонов увидел стоящего у колонны Анатолия Дмитриевича и шепнул мне:

— Серпилин тоже пришел отдать долг.

Ответственный за траурный ритуал снаряжал очередной трехминутный почетный караул. В изголовье гроба рядом с Симоновым встал Папанов, человек с лицом старого солдата.

Первое слово на панихиде дали Симонову. Он говорил глухим, неузнаваемым голосом, то и дело покашливая. Да, горько навсегда расставаться с близким другом. Сама потеря непоправимо тяжела, но выразить словами это горе легко потому, что, перечисляя достоинства Столпера, никому не придется прибегать к преувеличениям и завышенным оценкам, как часто бывает на панихиде, а также на юбилеях.

— Истинные, высокие достоинства этого благородного человека таковы, что сегодня здесь не прозвучит ни одно неискреннее слово, ни одна не заслуженная им похвала. И вся трагедия заключается в том, что он этих слов не услышит.

Я удивился тому, что врачи отправляют Симонова в Гурзуф, на самый солнцепек. Но если вести себя осторожно, не сидеть на пляже и держаться тени, может сказаться и положительная сторона отъезда — удастся отторгнуть его на месяц-полтора от постоянной и все более непосильной работы.

Судя по багажу, который брал с собой Симонов, не оставалось сомнений — он собирается не только лечиться, но и работать.

— Тебе не холодно? — спросил он на перроне Курского вокзала.

— В такую-то жару?

— А мне и душно и зябко.

На Симонове в тот жаркий день была плотная темная рубашка, свитер и пиджак.

Багаж уже погрузили — много книг, рукописей. В купе было душно, я обнаружил, что не работает вентилятор, и побежал искать начальника поезда. Узнав, о ком и о чем идет речь, начальник поезда обещал, что тотчас же, как поезд отойдет, исправят. Проследит также, чтобы не перестарались, чтобы в купе не было сквозняка.

— Где ты пропадал? — Симонов уже стоял в тамбуре вагона.

Я промямлил что-то невнятное в свое оправдание.

— Самый суетливый провожающий на всем Курском вокзале!..

Симонов 5 июля дал в санатории одно из своих последних интервью сотруднику газеты «Крымская правда» В. Дружбинскому:

— Никогда не забуду бесед в землянках, последних перекуров перед атакой, не забуду солдат, этих самых главных людей войны... Хочу снова приехать в Крым и пройти-проехать по местам боев сорок первого года. Хочу вспомнить друзей, хочу встретиться с авторами писем, с очевидцами событий. Хочу, чтобы эти письма и воспоминания вошли в новую книгу. Это будет книга, написанная от имени всех солдат, своим горбом добывших победу, от имени дошедших и не дошедших до нее, награжденных и не награжденных, живых и мертвых...

На следующий день после возвращения из Гурзуфа Симонов позвонил вечером и предложил прогуляться возле дома. Видимо, заметил при встрече мой встревоженный взгляд. Остановился у крыльца в поликлинику Литфонда и сказал удрученно:

— Потерял еще три килограмма с довеском... — При этом невесело улыбнулся и тронул пальцами воротник рубашки, который стал широк.

Я осторожно упрекнул его: наверное, не удержался и, несмотря на запрет врачей, продолжал в Гурзуфе работать. Он грустно возразил:

— Хотел работать, но не смог. Совсем новое для меня ощущение: нужно работать, хочу работать, а не могу. Так много нужно делать! Помнишь, у Михаила Афанасьевича? Он сделал для памяти себе зарубку за шесть лет до смерти: «Дописать раньше, чем умереть...»

Через несколько дней принес недавно вышедшую книгу «Так называемая личная жизнь» — роман в трех повестях из записок Лопатина. Первая повесть вобрала в себя четыре рассказа. Сюжетные скрепы между ними усилены, и повесть получила новое название — «Четыре шага». По обыкновению спросил, нравится ли название, в этом наши вкусы нередко расходились. На сей раз название понравилось, удачное, оно сразу переносило читателя в «Землянку» Алексея Суркова — «а до смерти четыре шага». Симонов невесело поправил меня:

— Ты ошибаешься, старик. Эти самые четыре шага судьба отмеряет не только на фронте...

Вручая мне книгу «Так называемая личная жизнь», он по стародавнему своему обычаю предварил ее экспромтом. Прежде строчки бывали окрашены иронией, юмором, как всегда добротным, первосортным. Называл это — «послать книгу с рукоприкладством».

На этот раз надпись на титуле была грустная: «Женечка! Хотя судьба порой строга и мы ведем с врачами бой — но за четыре-то шага все ж будем видеться с тобой? А? Твой К. С.»...

В кабинете Симонова самоотверженная, все помнящая Нина Павловна Гордон плотно выстраивала на полках многочисленные папки с рассказами фронтовиков. После расшифровки магнитофонной ленты папки правдиво и сурово заговорили. Будто не папки стояли, а сами кавалеры ордена Славы трех степеней выстроились в одну шеренгу, держа строгое равнение.

Последний фильм из серии «Солдатские мемуары» — о танкистах...

Последняя прижизненная книга...

Последнее выступление по телевидению...

Последние интервью...

Последний автограф...

Последнее напутствие в литературу... Предисловие к повести Вячеслава Кондратьева кончалось так: «„Сашка" — это история человека, оказавшегося в самое трудное время в самом трудном месте и на самой трудной должности — солдатской»...

Я узнал, что сегодня, 23 июля, за Симоновым в Красную Пахру придет больничная машина. Его отвезут на Мичуринский проспект, и поедет он один. Зашел к нему на дачу, сочинил, что мне нужно по киноделам в город, и напросился пассажиром в черную «Волгу» с красным крестиком на ветровом стекле; машина ждала у ворот. Считал своим долгом проводить его, помнил, как он полгода назад стоял у моего подъезда в городе и помогал загружать меня в машину «скорой помощи».

— Неисправимый ты человек,— сказал Симонов притворно-сварливым тоном, выслушав мою просьбу.— С трудом вырываешься на чистый воздух — тянет в духоту. Меняешь озон на смог. Неужели так срочно?

— Да, срочно. К тому же «Мосфильм» там рядом...

— Ну что же, понедельник — день тяжелый. Придется еще терпеть твое соседство...

В дороге, чтобы извлечь Симонова из мрачного молчания, я напевал песенку о фронтовом шофере. Он дослушал песню, помолчал, затем подивился вслух:

— Какой смысл снова делать мне какие-то исследования? Разве не целесообразнее было, не логичнее проделать все процедуры до того, как меня отправили в Гурзуф? «Отдельным штатским лицам эта песня малость невдомек»...

Он замолчал на несколько километров Старо-Калужского шоссе, а я, чтобы увести его подальше от тревожных догадок, затеял разговор о том, что хорошо бы выпустить грампластинку с песнями на его стихи. Незадолго до окончания сезона мы провели в ЦДЛ вечер из серии «Советские полководцы». В худосочном дивертисменте, которым иногда сопровождаются такие вечера, выступала певица. Она исполнила песню «Как служил солдат службу ратную», а перед тем объявила: «Музыка Блантера, слова народные».

— Ну и прекрасно объявила! Как ты не понимаешь? Самая большая похвала автору, какая только может быть. Слова народные! Польщен и рад ее ошибке.

Я гнул свое и вспоминал песни, которые могли бы составить диск поэта Константина Симонова: «Как служил солдат службу ратную», «Жди меня», «Песня фронтовых корреспондентов», «Чемодан» и «Давай споем, подруженька-гитара» Матвея Блан-

тера; «Я помню в Вязьме старый дом», «Седина» и песни Модеста Табачникова из спектакля Товстоногова «Четвертый», цикл, или, лучше сказать, венок, песен, сочиненных талантливым ансамблем Хабаровского театра юного зрителя к спектаклю «Парень из нашего города».

— Вместо того чтобы сочинять свои долгоиграющие прожекты, ты бы лучше пригубил несколько куплетов из моей «Фляги».

Отличную песню на эти стихи сочинили дальневосточники и прислали автору пленку. В Москве, кажется, только я помнил мелодию, а слова знал еще со времени войны. В последние годы я эту песню нередко напевал Симонову, нравилась обоим.

Успел я пропеть: «Когда в последний путь ты отправляешь друга...» — и только тогда содрогнулся. Острое предчувствие разлуки перехватило горло. Нельзя, нельзя было так необдуманно, легкомысленно соглашаться на его просьбу. Но нельзя и оборвать «Флягу» на полуслове. Собрался с душевными силами и продолжил, осекаясь: «Есть в дружбе, не забудь, посмертная услуга...» Лишь бы Симонов не почувствовал, что я понял скрытый смысл его просьбы, поскорее бы, следуя строчкам песни, встряхнуть флягу над ухом и, чтоб влага не пропала, разделить на два глотка зеленый хмель солдатский...

Последняя поездка по Старо-Калужскому шоссе, Профсоюзной улице, мимо площади Гагарина, мимо Ленинских гор, на Мичуринский проспект...

«Слезами измеренный чаще, чем верстами, шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз...» Последним трактом стало для Симонова шоссе, ведущее в Бобруйск. На шестом километре от Могилева, возле деревни Буйничи чернеет пашня, бывшее поле боя. Симонов стал частицей той земли.

Откуда-то с берега реки Гайна притащили танковым тягачом «серый камень гробовой» и установили на обочине. Валун вдавлен в белорусскую землю не только каменной тяжестью своих двенадцати тонн. Земля под камнем с бессмертным автографом «Константин Симонов» испытывает тяжесть горя миллионов читателей.

1982.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

СЕРГЕЙ БЕЛОВ

★

НЕВОЛЬНЫЕ ОТКРОВЕНИЯ

Западный образ жизни и «массовая литература»

Известный западный философ и социолог Эрих Фромм в работе «Бегство от свободы» заметил, что даже самое деспотическое правление не может существовать одним лишь принуждением. Искусство управления людьми, продолжал Фромм, как раз и заключается в том, чтобы, исполняя чужую волю, люди полагали бы, что действуют по собственному усмотрению. Западное общество традиционно рекламируется как «открытое» — предоставляющее якобы своим членам самые широкие возможности в смысле исполнения их желаний. Вместе с тем (и это уже рекламированию не подлежит) важнейшей заботой правящей элиты является создание таких условий, при которых потребители приобретали бы именно то, что необходимо сбыть изготовителям. Это относится не только к сбыту вещей, но и к сбыту идей, стереотипов мышления, ценностных ориентиров.

Заметно возросшее количество свободного времени у западного человека второй половины XX века указывает на то, что пренебрегать этой важной сферой «ловцам человеков» было бы неразумно. Поскольку же искусство стало в наши дни частью досуга подавляющего числа людей, оно используется в качестве одного из основных каналов, через которые и осуществляется воспитание членов общества, в том числе и тех, что мнят себя свободными от его идеологических клише.

Словечко «бестселлер» родилось в Америке в преддверии XX столетия, отразив собой и ставшую притчей во языцех национальную предприимчивость, успешно осваивавшую заповедные области высокого и прекрасного, и надвигающиеся перемены в производстве и потреблении продуктов творческой активности человека. В ту далекую пору, однако, в этой сфере с нынешней точки зрения царила настоящая анархия. Книготорговцы, радуясь взлетавшему вдруг спросу на отдельные издания, в общем-то, не умели воздействовать на капризного читателя. Их сегодняшние коллеги не ждут милостей от стихии книжного рынка. Призвав на помощь психологов, социологов, специалистов по рекламе, они постигают тайны изготовления книг массового потребления.

Бестселлер надо организовать. Это дело хлопотное и с немалыми расходами сопряженное, но в конце концов, как правило, прибыльное. Покупатели, по давнему убеждению торговых экспертов, «сами не знают, чего хотят», и тем легче поддаются внушению, чем незаметнее (и настойчивее) оно делается. Нет необходимости взывать к разуму покупателя, достаточно намекнуть, что эту книгу покупают другие. Почему — не важно, главное, что она нравится всем вокруг. Среди проверенных способов подогреть любопытство публики — интервью с автором в разгар работы над будущим шедевром, публикация отрывков из него, а сразу же по выходе (а бывает, и до выхода) — аннотации и рецензии престижных критиков в престижных же журналах. Известному у нас Артуру Хейли неплохо помогает его жена Шейла: недавно она опубликовала книгу о личной и творческой жизни автора «Отеля» и «Аэропорта», а заодно и о себе, о тяготах своего удела — быть женой знаменитости.

Умело и вовремя создать вокруг книги ажиотаж — значит сильно повысить ее шансы на коммерческий успех. Подлинным триумфом такого «творчества книго-

К 40-летию Сталинградской битвы

Г. В. ПОЛУЭКТОВ

★

ЗАПИСКИ ФРОНТОВОГО АРТИЛЛЕРИСТА

Герой Советского Союза, генерал-полковник артиллерии Георгий Васильевич Полуэктов — один из активных участников исторического сражения под Сталинградом. К сорокалетию победы Советской Армии в этой битве «Новый мир» печатает отрывок из воспоминаний Г. В. Полуэктова, над которыми он работал до последних дней жизни (умер в 1982 году). Публикацию подготовил П. С. Сиркес.

В начале сентября 1942 года я был назначен начальником артиллерии 66-й армии, которой командовал Р. Я. Малиновский. Когда я прибыл в расположение армии, мне сообщили, что командующий примет меня утром следующего дня.

На рассвете в сопровождении офицера я выехал к командарму. Как и вчера, к небу тянулись столбы дыма — горел Сталинград. По мере приближения к передовой открытая равнина пересекалась в разных направлениях глубокими балками. На подступах к городу шел воздушный бой. Под напором наших истребителей вражеские бомбардировщики, не дойдя до линии фронта, сбросили свой бомбовый груз и ушли низом на аэродромы. Стреляла зенитная артиллерия, небольшие облачка разрывов густо плавали в небе.

Мы въехали в балку и вскоре оказались у трех маленьких землянок. Мне показалось странным, что генерал Малиновский, ранее, кстати, бывший командующий фронтом, управляет войсками в столь непритязательных условиях. Позже убедился: Родион Яковлевич никогда не придавал удобствам особого значения.

У землянок меня встретил дежурный офицер.

— Командарм находится в двухстах метрах, наблюдает за полем боя,— доложил он.

Вдоль некрутого склона протянулась глубокая траншея. Указав на нее, дежурный добавил:

— По этой траншее можно пройти прямо к генералу.

Пробираясь по узкому укрытию, я еще издали увидел Малиновского, сидевшего прямо на бруствере с биноклем в руках. Заметив меня, он слегка повернул в мою сторону голову. Родион Яковлевич, коренастый, широкий в плечах, смуглолицый, казалось мне, источал добродушие и спокойствие, так не вяжущиеся с обстановкой. Я представился. Малиновский внимательно на меня посмотрел, выдержал паузу и, сделав приглашающий жест, указал на место возле себя. Задав вопросы о том, где я воевал, в каких участвовал операциях, командарм ознакомил меня с обстановкой.

Введенная в бои с ходу, без должного усиления артиллерией и при недостатке танков, армия за короткий срок дважды предпринимала наступление, но поставленной задачи не выполнила.

— Вам как начальнику артиллерии следует иметь в виду,— подчеркнул Малиновский,— что армия временно переходит к активной обороне.

И все-таки соединения 66-й нанесли врагу большой урон как в живой силе, так и в технике. Это было видно и по панораме боя. На переднем крае скопились десятки сожженных или подбитых вражеских танков, штурмовых орудий и бронетранспортеров. Командарм показал мне на карте танкоопасное направление.

— Ему должно быть уделено особое внимание,— сказал он.— Здесь действовал Тысяча сто второй пушечный артиллерийский полк, действовал хорошо. Надо его и впредь держать на этом направлении.

Вечером того же дня я встретился с офицерами штаба артиллерии и у нас состоялся откровенный обмен мнениями. Я, в частности, высказал свои требования к разведчикам, операторам, артснабженцам, выслушал подчиненных. Настроение после этого у меня улучшилось. Стало ясно, что штаб укомплектован опытными, хорошо подготовленными командирами, на которых можно положиться в любой обстановке.

Рано утром я снова был на том же наблюдательном пункте, где накануне представлялся Малиновскому. Меня сопровождали два офицера штаба. В северо-восточном конце балки, где находились уже упомянутые три землянки, мне показали ту, что предназначалась для меня. Войдя, сразу убедился, что крышей моему пристанищу служили ветки кустарника, едва ли могущие защитить от холодного осеннего дождя, а не то что от осколков снаряда или мины. В пяти шагах от меня находилась землянка командарма. Я застал его за завтраком. Перед Родионом Яковлевичем на маленьком столике стоял солдатский котелок с жидковатой гречневой кашей. Он ел ее, запивая чаем из алюминиевой кружки.

— Ну что вам удалось сделать за вчерашний день? — спросил он

Я рассказал о своих встречах с артиллеристами и изложил соображения об относительно низкой плотности противотанковых средств на основном направлении южнее Ерзовки.

— Это верно,— согласился со мной командарм,— хотя в настоящее время противник на этом направлении большой активности не проявляет, ему не до этого. Все его усилия брошены на овладение городом. А мы должны всемерно помогать сталинградцам, действуя активно.

В этот день 1-я гвардейская армия — наш правый сосед — вела наступление на совхоз «Опытное поле» и станцию Гумрак. Мы пошли на наблюдательный пункт. В случае удачи гвардейцев следовало оказать им помощь для развития успеха дивизиями правого фланга нашей армии. В стереотрубу нам было хорошо видно, как по ровной открытой степи наши перебежками приближались к передней траншее противника. Казалось, они близки к цели — оставалось сделать один бросок, чтобы овладеть ею. Но тут немецкие батареи открыли мощный огонь. Рвущиеся в воздухе снаряды прижали наступающих к земле. Тяжко нам было наблюдать безнаказанные действия фашистов, стрелявших с полузакрытых позиций, однако помочь соседям огнем мы не могли: все три дивизиона нашего тяжелого артиллерийского полка находились далеко, на основном направлении.

Относительно спокойные дни середины сентября позволили проверить боевую готовность артиллерии наших дивизий и познакомиться с ее начальниками, а также с командирами артиллерийских и минометных частей резерва Верховного Главнокомандования. Нашел я и старых знакомых, среди которых оказался немолодой полковник С. А. Мозуль, мой сослуживец по курсам усовершенствования. Там он был прекрасным преподавателем, но здесь, на фронте, как оказалось, этого было недостаточно, требовательности ему как начальнику артиллерии дивизии явно не хватало. Хорошо, что молодой и энергичный командир 299-й стрелковой подполковник Глеб Владимирович Бакланов восполнял этот недостаток. С Баклановым мы вскоре подружились, и наши добрые отношения продолжались до конца его жизни.

В дивизии Бакланова радовала хорошая организация артиллерийского наблюдения и взаимодействия артиллерийских и минометных подразделений. Хорошую боеготовность показал пушечный полк резерва Верховного Главнокомандования.

Изрядно обеспокоила меня противотанковая оборона. Во-первых, крайне низкая плотность орудий. Их, безусловно, было мало против возможных массированных атак вражеских танков. Во-вторых, невелика оказалась и плотность массированного, подвиж-

ного и неподвижного заградительного огня на танкоопасном направлении. А главное — недостаточны были возможности нашей противотанковой артиллерии. Резервов мы не имели, не поступало и материальной части для восполнения каждодневных потерь. Оставалось лишь надеяться, что противнику, рвущемуся в город, не до массированных атак танков в нашем направлении. Примерно так я и доложил Малиновскому о результатах первой проверки.

В один из этих же сентябрьских дней на наш командно-наблюдательный пункт прибыли первый заместитель Верховного Главнокомандующего Г. К. Жуков и командующий Сталинградским фронтом А. И. Еременко. Перед Малиновским была поставлена задача: в короткие сроки подготовить и провести частную наступательную операцию. Мне с моим штабом на основе принятого решения предстояло в ограниченный отрезок времени спланировать ее артиллерийское обеспечение.

Наша операция, как и проведенная накануне 1-й гвардейской армией, многим до поры до времени казалась малоэффективной. У нас недоставало сил и средств, чтобы опрокинуть и погнать противника. Соединения нашей армии почти каждый день атаковали, вели ожесточенные и кровопролитные бои, но подкрепления не получали. Мы тогда еще не знали об оперативно-стратегическом замысле Ставки: окружить под Сталинградом 6-ю и 4-ю танковые армии врага. До определенного момента, кроме Верховного Главнокомандования, об этом не знал никто. Но своей активностью мы держали противника в постоянном напряжении, сковывали его значительные силы, облегчая положение наших войск, дравшихся в городе.

Для того чтобы представить условия, в которых приходилось действовать артиллерии нашей армии, следует заглянуть несколько вперед и рассмотреть характерные особенности планирования артиллерийского наступления во всех операциях под Сталинградом, включая период ликвидации окруженной группировки немецко-фашистских войск.

Во-первых, эта подготовка осуществлялась в ограниченные сроки и нередко артиллерийские соединения вводились в бой с ходу. Во-вторых, в то время для надежной подготовки атаки пехоты и танков артиллерии нам не хватало. Для быстрого уничтожения или подавления живой силы, огневых средств и боевой техники врага требовалась большая плотность орудий и минометов на километр фронта прорыва. В-третьих, непрерывные активные действия требовали большого расхода снарядов и мин — в напряженные периоды боя за считанные часы, а то и минуты их выпускалось тысячи. Например, только за сентябрь армия расстреляла более 200 тысяч снарядов и мин. Подвоз боеприпасов отставал. Накопление их перед операциями не превышало 0,7—0,9 боекомплекта.

В непрерывных ожесточенных боях стрелковые части несли большие потери. Поэтому некоторые командиры дивизий шли на меры, с которыми я не мог согласиться. Зная, что командующий армией резервов не имеет, они испрашивали у него разрешения пополнить пехоту людьми из артиллерии. Малиновский такой перевод санкционировал. Тогда я обратился к командующему и сказал, что в ближайшие дни мы должны получить новые орудия и минометы, обслуживание которых потребует подготовленных специалистов. К сожалению, командарм не отменил отданного распоряжения.

Прошло несколько дней, и на очередном совещании Родион Яковлевич снова подтвердил необходимость перевода части артиллеристов в пехоту. Я вторично и еще более настойчиво попросил командарма не делать этого. Тогда Малиновский повернулся ко мне и тактично, но твердо возразил:

— Армией командую я. Перевод разрешаю.

Я в ту минуту остро ощутил неполноправное положение начальника рода войск, который состоит в двойном подчинении.

Вернувшись к себе, послал шифровку начальнику артиллерии фронта Гусакову, надеясь через него добиться, чтобы командующий фронтом запретил Малиновскому выходить из положения за счет артиллеристов. Гусаков, однако, поддержки мне не оказал, а ограничился предупреждением, что, если ситуация не изменится, он поставит вопрос о моем служебном несоответствии. Мне ничего не оставалось как шифровкой же обратиться к начальнику артиллерии Красной Армии Н. Н. Воронову.

На одном из очередных совещаний, проходивших в той же землянке, врезанной в курган, теперь изрядно искромсанный взрывами вражеских снарядов и бомб, Мали-

новский, давая указания командирам дивизий, обвел присутствующих внимательным взглядом, сделал небольшую паузу и вдруг сказал:

— А артиллеристов не трогать. Больше того, всех ранее отправленных в пехоту и оставшихся в живых немедленно вернуть в свои части.

Командиры недоуменно смотрели на Родиона Яковлевича, он лукаво улыбался.

— А теперь признайтесь, кто писал об артиллеристах в Москву...

Я встал и доложил, что посылал шифровку Воронову.

— А ведь вы являетесь еще и моим заместителем,— с упреком, но спокойно заметил Малиновский и закончил совещание.

Когда выходил из землянки, шифровальщик вручил мне телеграмму начальника артиллерии Красной Армии, посланную в адрес Малиновского. Безусловно, помощь Воронова была своевременной. Меня только беспокоил вопрос, как его вмешательство отразится на моих взаимоотношениях с командармом. Вскоре выяснилось, что Родион Яковлевич правильно все осмыслил и расценил, а я убедился в его объективности. Мы еще лучше стали понимать друг друга. За короткий срок совместной работы с Малиновским я многому у него научился. Он всегда поощрял инициативу, в общении с людьми был уважительным.

В часы затишья мы с Малиновским часто выходили из землянок на кургане, усаживались возле наблюдательного пункта, и командарм рассказывал о своей службе в экспедиционном корпусе, воевавшем во Франции в первую мировую, об участии в испанских событиях, о руководстве Южным фронтом...

В начале октября армию усилили несколькими стрелковыми дивизиями. Малиновский целыми днями находился на передовой, изучая местность, вражескую оборону на участке будущего наступления, состояние и боевые возможности наших соединений. Почти всегда я был рядом с ним. Мне нравилось, что мой командующий, порой пренебрегая опасностью, сам входил во все подробности, вникал в положение дел в войсках, лично знакомился с командирами и бойцами.

В первых числах октября мы с генералом Малиновским выехали к Рокоссовскому. Встреча должна была состояться на передовом командно-наблюдательном пункте Рокоссовского в полосе 1-й гвардейской армии, очень близко от переднего края. У единственного блиндажа КНП нас любезно приветствовал высокий, стройный, красивый генерал-лейтенант Рокоссовский, рядом с ним был генерал-майор артиллерии В. И. Казаков.

Константин Константинович пригласил в блиндаж. Для лучшего освещения дверь оставалась открытой. При входе справа стоял стол с развернутой на нем оперативной картой. За него сели хозяева. Нам указали место у стены. Последовала просьба доложить обстановку. Обладая завидной памятью, Малиновский говорил, не заглядывая в блокнот, подробно и исчерпывающе ясно. Так же полно ответил он и на вопросы командующего фронтом. Затем Казаков спросил меня о состоянии артиллерии и ее кадрах. Помню, его больше всего интересовали организация артиллерийской разведки и эффективность борьбы с артиллерией противника.

После моего доклада Константин Константинович продолжил беседу с одним Родионом Яковлевичем. Мы с Казаковым вышли из блиндажа и еще около часа вели разговор о боевых действиях армейской артиллерии, об ее офицерах. Василий Иванович, недавно сменивший полковника Гусакова, перед наступательной операцией прощупывал меня по всем пунктам.

Согласно разведданным координаты батарей и органов управления противника оставались стабильными. Это, естественно, было нам на руку. Хуже обстояло дело с выводом на исходный рубеж артиллерии поступавших в армию вновь сформированных дивизий. Они растянулись на десятки километров, им приходилось с ходу занимать боевые порядки. К тому же не хватало боеприпасов. А конная тяга на протяженных маршах в осеннюю распутицу задерживала выход артиллерийских частей в районы сосредоточения. С огромным трудом дивизионная артиллерия преодолевала последние километры на своих истощенных, выбивавшихся из сил лошадях. Боевые порядки заняли лишь в канун наступления.

С первых дней войны я придерживался правила — перед ответственными боевыми операциями обязательно побывать на НП и огневых позициях в направлении главного удара. Важно лично убедиться, все ли готово к выполнению поставленных задач, установлено ли взаимодействие с другими родами войск, особенно с пехотой и

танками. В тот дождливый промозглый день много пришлось походить пешком по мокрым полям, балкам и высотам. В итоге выяснилось, что к началу артиллерийского наступления батареи не будут иметь планового обеспечения боекомплектами. Появилась и другая проблема: значительной части командиров попросту не хватило светлого времени, чтобы уяснить огневые задачи своих подразделений, увязать их действия с пехотой и танками.

Уже темнело, когда я вошел в землянку командарма с выводами об увиденном. Родион Яковлевич сидел в полумраке. На столе горел светильник, сделанный из снарядной гильзы, стоял телефонный аппарат ВЧ. Генерал посмотрел на меня усталым взглядом.

— Ну докладывайте о готовности артиллерии.

— Артиллерия,— отвечал я,— не готова. На второй день операции мы можем остаться без снарядов и мин. Это первое. Во-вторых, значительной части командиров дивизионов и батарей не хватило светлого времени для подготовки.

— Что же вы предлагаете? — спокойно спросил Малиновский.

— Единственный выход — попросить хотя бы сутки для подвоза боеприпасов и отработки взаимодействия.

Родион Яковлевич задумался.

— А пожалуй, вы правы. Будем просить.

Он поднял трубку ВЧ и связался с Рокоссовским.

— Докладываю о готовности. Пехота и танки к назначенному сроку успеют А вот у Полуэктова недостает дров — не успели подвезти. Он просит добавить сутки..

Слушая командарма, я испытывал сложные чувства: ведь ему сообщили, что взаимодействие пехоты и танков с артиллерией на местности не отработано. О какой же готовности можно вести речь? Пилюля для меня горькая, но ее следовало проглотить не морщась. Положив трубку, Малиновский сказал:

— Велел ждать у аппарата.

Ждать пришлось недолго, меньше получаса. После второго разговора с Рокоссовским Родион Яковлевич улыбался.

— Ну вот, мы с вами просили сутки, а Верховный предоставил двое. Надеюсь, этого достаточно, чтобы и боеприпасы подвезти, и хорошо отработать взаимодействие войск?

Улыбался и я, довольный таким исходом.

В те дни командующий фронтом уделял большое внимание нашей 66-й. Часто бывал у нас на наблюдательном пункте, выслушав генерала Малиновского, подробно интересовался деятельностью командиров дивизий, пополнивших армию. Затем Константин Константинович садился за мою стереотрубу и подолгу вел наблюдение за полем боя. Прощаясь, он требовал от Малиновского держать противника в напряжении, непрерывно вести активные действия.

В артиллерийском обеспечении наступательных действий в двадцатых числах октября участвовало около 880 орудий и минометов. Но плотность на направлении главного удара при артиллерийской подготовке была недостаточной — около 60 орудий, минометов и реактивных установок на километр фронта. При недостатке боеприпасов и с такой плотностью было трудно подавить огневые средства в оборонительных порядках противника. Требовалось не менее 200 стволов на километр и избыток снарядов и мин. По этой причине успехи наши оказались скромными, но и они сыграли немалую роль: враг вынужден был усиливать фронт перед 66-й армией за счет переброски части сил, дравшихся непосредственно в городе.

Вскоре боевые действия стали менее напряженными. Мы смогли произвести некоторую перегруппировку дивизий, артиллерии и подкопить боеприпасов. Армейский штаб артиллерии передал в штабы дивизий данные о координатах батарей противника, добытых войсковой и авиационной разведкой. Командование принимало все меры, чтобы до минимума свести наши потери. В связи с этим вспоминается, как через много лет после тех событий — в начале 1956 года — мы с Маршалом Советского Союза Р. Я. Малиновским застряли на Северном Сахалине из-за пурги, застряли на трое суток. И вот в одной из наших вечерних бесед Родион Яковлевич вдруг сказал: «Я и теперь доволен и даже горжусь тем, что в октябре под Сталинградом мне все же удалось не вводить в бой прибывшую к нам на усиление дивизию. В середине месяца уже стало ясно: наша 66-я близка к выполнению поставленной задачи. Отпала необ-

ходимость бросать в пекло необстрелянных людей, мы избежали неоправданных смертей...»

Уже в ходе наступательной операции к нам прибыл новый командарм — генерал-майор А. С. Жадов. Малиновский быстро ввел в курс дела своего преемника и отправился к месту нового назначения — заместителем командующего фронтом у Рокоссовского. Признаюсь, было жаль расставаться с волевым, мужественным и требовательным, храбрым и любящим некоторый риск командармом. Когда в 1955 году мне предложили поехать к нему на Дальний Восток командующим артиллерией округа, я с радостью согласился.

Учитывая сложившуюся обстановку, Алексею Семеновичу нелегко было входить в новую для него должность. Но мы все, заместители, сознавали это и всемерно стремились помогать ему.

После длительных, но безуспешных попыток овладеть Сталинградом в ноябре фашисты перешли к обороне. В этот период части нашей армии вели бои местного значения. Артиллерия наносила огневые удары по командным пунктам вражеских войск, подавляла наиболее активные артиллерийские и минометные батареи, через голову противника, вышедшего к Волге на участке Латошинка — Рынок, помогала своим огнем сталинградцам.

Тогда же у нас появилась возможность подвести некоторые итоги, проанализировать степень эффективности борьбы артиллерии с танками. Мне не раз приходилось управлять огнем противотанковой артиллерии. Несмотря на большое число выпущенных снарядов, прямых попаданий было крайне мало. Но и при попадании от танка нередко летели яркие искры, а сам он оставался непораженным. Если в целом по опыту борьбы артиллерии с танками за 1942 год соотношение потерь противотанковых орудий к числу уничтоженных танков было один к одному, то у нас на три орудия приходилось лишь два танка. Следовало понять причины этого явления. Нужно было безотлагательно искать пути повышения эффективности противотанковой артиллерии.

Мы потребовали от командиров артиллерийских частей, чтобы предназначенные для стрельбы по танкам снаряды содержались на огневых позициях отдельно от других видов боеприпасов. Провели совещание по обмену опытом командиров орудий, имевших на счету не менее двух уничтоженных танков. Совещание проходило непосредственно в боевых порядках артиллерии на танкоопасном направлении, в одной из глубоких балок. Открывая совещание, я объявил о его цели и попросил присутствующих ответить на следующие вопросы: кто, как и за какой срок готовит орудия к стрельбе по танкам? в каких укрытиях находятся орудия и снаряды, предназначенные для стрельбы, до появления вражеских танков? как часто выверяются прицельные линии орудий? с какой дальности начинается стрельба по танкам?

Обмен опытом оказался своевременным и полезным, особенно в том, что касалось изготовки орудий и подбора снарядов. Приведу ответ лишь одного из командиров орудий, назвавшегося, если мне не изменяет память, Егоровым. Он сказал:

— Из перекрытия орудийного окопа мы вытягиваем пушку при помощи самодельной лебедки, сразу же вешаем на щит два связанных ящика снарядов и выкатываемся на заранее устроенную площадку для ведения огня. Подготовка к стрельбе занимает меньше минуты. Ну а танк стремимся подпустить как можно ближе...

Вот о таком ценнейшем опыте говорили многие выступающие. Затраченные на совещание три часа оправдались. Нам удалось накануне общего наступления на сталинградском направлении значительно повысить эффективность артиллерии.

Три месяца непрерывных ожесточенных боев выявили и недостатки в руководстве артиллерией. Значительная часть начальников артиллерии дивизий лишь с большим трудом укладывались в жестко ограниченные сроки планирования боевых действий. Отсюда недостаточная гибкость в управлении массированным огнем, медленно и без должной точности готовились исходные данные для его сосредоточения. К тому же значительная часть общевойсковых командиров показала свою некомпетентность в делах артиллерии. Мне, например, довелось быть свидетелем такого случая. Поставив задачу артиллеристам, командир дивизии полковник Владимиров тут же обратился к своему начальнику артиллерии:

— Почему нет огня?

Как выяснилось, комдив имел слабое представление об основах артиллерийской стрельбы, не представлял, сколько нужно времени на подготовку исходных данных, для переноса огня с одной цели на другую, на пристрелку новой цели. Пришлось изы-

скивать возможности, чтобы приобщить таких общевойсковых начальников к артиллерийскому делу. Познание премудростей артиллерийской стрельбы, особенно переход от пристрелки целей к их поражению, поднимало уровень общевойсковых командиров, значительно повышало знания в области боевого применения артиллерии, учило правильному использованию ее огня.

Но вернемся в полосу действий нашей армии. Вот что позже писал о событиях тех дней маршал артиллерии В. И. Казаков: «Боясь прорыва войск 66-й армии к городу, немецкое командование ничего не подозревало о подготовке нами удара в совершенно противоположном направлении и начало перебрасывать в полосу этой армии свои наиболее боеспособные дивизии, состоявшие целиком из немцев. А перед участками, где намечался наш прорыв, остались менее стойкие румынские части. Больше того, немецкое командование сняло часть своих дивизий с участков перед фронтом 5-й танковой и 21-й армий Юго-Западного фронта и перебросило их в полосу 66-й армии».

Можно без преувеличения сказать, что вся тяжесть борьбы с вражескими танками и артиллерией приходилась в этот период на долю нашей артиллерии, так как стрелковые подразделения дивизий были крайне малочисленны. Вспоминая те дни, генерал Г. В. Бакланов в своей книге «Ветер военных лет» пишет о своем докладе Жадову: «...дивизия абсолютно обескровлена; несмотря на то, что все что можно в тылах и управлении давно взято в боевые части, в ротах осталось по десять — двенадцать бойцов; материальная часть в плохом состоянии, боеприпасов не хватает».

Содержание планов боевых действий артиллерии в то время определялось главным образом необходимостью обеспечить наступление дивизий первого эшелона, в которых создавались дивизионные, а в ряде случаев и полковые артиллерийские группы. Для этого использовалась артиллерия дивизий второго эшелона армии. В этих планах отражались и огневые задачи армейской группы дальнего действия, состоявшей из пушечного артиллерийского полка и двух гвардейских полков реактивных установок. Дивизионная артиллерия лишь частично привлекалась для подавления вражеских батарей.

Итак, мы с нетерпением ждали начала операции. В памятный всем нам день 19 ноября, отныне ставший праздником нашего рода войск, Донской и Юго-Западный фронты после мощной, поистине исторической артиллерийской подготовки перешли в решительное наступление. К исходу 23 ноября было завершено полное окружение крупнейшей немецкой группировки под Сталинградом.

Теперь, казалось бы, можно ожидать ослабления сопротивления противника в полосе нашей армии. Однако обстановка складывалась по-иному. Нам пришлось буквально прогрызать оборону врага, чтобы соединиться с 62-й армией генерала В. И. Чуйкова. К вечеру 23 ноября для прикрытия и маскировки перегруппирования своих войск значительно активизировались немецкие артиллерийские и минометные батареи.

Наша разведка установила, что, закрывшись плотным артиллерийским огнем, противник заменял стоявшие перед фронтом армии танковую и моторизованную дивизии пехотными. Производилось это поспешно и неорганизованно, чем воспользовался наш командарм Жадов. Он приказал командирам дивизий первого эшелона перейти в решительное наступление при поддержке армейской артиллерийской группы.

24 ноября 226-й дивизии полковника Н. С. Никитченко удалось овладеть северными скатами высот, что оказало существенное влияние на продвижение и других соединений армии. Тогда же командирам 343-й генерал-майору М. А. Усенко и 299-й полковнику Бакланову было приказано немедленно перейти в наступление. Ближайшая задача: овладеть рубежом совхоз «Опытное поле» — железная дорога — Рынок, а в дальнейшем двигаться на Орловку. Армейская артиллерийская группа в это время всей своей мощью подавляла вражеские батареи в полосе действий Усенко и Бакланова. К исходу того же дня противник смог усилить плотность оборонительного огня и оказать здесь упорное сопротивление. Его удалось сломить лишь при поддержке артиллерии армии. Дивизии полностью овладели важными опорными пунктами на высотах с отметками 137,8 и 139,7.

24 ноября мне позвонил по ВЧ командующий артиллерией фронта Казаков. Прежде всего он поинтересовался действиями артиллерии нашей армии, а затем сообщил, что артиллерия 65-й и 24-й армий очень организованно осуществила артиллерийское наступление, облегчив ввод в прорыв танков. Рассказав о блестящих успехах других фронтов, сумевших окружить отборные немецкие войска в междуречье Дона и Волги, Василий Иванович подчеркнул, что вся тяжесть по взлому вражеской обороны легла

на артиллерию, что другого примера окружения столь крупной группировки при равном почти соотношении сил он не знает. Мне оставалось доложить Казакову о наших скромных успехах. Под конец я попросил помочь боеприпасами и материальной частью для восполнения потерь.

25 ноября я находился в дивизии Бакланова. С нами на наблюдательном пункте был и его начальник артиллерии полковник С. А. Мозуль. Бакланов и Мозуль не без риска всегда выбирали НП так, чтобы открывался прекрасный обзор поля боя. И на этот раз мы хорошо видели действия передовых подразделений и артиллерии, овладевавших насыпью железной дороги при упорном сопротивлении и контратаках противника. Я тут же приказал командиру пушечного артиллерийского полка подполковнику Борисенко установить прямую связь с начальником артиллерии 299-й и далее вести огонь по его заявкам.

Перед возвращением решил заехать на наблюдательный пункт начальника артиллерии 226-й дивизии полковника Н. Д. Себежко. Пронесясь по балке на «эмке», миновал два ремонтировавшихся танка «Т-34» и тут случайно встретил штабных офицеров, посланных в армию генералом Казаковым. Они на своей машине двинулись за мной, держась примерно в полусотне метров. Из балки выскочили на ровную и открытую местность, обогнув небольшую высотку. Вдруг слева по корпусу застучали пули, полетели осколки разбитых стекол. Повернул голову в сторону, откуда стреляли, и увидел пулемет на высокой треноге и суетящихся около него фашистских солдат.

— Останови! — крикнул я шоферу, открыл дверцу, вывалился наземь, стараясь укрыться за машиной.

До безопасной зоны было не менее двухсот метров по обращенному к противнику склону. Должно быть, фашисты считали нас убитыми: стрельба прекратилась. Я пополз обратно к балке. Увидев это, немцы снова застрочили из пулемета, прижали меня к земле. Теперь пули ложились так близко, что комочки твердого грунта попадали в лицо. Выждав паузу, нырнул в воронку от снаряда. Шофера своего Ивана Шакура я потерял из виду. А тут стрельбу по машине начала батарея шестиствольных минометов. Как противник оказался в районе, уже отбитом нашими? Это можно было объяснить только тем, что при отступлении немцы оставили смертников.

Сгущались сумерки. Фашисты дали по машине еще одну короткую очередь. Вскоре от машины донесся негромкий немецкий говор. В полутьме можно было все же разглядеть, что враги возятся в кабине. Одним броском я достиг балки, где без труда нашел танкистов, мимо которых проезжал днем. Там же были и офицеры из штаба Казакова. Они торопили ремонт танков, чтобы с их помощью выручить меня из беды. Снарядили группу для спасения Ивана, но она вернулась ни с чем. Машина стояла с раскрытыми дверцами, шофера не нашли. «Уж не взяли ли его в плен?» — подумал я и поспешил к полковнику Бакланову. Он послал автоматчиков на розыски, а я направился на командно-наблюдательный пункт.

Прибыл туда поздно ночью. Генерал Жадов по телефону принимал доклады командиров дивизий, давал им указания, ставил задачи на предстоящий день. Он ознакомил меня со вчерашними итогами. Армия буквально прогрызла вражескую оборону и продвинулась на восемь — двенадцать километров, освободив населенные пункты Томилино, Латошинка, Акатовка, Винновка и Рынок. Части 99-й полковника Владимирова соединились с группой полковника Горохова, которая на маленьком клочке земли у Волги более месяца вела кровопролитные бои, отбивая яростные атаки противника.

Это был, пожалуй, первый крупный наш успех за время командования Жадова. Он был доволен, настоятельно требовал от командиров соединений, чтобы вместе с пехотой выдвигали как можно больше орудий на прямую наводку для отражения возможных контратак.

Я хотел доложить, что 299-я вышла к железной дороге и выполнила задачу дня. Жадов, не дав мне закончить, сухо и, как показалось, недовольно сказал, что Бакланов ему уже сообщил и о своей удаче, и о том, что я напоролся на вражеский пулемет.

Иван Шакура объявился поздно ночью. С усталой улыбкой он доложил, что изрешеченную пулями и на спущенных скатах все-таки привел машину и поставил на место.

— Ну а ты-то как? — спросил я радостно.

— Сначала прятался под днищем, потом укрылся в какой-то промоине неподалеку. Когда стало темно, хотел вернуться к машине, но вовремя заметил фрицев, которые

шуровали в кабине. Дождался их ухода — слышу: танк мимо катится. Опять притаился. Скоро все стихло. Подполз. Ощупал скаты — на нулях. Проверил мотор — работает. Развернулся — и в балку. И дальше на малой скорости — сюда...

С выходом наших войск на рубеж железной дороги и занятием населенного пункта Рынок боевые порядки армейской артиллерийской группы переместились юго-западнее Ерзовки. Только тогда у нас появилась возможность оказывать — через голову противника — огневую поддержку войскам 62-й армии, дравшимся в северной части Сталинграда. Тогда же к командующему ее артиллерией генералу Н. М. Пожарскому я послал начальника штаба полковника Савицкого для увязки нашего взаимодействия. А несколькими днями позже в район тракторного завода направили командира дивизиона капитана Л. С. Гарбуза. Он корректировал стрельбу по Центральному аэродрому Сталинграда, не давал возможности транспортным самолетам противника снабжать продовольствием и боеприпасами окруженные войска.

В конце ноября я получил первое за полтора года письмо от семьи. Война застала нас всех в Крыму, где я служил в должности начальника артиллерии 156-й отдельной стрелковой дивизии. На следующий день жена, четырнадцатилетний сын и годовалая дочь вместе с другими командирскими семьями эвакуировались на восток. О судьбе эшелона мы прослышали лишь в сентябре, во время ожесточенных боев за Перекоп. Поезд попал под бомбежку, многие погибли. Что сталось с моими, я не знал. Думать о худшем не хотелось, оставалось ждать.

И вот ординарец Николай Афанасьев привозит мне на наблюдательный пункт письмо от жены. Радость была безгранична, хотя узнал о бездомных скитаниях, материальных трудностях. Поезд с беженцами действительно попал близ Харькова под бомбежку. После долгих мытарств семья нашла пристанище в городе Троицкое Челябинской области.

На следующий день я воспользовался оказией — ехал в тыл старший лейтенант К. С. Чугров, ныне полковник запаса,— и отправил с ним ответ, деньги. Главное — он мог лично засвидетельствовать моим, что я жив. Возвратился Чугров в конце декабря и к тому же не один. С ним приехал мой сын Юрий, худой, в обносках, и чуть ли не с порога принялся меня убеждать, что он уже взрослый, давно стремится на фронт, что его место здесь. Встреча была недолгой — я торопился в войска. Сына поручил Афанасьеву. Через несколько дней снова увиделся с Юрием. Теперь он выглядел отдохнувшим и бодрым.

— Хочу служить в артиллерии,— твердил сын.

— Что ж,— ответил я,— коль скоро ты прибыл на фронт и горишь желанием воевать, надо оформиться добровольцем — и в часть.

На том и порешили. Ныне сын, полковник запаса (после тридцатишестилетней службы в Советской Армии), нередко вспоминает эти мои слова, определившие его жизненный путь.

Для начала тогда его зачислили разведчиком в отдельный дивизион артиллерийской инструментальной разведки. Вечером того же дня он находился в боевых порядках своей части. От Сталинграда до Эльбы и Праги мы с сыном дошли, сражаясь вместе. Надо отдать ему должное: ни на войне, ни после он никогда не искал помощи от отца. Такой уж у него характер...

Приволжские степи, изрезанные многочисленными балками, отличаются полным безлесьем и крайне редкими населенными пунктами. Зима здесь суровая, с сильными ветрами и обильными снегами. Несмотря на хорошую экипировку наших войск, это создавало большие трудности, особенно для артиллеристов, постоянно соприкасающихся с металлом. Единственным спасением от губительных буранов были степные ложбины. В них укрывались и солдаты и офицеры, включая штабистов. Например, как уже говорилось, командный пункт армии тоже размещался в одной из глубоких балок, а по крутым ее склонам в несколько рядов по вертикали располагалось множество блиндажей и землянок, походивших на сакли кавказского горного аула.

Известно, что 8 декабря 1942 года Ставка отложила проведение операции Донского и Сталинградского фронтов по ликвидации окруженной группировки, но потребовала не давать врагу передышки ни днем ни ночью, постепенно сжимая кольцо. По указанию Военного совета фронта 66-я армия снова пыталась пробиться на соединение с армией Чуйкова. Однако и на этот раз каких-либо значительных успехов мы не до-

стигли. Противник опирался на хорошо организованную систему огня, яростно сопротивлялся в опорных пунктах и отвечал контратаками.

Во время этих боев генерал Жадов и я постоянно находились на наблюдательном пункте. По мере того как кольцо окружения врага сжималось, мы подводили артиллерию ближе к переднему краю, огонь становился более эффективным, надежно подавлял живую силу противника, его волю к сопротивлению.

С конца ноября до начала декабря, когда враг пытался с помощью транспортной авиации интенсивно снабжать грузами окруженных, наша зенитная артиллерия и истребители почти полностью перекрыли подходы к городу с воздуха. После 10 декабря зенитчики сумели разгадать ракетный сигнал, подаваемый противником в темное время суток и обозначающий место приземления на аэродроме. В одну из непогожих ночей с помощью этого сигнала зенитчики посадили в глубокий снег недалеко от своей огневой позиции тяжелый транспортный самолет. Отобранные у экипажа таблицы сигналов посадки и мест сбрасывания грузов на парашютах незамедлительно передали в штаб артиллерии фронта для использования на всех направлениях. В ту пору по утрам часто можно было видеть, как бойцы спускались в заснеженные балки, прочесывали равнину, собирая продовольственные трофеи, сброшенные немцами за минувшую ночь.

В первых числах января 1943 года к нам на командно-наблюдательный пункт прибыли командующий Донским фронтом Рокоссовский и его командующий артиллерией Казаков. Константин Константинович сообщил, что ликвидация окруженного противника поручена нашему фронту, в состав которого вошли и армии бывшего Сталинградского. Очень коротко и ясно он обрисовал сложившуюся обстановку, после чего добавил, что направление 66-й в предстоящей операции по-прежнему будет не главным, но очень важным. Подробно остановившись на задачах армии, Рокоссовский затем предложил генералу Казакову проинформировать нас по артиллерийским вопросам.

— Что для вас лучше,— обратился Василий Иванович к Жадову и ко мне,— получить на усиление два артиллерийских полка за счет армий, действующих на направлениях главного удара фронта, или дополнительное количество боеприпасов?

Командир ждал, что скажу я — мое мнение в данном случае было решающим.

— На сколько боекомплектов мы можем рассчитывать? — ответил я вопросом на вопрос.

Василий Иванович уточнил:

— Для борьбы с артиллерией противника, а это главная ваша задача в предстоящей операции, можем выделить до девяти боекомплектов крупного калибра. Думаем, достаточно.

Не исключено, что этот наш разговор может кого-либо удивить. Но Рокоссовский и Казаков всегда советовались с подчиненными, внимательно прислушивались к их соображениям, не навязывали своей воли.

В тот же день командование и штабы армии приступили к расчетам отправных данных для составления плана предстоящей наступательной операции и ее артиллерийского обеспечения. На 10 января 1943 года мы имели перед собой следующие данные о противнике, полученные средствами артиллерийской разведки: артиллерийских и минометных батарей — 35, орудий в противотанковой обороне — 26, наблюдательных пунктов — 20, огневых точек — 63, а всего 144 цели, то есть по 6 на километр фронта.

Для ведения огня прямой наводкой нами выделялось до 190 орудий — по 7,3 орудия на километр фронта. Они выводились на заранее подготовленные позиции в ночь перед наступлением, а в ходе наступления должны были сопровождать пехоту и вести огонь чаще всего по инициативе своих командиров. Артиллерийские группы поддержки пехоты создавались в дивизиях, реже в полках. В последнем случае их состав не превышал одного-двух дивизионов. Но если такие группы создавались только в дивизиях, то с развитием боя они большей частью подчинялись стрелковым полкам.

Накануне операции, 9 января, ко мне на наблюдательный пункт прибыл генерал-лейтенант артиллерии А. К. Сивков, входивший в состав оперативной группы представителя Ставки Н. Н. Воронова. Он уже был у нас в конце декабря, проверял подготовку артиллерийских частей армии к ликвидации противника в кольце окружения. Тогда мы с Аркадием Кузьмичом выезжали к начальникам артиллерии дивизий и в артиллерийские части армейского подчинения.

В блиндаже, освещенном фитилями, торчащими из снарядных гильз, мы с генералом Сивковым встретили Новый год. В честь праздника артиллеристы произвели мощные огневые налеты на фашистские штабы и командные пункты.

Находясь рядом безотлучно три недели — мы жили и трудились с Сивковым в одном блиндаже,— Аркадий Кузьмич внимательно наблюдал, как я работаю, проявляя большой интерес к современным методам массирования огневых средств, руководству артиллерией и управлению огнем, но ни разу не вмешался в принимаемые мной решения. Каждый вечер он составлял шифрограмму о боевых действиях нашей артиллерии, давал мне на прочтение и только после этого отправлял Воронову.

Утром 10 января после довольно мощной артиллерийской подготовки соединения 66-й перешли в наступление, но, как и другие армии фронта, полного успеха не достигли. До взятия населенных пунктов Кузьмичи, совхоз «Опытное поле» и Орловка приходилось с большим трудом преодолевать вражескую оборону, плотность огня которой по мере сужения кольца возрастала.

Морозы при пронизывающих ветрах днем доходили до 30, а ночью и до 40 градусов. Артиллеристам приходилось одолевать балки, снежные заносы, ставить большинство батарей на совершенно открытой местности или отрывать в глубоко промерзшем грунте орудийные окопы, маскируясь и защищаясь валами снега. Лишь небольшая часть минометов и гаубиц размещалась в неглубоких оврагах.

Кольцо сжималось, и огневые позиции батарей теперь были гораздо ближе к переднему краю, чем раньше. Значительное число орудий выдвигалось в штурмовые подразделения пехоты на прямую наводку. Эта тактика повышала поражающие возможности артиллерии.

Здесь по-особому проявилась взаимовыручка царицы полей и бога войны. Пехотинцы нередко помогали малочисленным орудийным расчетам — вместе с ними перекатывали пушки от рубежа к рубежу, снимали колеса, отделяли стволы от лафетов и отдельно втаскивали их на крутые склоны балок. Так было в дивизиях Бакланова и Никитченко у Мокрой Мечетки.

В дивизионных планах артиллерийского наступления большое место занимали орудия и батареи, действовавшие с открытых огневых позиций. Для скорейшей ликвидации последних очагов сопротивления 30 января нашей армии дополнительно придали пушечный артиллерийский полк и тяжелый пушечный дивизион. Усиление это, на мой взгляд, не соответствовало моменту. Решающую роль тогда играла дивизионная и полковая артиллерия, которая в основном была на прямой наводке, поскольку пушки и минометы противника молчали из-за отсутствия боеприпасов. Его оборона держалась только высокой плотностью пулеметного огня в опорных пунктах.

Немецко-фашистские войска под натиском 65-й армии П. И. Батова и нашей, бросая технику, большими группами отходили к северной части Сталинграда, укрываясь в подвалах сгоревших и полуразрушенных домов поселка тракторного завода.

Как известно, командующий 6-й немецкой армией Паулюс не принял наше предложение капитулировать от 8 января.

Паулюс был пленен и предстал перед командующим 64-й армией М. С. Шумиловым 31 января. Но и теперь фельдмаршал отказался отдать приказ о капитуляции. Не принял он и требования Воронова и Рокоссовского написать генерал-полковнику Штрекеру, командовавшему северной группой войск, чтобы тот прекратил безрассудное сопротивление. Ответом было решение командующего фронтом продолжить штурм заводов и прилегавших к ним поселков на севере, используя всю мощь тяжелой артиллерии.

Вечером мы с Жадовым и Сивковым выехали на передний край. На следующий день, 2 февраля, предстояло покончить со Штрекером. Плотность наших артиллерийских стволов на передовой была столь велика, что орудия не умещались в районе огневых позиций. Используя наклонный рельеф, командиры ставили батареи в два ряда: в первом на сокращенных интервалах — пушки и гаубицы, во втором — минометы и гаубицы. Нейтральной зоной служила балка шириной всего в 200—250 метров. Сам вид сосредоточенных на небольшой площади нескольких сотен стволов, готовых к последнему штурму, должен был заставить врага отказаться от безумного упорствования, сдаться в плен. В конечном счете так оно и получилось, только не в тот день, а на другие сутки утром.

Мы до поздней ночи ходили по огневым позициям, говорили с солдатами и офицерами. Все испытывали душевный подъем и воодушевление. Каждый понимал, что вот-вот длившиеся пять месяцев кровопролитные бои на Волге завершатся.

По возвращении на командно-наблюдательный пункт, находившийся в отбитых у немцев благоустроенных блиндажах севернее Орловки, пришлось почти всю ночь

заниматься только вопросами перераспределения снарядов и мин между частями, так как армейские полевые склады к концу операции (с двадцатых чисел января) фронтом не пополнялись.

Надо было хоть немного отдохнуть — до рассвета оставалось два часа,— но мне не спалось. То и дело всплывали разные подробности бесед с солдатами и командирами-артиллеристами. Так я и не уснул и решил пораньше выехать на передовой НП, куда к началу артиллерийской подготовки должен был прибыть генерал Жадов. Разбудил адъютанта, приказал вызвать машину.

Было уже совсем светло, когда наша видавшая виды «эмка» безнадежно застряла в снегу. Пересели на какую-то полуторку. Она и доставила нас на наблюдательный пункт. Не успел выбраться из машины, как мне доложили, что над полем предстоящего боя царит непривычная мертвая тишина — ни выстрела, ни разрыва. Собственно, это и без доклада, на слух можно было установить. Подошел к стереотрубе, взглянул на руины поселка тракторного завода, по которому тяжелая артиллерия вела огонь на разрушение два последних дня. Едва навел окуляры, передо мной открылось зрелище, запомнившееся на всю жизнь: из подвалов, из разрушенных зданий, торопясь, один за другим, как тараканы из щелей, выползали отвоевавшиеся фашистские солдаты и офицеры и строились в колонны. Я тотчас позвонил командарму Жадову и попросил его поскорее прибыть, чтобы увидеть неповторимую, на мой взгляд, картину массовой сдачи в плен незадачливых завоевателей.

— Знаю, знаю о капитуляции противника из докладов командиров дивизий,— с нескрываемой радостью ответил Алексей Семенович.— Выезжайте сюда. Вот-вот привезут Штрекера с генералами его штаба...

Их привезли на открытой немецкой машине. Дорога проходила как раз мимо плотных боевых порядков нашей артиллерии, которая в этот день не сделала ни единого выстрела.

— Как вы оцениваете проведенную советскими войсками операцию? — спросил Жадов у Штрекера.

— На долю русских выпала большая удача,— хмурясь и не поднимая глаз, сказал плененный генерал.— Проезжая через ваш передний край, мы почти не видели пехоты. Там стоит одна артиллерия. Почему? — В голосе Штрекера сквозило недоумение.

— Это можно понять так, что огневая мощь нашей артиллерии наконец заставила вас внять благоразумию и капитулировать?

Штрекер молчал. Было задано еще несколько вопросов, и машину с пленными отправили в штаб фронта.

А вражеские войска все еще выползали из укрытий, поспешно строились, вливались в длинную колонну, которая змеей вилась по белоснежному правому берегу Волги...

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

«И мертвые, мы будем жить в частице вашего великого счастья; ведь мы вложили в него нашу жизнь».

Эти слова принадлежат Юлиусу Фучику — выдающемуся чешскому писателю-коммунисту, 80-летие которого отмечают в этом году прогрессивные люди всех стран мира.

Творческое наследие писателя многообразно: публицистические, политические, историко-литературные и литературно-критические статьи, очерки и репортажи о Советском Союзе, Чехословакии, Германии, Испании и, наконец, «Репортаж с петлей на шее» — крупный литературно-исторический документ чешского движения Сопротивления, отразивший борьбу чешских демократических сил против фашизма и международного империализма.

В Советском Союзе хорошо знают и любят Юлиуса Фучика. Его произведения, и прежде всего бессмертный «Репортаж с петлей на шее», выходят огромными тиражами, на языках всех народов нашей многонациональной страны.

В Чехословакии бережно собирается все то, что было написано и опубликовано Ю. Фучиком в 20-е — 40-е годы.

Ниже публикуются страницы из воспоминаний о Юлиусе Фучике Йозефа Рыбака — старейшего чешского писателя, многие годы проработавшего вместе с Ю. Фучиком в коммунистической печати, а также очерк Ю. Фучика, ранее не публиковавшийся на русском языке[1].

Т. Миронова.

ЙОЗЕФ РЫБАК

★

ОБ АВТОРЕ БЕССМЕРТНОГО РЕПОРТАЖА[2]

— Расскажите нам еще что-нибудь интересное о Юлиусе Фучике,— просили часто слушатели после бесед о трудных и прекрасных днях, прожитых мною в 30-е годы в редакции «Руде право» на Краловской улице, 13.

Теперь эта улица называется Соколовской. Там была наша типография. Этажом выше, над редакцией газеты находился Секретариат ЦК коммунистической партии. Поэтому кому везло, тот мог порой видеть всех ведущих представителей нашего коммунистического движения: Клемента Готвальда, Яна Шверму, Йозефа Гакена, Богумира Шмераля, из писателей и редакторов «Руде право»— Ивана Ольбрахта, Йозефа Гору, Марию Майерову, Марию Малиржову, Эдуарда Уркса, Юлиуса Фучика, Лацо Новомеского, Курта Конрада и многих других. Люди, чьи имена вошли в историю народа, интересны не частными житейскими делами, а тем, что совершили они великое и чем прославили свои имена.

О Ярославе Гашеке рассказывают сотни всевозможных историй, но Гашек интересен тем, что написал одну из самых популярных книг, вышедших в мире после первой мировой войны.

Фучик широко известен тем, что написал «Репортаж с петлей на шее», ставший одной из самых популярных книг в мире после второй мировой войны.

— Каким был Юлиус Фучик?

— Веселым и грустным. Оптимистом в отношении будущего и человеком, страдающим из-за того, что на свете так много нищеты и горя, которые невозможно быстро устранить. Он был прямым и стройным, как рослое дерево с крепкими корнями, глубоко уходящими в родную землю, и кроной, поднимающейся к солнцу. Он был человеком убежденным, верящим, что счастье людей осуществимо, но за него надо бороться. В нем сочетались серьезность с легкомыслием, глубина мышления с безза-

[1] Публикации даются в моем переводе.
[2] Печатается с сокращением.

ботностью, он был полон огня и энергии, работоспособности и трудолюбия. Работал необыкновенно много, и это доставляло ему радость.

Мне кажется, что о Фучике надо постоянно писать и говорить. Его надо приблизить к новому поколению. Оно должно знать все о его жизни, творчестве и борьбе, читать его произведения, статьи о нем и задумываться над прочитанным.

Наиболее точный портрет Юлиуса Фучика нарисовала в шести предложениях, опубликованных в «Творбе» № 1 за 1945 год, Мария Пуйманова, когда уже была известна его судьба и его «Завещание», написанное в «Репортаже с петлей на шее»:

«Я вижу его как сейчас — смелый поворот головы, беспокойные, с оттенком фиалки глаза. Живой, как ртуть, умный, как дьявол, опасный, как искра. Склонность к риску, пристрастие к приключениям, презрение к опасности и благородная юношеская готовность броситься в огонь во имя идеи. Так и случилось. Это был пламенный человек. Этот взрослый мужчина, сохранивший в себе, в своих мгновенных реакциях очарование молодого «Разбойника» К. Чапека, был поистине настоящим человеком, когда речь шла об основном — об идее».

Юлиус Фучик родился в Праге в рабочем районе Смихов 23 февраля 1903 года. Когда у нас в «Руде право» заходила речь о его дне рождения, он никогда не забывал с гордостью заметить: «Я и Красная Армия родились в один и тот же день».

Уже в 20-е годы мы стали горячими приверженцами советской России. Нас очаровали первые ласточки советской литературы — произведения Серафимовича, Фадеева, Леонова, Есенина, Маяковского, Блока, Федина и других. Мы узнавали о легендарных героях Красной Армии — Чапаеве, Фрунзе, Ворошилове, Буденном и о многих-многих других.

Я близко познакомился с Юлиусом Фучиком после его возвращения из Страны Советов. Я завидовал тому, что он своими глазами видел советскую действительность, лицом к лицу встретился с первой пятилеткой, ощутил бурное преобразование отсталой России, побывал в цехах заводов и фабрик, на шахтах — там, где рождался новый мир, которым мы восторгались и который позднее нашел свое отражение в первой книге Фучика о Советском Союзе — «В стране, где наше завтра стало уже вчерашним днем».

Свою вторую поездку в СССР Юлиус Фучик совершил в 1934 году по решению руководства Коммунистической партии Чехословакии. Там он прожил два года. «Москва сегодня — подлинный центр мира,— пишет он домой.— Здесь рождаются первые главы всей будущей истории человечества».

Фучик видит, как изменился Советский Союз за прошедшие четыре года после его первой поездки. И эти изменения он замечает повсюду.

Репортажи Ю. Фучика, написанные за два года жизни в СССР, проникнуты пафосом эпохи, их правдивость предельно убедительна. В них Фучик достиг высокого журналистского мастерства. Мне прежде всего хотелось бы отметить его репортажи о Средней Азии: «На Пяндже, когда стемнеет», «Рассказ полковника Бобунова о затмении Луны», «Астрономы в степи», «Розияхон Мирзагатова», «Ходжа-Бакирган» и многие другие.

Писал ли Ю. Фучик репортажи, статьи, передовицы или вел острые полемические споры, он неизменно стремился к тому, чтобы каждое слово звучало убедительно, правдиво, действенно, захватывало читателя, выводило его из состояния безразличия, вдохновляло и привлекало своей идеей. Он думал не только о содержании, но и о форме, о том, как выразить ту или иную мысль. Писатель в нем всегда боролся с журналистом. Если он говорил о полурепортажах и полубеллетристике, то всегда ясно и конкретно представлял, о чем идет речь. Он хотел и в журналистике прокладывать новые пути.

Ю. Фучик как журналист мог работать всюду: в кафе, в поезде, на вокзале и даже в застенках гестапо — в известной «четырехсотке», в камере предварительного заключения. Он обладал удивительной способностью сосредоточиться и потом быстро писать своим мелким красивым почерком строчку за строчкой, почти никогда не перечеркивая того, что уже написано.

Только человек, обладавший такими способностями, мог создать «Репортаж с петлей на шее». Другой в условиях, в которых находился Ю. Фучик, не смог бы вытянуть из себя даже строчки. А он писал. Писал в такие мгновения, когда палач, по выражению Карела Конрада, на минуту отворачивался.

Некоторым людям Юлиус Фучик кажется настолько великим, что они боятся говорить о нем как о человеке, о его человеческой сущности, о его простых человеческих чертах. На вопрос, каким был Фучик в жизни, мне всегда хочется ответить словами В. Маяковского из его поэмы «Владимир Ильич Ленин»:

Он, как вы
и я,
совсем такой же...

Фучик необыкновенно любил книги, театр и кино. Но больше всего любил газету — делать ее, работать в ней.

До войны мы сотрудничали с ним в одной редакции, наши столы стояли рядом. Любили мы его за веселый характер, за оперативность, бесстрашие, непоседливость, за неуемную журналистскую страсть.

Он был вездесущим, умел ухватить суть любой сенсации, не боялся развернуть в газете кампанию, бьющую по врагу.

Деньги интересовали его лишь постольку, поскольку были нужны на еду, книги и передвижение с места на место.

Случилось так, что меня пригласили работать в редакцию, а платить зарплату первое время было не из чего.

— Ничего, выйдем из положения,— сказал тогда Юлиус Фучик.— Нас тут восемь человек. Если все мы сложимся, если каждый из нас даст для тебя сотню крон, то тебе и не надо будет ходить в кассу за зарплатой.

Так товарищи и сделали.

Фучик мечтал стать писателем-прозаиком и, несомненно, мог бы написать произведения, которые поставили бы его в ряд с такими классиками чешской литературы, как И. Ольбрахт, М. Майерова, В. Ванчура. Он мог бы стать выдающимся литературным критиком, развить и обогатить то, что внесли в литературоведение Ф. Шальда и Б. Вацлавек. Он мог бы, как и Зденек Неедлы, стать выдающимся историком и университетским профессором.

Но, как определил себя сам Ю. Фучик в «Репортаже...», он остался «агитпропщиком, журналистом, надеющимся на свое чутье, немного фантазером с долей критицизма для равновесия». Он не сумел покинуть тех, вместе с которыми боролся за общее дело,— Яна Шверму, Эдуарда Уркса и многих других. Он был в одном ряду с рабочими, шахтерами, металлургами, стеклодувами, металлистами, сельскими пролетариями, со всеми представителями левой прогрессивной интеллигенции, с тысячами и тысячами безымянных участников подпольного антифашистского движения. Он был одним из них, и они были в нем. Его голос был и их голосом. Его завещание стало и их завещанием. В этом суть его «Репортажа с петлей на шее». Показав в нем свою борьбу и свою судьбу, он отразил в нем борьбу и судьбу сотен тысяч неизвестных героев. Когда мы читаем «Репортаж...», мы думаем и о них.

В одной своей статье Юлиус Фучик дает интересную характеристику героизма и человеческого мужества: «Герой — это человек, который в решительный момент делает то, что нужно сделать в интересах человеческого общества».

Жизненный оптимизм, любовь к шутке, дружба с людьми — это Фучик. С детских лет жил он среди рабочих, отец его был токарем по металлу. Юношеские годы его прошли в промышленном городе Пльзень.

Для поколения Фучика, которое было и моим поколением, второй школой стала улица. Мы росли в годы первой мировой войны, познавали бедность и богатство, искали ответы на вопрос, почему люди живут неодинаково. На собственной шкуре узнавали, что такое нищета, научились ненавидеть бесправие. В мечтах своих мы уносились в иной, прекрасный мир. Взрослея, мы постепенно учились понимать, какие пути ведут к этому прекрасному миру. Поэтому мы поняли Октябрьскую революцию в России. И вместе с тем нам стало ясно, что за новый мир надо бороться, в том числе и с оружием в руках.

Сражаться, быть участником борьбы за конкретную цель, за идею — это был смысл жизни Фучика, солдата нового мира, солдата партии, солдата коммунизма.

Тяжело переживал он мюнхенское предательство. И, обращаясь к истории чешского народа, писал: «Не впервые пытаются похоронить нас. Не впервые ждут нашей нравственной катастрофы, которая означала бы для нас бесповоротный конец. Но ни

один враг не дождался нашего конца, а те, кто хоронил нас, сами уже не только похоронены, но и давно забыты».

А как тверды и прекрасны слова Ю. Фучика — коммуниста, написанные в тяжелые годы оккупации: «...мы действительно связаны глубокими и нерушимыми узами с народом своей страны. Но не потому, что мы внушаем народу свои взгляды, а потому, что мы выражаем взгляды своего народа».

И далее невозможно не привести строки из статьи, опубликованной в особом подпольном выпуске «Руде право» в январе 1942 года:

«Мы, коммунисты, любим людей. Ничто человеческое нам не чуждо, мы ценим самые маленькие человеческие радости, умеем им радоваться. Именно поэтому мы не колеблемся в любой момент поступиться своими личными интересами для того, чтобы добыть место под солнцем для настоящего, свободного, здорового, радостного человека, не отданного на произвол анархического «порядка» эксплуататоров с его ужасами войн и безработицы...

Мы, коммунисты, любим мир. Поэтому мы сражаемся. Сражаемся со всем, что порождает войну, сражаемся за такое устройство общества, где уже никогда не смог бы появиться преступник, который ради выгод кучки людей посылает сотни миллионов на смерть, в бешеное неистовство войны, на уничтожение ценностей, нужных живым людям...

Мы любим свой народ, как верные его сыновья. Поэтому мы гордимся всем тем, что он дал и дает для расцвета и славы человечества, а тем самым и для собственного расцвета и славы. Поэтому мы выступаем против всего, что позорит наш народ, что паразитирует на нем и ослабляет его».

Так писал Юлиус Фучик, который в своей домюнхенской республике был изгнанником, постоянно скрывавшимся от полиции, чтобы она снова и снова не бросала его за решетку за его революционные взгляды. В любых условиях он продолжал писать и выступать, потому что знал цену и необходимость своей журналистской деятельности. Еще до начала второй мировой войны он учил своих соратников работать в трудных условиях, в подполье, в заключении, и все это пригодилось ему самому в годы фашистской оккупации.

Его личность сливается в единое гармоничное целое с судьбой народа и страны. Это нашло свое яркое воплощение в «Репортаже с петлей на шее» — книги, подобной ей, нет в мировой литературе. Она стала вершиной творчества Ю. Фучика как писателя, журналиста, публициста, и это глубоко волнующее произведение явилось последним в его жизни.

На пороге смерти, к которой он был готов, Ю. Фучик посылает этой книгой свое завещание миру. Посылает его из мрачных застенков, из кошмарных гестаповских камер смерти, в которых каждое мгновение погибали десятки таких же борцов, как и он. В этой книге-завещании и любовь Фучика к светлой и радостной жизни, ради которой он шел на смертный бой. С плахи посылал он миру свои слова прощания и призыва к бдительности.

А как мужественна его печаль над судьбами тех, кто страдает так же, как и он, его размышления о товарищах и единомышленниках, которые шли на смерть с гордо поднятой головой. Сколько глубокого чувства заложено в нескольких строчках, описывающих последнюю встречу Фучика с его другом, соратником по перу и борьбе Владиславом Ванчурой, казненным фашистами.

И Фучика ждет та же судьба.

Но Юлиус Фучик вынесет свой приговор нацизму.

«Сегодня мне прочтут приговор. Я знаю, он означает: смерть человеку!

Мой приговор над вами уже давно вынесен. В нем кровью всех честных людей мира написано: смерть фашизму! смерть капиталистическому рабству! жизнь человеку! Будущее — коммунизму!»

8 сентября 1943 года, когда Юлиуса Фучика вели на казнь, он пел «Интернационал».

«Товарищам, которые переживут эту последнюю битву, и тем, кто придет после нас, крепко жму руку...— писал в «Репортаже...» Ю. Фучик.— И снова повторяю: жили мы для радости, за радость шли в бой, за нее умираем. Пусть поэтому печаль никогда не будет связана с нашим именем».

ЮЛИУС ФУЧИК

★

КОГДА СПЯЩИЙ ПРОСНЕТСЯ

Москва, август 1935 года. Вагон стремительно летящего поезда метро слегка покачивается. Развернутая газета в моих руках колеблется вместе с ним. Незнакомый гражданин, заглядывающий через мое плечо в газету, что-то тихо бормочет и потом вдруг обращается ко мне с вопросом:

— Вам не хотелось бы здесь вот так уснуть?

Его предложение несколько удивляет меня. Я заверяю его, что спать мне не хочется.

— А, значит, вы еще не прочитали! — восклицает он и показывает мне маленькое сообщение в газете «Известия».

Я читаю: «Редкий случай летаргии. Патриция Магуайр 23 лет 19 января 1932 года заснула в поезде метро. С тех пор она не просыпалась, несмотря на все усилия врачей разбудить ее... В настоящее время Магуайр близка к пробуждению...»

— Более трех лет,— говорит незнакомый гражданин, заметив, что я дочитал сообщение до конца.— Вот это сон! А что, собственно, могло измениться в Нью-Йорке за эти три года? Ее отец, если у него была работа, когда она уснула, теперь, когда она проснется, уже явно безработный. Мука, вероятно, опять подорожала... Да, собственно, и все так, верно? Но з д е с ь сейчас вот так уснуть и проснуться только через три года... Невозможно себе даже представить, от удивления рот разинешь...

Это была фантастическая идея! С е г о д н я в Москве уснуть и проснуться только через три года! Сколько всего нового появится, когда такой уснувший пробудится!

На станции метро «Кировская» я покинул своего спутника. Длинный эскалатор вынес меня из подземелья на дневной свет. Передо мной лежала улица Кирова. Еще недавно — десять дней назад — я ехал по ней на трамвае. Трамвай трогался, но часто останавливался, потому что ему постоянно мешали машины, повозки и тысячи пешеходов. Трамвай двигался по улице, как пробка в бутылке, и, верный этому образу, как правило, застревал в горлышке.

А теперь я смотрю и вижу: вытащили пробку из горлышка бутылки! Сняли трамвай. И не осталось даже никаких следов от рельсов. От этого улица совершенно изменилась: стала более широкой, свободной. Автобусы уже ездят по свежему асфальту, натягивают провода для новой линии троллейбуса, который способен маневрировать, как крейсер, поднимающийся над волнами пешеходов и машин.

Я вспоминаю незнакомца, с которым разговорился в метро. Если бы я заснул десять дней назад и сегодня бы пробудился, если бы я не видел, как при свете ламп ночью отвозили рельсы и как двадцать катков разглаживали асфальт, то сегодня я сконфуженно и безуспешно искал бы улицу Кирова. Я не узнал бы ее. А прошло всего лишь десять дней.

Я останавливаюсь перед красивым светлым зданием, которое на этом бульваре ни разу не видел. Помню только одно: четыре месяца назад здесь стояли покосившиеся, старые домишки, которые чудом не сгорели в той торжественной нероновской «иллюминации», которой Москва «приветствовала» Наполеона.

Потом здесь появилось много людей, выросли строительные леса. Говорили, что строят школу. И теперь она уже стоит. За четыре месяца! И таких зданий выросло в Москве за четыре месяца семьдесят два. Если бы я уснул четыре месяца назад...

А тут рядом — снова строительные леса. Над ними развевается красный флаг, и на транспаранте написано, что план будет выполнен полностью и в срок. План строительства новых жилых домов. В течение полугода в Москве будет построено сто сорок жилых домов, каждый приблизительно в четыре тысячи квадратных метров жилой площади. За полгода! Если бы я на полгода уснул...

Дворец. Прекрасный, величественный современный дворец на улице Воровского. Его я раньше тоже никогда не видел. Но строительство его я видел. Вероятно, это было восемь-девять месяцев назад. Здесь братья Веснины строили новый театр. И через неделю состоится его открытие. Если бы я...

Всюду идет строительство, создаются строительные площадки, закладываются фундаменты. Москва — это название самой великой стройки мира. Иностранец, который этого не понимает, испытывает растерянность, смущение. У него огромные впечатления, но он не может с ними совладать, когда попадает на кривую улочку с низкими домишками, смотрящими на него маленькими окнами. Но когда он привыкнет, то перескакивает лужи на раскопанных улицах с легкостью инженера-строителя, радующегося, что именно эти лужи он вытеснит с улиц своим асфальтом. Мне кажется, что здесь все мы чувствуем себя строителями, имеющими право гордиться своей стройкой, благодаря которой Москва из большой деревни превращается в прекрасный город. Бедная Патриция Магуайр, которая могла бы проспать в московском метро такую стройку! Она проснулась бы совсем в новом городе. Заблудилась бы в нем...

Но почему она должна была бы заблудиться?

Москва строится по плану. И это не фантастика. Уже можно создавать путеводитель по Москве, чтобы не заблудился тот, кто уснет и проснется через три года.

Пройдемтесь по улице Горького. Это центральная улица. На ней тесно, она слишком узка: восемнадцать — двадцать метров. Через три года она станет в два раза шире. Посмотрите сегодня на старые, обшарпанные домики с правой стороны между Охотным рядом и проездом Художественного театра. Вы видите их в последний раз. Они будут снесены, и за их бывшими дворами поднимутся новые жилые дома. А потом попрощайтесь и с такими же домиками на левой стороне улицы.

И с историческим зданием Московского Совета?

Нет, его вы увидите и через три года. Только отодвинутым на двадцать метров дальше. Этот исторический колосс будет просто перенесен, как в сказках «Тысячи и одной ночи» делали добрые джинны. А здесь это сделают советские инженеры и рабочие.

Далее вы проедете мимо Триумфальной площади и мимо просторной площади Белорусского вокзала по широкому, стодвадцатиметровому Ленинградскому шоссе, между новыми домами к новым великолепным водным стадионам в Покровском-Стрешневе и Серебряном бору...

Вы поедете троллейбусом. Нет, его не надо долго ждать. Сегодня в Москве только пятьдесят троллейбусов. Через три года, когда вы проснетесь, их станет уже тысяча. Можно ехать и трамваем. За время, пока вы будете спать, уложат сто километров новых трамвайных путей.

Изменится, конечно, не только улица Горького. Вся Москва меняется вот так. И Москва-река изменится. Вы еще помните ее старые заболоченные берега, на которых валялись всякие отбросы и мусор. Сегодня монументальная гранитная набережная тянется на восемнадцать километров. А через три года гранит уже покроет восемьдесят шесть километров берегов Москвы-реки.

Вы увидите сотни и сотни новых домов. За последние шестнадцать лет, после того как Москва стала столицей государства, в ней было построено три миллиона квадратных метров жилой площади. Столько же будет построено в Москве теперь, за ближайшие три года.

А если бы вы вдруг проснулись через десять лет... Сегодня Москва насчитывает пятнадцать миллионов квадратных метров жилой площади. За ближайшие десять лет будет построено... также пятнадцать миллионов. В течение ближайших десяти лет вырастет еще одна Москва. Появится много общественных зданий. В первую очередь школ. В Москве за все долгие годы ее существования было построено 358 школ. За три ближайших года будет построено еще... 390 новых школ.

За три года, пока уснувший пробудится.

Ну, люди, скажите, кому хотелось бы здесь проспать такие три волшебных года созидания? Мне всегда казались бесконечно грустными те сказки, в которых рассказывалось, как человек думал, что проспал один день, а на самом деле пролетела целая человеческая жизнь. Какое отчаяние должен был бы испытывать человек, который проспал бы целую великую эпоху!

Нет, благодарю вас, незнакомый гражданин в метро! Я не принимаю ваше фантастическое предложение.

«Руде право», 1935 год.

Не так уж это мало —
мгновение за жизнь!
Весь век под небом алым
нам врозь потом кружить

и сердцем возвращаться
назад, судьбу кляня...

Так подожди прощаться,
не торопи меня.

Немыслимой ценою
я верю одному:
сегодня ты со мною —
и вечно быть тому!

***

Я ночи лунные люблю
хотя бы потому,
что речи тополя в хмелю
я в этот час пойму.
И потому, что в этот час
тайн у деревьев нет,
и странно связывает нас
волшебный лунный свет.
И тополь бредящий и я —
под струнами луны
лишь две частицы бытия,
и мы во всем равны.

Пускай он ветками поник,
но грусть его легка,
как лунный свет, как лунный миг
и как моя тоска.
И ветка ивы у пруда
от света тяжела...
К разгадке жизни никогда
я ближе не была.
Мне остается только шаг,
чтоб разгадать секрет.
...Но гаснет месяц в камышах,
и настает рассвет.

ИРИНА АНТОНОВА

В дороге

Все виднее на желтых откосах
Напряженные вены корней.
Первый лист прикипает к колесам
И лицо обжигает сильней.

И, целуя давно по привычке,
Расстаюсь и встречаюсь без слез
И гляжу из окна электрички
На простертые руки берез.

Двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь —
Верстовые столбы на пути,
Где конечная станция — осень.
Я б желала чуть раньше сойти.

ЮРИЙ НАГИБИН

★

БОЛДИНСКИЙ СВЕТ

Рассказ

1

Мне хотелось добраться до Болдина путем Пушкина: через Владимир, Муром, Арзамас, Ардатов, Лукояново. Пушкин ехал на тройке, я — на машине, на моей стороне было преимущество скорости, на его — проходимости: никакой вездеход не сравнится с русской лошадкой. Поэт предсказывал, что хорошие дороги будут в России лет через шестьсот, минуло всего лишь полтораста с дней зловещего пророчества, но это не остановило ни меня, ни моих отважных спутников: инженера-журналиста Маликова и водителя Геннадия. Безумству храбрых!..

До Мурома, где заночевали, мы катились как по маслу. Утром на выезде из города застряли часа на два у переправы через Оку — понтонный мост был разведен, чтобы пропустить грузовые пароходы, нефтевозы, самоходные и влекомые буксирчиком баржи. Время прошло незаметно: приятно было смотреть, как громадные суда проскальзывают в казавшуюся с берега очень узкой щель, и прекрасен был наш, муромский, крутой зеленый берег. Среди плакучих берез, ветел, уже замраморевших кленов белели старые церкви с почерневшими куполами, над которыми вились птичьи стаи.

А потом мы переехали на ту сторону Оки, борзо промчались десяток-другой километров, и в смущенной памяти ожили вещие слова поэта. Шоссе, да еще асфальтовое, знай себе тянулось полями, болотами, погорельями губительных торфяных и лесных пожаров начала семидесятых: среди черных, будто обгрызенных стволов пенилась кустарниковая поросль (не вырастали деревья на пожарище, лишь кусты и высокая слабая трава), — но ехать по этому шоссе было нелегко: сплошные ямы, колдобины и черные глубокие лужи. Лишь бы до Арзамаса добраться, а там начнется превосходное шоссе на Саранск через Лукояново, откуда до Болдина рукой подать.

Нервическое состояние, пользуясь старинным слогом, в которое повергла нас боязнь завязнуть и бог весть сколько дожидаться подмоги, слегка скрашивало однообразие и одуряющую незаполненность пути. Расстилающаяся вокруг равнина с уже убранными полями, с купами деревьев по горизонту не давала зацепки глазу.

А как чувствовал себя Пушкин в своем подпрыгивающем на ухабах, переваливающемся с боку на бок возке? Мы-то и по бездорожью меньше тридцати—сорока не держим, а с какой скоростью тащили его заморенные лошаденки? Верст десять в час, не больше. Да ведь эдак с ума сойдешь! А Пушкин любил ездить, и если жаловался в стихах на скуку и удручающее однообразие дорожных ви-

дов: «...тишь да глушь. Навстречу мне только версты полосаты попадаются одне», — то это была чисто поэтическая жалоба, литературная скорбь, не имеющая отношения к тому живому удовольствию, с каким он пускался в путь. Он наездил за свою короткую жизнь тридцать пять тысяч верст. Пушкин был на редкость легок на подъем, причем любил ездить один — ямщик не в счет. Легкий, общительный, он радостно вверял себя долгому дорожному одиночеству. Ему не приедался даже известный каждым поворотом, каждым ухабом, каждой будкой, шлагбаумом, верстовым столбом Московский тракт. Но будь я Пушкиным, мне бы тоже не было скучно. Разве гению может быть скучно наедине с собой? Теснятся мысли, образы, неиссякающая внутренняя наполненность преображает окружающее, делает его участником твоей напряженной душевной работы. Хорошо быть гением!.. И как странно, что на самом деле Пушкин не мог ни упиваться собственными стихами (просто не мог читать Пушкина), ни ощущать свою исключительность как беспрерывное наслаждение. Он любил дорогу — хорошо думалось в карете, — но и ему бывало скучно, томительно, отчаянно, и он вовсе не помнил о том, что гениален.

А вообще люди прошлого, воспитанные на других скоростях и ритмах жизни, обладали иным ощущением времени. Они жили на дни, как мы — на часы.

Миновали шесть километров. Мыслей никаких не было. Оставалось — томление скуки. Читать невозможно из-за тряски, разговаривать нам с Маликовым было не о чем — мы знакомы пятьдесят лет и за это время уже все обговорили, выяснили и пришли к согласию по всем пунктам. Нужно какое-то событие, толчок извне (толчки на ухабах не в счет), чтобы у нас появилась тема хоть для короткого разговора. Иначе стоит одному открыть рот, как другой уже знает все, что тот может сказать. Водителя нельзя отвлекать — дорога слишком опасна. С некоторым раздражением вспомнилось о Пушкине, пославшем нас в путь. Ведь результатом вояжа должен быть альбом о Болдине: нынешние виды в фотографиях и рисунках и литературная реставрация тех ошеломляющих дней болдинской осени 1830 года, после коих невзрачное, никому не ведомое село Нижегородской губернии, Сергачевского уезда стало синонимом вдохновения. Да не просто вдохновения, а невиданного в истории вулканического извержения творческой силы.

И тут я стал припоминать, зачем и в каком состоянии ехал Пушкин в Болдино. Он ехал улаживать материальную, как сказали бы сейчас, сторону предстоящей женитьбы. Никак не мог он сладиться с матерью Натали, в которой разнуздалось все самое скверное, что от века является сутью сварливой, злобной и глухой тещи. Она ставила непременным условием, чтобы от жениха было приданое, а где взять? Холодно-слезливый и скупой Сергей Львович расщедрился и отдал сыну «часть недвижимого имущества, состоящего в сельце Кистеневе» — двести «мужеска» душ, — заодно обязав его разобраться в гибельно запущенных делах родовой вотчины — Болдина. Довел зажиточное село до разора приказчик Калашников, крепостной человек Пушкиных. Предстояло столкнуться — впервые — со страшным чернильным племенем — крючкотворами-чиновниками, способными запутать и простейшее, самоочевиднейшее дело, а дела беспечного Сергея Львовича пребывали в удручающем беспорядке. Словом, впереди не светило. А позади светила несказанная прелесть юной невесты, но на любимые нежные черты, словно нанесенные тончайшей китайской кисточкой на розово-золотую гладь, наплывали досадно схожие, огрубелые, искаженные алчностью и недоброхотством черты Гончаровой-матери, и мерк последний, нагоняющий издали свет. Нет, не в благости, не окрыленный

надеждой ехал Пушкин к родовому гнезду в разболтанной карете, то подпрыгивающей, то кренящейся на ухабах, то грозящей опрокинуться. Мимо окошек неспешно влеклась великая пустота российских полей, и откуда-то из глубин этой пустынности уже надвигалась холера, которая запрет его в Болдине, и он будет метаться, как зверь в клетке, рычать и плакать от беспомощности, пытаться бежать и расшибаться лбом о карантинные заставы. Из скрута болей, тревог, надежд, промахов и каких-то еще неразгаданных тайн мы получим дивную лирику, последние главы «Евгения Онегина», маленькие трагедии, «Повести Белкина»...

Я все-таки задремал. А когда очнулся, мы уже не тащились обочь дороги, а мчались по иссиня-лиловому, недавней заливки шоссе навстречу чуду. Как назвать то, что явилось нам меж землей и небом на вершине холма, будто преграждающего дальнейший путь?.. Впрочем, есть палочка-выручалочка у русских писателей, когда им нужно передать потрясенность от внезапного явления прекрасного города, — сказочный Китеж... Это действует безотказно. Не потому, что у каждого сложился с детства чарующий образ волшебного града, встающего из лона вод, не в подмогу и громоздкая опера Римского-Корсакова — ее почти не ставят, — все дело как раз в неопределенности, смутности образа. Представляется что-то белое, сияющее, струистое, зыбкое, величественное, манящее и завораживающее. Так вот не буду зря томить читателей: на взлете дороги, врезаясь возглавиями в небесную синь, вознесся Китеж-град. Посредине высился громадный собор, перед ним, чуть ниже по склону, раскинулся то ли монастырь, то ли обширное церковное подворье, еще один собор выглядывал золотыми крестами из-за спины главного, в курчавой зелени, обрамлявшей эту картину, белели портики старинных зданий, синее безоблачное небо поблескивало ослепительными кристалликами.

— Господи, да что же это такое? — воскликнул я.

— Арзамас, — хладнокровно ответил мой друг Маликов. — Город на холмах.

Этот город проезжал Пушкин, здесь позже отплясывал на балу.

Когда Пушкин въезжал в Арзамас, он видел великолепный Вознесенский собор, заложенный в память войны 1812 года, еще в лесах, а достроен собор был уже после его смерти. В первый раз Пушкин не задержался, только сменил лошадей и помчался дальше, торопясь разделаться с докучными делами. Потом он не раз бывал здесь, но неизвестно, свел ли знакомство с замечательными местными людьми: зодчим Коринфским, строителем Вознесенского собора, «приволжским Воронихиным», и еще более удивительной личностью — художником Ступиным, «боярским сыном», байстрюком, учившимся из милости в санкт-петербургской Академии художеств и создавшим первую в России провинциальную художественную школу, в которой учился и академик Коринфский...

Но уж верно слышал Пушкин, что в пору расправы над разинцами виселицы и шесты с насаженными на них головами стояли от Ардатова до Арзамаса; через Арзамас провезли в клетке Пугачева, и когда местная купеческая женка накинулась на него с проклятиями, узник так зыркнул черными цыганскими очами, что та грохнулась без памяти.

На обратном пути мы задержимся в Арзамасе и проведем здесь целый день; старожилы, хранители и накопители духовных и вещественных ценностей отчего края, приблизят нас к душе необыкновенного русского города, заслуживающего особой песни.

А сейчас вперед, чтобы засветло добраться до Болдина. Мы держим путь на Ардатов, оттуда на Лукояново. Здесь мы с душевным огорчением узнали, что прямая дорога в Болдино, всего тридцать—сорок километров, непроездна. Вот досада — так долго следовать за

Пушкиным, можно сказать, колесо в колесо и потерять его почти на финише. Выходит, что три живых лошадиных силы мощней, чем шестьдесят, сжатых в автомобильном двигателе. Нам надо ехать в сторону Саранска, а перед железнодорожным переездом свернуть налево. Дорога хорошая, лишку в шестьдесят километров и не заметим.

Сгоряча мы промахнули поворот и спохватились, когда пейзаж резко изменился: вместо лощины — округлые всхолмья, покрытые черными квадратами хорошо возделанных полей. Мы поняли, что, проморгав пограничный знак, вторглись на территорию соседней Мордовии, поставлявшей в пушкинские времена смелых и выносливых кулачных бойцов на деревенские ристалища.

По календарю мы прибыли в Болдино почти в одно время с поэтом, но если учесть разницу между новым и старым стилем, то дней на десять раньше. Осень тронула желтизной березы, пустила мраморные прожилки по пятерням кленов, подсмуглила листья осин, но до золота и багреца, столь любых Пушкину, еще далеко, в просторе царит зеленый цвет под чистой синью. И все это хорошо освещается теплым розовым солнцем, начавшим снижение над Лукояновом, откуда полтора столетия назад примчался Пушкин, чтобы осуществить предначертания рока: добыть денег для женитьбы, сочетаться браком с первой красавицей России и подставить грудь под пулю...

2

Я не собираюсь описывать мемориальную усадьбу и все музейные достопримечательности. Существует немало весьма квалифицированных брошюр, где обо всем этом сказано обстоятельно, любовно и лукаво, ибо нигде прямо не говорится, что предлагаемое взгляду экскурсанта всего лишь возможный вариант пушкинского гнезда.

Усадьба Пушкиных не стоит наособь, как в Михайловском, а прямо посреди села, ставшего ныне крупным районным поселком с кварталами высоких типовых домов, административным, весьма представительным центром, с великолепным кинотеатром «Пушкин», где идет «Петровка, 38», с рестораном, магазинами, в том числе очень неплохим книжным, там продавались «Петровка, 38», «Повести Белкина», публицистика Евтушенко с богатым иконографическим материалом и множество книжек и брошюр, посвященных Пушкину. Мы жадно и бегло осмотрели райцентр, но в его новостроечную часть, где жила сотрудница музея Лада, с которой мы связывали надежды на устройство, проехать не удалось по причине иссиня-черной грязи, натасканной на бетонные плиты уличного покрытия колесами тракторов. Этот край входит в черноземную полосу, но многие авторы утверждают, что крестьяне самого Болдина мучались на скудном суглинке, впрочем, черноземные кистеневцы бедовали ничуть не меньше. Мы кинули жребий, кому идти за Ладой, без нее нам крышка: в гостинице готовились к приему научной делегации, прибывающей в Болдино в честь стопятидесятилетия со дня завершения «Евгения Онегина», и поэтому отключили воду — для срочного ремонта водопровода. В должный час вода будет — до сессии еще два дня,— но с дороги мы не могли столько ждать. Жребий пал, как водится, на меня, но в путь отправился, натянув сапоги, длинноногий Маликов.

Вскоре появилась в сопровождении Маликова румяная Лада в высоких сапожках, она ловко, как козочка, проскакала к машине по каким-то лишь ей приметным бугоркам и кочкам, почти не запачкавшись, и повела нас на постой в другую часть поселка.

Мы попали в сельское Болдино, лежащее на взлобке. Длинная улица, затененная старыми липами и вязами, была тщательно заасфальтирована и чиста.

Оказывается, в конце улицы поселился главный инженер крупнейшего болдинского предприятия, человек серьезный, умеющий требовать и с самого себя и с других; он поставил условием, чтобы подъездной путь к его гаражу был приведен в порядок, а трактора и прочая сельхозтехника объезжали стороной магистраль, связывающую его с производством. Требование специалиста было уважено.

Болдино четко разделилось на тонущую в грязи новостроечную часть и чистую, пахнущую травой и древесной листвой сельскую. Соединяются обе части поселка через образцовый центр, где запрещено всякое движение, кроме пешеходного; там, разумеется, есть Доска почета, куда, на мой взгляд, должно навсегда поместить портрет Пушкина.

Симпатичная и застенчивая Лада, не забывавшая краснеть хотя бы раз в минуту, привезла нас к дому тети Веры, о которой мы были наслышаны еще в Москве как об искусной рукодельнице, певунье знаменитого болдинского хора, гостеприимной хозяйке и вообще замечательном человеке. У нее всегда останавливается талантливый график, иллюстратор «Евгения Онегина» и мой соавтор по альбому Энгель Насибулин, создавший удивительные циклы маленьких гравюр, посвященных Пушкину; один из этих циклов представляет собой как бы раскадровку болдинского дня Пушкина от раннего пробуждения до отхода ко сну: Пушкин встает с постели, ежится, окатывает крепкое тело ледяной водой, одевается, кушает чай, пишет, досадуя на ускользающее слово, скачет на лошади, отдыхает под стогом сена, заглядывается на смазливую поселянку, обедает, читает... Ты с умилением наблюдаешь живого, теплого Пушкина, а не беженца с гранитного или бронзового пьедестала и не литературного генерала, прочитавшего посмертно все статьи о себе в энциклопедических словарях. Блестящий график, потомок тех, кто веками пробовал Русь на прочность — от Калки до поля Куликова, — не речист, свое отношение к тете Вере он выразил на городской летней улице гортанным возгласом «о!».

А мне тетя Вера поначалу «не показалась». Я был настроен на встречу с уютной, певучеголосой бабушкой, а предстала рослая, жесткая, горластая старуха на длинных крепких ногах, с худым носатым лицом, тонкогубая, с глубокими глазницами, то выпускающими, то хоронящими острый, быстрый, пронзительный взгляд. Я вспомнил, что тетя Вера вместе с соседкой тетей Пашей по отсутствию в Болдине церкви и попа отпевает покойников и вроде бы совершает какие-то требы — в последнее не верилось, поскольку в православии не рукоположенным это строжайше запрещено. Но, может, они сектанты?..

— Разуйтесь! — испуганно шепнула Лада. — В избу нельзя в ботинках, наследите.

— Курить там не положено? — осведомился Геннадий.

— Боже упаси!

Пока мы раздевались и переобувались в сенях (Геннадий — высунув голову наружу, чтобы докурить сигарету), из горницы неслось:

— Дверь плотней прикройте! Всю избу выстудите!.. Ты, Ладушка, чего шляешься взад-вперед, даром, что ль, я избу топила?.. Коль входишь — входи! — Последнее относилось к Маликову, управившемуся раньше других. — Неча на пороге торчать!..

У тети Веры был очень низкий, почти мужской голос, ее узкое подвижническое лицо толкало мысль к старообрядцам, но эта чепуха отвеялась при первом же сближении с ней. Была она человеком современным, на редкость живым и заинтересованным и, как писал грузинский поэт, «познавшим мудрость, сведущим в искусствах». С этого и началось наше настоящее знакомство, когда тетя Вера вдосталь нашумелась по поводу грязи и беспорядка, неизбежно со-

путствующим постояльцам, равно скудости и тесноты своего жилища, неспособного угодить балованным московским людям. Тем самым она познакомила нас с правилами проживания в доме, а заодно и умалила свой быт, чем по контрасту привлекла внимание к его нарядности. Полы были застланы чудесными домоткаными дорожками, полосатыми, бахромчатыми по краям. В расцветке и подборе полос обнаруживался такой тонкий и точный вкус, что это натолкнуло наблюдательного Маликова на еще одно открытие: он углядел в ромбовидном окошечке одеяльного чехла жар-птичью красу.

— Это лоскутное одеяло? — вскричал он.

— Она самая, — подтвердила тетя Вера. — Ишь глазастый какой!

— Вашей работы? Можно посмотреть?

— Во дает! — Черноглазая тетя Вера обвела нас усмешливым взором. — Не успел в дом ступить, а уже все высмотрел. Как звать-то?

— Анатолием.

— Ага, Натоль, значит. А тебя? — Это относилось к водителю.

— Геннадий. Гена.

— Ты рулишь? Будешь Автогена — для отличия. — Она обратилась ко мне: — Ты по волосам старшой, представляйся полностью.

— Юрий Маркович.

— Маркыч, значит. А я тетя Вера — тебе и Натолю. Автогена может бабушкой звать. Нет, я ему в бабушки не сгожусь. Тебе к сорока, поди? А мне и семидесяти нет, я еще молоденька. А теперь глядите мою работу. Нешто вам Андель про нее говорил?

Едва ли тетя Вера знала, что точно перевела с немецкого слово «энгель», служившее именем сыну кочевого племени.

— Мне говорил, — честно признался Маликов. — Я, как вошел, все принюхиваюсь. И половики вашей работы я у Энгеля видел. Да он о вас всему свету раструбил.

— Это ж надо! — засмеялась тетя Вера. — Вот не думала, что мое художество так знаменито!

Неожидан и удивителен был ее легкий смех при аскетически-скорбном лике. Смеясь, она разительно преображалась: древнее, иконописное исчезало без следа, щеки разрумянивались, из темных глаз искры сыпались, уголки тонких губ приподнимались, и что-то бесовское появлялось в ней. Небось лиха была тетя Вера в юные годы! Потом мы узнали, что в отличие от большинства своих соседок-вдов она прожила полную женскую жизнь, вот только детьми не больно ее бог побаловал, одной всего дочкой наградил, а той и вовсе детей не дал. Каждый год с наступлением дождливой осени она уезжает в Иваново, где живет ее замужняя дочь. Поэтому не держит никакой живности, ведь пребывание ее в селе — сезонное. Тетя Вера в городе не бездельничает: шьет одеялки из лоскутьев. А половики тетя Вера здесь ткет, у нее в сарае станочек.

— А как вы подбираете лоскутья? — спросил Маликов.

— Прыткий у тебя умок, — одобрила тетя Вера. — В самый корень смотришь. А как подбираю — секрет производства, — она радостно рассмеялась, — секрет от меня самой. Берешь лоскут, к нему другой, нет, чегой-то не сходится. А чего — убей бог не знаю. Меня раз Андель пытал насчет этого, так мы оба чуть не до слез дошли. Дикие у тебя, говорит, сочетания цветов, тетя Вера, все не по правилам, а красиво. Откуда ты знаешь, что так можно? А я и не знаю, только вижу, что это хорошо, а это плохо. Андель даже пригорюнился. Неужто, тетя Вера, ты всю эту одеялку распеструщую заранее видишь? Нет, отвечаю по всей правде, ничего не вижу, это душа моя видит. И я ее слушаюсь. Он задумался и говорит: может, ты гений? Чего?.. Обратно лоб наморщил. Пушкин — гений, поняла? Поняла, говорю, значит, я — лоскутный Пушкин. Сроду так не смея-

лась, как с энтим Анделем. Андель три одеялки увез. Совсем меня разорил.

— Да ведь приятно, поди, что ваше искусство по свету расходится?

— Как тебе сказать, — притуманилась тетя Вера. — И приятно и больше — жалко. Я вот за зиму только пять одеялок пошила. Две ушли, одной, самой скромной, я сама накрываюсь, две для гостей: сильно веселенькая и задумчивая. Пусть в доме останутся.

— А ты хитрая, теть Вер, — заметил Автогена. — Умеешь цену набивать.

Почему-то тете Вере необычайно польстило обвинение в прижимистости и деловой сметке. Она так смеялась, что вынуждена была присесть на кровать, крытую «сильно веселенькой» одеялкой, которую я твердо решил приобрести. Между нами произошел тяжелый торг, тетя Вера положила за одеяло пятнадцать рублей, я давал двадцать пять и не намерен был уступать. Нас едва развели...

— Опять я без одеялок! — ужаснулась она, хлопнув себя по коленям большими кистями. — Ловко же вы меня окрутили!..

Коммерческие трения не помешали тете Вере позаботиться о самоваре, и когда предметы народного творчества обрели новых владельцев, она предложила попить чайку. Конечно, мы с радостью согласились и стали вываливать на стол свои припасы. Я оказался богат консервами, сыром «виола» и колбасой. Геннадий украсил стол овощами, фруктами, крутыми яйцами и бутылкой коньяка — у него сегодня день рождения, о чем он со свойственной ему скромностью помалкивал. Кстати, лишь праздничные обстоятельства помогли нам усадить за стол тетю Веру, уже отобедавшую. Она не могла отказаться выпить рюмочку за здоровье Автогены.

Тетя Вера принципиальная противница чревоугодия: она не ест мяса и наотрез отказалась не только от Натолевой «убоины», но и от колбасы, сардинок, баночной ветчины и даже от вовсе безобидного сыра.

— Зубов, что ль, нету? — спросил прямолинейный Автогена.

— Зубов полно и своих и чужих. Внутренность не принимает. Я как приучена: утром бокальчика три чайкю попью с хлебушком, вечером — тож, а днем картошечки вареной пожую — мой порцион. Больше не требуется.

Чаек тетя Вера сластила только кусковым сахаром, пиленый слишком быстро тает. Тщетно пытались мы соблазнить ее нашими разносолами.

— Я своим хлебушком сытая, — отнекивалась тетя Вера. — Видали, какой у нас хлебушко, небось такой выпечки и в Москве нету.

Хлеб в самом деле отменный — и мякиш и корочка, он ручной выпечки, и пекут его по старинному рецепту. Болдинцы любят свой хлеб.

По ходу застолья рассеялись наши подозрения религиозного толка. Конечно, никаких служб тетя Вера с подругой своей тетей Пашей не служат, только отпевают покойников, поскольку наделены голосами и много лет пели в знаменитом местном хоре, гастролировавшем по стране. Сейчас от хора лишь прозвание осталось: главная запевала тетя Алена померла, отошел и один из певцов-мужчин, другой обезножел, а звонкоголосую тетю Пашу замучил кашель.

— Только и осталось что покойников отпевать, — усмехается тетя Вера. — А раньше мы и в Ленинград ездили, и в Москву, и в Горький, и в Саранск, и в другие хорошие города. Нас в Питердвор возили, и в Троице-Сергиеву лавру, по телевизору показывали и на фотографии сымали. Но вам мы обязательно споем, не сумлевайтесь, а сейчас давайте лучше за Автогену выпьем, за его здоровье.

— Закусить надо, — сказал виновник торжества.

— Ты меня не неволь. Я чарочку выпью и хлебушком закушу. Лучше налей мне еще бокальчик чайкю.

И все-таки один продукт мы тете Вере навязали: Автогена прямо в рот ей вложил крошечный бутерброд с мягким сыром «виола», тетя Вера ненароком жевнула и одобрила закуску:

— Масло не масло, а мягкая, маленько присолено и с привкусом. Это вы мне, ребята, угодили. Пожалуй, я энтой замазки еще пожую.

Застолье пошло веселей, «виола» способствовала сближению. Мы надеялись, что разговор сам собой свернет к тому, ради кого мы приехали, но тетя Вера держала себя так, будто Пушкина тут сроду не видали. Слишком явным нажимом легко было ее вспугнуть, я пытался исподволь направить беседу в нужное русло. Эта тактика быстро наскучила Маликову, у которого несомненно есть мичуринская жилка: он не любит ждать милостей от природы.

— Да-а! — протянул он ни к селу ни к городу. — Как ни хорош болдинский хор, а раздавались отсюда песни позвончее!

— Это чем же тебе наш хор не угодил? — озадачилась тетя Вера.

— Не единым хором красна болдинская земля!..

— Это точно! У нас гончары исключительные. В Казаринове, тут недалеча. Цельное производство. Работают цветочные вазы прямо на Горький. Но главный их талан — посуда из черной глины. Такой нигде больше нет.

— Мне Энгель говорил! — вспомнил Маликов. — Она на металлическую похожа и даже звенит!

— Чего тебе еще Андель нагородил?.. В этой посуде продукты не портятся, и запаха она не держит. Вот в чем ее секрет.

— А где бы такую достать? — загорелся Маликов. — Мне необходимо... жене на годовщину свадьбы подарок.

— Очень у тебя, Натоль, живой ум, — одобрила тетя Вера. — Вот сразу и годовщина подошла. Коли вспомню, сведу.

— Вы бы нам чего о Пушкине рассказали, — бесхитростно брякнул Геннадий.

— А что?.. Мы к Лексан Сергеичу претензиев не имеем. Под него нам и промтовары закидывают и продукты кой-какие... — Тетя Вера откашлялась. — Страна о нас не забывает... как мы, значит, земляки.

Надо было не дать ей укрепиться в этой интонации.

— Может, легенды какие есть? О Пушкине, — перебил я.

— Да это сколь хошь! Вон брошюрки на окне — сплошные легенды. Лыгенды, как Андель говорит.

— Вранье, что ли?

— Да это он в шутку! Нешто дедушка Михей Сивохин чего врал? Все правда. Только с комариный нос. Почему рощу Лучинником прозвали и чего Пушкин сказал, когда кистеневские у него лошадь увели. Нету настоящей памяти. Это ведь теперь: Пушкин, Пушкин, великий гений! В школах проходят. А тогда как? Ну, приехал барский сын. Народ об одним надеялся, что хоть сволоча-старосту Михайлу Калашникова сменют. Он же и господ своих как хотел обчищал. А когда до краю дошло, перевел его из Болдина в Кистенево. Тутошние мужики маленько вздохнули, а тамошние захрипели. Но главное вы усечь должны, что народ дюже неграмотный был. На все Кистенево, к примеру, только один мужик буквы рисовал. Никто стихов Лексан Сергеича не знал, да и кому они нужны были? И что он где-то исключительный гений — это все мимо. И что он в Болдине насочинял вагон с тележкой — тоже мимо. Был у него брат Лева, очень, говорят, с ним сходственный. Он сам только раз здесь появился, а вот сын его и внук всегда жили. Те были да сплыли, а этого весь мир чтит. Ну и подарили ему чужие грехи и баловство.

В одном народ не ошибся, что оценил Лексан Сергеич болдинскую красу... За твое здоровье, Автогена, чтоб тебе баранку еще сто лет крутить, а посля у Ильи Пророка колесницей править. Там небось раздолье — дорожных показателей нету, катай по всем небесам хоть по левой стороне. Мазни-ко, рулевой, мне малость этой венолы, оно хорошо пищепровод смазывает.

И тетя Вера, уже не понуждаемая, сама вернулась к пушкинской теме.

— Ученые люди, конечно, глубоко копают, только в стороне. Народные пушкинисты, это которые малограмотные, вроде деда Михея, свою ямку роют, и мне очень любознательно, что тут между Лексан Сергеичем и девой Февроньей было.

— А было чего?

— Надо полагать — любовь. Мы, конечно, по-научному не знаем, как там положено, это вам Ладушка скажет, а по-нашему он засватать ее за себя хотел. И Михей Сивохин тех же мыслей. А он налично знал Лексан Сергеича. Натоль, протяни руку, за тобой книжка про болдинскую старину... Натоль, ты грамотный? Прочти третий рассказ Сивохина.

Маликов откашлялся и с выражением прочел:

— «Во время пребывания в Болдине Александр Сергеевич ходил на прогулку к леваде. На этой леваде находился пчельник зажиточного крестьянина Вилянова Ивана Степановича. Здесь стояли пчелиная сторожка и колодец. Здесь и увидел Александр Сергеевич дочь Вилянова Февронью Ивановну, которая приходила днем на пасеку. По слухам, Александр Сергеевич ходил в эту сторону на свидания к Февронье, привез ей в подарок шелковое платье и будто хотел засватать за себя».

— Ну вот, — сказала тетя Вера, — коротко и неясно. Когда он ей платье дарил? Ежели в первый раз, откуда платье взялось? Что он, за ним в Лукояново или в Арзамас ездил и сам покупал? Глупости какие! А ежели во второй или в третий — так он уже оженился и поздно ему было Февронью сватать. Мёбли, — тетя Вера с французским прононсом выговорила это странное слово, — он ей, верно, подарил, из дома, а платье... Отец мог Февронье сто платьев купить, дюже богатый мужик был. Он Лексан Сергеичу десять тысяч рублев занял, а тот, не отдавши, помер. Пришлось папаше его землей расплачиваться. Мы так полагаем, что Февронья знала о приезде Пушкина и нарочно ему у пчельника стренулась. Ей уже под тридцать было, а все в девках — перестарок. А за кого ей выходить? А тут молодой человек из столицы, да еще стихи красивые про любовь сочиняет, Февронья-то грамоте знала. Едва ли она под венец метила... Я видела Анделя рисунки — маленький, верткий, курчавый. А Февронья мало что красавица — и высока и величава, что твой белый храм на заре. Поди, и Лексан Сергеич обомлел: откуда это чудное видение? Иван Степаныч Вилянов ни в чем дочери не отказывал, наряды ей с самого Нижнего привозил, украшения всякие, пудру — Панпадур. Она всему была обучена и под гитару пела — про черную шаль. Это, конечно, посля узналось. А тогда глядели молча друг на дружку два человека.

— Как же они все-таки сладились? — спросил Геннадий. — Вы говорили, что любовь между ними была.

— Была. Да еще какая любовь! Он ей мёбли из своего замка подарил и десять тысяч денег у ее отца занял, Февронья так замуж и не вышла, хотя в Арзамасе — они с отцом туда переехали — считалась по купечеству первой невестой. Прожила она сто три года, а ни одному человеку про Пушкина слова не сказала.

— Чем же Пушкин ее взял? — недоумевал Геннадий.

— А он — Пушкин, нешто мало? — спокойно сказала тетя Вера и, видя, что Автогена не усекает, снизошла до объяснений. — Нам...

хору нашему, как на первую гастроль ехать, лекцию читали, чтобы не осрамились в случае, если насчет Пушкина пытать начнут. Был он хоть невеличка, а грозной силы: палку о пять пуд и таскал и кидал, как соломинку. На коне лучше цыгана-угонщика скакал, а разговором мог кому хошь мозги завить. Чего еще надо? Телом крепок, а сам нежный, дыхание чистое, белозуб и стихи читает. Пушкин даже с царицей роман крутил, за что царь ненавидел его люто и сам все его сочинения проверял. Разве устоять было простой деревенской девушке?

— Жалко Февронью! — от души сказал Геннадий.

— А чего ее жалеть? — с достоинством произнесла тетя Вера.

3

На другой день мы поехали по окрестностям. Начали с Апраксина, где жило дружественное Пушкину семейство, заглянули в Кистенево. Нас сопровождал сотрудник музея, прежде работавший в райисполкоме, умный и обаятельный человек — Алексей Петрович. По дороге во Львовку, перешедшую от Льва Сергеевича к старшему сыну поэта, Александру Александровичу, мы испили из того заветного родничка, где любил освежаться Пушкин во время своих пеших и верховых прогулок, и навестили рощу Лучинник (см. путеводитель по болдинскому заповеднику).

Деревня числится за совхозом, когда-то здесь находились телятники, но сейчас их нет. Экономически Львовка равна нулю, что упрощает, по словам Алексея Петровича, превращение ее в мемориал. Тут дотлевают несколько старух и девяностотрехлетний старик, а сезонно обитают в бывшей школе каменщики и плотники, восстанавливающие барский дом. Сельпо давно закрыто, но дважды в неделю сюда привозят хлеб, спички, соль.

Деревня красива: огромные старые вязы, липы — не обхватишь, клены, одичавшие яблони, груши, ягодники; заброшенная каменная церковь, повитая вьюном, снаружи кажется целой, но внутри все размозжено, что затруднит ее превращение в мемориальную «точку». Тут сохранились избенки более чем полуторавековой давности, иные даже обитаемые. Когда мы проходили мимо крошечной избы, у дверей гомозились две старухи: одна лет восьмидесяти, другая — разменявшая век. Приметив нас, столетняя костлявая богатырша уперлась лбом в притолоку и обратила к нам большое меловое застылое лицо, вдруг очнувшееся интересом к окружающему. Не забыть мне этого слабого света, мелькнувшего по белой маске и сделавшего ее лицом.

Девяностотрехлетний Матвей Иванович Коноплев, проживающий под присмотром двух дочерей, живая летопись здешних мест, еще недавно крепкий, как кленовый свиль, резко сдал после смерти жены, с которой отпраздновал бриллиантовую свадьбу. Доконала же его потуга дочерей сводить его в баньку. Повели, вернее сказать, поволокли обезножевшего старика дочери-старухи и уронили посреди двора. А он тяжеленек, даром что на самой скупой пище живет: утром кашки с молоком похлебает, в остальной день только чаем пробавляется, — не поднять его дочерям. Кинулись — помогите, люди добрые, старичка уронили! Пришли каменщики, подняли Матвея Ивановича и отнесли в избу. «Все, — сказал он и утер слезу, — отмылся!» Ныне он встает только по нужде, но дочери содержат его чисто: протирают теплой водой. Сейчас старшая домой отлучилась глянуть на хозяйство, а младшая всю жизнь при родителях прожила.

Мы подумали, что неудобно тревожить спящего старика.

— Да он все время спит, — сказала Даша (по паспорту Варвара Матвеевна, но так прозвали ее в детстве, и на другое имя она не откликается). — Раньше до чего поговорить любил, а сейчас, коли

раскроет рот, так только об одном: доченьки, не продавайте корову, христом богом прошу.

— Кормить нечем? — спросил Геннадий.

— Ясное дело. Нешто по нынешнему году могли мы сена насушить? Старики какой заботы требовали, а силенок у нас с сестрой — вдвоем комара убиваем.

— Варвара Матвеевна... Даша, — проникновенно сказал Алексей Петрович, — вы не сомневайтесь и ни о чем не думайте, мы все возьмем на себя: и машину дадим, и людей, и... — Он изобразил руками тот продолговатый ящик, в котором наше бесчувственное тело отправляется в место вечного успокоения.

— Спасибо, Алексей Петрович, завсегда вы нам были как отцы. На мамины похороны триста рублей ушло, и это когда водку мы загодя купили!

— Не беспокойтесь ни о чем. Матвей Иванович заслужил. Он лично знал Александра Александровича, сына поэта, боевого генерала, героя Плевны.

— Не знаю, как и благодарить... А теперича пошли в избу папаню слушать.

И мы последовали за Дашей.

Матвей Иванович лежал на кровати под одеялом одетый — виднелись носки толстой домашней вязки и заправленные в них брюки. Подойдя ближе, мы обнаружили косой ворот синей ситцевой рубахи и седую спутанную бороду. Лица не видно — спасаясь от мух, старик глубоко зарылся головой в подушку. Он не двигался и вроде не дышал. Все остальное воспринималось как воскрешение Лазаря. Дочь стала раскачивать его за плечо, приговаривая не слишком громко:

— Папаня, проснись!.. Гости приехали!.. Открой глазки, родной!.. Ну же!..

Даша наклонилась и протерла подолом глаза отцу. Ему это было неприятно, он пытался отпихнуть дочь. А потом долго моргал, утирался кулаками, кряхтел, охал и вдруг отчетливо сказал:

— Посади!

Отвергнув помощь Геннадия, Даша привычно и сноровисто привалилась к отцу, обняла, потянула на себя, переведя в сидячее положение; за спину ему сунула подушку, а ноги спустила с кровати.

— Никого не знаю! — радостно сообщил старик, оглядев нас голубым чистым взором. — И тебя не знаю! — Это относилось персонально к Алексею Петровичу.

— Не придуряйся, папаша, это же Алексей Петрович. Ты его сто лет знаешь, он заместителем советской власти был.

— Чегой-то он другой стал? — сказал Матвей Иванович. — Постарел, али приболел, али во грустях?..

— Все тут, Матвей Иваныч, — вздохнул Алексей Петрович.

— А у меня зубы прорезываются, — пожаловался Матвей Иванович. — Накой они мне? Молочну кашку жевать?.. Я тебя, Петрович, вспомнил, ты человек у власти. Не вели Дашке корову продавать. Нешто можно без коровы?..

— Ладно, Иваныч, вопрос поставлен. Не волнуйтесь. Тут к вам гости из Москвы приехали.

— Не знаю их... Кто такие?

— Вот и познакомьтесь. — И Алексей Петрович поочередно представил нас старику.

Тот каждому сунул холодную слабую руку.

Он совсем очнулся, взыграл, в нем пробудилась присущая здешним людям словоохотливость, издавна подогреваемая любопытством бесчисленных паломников в эту святую землю. К сожалению, его подъем пошел в ущерб отчетливости речи да и мысли, и я с моим

тетеревиным слухом улавливал лишь отдельные, окрашенные сильным чувством выкрики:

— Воин наш отважный... Лексан Лексаныч, царствие ему небесное, всех турков побил... Он да Скобелев, белый генерал, — опора трону, щит отечеству!.. Вот бы Лексан Сергеич порадовался, кабы дожил... А шебуршной был... и нащет этого самого... — старик, хитро глянув на дочь, поманил нас пальцем, — первый ходок... Сейчас кликнет: байню истопить!.. Я уж понимаю и по военной присяге: рад стараться!.. Как, ваше превосходительство, прикажете: пару — квасском али пивом?.. Натоль Львович пиво признавали, а Лев Натольич — шемпанськое... Гроб на руках несли до церкви... В глубокой скорби... Он к пиву всегда раков заказывал... Черненьких, однако, больше уважал, особо мордовочек... Курносенькие, спинки окатистые... Крепкий народ мордва, наших пла́стали... Лексан Лексаныч исключительно переживал: русский солдат знает одну команду — вперед!.. Сытый солдат крепше воюет... Уполовник в щах должон стоять, а валится — гони вон... пусть и андели с личика.

Я чувствовал, что у меня ум за разум заходит. Но глухота здесь ни при чем. Тетя Вера предупреждала, что в сознании прежних поколений — стало быть, и нынешних Мафусаилов — перепутались все Пушкины: поэт, его сын, брат и потомство брата. Но пусть с годами Матвей Иванович как народный пушкинист несколько сдал — ярок на нем болдинский свет. Его воодушевление, преданность пушкинскому роду и горящий в дряхлом сердце патриотизм вызывают искреннее восхищение.

И когда, распрощавшись с приуставшим стариком, мы вновь оказались на улице, то сказали Даше-Варваре самые добрые и уважительные слова об ее отце.

— Он хороший старик, — она коротко всхлипнула, — но, конешно, памятью ослабемши. Праправнучка Пушкина из Архангельска приезжает, случа́я не было, чтобы папаню не навестила. Она и надысь приходила, а он ее не узнал. И никак не мог понять, кем она Пушкину приходится, раз у нее сейчас другая фамилия.

— А вы так всю жизнь здесь и прожили? — спросил Маликов.

— Ага. Я же не девка — не баба. Только перед войной замуж выскочила, как мово забрали. Так и осталась я при родителях. Разве после войны второй раз замуж выйдешь? Тут такие красоточки на всю жизнь запаровали. Что уж мне говорить. Я не жалуюсь. — И улыбнулась.

Чему могла она так мило, нежно, так молодо улыбнуться? Лишь своему внутреннему свету...

В этот день мы побывали и в других хороших местах. Прежде всего в Казаринове, где посмотрели гончарное производство, пожали руку главному мастеру и приобрели — за бесценок — кучу милых вещиц из обычной красной глины. Что касается кринок и кувшинов из черной глины, то тетя Вера оказалась права: их надо заказывать загодя. По форме они просты и незамысловаты, красоту им придае́т цвет — исчерна-стальной — и фактура: это не грубая накладная гладкость обливных изделий, а естественная, будто изначально присущая материалу ласкающая прохладная шелковистость. Мы спросили гончара, почему в изделиях из черной глины не портятся продукты. Видать, это принадлежит к секретам ремесла, он ответил резко:

— А я почем знаю, я не Пушкин!

Маликов попросил уточнить, какого Пушкина он имеет в виду.

— Ясно, какого, — серьезно ответил гончар. — Льва Анатольича, что Болдино в казну продал. Он тут все, поди, разнюхал.

Поплутали мы и по разбросанному, взъерошенному какому-то Кистеневу. Дома стоят по солнцу — то боком, то задом к улице. Здесь некогда жил озорной народ, о чем говорят названия улиц:

Бунтовка, Самодуровка, Стрелецкая; лишь одну улицу, приютившую тихое, не бойцовое население, так и оставили без названия: Улица. Правда, управляющий Калашников в свое царение так «изнурил» кистеневцев, что поубавилось у них воинственного духа. И все же мы испытали легкий трепет, когда на Бунтовке, а может, Самодуровке, нас огарнули возбужденные бабы, принявшие нас за скупщиков телят. Нетерпеливо ожидали кистеневцы богатых гостей из-под Казани, чтобы сбыть им нетелей и бычков, добиравших последнюю вялую, пожухлую траву с выгоревших летом пастбищ. Сена заготовили с воробьиный нос. Но торговые люди почему-то запаздывали. Обнаружив свою ошибку, кистеневские жительницы отнеслись к ней с той легкостью, что кажется разлитой в болдинском воздухе, и вступили с нами в радостное и открытое общение.

Отсюда мы поехали к роще Дубровского, лежащей на холмах, омываемых чистыми, незамутненными водами речки Пьяны. Поднялись на холм... Не стану врать, что меня волнует зрелище мест, связанных с великими литературными произведениями, будь это Ауэрбах-келлер в Лейпциге, двор в районе Сенной площади или роща на взлобке холма. Надо бы замирать от восторга: здесь творил свои чудеса Мефистофель, здесь мыкался Раскольников, сюда горюющие разбойники унесли атамана, раненного пулей князя Верейского. Меня все это не умиляет, скорее злит. Ведь читая «Фауста», «Преступление и наказание», «Дубровского», я создавал — по авторским подсказкам — свой мир, свою обстановку действия, естественно, не совпадающую с настоящим ауэрбаховским погребом, где я не раз пил пиво, с нынешней Сенной и, наконец, с тем лесом, который тихо шелестел листьями перед нами. Зримая однозначность прообраза разочаровывает. В воображении все это зыбче, размытее и... богаче. Готовая, окончательная тяжеловесность материи не может тягаться с видениями, разбуженными поэтом в сопереживающей душе.

И я повернулся спиной к легендарной роще и стал смотреть на клонящийся под ветром ковыль, на излучины Пьяны, на всю окрестность, которая с этого нерослого всхолмья открывалась поразительно широко, совсем как у Гоголя в «Страшной мести», когда «вдруг стало видимо далеко во все концы света». Ничто не потрясает меня в самой страшной, ужасной и самой поэтической повести Гоголя, как эта необъяснимая, таинственная фраза. Из какого опыта родилась она? Даль не дает себя так проглянуть, даже если не загромождена ни лесами, ни горами, ни тучами, она ограничена линией горизонта, а это не столь далеко, как у Гоголя. На некоторых полотнах Петрова-Водкина очень далеко видно, даже ощущается кривизна земной поверхности. Но ведь Петров-Водкин был художником нашего времени, когда зрение человека бесконечно расширено авиацией, техникой и знанием о мире. Но и нам во всеоружии нашей дальнозоркости даль туманится, а у Гоголя и самое отдаленное так отчетливо, как и самое близкое, и это невероятно, дивно и страшно, аж дух захватывает. С холма, поросшего ковылем, тоже очень далеко видно, с полной отчетливостью, лишь в последнем отдалении легкий кур создает преграду зрению. И все время, что мы провели здесь, тянул ровный, мягкий, теплый ветерок.

— Странное дело, — сказал Алексей Петрович, — здесь всегда, в любое время веет такой вот легкий ветер. Только в крещенские и сретенские морозы замирает.

Может, этим таинственным веем и насылается на Болдино тот легкий воздух, от которого люди взмывают над бытом, начинают петь, рукодельничать, лепить загадочные сосуды, фантазировать, сочинять — устно и письменно?..

4

Тетя Вера не забыла о своем обещании устроить вечер хорового пения и пригласила к ужину двух главных певиц: соседку тетю Пашу, запевалу, и тетю Настю с неутомимым горлом. В елейных брошюрках о Болдине тетя Паша изображается степенной, многомудрой старухой, что никак не соответствует ее живому образу. Ума и жизненного опыта ей не занимать стать, но степенности — никакой: маленькая, круглая, как мячик, быстрая и улыбчивая, тетя Паша — озорница и насмешница. Мы уже не раз виделись, но тетя Паша всегда куда-то торопилась и не позволяла затащить себя к столу. Сейчас она явилась принарядившаяся, немного торжественная, только в крошечных зеленых глазках бегали чертенята, и с достоинством заняла почетное место во главе стола.

— Кашлять не будешь? — озабоченно спросила тетя Вера.

— Не, сперва чайкю попью, спою песню-другую, а там уж покашляю, — заверила тетя Паша.

Наша тетя Вера тоже не ударила в грязь лицом: надела красивую черную юбку, новый платок повязала, а на плечи кинула шаль с крупными цветами по лиловому фону. Подруг подобрали по старому, проверенному способу контраста, безошибочно рассчитанному на добрую улыбку: Дон Кихот и Санчо Панса, Тиль Уленшпигель и Ламме Гудзак, Пат и Паташон. И, как перечисленные герои, они разнились не только обликом, но и внутренней сутью: длинная, худая тетя Вера — сплошная духовность; сдобная пышка — тетя Паша воспаряет лишь в пении. Вне этого она вся принадлежит земле, охотно отдавая дань ее плодам, впрочем, тут ею движет скорее любопытство, нежели чревоугодие. Хочется всего попробовать — она набрала гору снеди в тарелку и почти все оставила. Подошедшая чуть позже — внуков укладывала — тетя Настя, монументальная и довольно угрюмая с виду старуха, оказалась на редкость заводной, иронично-затейливой.

Хлебнув хорошо заваренного Геннадием чаю, тетя Паша со смаком определила:

— Индейский! — И вдруг запела на немыслимых верхах:

Не глядите вы на нас,
Глазки поломаете.

И подруги подхватили:

Мы ведь пушкинские были,
Разве вы не знаете?..

— О, частушка! — обрадовался Маликов. — Я столько слышал о болдинских частушках!

— Засохни! — прикрикнула тетя Вера. — Слушай песни, Натоль, и помалкивай.

И сплелись, как тугая девичья коса, три голоса:

Эх, любит меня милый, да не по-прежнему-у-у!..

Сомкнулись сухие старушечьи губы, а долгая высокая нота все текла, замирая, но не замерла, а унеслась в открытое окошко и стала частицей жизни пространства.

Это трио стоило целого хора, никого больше не нужно, было все: и звень, и стон — птицы, ветра, вьюги, — и «грома грохотанье». Октава тети Веры создавала тревожный, трагический фон, словно то не женская, а вселенская боль тщится себя размыкать. Что за чудо такое — тетя Вера? Пушкин, что ли, дохнул на нее из своего далека? Или старая крестьянка и давно ушедший великий поэт овеяны одним легким ветерком, тем самым, что серебрит ковыль на холмах, омываемых Пьяной? Ветерок веет на простых людей и при-

общает их души к чему-то высшему, он опахнул гения — и взметнулось пламя.

Никогда еще я не чувствовал так сильно и сердечно все очарование старинного, медлительного, околдованного и завораживающего напева:

Не ругай-ка, милый, да не брани меня,
Эх, я и так горька-несчастна, что... что люблю тебя!..

У них был благородный обычай: не домогаться долгих упрашиваний перед очередной песней — не успеет замереть последняя нота, а тетя Паша уже заводит новую. И какая энергия была в ее прибаливающей груди, когда она, ничего в себе не жалея и не щадя, сразу подняла в поднебесье слезную жалобу:

Ивушка-ивушка, ракитовый кусток,
Травушка-травушка, лазоревый цветок...

Они поют много и долго. Прихлебнут из рюмочки, кинут в рот хлебного мякушка, освежатся глотком «индейского» чая — и опять к песне. И все-таки тетя Паша перетрудила грудь — закашлялась. Тетя Настя стала колотить ее увесистым кулаком между лопаток, тетя Вера развела в кипятке меду и дала выпить.

— Очистило, — улыбнулась тетя Паша. — А всежки я отпелась.

— Все мы, милка, отпелись,— отозвалась тетя Настя.— Но покаместь землей не засыпят — будем горло драть.

Упрямый Натоль снова вспомнил о частушках, посвященных Пушкину.

— Экой ты настырный! — укорила его тетя Вера.

— Да ну тебя, воспитательница с детского сада! — отмахнулась тетя Паша и каким-то расхристанным голосом прокричала:

Алексан Сергеич Пушкин,
Мою Ниночку не трожь.

— Тьфу на вас! — разъярилась тетя Вера.— Прогоню, ей-богу, прогоню. Разошлись, как с бормотухи!

— Мы ничаво, — без тени смущения сказала тетя Настя, возвращаясь на свое место. — А если ученый человек просит, почему не уважить. Ему небось для науки надобно.

— Какой он ученый? Обыкновенный инженер, как все.

— Будто сама их сроду не пела, — подколола тетя Паша.

— Пела, когда глупая была. А сейчас не люблю...

Тетя Вера выждала, пока я перестану бренчать посудой, и поболдински, без разгона ахнула с диким напором:

Полюбил всей душой я девицу
И готов за нее все отдать.
Жемчугом разукрашу светлицу,
Золотую поставлю кровать...

Я-то считал это старым городским романсом, а тут — библейское: влюбленный грозит отомстить за измену так, что «содрогнется и сам сатана!». Тетя Вера пела с какой-то черной страстью, но едва приметная усмешка порой трогала уголки сухих губ — старая умная женщина понимала, что слова этой сильной, гибельной песни далеко не пушкинские. Но был на ней самой пушкинский свет, как был болдинский свет на Пушкине...

АЛЕКСАНДР КРОН

★

КАПИТАН ДАЛЬНЕГО ПЛАВАНИЯ

Повесть о друге

Прошло почти сорок лет со времени январского похода подводной лодки «С-13», и сегодня еще яснее чем когда-либо видно значение подвига экипажа корабля и его отважного командира. Дело не только в потопленном тоннаже, хотя и его нельзя сбрасывать со счетов. Дело в том, что в критический для фашистского государства момент германскому флоту был нанесен мощный удар, один из тех, от которых он уже не смог оправиться. Вместе с «Густловом» и «Штойбеном» отправились на дно не только отборные гитлеровские войска, но и десятки экипажей для новейших субмарин, рассчитанных на продолжение морской блокады союзников. Недаром блестяще проведенную капитаном 3 ранга А. И. Маринеско атаку на грандиозный лайнер «Вильгельм Густлов» во многих печатных откликах называют «атакой века».

Свой подвиг, или, вернее сказать, свой главный подвиг, Александр Иванович Маринеско совершил не в одиночку. У него были достойные соратники. В конце 1945 года мне довелось быть начальником штаба, а затем и командиром бригады, в состав которой входила краснознаменная «С-13», этих людей я знал. Это были настоящие герои и большие мастера своего дела.

Но душой всех атак, человеком, сплотившим боевые коллективы «М-96», а затем и «С-13», был Александр Иванович Маринеско. С этим смелым и талантливым пареньком я в юности был знаком, оба мы плавали на черноморских судах, оба учились в мореходных училищах, он в Одессе, я в Херсоне, оба стали подводниками, только служили, а затем и воевали на разных флотах. То, что я знал об Александре Ивановиче, тогда еще Саше, о впоследствии слышал о нем от друзей, полностью сходится. Среди моряков он остался в памяти как человек мужественный, всей душой преданный морю и своей советской родине, как добрый товарищ и талантливый командир. Характер у него был непростой, были в его жизни и ошибки, но было в нем и подлинное величие.

Повесть Александра Крона «Капитан дальнего плавания» мне кажется очень правдивой. О Маринеско как о бойце написано немало, а вот настоящей попытки разобраться в нем как в человеке, в его душевном мире я до сих пор не встречал. И я не знаю писателя, которому это задача была бы больше по плечу, чем А. А. Крону. Мне нет необходимости представлять его читателю — он широко известен и как драматург и как прозаик. Но я хочу подчеркнуть, что он при этом и настоящий маринист, писатель, знающий и любящий флот, человек, слову которого привыкли доверять подводники. Всю Отечественную войну А. А. Крон провел на воюющей Балтике, был и редактором многотиражной газеты подводников, и фронтовым корреспондентом, участвовал в боевых операциях флота. В условиях осажденного Ленинграда написал «Офицера флота», пьесу, поставленную многими театрами страны. У нас на Северном флоте спек-

такль и пьеса горячо обсуждались во флотской печати, в кают-компаниях и матросских кубриках — речь шла о самом главном, о том, что касалось всех. Большой популярностью среди моряков пользуется до сих пор написанный уже после войны роман «Дом и корабль». Но, как видно, море и военные моряки продолжают и теперь быть близки его таланту, и доказательство тому — многолетняя борьба за доброе имя Маринеско, завершившаяся повестью о друге — книгой, которая с моей точки зрения никого не может оставить равнодушным.

Г. И. ЩЕДРИН,
вице-адмирал, Герой Советского Союза.

**В этом здании в 1930—33 годах
учился
МАРИНЕСКО
Александр Иванович
капитан дальнего плавания
командир подводной лодки
«С-13»,
потопившей в годы
Великой Отечественной войны
вражеские суда общим
водоизмещением 52 884 тонны.**

*Мемориальная доска на здании
Одесского мореходного училища.*

I. «СПОСОБЕН НА ПОДВИГ»

Эту повесть я начинал много раз. Бросал и принимался писать заново. Ни одна из моих книг не давалась мне так трудно.

Изменялись обстоятельства, изменялся я сам. Неизменным оставалось только мое отношение к герою.

Об Александре Ивановиче Маринеско и бессмертном подвиге балтийской подводной лодки «С-13» я писал и раньше. Писал бегло, от случая к случаю. Мысль о книге пришла позже, когда Александра Ивановича уже не было в живых, и пришла она не мне, а Ивану Степановичу Исакову. Эту книгу мы должны были писать вместе.

Иван Степанович Исаков, прославленный флотоводец и выдающийся ученый, обладал незаурядным литературным дарованием. Об участии Исакова в судьбе Маринеско, о заочной дружбе, связывавшей этих замечательных людей в последние годы их жизни, я расскажу дальше. Сперва — о книге.

У меня сохранился составленный Иваном Степановичем и подписанный нами обоими проект, состоящий из десяти пунктов и дающий исчерпывающее представление об отношении Исакова к личности и подвигу Маринеско. Приведу только первый пункт:

«Чего мы добиваемся (разрядка И. С. Исакова.— *А. К.*) при разборе и анализе материалов и человеческих свидетельств о героической жизни и судьбе Александра Ивановича Маринеско:

1. Чтобы ярче заблистал и стал доступным для всего советского народа один из замечательных подвигов экипажа балтийской подводной лодки «С-13» под командованием капитана 3 ранга Маринеско. К сожалению, несмотря на истекшие 20 лет со дня окончания Великой Отечественной войны, мало кто знает о той роли, которую сыграла «С-13» для ускорения морального и физического разгрома гитлеризма».

На последней странице рукой Ивана Степановича: «Принято условно, в качестве отправного пункта для начала работы, в процессе которой будет проясняться не только ее содержание, но и цель».

Подписи и дата: 2/3 июня 1965 года. Такая датировка может показаться необычной. Я нахожу ей только одно объяснение: проект

был написан ночью. Мучительные боли в ампутированной ноге часто не давали Ивану Степановичу заснуть. В таких случаях он вставал и, превозмогая боль, садился за пишущую машинку.

Итак, подвиг, ускоривший моральный и физический разгром гитлеризма. Это очень ответственные слова, а Иван Степанович слов на ветер не бросал. В главе, посвященной боевому походу, я, опираясь на свидетельства участников, постараюсь подробнее рассказать об этом подвиге, а пока ограничусь краткой справкой.

30 января 1945 года подводная лодка «С-13» под командованием капитана 3 ранга А. И. Маринеско потопила в районе Штольпмюнде гигантский лайнер фашистского флота «Вильгельм Густлов» водоизмещением 25 484 тонны, на борту которого находилось свыше семи тысяч эвакуировавшихся из Данцига под ударами наступающих советских войск фашистов: солдат, офицеров и высокопоставленных представителей нацистской элиты, палачей и карателей. На «Густлове», служившем до выхода в море плавбазой для школы подводного плавания, находилось свыше трех тысяч обученных подводников — примерно семьдесят экипажей для новых подлодок гитлеровского флота. В том же походе Маринеско торпедировал большой военный транспорт «Генерал Штойбен», на нем переправлялись из Кенигсберга 3600 солдат и офицеров вермахта. «За один этот боевой поход,— пишет в своей статье «Боевая деятельность подводных лодок КБФ в 1944—1945 гг.» кандидат военно-морских наук В. А. Полещук,— Маринеско по существу отправил на дно целую дивизию». Из этой же статьи я взял основные цифры.

С небольшими разночтениями сведения о подвиге «С-13» сегодня можно найти в других трудах советских военных историков и в общей печати; в имеющемся у меня далеко не полном списке публикаций последних лет свыше ста названий — от научных трудов до детского журнальчика и отрывных календарей. С более существенными разночтениями — в книгах наших бывших противников. И бывших союзников. Уточнить все, что касается класса и водоизмещения потопленных кораблей, а также кораблей конвоя, численности и характера находившихся на борту контингентов — задача специалистов. Она решена еще не полностью. И. С. Исаков всячески подчеркивал, что позднейшая советская версия должна быть наиболее достоверной и обстоятельной, подвиг «С-13» сам по себе настолько значителен, что не нуждается в преувеличениях и украшательстве. Это дело ближайшего будущего, а пока читателю достаточно знать: на исходе войны фашистскую Германию постигла катастрофа, перед которой бледнеют все сохранившиеся в памяти человечества морские катастрофы.

«Расплата за войну» — так назвал автор вышедшей в 1959 году в Гамбурге книги, немецкий историк К. Беккер, ту главу, где он описывает гибель «Густлова».

А наш советский историк И. С. Исаков в статье, посвященной двадцатилетию Победы и опубликованной в журнале «Советский Союз», отвечая на вопрос, что́ ему особенно запомнилось из боевых действий в последний период войны и что́ наиболее воздействовало на фашистов, ускорив их разгром, писал: «...пришел к убеждению, что таким героическим подвигом, потрясшим фашистов, начиная с самого Гитлера, является беспримерный успех атак подводной лодки „С-13"».

Этим авторитетным суждением я на первых порах и ограничусь. Иван Степанович считал, что любое повествование о боевых походах «С-13» было бы неполно без правдивой характеристики ее отважного командира. Поэтому он предложил оригинальную и в то же время устраивавшую его форму соавторства. Исаков, никогда не встречавшийся с Маринеско, брал на себя всесторонний анализ документов о боевой деятельности командира «С-13»; я должен был

рассказать о человеке, которого знал и любил. Два пеленга — аналитический обзор и психологический портрет. Предполагалось, что повествование пойдет двумя равноправными, но несливающимися потоками, возможно различными шрифтами. Или даже так: нечетные страницы пишет военный историк, четные — мемуарист. В заключительной главе оба потока должны были слиться воедино. Работа нас увлекла, но вскоре застопорилась из-за резкого обострения болезни Ивана Степановича. Незадолго до своей кончины он писал мне: «Кажется, придется Вам писать эту книгу одному».

И я остался один. Взять на себя обе задачи было мне явно не по силам. Не обладая авторитетом и специальными знаниями Исакова, я не мог быть судьей походов Маринеско, не будучи их участником — не мог быть летописцем. Прекратить работу? Но это было бы предательством, забвением своего долга перед светлой памятью Александра Ивановича и Ивана Степановича, перед экипажем корабля, перед всеми, кто помогал мне по крупицам восстанавливать живые черты героя и события, уже покрывшиеся патиной времени, наконец, перед читателями, которые уже многие годы не перестают интересоваться личностью Маринеско, пишут мне письма и задают вопросы на читательских конференциях. Число их с годами не уменьшается, а растет. У меня, как у всякого действующего литератора, есть своя особая читательская почта. В это понятие не входит обычная дружеская переписка, хотя друзья — это тоже читатели. Речь идет о письмах, которые приходят от людей совершенно незнакомых. Писем, так или иначе касающихся подвига «С-13» и личности Маринеско, за двадцать лет накопилось множество, они уже не умещаются в ящиках стола. Из этих писем самые дорогие — сообщения из школьных читательских клубов, поисковых групп, отрядов красных следопытов и созданных ими музеев. С некоторыми из них я переписываюсь и глубоко убежден, что дело, которым занимаются рассеянные по всей стране ревнители воинской славы Маринеско, есть дело в высшей степени полезное и имеет самое прямое отношение к тому, что мы называем военно-патриотическим воспитанием молодежи.

Есть еще одна причина, почему я не вправе молчать. Нетрудно догадаться, что имя Маринеско достаточно известно и на Западе. О писаниях К. Беккера, Г. Шена и других западногерманских военных историков покойный И. С. Исаков отзывался с иронией. «Все они,— говорил Иван Степанович,— на разные лады пытаются принизить значение потопления «Густлова» и «Штойбена» для разгрома фашистского рейха, всячески подчеркнуть, что на борту «Густлова» были гражданские лица и семьи военнослужащих, а при этом умалчивают, почему спаслись от гибели многие бравые вояки, в том числе и авторы воспоминаний».

Не без греха в этом отношении и более серьезный историк германского флота Ю. Ровер. Но он хотя бы отдает должное бывшему противнику. «Мы видели,— писал Ю. Ровер в 50-х годах,— что советские подводники — люди высокого порыва, доблести, упорства, хорошо обучены, обладали необходимым опытом, а также хорошими морскими качествами и тактической подготовкой». Самым значительным успехом балтийских подводников он признает январский рейд «С-13».

В своей книге «На флотах боевая тревога» (1971) Н. Г. Кузнецов пишет: «Потопление «Вильгельма Густлова» явилось значительным событием даже на фоне наших крупных побед в те дни». Однако за последние годы в западной печати все чаще встречаются попытки ревизовать значение атак «С-13».

Передо мной лежат два солидных тома в глянцевых суперобложках. На обоих изображено одно и то же — погружающийся в холодные балтийские волны гигант. Сходны и названия. Одна книга, немецкая, называется «Nackt in den Tod» («Голыми в смерть»). Другая,

английская,— «The Cruellest Nacht» («Ужасная ночь»). Написаны они в разных жанрах, на разных языках и разными людьми. Одна — бывшим противником. Другая — бывшими союзниками.

Книга Иоахима Брока «Nackt in den Tod» — роман. Выбор жанра поначалу удивляет, и не потому, что автор, по профессии дантист, взялся за эту труднейшую форму. Пути в литературу никому не заказаны. Обращает внимание другое. Лайнер, на котором происходит действие романа, называется «Вильгельм Густлов», а автор — свидетель и участник разыгравшихся на его борту событий, в описываемое время — лейтенант гитлеровского флота, командир взвода 2-го отряда 2-го учебного дивизиона. Из тех самых подводников, чьей плавучей базой был «Густлов». Из всех прав, которые предоставляет автору свободная романная форма, он воспользовался только одним — правом на вымысел. Задача автора ясна — доказать, что лайнер был не плавучей казармой подплава, где нашли ненадежный приют удиравшие от справедливого возмездия фашистские бонзы, палачи и каратели, а почти беззащитным прибежищем невинных жертв, не беглецов, а «беженцев». О Маринеско ни слова, но нетрудно понять, кого Брок считает своими заклятыми врагами.

Но довольно о Броке. Брок — неразоружившийся гитлеровец, сменивший кортик на бормашину, но не усвоивший уроков поражения. Его книга любопытна как показатель растущей за последние годы в странах НАТО тенденции исказить историю второй мировой войны и опорочить подвиги наших героев. Гораздо интереснее другая книга, написанная и изданная в стране, которая в битве с фашизмом была нашим союзником.

Книга выпущена совсем недавно, в 1979 году, солидным издательством «Хэддер и Стоунтон» (Лондон, Сидней, Окленд, Торонто) и рассчитана на все англоязычные страны. Авторы книги — английские журналисты Кристофер Добсон, Джон Миллер и Рональд Пэйн. В отличие от Брока авторы не были и не могли быть свидетелями описываемых событий. Тем не менее книга претендует на документальность. Использованы десятки свидетельств, интервью взято даже у гросс-адмирала Деница, командовавшего в годы войны фашистским флотом, того самого отсидевшего срок военного преступника, кого Гитлер перед смертью назначил своим преемником. Книга иллюстрирована фотографиями. На одной вклейке «Густлов» и гросс-адмирал Дениц в полной парадной форме, на другой — «С-13» и портрет Маринеско. Так что книга претендует на объективность. Авторы пишут не только о гибели «Густлова», но и об атаке «С-13». Впрочем, претензии эти не способны обмануть самого доверчивого читателя. Не в том дело, что о «Густлове» в книге написано много, а о подвиге «С-13» — мало. И большая часть книги, где описывается катастрофа, и немногие страницы, посвященные «С-13» и ее командиру, в одинаковой мере служат единой цели: дискредитировать подвиг «С-13», изобразить «Густлов» как спасательное судно и легкую добычу, а успех атаки «С-13» — случайной удачей. О «Штойбене» в книге, конечно, ни слова. Еще бы, вспомогательный крейсер с целой дивизией на борту. Тут уж никакие ухищрения не помогут.

Как ни близка «концепция» трех авторов к свободному творчеству Брока, они временами проговариваются. В погоне за сенсацией они подробно излагают свою беседу с высокопочитаемым гросс-адмиралом, который не скрыл, что 21 января, всего за несколько дней до гибели «Густлова», он передал в эфир кодовый сигнал «Ганнибал», предписывающий всем подводникам, обучавшимся в районе Данцига, срочно возвратиться на главные базы, в Киль и Гамбург. Нужны были команды для лодок нового типа, нацеленных на коммуникации союзников, и прежде всего на морскую блокаду Великобритании. Вот эти-то команды и должен был доставить «Густлов».

Самое постыдное в книге — то, как изображен в ней Александр

Иванович Маринеско. Собирая материал для своей книги в ФРГ, авторы еще соблюдают приличия, ссылаются на документы, называют людей, от которых они получали сведения. В части, касающейся советской подводной лодки и ее команды, мы сталкиваемся только с необузданной, и притом весьма дурно пахнущей, фантазией. А ведь известно, что один из авторов, Джон Миллер, дважды приезжал в СССР со специальной целью добыть интересующие его данные из биографии Саши Маринеско (Александра Ивановича г. Миллер и К° с непонятной для меня фамильярностью именуют Сашей; впрочем, развязности им не занимать). Кто же такой, судя по книге английских журналистов, Саша Маринеско? В юности — мелкий воришка, малограмотный и циничный удалец, связанный с блатным миром, усвоивший правила жизни на одесских базарах и до конца жизни изъяснявшийся на полублатном портовом жаргоне. В зрелые годы — пьяница и бунтарь, за отчаянную смелость стяжавший славу «подводного аса», а затем разжалованный и высланный на рабский труд в ужасный советский лагерь на Колыме. Авторы намекают, что Миллеру удалось «приоткрыть завесу тайны», тяготевшей над судьбой Маринеско, на какой-то политический скандал, в котором был якобы замешан командир «С-13», чем и объясняется длительное молчание вокруг имени Маринеско. Авторы утверждают также, что не в пример западным немцам, охотно сотрудничавшим с ними, русские официальные лица всячески «отводили» вопросы г. Миллера. Не знаю, к кому из официальных лиц обращался Миллер, их он не называет. Очевидно, он предпочитал пути неофициальные. Опубликованные в советской печати материалы его не заинтересовали. В книге глухо говорится о каких-то пожелавших остаться анонимными источниках. Прием знакомый. Я что-то не верю, что среди соратников и друзей Маринеско нашлись люди, которые наболтали весь этот вздор, да еще просили не называть имен. Но зато я определенно знаю людей (к ним принадлежу я сам), не захотевших встречаться с г. Миллером. Разгадать его намерения не представляло большого труда.

Я рассказал об этих книгах не для того, чтобы с ними полемизировать. Они этого не заслуживают. Но само существование подобных книг — лишний аргумент, доказательство того, как нужна именно теперь полная и неприкрашенная, не оставляющая почвы для лукавых домыслов правда о Маринеско.

* * *

Итак, мне предстояло принять решение. Далось оно нелегко.

Одно было для меня ясно с самого начала — никакой беллетристики. Никакого сочинительства, ни малейшей попытки создать собирательный образ. Александр Иванович Маринеско такой, каким он был в жизни и каким его знали друзья, со всеми его достоинствами и недостатками, гораздо ярче и интереснее того, что я мог бы про него выдумать.

Напрашивался вывод — надо писать нечто строго документальное. Пусть документы говорят сами за себя.

Я вооружился ножницами и клеем — и потерпел крах. Документы говорили сами за себя, но говорили разное.

От мысли получить и использовать материалы, собранные Иваном Степановичем, я очень скоро отказался. В моем распоряжении оказалось достаточно документов другого рода — музейных и, так сказать, человеческих: собственноручные записи и письма Александра Ивановича, мои собственные дневники, куда я по свежей памяти заносил рассказанное им во время наших встреч, письменные и запечатленные на магнитофонной ленте свидетельства соратников, фотографии и выписки из опубликованных в печати материалов.

Во всех этих документах нет ничего секретного, но много зага-

дочного и противоречивого. И больше всего противоречий в материалах опубликованных. Несколько первых газетных публикаций, относящихся к началу шестидесятых годов, по праву носили заголовок «Неизвестный подвиг». С годами подвиг из неизвестного превратился в легендарный.

Здесь я позволю себе сделать некоторое отступление. Мы не всегда правильно пользуемся эпитетом «легендарный». Зачастую мы делаем его синонимом слова «прославленный» (или «знаменитый») и упускаем важный оттенок. Народной молве, устному эпосу, легендам, мифам и сказкам мы обязаны тем, что до нас, «как свет потухших звезд», доходит весть о делах наших далеких предков. Там, где есть документы или живые свидетели, мифы и легенды отступают и если рождаются, то как следствие недостаточной или искаженной информации.

А впрочем, документальность еще не дает патента на бесспорность. Документы пишутся людьми. Документы можно отбирать и монтировать. Иногда в результате такого отбора и монтажа рождается искусство.

В моем случае этого не произошло. Все, взятое порознь, было как будто и достоверно и интересно, а живший в моей памяти сложный и привлекательный образ не складывался. Каждая страница требовала сносок и пояснений; то, что для меня имело цвет, вкус и запах, для читателя восьмидесятых годов может оказаться попросту непонятным. Этот читатель не обязан знать ни устройства подводных лодок, построенных в тридцатые годы, ни привычных для моряков военного поколения сокращенных обозначений, ни особенностей военно-стратегической обстановки на Балтике. Никакие подстрочные примечания не спасали положения. Не хватало чего-то самого существенного.

А время шло. Количество публикаций, в том числе зарубежных, росло. Моя рукопись устаревала, не сходя с письменного стола. И я понял: от меня ждут не информации, а жизнеописания.

Тогда я бросился в другую крайность. Начал писать биографический очерк. Несколько традиционный, в подчеркнуто спокойной, объективной манере («Александр Иванович Маринеско родился в Одессе 2(15) февраля 1913 года в семье рабочего...») — так, как пишутся многие биографии для серии «Жизнь замечательных людей». И вновь потерпел неудачу. Не потому, что мой герой — человек несомненно замечательный — того недостоин, а потому, что его образ, так сказать, еще не созрел для бронзы, споры вокруг личности и подвига Александра Маринеско не умолкают до сих пор. Откуда взяться эпическому спокойствию? К тому же очень скоро я заметил, что неотвратимо скатываюсь к самому чуждому мне жанру — обезличенному, слегка беллетризованному очерку, из которого невозможно понять, откуда автор почерпнул свои сведения, что видел сам, о чем знает с чужих слов и откуда ему ведомы мысли и чувства участников описываемых событий.

Таким образом, я вновь пришел к тому, от чего пытался уйти,— к воспоминаниям. Пришел, обогащенный опытом своих неудач.

Отдаю себе отчет, что мои личные воспоминания недостаточны, во время войны я с Александром Ивановичем почти не встречался, и сблизились мы только в последние годы его жизни. На помощь мне придут собранные мной сведения, в первую очередь свидетельства соратников. Кому-то мои воспоминания покажутся субъективными. Иными они и не могут быть, от субъективности не спасает и документальность, но я обещаю читателю нигде не злоупотреблять его доверием. Расскажу только о том, что видел и слышал. Источники — назову. Свои догадки оговорю. Из несходных версий постараюсь выбрать наиболее надежную. Конечно, возможны ошибки. Я готов их исправить.

Свой рассказ я привычно поведу от первого лица. Это позволит мне попутно поделиться с читателями некоторыми накопившимися у меня в ходе работы соображениями, не выдавая их за истину в последней инстанции. Надеюсь, читатели не воспримут это как нескромность. Для доверительного разговора «я» удобнее, да, пожалуй, и скромнее, чем «мы».

Кстати, о названии. Александр Иванович много раз говорил мне, а однажды написал в письме, что не считает себя героем. Больше того, никогда, даже в детстве, не стремился им стать. Пределом его мечтаний с самых ранних лет было стать капитаном дальнего плавания. Он и стал им, хотя жизнь внесла в его мечту свои жесткие поправки. Об этом повесть.

* * *

Память бывает двух родов — логическая и образная. Память ума и память сердца.

Конечно, я упрощаю — одна не существует без другой. И все-таки гораздо легче восстановить в памяти то, что ты когда-то знал, чем то, что ты некогда чувствовал. Нужен толчок, приводящий в действие механизм нашей образной памяти. Происходит он самым неожиданным и не всегда подвластным нам способом. Его может вызвать самый простенький сувенир, пожелтевшее от времени письмо или даже нечто менее вещественное: знакомый запах, чем-то памятный пейзаж и особенно звуки — музыка, песня...

Я прижимаю к уху «микрорекордер» — маленький репортерский магнитофончик — и слышу звуки духового оркестра, гул военного плаца, согласный топот сотен ног, усиленные мощными репродукторами голоса ораторов на трибуне, и в моей памяти оживает весь тот день, в котором для меня смешались радость и горечь, торжество и боль.

7 мая 1978 года. Солнечное, но еще прохладное ленинградское утро. Просторный, как городская площадь, плац Высшего военно-морского училища подводного плавания имени Ленинского комсомола. На празднично украшенной трибуне командование училища и почетные гости — двадцать пять членов экипажа краснознаменной подводной лодки «С-13», приехавших на традиционный сбор ветеранов-подводников Балтики. Двадцать пять — это больше половины команды, в таком полном составе рассеянные по всей стране участники походов «С-13» собрались впервые. И чествуют их так тоже впервые. Впервые перед командой «С-13» во главе с помощником командира корабля Львом Петровичем Ефременковым проходит церемониальным маршем, рота за ротой, все училище. Впервые имя покойного командира грохочет в мощных динамиках на весь огромный плац так, что слышно на прилегающих к плацу улицах.

От всего этого радостно на душе. А горько оттого, что командир всего этого не слышит.

Гул плаца и звуки оркестра резко обрываются. Тихий щелчок, и вновь возникает гул, но уже другой — запись сделана в закрытом помещении. Голоса отражаются от стен и потолка, и слова разобрать трудно. Зато ясно слышатся шорохи и дыхание сидящих рядом со мной людей, и в моей памяти мгновенно возникает просторный кубрик, ставший тесным от набившихся в него курсантов, а затем я узнаю слегка скандирующую речь штурмана «С-13» Н. Я. Редкобородова. Он рассказывает о походах корабля и отвечает на вопросы молодежи. Мы с Николаем Яковлевичем старые друзья, и я имел возможность записать его драгоценные для меня рассказы в более подходящей обстановке, этот же кусочек магнитной пленки имеет для меня совсем другую ценность — ассоциативную. Теперь в моей памяти отчетливее всплывают впечатления того дня — и обед в кур-

сантской столовой, и с оглядкой выпитые в чьем-то кабинете праздничные пятьдесят граммов спирта, и веселый гомон в заказном автобусе, везущем ветеранов «С-13» и немногих приглашенных гостей команды через Неву на Биржевую площадь в Центральный военно-морской музей. Там мы почтительно, но торопливо проходим через храмовой вышины экспозиционные залы, где привольно, как под открытым небом, расположились многомачтовые модели старинных кораблей, бронзовые статуи флотоводцев и огромные, вырубленные из цельных стволов весла галер и галионов. У подводников мало времени, они полны впечатлениями дня, а впереди еще посещение Богословского кладбища, где похоронен командир. Надолго задерживаются они только у небольшой витрины, где под стеклом выставлена знакомая фотография Александра Ивановича, его ордена (орден Ленина без муаровой ленточки, значит, получен в самом начале войны) и очень краткая справка о потоплении «Густлова». Более чем скромно. Но восемнадцать лет назад, когда я впервые пришел в музей, не было и этого.

Здесь запись кончается — не записывать же на пленку молчание. Вместе со всеми я смотрю на это прекрасное, полное жизни, все еще мальчишеское лицо и не в первый раз задаю себе вопрос: в чем его неотразимая привлекательность? Вряд ли найдется кинорежиссер, который взял бы на роль главного героя актера с такими данными. А если б и взял, его не утвердил бы худсовет. Круглое лицо, нос картошкой. Ни глубокомысленной складки между бровями, ни изобличающего железную волю квадратного подбородка. А в итоге — ощущение силы. Силы, которая себя прячет, а не демонстрирует. Прячет до поры.

Я выключаю магнитофон и раскидываю по столу свое богатство — десятка три фотографий Александра Ивановича, подаренных мне или переснятых, и вновь вглядываюсь в эти любительские снимки. Маринеско на мостике подводной лодки, Маринеско в центральном посту у перископа, Маринеско в кругу команды. И более поздние, снятые уже в мирное время во время Кронштадтских сборов. Веселая церемония на пирсе учебного отряда: Александр Иванович принимает в дар от начальника отряда, своего бывшего комдива Евгения Гавриловича Юнакова, живого поросенка. Этим традиционным подарком подводники встречали возвращающихся из боевого похода победителей. Александр Иванович и адмирал В. Ф. Трибуц, командовавший Балтийским флотом в годы войны. Они курят и о чем-то мирно беседуют. Александр Иванович в «комнате славы» учебного отряда отвечает на вопросы молодых моряков. Впечатление такое, что все снимки сделаны скрытой камерой. Абсолютная естественность, полное отсутствие позы. Не хочу сказать, что на всех тридцати снимках он одинаков. Сказываются и годы, и настроение, в котором его захватил объектив. Но он везде верен себе. Один и тот же с матросом и адмиралом. В центре дружеского внимания и наедине со своими мыслями.

Особенно дорога мне одна фотография. Ее подарил мне председатель Совета ветеранов-подводников Балтики вице-адмирал Лев Андреевич Курников, во время войны начальник штаба нашей бригады. На фото мы сняты вместе с Александром Ивановичем. Третий в кадре — наш общий друг, бывший флагманский штурман бригады, ныне покойный Н. Н. Настай. Настай в морской форме, Александр Иванович в пиджаке и белой рубашке с галстуком, через руку переброшен легкий плащ. На лацкане пиджака только один орден Ленина, тот самый, без ленточки, что выставлен теперь в музейной витрине. Мы стоим у гранитного парапета, сзади широкая Нева, горизонт закрывает мост Лейтенанта Шмидта. По этим признакам легко угадываются и место и дата. Июнь 1963 года. Университетская набережная. Раннее утро. Скоро должны подать «плавсредства́», которые

перевезут ветеранов-подводников из Ленинграда в Кронштадт на традиционную встречу. Дата и место не вызывают сомнений, а вот о чем мы трое говорили за несколько секунд до того как возникла эта уловленная чьим-то объективом тревожная пауза, восстановить уже невозможно, и мне все чаще приходит в голову, что я ошибаюсь: это не встреча, а расставание. Мы стоим на фоне светлого неба, но Ленинград — город белых ночей, и в июне вечера там почти неотличимы от раннего утра. А если так, то все становится на свои места: сбор уже позади, нас привезли в Ленинград, остались считанные минуты до последнего рукопожатия, понятны и плохо скрытая тревога на наших с Настаем лицах, и невеселое раздумье на еще недавно оживленном лице Маринеско. На этой фотографии он уже немолод, все мальчишеское куда-то ушло, на лбу залегли морщины, но и до старости ему еще далеко, в темных волосах не блестит седина, а от всей его невысокой, но крепкой, нерасплывшейся фигуры по-прежнему исходит ощущение сдержанной силы. И трудно поверить, что этому поразительно жизнестойкому и жизнелюбивому человеку осталось жить всего несколько месяцев.

Знали ли мы, его друзья, что страшная болезнь уже проникла в него? Не знали, как не знал до конца и сам Александр Иванович, но нас уже точила тревога. На сборе ветеранов он был, как всегда, оживлен, дружелюбен, открыт, но покашливал странно, не по-простудному, и тогда лицо его сразу старело и становилось таким, каким его запечатлел объектив на этом, вполне вероятно, последнем по времени снимке.

Не перестаю огорчаться, что среди множества магнитофонных записей у меня не записан голос Александра Ивановича: когда мы с ним встречались, у меня еще не было портативного магнитофона. Но я и так помню его голос. То же ощущение сдержанной силы, что и от внешности. Говорил он всегда негромко, но так, что хотелось слушать. Подводники вообще народ не шумный, в центральном посту и в рубке подводной лодки принято говорить вполголоса и обходиться без лишних слов. Эта привычка сказывается и на берегу. Даже в возбуждении Александр Иванович редко возвышал голос. Разве только когда пел. Петь он любил, пел хорошо, по-русски и по-украински и даже под хмельком не фальшивил. Как, впрочем, и в быту. А чужую фальшь угадывал мгновенно, и это наводит на мысль, что музыкальность слуха — качество не только физиологическое. Слух у Александра Ивановича был тончайший.

Прошло то время, когда подвиг Маринеско оставался неизвестным народу, теперь никто не спорит, что он — настоящий герой. Но ведь не единственный же. Я знал и знаю многих не менее отважных. «Рядом с героями» — так называлась вышедшая в шестидесятых годах книга воспоминаний писателей-фронтовиков Ленинграда и Балтики. Название очень точное. И по долгу службы и по характеру своей профессии военные литераторы оказались летописцами героического времени, пройдя за годы войны сложный путь от фронтового репортажа к первым, еще несовершенным попыткам понять и осмыслить природу массового героизма советских воинов и приблизиться к первым художественным обобщениям. От поступка найти ход к побуждению, от побуждения к характеру. Так было уже тогда, и нет ничего удивительного в том, что сегодня меня интересует не тоннаж потопленных Маринеско вражеских судов, а в первую очередь героический характер. Яркий, самобытный, знавший и взлеты и падения, но при этом удивительно цельный. Уязвимый, но в своей основе несгибаемый и бескомпромиссный. Способный возвышаться над обстоятельствами и подчинять их себе. И наконец, что немаловажно,— отмеченный печатью таланта. Талант и героизм — понятия сопряженные. Талантливому человеку для того, чтобы полностью осуществить заложенные в нем возможности, необходима воля, за-

частую героическая воля. Точно так же человеку героического склада для совершения выдающегося подвига в большинстве случаев необходимо высокое профессиональное мастерство, доступное только людям одаренным.

Героический характер. Чтобы пояснить, что я подразумеваю под этими словами, мне придется сделать некоторое отступление и попытаться определить содержание, которое мы привычно вкладываем в ставшие расхожими слова герой, героизм, подвиг. В годы войны мы столько раз сталкивались с этими понятиями в жизни, что почти не испытывали нужды в теоретических определениях. Вместо определений мы приводили примеры, десятки, сотни свежих ошеломляющих фактов. И факты говорили сами за себя.

Но время идет. На смену воинскому подвигу пришла героика созидательного труда. Возникла потребность глубже осмыслить духовный опыт войны, внести необходимые поправки в некоторые сложившиеся представления, все чаще возникают споры и происходят переоценки людей и событий на основе новых данных. Наряду с этим растет потребность в уточнении нашей привычной терминологии.

Итак, что же такое герой и героизм? Для объяснения слов существуют толковые словари. Снимаю с полки третий том «Словаря современного литературного русского языка» (1954) и раскрываю на слове «герой». Полных четыре столбца убористого текста. С научной тщательностью собраны все возможные оттенки слова — от героя в понимании древних эллинов, полубога, наделенного сверхъестественной силой и способностями, до «героя дня» — человека, на короткое время обратившего на себя всеобщее внимание; от героини как театрального амплуа до пишущегося с прописной буквы почетного звания Матери-героини. Все эти исторически сложившиеся понятия не тождественны, и о каждом из них стоит поразмыслить. Выделим сразу в самостоятельную категорию Героя с большой буквы, Героя как звание, как высшую правительственную награду, она дается за особо значительные заслуги и по существующему статуту может быть присвоена не единожды. Героем со строчной буквы можно быть лишь однажды, это скорее характер человека, чем оценка его деяний, и нередко, называя человека героем, мы имеем в виду не столько объективную значимость совершенного им деяния, сколько те черты личности, которые п о д в и г л и его на вызывающий наше восхищение поступок. Я нарочно употребил этот прекрасный древний глагол, потому что он многое проясняет в более привычном слове «подвиг». В своем основополагающем определении толковый словарь говорит: «Герой — человек, совершающий подвиги» — и хотя слово «подвиг» тоже многозначно и многооттеночно, в нем как бы закапсулированы два составляющих единство, но находящихся в сложном взаимодействии элемента: высокая общественная ценность поступка, дающая ему право называться подвигом, и те высокие нравственные качества, подвигнувшие человека преодолеть все трудности и опасности на пути к его свершению. В каждом подвиге объективный смысл деяния и субъективные человеческие побуждения находятся в сложных, разнообразных, зачастую противоречивых отношениях. К этой теме я еще неизбежно вернусь, а пока признаюсь, что наряду с объективным смыслом подвига Маринеско меня не в меньшей мере увлекают те стороны его личности, которые я расцениваю как героический склад характера. И то, что сам Маринеско и на словах и письменно заявлял, что никогда не считал себя героем и не мечтал им быть, нисколько тому не противоречит. Мечтает стать героем почти любой подросток, иногда это свидетельствует только о честолюбии. Рост материальной и духовной культуры отразился и на процессе формирования героического характера. Чтобы совершить подвиг во время войны и тем более в мирное время, как правило, уже

недостаточно самоотверженности и готовности рисковать собой — подвиг сегодня может совершить только человек хорошо вооруженный. Вооруженный, конечно, в самом широком смысле — не только оружием, но и умением, знаниями, навыками, наконец, вооруженный идейно, отлично знающий, во имя чего он идет на подвиг.

И конечно, постепенно складывавшийся во мне образ Маринеско привлек меня тем, что героическое начало было в нем глубочайшим образом заложено; чем больше я узнавал его и о нем, тем яснее становилось для меня, что беспримерный, по слову И. С. Исакова, январский рейд 1945 года не был яркой вспышкой, на короткое время осветившей фигуру человека заурядного, а предопределен всей его предшествующей жизнью. Я увидел в Александре Маринеско один из тех характеров, которые привлекали меня всегда. И в жизни и в искусстве.

Здесь я позволю себе некоторый экскурс в прошлое.

В течение моей, как выяснилось, уже довольно долгой жизни у меня было несколько друзей, погибших в самом расцвете лет. И хотя они не совершили каких-либо чрезвычайных подвигов, они остались в моей благодарной памяти как люди героического склада. Никто из них не ушел из жизни бесследно, но я убежден, что только ранняя смерть помешала им совершить нечто более значительное, еще более заслуживающее названия «подвиг», чем то, что они успели за свою короткую, но активную, отмеченную самостоятельностью решений жизнь. Вся их жизнь была подготовкой к подвигу, они непрерывно тренировали и закаливали свою волю для какого-то еще неясного по очертаниям, но несомненного для них главного дела, главного поступка.

Валентин Кукушкин, Юрий Крымов, Алексей Лебедев.

Они были очень разными, эти люди, и объединяла их только страстная любовь к литературе. Между собой они не были знакомы, возникли в моей жизни в разные периоды, и я потерял их одного за другим. Не вернувшиеся с войны Крымов и Лебедев оставили после себя книги. Проза Крымова и стихи Лебедева живут и сегодня. С Валей Кукушкиным, скончавшимся в 1930 году в возрасте двадцати лет от осложнения после скарлатины, мы подружились детьми. В годы гражданской войны мы оба были воспитанниками трудовой колонии при Биостанции Юных Натуралистов под Москвой. Помимо общего для всех интереса к живой природе нас с Валей сближало страстное увлечение литературой и театром. Валентин ни в чем не знал удержу — это была натура бурная, подверженная разнообразным, зачастую скоропреходящим увлечениям, однако все его интересы, в том числе биология, спорт и театр, казались ему слишком мирными и, так сказать, побочными. У него был темперамент бойца. «Такие люди, как мы с тобой,— сказал мне однажды Валька,— должны готовить себя к революционной деятельности. Мировая революция нас ждать не будет. Надо пойти на производство, чтоб приобрести пролетарскую закалку. А дальше — видно будет. Пойдем, куда пошлют. Искусство — прекрасная вещь, но заниматься им надо только в свободное время».

«Таким людям» было в то время лет по двенадцати. Но время было такое. И позже, когда жизнь внесла свои поправки в наши детские мечтания, Валентин остался верен себе. Пошел на производство, а затем поступил в военное училище. Работая в типографии, написал свою первую пьесу, поставленную Театром рабочей молодежи. Нелепая смерть прервала его работу над второй пьесой, принятой к постановке вахтанговцами. Трудно сказать, кем бы стал Валентин Кукушкин к началу войны — драматургом или командиром полка, но в одном я уверен твердо: это был человек, заряженный на подвиг. И даже когда такие ребята не успевают свершить всего

задуманного, они оставляют след в сознании знавших их людей, они как бы электризуют среду.

Юрий Крымов до начала войны дожил. И не только дожил, но успел прославиться. Написанная тридцатилетним инженером-нефтяником повесть «Танкер «Дербент» имела всесоюзный успех, вошла в школьные программы по русской литературе, автор был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1939 году ордена у писателей, особенно у молодых, были редкостью. Единственный раз, когда я видел Крымова, человека на редкость смелого, по-настоящему испуганным, был день, когда он узнал о награждении. Он считал, что ему выдан щедрый аванс и неизвестно, сумеет ли он когда-нибудь его отработать.

«Погиб на фронте» — этими словами заканчивается краткая справка о Юрии Крымове в советском энциклопедическом словаре (1980). «Пал смертью храбрых» было бы точнее, но памятуя, как Крымов не любил торжественности, я принимаю формулировку. Она нуждается только в расшифровке.

На фронт Юрий ушел в самые первые дни войны. Вскоре связь с ним оборвалась, и только в 1943 году, после освобождения Полтавщины, родные и близкие узнали о его судьбе. В райком партии пришел колхозник из села Богодуховка Чернобаевского района и принес пробитый штыком фашистского солдата военный билет Крымова и написанное им перед боем незаконченное письмо к жене, Ирине. Этот потрясающий человеческий документ опубликован, и я не хочу портить его беглым пересказом. Мы многим обязаны ныне покойному Алексею Коваленко и его сыновьям, они похоронили Юрия и с риском для жизни сохранили до конца оккупации драгоценные реликвии. Могила Крымова — в центре села Богодуховка, рядом со школой. Я был там дважды и видел, как колхозники села и пионеры из отряда имени Крымова чтут память писателя.

Справедливо ли выделять судьбу Юрия среди понесенных в том бою тяжких потерь? Выполнение воинского долга еще не подвиг. Может быть, и несправедливо, если б не одна подробность, о которой я узнал много позже, через десятилетия. Ее рассказал мне поэт Микола Бажан, видевший Крымова незадолго до его гибели. Оказывается, Крымов имел полную возможность на законном основании с санкции военного начальства выйти из окружения вместе с редакцией армейской газеты. Никто бы его не обвинил в дезертирстве. Но он предпочел вернуться в свою часть к товарищам и разделил их судьбу.

Рассказ Бажана меня поразил — и тем новым, что я узнал о Крымове, и еще больше тем, что я узнал в нем Крымова, иначе поступить он не мог.

Кадровый моряк, штурман подводной лодки Алексей Лебедев ненамного пережил Крымова. В первом же боевом походе лодка, на которой шел Лебедев, подорвалась на минном поле. Подвига, к которому он готовил себя всю жизнь, ему совершить не пришлось. Нельзя сомневаться, что он готовил себя именно к подвигу, порукой тому не только выбор профессии, достаточно перечитать его стихи, чтобы понять, что море, флот, военная история России были для него постоянным источником вдохновения. К началу войны у Лебедева вышли уже две книжки стихов, их знали не только моряки, ими увлекалась и продолжает увлекаться молодежь. Как-то я спросил Лебедева, не подумывал ли он (до войны, конечно) уйти с флота и стать профессиональным литератором. Лебедев ответил твердо: «Нет. Я штурман. В тот день, когда я перестану быть моряком, я перестану писать стихи».

Не знаю, как вел себя лейтенант Лебедев в свой последний час. Наверняка достойно. Труднее сказать, как сложилась бы судьба Лебедева, доживи он до Победы, но мне нетрудно представить себе

его капитан-лейтенантом, командиром лодки, с победой вернувшимся из боевого похода.

И опять одна подробность, ставшая известной через многие годы. Ее сообщил мне адмирал В. Ф. Трибуц, командовавший во время войны Краснознаменным Балтийским флотом.

— Признаться,— сказал со вздохом Владимир Филиппович,— подписывая боевой приказ, я запнулся на фамилии Лебедева. Подумал: а не поберечь ли нашего лучшего флотского поэта? Потом вспомнил его стихи и понял, что, вычеркнув его из списка, нанесу ему нестерпимое оскорбление. И подписал.

Кто сегодня решится ответить на вопрос: не целесообразнее ли было «поберечь» Лебедева? А может быть, и Крымова? Я знаю одно: нравственные соображения не всегда совпадают с целесообразностью. Иногда они выше.

Меня могут спросить — для чего сделано это отступление? Только для того, чтобы подчеркнуть, как подвижны и многоОттеночны наши представления о подвиге и героизме, как сложно сочетаются в них субъективные побуждения героя и объективная значимость совершенного ими деяния, индивидуальный склад характера и социальный климат, свободная воля и непредсказуемое стечение обстоятельств.

У слова «подвиг» есть слово-антипод. Это слово — «преступление». Совершить преступление — это значит сделать нечто совершенно обратное подвигу — пренебречь в личных интересах интересами других людей, интересами родины, общества, человечества. Исстари повелось, что оценку преступным действиям дает суд. В различные эпохи, в разных странах суд вершится различно, различны и задачи суда — между судьей, за полчаса осуждающим мелкого воришку, и Нюрнбергским международным трибуналом, осудившим не только главных военных преступников, развязавших бесчеловечную войну, но бесчеловечную сущность фашизма, существует гигантская разница. Но во всех судах начиная с древних времен есть и нечто общее: взвешиваются показания свидетелей и вещественные доказательства, выслушиваются показания обвиняемого, решение выносится с учетом личности и прошлой жизни, смягчающих или отягчающих обстоятельств.

С подвигом дело обстоит иначе. Хотя большинство преступлений делается тайно, а героический поступок таить незачем, количество безымянных подвигов огромно. Даже в тех случаях, когда общество заинтересовано в поощрении героя, «следствие» до предела упрощено, а вердикт выносится чисто административным путем. Правила, предписывающие средствам массовой информации весьма осторожно высказываться по нерешенным судебным делам, на подвиги не распространяются. Бывает, что информация недостаточна или не соответствует стихийно складывающемуся общественному мнению. Тогда рождается легенда. Когда легенда касается событий, сохранившихся лишь в памяти поколений и не оставивших зримых следов, она с трудом поддается суду истории. Иное дело события сравнительно недавнего прошлого. Для здоровья общества необходимо, чтоб все общественные приговоры, осуждающие или прославляющие реально существовавших людей, соответствовали фактам и давали объективную оценку поступков и побуждений, попросту говоря — были справедливыми. Суд истории нередко поправляет суждения современников. Иногда на это уходят десятилетия. Благодаря кропотливой работе военных историков пересмотрены многие репутации в истории гражданской войны, у всех на памяти героическая борьба писателя С. С. Смирнова за исторически точную трактовку подвига защитников Брестской крепости, а подхваченная народом крылатая фраза Ольги Берггольц «Никто не забыт, ничто не забыто» — это еще не констатация, а скорее призыв. Читая газеты, следя

за радио- и телепередачами, мы повседневно сталкиваемся с неизвестными подвигами, узнаем имена героев, еще недавно безымянных. Суд истории не самый скорый, но самый справедливый, и время зачастую работает не во вред, а на пользу истине. Печально, что все меньше остается живых свидетелей подвига, но в установлении исторической дистанции есть и хорошая сторона. Временна́я (или пространственная) приближенность к событию или человеку нередко искажает наши представления, сколько раз мы убеждались, что, рассматривая со слишком близкого расстояния, мы теряем перспективу, нам застилают глаза соображения хотя и существенные, но сиюминутные, преходящие и нужен какой-то срок, чтобы отделить главное от второстепенного и увидеть явление в его подлинных масштабах.

В личности Александра Маринеско для меня сегодня важнее всего проследить, как складывался этот характер, понять заключенные в нем противоречия, присущие, по моим наблюдениям, многим незаурядным людям. Концентрированная воля, равно как и выдающееся дарование,— качество не только прекрасное, но и опасное, требующее, как все нестандартное, нестандартного к себе отношения.

Приступая к работе, я старался не обременять себя никакими предвзятостями и был готов к неожиданностям. Единственное, в чем я был убежден с самого начала: героем не делаются в пять минут. Самый подвиг может длиться секунды, но он всегда подготовлен всей предшествующей жизнью.

В одной из ранних служебных аттестаций Маринеско, подписанной его учителем и воспитателем Евгением Гавриловичем Юнаковым, есть такая фраза: «Способен пренебрегать личными интересами для пользы службы».

Сказано суховато. Сегодня, оглядываясь на пройденный Маринеско жизненный путь, этот пункт можно, пожалуй, сформулировать иначе:

«Способен на подвиг».

II. КРОНШТАДТ, ПЛОЩАДЬ МАРТЫНОВА

В Кронштадте на площади Мартынова стоит памятник подводникам Балтики. Памятник очень скромный, как скромна на вид и самая площадь. Никакого сравнения с центральной площадью перед Морским собором, где теперь музей. Но отсюда рукой подать до прекрасного здания, где еще во время войны помещался штаб Балтийского флота, с вышкой, откуда видны стоящие на рейде корабли и просматривается южный берег залива. Еще ближе — строения береговой базы. Во время войны от ее пирсов уходили в боевые походы подводные лодки, теперь там учебный отряд. От площади Мартынова начинается Советская улица — главная улица Кронштадта с почтамтом и старинными торговыми рядами, а если, дойдя до рядов, свернуть направо — Матросский клуб, до революции — Офицерское собрание, описанное Л. Соболевым в «Капитальном ремонте». Получившему увольнение в город моряку никак не миновать площади Мартынова, и немудрено, что сердцу моряка эта тихая площадь говорит очень многое. В обычное время, особенно в сумерки, она почти безлюдна, но в сквере есть уютные скамеечки и они редко пустуют. Здесь можно встретиться с товарищем для задушевного разговора, назначить свидание девушке, можно посидеть наедине с собой, перечитать полученное из дома письмо, просто отдохнуть от четко организованного быта воинской части. Оживает площадь только по торжественным дням. В дни ежегодных (теперь — реже) сборов ветеранов-подводников здесь проводятся общегородские митинги. Сюда 9 мая 1978 года вместе с другими ветеранами

приехали на встречу с кронштадтцами почетные гости — экипаж краснознаменной «С-13». И опять, как в училище имени Ленинского комсомола, была встреча с флотской молодежью, менее парадная, но не менее волнующая: здесь все свое, знакомое, отсюда под покровом темноты уходили в море, здесь неподалеку дом, где жил командир, здесь, в Кронштадте, до недавнего времени жила вдова командира Нина Ильинична.

Кронштадт вообще удивительный город. Его красота и величие приоткрываются не сразу. Он суров и для человека, не приобщившегося к его тайнам, будничен. Зато для переживших вместе с ним «его минуты роковые» он остается памятным навеки. Помню свое первое впечатление, когда в июле сорок первого получил назначение на бригаду подводных лодок, стоявшую тогда в Кронштадте. Еще не ступив на кронштадтскую землю, я был разочарован. Стоя на палубе тихоходного буксирчика, я с нетерпением ждал, что передо мной прямо из воды вырастет отвесная скала, а на ней крепостные стены с бастионами и бойницами — нечто среднее между замком Иф из «Графа Монте-Кристо» и Петропавловской крепостью. Вместо этого я увидел плоский берег и чуть позже — провинциального вида скрипучую деревянную пристань, к которой пришвартовался наш тихоход. Затем в компании таких же, как я, новичков с тяжелым чемоданом в левой руке (было уже известно, что в Кронштадте насчет приветствий — строго) прошагал по накаленным июльским солнцем пустынным улицам до штаба флота. Улицы застроены домами казарменного типа, много глухих заборов, пыльный булыжник мостовых и непривычная тишина, лишь изредка нарушаемая согласным грохотом тяжелых матросских башмаков. Ни в этот день, ни позже, приступив к работе в бригадной многотиражке, я не ощутил поэзии Кронштадта, занятый с утра до ночи редакционной текучкой, я почти не бывал на берегу, и легендарная крепость казалась мне тихим заштатным городишком с суровыми крепостными порядками.

Тишина взорвалась очень скоро — фронт приближался. В августе флот оставил таллинскую базу, корабли пришли в Кронштадт. Начались «звездные» налеты пикирующих бомбардировщиков на гавань и рейд, «юнкерсы» шли волнами со всех сторон, и зенитные батареи Кронштадта помогали артиллерии кораблей отражать атаки с воздуха. Затем войска фон Лееба прорвались к Финскому заливу, и к бомбардировкам авиации прибавился артиллерийский обстрел. Ночью, стоя на палубе плавбазы, где помещалась моя редакция, можно было видеть пороховые вспышки на южном берегу, вражеские батареи стояли так близко, что долетала даже шрапнель. Тяжелая артиллерия линкоров и крейсеров била на два фронта — по северному и по южному берегу, когда двенадцатидюймовые с «Марата» проносились над городом, на центральных улицах сыпались стекла.

Кронштадт стал осажденной крепостью, дважды осажденной, потому что даже в заблокированный фашистскими войсками Ленинград надо было прорываться ночами под огнем, летом на катере или на притопленной по самую рубку подводной лодке, зимой по льду. Крепость не только оборонялась. Стоявшие у кронштадтских пирсов подводные лодки неожиданно оказывались в Данцигской бухте или на меридиане Берлина и топили вражеские корабли.

Именно в те жаркие дни я впервые ощутил суровую красоту города, полюбил небо Кронштадта, сиреневую дымку по утрам и оранжевый огонь закатов, во время нечастых передышек я понял очарование Петровского парка, служившего летним клубом для многих поколений военных моряков, и проникся почтением к полутемным залам бывшего Офицерского собрания, где висели на стенах большие картины в тяжелых рамах: картины изображали море и корабли, походы и сражения. Для меня приобрели волнующий смысл старинные названия причалов и маяков, и постепенно ко мне пришло ра-

достное чувство сопричастности славному прошлому города-крепости, то гордое чувство, которое великолепно выражено даже в самом названии стяжавшего мировую известность фильма — «Мы из Кронштадта».

Маринеско был «из Кронштадта», настоящий балтийский моряк, то, что он родился и вырос в Одессе, нисколько тому не противоречит. Кронштадтцы — особое племя, в чем-то заметно отличающееся от ленинградцев. Тому есть исторические причины. Исстари большая часть моряков Балтийского флота вербовалась из южан, лучшими матросами считались уроженцы Николаева, Одессы, Херсона и других портов юга. У балтийцев не редкость украинские фамилии. Перенесенные с щедрой почвы Причерноморья на берега холодной Балтики, растворившись среди коренных жителей, они сохранили свой южный темперамент, но обрели внешнюю сдержанность северян. Получился своеобразный сплав. Маринеско не был похож ни на ленинградца, ни на одессита, он был именно балтиец. В отличие от большинства военных моряков, успевавших за время службы побывать на всех флотах, Александр Иванович знал только Балтику, и она окончательно сформировала его характер. В нем угадывалась неостывшая лава, но под прочной корой.

В Кронштадте мы и познакомились. Уже после войны. Если не считать одной мимолетной встречи в осажденном Ленинграде зимой 1942 года (о ней речь впереди), во время войны мы не виделись, и, как потом выяснилось, я мало что знал о нем.

Произошло наше знакомство на ставшем традиционным сборе ветеранов-подводников летом шестидесятого года. Традицией этих сборов мы обязаны Евгению Гавриловичу Юнакову, во время войны боевому командиру дивизиона подводных лодок, а затем командиру Кронштадтского учебного отряда. Ему же мы обязаны тем, что на одном из первых сборов был заложен, а на другом (уже после его кончины) открыт построенный на общественных началах памятник на площади Мартынова. О Евгении Гавриловиче Юнакове я должен рассказать еще и потому, что в течение многих лет он был старшим другом и наставником Александра Ивановича. Перед войной и в начале войны Юнаков командовал дивизионом «малюток», куда входила и «М-96» Маринеско, а когда Александр Иванович принял «С-13», он вновь попал под начало к Евгению Гавриловичу. Дружеские отношения с Юнаковым Александр Иванович сохранил до конца своих дней, и, пожалуй, никто не имел на него такого влияния, как этот властный, суровый, беспощадно требовательный во всем, что касалось морской службы, человек. Александра Ивановича это не пугало, в море он был такой же.

Мне рассказывал инженер Кронштадтского морзавода Василий Спиридонович Пархоменко, служивший с Маринеско на «М-96», а затем на «С-13», человек, душевно преданный Александру Ивановичу и сохранивший благодарную память о своем комдиве:

«Помню, швартовалась наша «малютка» к борту «Иртыша». Я был матрос второго года службы. Стоял наш дивизион тогда в порту Ханко. Я несколько раз бросал тяжелый мокрый конец, все не попадаю. Ветер был отжимный, лодку качало. Юнаков молча наблюдал. Потом сказал мне: «Вместо проворачивания механизмов месяц будешь кидать конец, пока не выучишься». Через месяц Ефременков (помощник командира «М-96») принял у меня экзамен. Я до того наловчился, что при любой погоде стал попадать с первого раза. У Александра Ивановича был такой же подход. Требовал точности и быстроты, у кого не получается, непременно заставит повторить. Зато и дела у нас шли отлично. На рубке звездочка — корабль первой линии. В июне нам, пятерым отличникам боевой подготовки, в виде поощрения предоставили отпуск. Но не пришлось поехать — началась война».

Маринеско отзывался о своем учителе всегда с глубочайшим уважением:

«Я прошел школу Юнакова и прямо скажу — мне повезло. Он сделал из меня военного моряка. Научил главному — ни при каких обстоятельствах не отступать и не теряться. Требовать с людей, но и понимать их. И сам понимал душу подводника, суров бывал, но ханжества этого у него нисколько не было, умел и прощать, знал, что служба наша нелегкая, а молодость свои права имеет. И еще понимал, что хорош не тот командир, у которого ничего не случается, а тот, кто из любого положения найдет выход».

Другая запись:

«На Ханко, где мы базировались до войны, обстановка была скучная. Но скучать было некогда, прибывали новые лодки, отрабатывались задачи. К началу войны лодок первой линии было только две, моя и Саши Мыльникова, надо было поторапливаться. Юнакова до войны считали шкуродером: он гонял лодки в шторм, заставлял погружаться на волне, когда одна из лодок из-за недостатка балласта не пошла на погружение, приказал принять воды в трюм. Потом оценили и полюбили».

Маринеско был прав — Юнакова любили. Александра Ивановича уже не было в живых, когда военные моряки торжественно отпраздновали в Кронштадте шестидесятилетие Евгения Гавриловича. Я видел на своем веку много всяких юбилеев, но чествование Юнакова поразило меня своей непринужденностью и теплотой. Сотни подводников ощущали на себе его заботу, многие прославленные командиры были его учениками: Маринеско, Гладилин, Мыльников, Кабо, Лисин, Богорад...

Балтийские комдивы не отсиживались на берегу, они выводили корабли на позиции и сами ходили в походы. Юнаков начал войну с неудачи — тральщик, на котором он шел, взорвался на мине. Комдива подобрали и отправили в госпиталь, где в течение многих месяцев его «собирали из частей». Предстояла эвакуация в тыл, но Юнаков от эвакуации уклонился и в сорок втором году вновь вышел в море. На этот раз он обеспечивал опасный переход подводной лодки на позицию. Во время перехода командир лодки был убит, Юнаков принял на себя командование, снял поврежденную лодку с мели и привел ее на базу. В сорок втором он пошел в боевой поход на «С-13» с неопытным командиром П. П. Маланченко, корабль вернулся с крупным боевым успехом. Когда на смену Маланченко пришел на «С-13» Маринеско, Юнаков всячески помогал ему, но идти «обеспечивать» даже в первом походе отказался: «Ученого учить — только портить».

С Юнаковым у нас установились добрые отношения еще во время войны. Поначалу он и мне показался суров: высокий, узколицый, хмуроватый и немногословный; потребовалось некоторое время, чтобы разглядеть, каким надежным другом был он для людей, сумевших завоевать его доверие.

В июне 1960 года я получил от него письмо. Евгений Гаврилович приглашал меня в Кронштадт на второй сбор ветеранов-подводников. На первом, состоявшемся годом раньше, я не был, тогда иногородних еще не приглашали. Впоследствии я бывал почти на всех, но этот был самым волнующим. Волнующим было все — и первые встречи на ленинградской пристани, где немолодые люди, не видевшиеся по десять — пятнадцать лет, радостно обнимали друг друга, и неторопливое движение катеров знакомым фарватером (в сорок втором здесь не ходили, а прорывались), и торжественная встреча гостей в Петровском парке, куда вплотную подошли катера. Гремел оркестр, весь учебный отряд, выстроившись в две шеренги, встречал и провожал аплодисментами нестройно шагающую толпу гостей до ворот береговой базы. Затем был митинг на площади Мартынова и заклад-

ка памятника (на площадь сбежалось полгорода) и наконец встреча ветеранов с курсантами в клубном зале. Началась она необычно. Евгений Гаврилович взял на себя нелегкую задачу — представить молодым морякам каждого из двухсот гостей; он называл их, не заглядывая в списки, не по алфавиту и не по протоколу, а всех подряд слева направо, офицеров и матросов, Героев Советского Союза и скромных береговиков, военнослужащих и отставников. Всех он помнил, о каждом что-то знал. Аплодировали всем. Конечно, именам широко известным, всенародно прославленным аплодировали громче, но и тут были свои оттенки, невидимая стрелка не точно совпадала со шкалой должностей и почетных званий. И особенно наглядно это стало, когда Юнаков назвал имя Маринеско и неохотно привстал сидевший с краю небольшого роста человек в поношенном, но опрятном костюме без орденов и ленточек, с лицом немолодым, но сохранившим какие-то мальчишеские черты. Молодежь азартно била в ладоши, в этом было нечто демонстративное, и Маринеско чувствовал себя неловко, он хмурился и опустился на свое место раньше чем стихла овация.

— Это какой Маринеско? — спросил я соседа.— Тот, с «девяносто шестой»?

— Тот самый.

— А почему его так приветствуют?

— Как? Ты что же, не знаешь?..

К стыду своему, я ничего не знал. Не знал даже того, что на прошлогоднем сборе ветеранов были опубликованы уточненные по последним послевоенным данным сведения о боевых успехах балтийских подводников. По этим данным первое место по тоннажу потопленных вражеских судов вне всякого спора принадлежит Александру Ивановичу Маринеско. На втором — мой старый друг Петр Денисович Грищенко. Его подводный минзаг «Л-3», ставший впоследствии гвардейским, я знал хорошо, провожал в поход и встречал с победой на этих самых кронштадтских пирсах. Почему же Петр мне ничего не рассказал? Допустим, не было случая. Но все равно: почему же я, проработавший больше двух лет в газете подводников и никогда не порывавший связи с ними, ничего не знал о подвигах Маринеско? Некоторым объяснением могло служить то, что эти подвиги относились к последнему году войны, когда я уже ушел с бригады и в качестве военного корреспондента кочевал по разным соединениям, и все-таки оставалось необъяснимым, почему же я, внимательно следивший за печатью, упустил такие интересные сообщения.

За обедом, неторопливым, а под конец, когда началось хождение между столами, даже несколько шумным, нас свели вместе общие друзья. Против ожидания Маринеско заговорил со мной как со старым знакомым. Оказалось, что он помнит раешники, которые я из номера в номер печатал в многотиражке, видел на сцене мои пьесы. Я тоже знал о Маринеско, среди малюточников он считался одним из лучших командиров, но встречались ли мы когда-нибудь раньше? Лицо его показалось мне очень знакомым, и не столько даже лицо, его я мог видеть на фотографии, сколько улыбка, дружелюбная и чуточку лукавая, как будто мой собеседник знает про меня что-то забавное, но не спешит в этом признаться. Улыбка становилась все откровеннее. Наконец Маринеско не выдержал:

— А ведь мы с вами встречались. Не помните? — И уже со смехом: — Ох и хороши были у вас валенки!..

И тут я вспомнил, где я видел эту улыбку. Немудрено, что вспомнил не сразу — с той страшной блокадной зимы прошло почти двадцать лет.

Плавбазы и подводные лодки нашей бригады рассеяны по всей Неве и прочно вмерзли в двенадцатидюймовый лед. Набережные

превратились в сплошные сугробы. Голод, холод. Бомбежки по сравнению с осенью стали реже, но редкий день проходит без артобстрела. Морские заводы эвакуированы, однако корабельный ремонт идет полным ходом, флот готовится к весенним боям. Все работы вплоть до корпусных — руками военных моряков.

Маринеско — командир подводной лодки «М-96». Я — инструктор политотдела бригады и редактор «Дозора» — краснофлотской многотиражки, призванной освещать ход ремонта и боевой подготовки. Моя редакция вместе с наборной кассой и плоской типографской машиной помещается в маленькой каюте на плавбазе «Иртыш», стоящей на Неве у Летнего сада. «М-96» базируется на «Аэгну», плавбазу «малюток», ошвартовавшуюся дальше всех других плавбаз — у Тучкова моста.

Редактор — это звучит внушительно, если не знать, что подчиненных, кроме наборщика (он же печатник), у меня не было и весь материал должен был раздобывать я сам.

В январе сорок второго стояли убийственные морозы. Даже до соседних плавбаз я добирался с трудом. Идти на «Аэгну» мне совсем не хотелось. А идти было надо. По данным политотдела, на «малютках» успешно шел ремонт механизмов, и лучше всех — у Маринеско.

К малюточникам в то время относились не очень серьезно. Не потому, что они были плохими моряками. Малые лодки — превосходная школа для подводника, многие прославленные командиры прошли эту школу. Но ставка делалась на лодки среднего тоннажа. В условиях блокады с суши и с моря, когда Финский залив перегорожен сетями и напичкан всеми видами мин, имело смысл выпускать в море лодки, обладающие достаточной автономностью и большим запасом торпед. Малые лодки для этой цели не годились, самые большие тоже, их время наступило позже. В моем решении не откладывая отправиться на лодку к Маринеско среди прочих соображений некоторую роль сыграло одно, казалось бы, несущественное: всем работникам политотдела, в том числе и мне, выдали валенки. Этот вид обуви не характерен для флотского обмундирования, но учитывая особые условия, в которых нам приходилось работать, валенки пришлись очень кстати. И вот, поддевши под черную флотскую шинель жилет на собачьем меху и сунув ноги в огромные, выше колен, и чересчур просторные для моих ног валенки, я отправился в путь. Шел я, вероятно, больше часа, увязая в сугробах, скользя по обледеневшим настилам. Окаянные валенки вопреки своему названию явно не были сваляны из шерсти, а отлиты или отштампованы из какого-то необыкновенно твердого, немнущегося и упорно сохраняющего заданную форму материала. Носы как у торпед, подошвы, вернее днища, полукруглые, как у бескилевых судов. Меня качало — и от слабости, но еще больше оттого, что я почти не ощущал ногами земного притяжения, ощущение обманчивое, в любую минуту я мог грохнуться на лед. Валенки шли как хотели, меня они почти не слушались, а при малейшем сопротивлении с моей стороны жесткие края голенищ больно били меня по поджилкам. Наконец, замерзший и обессилевший, я ступил на палубу «Аэгны» и узнал от дежурного по кораблю, что комдива нет, а капитан-лейтенант у себя на лодке.

Лодка стояла рядом, но нужно хоть немного представлять себе «малютку» сороковых годов, чтобы понять, каково мне пришлось с моими валенками. Сперва по шатким мосткам без перил я добрался до верхней палубы лодки. Затем, хватаясь варежками за железные скобы, на мостик. Оттуда, спустив ноги в тесный рубочный люк и нащупав каменными носами моих валенок скользкую никелированную перекладину отвесного трапа, я осторожно, чтобы валенки не соскочили, сполз в центральный пост, протиснулся через круглый

люк в офицерский жилой отсек и увидел за столом хмурого парнишку в шапке и ватнике, без каких-либо знаков различия. В отсеке было лишь немногим теплее, чем на набережной, дизельное топливо берегли и в период зимнего ремонта отапливали лодки камельками, толку от них было немного. У Маринеско сидел гость, как я узнал потом, командир соседней «малютки», они пили спирт, закусывая хлебной корочкой, и к моему приходу отнеслись настороженно. Морское гостеприимство не миф и не литературный штамп, на всех кораблях, где я бывал, меня встречали приветливо. Александр Иванович тоже улыбался, но нельзя было поручиться, что за его усмешкой не прячется вызов, он даже сделал широкий жест и сказал «присоединяйтесь», но таким тоном, что я поспешил отказаться. А впрочем, отказался бы в любом случае, я был еще очень молодой политрук, к своим обязанностям относился со свойственным новичкам священным трепетом и начинать свое посещение незнакомого командира с выпивки не рискнул. Впоследствии я редко отказывался от стопки спирта, пивал и неразведенный и технический и не вижу в том большого преступления. В годы блокады, особенно в зимние месяцы, спирт был драгоценностью, воистину «водой жизни», им не напивались, а согревались, и в том, что не вылезавший с утра до вечера из своей насквозь промерзшей стальной коробки командир мог хлопнуть чарочку и угостить товарища, я очень скоро перестал видеть что-либо предосудительное. Недаром же «наркомовские» сто граммов входили в официальный рацион воюющего флота.

Пишу это в разгар очередной антиалкогольной кампании и уже вижу руку моего друга-редактора, занесенную, чтобы вычеркнуть эту апологию пьянства. Не вычеркну. Мне ли не знать, какую трагическую роль в судьбе Александра Ивановича сыграла водка, еще не раз мне придется коснуться этой темы, но в то время Маринеско не имел даже замечаний на этот счет, и, вероятно, мой отказ оба командира восприняли как чистоплюйство и ханжество.

Короче говоря, мы друг другу не понравились. Узнав о цели моего прихода, командир вызвал кого-то из старшин и препоручил меня его заботам. Больше на «М-96» я не был, а если и был, то не видел командира, вскоре мне дали в помощь молодого сотрудника, и на «Аэгну» я гонял его. Листая сегодня газетную подшивку за сорок второй год, вижу: заметки об отличниках ремонта на «М-96» печатались регулярно, а в сентябре газета поместила сообщение об успешном боевом походе и указ о награждении.

И вот почти через двадцать лет мы стоим в дружеском кругу и нас все больше разбирает смех.

— Уж очень вас некстати принесло. Только мы с Гладилиным расположились, докладывают: прибыл какой-то из редакции. Убирать следы преступления поздно, да и не подобает как-то суетиться. Ладно, говорю, проси. Вижу, лезут в отсек преогромные валенки, а в них политрук, тощий, обмороженный и ужас какой серьезный... Предлагаю разделить компанию — отказывается. Э, думаю, плохо дело, как бы не стукнул по инстанции, надо его поскорее сплавить... А вы небось подумали — ну и хамло командир, даже разговаривать не стал...

Вероятно, так оно и было. Но теперь Маринеско мне нравился все больше и больше. И я подумал: какая чепуха, какое случайное стечение обстоятельств может стать основанием для стойкого предубеждения. Какие пустяки помешали мне в свое время ощутить то магическое обаяние, которое излучал этот невидный морячок, а между тем оно безошибочно действовало на всех — на мужчин и на женщин, на начальников и подчиненных. Конечно, у него были и враги и завистники, но равнодушных среди людей, близко его знавших, я не упомню. Все это я понял позже, а на сборе ветеранов передо мной стоял дружелюбный, улыбающийся, но очень сдержанный человек.

Ни одного из вертевшихся у меня на языке вопросов я ему не задал, и правильно сделал. Мы немного поговорили на всякие нейтральные темы, но я уже твердо решил сегодня же расспросить о нем кое-кого из ветеранов, а завтра в Ленинграде отправиться на Биржевую площадь в Центральный военно-морской музей и разрешить там все мои недоумения.

Музеи, так же как театры, имеют свою закулисную часть, обычно закрытую для посетителей, но столь же важную и жизненно необходимую, как та, что открыта для обозрения. Прежде чем проникнуть за кулисы, я осмотрел экспозицию, нашел там много знакомых лиц и фамилий, но никакого упоминания о Маринеско. Висела большая, писанная маслом картина, изображающая торпедированный подводной лодкой лайнер с огромной свастикой на трубе и — на неправдоподобно близком расстоянии — самую лодку. Табличка на раме: «Подвиг «С-13». Название лодки давно рассекречено — почему же засекречена фамилия командира?

В поисках ответа захожу за кулисы — в научную часть. Знакомлюсь. Вопросов у меня два. Что совершил в годы Великой Отечественной войны капитан третьего ранга Маринеско и почему ни в экспозиции музея, ни в печати нет внятного описания его подвига? Потом я проверил себя, в печати действительно ничего не было, а в изданной в 1951 и перепечатанной без изменений в 1955 году статье Д. Корниенко и Н. Мильграма о подвиге «С-13» говорилось глухо: «Одна из подводных лодок Балтийского флота...»

На первый вопрос я получил сжатый, но исчерпывающий ответ. Мне была показана официальная справка:

«Из хранящихся в Историческом отделении ГШ ВМФ документов следует, что в боевых походах под командованием тов. Маринеско А. И. личный состав действовал слаженно, умело и самоотверженно, а сам командир показал высокое мастерство, решительность и храбрость в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками».

Далее в справке перечислялись победные атаки Маринеско. «Согласно научно проверенным данным,— значилось в справке,— Маринеско А. И., командуя подводной лодкой «М-96», уничтожил 14 августа 1942 года вражеский транспорт тоннажем 7000 брутто-тонн, а в 1944 году, командуя «С-13», еще один транспорт водоизмещением 5000 брутто-тонн». Далее приводились данные о потоплении в 1945 году «Густлова» и «Штойбена», уже известные читателю. Справка убедительно доказывала, что в течение всей войны Маринеско показал себя настоящим подводным асом, ни о какой случайности его успехов не может быть и речи. Впоследствии эти научно проверенные данные еще уточнялись по советским и иностранным источникам, но уже тогда было известно, что взбешенный Гитлер приказал расстрелять начальника сопровождавшего «Густлов» морского конвоя и объявил Маринеско врагом рейха № 1 и своим личным врагом. Основания для ярости у Гитлера были: на «Густлове» удирали из Данцига в Киль отборные палачи и, что еще существеннее, примерно три тысячи только что закончивших обучение подводников — будущие команды семидесяти новых подводных лодок, предназначенных для морской блокады Англии.

Удовлетворительного ответа на свой второй вопрос я так и не получил. Никакими «научно проверенными данными» на сей счет работники музея не располагали. То есть они знали, конечно, что вскоре после победы капитан третьего ранга Маринеско был снижен в звании до старшего лейтенанта, а затем демобилизован, что «на гражданке» у него тоже были какие-то неприятности, все это я знал уже вчера. Объяснить мне, почему Маринеско никак не представлен в экспозиции, они не смогли или не захотели, но любезно предоставили в мое распоряжение драгоценную справку. Справка эта не заключала в себе ничего секретного, и это позволило мне цели-

ком включить ее в свой репортаж о сборе ветеранов, напечатанный в одном из номеров «Литературной газеты».

Вероятно, редакция, направившая меня на сбор своим специальным корреспондентом, не ожидала такого бурного читательского отклика. В газету пришли десятки писем. Писали не только ветераны — живо откликнулась флотская молодежь. Судьба героя взволновала даже людей, далеких от флота. Обзор этих писем под общим заголовком «Он заслужил благодарность Родины» появился в газете в ноябре и вызвал новую волну откликов.

Самое большое впечатление произвело на меня письмо секретаря заводской партийной организации, членом которой состоял Александр Иванович. Письмо это предварительно обсуждалось на партийном собрании и было единогласно одобрено. «В течение семи лет работы в нашем коллективе,— писали коммунисты завода,— товарищ Маринеско проявил лучшие черты мужественного, дельного работника, активного участника общественной жизни. Он имеет несколько благодарностей, а с мая нынешнего года его имя на Доске почета». Но самое удивительное в письме не это. Выяснилось, что товарищи, с которыми Маринеско работал рядом в течение многих лет, ничего не знали о его военных подвигах и впервые узнали о них только из газеты. Какой великолепный сплав гордости и скромности был в этом человеке, за семь лет ни разу не обмолвившемся о своих заслугах даже в товарищеском кругу!

Вскоре после опубликования репортажа пришло самое дорогое для меня письмо — от Александра Ивановича Маринеско. За последние двадцать лет я много раз писал о нем, но никогда не цитировал этого письма. Не без колебания привожу его и теперь. Очень не хочется, чтобы читатель воспринял это как тщеславное желание установить свой приоритет, я совершенно искренне не вижу в своем тогдашнем поведении большой заслуги. Бывают такие ситуации, когда нужна одна только капля, чтобы переполнилась чаша, один стронувшийся с места камешек, чтобы обрушить лавину, и практически безразлично, на чью долю выпадет честь быть этой каплей или этим камешком. Не сделай этого я, несомненно это сделал бы кто-то другой. Не преувеличиваю я и своего личного влияния на дальнейшие события. И Иван Степанович Исаков и выступивший по телевидению еще при жизни Александра Ивановича Сергей Сергеевич Смирнов сделали для Маринеско несравненно больше. И чувства, которые владеют мною сегодня, гораздо больше похожи на чувство вины, чем на самодовольство. Об этом не оставляющем меня чувстве вины я говорил на вечере, посвященном двадцатипятилетию освобождения Ленинграда от фашистской блокады, вины за ненаписанное, упущенное, стершееся в памяти, вины перед хорошими людьми, о которых я не написал или написал бегло, торопливо... И эту книгу, которую я пишу сегодня, надо было написать гораздо раньше.

Вот что писал мне в августе шестидесятого Александр Иванович:

«Здравствуйте, уважаемый Александр Александрович!

От всей души благодарю Вас за внимание, которое Вы оказали моей особе в статье «Ветераны». Жаль, что Вы находитесь не в Ленинграде, а то бы я в знак признательности стал перед Вами на одно колено, как перед гвардейским знаменем.

Я никогда не считал себя героем и даже по окончании войны был не удовлетворен своей деятельностью.

Вы первый человек, который осмелился написать так обо мне. Еще раз большое морское Вам спасибо.

В Ленинграде я видел Мишу Вайнштейна, он мне передал, что в августе Вы будете в Ленинграде, и кратко посвятил меня в Ваши творческие планы на будущее. Я считаю, что могу Вам принести некоторую пользу, а потому прошу Вас, когда будете в Питере, сообщить о своем свободном времени, и я буду к Вашим услугам. Пере-

дают Вам привет Вайнштейн, Полещук и Юнаков, которых я видел вчера.

А пока желаю Вам всего наилучшего и надеюсь на скорую встречу.

А. Маринеско. 4.08.60».

Письмо это нуждается в некоторых комментариях.

Замечу, во-первых, что письмо это, несомненно дружественное, окрашено свойственным Александру Ивановичу добродушным юмором. Представить себе Маринеско стоящим перед кем-то даже на одном колене невозможно. Только перед знаменем.

Точно так же невозможно представить себе, что Маринеско лукавил или кокетничал, говоря: «Я никогда не считал себя героем». Настоящим героям чаще свойственна неудовлетворенность, оглядывая пройденный путь, они обычно приходят к мысли, что многое можно было сделать иначе и лучше. Близкие друзья Александра Ивановича свидетели тому, как далек он был от самодовольства. Конечно, он тяжело переживал замалчивание подвига «С-13», но его беззлобная душа жаждала не славы, а справедливости, и не столько даже для себя, сколько для команды. Его угнетала мысль, что из-за него долгое время были лишены своей доли общественного признания люди ни в чем не повинные. Впоследствии я имел полную возможность убедиться, что соратники Маринеско не винили в том своего командира, а когда в одной местной газетке была сделана попытка принизить его роль в январских атаках, никто из них на это не клюнул.

Но, может быть, характернее всего для Маринеско последний абзац письма. Александр Иванович предлагает встретиться, но для чего? Совсем не для того, чтобы рассказывать о своих подвигах и обрести в писателе своего будущего биографа. Нет, узнав от общих друзей, что писатель работает над романом о подводниках, он предлагает ему свою бескорыстную помощь.

Кстати, об общих друзьях. Трое из них названы в письме. О скончавшемся в 1970 году Евгении Гавриловиче Юнакове читатель уже немного знает. Владимир Антонович Полещук во время войны командовал дивизионом подводных минных заградителей. В прошлом торговый моряк, как и Маринеско, после демобилизации — историк флота, кандидат военно-морских наук, он и после переезда в Москву не переставал принимать участие в судьбе Александра Ивановича и бороться за восстановление исторической правды. Михаил Филиппович Вайнштейн, в годы войны дивизионный инженер-механик,— один из самых близких и преданных друзей Александра Ивановича. Во время моих коротких наездов в Ленинград мы неизменно встречались у Михаила Филипповича, жившего тогда в центре города, у Казанского собора. В моем дневнике за август 1960 года отмечены две встречи — 16-го и 29-го числа. Записи до обидного беглые, но и они будят память:

«16. VIII. Ленинград. Звонил Вайнштейн, вечером встретился у него с Маринеско. От разговора о своих боевых походах и причинах ухода с флота А. И. решительно уклонился, только под конец не удержался и забавно рассказал, как он «вымотал душу» у контр-адмирала А. М. Стеценко, пошедшего с ним в мае 1945 г. в поход в качестве «обеспечивающего». Рассказал со смехом, беззлобно. Говорить предпочитает о заводе, где он сейчас работает и интересами которого живет.

29. VIII. Ленинград. Вечером был у Вайнштейна. Съехались подводные асы: Маринеско, Грищенко, Матиясевич. Маринеско рассказывал, как проходил перевод на семичасовой рабочий день на ленинградских заводах. Рассказчик он отличный».

От этих встреч (и от ряда последующих) у меня осталось смешанное впечатление. Александр Иванович бывал весел, но его не ос-

тавляла настороженность. Его радовало дружеское внимание ветеранов, но он не рассчитывал, что в ближайшее время в его судьбе произойдут какие-то существенные изменения, а потому весьма неохотно касался своего прошлого. Всякий раз он подтверждал свою готовность помочь мне советом, но для этого не было подходящей обстановки, мы все время были на людях.

Однако кое-какие изменения после публикации поступивших в «Литгазету» писем все же произошли. С. С. Смирнов, в то время главный редактор газеты, обратился от имени редколлегии в соответствующие инстанции, и вскоре лед тронулся: Маринеско было возвращено прежнее звание, появилось несколько газетных статей о подвиге «С-13». Из них две или три назывались одинаково: «Неизвестный подвиг». За время, прошедшее между вторым и третьим сборами ветеранов, Александр Иванович много раз имел возможность убедиться в своей популярности. Популярности, конечно, неофициальной и нередко приносившей ему вместо радости ненужные огорчения. В различные инстанции полетели письма и ходатайства о присвоении Маринеско звания Героя. Александр Иванович о них не знал и никак в них не участвовал, но всякий становившийся ему известным отрицательный ответ ранил его жестоко. Зато на третьем сборе, организованном Юнаковым с присущим ему размахом (ветеранов впервые пригласили с семьями), я видел, как в лучах всеобщего признания тает наледь, сковывавшая душу Александра Ивановича. Особенно тронула его веселая церемония на пирсе: по обычаю военных лет ему как вернувшемуся из похода победителю был преподнесен живой поросенок.

За прошедший год наши встречи с Александром Ивановичем становились все дружественнее, но какого-то необходимого мне, может быть и ему, главного разговора все не получалось, говорить о своем прошлом он по-прежнему избегал, а для сколько-нибудь серьезной консультации моей работы мне надо было по меньшей мере ввести его в курс дела, почитать кое-что из написанного. Нужен был день (лучше два) без помех и без свидетелей.

И вот такой день наступил.

В начале ноября 1961 года я приехал в Кронштадт поработать и лишний раз обойти от носа до кормы какое-нибудь учебное судно. Остановился, как всегда, в крошечной одноэтажной гостиничке при учебном отряде. Гостиничка состояла всего из двенадцати номеров, называвшихся, впрочем, по-морскому — не номерами, а каютами. В гостиничке этой я живал много раз, всегда в одной и той же каюте, несмотря на зарешеченные снаружи окна и весьма умеренный комфорт, в ней хорошо работалось. Учреждением этим командовала милая женщина по фамилии Ганичева, совмещавшая в одном лице обязанности директора, кастелянши, истопника и уборщицы, приветливая и внимательная к постояльцам.

Запись из моего дневника:

«25 ноября. Кронштадт. Мокро, сыро, зима временно отступила. Проснулся оттого, что Ганичева пришла затопить печку. Сразу стало уютно, и я сел за стол с намерением переписать набело не меньше 15-ти страниц. Но приехал А. И. Маринеско. «Для выступлений на кораблях и в частях», как значилось в удостоверении.

Прежде чем отправиться в здание, где была объявлена беседа Маринеско с коллективом редакции, мы попили чайку и впервые обстоятельно поговорили: Александр Иванович не только не забыл о своем обещании, но взялся за дело с поразившей меня энергией и деловитостью. Он заставил меня читать и рассказывать, а затем забросал вопросами.

В скобках: к ноябрю 1961 г. роман «Дом и корабль» был вчерне закончен. Я не писал, а переписывал. На моего главного героя — ка-

питан-лейтенанта Горбунова — Маринеско был совсем не похож, тем не менее советы Александра Ивановича были для меня драгоценны по многим причинам. Подобно моему герою Маринеско начинал войну командиром «малютки», подобно ему блокадной зимой готовил свой маленький корабль к летней кампании. Наконец, мне предстояло заново написать обрамляющую роман новеллу, единственный эпизод, где лодка в походе, в атаке,— здесь мнение Маринеско было для меня решающим. В основу эпизода я решил положить памятный мне с первых военных лет случай: поврежденная взрывом глубинных бомб подводная лодка всплывает для ремонта рулевого управления, в случае появления противника лодка должна срочно погрузиться, времени на то, чтоб извлечь из кормовой балластной цистерны работающих там людей, уже не остается, и они это знают. Оказалось, что аналогичный случай был у Маринеско на «С-13», и он одобрил мое решение. А вот описание атаки, решение атаковать не со стороны моря, а, против ожидания, со стороны берега — это уже прямая подсказка Маринеско — именно так атаковал он «Густлова». Меня поразила сосредоточенность, с какой Александр Иванович слушал, и вдумчивость его осторожных рекомендаций. К моим вымышленным ситуациям он отнесся с серьезностью командира, которому предстоят ответственные решения. Что-то из моих построений он после детального разбора подтвердил, кое-что мягко оспорил (не все слушайте, что вам травят...), но самыми впечатляющими для меня были некоторые попутно высказанные мысли Александра Ивановича. Привожу их в том виде, в каком они мне запомнились:

— На подводной лодке командир, особенно в боевом походе,— царь и бог, видит, слышит и решает он один. По-другому и быть не может, иначе лодка утонет. Ни митинговщины, ни двоевластия море не терпит. Но беда, если командир заберет себе в голову, что он всесилен, а все прочие — пешки. От любого матроса, любого, я не преувеличиваю, может зависеть успех похода. От его умения, отношения к делу, даже от настроения. Командир должен знать боевую технику не хуже приставленного к ней матроса, но еще лучше он должен знать самих людей. Для меня среднего матроса нет, каждый человек исключителен, второго такого нет. Есть матросы, которым нет цены, есть такие, кому грош цена, от таких надо избавляться, а настоящих уважать и беречь. Ценить за достоинства, а не за отсутствие недостатков. Недостатки есть у каждого, людей без недостатков не встречал и свои знаю крепко. Бояться надо не людей с недостатками, а нулей. Есть такие люди с нулевой плавучестью. Моряк с недостатками, если попадет в хорошие руки, исправится, а нуль, как его ни верти, останется нулем. Есть такие люди, что говорят про меня: ему, мол, везло. Глупости. Если мне и везло в чем, так это на людей. И я никогда не забывал, что от глаз сигнальщика, от ушей акустика зависит успех атаки... Чем дольше живу, тем больше укрепляюсь в мысли: великая ошибка рассматривать народ как однородную массу. Народ состоит из отдельных людей, а они бывают умные и глупые, добрые и злые, сильные и слабые. И когда говорят о мудрости народа, я думаю: ведь не потому народ мудр, что все люди подряд умные, а потому что умные люди, пускай никому, кроме соседей, не известные,— большая сила, они не командуют, а за ними идут. Задумывались ли вы когда-нибудь, как рождается в народе меткое словцо? Ведь сказал же его кто-то первый? Остальные подхватили, обкатали — и пошло оно гулять по стране, но ведь всегда есть кто-то без имени, без прозвища, от кого ведет начало пословица, поговорка, веселая байка. Кто-то их выдумывает? Мне, например, нипочем не выдумать. Вот почему не люблю я, когда о людях говорят этак кучно, в общем и целом. Не люблю, когда говорят: «Все женщины такие». Или: «Что вы, не знаете наших матросов?» Глупости. Все женщины разные. И матросы — тоже...

— А вот вы сами недавно сказали: «Ваш брат-писатель»,— уязвил я.

Маринеско засмеялся:

— И очень глупо сказал. Читать люблю, но в жизни с писателями почти не сталкивался. Они-то, наверное, очень разные».

Поговорили немного и о литературе. Сегодня уже не вспомнить, какие книги называл тогда Александр Иванович. Насколько я понял, больше других привлекали его книги исторические и описание путешествий, с особенным восхищением он говорил о Миклухо-Маклае. А из книг, пленивших еще в детстве, назвал «Тома Сойера» и «Гекльберри Финна». Весь этот разговор у меня не записан, и полностью воспроизвести его через двадцать лет невозможно, но уже в том разговоре мне начал приоткрываться секрет того таинственного влияния, которое мой собеседник имел на самых разных людей. Секрет был не простой. Конечно, он заключался и в имени, ставшем к тому времени легендарным, но в гораздо большей степени в этом пристальном, очень избирательном, но всегда подлинном внимании к человеку, к любой человеческой судьбе. И может быть, самое главное, что я понял тогда,— передо мной сидел человек ярко талантливый и при этом покоряюще искренний. О талантливости людей мы, как правило, судим по их достижениям. Способ правильный, но не универсальный. Человек по-настоящему талантливый редко бывает талантлив только в одной строго определенной области. Чаще всего он талантлив вообще, и это понимается окружающими даже раньше, чем он что-либо свершит. Не все талантливые натуры осуществляются, немалая часть их гибнет или сходит на нет по самым разнообразным причинам. И по стечению неблагоприятных обстоятельств. И по недостатку воли. Только сильная воля способна поставить человека выше обстоятельств. Талант и воля взаимосвязаны. Яснее всего эта связь проявляется в детстве, лидерами в своей среде становятся мальчишки и девчонки, наделенные волей или талантом, точнее — волей и талантом. Это оптимальный вариант. Красота и физическая сила тоже имеют значение, но второстепенное. Несомненно юный Саша Маринеско был в своей школе вожаком. И мне впервые захотелось представить себе подводника № 1 босоногим одесским мальчишкой, а затем шаг за шагом проследить тот сложный путь, которым он пришел к подвигу. Задача непростая, к тому же упиравшаяся в препятствие почти непреодолимое — говорить о себе Маринеско не хотел и от расспросов уклонялся.

Наша беседа оборвалась на полуслове — за нами пришли из редакции. Идти было недалеко — редакция помещалась рядом, в том самом здании, где во время войны был штаб Балтийского флота. Впервые я услышал от самого Маринеско рассказ о январском походе и атаке на «Густлова». Слушали его затаив дыхание, были и аплодисменты, и восторженные реплики, и вспышки блицев, но уже тогда я отметил нечто, никак не вяжущееся с моим представлением об Александре Ивановиче: рассказывал он плохо. Вяло, формально, как будто речь шла не о нем самом, а о каком-то другом командире. Он не делился пережитым, а повторял уже известные цифры и немногие просочившиеся в печать подробности атаки. Рассказ этот я кое-как записал и сегодня, перечитывая свою запись, вижу, насколько она бледнее того, что рассказывали мне потом другие участники похода. Одновременно угадываю причину: над ним еще тяготел данный себе зарок молчания.

После выступления в редакции мы обедали с Юнаковым. Выпили по стопочке, Александр Иванович оживился, стал вспоминать всякие забавные истории. Рассказал о каком-то командире, считавшем своей заслугой то, что в заботе о подчиненных он регулярно снимает пробу на камбузе и перестал замечать, как ему уже давно готовят отдельно. Это схема, рассказывал Маринеско в лицах, с юмором. О вы-

ступлении в редакции рассказывать не стал — надо полагать, был недоволен. Не приемом — собой.

А затем произошло совсем неожиданное — мы вернулись в гостиницу и разошлись по своим каютам, чтобы отдохнуть, но не прошло и часу, как ко мне в двенадцатую пришел Александр Иванович и с потрясшей меня искренностью рассказал всю свою жизнь — о семье, детстве, флотской службе, боевых походах, разжаловании, злоключениях на берегу. Рассказал, конечно, не по порядку, перескакивая и отвлекаясь, без всякой определенной цели, с единственным желанием открыться и быть понятым. Эта многочасовая исповедь длилась до рассвета, под утро Александр Иванович, охрипший и обессилевший, ушел к себе поспать, а я лег еще позже, надо было пусть неполно, но по свежей памяти записать услышанное. Записывать что-либо при Маринеско я не решился — и правильно сделал. Спать мне почти не пришлось, и на встречу Маринеско с курсантами учебного отряда я опоздал и пришел к концу. Как мне показалось, на этот раз Маринеско говорил свободнее, красочнее, он как-то раскрепостился. Затем опять сидели у меня, зашел Юнаков, и мы хорошо поговорили уже втроем. Когда Юнаков ушел, пошли погулять по Кронштадту, обошли знакомые места, посидели на скамеечке в сквере на площади Мартынова. Вечером Александр Иванович уехал в Ленинград.

Эта кронштадтская встреча оказалась для меня решающей. Я впервые ощутил Маринеско как близкого друга. Теперь нас связывало то с большим запозданием пришедшее чувство фронтового братства, которое обычно рождается только на войне, и я уже понимал, что, покуда мы живы, эту связь ничем не разорвать. Решающим было и то, что я впервые подумал о Маринеско как о литературном герое. Слишком занятый работой над романом, я еще не знал, что через много лет напишу повесть о моем друге, но уже догадывался, что рано или поздно такая книга будет написана если не мной, то кем-нибудь другим и в этой будущей книге мой друг со всеми своими жизненными сложностями должен быть и будет главным, и притом положительным, героем.

Я всегда понимал, что нашей литературе нужен положительный герой, живой и яркий, чтоб за его мыслями и поступками читатель следил бы с таким же захватывающим интересом, с каким я слушал ночную исповедь Маринеско.

Эта исповедь меня не только взволновала, но и заставила задуматься. Мне незачем полемизировать с во многом уже отжившими представлениями о положительном герое как о герое идеальном. От многих властвовавших над нами вульгарно-социологических канонов мы уже освободились, хотя и сегодня еще достаточно распространено представление о положительном герое как о некоем нравственном эталоне, образцовом человеческом экземпляре, лишенном всяких недостатков и противоречий характера. Между тем всякий человек сложен и чем он значительнее — тем сложнее. Нет такого значительного образа в художественной литературе, вокруг которого в свое время не разгорались бы споры. Оценка литературного героя как положительного не тавро, не атрибут, не прилагательное, наглухо прибитое к существительному, она зависит не только от качеств героя, но и от восприятия его современниками. Вспомним яростные споры вокруг новой для критики фигуры тургеневского Базарова, вспомним, что давно уже воспринимаемая нами как «луч света в темном царстве» Катерина из «Грозы» Островского имела некогда ожесточенных противников, считавших ее глубоко безнравственной женщиной. Мне могут возразить: все это прошлый век, столкнулись точки зрения, отражавшие антагонистические классовые силы русского общества. Но люди моего поколения — свидетели тому, что расхождения в оценках литературных героев не исключены и в наше время, в нашем обществе, где не существует антагонистических классов. Прекрасно пом-

нию, как «гамлетизм» был синонимом вредной рефлексии, интеллигентской дряблости и неспособности к действию. А сколько копий сломано на моей памяти вокруг образа Дон Кихота, слово «донкихотство» до сих пор живет как расхожее обозначение бессмысленного доброхотства.

Все сказанное, как мне кажется, имеет прямое отношение к моему герою. Со дня кончины Маринеско прошли десятилетия, и время меняет масштабы событий и заставляет заново всмотреться в уже известные факты. Подвиг выступает во всем своем историческом величии и заставляет нас быть не столь непримиримыми к былым срывам и ошибкам героя.

Всякий положительный герой вызывает у читателя желание в той или иной мере следовать его примеру. Но между нравственным примером и слепым подражанием существует немалая разница. Склонны к подражанию малые дети — до той поры, пока у них не вырабатывается способность дифференцировать явления. Подражательность свойственна людям с неразвитым вкусом — вот почему залетная мода на покрой штанов или парикмахерские ухищрения внедряются легче, чем многие полезные гигиенические навыки. Общепризнано, что в искусстве подражатели не создали ничего сколько-нибудь ценного, попытка подражать выдающимся людям или героям популярных произведений обычно сводится к копированию внешних черт оригинала. Сразу же приходят на память лермонтовский Грушницкий с его напускным байронизмом и чеховский Соленый с его лермонтовской позой. Люди незначительные и недобрые, они невольно пародируют своих кумиров, подражательность, заемность чувств — черты, с убийственной точностью характеризующие их внутреннюю опустошенность. Человек самобытный, одаренный всегда неподражаем, оригинален, или, как говаривали в старину, бесподобен. Следовать его примеру можно и нужно, имитировать — бесполезно. Влияние литературных образов на формирование характера читателя, в особенности если этот читатель молод, огромно, но оно действенно лишь тогда, когда герой произведения воспринимается нашим сознанием не как сумма признаков, а как реально существующий или существовавший человек. А с реальными людьми у нас не бывает однозначных отношений. Восприятие художественного произведения — это сложнейший процесс, во многом схожий с творческим. Мировая литература населена множеством героев, зачастую весьма далеких от нас по своим воззрениям, нравам и обычаям, но в каждом из них заключена по меньшей мере одна доминирующая черта, позволяющая нам хотя бы короткое время прожить его жизнью, как если б она была частью нашей собственной, радоваться его взлетам и страдать от его бед и заблуждений, проще говоря, сочувствовать ему не в том уже несколько стертом бытовом значении слова, к которому мы приучены, а в том первичном, где приставка «со» еще не окончательно приросла к корню: со-чувствовать, со-переживать. Конечно, чем ближе к нам эпоха, в какой живет и действует герой, чем ближе он к нам социально, тем требовательнее мы становимся к его нравственному облику. И все же герой никогда не должен превращаться в эталон. Эталоны хороши для измерения неодушевленных предметов, для живых они часто оборачиваются прокрустовым ложем. Мне кажется, писатель не должен быть озабочен, получит ли его герой при выходе в свет своеобразный «знак качества», свидетельствующий о его несомненной положительности, достаточно, чтобы он знал и любил своего героя, гордился его достоинствами и страдал от его ошибок. Нужно ли эти ошибки скрывать от читателя? На этот счет существуют различные точки зрения. Одна из них, наиболее мне близкая, выражена в известном письме Д. А. Фурманова:

«Вопрос: дать ли Чапая действительно с мелочами, с грехами, со всей человеческой требухой или, как обычно, дать фигуру фанта-

стическую, то есть хотя и яркую, но во многом кастрированную. Склоняюсь к первому».

Надо ли доказывать, что в своем решении образа Чапаева писатель твердо стал на первый путь? Именно поэтому для нескольких поколений советских людей этот образ сохранил свое немеркнущее обаяние. Фурманов понимал, что герой, из которого извлечена «вся человеческая требуха», превращается в мумию или муляж, и опыт Отечественной войны подтвердил его правоту: у Чапаева оказалось огромное число последователей и ничтожное — подражателей.

Скоро минет двадцать лет с того хмурого зимнего дня, когда мы, друзья покойного, проводили на Богословское кладбище Александра Ивановича Маринеско, но я до сих пор ощущаю потерю как недавнюю. Для меня он — такой, каким я его знал и запомнил, такой, каким он живет в воспоминаниях его друзей и соратников, — самый любимый герой. Я счастлив, что судьба, хоть и поздно, свела меня с ним, и не перестаю огорчаться, что наша близость была такой недолгой. Мне никогда не приходило в голову подражать Маринеско, подражать ему — задача в равной мере непосильная и ненужная мне, но я не перестаю восхищаться его военным и гражданским мужеством, широтой и силой характера и во многом меряю себя его мерой. И то, что я не воспринимаю его как идеал, не отталкивает, а сближает меня с ним, будит мою совесть, дает постоянно обновляющийся повод к размышлениям. Я берегу в себе то, что было у нас общего, и преклоняюсь перед тем, что мне недоступно. А его недостатки и срывы служат мне предупреждением.

Не так ли мы, читатели, обычно живем общей жизнью со своими любимыми (а следовательно, положительными) героями?

* * *

Мои ночные записи и доставшиеся мне уже после кончины Александра Ивановича его неоконченные автобиографические заметки стали в моей работе лоцией. Достоверной, но с большими пробелами. Приступив к работе, я убедился, что мои знания об одесском периоде жизни Маринеско, о его семье, детстве и начале морской службы явно недостаточны.

И я поехал в Одессу.

III. ОДЕССА, КОРОЛЕНКО, ОДИННАДЦАТЬ

«Я родился в городе тепла, красоты и веселья — Одессе».

Так начинаются беглые и оборванные в самом начале автобиографические записки Александра Ивановича. Бесспорно, Маринеско любил свой родной город, хотя прочно связал свою жизнь с холодной Балтикой и никогда не пытался вернуться к теплому Черному морю. Все повороты в своей судьбе он делал круто, давались они ему нелегко, с кровью, но что отрезано, то отрезано, всякая двойственность ему была чужда. В Одессу он наезжал редко, только чтобы повидаться с родными и с немногими старыми друзьями, и одессита я в нем никогда не видел. Впрочем, и Одессы я почти не знал, а довоенную — больше по литературе. Но, пожалуй, ярче всего Одесса первых послереволюционных лет представала передо мной в устных рассказах друга моей юности Миши Заца, коренного одессита, выходца из рабочей революционной семьи, чье детство прошло в том же дворе, где жила семья знаменитого налетчика Мишки Япончика, одного из прототипов бабелевского Бени Крика. С Мишей (Михаилом Борисовичем Зацем) я познакомился, когда он, несмотря на свою молодость, был уже известным кинодраматургом, автором сценария популярного в то время фильма «Ночной извозчик», одной из первых кинематографических работ гениального украинского актера Амвросия Бучмы.

Ставши киевлянином, а затем и москвичом, Миша сохранил характерную для одесситов нежную и чуточку хвастливую привязанность к Одессе-маме, у него была щедрая память и незаурядный дар рассказчика, и в моем сознании навсегда запечатлелась карнавально-пестрая Одесса, в которой причудливо сплелись говор и нравы нескольких наций, город отважных подпольщиков и романтических бандитов; грубоватых, общительных, сердечных, насмешливых, ленивых и страстных характеров. Миша погиб на фронте в первый год войны, но у меня до сих пор звучит в ушах его мягкий, слегка пришепетывающий голос, наливавшийся неожиданной мощью, когда он изображал своих любимых героев — могучих одесских портовых грузчиков, рыбаков и биндюжников, их невежественных, но мудрых и сильных духом старейшин, их чуточку вульгарноватых, но цветущих, пылких и самоотверженных подруг. Вероятно, и в послевоенной Одессе сохранились какие-то черты сложившейся в моем воображении старой Одессы, но сегодня они уже не лежат на поверхности. Впрочем, сестра Александра Ивановича, встретившая меня на вокзале, оказалась настоящей одесситкой — темпераментной, говорливой, со знакомыми по одесскому фольклору интонациями. Гостеприимству Валентины Ивановны, ее страстному желанию помочь мне увидеть сквозь толщу десятилетий любимого братика Сашу я обязан возможности подробнее рассказать о детстве моего героя. Мы вместе рылись в картонке со старыми семейными фотографиями, письмами и газетными вырезками, попутно делились воспоминаниями, она о первых, а я о последних годах жизни Александра Ивановича. От нее я получил немногие и оттого еще более драгоценные адреса почтенных ветеранов, бывших некогда друзьями и сверстниками маленького Саши, с ее помощью мне удалось больше узнать о семье.

Можно по-разному относиться к проблеме наследственности, но, на мой взгляд, правильно поступают те биографы, которые начинают исследование характера своего героя от корня, загодя, еще до его рождения. Значение воспитания огромно, но не следует забывать и про гены. В том же томе толкового словаря, где я штудировал обстоятельную статью о героях и героизме, слово «ген» объясняется кратко: «Некий воображаемый носитель наследственности, якобы обеспечивающий преемственность в потомстве тех или иных неизменных признаков и свойств организма». Сегодня, когда существует уже целая дисциплина, именуемая генной инженерией, определение можно считать устаревшим, а мою попытку угадать в родителях черты, что-то объясняющие в характере сына,— вполне законной. Об отце, скончавшемся в конце войны, мне рассказывали и сын и дочь; мать я видел сам.

Отец Александра Ивановича Иван Алексеевич Маринеско был родом из Румынии. Может быть, по-румынски он звался как-то иначе, но в семье не сохранилось воспоминания ни о его прежнем имени, ни о том, когда и каким образом фамилия Маринеску приобрела украинское окончание «о». Детство у него было тяжелое, с семи лет остался сиротой, служил у помещика пастушонком, когда подрос, стал кучером. Затем, будучи парнем трудолюбивым и смышленым, возвысился до должности машиниста при сельскохозяйственных машинах. Никакого систематического образования он не получил, но руки у него, судя по всей его дальнейшей жизни, были золотые. В 1893 году его призывают во флот, и он становится кочегаром на миноносце. О том, каково быть кочегаром на «угольщике», современные матросы знают разве что по популярной песне «Раскинулось море широко...» — нужно было могучее здоровье, чтобы выдерживать вахты у топок. Матрос Маринеску выдерживал, пока его не допек возненавидевший его офицер. В штормовую погоду стоять огненную вахту особенно тяжело, и когда спустившийся в кочегарку офицер набросился на матроса с руганью и ударил по лицу, тот, по одной версии,

избил его, а по другой — швырнул в раскаленную топку. Для дальнейшей судьбы матроса разница в версиях была не очень существенна — в обоих случаях кочегару Маринеску грозил военный суд и смертная казнь. До суда Иван Алексеевич содержался в карцере под вооруженной охраной. В одну из ночей на пост у карцера был поставлен близкий друг Ивана, человек решительный. Иван уговорил его бежать, и они бежали, переплыли Дунай, друг остался где-то в Бессарабии, а Иван двинулся дальше — на Украину, по-тогдашнему в Малороссию. Конечно, ни о каком «политическом убежище» в царской России он и не помышлял, весь расчет был на то, что в такой большой стране легче затеряться, раствориться, исчезнуть, и расчет оказался правильным, до 1924 года он не оформлял своего гражданства, или, как говорили в старину, подданства, и первые годы старался держаться подальше от больших городов. Сохранилось предание, что во время своих скитаний он встречался и беседовал с Алексеем Максимовичем Горьким. Поначалу беглец тосковал по своей далекой родине и, прослышав о всеобщей амнистии по поводу какого-то государственного события, сделал попытку вернуться в Румынию, но очень скоро убедился, что для таких, как он, амнистия — самая настоящая западня, и ему пришлось бежать вторично.

Кусок хлеба он находил везде — выручали умелые руки. Человек, знающий толк в машинах, уже не бродяга, нужных людей обычно не спрашивают, откуда они взялись. В 1911 году на Полтавщине Иван Алексеевич (так его звали уже тогда) встретился с крестьянкой села Лохвицы Татьяной Михайловной Коваль и вскоре на ней женился. Через некоторое время молодые переехали на жительство в Одессу, где Иван Алексеевич нашел работу по специальности. Там у них родились сын Александр и дочь Валентина.

Я видел старые фотографии Сашиных родителей: бравый матрос в цивильной одежде, но с подкрученными вверх по тогдашней матросской моде усами и красавица украинка, черноглазая, с пышными косами, пара как на подбор — молодые, сильные, осанистые. По свидетельству обоих детей, отец был пожизненно влюблен в свою жену, полюбил и ее родню, очень быстро усвоил язык и обычаи своей новой родины, охотно ездил летом на Полтавщину и вообще стал, как говорится, щирым украинцем. Татьяна Михайловна была ему преданной женой, родителями они были заботливыми, но по-разному — бывший бунтовщик и государственный преступник оказался очень мягким и снисходительным отцом, мать была куда построже, и, по сохранившимся у детей воспоминаниям, у Татьяны Михайловны была в свое время довольно тяжелая ручка. Мать намного пережила сына, я видел ее в Ленинграде на похоронах Александра Ивановича уже глубокой старухой. Держалась она прямо, с большим достоинством и сразу завоевала почтительное уважение многочисленных друзей покойного.

Человеческие характеры лучше всего познаются в критические для жизни страны моменты. Одесса была одним из первых крупных городов, оккупированных в 1941 году войсками противника. Незадолго до начала войны Александр Иванович приезжал в отпуск, собирался пожить в Одессе, но был срочно отозван на флот. В июле Татьяна Михайловна с дочерью Валентиной и двумя ее детьми была эвакуирована в Мариуполь. Но вскоре Мариуполь оказался под ударом, и семья Маринеско совершила пеший двухсоткилометровый переход до Мелитополя. Мать и дочь по очереди толкали тачку со скарбом, внучки всю дорогу шли пешком. У старшей девочки на ногах вздулись кровавые волдыри, и Валентина Ивановна решилась самолично сделать операцию: выстирала тряпочки, прокалила на огне острый ножик... Через короткое время оказался занят врагами и Мелитополь, все пути на север были отрезаны, и семья, продав на базаре тачку и остатки скарба, налегке двинулась в обратный путь, на Одессу.

А Иван Алексеевич все это время оставался в Одессе. Свой отказ эвакуироваться он объяснял как-то туманно: «Та куды я пиду, я вже старый, хто меня зачепить...»— и, вероятно, у кого-то возникла мыслишка: уж не ждет ли Иван Маринеско своих румын? В самом деле, после захвата Одессы оккупационные власти быстро узнали о румынском происхождении Ивана Алексеевича, его несколько раз таскали в сигуранцу и допрашивали, но, как видно, никакого проку от того не имели, пользу имели одесские партизаны, таково, по крайней мере, мнение всех близко знавших его. Старик — а впрочем, не такой уж он был старик — явно придуривался, горбился, ходил, опираясь на палочку, словом, всячески старался выглядеть более дряхлым и больным, чем был на самом деле. С постоянной службы он сразу же уволился, чтобы оккупационные власти не мобилизовали его для выполнения каких-то военных работ, и жил случайным заработком, перебиваясь с хлеба на квас. Зато он мог бывать в разных частях города, где замешивался в толпу и заговаривал с людьми, с кем по-украински, а с кем и по-румынски. В бомбоубежища спускался редко, на уговоры отшучивался: «Та чого я там не бачив? Шо менi зробить, та я ж «заговоренный»...» Как видно, заговор был некрепок, незадолго до освобождения Одессы Иван Алексеевич получил тяжелую контузию, значительно укоротившую его жизнь. Что делал Иван Алексеевич во время воздушных тревог, мало кто знал, а сам он был неразговорчив. Бомб он не боялся, гораздо страшнее было бы, если б этим вопросом заинтересовалась сигуранца.

Вот из такого крепкого материала были сделаны родители Саши, и сегодня, вспоминая Александра Ивановича, я угадываю в нем глубоко заложенные черты и отца и матери. Разные это были характеры, но по меньшей мере одна черта была у них общая — ни кривить душой, ни отступать от своих решений они не умели. Вот у таких родителей в 1913 году (по другой версии годом раньше) появился на свет будущий подводник № 1.

Александр Иванович говаривал, в шутку, конечно, что моряком он был с тех пор, как себя помнит. И в самом деле, по отзывам всех знавших его, пловцом и ныряльщиком он был превосходным. И сегодня, мысленно пробиваясь через более чем полувековую временную толщу, мне легче всего представить себе маленького Сашу Маринеско в воде. Плывущим, ныряющим, пляшущим в ожидании набегающего вала, который через несколько секунд накроет его с головой и, проволочив по шуршащему гравию, выбросит на берег. Или во время короткого отдыха распростертым на нагретом солнцем песке, небольшого, но очень складного, дочерна загоревшего, в выцветших от солнца и соленой воды сатиновых трусиках, заряженного веселой энергией, как лейденская банка электричеством, всегда в кругу таких же, как он, загорелых, переполненных жаждой деятельности, ждущих только сигнала, чтобы самозабвенно включиться в самую фантастическую авантюру.

Сохранилось несколько ранних фотографий, на которых легко узнать будущего капитана 3 ранга, грозу фашистских кораблей и личного врага фюрера. Но фотографии — это статика, основой характера Маринеско всегда была динамичность, его трудно представить себе иначе как в движении, в действии. На помощь мне приходят немногие карандашные записи, сделанные Александром Ивановичем уже в зрелые годы:

«Семи лет от роду я уже хорошо плавал и нырял, а лето, начиная с семи часов утра, проводил с приятелями на море, основным нашим занятием была ловля бычков, скумбрии, чируса и камбалы.

В Одессе за морским судоремонтным заводом было раньше кладбище старых кораблей, и защищалось оно деревянными сваями без настила, они уходили далеко в бухту и сверху напоминали букву «Г», взрослые туда не заглядывали и по сваям не ходили, для этого надо

было быть своего рода канатоходцами, и вот там мы проводили целый день, купаясь, ловя рыбу, закусывая и даже покуривая. Обратно возвращались поздно, имея «на кукане» килограммов по пять живой рыбки. Больше половины своего улова мы продавали любителям, а на вырученные деньги покупали папиросы и другие запасы. Наш распорядок менялся редко и только для разнообразия впечатлений. Иногда мы гурьбой, человек в десять, уходили на пассажирские пристани к приходу рейсовых пароходов и просили бросать с борта в воду гривенники, когда кто-нибудь бросал, мы ныряли в прозрачную воду и догоняли тонущие монеты; бывало, что овладевали ими с бою, к удовольствию пассажиров, наблюдавших сверху за нашими подводными схватками и восхищавшихся нашей ловкостью. Победитель, всплывая, показывал монету и клал ее себе в рот».

Море, конечно, осталось морем. То грозное, то ласковое, оно и сегодня шумит или тихонько плещет, облизывая пляжный гравий, как в дни юности Саши Маринеско, но кладбища старых кораблей и свайного заграждения в форме буквы «Г» давно уже не существует; неузнаваемо изменилась вся одетая в бетон и гранит прибрежная полоса, и я даже не пытался пройти по местам, где впервые породнился с морем будущий подводник. Зато дом номер одиннадцать по улице Короленко, сохранившийся почти в первозданном виде, я осмотрел очень внимательно, и хотя в нем уже нет никого, кто помнил бы семью Маринеско, сразу понял, почему Валентине Ивановне так дорога память об этом доме и об этой улице. «Когда мы жили на Короленко, одиннадцать...» — с этой фразы начинались почти все ее рассказы о брате. Но впервые я услышал этот адрес от Александра Ивановича. Он плохо помнил окраинный дом, в котором родился, и гостиницу «Бристоль», где Иван Алексеевич ведал котельным хозяйством, с переездом на Короленко, одиннадцать началась самая яркая пора его юности — первые дружбы, первые увлечения, первые самостоятельные решения...

Улица тихая, невдалеке от центра города. Дом четырехэтажный, с аркой, ведущей во двор. В этом типично одесском дворике в самом деле есть что-то увлекательное. Он квадратный, со всех четырех сторон открытые (летом, конечно) окна квартир, соседки видят друг друга и перекликаются. В середине двора дощатый стол для игр, простые скамейки и старый кривой тополь, ветви его почти касаются окон второго этажа. Ловкий, как белка, мальчишка в минуту взбирается на дерево и оказывается дома, минуя лестницу и входную дверь; в дверь еще надо звонить, а позвонив, можно схлопотать затрещину за опоздание. А если обойти весь двор, выясняется, что и кроме тополя в нем много заманчивого — какие-то закоулочки, где можно прятаться, а потом неожиданно выскакивать, таинственные лестнички, ведущие в подвальные помещения, а может быть, и еще что-то, невидимое постороннему взгляду, но ведомое Саше Маринеско.

«Короленко, одиннадцать» — это было нечто несравненно большее, чем просто адрес. Это и семейные радости — семья была крепкая, дружная,— и детские игры, и по-одесски свойские отношения с соседями, и привычный путь в школу и из школы — туда молча и торопливо, оттуда шумной компанией, гоня перед собой голыш или пустую консервную банку.

За последнее время часто и небезосновательно пишется о пагубном влиянии улицы на неорганизованного подростка. Так почему же улица Короленко вспоминается и самим Александром Ивановичем и его сверстниками с такой нежностью, с таким ощущением не развеянной с годами поэзии? Может быть, это какая-то особенная улица?

В детстве все необыкновенно. Не надо забывать, что Короленко, бывшая Софиевская,— улица южного города. Большую часть года солнце исправно светит и греет, и вся жизнь одесских ребят за вычетом сна и школьных занятий проходит под открытым небом. Двадца-

тые годы. Ни о каких высотных домах в Одессе и не слыхивали, матросским рассказам об американских небоскребах хотя и верили, но сильно сомневались, что в них можно жить — ни с соседкой через окошко обменяться новостями, ни покурить с соседом во дворе. Вся жизнь на виду, все друг друга знают, новый человек сразу будет замечен и обсужден, у всех старожилов своя прочно сложившаяся и в большинстве случаев справедливая репутация, распространяющаяся и на детей. Парень с нашей улицы — это рекомендация. Трудовому населению одесской улицы не чуждо понятие «своего круга», на улицах ребята знакомятся быстро и беспрепятственно, но ввести незнакомого мальчика в дом на «Короленко, одиннадцать» было посложнее, родители, предоставлявшие детям почти неограниченную свободу, внимательно присматривались к их окружению, и мнение родителей имело вес. И в своих записках и в наших беседах, вспоминая детство, Александр Иванович неизменно называл своими ближайшими друзьями Колю Озерова и Сашу Зозулю. Александра Петровича Зозулю, ныне юрисконсульта крупного универмага, я обнаружил во Львове и на его свидетельства еще не раз буду ссылаться.

Александр Петрович хорошо помнит не только о первом знакомстве с Сашей Маринеско во время традиционной встречи двух соседних школ, но и о первом посещении «Короленко, одиннадцать», о простых, сердечных, но в чем-то и строгих нравах семьи Маринеско, о том, как деликатно расспрашивал гостя Иван Алексеевич: кто родители, с кем дружит, о чем мечтает? Много позже Александр Петрович понял: это был экзамен. Экзамен Саша Зозуля выдержал, через месяц-другой он становится своим человеком в семье, Ивана Алексеевича зовет дядей Ваней, с Сашей Маринеско они неразлучны. Сопоставляя воспоминания А. П. Зозули с записями самого Александра Ивановича и с тем, что сохранила память их ныне здравствующих сверстников, прихожу к убеждению, что буйная ватага мальчишек и девчонок с улицы Короленко при всей своей пестроте обладала своими, вероятно никем не сформулированными, но незыблемыми принципами, несомненно повлиявшими на то, как складывались характеры многих подростков, в том числе будущего командира «М-96» и «С-13».

На улице Короленко высоко ценилась отвага. В это понятие входило и умение постоять за себя, но только в оборонительном варианте. Отвага понималась прежде всего как стремление к неизведанному. Считалось постыдным бояться волны, глубины и высоты, жары и холода, напряжения и усталости, темноты, змей, бандитов, привидений — в общем, всего, что может испугать труса и неженку. Мерилом отваги была готовность к самому трудному, самому рискованному предприятию, к любой авантюре, если она обещала яркие впечатления, приобретение новых навыков и умений, проверку своих зреющих сил. В этом смысле девочки с улицы Короленко мало в чем уступали мальчикам, традиционного мальчишеского презрения к девчонкам на улице Короленко не знали.

Не надо пугаться слова «авантюра». Авантюристами ни Саша Маринеско, ни его ближайшее окружение не были. Это не значит, что на улицу Короленко не заглядывали всякие авантюристы, старавшиеся найти опору и среди подростков. «Мосье Эйхбаум,— писал в своем изысканном стиле бабелевский Беня Крик,— положите, прошу Вас, завтра утром под ворота на Софиевскую, 17 — двадцать тысяч рублей. Если Вы этого не сделаете, так Вас ждет такое, что это не слыхано, и вся Одесса будет о Вас говорить». Софиевскую, семнадцать и Короленко, одиннадцать разделяют всего два дома, и в начале двадцатых годов портовая Одесса еще таила в себе немало всякой нечисти, унаследованной с описанных Бабелем времен. Авантюры, в которые пускались Саша и его компания, были прежде всего бескорыстными и никому не угрожали.

Не менее, чем отвага, ценились в этом кругу честность, верность данному слову. Обмануть родителей, когда нет надежды получить разрешение, и таким образом выиграть время еще не считалось зазорным, но сознаваться надо было, не дожидаясь разоблачения, не юлить и не выкручиваться, а мужественно принимать заслуженную кару. Воровство считалось позором, исключение делалось только для яблок и арбузов, но что поделаешь, мальчишке Сашиных лет очень трудно представить себе, что все, что висит на дереве или растет на земле, не принадлежит отчасти и ему. Но и тут существовали строгие ограничения: ни в коем случае не с лотка и не из ларька, а только из сада или баштана и столько, сколько нужно самому, а не для продажи, продавать можно только рыбу, которую наловил сам. А. П. Зозуля вспоминает: одну из лучших квартир на Короленко, одиннадцать занимала почтенная семья. Уезжая на лето из Одессы, эти люди поручали Саше присмотреть за квартирой, и в течение всего лета квартира служила для компании вечерним клубом — там играли, пели, читали книги, рассказывали всякие занимательные истории, но никто не смел прикоснуться ни к одной безделушке, а накануне возвращения хозяев Саша объявлял аврал, производилась генеральная уборка квартиры, и при сдаче ключей Сашу неизменно благодарили за чистоту и порядок.

Еще одна черта, характерная для Саши и его окружения,— ничем не замутненный дух интернационализма. Впрочем, и все ближайшее окружение Саши было интернациональным — украинец Саша Зозуля, русский Коля Озеров, еврей Леня Зальцман... В те годы на Приморском бульваре существовал клуб моряков, где бывали матросы с приходивших в Одессу иностранных судов. Саша и его компания частенько околачивались поблизости в расчете посмотреть на заморских гостей, а когда стали постарше, сумели проникнуть внутрь, неразлучные Сашки стали членами организованного при клубе агитколлектива «Моряк». Для Саши Маринеско участие в самодеятельности было трудным испытанием, при несомненных задатках вожака он был застенчив. Но он умел преодолевать себя, его тянуло в клуб не простое любопытство, а жадный интерес к тому, как живут люди в других странах. В те годы молодежь жила в ощущении близости мировой революции, газеты были полны сообщений о революционном брожении в Европе и освободительной борьбе колониальных народов, и Саша рано освоился с мыслью, что совсем не похожие на него люди, отличающиеся от него цветом кожи, одеждой и языком, на котором они говорят, близки ему в самом главном — они такие же труженики, как его отец и мать, любят море, умеют постоять за друзей, щедры и гостеприимны.

Я вспомнил об этом заложенном с самого детства духе интернационального братства, слушая рассказ Матрены Михайловны, вдовы Сашиного друга Николая Озерова, о том, как во время оккупации Одессы семья Озеровых с риском для жизни укрывала в своем доме еврейскую семью, причем не близких друзей, а людей малознакомых, случайных.

Сам Маринеско считал себя украинцем. Не только потому, что жил на Украине, учился в украинской школе и родным языком считал украинский. Он воспринимал как свою украинскую историю и неплохо ее знал. Любил петь украинские песни и пел хорошо, пел в Ленинграде, Кронштадте и на Ханко. Национальная гордость соединялась в нем с пристальным и уважительным интересом к людям другого языка и культуры, но в отличие от своего любимого героя Миклухо-Маклая, считавшего себя потомком запорожцев, Александр Иванович мало интересовался генеалогией и на мой вопрос, кем были его предки, ответил почти равнодушно: «Не знаю. Мужики. Который-нибудь кузнецом был, от него и фамилия материнская. Зря не назовут».

Подобно героям его любимых книг, которых манила широкая, капризная, а в половодье становившаяся опасной река Миссисипи,

Сашу и его друзей так же неотразимо влекло море. На первых порах Черное, другого он не знал. Но уже мечтал об океане.

«Море и путешествия,— пишет Маринеско в своих незаконченных записях,— все больше увлекали меня и моего друга Сашку Зозулю».

Стоило друзьям посмотреть фильм об обороне Очакова, и их неудержимо потянуло в Очаков. Не поехать, а пройти пешком до самого Очакова, а при удаче — дальше, по берегу Черного моря и реки Буг до Николаева. Получить родительское разрешение на такой дальний поход нечего было и думать, поэтому был разработан хитроумный план. Неделю шла подготовка, продавались все уловы, копились деньги, а затем в подходящий солнечный день друзья явились к родителям Саши Маринеско и стали просить отпустить Сашу в деревню. Якобы Зозуля-отец, в то время партийный работник, едет в командировку и согласен взять их с собой. Получив разрешение и даже коекакие припасы на дорогу, приятели отправились к родителям Зозули и с таким же успехом уговорили их отпустить Сашу с Иваном Алексеевичем, якобы едущим в деревню (другую, конечно) на уборочную кампанию.

План можно было считать полностью удавшимся, если б не один маленький просчет — пришлось взять с собой младшего братишку Саши Зозули, которому в то время было лет десять, и хотя отважным путешественникам было тогда лишь года на два больше, разница в возрасте сказалась, как ни старался Жорка не отставать, путешествие было ему не по силам. «На исходе второго дня,— читаю я у Александра Ивановича,— мы добрались только до деревни Дофиновки в 25 км от Одессы. В этой деревне жила знакомая нам обоим девочка по имени Мара, у нее мы рассчитывали разжиться хлебом. Дофиновка лежит на самом берегу моря, жители ее занимаются в основном рыбной ловлей и баштанами.

Встретиться с нашей подружкой надо было, конечно, строго секретно, что нам и удалось при помощи деревенских ребят. Они охотно взялись вызвать ее на тайное свидание за околицу деревни, где мы построили себе шалаш. У нас на троих был один пиджачишко, им мы и укрывались.

Продолжить путешествие нам не удалось, на третий день Жорка начал хныкать и проситься домой, но все-таки мы прожили там еще четверо суток. Деревенские ребята снабжали нас хлебом и овощами, арбузы и дыни мы добывали ночью на баштанах, а мелкую рыбешку собирали на берегу моря. Деревенские рыбаки ежедневно заводили невода, но мелочь обычно выбрасывали.

Обратный путь мы проделали гораздо быстрее. Хоть мы и не признавались друг другу, домой хотелось не одному Жорке.

Встретили нас в Одессе не очень деликатно. Родители уже знали о нашей проделке. Да мы в этом и не сомневались, наши семьи жили на расстоянии одного квартала».

В своих воспоминаниях и в письмах ко мне А. П. Зозуля утверждает, что несколько позже поход в Очаков все же состоялся. В записках Александра Ивановича на это указаний нет. Впрочем, на этом эпизоде записки и обрываются. Не помнит этого и Валентина Ивановна, как-никак прошло больше полувека. Не исключена и ошибка памяти у Александра Петровича, по себе знаю, какие неожиданности подносит нам память, когда мы обращаемся к далекому прошлому. Однако мне не хочется совсем отказываться от его версии — уж очень она в характере Александра Ивановича. Уже в юности одной из главных черт его характера было несгибаемое упорство, он не любил отказываться от задуманного и не приходил в уныние от неудач. Еще до встречи с Юнаковым он уже жил по правилу: не отступать и не теряться. Не вышло — повтори. Правило, чем-то напоминающее цирковой обычай: не удался прыжок, упал с лошади или с проволоки —

повтори, не откладывая в долгий ящик, повтори, преодолевая боль и страх, повторяй до тех пор, пока не добьешься своего, иначе тебе никогда не избавиться от неуверенности в решающий момент.

Подтверждает эту черту и другой эпизод — о нем вспоминает Александр Петрович:

«Появилось в местной газете сообщение, что создана общественная бригада для исследования знаменитых одесских катакомб, и Саше уже не терпится побывать там, и непременно раньше, чем туда придет бригада. Уговорил и меня. Откуда-то мы узнали, что в нескольких десятках шагов от улицы Короленко существует хорошо замаскированный вход в катакомбы, туда мы и направились, приняв в нашу компанию еще одного парня и захватив с собой фонарь, веревки, спички — все, что, по нашему мнению, входило в снаряжение спелеологов. Нашли скрытый в кустарниках вход и, расковыряв заложенное плитой и замазанное глиной отверстие, влезли в узкий, круто уходящий в глубину коридор. Тишина. Было страшновато, но Саша был полон решимости, и мы двинулись в путь. Шли гуськом, молча, довольно долго. Еще страшнее нам стало, когда мы уперлись в выложенную камнем стену и при свете фонаря увидели запертую на висячий замок ржавую железную дверь. Почему-то на нас это особенно подействовало, и мы, переглянувшись, решили, что для начала хватит. Двинулись обратно, ориентируясь на сквознячок, отклонявший пламя свечи. А когда мы с облегчением вылезли на белый свет, то увидели ждавшего нас у входа пожилого мужчину. «Вам что, жизнь надоела?— сказал он сердито.— Там прячутся уголовники, и вообще вам там делать нечего». Мы припустились домой, но на другой день по настоянию Саши опять пришли туда (называлось это место почему-то «швейцарской долиной») с твердым решением, несмотря на предупреждение, вновь спуститься в подземелье. И обнаружили, что дыру не только заложили каменной плитой, но и зацементировали. Саша был очень недоволен и долго не оставлял мысли проникнуть в катакомбы».

В одном из своих писем ко мне сестра Маринеско Валентина Ивановна утверждает, что вскоре после описанного А. П. Зозулей эпизода Саша все-таки проник в катакомбы, водил туда свою компанию, в том числе сестру и ее подруг. Зная чрезвычайную настойчивость Александра Ивановича, я готов этому верить.

При всей своей детской жажде приключений, заставлявшей его иногда пропускать школьные занятия, Саша учился совсем не плохо и много читал. В своей компании Саша первенствовал, никто лучше его не знал историю морских экспедиций и биографии знаменитых мореплавателей. Но по-настоящему определились интересы и стал складываться характер будущего подводного аса с той поры, когда в его жизнь вошли корабли.

Первыми кораблями для Александра Маринеско стали черноморские яхты.

Яхты были белоснежные, легкокрылые. Кто из одесских ребят не любовался ими с берега. Они казались сказочными видениями, недоступными для обыкновенных людей.

Революция внесла в это представление существенные поправки. Для того чтобы яхты были белоснежными, во все времена требовалось много черной работы. Не бояться тяжелой и грязной работы было основным, и на первых порах единственным, условием для допуска в Одесский яхт-клуб, некогда весьма дорогой и респектабельный. Теперь яхты принадлежали заводским коллективам, но замкнутости не было, принимали всякого, кто, прежде чем кататься, готов был повозить саночки, иными словами, как следует поработать.

Оба Александра учились в то время в школе водников на Приморской улице, по соседству с яхт-клубом. Большая часть учащихся были дети моряков, ребята бредили морем, шли нескончаемые разговоры о дальних плаваниях, океанских штормах, заморских землях, от

этих рассказов, достоверных или фантастических, захватывало дух. «Многие уже тогда твердо решили стать моряками,— пишет Александр Иванович.— Окончив пятый класс, мы думали только о море, и первой морской школой для нас стал Одесский яхт-клуб. Прежде чем выйти в море, пришлось здорово потрудиться. Весной мы помогали ремонтировать яхты, к началу навигации лучших из нас зачислили в команды, и все лето мы плавали, исполняя обязанности настоящих матросов».

Подробнее о яхт-клубе рассказал по моей просьбе А. П. Зозуля, и его рассказ помогает мне увидеть загорелого маленького крепыша на палубе красавицы яхты по имени «Карманьола». Он «драит медяшку» до нестерпимого блеска и поет. Еще не ставши юнгой, он уже матрос, ему доверяют дежурства, он бесконечно горд доверием, и ему действительно можно доверять, у него унаследованный от матери зоркий хозяйский глаз и отцовские умелые руки. На яхте он днюет и ночует; строгая мать хоть и ворчит иногда, но не запрещает, как-никак она моряцкая женка и, может быть, уже догадывается, что моряком будет и сын. Конечно, не подводником, о подводных кораблях она в то время, возможно, и не слыхивала, а торговым моряком, штурманом или — поднимай выше! — одним из тех капитанов дальнего плавания, на которых с традиционным почтением взирает вся Одесса без различия пола и возраста.

За одно лето подростки становятся заправскими моряками. Яхта изучена от киля до клотика и, что самое радостное, начинает их слушаться. В конце лета командир по имени Аркадий (единственный взрослый на яхте, фамилия его не сохранилась в памяти, давно это было) уже заводит разговор о соревновании с гордостью Одесского яхт-клуба — яхтой «Коммунар». Кто быстрее — «Коммунар» или «Карманьола»? Обычно сдержанный, Саша Маринеско приходит в неистовый восторг. Помериться силами с лидером, с фаворитом — на меньшее он не согласен. И сразу начинается тщательная подготовка, проверяется знание парусов и такелажа, идут регулярные тренировки. Успехи ребят настолько очевидны, что в день соревнования командир доверяет Саше Маринеско самостоятельно вывести яхту за маяк.

«Погода в этот день выдалась прекрасная,— вспоминает Александр Петрович,— небо чистое, легкое волнение, попутный ветер. Когда мы выровнялись, была подана через мегафон команда «вперед!», и мы понеслись в открытое море. Не помню, сколько мы проплыли по прямой, вероятно, километров десять, когда раздалась следующая команда «поворот оверштаг!». И вот тут-то случилась беда. Задача моя состояла в том, чтобы несколько отпустить парус, перебросить через свою голову рею, натянуть конец и надежно закрепить его за упор. Но конец вырвался у меня из рук и ударом меня выбросило за борт. Я был оглушен. Вдобавок освободившийся канат обвился вокруг моей шеи, и я здорово перепугался. Саша сидел на руле. В ту же минуту он бросился в воду. Потерявшая управление яхта закрутилась на одном месте, но Аркадий вовремя перехватил руль и еще успел выбросить нам спасательные круги. Когда мы взобрались обратно на палубу, на «Коммунаре» уже закончили маневр и яхта стремительно уходила к берегу. Догнать! Догнать можно было только за счет более искусного управления парусом, подставляя его очень точно по направлению ветра и умело регулируя крен судна весом собственного тела. Для этого нужен большой опыт. Или талант — интуитивное чувство моря и ветра. Опыт у Саши был еще невелик, но, так или иначе, наша «Карманьола» еще до маяка достигла соперницу и первой ошвартовалась у пирса».

Вскоре после парусной гонки у командира возникла идея нового соревнования. Он предложил дальний проплыв — от яхт-клуба до Лузановского пляжа, расстояние немалое, километров шесть-семь вплавь. «Подумайте, ребята,— сказал командир,— если сомневаетесь, то луч-

ше не заводиться». «Никаких сомнений,— сказал мне Саша Маринеско,— не знаю, как ты, а я поплыву».

Руководство яхт-клуба колебалось, допустить ли друзей к заплыву — уж очень они были молоды. Но Саша Маринеско сломил сопротивление. Он умел внушать доверие. И вот в солнечный день на пирсе выстроились отобранные участники проплыва — человек десять. На каждом из них, кроме трусов, был брезентовый пояс со спрятанными внутри иголками — на случай, если в воде схватит судорога. Плывущих сопровождали две лодки: руководство, контроль, помощь. Условлено было, что через час после старта участники имеют право подплыть к одной из лодок и подкрепиться бутербродами. Питья никакого не полагалось.

Плыли дольше чем рассчитывали (часов около пяти) и без сил рухнули на песок Лузановского пляжа. В школе обоих Сашек встретили как героев, от родителей же им порядком досталось. Грозились даже забрать обоих из клуба.

С яхт-клубом в конце концов пришлось расстаться не по приказу родителей, а потому что клуб перебазировался в район Аркадии, ездить туда было слишком сложно. Но еще до расставания с клубом произошел характерный эпизод, о котором рассказал Леонид Михайлович Зальцман, школьный товарищ Саши, также увлекавшийся морским спортом. У Леонида Михайловича, тогда еще Лени, были слабые легкие, плавать ему запретили, ходить под парусом тоже. Впрочем, выход нашелся: Леня увлекся техникой, стал изучать моторы, что помогло ему впоследствии стать классным шофером-механиком. С Сашей Маринеско они учились вместе начиная со второго класса и, сидя на одной парте, привыкли помогать друг другу. Саша в то время разбирался в моторах, может быть, и хуже Лени, но руки у него были отцовские, металл им покорялся. Вдвоем они собрали подвесной мотор, оставалось закрепить последние гайки, но в этот момент клубный моторист, собравшийся катать на моторке какое-то местное начальство, без всяких церемоний забрал у ребят все инструменты. Саша очень рассердился, но не отступил, и гайки пришлось зажимать кустарным способом — зубилом и молотком. Мотор опробовали и подвесили к «двойке», Саша торопил, ему не терпелось выйти в море. Леня предложил взять с собой весла, Саша заупрямился: «Чепуха... Выйдем из любого положения». Он был вроде как капитан, и Лене пришлось подчиниться. Однако прав-то был Леня: не прошла лодка и трех миль, как двигатель забарахлил, что-то от него отвалилось и упало в воду. Остановили двигатель и сразу поняли, что произошло: открутилась гайка, удерживающая маховик. Дальше под мотором идти нельзя, а весел нет. На тревожный вопрос «что будем делать?» Саша с показным легкомыслием ответил: «Ждать. А я пока выкупаюсь» — и как ни в чем не бывало прыгнул в воду. Но выкупавшись, долго и внимательно оглядывал горизонт, издали увидел идущую под парусом рыбачью шаланду, и когда она подошла, попросил взаймы пару весел. Вел он себя с истинно капитанской невозмутимостью, но весьма возможно, что за ней таилась тщательно скрываемая мысль: «В следующий раз я, пожалуй, все-таки захвачу с собой весла».

Если для Лени Зальцмана и Саши Зозули расставание с яхт-клубом было сравнительно легким — у них уже намечались другие интересы,— то Саша Маринеско пережил его болезненно, почти как катастрофу. Без моря и кораблей он уже не мог существовать.

Временный выход из положения все же нашелся. Саша Зозуля случайно познакомился с человеком, работавшим на Центральной спасательной станции. Оказалось, что там нужны ученики, и неразлучные Сашки стали подолгу пропадать на Ланжероне, где помещалась станция. Началась их спасательная служба со скучноватых, но требовавших пристального внимания дежурств на вышке. С этим испытанием они справились легко, опыт сигнальщиков у них был. За-

тем, пройдя первичный инструктаж, друзья были допущены к спасательным операциям и увлеклись ими настолько, что это уже стало отражаться на школьных занятиях. И сразу Саша Маринеско оказался в числе самых смелых и находчивых спасателей. За короткое время он четырежды отличился: спас потерявшую сознание в воде женщину; забравшуюся на глубокое место, но не умевшую плавать молодую девушку; мальчика, захлестнутого волной от винта пробегавшей мимо моторки; подвыпившего мужчину. Уже тогда поговаривали, что ему «везет», но везло все-таки не ему, а тем, кого он спас. Дело было не в везении, а в полноте отдачи, в сосредоточенной воле. Не стремясь во что бы то ни стало первенствовать (за исключением спортивных соревнований, здесь его не устраивало даже второе место), он практически всюду оказывался первым.

В обязанности спасателей не входила подача первой медицинской помощи, для этого на станции дежурили фельдшер или медицинская сестра, но Саша не умел пассивно наблюдать, он научился делать искусственное дыхание и стал помогать медикам. Зозуле запомнился такой эпизод. Во время одного из дежурств на пляже поднялась тревога. Какая-то девушка закричала, что пропал ее младший брат. Саша Маринеско спросил у девушки, в каком направлении она видела последний раз голову брата, и, не теряя времени, бросился в воду. Легко представить себе, что творилось на пляже. Одни с замиранием сердца следили за темной головой Саши, то исчезающей в волнах, то вновь возникающей на поверхности; некоторые осторожные родители поспешили увести с пляжа своих детей, оставшиеся сочувствовали и надеялись, но время шло и надежды становилось все меньше...

А Саша нырял и нырял. Он появлялся на считанные секунды, необходимые, чтобы хлебнуть воздуха и оглядеться. Его голова появлялась то левее, то правее, то ближе, то дальше от берега. Многим уже казалось, что продолжать нет смысла, когда Саша всплыл с бездыханным телом мальчика лет восьми. Мальчик так долго пробыл под водой, что оживить его надежды почти не было. Но Саша, хотя и очень уставший, сразу же принялся делать мальчику искусственное дыхание и не уступил своего места, даже когда приехала «скорая». Упрямо сжав губы, он повторял одни и те же заученные приемы, пока не появились первые признаки жизни: чуточку приоткрылись глаза, дрогнули губы. И тут Саша не выдержал, упал рядом на песок и разрыдался, как маленький.

Спасательная станция могла заменить яхт-клуб только на время. С Сашей Зозулей, Леней Зальцманом, Колей Озеровым дело обстояло проще — при всей любви к морю они прекрасно обходились без него. Сашу Зозулю все больше затягивала общественная работа. В комсомол он вступил раньше Саши Маринеско, и во всех общественных делах заводилой был он. Сухопутные дела тоже увлекали Сашу Маринеско — некоторое время он вместе с Зозулей увлеченно работает общественным контролером в системе госторговли. Сашу Зозулю эта работа захватила настолько, что в какой-то мере определила его дальнейшую профессию. Но что привлекло в ней будущего покорителя морских глубин? Вероятно, органическое отвращение ко всякого рода нечестности и блату, открывшаяся возможность дать им хотя бы на узком плацдарме открытый бой. И позже, когда Маринеско уже был курсантом мореходного училища, Зозуле удавалось вовлекать своего друга в самые разнообразные общественные начинания того времени. Комсомольская организация посылала Зозулю то в «Общество друзей советского фото и кино», то организатором синеблузного коллектива, то на интернациональную работу в клуб «Моряк», и всякий раз Саша Маринеско с увлечением окунался в новую для него среду и непривычные занятия. Однако мысль о море не оставляла его. И он совершил решающий поворот в своей судьбе, крутой, как все его повороты,— бросил школу и ушел в плавание. Матрос на клубной яхте

«Карманьола» — еще детская игра, юнга на учебном судне «Лахта», а затем курсант на знаменитом паруснике «Товарищ» — это уже настоящая морская служба. Не военная, но в чем-то близкая к ней. Море — одновременно друг и противник. Чтобы плавать по морям, нужны здоровье, труд, расчет, выдержка, зоркость, чувство локтя — все как на войне. Вот почему уходом в первое плавание я заканчиваю рассказ о детских и школьных годах Александра Маринеско. И еще не расставаясь с Одессой, ощущаю настоятельную потребность как-то соотнести мальчика Сашу с тем зрелым, много пережившим человеком, которого я близко узнал и полюбил уже после войны. Сделаю я это в наиболее лапидарной форме: задам себе несколько вопросов и попытаюсь на них ответить.

Итак, какое же воспитание получил в детстве мой герой?

С моей точки зрения, прекрасное.

Его не угнетали и не баловали. Почти неограниченная свобода в соединении с привитым с ранних лет чувством долга. Непритязательность, привычка к физическому труду — и широкий круг интересов: книги, техника, политика, искусство. Целеустремленность, которая не выжигает все кругом себя — мир воспринимается гармонически. Была та никем не вычисленная, но реально существующая золотая пропорция, которая позволяет совмещать гордую независимость с дисциплиной, был свой неписаный, но твердый, не поддающийся размыванию кодекс чести. Один для дома и для улицы.

Детство Саши Маринеско подтверждает одну близкую мне мысль А. С. Макаренко, утверждавшего, что основные черты характера складываются очень рано и поэтому воспитание ребенка надо начинать с его первых шагов, если не раньше. Не знаю, обсуждали ли родители, как они будут воспитывать Сашу, и произносили ли вообще слово «воспитание». они были люди не книжного склада, но с самых ранних лет мальчик видел любовно-уважительные, хотя и без лишних сантиментов отношения отца и матери, равную заботу о нем и о сестре, слышал спокойную, блещущую искорками украинского юмора речь, вдыхал запах металла и вареного масла, исходившего от стоявшего в коморе отцовского верстачка, и на ощупь узнавал жесткие и бережные ладони отца.

Таким ли я представлял себе маленького Сашу Маринеско? Похож ли он на того человека, которого я знал?

Да, похож. Конечно, от некоторых стереотипов и заданных представлений, с какими я ехал в Одессу, пришлось отказаться. Характер оказался более самобытным. Самобытность характера заключается не в том, чтобы быть непохожим на других, а в том, чтобы быть похожим на себя. Саше Маринеско пытались подражать, но сам он не подражал никому, даже своим любимым литературным героям. Он хотел пройти океанскими дорогами Маклая, но Маклаем быть он не хотел. Лишнее доказательство того, что умение улавливать сходство с натурой и потребность в подражании — две самые низшие формы восприятия искусства, его нижний этаж. У людей с развитым эстетическим чувством процесс восприятия сложно опосредован и основан на отборе. Я упоминал уже, что твеновские Том и Гек были в числе самых любимых героев Саши Маринеско. Но он нисколько на них не был похож. А если и был немножко, то на обоих сразу, но ни на кого в отдельности. Его тяга к приключениям была не книжной, как у Тома, не анархической, как у Гека. Он не был ни вырвавшимся на свободу пай-мальчиком, ни люмпеном. След, оставляемый в нашей душе любимыми книгами, не типографский оттиск, он не ложится как печать, а вступает с нашим сознанием в длительную реакцию. Взаимодействие происходит не механически, а, так сказать, на молекулярном уровне и дает не всегда предсказуемые результаты.

И наконец последний вопрос. Когда у Саши Маринеско зародилась мечта стать капитаном дальнего плавания?

Очень рано, если понимать под этим не должность, а призвание. Это была не просто мечта. Мало ли ребят мечтают быть моряками? Есть профессии, властно привлекающие детское воображение,— от пожарного в начале века до летчика в век авиации. Нет, это было выношенное решение, заставившее уйти из средней школы за год до окончания, поступиться своей детской свободой и подвергнуться беспощадному отбору, который проходят все, кто из мира детских мечтаний готов перейти в прекрасный, но полный трудов и опасностей мир профессиональных мореплавателей. Влекла не красивая морская форма, не внешние атрибуты профессии, не особый почет, каким пользовались в Одессе капитаны. Влекло — море.

IV. ФИЛЬТР

При всем бесконечном многообразии существующих на свете фильтров их можно условно разделить на два основных рода. На фильтре первого рода осаждаются шлаки. Ценное проходит сквозь фильтр, ненужное остается. У фильтра второго рода задача противоположная — освободиться от лишнего и удержать ценное. При помощи фильтров первого рода изготовляется питьевая вода. При помощи второго промывается золото.

Весь путь Александра Маринеско от матроса на яхте «Карманьола» до командира подводного корабля — это многоступенчатый фильтр второго рода. Один за другим отваливались от морской службы сверстники. Одни находили свое призвание на твердой земле, другие попросту не выдерживали испытания морем. Они уходили, Саша оставался.

Морская служба — трудная и не становится легче. Изменился только характер трудностей, на смену устаревшим приходят другие. Для Саши Маринеско в этом не было ничего неожиданного, о трудностях морской службы он догадался еще в яхт-клубе. Они его не страшили.

Расставшись со средней школой, он сразу ушел в плавание. Устроиться на работу, тем более на пароход, было в то время почти невозможно. Подростков брали только через биржу труда — учреждение ныне позабытое, а многим и вовсе неизвестное. Но помогло давнее знакомство. На Короленко, одиннадцать жил старый моряк, боцман Ткаченко, он знал Сашу с малых лет и был о нем хорошего мнения. Ткаченко привел вчерашнего школьника на пароход «Севастополь», и Сашу взяли. Судя по неофициальному прозвищу «кастрюльник», это была доживающая свой век посудина, но Саша был счастлив. «Севастополь» совершал регулярные рейсы, в четырнадцать лет Саша увидел Крым и Кавказ. Быть может, через год или два плавание на «Севастополе» и надоело бы Саше, но прежде чем это произошло, пришел приказ о зачислении Александра Маринеско в школу юнг.

Это была удача, и, надо думать, не совсем случайная. Кто-нибудь из служащих пароходства заметил быстрого и смышленого паренька и запомнил его не совсем обычную фамилию. Фамилия была морская.

Юнга на морском языке означает ученик, подросток, стажирующийся на классную должность матроса. Школа юнг не готовит юнг, готовит она матросов первого класса. Юнги были на многих судах черноморских линий, большинство приходило без всякой подготовки с биржи труда, по так называемой броне подростков, их так и называли «броневиками». По сравнению с ними Саша Маринеско знал и умел больше. Но настоящие знания и сноровку дала ему школа юнг — старейшее одесское училище. Стать воспитанником такого училища было немалой честью, но и серьезным испытанием. Для многих оно означало выбор профессии. Для Маринеско этот выбор был нетруден, он сделал его раньше. Да и к новому образу жизни он был

подготовлен, и в яхт-клубе и на «Севастополе» он был приучен не бояться никакой работы.

А в школе юнг брать в работу умели.

В первый год обучения шли занятия по слесарному, токарному и столярному делу — матрос должен уметь все. Изучали такелаж и основы навигации. Учили читать корабельные документы и морские лоции. Все это Саше давалось легко. На второй год наука стала потруднее. Весь курс перевели на блокшив «Лахта» — учебное судно, пригнанное с Балтики в Одессу. На «Лахте» жили на казарменном положении, с близким к военному распорядком. Все по звонку или по сигналу горниста. Блокшив стоял на двух якорях около волнолома. Сообщение с берегом — только на шлюпке. Домой только в субботу, да и то если ты не на вахте. Об этом периоде Александр Иванович мне рассказывал мало, и представить себе жизнь в школе юнг мне помогли рассказы сверстников, и в первую очередь Сергея Мироновича Шапошникова.

Сергей Миронович сам по себе заслуживает рассказа. Потомственный моряк. Так же, как Саша Маринеско, начал с яхт-клуба, но познакомился с Сашей только на «Лахте». Во время войны был старшим помощником капитана на героической «Кубани». У этого рефрижераторного теплохода, предназначенного для перевозки скоропортящихся грузов, послужной список, ставящий его в один ряд с прославленными боевыми кораблями. «Кубань» доставляла продовольствие и медикаменты сражающимся испанским патриотам, во время Отечественной войны возила боеприпасы, высаживала десанты на Черноморском побережье и погибла в бою.

Когда мы встретились с Сергеем Мироновичем, он был уже на пенсии. Но жизнь его полна — он страстный книголюб и председатель местного клуба любителей книги. Вот что он рассказал:

«Саша Маринеско сразу привлек мое внимание. Плавал я, пожалуй, побольше, чем он,— мой отец часто брал меня с собой в плавание, но скоро я понял, что Саша и умеет и знает о море больше меня. Характер у него был сдержанный, нужно было приглядеться, чтобы понять, сколько за этой сдержанностью силы, пылкости, способности беззаветно увлекаться. Конечно, он мечтал о дальних плаваниях, но, готовя себя к ним, не чурался никакой черновой работы. Обучали нас старые боцманы, еще царской службы — эти спуску не давали. Привезут на блокшив партию списанных за негодностью манильских тросов, нам задание: плести из них маты и кранцы. Работа только на первый взгляд простая, руки исколешь, пока научишься. Саша умел плести лучше всех и еще помогал товарищам, в том числе и мне. Помогать можно по-разному, иной скажет: «Эх ты! Ни черта ты не можешь. А ну, дай сюда!..» Саша помогал как-то незаметно, чаще всего молча. Подойдет, постоит, посмотрит и как бы невзначай покажет»...

Жизнь на «Лахте» была строгая. Развлечений — никаких. Подолгу без берега. Но даже в этом вынужденном затворничестве была своя прелесть. Ребята очень сдружились. Лучше узнали друг друга. Научились жить так, чтобы никто никого не теснил и не раздражал. Теперь, в эпоху космических полетов и атомных подводных лодок, проблемы психологической совместимости и взаимной адаптации всерьез разрабатываются учеными и учитываются при формировании экипажей. Тогда даже слов таких не знали. Но уже тогда в суровых порядках на «Лахте» был заключен свой глубокий смысл. Это была тренировка, необходимая для любого моряка, и в особенности для тех, кто мечтает о дальних походах. И, конечно, это был фильтр. Не подходит такая жизнь — садись в шлюпку и прощай навек. Никто тебя не держит. Потому что в море будет потруднее. Хочешь быть настоящим матросом — оставайся. Ну а если хочешь не только плавать, но и водить корабли, «Лахта» — это лишь самый первый фильтр. Ибо, как поется в песне, только смелым покоряются моря...

Срок обучения в школе юнг — два года. Маринеско Александру и Шапошникову Сергею как наиболее успевающим и имеющим некоторый опыт плавания его сократили до полутора лет и без экзаменов перевели в Одесский морской техникум, именуемый в просторечии мореходкой.

Из сорока лахтинцев в мореходку перешли восемь человек. Старейшее одесское мореходное училище готовит настоящих моряков. Будущих штурманов дальнего плавания там тоже не баловали. Год напряженной учебы, а затем пятимесячная практика на легендарном паруснике «Товарищ».

Слово «легендарный» применительно к «Товарищу» не расхожий эпитет, которым мы иногда без разбора награждаем многие знаменитые имена. Всякий, кто видел «Товарища» хотя бы на картинке, не может не ощутить, что этот красавец корабль с его высокими мачтами, несущими на себе наполненные соленым ветром паруса, кажется пришельцем из мира легенд, из прошлых веков, когда морские суда назывались каравеллами и бригантинами, а легенда о «Летучем голландце» еще воспринималась как быль. Легендарными фигурами остались в памяти нескольких поколений моряков капитан «Товарища» Фрейман и боцман Адамыч, рассказы о них, по сути достоверные и лишь слегка приправленные фантазией рассказчиков, и сегодня жадно слушаются молодежью, они часть общеодесского фольклора. Мне о «Товарище» рассказывал в свое время Александр Иванович, а в более позднее — его сверстники Сергей Миронович Шапошников и ставшие впоследствии военными моряками Федор Федорович Гусаров и Герой Советского Союза Григорий Иванович Щедрин.

«„Товарищ" имел четыре мачты: фок, 1-й и 2-й гроты и бизань. Три мачты имели прямое парусное вооружение, а бизань — косое. Мы с Сашей были во второй вахте, у третьего помощника капитана Андрея Густавовича Габестро — отличного моряка-парусника. Наша вахта при авралах работала на первой грот-мачте, я на самых верхних парусах (бом-брамселях), а Саша, помнится, чуть ниже — на брамселях. При постановке и уборке парусов, при выполнении поворотов, на приборках и на погрузке балласта можно было на деле узнать «кто есть кто». Парусными работами руководил Андрей Густавович, а на палубе царил боцман Адамыч (фамилию его я забыл), и у обоих Саша был на хорошем счету. Смелый и расторопный, он отлично бегал по вантам и не чурался никакой работы. С ребятами он дружил и пользовался у них крепким авторитетом, «сачков» же презирал всей душой».

Это вспоминает Федор Федорович. Его дополняет Григорий Иванович:

«Фамилия Адамыча была Хмелевский. Об этой колоритнейшей фигуре нашего гражданского флота хранят благодарную память несколько поколений моряков, прошедших морскую выучку у этого грозного на вид, но добрейшего человека, и недаром на его могилу в городе Батуми до сих пор приносят живые цветы. Многие по сию пору помнят его повадки и характерные словечки. Курсантов, которыми он был доволен, он звал орёликами. «А ну, орёлики, взяли!», «Молодцы, орёлики!». Саша Маринеско был из орёликов.

Еще более знаменитым, чем Адамыч, был капитан «Товарища» Фрейман. Его знали, кажется, на всех флотах, военных и торговых, а в Одессе любой мальчишка. Имена капитанов Фреймана и Лухманова — в то время уже инспектора наркомата — назывались всегда, когда речь шла о том, что такое «настоящий морской волк». Это были носители, хранители и ревнители морских традиций, заслужить их похвалу было трудно. Команде шестивесельной гички, где старшиной был Гусаров, а Маринеско загребным, однажды удалось получить лестную оценку от обоих сразу. «Товарищ» стоял на феодосийском рейде, Лухманов прибыл в порт для инспектирования, и Фрейман по-

слал за ним гичку. Ребята с шиком домчали Аухманова к трапу «Товарища». Старый морской волк, тронутый, что его доставили по-морскому, не на моторном катере, а на весельной гичке, оценивший лихость и образцовую выучку гребцов, выходя из гички, благодарил всю команду. Был доволен и Фрейман, ведь шлюпка — это визитная карточка корабля».

Кто-то скажет: «Подумаешь, большое дело — в тихую погоду с шиком прокатить начальство»... И будет не прав.

Между умением и мужеством, между знанием и принципиальностью существует не простая, но ясно прослеживаемая связь.

Много лет назад, еще до войны, мне, работавшему тогда над пьесой о разведчиках нефти, понадобилась специальная консультация, и я встретился с одним из крупнейших специалистов в этой области, профессором Владимиром Александровичем Сельским. Маститый ученый внимательно меня выслушал, затем весьма деликатно расспросил об основном конфликте пьесы, и я рассказал ему об энтузиасте-геологе, который, рискуя своей репутацией, может быть, и чем-то бóльшим, настаивает на продолжении разведывательного бурения, несмотря на то, что на проектной глубине нефть не обнаружена, а люди беспринципные, трусливые готовы остановить все работы, лишь бы не отвечать за возможную неудачу. Владимир Александрович реагировал на мой рассказ сочувственно, но несколько неожиданно:

— Мне кажется, вы всё несколько усложняете. А дело объясняется проще. Ваш геолог — несомненно хороший геолог. Опытный, знающий, талантливый. Защищать свои принципы ему помогает то обстоятельство, что они у него есть. На основе этих принципов он твердо знает, убежден: здесь должна быть нефть. И это убеждение не только помогает, но заставляет его стоять на своем. А его противники, вероятно, хуже знают свое дело, поэтому их легко сбить, они не столько знают, сколько гадают. Поверьте, принципиальность во многом зависит от мастерства.

Признаюсь, в первый момент высказывание профессора показалось мне каким-то чересчур профессиональным и уж очень беспартийным. Оно как бы смазывало идеологический конфликт. А затем я призадумался и понял, что, отнюдь не сбрасывая со счета социальные характеристики моих персонажей, профессор счел полезным обратить мое внимание на профессиональную сторону конфликта, которую он видел лучше, чем я.

Много позже, в послевоенные годы, разговаривая с моим другом, известным летчиком-испытателем Марком Лазаревичем Галлаем, я уловил у него сходную мысль.

— Мне кажется,— сказал он,— что говоря об отваге наших летчиков и в бою и в испытательной работе, нельзя отрывать нравственную сторону от мастерства. Чем больше летчик знает и умеет, чем лучше слушается его машина, тем увереннее он себя чувствует в полете и тем больше может себе позволить, на большее о т в а ж и т ь с я.

«Все это, может быть, и справедливо,— скажет нетерпеливый читатель.— Но при чем тут гичка?»

А вот при чем. Прежде чем заслужить похвалу прославленного капитана, команда Гусарова — Маринеско долго и настойчиво тренировалась, все маневры гички были доведены до полной виртуозности. На первый взгляд особой нужды в этом не было — назначение у капитанской гички самое прозаическое — в порт и обратно к трапу. Но море ставит свои отметки иначе, чем в средней школе: в море тройка — это плохо, а четверка — посредственно. Проходной балл на море — пять. И однажды скромной гичке пришлось держать настоящий морской экзамен, где четверка уже не спасала. Во время стоянки «Товарища» на батумском рейде для курсантов была организована пешая экскурсия на Зеленый мыс. Команде гички было поручено доста-

вить туда продукты для обеда. На обратном пути внезапно налетел шквал, ветер развел сильную волну. Ветер и волны били в скулу, легкую гичку, отнюдь не рассчитанную на штормовую погоду, захлестывало так, что ребята еле успевали отчерпывать воду. Растеряться, допустить самую невинную ошибку — значило перевернуться. И вот через десятки лет товарищам вспомнилось, как вел себя в эти критические минуты Саша Маринеско. Вопреки своему обычному спокойствию он был очень оживлен. И не просто оживлен, а весел. Шутил, подначивал, и его веселая уверенность передавалась другим. На корабль добрались вымокшие, вымотанные, но с тем радостным ощущением, которое рождается не столько избавлением от опасности, сколько преодолением ее, победой над стихией.

Такое же задорное веселье владело Сашей Маринеско во время корабельных авралов. Первое морское крещение на «Товарище» было суровым. На пути к румынским берегам «Товарища» прихватила непогода, внезапно налетевший сильный ветер порвал часть парусов. Волны сильно раскачивали судно и обрушивали свои гребешки на верхнюю палубу. Убирать паруса в такую погоду — задача непростая даже для испытанных «марсофлотов», чем выше рея, тем сильнее размах качелей, клотик чертит в потемневшем небе крутые зигзаги, рея клонится то вправо, то влево, и на мгновение моряк повисает над пучиной. Но медлить нельзя, надо работать — и, вцепившись в рею левой рукой, изловчившись, изо всех сил тянешь правой раздуваемый ветром парус, крепить паруса в непогоду еще тяжелее, чем отдавать. Так рассказывают о штормовой вахте на паруснике все, кого хоть раз поднимали среди ночи, чтобы, натянув на себя штормробу, бежать на верхнюю палубу и строиться по правому борту в ожидании команды «пошел наверх, паруса крепить!». Темнота, в снастях завывает ветер, сечет холодный дождь, угрожающе шумит волна — в ту ночь на вахту вышла только половина состава. Начальник вахты Габестро приказывает: поднять всех наверх! И обычно невозмутимый Саша Маринеско взрывается. Он первым врывается в кубрик. Немногих действительно укачавшихся не трогает, но к сачкам (теперь, я полагаю, всем понятно это слово) он беспощаден — сдергивает одеяла, за ноги вытаскивает из нагретых коек. Через несколько минут вся вахта — за исключением девчат и немногих больных — была уже на реях и крепила паруса по-штормовому. «Товарищ» с честью выдержал испытание штормом, но новички выдержали его не все — и с некоторыми вскоре пришлось расстаться.

А в тихом и даже несколько застенчивом Саше Маринеско эта штормовая ночь открыла для знавших его нечто новое — взрывчатость и зреющую способность вести и повелевать.

Некоторым читателям может показаться странным, что на «Товарище» были девушки. А они были, и в немалом числе, по десять в каждой вахте. Женщина в море! Уже навязло в зубах старинное флотское суеверие, будто женщина на корабле приносит несчастье, и в несколько очищенном от мистических наслоений виде оно бытует и сегодня. На военных кораблях женщин нет по совсем другим причинам — условия жизни и организация службы на них не рассчитаны. Но в том-то и дело, что «Товарищ» не был военным судном. Несмотря на бросающееся в глаза фамильное сходство с описанными Станюковичем корветами и фрегатами, он был всего-навсего РУПС — рабочее учебное парусное судно — и под этим прозаическим обозначением числился за торговым флотом. Грузов он не перевозил, а в качестве балласта нес в своих трюмах многие сотни тонн обыкновенного песка. Единственной его задачей было готовить кадры для торгового флота, а туда, как известно, пути женщинам не заказаны. К тому же и время было такое: женщины страстно стремились осуществить данное им молодой советской властью равноправие и проникнуть туда, где раньше женским духом и не пахло. Так вот и

в мореходке и на «Товарище» девушки были, они проходили морскую практику наравне с парнями и даже лазили на мачты, не в штормовую, понятно, погоду. Упоминаю об этом, чтоб пересказать со слов Г. И. Щедрина один малозначительный, но характерный для Саши Маринеско трагикомический эпизод, сохранившийся в памяти сверстников, плававших вместе с ним на «Товарище».

Шла обычная тренировка. Для того чтобы подняться по вантам на мачту, приходится пролезать через довольно узкое отверстие в прикрепленной к мачте открытой площадке, именуемой марсом. Худощавые узкобедрые парни пролезали в это отверстие без затруднений, но одна из девушек по причине своего плотного сложения застряла в нем — и ни вверх, ни вниз, все ее усилия только ухудшали положение. На палубе захохотали. Саша Маринеско не смеялся. Не говоря ни слова, он сорвался с места, быстро вскарабкался на мачту, перемахнул через ограждение марса и втянул девушку на площадку. И хохот стих.

Плавание на «Товарище» закончилось государственным экзаменом. Принимали экзамены двенадцать капитанов во главе с Фрейманом. Экзаменаторы были нелицеприятны, но беспощадны. После испытаний из сорока курсантов в классе осталось шестнадцать. Эти шестнадцать держали письменный экзамен по навигации.

«На письменную работу,— вспоминает С. М. Шапошников,— было дано два с половиной часа — срок достаточный. Я написал раньше всех, сдал и получил пятерку. Саша Маринеско закончил одновременно со мной, но из чувства товарищества не спешил подавать свою работу. И хотя работа была не хуже моей, получил четверку, оказывается, быстрота расчетов тоже учитывалась при оценке.

Вообще чувство товарищества было у Саши чрезвычайно развито. На второй год обучения нас в порядке морской практики стали посылать в рейсы, в том числе и заграничные. Я был старостой курса, и Саша всегда настаивал, чтобы в наиболее выгодные рейсы посылали товарищей из материально необеспеченных семей. Для себя он никогда ничего не требовал».

Ветеран-подводник Федор Васильевич Константинов, учившийся вместе с Сашей Маринеско в Одесской мореходке, вспоминает о нем с особой теплотой:

«Саша жил на Короленко, и общежитие, где жили многие ребята, ему было не по дороге, но он редкий день не заходил за нами, и мы шли в училище гурьбой. Шли мимо знаменитой одесской лестницы, и нас всегда поражало — Саша узнавал любой «шип». В порту для него не было тайн, он без ошибки угадывал, чье судно, каков его тоннаж, откуда идет, куда направляется. О море он знал куда больше нас. Было голодно, и Саша делал все, чтоб мы могли подработать в порту. Чаще всего грузили по ночам. Из-за этого, бывало, опаздывали на утренние занятия, но на это тогда смотрели сквозь пальцы. Когда улучшились условия — подтянули и дисциплину.

Вот вам характерный факт. Я не выдержал трудностей того времени, стал пропускать занятия, нарушать дисциплину. Меня отчислили. Я сразу поступил учеником матроса на пароход «Трансбалт» — одежда, питание. Один парень меня соблазнял бросить морскую службу и ехать с ним в Донбасс шахтерить. Саша не только был против, но всячески добивался, чтоб я вернулся в мореходку. Выбрал момент, когда начальник был в отпуску, и вымолил у его заместителя приказ о моем восстановлении. Приказ он, торжествуя, принес на «Трансбалт». Этого поступка, определившего всю мою жизнь, я никогда не забуду».

Пять месяцев плавания — и снова за книгу. Как ни любил курсант Маринеско морскую стихию — возвращение на берег тоже имело свою привлекательную сторону. Теперь он опять жил дома с родителями и сестрой, вновь встретился со старыми друзьями с Коро-

ленко, одиннадцать и со своим неразлучным Сашкой Зозулей. Интересы Зозули к тому времени окончательно определились, было уже ясно, что моряком он не станет, его все больше увлекала комсомольская работа. Саша Маринеско, вступивший в комсомол позже своего друга, охотно за ним следует. Морские науки по-прежнему на первом месте, но это не мешает ему с увлечением заниматься общественными делами вне стен училища. За сравнительно короткое время он успел побывать в самых неожиданных ролях: общественного контролера в торговой сети, активиста недавно созданного на Украине «Общества друзей советского фото и кино», участника самодеятельного ансамбля при клубе «Моряк» и даже массовика-затейника. Как это совместить с яростной целеустремленностью, с «фанатической преданностью морю», о которой я столько наслышан от его друзей и сверстников?

Сегодня я нахожу эти увлечения не только совместимыми, но и необходимыми для формирования характера будущего капитана дальнего плавания. Целеустремленность не предполагает узости интересов, и, насколько я понимаю характер Маринеско, всякий фанатизм был ему чужд. Он был создан для подвига, но не для подвижничества.

Кстати, о фанатизме. Чем дольше я живу, тем больше убеждаюсь, что в любом фанатизме нет ничего хорошего. Между целеустремленностью и фанатизмом примерно такая же разница, как между волей и упрямством. Фанатик — это человек, одержимый идеей здоровой или ложной, но даже если идея здоровая, она неизбежно искажается от неспособности фанатика корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся действительностью, от нарушения того, что современная наука называет обратными связями. Фанатизм противопоказан гармоническому развитию личности, и мы совершаем терминологическую ошибку всякий раз, когда бездумно называем людей подвига фанатиками. Бывает, что это делается не без умысла. Враги революции упорно называли Ленина «кремлевским фанатиком». Уэллс проявил бóльшую проницательность, назвав его «кремлевским мечтателем». Ленин был деятелем, творцом, а что такое творчество как не превращение мечты в действительность?..

Нет, Маринеско не был фанатиком. Его жизнелюбие не позволяло ему замыкаться в тесном кругу профессиональных интересов, и если вдуматься, то не так трудно проникнуть в причины его увлечений. Как свидетельствует А. П. Зозуля, Саша был до болезненности чуток ко всякой лжи, нечестности, блату, и возможность дать этим явлениям бой, хотя бы на ограниченном плацдарме, могла на какое-то время захватить его так же безудержно, как все, чем он увлекался. Увлечение кино и самодеятельностью столь же естественно — в нем нашла свой выход присущая ему артистичность. А в клуб «Моряк» его завлекал жадный интерес к людям всего мира, сказывалось полученное им еще в раннем детстве интернациональное воспитание. Интернационализм его был не пассивным, а боевым, подобно большинству своего поколения он еще жил ожиданием мировой революции, и лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» воспринимался им как совершенно реальный призыв к действию. А в ожидании мировых катаклизмов приходилось принимать участие в классовых схватках местного значения.

«В практических плаваниях, как в школе юнг, так и в морском техникуме, мне, как комсомольцу, приходилось участвовать в общественной жизни нашей страны, где в то время шло наступление на частную собственность. Национализировались дубки — парусные суда водоизмещением до 25 тонн. Эти дубки принадлежали кулакам и спекулянтам и использовались ими для своих торговых операций. Нам поручалось перегонять эти суда из херсонской Голой Пристани

в одесский порт. Кулачье сопротивлялось, и нередко дело доходило до драки».

Апрель 1933 года — рубеж. Из сорока человек, принятых на первый курс, окончили техникум четырнадцать. «„Романтики",— написал в своих карандашных набросках Александр Иванович,— отсеялись». Он был прав, заключая это слово в кавычки. Отсеялись романтики в кавычках. Остались настоящие. Такие, как он сам.

Четырнадцать окончивших получили назначения на суда Черноморского флота — третьими и четвертыми помощниками капитана. Саша Маринеско — теперь уже для многих Александр Иванович — был назначен на пароход «Красный флот». Вот что пишет Александр Иванович о своем дебюте:

«Пароход наш был старая посудина водоизмещением около тысячи тонн, плававшая по Крымско-Кавказской линии, и в летнее время использовалась для перевозки зерна. Капитан был опытный моряк, но великий пьяница, и хотя в прошлом он окончил мореходное училище с отличием и сразу же был назначен капитаном танкера, теперь ему доверяли только небольшие суда. Недели две капитан внимательно ко мне присматривался, а затем полностью доверился мне и во время ходовой вахты почти не заглядывал на мостик. Через два месяца я был уже вторым помощником и на этой должности хлебнул порядочно горя. Шли форсированные перевозки зерна из Николаева, Херсона и Скадовска в порты Закавказья. Чтобы перевыполнить план, судно излишне нагружали, до поры до времени все обходилось благополучно. Но однажды часах в двадцати хода от Батуми разыгрался шторм баллов на восемь. Коробочка наша была так перегружена, что шла почти в подводном положении, и повреждений было много, волнами снесло шлюпку и парадный трап. Так дочапали мы до Батуми, и только когда вскрыли трюмы, узнали, что нас спасло подмоченное и разбухшее зерно, оно плотно забило пробоину и прекратило поступление забортной воды».

Однако и на такой коробочке второй помощник капитана сумел отличиться. Было это осенью в районе Скадовска. Стоя на вахте, он различил на горизонте едва заметную точку, она то опускалась, то поднималась на гребнях волн. Доложил капитану, пароход изменил курс и подоспел на помощь терпящему бедствие торпедному катеру, на котором шло из Севастополя какое-то высокое начальство. Взять катер на буксир удалось только после двух часов напряженных усилий, после чего пароход повернул обратно к Скадовску. За смелые и решительные действия второй помощник капитана парохода «Красный флот» А. И. Маринеско получил благодарность от командующего Черноморским флотом и месячный оклад от пароходства. Александр Иванович был доволен, но ему даже в голову не приходило, что это первое соприкосновение с военно-морским флотом будет иметь для него далеко идущие последствия. Через несколько дней он был вызван на медицинскую комиссию, признан здоровым и призван по спецнабору в кадры Военно-морского флота.

Здесь необходимо пояснение.

«Призыв» — слово неоднозначное. Существует закон об обязательной военной службе, согласно которому ежегодно призываются в армию и флот достигшие призывного возраста молодые люди. Неявка на призывные пункты даже в мирное время является дезертирством и преследуется по закону.

Но есть и другой, хорошо нам знакомый смысл слова. Когда призыв опирается не столько даже на закон, а обращен к нашим глубинным чувствам — гражданского и патриотического долга.

Призыв «по спецнабору» ближе к этому второму смыслу. Призванным предстояло принять решение. Было бы лицемерием утверждать, что оно во всех случаях было полностью добровольным. Но все-таки самостоятельным. Одно дело — отслужить два или три го-

да и податься домой. Совсем другое — изменить весь ход своей жизни, избрать новую, по всей вероятности, пожизненную профессию.

Саша Маринеско решение принял. Далось оно ему лишь по видимости легко.

Он не мог не понимать, что с этим решением рушатся все его с детских лет взлелеянные мечты и планы. Что уже никогда ему не пройти морскими дорогами Миклухо-Маклая, не повидать далекие экзотические страны. Что предстоит крутой поворот. Вернее, даже скачок. Из солнечной Одессы, от любимой семьи, от близких друзей — в чужой, туманный Ленинград. Из теплого Черного моря — в глубины холодной Балтики. «Глубины» — не оговорка. Задача спецнабора была — сделать из вчерашних торговых моряков подводников. И может быть, самое существенное: переход из трудной, утомительной, временами опасной, но все же цивильной, гражданской жизни к жестко регламентированному, подчиненному строгой служебной иерархии быту воинской части.

Почему же, зная все это, Саша Маринеско решился в корне изменить свою судьбу? Не значит ли это, что он не хотел стать военным моряком и его к этому принудили?

Попробую ответить на этот непростой вопрос, опираясь на свидетельства самого Александра Ивановича и некоторых его сверстников.

Если говорить только о чисто субъективной, эмоциональной стороне — то безусловно не хотел. Кстати, на этом признании обрываются его скупые автобиографические записи. В своем нежелании он был не одинок. Не хотелось многим, однако они стали не только военными моряками, но и прославленными командирами, как сверстник Саши Герой Советского Союза вице-адмирал Григорий Иванович Щедрин.

Итак, в чем же причина? Наши решения редко имеют одну причину. Но всегда есть главная. Среди второстепенных можно угадать и накипевшее раздражение против однообразия рейсов на перегруженной сверх меры коробочке (других, более интересных вакансий в то время не предвиделось), и присущую Саше Маринеско тягу ко всему неизведанному, но основная причина была, конечно, не в этом, а заключалась она в одном магическом для нашего комсомольского поколения слове. Слово это было: «надо».

Кому надо? Надо стране. В те годы молодежь по призыву комсомола срывалась с родных мест и уезжала на дальние уральские, сибирские, дальневосточные стройки. Комсомол шефствовал над Военно-морским флотом, и количество добровольцев, осаждавших военкоматы, намного превышало скромные в начале тридцатых годов заявки флотов. И не боязнь расстаться с комсомольским билетом, а вошедшее в кровь и плоть чувство долга заставило Сашу Маринеско, недолго раздумывая, сказать себе это «надо».

Вспоминаю Валю Кукушкина с его «пойдем, куда пошлют». Это были люди одного поколения.

У читателя может возникнуть вполне законный вопрос. А было ли действительно надо? Нужно ли было срывать с плавающих судов тщательно отобранных и хорошо подготовленных моряков торгового (то есть надводного) флота и заново переучивать их, чтобы сделать из них подводников? Ведь существуют высшие военно-морские училища, ежегодно выпускающие отлично подготовленных командиров, в том числе и подводников. Угроза новой войны еще не ощущалась как близкая, необходимости в ускоренных выпусках не было никакой. Ответить на этот вопрос мне помог Григорий Иванович Щедрин.

В тридцатые годы развернулось строительство отечественных подводных лодок. Нужны были кадры. Советское командование учло немецкий опыт подготовки лоцманов военного времени. Эти лоцманы ходили на германских подводных лодках как консультанты при

командире. Установлено было, что лучшие лоцманы выходят из капитанов и штурманов торгового флота — они лучше, чем кто-либо, знают, как ходят транспорты. Наши пошли в своих выводах дальше. Поскольку главная задача подводных лодок — охота за транспортами противника, из торговых моряков можно воспитать отличных командиров-подводников, кому как не им знать все повадки грузовых судов. Практика подтвердила расчет — среди отличившихся в годы Великой Отечественной войны подводников много бывших торговых моряков, достаточно назвать С. Н. Богорада, Н. А. Лунина, А. М. Матиясевича, Ф. В. Константинова, В. А. Полещука и самого Г. И. Щедрина.

Понимал ли все это тогда будущий командир «С-13»? Если и понимал, то смутно. Но уже будучи подводником, продолжал гордиться своим званием штурмана дальнего плавания и сердился, когда моряков гражданского флота называли «торгашами». Он любил говорить, что лучшие штурманы выходят из этих так называемых торгашей, и пояснял свою мысль очень наглядно: «Всякий раз, когда отходит от пирса торговый корабль — государству прибыль. А когда военный — чистый расход. У кого, по-вашему, больше опыта?»

Для мирного времени это было не лишено основания.

В ноябре 1933 года Александр Маринеско в числе других призванных по спецнабору прибыл в Ленинград, был обмундирован, получил знаки различия командира 6-й категории (нынешних воинских званий тогда еще не было) и направлен в штурманские классы специальных курсов командного состава. Вместе с ним приехала в Ленинград Нина Ильинична Маринеско, урожденная Карюкина. Свадьба их состоялась незадолго до отъезда из Одессы.

Начиналась новая эра. Слово, быть может, чересчур торжественное, но для Александра Ивановича прощание с Одессой было не простой переменой адреса, а обрывом многолетних связей и погружением в новую, незнакомую среду. Все нужно было строить заново.

V. ЛЮБОВЬ И ДОЛГ

О начале своей военно-морской службы Александр Иванович рассказывал мне мало. Однако не скрывал, что временами был близок к отчаянию.

Приспособление, или, как теперь говорят, адаптация, к новым условиям происходило мучительно.

Старые товарищи, наблюдавшие Сашу Маринеско в первые месяцы, единодушно отмечают драматический разрыв между сознательно принятым решением и гнездившимся в его душе глубоким сопротивлением этим новым условиям. Г. И. Щедрин вспоминает: «Саша учился хорошо, никаких претензий к нему ни у командования, ни у комсомольской организации не было, но настроение у него временами было подавленное, и я знал почему. Знал, потому что и сам переживал нечто подобное».

С. М. Шапошников по окончании морского техникума, так же как Маринеско, стал помощником капитана и вместе со своим капитаном ездил в Норвегию — принимать новое судно. На обратном пути в Ленинграде узнал адрес курсов и добился свидания. Саша со своей обычной сдержанностью не жаловался на судьбу, но врать не стал. Признался, что скучает по Одессе, по Черному морю, по родному дому...

Теперь у него было два дома — родительский в Одессе и своя семья в Ленинграде, жена Нина, дочь Лора. Человек, о похождениях которого впоследствии столько судачили, был преданным мужем и ласковым отцом. А видеться с ними приходилось урывками.

Легче всего изобразить противоречия, обуревавшие в то время слушателя спецкурсов Маринеско, как столкновение еще не утра-

ченных «нравов одесской вольницы» с разумной воинской дисциплиной. Но это было бы ошибкой. Командир 6-й категории Маринеско никогда, даже в ранней юности, не был противником дисциплины. Мореплавание вообще дисциплинирует, и любой настоящий моряк, а Маринеско к тому времени был уже настоящим моряком, прекрасно знает, что торговое судно, так же как военный корабль, не терпит анархии. Уходя в плавание, торговый моряк надолго расстается с семьей, и в этом смысле его быт мало чем отличается от быта военного моряка. Все это Маринеско не только знал, но умел подчиняться и требовать; за время обучения на курсах — ни одного дисциплинарного взыскания. Угнетало его другое. Возвратившись из плавания и ступивши ногой на твердую землю, торговый моряк обретает свободу. Он уже не подчинен своему капитану и волен в своих поступках. В своем неприятии казарменного быта Александр Иванович был не одинок. Среди его товарищей по курсу были люди, не менее остро переживавшие изменение привычных мерок. Будь они обычными призывниками, им было бы проще освоиться, но несмотря на свою относительную молодость, они уже хлебнули другой жизни, ничуть не более легкой и даже более ответственной, но другой. Дипломированные штурманы, в недалекой перспективе капитаны черноморских судов, здесь они вновь превращались в курсантов. Многое пришлось постигать с азов.

Через четверть века Александр Иванович записывает в тетрадку: «Учеба на курсах первое время шла у нас плохо. Военная служба многих не устраивала, больше всего не любили мы строевые занятия и всякое, даже на короткое расстояние, передвижение строем. Многие у нас стали нарочно плохо учиться в надежде, что их отчислят. Неизвестно, чем кончилась бы эта «итальянская забастовка», если б не влияние преподавателя астрономии и навигации Малинина. Малинин, в прошлом флагманский штурман флота, был культурнейшим моряком и вызывал у нас, молодых, чувство глубокого уважения. Летом 1934 года он руководил практическими занятиями курса на Каспийском море и прекрасно разобрался в психологии подопечных. Когда кто-то притворялся, что не знает предмета, Малинин мгновенно его разоблачал, в людях он разбирался не хуже, чем в астрономии. А под конец практики, собрав всех для беседы, в безупречно вежливой форме, но очень твердо предупредил: если кто-нибудь рассчитывает, что его отчислят по неуспеваемости и он вернется на торговый флот, то это заблуждение. Скорее всего этих товарищей пошлют отбывать воинскую повинность рядовыми матросами на малые корабли».

Здесь не обойтись без некоторых уточнений.

Александр Иванович точен, говоря, что поначалу учеба на курсах шла плохо. Но сам-то он учился хорошо, об этом свидетельствует приведенный выше отзыв Г. И. Щедрина. Уж во всяком случае неучем он не притворялся, и если по окончании практики на Каспии курсант Маринеско с удвоенной энергией принялся за военные науки, то не потому, что в деликатном предупреждении Малинина была закапсулирована угроза. Угрозы на Маринеско не действовали, он становился упрям. Мог и вспыхнуть: «Отчисляйте! Отслужу что положено и вернусь в Одессу». Значит, дело было не в угрозе. Просто ему было противно делать что-нибудь плохо. Да и другие после Каспия начали заниматься всерьез.

Маринеско попал в самую сильную группу и окончил курсы досрочно.

Военная служба ему по-прежнему не нравилась. Особенно остро он переживал случаи, когда ему доводилось сталкиваться с начальственной грубостью или высокомерием. Эта черта сохранилась в нем до конца жизни. Безотказный на службе, вне службы бывал строптив и очень чувствителен к тону. Знал, что нельзя возражать, но

иногда срывался. В особенности он не терпел, когда вчерашний однокашник, поднявшись на одну служебную ступеньку, резко менял стиль отношений со вчерашними друзьями. Мне приходилось слышать (говорили это люди в высоких званиях), что Маринеско был чрезмерно обидчив. Но не принимаем ли мы иногда за обидчивость развитое чувство собственного достоинства?

Маринеско обижать людей не любил, и когда ему случалось нагрубить кому-нибудь, каялся. Бывало, грубил старшим. А когда срывал раздражение на подчиненном, умел признать свою вину и старался загладить. Это его качество высоко ценилось обеими командами — на «М-96» и на «С-13» — и потому на него редко обижались.

Запомнился мне такой разговор.

«Многим из нас,— сказал он в одной из наших бесед,— не хватает хорошего воспитания. Не в смысле идейном, а в смысле манер. Известно, что офицеры старого флота в своем кругу соблюдали корректность, дух кают-компании, обращение даже к младшим по имени-отчеству... Не так глупо».

Александра Ивановича во время его срывов я ни разу не видел. А в обычное время он на меня производил впечатление человека хорошо воспитанного — простого в обращении, без тени фанаберии или панибратства.

Но я отвлекся. Маринеско отлично окончил курсы, однако свой переезд на Балтику и переход в кадры военного флота он по-прежнему воспринимал драматически. Драма заключалась в том, что долг был в несогласии с чувством.

Долг велел, а сердце не лежало.

На борении любви и долга построена бóльшая часть конфликтов в произведениях мировой литературы. Конечно, если любовь понимать широко — не только как любовную страсть. Впрочем, и понятие долга требует диалектического подхода. С точки зрения феодальной морали, Ромео должен был не любить Джульетту, а уничтожать ее родственников. И разве долг присяги хоть сколько-нибудь оправдывает палачей Освенцима и Треблинки?

В большинстве книг торжествует долг, и мы, читатели, относимся к этому с одобрением. Почему так, нетрудно понять. Долг диктует общество. Любовь — удел частного лица. Примат общественного над личным. В хороших книгах долг торжествует ценой жесточайших страданий или даже гибели героя. В плохих — с обескураживающей легкостью.

Конфликт, переживаемый командиром 6-й категории Маринеско, был не из легких.

В самом деле — можно из чувства долга отказаться от любых материальных благ. Для порядочного человека это никогда не становится трагедией.

Можно из чувства долга отказаться от любви. К примеру, остаться в семье ради детей. Пожертвовать своим счастьем, чтобы не приносить страданий близким. Трудно, но можно.

Можно, наконец, пожертвовать жизнью. В бою.

Но пожертвовать жизнью, так сказать, в рассрочку, всю жизнь жить не своей жизнью, делать не свое дело?

Вероятно, тоже можно. Но очень тяжело. Не все это выдерживают.

Из этого положения надо было искать выход. И он нашелся.

Раз ничего нельзя изменить, надо заставить себя полюбить. Еще раз сказать себе «надо».

Возможно ли это? Оказалось, возможно. Ведь долг — не только понятие. Долг — чувство. Чувство долга. И чувство, не отгороженное непроницаемой стеной от любви. Воинский долг неотделим от любви к родине. Значит, надо не только одним из первых закончить

учение, надо вложить всего себя в новую профессию, сделать ее призванием. Надо и в ней стать одним из первых.

Опять крутой поворот. На этот раз он потребовал времени. Сколько? Трудно сказать. Но когда в январе 1937 года Александр Иванович приезжает в Одессу на свадьбу своего друга Николая Ефимовича Озерова, и у родных и у всех ближайших друзей создалось впечатление, что Саша свое призвание нашел.

Но я забежал в тридцать седьмой, а Маринеско окончил курсы в тридцать пятом. И получил назначение дублером штурмана на подводную лодку «Пикша», входившую в состав Краснознаменного Балтийского флота и стоявшую в Кронштадте.

Я веду свой рассказ не для одних моряков и потому считаю нелишним хотя бы в самых общих чертах рассказать, что представляла из себя «Пикша», а заодно что такое подводная лодка вообще. Переход с надводного корабля на подводный — рубеж в своем роде не менее значительный, чем переход с торгового судна на военный корабль. Даже в мирное время служба на подводных лодках была тяжелее и опаснее. Любая небрежность в несении службы может обойтись очень дорого: неплотно закрытый люк, ошибка рулевых... В отличие от надводных кораблей у субмарины, кроме вертикального руля, есть горизонтальные, они регулируют глубину погружения, и надо все время помнить, что с каждым десятком метров давление воды на корпус лодки возрастает на одну атмосферу. Провалиться ниже предельной для данного типа лодок глубины — это примерно то же самое, что войти в штопор для летчика, разница только в том, что подводник лишен возможности катапультироваться и ему предстоит долгая мучительная смерть в смятой чудовищным давлением стальной коробке. Плавать на подлодках в тридцатые — сороковые годы означало спать в душных отсеках на узеньких койках в три смены, экономить пресную воду, спрашивать разрешения командира на то, чтоб перейти из отсека в отсек, даже на то, чтоб пойти в гальюн. Это значило во время долгих подводных переходов мечтать о глотке свежего воздуха, а во время надводного хода рассматривать как великую удачу возможность подняться на мостик и там покурить или просто подышать соленой влагой. На нынешних лодках, как атомных, так и дизельных, многие проблемы, в частности проблема регенерации воздуха, решены кардинально, но в то время автономность, то есть способность лодки находиться в отрыве от базы, была ограниченной, а каждый лишний час пребывания под водой отзывался звоном в ушах.

Конечно, не опасности и не лишения, связанные с подводным плаванием, отталкивали на первых порах штурмана Маринеско. Он был здоров, неприхотлив, а уж смелости ему было не занимать стать. И все же он испытал то стеснение духа, какое испытывает почти любой новичок, впервые заглядывая в узкую горловину рубочного люка и нащупывая ногой скользкую никелированную перекладину ведущего в центральный отсек отвесного трапа. По этому трапу ему предстоит научиться скользить вниз с головоломной быстротой, как только раздастся сигнал к срочному погружению. А из центрального поста, если люк не закрыт, небо кажется маленьким голубоватым диском, будто смотришь в телескоп на далекую планету. Нужно было время, чтобы после черноморского приволья привыкнуть к тесноте отсеков, узости люков. Нужно было время, чтобы научиться определять место корабля не по солнцу и звездам, а втемную, по числу оборотов двигателя.

«Пикша», на которой начал свою подводную службу Александр Иванович, была для своего времени очень хорошая лодка, принадлежащая к типу «щук». Однотипным кораблям принято давать однотипные названия. Существовала некогда лодка, названная «Щукой», в дальнейшем все лодки этой конструкции стали получать при кре-

щении рыбьи имена. Затем с ростом нашего подводного флота все такие лодки стали именоваться «щуками» уже со строчной буквы и обозначаться литерой «Щ» плюс порядковый номер. «Пикша» была «Щ-306». Это была субмарина среднего для того времени тоннажа, побольше, чем «М-96», и поменьше, чем «С-13»,— я называю лодки, которыми впоследствии командовал Маринеско. Лодки среднего тоннажа считались, и не без основания, наиболее подходящими для операций в Балтийском море и в первый период войны показали себя как наиболее результативные. Чем меньше лодка, тем больше у нее шансов проскочить через сети и минные заграждения, но и меньше автономность. Вскоре после прихода Маринеско на «Пикшу» лодку стали готовить к многодневному походу. Предстояло побить рекорд автономного плавания для этого типа лодок.

Александр Иванович говорил мне, что этот последний рубеж — превращение в подводника — дался ему тоже нелегко. Трудности были скорее психологические. Небольшого роста, физически крепкий, он быстро научился ориентироваться на лодке, легко освоил штурманское хозяйство, включавшее наблюдение, связь и управление рулями, разбирался уже и в машинах и оружии. За работой он не скучал, к дальнему походу готовился с рвением, но в обычное время подолгу жить без берега не умел, а лодка по многу суток стояла на рейде, иногда без особой нужды, и тогда настроение у Александра Ивановича портилось.

Ветеран-подводник В. А. Иванов, пришедший на «Пикшу» вместе с Маринеско, вспоминает:

«В 1935 году я был дублером минера, а Саша — дублером штурмана. Ходили вместе в длительный автономный поход. 46 суток для «щуки» — это очень много. В таких походах человек раскрывается полностью. Саша был настоящий моряк, службу нес безупречно. Видно было, что он готовит себя к самостоятельному управлению кораблем, через несколько месяцев он отлично знал не только свою боевую часть, но и всю лодку. Веселый, жизнерадостный, команда его сразу полюбила».

В служебной аттестации того времени наряду с высокой оценкой Маринеско как моряка и командира были и замечания: недостаточно дисциплинирован, упрям, слабо участвует в общественной работе. Я напомнил об этом Владимиру Алексеевичу. Он засмеялся.

«Созорничать мог. Только не на корабле. Упрям? Скорее упорен. Уж если что задумал — колом из него не выбьешь. А насчет общественной работы не берусь ничего утверждать. Возможно, и не до того было. Молодая жена, маленькая дочка, быт неустроенный... Характер у Саши был как раз общественный».

Рассказывали мне такой случай. Со стоявшей неподалеку от «Пикши» подводной лодки видели, как ночью на рейде появилась какая-то таинственная гичка. Когда гичка подошла к «Пикше», в ней оказались Саша Маринеско и Володя Иванов, явно опоздавшие из увольнения на берег. Гичка была дырявая и, как только из нее перестали вычерпывать воду, затонула.

Подобные эскапады сегодня вспоминаются с улыбкой, но нет сомнения, что предприимчивые мореплаватели получили тогда основательную головомойку.

При всем при том аттестации у друзей были хорошие. В Москве я познакомился с двумя заслуженными моряками в контр-адмиральских званиях, помнящими Маринеско по совместной службе на «Пикше». И. В. Коваленко был инженером-механиком, Б. Н. Бобков — комиссаром корабля.

«Саша и Володя пришли к нам на лодку одновременно и сразу прижились. Служили исправно, обоим хотелось поскорее покончить с дублерством и стать полноправными командирами боевых частей корабля».

Это отзыв И. В. Коваленко, а Б. Н. Бобков при упоминании имени Маринеско заулыбался. «Настоящий моряк,— сказал он мне.— Уже тогда было понятно: будет боевым командиром».

В ноябре 1937 года штурман Маринеско направляется на высшие курсы командного состава при Учебном отряде имени Кирова. Окончившие курсы приобретали право самостоятельного управления кораблем.

К 1937 году переломный период в жизни Александра Ивановича вчерне закончился. Он уже считал себя подводником. Учиться он хотел и учился еще лучше, чем прежде. Перед ним была ясная цель.

И вдруг как гром среди ясного неба...

Летом 1938 года в разгар практических занятий на курсы приходит приказ: слушателя курсов Маринеско А. И. отчислить и демобилизовать из флота.

Сегодня, через несколько десятилетий, нет особой нужды доискиваться причин такого неожиданного удара. Несомненно одно — приказ не был связан с каким-либо проступком слушателя Маринеско. Вероятно, какое-то чисто анкетное обстоятельство вроде румынского происхождения отца или кратковременного пребывания малолетнего Саши на территории, занятой белыми, вызвало чей-то бдительный интерес. Полный сил и трудового энтузиазма моряк оказался вне флота и вообще без дела. Попытался устроиться на торговый флот, но и там получил отказ.

Это было больше чем катастрофа, это было оскорбление. Требовать объяснений бессмысленно, оставалось ждать. Единственное утешение заключалось в том, что друзья не отвалились, как нередко случалось в то строгое время, ничьи двери перед ним не закрылись. У Владимира Алексеевича Иванова и его жены Людмилы Степановны семья Маринеско по-прежнему встречала теплый прием.

Как переносил Александр Иванович мучительное для него изгнание? Молча. Насколько мне известно, он не ходил по инстанциям и не писал заявлений. Раньше ему не хватало свободного времени. Теперь его стало слишком много. Он продолжал встречаться с немногими друзьями, полный благодарности за поддержку, старался помочь им в быту, потратил несколько дней, чтобы разыскать хороший и недорогой радиоприемник для Ивановых, но о своих переживаниях говорить не хотел, на расспросы отвечал коротко: «Произошла ошибка. Разберутся». В этом сказалась свойственная ему деликатность — не хотел нагружать друзей своей бедой, не хотел заставлять их открыто выражать свое отношение к событиям, в которых недостаточно разбирался сам. И он замкнулся. При этом не стал угрюмее или резче, наоборот, все встречавшиеся с ним в то время отмечают, что он стал как-то мягче, задумчивее. Старался себя занять, иногда просто бродил по городу, избегая, впрочем, пристаней. Кронштадт стал для него закрытым городом, и хотя Александр Иванович знал, что большинство подводников своего отношения к нему не изменили, не хотел случайных встреч. Было тяжело отвечать на вопросы, если же товарищи после первых приветствий тактично замолкали — оставался неприятный осадок. И Маринеско как бы отступил в глубь Ленинграда, в его южную, материковую сторону, столь отличную от ставшей уже привычной приморской, островной, северо-западной части, где в хорошую погоду пахнет морем, а над водой с криками носятся чайки.

Теперь он жил с семьей в рабочем районе, на проспекте Стачек. Строил ли он какие-нибудь планы? Любые, кроме возвращения в Одессу. Это значило бы признать поражение. Можно только догадываться, какие душевные штормы таились за внешней непроницаемостью безработного штурмана. Подумывал поступить на завод, но боялся очередного отказа. В начале шестидесятых годов мы с Александром Ивановичем говорили о многом вполне откровенно, но этого периода он почти не касался. По сравнению с постигшими его в дальнейшем

жизненными испытаниями несколько недель вынужденного безделья остались в его памяти только как нелепый эпизод, и, мне кажется, он сам не понимал, какой незаживающий рубец они оставили в его душе. Пройти через строжайший отбор, по доброй воле переломить себя, изменить весь ход своей жизни, предаться всей душой своему новому призванию — и быть выброшенным без объяснений, как кусок шлака. Такое даром не проходит. К счастью, продолжалось это изматывающее душу состояние, в котором смешались обида, горькое ощущение своей ненужности и тревога за семью, сравнительно недолго.

Так же неожиданно, как приказ о демобилизации, пришел приказ явиться для дальнейшего прохождения службы. Что произошло? Когда я в послевоенные годы задал этот вопрос Александру Ивановичу, он засмеялся и предложил мне спросить что-нибудь полегче. Вероятно, кто-то, обладающий властью, перелистал личное дело Маринеско, увидел хорошие аттестации, затем проглядел подчеркнутые красным карандашом строчки автобиографии и пожал плечами. И через несколько дней, одетый в морскую форму, с золотыми нашивками на рукавах, слушатель Маринеско вновь появился на базе Учебного отряда.

Мне рассказывал Сергей Сергеевич Могилевский — в войну боевой командир корабля, а в ту пору преподаватель высших курсов,— с каким упоением принялся курсант Маринеско наверстывать упущенное: «Я руководил занятиями на приборе торпедной стрельбы. Александр Иванович стрелял отлично, но ему все было мало. Когда курсанты разошлись и кабинет опустел, он задержал меня и попросил дать ему еще одну задачу, какой-то вариант. Отказать я не мог».

Можно считать, что командиру 6-й категории Маринеско, в общем-то, повезло. Потрясение его не разрушило, не пошатнуло его веры в людей, его нарождавшейся и только начинавшей крепнуть любви к военному флоту. Но даром не прошло. Именно в это самое время Александр Иванович начал помаленьку выпивать.

Начал — в точном смысле слова. Нет, не запил. И если кто-то понял меня так, что до той поры Маринеско «пил, как все люди», а тут стал выпивать крепко, то он ошибается. Раньше Маринеско не пил вовсе. Увлеченный спортом, всегда чем-то очень занятый, он не прикасался к водке. Даже к молодому вину, которое в солнечной Одессе и за алкоголь не считается, был равнодушен. В ассортимент юношеских представлений о настоящем морском волке почти неизбежно входит умение за один присест осушить бутылку доброго ямайского рома. Саше Маринеско все это было чуждо.

Вынужденное безделье и горькие думы оказались подходящей почвой для первого знакомства с крепкими напитками. Выпивал Александр Иванович в то время умеренно. Без всяких эксцессов. Притом совсем не так, как заливают горе. Не мрачнел, не изливал душу случайным собеседникам. Наоборот, старался веселить компанию, пел песни, русские, украинские, пел хорошо, с чувством, но без надрыва. Не растравлял себя, а хотел отвлечься.

Стало уже почти аксиомой, что пьют люди от бездуховности, отсутствия общественных интересов, от пустоты. Вероятно, в большинстве случаев это действительно так. Но всегда ли? Нередко пьют люди с богатой духовной жизнью, люди одаренные, творческие, одержимые самыми благородными идеями. Пьют люди, поставленные в экстремальные условия. Если б в осажденном Ленинграде мне встретился хоть один человек, отказавшийся от стопки водки, я несомненно его запомнил бы. Тот, кто хоть немного соприкасался с жизнью военного моряка, знает, как спасительна чарка после штормовой вахты, после корпусных работ в легководолазном костюме, после изнурительного напряжения дальнего похода.

Саша Маринеско умел обходиться без чарки в самых напряженных ситуациях, могучее здоровье защищало его и от непогоды и от

перегрузок. А вот когда концы перестали сходиться с концами — не сумел. Образовалась трещинка, рубчик, маленький очажок, из тех, что в нормальных условиях дремлют, но перерастают в опухоль или каверну, если их бередить.

Александр Иванович возвращается в Учебный отряд несломленным. Он полон энергии. Что ни аттестация, то похвальный лист. В том же году он оканчивает курсы, получает звание старшего лейтенанта и право самостоятельного управления кораблем.

Назначение командира боевой части, будь он штурман или минер, командиром подводной лодки — всегда событие. Ответственность командира корабля, даже если этот корабль — «малютка», несомненно выше, чем ответственность командира боевой части на средней или даже большой лодке. Большая лодка или маленькая — командир всему голова. В подводном положении у лодки всего один глаз — перископ. В перископ смотрит командир. Только он принимает основные решения — о курсе, скорости, погружении и всплытии и о конечной цели всех эволюций лодки — о торпедной атаке, учебной в мирное время, боевой во время войны. Если во время своего дублерства на «Пикше» Саша Маринеско еще мог ощущать себя шустрым лейтенантиком, которому и пошалить можно, потому что над ним есть командир корабля: командир и пожурит, и поправит, и посоветует,— то вступив в командование подводной лодкой «М-96», Александр Иванович сразу повзрослел от груза огромной ответственности, свалившейся на его плечи. Предстояло отвечать не только за свои поступки, но за действия каждого матроса, за его поведение на корабле и на берегу, за боевую подготовку и боевой дух экипажа. Короче говоря, за все.

Казалось бы, отличное знание лодки среднего тоннажа должно было облегчить молодому командиру освоение «малютки». В чем-то, конечно, и облегчило, но с первых же дней обнаружились непредвиденные трудности, заставившие Александра Ивановича с головой окунуться в повседневные заботы.

Главная из этих трудностей заключалась в том, что «М-96» была совершенно новая лодка, проходившая в Кронштадте обычные испытания. Новая лодка — значит, новая команда, еще неспаянная, не накопившая совместного опыта и традиций. Все надо было создавать. Почти полгода на лодке крутились строители. Отношения с ними установились прекрасные, но их присутствие не могло не затруднять повседневное несение корабельной службы. В семидесятом году инженер-судостроитель Илья Иванович Федоров, возглавлявший в 1936—1939 годах выездную группу строителей, пишет своему другу, известному подводнику И. С. Кабо, в прошлом тоже малюточнику:

«Мне приходилось часто встречаться по работе с Александром Ивановичем Маринеско. Почти ежедневно был с нами и другой Александр Иванович — Мыльников, он принимал от нас «М-97». Были они большими друзьями. С начала июня и по 18 ноября 1939 года мы были вместе. Простились мы, строители, с Маринеско и Мыльниковым в ресторане «Астория», там было устроено торжество в честь сдачи и приемки судов «М-96» и «М-97». Александра Ивановича мы сразу оценили и горячо полюбили. У нас на заводе много осталось в живых участников строительства этих судов. Мы гордимся подвигом А. И. Маринеско и будем помнить его».

Упомянутый в письме А. И. Мыльников был близким другом Маринеско. Он раньше, чем Маринеско, был назначен командиром лодки типа «С», отлично воевал и погиб в 1943 году. Мыльникова я хорошо знал, и, как теперь мне кажется, у него в характере было много общего с Маринеско.

Вторая — и немалая — трудность состояла в том, что по причине малых размеров на «малютках» тридцатых годов не были предусмотре-

ны должности помощника командира и военкома. Три вахтенных командира, включая самого командира корабля, и инженер-механик — вот и весь средний командный состав. Большинство командиров кораблей, прежде чем стать командирами, какое-то время ходили в помощниках. Маринеско помощником никогда не был. Опыта политической работы на корабле у него тоже не было.

Несколько слов насчет особой роли помощника командира на военном корабле. Обязанности его примерно такие же, как у старшего офицера в старом флоте. Может быть, отчасти поэтому в наше время помощника командира принято именовать старпомом, хотя формально старшие помощники бывают только на больших кораблях, где помощников два. Это знак уважения. Старпом по давней флотской традиции — глава кают-компании, арбитр во всех могущих возникнуть спорах и недоразумениях, он следит за соблюдением порядка, воинского этикета и субординации, за внешним видом корабля и команды, за несением корабельных нарядов, всех его многообразных обязанностей я не берусь перечислить. Быть хорошим старпомом — это значит быть в хорошем смысле слова служакой, неусыпным и всевидящим оком командира и в чем-то даже педантом.

Неизвестно, как справился бы Александр Иванович со всеми этими трудностями, если б во главе дивизиона «малюток» не стоял такой талантливый воспитатель, как Евгений Гаврилович Юнаков. С приходом Александра Ивановича на дивизион начинается их дружба, прервавшаяся только со смертью Юнакова. Юнаков умер позже, но я не оговорился, он и после смерти Маринеско оставался его другом. Дружба эта была особая, на первых порах совсем не равная, Юнаков был старшим — по возрасту, по званию, по должности и, что важнее всего, по зрелости, по опыту. Он сразу разгадал то, что я назвал бы «парадоксом Маринеско». Парадокс состоял в том, что при выдающихся командирских качествах Маринеско еще не тянул на хорошего старпома. И Юнаков, сразу привязавшийся к Маринеско и так же сразу завоевавший у него глубокое уважение, поставил перед собой непростую задачу — воспитать в молодом и явно одаренном командире корабля недостающие ему «старпомовские» качества, нащупать в нем военную косточку. Он учил командира «М-96» требовать и заботиться. Самому Александру Ивановичу пришлось испытать на себе не только заботу, но и требовательность комдива. Существует такой расхожий афоризм: «Тяжело в учении, легко в бою». Легко в бою не бывает, но афоризм тем не менее совершенно справедливый, и Юнаков не давал своему молодому другу никаких поблажек. Как говорил мне потом Евгений Гаврилович: «Моряка из Саши делать не надо было. Надо было делать военного моряка».

Однако воспитать в Маринеско старпомовские качества — это было еще не все. Надо было привить ему комиссарские.

Необходимость политико-воспитательной работы с командой доказывать незачем. Она ясна всем. На всех лодках, кроме «малюток», эту работу вели военные комиссары. Напомню только, что институт военных комиссаров, введенный в тридцатые годы, был отменен во время войны, опыт показал, что на военном корабле не может быть двоевластия. Вчерашние комиссары стали заместителями командира по политчасти, что нисколько не отразилось на их авторитете и только развязало руки для повседневной воспитательной работы. Навыка к такой работе у Маринеско не было, и пришлось ему в дополнение ко всем своим многочисленным обязанностям засесть за изучение политической литературы. Беседа в краснофлотском кубрике, знаю это по собственному опыту,— серьезное испытание для политработника. Подводники, как правило, ребята острые, начитанные, вопросы задают самые неожиданные, и ответить на них кое-как нельзя, лучше совсем не отвечать. Александр Иванович иногда так и делал: обещал выяснить, подумать и ответить в следующий раз,— это только вызы-

вало доверие. Много было вопросов о фашизме, о внутренней и внешней политике гитлеровского рейха, о советско-германском договоре 1939 года. Александр Иванович был уже тогда глубочайшим образом убежден, что Гитлер его нарушит, но говорить на эти темы надо было осторожно, не ставя под сомнение целесообразность договора.

Ненависть к фашизму во всех его вариантах — в сравнительно устоявшемся итальянском или в еще набиравшем силу германском — жила в Саше Маринеско всегда. Его свободолюбивой и открытой добру натуре было чуждо все, с чем связан фашизм, не важно какой — классический гитлеровский или с приставкой «нео»: агрессивность, культ солдатчины, презрение к другим народам и в конечном счете к своему собственному. Но глубоко осознанной эта ненависть стала, когда ему, командиру-единоначальнику, пришлось заняться политическим воспитанием своего экипажа.

Есть такой шутливый афоризм — хочешь научиться, начни преподавать. В шутке этой немалая доля истины. В непривычной поначалу комиссарской должности крепла его любовь к военному флоту и оттачивалась ненависть к врагу. Он знал, кто будет этим врагом. Доходившие до Маринеско сведения о бесчинствах гитлеровцев у себя дома и на захваченных территориях приводили его в ту особую холодную ярость, какую нельзя разрядить, а можно только копить до решающей схватки.

О том, как рьяно взялся за дело молодой командир корабля, можно судить даже по очередным аттестациям. В аттестации, подписанной Юнаковым в декабре 1939 года, наряду с общей высокой оценкой есть и критические замечания: еще хромает дисциплина. Выводы: должности соответствует; достоин звания капитан-лейтенанта в 1940 году; в военное время может командовать «малюткой». В 1940 году он уже капитан-лейтенант и в новый, 1941 год вступает с аттестацией, которую мне хочется привести полностью:

«Предан партии, систематически изучает историю ВКП(б) по первоисточникам, решителен и смел, сообразителен и находчив, умеет быстро оценивать, ориентироваться и принимать правильные решения как в простой, так и в сложной обстановке. Дисциплинирован, отличный моряк, оперативно-тактически подготовлен хорошо, умеет сочетать теорию с практикой, настойчив, умеет передать подчиненным свои знания, навыки и боевой дух. Чувствует ответственность за порученное ему дело. Способен пренебрегать личными интересами для пользы службы, тактичен и выдержан. Заботлив к подчиненным, морально устойчив, не болтлив. Состояние дисциплины на корабле удовлетворительное, корабль находится в высокой боеготовности (1 линия). В кампании 1940 года подлодка заняла 1-е место по КБФ. Маринеско — 1-й заместитель командира ДПЛ. Выводы: 1) Должности соответствует. 2) Достоин назначения на п. л. типа «С». 3) Достоин должности к-ра ДПЛ (XII серии)».

Аттестация эта подписана командиром ДПЛ (дивизиона подводных лодок) 21 января 1941 года, ровно за пять месяцев до начала войны. Не всякий адмирал имел в двадцать семь лет такую блестящую характеристику. Подписал ее Евгений Гаврилович Юнаков, наставник строгий и многоопытный,— и вот этот строгий наставник признает своего ученика способным командовать дивизионом, иными словами, считает его равным себе. Такую оценку мог получить только настоящий подводник, человек, твердо решивший сделать военную службу своим жизненным призванием.

Вероятно, так оно и было. С любовью вспоминая об Одессе, Александр Иванович перестал о ней тосковать. Перестал мечтать об океанских просторах, о странах, где вечно светит солнце, о сверкающих белизной быстроходных лайнерах и всем сердцем прилепился к хмурой Балтике, к неказистым, крашенным в защитный серо-зеленый цвет подводным кораблям. Полюбил Кронштадт, куда вскоре после

окончания курсов переехал вместе с Ниной Ильиничной и подрастающей Лорой. Не впал в уныние, когда в 1940 году дивизион перебросили на Ханко — арендованный у Финляндии каменистый полуостров. Это была чужбина, и довольно скучная чужбина, однако замечено: на чужбине привязанность к родине только обостряется, крепнет близость с немногими оказавшимися рядом соотечественниками, за границей наши люди становятся четче, собраннее — для общего дела. Ханковцы это доказали. В истории Отечественной войны Ханко останется как один из вариантов Малой земли наряду с Брестской крепостью и новороссийским пятачком. Войны еще не было, но предгрозовое ощущение не оставляло ханковцев. Они всегда чувствовали себя форпостом, пограничным отрядом, живущим по законам военного времени даже в мирные дни.

«На «М-96» у нас подобралась сильная и сплоченная команда,— говорил мне Александр Иванович.— Опытные специалисты, как наш инженер-механик Андрей Васильевич Новаков и мичман Петровский. И способная молодежь».

Конечно, это только так говорится «подобралась». Подбирал и сплачивал команду командир.

Итак, за пять месяцев до начала войны капитан-лейтенант Маринеско получил блестящую характеристику. Пришел ли вместе с ней к Маринеско душевный покой?

Нет, душевного покоя не было.

Говорят, большому кораблю — большое плавание. А корабль у Маринеско был маленький. Автономность — десять суток. Не разгуляешься. Считалось, что основное назначение «малюток» в условиях Балтики — дозор и разведка.

Дозорную и разведывательную службу Маринеско нес исправно, но с первых же недель стал упорно готовить свою маленькую лодку для атаки. Каждый выход «М-96» в море был одновременно дозором и боевым учением. Командир внимательно следил за передвижением по акватории иностранных судов и попутно «отрабатывал задачки». Высшее командование не ошиблось, поверстав штурманов торгового флота в подводники,— Маринеско прекрасно разбирался в повадках иностранных транспортов и раньше других приметил среди них подозрительное оживление. Свои наблюдения он аккуратно записывал и, вернувшись на базу, докладывал. Приспособил «ФЭД» с телеобъективом для фотографирования встречных транспортов. Фотоаппарат выставлялся из люка на длинном шесте и, когда лодка шла в полупритопленном положении, был столь же малозаметен, как глазок перископа. Наблюдения и фотосъемки несомненно приносили свою пользу, но Александра Ивановича совсем не устраивало «быть на подхвате».

Конечно, можно было добиваться перевода на бóльшую лодку согласно аттестации. Но добиваться повышения было не в характере Александра Ивановича. К тому же не хотелось расставаться с Юнаковым, с дивизионом, с полюбившей его командой, наконец, с самой лодкой, к ней он тоже успел привязаться. Сердился, когда о «малютках» говорили непочтительно, так же как когда-то на непочтение к «торгашам».

«Лодка как человек,— говорил мне во время наших кронштадтских бесед Александр Иванович.— У каждой свой характер, свои достоинства и недостатки. Все это командир должен понимать до тонкости. «Малютка» тем хороша, что заставляет быть универсалом. Конечно, с тактико-техническими данными считаться приходится. Но молиться на них тоже не следует. Автономность, если потренироваться и затянуть потуже ремешки, можно увеличить. Можно быстрее погружаться и быстрее всплывать. Быстро погружаться рискованно, но если трюмные и рулевые — мастера своего дела, риск оправдан. Мало торпед — значит, надо стрелять без промаха. И не

пренебрегать пушечкой — она годится не только против самолетов».

К слову сказать, это свое убеждение Маринеско блестяще подтвердил на практике, потопив в 1944 году артиллерийским огнем большой вооруженный транспорт.

Друг Маринеско Иван Маркович Рубченко, во время войны мичман на одной из «малюток», рассказывал мне:

«Уже после своей демобилизации Александр Иванович, встречаясь со мной, часто вспоминал о войне и о нашей службе на подводных лодках. Как-то сказал: «А что, Иван, если, не дай бог, новая война, позовут нас с тобой? Мы с тобой тогда соберем команду из таких орлов, что будем запросто по кормушкам стрелять». «Как так по кормушкам?» — спрашиваю. «А по-снайперски. Безо всяких треугольников, углов упреждения, а догонять — и без промаха!»...»

Сегодня уже трудно с уверенностью сказать, всерьез говорил это Александр Иванович или грустно шутил. Но даже если это была шутка, то очень на него похожая. Легко загорался необычной идеей, не боялся парадоксальных решений и не любил категорических запретов, подсекающих в корне всякую фантазию. Как большинство талантливых людей, он был человек неожиданный.

У меня сохранилась довольно точная запись рассказа Александра Ивановича о последнем предвоенном походе «М-96». Привожу ее целиком:

«На девятый день пребывания в море все мы очень устали. Много трудились, мало отдыхали. По нескольку раз в сутки одно и то же: «арттревога!», «срочное погружение!», «по местам стоять к всплытию!». Недовольства я не ощущал, личный состав понимал, что первое место по боевой подготовке нам обеспечено и прошлогодние нормативы, принесшие нам общефлотское первенство в прошлую кампанию, заметно превышены. Теперь для срочного погружения нам требовалось всего 17 секунд — ни одна «малютка» до сих пор этого не добивалась. Трудно, но жалоб не было. Только однажды запросил пощады наш инженер-механик А. В. Новаков, и то не для себя, а для нашего единственного компрессора, из-за частых погружений и всплытий ему приходилось работать почти непрерывно. В обычное время я посчитался бы с законной тревогой механика, но в тот навсегда запомнившийся мне день — 18 июня — меня тревожило совсем другое, и я пробурчал что-то вроде «на войне еще не то будет», и Ефременков меня поддержал. Штурманы чаще наблюдают за горизонтом, чем занятые своими машинами механики, и, вероятно, Леве было понятнее мое беспокойство. Но даже сам я не понимал, какое реальное содержание получит всего через несколько дней моя довольно шаблонная фраза.

А беспокоило меня вот что: в этот солнечный день в той части Финского залива, где наша лодка выполняла свою задачу, творилось нечто необычное. Только за восемь часов в пределах, доступных нашему визуальному наблюдению, прошли курсом вест 32 транспорта различного тоннажа и назначения, все под флагом фашистской Германии. Куда спешили все эти танкеры и сухогрузы, судя по осадке, негруженые? Казалось, что во все порты Северной Балтики дана какая-то общая команда. Бросалась в глаза пугливая настороженность капитанов этих судов. Завидев подлодку, да еще маневрирующую по-боевому (мы отрабатывали срочное всплытие с арттревогой), на некоторых транспортах поспешно спускались на воду шлюпки. На одном из транспортов так поспешили, что шлюпка сорвалась и люди посыпались в воду. Немцы явно бежали домой. Почему? На этот вопрос я ответить тогда не мог. Накануне возвращения на базу дал об этом радиограмму, но, конечно, еще не понимал полностью значения происходящего. Не все понимали и на базе. Когда я, вернувшись, подробнее доложил свои соображения, нашлись люди, которые сочли меня паникером. Однако предусмотрительность востор-

жествовала и наша «М-96» была вновь отправлена в дозор. Известие о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз я получил, уже находясь на позиции».

Как, впрочем, и весть об окончании войны — добавлю я.

Итак, война. Капитан-лейтенант Маринеско — командир боевого корабля первой линии. Позади яхт-клуб, школа юнг, мореходное училище, штурманские классы, служба на «Пикше», курсы усовершенствования командного состава. По своим знаниям командир «М-96» теперь не уступает командирам, окончившим Высшее училище имени Фрунзе, а по опыту даже превосходит многих сверстников. Ему двадцать семь лет, он муж и отец, любим командой и товарищами. Трудно сказать, какие замыслы роятся в этой бесстрашной голове, а она действительно ничего не боится, не только действовать, но и думать, решать. Ближайшая задача — доказать, что «малютка» не хуже других лодок первой линии способна драться и побеждать.

Наступило время испытаний, равных которым не знала история.

VI. ПЕРВЫЕ АТАКИ

Опять «микрорекордер». Прижимаю его к уху и, прежде чем возникает голос Нины Ильиничны Маринеско, слышу шум толпы, какие-то неясные выкрики, смех, обрывок песни... Все невнятно, но мне достаточно, чтобы вспомнить обстановку, в какой происходила наша беседа.

9 мая 1978 года. Ленинград. Мы трое — Нина Ильинична, Леонора Александровна и я — идем по набережной и приближаемся к бронзовому Петру. Все пространство вокруг Медного всадника заполнено празднично принаряженными людьми, мужчинами и женщинами. Поражает обилие орденов и медалей. Толпа в непрерывном движении, все кого-то ищут, при встрече радостно обнимаются, смеются, кто-то плачет...

Эти встречи в день Победы уже стали обычаем. В Москве — перед Большим театром. В Ленинграде — у Медного всадника. Бойцы ищут однополчан. Знакомых и незнакомых. Не всегда удается найти однополчанина в точном смысле слова. Тогда пусть из одной бригады, из одной дивизии — все равно есть о чем поговорить, что вспомнить.

Покрутившись в толпе, находим в сквере за памятником тихую скамеечку. Садимся и тоже вспоминаем. Нина Ильинична — начало войны на Балтике. Я — первую блокадную зиму в Ленинграде. И все вместе — вспоминаем Александра Ивановича.

Весть о начале войны застала «М-96» в море. Но военные действия начались раньше официального объявления, Гитлер ударил внезапно, а маннергеймовская Финляндия, как и следовало ожидать, выступила на его стороне. Гарнизон Ханко приготовился отразить удар, но гражданское население, в основном семьи моряков, нужно было срочно эвакуировать. Нарком Н. Г. Кузнецов, предвидевший поведение финских властей, дал приказ находящимся в море подводным лодкам не возвращаться на Ханко, а идти в Палдиски, порт на Балтийском море в нескольких десятках миль от Таллина.

О дне эвакуации Нина Ильинична вспоминает спокойно, даже с улыбкой, но от этого мне только яснее становится обстановка и что ей пришлось пережить в тот день. С благодарным чувством говорит она о матросе Васе, самоотверженно помогавшем ей собрать вещички и погрузиться вместе с маленькой Лорой на уходящий в Ленинград теплоход.

С Васей, Василием Спиридоновичем Пархоменко, трюмным машинистом на «М-96», а затем и на «С-13», я знаком давно, бывал у него в Кронштадте, где он работал инженером на Морзаводе. Через

все эти годы он пронес преданную любовь к своему командиру и дружескую привязанность к его семье. Он рассказывал мне:

«Дела наши на «М-96» шли отлично. На рубке звездочка — корабль первой линии. В начале июня нас особо отметили как «виртуозно владеющих воздухом». Имелся в виду сжатый воздух, применяемый на подлодках для погружения и всплытия. Я в числе пяти отличников должен был на днях получить отпуск. Последний наш дозор в Ботническом заливе продолжался одиннадцать суток, все очень устали. Наблюдали и фотографировали движение судов. Движение было большое, записи вели не только командир и штурман, но и наш инженер-механик Андрей Васильевич Новаков, а я ему помогал. Вернулись мы 21-го, а 22-го нам было приказано вновь выйти в море. Под утро была объявлена общая боевая тревога, я прибежал с береговой базы на причал, командир был уже на лодке и распоряжался. Вслед за мной прибежали на причал встревоженные женщины, одна из них сказала командиру, что с Ниной Ильиничной беда — мыла окно, упала с лестницы и сильно порезалась осколками стекла. Командир отлучиться не мог и послал меня сказать жене, чтоб она немедленно, захватив только самое необходимое, уходила на теплоходе «И. Сталин». Нину Ильиничну, всю забинтованную, я застал за сбором вещей. Ей помогал Ефременков. Лора была еще мала, ее пришлось нести на руках. Кое-как собрались, по дороге что-то растеряли, но доставили. Теплоход ушел в Ленинград, а мы вышли на позицию и на Ханко уже не вернулись».

Льва Петровича Ефременкова, штурмана «М-96», Александр Иванович, перейдя в конце 1942 года на «С-13», ухитрился перетащить к себе помощником, с ним он ходил во все походы. Говорю «ухитрился», потому что это было совсем не просто, но об этом чуть позже. Маринеско и Ефременкова связывала настоящая боевая дружба, хотя трудно себе представить более несхожих по внешности да и по характеру людей. Маленький, темноволосый, пылкий южанин. И высокий, светлокожий, несколько флегматичный северянин. Но Маринеско умел сдерживаться, а Ефременков загораться, и они отлично понимали друг друга. На «М-96» Лев Петрович пришел также не при совсем обычных обстоятельствах:

«На втором году обучения в училище имени Фрунзе нас, группу мичманов, послали для практики на дивизион «малюток», базировавшийся перед войной на арендованном у Финляндии полуострове Ханко. Я и двое моих однокурсников попали на «М-96» дублерами к штурману Филаретову. Корабль сразу же мне понравился: на рубке знак «За отличные торпедные стрельбы», команда дружная, командир живой, веселый, доверяет людям, ценит инициативу. Ко всем дублерам отношение было ровное, но однажды в море мое счисление места корабля оказалось точнее, чем у штурмана, и командир меня заметил. Вскоре началась война, «М-96» ушла в море, а нас генерал Кабанов задержал, мы выполняли его поручения. Потом пришел приказ: всех мичманов-практикантов отправить в Ленинград, переодеть в офицерскую форму и разослать на флоты. Я мог оказаться на Тихом океане и на Севере, но задержался в Ленинграде и через некоторое время получил назначение на «М-96». Позже я узнал, что Александр Иванович справлялся обо мне и, когда штурман Филаретов по болезни ушел с лодки, затребовал меня».

Это записано в те же дни, когда съехались ветераны «С-13». На этой памятной встрече бывший помощник командира корабля капитан-лейтенант запаса Ефременков оставался для всех старпомом, главой кают-компании и главой делегации, хотя среди ветеранов «С-13» были офицеры старше его по званию.

«Лодка стояла в доке Судомеха, и хотя я имел на руках назначение, на территорию завода меня не сразу впустили. Выручил знакомый боцман. Командир встретил меня так, как будто мы не рас-

ставались: «Иди на лодку, потом поговорим». Но и разговаривать много не пришлось, с первого же дня я погрузился в корабельный быт и хлопоты. Жили все в домике у проходной завода, в тесноте, но дружно. Поздней осенью, закончив докование, мы поднялись по Неве к своей плавбазе «Аэгна», стоявшей у Тучкова моста, и ошвартовались у плавучего дебаркадера. Там нас настиг снаряд».

Прерываю на время воспоминания Льва Петровича, чтобы вернуть читателя к предшествовавшим событиям.

Итак, 22 июня. С каким чувством воспринял Александр Иванович весть о начале войны? Когда, уже в шестидесятых годах, я спросил его об этом, он ответил коротко:

— С облегчением.

Конечно, это было сложное чувство, в котором смешались и возмущение коварством врага, и предчувствие грядущих тяжелых испытаний, и тревога за близких, но главным было все-таки облегчение, и это ощущение было настолько типично для настроения многих командиров флота, что я нисколько не удивился, услышав такое слово от Александра Ивановича. Если у кого-то и были иллюзии насчет намерений Гитлера, у Маринеско, находившегося на самом переднем крае обороны, их не было. Он жил в ощущении предгрозовой духоты, злился, когда его донесениям не придавали должного значения, сердито спорил в кают-компании с теми, кто чересчур обольщался пактом тридцать девятого года, он прекрасно понимал, что пакт — это только отсрочка, необходимая, но, быть может, более короткая, чем казалось некоторым оптимистам. Маринеско тоже был оптимистом, но другого рода. Ни одной минуты, даже в самые тяжкие для страны периоды, он не сомневался в победе. Не то чтоб не позволял себе сомневаться или принимал за аксиому, что наша страна непобедима и воевать мы будем только на территории врага. Нет, просто не сомневался. Аксиом он вообще не любил, потому что аксиомы избавляют от доказательств, а он привык доказывать свои убеждения делом и требовал этого от других. Уже в летнюю кампанию 1941 года жажда активных боевых действий сотрясала весь флот, запертый в перегороженном сетями и густо заминированном Финском заливе. Военные моряки готовы были на любые жертвы, но в первую очередь они требовали дела. В ожидании боевого приказа проявляли инициативу, командование получало десятки проектов, среди них были отчаянные, фантастические. В музыкальной комедии «Раскинулось море широко...», написанной и поставленной на сцене в осажденном Ленинграде, один из краснофлотцев вслух мечтает: «Дай мне волю — нагрузил бы я катер взрывчаткой, высмотрел какого-нибудь фашиста пожирнее, тысяч на пятьдесят тонн... И — на таран!» Это не преувеличение. Такие предложения были.

Беру на себя смелость утверждать: с началом войны окончательно снялись последние сомнения Александра Ивановича в правильности выбранного им пути. Уж если люди, далекие от военной профессии — рабочие, инженеры, ученые,— бросали любимое дело и шли рядовыми в народное ополчение, Маринеско мог считать себя счастливцем, у него в руках было оружие огромной мощности, и он чувствовал себя способным на большие дела.

Однако до большого дела, то есть до торпедной атаки, был еще долгий путь, дорога длиной в год, и на этой дороге одно за другим вырастали препятствия. Но недаром Маринеско любил повторять: хорош не тот командир, у которого ничего не случается, а тот, кто из любого случая найдет выход. Выход находился даже тогда, когда препятствия казались непреодолимыми.

В июле «М-96» вышла на позицию в Рижском заливе. В походе лопнул обод кулачковой муфты, соединяющей дизель с гребным винтом. Для лодки это паралич. Починили. Когда шли на позицию, минная обстановка была еще сравнительно сносной, на обратном

пути она заметно изменилась к худшему, пришлось форсировать минные поля там, где их раньше не было, и Маринеско, еще не имевший опыта хождения сквозь минные заграждения, был один из первых, кому пришлось на практике осваивать эту науку. Науку, где метод проб и ошибок исключается. Любая ошибка грозит гибелью.

Минреп — так называется стальной канат, удерживающий якорную мину на заданной высоте. У «М-96» было много касаний о минрепы.

«Это как схватка с невидимым врагом,— говорил мне Александр Иванович,— нет ничего мучительнее, чем хождение по минному полю, особенно в подводном положении. Мина не выдает себя ничем, недаром ее зовут молчаливой смертью. От мин никуда не уйдешь, можно только догадываться об их расположении, опираясь на рассказы товарищей, ходивших до тебя, и на собственное чутье. Попал на минное поле — ползи. Иди не виляя, самым малым. При касании бортом о минреп — не шарахаться, а осторожно отрабатывать назад. Тихонько, чтоб минреп не сорвался, отводить корму, и не от минрепа, как ошибочно толкает инстинкт, а непременно в ту сторону, где минреп. Он натягивается, как струна, но должен соскользнуть мягко. Нервы при этом надо держать в кулаке. Очень хочется поскорее убраться из опасного места — нельзя. Слышишь скрежет натянувшегося троса, его слышат все, и надо, чтобы команда знала, что у командира рука, лежащая на машинном телеграфе, не дрогнет, он не поддастся панике».

За судьбу «М-96» всерьез тревожились — и не без основания. Знали, как изменилась обстановка, но помочь ничем не могли. Маринеско привел лодку.

Вскоре после возвращения на базу корабль постигла новая беда. На этот раз не связанная ни с какими опасностями, но пережитая Маринеско гораздо острее, чем походные трудности. Пришел приказ: две балтийские «малютки», в том числе «М-96», отправить на Каспийскую флотилию. Для отправки лодку надо было разоружить и демонтировать, и это уже начали делать. Не знаю, пытался ли Александр Иванович бороться, вероятно, нет, приказы не обсуждаются, но воспринял он его как бедствие. Еще бы, годами готовить себя и команду для решающей схватки — и отправиться прозябать в глубокий тыл! К счастью для Маринеско, приказ опоздал, и когда Ефременков пришел на завод Судомех, корабль вновь приводили в боеспособное состояние. Положение на Ленинградском фронте было напряженное, и одно время лодка стояла заминированной на случай, если ее придется взорвать. Но обошлось. Поздней осенью, перед ледоставом лодку перегнали к плавбазе «Аэгна» и там доделывали то, что можно делать на плаву, без докования.

Примерно в то же время эскадренный миноносец «Сильный» обратился к личному составу КБФ с открытым письмом. В обращении говорилось о необходимости, несмотря на блокаду города и эвакуацию заводов, ввести в строй к началу будущей навигации все корабли флота и подготовить их к активным боевым действиям. «На своем примере мы твердо убедились,— писали моряки «Сильного»,— что каждый корабль, имея в своем личном составе высококвалифицированных и преданных делу людей, при настойчивости и упорстве может преодолеть все трудности и выполнить любую работу...»

Таких высококвалифицированных и преданных делу людей экипаж «М-96» в своем составе имел. Собственно говоря, он только из таких людей и состоял. Настойчивости и упорства у них тоже хватало.

Перелистываю подшивку «Дозора», нашей бригадной многотиражки. Найти заметки, относящиеся к «М-96», не так-то просто. В сорок первом году не только называть корабль, но на первых порах

даже писать, что этот корабль — подводная лодка, нам не разрешалось. Вместо «лодка срочно погрузилась» писали: «...и корабль искусным маневром уклонился от преследования». Потом от этого отказались и даже газету переименовали в «Подводник Балтики», но корабли по-прежнему не назывались и догадаться, о какой из лодок идет речь, можно только по знакомым фамилиям. Нахожу заметку А. В. Новакова в номере от 17 января 1942 года — «Механизмы отремонтированы досрочно». Называются фамилии рационализаторов, передовиков ремонта, выполнявших нормы на 160—240 процентов.

Но испытания, которым судьба щедро подвергала отважную «малютку», прежде чем разрешить ей выйти в торпедную атаку, еще не кончились. 14 февраля 1942 года во время обстрела города в полутора метрах от левого борта «М-96» разорвался тяжелый артиллерийский снаряд.

«Снаряд пробил прочный корпус, и вода затопила четвертый и пятый отсеки. У лодки оставалось всего восемь кубометров положительной плавучести. Благодаря оперативности, проявленной мичманом Петровским и дежурным по кораблю Фролаковым, катастрофа была предотвращена. Вовремя объявлена боевая тревога, вовремя задраены переборки, по всем правилам завели полужесткий пластырь, прекративший доступ воды».

Это я цитирую запись беседы с бывшим инженером-механиком «М-96» Андреем Васильевичем Новаковым, приехавшим из Пушкина в Ленинград, чтобы рассказать мне о покойном командире. Продолжаю:

«Александр Иванович хотел выйти в море одним из первых и был потрясен. Авария была значительная, особенно для блокадных условий. Стоял даже вопрос о консервации корабля и переводе команды на другую лодку. Но командир на это не пошел, он не опустил руки, наоборот, энергия его удвоилась. Команда переселилась на берег, жили в здании Института русской литературы и продолжали ремонтировать корабль. Трудности встретились большие — предстояли корпусные работы, дизель был тоже поврежден. Когда лед сошел, подошла «Коммуна» (спасательное судно), лодку подвесили и заварили стальные листы, разошедшиеся от взрыва. Конечно, условия не заводские, в одном месте соединишь — в другом лопается. Намучились, но заварили прочно.

Закончили корпусные работы, а проверить качество негде — на Неве глубин подходящих нет,— но это нас не остановило, и 9 августа мы на правах корабля первой линии перешли в Кронштадт и стали готовиться к боевому походу. Во время ремонта личный состав был истощен, зима выдалась жестокая, у моряков пальцы прилипали к металлу, кожа отдиралась с кровью, но боевой дух не иссякал, перед нами был живой образец — командир. Александр Иванович был внимателен к каждому человеку, все про всех знал и помнил, в большинстве случаев он мог помочь только добрым словом, но и это ценилось. Изредка командир получал какие-то посылочки и полностью отдавал их в общий котел — это никого не удивляло, наш командир, каким мы его знали, просто не мог поступить иначе».

Возвращаю слово Льву Петровичу Ефременкову:

«Из-за этой зимней пробоины мы в первый эшелон не попали и пошли во втором. Одновременно с нами вышла в свой первый боевой поход «С-13». Тогда командовал лодкой Маланченко, обеспечивающим пошел Юнаков. Нам с Александром Ивановичем и в голову не приходило, что пройдет всего несколько месяцев — и он примет «С-13», а я стану его помощником. Из Кронштадта мы перешли к острову Лавенсаари, а оттуда на позицию, в квадрат Порккала-Каллоба. Задание: разведка и атака.

Форсировали минные заграждения. Опыт у нас уже был. Пригодился и опыт Александра Ивановича, приобретенный в плавании на

торговых судах. Он хорошо знал пути, какими предпочитают ходить транспорта, и не ждал, когда появится мишень, а настойчиво искал ее.

Как теперь известно, потопили мы немецкое транспортное судно водоизмещением семь тысяч тонн. Транспорт шел с сильным охранением — три сторожевых корабля. Атаковали днем из подводного положения. Обе торпеды попали в цель. Нас преследовали и бомбили. В какую сторону уходить от преследования и как уклоняться от глубинных бомб — полностью зависит от искусства и чутья командира. Маринеско решил уходить не в сторону наших баз, а в сторону уже занятого противником порта Палдиски, чтобы сбить преследователей с толку. В конце концов мы вырвались и на одиннадцатые сутки явились на рандеву с ожидавшими нас катерами. На рандеву нас по ошибке обстреляли и побомбили свои, но командир и тут проявил редкую выдержку».

О причинах происшедшего недоразумения А. В. Новаков и Л. П. Ефременков рассказывают не совсем одинаково, это и понятно, прошло много лет. Но в оценке действий командира они едины: командир вел себя с редким хладнокровием. А вот что рассказывал мне он сам с улыбкой, как нечто забавное:

«Условие было такое: мы не радируем, а прямо приходим в условленное место в один из трех дней — 21, 22 или 23 августа. Мы пришли 22-го. Встретили нас плохо. Едва показалась наша рубка, обстреляли из крупнокалиберного пулемета. Командую: «Срочное погружение!» Начали бомбить. Положение мерзкое: прийти из похода с успехом и чтоб тебя утопили свои — перспектива незавидная. Приказываю всплыть, первым выбегаю на мостик и — матом: «Своих, так и так вашу, бьете!» Тогда только расчухали, что мы — свои, и даже извинялись».

Но Маринеско не рассказал самого главного. Поэтому вношу поправку со слов А. В. Новакова:

«Командир умело провел второе всплытие. Поставил лодку между двумя катерами, если б они открыли огонь по лодке, то перестреляли бы друг друга. Это был блестящий расчет, позволивший выиграть время. Мы потом спрашивали катерников, почему они приняли нас за фашистов. А потому, говорят, что у вас на рубке свастика. Откуда быть свастике? Потом посмотрели: кое-где проступила белая камуфляжная краска и в самом деле получилось немного похоже».

Перелистываю подшивку «Дозора». В номере от 2 сентября краткое сообщение о походе и указ о награждении экипажа. Маринеско — орденом Ленина.

Вторая половина 1942 года богата событиями в жизни Маринеско. До конца навигации он сумел сходить еще в один поход со специальным разведывательным заданием, действовал решительно и получил хорошую оценку. Произведен в капитаны 3 ранга. Принят в кандидаты ВКП(б). А в перспективе — назначение командиром «С-13», большой подводной лодки, недавно вернувшейся из похода с крупным боевым успехом.

Назначение вызвало у Александра Ивановича противоречивые чувства. С одной стороны, он уже созрел (это отмечалось еще довоенной аттестацией) для командования более крупным кораблем, по его замыслам «малютка» становилась ему тесна. С другой — он только что доказал, на что способна его дорогая «малютка», и расставаться с ней было мучительно. На «М-96» он прослужил с 1938 года, приняв ее прямо из рук строителей, сроднился с командой, полюбил и знал, что и его любят. Расставаться было тяжело, но необходимо, и дело было совсем не в том, что быть командиром «эски» престижнее, чем командовать «малюткой», такого рода соображения для него не существовали, а в том, что новый этап подводной войны требовал прорыва в Балтику и свободного поиска противника на его дальних

коммуникациях, а для этого «малютки» были слишком слабо вооружены и обладали недостаточной автономностью. Было еще одно обстоятельство, облегчавшее переход на «С-13»: Юнакова на дивизионе уже не было, а ближайший друг Маринеско бывший командир «М-97» Александр Иванович Мыльников в 1942 году уже командовал «С-9» и вернулся из похода с боевым успехом. Теперь друзья вновь оказывались рядом.

Помимо ордена и звания Александра Ивановича ждала еще одна награда. В числе тридцати особо отличившихся в летнюю кампанию офицеров он получил право вылететь из осажденного Ленинграда в кратковременный отпуск и встретить новый, 1943 год с семьей.

Осуществить это право оказалось немногим легче, чем его получить. Тяжелый бомбардировщик «ТБ-3» с отпускниками на борту вылетал с флотского аэродрома, в воздухе к нему должна была присоединиться группа истребителей и эскортировать его до Новой Ладоги. На аэродроме счастливчики застряли надолго. Было несколько неудачных вылетов, всякий раз приходилось возвращаться обратно и коротать время в ожидании следующей попытки. Как и все его спутники, Александр Иванович огорчался задержкой, но мыслями непрестанно возвращался к новой лодке, которую ему предстояло принять, и к предстоящим походам. Таким его запомнил инженер-механик Виктор Емельянович Корж, подружившийся с ним во время томительного прозябания на аэродроме:

«С Александром Ивановичем мы быстро сошлись и перешли на ты, вернее на Ты — с большой буквы. Здесь нам повезло, на ночь мы устраивались в ленуголке аэродрома. Там стояли мягкие диваны и было относительно тепло. Днем в ленуголке бывал всякий народ, иногда устраивались танцы, несколько старшин, сержантов, радисток и поварих топтались под звуки заезженной патефонной пластинки. С наступлением темноты электричество почему-то сразу вырубали, а керосина в лампе не было. Все расходились, наступала тишина и длинная-предлинная ночь. Ложились рано, но уснуть раньше полуночи ни разу не удавалось, мы подолгу разговаривали. Александр Иванович с жадностью впитывал мои рассказы о боевых походах «эсок», в частности о походах «С-7» и «С-12», в которых я участвовал. Его интересовали малейшие подробности, он расспрашивал о всех затруднениях, встретившихся нам при маневрировании, и я охотно делился с ним нашим опытом. В свою очередь, Александр Иванович рассказывал мне о походах «М-96», так что время проводили мы не без пользы».

В конце концов «ТБ-3» все-таки вылетел. Новый год Александр Иванович встретил со своей семьей.

Это был самый тяжкий для балтийских подводников год — сорок третий. В масштабе всей страны год был переломный, почти на всех направлениях советские войска перешли в наступление. Ленинград и Балтфлот оставались по-прежнему в блокаде, правда положение заметно упрочилось и снабжение улучшилось, но в памяти подводников этот год остался годом жестоких потерь и вынужденного бездействия. Немецкое командование, убедившись на опыте прошлого года, что установленные на выходе из Финского залива заграждения не так непроходимы, как утверждала фашистская пропаганда, приняло дополнительные меры. В начале кампании при форсировании заграждений подорвалось несколько первоклассных подводных лодок, посылать новые корабли на верную гибель наше командование не считало возможным, и в действиях подводных сил на Балтике возникла длительная пауза вплоть до осени 1944 года, когда вышла из войны Финляндия и наши корабли перешли на новые базы, поближе к выходу в Балтику.

К своему назначению на «С-13» Александр Иванович отнесся очень серьезно: «На сердце у меня было здорово неспокойно,—

признался он мне в одной из наших бесед.— Не в том дело, что лодка большая, а в том, что все новое — и техника, и люди. Техника-то полбеды, на «малютке» я знал каждую гайку, а вот люди... Свою команду я воспитал сам, верил ей, и она мне верила, а эти уже ходили в море с другим командиром, как-то им новый покажется?»

Кое-какие основания для беспокойства у Александра Ивановича были. Пожалуй, ни в одном классе военных кораблей командир не обладает такой неограниченной властью, как на подводной лодке. Но это не значит, что он независим от мнения команды. От того, верит ли экипаж командиру, понимает ли его действия, зависит очень многое. На лодке дистанция между начальником и подчиненным сокращена до предела, в тесноте отсеков гаркать, козырять, обращаться друг к другу строго по уставу негде, да часто и некогда. Командир всегда на виду, и в течение первого месяца десятки матросских глаз фиксируют его с разных точек, в результате из множества деталей коллективными усилиями создается некоторый сводный портрет, как правило дающий довольно точное представление об оригинале. Если экипаж привязан к командиру, его уход всегда воспринимается тревожно, а появление нового — настороженно.

Приняли Маринеско на «С-13» хорошо. Отчасти потому, что его приходу уже предшествовала добрая слава, но еще больше потому, что он с первого знакомства произвел на команду неотразимое впечатление. Не внешностью, а внутренней свободой и естественностью — качеством, редко упоминаемым в официальных характеристиках, но высоко ценимым солдатами и матросами. Матрос, отзываясь о своем командире, не всегда скажет это слово, чаще он говорит «простой». Но мы ошибемся, если поймем это слово только как «демократичный» или, что уж совсем мимо, как «простоватый». Простой в данном случае означает именно естественный, не позер и не ломака, то, за что себя выдает. Простой — это необязательно душа нараспашку, можно быть сдержанным, как Маринеско; важно, чтоб у командира душа была и чтоб в критический момент он оказался именно таким, каким кажется в обычное время.

Ветеран «С-13» гидроакустик Иван Малафеевич Шнапцев так вспоминает первое появление Маринеско на лодке:

«Базировались мы тогда в Ленинграде. Наша плавбаза «Смольный» стояла на Неве у левого берега. Было уже известно, что у нас будет новый командир. Стороной о нем команда уже слыхала. Вскоре он появился. Внешне он большого впечатления не производил — небольшого росточка, говорит тихо, нет такой командирской солидности... Наш сдает дела, новый принимает, а команда, известное дело, присматривается. Потом он нас собрал и представился: «Я ваш новый командир, зовут меня Александр Иванович Маринеско, скоро мы пойдем в поход и будем вместе бить врага». Но по-настоящему понравился нам новый командир при очередной швартовке. Маланченко не умел швартоваться, у нас, как доходит до швартовки, сразу крик, суетня, вся команда наверху, редко когда с одного захода ставили корабль на место. А этот вышел, присел на рубку, тихо скомандовал и сразу поставил лодку впритирочку. Это все оценили: видно молодца по ухватке, сразу понятно — моряк.

Маринеско очень серьезно взялся за дело. Тренировал личный состав по-своему, проводил тут же на Неве пробные погружения. К началу навигации лодка была «на товсь!», дух у команды был боевой, но в 1943 году нас в море не выпустили. Тогда погибли многие: Осипов, Мыльников... Смерть своего друга Мыльникова командир пережил очень тяжело.

За время учений и тренировок мы узнали и полюбили Александра Ивановича. Как человек он был очень хороший. Держался по-товарищески, распекать не любил, но дисциплину держал крепко, такому на шею не сядешь, умел и на место поставить. Бывало, идет

по лодке, смотрит, как люди работают, чистят, драят, если ему что не по душе, то иногда и не скажет, а только глянет и вздохнет, а матрос уже сам понимает, в чем у него непорядок. Во время учебных тревог и погружений был исключительно четок, собран. Когда мы ходили по Неве, мастерски провел лодку под неразведенным мостом, был слух, что его за это отругали, но лиха беда — начало, после него и другие стали ходить».

Пока экипаж изучал командира, командир не терял времени — он изучал экипаж. Командиры боевых частей ему достались проверенные в бою — минер Константин Емельянович Василенко, инженер-механик Георгий Александрович Дубровский. Штурман Николай Яковлевич Редкобородов пришел на лодку недавно, но тоже производил надежное впечатление. Среди матросов и старшин много первоклассных специалистов. А вот со своими ближайшими помощниками, замполитом и старпомом, Александр Иванович общего языка не нашел, и потребовалось немало дипломатических усилий, чтобы, не доводя дело до конфликта, получить вместо них таких людей, с которыми у него установилось полное взаимопонимание. Вместо прежнего заместителя пришел Борис Никитич Крылов. Он немного не дожил до встречи ветеранов «С-13» 1978 года, и я искренне жалею, что не мог познакомиться с ним, о нем вспоминали с большим уважением. Говорят, уйдя в отставку, он писал воспоминания о походах «С-13», но след их затерялся.

Со старпомом было сложнее. Вместо ушедшего в морскую пехоту помощника прислали нового, с другого флота, и с ним у Маринеско отношения сразу же не заладились. Об этом мне забавно рассказывал Иван Малафеевич Шнапцев. У акустиков острый слух, а рубка акустика помещается в командирском отсеке, и он волей-неволей слышит больше, чем матросу положено.

«Новый взял очень жесткую линию, а Александр Иванович с ней не согласился, дисциплина у нас и так была хорошая. Командир людям доверял. Старпом был против того, что командир увольнял матросов в город, дескать, у нас, где я служил, и офицеров не пускают. А наш ему со смешком: «У вас там вымпела до самой воды висят, а мы, бывает, и вовсе не вывешиваем». Мысль та, что мы — флот воюющий и нам не до формальностей. Похоже, что старпом ходил жаловаться на командира. Ну нет ни в чем согласия... А тут как раз по соседству, на «С-4», случилась какая-то авария, налетела комиссия, старпома сняли. Александр Иванович и воспользовался, стал расхваливать своего: на вашу бы лодку да моего старпома, он бы у вас порядок навел железный. И уговорил ведь, старпом ушел на «С-4», а на его место командир взял Ефременкова с «М-96», с ним мы и ходили во все походы».

Вернувшись с Большой земли, Маринеско ощутил новый прилив энергии. В. Е. Корж вспоминает:

«В мае 1943 года я стал дивизионным механиком «эсок», мы стали чаще видеться, а наши отношения стали еще теснее и дружественнее. Как-то заговорили о литературе, и меня удивило, что Маринеско отнесся к этой теме без всякого интереса: «Мне сейчас не до стихов».

— Что же тебя сейчас интересует?

— Многое. За сколько секунд трюмно-дифферентовочная помпа сможет погасить положительную плавучесть подводной лодки типа «С» после двухторпедного залпа на трехузловом подводном ходу. То же на четырехузловом. То же на пятиузловом. Как командир корабля, я обязан знать, за сколько секунд моя лодка уйдет на глубину, безопасную от таранного удара эскадренного миноносца».

Конечно, в ответе Маринеско был некоторый элемент бравады, литературу он любил. Но бравады совершенно искренней. В то время он считал себя не вправе думать ни о чем, кроме будущих похо-

дов. Он был стянут, как пружина, жаждал немедленного действия, и той весной ему даже в голову не приходило, как далеки его замыслы от осуществления.

Я хорошо помню, какое гнетущее впечатление произвели на всех нас тяжелые потери первого эшелона 1943 года. Лето было в разгаре, стало теплее и сытнее, но подводникам от этого легче не становилось; скорбь по погибшим товарищам, вынужденное бездействие — все это мучительно переживалось и командирами и матросами. Не надо понимать бездействие буквально, корабельная жизнь безделья не знает, служба, дежурства, текущий ремонт, политучеба, боевая подготовка занимают моряка от побудки до отбоя. Но боевая подготовка в военное время — не школьные занятия, накопленные силы требовали выхода, опыт — применения. Люди стали угрюмее и нервнее. Теперь они жили не только ленинградской ситуацией, до них все отчетливее доходили отзвуки гигантских битв на Большой земле. Советские армии наступали — не хотелось плестись в обозе. Вскрылись чудовищные преступления фашистов на оккупированных землях — они взывали к мести.

Почему «С-13» не попала в первый эшелон 1943 года и какова была бы ее судьба, если б ее выпустили в море? Этого вопроса я Александру Ивановичу не задавал. Но я хорошо себе представляю Маринеско в эти томительные для его активной натуры летние и зимние месяцы. В той или иной мере одни и те же настроения владели тогда всеми. Боевой пыл не угас, но напряжение порождало усталость, полосы уныния сменялись полосами раздражительности, не находящего себе выхода нервного возбуждения. Прорывалось иногда и нечто болезненное. Выпивали в то время многие, и не для согревания, как в первую блокадную зиму, а чтоб развеять тоску. За лето и осень сорок третьего Маринеско дважды побывал на гауптвахте, а по партийной линии получил сперва предупреждение, а затем и выговор. Причиной взысканий была не выпивка сама по себе, пил в то время Александр Иванович не больше людей, а в одном случае самовольная отлучка, в другом — опоздание. Выдумывать уважительную причину для опоздания Александр Иванович не стал и честно признался — проспал. Дал обещание исправиться. И слово сдержал. В мае сорок четвертого заседавшая в Кронштадте парткомиссия бригады подводных лодок постановляет: «Выговор снять как с полностью искупившего свою вину перед партией честной работой и высокой дисциплиной».

Всеведущий акустик Шнапцев комментирует (конец 70-х годов):

«Насчет того, что командир загуливает, мы не знали, выпившим на лодке не видели. Знали, что семья у него в эвакуации, и, если говорить честно, многие офицеры в то время были не без греха, ну мы догадывались, что и наш тоже. Но когда появилась возможность, первый, кто вызвал свою семью, был Александр Иванович. И вот еще черта — у прежнего командира после похода была нехватка продуктов, а Маринеско, возвращаясь из походов, аккуратно сдавал что положено, а вот те продукты, что команда не доела — вы ведь знаете, в походе едят мало,— приказывал разделить поровну и раздать. И не было случая, чтоб командир взял себе больше других».

Авторитет Маринеско среди команды стоял очень высоко, и прошедшие после войны десятилетия не смогли его поколебать. Во время встречи ветеранов «С-13» я успел поговорить почти со всеми, получил несколько писем от тех, кто почему-либо не мог приехать,— каждый из моих собеседников (или корреспондентов) вспоминал о своем командире с благодарным чувством. Вспоминали не только боевые походы, но и этот предшествовавший походам год, полный повседневных забот и напряженного ожидания. Командир умел поддерживать в экипаже лодки бодрость и уверенность, что кораблю

еще предстоят большие дела. О том, что боевой пыл подводников не угас, а к середине лета сорок четвертого года в предвидении будущих походов разгорелся с новой силой, свидетельствует характерный эпизод.

Лето 1944 года. Каюта А. Е. Орла на кронштадтской береговой базе. Александр Евстафьевич Орел, впоследствии адмирал и командующий Балтийским флотом, был тогда командиром дивизиона. Кроме хозяина, в каюте еще три офицера: дивмех В. Е. Корж, командир гвардейской «Л-3» Владимир Константинович Коновалов и командир «С-13» Александр Иванович Маринеско. В. Е. Корж вспоминает:

«Выпили по стопочке — больше не хотелось. И сразу заговорили о том, что волновало всех. Начал Маринеско.

— Товарищ капитан первого ранга,— сказал он, обращаясь к комдиву почему-то по званию, вне службы это было не принято,— заявляю со всей ответственностью: мне чертовски надоело наше безделье. Честное слово, стыдно смотреть в глаза команде.

Его поддержал Коновалов:

— Верно. Драим механизмы, без конца повторяем одни и те же задачи, которые осточертели и личному составу и нам самим.

Орел молчал и хмурился. Что он мог ответить? Я понимал его, но и у меня в душе тоже накипело. Недавно я узнал, что фашисты в Киеве расстреляли моего отца. И я тоже заговорил:

— Хочу отомстить за отца, за Бабий Яр... Готов идти на любой лодке.

И тут же получил предложение от Маринеско:

— Пойдем со мной на «С-13»? У меня Дубровского в Академию забирают, нужен механик.

— Нет, дивмех, пойдешь на «С-4», там ты нужнее,— вмешался Орел и, заметив, что уже начал распоряжаться, улыбнулся.— Подождите немного. Я сам жду не дождусь, когда мне разрешат выйти в море. Теперь уж недолго ждать».

И кончился вечер в каюте комдива тем, что четверо не склонных к патетике офицеров дали друг другу слово отдать все силы на разгром противника. Все четверо слово сдержали. Пошли в боевые походы и комдив и дивмех. По два успешных похода сделали Маринеско и Коновалов. Коновалов стал Героем Советского Союза.

Орел был прав — ждать действительно оставалось недолго. Обессиленная совместными ударами наземных войск и флота Финляндия капитулировала. Наступило время походов. Последние месяцы Александр Иванович упорно готовил к бою артиллерийские расчеты. На «С-13», помимо знакомой ему по «малютке» сорокапятимиллиметровой пушки, стояла «сотка», дальнобойное орудие 100-мм калибра, в бою его обслуживают семь человек, включая вестового. Маринеско отлично разработал взаимозаменяемость в обоих орудийных расчетах и был уверен, что в походе лодочная артиллерия покажет себя не только в обороне, но и в атаке.

Впрочем, он проверял все звенья. Флагманские и дивизионные специалисты были нечастыми гостями на «С-13», Александра Ивановича это и устраивало и немножко обижало. С одной стороны, он не любил вмешательства в свои дела, а с другой — не терпел и пренебрежения. В. Е. Коржа Маринеско дружески попрекал за невнимание к «С-13», тот только отшучивался: «За твою лодку я спокоен. Ты своего механика не хуже меня проинструктируешь». Флагмех Е. А. Веселовский, помфлагмеха «по живучести» Б. Д. Андрюк, флагарт Н. В. Дутиков также были высокого мнения о состоянии механизмов и оружия на корабле.

Наступило время, которого так ждали балтийские подводники. Одновременно — холодная, дождливая балтийская осень. В море — шторм за штормом.

Конечно, выход Финляндии из войны облегчил передвижение по Финскому заливу, но залив был еще прочно перегорожен Найсар-Порккалаудской сетью и системой барражей. Балтика стала ближе, но выход на позицию по-прежнему грозил многими опасностями. И по данным разведки и на собственном горьком опыте подводники знали, какие изощренные препятствия встретятся им на пути. Классическая мина, взрывающаяся от удара по заключенной в металлический стакан ампуле, столь ярко описанная М. М. Зощенко в рассказе «Рогулька», стала уже вчерашним, если не позавчерашним днем. Мины взрывались от прикосновения корпуса лодки к антеннам в виде идущих от мины длинных металлических усиков; от сотрясения сетей; взрывные механизмы программировались так, чтобы сработать от шума винтов, от магнитного поля корабля...

Об осеннем походе 1944 года Александр Иванович рассказывал скупо. Ни он, ни я не знали, что это мне понадобится. А в тех публичных выступлениях, какие я слышал, он его почти не касался, всех интересовал в первую очередь январский поход 1945 года, когда были потоплены «Густлов» и «Штойбен». Восполняю его рассказ по свидетельствам других участников.

«С-13» вышла из Кронштадта 1 октября. Октябрь на Балтике — время осенних штормов. Болтало даже на перископной глубине. Командование назначило лодке выгодную позицию в районе Данцигской бухты.

9 октября «С-13» потопила вооруженный транспорт «Зигфрид» водоизмещением пять тысяч тонн. Название и тоннаж окончательно установлены после войны, а вот что транспорт вооружен, выяснилось немедленно.

Торпедная атака не получилась. Торпедный треугольник был рассчитан безупречно, транспорт непременно должен был прийти в ту точку, куда шли торпеды, но капитан транспорта вовремя застопорил ход и все три торпеды прошли по носу. Неудача не обескуражила Александра Ивановича, он вновь атаковал, на этот раз одной торпедой. Но торпеда была замечена, транспорт дал ход, и она прошла у него за кормой. Капитан был, как видно, толковый.

Казалось бы, все потеряно, транспорт упущен. Но у Маринеско была бульдожья хватка, отступать он не привык. И подал команду к всплытию.

Недаром флагарт Дутиков нахваливал мне Маринеско и командира БЧ 2-3 Василенко. Третья боевая часть — это торпеды. Вторая — пушки. Василенко свое умение вести огонь уже показал в предыдущем походе «С-13». А Маринеско всегда восставал против недооценки лодочной артиллерии. Он признавался мне, что хоть торпеды и главное оружие подводников, ему всегда больше по душе были пушки. Догадываюсь, что эта привязанность тянулась с юных лет, когда Саша Маринеско зачитывался книгами о путешествиях и морских сражениях. Корабли его детства еще не имели торпед. В своем воображении Саша Маринеско видел огонь и дым Наваринской битвы, наведенные на притихшую Одессу длинные стволы главного калибра «Потемкина»... От этого остается след на всю жизнь.

С первых же выстрелов «сотки» обнаружилось, что транспорт способен огрызаться. Завязалась настоящая артиллерийская дуэль. Несмотря на качку и захлестывающие верхнюю палубу ледяные валы, подводники стреляли лучше. Наводчик 45-мм пушки Юров по-снайперски угодил в капитанский мостик, после чего перевес «С-13» стал решающим. Противник еще отстреливался, но командир «сотки» Пихур и стоявший у второй пушки Юров вцепились в судно мертвой хваткой, еще несколько метких попаданий — и «Зигфрид» пошел ко дну.

На отходе лодку преследовали миноносцы.

Возвращались не в Кронштадт, а в гавань Ханко. Там уже стоя-

ли наши плавбазы. После торжественной встречи, поздравлений и дружеских объятий наступили будни тем более суровые, что «берега» для подводников не существовало. Город был чужой, страна чужая, еще недавно воевавшая на стороне фашистской Германии. Опыта пребывания на территории недавнего врага еще ни у кого не было, нет ничего удивительного, что командование требовало от всех моряков повышенной бдительности. Будьте корректны, но осторожны. Поменьше контактов. И вообще без дела в город ходить незачем. Даже в советскую контрольную комиссию, вывесившую свой флаг в центре города.

О городах Финляндии — Ханко, Турку, о Хельсинки, где лодка ремонтировалась в ноябре — декабре 1944 года, Александр Иванович рассказывал мало — он их почти не видел. Жаловался на скуку, но хвалил порядки на финском судостроительном заводе:

«Не любят трепаться и разводить бюрократическую волынку. Больше молчат. Но если кто что сказал — будет сделано. И никаких планов, смет, разнарядок... Идет инженер по лодке, за ним мастер с блокнотом. Инженеру покажешь, он посмотрит, буркнет что-то по-своему мастеру, мастер записывает... В конце декабря вернулись в Ханко. В Ханко еще тоскливее. Лодка в готовности, а на плавбазе скука смертная. Потравишь вечером в кают-компании, сыграешь партию в шахматы, иногда хлопнешь стопочку у кого-нибудь в каюте — вот и все наши развлечения. По вечерам девать себя некуда».

Обычно Маринеско был душой кают-компании, но в Финляндии на него все чаще нападала хандра. Казалось бы, должен быть счастлив: боевой успех, всеобщее уважение, орден Красного Знамени. А хандра не проходила. И походом он был не так уж доволен.

В Ханко офицеры жили не так, как до войны,— без семей. Многие скучали по семьям. Вероятно, Александр Иванович тоже. А впрочем, к 1944 году семья Маринеско, по существу, уже распалась.

Здесь мне придется сделать небольшое отступление, необходимое для правильного понимания многих дальнейших событий.

Печально, но правды не скроешь: в описываемое время отношения между супругами были уже нарушены, а вскоре после войны они окончательно разъехались. Кто в этом больше виноват — не мне судить. Когда я говорю о вине, я меньше всего имею в виду чьи-либо провинности, сегодня они никого не должны интересовать. Речь идет о вине за распад семьи. Об этом мы долго, грустно и по-дружески откровенно поговорили с Ниной Ильиничной на скамеечке около Медного всадника, и я понял: могло быть иначе. Но столкнулись два сильных характера и никто не умел уступать. Меня восхитило мужество, с каким Нина Ильинична, преодолевая все обиды на Александра Ивановича, не снимала и с себя вины за разрыв:

«Сегодня я уже многое понимаю и прощаю. Понимаю: когда от человека требуется в бою нечеловеческое напряжение всех сил, трудно требовать, чтоб он в быту был паинькой. Теперь я, может быть, многое простила бы ему, но тогда я была моложе — и не смогла».

Это из того нашего разговора на скамеечке. Этот же разговор позволяет мне сегодня очень осторожно коснуться личной жизни Александра Ивановича, потому что правда всегда лучше двусмысленности и тумана.

Александр Иванович умер, не оформив развода с Ниной Ильиничной. Но не только поэтому она — единственная и законная вдова командира «С-13». Большинство команды знало и знает только ее, относятся к ней и к Леоноре как к родным и считают их почетными членами экипажа. При всем при том невозможно, рассказывая о послевоенных событиях в жизни Маринеско, обойти тот факт, что он был женат трижды.

Я никогда не встречался с Валентиной Ивановной Громовой.

Александр Иванович познакомился с ней после войны, плавая на судах Совторгфлота, и они прожили вместе несколько лет. Я знаком с их дочерью Татьяной Александровной, она носит фамилию Маринеско. Всего этого мне достаточно, чтобы не становиться на формальную точку зрения.

С Валентиной Александровной Филимоновой Александр Иванович прожил неполных три года. Из них около двух он проболел — и умер на ее руках. Как с женой он приезжал с ней в Кронштадт на сбор ветеранов-подводников, как жену представлял друзьям, и все, кто встречался с Александром Ивановичем в эти последние годы его жизни, не могут иначе как с восхищением говорить об ее бескорыстной и самоотверженной борьбе за жизнь Маринеско. Глубоким уважением полны письма к ней Ивана Степановича Исакова.

Теперь, сказавши все это, мне легче двигаться дальше, и читатель увидит почему.

Ремонт закончился. Маринеско томился в ожидании боевого приказа. В город он не так уж и стремился. Тем более что языка он не знал, а финны почти не говорили по-русски. При деловых встречах приходилось пользоваться услугами переводчика — это был белоэмигрант, угодливый и прилипчивый. Когда Корж по-дружески предупредил: с этим господином надо быть поосторожнее, он наверняка работает в полиции и может подсунуть какую-нибудь сомнительную девицу,— Маринеско даже обиделся:

— За кого ты меня принимаешь?

И действительно был безупречен до новогодней ночи, когда он неожиданно для всех и для самого себя совершил тяжелейший, а в условиях военного времени граничащий с преступлением проступок — самовольно ушел с плавбазы, загулял в чужом городе и вернулся лишь к вечеру следующего дня. Больше того — вовлек в свое предприятие другого офицера.

Происшествие чрезвычайное и беспрецедентное. Может быть, сегодня кому-то оно покажется и не таким уж значительным, но надо помнить — тогда еще не кончилась война, еще сохраняли силу суровые законы военного времени, особенно на чужой, еще недавно вражеской, территории. А тут исчезает командир, который не сегодня-завтра выйдет в море для выполнения важного задания. Как знать, не похищен ли он вражеской разведкой и не старается ли притаившаяся в Финляндии гитлеровская агентура выжать из него какие-нибудь ценные сведения?

Что произошло с Александром Ивановичем во время его отлучки, я расскажу по некоторым соображениям в другой главе. Его исповедь, в искренности которой не сомневаюсь, я записал ночью в кронштадтской гостиничке почти дословно. Эту трагикомическую историю я до сих пор не считал возможным публиковать, хотя она многое объясняет в характере моего героя. Теперь, через много лет, с согласия близких людей я могу себе это позволить. Но это позже, потом, а сейчас я хочу заверить читателей, что нисколько не пытаюсь преуменьшить вину Александра Ивановича, как и не пытался преуменьшить ее и он сам. Единственное, против чего он гневно восставал, это подозрения. Подозревать его, Александра Маринеско, в том, что он может быть завербован или как-нибудь иначе использован врагами,— есть от чего прийти в бешенство. Но в конце концов подозрения отпали — Маринеско, слава богу, был не один, его откровенные показания полностью совпали с показаниями соучастника. Обоим грозил суд трибунала, но командование проявило здравый смысл: лодка готова к боевому походу, командир пользуется у экипажа безоговорочным доверием и стоит за него горой, пусть исправляет свои ошибки в бою.

9 января 1945 года «С-13» под командованием капитана 3 ранга Маринеско вновь вышла на позиции в районе Данцигской бухты.

VII. «АТАКА ВЕКА»

Об «атаке века», как нередко называют атаку «С-13» на гордость фашистского флота — гигантский лайнер «Вильгельм Густлов», написано уже много. В разных странах, разными людьми, с различными задачами.

Моя задача — особая. Я не военный историк. Атака меня интересует в первую очередь тем, что в ней наиболее ярко проявился характер моего друга. Поэтому главу о январском походе «С-13» я начну с попытки разобраться, с каким настроением выходил тогда в море Александр Иванович. С отчаянностью штрафника, рвущегося навстречу опасности, чтобы поскорее «кровью» искупить свои прегрешения, или со своим обычным спокойствием? Повлияли ли предшествовавшие походу события на поведение командира в море и на боевые успехи корабля?

Судя по всему — никак не повлияли. Может быть, поначалу какие-то сторонние мысли и угнетали его, но окунувшись в привычную атмосферу всеобщего доверия, вновь оказавшись на привычных для него местах — на мостике, в боевой рубке или у разложенной на штурманском столике карты,— вновь стал тем командиром, каким его знала команда, отважным и расчетливым, бодрым и даже веселым. В поход он шел не для того, чтоб вымаливать прощение, а для того, чтобы громить врага.

Читатель уже знает: о январском походе 1945 года Александр Иванович рассказывал при мне несколько раз. Его слушали затаив дыхание, но у меня все-таки оставалось ощущение неудовлетворенности. Рассказывал он даже неплохо: точно, деловито, называл пеленги и курсовые углы, но ни слова о том, что он при этом думал и чувствовал, как будто речь шла не о нем, а о каком-то другом командире, как будто говорил не зачинатель и вдохновитель атаки, а некто со стороны пересказывал уже опубликованные материалы, строго придерживаясь установившейся версии. Тогда мне казалось, что это только скромность, позже я понял, что не только — сказывалась многолетняя привычка не говорить о себе. Гораздо больше я узнал о походе не от него, а от его соратников.

Зима восьмидесятого. Через тридцать пять лет после зимнего похода «С-13» мы с Николаем Яковлевичем Редкобородовым сидим в квартире приютивших меня ленинградских друзей и неторопливо беседуем. «Микрорекордер» лежит между нами на столе, и мы замечаем его, только когда приходит пора сменить кассету. Мы встречаемся уже не в первый раз, но нам всегда есть о чем поговорить и с каждой встречей мы все лучше понимаем друг друга. Перед Николаем Яковлевичем лежит лист бумаги, время от времени он беглыми штрихами набрасывает схему маневра «С-13», очертания берега и расположение маяков, и хотя по роду моей профессии меня больше занимают характеры, чем курсовые углы, это необходимо нам обоим. Разными путями мы пришли к единому убеждению: чтобы понимать человека в бою, надо понимать его действия. Характер реализуется прежде всего в поступках, в поведении.

— Поговаривали, что командиру просто везет на крупные корабли,— говорит Николай Яковлевич.— Какая чепуха! Везло потому, что он эти корабли искал. Мне, штурману, это виднее всего. Искал, потому что таков был боевой приказ. В приказе было недвусмысленно сказано: обнаруживать и уничтожать крупные и, прежде всего, боевые корабли противника. В памятную зиму наши наземные войска очищали от захватчиков советскую Прибалтику, гитлеровцы отчаянно цеплялись за эстонские острова, в особенности за свой укрепленный плацдарм на западной оконечности острова Сааремаа — полуостров Сырве. Вы представляете себе, где находится Сырве? — Николай Яковлевич уже берется за карандаш.

— Представляю,— говорю я.— В конце ноября я был там на бронекатерах. Но к декабрю операция была уже закончена, немцев сбросили в море и их боевые корабли оттуда ушли.

— Именно потому их ожидали в районе Данцигской бухты. Но было, вероятно, уже поздно, начинался всеобщий драп из Прибалтики. Мы тринадцать дней маневрировали в средней части отведенного нам района действий, несколько раз приходили в соприкосновение с кораблями противника, несколько раз могли иметь успех, но Маринеско ни разу не вышел в атаку, берег торпеды для более крупной дичи. И наконец принял решение резко изменить курс и уйти в самую южную часть района, где в первую же ночь обнаружил достойную цель. Было ли это только удачей или каким-то необыкновенным наитием? Нет, в основе решения лежал точный расчет. По доходившим до нас скупым радиосводкам о фронтовой обстановке Александр Иванович ясно представлял себе, что́ происходило в эти дни в Мемеле и Данциге. Оборонять их становилось все труднее, перед фашистским командованием стала задача срочно вывезти оттуда боеспособные части для защиты жизненно важных центров рейха — столицы и крупнейших портов: Киля и Гамбурга. Как бывший торговый моряк, Маринеско догадывался о возможных маршрутах транспортных судов, как опытный подводник, предвидел, что крупные суда пойдут с сильным конвоем. Чем крупнее корабль, тем мощнее охрана, поэтому выбор крупной цели прямым образом связан с наибольшими трудностями и риском. В ноябре, если помните, погода была еще сносная, но в январе на Балтике творилось черт знает что. Погода почти все время штормовая, видимость плохая, волны захлестывают палубу так, что брызги долетают до мостика. За какой-нибудь час обледеневаешь и промерзаешь до костей, налетают снежные заряды, от которых слепнут сигнальщики. В такую ночь, когда болтало даже на глубине, командир приказал мне проложить курс так, чтобы выйти к немецкому маяку Риксгефт в двенадцати милях к северу от западного входа в Данцигскую бухту, там всплыть и подзарядить аккумуляторные батареи. Шли на перископной глубине, систематически осматривая горизонт и воздух. Придя в назначенную точку, продули главный балласт, всплыли и заняли крейсерское положение. На мостик поднялись командир, помощник, штурман и сигнальщик старший матрос Виноградов. В помощь ему вызвали еще двух наблюдателей — командиров орудий Пихура и Юрова. Пошли двенадцатиузловым ходом — одновременно поиск и зарядка. Примерно через час Виноградов доложил: пеленг 150°, вижу конвой. Какая-то группа кораблей выходила из Данцигской бухты и двигалась курсом на северо-запад. То, что видит в свой ночной бинокль Толя Виноградов, способен увидеть не всякий, для этого нужно острое зрение и особая, не ослабевающая за все время вахты сосредоточенность. Сообщение Виноградова настолько серьезно, что стоявший на вахте помощник просит командира подняться на мостик. Командир поднялся, посмотрел и подтвердил: конвой. Объявил боевую тревогу, все заняли места по боевому расписанию. Начался первый этап атаки.

Определили курс и скорость цели, и когда наша лодка, продолжая идти двенадцатиузловым ходом, лежала на курсе 240°, гидроакустик Шнапцев доложил на мостик, что слева 160° он слышит шум лопастей крупного двухвинтового корабля, идущего большим ходом. Вот смотрите...

Рука Николая Яковлевича быстро набрасывает на бумаге привычные ему линии и условные знаки. Затем наступает пауза, во время которой при наличии общей цели наши мысли текут в разных направлениях. Штурману «С-13» нужно, чтоб я все это понял и запомнил, мне же, чтобы запомнить, надо все это вообразить. Мысль штурмана рвется вперед, к завершающему торпедному залпу, моя

же упрямо цепляется за прошлое. Мне необходимо вызвать в памяти всех участников похода, с кем я в разное время встречался и беседовал, мало того — представить их себе такими, какими они были тридцать пять лет назад, юными, полными сил и боевого задора, увидеть их глаза, жмурящиеся от летящих в лицо снежных зарядов, услышать грохот их обледеневших на ветру канадок, вспомнить запах соли и выхлопных газов на верхней палубе корабля и молочную муть впереди. Если всего этого в себе не оживить, то через несколько дней половину из рассказанного я забуду и на расчерченном рукой Николая Яковлевича листе бумаги увижу только паутину из не поддающихся расшифровке линий и знаков.

Как же это делается? Каким образом литератор, не будучи свидетелем события, начинает его видеть? Собрать информацию еще не все. Информация всегда двухмерна, третье измерение ей придает воображение, питаемое из кладовой опыта, где хранятся отложившиеся в образной памяти жизненные впечатления начиная с самых ранних, с детских лет.

Насчет детских лет — не для красного словца. Несколько раз за время войны в моем сознании всплывал мимолетный, но не потускневший от времени образ проносящихся по нашему узкому московскому переулку пожарных линеек. Оконные рамы дребезжат, по потолку мечутся световые языки, сверкающие алым лаком тяжелые дроги с сидящими в них в два ряда сказочными богатырями в золотых шлемах увлекают за собой могучие битюги. Я слышу грохот колес, жесткое цоканье подков о неровные камни мостовой, непрерывный, вселяющий леденящий страх звон медного колокола, в те времена он заменял вой сирены, и даже улавливаю запах горящей смолы от раздуваемых ветром факелов. Это происходило, вероятно, не больше трех или четырех раз и продолжалось не более полминуты — трехлетний, я прятал голову в подушку или в колени матери, пятилетним я уже прилипал к окну, но образ несущейся на штурм огня пожарной команды навсегда врезался в мою память как образ стремительной атаки, и я понимаю мальчиков моего поколения, которые мечтали стать пожарными.

Что же общего с атакующей подводной лодкой? Как будто ничего. Все совсем наоборот: не звон и грохот, а тишина и скрытность, дизеля грохочут внутри, на мостике слышен только шум винтов. Ничего, кроме какой-то заключенной в этом образе трудноопределимой сущности, которую можно условно обозначить как неудержимый порыв или как-нибудь иначе. Но не будем торопиться...

Осень сорок первого. Темная ночь. «Щука» идет из Кронштадта в Ленинград, и я впервые на мостике идущей полным ходом подводной лодки. Лодка идет в притопленном положении, над водой только рубка. Не для того, чтобы атаковать торпедами, атаковать тут нечего, и не для того, чтоб быстрее погружаться, здесь нет глубин. Только для большей скрытности. Весь южный берег — Петергоф, Лигово — в руках у немцев, весь фарватер под прицелом гитлеровской артиллерии, лучи мощных прожекторов его непрерывно ощупывают. Здесь не ходят, а прорываются. Сразу после выхода из Кронштадтской гавани командир объявил боевую тревогу, мне он милостиво разрешает остаться на мостике, и я, опять-таки на всю жизнь, запомнил, где стоял командир, и позу сигнальщика, черное, с ползающими по нему световыми щупальцами небо, легкое подрагивание корпуса и запах выхлопных газов...

Уже ближе, не правда ли? Но это начало осени, а не зима. И не боевой поход, а обычный для того времени переход, ничуть не более опасный, чем повседневный кронштадтский быт того времени с обстрелами и «звездными» налетами пикирующих бомбардировщиков на гавань и рейд. И услужливая память подбрасывает зимний эпизод. Сырве. Тот самый полуостров, западную оконечность которого

в ноябре сорок четвертого еще удерживали фашисты. Я опять на мостике. На этот раз не подводной лодки, а бронекатера. Бронекатер — серьезный корабль, у него два башенных орудия. Мы идем вдоль берега, пересекаем по воде линию фронта — это видно по трассам наших «катюш». Волна, мокрый снег, видимость скверная. Силуэты вражеских кораблей я начинаю различать уже после того, как затрещали звонки боевой тревоги и наш катер — он головной, флагманский — подает сигнал к атаке и начинает маневр...

Одни ожившие в памяти впечатления накладываются на другие, они сплавляются в единый комок, и этот мгновенный сплав обладает для меня чудесным свойством — то, что мне рассказывают, становится зримым.

— Вот смотрите,— говорит Николай Яковлевич, продолжая чертить по бумаге, и теперь я действительно не только слышу, но и вижу.— После доклада Шнапцева командир, не прерывая атаки на конвой, командует: «Право на борт, курсовой 160°». Лодка повернула перпендикулярно к пеленгу и пошла на сближение. Непрерывно поступали доклады гидроакустика: шум винтов все сильнее, цель быстро приближается. На мостике в это время творилось нечто ужасное — штормовая качка и снежный буран, видимости никакой; и командир, понимая, что цель наверняка идет с охраной и какой-нибудь из конвойных кораблей может таранить лодку, скомандовал срочное погружение. Мы погрузились на глубину 20 метров, безопасную от таранного удара, но скорость снизилась, и по акустическому пеленгу командир понял: цель удаляется, угол упреждения, необходимый для стрельбы торпедами, упущен, скорость цели больше. Можно было стрелять вслепую, «по акустике», но учитывая обстановку и несовершенство тогдашней аппаратуры, недолго было и промахнуться. И когда цель прошла по носу лодки — видите как? — командир принял решение всплыть. Всплыли. На мостик поднялись командир, штурман и сигнальщик Виноградов. Решение всплыть оказалось правильным не только из-за хода, но и потому, что к тому времени видимость стала лучше. Виноградов доложил, что цель перешла с нашего левого борта на правый — видите? — таким образом, мы оказались ближе к берегу, чем цель. Несколько позже он вновь доложил: вижу две движущиеся цели, впереди идет меньшая, а вслед за ней — громадина, похоже, малый корабль тянет за собой на буксире плавучий док. Командир взял у Виноградова бинокль, посмотрел внимательно. «Штурман,— сказал он мне,— это не крейсер и не плавучий док. Это лайнер, тысяч на двадцать, не меньше. А впереди миноносец». Сразу в центральный пост было передано — идем атаковать лайнер. Легли на параллельный курс и понеслись вдогонку. Лодка, конечно, в позиционном положении — над водой только рубка...

— Но позвольте,— перебиваю я Николая Яковлевича.— Разве можно на такой волне идти полным ходом в позиционном положении?

— Можно. Конечно, умеючи. Делается так: цистерны главного балласта заполняются, а в носовые дается пузырь воздуха, и горизонтальные рули ставятся как на всплытие. Тогда лодка не зарывается. А на случай непроизвольного погружения командир приказал задраить нижний рубочный люк. Понятно?

Я киваю. Все ясно: в таком случае смыло бы только тех, кто на мостике, включая самого командира. Лодка полностью сохраняет плавучесть и боеспособность. Командование принимает старпом.

— Каждые две минуты,— продолжает Николай Яковлевич,— я брал пеленг, и все же, несмотря на то, что мы шли полным ходом, цель нас обгоняла и могла уйти. Тогда командир вызвал на мостик инженера-механика лодки Якова Спиридоновича Коваленко и прика-

зал: продуть главный балласт, привести лодку в крейсерское положение. Лодка подвсплыла, ход сразу стал 16 узлов, мы стали нагонять, во всяком случае пеленг остановился. Но нам этого было мало — для атаки носовыми торпедными аппаратами мы должны были не только догнать, но и обогнать. Погоня затянулась. Иногда командир вызывал на мостик помощника, а сам спускался в центральный пост, чтоб посмотреть на карту.

Мы шли с лайнером параллельным курсом, но ближе к берегу, и несомненно к тому времени в мозгу командира уже зрел, а может быть, уже и сложился план атаки со стороны берега. Всякому ясно, что такая атака таит в себе множество опасностей. Кораблям охранения легче прижать к берегу и отрезать все ходы и выходы подводной лодке, решившейся на такой безрассудный шаг. Глубины у берега меньше — лодка беззащитнее от нащупывающих ее пеленгаторов противника и от его глубинных бомб. Но есть одно решающее в данном случае преимущество — именно по этим самым соображениям удара со стороны берега меньше всего ждут.

— Взвешены были все «за» и «против». С одной стороны — стрелять торпедами в штормовую погоду труднее. С другой — волна и плохая видимость мешают обнаружить идущую в крейсерском положении подводную лодку. В печати промелькнула версия, будто бы сопровождавший лайнер миноносец заметил лодку и, приняв ее за один из кораблей эскорта, сигналом запросил ее код. И будто бы сигнальщик Виноградов вышел из положения, передав в ответ какую-то абракадабру. Эффектно, но неправда.

— Виноградова я спрашивал,— говорю я.— Он этого не подтверждает.

— Во время погони Виноградов почти все время видел цель. В помощь ему командир вызвал на мостик командира отделения рулевых Волкова. Этот видел ночью, как сова, иногда он обнаруживал цель раньше акустика.

Соперничать в ходе с океанским лайнером — дело непростое. Погоня шла уже два часа, а нужного опережения все не получалось. И тогда командир принимает решение, быть может, еще более рискованное, чем атака со стороны берега,— форсировать двигатели. Полный ход у «эсок» 18 узлов, с такой же скоростью шел лайнер. Максимум того, что можно выжать из наших дизелей,— 19,3, и то на короткое время. А ведь никто не мог сказать, сколько еще продлится погоня.

Вновь вызванный на мостик Коваленко, вероятно, в душе трепетал — предстояло подвергнуть дизеля тяжкому испытанию. Но командир сказал «надо», и с колебаниями было покончено. Старшина мотористов Масенков получил указание — выжать все до предела.

Оставим временно мостик несущейся полным ходом вдогонку лайнеру подводной лодки и спустимся вниз, в центральный пост, в дизельный отсек. О том, что происходило в лодочных недрах, мне рассказывали и Я. С. Коваленко, и П. Г. Масенков, и В. И. Поспелов. С Яковом Спиридоновичем у нас давняя дружба, а неразлучные дружки Масенков и Поспелов пришли ко мне в 1978 году в гостиницу, и я записал их совместный рассказ о походе. Рассказ имел форму диалога не столько со мной, сколько друг с другом. Рассказывал больше Петр Гаврилович, но все время проверял себя: «Так, что ли, Вася?» «Да, помнится, так, Петя»...

«В жизни не забудем этой погони,— говорит Масенков, но будем считать, что это и все дальнейшее говорят они оба.— Вначале мы шли в позиционном, притопленные, но дизелям от этого не легче, сопротивление воды больше, волна сбивает лодку с курса, нагрузка на машины колоссальная. Корпус дрожит, клапана дизелей грохочут, а тут еще акустик жалуется — потише, из-за вас ни черта не

слышу... Акустик — он во втором отсеке, а грохочет в пятом, но трясется вся лодка, и на время приходилось снижать скорость, чтоб акустик не потерял цель. Смена режимов — это тоже для машины плохо. А когда подвсплыли и Яков Спиридонович передал нам приказание командира выжать из дизелей все что возможно, тут уж начался ад кромешный. Знаем, на мостике тоже не сладко, люди обледеневают на ветру, а у нас наоборот — пекло и дышать нечем. Амортизационные клапана стреляют оглушительно, в ушах звон, стали мы подкладывать все что было под рукой — ключи, отвертки, пучки проволоки, через клапана отсек наполнился дымом, дым ест глаза, грохот такой, что голова раскалывается... Но главное — тревога. Что будет с дизелями? Дизель может дать две тысячи лошадиных сил, от силы две с хвостиком. Ну а мы выжимали две с половиной. Это все понимали и боялись очень — не за себя, не оба же двигателя враз откажут, домой дочапать можно и на одном. Боялись, что сорвется атака. Вот сгорит какой-нибудь подшипник — и кончено, цель ушла, все усилия прахом. В задымленный отсек набилось восемь человек, и все при деле, к каждой опасной точке приставили по наблюдателю. Задача — не спускать с нее глаз и вовремя подкладывать под клапан амортизаторы. Боялись очень, но верили. Раз командир сказал «надо!», значит, надо».

Все это лишь малая часть рассказанного мне людьми, находившимися на мостике и внутри корабля во время этой беспримерной по напряжению погони. Но кто расскажет мне, что происходило в душе капитана 3 ранга Маринеско на этом, втором, этапе атаки? Впрямую я этого вопроса Александру Ивановичу никогда не задавал. Да он и не любил копаться в себе, в своих переживаниях, вернее всего — отшутился бы. Но по наблюдениям людей, стоявших рядом, по его собственным брошенным в разное время беглым замечаниям представить себе состояние его духа все-таки можно.

Оно было сложным.

«Есть упоение в бою»... Конечно, было и упоение. Мне несколько раз приходилось близко наблюдать командиров, управляющих боем, и всегда — всегда по-разному, потому что нет двух одинаковых людей,— я видел на их лицах отсвет холодного вдохновения. Я называю его холодным, понимая всю неточность слова, холод — только оболочка, но оболочка необходимая. Упоение боем, азарт преследования, радость, которую приносит власть над событиями,— и наряду точнейший расчет, неослабевающее внимание к быстро меняющейся обстановке, требующей трезвой оценки и мгновенных решений. Так в плазменном генераторе бушует разогретая до немыслимых температур материя, но ее стискивают в тугой жгут и направляют мощные магнитные поля, они не позволяют раскаляться корпусу генератора.

Была ли тревога за исход атаки? Конечно, была. Тревога, что противник может уйти. Но была и уверенность: ан нет, не уйдешь. А вот другой тревоги: что будет со мной, уже взятым на мушку начальством, в случае неудачи и мне придется отвечать разом и за срыв атаки, и за самовольный выбор позиции, за повреждение дизелей, может быть, за срыв всего похода, такой тревоги, думаю, не было, а если и мелькала, то позже, когда все опасности были позади. Так бывает. Вдруг становится страшно задним числом, в сослагательном наклонении: ах, что было бы, если бы... В решающие моменты этому страху негде просочиться, в этот момент человек действует.

Но главным чувством стоявшего на мостике командира была все-таки уверенность. Не самоуверенность, а уверенность в себе, в своем знании корабля, его возможностей, в своем умении использовать их до предела. И, конечно, уверенность в людях. В старпоме и замполите. В командирах боевых частей. В том, что каждый боец на

своем посту выполнит свой долг и не подведет. А постов много, столько, сколько людей. На лодке лишних нет. И если никто, даже сам командир, не может добиться успеха в одиночку, то испортить дело может почти каждый.

Уверенность покоится на доверии. Командир вообще привык доверять людям. Но его доверие к команде, можно сказать, выстрадано. И в предыдущем походе, и в повседневной кропотливой работе — ремонте, тренировках, в несении корабельных нарядов. Он знает каждого старшину, каждого матроса со всеми их достоинствами и слабостями, заботами и пристрастиями, верит им как самому себе, и доверие это взаимно. Ему тоже верят, и, пожалуй, даже больше, чем самим себе. Когда командир говорит «надо!», делается то, что час назад казалось немыслимым, делается потому, что сказал это слово он, командир, батя.

Все, кто видел командира после того, как был отдан приказ форсировать дизели, помнят его совершенно спокойным. Спокойствие, быть может, самое трудное из всех человеческих состояний. Спокойными бывают и равнодушные, но сохранять спокойствие в часы наивысшего напряжения всех духовных сил — это уже величие.

Сумасшедшая гонка продолжалась еще около часа, и в течение всего этого часа командир не сходил с мостика. Видимость была по-прежнему плохая, временами налетали снежные заряды, и тогда все стоявшие наверху, включая сигнальщиков, переставали что-либо видеть. Но нет худа без добра — на лайнере и на кораблях конвоя идущую полным ходом в крейсерском положении лодку тоже не видели.

— И вот наконец,— продолжает свой рассказ Н. Я. Редкобородов,— наступил решающий момент. В 13.02 курсовой угол достиг расчетного, командир скомандовал «право на борт!», и лодка легла на боевой курс. Начался заключительный этап атаки. Все продумано: угол встречи торпед с целью 90° — идеальный прямой угол. Дальше следует команда «стоп дизеля!», включаются электромоторы, лодка вновь принимает позиционное положение, нос слегка притоплен, чтобы торпеды при выходе не шлепнулись на волну, затем «малый вперед!» и «торпедные аппараты товсь!». Помощника командир вызвал на мостик и поставил к ночному прицелу, с тем чтоб в момент, когда цель придет «на мушку», скомандовать «пли!». Сам он стоял у рубочного люка и отдавал команды на руль и на ход.

Внутри лодки грозное затишье, она уже не грохочет и не содрогается. Шум винтов едва слышен на фоне налетающих на рубку тяжелых январских волн, люди примолкли, чтоб не упустить слова команды. «На товсь» не только торпедисты, но и рулевые-горизонтальщики, их задача — мгновенно переложить рули в момент, когда лодка, выпустив торпеды и потеряв при этом почти десятую часть своего веса, подвсплывет с дифферентом на корму. А следующей командой будет «срочное погружение», поэтому трюмные машинисты тоже «на товсь», им предстоит в считанные секунды принять в цистерны многие тонны морской воды...

Все эти согласованные действия должны произвести многие люди, и только безошибочное сложение всех усилий обещает успех. Но всю полноту ответственности за то, что все произойдет так, как надо, несет только один человек. Тот, наверху. И он, этот человек, спокоен, потому что убежден: все произойдет именно так. Для этого прожита вся его еще не слишком долгая, но многотрудная жизнь моряка, для этого изучались лоции и таблицы, штурманские приборы, двигатели и оружие, накапливался опыт в дозорных и боевых походах, шли бесконечные утомительные тренировки, имевшие целью добиться от каждого члена экипажа двух на первый взгляд противоречивых качеств — быстроты соображения и автоматизма

действий. Теперь все должно произойти так, как было задумано. Ну а если не произойдет? Нападающий имеет преимущество первого хода, но ведь существует еще и противник. Опытный, хорошо вооруженный противник, и невозможно заранее предусмотреть все его ходы. Как тут не вспомнить прошлогоднюю атаку, когда противник дважды уклонился от торпед и только артиллерийская дуэль решила исход боя.

Несколько последних длиннейших секунд. Наконец цель заполняет собой поле ночного визира, и крестовина рассекает ее точно посредине.

— Пли!

Опять длиннейшие секунды ожидания. Такие длинные, что, если доверять только своим ощущениям и не сверяться с хронометром, может показаться, что все потеряно и торпеды прошли мимо цели.

И вот в самую последнюю из этих неправдоподобно длинных секунд — грохот взрывов.

На этот раз торпедная атака была проведена идеально. Все три выпущенные веером торпеды попали в цель. И не просто попали, а поразили самые уязвимые места, разрушив попутно многократно рекламированную в фашистской печати версию о непотопляемой конструкции суперлайнера. Можно только удивляться точности, с какой стреляли подводники.

Не берусь описывать все обстоятельства гибели «Вильгельма Густлова». На Западе об этом существует целая литература, опубликовано множество свидетельств, в разной степени достоверных. Можно считать установленным, что лайнер затонул примерно через полчаса, что из находившихся на борту шести или семи тысяч удалось спастись примерно девятистам, включая капитана. Последнее обстоятельство не может не привлечь внимания, слишком прочно в нас укоренилось представление, что капитан — это человек, который сходит с гибнущего корабля последним. Но я пишу не о «Густлове», а о Маринеско. Будучи виновником гибели «Густлова», командир «С-13» не был ее свидетелем. Услышав взрывы, он сразу же скомандовал срочное погружение. С этой минуты наступил последний, и самый опасный, этап морского боя, потребовавший от командира выдержки и такого же высокого искусства в управлении кораблем, как преследование и атака.

Наше сознание консервативно. Когда мы произносим мысленно или вслух слова «морской бой», перед нами проносятся образы, навеянные литературой и живописью, нам привычнее представить себе этот бой как сражение если не однотипных, то соизмеримых между собой надводных кораблей, палящих по зримому противнику из пушек, а то и сцепившихся вплотную в абордажной схватке. Но времена меняются. За четыре года войны на Балтике известен только один случай артиллерийского боя между крупными кораблями и ни одного случая, чтобы в торпедную атаку вышел крейсер или эскадренный миноносец. Несоизмеримо по сравнению с первой мировой войной возросло значение минных заградителей всех видов, морской авиации, «москитного» флота и подводных лодок. И хотя на примере осеннего похода 1944 года, когда «С-13» в открытом бою потопила вооруженное судно противника, мы видим, что артиллерийская дуэль между подводным и надводным кораблями возможна, она все-таки исключение, а не правило. Классической формой боя для подводной лодки остается торпедная атака. Но исторически сложившиеся стереотипы иногда оказываются сильнее логики фактов, и мне не раз приходилось слышать, что торпедная атака подводной лодки больше напоминает нападение из-за угла, чем честный поединок.

Есть и другой стереотип, мешающий неосведомленным людям правильно понимать и оценивать искусство и мужество подводни-

ков. С тех пор как войны приобрели глобальный характер, наряду с уничтожением войск и укреплений противника все большие усилия отдаются разгрому его промышленного потенциала. В отличие от прошлых веков исход войны решает не столько численность войск, сколько их техническая оснащенность. Поэтому объектами нападения становятся не только войска на линии фронта, но и тылы — прежде всего аэродромы, промышленные предприятия, коммуникации и жизненно важные центры, а в море помимо боевых кораблей — танкеры и транспортные суда. Во время войны мне не приходилось выслушивать сомнений в праве подводной лодки, речь идет, конечно, о моральном праве, топить любое судно, оказавшееся в отведенном ей командованием квадрате, но в мирное время, когда отошло былое ожесточение, приходится сталкиваться с людьми, чаще всего с молодыми, которые осторожно, в полувопросительной форме ставили под сомнение это моральное право. Сталкивался с такими людьми и Маринеско, эта тема возникала и в наших беседах, вот почему я решаюсь, вместо того чтоб с чужих слов описывать гибель «Густлова», пересказать то немногое, что я слышал от него самого.

— Когда я слышу разговоры о моей везучести, меня они не сердят, а смешат. Я не Суворов, хотя тоже мог бы ответить по-суворовски: раз повезло, два повезло, положите что-нибудь и на умение... Но когда до меня доносится шепоток: а не варварство ли подкрадываться к беззащитным торговым судам и отправлять их на дно?— меня этот шепоток оскорбляет до глубины души. А еще говорят так: то ли дело гордые соколы, наши летчики, там честный поединок, побеждает сильнейший... Я летчиков уважаю, а в одном отношении даже завидую — они дерутся на глазах у всего народа, любой мальчишка понимает, что такое воздушный бой. Правда, насчет «честного поединка» обольщаться тоже не следует: случится тройм напасть на одного, нападут за милую душу... Почему-то часто забывается, что основная ударная сила воздушного флота не истребители, а штурмовики и бомбардировщики и что по сравнению с торпедой обычная авиабомба — оружие гораздо более опасное для мирного населения. В военное время море не место для прогулок, а театр военных действий. Всякий корабль, вышедший в море, выполняет военную задачу, даже если этот корабль не военный, а только военизированный. Всякий человек, ступивший на палубу такого корабля, понимает, что он может стать объектом атаки — и с воздуха и из морских глубин. О каком невооруженном противнике может идти речь? Прежде чем добраться до противника, подводная лодка ежечасно подвергается смертельной опасности от мин, сетей, катеров — охотников за подводными лодками, самолетов, береговой артиллерии... Намечая цель для атаки, командир твердо знает: чем крупнее и значительнее цель, тем сильнее она будет защищена конвоем из боевых кораблей. Против них одна защита — скрытность, маневр. Я знаю, какие потери несла во время войны наша авиация, но потери подводников не меньше, вспомните, что из всех «эсок» на Балтике дожила до Победы только одна — наша, «тринадцатая». А насчет того, что на транспортах, бывает, гибнут непричастные к войне люди... Гораздо меньше, чем при обстреле или бомбежке городов. Во время войны суда не возят пассажиров, отходя от пирса, они решают определенную военно-стратегическую задачу — доставить войска, оружие, боеприпасы, сырье для военной промышленности. Всякий, кто ступил на палубу такой посудины, знает, на что он идет. Настоящий моряк это понимает и никогда не будет болтать про беззащитность. После демобилизации, в сорок шестом, я плавал помощником капитана на сухогрузном транспортном судне. Рейсы однообразные, Ленинград — Щецин и обратно. Грузы были разные, но обратным рейсом всегда брали уголь, грузили уголь пленные немцы, их тогда

в Польше было много. За погрузкой я наблюдал сам. Ходил в рабочем кителе, но с орденом Ленина. Перед обедом подходит ко мне боцман и показывает мне на одного из грузчиков — будто бы этот немец меня знает и хочет поговорить. Это показалось мне странным — знакомых немцев, помнится, у меня никогда не было. А боцман твердит свое: встречался, говорит, с Маринеско и хочу сказать ему два слова. Ладно, говорю, пригласи его ко мне в каюту. Вошел ко мне человек среднего роста, белобрысый, лицо обветренное. Вытянулся по-военному, щелкнул каблуками. Представился: обер-лейтенант такой-то. «Это правда, что вы Маринеско?» «Да,— говорю,— Маринеско». «Тот самый, Густлов капут?» «Было дело»,— говорю. «Можно пожать вашу руку?» Разговорились. Оказалось, что этот немец — обер-лейтенант, подводник. Фашистом никогда не был. Служил в учебном отряде подлодок в Пиллау, должен был идти со своим отрядом на «Густлове», но в последние минуты перед отплытием получил приказ перейти на сопровождавший «Густлова» миноносец, там заболел штурман. С мостика миноносца видел взрывы наших торпед, а затем участвовал в поиске и бомбежке «С-13».

— И много бомб на вас сбросил миноносец?

— Миноносцев было шесть. Сколько бомб? Не считал. Штук двести, не меньше...

Эта мирная встреча недавних противников произошла в сорок шестом, а 30 января сорок пятого на скрывшуюся в волнах подводную лодку обрушились десятки глубинных бомб. Двести сорок, как уточняет Н. Я. Редкобородов. Конечно, слово «обрушились» не надо понимать буквально. Обрушься на корпус лодки одна-единственная бомба — и от лодки не осталось бы следа, даже масляного пятна, какое обычно всплывает, когда бомба достигает цели. Но и разрыв бомбы в непосредственной близости от корпуса грозит лодке смертельной опасностью. Летом сорок четвертого я видел, как происходит бомбежка притаившейся на глубине вражеской субмарины. Глубинная бомба — это внушительного объема и веса металлический бочонок, донья его устроены в виде мембраны. Мембрана настроена на определенную глубину, когда давление воды на глубине достигает заданной силы, срабатывает взрывное устройство. Сбрасывание происходит на полном ходу, за кормой встают гигантские водяные султаны, о силе взрывов можно было судить по тому, что султаны были черны от ила и гравия, а между тем глубины в этом районе немалые. К сказанному остается добавить, что миноносцы несут больший запас глубинных бомб, чем катера-охотники, да и бомбы эти, надо полагать, большей мощности.

Расчет Маринеско был верен — охранение никак не ожидало нападения со стороны берега и в первую минуту растерялось. Это дало лодке возможность оторваться от преследования и уйти на глубину. Но когда корабли охранения нащупали все-таки примерное местонахождение лодки, сказались трудные стороны принятого решения. На прибрежных глубинах, не превышающих сорока метров, легче обнаружить и обложить, как зверя в лесу, притаившуюся лодку. И вот тут Маринеско проявил все свое искусство маневрирования. Это было хождение по краю бездны — один неверный шаг, и гибель неизбежна. Приближаться к дну нельзя — там могут быть донные мины. Держаться близко к поверхности опять-таки нельзя, чтоб не попасть под таран. Оставалось вертеться в тесном водном пространстве, стараясь в меру возможного дезориентировать противника. Для этого, по существу, был только один способ — подставлять его акустическим приборам как можно меньшую, все время изменяющую свое положение площадь и таким образом искажать получаемые приборами сигналы. И если ни одна из двухсот сорока бомб, сброшенных на лодку в течение часа, не повредила прочный корпус (мелочи вроде разбитых сотрясением лампочек и вышедших из строя

приборов не в счет), то всякому, даже непосвященному, должно быть ясно: секрет успеха не в удачливости, а в хладнокровии, мастерстве и интуиции командира.

Слава богу, сегодня это слово уже не вызывает кривых усмешек. Интуиция — это наш неосознанный опыт. Во всякой интуиции есть нечто общее с грацией — это умение в любой изменяющейся обстановке почти автоматически, как бы помимо расчета находить наиболее точные и экономные решения. Грация есть интуиция тела, интуиция — инстинктивная грация ума. Основа их врожденная, но оттачивается и то и другое мастерством. Почти час шел смертельный бой, похожий на игру в жмурки, преследователи не видели лодку, но и лодка не видела своих преследователей. Нужно было вдохновенное спокойствие, чтобы под грохот рвущихся то справа, то слева бомб, когда от мощных гидравлических ударов по корпусу гаснет свет, а в спертом воздухе отсеков еще не рассеялся чад недавней погони, безошибочно уклоняться от акустических щупальцев, а затем, чутко уловив момент, когда у преследователей иссяк запас глубинных бомб, дать полный ход и вырваться из опасного района.

В истории атаки на «Густлова» есть одна малозаметная, но немаловажная подробность. «С-13» стреляла по лайнеру не тремя, а четырьмя торпедами. Четвертая не вышла из торпедного аппарата, вернее сказать, вышла наполовину, не давая возможности захлопнуть крышку, закрывающую аппарат. В таком виде она представляла грозную опасность: достаточно торпеде сдетонировать от взрыва глубинной бомбы, и гибель неизбежна. Командир это знал. Но он знал также, что торпедисты в первом отсеке делают все, чтобы втянуть торпеду на место, был уверен в них и мог не отвлекаться от главного. Главным в тот момент был маневр.

На этом поход, как известно, не кончился, но я нарочно выделил «атаку века» в отдельную главу не столько даже потому, что атака на «Густлова» — наиболее известный подвиг «С-13», сколько потому, что проведенная Маринеско в том же походе блестящая атака на вспомогательный крейсер заслуживает особого разговора. Грохот торпедного залпа по «Густлову» настолько заглушил всякую информацию об атаке на «Штойбена», что в музейной экспозиции она даже не упоминается. И напрасно — когда тонул «Штойбен», грохот был посильнее, рвались не только торпеды, но и боезапас на крейсере. Напомню также, что «Штойбен» был не только охраняемым, но и настоящим военным кораблем. В последние месяцы войны советское командование ставило перед подводными лодками отчетливую задачу — в первую очередь наносить удары по боевым кораблям, а также по кораблям, перевозящим войска. «Штойбен» был и тем и другим. Наконец — и это, может быть, важнее всего,— атака на «Штойбена», по мнению специалистов, была проведена с не меньшей отвагой и искусством, чем удар по «Густлову».

Человеческое внимание привычно поражает все «самое». Самое высокое, самое быстрое, самое сильное. Отсюда наше пристрастие к рекордам и рекордсменам. Восхищаясь человеком, пробежавшим стометровку в рекордные секунды, мы уже не помним имени того, кто прибежал на несколько сотых секунды позже и оказался пятым, хотя разница между ними почти неощутима и доступна лишь современным секундомерам. Нечто подобное проявилось в мировом резонансе на потопление «Густлова». «Густлов» был «самый». Самый большой, самый современный, самый непотопляемый... При этом далеко не всегда помнится, что во время войны он был самой большой плавучей базой школы подводного плавания, готовившей тысячи подводников для новых лодок. Перед этими лодками Гитлер ставил конкретную задачу — удушить Англию. Не всегда вспоминают об этом даже англичане. Но я пишу не о гибели «Густлова», а о подвиге Маринеско.

О чем думал и что чувствовал командир «С-13», когда главные трудности и опасности были уже позади? Знал ли он, какой корабль он отправил на дно, и предвидел ли резонанс, который вызовет во всем мире торпедный залп «С-13»?

Нет, не знал и не предвидел. Выходя в атаку, подводники редко имеют исчерпывающее представление о цели. Уточнение данных происходит позже, во многих случаях когда война уже кончилась. Конечно, Маринеско понимал, что напал на крупного зверя («Тысяч на двадцать»,— сказал он штурману перед атакой), и чувствовал удовлетворение, подобное тому, какое должен чувствовать полководец, выигравший сражение.

Кого-то может смутить сравнение командира лодки с полководцем и само слово «сражение». Меня оно не смущает. Я знаю: полки водят генералы, а флоты адмиралы, но когда скромный капитан третьего ранга самостоятельно, не рассчитывая на чью-либо помощь, вступает в бой с целым соединением, так ли уж важно, что у него в подчинении меньше полусотни бойцов? Важен политический расчет, заставивший крейсировать ближе к выходу из Данцигской бухты, важно умение оценивать обстановку, определившее все дальнейшие решения. Атака подводной лодки — это настоящее морское сражение, и нас не должно сбивать с толку непривычное различие в средствах нападения и обороны, какими в этой битве располагают противники. Мне с детства памятно описание традиционной гладиаторской схватки. Вооруженный мечом и щитом секутор против ретиария с трезубцем и легкой сетью. Побеждал во всех случаях более искусный. Ассоциация отдаленная, но что-то она объясняет. Впрочем, на равенстве шансов сходство кончается и сразу же выступает различие. В бою гладиаторами владела слепая ярость, но для ненависти к противнику у них не было причин. Участникам «атаки века» придавала силу накопившаяся и искавшая выхода ненависть к палачам и поработителям, у каждого из них был свой личный счет к врагу. Так что в удовлетворении выигранным боем была и радость мщения.

Когда я впервые познакомился с участниками «атаки века», они были уже зрелыми людьми, занятыми мирным трудом, отцами взрослых детей. А ведь они были очень молоды тогда. Командиру едва перевалило за тридцать. Матросам по двадцати, старшинам чуть побольше. За плечами у всех опыт войны и блокады, груз тяжких испытаний и потерь, пережито столько, что хватило бы на целую долгую жизнь, но, по существу, они только начинали жить, жили, не зная, сколько на их век отпущено дней, жили, как жила в то время вся молодежь, задачами дня, откладывая на будущее многие мечты и помыслы, но чересчур далеко не загадывая, используя редкие минуты передышки, чтоб дать выход нерастраченной потребности размяться, пошутить, подначить товарища... Встречаясь с немолодыми, почтенного вида людьми, одетыми в добротные пиджачные пары с внушительным набором муаровых ленточек на груди, я всегда ловил себя на желании угадать, какими они были четверть века назад.

Бывший гидроакустик корабля Иван Малафеевич Шнапцев и бывший сигнальщик Анатолий Яковлевич Виноградов — москвичи, и я познакомился с ними задолго до исторической встречи ветеранов «С-13». Оба мастера высокой квалификации, Шнапцев — специалист по приборам, Виноградов — по станкам. Иван Малафеевич сухощавый, узколицый, носит очки, отчего взгляд кажется строгим, похож на профессора. Анатолий Яковлевич — плотный, улыбчивый, выглядит моложе Шнапцева, но тоже человек солидный, как и подобает мастеру. И тот и другой побывали у меня дома, и мы хорошо поговорили. Единственное, что мне мешало: я никак не мог их себе представить такими, какими они были в годы войны, фотокарточек военного времени они мне не показывали, да это бы и не помогло. Но был один день, вер-

нее вечер, когда я неожиданно для себя перенесся растревоженным воображением в давно прошедшие времена и на несколько мгновений увидел своих почтенных собеседников разом помолодевшими — быстрыми, смешливыми, заряженными веселой энергией. Это было 10 мая 1978 года на прощальном ужине ветеранов «С-13». На следующий день все приглашенные разъехались по домам.

Пользуюсь случаем сказать: эта незабываемая встреча боевых друзей состоялась благодаря инициативе и незаурядной энергии, проявленной Яковом Спиридоновичем Коваленко. Он же выбрал для заключительного банкета плавучий ресторанчик, стоявший на приколе на Петроградской стороне. Но даже Якову Спиридоновичу с его энергией и талантом убеждать не удалось получить для подводников единственный банкетный зал. Вместо банкетного стола вдоль общего зала было поставлено (именно поставлено, а не составлено) пять обыкновенных ресторанных столиков на пять-шесть кувертов каждый. Столики стояли цугом, точно вдоль килевой линии, и, вместе взятые, отдаленно напоминали пять отсеков подводной лодки. Сходство еще усиливалось тем, что средний столик все сразу же восприняли как центральный пост, там заняли свои места старпом и инженер-механик, оттуда прозвучала первая команда: почтить память покойного командира.

Я в числе немногих гостей экипажа находился в кормовом отсеке, носовым считался ближайший к эстраде и танцплощадке, где уже громыхал джаз и отплясывали шейк какие-то трудно различимые издали люди. Магнитофон я с собой не захватил и не ошибся, здесь он бы только мешал. Жалел я только, что не слышу, о чем говорят и почему смеются в центральном посту и носовых отсеках.

До поры до времени все шло заведенным порядком, а затем произошел чуть не испортивший весь праздник огорчительный инцидент. Поднялся сидевший за третьим столом Я. С. Коваленко и начал читать свои написанные специально для этой встречи, на сторонний взгляд, может быть, и недостаточно профессиональные, но проникнутые искренним чувством стихи. Не успел он дочитать до половины, как из ресторанных кулис возникла пышная блондинка с ярко-зеленой лентой в распущенных волосах и, прервав чтение посередине строфы, стала сердито выговаривать стихотворцу и его восторженным слушателям за неприличное поведение. Аргументация была примерно такова: здесь вам не митинг, а ресторан, люди пришли культурно отдыхать, и потом учтите (голос понижается до шепота) — в зале иностранные гости, англичане...

Англичан я заприметил давно. За одним из соседних столиков сидели две молодые пары. Вероятно, они даже не подозревали, что о них идет речь, они жили своей жизнью, чокались друг с другом, смеялись, а когда вступал оркестр, поднимались и шли на танцплощадку.

Никакие возражения не помогли. Отважные подводники отступили перед хозяйским апломбом блондинки с зеленой лентой. Настроение было испорчено. И впрямь после трех дней непрерывного триумфа, после церемониального марша в училище и митинга на площади Мартынова получить такой афронт во второразрядном ресторанном заведении было особенно обидно. А меня больше всего задела последняя сказанная с придыханием фразочка — насчет англичан. Вероятно, потому, что пришли на память слова бывшего флагмеха нашей бригады Е. А. Веселовского, сказанные мне в случайном разговоре на пути в Кронштадт: «Англичане должны были бы поставить Маринеско памятник. Хороши бы они были, если б семьдесят новеньких подводных лодок Гитлер бросил на блокаду Британских островов».

И вот теперь из-за этих ни в чем, впрочем, не повинных молодых англичан унизили соотечественников...

И все-таки есть правда на земле. Каким-то таинственным путем об инциденте стало известно всему ресторану, а главное, до всех дошло, что за пятью столиками в середине зала празднует свою встречу экипаж героического корабля. На нарушителей спокойствия стали поглядывать с явным сочувствием, и я сам видел, как некто в штатском костюме, но с какими-то впечатляющими знаками отличия, отозвав пышную блондинку в сторону, что-то негромко, но очень внушительно ей втолковывал. После чего произошли события неожиданные. Блондинка исчезла и через несколько минут появилась вновь. В руках она несла никелированную стойку с микрофоном, за микрофоном волочился длинный шнур.

Теперь Якова Спиридоновича слушал весь зал. Ему аплодировали. Хлопали даже англичане, хотя вряд ли что-нибудь поняли. Я смотрел на его разгоревшееся лицо и впервые за наше уже достаточно долгое знакомство видел его таким, каким он был в то давнее время. А ведь он был очень молод тогда, пришедший из морской пехоты после ранения юный лейтенант, новичок, в котором Маринеско угадал достойного преемника опытнейшему инженеру-механику лодки Дубровскому.

А затем к микрофону подошел Виноградов, и я, опять-таки впервые, увидел в нем не Анатолия Яковлевича, а Толика, проворного, как белка, разбитного матросика, любимца команды, шутника и заводилу. Под общий хохот он вспоминал что-то из лодочного фольклора, стишки, частушки и розыгрыши военных лет. После Виноградова выступал еще кто-то, потом вернулись отдыхавшие музыканты, грянул оркестр, на танцплощадке началось очередное радение, и к нашему столу разлетелся совершенно неузнаваемый, сбросивший свою профессорскую осанку Иван Малафеевич. Извинившись, что похищает мою даму, он склонился перед Леонорой Александровной Маринеско, и когда она, улыбаясь, встала из-за стола, наклонился к моему уху и восторженно хихикнул: «Обожаю танцевать!»

В этот вечер помолодели все. От дорогих сердцу воспоминаний, от вновь вспыхнувшего чувства заложенной еще в молодые годы неразрывной связи. И среди этих помолодевших людей незримо витал дух молодого командира. Я подумал, что если б за нашими столами сидели английские моряки, они обставили бы все торжественнее — например, поставили бы для отсутствующего командира прибор и оставили пустой стул — я слышал, так делают,— но это было бы не в духе Маринеско, он не любил сидеть на месте, а предпочитал заглядывать во все отсеки корабля. Так было и в этот вечер, он присутствовал как бы за каждым столом. О нем говорили как о живом, с улыбкой вспоминали его шутки, любимые словечки, даже его суровые разносы...

Так о чем же думали эти люди в январе сорок пятого, когда, оторвавшись от преследования, легли на грунт, чтобы немного отдохнуть и навести порядок в своем хозяйстве? Только об одном. О Победе. О том, что война еще не кончилась и Победу надо добыть, завоевать. И, следовательно, надо действовать. Истрачено всего три торпеды, повреждения невелики, и лодка еще целый месяц может крейсировать на коммуникациях противника.

Маринеско готовил лодку к новым атакам.

VIII. И СНОВА БОЙ...

Известие о гибели «Вильгельма Густлова» распространилось по всему миру с быстротой звуковой волны. Балтийские подводники, ремонтировавшие свои корабли на финских верфях, узнали о подвиге «С-13» еще до возвращения лодки на базу. Вышедшая из войны Фин-

ляндия сохранила привычные контакты со своей соседкой — нейтральной Швецией, и шведские газеты первыми откликнулись на событие. Поэтому кажется маловероятным, что такое важное сообщение могло остаться незамеченным даже на фоне блистательных побед советских войск, перешедших к тому времени в решительное наступление на всех фронтах.

Повторяю, меньше всех знали сами участники «атаки века». Они не знали, что потопленный ими лайнер зовется «Вильгельм Густлов», не знали даже, что такой существовал. Знали одно: одержана крупная победа. Их ликование умерялось только смертельной усталостью после чудовищного напряжения погони, атаки, бомбежки. Однако успокаиваться было рано. Нужно было срочно произвести мелкий ремонт, сделать приборку, перезарядить торпедные аппараты, а главное, как любил говорить Александр Иванович, «не размагничиваться». Поэтому, приказав выдать всем по сто граммов и поздравив экипаж с успехом, он сразу же предупредил: готовьтесь к новым атакам. В этом духе провели беседы по отсекам замполит Б. Н. Крылов и секретарь партийной организации В. И. Поспелов, а командиры боевых частей получили указания, не оставляющие сомнения в том, что командир корабля настроен воинственно.

«У меня было чувство огромного подъема,— вспоминал потом Александр Иванович.— Был такой прилив сил, что любая задача казалась по плечу и достигнутое уже не удовлетворяло...»

Когда война близится к концу, в душу самых отважных, много раз доказавших свою доблесть бойцов, бывает, закрадывается мысль: не лезть на рожон, не искушать судьбу, во что бы то ни стало дожить до победы. Александр Иванович признавался мне, что в апреле—мае 1945 года в его душу такие мыслишки заползали. Думал он даже не столько о себе, сколько о команде. И все-таки он эти мысли гнал и рвался атаковать. Но в январе близость Победы только разжигала боевой азарт, и к новым атакам Маринеско стремился не для того, чтоб заслужить прощение, у него были все основания считать, что вину свою он уже «искупил кровью». Это чье-то бестактное напутствие ему особенно запомнилось, оно и сердило его и смешило. Он искал новых встреч с противником не ради искупления и даже не ради славы, а, как сказал близкий его сердцу поэт, «ради жизни на земле».

Поэтому, поразмыслив и посоветовавшись с ближайшими помощниками, Александр Иванович решил покинуть район Данцигской бухты и уйти севернее, ближе к середине отведенного ему квадрата. Обстановка на сухопутном фронте изменялась с каждым днем, и при всей скудости поступавшей на лодку информации верное понимание обстановки подсказывало командиру, что теперь встречи с крупными кораблями противника следует искать именно там.

По сравнению с недавно пережитым переход на новое место был для команды кратковременным отдыхом. Весьма, впрочем, относительным. На переходе нужно было зорко наблюдать за воздухом и горизонтом, подзаряжать аккумуляторные батареи — на подводной лодке работа находится всегда. Погода несколько улучшилась. Самолеты лодку не преследовали, но 6 февраля ее обстреляла из автоматической пушки находившаяся в дозоре немецкая подводная лодка, по всей вероятности «малютка». Маринеско от схватки уклонился, он искал противника покрупнее.

На этот раз отыскать крупную цель ему помогла балтийская авиация. Бывший однокашник Маринеско еще по дивизиону «малюток» П. А. Сидоренко был в то время прикомандирован к штабу балтийских ВВС и передал на «С-13» координаты обнаруженного воздушной разведкой движущегося корабля. Координаты, конечно, приблизительные: корабль в любую минуту может изменить и скорость и курс,

а подводная лодка выходит на связь лишь в строго определенное время. Тем не менее сведения представляли ценность. Установлено было, что крейсер типа «Эмден» в окружении шести эсминцев движется курсом 250° в сторону Германии. Это мог быть корабль, брошенный фашистским командованием на поддержку войск курляндской группировки или, еще вероятнее, для эвакуации и переброски этих войск на защиту жизненно важных центров в самой Германии. Александр Иванович приказал штурману рассчитать три варианта, учитывая возможности изменения курса цели и ошибок в определении этого курса воздушной разведкой. Все это осложняло задачу.

В 22 часа 15 минут 9 февраля цель была наконец обнаружена. Акустик доложил: слышен шум винтов большого корабля. Пошли на сближение, и вскоре сигнальщики увидели крейсер в сопровождении трех эсминцев, установить, сколько их было на самом деле, не позволяла плохая видимость.

«Когда цель стала доступна наблюдению,— говорит Н. Я. Редкобородов (я снова прижимаю к уху «микрорекордер» и слышу его четкую, слегка скандирующую речь, такой же четкостью отличается его почерк, в этом есть что-то профессиональное, штурманское; четкость и точность — родные сестры),— нам сразу стало ясно, что оптимальнейший из задуманных вариантов — пересечь курс цели в 30 кабельтовых по носу — неосуществим. Цель была обнаружена в 20 кабельтовых, для выхода в атаку носовыми аппаратами времени не оставалось. Немедленно командир принял другое решение — пересечь курс цели за кормой. Это решение меняло весь план атаки, но имело и свои преимущества, в частности, оно давало возможность точнее определить курс цели. Александр Иванович скомандовал «лево на борт!», и с этого момента началась погоня, в чем-то схожая с недавней погоней за лайнером. Опять полный ход в крейсерском положении, опять форсируем двигатели, чтобы выжать из них девятнадцать узлов. Только видимость лучше, чем в ту снежную ночь, и приходится помнить, что на близком расстоянии от цели движется сильное охранение. Как было потом установлено, шли новейшие эсминцы типа «Карл Галстер», снабженные всеми современными средствами наблюдения и обнаружения. Охранение очень затрудняло выбор способа атаки и расстояния, с какого следовало стрелять. Вы, конечно, знаете: подводные лодки стреляют торпедами с дистанции от четырех до восемнадцати кабельтовых. Подойти ближе — можно пострадать от взрыва самим, стрелять издалека — больше шансов промахнуться. Маринеско решил стрелять кормовыми. В этом тоже был известный риск: носовых аппаратов четыре, кормовых — два. Четыре больше двух, если по арифметике, то вдвое, в бою же таблица умножения подвергается существенным коррективам в зависимости от конкретной обстановки. Бесспорно, выпустить четыре торпеды вместо двух заманчиво — резко повышается вероятность попадания. Если же из двух торпед в цель попадет только одна — этого может оказаться недостаточно, чтобы потопить такой крупный корабль. И все-таки Маринеско решил стрелять кормовыми. На расстоянии четырех—шести кабельтовых от цели шел сильный конвой, и невероятно, чтобы он не сделал выводов из ошибок конвоя, сопровождавшего «Густлова». Конвой очень мешал лодке, невозможно было, оставаясь незамеченными, повернуть на боевой курс для стрельбы четырьмя. Решаясь на двухторпедный залп, Маринеско рассчитывал на то, что стрельба будет снайперской. Было у атаки кормовыми аппаратами еще одно преимущество — она позволяла быстрее уйти в открытое море и, таким образом, оторваться от преследования. Повторить принесшие успех при атаке на «Густлова» хитроумные маневры было невозможно. К тому же командир отлично понимал: даже за несколько дней, прошедших после атаки на лайнер, немцы сделали свои выводы. Оперативный режим стал заметно жестче, усилена поисковая ударная авиация, в море высланы дозоры. По-

этому мы больше не ходили прямыми курсами, и командир даже в свежую погоду вел лодку противолодочным зигзагом».

Слушая Николая Яковлевича, отмечаю одну общую для всех участников похода черту. О личной храбрости командира они не говорят. Она — вне обсуждения. Если же они хвалят его за смелость — то за смелость решений.

Храбрость бывает разная. Когда в дни моей молодости о ком-то говорили как о человеке безрассудно храбром, я воспринимал это как высшую похвалу. И лишь позже, в годы войны, стал понимать, что трезвый расчет не противоречит храбрости. Безрассудство предполагает забвение опасности, но не большее ли мужество проявляет командир-подводник, ни на минуту о ней не забывающий, но умеющий противопоставить ей свое хладнокровие и высокий профессионализм? Настоящие герои часто принимают опасные решения, но не потому, что они опасные, а потому, что они оптимальные. Все как в шахматах: тот, кто хочет выигрывать у сильного партнера, должен рисковать. Чем крупнее цель, тем сильнее охранение. Беседуя с моряками, вернувшимися из боевого похода, я почти никогда не слышал, чтоб кто-нибудь объяснял свой успех храбростью. Всегда целесообразностью. Здесь нет противоречия, война показала: в большинстве случаев смелые решения оказываются и наиболее целесообразными.

«Залп, произведенный из кормовых аппаратов в 22 часа 50 минут, был исключительно метким. Попали в цель обе торпеды, взрыв был такой силы, что крейсер затонул в течение считанных минут. С мостика «С-13» были видны два высоких султана, а затем один за другим раздались еще три мощных взрыва, вероятно детонировал боезапас. На этот раз Маринеско предпочел не маневрировать в подводном положении, а, пользуясь замешательством в стане противника, резко оторваться от района атаки. Вместо срочного погружения он скомандовал «полный вперед!» и на полном крейсерском ходу под дизелями ушел в открытое море».

Маринеско еще не знал ни названия, ни класса потопленного им судна, но не сомневался, что это был крупный военный корабль. Таким образом, «С-13» точно выполнила боевой приказ: искать и уничтожать в первую очередь боевые корабли, а также корабли, перевозящие войска. Как стало впоследствии известно, на борту вспомогательного крейсера «Генерал Штойбен» водоизмещением 14 660 тонн находилось около четырех тысяч отборных фашистских войск.

У «С-13» еще оставались торпеды, но автономность лодки была полностью исчерпана и пришло время возвращаться на базу. У командира было легко на душе, он имел все основания рассчитывать на сердечную и даже торжественную встречу. Успех его окрылил, и он всячески давал понять экипажу, что этот поход не последний, до конца войны лодка успеет еще раз выйти в море.

Встретили вернувшихся с победой и впрямь хорошо. Рандеву обошлось без недоразумений. Командир дивизиона А. Е. Орел вышел на катере встречать «С-13» и, сойдя на лед, крепко обнял Маринеско. Торжества были скромные, в чужом порту особенно не разгуляешься, но был и банкет с традиционными жареными поросятами, и дружеские объятия, и многозначительные намеки на предстоящие высокие награды. Подразумевалось, что все прошлые провинности Александра Ивановича забыты и в новый поход он пойдет приумножать славу «С-13», к тому времени уже единственной «эски» на Балтике.

За январский поход Александр Иванович был награжден орденом Красного Знамени. Орден прекрасный, но вспомним, что первый поход Маринеско на «М-96», несравнимый по результатам с январским походом «С-13», был оценен выше. Соответственно, снижены были награды другим участникам похода.

После войны я имел возможность поделиться своим недоумением

почти со всеми прямыми начальниками Александра Ивановича, людьми заслуженными и авторитетными. Исчерпывающего ответа я не получил. Никто из них не ссылался на недостаточную осведомленность, не оспаривал заслуг героя. Говорилось о нетерпимых, порочащих честь советского офицера проступках капитана 3 ранга Маринеско. Об этих проступках я знал, и мне нечего было возразить.

А ясность все не приходила.

В своей прекрасной статье «Атакует «С-13», опубликованной в 1968 году в журнале «Нева», бывший министр Военно-морского флота, Герой Советского Союза Н. Г. Кузнецов писал: «История знает немало случаев, когда геройские подвиги, совершенные на поле боя, долгое время остаются в тени и только потомки оценивают их по заслугам».

Мысль безусловно справедливая и имеющая прямое отношение к подвигу Маринеско.

«Бывает и так,— сказано в статье,— что в годы войны крупным по масштабам событиям не придается должного значения, донесения о них подвергались сомнению и приводят людей в удивление и восхищение значительно позже».

И это совершенно верно. Смущает меня только одно: насколько я могу судить, донесения Маринеско о январском походе 1945 года сомнению не подвергались. О торпедных залпах «С-13» командование знало раньше, чем Маринеско и Крылов вернулись на базу и засели писать отчеты. «Вильгельм Густлов» — не иголка, о его судьбе тогда же стало известно из газет и радио. Даже у Гитлера не было сомнений. Он не только приказал расстрелять начальника конвоя, но и объявил Маринеско врагом рейха и своим личным врагом — аттестация, которой можно только гордиться.

В свое время, приступая к работе над книгой, И. С. Исаков завел для материалов о Маринеско специальную папку. Только из статьи Н. Г. Кузнецова я узнал, что незадолго до своей смерти он передал ее Николаю Герасимовичу и посоветовал «при случае вернуться к недостаточно освещенному крупному событию на морском театре войны и написать о необычной судьбе героя, совершившего замечательный подвиг». То, что Иван Степанович передал папку не мне, своему соавтору, а одному из выдающихся флотоводцев Отечественной войны, было решением совершенно правильным. Николай Герасимович выполнил завет своего друга и соратника, его статья, на мой взгляд,— акт высокого гражданского мужества. Не надо искать в ней зеркального совпадения с оценками Исакова, ценно в ней основное — искреннее желание исправить историческую ошибку и готовность пересмотреть сложившиеся представления о личности героя.

Я не хочу приуменьшать немалые провинности Маринеско, как не отрицал их никогда и сам Александр Иванович. Настораживает меня вот что: самые тяжелые проступки Александра Ивановича, за которые он бесспорно заслуживал сурового наказания, были совершены после награждения и даже еще позже — по возвращении из последнего похода. Будь это не так, его бы не выпустили в море. Остается предположить, что на сниженную оценку подвига Маринеско повлияла его прежняя, не забытая и не прощенная вина — новогодний загул в Турку. Так, во всяком случае, воспринял это Александр Иванович.

Не здесь ли надо искать истоки многих ошибок? Ошибок, так сказать, обоюдных, из коих одна тянула за собой другую. Не произошло ли тут своеобразного «вычитания»? Из подвига «вычли» провинность.

Никто не будет отрицать права административных и партийных органов учитывать при представлении к наградам не только профес-

сиональные заслуги, но и бытовое поведение. В повседневной жизни так обычно и поступают: заслуги минус проступок. Все это в порядке вещей. Но стоит изменить масштабы — и подобная арифметика сразу обнаруживает свои слабые стороны. Из настоящего подвига ничего вычесть нельзя. Он остается в памяти народной целиком.

Масштаб подвига «С-13» с годами становится все нагляднее. В названной уже статье Н. Г. Кузнецова мы читаем:

«Я помню, как на первом же заседании в Ливадийском дворце в Ялте Черчилль спросил Сталина, когда советские войска захватят Данциг, где сосредоточено большое количество строящихся и готовых немецких подводных лодок. <...> Данциг был одним из основных гнезд фашистских подводных пиратов. Здесь же находилась и Германская высшая школа подводного плавания, плавучей казармой для которой служил лайнер „Вильгельм Густлов“».

Далее в статье говорится: «Половину пассажиров лайнера составляли высококвалифицированные специалисты — цвет фашистского подводного флота». Таков масштаб. Понятен интерес Черчилля. Если б Черчилль поинтересовался также, кто потопил «Густлова», спасая тем самым Великобританию от морской блокады, то среди советских моряков, награжденных высшими британскими орденами, мог быть и Александр Маринеско.

Легче всего предположить, что Александр Иванович обиделся за недооценку своих заслуг, а обидевшись, пустился во все тяжкие, стал выпивать, грубить и нарушать дисциплину. Понимать его так значит очень упрощать этот сложный характер. Конечно, он был обижен, но не за то, что «мало дали», а за то, что припомнили старое. «И команде скостили, а она-то при чем?» — говорил он мне. Вины он с себя никогда не снимал, хотя и считал, что январский поход — достаточное искупление всех его прошлых провинностей. Он знал случаи, когда высшие награды получали настоящие штрафники, осужденные за тяжкие преступления, и недоумевал. Концы с концами не сходились, и ответа на свои недоуменные вопросы он ни у кого получить не смог.

Что же случилось с подводным асом, с подводником № 1 (этих званий у него никто отнять не может)? Попробую во всем этом разобраться, опираясь на признания самого Александра Ивановича и на свидетельства людей, его близко знавших. И начну, нарушая хронологию, с последнего похода «С-13».

«С-13» вышла в море 20 апреля, раньше никак нельзя было, потрепанные во время последнего похода механизмы требовали ремонта. На этот раз ремонт производился не своими силами, а на прекрасно оборудованных финских заводах «Валтион Лайва Теллака» и «Крейтон Вулкан», занял он около трех месяцев. Нельзя сказать, что все эти месяцы команда бездельничала, но свободного времени стало заметно больше. Александр Иванович, всегда следивший за тем, чтобы команда не болталась без дела, был лишен возможности проводить тренировки с прежним размахом и сам впервые за много лет был обречен на непривычную для себя праздность. А где праздность, там и скука. Он не работал и не отдыхал — для активных натур, подобных Маринеско, это состояние опасное. Появились деньги — и немалые, на эти деньги куплена автомашина, через несколько дней игрушка ему уже приелась, ездить было некуда и не к кому. За время подготовки к апрельскому походу Александр Иванович еще не давал серьезных поводов для недовольства. То, что в апрельском походе участвовал начальник подводных сил Балтфлота контр-адмирал А. М. Стеценко, вряд ли можно рассматривать как форму контроля, «обеспечивать» Маринеско не нужно было. Но сам Александр Иванович воспринял появление на лодке старшего начальника болезненно. Теперь ему всюду чудилось недоверие.

Выход в море совпал с награждением корабля орденом Красного Знамени, и экипаж был настроен по-боевому. Мечтали в новом походе завоевать гвардейское звание. Но поход не оправдал надежд. Нельзя сказать, что надежд не оправдали подводники, поход этот не увеличил боевой счет «С-13», но принес свою пользу, даже после 9 мая лодка оставалась на позиции, выполняя ту самую незаметную, но необходимую работу, какой в преддверии войны занимался Маринеско на «малютке». А по своей напряженности этот поход не уступал предыдущим. Лодка ни разу не вышла в торпедную атаку, но по количеству атак, которым подвергалась она сама, можно понять, что́ пришлось испытать экипажу. За десять дней, с 25 апреля по 5 мая, подводная лодка «С-13» уклонилась в общем и целом от четырнадцати выпущенных по ней торпед. Трудно предположить, что под конец войны немецкие подводники разучились стрелять; четырнадцатью торпедами можно потопить целую эскадру, и если ни одна из них не попала в «С-13», то этого никак не объяснить везением. Гораздо правдоподобнее самое простое объяснение — сказалась бдительность и отличная выучка экипажа.

Почему в этом последнем походе «С-13» ни разу не вышла в атаку? Об этом пусть судят специалисты. Сам Александр Иванович от ответа на этот вопрос уклонялся. Нетрудно понять почему. Как сложились отношения между ним и ныне покойным контр-адмиралом, мы не знаем и никогда не узнаем, все споры, а они несомненно были, происходили с глазу на глаз в командирском отсеке, при задраенных переборках, и до экипажа доносились только слабые отзвуки. Пересказывать эти споры, даже в доверительной беседе, Александр Иванович считал некорректным. В случае настоящего конфликта у него было предусмотренное уставом право — записать в корабельный журнал, что он снимает с себя командование. С этого момента экипаж выполнял бы только указания старшего начальника. Такой записи сделано не было, а кивать на других, вышестоящих или нижестоящих, было не в правилах Маринеско, он привык всю ответственность брать на себя. У команды, а она, как известно, все видит и все примечает, осталось в памяти, что командир в первой половине похода был хмуроват и реже, чем обычно, появлялся в отсеках, это отражалось и на настроении команды, а затем все утонуло в объединившей всех, от адмирала до матроса, радости Победы, долгожданной Победы с большой буквы. Отпраздновали это великое событие, лежа на грунте, но с соблюдением всех правил и предосторожностей, обязательных в боевом походе, о том, чтобы покидать боевые посты и свободно передвигаться по лодке, не могло быть и речи, поздравлять командира и друг друга ходили из отсека в отсек по очереди. Команде было выдано по сто граммов, но и без того настроение у всех было превосходное. Маринеско еще раз ощутил, как любит его и гордится им вся команда, но в такой день хочется большего. Хотелось замешаться в самую гущу победившего народа все равно где, в Москве или, еще лучше, в Берлине, увидеть ее, эту долгожданную Победу, воочию, но Маринеско уже понимал, что возвращение лодки на базу будет не таким праздничным, как в феврале.

Впрочем, и самое возвращение затянулось. Несмотря на повсеместное прекращение военных действий, командование сочло нецелесообразным досрочно отзывать подводные лодки с занимаемых позиций, и Александр Иванович закончил войну так, как ее начал,— в дозоре.

После всплеска радости, вызванного донесшейся до морских глубин вестью о Победе, слишком рано наступили будни. Страна еще ликовала, те моряки, которым посчастливилось дойти до крупнейших германских портов, а с переброшенными на Шпрее кораблями Днепровской флотилии — до самого Берлина, ощутили это победное ликование особенно ярко. На их глазах догорал рейхстаг, очищались от

фашистской нечисти подземные бункеры, рушился «тысячелетний рейх», шли на восток колонны освобожденных пленников и узников концлагерей, закладывались еще неясные основы будущей Германии и новых отношений между европейскими народами. Увидеть это своими глазами Александру Ивановичу не пришлось, хотя по складу характера, по живости заложенного еще в раннем детстве интереса к жизни других народов ему это было необходимо. Страстно хотелось какого-то праздника, который вознаградил бы его и весь экипаж за годы лишений, позволил бы хоть на время освободиться от ставшего уже привычным физического и нервного напряжения. «Завидую вам»,— сказал мне Александр Иванович, когда в одну из наших встреч я поделился с ним своими впечатлениями о Берлине мая сорок пятого года. Это он, столько сделавший для разгрома врага, мне — рядовому газетному корреспонденту.

Будничным по сравнению с предыдущим походом было и возвращение на базу. Отчет командира был принят сдержанно. Вероятно, к нему не было серьезных претензий, но такова уж судьба человека, недавно имевшего громкий успех: от него ждут еще большего. Первая неудача рассматривается как неуспех, а предшествовавший ей успех всего лишь как удача. Какую оценку действиям командира дал контр-адмирал, я не знаю, вероятно, неплохую, достоверно известно мне только одно: награды за этот поход получили лишь двое из участников, самый старший и самый младший. Контр-адмирал был награжден орденом Нахимова, а юнга Золотарев — Нахимовской медалью.

О том, каким образом на лодке появился Миша Золотарев, стоит рассказать хотя бы потому, что в этой истории ярко отразились некоторые черты характера Маринеско. На подводных лодках юнги вообще по штату не положены. Приключения юного Миши могли бы послужить материалом для большого очерка, но моя задача в другом, поэтому ограничусь сокращенной записью беседы с приехавшим на встречу ветеранов «С-13» инженером из города Норильска Михаилом Геннадиевичем Золотаревым:

«Война застала нашу семью на старой польской границе. Отец ушел добровольцем на фронт, а мать со мной и трехлетним братом перебралась в Ленинград, где нас захватила блокада. В декабре мать слегла, и я стал главой семьи. Весной матери стало совсем плохо, и ее увезли в больницу. В день своего рождения (мне исполнилось одиннадцать лет) я пошел ее навестить, но в палате уже не нашел. Пустили в морг — ищи. Три часа искал и нашел. Вынесли меня оттуда без сознания. Брата взяли в детсад, а мне повезло, встретил на набережной моряка, он привел меня к себе домой, накормил и отвел в порт на торговое судно. Но я всей душой стремился на военный корабль и добился своего, меня взяли юнгой на катер-охотник. На катере я делал самую грязную работу, а в свободное время учился сигнальному делу. С катерниками дошел до Финляндии. В Ханко впервые увидел вблизи подводные лодки — и влюбился. Набрался храбрости и пошел к Маринеско, о нем уже тогда шла слава как о замечательном командире. На мне была доходившая мне до колен канадка, а башмаки сорок второго размера. Узнав о моем желании служить на подводной лодке, Александр Иванович посмеялся: «А ты что-нибудь умеешь?» «Сигналить умею». Это все решило. Командир отдал меня под начало к сигнальщику Виноградову. Он меня многому научил, но по характеру оказался слишком мягок, и я разболтался. Командир это заметил и передал меня в подчинение радисту Сергею Николаевичу Булаевскому, тот был построже и, бывало, сажал меня на два часа в подводный гальюн, вроде как в карцер.

В январском походе я не был, не взяли, а в последний поход я увязался тайком: спрятался в этот самый гальюн и вылез оттуда, когда лодка была уже в море. Ну, конечно, кое-кто из команды знал, без этого бы ничего не вышло. Александр Иванович сперва очень рас-

сердился, а потом простил — за отчаянность. Он «отчаянных» любил. Адмирал тоже не возражал.

В походе Александр Иванович относился ко мне с трогательной заботой. Давал поглядеть в перископ, разрешал даже подняться на мостик. В боевом походе на мостике не должно быть лишних людей, но я брался тащить наверх бурдюк из-под дистиллированной воды, служивший нам в подводном положении «парашей». Весил этот бурдюк килограммов до тридцати, и Виноградов по доброте душевной мне иногда помогал.

Глядя на командира и дружный экипаж корабля, я не испытывал страха, хотя поход был тяжелый, много раз я слышал скрежет минрепа, скользившего по корпусу лодки, знал, что вражеские подлодки стреляли в нас торпедами. В моменты смертельной опасности все видели хладнокровие и железную выдержку Александра Ивановича, а в более спокойное время — его человечность и внимание к людям. Александр Иванович остался для меня примером на всю жизнь, и если я не свихнулся и, несмотря на многие препятствия, чего-то достиг, то этим я больше всего обязан Александру Ивановичу, научившему меня не отступать перед трудностями».

Таким на десятилетия запечатлелся в памяти четырнадцатилетнего юнги командир «С-13». А между тем оставалось меньше года до того дня, когда капитан 3 ранга Маринеско будет снижен в звании до старшего лейтенанта и отстранен от командования кораблем. Что же произошло за этот победный год, как могло случиться, что человек, вызывавший любовь и восхищение у большинства людей, близко с ним соприкасавшихся, оказался вне флота? Однозначного ответа на это нет и быть не может. Все произошло в результате сплетения множества различных обстоятельств. В ряде случаев ошибки делались даже людьми доброжелательными и высокопорядочными. Самые очевидные и, быть может, самые непоправимые совершил сам Александр Иванович. Но идет время, и чем дальше, тем большему числу людей становятся видны реальные масштабы событий, а отсюда и желание в них пристальнее разобраться.

Можно оспорить вызванные неполной или неточной информированностью отдельные частности в упомянутой уже статье Н. Г. Кузнецова. Никогда Маринеско не воспитывался в детском доме, неверно, что он «не сумел найти себя в гражданских условиях», его многолетняя успешная работа на заводе «Мезон» опровергает такой вывод. Но все это несущественно. Даже не располагая исчерпывающими данными, Н. Г. Кузнецов, сам человек героического склада и моряк до мозга костей, не мог не угадать в Маринеско крупную личность. А угадав, не мог не признать, что судьба Маринеско вполне могла сложиться иначе. «Он попал в заколдованный круг,— сказано в статье.— А мы, нужно признаться, не помогли ему из него выбраться, хотя Маринеско этого заслуживал».

Дорогого стоит это «мы». Не всякий на него способен.

Проследим, как начал стягиваться заколдованный круг. Вернее, не начал, а продолжал.

До последнего похода кризис в настроении Александра Ивановича только назревал. Временами он скучал и томился, но впереди был выход в море и это заставляло подтягиваться. После возвращения настроение у него не улучшилось. В физике известно такое явление, когда одна световая волна, накладываясь на другую, гасит ее. Называется это, кажется, интерференцией. Поход не только не прибавил славы кораблю и его отважному командиру, но вопреки логике отбросил тень и на его недавние подвиги. От «С-13» как от команды-фаворита болельщики ждали новых побед, первая ничья насторожила. Всегда находятся недоброжелатели и завистники. Они зашевелились. Ревнители строгих нравов вспомнили старые грехи. Вновь возник ше-

поток: Маринеско подвержен буржуазным влияниям. Доказательство: тянется к финнам, восторженно говорил о порядках на финских верфях... Заглядываю в свой дневник и нахожу запись разговора с Александром Ивановичем:

«Идет, понимаете, по лодке инженер, а за ним мастер с блокнотом. Инженер смотрит, щупает, бурчит что-то по-своему, мастер пишет. Ладно, говорит инженер, завтра начнем. Как, говорю, а ведомость, а смета? — Этого, говорит, нам не нужно. Вы же хотите, чтоб скоро делать? — Эх, прямо зависть берет...»

Вполне понимаю, что Маринеско с его обостренным неприятием всякой бумажной волокиты, с его привычкой доверять и пользоваться доверием не мог не оценить спокойной деловитости финских корабелов. Никаким низкопоклонством тут и не пахло. Да и откуда ему было взяться? Команде «С-13» приходилось под огнем противника решать задачи потруднее — и тоже без всяких смет и ведомостей.

Установленные для стоявших в финском порту плавбаз суровые казарменные порядки вызывали у него раздражение, и он своей властью, под свою личную ответственность отпускал небольшие группы моряков на берег. Это называлось «ходить на размагничивание». После чудовищного перенапряжения всех сил, после скованности и тесноты подводника неудержимо тянет погулять, почувствовать какую ни на есть свободу. Маринеско это понимал, а команда ценила доверие и старалась не подводить командира.

Но сам командир доверия командования не оправдал. Одна за другой следуют самовольные отлучки, выпивки в сомнительной компании, конфликты с начальством. Вряд ли есть нужда их все перечислять. В составе парткомиссии, дважды обсуждавшей проступки Маринеско, были его близкие друзья, например В. Е. Корж, в их объективности не приходится сомневаться. После перехода дивизиона на новую стоянку поведение Маринеско становится еще более скандальным, в одном из приказов того времени о нем говорится как о зачинщике пьяной драки. «Заколдованный круг» стягивался все туже, и попытки разомкнуть его если и делались, то явно не имели успеха.

Какая муха укусила в то время одного из лучших командиров Балтийского флота и почему он так упрямо шел навстречу надвигающемуся краху? Об этом мы много и откровенно говорили с Александром Ивановичем во время его ночной исповеди в Кронштадте. Он был беспощаден к себе и отрицал только явные нелепости. Не отрицал он и того, что все началось с обиды. Не столько за себя, сколько за команду. Обиды за то, что после январского похода не подвели черту под его старыми грехами. Александр Иванович не лгал, когда писал мне, что не считает себя героем, трудно предположить, чтоб он так уж болезненно переживал отсутствие у него высшей награды. Конечно, обида была, и прав Н. Г. Кузнецов, говоря, что никакая обида не оправдывает недостойного поведения. Маринеско и не пытался себя оправдывать. Но справедливо ли все сводить к одной обиде? Была еще огромная усталость от непрерывной ответственности и нервного перенапряжения, одиночество (семья к тому времени распалась), душевное неустройство, желание хоть на короткое время отвлечься, отвести душу, кутнуть хорошенько...

Написал слово «кутнуть» и перепугался. Когда писал об одном прекрасном советском актере — не боялся, а тут одолели сомнения. Применим ли глагол «кутить» к нашему офицеру? В великой русской литературе прошлого века он применялся не всегда в осуждение. Кутили многие наши любимые герои, в том числе и офицеры. Покучивали, когда заводились деньги, и сами великие писатели. Я все понимаю: другая эпоха, другой классовый состав героев; но так ли уж мы правы, позволяя нашим героям быть в бою Болконскими, Ростовыми, Долоховыми и в то же время требуя от них, чтобы в быту они все

превращались в капитанов Тушиных? Не забываем ли мы, что когда привычных к действию людей начинает одолевать хандра, то их энергия, не находя законного выхода, обращается в дурную сторону?

Не я первый выражаю вслух такие еретические мысли. В сорок втором году прибыл к нам на Балтику начальник Главного Политуправления ВМФ армейский комиссар 2 ранга Иван Васильевич Рогов. С этим могущественным человеком я за время своей службы встречался дважды и сохранил о нем добрую память. Во флотских кругах его называли Иваном Грозным — и не без оснований. Он был действительно крутенек, но в нем привлекала оригинальность мысли, шаблонов он не терпел. Летняя кампания была в то время в разгаре, у подводников были успехи. Разобравшись в обстановке, Рогов выступил на совещании работников Пубалта с поразившей всех речью. «Снимите с людей, ежечасно глядящих в глаза смерти, лишнюю опеку,— говорил он.— Дайте вернувшемуся из похода командиру встряхнуться, пусть он погуляет в свое удовольствие, он это заслужил. Не шпыняйте его, а лучше создайте ему для этого условия...» Речь армейского комиссара была воспринята с интересом, но и с недоверием. И даже воспринятая как директива, больших последствий не имела.

Маринеско скучал и хандрил. Больше всего его угнетало, что его старая вина не прощена и не забыта, и из упрямства отвечал на это новыми нарушениями дисциплины и нелепыми выходками. Тяга к алкоголю, объясняемая раньше простой распущенностью, принимала уже болезненный характер. Появились первые признаки эпилепсии. Пил и безобразничал уже больной человек. Только этим я объясняю, что Маринеско, всегда верный данному слову, дважды давал командованию и парткомиссии слово исправиться и дважды его не сдержал.

Переход на новую стоянку мог внести свежий ветер в накалявшуюся вокруг Маринеско атмосферу. Александр Иванович очень тосковал по родине. Правда, освобожденная Прибалтика не была для него такой знакомой и родной, как Ленинград или Одесса, но все-таки это была своя, советская земля. Но, как на грех, возвращение на родину началось с происшествия, по тем временам чрезвычайного. Эпизод этот, рассказанный мне бывшим электриком «С-13» В. И. Величко, свидетельство того, что помимо его собственных срывов Александру Ивановичу еще и «везло» на конфликты.

«Лодка пришла из Турку то ли в субботу, то ли в воскресенье, и сразу же было объявлено: никаких увольнений. Разочарование было всеобщее — всем осточертела жизнь на чужой земле, хотелось походить по своей. Уступая настойчивым просьбам, командир отпустил на берег троих мотористов — это была дружная компания, Александр Иванович знал — ребята его не подведут. А через некоторое время, надев парадную форму со всеми орденами, отправился в город и сам. В городском парке к нему привязался помощник коменданта города, известный всем самодур и грубиян, впоследствии разжалованный за различные злоупотребления. Маринеско был абсолютно трезв, помкоменданта «на взводе» и хамил. Спокойствие и независимая манера нашего командира привели того в бешенство, он пытался задержать Александра Ивановича и даже схватил его за руку. Случайно это увидела прогуливавшаяся в парке дружная троица мотористов: «Нашего командира обижают!» В результате все пятеро оказались в комендатуре. Командира отпустили немедленно, но матросов тут же отправили на гауптвахту. Десять суток строгого ареста. Командир оказался в сложном положении. С одной стороны, ребята его здорово подвели, с другой — оставить их в беде было не в его правилах. На другой день он написал объяснение начальнику гарнизона, и хотя матросы были бесспорно виноваты, поведение помкоменданта бросало тень на всю комендатуру, там это поняли и строгости кончились: еду арестованным носили с плавбазы, а вскорости и вовсе выпустили.

Однако если ребята рассчитывали вернуться на лодку героями, то жестоко обманулись. Командир устроил им суровый разнос. Для обожавших командира матросов это было похуже гауптвахты».

В этом эпизоде все достоверно, потому что очень похоже на Александра Ивановича. Не сомневаюсь, он был трезв, иначе ему бы не выйти из комендатуры. Из-за чего же возник конфликт в парке? Вероятно, избалованный властью помкоменданта решил, что Маринеско отвечал ему дерзко.

Несколько слов о дерзости. Дерзость — понятие не однозначное. Все атаки Маринеско были дерзкими, и в этом их неоспоримое достоинство. В быту, в обиходе представление о дерзости более размыто. Я что-то не припомню ни одного взыскания, сформулированного так: за дерзость. Тем не менее — дерзость карается.

По моим наблюдениям, дерзость Маринеско заключалась прежде всего в органически присущем ему чувстве человеческого равенства. Он ценил людей не по занимаемому ими положению, а по их достоинствам. Применительно к нижестоящим это качество называется демократизмом, в отношениях с вышестоящими нередко оборачивается дерзостью. Всякому начальнику лестно, а не слишком уверенному в себе тем более, чтоб его хоть немного боялись. В глазах Александра Ивановича, даже когда он признавал свою вину, нельзя было увидеть ни тени страха или подобострастия. Верный обычаям своего детства, своей вины он никогда не отрицал, скорее мог взять на себя чужую, и в его нежелании выкручиваться тоже чудилась какая-то дерзость. Не утверждаю, что Маринеско был всегда прав. Его нередко бесило, когда кто-то из сверстников, получив повышение, заметно менялся и заговаривал начальственным тоном. Самому Маринеско это было чуждо, и он не умел понять, что в некоторых случаях сие, увы, неизбежно и, ставши прямым начальником, вчерашний дружок уже не может, а в некоторых случаях даже не имеет права оставаться для Саши Маринеско прежним Васей или Петей.

Но все это, так сказать, в скобках. Далеко не все «чепе» оканчивались так благополучно. Маринеско уже не владел собой, в течение нескольких месяцев он ухитрился совершить больше серьезных проступков, чем за всю свою многолетнюю службу. Последняя его пьяная выходка исчерпала терпение начальства: Маринеско явился на базу после самовольной отлучки в какой-то случайной компании, спьяна нагрубил исполнявшему обязанности комдива офицеру и отказался извиниться — в общем, закусил удила. Комбриг докладывает командующему флотом. Решение: снизить в звании до старшего лейтенанта и направить на должность помощника на другую лодку. Решение было даже не чересчур суровым, выносившие его военачальники ценили Маринеско, хотели сохранить его для подводного флота и, вероятно, искренне считали, что у них нет другого выхода. Но для Александра Ивановича перспектива расстаться с «С-13» и попасть под начало к какому-то другому командиру корабля была непереносима. Свои многочисленные вины он сознавал, мучился оттого, что доверие к его словам и клятвам подорвано. Как признавался мне впоследствии Александр Иванович, он сам с трудом разбирался в своих чувствах, ему казалось, что он может не вынести своего нового, унизительного на его тогдашний взгляд положения, сорваться и окончательно погубить свою репутацию. Чувство вины мешалось с обидой, вина не позволяла считать себя только обиженным, обида мешала чувствовать себя только виноватым. Изменился не характер Маринеско, произошел какой-то надлом в его физическом и душевном состоянии.

«Наказание в данном случае не исправило человека,— писал в своей статье Н. Г. Кузнецов.— Оно сломало его. Спасательный круг не был подан вовремя».

В статье не сказано, встречался ли Николай Герасимович с Ма-

ринеско. Тем не менее такая встреча была. Рассказывал мне об этой встрече и он сам и Нина Ильинична, знали о ней и офицеры на лодке.

Узнав о своем разжаловании, Маринеско заметался. Выяснил, что Н. Г. Кузнецов в Ленинграде, и загорелся: еду к наркому! Зачем? Протестовать? Каяться? Он и сам это толком не знал. За рулем своего «форда» Маринеско помчался в Ленинград и сумел добиться приема.

Николай Герасимович разговаривал с Маринеско долго и по-отечески. Маринеско он не знал, но что-то в его характере угадал. И нашел промежуточное решение — назначить его не помощником, а командиром, но не на лодку, а на тральщик. «Послужите год,— сказал ему Николай Герасимович,— проявите себя с самой лучшей стороны, и мы вернем вас на лодку». Решение было мудрым во многих отношениях — с одной стороны, оно не отменяло приказа, с другой — сохраняло Александру Ивановичу привычную для него самостоятельность, притом, что немаловажно, в другой среде, в отрыве от сложившихся и запутанных отношений, от безоговорочно сочувствующих и столь же безоговорочно осуждающих взглядов. Как знать, не был ли это спасательный круг? Но Александр Иванович уперся: демобилизуйте.

Это была несомненная ошибка Маринеско. В состоянии упрямого ожесточения ему легко было убедить себя: все решается очень просто — он возвращается туда, откуда пришел, на гражданский флот, и наконец-то добьется исполнения своей мечты — станет капитаном дальнего плавания.

Потребовались годы, чтоб понять свою ошибку. Многие близкие и доброжелательные люди видели ее уже тогда. Но последовал новый приказ — и подводник № 1 оказался вне флота, одинокий, с пошатнувшимся здоровьем и с весьма неясными перспективами. Надломленный, но далеко не сломанный.

Предстояло начинать жизнь заново.

IX. ВНЕ ФЛОТА

О том, как сложилась жизнь Александра Ивановича Маринеско вне флота, я знаю по его рассказам. Правдивость их никогда не вызывала у меня сомнений. Но приступив к работе над книгой, я счел себя обязанным дополнить хранящуюся у меня запись наших бесед и другими свидетельствами. Нужен был, выражаясь флотским языком, второй пеленг.

В Ленинградском пароходстве Александра Ивановича на работу приняли, но поручать ему судно не спешили. Пришлось поплавать помощником капитана. Кроме любопытной встречи с немецким подводником в Щецине, ничего интересного об этих рейсах Маринеско не рассказывал.

Уже в конце семидесятых я попросил бывшего командира прославленной подводной лодки «Лембит» А. М. Матиясевича, занимавшего до последнего времени ответственный пост в пароходстве, связать меня с людьми, когда-либо плававшими вместе с Маринеско на торговых судах. Обязательнейший и добросовестнейший Алексей Михайлович почти ничем помочь мне не смог. Прошло больше тридцати лет, никого из знавших Маринеско ни на судах, ни на берегу обнаружить не удалось. Пришлось удовлетвориться сухой справкой, составленной по материалам отдела кадров. Судя по справке, Маринеско А. И. в 1946—1948 годах плавал на нескольких судах в качестве помощника капитана, ходил и в заграничные рейсы, но капитаном так и не стал, а затем был уволен в связи с ослаблением зрения. Кривая его служебных успехов шла вниз.

Переход на гражданский флот ожидаемого душевного умиротворения не принес. Начиная военную службу, Маринеско еще то-

сковал по гражданскому флоту, мечты о дальних океанских дорогах не оставляли его. Гражданский флот еще долго оставался для него синонимом свободы. Теперь, когда свобода была возвращена, его все чаще одолевали воспоминания о флоте военном. О службе на подводных лодках, о боевых походах, о друзьях, вместе с которыми были пережиты все самые яркие, самые значительные события недавнего прошлого.

В жизни каждого человека непременно есть свой так называемый звездный час, своя вершина, необязательно совпадающая с высшей точкой карьеры или иным жизненным успехом. Час — обозначение условное, он может длиться и неделю, и месяц, и год. Звездный час — это время, когда все заложенные в человеке силы и способности находят наиболее полное выражение. Отнюдь не самое легкое, не всегда самое радостное время. Многие вспоминают как свой звездный час годы войны и блокады. Для Маринеско таким звездным часом был январский поход, ни забыть, ни перечеркнуть свое прошлое он не мог. И с торговым флотом расстался без большого сожаления, хотя это было расставание с морем.

Надо было приспосабливаться к жизни на берегу.

Плавая на судах Ленинградского пароходства, Александр Иванович познакомился с судовой радисткой Валентиной Ивановной Громовой и женился на ней. Вслед за мужем перебралась на берег и жена, вскоре у них родилась дочь Таня.

Зная Маринеско как честного человека, секретарь Смольнинского райкома Никитин предложил ему пойти в Институт переливания крови заместителем директора по хозяйственной части. Хотел добра, а получилось плохо. Директору совсем не нужен был честный заместитель. Его вполне устраивал полуграмотный завхоз, помогавший ему строить дачу и заниматься самоснабжением. Дело прошлое, директора уже нет в живых, поэтому опускаю его фамилию. Пусть он будет К. Намеков этого К. Александр Иванович понять не захотел, и между ними сразу возникла вражда. Затаенная со стороны К., открытая со стороны Маринеско.

К. долго искал случая избавиться от Маринеско. Это было совсем не просто, в коллективе Института Александру Ивановичу доверяли. Уважали за деловитость и внимание к нуждам сотрудников. На этом К. и подловил Маринеско. Была устроена провокация.

На дворе Института лежали списанные за ненадобностью несколько тонн торфяных брикетов. Вместо свалки Маринеско, заручившись устным разрешением директора, развез эти брикеты по домам наиболее низкооплачиваемых сотрудников в виде предпраздничного подарка. (Напомню: время было послевоенное, Ленинград еще не полностью оправился от блокады, подарок пришелся кстати.) А затем директор быстренько отрекся от данного им разрешения, позвонил в ОБХСС, и Маринеско оказался расхитителем социалистической собственности.

Маринеско вступил в Коммунистическую партию в 1943 году «по боевой характеристике». Коммунистом он был не только по партийной принадлежности, но по самой своей человеческой сути. Был он человек общественный, открытый людям. Стяжательство было ему чуждо. Не будучи аскетом, всю свою сознательную жизнь прожил бессребреником.

Из партии его исключили. В последнюю инстанцию, чтобы не отдавать партбилета, Александр Иванович не явился. Партбилет, обернутый в непромокаемую ткань, он засунул в одному ему известную щель и аккуратно замазал свой тайник известкой.

Затем был суд. О заседаниях суда Александр Иванович рассказывал мне с глубоким волнением. Прошло двенадцать лет, а рана еще не зажила.

Прокурор, бывший фронтовик, с боевым орденом, видя, что дело не стоит выеденного яйца, от обвинения отказывается. Оба народных заседателя заявляют особое мнение. Но оставшийся в меньшинстве судья не сдается, он куда-то звонит и добивается своего — подсудимого берут под стражу. Дело разбирается в другом составе суда. Приговор — три года. Людей, осужденных на такие сравнительно небольшие сроки, обычно не засылают слишком далеко, но для Маринеско почему-то было сделано исключение — его отправили на Колыму.

«Посадили меня вместе с ворьем и полицаями,— рассказывал Александр Иванович.— Остригли, обрили, обращение как с кодлом. Сразу же обокрали, кто — неизвестно: рюкзак, что собрала мне в дорогу жена, оказался пуст. Жена продала все шмотки, купленные нами в заграничных плаваниях, нанимала защитников, обегала весь город. Ничего не помогло...»

Не знаю, жалеть ли, что в шестьдесят первом году у меня еще не было портативного магнитофона? Пожалуй, не стоит жалеть. На магнитную ленту можно записывать допрос, интервью, но не исповедь. Она могла и не состояться. Пришлось мне после бессонной ночи что-то по свежей памяти торопливо записывать. У меня нет оснований сомневаться ни в моей памяти, ни в искренности Маринеско, и если за последние годы я предпринял некоторые попытки проверить рассказанное Александром Ивановичем, то не потому, что я усомнился в правдивости рассказа, а для большей точности и полноты.

Не все мои попытки были успешны. В архиве Ленгорсуда протокола первого судебного заседания не оказалось вовсе, а от второго осталась только копия приговора. Ничего удивительного в том нет — такие мелкие хозяйственные дела не хранят вечно, к тому же судимость с Маринеско была впоследствии снята автоматически, без всякого заявления с его стороны. Но самый приговор меня поначалу смутил. К известным мне торфяным брикетам было подверстано еще другое обвинение — в присвоении принадлежащей Институту кровати стоимостью в 543 рубля. О кровати мне Александр Иванович ничего не говорил. Больше пятисот рублей? Давно не покупал кроватей, но сумма произвела на меня впечатление, по моим понятиям, такая кровать должна была быть по меньшей мере из красного дерева. Затем вспомнил, что судили Маринеско еще до денежной реформы, и успокоился, 54 рубля 30 копеек — это звучало уже не так страшно. Даже если вспомнить указные строгости, даже если поверить, что все эти ценности были похищены у государства с целью личного обогащения, в моем сознании как-то не укладывалось: за этот хлам — на Колыму? Да еще в одном вагоне с последними подонками, с разоблаченными «карателями» и профессиональными бандитами!

Первым моим побуждением было поговорить с кем-нибудь из участников суда. Или хотя бы с кем-то, кто на суде присутствовал. Но прошло двадцать лет. Одни умерли, след других затерялся. Общими усилиями моих друзей и помощников не удалось найти никого. Только судью, вынесшую суровый приговор, пожилую женщину, давно вышедшую на пенсию. И та со мной встретиться отказалась, объяснив, что ни Маринеско, ни его дела совершенно не помнит. И добавила: «Если б я знала, что он такой герой, то, наверно, запомнила бы».

Остается предположить, что Александр Иванович не только не ссылался на суде на свои заслуги, но запретил это и своему защитнику. Предположение тем более основательное, что мы знаем: поступив после возвращения с Колымы на завод, Маринеско ни словом не обмолвился о своих военных подвигах. Как явствует из письма

в «Литературную газету», об атаках на «Густлова» и «Штойбена» коммунисты завода впервые услышали только в 1960 году.

Вскоре после попытки поговорить с судьей мне сообщили: бывшая сотрудница Института переливания крови П. А. Михайлова присутствовала на суде над Маринеско и, несмотря на болезнь, готова со мной встретиться. Я поехал к ней домой, застал лежащей в постели, и мы поговорили. Поехал с несомненной пользой, хотя произошло недоразумение — Полина Антоновна на суде над Маринеско не была, а была годом позже, когда судили К., к тому времени окончательно запутавшегося в своих махинациях. К. был приговорен к году тюрьмы. Никакого практического влияния на судьбу Маринеско этот приговор не имел, имя его на суде даже не упоминалось, но для меня рассказ Полины Антоновны лишний раз подтвердил то, что говорил мне о своем конфликте с К. Александр Иванович. А муж Полины Антоновны Федор Иванович Ковшиков, до выхода на пенсию старший научный сотрудник того же Института, сообщил мне нечто еще более интересное. Привожу его рассказ по магнитозаписи:

«В бытность мою членом партийного бюро я хорошо знал Александра Ивановича по общественной работе, и у нас были хорошие отношения. Однажды он попросил меня заехать к нему домой. Мы поехали вместе. Войдя в комнату, он показал мне обыкновенную железную койку и попросил ее запомнить: «Я взял ее во временное пользование, не на чем было спать. А теперь у меня из-за нее могут быть неприятности». После этого посещения я пошел к директору и сказал: «Я видел обыкновенную койку, даже если это институтское барахло, не вижу повода затевать дело» — и получил жесткий ответ: «Это тебя не касается. Я знаю, что делаю». Между Александром Ивановичем и директором шла борьба. Маринеско действовал открыто, директор все делал втихую. Мы, сотрудники, относились к Александру Ивановичу с глубоким уважением не за боевые заслуги, о них мы не знали, а за честность и деловые качества. Плохого о нем не знали и от него не видели».

Еще красочнее о злополучной койке рассказала мне сотрудница Института Мария Николаевна Ильина. С Ильиной я встретился на квартире Марии Гавриловны Гречиной. Гречина и Ильина — соседки и подруги. Обе много лет работали в Институте старшими медсестрами и хорошо знали Александра Ивановича. В оценке едины — честен, деловит, всегда шел навстречу, когда бывали трудности, ободрял: «Все будет в порядке», всегда доброжелательно, с шуточкой. К нему было легко обращаться по любому делу. Ловкачом-доставалой он не был, но к нему хорошо относились люди, он многого добивался, не прибегая ни к каким уловкам.

Случилось так, что Марии Николаевне пришлось участвовать в обыске на квартире Маринеско. Привожу ее рассказ по записи:

«Об аресте Александра Ивановича я ничего не знала. Меня вызвал директор и сказал: «Вы, Мария Николаевна, хорошо знаете хозяйство Института. Вот с этим товарищем (в кабинете сидел незнакомый мужчина в штатском костюме) поедете в одно место и посмотрите, нет ли там чего-нибудь, принадлежащего Институту». Мне не сказали, куда я поеду, мужчина мне не представился и всю дорогу молчал. Приехали на Петроградскую сторону, прошли двором, поднялись по лестнице на 4-й или 5-й этаж, вошли в бедно обставленную квартиру. Нас встретила пожилая женщина, о том, что она теща Александра Ивановича, я узнала только в конце обыска, когда решилась спросить, куда же меня все-таки занесло, и то мужчина на меня прикрикнул: «Не разговаривать!» Обыск был по форме, с ордером и двумя понятыми (дворник и соседка), но им ничего не предъявляли и они ничего не подписывали.

Мужчина (вероятно, сотрудник ОБХСС) спросил меня: «Что вы

здесь видите из вашего?» «Ничего»,— говорю. Показывает на детский столик из некрашеных досок: «Ваш?» «У нас в Институте таких нет». Теща, волнуясь, говорит: «Это Танюшин. Зять заказывал». «Где?» «Не знаю, на работе, наверное». Стоят две железные кровати, старые, побитые. Такие железные койки были у нас в Институте до войны. Потом их снесли на чердак и после войны списали как негодные. К одной из коек прикручена проволокой жестяная бирка с нашим инвентарным номером. Если б Александр Иванович хотел эту койку присвоить, он бирку сорвал бы. Затем мне велено было пересмотреть всю посуду — посуды нашей не было. Под конец пошли смотреть сарай, искали какой-то уголь, может быть, эти самые брикеты. Сарай был пустой.

Уже на другой день в Институте, без понятых меня заставили подписать протокол. Я подписала про кровать, бирка была наша. Вчерашний мужчина настоял, чтоб я подписала и про столик, хотя неизвестно было, заказывал ли его Александр Иванович на работе, а если заказывал, то из какого материала. Я не удержалась, сказала тому сотруднику: «Зачем вы этим занимаетесь, все это гроша ломаного не стоит». Он ответил: «Мы с вами на службе».

На суде я не была, болела в то время. Не знаю, был ли кто из наших».

Мария Гавриловна (хозяйка квартиры) добавляет: «Хороший был человек. И работник хороший. Выпившим я его никогда не видела. О своих заслугах никогда не говорил. Однажды я увидела его с орденом Ленина, попросила рассказать, за что он его получил. Отшутился: «А нечего рассказывать. Была война, тогда многие получали...» На суде я тоже не была. От сотрудников все держалось в тайне, даже от коммунистов. Узнала, когда суд уже состоялся. О конфликте Маринеско с директором узнала позже, после суда. Рассказывали мне, что однажды между ними произошла стычка на людях и Александр Иванович сказал директору: «Я тебе этого не прощу!» Ну а тот понял — пора принять встречные меры».

Я уезжал с Охты, где живут эти славные женщины, с ощущением, что прикоснулся еще к одному пласту людей, знавших и любивших Александра Ивановича, веривших в его человеческую чистоту. Людей, которые обрадуются, прочитав о нем доброе слово.

Но это семьдесят девятый. А в сорок девятом Александр Иванович Маринеско после неудачной попытки обжаловать приговор едет на Колыму в одном вагоне с заядлыми врагами родины.

В моем много раз печатавшемся очерке «Как я стал маринистом» об этом периоде в жизни Александра Ивановича я рассказал по необходимости бегло. Не рассказал, а конспективно пересказал. Сегодня я хочу предоставить слово самому Маринеско по сохранившейся у меня записи. Сделать это я считаю своей обязанностью не потому, что мне хочется сыпать соль на старые раны (кстати сказать, эту формулу придумали не раненые), а потому, что для Маринеско этот период был началом нового духовного подъема. В самые трудные для него годы вновь сказался героический склад его характера, вновь проявились присущие ему качества: стойкость в самых чрезвычайных, грозящих гибелью обстоятельствах и умение вести за собой людей.

Записано наспех авторучкой в клеенчатой тетради, но интонацию Александра Ивановича я все же улавливаю:

«Повезли нас на Дальний Восток. Ехали долго. Староста вагона — бывший полицай-каратель родом из Петергофа, здоровый мужик, зверь, похвалявшийся своими подвигами, настоящий эсэсовец. Вокруг него собрались матерые бандюги. Раздача пищи в их руках. Кормили один раз в день, бандюгам две миски погуще, остальным полмиски пожиже. Чую — не доедем. Стал присматриваться к лю-

дям — не все же гады. Вижу: в основном болото, оно всегда на стороне сильного. Потихоньку подобрал группу хороших ребят, все бывшие матросы. Один особенно хорош — двадцатитрехлетний силач, водолаз, получил срок за кражу банки консервов — очень хотел есть и не утерпел, взял при погрузке продуктов на судно. Сговорились бунтовать. При очередной раздаче водолаз надел на голову старосте миску с горячей баландой. Началась драка. Сознаюсь вам: я бил ногами по ребрам и был счастлив. Явилась охрана. Угрожая оружием, прекратили побоище. Мы потребовали начальника состава. Явился начальник, смекнул, что бунт не против охраны, никто бежать не собирается, и рассудил толково: назначил старостой нашего водолаза. Картина враз переменилась. Бандюги притихли, болото переметнулось на нашу сторону. Раздачу пищи мы взяли под контроль, всех оделяли поровну, прижимали только бандюг, и они молчали.

В порту Ванино уголовных с большими сроками стали грузить на Колыму, нас оставили. В тюрьме многоэтажные нары, верхние полки на пятиметровой высоте. Теснота, грязь, картежная игра, воровство. «Законники» жестоко правят, но с ними еще легче. «Суки» хуже — никаких принципов. Хозяин камеры «пахан» — старый вор, тюрьма для него дом и вотчина. Брал дань, но к нам, морякам, благоволил. Однажды я пожаловался ему: украли книгу, подарок жены. «Пахан» говорит: даю мое железное слово, через десять минут твоя книга будет у тебя. Но молодой карманник, тот, кто украл, приказа вернуть книгу уже не мог выполнить. Он ее разрезал, чтоб сделать из нее игральные карты. «Пахан» не смог сдержать слова и взбесился. По его приказу четверо урок взяли мальчишку за руки и за ноги, раскачали и несколько раз ударили оземь. Страже потом сказали: упал с нар. На меня этот случай произвел ужасное впечатление, до сих пор чувствую свою косвенную вину в смерти мальчика».

Случай этот не только потряс Маринеско, но и заставил его задуматься. Ведь у него тоже было «железное слово». У «пахана» культ слова обернулся бессмысленной жестокостью, у него самого служил оправданием упрямства. Бывало, упрямился зря, только чтоб не уступить. Ужасна перспектива скатиться в покорное воле «пахана» жестокое и трусливое «болото». Но не лучше и другая — самому стать таким «паханом», воли и умения властвовать над людьми у него бы хватило. И он решил насколько хватит сил оставаться самим собой и удерживать от падения тех, кто слабее.

Предположить, что несправедливый приговор и пребывание в исправительно-трудовом лагере благотворно подействовали на Маринеско — значит сказать нелепость. Исправлять трудом можно бездельников. Маринеско был труженик. Но оказавшись в обстоятельствах, для многих непосильных, он стягивается, как стальная пружина. Перед ним есть цель — выстоять, сохраниться как личность, не потерять свое человеческое достоинство. Расслабиться — значит, погибнуть если не физически, то нравственно. Поэтому никаких поблажек себе. И происходит чудо. Ни одного эпилептического припадка.

«Когда нас стали переводить на лагерное положение, мы, моряки, попросились, чтоб нас всех вместе послали на погрузочные работы в порту. Работа эта тяжелая. Вскоре я стал бригадиром над двадцатью пятью человеками, и наша бригада сразу стала выполнять более ста пятидесяти процентов плана, это давало зачет срока один к трем. Меня ценило начальство за то, что я, как бывший торговый моряк, умел распределять грузы по трюмам. В бригаде тоже меня уважали, звали «капитаном». Так я проработал несколько месяцев, а затем меня «выпросил» у начальства директор местного рыбозавода. Малограмотный мужик родом из Николаева, отбывший

срок и осевший в Ванине. Ему нужен был дельный заместитель. С ним было работать легко, и скажу не хвастаясь: я ему так поставил дело, что когда подошел срок, он очень переживал мой отъезд, соблазнял райской жизнью и большими деньгами, предлагал вызвать в Ванино мою семью, но я не согласился. На рыбозаводе я был почти на вольном положении и при деньгах, но держал себя в струне и капли в рот не брал, хотя временами было тоскливо. Очень скучал по семье».

Письма жене он писал бодрые, нежные и даже с юморком. Вот одно из последних:

«Живу и работаю по-старому, но нынче уже считаю не сутками, а часами. Часов осталось как максимум 1800, но если выбросить часы сна, то получается 1200 или: в баню сходить 8 раз, хлеба скушать 67,5 килограммов».

Дальше следует серьезный разговор о прочитанных книгах и просмотренных фильмах. Жалуется он только на то, что подолгу не получает писем.

Это письмо сохранилось у Татьяны Александровны Маринеско как память о покойных родителях. Сейчас оно у меня, но я его непременно верну, когда придет время возвращать близким Александра Ивановича доверенные мне реликвии.

Мы сидим с Александром Ивановичем в тесном номеришке гостиницы. Он на табурете, я на своей койке. На столе недопитая бутылка. Сквозь зарешеченное окно угадывается поздний ноябрьский рассвет. Самое трудное уже рассказано. Вспоминать, рассказывать тоже бывает мучительно. Но иногда необходимо.

О своем возвращении в Ленинград Александр Иванович рассказывал спокойно, с добродушной усмешкой:

«До Москвы меня везли зачем-то под конвоем. В Москве выпустили, выдали паспорт. Я приоделся (деньги были, на рыбозаводе директор платил мне восемьсот чистыми) и махнул в Ленинград. Первым делом извлек из тайника свой партбилет, он оказался целехонек, явился в райком и предъявил. Восстановили меня сразу, без потери стажа. Следующий рейс — в Институт. К. я уже не застал, и хорошо, что не застал, встреча могла кончиться плохо для нас обоих. Мне предлагали руководящую работу, но я попросился на завод».

Когда впервые после войны я встретился с Александром Ивановичем, он уже несколько лет работал на заводе «Мезон» и был уважаемым членом коллектива. О его достижениях писала заводская многотиражка, его портрет — на Доске почета, в числе передовиков производства. Завод свой Александр Иванович любил, жил его интересами и при встрече всегда что-нибудь рассказывал о заводских делах. Он умел и радоваться успехам, и негодовать по поводу любых беспорядков, и, главное, задумываться, как сделать лучше, как освободиться от наших традиционных болезней — штурмовщины, перебоев в снабжении деталями и некоторых других. На завод я пришел уже после смерти Маринеско и расскажу о встречах с людьми, хорошо его знавшими. Но сперва немного о наших встречах в 1960—1963 годах.

На первом сборе ветеранов-подводников в Кронштадте нас обоих не было. Меня — потому что тогда еще не начали приглашать иногородних, Маринеско — не знаю почему. Но имя его прозвучало на этом сборе очень громко. Были опубликованы уточненные по последним данным сведения об успехах балтийских подводников. По всем этим данным выходило, что первое место, вне всякого спора, принадлежит Александру Маринеско, и я уже рассказывал об овации, какой встретили появление Маринеско на состоявшемся через год втором сборе все его участники, ветераны и молодежь. А на тре-

тий сбор в 1963 году, организованный Е. Г. Юнаковым с присущим ему размахом, ветераны были приглашены с семьями, и Маринеско чествовали особо: на пирсе учебного отряда ему был преподнесен живой поросенок — так встречали вернувшихся из похода победителей во время войны.

После нашей кронштадтской встречи в 1961 году я часто бывал в Ленинграде, и мы виделись. Александр Иванович продолжал работать на заводе. Всякий раз он интересовался, как идет моя работа, и меня всегда поражала его природная артистичность. Специальному консультанту мало обладать профессиональными знаниями, надо еще понимать, чем отличается художественная проза от служебной инструкции. Маринеско это понимал. И очень не хотел, чтобы я воспринял его интерес к моей работе как намек: дескать, опишите мою жизнь. Такая мысль появилась у него позже, когда он был уже тяжело болен. До этого он несколько раз пытался продолжить давно начатые им автобиографические записки, однако дальше одесского периода их не довел отчасти по недостатку времени, но больше по недостатку опыта. Как-то пожаловался: «Получается сухо, вроде как бортовой журнал». Показать мне свои записи отказался, и я познакомился с ними много позже. Рассказывать он умел действительно много ярче и увлекательнее.

О заводе «Мезон», где он пустил глубокие корни, Александр Иванович рассказывал охотно. Там проходила его жизнь, не всегда безоблачно, бывали и небольшие бури.

«Я себе много позволяю,— сказал он мне однажды.— Пишу в заводской газете критические статьи, спорю с начальством. Ничего, сходит. Я им без всяких лимитов несколько домов выстроил. А с рабочими я умею ладить».

Александр Иванович работал тогда в отделе промышленного снабжения. А до того был диспетчером — работа ответственная и нравившаяся ему. О том, что такое заводской диспетчер, рассказал мне инженер завода Н. И. Рамазанов, он и привел меня на завод в семьдесят восьмом году.

«На «Мезон» Александра Ивановича устроил мой покойный отец Ибрагим Рамазанов, инженер-механик, в войну дивмех, вы его, конечно, знали. Они с отцом дружили, и я встречался с Маринеско не только на заводе. Невероятно, но факт: о том, что совершил Александр Иванович, я узнал только из газет, сам он о своих подвигах никогда не говорил. На заводе знали, что Маринеско — моряк, чувствовалась морская косточка. Внешняя опрятность, четкость, вежливость, умение держать слово. Производство у нас грязноватое, чисто только в сборочных цехах, а в других есть и масляные брызги и копоть. Александр Иванович всегда являлся на работу в белой рубашке с галстуком, в отглаженном костюмчике, а бывать ему приходилось всюду, и в штамповочном и на складах. Работа диспетчера очень сложна, нужно, чтобы во все цехи заготовки попадали своевременно, нужно знать, что заказано на смежных предприятиях, и обеспечивать сборку деталями. Александру Ивановичу очень помогало отличное знание устройства корабля. На корабле, особенно на подводном, тоже все основано на взаимодействии частей, там слаженность — вопрос жизни и смерти. У нас на заводе старший диспетчер — это высокое положение. Вроде как вахтенный командир на корабле. Надо быть все время в напряжении, постоянно держать в памяти много разных дел. Александр Иванович был очень аккуратен, корректен, всегда готов прийти на помощь. У него была своя система и особая тетрадка, куда он заносил свои наблюдения, в затруднительных случаях я к ней прибегал, он охотно ее давал, она так и осталась у меня. Жалею, что не сохранил, вам было бы понятнее, почему у него всегда был порядок. Он был волевой человек и честности непреклонной, хитрить не умел совсем. А ведь на

производстве есть свои хитрости. Есть работа выгодная и невыгодная. Это в руках мастеров. Есть такие рабочие, что, получив выгодную работу, припрятывают ее до удобного времени. А в это время завод выполняет срочный заказ, из-за них происходит задержка. Александра Ивановича это возмущало до глубины души, он говорил мне: «Нариман, на флоте мы таких людей не терпели». Когда кто-нибудь из начальников цехов пускался в пустые отговорки, он шел проверять и, если находил обман, во всеуслышание стыдил по заводскому селектору. В отделе снабжения он тоже отлично работал. Почему он перестал быть диспетчером — не знаю».

Я — знаю. Временами на Александра Ивановича нападала тоска, и он по старой, надолго брошенной привычке «делал выход». Термин этот почерпнут из «Очарованного странника», прелестной лесковской повести, ее Александр Иванович очень любил. Внешнего сходства между ним и героем повести Иваном Северьяновичем не было ни малейшего, но в каком-то духовном сродстве они несомненно состояли. То же бесстрашие, та же беззлобность, и широта характера, и доброта, и граничащая с наивностью правдивость. И то же упрямство.

В положении диспетчера есть еще одна черта, сближающая его с положением вахтенного командира. Он должен быть всегда на посту. Был случай, когда «выход» пришелся на время дежурства. Диспетчер не вышел на работу. Пришлось срочно вызывать из дома сменщика.

Конечно, это была болезнь. Отступившая во время самых тяжких испытаний и вновь подкравшаяся, когда напряжение спало.

Признаюсь, на завод я шел с душевным волнением, к которому примешивался страх. Чего я боялся? Боялся узнать нечто такое, что могло разрушить мои сложившиеся представления. Ведь я встречался с Александром Ивановичем в те годы, когда он уже работал на «Мезоне», привык верить всему, что он рассказывал о своей работе, и для меня было бы немалым разочарованием, если б открылись какие-то неизвестные мне и в таком случае наверняка печальные обстоятельства.

«Мезон» расположен в старой части Выборгской стороны. Старой, потому что выстроенные за последние годы новые микрорайоны, так называемая «Гражданка», имеют с этой частью мало общего. Они светлее, просторнее, но в чем-то и безличнее. «Мезон» плоть от плоти старой Выборгской стороны, многократно описанной и воспетой. Правда, он не дымит, как старые заводы, и с улицы мало заметен. Еще в первые послевоенные годы здесь была ткацкая фабрика, и Александр Иванович с восхищением рассказывал про талантливого самородка инженера Агеева, за несколько лет превратившего устаревшую фабрику в современный завод, способный выпускать продукцию высокой точности.

В отделе кадров завода меня встретили поначалу сдержанно. Завод избалован вниманием пишущей братии, и рабочие бывают недовольны, когда их отвлекают от дела. Так мне объяснили. Но когда я сказал, что меня интересуют люди, хорошо знавшие Александра Ивановича Маринеско, отношение круто переменилось. Я был водворен в кабинет отсутствовавшего начальника отдела, и в течение целого дня ко мне чередой шли люди, чтобы поговорить об Александре Ивановиче. Рассказать и расспросить.

В извлеченном из архива личном деле А. И. Маринеско я прочитал его собственноручную объяснительную записку. В ней Александр Иванович с присущей ему откровенностью писал о причинах прогула. После этого случая Александр Иванович стал на амбулаторное лечение в диспансере и, будучи переведен на работу в отдел снабжения, вновь показал себя с самой лучшей стороны. Он действительно выстроил для завода пионерлагерь и несколько жилых

домов. Характеристику для военкомата завод дает отличную. Портрет Маринеско, снятый было с Доски почета, возвращается на прежнее место. Вплоть до своей кончины Маринеско в числе лучших людей завода.

Так говорили мне бумаги. Но бумаги интересовали меня во вторую очередь. А вот что скажут люди?

Я их не выбирал, этих людей. Не выбирал их и отдел кадров. Пришли те, кто знал, кто хотел прийти, кто мог урвать полчаса из своего рабочего времени. Среди пришедших были диспетчеры, и цеховые мастера, и станочники. Пришли Прасковья Макаровна Огаренко, Иван Тимофеевич Королев, Полина Ивановна Лысенко, Константин Александрович Красульников, Агнеса Михайловна Котлярова и тот самый Петр Семенович Калинин, кто в бытность свою секретарем цеховой парторганизации подписал опубликованное «Литгазетой» в 1961 году письмо коммунистов завода. Через восемнадцать лет в беседе со мной он вновь подтвердил все сказанное в письме. Все эти получасовые беседы с новыми для меня людьми так мало походили на интервью, что я тут же убрал свой «микрорекордер». Всех моих собеседников сближало со мной одно и то же — мы знали и помнили Маринеско. Рассказывали о нем охотно, не дожидаясь моих вопросов, вопросы чаще задавали мне. Об Александре Ивановиче все говорили с любовью, у каждого из моих собеседников было что вспомнить, иногда совершеннейшую мелочь, но и в этой мелочи можно было узнать Маринеско. Я записал телефоны ушедших на пенсию ветеранов завода. Некоторым я потом позвонил. Бывший начальник отдела Б. С. Гвильман позвонил мне сам и прислал свою статью об Александре Ивановиче, напечатанную в заводской газете.

Обеденный перерыв на заводе я использовал по прямому назначению — пообедал в заводской столовой, и за столом тоже шел разговор о Маринеско, а затем в сопровождении своих новых знакомых прошел по цехам, где приходилось бывать Александру Ивановичу, и там тоже со мной заговаривали. О Маринеско на заводе теперь знают все и говорят о нем с гордостью. Я. С. Коваленко рассказывал мне, что в семьдесят третьем или семьдесят четвертом году он выступал в цехах, рассказывал о Маринеско, затем его повели в столовую, но пообедать ему не пришлось, там оказались рабочие, его не слышавшие, и Якову Спиридоновичу пришлось повторить весь свой рассказ сначала. А после конца смены на трех грузовых машинах с венками и лентами рабочие и служащие завода поехали на могилу Маринеско.

Я ушел с завода, напутствуемый добрыми пожеланиями, унося в портфеле ценные подарки — блокнот с дарственной надписью от завода «Мезон», карандаши, резинки для стирания. Смысл этих подарков был мне ясен: только пиши! И я не шучу, называя их ценными, я их ценю и берегу. И до сих пор пользуюсь ими.

Такое отношение заводского коллектива к памяти Маринеско легко объяснить законной гордостью подвигами своего товарища. Побывав на заводе, я убедился: нет, не только. Его высоко ценили и тогда, когда об этих подвигах еще никто не знал. Его любили и берегли. В последние годы, когда в его жизнь вошла Валентина Александровна Филимонова, ни о каких «выходах» слышно не было, появилась надежда, что болезнь опять отступила. Быт его — всегда очень скромный — стал более упорядоченным. Впрочем, не сразу. Уйдя из дома, он остался без жилья. Валентина Александровна тоже жила стесненно. Наконец в 1961 году Александр Иванович получил в Автове небольшую комнату.

«Обстановки никакой,— вспоминала Валентина Александровна.— Ни стола, ни стульев, первое время спали на фанере. Затем раздобыли тахту и были счастливы».

Перебираю фотографии, снятые летом 1963 года на третьем сборе ветеранов-подводников в Кронштадте, для Маринеско — последнем. Улыбающиеся Александр Иванович и Валентина Александровна в кругу друзей.

X. ПОСЛЕДНИЙ ГОД

Счастье было недолгим.

«Незадолго до этого сбора Саша сказал: что-то побаливает горло. Пошел в поликлинику, там посмотрели и ничего не нашли. А он стал чувствовать себя все хуже и хуже».

Наступил год шестьдесят третий, последний в жизни Александра Маринеско. Родился он в тринадцатом.

В конце шестьдесят второго я дважды приезжал в Ленинград, и мы виделись. Работа над романом шла к концу, меня радовала возможность обсудить с Александром Ивановичем кое-какие частности, и, верный своему обещанию, он еще раз придирчивым командирским оком заглянул во все отсеки моей вымышленной «малютки». «В литературе я не судья,— сказал он мне в заключение.— Но за одно ручаюсь: грубых ошибок у вас не будет». Под грубыми ошибками он разумел не столько технические ляпсусы, сколько фальшь в изображении служебных отношений на корабле. В отличие от довольно распространенного типа консультантов, требующих, чтобы в литературном произведении все изображалось как должно быть, он в своих замечаниях исходил из того, как фактически бывало или могло быть в реальной обстановке войны и блокады.

Когда живешь в другом городе и подолгу не видишься, трудно поручиться за надежность своих представлений. Оба раза я уезжал из Ленинграда с убеждением, что с Александром Ивановичем все обстоит более или менее благополучно. Он был бодр, приветлив, Валентина Александровна заботлива и гостеприимна. На заводе его дела шли успешно, и он охотно про них рассказывал. Мгла над его именем к тому времени уже начала рассеиваться, его имя стало появляться в печати, а в среде подводников авторитет его стоял высоко и незыблемо.

Вероятно, уже тогда он был опасно болен. Наш общий друг М. Ф. Вайнштейн недавно напомнил мне: в декабре 1962 года мы с ним навестили Маринеско, он жил тогда на Васильевском острове у Валентины Александровны. За ужином Александр Иванович выпил рюмку коньяка и тяжело закашлялся. Отдышавшись, показал на горло. На шее были пятна, явные следы облучения.

По невежеству или по легкомыслию я тогда не обратил на это большого внимания и легко уговорил себя, будто серьезных оснований для тревоги нет. По-настоящему встревожился я только в феврале, получив от Маринеско письмо, где он впервые открыто заговорил о своей болезни.

Письмо это не сохранилось, но в оставшихся после кончины Александра Ивановича бумагах я нашел свое, ответное. По нему и по моей дневниковой записи нетрудно восстановить его содержание: инвалид, лечат облучением амбулаторно, материальные дела плохи. Просит позвонить подводнику адмиралу Н. И. Виноградову, взявшемуся похлопотать о персональной пенсии.

Адмиралу я дозвонился. По его словам, необходимые меры он уже предпринял. Однако скорого успеха не обещал.

Вновь перебираю фотографии, снятые в шестьдесят третьем году на очередном сборе ветеранов-подводников, и ищу на лице Маринеско следы болезни. Ищу и не нахожу. Эта последняя встреча с друзьями и соратниками была для него самой радостной, самой почетной. Во время выступления бывшего командующего флотом адмирала Трибуца, говорившего о подвиге подводной лодки «С-13», мо-

лодежь дружно скандировала: «Маринеско — герой, ге-рой!»... Александр Иванович был оживлен, весел. Но сегодня память подсказывает: временами оживление пропадало и в эти минуты лицо его сразу старело. А когда ему предоставили слово, вдруг потерял голос и договорить так и не смог.

Только ли от волнения?

Меня не оставляет убеждение, что если б не страшная болезнь, за короткое время подорвавшая его силы, Маринеско был накануне какого-то нового подъема. В его жизни были подъемы, были и падения, но не было сонного прозябания. Еще в декабре шестьдесят второго он делился со мной планами широкой реорганизации подведомственного ему участка на заводе и был искренне увлечен.

Самое время написать банальнейшую фразу: «Но судьба решила иначе». Меня удерживает не столько банальность, сколько глубокое отвращение к мысли, что судьбе во всех случаях дано решать. Тогда ее надо писать с заглавной буквы—Судьба. Рок, фатум. А это уже попахивает мистицизмом, чуждым мне и ненавистным Александру Ивановичу. Он ведь даже суеверен не был, всегда подтрунивал над теми, кто придавал хоть какое-нибудь значение цифре 13 на борту его «эски». В основе его мировоззрения лежало убеждение, что человек должен быть творцом своей судьбы, а судьба корабля — в руках командира. Подобно ему я не верю в слепую и всезнающую Судьбу, распоряжающуюся нашими жизнями, не верю, что жизнь Маринеско могла окончиться только так, а не иначе. На многих примерах я имел возможность убедиться: беда не только не приходит одна, она почти всегда имеет не одну причину, и достаточно выпасть одной, чтобы катастрофы не произошло. И все мое существо протестует против неизбежности ранней гибели героя, гибели не в бою, а на больничной койке. Как знать, не отступила бы страшная болезнь, если б воля Маринеско к сопротивлению была своевременно поддержана.

Если бы, если бы...

В том февральском письме Маринеско появилась новая для меня тема. Впервые Александр Иванович дал понять, что готов помочь тому, кто захочет описать его жизнь. Такое намерение было у С. С. Смирнова, но никаких полномочий я от него не имел и потому ответил неопределенно. У меня самого в то время еще никаких планов не было. Персональная пенсия казалась мне в то время проблемой более неотложной.

Летом от общих ленинградских друзей до меня стали доходить тревожные сигналы. Я написал Александру Ивановичу. Ответа долго не было. И только во второй половине августа я получил от него письмо, из которого я наконец понял, как далеко зашла его болезнь и как остро необходима помощь.

«Здравствуйте, дорогой Александр Александрович,— писал Маринеско.— От души благодарю за Ваше внимание, но, к сожалению, я поступаю по-свински и вот только сегодня, 13/VIII, решил ответить на Ваше письмо».

По-свински поступил скорее я, чем он. Летом решалась судьба моей рукописи, и я очень мало думал о своем друге.

«Сейчас действительно мне сделали операцию, которая позволяет поддерживать мое существование кормлением минуя пищевод, это операция вспомогательная, а основное все впереди и неизвестно, через сколько времени. Врачи В. М. госпиталя, куда я попал, говорят, что для восстановления моего веса и здоровья, для подготовки к основной операции понадобится 6—8 месяцев, а выпишут они меня домой через 10—15 дней. Основная моя забота теперь — как жить? Мне ежедневно нужно заправляться определенными высококалорийными продуктами, это обойдется (скромно) 3 рубля в день.

Вам, конечно, известно, что я инвалид 2-й группы, получаю пен-

сию, из которой наличными мне остается 30—35 рублей. Вопрос — как жить дальше, что меня ожидает в будущем?»

Я опускаю некоторые содержащиеся в письме горькие суждения Александра Ивановича. И потому, что они не были рассчитаны на широкую аудиторию, и потому, что чувство безысходности вообще-то не было свойственно Маринеско, умевшему находить выход в любых, казалось бы, безвыходных обстоятельствах.

«Жена старается меня успокоить, но я знаю, что делается у нее на душе. Живу я более месяца в новой комнате 10,5 метров по тому же адресу, который говорил Вам: Ленинград, Л-96, ул. Строителей, дом 6, кв. 24.

Галина (дочь В. А. Филимоновой.— *А. К.*) успешно сдала экзамены в Театральный институт и начнет с сентября м-ца учебу.

Большой привет Вам и Вашей жене от меня, жены и Мих. Фил. (Вайнштейна.— *А. К.*), он был у меня в прошлое воскресенье. А. А., если сможете дать мне совет или чем-нибудь помочь, буду век благодарен Вам. Жму крепко Вашу дружескую руку. А. Маринеско».

Получив письмо, я заметался. Решение было принято немедленно: лечу. Но, прежде чем вылететь, нужно было что-то предпринять. Нужна была помощь, в первую очередь материальная. Как у большинства литераторов, заканчивающих многолетнюю работу, карманы мои были пусты. Конечно, я сразу выслал Александру Ивановичу все что смог наскрести, но это проблемы не решало. Можно было надеяться, что друзья не оставили товарища в беде и уже собирают какие-то рубли, но это могло лишь частично облегчить положение. Нужна была поддержка постоянная, весомая, причем не только материальная, а духовная, способная поднять дух больного, повысить его сопротивляемость. Нужна была помощь организационная. Я не сразу понял в письме Александра Ивановича фразу: «В. М. госпиталь, куда я попал». Она означала, что на лечение в военно-морском госпитале герой Отечественной войны как не выслуживший установленного срока права не имел и попал туда в порядке исключения, благодаря настойчивым хлопотам друзей.

Нужно было, чтобы в судьбу Маринеско вмешался человек во всех отношениях значительный, способный не только оценить подвиг командира «С-13», но и разобраться в его личности.

Такой человек существовал. Иван Степанович Исаков. Флотоводец, ученый, писатель.

Ивана Степановича до того я видел лишь однажды, но запомнил надолго. В 1939 году, за два года до начала войны, группа писателей разного возраста и воинского опыта была приглашена в Наркомат ВМФ, и Иван Степанович, в то время заместитель наркома, больше часа беседовал с нами. Сегодня, через сорок с лишним лет, мне уже не вспомнить многих подробностей, памятен результат — мы вышли из его служебного кабинета, очарованные широтой познаний, увлеченностью и тем непередаваемым изяществом манер и всего облика, которое нисколько не противоречит необходимой моряку твердости характера. После встречи с Исаковым многие прошли подготовку на курсах военно-морских корреспондентов при Военно-политической академии имени Ленина и, когда началась война, пришли на корабли, уже что-то понимая в их устройстве и организации службы. С той встречи я Ивана Степановича не видел ни разу, но, конечно, был наслышан и о его боевой деятельности во время войны, и о его научных трудах. Читал появившиеся в начале шестидесятых годов на страницах толстых журналов его «Невыдуманные рассказы». Знал я также, что, несмотря на мучительные боли в ампутированной после ранения ноге, Иван Степанович много и напряженно работает, день у него расписан по часам и попасть к нему будет трудно.

К Исакову меня привел писатель Г. Н. Мунблит. Иван Степано-

вич жил на Смоленской набережной (теперь на этом доме мемориальная доска). Дверь нам отворил сам хозяин. Опираясь на костыль, провел в свой кабинет.

— Сейчас мне сделают укол, и через пять минут я буду в вашем распоряжении,— сказал он.— Но чтоб вы не скучали, я придумал, чем вас занять. Вы, Георгий Николаевич, найдете на столе давний номер «Знамени» с вашей статьей. Наверно, вам будет любопытно полистать написанное много лет назад. А вы,— обратился он ко мне,— найдете там же вашу книжку о походе в Индонезию и сочините мне дарственную надпись.

И опять, как в те довоенные времена, от этих полушутливых слов возникло ощущение человеческого изящества. Не умею определить иначе это соединение простоты, достоинства и уважительного отношения к людям. Какая это черта — аристократическая, демократическая? Не знаю. Аристократическая без высокомерия, демократическая без панибратства.

Ровно через пять минут он был за своим письменным столом. Перед ним лежала тоненькая папка, и я понял, что к нашему разговору Иван Степанович подготовился.

— Не скрою от вас, что я плохо отношусь к Маринеско,— сказал Исаков.— Я старый служака, и всякая распущенность мне ненавистна. Но я готов вас слушать.

Слушал он внимательно, не перебивая. Затем спросил:

— Скажите, вы знаете...— Он назвал фамилию известного подводника, занимавшего в то время высокий пост.— Вы доверяете ему?

Я ответил, что незнаком с контр-адмиралом, но сомневаться в его объективности у меня оснований нет.

— Вот послушайте, что он мне пишет.

Прочитанная Исаковым справка в самом деле производила впечатление полной объективности. Только документы. В основном выдержки из приказов по бригаде и решений парткомиссии. И, конечно, судебный приговор 1949 года, хотя в соответствии со статьей 6 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 года Маринеско уже десять лет официально считался несудимым.

— Так это было?

Это было так. И в то же время совсем не так. Документы были подлинные, но за ними было невозможно хотя бы смутно разглядеть подлинного Сашу Маринеско, которого знали и любили балтийские подводники.

Я очутился в труднейшей ситуации. Объяснять адмиралу, ученому, историку флота значение атак Маринеско было бы нелепо. На всякий случай я захватил с собой дневник, ту самую клеенчатую тетрадку, где у меня по свежей памяти была записана ночная исповедь Маринеско. Александр Иванович рассказывал о себе не для печати, а по велению сердца, ничего не утаивая, с единственным желанием — быть понятым. Конечно, мои торопливые записи были лишь бледной тенью этой необычайной по красочности и беспощадной искренности исповеди, но даже эта бледная тень была больше похожа на живого Маринеско, чем собранные в досье выдержки из документов. Наиболее точно, стремясь хотя бы отчасти сохранить интонацию Александра Ивановича, я воспроизвел его рассказ о пресловутом загуле в Турку, оставшемся, несмотря ни на что, несмываемым клеймом на репутации подводника № 1. Сегодня уже ничто не мешает мне включить в мое повествование эту трагикомическую новеллу, теперь, по прошествии многих лет, она уже не может никого задеть. Воспроизвожу эту запись в том виде, в каком я прочитал ее Ивану Степановичу, опущу только имена и смягчу некоторые выражения, не имеющие существенного значения. Грубоват Александр Иванович бывал, циничен — никогда.

«А насчет финки — не отрицаю. Был такой грех. Положим, она

не финка, а шведка была. Все-таки нейтральная нация. Дело было в Турку под новый, сорок пятый год. Финляндия вышла из войны, мы стоим в порту, живем на плавбазе. Лодка полностью готова к выходу в море, ждем приказа. Скука смертная, надоели все друг другу дальше некуда. Мы с другом моим Петей Л., помните его, наверно, от тоски лезем на стенку. Решили пойти в город, там в гостинице жили знакомые ребята из советской контрольной комиссии, хотели встретить с ними Новый год. Деньги у меня были. Приходим, никого нет. Где — неизвестно. Заходим в ресторан. Открыто, но в зале ни души, одни официантки. Как видно, финны — домоседы, любят Новый год встречать дома. Мы попросили девушек накрыть нам в кабинете столик на шестерых, хоть и было нас всего двое. Расчет был на то, что наши знакомые вернутся и подсядут. Однако никто не идет. Мы в меру выпили, закусили, стали петь потихоньку украинские песни. Девушки заходят, слушают, улыбаются нам, но к столу, как мы ни звали, присесть не решаются. Вдруг откуда ни возьмись хозяйка. Молодая, лет этак двадцати восьми, красивая, сразу видно — огонь-баба. Прогоняет девок, сама подсаживается к нам, заговаривает по-русски. У нас сразу контакт. Я ей мигаю: дескать, нельзя ли и моему другу составить компанию? Поняла, вызвала с этажа какую-то свою помощницу, тоже ничего, интересная собой. И гуляем уже вчетвером. А затем забрали со стола спиртное, еще кое-чего и поехали на пятый этаж, где у нее собственный апартамент <...>.

Откровенно скажу, мы друг дружке по вкусу пришлись. Она бедовая, веселая. Незамужняя, но есть жених. Инженер, работает в Хельсинки в фирме. Почему же, спрашиваю, он не с тобой встречает? Потому, говорит, что у них в фирме такой порядок — встречать с хозяином. Из-за этого, говорит, я с ним даже поссорилась. Ну и правильно, говорю...

Утром раненько в дверь стучат. Что за шум? Докладывают: жених приехал из Хельсинки, ожидает внизу. А я как раз в самый задор вошел. «Прогони»,— говорю. Она смеется: «Как так прогони? Мне за него замуж идти. Ты ведь на мне не женишься?» Это уже вроде как без шуток спрашивает. А я тоже со смехом: «Пойдешь за меня?» «Пойду,— говорит.— И гостиница твоя будет». Тут я совсем развеселился: «Сашка Маринеско — хозяин гостиницы! Нет,— говорю,— не женюсь, а ты этого, что внизу, все-таки прогони, пусть едет к своему хозяину».

И что же вы думаете — прогнала. Такая отчаянная баба! Прошло сколько-то времени, не считал, признаться: опять стучат. Докладывают: военный. Ничего не слушает, требует командира. Выглядываю. Батюшки мои — доктор. Военфельдшер с лодки. Дознался и разыскал. «Отцы командиры,— говорит,— дуйте скорее на базу, там черт-те что творится... Наши уже заявили финским властям: пропали два офицера...» Возвращаюсь в апартамент, объясняю положение — что делать? Моя смотрит холодно, с усмешкой. «Что делать? Прогони его». Я аж рот разинул: «Как так прогони?» «А очень просто, прогони, и все. Я ради тебя жениха прогнала, а ты подчиненному приказать не смеешь?» — «Так он же видел меня, он скажет...» — «А ты запрети. Он кто — офицер? Возьми с него слово. Или у ваших офицеров слова нет?» — «Ну это ты брось,— говорю.— У наших офицеров слово очень крепкое...» Вышел к доктору и говорю: «Ты меня не видел». «Товарищ командир, опомнитесь...» «Сделаешь, как я велел. Понял меня? Слово даешь?» «Даю»,— говорит. И, конечно, сдержал.

Когда мы с повинной явились на базу, встретили нас сурово. Обоим грозил трибунал. Но потом обошлось. К комдиву пришла делегация от команды — с другим командиром в море идти не хотим. Комдив Орел — умный человек, понял настроение экипажа, а

корабль в готовности, снимать командира, ставить нового — мороки не оберешься. И я ушел в поход — искупать вину...

А насчет шведки — не жалею, хороша была. Идеологии мы совершенно не касались. Она только посмеивалась: «Какие вы победители, с бабой переспать боитесь...» А я тоже смеюсь: «За твои капиталы твой жених тебе все простит. Небось помиритесь»...

И неужели кто мог подумать, что меня таким манером можно завербовать на службу фашизму? Это же смешно, честное слово. Только тогда мне было не до смеха»...

Теперь, почти через сорок лет после окончания войны, этот небольшой отрывок уже не вызывает священного ужаса и воспринимается скорее с юмором. Мне показалось, что и тогда, в шестьдесят третьем, Исаков, отнюдь не оправдывая самый проступок, угадал в участнике возмутительной эскапады какие-то симпатичные черты — своеобразную рыцарственность, простодушие, яркий темперамент. Когда я поднял глаза от тетрадки, кивнул:

— Дальше.

Дальше я читал уже известное читателю — об аресте, жизни в порту Ванино, возвращении в Ленинград. И когда вновь поднял глаза на Исакова, увидел, что он стоит, опираясь на стол, и держит в руке телеграфный бланк.

— Хорошо,— сказал он после небольшой паузы.— Я меняю свою точку зрения. Что нужно делать?

Был вызван адъютант и тут же были отданы все распоряжения. Узнав о материальных трудностях Маринеско, Иван Степанович немедленно отправил ему денежный перевод, сопроводив его такой теплой, дружественной телеграммой, что Маринеско мог без ущерба для своего достоинства принять эти деньги. Но дороже всяких денег была для больного Александра Ивановича моральная поддержка Исакова — письма, книги, дружеская забота.

Сегодня, через много лет после смерти этих замечательных людей (И. С. Исаков скончался в 1967 году), я перелистываю сохранившиеся у Валентины Александровны письма Исакова к Маринеско и не устаю восхищаться связавшей их заочной, недолгой, но истинной дружбой. Истинной — значит, равной. В дружбе у моряков есть свой особый счет, не всегда совпадающий со служебной иерархией. Не сомневаюсь, что переписка Исакова с Маринеско будет в свое время издана. А пока привожу одно из его писем с некоторыми сокращениями:

«Глубокоуважаемый Александр Иванович!

Не удивляйтесь этому письму.

1. Хотя я с Вами не служил вместе, но, конечно, знаю Вас по делам Вашим.

Еще не так давно, получив перевод из «Маринер Рундшау», вспомнил «Густлова». С подробностями, которых не знал раньше <...>.

2. Т. к. писатель С. С. Смирнов решил писать о Вас повесть, то я ему отсылаю все, что нахожу в нашей литературе (напр., в книге Вл. Смирнова «Матросы защищают Родину», ГПИ, 1962 г.) или в иностранной (М. Рундшау).

В связи с этим еще в начале года запросил подводника из ГШ ВМФ Родионова А. И., и он сообщил, что Ваши дела *почти* в порядке. Как с пенсией, так и с реабилитацией. Вот почему я Вас не беспокоил и не беспокоился.

3. Неожиданно появился А. А. Крон, буквально вчера, и рассказал далеко не такие утешительные сведения, как Родионов. Особенно относительно здоровья. В связи с этим решил завтра написать письмо Министру Обороны<...>

4. Самое главное в данный момент, чтоб Вы ни в чем не нуждались для лечения и питания в предвидении возможной еще операции. Поэтому завтра или послезавтра я вышлю Вам 100 р. Прошу их

принять не задумываясь, так как помимо большого оклада я получаю гонорары за свою писанину. Поэтому 100 р. меня абсолютно не стеснят. Чтобы Вы могли планировать свой бюджет, учтите, что через месяц, т. е. 12—13 октября, вышлю еще 100 р.<...>

Чтоб не скучали, завтра пошлю Вам свою книгу рассказов<...> Следующий большой флотский рассказ выйдет в журнале «Москва» № 11 (ноябрь) — обязательно пришлю. Будет интересно получить Вашу оценку.

Если Вам не дали перевода из Рундшау о потоплении Вами «Густлова», то сообщите. Прикажу снять копию и пошлю Вам. Но думаю, что у Вас уже есть.

На всякий случай напишите, что из медикаментов Вам надо, но нет в Ленинграде...

А пока желаю Вам спокойного лечения и успехов в этом деле. Я сам пишу со своей невромой в культе, особенно во время плохой погоды. Так что хирургические дела немного знаю!

PS. Думаю, что не только материальные дела Ваши придут в благополучное состояние, но и моральный ущерб, нанесенный Вам, будет относительно возмещен, несмотря на то, что с Вами так много начудили (говорю деликатно), что вряд ли возможно смягчить несправедливость и грубость, проявленную некоторыми отдельными лицами. Привет. Поправляйтесь.

Ваш Исаков. 11.9.63».

На мой взгляд, это письмо не нуждается в комментариях. За время, прошедшее между первой телеграммой Исакова и этим письмом, я успел побывать в Ленинграде и повидаться с Маринеско.

Я застал Александра Ивановича еще в госпитале. Условия у него были хорошие. Небольшая, но отдельная палата. Валентина Александровна могла почти неотлучно быть рядом с больным и оставаться в палате на ночь.

Когда меня допустили в палату, Александр Иванович был на ногах.

Он заметно похудел и как будто уменьшился в росте, но глаза у него были прежние, живые. Даже голос, несмотря на хрипоту, показался мне почти таким, как прежде, со знакомыми добродушно-шутливыми интонациями. Меня встретил радостно и сразу стал расспрашивать про мои дела, как будто у нас не было тем более неотложных. Интерес был неподдельный. Дела мои в то время обстояли неважно, но посвящать больного во все сложности нашего профессионального бытия не имело смысла. О делах самого Маринеско я тоже не мог рассказать ничего существенного, хлопоты о персональной пенсии успеха не имели. Мы проговорили около двух часов, и меня поразила твердость духа Александра Ивановича, он не жаловался — ни на судьбу, ни на обстоятельства, поначалу было трудно понять, знает ли он все о своей болезни. Потом понял: знает. Знает, но не теряет надежды. В этом он оставался верен себе — не тешил себя иллюзиями и не падал духом. Обычно от тяжелых больных скрывают диагноз, и во многих случаях это удается. Даже если эти больные — врачи. Маринеско в медицине ничего не понимал, но он был слишком смел и наблюдателен, чтобы позволить себя заморочить. Он не «ушел в болезнь», как люди, привыкшие слишком часто к себе прислушиваться, наоборот, его живо интересовало все происходящее за стенами госпиталя. Конечно, он понимал: при самом благоприятном исходе лечения он останется инвалидом,— но мыслями он был с флотом и самыми близкими друзьями для него оставались подводники. Свою дружбу они доказали делами. Передо мной лежит папка, переданная мне близким другом Александра Ивановича Б. Д. Андрюком, живущим теперь в Киеве. Чего там только нет — письма, ходатайства, подписные листы... А какие подписи! Цвет подводного флота, командиры лодок, Герои Советского Союза, адмиралы и матросы...

Когда Александр Иванович уставал, хрипы усиливались. На помощь приходила Валентина Александровна. Она осторожно обмывала гортань. При всех процедурах, включая кормление, я выходил в коридор. Под конец нашей беседы зашел ненадолго сосед — капитан 2 ранга Ветчинкин, в прошлом тоже командир лодки. Александр Иванович был с ним приветлив, но разговор перевел на более общие темы. Не хотел говорить о себе, о своих заботах.

Сдержанность была ему присуща всегда. И взрывчатость тоже. Противоречие здесь только кажущееся. Сдержанность — свойство людей, которым есть что сдерживать. Иначе это просто вялость.

Мне не удалось тогда поговорить с врачом. Недавно по моей просьбе откликнулся письмом доктор Кондратюк, хирург, оперировавший Маринеско:

«К сожалению, я увидел Александра Ивановича уже в трудном положении. У него была декомпенсированная дисфагия, обусловленная опухолью пищевода.

О мужестве этого человека, его подвиге и заслугах перед родиной я знал. И в госпитале Александр Иванович вел себя мужественно, ровно, терпеливо переносил мучения, был, как ребенок, доверчив и застенчив. Он ни разу не упомянул о своих заслугах, не пожаловался на свою судьбу, хотя со мной был откровенен. Он любил и хотел жить, верил, что для него делается все возможное. Ему была наложена гастростома (метастазы!), и впервые пусть таким путем он был накормлен и напоен. Любил он флотский борщ. Его просьбу ежедневно выполняли госпитальные повара».

Значит, я не ошибся в своем тогдашнем впечатлении. Все знал, но не терял веры и не сдавался. Болезнь была враг. Склонить голову перед врагом Маринеско не мог, не умел, не хотел.

Не надо, однако, обольщаться. Не всегда больному Маринеско удавалось сохранять бодрость, бывали у него приступы отчаяния, знала о них только Валентина Александровна. И если, по свидетельству всех близких к нему людей, Александр Иванович держался с великолепным мужеством, то немалую роль в этом сыграла завязавшаяся в последние месяцы его жизни увлекательная переписка с Иваном Степановичем Исаковым. Перечитывая письма Исакова к Маринеско, трудно поверить, что они адресованы человеку незнакомому. Так пишут, когда люди знакомы семьями, и не месяцы, а долгие годы. О своих хлопотах и щедрой материальной помощи Иван Степанович пишет как бы мимоходом, пишет так, будто забота о здоровье и репутации Маринеско—это его, Исакова, общественный долг, нечто само собой разумеющееся и тем самым отходящее на второй план. А главное — это живое, заинтересованное общение товарищей по оружию, соратников и единомышленников.

23 сентября 1963 года (на бланке члена-корреспондента АН СССР):

«Дорогой Александр Иванович!

Я пишу на бланке не для того, чтобы похвастаться. А для того, чтобы Вы знали, что мне многое легче сделать, чем Вам. Поэтому если что нужно — пишите.

Вырезал выписку из Беккера у С. С. Смирнова, снял копию и шлю Вам. У него останется для работы свой экз.

Беккер хорош чем?

Скрывает, что погибли лучшие подводники, подготовленные на новые лодки.

Молчит о реакции Гитлера.

Но выпирает весь драматизм плохой организации, самоуправства нач. подплава и т. д. Поучительные ошибки. И не только для немцев.

Снимают копии с других переводов. По готовности — пришлю. Есть ли у Вас книги о подводниках? Может, случайно пропустили? (Следует перечень.— *А. К.*) О наших мемуаристах с ПЛ не спрашиваю. Наверное имеете. Напишите — чего нет, пришлю.

Поправляйтесь. У нас наступили холода, и я, как южанин, начал скисать. Привет. Ваш Исаков.

PS. Когда-нибудь для смеха расскажу, как я был подводником. Приписали к «Рыси» и посадили учиться на курсах <...>. Был 1919 год. Меня арестовали как бывшего офицера и хотя выпустили через 2 недели, я обиделся и ушел воевать в Астрахань (вторично) на миноносцы. Так и не вышел из меня подводник».

К концу сентября Иван Степанович уже не заблуждается насчет состояния здоровья своего корреспондента. Тем ярче выступают его сердечность и такт. Так не пишут приговоренным. Все письмо, включая постскриптум, имеет совершенно ясный подтекст: все силы на борьбу с болезнью, главное — не терять веры, не сосредоточиваться на прежних обидах, как видите, со мной тоже всякое бывало, надо ценить каждый отпущенный нам день, читать и размышлять о прочитанном.

Иван Степанович хлопочет о пенсии Маринеско, посылает ему книги и лекарства, снабжает С. С. Смирнова материалами для будущей повести. Но книгу надо ждать годы, а время не терпит. Существуют более оперативные жанры.

К тому времени С. С. Смирнов был уже признанным мастером еще только зарождавшегося искусства прямого разговора с телезрителями. Искусство это до сих пор не имеет точного названия, но существует и развивается. Это искусство не чтецкое, не лекторское, не ораторское. Оно не похоже ни на проповедь, ни на исповедь. Оно импровизационно и, как всякая импровизация,— серьезное испытание на искренность. Телеэкран беспощаден к фальши. Ей негде укрыться. В течение ряда лет из месяца в месяц Сергей Сергеевич вел созданный им вскоре после войны и существующий поныне телевизионный альманах «Подвиг». Одно из своих выступлений он целиком посвятил подвигу «С-13». В Ленинград приходит телеграмма:

«Смотрите передачу телевизора Москвы 4 октября первой программы двадцать сорок пятницу писателя Смирнова относительно героизма Исаков».

Я тоже был предупрежден, но передачи не видел. Не помню уже почему. Видел и слышал ее Маринеско, отпущенный на побывку домой, и вместе с ним видели и слышали живой рассказ писателя миллионы телезрителей. Александр Иванович был счастлив.

Из беседы с В. А. Филимоновой:

«Саше становилось все хуже. Не мог есть, пришлось делать другую операцию, вывести пищевод, теперь у него в боку была трубка, через воронку туда вливалась жидкая пища. Другая трубка служила ему искусственным горлом. Каждые полчаса трубку надо было прочищать и промывать, она засорялась, и Саша начинал задыхаться и кашлять. Приходилось это делать и ночью. Саша день ото дня слабел. Надо было его мыть, на руках носить в туалет. Ему стало трудно говорить, писал записки. Держал себя с необыкновенным мужеством. Выпросился на несколько дней домой. Дома, лежа на кровати, смотрел и слушал передачу Смирнова. Был рад, разволновался, но глаза были сухие. А когда я везла его обратно в госпиталь, попросил провезти его по набережной. При виде кораблей заплакал: „Больше я их никогда не увижу"».

Наконец-то о подвиге «С-13» было сказано в полном смысле слова во весь голос, так, что этот голос был слышен от Балтики до Тихого океана, и это был голос человека, которого знала вся страна.

Выступление С. С. Смирнова по телевидению вызвало волну от-

кликов. В маленькую квартирку на улице Строителей полетели письма со всех концов страны. Десятки, сотни, вскоре перевалило за тысячу. Не всякая книга вызывает такую лавину. Я видел эти перевязанные шпагатом толстые пачки, заполнившие все углы, нагроможденные на шкафы. Зачастили посетители — молодежь, пионеры. У Александра Ивановича уже не было сил прочитать все письма, встретиться со всеми, кто хотел его видеть. Дома он пробыл недолго. Надо было возвращаться в госпиталь.

Что было в этих письмах? Нетрудно догадаться. Слова благодарности и восхищения, недоуменные вопросы, горячие пожелания здоровья и долгих лет жизни. И нечто совсем неожиданное — деньги, трешки и пятерки рядовых советских тружеников. Сергей Сергеевич не скрыл от телезрителей, что герой тяжело болен, не утаил правды о материальных затруднениях, и самые разные люди немедленно откликнулись. Были и такие письма от совершенно посторонних людей: «Приезжайте к нам, мы Вас выходим...» Когда я рассказал об этом Сергею Сергеевичу, он был даже несколько испуган, он и не думал призывать на помощь. Из денег, присланных телезрителями и собранных моряками, образовалась порядочная сумма. Ее не успели истратить. Валентина Александровна от этих денег отказалась, и по решению друзей они были положены на сберкнижку до совершеннолетия младшей дочери Александра Ивановича — Тани.

Переписка с Исаковым продолжалась. Самому Александру Ивановичу писать было уже трудно, отвечала Валентина Александровна. Иван Степанович часто болел, но о Маринеско не забывал. Ему хотелось еще при жизни Маринеско написать о нем большую статью, и он просит Валентину Александровну записать со слов Александра Ивановича ответы на ряд вопросов. Из-за перегруженности основной работой и сильных болей в ампутированной ноге статью пришлось отложить. Она появилась только в 1965 году в журнале «Советский Союз». А в конце ноября 1963 года, за месяц до кончины Маринеско, он пишет:

«Глубокоуважаемые Александр Иванович и Валентина Александровна!

Спасибо за письмо.

Сам только что вернулся из санатория, чувствую себя лучше, но не особенно.

В свое время прошел через руки всех известных хирургов, почему знаю, какое у Вас состояние.

Будем надеяться на улучшение.

С. С. Смирнов еще в Китае. Скоро возвращается, и мы уговорились совместно написать Вам.

Пока посылаю 2 книги. На этот раз посылаю временно (можете держать сколько угодно, так как в ближайшие месяцы буду занят другой темой). Временно потому, что на обложке сделаны мои пометки и замечания, по которым собирался написать статью, да так и не собрался. Сейчас занят <...>, это поручение сверху и на долгое время.

На днях выходит мой рассказ об Вел. От. войне на Черном море в журнале «Москва» № 11. Я пришлю обязательно и буду ждать, как Вы оцените этот рассказ, на 95% списанный из жизни.

Желаю я и Ольга Васильевна вам обоим здоровья и успехов в делах.

Ваш Исаков.

PS. Правильно ли написал адрес? Могу ли чем помочь?»

Помочь Александру Ивановичу уже нельзя было, и Иван Степанович это понимал. Но ему хотелось, чтобы больной поменьше про это думал и в то же время твердо знал, что и после смерти не будет забыт. Очень существенно упоминание о С. С. Смирнове. Же-

ление взяться за эту тему самому и замысел будущей книги в том виде, как он изложен в «проекте», появились позже, когда ему стало ясно, что С. С. в обозримое время свою повесть не напишет.

Жить Александру Ивановичу оставалось недолго. Считанные дни. Свой конец он видел трезво и бесстрашно. В. А. Филимонова рассказывала:

«За несколько дней до смерти Саша решил отпраздновать свой день рождения. Пришли М. Ф. Вайнштейн и П. Н. Ветчинкин. Саша говорить уже не мог, но был веселый. Ему было разрешено все, и я сама лила коньяк в его воронку. Вскоре он умер».

Пишет доктор Кондратюк:

«С верой в улучшение он был выписан домой. Но спустя несколько месяцев поступил вновь и тихо, мужественно, терпя боли, ушел».

«Несколько месяцев», вероятно, ошибка памяти. Несколько недель. Но образ Маринеско не изгладился в памяти старого хирурга, оперировавшего сотни, если не тысячи больных. Удивительно хорошо в письме сказано — ушел. Не «ушел из жизни», как пишется в официальных некрологах, а просто — ушел. Так лучше потому, что из нашей жизни он не ушел.

Почему Александр Иванович захотел отпраздновать свой день рождения в ноябре? Родился он в феврале. Вероятно, не надеялся дожить до февраля. И чтоб не называть этот день днем прощания.

Исаковы были искренне опечалены смертью Александра Ивановича. Переписка с Валентиной Александровной не оборвалась.

«Прошу Вас помнить, что в лице моем и Ольги Васильевны Вы нашли друзей»,— пишет Иван Степанович после похорон Маринеско. И через год вновь подтверждает: «...не ждите крайних случаев и пишите прямо мне. По всем вопросам. Я Ваш надежный друг. (23.10.64 г.)».

На похоронах Александра Ивановича я был и помню их хорошо. Но больше зрительно, как в немом кино. Помню полутемный клубный зал в здании флотского экипажа, где состоялась гражданская панихида. Помню, как сменялись в почетном карауле рабочие и моряки. А вот что говорилось у гроба — не помню. Не помню, был ли оркестр. Кажется, был. Народу набилось много.

Ехали на кладбище долго, в молчании. Шел мокрый снег. Запомнились на кладбище деревья, вероятно, когда-то на этом месте была рощица. По территории кладбища несли гроб на руках, тоже долго, в самый конец, и тоже молча. У открытой могилы никто не говорил, опустили гроб молча. Заговорили только на поминках.

Это были необыкновенные поминки. Я бывал на всяких. Помню поминки в большом ресторанном зале с расставленными покоем, по-банкетному столами, с неким подобием президиума за центральным столом. О покойном вспоминали с микрофоном в руках. Помню и совсем тихие, приглушенно-семейные, где, кроме родственников, только двое-трое старых друзей и какие-то пожилые женщины с заплаканными глазами и без речей... На Васильевском острове все было иначе. Стол был накрыт в самой большой и все-таки тесной комнате коммунальной квартиры, и собралось помянуть Александра Ивановича более ста человек.

Решение было найдено в духе Маринеско: хорош не тот командир, у которого ничего не случается, а тот, кто в любом положении найдет выход. Выход нашелся. Из комнаты пришлось вынести все лишнее. Стулья и посуду призанять у соседей. Стульев все равно не хватило, пошли в ход табуреты и гладильные доски. Поминки шли непрерывно до поздней ночи, в две или даже в три очереди. Одни приходили, другие уходили. Только приехавшая из Одессы Татьяна Михайловна, мать Маринеско, не трогалась с места весь вечер. Ожидавшие своей очереди толпились на лестничных площадках, ку-

рили, переговаривались. Препятствий им никто не чинил, все этажи знали, кого поминают в тридцатой квартире.

А за столом шел непрерывный разговор. Все сидели вперемежку — балтийские моряки и рабочие с Выборгской стороны. Не все знали друг друга, но Маринеско знали все. Я сидел между контр-адмиралом и бывшим радистом с «малютки». Никто ни у кого слова не просил, говорили негромко и неторопливо, как в матросских кубриках после отбоя или у среза на полубаке, никто никого не перебивал, но каждый мог вставить слово. Прощаясь, не сразу уходили домой, а сливались с теми, кто стоял на лестничной площадке, и опять находилось что сказать и что вспомнить.

Помню, постоял на лестнице и я. Трудно было оторваться. И расходились тоже не поодиночке, а по двое, по трое. И все говорили, вспоминали...

Запись в моем дневнике от 6 декабря 1963 года:

«Вернулся из Ленинграда совершенно больной. Похороны были 29.XI. Описывать их нет ни времени, ни сил, да и незачем. Забыть их нельзя. Завод дал деньги на надгробие, оплатил расходы по похоронам, даже поминки. Валентина Александровна, Татьяна Михайловна, друзья-подводники — все эти люди вызывают глубокое уважение и укрепляют мою веру в неистребимость доброго начала в человеке. И все-таки не могу отделаться от чувства зияющей пустоты. И от чувства вины, хотя формально я как будто ни в чем не виноват. Но я знаю, оно еще долго не оставит меня».

XI. «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

Эта небольшая глава возникла совершенно неожиданно, когда предыдущие десять были уже вчерне написаны.

В десятой главе мы проводили гроб с телом Александра Ивановича Маринеско к месту его последнего успокоения. Но его беспокойный дух не перестает меня тревожить.

Пришло время оглянуться. Перечитать составленный Иваном Степановичем Исаковым «проект». Сумел ли я хоть отчасти решить поставленную в нем задачу — «рассказать о героической жизни и судьбе Александра Ивановича Маринеско»?

Отчасти — на большее я не претендую. В «проекте» эта основная задача расчленялась надвое, и некоторые ее аспекты были по плечу только самому Ивану Степановичу. Дать развернутый стратегический анализ последнего периода войны на Балтике, создать на основе изучения всех имеющихся материалов наиболее точную и доказательную версию атак Маринеско и оценить их значение для окончательного разгрома врага мог только выдающийся флотоводец и ученый-историк, каким был Исаков. Сознавая это, утешаюсь мыслью, что моя повесть не единственная, а главное — не последняя книга, где читатель встретится с Александром Маринеско. Необъятный простор — от строго научного исследования до психологического романа. Но это дело будущего, а пока — несколько слов о том, почему у меня появилась потребность обсудить жизнь и судьбу моего друга с ученым-биологом, представителем науки, изучающей жизнь и поведение человека современными точными методами.

В числе наиболее спорных проблем, когда-либо стоявших перед человечеством, и поныне остается проблема свободы воли и вытекающие из нее вопросы о мере ответственности человека за свои деяния, о соотношении социальных и биологических факторов в поведении индивидуума. Мы сталкиваемся с этими вопросами повседневно как в великом, так и в малом — и когда пытаемся проникнуть в судьбы цивилизации, и когда обсуждаем проступок маленького ребенка. Изменился бы ход истории, будь у Клеопатры другая форма носа, а у Цезаря или Марка Антония другой характер? В чем при-

чина злобной выходки пятилетнего мальчугана — в наследственности или в воспитании, в физиологическом стрессе или в уже зреющей злой воле? Где пролегает граница между злостным асоциальным поведением, невротическим состоянием и психической невменяемостью? Нам свойственно искать на такие вопросы простые ответы, и в своем стремлении ответить однозначно мы часто скатываемся на крайние, полярные, взаимоисключающие позиции. Да или нет? Черное или белое? А ведь жизнь бесконечно многообразнее, в жизни все переплетено и нет ничего, что существовало бы в беспримесном, химически чистом виде. Понимать, рассуждать, иметь суждение — означает взвешивать, и недаром древние изображали Правосудие с весами в руках.

Состязательность судебного процесса — одно из древнейших завоеваний человеческой культуры, там, где этот принцип нарушен, властвует произвол. Но состязательность присуща не только судилищу. Она вообще свойственна процессу мышления. За последние годы я прочитал несколько отличных книг о том, как рождались основополагающие идеи современной физики. Увлекательнейшее чтение. Истина рождается в непрестанных спорах. Спорят между собой ученые. Теория оспаривает эксперимент, эксперимент — теорию. И наконец, спорит ученый сам с собой, сегодняшний с собой вчерашним. Так приходят к открытиям или терпят крах.

Исторический парадокс: преступление зачастую взвешивается гораздо тщательнее, чем подвиг. Судьба преступника, как правило, решается судом, судьба героя — административным усмотрением. Научные методы гораздо чаще применяются при расследовании преступления, чем при анализе героического деяния. Криминология уже давно наука, и на нее работают почти все известные нам области точного знания. Героическими деяниями занимаются преимущественно науки гуманитарные, не менее почтенные, чем физика или химия, но неторопливые и более других подверженные субъективным веяниям.

Стало почти обязательным исследовать душевное состояние преступника до, во время и после совершения преступления. В наше время суд, прежде чем вынести приговор, редко обходится без технической или медицинской экспертизы. Попытка прибегнуть к специальной экспертизе для дополнительной характеристики героя непривычна и может показаться причудой. Мне такая попытка представляется не лишенной интереса.

С членом-корреспондентом АМН СССР Георгием Николаевичем Крыжановским мы знакомы много лет. В руководимой им лаборатории общей патологии нервной системы я в свое время часто бывал, и с немалой пользой для романа, над которым я тогда работал. Наши добрые отношения тянутся с тех пор, и вполне естественно, что в одну из наших недавних встреч я поделился с ним тем, что меня в последнее время больше всего занимает. Рассказал сначала в общих чертах, а затем, почувствовав неподдельный интерес, вопреки своему обычаю дал прочитать незаконченную рукопись. Результат получился неожиданный — Георгий Николаевич увлекся. Помимо всегдашнего дружеского внимания к моей литературной работе у Георгия Николаевича был еще один немаловажный мотив, чтобы живо заинтересоваться личностью и судьбой Маринеско. Детские и юношеские годы ученого прошли в Одессе, оказалось, что и ему не чужд столь свойственный одесситам городской патриотизм и связанное с ним трогательно-горделивое отношение к своим выдающимся землякам. Выезжая в Одессу с научными целями, Георгий Николаевич нашел время отправиться вместе с группой молодых сотрудников к зданию мореходного училища, осмотреть и сфотографировать мемориальную доску, а в другой раз навестить живущую в Одессе сестру героя Валентину Ивановну. Расспрашивая ее о брате, Крыжановский

особенно интересовался годами, когда закладывались основы характера. Ну и, конечно, средой. Расспрашивал, вероятно, как-то по-своему, ученые наверняка задают вопросы несколько иначе, чем писатели.

И вот мы сидим друг против друга на террасе подмосковной дачи (мы к тому же дачные соседи), разделенные игрушечным столиком. На столике пепельница и блокнот. Для своих ученых степеней и званий Георгий Николаевич поразительно молод и легок на подъем. Очки его не старят, а синий тренировочный костюм только подчеркивает спортивность фигуры. Я без большого усилия мог бы представить себе будущего членкора в дружной компании Саши Маринеско, если б не одно обстоятельство — когда Саше Маринеско было пятнадцать лет, Жоре Крыжановскому было пять.

Раньше чем ответить на мой первый вопрос, Крыжановский предупреждает:

— Вы обронили слово «экспертиза». К нашей беседе оно применимо лишь весьма условно. Ни заочно, ни постфактум настоящая экспертиза невозможна. Но я охотно поделюсь с вами некоторыми своими соображениями. Итак, с чего мы начнем?

— Поговорим о характере Маринеско. Что такое в вашем понимании героический характер?

— Здесь также необходима оговорка. Героический характер — понятие социально окрашенное. Героическим деянием, или, проще говоря, подвигом, мы с вами назовем только такой экстраординарный по своей смелости поступок, который служит нравственно близкой нам цели. Героический характер складывается под влиянием среды и в результате полученного воспитания. С точки зрения биологической, можно говорить только о предрасположении, о наличии определенных данных. Среда, в которой воспитывался Маринеско, была несомненно здоровой. Характер его с юных лет складывался как волевой, целеустремленный. При наличии общей одаренности такие характеры нередко реализуются как героические. Вообще же человеческие характеры бесконечно многообразны, никаких средних норм для них не существует.

— Как так не существует? А нормы общественного поведения?

— Это опять-таки область социальных отношений. А в плане биологическом — норм нет. Существуют средние нормы для артериального давления, для содержания сахара в крови, но не для характера и не для способностей. Наш знаменитый психиатр профессор Ганушкин говорил, что если б такие нормы существовали, человечество погибло бы от застоя. Человек высокоодаренный, волевой нередко кажется нарушением нормы. Но вернемся к Маринеско. По своему характеру люди делятся на два основных психологических типа — на экстравертов и интровертов. Экстраверты — люди открытые, общительные; интроверты — замкнутые в себе. Судя по тому, что мне удалось о нем узнать, Маринеско представлял собой не часто встречающееся соединение обоих этих типов. Он был экстравертом для тех, с кем был близок по духу и кому полностью доверял. Поэтому его так любили сверстники и команды кораблей. Для всех остальных он был интровертом. Вспомним его упрямое молчание о своих заслугах в течение ряда лет. Соединение этих качеств в одном лице — свидетельство незаурядности их обладателя, нелегкое прежде всего для него самого. Ему жилось бы легче, будь он только экстравертом или только интровертом.

— Попробуем представить себе жизнь человека в виде некой гомограммы вроде тех, какие вычерчивают на миллиметровой бумаге ваши самопишущие приборы. Правильно ли будет предположить, что гомограмма человека незаурядного будет отличаться от гомограммы человека посредственного бóльшим размахом колебаний?

— Ну, вы сами понимаете, что практически такая интегральная

гомограмма невозможна. Наши самопишущие приборы способны фиксировать колебания только в ограниченных, заранее заданных параметрах. Но если вслед за вами вступить в область фантазии, то применительно к Маринеско я отчетливо вижу прерываемые спадами крутые подъемы, и в том числе три пика, три вершины, свидетельствующие о необычайной нравственной силе.

— Какие же?

— Объективно они несоизмеримы и неравноценны, но сейчас нас с вами больше занимает субъективная сторона. Первая вершина — добровольный отказ от мечты стать капитаном дальнего плавания. Мне кажется, вы недооцениваете глубину и страстность этой мечты. Мы, одесские мальчики, были влюблены в Черное море, многие из нас мечтали стать моряками, но мечты Маринеско простирались гораздо дальше, его манили океанские просторы, далекие, неизведанные материки. Его сестра рассказывала мне: «Временами Саша пропадал из дому, и только я знала, где он: сидит, обхватив руками колени, на парапете там, где Торговая спускается к морю, и смотрит вдаль. Так он мог сидеть часами». Бесспорно, решение перейти из мира своих мечтаний в чуждый ему мир холодных глубин было осознанным, продиктованным сильным патриотическим чувством. Но легким оно быть не могло. Вот почему я считаю ломку сложившейся с самых ранних лет жизненной программы, жертву, которую молодой Маринеско принес во имя своих гражданских идеалов, одной из вершин в его биографии. Нужно было круто сменить то, что мы называем доминантой, подавить прежние стремления и открыть дорогу новым. Добровольность решения не исключает стресса, несомненно это был стресс, и в преодолении этого стресса сказались выдающиеся волевые качества Маринеско. Но вот в чем сложность — наша нервная система так устроена, что в ней ничто полностью не стирается. Случайный пример: человек, много лет назад бывший в немецком плену и полностью забывший немецкий язык, заболев, в горячечном бреду начинает говорить по-немецки. Мечта об океанских походах продолжала подспудно жить в сознании Маринеско как некий фон, не мешавший в нормальных условиях полностью отдаваться новому призванию. Но он существовал, этот фон, и когда перед войной, пусть на короткое время, Маринеско был изгнан из подводного флота, травма оказалась особенно глубокой. Поставим себя на его место — мы приносим жертву, быть может самую большую из возможных; вы отказываетесь от литературы, я от науки, и вдруг оказывается, что она, эта жертва, никому не нужна! Для Маринеско это был первый серьезный надлом. Появилась нужда в транквилизаторе. Самый близлежащий и доступный транквилизатор — водка. Вспомните, раньше ее в обиходе Маринеско не было. К счастью, ошибка была вскоре исправлена, и хотя нервная система ничего не забывает, душевное здоровье помогло Маринеско преодолеть все психологические трудности и подняться на новую высоту.

— Этой второй вершиной вы считаете январский поход?

— Не только. И предыдущие тоже. Все атаки Маринеско требовали от него высочайшего напряжения воли и ума. Не мое дело оценивать их объективную значимость, моя задача — напомнить, что нервная система Маринеско подвергалась чрезвычайным перегрузкам. Сегодня мы в своих лабораториях уже умеем моделировать на животных механизм порождаемых перегрузками неврозов. Постепенное усложнение поставленных задач и увеличение объема информации при сокращении сроков на ее переработку и повышении ответственности приводят к невротическим состояниям. Эта модель действительна и для человека. Мы живем в мирное время, и все-таки современная медицина разработала для подводного флота особые условия и целую фармакопею, смягчающую перегрузки и

во время плавания, и после возвращения из длительного похода. В конце последней войны ничего такого и в помине не было. Этим отчасти объясняются и некоторые срывы. Опять парадокс: человек обычно срывается не в обстановке крайнего напряжения, а когда тормоза отпущены. В мою задачу не входит ни обвинять, ни оправдывать Маринеско за поразивший меня своей психологической достоверностью эпизод его загула в Турку, но причины его мне понятны — бессемейность, неприкаянность, скука, следы недавних перегрузок. Если б этот эпизод произошел не в чужой, недавно вышедшей из войны стране, весьма вероятно, он не сыграл бы такой роковой роли в дальнейшей судьбе Маринеско. И если бы успешный январский поход сорок пятого года принес ему полное прощение и признание, многое сложилось бы иначе. Невротическое состояние, вошедшее в привычку употребление алкоголя, первые признаки эпилепсии — все это, вместе взятое, привело к тяжелым срывам и ошибкам, главной из которых я считаю упрямое решение уйти из Военно-морского флота. Вот это самое упрямое «демобилизуйте!» понятно: перед ним еще маячила юношеская мечта о дальних походах и неведомых странах, но жизнь показала, что обратного хода у него уже не было. Он уже подводник до мозга костей и разрыв с подводным флотом был для него трагедией.

— Что же вы считаете третьим пиком?

— Третьей вершиной я с полным убеждением считаю поведение Маринеско на суде, в пути на Дальний Восток и в порту Ванино. Больной, надломленный человек не рухнул ни физически, ни нравственно, не озлобился, а нашел в себе силы выйти победителем из тяжелейших испытаний, не только не теряя своего человеческого достоинства, но проявив выдающиеся качества вожака и организатора, доказав, какие неисчерпаемые возможности таятся в человеке волевого склада, когда он ставит перед собой достойную цель, в данном случае — сохранить себя как личность, добиться полной гражданской и партийной реабилитации. Какая победа над самим собой! За все время — ни капли алкоголя (а возможности были), ни одного эпилептического припадка! Вот почему неверно рассматривать Маринеско как человека, беззащитного от соблазнов и катившегося по наклонной плоскости. Если б не ранняя смерть, от него можно было ждать нового подъема.

— Тогда последний вопрос. В своей статье («Нева», 1967, № 7) Н. Г. Кузнецов признает, что Маринеско не был вовремя брошен спасательный круг. Каков он должен был быть, этот круг?

— На мой взгляд, нужны были два. Первый — чисто медицинский. Убежден, что при всем несовершенстве лечебных средств в послевоенный период Маринеско можно было полностью вылечить. Как показала жизнь, его воля не была сломлена, нужно было только дать ей направление, перспективу, создать соответствующую доминанту. Для этого был нужен второй спасательный круг — признание, доверие, которые помогли бы разомкнуть то, что мы называем circulus viceosus — порочным кругом. История жизни Александра Ивановича Маринеско кажется мне поучительной во многих отношениях. Она свидетельствует о том, какие огромные возможности заложены в человеческой личности, и одновременно напоминает о бережности, с какой следует относиться к натурам даровитым и волевым, полностью раскрывающимся в экстремальных ситуациях. Будем помнить, что даже некоторые их недостатки (к примеру, упрямство) — продолжение, или, точнее сказать, «издержки», достоинств...

Читатель, вероятно, догадывается, что приведенная выше беседа — не единственная. Это — экстракт. Говорим мы с Георгием Николаевичем о Маринеско при каждой нашей встрече, и эти беседы доставляют мне особое удовольствие, потому что для нас Александр Иванович еще не литературный герой, а просто близкий нам

обоим человек, и то, что Георгий Николаевич не был с ним знаком, не слишком нам мешает. Иван Степанович тоже ведь никогда не видел Маринеско. Наши беседы дороги для меня еще тем, что они как бы облегчают тот неизбежный, долгожданный, но всегда тревожный для автора процесс отчуждения, когда написанное мною перестает быть фактом моей личной биографии и становится общим достоянием.

Осталось досказать немногое.

Почему я назвал эту главу «Память сердца»? Так называется поисковая группа, созданная по почину старшеклассников 105-й средней школы города Одессы. Это та самая школа, где учился Саша Маринеско, и нет ничего удивительного, что землякам дорога память о герое. Недавно мне прислали вырезку из одесской газеты. В заметке, озаглавленной «Пам'ять серця», рассказано о музее, собранном следопытами 105-й, и о хранящихся в нем ценных экспонатах. Причину успеха автор заметки видит не только в энтузиазме ребят, но и в том, что «ім'я Маринеско відкривало чарівним ключем всі двері та серця».

Прекрасно сказано. Жаль только, что этот чудесный ключ еще до сих пор не подходит к иным заржавевшим замкам. Достойное увековечение памяти героя нужно не ему, оно нужно нам. Подвиг «С-13» еще жив в памяти воевавшего поколения и еще долго может служить примером воинского искусства и отваги для будущих командиров боевых кораблей. Это не пустые слова, десятки юношей выбрали военную профессию, вдохновленные той правдой, которую они узнали о Маринеско, и можно поручиться, что они выбрали свой путь не для того, чтоб повторять его ошибки. Не пришло ли время заново, с учетом всего накопившегося исторического опыта и общественного мнения положить на чаши весов подвиги и прегрешения Александра Ивановича? И может быть, пора многое простить? За большие заслуги перед родиной советский народ прощал грехи более тяжкие. Преданность Александра Ивановича своей советской родине может вызывать сомнения только у его врагов, его заслуги — тоже. И не пора ли вспомнить мудрый афоризм, принадлежащий германскому мыслителю XIX века Георгу Лихтенбергу: «Для оправдания человека достаточно, чтобы он жил так, что своими добродетелями заслуживает прощения своих недостатков». Думаю, что Александр Иванович жил именно так. Добродетель — слово старинное, но не умершее, оно по-прежнему включает в себя ум, честность, отвагу и верность. А недостатки — были. За них он уже расплатился сполна, а пожалуй что и с лихвой. Давайте взвесим еще раз.

И наконец последнее. Почему я назвал свою повесть «Капитан дальнего плавания»? Этот вопрос мне уже задавали. Как известно, Александр Маринеско окончил мореходное училище штурманом, затем командовал подводными лодками и, судя по его послужному списку, никогда не ходил в дальние походы.

В дальние действительно не ходил. А в боевые ходил. И повесть назвал так не я, а одесские моряки.

Перечитайте, пожалуйста, текст мемориальной доски на здании Одесского мореходного училища, послуживший мне эпиграфом. Училище это — учреждение гражданское, воинских званий оно не дает. Назвав своего воспитанника капитаном дальнего плавания, одесские моряки оказали ему высочайшую по своим понятиям честь. Стать капитаном дальнего плавания было заветной мечтой юного Саши Маринеско. Мечта сбылась, он им стал. И останется навеки в благодарной памяти земляков.

Имя Маринеско еще долго будет открывать чудесным ключом все двери и сердца.

ЕВГЕНИЙ ХРАМОВ

★

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Свежий звук прокатился над
садом,
за высокие сосны задел —
это в темном бузиннике, рядом,
соловей-красношейка запел.
Начал нежно и тонко,
с почина,
а потом перешел на раскат.
Ах, какой прилетел молодчина,
ведь такие теперь нарасхват!
Бьет то дробью, то лешевой
дудкой,
за волной набегает волна,
а в недолгих литых промежутках
продолжает звучать тишина.
Для чего так сиять голосисто?
Что другим от его красоты?
Или вправду от яркого свиста
распускаются ярче цветы?
Сколько лет этим звонким
коленам?
Что он знает о песне своей?..

И над горем,
над прахом и тленом
все равно клокотал соловей.
И согбенный
на миг разгибался,
и ползущему снился полет.
А соловушка пел, разливался
и не думал, зачем он поет.

* * *

Не обман, не корысть, не
злодейство
И не хитрости ремесла —
Просто-напросто кончилось
действо,
К океану река принесла.
Плыл я, плыл по течению
жизни,
И выныривал, и тонул,
И не думал, что на сердце
брызнет
Этот мощный уверенный гул.
Вот он, рядом совсем,
за холмами.
Как раскаты его широки!
И спасаться не кинешься
к маме —
Мама там, у истоков реки.
Что же делать? Петлять
и кружиться,
Холодеть от предчувствья беды,
Оттого, что речная водица
Повкусней океанской воды?
Оттого, что, огромен и светел,
Небосвод над тобою встает,
Что холодный торжественный
ветер
Слишком рано лицо обдает?
Но ведь были речные излуки,
Был рассвет настороженно-тих,
И счастливые женские руки
Трепетали в ладонях твоих.
Так спасибо же всем: человеку,
Птичьим гнездам, и ветвям
дубов,
И тому, кто пустил эту реку
Вдоль таких золотых берегов!
А теперь все припомнить
уроки,
Весь судьбою подаренный путь
И шагнуть в этот ветер
широкий,
С благодарной улыбкой
шагнуть...

Л. И. БРЕЖНЕВ

★

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ «ВОСПОМИНАНИЯ» *

МОЛДАВСКАЯ ВЕСНА

1

Приступая к новой главе, подумал о том, что работать над записками приходится в большом отдалении от происходивших событий. Это создает определенные трудности: какие-то детали и факты теряются, исчезают. Но дистанция времени все же дает и определенные преимущества: память как бы просеивает былое, сберегая самое характерное, самое важное.

Значительной полосой в моей жизни предстает начало 50-х годов, когда мне довелось работать в советской Молдавии. Пришлось опять оставить налаженное дело и ехать в иной край, где очень многое предстояло начинать заново.

Прежние места работы, скажу откровенно, покидал всегда с большим сожалением. С другой стороны, чего тоже скрыть не хочу, знал, что в жизни партийного работника перемещения, переезды — неизбежны. Доверие партии и народа радовало, более сложная, и, как правило, более ответственная, работа заставляла внутренне сосредоточиться, рождала обостренный интерес к новому поручению ЦК.

Хорошо помню жаркое лето, когда, собравшись по-военному быстро, выехал, можно сказать, на первую рекогносцировку в Молдавию. Этому предшествовал разговор в ЦК ВКП(б), и меня предупредили, что положение в этой молодой советской республике непростое. Два года подряд этот край сжигала засуха, и хотя, как водится, помощь уже направили из других районов страны, республике предстояло решать сложные задачи.

В чем заключалась в ту пору особенность положения Молдавии? Это была одна из самых молодых союзных республик. Правобережная ее часть не прошла вместе со всей страной грандиозной школы советского строительства. В считанные годы она должна была пройти путь пятилеток или даже десятилетий. В Молдавии бурно развивались все те процессы, которые уже прошли в других республиках за более долгий срок. Иным глухим районам, лежавшим за Днестром, предстояло вырваться к социализму наикратчайшим путем.

Молдавия была исконно крестьянским краем. Мгновенно психологию крестьянина не перестроишь. Понимал, как нелегко ему будет расстаться с собственностью — со своим плугом, своим клочком земли. Надо было убедить, именно убедить единоличников в преимуще-

* В течение ряда лет Леонид Ильич Брежнев работал над своей книгой «Воспоминания». Первоначальная публикация всех глав этой книги по желанию автора осуществлялась в нашем журнале. «Новый мир» предлагает читателю три главы «Воспоминаний», над которыми автор работал в последние годы.

ствах коллективного ведения хозяйства, показать не на словах, а на деле, что новая для многих молдавских крестьян форма обобществления труда более всего соответствует их же жизненным интересам.

Время будто повернулось для меня вспять: задачи, давно уже решенные, оставшиеся позади в русских деревнях, в селах Белоруссии и Украины, где довелось трудиться, вновь вставали на повестку дня. Значит, придется, как в годы комсомольской юности, агитировать за колхозы, набирать темпы индустриализации, укреплять роль рабочего класса, заботиться о становлении и росте национальных кадров.

Обо всем этом и шел запомнившийся мне разговор в ЦК ВКП(б), куда я был приглашен в конце июня 1950 года. Центральный Комитет, было сказано мне, считает, что сейчас в Молдавской партийной организации необходим человек, который был бы в состоянии по-новому взглянуть на сложившуюся там трудную обстановку.

Вскоре об этом говорилось и на Пленуме ЦК КП(б) Молдавии, где меня рекомендовали на пост руководителя республиканской партийной организации. Стенограмма того Пленума сохранилась, недавно работники партархива переслали ее мне. Прочитал с интересом. Документ по-своему поучителен. «Товарищ Брежнев,— говорилось в представлении ЦК, которое зачитывалось на Пленуме,— в партии свыше двух десятков лет, молодой сравнительно товарищ, сейчас в полной силе, он землеустроитель и металлург, хорошо знает промышленность и сельское хозяйство, что доказал на протяжении ряда лет своей работой в качестве первого секретаря обкома. Человек опытный, энергичный, моторный, прошел всю войну, у него есть звание генерала, и руку он имеет твердую...»

Скажу, что насчет твердой руки у меня были свои соображения, и существенных изменений они с той поры не претерпели. Командовать в партийной, да и в любой другой работе не стремился и не стремлюсь. Отмечаю это потому, что, к сожалению, и в моей практике приходилось сталкиваться с руководителями, которые, не вникнув в суть, видя только внешнюю сторону фактов и явлений, скользя, как говорят, по поверхности, по их внешней оболочке, спешили поскорее приказать, указать, сделать оргвыводы. Признак ли это силы? Нет, не думаю.

Именно чувствуя в глубине души свою слабость, такие люди, как показывает опыт, склонны подменять вдумчивый анализ скороспелыми решениями, действовать в порыве эмоций, а то и того хуже — из личной амбиции. И начинаются севы под диктовку, досрочные жатвы, авральные сдачи недостроенных объектов, дутые обязательства...

Методы командования в партии у нас давно и бесповоротно осуждены. Я их всегда отвергал и по сей день вижу необходимость настойчиво и целеустремленно приучать кадры к глубокой партийности пользования властью — на любых постах, без единого исключения.

Опыт армейской работы, прежде всего фронтовой, научил меня превыше всего ценить в людях обязательность, дисциплину, ответственность за порученное дело. Без этого, на мой взгляд, не мыслима никакая организация. И чем сложней обстановка, а в Молдавии она была действительно сложной, тем нужнее эти черты. Мы, коммунисты, исходим из единственно верного ленинского положения: прежде чем принять решение, его нужно и должно обсудить и взвесить. Но после того, как решение коллективно принято, оно должно неукоснительно выполняться. Для этого необходим действенный контроль. Нужен спрос с того, кому партия поручила выполнять решение. И это я бы назвал порядком, дисциплиной, а не твердой рукой, как это некоторые любят называть.

Приехав в Молдавию, не стал засиживаться в столице и ждать Пленума, а сразу же отправился по районам — хотелось увидеть, что же это за край, о котором я знал лишь из прочитанного, хотелось поговорить с людьми, узнать, чем озабочены, чего ждут от нас, партийных руководителей. За долгие годы партийной работы у меня выработалась привычка начинать знакомство с трудовых коллективов, партийных организаций. Если глаз наметан, то все увидишь, почувствуешь что к чему.

Так было и на этот раз. Приехали мы в Чимишлийский райком партии. Захожу к секретарю. Знакомимся.

— Афтенюк Герман Трофимович.

— Брежнев Леонид Ильич. Представитель ЦК.

Смотрю, встречает без энтузиазма.

— Что, неприятности какие?

— Да как сказать... Тут уже пятеро из Кишинева. Нагрянули как снег на голову, по пятам ходят. Уборка, хлеб большой, а они — нашли время — готовят нас к отчету на бюро ЦК. Давай им сводки, туда вези, сюда... Вы тоже по этому делу?

Недовольство человека неурочными посетителями было такое простодушное, что мы оба улыбнулись.

— Да нет,— говорю ему,— я из Москвы. Знакомлюсь с республикой.

— Ну, тогда ничего... Может, чем и поможете.

— А что вас беспокоит?

— Что еще может сейчас беспокоить — комбайны, конечно. Вместе с комбайнерами. Да где их взять? Учить и то некому. Молодежь больше.

— Ну, поехали в поле...

В колхозе имени Карла Маркса подъехали к большому массиву пшеницы. Место неровное, на взгорье. Хлеб действительно как по заказу. Вдали тарахтит комбайн. На обочине — брошенный соломокопнитель. Подошли поближе. Вижу, работает молодой парнишка. Оказалось, это первая его уборка.

— Ты что же это соломокопнитель отцепил? Или сломался?

— Да не сломался, вообще не годится! Он тяжелее самого комбайна, морока одна с ним. А тут холмы — не тянет, и все. Даже вода закипела. В два счета машину запорешь.

Смотрю я на этого парнишку — прав абсолютно! За машину болеет, видно, очень старается: стерня за ним — не придерешься.

Присел, помню, с парнишкой рядом. На листке из блокнота набросал чертеж: две продольные планки, трос, чтобы комбайнер мог регулировать сверху... Спрашиваю: понимаешь? И вижу: не только понимает, обрадовался...

— Вот чертовщина, как же мы сами не додумались! Ведь это сделать просто.

— Скажи спасибо,— говорю,— украинским товарищам. У них я видел такое приспособление. А этот соломокопнитель, что отцепил, ругать понапрасну не надо. На ровном поле он ходит нормально.

Уже через некоторое время я узнал, что изобретение украинских комбайнеров сослужило добрую службу не только в этом колхозе, но и в других районах Молдавии с гористым рельефом.

А в тот день мой бессменный еще с фронта шофер Миша, Михаил Георгиевич Фомин, повез нас с секретарем райкома дальше, и где-то под Михайловкой мы увидели еще один комбайн, стоящий посреди поля. Подошли. Движок работает. Из-под хедера выглянуло лицо комбайнера. Смотрю и глазам не верю: дивчина... И в этот момент чуть было не стряслась беда — волосы у нее, когда она повернулась, попали в передаточный механизм комбайна. Она вскрикнула,

и я, не помню как, пулей влетел в кабину, выключил двигатель. Все обошлось. Девушка поднялась бледная, но пытается улыбнуться.

— Ну, как самочувствие?

— Все в порядке.

Подождали, пока комбайн пошел по пшенице, помахали ей на прощание.

— Хорошие,— говорю,— у вас, Герман Трофимович, кадры механизаторские. Опыта наберутся — станут классными комбайнерами.

— Да, неплохие ребята, вот только отрываем их от дела. Каждого надо утверждать в райкоме, на это время требуется, а мы тут на поле минуты считаем.

— С этим давайте так договоримся: утверждение отменять не будем, но сделаем так — не они к вам будут ездить в райком, а пусть-ка работники райкома приезжают к ним на поле.

Вернувшись из этой первой ознакомительной поездки в Кишинев, я сразу позвонил тогдашнему первому секретарю ЦК КП(б) Молдавии Н. Г. Ковалю: правильно ли, что в разгар уборки отрываете людей от дела проверками, отчетами? Время в такую пору надо экономить.

Во время той поездки по районам пришлось столкнуться и с другими фактами. Тяжелое положение было в селах на правом берегу Днестра.

Сама земля там такая же благодатная, как и на левом берегу Днестра, где советская власть была установлена сразу же после Октябрьской революции, такие же холмы с садами, лесами и перелесками, называемыми здесь кодрами, такие же долины и степи. Но хозяйственные постройки в правобережной части были совсем неказисты, крестьянские хаты убоги, под камышовыми и соломенными крышами, а люди босы и плохо одеты, заплата на заплате. А главное, как я уже упомянул, земля изрезана межами, куда ни глянь — чересполосица.

Молдавия, как я убедился впоследствии, располагала самыми благоприятными условиями для того, чтобы превратиться в одну из житниц страны. Плодороднейшие почвы (здесь говорят: воткни кол — зацветет), обилие тепла, трудолюбивые крестьяне. Но издавна подлинным бичом этих мест были засухи, хроническая нехватка влаги. Людей, которые наконец-то дождались своей земли, основательно подкосили два подряд неурожайных года. В условиях частного хозяйства, которое существовало в правобережных районах, противопоставить засухе вовсе было нечего — воду здесь добывали и сохраняли самыми примитивными способами. Не думал даже, что увижу такое.

Старожилы мне рассказали, что, несмотря на разруху и голод первых послевоенных лет, трудились крестьяне в Бессарабии самоотверженно. Бывали случаи, когда некоторые, обессилев, падали прямо в борозде с плугом или косой в руках. Тяжкие испытания не сломили народ. Появились за Днестром первые колхозы. Подоспела и помощь, щедро оказанная страной, днем и ночью шли эшелоны с машинами, тракторами, комбайнами, стройматериалами, зерном и мясом, но отдача пока была минимальная. Надо было в короткий срок добиться эффекта от вложенных в экономику республики огромных средств — так ставилась задача.

И вот в июле 1950 года собрался Пленум ЦК Компартии Молдавии, на котором предстояло обсудить постановление Центрального Комитета ВКП(б) о недостатках в работе Молдавской партийной организации. Это был для меня первый Пленум в Молдавии.

Должен отметить, все выступавшие на нем говорили без обиняков, по-партийному остро. Запомнилось мне выступление секретаря Каменского райкома партии Н. Е. Гапонова. Он привел, в частности, такой пример: за последние полгода в райком поступило 159 всякого рода решений ЦК Компартии Молдавии, а ни один его работник не

был в районе вот уже три года. Помню, во время перерыва я подошел к нему и говорю:

— Глубоко пашешь, товарищ Гапонов, молодцом!

А он отвечает:

— Сказал, что у всех наболело... Только вот некоторые подходят, советуют: ты, дескать, стенограмму почисть. Так-то оно так, да как бы не припомнили тебе.

Пришлось его подбодрить: стой, мол, на своем, коли чувствуешь свою правоту, а я людей в обиду не даю. И подумалось: вот еще одна иллюстрация к вопросу о неблагополучии с критикой — кадры-то, видно, на горьком опыте учены.

Впрочем, следует отдать должное моему предшественнику Н. Г. Ковалю: он в своем выступлении был достаточно самокритичен, строго оценил и собственные ошибки и промахи бюро. И вообще, хочу сказать, человек он был честный, трудился много, и приходилось ему в первые годы действительно нелегко. Что ж, такая она, наша партийная работа: на каких-то этапах человек тянет и хорошо делает свое дело, но потом, случается, утратит ощущение перспективы, остроту партийного зрения, с чем-то смирится как с неизбежным, и тогда уже, хочешь не хочешь, надо его сменять. Обижаться тут нечего, если думаешь об интересах дела, заботишься о благе народа, о нуждах страны. Что же касается Николая Григорьевича Коваля, то он до конца дней своих неплохо работал председателем Госплана Молдавии и многое сделал для развития экономики республики.

3

Жизнь с первого дня стучалась в двери — посетители, просьбы, сводки. Нужно было постоянно заниматься решением проблем, от которых зависело во многом будущее этой земли, ее роль и место в семье братских республик, благосостояние ее тружеников.

Самым боевым участком работы было тогда сельское хозяйство. Судя по цифрам, коллективизация шла успешно. Но даже в тот день, когда мне доложили, что в колхозы объединилось уже свыше 80 процентов крестьянских дворов республики, я с выводами не спешил. Достижение, конечно, немалое, но еще оставались районы, где даже половина крестьян не вступила в артели, да и созданные колхозы никак нельзя было считать полнокровными, крепкими хозяйствами.

В ту пору мне часто приходилось бывать на собраниях, где в трудных спорах принимались решения о создании коллективных хозяйств, читать отчеты о них. В большинстве своем молдавские крестьяне не подвергали сомнению полезность этой новой для них формы организации труда. Но я знал, что их убедят не слова. Люди хотели своими глазами увидеть, что это такое — колхоз. Просто сказать им: давайте-ка побыстрее объединяйте свои наделы, скотину, дворы,— было бы неправильно. Задачу я видел в том, чтобы создать хорошо организованные колхозы и на их примере убедить крестьянина в пользе артельной работы. Такие колхозы — своего рода опорные пункты — представлялись мне важными и как школа воспитания партийного и хозяйственного актива.

Помню, как вместе с секретарем ЦК КП(б) Молдавии Д. Г. Ткачом мы организовали нашу первую выставку достижений сельского хозяйства. На ней побывали сотни ходоков, десятки делегаций. Во многих случаях делегации эти становились затем ядром будущих крепких артелей.

И все же нельзя было не отдавать себе отчет в том, что молдавский крестьянин, вчера лишь подавший заявление в колхоз, не мог тотчас преодолеть в себе веками укоренившуюся частнособственни-

ческую психологию. Мешала нам и слабость кадров в деревне, и враждебная деятельность антисоциалистических элементов.

Враги у колхозного строя были. Вредили они чаще всего исподволь: наговорами, провокациями, пробирались подчас к руководству хозяйствами, проталкивали туда своих людей и всячески старались подорвать веру крестьян в колхозы. Они брались и за обрезы, и хотя массового характера такие выступления не носили, все же и тут в ходе коллективизации были жертвы. Погибли заместитель председателя Чучуленского сельсовета Страшенского района Н. П. Пагу, агроуполномоченный села Згурицы Згурицкого района И. К. Присакарь, комсомольский активист из села Мындрешты Кишкаренского района И. А. Богонос, председатель женсовета села Жабка Флорештского района М. А. Пискаря и не только они.

Надо сказать, что в борьбе с врагами социализма партийная организация проявляла подлинно революционную бдительность и большевистскую непримиримость.

Уровень партийного руководства колхозами был в то время поистине решающим фактором. В одну из поездок в Дрокиевский район мне довелось увидеть буквально два мира на одной сельской улице. Два колхоза были созданы в селе в один день — 27 августа 1947 года. Один из них идет в гору, второй — хиреет. В первом за эти годы приобрели больше двадцати сложных машин, увеличили поголовье общественного скота, в шесть раз выросли денежные доходы колхозников, год от года повышается урожай хлеба. В другом совсем иная картина: урожаи на 5—6 центнеров ниже, скот падает, доходы колхозников никудышные. Сменилось несколько председателей, но все остается по-прежнему.

Стали знакомиться с работой партийных организаций. И что же увидели? В передовом колхозе — боевая, растущая организация, коммунисты возглавляют решающие участки производства, председатель чуть что — к ним за советом. В отстающем хозяйстве коммунистов вообще не слышно, даже собрания перестали проводить. Председатель бьется один, без помощи и поддержки. Поправили дело в партийной организации — и хозяйство пошло на лад.

На одном из совещаний партийно-хозяйственного актива я привел запомнившиеся мне слова из повести Валентина Овечкина «С фронтовым приветом». В этой повести фронтовик-колхозник так говорит о плохих артелях: «Мало радости жить людям в таких отстающих колхозах... Почему в армии у нас нет этого термина — отстающий полк, отстающий батальон? Вот интересно бы получилось, если бы какой-нибудь полк не выполнил боевого приказа, а комдив стал бы оправдывать его перед командующим армией: „Да что с него возьмешь, товарищ командарм, это у нас отстающий полк с самого начала войны"».

Верно подметил наш известный писатель. И сейчас еще кое-где можно найти за средними показателями захудалый колхоз или совхоз, проваливающий все кампании. Да почему-то привыкают к такому хозяйству, считают, видно, что среди сильных неизбежны и отстающие.

Разговор об этом не теряет актуальности. Нас должны беспокоить не только экономические последствия, но и моральный урон, наносимый обществу подобными небоеспособными коллективами и в сельском хозяйстве, и в промышленности, и на стройках. Недодавая нужную стране продукцию, они создают затруднения в планировании, перебои в поставках. И кто же как не партийные организации должны спросить с каждого такого коллектива и его руководителей: совесть-то у вас есть, товарищи? Необходимо дойти до каждого такого предприятия, колхоза, совхоза, стройки, учреждения, отрасли хозяйства, глубоко разобраться в причинах отставания и найти средства для их устранения: где-то строго спросить, где-то поднять моральную и материальную ответственность каждого работника за результаты своего

труда, а где-то и сменить «комсостав», если он не способен как следует организовать работу.

Вспоминаю, в Молдавии приехал я как-то в Ниспоренский район. Поговорили с секретарем Валерием Ивановичем Крыжановским, а потом он предложил:

— Поедемте, Леонид Ильич, я вам кое-что покажу. Не пожалеете!

Едем. За поворотом дороги вижу большое село Милешты, дворов около восьмисот. Но даже и крыши еле заметны — кругом сады.

— Вон там, под горой, смотрите...

Внизу темнеют какие-то предметы — издали не разобрать, то ли тракторы, то ли еще что. Подъехали ближе: разбитые фашистские танки. Пятнадцать танков! Постояли. Вспомнили войну. Валерий Иванович тоже ее прошел, был ранен. Нам, фронтовикам, не нужно было напрягать воображение, чтобы представить себе, что происходило в этой низине, чего стоило нашим солдатам выбить фашистов отсюда! Но они их выбили. И оттого показался нам этот сад теперь вдвойне цветущим. Ровные ряды цветущих деревьев, ходим не налюбуемся, и вдруг вижу — распаханные полосы попадаются между рядами.

— Что за пахота? — спрашиваю.

— Межи. Только не единоличные, а колхозные. Тут, в Милештах, два колхоза и совхоз на месте усадьбы сбежавшего помещика. Сад тоже помещичий, его посадили и вырастили милештские батраки, вот и поделили после освобождения по-братски, по справедливости.

— А с продукцией как? Куда ее реализуют?

— Раздают на трудодни, совхоз перерабатывает, но много пропадает. До ближайшей железнодорожной станции шестнадцать километров проселка. Дожди пойдут — с перевозкой трудно.

Вечером встретились с колхозниками и рабочими совхоза. Когда обсудили намеченные дела, я подвел разговор к саду: давайте, мол, вместе думать, как таким богатством распорядиться. Какой смысл делить его на клочки — и обрабатывать неудобно, и урожай расходится без особого проку. Со мною согласились. Позже, когда взялись «укрупнять» сад, нашелся мудрый человек и говорит: «А что, если нам и все остальное в единый котел? Одно село, одна земля. Давайте попробуем!» Так колхозы в селе Милешты слились в один.

Мы это начинание поддержали, дали объединенному колхозу технику (поначалу на общем дворе у него оказалось 150 волов — вот и вся тягловая сила), помогли и еще чем могли. Что же касается сада, с которого все началось, то он стал едва ли не главной статьей дохода. Колхозники добавили к нему изрядный участок сливовых деревьев и тысячами тонн повезли фрукты на построенный вскоре консервный завод. С той поры садоводческие районы республики и пошли по пути создания больших садов.

Двадцать лет спустя, в 1971 году, направляясь на съезд Коммунистической партии Болгарии, я остановился в Молдавии. Показали мне один из самых крупных садов в Унгенском районе. Был он, конечно, не чета прежним — площадь около четырех тысяч гектаров, самый современный метод пальметной формировки деревьев. Подлинный сад будущего. Так я и сказал хозяевам на прощание:

— Тысячу лет цвести вашему саду!

А колхоз имени Ленина в Милештах стал тогда одной из первых укрупненных артелей в республике. И этот первый опыт подсказал нам самый верный в тех условиях путь дальнейшего укрепления колхозного строя в Молдавии. После детального изучения вопроса и обсуждения его на бюро ЦК такой курс был взят по всей республике, хотя это и грозило определенными издержками на первых порах. Но мы не убоялись трудностей, предпочли дальние цели ближним и, как показала практика, не ошиблись. Сейчас в Милештах мощный совхоз-завод.

Чтобы читатель полнее мог представить себе специфику работы в молодой республике, неповторимую атмосферу тех лет, расскажу о так называемых антикомбайновых настроениях. Представьте себе, они затронули не только селян, но и некоторых председателей колхозов, активистов и даже кое-кого из райкомовцев.

Однажды ездили по районам вместе с Председателем Совета Министров республики Герасимом Яковлевичем Рудем. Помнится, где-то под Вулканештами ночью в свете фар увидели стоящий в поле комбайн. Подъехали. Машина заглохла. Возится комбайнер, видно, уже не первый час, а не может найти причину: не заводится, и все тут. Вот вам и опора пересудам и слухам, что-де пользы от этих машин не будет. А вол, известно, безотказен, кнутом его подхлестни— вот и устранена «неисправность». Пришлось нам на том поле надолго застрять.

Водители знают, как это бывает: подойдешь посмотреть, что там копается коллега в моторе, скажешь «то-то проверь», а он и не знает, где эта штука находится. Лезешь сам и не заметишь, как втянешься, а потом уходишь весь в масле. Так было и тут. Попробовали свечи, распределитель, проверили все что следует — нет, не заводится. Пришлось засучить рукава — отступать было некуда. Провозились до света, но все-таки запустили.

С комбайнером мы распрощались друзьями.

Но это, что называется, дорожный эпизод. А суть проблемы была вот в чем. Некоторые руководители хозяйств, не дав себе труда толком познакомиться с машинами, олицетворявшими тогда революционные преобразования на селе, изучить их поистине неограниченные возможности, поддались настроениям отсталой части колхозников. Дело в том, что крестьяне эти, едва начав работать сообща, не познав еще преимуществ коллективного ведения хозяйства, опасались, что использование техники, связанное с натуроплатой, пагубно скажется на колхозном бюджете. Эти веяния умело раздували всякого рода враждебные элементы, а хозяйственные руководители, вместо того чтобы терпеливо разъяснять им, что только с применением техники возможен крутой подъем хозяйства и рост его доходов, сами подчас оказывались в плену отсталых представлений.

Сейчас все эти «антикомбайновые настроения» могут вызвать лишь чувство недоумения. Но не будем забывать, о каком времени в биографии республики идет речь. И тогда настроения эти доставляли нам немало хлопот. В самом деле: к концу 1951 года, когда Молдавия получила дополнительно свыше 5 тысяч тракторов, 1370 комбайнов и до 23 тысяч других сельхозмашин, едва ли не половина МТС не выполнила плана. Вот и приходилось эти вопросы со всей остротой ставить на совещаниях, прибегать порой и к крутым мерам. Но прежде всего следовало, конечно, научить товарищей, знавших до этого только волов, обращению с техникой.

Это было непросто, шла коренная ломка психологии крестьянина, который до советской власти часто и вола не имел, а все же был частником. Достаточно глубоко прочувствовав, поняв это из бесчисленных встреч и бесед с людьми — на бригадных станах, на кукурузных полях, просто у бровки дорог, — я считал своим долгом четко сориентировать партийных руководителей среднего и низового звена, что мы не можем пока подходить к молдавскому колхознику с той же меркой, с какой ведем работу с людьми в других республиках, в уже окрепших, имеющих большой коллективный опыт хозяйствах.

Наша партия никогда не рассматривала и не рассматривает построение материально-технической базы социализма, а затем и коммунизма как некую самоцель. Для нас принцип: «Все — для блага человека, все — во имя человека!» — определял и определяет существо политики КПСС на всех этапах становления и развития

нашей социалистической державы. Последовательно проводили в жизнь этот принцип и мы в Молдавии того периода, когда она как бы повторяла, хотя и в новых условиях, путь, пройденный в свое время всей страной. Кооперируя сельское хозяйство, создавая заново промышленность республики, поднимая ее культуру, науку, мы всегда имели в виду главную цель — воспитание нового человека. В этом деле тогда, в 50-е годы, в Молдавии огромную роль сыграли созданные по постановлению ЦК ВКП(б) политотделы МТС. Их было около ста. Работники райкомов партии, аппарат ЦК подбирал на должности начальников политотделов, их заместителей, женорганизаторов и редакторов политотдельских газет опытных коммунистов, знающих и любящих село. Им предстояла нелегкая работа по переустройству молдавской деревни.

4

Работая в Молдавии, я многое читал о прошлом этого края. Молдавский летописец Григорий Уреке с горечью назвал свою родину «страной на пути всех бед». Веками народ, населявший землю между Прутом и Днестром, вынужден был вести жестокую борьбу за право распоряжаться собственной судьбой, а порой и за само право на существование. Его стремление к достойному человека укладу жизни, к свободе и независимости всегда находило понимание и живой отклик в умах и сердцах передовых людей России.

Напомню, что советскую власть молдавский народ под руководством своей большевистской организации установил на всей территории республики сразу же после Великого Октября — в 1918 году. Но вскоре международный империализм оторвал Бессарабию от советской Родины.

В то время как по левому берегу Днестра провозглашенная в 1924 году Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика успешно строила жизнь по законам социализма, правобережная часть Молдавии жила по иным законам.

Мне запомнились красочные рассказы Емилиана Букова. Он теперь известный писатель, Герой Социалистического Труда, его произведения изданы во многих странах. Это о его книге «Андриеш» писали за рубежом: «Книга Букова по своим тиражам на иностранных языках превысила численность населения его республики». В ту пору в Кишиневе мы с ним встречались не раз.

— Знаете,— сказал он мне однажды,— впервые я свободно пел «Интернационал» только в сороковом году.

Многое кроется за этим фактом биографии. В довоенной Бессарабии Буков был комсомольцем-подпольщиком. Первый гонорар за поэму «Баллада о Ленине», которую читал на тайных собраниях, получил... розгами в полиции. «Отсыпали» ровно по количеству строк. Случались и другие аресты, однако человек не смирился с тем, что было, продолжал борьбу за то, что любил. И я видел, что в строительство новой жизни он включился со всем жаром поэтического сердца и убежденностью коммуниста.

Да, была для всех нас в молдавском народе внутренняя опора, сложившаяся веками, — стремление людей к устройству жизни на началах социальной справедливости, свободолюбие, революционный дух. Ведь именно здесь, на молдавской земле, действовала типография подпольной ленинской «Искры», именно молдаване дали революции сынов, ставших гордостью всего советского народа,— Михаила Фрунзе, Григория Котовского, Сергея Лазо.

В 1940 году Молдавская Советская Социалистическая Республика вошла полноправной сестрой в братский союз народов нашей

страны. А вскоре молдаване плечом к плечу со всеми народами-братьями защищали вновь обретенную Родину. Одними из первых вступили в бой с фашистами воины 95-й Молдавской дивизии. Она участвовала в Сталинградской битве и получила звание гвардейской. Свыше 250 тысяч молдаван сражались в рядах Советской Армии, я встречал их на фронте, это были смелые бойцы.

Как и всюду, война принесла Молдавии неисчислимые беды. В Кишинев я приехал через пять лет после нашей победы, но застал еще разрушенные улицы и кварталы, которые предстояло восстановить. В руинах лежали Тирасполь, Бельцы, Бендеры, Оргеев и многие районные центры. Я видел немало разоренных деревень, выжженных садов и виноградников.

Сколько же жизненных соков забрала война, сколько людских судеб поковеркала. Трудно, глядя на сегодняшнюю Молдавию, представить себе, какие бои здесь гремели в военную годину. Она не только не отстала в своем развитии, но преображалась буквально на глазах. Все это и на моей памяти.

Скажем, если в довоенной Бессарабии рабочие составляли всего 0,31 процента населения, то теперь в промышленности занят каждый второй трудоспособный житель. Вчерашние пахари и виноградари изготовляют литейное оборудование, современные электродвигатели и эхолоты, первоклассные тракторы, точнейшие приборы. Или взять культуру, науку. В крае, где только один из десяти жителей умел расписаться, трудится трехсоттысячный отряд национальной интеллигенции.

И все это стало возможным благодаря огромной помощи, которая была оказана Молдавии братскими союзными республиками в культурном строительстве, в подъеме образования, подготовке кадров. В высших учебных заведениях Москвы, Ленинграда, Киева, других крупнейших центров страны обучались большие отряды посланцев молодой республики. В самой Молдавии были открыты вузы, техникумы. Социалистическая культурная революция волею партии быстро пробивала дорогу в каждый молдавский город, каждое село. По числу студентов на 10 тысяч жителей Молдавия превзошла в пору моей работы там такие страны, как Дания, Италия, Швеция, Франция.

Мне памятны споры молдавских ученых по поводу содержания первого в республике советского букваря, а в наши дни они участвуют в освоении космоса: созданная в Молдавии экспериментальная установка «Оазис-2» — прообраз оазиса жизни на орбите — успешно действовала на борту космического корабля «Союз-13».

Да, история нашей страны измеряется не только годами. Мы по праву судим о нашем прошлом и настоящем по масштабу сделанного, свершенного. Это справедливо для каждой нашей республики, для всего исторического пути, пройденного советским народом.

Если вычесть войну и первые послевоенные годы, ушедшие на восстановление разрушений, то на развитие, например, Молдавии в семье советских народов приходится немногим более тридцати лет. Но какой огромный путь она прошла за это короткое время! Республика стала одной из житниц страны, одним из крупнейших центров садоводства и виноделия. А объем продукции ее промышленности вырос в 52 раза по сравнению с 1940 годом.

Что тут скрывать, радостно на душе, когда подводятся такие итоги. И вдвойне радостно, когда ты сам к этому был причастен.

5

Если вспомнить сегодня, какое слово чаще всего повторялось в Молдавии на наших собраниях, конференциях, на бюро ЦК, то это слово — «кадры». Тогда, в начале 50-х годов, в первую очередь

следовало думать о кадрах, смелее выдвигать и воспитывать национальные кадры — это я считал решающим условием успеха.

Было ясно, что никакие тракторы и комбайны сами по себе не двинут безлошадную деревню в социализм, если во главе колхозов, совхозов, МТС, районных и первичных партийных организаций не будут стоять преданные делу, знающие организаторы. Никакие капиталовложения не превратят полукустарные мастерские (какими только и располагала воссоединенная часть Молдавии) в современные социалистические предприятия, если эти средства не попадут в надежные руки умных хозяйственных руководителей. Таких организаторов и руководителей надо было искать без промедления, проверять в практических делах, растить, что называется, на ходу.

Мне были даны широкие полномочия, в том числе и в плане перестановки кадров. Однако весь прошлый опыт подсказывал: только кропотливая работа с людьми может дать нужный эффект. Вот почему мы тогда твердо договорились в ЦК не перетасовывать без надобности работников руководящего звена, давать возможность каждому человеку доказать свое умение. Случалось, при обсуждении проступка какого-либо работника горячность начинала брать верх. Тогда я прерывал разговор: «Вот что, товарищи, давайте отложим решение, поостынем, подумаем». И, смотришь, удавалось сохранить для дела нужного человека, который впоследствии делом же подтверждал, что срыв его был случаен.

Встречались, правда, и того сорта деятели, с которыми вести долгие разговоры не имело смысла. Вот, например, какое письмо поступило в ЦК от колхозников Вулканештского района. В руководстве сельским хозяйством там подвизался некий Малевич, и, сколько ни заваливал заданий, все его перебрасывали, пока он не оказался в должности председателя колхоза, где тоже пьянствовал, занимался хищениями. «Все это,— писали колхозники,— заставило нас побеспокоить вас и просить выслать комиссию. Помогите нам убрать чуждый элемент колхозному строю и при помощи честных руководителей сделать наш колхоз большевистским, а нас — зажиточными».

Факты при проверке подтвердились, и мы немедленно изгнали этого человека с поста председателя и исключили из партии.

С такого рода деятелями мы вели самую решительную борьбу. Но веры в людей такие столкновения у меня не подорвали. Напротив, на их фоне еще виднее становились дельные работники, которые просто не успели проявить себя. Порой ведь обстоятельства складываются так, что и толковому человеку трудно раскрыть свои способности в полной мере. И всегда потом было приятно убеждаться, что такое отношение к людям — с некоторым даже завышением их возможностей, с верой в их будущие большие дела — подтверждалось.

Мне везло на встречи с хорошими людьми. Наверное, по той простой причине, что их вообще больше, чем плохих. Уже через полгода-год пребывания в республике я знал всех секретарей райкомов, не говоря уж о работниках аппарата ЦК, знаком был с большинством председателей колхозов, директоров совхозов и МТС, промышленных предприятий, знал их сильные и слабые стороны. В подавляющем большинстве это были настоящие коммунисты, истинные труженики, не щадившие себя в работе.

Жили тогда еще трудно: домов строили мало, не хватало товаров. Как-то пригласил я к себе в кабинет одного нашего инструктора расспросить как и что — он из района вернулся. Входит. Смотрю, брюки на нем заношены до блеска, а у колен вовсе протерлись до дыр. Смутился. Прячет ноги за стол.

— Да, — говорю, — что ж так поизносились?

— По правде сказать, Леонид Ильич, не разживусь никак на новые. Времена, сами знаете...

— Знаю, знаю.

Знал я и другое. Это был хороший работник, начинал воевать еще под Халхин-Голом, имел ранения и награды. Позвонил тут же управляющему делами. А ему говорю:

— Идите прямо сейчас к управляющему — он выпишет единовременное пособие на костюм. Сразу и купите, а после ко мне. Заодно посмотрим, как сидит.

Многим в ту пору жилось трудно. Я это видел. Частенько наведывался на базар, заходил в магазины, в столовые. Иногда звал с собой кого-нибудь из ЦК или Совмина — давайте поглядим, чем людей кормим, во что одеваем. Ходили, смотрели, беседовали с колхозниками, покупателями. Характерно, люди не жаловались: ничего, мол, в войну и не такое пережили. Но видно было: с продуктами и с товарами тяжело, не хватает самого необходимого. Эти беседы и встречи были очень полезными, они подталкивали: надо спешить, надо работать, работать.

Много времени проводил в поездках по районам. Есть приходилось сплошь и рядом где-нибудь у обочины или в лесополосе, и ели, как говорится, что бог послал. Иногда трактористы угостят фасолевым супом, кулешом, мамалыгой. Иногда на ходу пожуешь слив или яблок. Гостиниц тогда еще нигде не было — ночевали в домах секретарей райкомов, председателей колхозов, а то и просто в машине, если дела торопили. Работали, что называется, до упаду: редко, когда раньше двенадцати ночи гасли огни в ЦК и Совмине. Да и дома, бывало, полночи ворочаешься с боку на бок — не дают покоя мысли о том, о другом.

Кто-то, возможно, скажет, глядя на все это с высоты нынешней науки управления: неорганизованность. На это так можно ответить: в те времена становления республики каждый, кто считал себя коммунистом, брал на себя больше «положенного». Бывало, удивлялся, глядя на своих товарищей: словно двужильные, из какого-то особого материала скроены. Впрочем, в этом смысле я и себе пощады не давал.

Самоотверженных людей вокруг было много. Среди них выделялись трудолюбием, особой жадностью к работе бывшие фронтовики. К ним меня особенно тянуло. Не надо было искать подхода. Спросишь, где воевал, вспомнишь вместе с человеком знакомые места, горе и радости тех дней — и уже понимаем друг друга без слов. Многих до сих пор хорошо помню.

В Тираспольском райкоме партии работала в то время секретарем М. М. Лесовая. Война застала ее семнадцатилетней девчонкой, работала медсестрой в сельской больнице. Сразу попросилась на фронт. Под Севастополем вынесла из-под огня двадцать одного раненого, погрузила в машину — и в тыл. А по дороге нарвались на фашистов. Шофер был смертельно ранен. Девушка залегла на обочине с автоматом и отбилась. А потом, будучи тоже ранена, сама довела машину до медсанбата. За это была награждена орденом Красного Знамени. За бои под Сталинградом (она уже была командиром санитарного взвода) получила орден Красной Звезды, потом—Отечественной войны. И дошла до Берлина! Оставила на рейхстаге подпись: «9 мая. М. Лесовая». Такой же фронтовичкой оставалась она и на райкомовской работе.

Вспоминаю также в старинном молдавском селе Токмазея династию механизаторов Кирияковых. Легендарная семья — семеро братьев и две сестры — еще в 20-е годы вступила в колхоз. Старший, Артем, стал бригадиром трактористов (было это еще в 1933 году). В бригаде Артема работал другой брат, Иван, третий тоже был трактористом в соседнем селе. Началась война, и все семеро братьев пошли на фронт. Под Витебском сложил голову Данило, недалеко от родного села за Днестром — Максим. Лев умер от ран. Остальные вернулись с войны — и опять за свои трактора. А сейчас и сыновья их — тоже механизаторы, трудятся в колхозе «Родина».

Вспоминаю знаменитую тогда на всю республику Анастасию Мажарову. Райкомовские документы она подписывала так: «Секретарь райкома, гвардии майор Мажарова». Тоже судьба героическая. Родилась в смоленской деревне, отец был шахтером, сама с малых лет батрачила, прошла фронт, была разведчицей, начальником политотдела. При мне она работала первым секретарем Тараклийского райкома, затем была направлена учиться в Высшую партийную школу в Москву. Но на этом наше сотрудничество не закончилось. Когда я работал уже секретарем ЦК КП Казахстана и начался подъем целины, у меня в кабинете однажды раздался звонок:

— Леонид Ильич, это Мажарова, помните такую? Вот окончила школу, у вас там, слышно, большие дела начинаются, а как же я, «гвардии майор Мажарова»,— без наступления... Может, примете в полк?

Как же было не принять! Вскоре она приехала в Казахстан, «с полной выкладкой» прошла все целинное наступление.

Много фронтовиков работало и в аппарате ЦК Компартии Молдавии. Смотришь утром на открывающих двери нашего партийного дома на Киевской, и сердце сжимается — кто прихрамывает, кто на костыль опирается, а кто и с пустым рукавом идет. И у всех боевые ордена, медали — знаки их ратных подвигов. Не могу не вспомнить скромного, застенчивого человека Кирилла Федоровича Ильяшенко. У него от осколка глубокий шрам на лице. До войны работал учителем, а после демобилизации возглавил нелегкий участок в молдавском ЦК — заведовал отделом науки, школ и культуры. Он обладал особым умением привлекать к себе людей, казалось бы, самых разных по характеру, по роду занятий — артистов, писателей, художников, музыкантов, работников науки, они шли к нему в ЦК за советом, за помощью. Последние годы Кирилл Федорович работал Председателем Президиума Верховного Совета республики...

Сравнительно короткий, но насыщенный период работы в Молдавии стал и для меня самого качественно новым этапом становления как партийного руководителя. Здесь я со всей глубиной и, как говаривал один наш секретарь райкома, «всеми органами чувств» осознал суть понятия руководящая роль партии. Ее направляющая воля, неистребимая энергия, коллективная мудрость, возрастающий опыт, наконец, беспредельный заряд веры в правоту нашего дела — все то, что заложено в той или иной мере в каждом из нас, ее бойцов,— буквально пронизывали все поры молодого, вступающего в жизнь, формировавшегося организма республики. Коммунистическая партия Молдавии, один из отрядов великой ленинской партии, мужала и обретала прозорливую мудрость вместе со становлением Молдавской Советской Социалистической Республики. И какая же ответственность ложится на каждого из нас перед партией, когда она поручает нам такое великое дело.

Владимир Ильич Ленин превыше всего ценил в человеке прямоту, идейную убежденность, единство слова и дела, цельность личности. Известно, как он умел выслушивать людей, советоваться с ними, опираться на их опыт, учитывать их суждения.

Мы часто возвращались в ту пору к облику партийного руководителя, со всею строгостью сверяя себя с ленинскими моральными нормами партии. Позволю себе привести выдержку из стенограммы моего выступления на Пленуме ЦК КП(б) Молдавии в апреле 1951 года:

«Необходимо более принципиально относиться к общему делу, не разводить плесени, гнили, болота... Понятно, что может не все идти гладко, этого не исключишь, но мы должны стремиться к тому, чтобы не допускать просчетов. Для этого надо трудиться с предельным напряжением сил и способностей, какими обладает каждый из

нас... Исходя из требований съезда, надо поднять ответственность руководителей всех рангов, и в первую очередь партийных и советских. Это не значит, что мы должны «избивать» работников. Мы и впредь будем проводить политику сохранения кадров, воспитания кадров, бережного отношения к кадрам...»

За многие годы в партийных комитетах выработался плодотворный стиль работы, в основе которого — не горячность, не наскок, не скоропалительность выводов, а обстоятельный, глубокий анализ возникающих проблем. Научный подход к партийной работе — это подход сугубо деловой. Он обязывает действовать, не теряя времени, сверяя свой шаг с ходом общественного развития, с содержанием и духом коллективных решений. Весь мой опыт свидетельствует также, что актив партии умеет видеть все многообразие возможностей социалистического общества, всегда стремится найти оптимальный вариант решения той или иной проблемы.

Работая в Молдавии, мы нацеливали все партийные организации на выработку научно обоснованных решений, на аргументированную доказательность их политической целесообразности и экономической необходимости.

Таков магистральный путь всей нашей партийной работы и сегодня.

6

Энергичные меры ЦК Компартии Молдавии, упорная, последовательная, целеустремленная работа, наконец, само время делали свое. Все чаще доводилось сталкиваться с фактами, которые свидетельствовали о существенных сдвигах в мировоззрении людей. Помню, на одном из совещаний я поинтересовался, как реагируют крестьяне на исключение из колхоза. Ответ был такой: «Большинство исключенных просит оставить их в колхозе». Это о многом говорило.

Как это ни покажется странным, в Молдавии мне пришлось убедиться, что даже такая исконная для края культура, как кукуруза, возделывается отсталыми методами и дает очень низкие урожаи. Культуру эту у нас одно время усиленно продвигали, пытались выращивать под Архангельском, на Вологодчине, чуть ли не в Заполярье — ничего хорошего из этого, как известно, не получилось. Но кукуруза в этом не виновата. Цену ей я узнал еще на Украине, а уж в Молдавии, был убежден, она могла давать урожаи еще более высокие.

По сей день молдавские товарищи вспоминают, что кукуруза была одним из моих коньков. Кое-кто тогда даже посмеивался: вот, мол, первый секретарь в багажнике автомобиля возит по районам кукурузосажалку собственной конструкции. И я действительно одно время возил с собой это нехитрое приспособление. Только не собственной, конечно, конструкции — тут я должен авторское право передать другому лицу.

А дело так обстояло. В то время никаких механизмов для этих целей, тем более заводского производства, еще не было, во всяком случае в республике. Такая техника стала изготовляться в централизованном порядке гораздо позже. А тогда надо было искать подручные средства. И вот однажды в Сорокском районе одна старая крестьянка, прослышав о наших заботах, подарила мне эту кукурузосажалку. «Возьмите,— говорит,— когда я выходила замуж, отец мне ее в приданое подарил, может, и теперь еще сгодится...»

Я немедленно опробовал, проверил в деле это умное крестьянское приспособление в одном из хозяйств и дал указание изготовить опытные образцы. А пока там поворачивались с чертежами и ин-

струкциями, пропагандировал сам остроумную самоделку, облегчавшую труд кукурузоводов. Слух о ней прошел уже по районам — товарищи с мест требовали «техническую документацию», чтобы изготовить кукурузосажалки у себя. Вот тогда я и продемонстрировал подарок старой крестьянки участникам очередного совещания в нашем ЦК. После этого и пошла кукурузосажалка по районам. И что вы думаете: она помогла нам уже весной 1951 года не только успешно справиться с севом, но и получить заметную прибавку урожая.

Многое в Молдавии опробовалось тогда впервые. Все, что приживалось, было выгодным, мы широко внедряли в хозяйство. Известно, однако, что новое очень часто пробивает себе дорогу через препятствия, рожденные привычками, а иногда и косностью. Для внедрения каждого новшества нужны были первопроходцы, которые верят в него и готовы пойти на риск. Таких энтузиастов я всегда присматривал, всегда на них опирался. Это были простые крестьяне, смекалистые, талантливые, ставшие умелыми руководителями колхозов. Помню их всех хорошо, надеюсь, и они меня не забыли.

Д. С. Василати, Т. М. Ермураки, З. И. Кройтор, Д. И. Мищенко, А. И. Папуров, Д. Е. Рашкулов, С. Г. Швец — вот они, мои товарищи во многих полезных начинаниях. Я любил бывать в их хозяйствах. И хотя навещать чаще приходилось отстающих, иногда даже крюк по дороге делал, чтобы заглянуть в хозяйства этих людей — узнать что-то новое, посоветоваться, проверить их взглядом свои наблюдения.

Бывало и так, что ехал не один, привозил из других районов секретарей райкомов. Садился в машину, брал с собой нескольких человек и вез в передовой колхоз. Здесь же на месте разбирали, что сделано хорошего, а где мы недорабатываем. Вот так мы все коллективно и учились.

Одним из лучших опорных пунктов, куда ездил частенько, был колхоз «Вяца ноуэ» — «Новая жизнь». Это сравнительно недалеко от Кишинева, в Оргеевском районе. Его путь к новой жизни — это вместе с тем и история всей молдавской деревни за годы советской власти.

После войны в селе Чокылтены двести крестьян обобществили 7 пар лошадей, 12 пар волов, несколько плугов и борон. С этим и пошли в новую жизнь. Первой общественной стройкой был обыкновенный сарай. Но строили его сообща, для колхоза. Со всего района свозили тогда народ на митинги — вот, мол, что мы можем вместе.

Через два года колхоз заключил союз с учеными Молдавского филиала Академии наук СССР, основой нынешней Академии наук республики. По совету ученых началось освоение новых для Молдавии ценных кормовых злаков — колхоз стал одновременно и опытной станцией. Чокылтенцы первыми опробовали новые методы оплаты труда, были среди зачинателей межколхозной кооперации в республике. И люди тут вырастали на глазах. Бывший батрак Штефан Штирбу стал Героем Социалистического Труда. Словом, было в этом хозяйстве на что посмотреть и что перенять.

С чокылтенцами, признаюсь, меня связывала и давняя страсть к охоте. А тут, в пойме Реута, были тогда необозримые камышовые плавни, полные дичи. Появились у меня и друзья по охоте — колхозники Петру Лунгу и Петру Гэлеску. В доме Петру Гэлеску я чаще всего и останавливался. Дом этот стоял чуть ли не в самых плавнях. Постель для гостя стелили на лавке в каса маре — почетной гостевой комнате. А утром чуть свет мы с ружьями уже в лодке.

Плавни — для охотников это, конечно, рай. Но ведь это и тысячи гектаров плодороднейших земель! Стал я советовать их освоить: «Не будет же вечно камыш шуметь, тут и хлеб может расти и все что угодно». Бил в одну точку, и прислушались к советам колхозники.

Начали рыть вручную первый осушительный канал. Местами было не пройти — такие заросли. Тогда погнали вперед стадо скота, а за ним уже люди. Вскоре начали заготовки камышового силоса. Еще через пару лет уже государство при участии колхозов занялось поймой Реута. А кончилось дело тем, что ежегодно пойма дает продукции на полмиллиона рублей — больше 15 процентов всего, что производит колхоз.

Все, чего достигло это хозяйство, ставшее в республике лабораторией передового опыта, — дело здешних колхозников, трудолюбивых, смекалистых, отзывчивых на все новое. Велики заслуги и председателя правления Бориса Владимировича Глушко, который умело, я бы сказал, талантливо руководил коллективным хозяйством в течение многих лет — со дня его основания и до ухода на пенсию. Родился он здесь же, в Чокылтенах, в семье учителя. Предприимчивый, умный, смелый — таков был этот председатель.

Сегодня всем уже ясно, что завтрашний день социалистического хозяйства — в органическом синтезе земледелия и животноводства с промышленностью, в создании интегрированной экономики в целом. И кто знает, может быть, осушенные поймы Реута или знаменитый «объединенный сад» в Ниспоренском районе надо считать первыми шагами на нынешнем пути межколхозной кооперации. Процесс этот стал теперь повсеместным. Лишь на этой основе можно достигнуть в сельском хозяйстве высшей производительности труда, при которой небольшая, но высококвалифицированная, технически и агрономически грамотная часть населения страны, вооруженная первоклассной техникой, будет полностью удовлетворять потребности народа, осуществлять на практике продовольственную программу партии. И не случайно, конечно, нынешняя Молдавия стала в этом процессе своеобразным испытательным полигоном для всей страны.

Еще в годы моей работы в республике в Чадыр-Лунгском районе было создано первое в стране межколхозное объединение механизации, электрификации и мелиорации сельского хозяйства. Ныне в Молдавии насчитывается семь научно-производственных объединений, двадцать четыре аграрно-промышленных объединения, сто семьдесят совхозов-заводов. Это мощный индустриально-сельскохозяйственный потенциал и, я бы сказал, наглядный пример продуманного хозяйствования.

7

Масштабы строительства у нас таковы, новые комплексные программы столь грандиозны, что от замысла до воплощения проходят многие годы. В сущности, только теперь можно по-настоящему дать оценку решениям, которые мы принимали в Молдавии в начале 50-х годов. А ведь от них зависело все будущее республики. Тут возникает проблема, на мой взгляд, принципиальная.

У советских людей должна быть уверенность, что сделанные ими добрые, полезные партии и народу дела не будут преданы забвению ни через десять, ни через сто лет. Речь идет о нравственном облике поколения.

На примере сегодняшней Молдавии вижу, что в целом мы в выборе генерального направления ее развития не ошиблись. Разумеется, экономика республики, как и всей страны, развивалась на основе народнохозяйственного плана, который был законом для нас. Но всего в плане не учтешь, жизнь выдвигала свои требования, и надо было с ними считаться. Быстро растущее сельскохозяйственное производство заставило подтягиваться все другие отрасли хозяйства. Развитие их нам тоже планировали. Казалось, все тогда было пре-

дусмотрено. Кроме подлинных возможностей республики, созданных коренными социально-хозяйственными преобразованиями на рубеже 50-х годов.

Расскажу для примера, как мы с Кириллом Ивановичем Цурканом, тогдашним министром пищевой промышленности, спасали урожай винограда. В тот год виноград уродился на славу. Приходит ко мне Цуркан:

— Что делать, Леонид Ильич? Аврал! Тары, наличных емкостей по всей Молдавии вдвое меньше, чем нужно под такой урожай,— сусло некуда сливать.

По правде говоря, ночь не спал, все прикидывал, что предпринять. Не нашли другого выхода как отправить нашего министра в Москву — просить цистерны. Штук двести нам тогда выделили. Но их еще надо было привезти, а время не ждет. Прошел день или два, и снова звонит мне беспокойный Цуркан:

— Леонид Ильич, есть одна шалая идея: что, если старую водонапорную башню в городе приспособить?

Что вы думаете, разыскали ключи, полезли по шаткой винтовой лестнице на самый верх. Да, тут много бы можно залить. Но, увы, все поржавело, пришлось отказаться от идеи. Как же все-таки быть? Я попросил Цуркана собрать специалистов, стариков, опытных виноделов. Пусть они поделятся опытом, все обмозгуют, изыщут местные возможности.

Партийный руководитель не обязан быть одновременно экономистом, агрономом, инженером, строителем, виноделом и т. д. Но он должен владеть законами общественного развития, разбираться в людях, хорошо их понимать, опираться на конкретные знания мастеров того или иного дела.

Вспоминается эпизод из жизни В. И. Ленина. В очень трудный для страны год он вел заседание Совнаркома, на котором решался спорный вопрос, в ту пору существенный. Представитель Главторфа, который должен был наладить торфяные разработки, привел расчет, по которому на строительство бараков для рабочих следовало выделить по 4 тысячи рублей. Возразил представитель Наркомфина, который считал, что 4 тысячи — много, что дать надо не больше двух. Разгорелся спор, Ленин слушал, никого не перебивал, но послал каждому по записке: «Вы когда-нибудь строили бараки?» Торфяник ответил — да, финансист — нет. Тогда Владимир Ильич поставил вопрос на голосование. «Есть два предложения,— сказал он.— Автор первого, имеющий опыт в строительстве бараков, считает необходимым выделить на постройку одного барака четыре тысячи рублей, автор второго, не имеющий такого опыта, предлагает выделить две тысячи рублей...»

Тут, говорят, раздался смех, и вопрос был решен на Совнаркоме в пользу специалиста, знатока дела. История, на мой взгляд, поучительная, не стоит о ней забывать... А виноделов мы тогда в Кишиневе собрали, тоже не обошлось без споров, но в конце концов комиссия предложила такой план действий. В засушливых районах Молдавии крестьяне имеют во дворе цементированный колодец для сбора дождевой воды. Подумали: если эти колодцы нужным образом обработать — сгодятся. На будущее надо, конечно, закладывать большие новые емкости, а пока и эти могут выручить. Уполномоченные нашего пищепрома тотчас разъехались по районам — искать колодцы, заключать с колхозниками договоры на хранение государственного виноматериала. На учет взята была, что называется, каждая емкость, и ценный продукт удалось полностью разместить и сохранить.

Сама жизнь диктовала необходимость сделать основной упор в индустриализации Молдавии прежде всего на пищевую и перерабатывающую отрасли промышленности. Мы понимали, что это позволит

решить двуединую задачу: создать собственную базу для переработки все возрастающего количества продукции и вместе с тем решить проблему занятости населения, укрепить ряды рабочего класса республики. К тому времени завершение коллективизации и широкое применение машин высвободили на селе множество рабочих рук. И вполне ясно было, что всестороннее и гармоническое развитие новой, социалистической молдавской нации, ее экономики, ее культуры немыслимо без мощного рабочего класса.

Успешное выполнение плана четвертой пятилетки позволило нам войти в ЦК ВКП(б) и союзное правительство с рядом дополнительных предложений, в том числе по развитию промышленности. К февралю 1952 года наши специалисты подготовили развернутую комплексную программу ускоренного развития пищевой индустрии в Молдавии, а в дальнейшем и пищевого машиностроения. Дело было ответственное, слишком многое зависело от него, и этот документ в Москву я повез сам. В итоге — наши предложения получили поддержку в Совете Министров СССР.

Одновременно с пищевой закладывались основы и других отраслей промышленности республики. Здесь курс мы взяли на налаживание трудоемких и вместе с тем перспективных производств, таких, как машиностроение, электротехника, приборостроение, — производств, которые могли бы поглотить излишки сельской рабочей силы. Большинство предприятий создавалось на базе бывших мастерских.

Часто мне приходилось бывать на Тираспольском заводе имени Кирова, который стал у нас первенцем молдавской индустрии. С директором, Иваном Семеновичем Шкорупеевым, сложились самые добрые, деловые отношения. И когда понадобился опытный, сильный человек на пост министра местной промышленности республики, я предложил его кандидатуру. По всему он подходил: на заводе (тогда еще в мастерских) — с 1931 года, вырос до главного инженера, потом стал директором, дело знает, с обязанностями справляется хорошо. Но Шкорупеев уперся: нет, и все! К месту привык, неохота срываться.

Как-то позвал его к себе.

— Только что, — говорю, — из района, устал, давай чайку попьем.

А сам думаю: с какой стороны к нему подобраться? Стал про свою судьбу рассказывать — куда только меня не бросало. О новом назначении директора не стал заводить разговор — думаю, поймет намек. Когда прощались, сказал:

— Приеду к вам на завод, посмотрю, к чему вы там попривыкали. А насчет работы посоветуемся с членами бюро.

Молчит, но, вижу по глазам, смекает — придется согласиться с назначением.

На заводе, конечно, подготовились к приезду гостя, хотели «по маршруту» вести, территорию, мол, посмотрим, перспективы на расширение.

— Давайте лучше, — сказал им, — начнем с цехов. А что земли для расширения нет, оно и так видно.

В целом завод, как и в прошлые приезды, понравился. Продукция нужная и неплохого качества: движки, насосы для орошения, наждачные станки, ковочные молоты. Но все это виделось лишь как основа — здесь можно и нужно было развертывать современное производство. Это свое мнение высказал руководству района и завода:

— С реконструкцией и расширением надо хорошенько подумать. Нынешняя территория не годится: через пару лет снова начнете задыхаться, к тому же и железнодорожную ветку сюда не протянешь. Уж если браться, то с перспективой. Продукция ваша и сейчас крайне нужна селу, но пора преодолевать психологию кустар-

ных мастерских. Перестраивать завод надо по-современному и кадры растить всерьез. Важно, чтобы работали металлисты не привозные, а свои, местные.

Со временем так оно и стало. Выбрали площадку и построили практически новый завод. Когда я первый раз приезжал, работало 450 человек, теперь на заводе 4500 квалифицированных рабочих и специалистов. А Шкорупеева мы все-таки уговорили. Стал он министром.

За каких-нибудь два-три года на глазах были преобразованы в современные предприятия Кишиневский завод имени Котовского, Бельцский моторемонтный, металлообрабатывающий завод в Единцах, механический в Чадыр-Лунге, насосный в Рыбнице и многие другие.

Все это помогло в считанные годы поднять экономику республики, подтянуть ее индустрию до уровня других промышленно развитых республик. Сравнительно молодому рабочему классу Молдавии стали теперь по плечу самые современные виды изделий.

8

Начало 50-х годов было для Молдавии не только периодом хозяйственно-экономического выравнивания с остальными республиками страны, но и временем бурного становления социалистической молдавской нации, ее нового самосознания, основанного на принципах советского патриотизма и пролетарского интернационализма. Все это проходило негладко, порой в острой идеологической дискуссии — давали себя знать остатки буржуазно-националистического мировоззрения. Члены разбитых националистических организаций, пытавшиеся торговать интересами молдавского народа, вели порой открытую борьбу против социалистической идеологии, за отчуждение молдавской культуры от культуры всех других братских народов нашей страны.

Идеологическая работа партийной организации республики имела огромное значение для становления новой Молдавии. Здесь надо было проявить умение убеждать людей, находить правильные организационные формы, а главное, самому быть убежденным борцом, чутким к товарищам и требовательным к себе работником. В этой связи мне хотелось бы отметить, что всеми этими партийными качествами обладал заведующий отделом агитации и пропаганды ЦК КП(б) Молдавии Константин Устинович Черненко. Молодой, энергичный коммунист, еще до работы в республике приобретший большой партийный опыт, он все силы отдавал порученному делу.

Впоследствии К. У. Черненко занимал ряд крупных партийных и советских постов, и всюду проявлялся этот его талант и опыт. Сегодня К. У. Черненко член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС.

Идеологическая работа была и остается наиболее сложной частью социалистического строительства. Тут дело имеешь непосредственно с человеческой личностью, в том числе с личностью творческой, порой ранимой и противоречивой. Важно, с одной стороны, помочь талантливым людям определиться в служении своему народу, не дать им израсходовать то, что именуют божьим даром, на бесплодную суету, проявить понимание, чуткость, терпение, а с другой стороны, ничем не поступиться в партийных принципах. В те годы мне пришлось пройти школу не просто идеологической работы, но и идеологического противоборства.

Огромные усилия мы прилагали для развития народного просвещения, национальной культуры, воспитания гражданина социалистического мира. Начинать надо было буквально с ликбеза —

учить молдаван молдавской грамоте. (Главным образом это касалось населения правобережной Молдавии.) За пять послевоенных лет свою неграмотность ликвидировало около миллиона взрослого населения республики. За короткий срок удалось восстановить и построить 1472 школы. Необходимо было улучшить культурно-просветительную работу, наладить издание учебников на молдавском языке, готовить кадры преподавателей. Когда узнал, что молдаване составляют уже больше половины всех учителей, то воспринял это как большой успех национальной политики партии.

Передо мной лежит сейчас протокол одного из заседаний бюро ЦК КП(б) Молдавии. Вот некоторые вопросы, которые обсуждались тогда, в самом конце 1950 года: «Об издании произведений классиков марксизма на молдавском языке; об улучшении книжной торговли в республике; об издании детской литературы; о недостатках в работе республиканского отдела «Союзпечати»; о мерах по улучшению кинообслуживания сельского населения; о состоянии радиофикации республики; о выполнении Закона о всеобуче; об издании школьных учебников в 1951 году; об улучшении учебно-воспитательной работы в Кишиневском государственном университете...»

Приведу несколько цифр из документов того времени, которые также были присланы мне из архива. Мы радовались, когда особым приказом школам Молдавии выделили 35 тысяч учебников, когда получили сообщение, что на работу в наши вузы из Москвы выезжают 7 профессоров и доцентов. Тогда же, в конце 1950 года, в республику были направлены 25 тысяч детекторных приемников, 30 тысяч метров пленки с радиозаписями, 45 киноаппаратов и 15 печатных машин. Сегодня это кажется каплей в море, но тогда было очень важно, и все это говорит о задачах, которые мы в ту пору решали. Ведь сейчас Молдавия — один из важных центров науки, культуры. Здесь выросла талантливая интеллигенция, выдающиеся ученые, литераторы, артисты.

Сегодня мы с гордостью сознаем, что в нашей многонациональной стране сложилась и расцвела единая по духу и содержанию советская социалистическая культура. Эта культура включает в себя наиболее ценные черты и традиции культуры и быта каждого из народов нашей Родины. В то же время любая из советских национальных культур питается не только из собственных родников, но и черпает из духовного богатства других братских народов и, со своей стороны, оказывает на них благотворное влияние, обогащает их. Все заметнее становятся общие интернационалистские черты. Национальное все больше оплодотворяется достижениями других братских народов. Этот процесс отвечает духу социализма, интересам всех народов нашей страны. Именно так закладываются основы новой, коммунистической культуры, которая не знает национальных барьеров и в равной мере служит всем людям труда. Именно такую цель ставила перед собой партийная организация Молдавии и шла к ней уверенно, не жалея сил.

9

А теперь расскажу немного о Кишиневе — городе, в котором жил и который очень люблю. Поздно вечером 4 марта 1977 года мне позвонили домой:

— Леонид Ильич, в Молдавии землетрясение... По шкале Рихтера около...

— Что в Кишиневе? — прервал я.

— По предварительным данным, разрушения незначительные, пострадали старые постройки, жертв нет.

У меня отлегло от сердца, и я мог уже спокойно выяснить обстановку.

Москвичи, как и жители других городов, видимо, помнят тот тревожный вечер, когда отголоски грозного явления природы докатились и до их жилищ. За несколько минут до звонка, помню, я и мои домашние почувствовали: с домом происходит что-то неладное — качалась люстра, звенела в шкафу посуда.

Как позже выяснилось, это было одно из сильнейших землетрясений нашего века. Главные беды оно принесло Румынии и Болгарии, где были и значительные разрушения и человеческие жертвы. Уже на следующий день мы от имени ЦК КПСС и Совета Министров СССР направили в адрес Центральных Комитетов братских партий и правительств этих стран телеграммы с выражением соболезнования по случаю постигшего их стихийного бедствия и оказали необходимую в таких случаях помощь.

Не скрою, когда я услышал о землетрясении в столице и других городах и селах Молдавии, в первый момент у меня похолодело в груди. В памяти пронеслись картины залитых солнцем проспектов, застроенных по-южному легкими и светлыми многоэтажными зданиями. У всех нас еще в памяти трагедия Ташкента. Теперь — недобрая весть из Кишинева, ставшего родным, как каждый город, в котором ты хоть и не родился, но с которым связан не менее прочными узами трудовой деятельности.

Была у меня и еще одна, сугубо личная причина внутренне содрогнуться при мысли о том, какие бедствия могло обрушить на город и его жителей землетрясение. Дело в том, что многоэтажное строительство в столице республики, которое теперь всеми воспринимается как естественное и единственно возможное для такого крупного современного города, началось в свое время по моей инициативе, и, должен сказать, на первых порах оно было встречено многими отнюдь не с энтузиазмом.

Кишинев в год, когда я переехал туда, еще не оправился от войны — люди ютились в подобиях человеческого жилья, новых домов почти не строили. Весь транспорт — две трамвайные линии, пересекавшие город. Особенно плохо обстояло дело со снабжением электроэнергией и водой. А городские и республиканские власти не шибко поворачивались в заботах об этих первоочередных нуждах. Пришлось пойти на «волевые» меры. В одном из протоколов бюро я предложил записать: с такого-то числа прекратить подачу воды и электричества в квартиры нижеследующих товарищей. Далее шел немалый список руководителей города и республики. Была в этом списке и моя квартира на Садовой улице. Подействовало! В считанные дни было налажено бесперебойное снабжение города и водой и электроэнергией — кишиневцы вздохнули с облегчением.

Однако я понимал, что это лишь временный выход из трудного положения. Столица Молдавии нуждалась в обоснованном генеральном плане развития. Такой план, разумеется, существовал. И разработан он был не кем иным, как самим академиком А. В. Щусевым, уроженцем Кишинева. Выдающийся архитектор все прекрасно обдумал, все предусмотрел в свое время, но время-то менялось, притом очень быстро менялось.

Позвал я к себе тогдашнего заместителя Председателя Совета Министров Тимофея Ивановича Трояна — стали снова изучать этот генплан. Оказалось, в городе предусмотрено лишь двух-трехэтажное строительство. Обосновывалось это повышенной сейсмичностью зоны. И резонно: последнее сильное землетрясение было в Молдавии не далее как в 1940 году. Кишинев очень сильно пострадал тогда. И все же спрашиваю:

— А вы, Тимофей Иванович, согласны с такой постановкой вопроса?

— Нет, не согласен! Ведь город мы планируем теперь на пять-

сот тысяч населения. Сколько же места потребуется, если строить не выше трех этажей?

— Вот и я так думаю: нерентабельно и несовременно. Вдобавок и строительная техника, надо полагать, не стояла все эти годы на месте.

Собрали мы специалистов — ученых, инженеров, архитекторов, сейсмологов. Долго судили и рядили, взвешивали все сомнения, выслушивали любые возражения. Как говорится, семь раз отмерили, прежде чем отрезать. И поставили точку: будем строить многоэтажный город. Речь в то время шла лишь о пятиэтажных зданиях, а не о тех небоскребах, которые украшают нынешний Кишинев. Однако и пять этажей были тогда большим событием. Помню, первый проект такого дома мы тщательно изучали в ЦК. Снова и снова допытывались у сейсмологов: все ли предусмотрено? Так на улице Ленина вырос первый за всю историю молдавской столицы пятиэтажный дом. На него горожане ходили смотреть как на диковинку. Примерно в то же время мы открыли домик-музей академика Щусева, который сказал в свое время: «Жилище — это 30 процентов человеческого счастья».

С первого многоэтажного дома фактически началось массовое строительство в городе. Но нужно было решить еще одну проблему — из чего строить? Стройиндустрия была в Молдавии еще слаба. Однако при внимательном взгляде выяснилось: мы не умели рационально использовать даже то, чем располагали,— свои возможности, местные материалы, энергию и таланты людей. Замечу, кстати, что эта застарелая болезнь мешает нам и сейчас, и чем больше масштабы экономики, тем болезненнее сказывается она.

Как-то поехали мы с Трояном посмотреть, как добывается для строек камень. В сущности, это и был тогда весь наш строительный потенциал — старинные Криковские каменоломни, откуда брали так называемый рваный камень и ракушечник. Производительность труда была в этих пещерах низкая, а труд тяжел: ручные пилы, керосиновые лампы, примитивные рычаги. Но выход нашелся.

Оказалось, что существует изобретение здешнего инженера-железнодорожника К. П. Галанина — камнерезная машина, которой в республике почему-то не дали хода. Пришлось взять ее под опеку, встречался много раз с Константином Петровичем, ездили вместе испытывать его машину в те же пещеры. И вскоре наладили производство машин. (Теперь, замечу, машина Галанина распространилась по всему Союзу, спрос на нее велик, в Армении ее выпуском занят целый завод.) А нам машина эта — спасибо даровитому человеку! — помогла тогда поднять Кишинев в буквальном смысле слова на новую строительную высоту.

Трудностей не стало меньше, остро не хватало специалистов, строительной техники, кранов, машин. Но изменился стиль отношений и очень многое пошло по-иному. Появились другие интересные предложения, проекты, идеи, нашлись другие смелые, находчивые люди, умевшие смотреть вперед, и, разумеется, следовало их поддержать, нужна была организационно-политическая работа, требовалось вести борьбу с равнодушием, косностью...

Сегодня у нас, скажу без преувеличения, гигантская армия квалифицированных строителей, архитекторов, проектировщиков. Создана и строительная индустрия, которой может позавидовать мир. Есть все предпосылки к тому, чтобы города наши поднимались один краше другого. Да и есть у нас чем гордиться и в городах и в сельской местности, построены отличные микрорайоны в столицах республик, выросло много замечательных зданий в Ленинграде и Москве. И все же подчас вызывает досаду распространенная еще безликость — стандартные районы во многих городах страны.

Думается, что теперь, когда утолен первый жилищный голод, когда десятки миллионов семей уже справили у нас новоселье, нель-

зя строителям гнаться только за количеством квадратных метров жилплощади, забывая о качестве квартир и внешнем виде наших улиц и площадей. Иногда задают вопрос: можно ли добиться выразительности и красоты при массовой застройке? А ответ давно известен: не только можно, но и нужно! Имеются и у нас в стране примеры хорошей современной застройки в Вильнюсе, Алма-Ате, Ереване, в новом Ташкенте, в подмосковном Зеленограде, в том же Кишиневе — словом, всюду, где зодчие строили то, что задумали, а не то, что выйдет само собой. Возвращаясь к Кишиневу, скажу: опыт его застройки во многом поучителен. Город и красив и, как показало землетрясение, прочен.

У нас прекрасные традиции русской архитектуры, национального зодчества других народов нашей страны. Используются они, надо сказать, пока еще слабо. Забывают строители и доброе правило отечественных мастеров — строить на века! Меня эта проблема волнует, и, думаю, пришла пора решать ее сообща и самым основательным образом.

* * *

Вспоминая теперь годы своей работы в Молдавии, как и в Днепропетровской области, в Запорожье, на Урале, я испытываю чувство удовлетворения. Да, хочется повторить: мы делали дело, шли все годы по неизведанному пути, прокладывали путь по целине в прямом и переносном смысле слова. Так было и в Молдавии. Мне пришлось работать там не очень долго. Осенью 1952 года состоялся XIX съезд партии, и я вместе с делегацией Компартии Молдавии поехал в Москву. Съезд избрал меня членом ЦК Коммунистической партии Советского Союза и секретарем ЦК. В Кишинев я вернулся для того, чтобы попрощаться с товарищами. Обходил все комнаты нашего партийного дома на Киевской, звонил молдавским друзьям в колхозах и совхозах. Их было у меня немало. Многие пришли сказать мне напутственное слово на вокзале.

Вышло так, что приехал я в Молдавию весной, а уезжал осенью. И мне всегда тепло на душе при мысли о том, что все посеянное в те годы дало всходы, расцвело и мы собираем теперь урожай. Усилия коммунистов, всего населения республики принесли прекрасные плоды. Советская Молдавия полнокровно и счастливо живет в союзе братских республик нашей многонациональной Родины. Она достигла огромных экономических и культурных успехов, которыми по праву гордится сегодня молдавский народ, гордятся все братские народы Советского Союза.

Все это — результат ленинской национальной политики партии, социалистической системы хозяйствования, братского сотрудничества и взаимопомощи всех республик нашей страны.

Обращаюсь к дням минувшим—и передо мной встает время героического труда, глубочайших преобразований и выдающихся свершений во всем социалистическом отечестве наших народов. И одно из самых ярких, определяющих свершений — интернациональное братство советских людей. Это поистине историческая победа социализма. Интернационализм стал глубоким убеждением и нормой поведения миллионов и миллионов советских людей. Это подлинно революционный переворот в общественном сознании, значение которого трудно переоценить.

Сплотить все нации и народности смогла Коммунистическая партия, последовательно выражающая интересы рабочего класса, трудящихся всех национальностей. Такой создал нашу партию коммунистов великий В. И. Ленин. Такой она является сегодня. Такой она будет и впредь.

КОСМИЧЕСКИЙ ОКТЯБРЬ

1

Новое, послевоенное поколение советских людей вступило в жизнь в космическую эпоху. Молодежи подчас трудно даже представить себе, что еще четверть века назад не было ни спутников, ни космонавтов, ни полетов к Луне, Марсу, Венере. А были только мечты об этих полетах, мечты, которые человечество пронесло через столетия. Верно сказал поэт: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...» Именно наш народ начал отсчет космической эры.

Миллиарды людей на планете впервые прикоснулись к тайнам космоса в тот день и час, когда узнали о запуске первого искусственного спутника Земли. Для абсолютного их большинства, для жителей всех континентов и стран это было ошеломляющей неожиданностью. А наши ученые, конструкторы, рабочие, монтажники, строители своими руками готовили смелый бросок в неведомое.

4 октября 1957 года, когда взлетел над Землей первый спутник, началась новая эра в истории земной цивилизации. Произошло это всего через четыре десятилетия после победы Великого Октября. Исторически срок небольшой. Но в жизни нашего народа этот срок вместил величайшие политические, экономические, технические, культурные преобразования. Потому-то Советский Союз и стал пионером освоения космоса.

Говорю об этом не для того, чтобы лишний раз утвердить наш приоритет, хотя и это важно. Но еще важнее сказать о другом: космический Октябрь вновь показал всему миру созидательную мощь победившего социализма, силу подлинно свободного труда миллионов, творческий гений великого народа, руководимого Коммунистической партией.

Вот о чем хотелось бы в этой главе рассказать.

Вспоминается сцена из романа А. М. Горького «Жизнь Клима Самгина». У него описан горячий спор о будущем, происходивший еще до революции, в канун Октября. И вот один из героев романа — рабочий, большевик-ленинец — бросает в споре пророческие слова: «Космические вопросы эти мы будем решать после того, как разрешим социальные. И будут решать их не единицы, устрашенные сознанием одиночества своего, беззащитности своей, а миллионы умов, освобожденных от забот о добыче куска хлеба,— вот как!»

Именно так стало в действительности. Народ, который первым в истории разорвал цепи социального гнета, первым сбросил и путы земного тяготения. Это факт, это навеки записано в наш актив, этим и далекие наши потомки будут по праву гордиться.

В век космонавтики мы вступили не как наблюдатели, а как первооткрыватели. На Западе не нашли тогда иного объяснения как то, что-де успех СССР — чистая случайность. В самом деле, страна, которая всего за сорок лет до этого была отсталой, которой пришлось преодолевать разруху, голод, экономическую блокаду, тяжелейшие войны,— страна эта не только сама смогла подняться на вершину научно-технического прогресса, но и другим народам указала путь. Первой начала прокладывать трассу к звездам.

Нет, никак не назовешь это случайностью. В 1979 году исполнилось 50 лет с начала первой пятилетки. Это славная дата. Весь наш народ, вся партия отметили ее широко. Позади у нас лежат не просто годы, но годы, спрессованные в пятилетия, заполненные ге-

роическим, самоотверженным трудом. И если вспомнить все и поглубже обдумать, то прорыв в космос был логическим продолжением подвига пятилеток, индустриализации страны, достижений нашей экономики, успехов нашей науки, роста образованности, сознательности, культуры рабочего класса, всех трудящихся Советского Союза.

Народ наш любит и умеет мечтать, но мы не просто мечтатели. На земле калужской, на земле русской жил замечательный ученый Константин Эдуардович Циолковский, который с изумительной прозорливостью предсказал эру освоения космического пространства, предусмотрел даже очертания многоступенчатых ракет и рассчитал космические скорости. Развитие космонавтики идет по плану, разработанному им еще в начале нашего столетия.

Конечно, даже в самых дерзких своих фантазиях он не мог угадать, что новая эпоха в жизни человечества наступит так скоро. Но после победы Великой Октябрьской социалистической революции К. Э. Циолковский сказал: «Теперь, товарищи, я точно уверен в том, что и моя другая мечта — межпланетные путешествия,— мною теоретически обоснованная, превратится в действительность».

Первым среди его учеников и последователей мы с полным основанием называем имя великого ученого и конструктора XX века академика Сергея Павловича Королева. Он как-то рассказывал мне, что всегда мечтал о космосе и в молодости даже ездил в Калугу, беседовал с основоположником теории освоения космоса. В зрелые годы Сергей Павлович соединил эту теорию с практикой, направил в просторы Вселенной первые спутники, автоматические межпланетные станции, космические корабли.

Мне посчастливилось близко знать этого человека, часто встречаться с ним. Космические дела вошли в мою жизнь задолго до того дня, когда все узнали о них. Дело в том, что Центральный Комитет поручил мне как секретарю ЦК КПСС координацию всех работ по развитию ракетно-космической техники. Пришлось вплотную заниматься конкретными вопросами, связанными с осуществлением нашей космической программы.

Но тут, наверное, лучше будет начать с самого начала.

2

Сейчас Байконур известен всему миру. Но ранее это был затерянный в полупустыне крохотный поселок. Теперь ни у кого не вызывает сомнений, что именно отсюда должны были прокладываться первые дороги в космос, что в этой точке земного шара и следовало строить космический центр, что только так надо было действовать и решение это единственно верное. По прошествии времени всегда нам кажется, что иных вариантов и быть не могло.

На деле же, замечу, судьба у Байконура была не из легких. Еще в пору работы на целине перед нами была поставлена задача — помочь ученым в выборе подходящего места для строительства космодрома. Вопрос считался секретным, к нему причастен был только узкий круг специалистов. В 1955 году такое место было найдено — в южной части Казахстана, недалеко от Аральского моря. Мог ли я думать тогда, что в скором будущем мне предстоит заниматься всем комплексом дел, которые воплощены для нас сегодня в понятии Байконур?

Однако жизнь позволяет себе самые удивительные совпадения. Целина в те годы взяла сразу два великих исторических старта — могучий хлебный и легендарный космический. Поистине символично, что они сошлись не только во времени, но и в пространстве.

И все же решилось это не легко и не просто. Едва приняв космическо-ракетные дела под свой контроль, я должен был выступить арбитром в острой дискуссии. Суть в том, что места для будущего космодрома подбирались и в других районах страны. Самым тщательным образом они исследовались, оценивались, и в начале 50-х годов было немало споров, где разместить космодром — в казахстанском Приаралье или на Черных землях Северного Кавказа? У каждого варианта были, как говорится, свои за и против.

Специалисты хорошо понимали: быстрее, проще, дешевле было бы обосноваться на Черных землях. Здесь и железная дорога, и шоссе, и вода, и электроэнергия, весь район обжитой, да и климат не такой суровый, как в Казахстане. Так что у кавказского варианта было немало сторонников.

Много пришлось мне в то время изучить документов, проектов, справок, обсудить все это с учеными, хозяйственниками, инженерами, специалистами, которым в будущем предстояло запускать ракетную технику в космос. Постепенно обоснованное решение складывалось и у меня самого.

Центральный Комитет партии выступил за первый вариант — казахстанский. Мы исходили из того, что на Северном Кавказе прекрасные пахотные земли, отличные пастбища. И лучше пойти на дополнительные затраты, но использовать практически мертвые земли в Приаралье. Создавая одно, надо было заботиться, чтобы оно не приносило ущерб другому. Жизнь подтвердила целесообразность и правильность такого решения: земли Северного Кавказа сохранены для сельского хозяйства, а Байконур преобразил еще один район страны.

Ракетный полигон требовалось ввести в строй быстро, сроки были жесткие, а масштабы работ — огромные. После одной из очередных командировок в Байконур ко мне пришел Главком Ракетных войск Митрофан Иванович Неделин.

— Как со строительной техникой? — спрашиваю Неделина. (Начальник строительства месяц назад жаловался, что ее недостаточно, и я просил товарищей из Совета Министров помочь.)

— Сейчас дело выправляется,— ответил Митрофан Иванович,— машины идут одна за другой. Пыль стоит над степью такая, что днем солнца не видно.

Остановлюсь на одной проблеме, которая нас очень тогда волновала: в Байконуре надо было выполнить большой объем земляных работ. В первую очередь, конечно, предстояло построить стартовые комплексы. В степи вырос поселок из вагончиков и палаток. В нем пока жили первостроители Байконура.

Как-то так получается, что теперь на страницах печати больше рассказывается о конструкторах и ученых, которые трудились на космодроме в те годы. Меньше говорится о строителях. Но о них тоже стоит сказать немало добрых слов. Ведь это они продолжили подвиг строителей Магнитки, Днепрогэса, Комсомольска-на-Амуре и Турксиба. Нужно было проявить изобретательность, мастерство и волю, чтобы в короткий срок возвести невиданные сооружения. Немало волнений и забот доставило это строительство. Ведь здесь все было новым, еще доселе никогда не возводившимся. Шел огромный строительный эксперимент.

К примеру, для одного из стартовых комплексов требовалось вынуть и вывезти более миллиона кубометров земли. Работа не прекращалась ни днем, ни ночью. И вот когда до проектной отметки осталось всего около десяти метров, произошло непредвиденное: из геологической скважины, которая бурилась рядом, ударил фонтан воды. Оказалось, что котлован находится рядом с подземной рекой и в любую минуту он может быть затоплен.

Об этом доложили мне. Решение надо было принимать немедля. Возникло несколько предложений. Земляные работы можно было продолжить с помощью водопонижающих установок. Однако этот вариант задерживал строительство комплекса на год — только к этому времени промышленность могла изготовить иглофильтры. Было предложено перенести старт на другое место. Но на это тоже нельзя было идти, так как ракета и сооружения должны быть готовы одновременно. А может быть, главный конструктор стартового комплекса разрешит уменьшить глубину сооружения? Он ответил строителям:

— Впереди у вас будет еще много таких заданий, поэтому строительные проблемы не старайтесь перекладывать на конструкторов техники, у них своих забот по горло. Я не могу согласиться на ваше предложение, так как мне нужно сто процентов гарантии успеха. Глубина сооружения не может быть меньше длины свободного пробега газовой струи работающей ракеты. Это на сегодня закон. У нас все готово, мы ждем ваш стартовый комплекс.

Я поддержал этого человека. Главный конструктор, будущий академик, был, безусловно, прав. Следовало искать иной выход. Работы на стройке временно прекратились.

Начальником строительства Байконура был генерал Г. М. Шубников. Его имя хорошо известно в нашей армии. Он создавал мощные оборонительные сооружения на различных фронтах Великой Отечественной войны, под огнем врага возводил переправы через Днепр и Вислу, после победы строил мемориальный комплекс в Берлине — Трептов-парк.

К Георгию Максимовичу Шубникову с фантастической идеей пришел один из прорабов. Для возведения котлована он предложил использовать мощный взрыв.

Шубников загорелся идеей, познакомил с нею и меня.

— Почему же не использовать этот последний шанс,— сказал он,— я за. Если взрыв отожмет воду так, что она возвратится лишь через несколько недель, то мы успеем забетонировать фундаментную плиту, построим насосные станции, заложим дренаж, а потом нам любые подземные реки не страшны.

Я сказал:

— Действуйте, работайте спокойно, но рассчитайте все еще раз.

Шубников долго не давал знать, что происходит на котловане. Хотя молчание создавало проблему: ходом строительства интересовались на всех уровнях. Признаюсь, я волновался за исход этого смелого строительного проекта, но старался волнения не выдавать. Даже не звонил на Байконур. Ждал и не торопил Шубникова и его людей. Знал, что в этом опасном деле надо все тщательно обдумать и предусмотреть.

И вот через некоторое время на строительстве раздался мощный взрыв, такой, что в домиках поселка, находившегося в нескольких километрах, повылетели стекла. «Наконец-то Шубников заговорил!»— шутили тогда многие. Дело было сделано. Ну а как же подземная река, которая тогда причинила нам немало хлопот? Она до сих пор течет у стартовой площадки, но теперь она уже не страшна. Дело сделано. Расчет оправдался.

С именем Шубникова, многих других товарищей, прошедших огненными дорогами войны и гордых своей профессией строителя, связано возведение стартового комплекса Байконура, с которого начался путь во Вселенную. В короткие сроки был построен старт для первой советской межконтинентальной ракеты — уникальное инженерное сооружение, поражающее воображение и сегодня. На многих предприятиях страны — в Москве и Ленинграде, Свердловске и Киеве, Горьком и Красноярске (да разве возможно перечислить все замечательные заводы, где рождались конструкции стартового комп-

лекса Байконура) — тысячи рабочих, техников, инженеров воплощали в металл, как принято иногда говорить, идеи ученых. К 1 мая 1957 года строители доложили о готовности сооружений. Одновременно были изготовлены первые экземпляры наших ракет.

Задание партии, Родины выполнено! Но теперь, как часто любил повторять Сергей Павлович Королев, надо было «научить ракету летать». Всем приходилось трудно. Мне тоже приходилось часто выезжать на заводы в конструкторские бюро, встречаться с десятками людей. Итог этой работы, естественно, принес всем нам огромное удовлетворение. Первый же испытательный пуск ракеты показал: вера в талант ученых и конструкторов, в мастерство рабочих и инженеров, четкая и глубоко продуманная организация труда, координирование усилий многих ведомств, организаций, заводов оправдали себя.

И теперь тот самый первый ракетный комплекс провожает в космическое пространство спутники и корабли. С него стартовали «Востоки» и «Восходы», начинают по-прежнему свой путь корабли «Союз».

Улицы Байконура носят имена пионеров космонавтики, в том числе и выдающегося строителя Георгия Максимовича Шубникова. И еще добавлю: улицы Байконура — это своеобразная история возводивших его людей.

Но если на стартовых комплексах работали главным образом мужчины, то основная тяжесть трудов по благоустройству города легла на плечи женщин. Хотелось бы сказать о них особо.

В Байконуре жены офицеров объявили беспощадную войну пескам и пыльным бурям. Город строили в полупустыне. И хотя вокруг практически ничего не росло, среди вагончиков и временных домиков начали вдруг появляться цветочные клумбы и первые деревца. Разве что за детьми ухаживали так же заботливо, как за этими первыми саженцами. И на мертвой земле через несколько лет появились парки и зеленые насаждения, удивляющие теперь гостей Байконура.

В разные времена года мне приходилось бывать на космодроме. Весна и осень — лучшая здесь пора. В октябре созревают знаменитые дыни с бахчи, что находится неподалеку от стартовых позиций, они наливаются, как здесь шутят, «космическим соком» — вкусны необыкновенно. Так что жители Байконура могут ими гордиться.

Есть в Байконуре музей. К сожалению, не всегда успеваем мы думать о том, какие именно экспонаты надо оставлять потомкам в память о нашем времени. Бывает, что уже не найти сегодня многих самолетов, составлявших гордость страны в предвоенные годы, первых наших автомобилей, тракторов и т. д. Спустя десятилетия иногда по крохам приходится собирать документы и материалы, рассказывающие о том или ином событии в истории народа. Вот по этой причине труд работников музея в Байконуре и их добровольных помощников заслуживает самой высокой оценки. Уже сегодня то, что собрано и сохранено ими, дает довольно полное представление о создании космодрома и города, о том, как рождалась космическая история страны.

3

Новое дело всегда растит новых людей. Космическая программа выявила много даровитых, ярких работников во всех областях науки и техники, в проектировании и производстве. Над ее осуществлением самоотверженно трудились и трудятся в наши дни многие тысячи советских людей — ученые, конструкторы, инженеры, техники, рабочие самых различных профессий. Есть среди них необычайно интересные люди.

Не так давно я познакомился с воспоминаниями ведущего конструктора первого корабля «Восток». 22 июня 1941 года ранним воскресным утром он принял бой на пограничной заставе и до последнего дня войны был в действующей армии. После победы стал инженером, а в начале 50-х годов пришел работать в конструкторское бюро С. П. Королева. И вот что написано у него о том времени, когда мы начинали осваивать новое и сложное дело:

«Наши характеры выковывал фронт. В промышленность, и в нашу область, пришли фронтовики. Они не считались ни со временем, ни с любыми трудностями... Уверенность в своих силах помогала и объединяла людей. Нравственный климат в коллективе был особый... Это сплавляло людей... Космос стал символом могущества страны, ее взлетом, гордостью, счастьем».

Очень верно сказал конструктор. Эти люди прекрасно понимали ответственность перед Родиной и ее будущим. Всем им надо было вникнуть во множество проблем, связанных с развитием новой области знаний, а новым было все, от производства ракет до оснащения космонавтов и их подготовки к полетам.

Естественно, и мне в кратчайшие сроки надо было вникнуть в детали этого сложнейшего дела. Познакомился близко с учеными, конструкторами, технологами, со многими, кто непосредственно связан был с производством ракет и будущих космических кораблей.

Особо признателен Дмитрию Федоровичу Устинову, который помог освоиться со многими специфическими вопросами этих новейших отраслей. Д. Ф. Устинов еще в годы войны был наркомом и успешно занимался оснащением нашей армии военной техникой. Сразу после победы он принял самое активное и непосредственное участие в создании ракет. Дмитрий Федорович хороший инженер, практик, с глубокими знаниями, большими организаторскими способностями. В те годы о выходных днях, как и все мы, он понятия не имел. Воскресенье заставало его обычно в самолете: он летел на испытательный полигон или на строительство ракетного комплекса, чтобы не только самому убедиться, как обстоят дела, но и выяснить, чем надо помогать в первую очередь. Работать с Дмитрием Федоровичем всегда было приятно и интересно.

Для создания спутников и ракет потребовалось решить много сложнейших задач в области конструирования, технологии и организации производства новых материалов, а также самых совершенных и точных приборов, разнообразного наземного оборудования. Многие технологические процессы существовали лишь на бумаге, в лучшем случае были опробованы только в лабораторных условиях. И приходилось одновременно со строительством новых цехов и заводов параллельно создавать необычайно сложные технологические процессы и конструкции. Но, как уже не раз бывало в нашей стране, находились ученые, конструкторы, инженеры, рабочие, способные преодолеть все, что стояло у них на пути к цели.

Помню, в 1956 году я приехал в конструкторское бюро Сергея Павловича Королева. Хотел поближе познакомиться с конструкцией машин, которые должны были вскоре явиться на свет. Пока же будущая легендарная «Семерка» (ракетоноситель С. П. Королева) существовала лишь в проектах. В так называемом голубом зале на стенах были развешаны схемы, плакаты. Сергей Павлович подробно рассказал о ходе работ над носителем и тяжелым спутником, о сложностях, которые предстоит преодолеть,— речь шла и о двигателях, и о системе управления, и обо всем стартовом комплексе.

— По нашим расчетам,— сказал Королев,— летные испытания носителя мы сможем начать в июле — августе пятьдесят седьмого года.

Характерная черта этого человека: он никогда не сглаживал острых углов, не таил трудностей. Но его целеустремленность, воля, убежденность не могли не восхищать. Среди специалистов тогда вы-

сказывались опасения, что «Семерка» может и не взлететь, очень уж непривычны были и сама конструкция и весь стартовый комплекс. Сергей Павлович подтвердил, что некоторые технические проблемы, «загвоздочки», как он любил говорить, решены еще не до конца.

— Но ими занимаются очень светлые головы,— неожиданно улыбнулся Королев и назвал имена многих своих соратников, которых позже и мне довелось хорошо узнать.— Я уверен, что они найдут верные решения.

Разговор у нас вышел откровенный, прямой. Сергей Павлович не скрыл, что нередко еще приходится ему преодолевать скептицизм некоторых ученых, выражающих сомнение в правильности избранного им, Королевым, пути.

— Однако споры бывают полезны,— возразил я.

— Да,— кивнул он,— когда споры деловые.

Человек был очень непростой. (Замечу к слову, что в некоторых описаниях представлен он, как и другие покорители космоса, весьма торжественно, характеры их упрощены, а трудности, которые пришлось им преодолевать, сглажены.) Сергей Павлович Королев отличался твердым характером, бывал, когда нужно, требовательным, даже жестким, был порою упрям, но одновременно и достаточно гибок. Он умел не только убеждать в своей правоте, но и внимательно прислушиваться к оппонентам.

Работы по изготовлению «Семерки» шли полным ходом. И в ЦК партии и в Совете Министров внимательно следили за ее созданием. Однажды Дмитрий Федорович Устинов сообщил, что все приготовлено для стендовых испытаний двигателей носителя, и пригласил посмотреть на них.

Космическая программа потребовала гигантской работы на земле — многочисленных проверок каждого узла и деталей ракетоносителя. Для этого были разработаны уникальные сооружения, такие, как испытательный стенд для двигателей. Его размеры огромны. Многоэтажная металлическая конструкция нависала над оврагом. На ней и был укреплен блок ракеты с двигательной установкой.

Вместе с Дмитрием Федоровичем Устиновым и Сергеем Павловичем Королевым мы прошли в бункер управления. Здесь было человек десять — двенадцать испытателей. Королев отдал распоряжение о начале работ.

Послышались команды:

— Готовность!.. Протяжка!.. Ключ на дренаж!

Волнение охватило всех. Были среди нас люди более спокойные и менее спокойные, но равнодушных, уверен, не было. Вдруг слышу шепот:

— Подвиньтесь, пожалуйста, дайте и мне посмотреть.

На испытателя сразу же зашикали. Я обернулся: один из механиков пытался пробиться поближе к смотровому окну. Понял его: долгие месяцы человек ждал этого дня, готовил его, ночей, может быть, не спал, а пришел момент — и даже не увидит толком.

— Пробирайтесь сюда,— пригласил я его,— будем смотреть вместе.

Новая команда:

— Зажигание!

Раздался мощный грохот, словно десяток орудий выстрелил одновременно. Стенд и ракетный блок окутались подсвеченным изнутри дымом. И тотчас мы увидели громадную струю пламени, походившую на рокочущий огненный водопад... Удивительное зрелище — работа ракетных двигателей! Четыре боковых блока затихли, но центральный ствол по-прежнему извергал пламя. Сто с лишним секунд продолжался огненный гром. И потом сразу вдруг наступила поразительная тишина. Как отрезало. В бункере все улыбались: испытание прошло успешно. Конструкторы, инженеры, механики об-

нимали друг друга и тут же начали обсуждать результаты первой проверки.

— Теперь она обязательно полетит,— сказал Королев.

Все горячо поздравили Главного конструктора, который, конечно же, больше всех был взволнован в эти минуты, хотя внешне держался очень спокойно.

— Будем ждать этого полета,— сказал я, поздравляя С. П. Королева.

Создатели ракетной техники оправдали надежды, которые возлагала на них партия. Благодаря их самоотверженности, мужеству и героическому труду в августе 1957 года состоялся пуск первой советской межконтинентальной баллистической ракеты. Стартовав с Байконура, ракета точно легла на курс, и ее головная часть достигла расчетного района. Это была выдающаяся победа отечественной науки и техники. Мы стояли на пороге удивительных свершений. Открывалась в жизни человечества новая эпоха — космическая. А началась она довольно необычно. Однажды, приехав ко мне, Сергей Павлович сказал:

— Предлагаю на следующем экземпляре ракеты установить ПС — простейший спутник. Зачем нам возить балласт? Пусть над земным шаром полетает хотя бы модель космического корабля, с помощью которой можно будет получить первые научные данные об ионосфере Земли и проверить наземную систему наблюдения.

Мне было известно, что в конструкторском бюро Королева уже создавался такой спутник. После обсуждения было признано, что установка на ракете даже небольшого ПС принесет новые, ценнейшие сведения, которые будут полезны в дальнейших работах. И спутник было решено установить на ракете во время ближайшего пуска «Семерки».

Здесь уместно сказать еще об одной черте академика Королева. О нем уже немало написано, по достоинству оценен его вклад в науку и технику. Сергей Павлович был замечательным ученым и инженером — эти стороны его деятельности широко известны. Однако был он, на мой взгляд, и незаурядным политиком. Одним из первых этот человек предугадал и по достоинству оценил то огромное влияние, которое окажут космические исследования на обстановку в мире. Он понимал, что на примере достижений космонавтики можно убедительно показать, как далеко по пути прогресса шагнула первая страна социализма.

Еще в далекие 30-е годы С. П. Королев, глубоко сознавая взаимосвязь науки и политики, правильно определил воздействие научно-технической революции на социальные преобразования общества. Его научный труд, вышедший в 1934 году, «Ракетный полет в стратосфере» заканчивается такими словами: «Мы уверены, что в самом недалеком будущем ракетное летание широко разовьется и займет подобающее место в системе социалистической техники. Ярким примером тому может служить авиация, достигшая в СССР такого широкого размаха и успехов. Ракетное летание, несомненно, может претендовать в своей области применения вряд ли на меньшее, что со временем должно стать привычным и заслуженным».

Соединение идейности, преданности социалистической отчизне с глубокими специальными знаниями и талантом сделало коммуниста С. П. Королева выдающимся ученым, который чутко понимал нужды и возможности страны и, реально оценивая обстановку, искал и находил наиболее эффективные решения. Таким его воспитала партия.

4

4 октября 1957 года мир был взбудоражен и потрясен. Слово «спутник» сразу стало интернациональным. Академик А. А. Благо-

нравов, один из пионеров отечественного ракетостроения, находившийся в те дни в США, рассказывал мне как-то при встрече:

— Меня ученые буквально засыпали вопросами: как это СССР опередил США? Значит, межконтинентальная баллистическая ракета у вас не блеф? Не вкралась ли опечатка в цифру веса вашего спутника — восемьдесят три килограмма, ведь наш-то первенец будет весить лишь несколько фунтов?

Но первый спутник был только началом. Успешно произведенный запуск 4 октября, естественно, стимулировал наши работы в этом направлении. Я пригласил Сергея Павловича Королева в ЦК. Тепло поздравив его с успехом, спросил:

— Возможно ли в ближайшее время запустить новый спутник?

— Мы думали об этом,— ответил он.— Месяца за полтора-два можно подготовить очередной запуск.

— Что ж, Сергей Павлович, это был бы для всего народа хороший подарок. Но учтите: повторение пройденного нам не нужно. Очень важно, чтобы новый спутник качественно отличался от первого.

— Разумеется,— сказал он.— У нас намечен эксперимент с животным. Это будет большой шаг вперед.

С Королевым всегда было легко говорить и работать, хорошо понимать друг друга. Конечно, такой запуск позволил бы впервые оценить, как ведет себя живой организм в космическом пространстве, какое воздействие окажет на него состояние невесомости. Это очень важно, сказал Сергей Павлович, для полета первого человека в космос.

А вечером следующего дня он позвонил мне и сказал, что все его сотрудники вернулись из отпуска до срока.

— Уже приступили к работе,— по обыкновению лаконично добавил Сергей Павлович.

В первых числах ноября на орбиту был выведен спутник с собакой по кличке Лайка. Летал он успешно. На Землю поступали бесценные сведения о том, как ведет себя в космосе это первое живое существо. Это был хороший подарок конструкторов, ученых, рабочих к 40-й годовщине Октября.

Потом были новые старты. И в каждом полете наш Главный конструктор решал какую-нибудь принципиально новую космическую задачу. Скоро советские научные станции достигли Луны, сделали и передали на Землю фотографии ее обратной стороны. Дело день ото дня разрасталось. Речь шла уже о создании специализированных предприятий, на которых ученые и конструкторы начнут заниматься и межпланетными автоматами, и пилотируемыми орбитальными станциями, и спутниками. Но сердцем огромного дела попрежнему оставалось конструкторское бюро С. П. Королева. Научные и технические идеи этого человека всегда были интересны, хорошо обоснованы, тщательно продуманы и, можно сказать, выстраданы. Они привлекали сочетанием самой безудержной смелости с самой строгой реальностью.

Жизнь Сергея Павловича Королева — ярчайший пример того, насколько Великий Октябрь преобразил не только судьбы мира, но и судьбу каждого человека. Будучи еще молодым рабочим, он мечтал об авиации и добился своего — начал создавать планеры, сам испытывал их. Став конструктором, он познакомился с трудами К. Э. Циолковского, увлекся ракетной техникой... Казалось бы, фантастикой занимались такие инженеры, как Королев. Ведь только начинались 30-е годы. Но партия и правительство поддерживают энтузиастов, и организуется знаменитый ГИРД (Группа изучения реактивного движения) — прародитель будущих мощных конструкторских бюро и заводов, создающих ракетную и космическую технику.

Попутно замечу: немало у нас и теперь изобретателей. Многие

миллионы рублей экономии дают они ежегодно стране, успешно решают сложнейшие проблемы научно-технического прогресса. Однако, чего греха таить, есть люди, которые скептически относятся к этой работе: сейчас, мол, не время для фантазий. Как ошибаются они! Ведь и тогда говорили, что от затеи гирдовцев вряд ли будет хоть какой-то эффект в ближайшее время, но в помощи изобретателям не отказывали. И когда пришли грозные годы войны, именно они дали нашей армии легендарные «катюши». А вскоре после войны помогли становлению реактивной авиации, создали ракетную технику. Разве смогли бы мы выйти в космос, если бы еще в 30-е годы такие «фантазеры» и «мечтатели», как Королев, не начали упорно работать?

Одни считали его ученым, другие — конструктором, третьи — организатором науки, вольно или невольно противопоставляя эти понятия. Думается, наука и техника XX века настолько тесно слились воедино, что не всегда можно провести грань: вот здесь кончаются фундаментальные исследования, а здесь начинаются прикладные. Масштаб личности Королева тем и велик, что он соединил в себе выдающегося ученого, прекрасного конструктора и талантливого организатора. Именно такой человек необходим был новому огромному делу — человек, всю свою жизнь без остатка посвятивший единой цели. Наверное, иначе и нельзя в век, когда наука становится непосредственной производительной силой, когда роль ее в жизни общества необычайно возросла.

Наш Главный конструктор любил помечтать о будущем. Бывало, выпадет свободная минута, и он начинает говорить о кораблях, которые уйдут в полет «пятилетки через две-три», о больших орбитальных станциях, о необычных профессиях космонавтов — скажем, астроном, сварщик. А ведь запущены были только первые спутники и сравнительно простые космические автоматы... Время показало, что и тут «фантазии» Королева опирались не только на интуицию ученого, но и на точный инженерный расчет. Не случайно до сих пор приходится слышать: идея Сергея Павловича осуществилась! Его соратники часто подчеркивают, что и в современных космических аппаратах очень много королевского...

Написал я это слово — и подумал о том, что сколь бы ни была совершенна новая техника, а рано или поздно и ей суждено устареть. Остается другое — принципы, методы работы, влияние человека на его современников. Сергей Павлович стал Учителем с большой буквы для тысяч ученых и конструкторов, он воспитал многих учеников, которые в свою очередь передадут свой опыт и знания новым поколениям. И никогда не забудется, что родоначальником этой цепочки был академик Королев.

Работать, как он,— значит мужественно, целеустремленно идти вперед, дерзать, мечтать и бороться за свою мечту. Каждую минуту, каждый час, каждый день — и так всю жизнь!

Однако не следует думать, что Сергей Павлович приходил ко мне в ЦК всегда только с новыми планами, деловым, озабоченным. Это был очень жизнелюбивый человек, с большим чувством юмора. Случалось иногда так: зайдя по делу, он вдруг откладывал в сторону бумаги и рассказывал какой-нибудь случай, происшедший в конструкторском бюро или на космодроме. Рассказывал увлеченно, с юмором. Иногда пересказывал шутливую историю, выдуманную его сотрудниками о нем самом. Королев был строг, требователен и к себе и к своим товарищам, но держался всегда просто. Это очень помогало в работе. Бывает ведь и по-другому. Зайдет человек, чувствуешь: скован, немедля со всем соглашается. Королев же в любой обстановке умел отстоять свою точку зрения. Мог, однако, и мягко отшутиться, проявить находчивость в разговоре.

Вспоминаю один проведенный с ним предновогодний вечер. Мы

засиделись допоздна — надо было обсудить немало сложных вопросов. Уже прощаясь, Сергей Павлович рассказал мне о сотне бутылок французского шампанского, которые неожиданно получило их конструкторское бюро. Оказалось, какой-то винодел в Париже поспорил со своими приятелями, что люди никогда не смогут увидеть «затылок» Луны. Прошло всего несколько месяцев, и наша станция успешно завершила облет Луны, сфотографировала этот самый «затылок». Вскоре вышел и первый «Атлас обратной стороны Луны». Француз сдержал свое слово и прислал в адрес Академии наук СССР сто бутылок шампанского.

5

Космическая эра вызвала к жизни множество не существовавших прежде представлений и понятий, породила новые области знания, новые профессии. И одна из них — героическая и увлекательная профессия космонавта. Она требует от человека широкой культуры, высокой технической грамотности, постоянной готовности к подвигу.

Подготовка к выходу первого землянина в космическое пространство велась весьма тщательно. Было заранее и твердо решено: полет человека в космос состоится только после двух успешных запусков кораблей-спутников, на борту которых должны находиться в одном случае животные, в другом — манекен.

Однажды Сергей Павлович сообщил мне, что познакомился с будущими космонавтами.

— Каково впечатление? — поинтересовался я.

— Прекрасные ребята,— ответил Королев.— Ну а один особенно понравился. Гагарин — фамилия парня...

Королев и Гагарин! Два этих человека стали символами космической эпохи, символами героизма советского народа, его исторических достижений. Первый из них был выпускником строительной школы 20-х годов, второй — ремесленником тяжелой послевоенной поры. Страна, где люди, начинавшие свою трудовую жизнь с подручного кровельщика и ученика литейщика, прокладывают человечеству путь к звездам,— замечательная страна!

В судьбах Королева и Гагарина весь мир и мы сами особенно наглядно увидели, какой простор, какие возможности открывает социализм перед человеком труда, перед нашей молодежью. Два этих человека стали широко известными на земле. Для многих они являются олицетворением нашего народа. Так оно и есть.

В начале 1961 года историческое вторжение человека в космос еще только готовилось.

Королев, подошедший к звездному часу своей жизни, торопился. Любые его просьбы выполнялись незамедлительно, но Главный конструктор буквально сутками не выходил из своего КБ. На одном из совещаний — оно затянулось — я заметил, что Сергей Павлович побледнел, лицо осунулось. Попросил его задержаться после совещания. Однако он извинился:

— Не могу, уже начались комплексные испытания корабля, меня ждут на предприятии. Нельзя ли разговор отложить на завтра?

— А когда испытания закончатся?

— Вечером. Часов в десять—одиннадцать, если все пройдет гладко.

В этот день я тоже задержался на работе. Вышел из здания ЦК уже поздним вечером.

— Поедем к Королеву,— сказал шоферу.

Сергея Павловича нашел в сборочном цехе. Он сидел в стороне на обычном табурете и пристально смотрел вверх, где мостовой кран бережно нес деталь носителя. Говорят, он часто вот так садился и

молча смотрел, как идет сборка. Здесь, в цехе, ему лучше думалось — кабинетов он не любил, говорил: «Там много звонят телефоны».

В свете прожекторов и ламп сборочный цех выглядел необычно. Космический корабль и ракета поражали своими размерами, какими-то фантастическими силуэтами.

Королев оживился, увидев нас.

— Красиво? — спросил он.

— Очень.

— А у меня такое ощущение, будто не наших рук это дело. Прихожу сюда и всегда удивляюсь... Чаю не хотите? Там и потолкуем.

В этот вечер Королев доложил, что завершены испытания двух кораблей-спутников.

— И уже приступили к сборке первого «Востока»,— добавил он.

Помолчали. Каждый из нас понимал, что это такое — первый «Восток».

Хотелось еще раз спросить, все ли предусмотрено для безопасности человека, есть ли полная уверенность, что он благополучно вернется из космоса на Землю, но я удержал себя от этого. Знал, что и без того Главный конструктор сотни раз проверял и перепроверял себя. Да и много уже было об этом говорено. И мы только посмотрели друг другу глаза в глаза.

— Жалуются на вас, Сергей Павлович: совсем не отдыхаете,— сказал я.

— Преувеличивают,— улыбнулся Королев.— В выходные сплю целый день.

Поразительный был человек! Многое в наших космических начинаниях зависело от него.

...Наконец настало утро, которого все мы с нетерпением ждали: подготовка к пуску и сам старт ракеты с человеком в корабле. С большим волнением слушали слова Юрия Гагарина перед стартом.

— Через несколько минут,— говорил он,— могучий космический корабль унесет меня в просторы Вселенной... Вряд ли стоит говорить о тех чувствах, которые я испытал, когда мне предложили совершить этот первый в истории полет. Радость? Нет, это была не только радость. Гордость? Нет, это была не только гордость. Я испытал большое счастье. Быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой — можно ли мечтать о большем?

Проникновенные слова! Перечитываешь их сегодня, и перед глазами встает образ обаятельного, сильного и смелого человека, каким можно было гордиться и матери, его взрастившей, и всей стране, ибо это был один из лучших ее сынов. Он был первым землянином в космосе. Вспомните, какое задорное, неуставное, никакими командами не предусмотренное, чисто русское слово нашел Гагарин в самый напряженный и, чего таить, опасный момент, когда дрогнула под напором огня гигантская ракета,— «поехали!».

Был он улыбчивый, ладный, держался удивительно спокойно, причем ощущалось, что для этого ему не надо делать никаких усилий. Он и в жизни был мужественный и простой — в этом суть его характера. Когда мы встретились, побеседовали, меня привлекли в нем природный ум, наблюдательность, чувство юмора и неизменная скромность, которую сохранил он и после того, как обрушилась на него поистине всесветная слава. Сознаюсь, я питал к Гагарину теплое отцовское чувство.

После первых путешествий в другие страны, где этот совсем еще молодой человек с огромным достоинством представлял весь наш народ, он рассказывал, какую «догадливость» проявили некоторые зарубежные журналисты. «Гагарин? — допытывались они.— Ясно, почему именно вам был поручен первый полет. Фамилия в России знатная. Вы, наверное, потомок княжеского рода...» Он весело смеялся в ответ — внук смоленских крестьян, сын колхозника, изгнанный фа-

шистами из родной избы, ставший после победы рабочим, затем летчиком и наконец космонавтом. Вновь пришлось убедиться западному миру, что не родовитость, не богатство, а отвага и труд славят в стране социализма человеческие имена.

12 апреля 1961 года многое мы вспомнили и пережили, вглядываясь в лицо героя, вчера еще для большинства незнакомое. Прошлое страны вспомнилось, напряжение пятилеток, смертельная схватка с врагом, разруха после войны, годы возрождения. И вот теперь этот полет — воплощение нашей мечты, нашего несокрушимого духа, нашей веры, веры коммунистов в избранный путь. И все сошлось в тот день в одном человеке, в одном имени. Верно выразил общие чувства Константин Симонов:

Рассвет. Еще не знаем ничего,
Обычные «Последние известия»...
А он уже летит через созвездия.
Земля проснется с именем его.

Будучи Председателем Президиума Верховного Совета СССР, я вручал Юрию Алексеевичу Гагарину орден Ленина и Золотую Звезду Героя. Это были волнующие, незабываемые минуты. Радовался вдвойне: ведь и я многие годы жизни отдал большому и трудному делу, которым теперь гордился весь советский народ.

Родина высоко оценила подвиг героя-космонавта Гагарина. За успехи в развитии нашей ракетной техники, советской космонавтики были, кроме того, награждены второй золотой медалью «Серп и Молот» семь видных ученых и конструкторов, было присвоено звание Героя Социалистического Труда многим ведущим конструкторам, руководящим работникам, ученым и рабочим. Высокой награды Родины — звания Героя Социалистического Труда — был удостоен и я за мой скромный вклад в общее дело.

Вслед за историческим апрельским стартом с космодрома Байконур стали приходить новые победные вести. Отправился в первый суточный полет Герман Титов — сын сельского интеллигента, внук сибирских коммунаров... В космосе побывала первая женщина Валентина Терешкова — ярославская текстильщица, нашедшая время и для работы, и для учебы, и для парашютного спорта. И как жаль, что не дожил до этого дня ее отец, павший смертью храбрых на войне... Новые герои уходили в полет, и всякий раз выяснялось, что их биографии типичны для нашего общества. Это были дети рабочих, колхозников, учителей, врачей, солдат Великой Отечественной. И это были люди, своим трудом и талантом добившиеся тех высот, на которые в буквальном и переносном смысле подняла их великая страна.

Советские космонавты вели все более глубокую разведку околоземного пространства, по-хозяйски обживали космос. Летописью этих побед наша страна, наш народ всегда будут гордиться. Первый спутник, прорыв человека в космос, первое длительное пребывание в нем, групповые полеты, выход человека за борт корабля — все это впервые было проделано советскими людьми. Наши ученые, конструкторы, инженеры, рабочие успешно решали принципиальные задачи в космонавтике, без чего ее развитие было бы невозможным. В каждом полете проводились ответственные эксперименты, проверялось и успешно выдерживало испытания большое количество важных научных и технических решений.

Ко всему человек привыкает. Сейчас уже мало кого удивишь очередным космическим стартом. Почти обычными стали пилотируемые корабли, работают в космосе орбитальные станции, сложнейшие по конструкции аппараты достигают планет Солнечной системы. Кос-

монавтика и внеземные исследования стали одной из примет нашего времени.

Прекрасно, что достижения науки так быстро вошли у нас в обычай, это свидетельствует о прочности завоеваний, но, добавлю, не следует забывать, что по-прежнему они добываются огромными усилиями коллективов людей, их неустанным трудом и беззаветным героизмом.

Недавно после одного из космических полетов зашел у меня в кабинете такой разговор.

— А следует ли награждать космонавтов второй Звездой Героя, если им уже ранее было присвоено звание Героя Советского Союза за достижения в космосе? — сказал один из работников.— Может быть, иметь специальный орден и вручать его за последующие полеты? Есть люди, которые считают, что мы слишком часто награждаем космонавтов.

Не мог я полностью согласиться с этим мнением. Подвиг всегда остается подвигом, и если человек проявляет героизм вновь, то нельзя этого не замечать и не отмечать. Конечно, придет время — оно не за горами,— когда профессия космонавта станет такой же привычной, как профессия моряка, шофера, летчика. Возможно, придется учредить и особый орден за освоение космоса для тех, кто побывал там не раз и не два. Но сегодня, по моему убеждению, наши разведчики космоса получают свои награды заслуженно. Не было ведь еще двух одинаковых полетов, каждый из них — новый шаг в неведомое, и героизм людей, которые сознательно идут на это, не может не восхищать.

Сто восемь минут продолжался полет Юрия Гагарина, и это был подвиг, который потряс мир. Но разве не поражают сто семьдесят пять суток, которые провели в космосе Владимир Ляхов и Валерий Рюмин? На заре космической эры трудно было и мечтать о таком стремительном развитии космонавтики.

Жить долго в космосе, в столь необычных условиях,— это подвиг. Идти в полет, сознавая, что каждое мгновение корабль может встретиться с любыми случайностями,— подвиг. Ведь это Вселенная, о которой мы еще не так много знаем. Работать в космосе, причем с такой отдачей, с какой работают нынешние космонавты,— подвиг втройне. Чем только не приходится им заниматься! «Фантазии» академика Королева сбылись: и металлургами были они, и астрономами, и кинооператорами, и геофизиками, и геологами — показали себя отличными специалистами во многих областях науки, техники, народного хозяйства.

Такая уж профессия у космонавтов — их труд служит прогрессу человечества в самых различных сферах.

Размышляя о жизни Юрия Гагарина и его друзей, невольно думаешь о том, сколько всего дорогого для нас сошлось в облике этих молодых людей, сколько всего важного вобрали их дерзкие по замыслу и блистательные по исполнению полеты. Не случайно они стали вдохновляющим примером для миллионов юношей и девушек. Можно сказать, что космонавты олицетворяют лучшие черты советской молодежи второй половины XX столетия.

6

Хотелось бы в связи с этим обратиться с коротким словом к нашей молодежи, которую мы любим, которой полностью доверяем, на которую возлагаем самые светлые свои надежды, в которой видим будущее страны.

Мне уже приходилось говорить о воспитании подрастающего поколения — на съездах Ленинского комсомола, на учительском съезде, на многих встречах с молодежью. Тема эта, однако, всегда ос-

тается актуальной, она жизненно важна для нас, и потому нелишне будет здесь кое-что повторить.

Время диктует людям свои законы. Младшие наследуют старшим. Так бывает в семье, так происходит и в обществе. Смена поколений — это не одномоментный, а продолжительный и сложный процесс, включающий многое. Сперва это забота о юных, мудрые советы, наставничество, помощь в учебе и труде. Затем — совместная работа людей разного возраста, работа рука об руку, плечом к плечу. И наконец, для каждого поколения приходит время, когда оно выдвигается на ключевые позиции, принимает на свои плечи основную тяжесть, берет на себя ответственность и за благополучие старших, и за счастье детей, в которых опять же видит будущее страны.

Прекрасный, гармоничный, вечный процесс... Молодым трудно представить себя зрелыми людьми — обратное вполне возможно. Каждый, у кого за спиной большая жизнь, по себе знает, что юности присущи повышенная впечатлительность, готовность к подвигу, романтическая тяга к новому. Свойственны и молодое самолюбие, некоторая ершистость, желание проявить себя в жизни, добиться поскорей самостоятельности. Это все естественные стремления, и следует их тактично поддерживать и направлять на большие, добрые, полезные обществу дела.

Каждое новое поколение решает свои исторические задачи, ищет и находит для этого свои пути, свои методы, свой стиль работы и жизни. К этому тоже следует подходить с пониманием. Вспоминая свою комсомольскую юность, я понимаю теперь, что моим отцу и матери тоже могло не все нравиться в наших шумных собраниях, в самом быте комсомолии. Да и песни мы пели новые, для пожилых людей иногда и непривычные. Но с истинно народной мудростью они умели, минуя частности, видеть суть. А заключалась она в том, что я, как и все мои тогдашние друзья, считал родной для себя рабочую среду, любил свой завод, с глубоким сыновним почтением относился всегда к матери и отцу. Отношение молодежи к предшествующим поколениям, к тому, что завоевано ими, к их революционным традициям — это и есть главное.

Деды сражались на баррикадах с самодержавием, воевали на полях гражданской войны, создавали и укрепляли власть Советов. Сыновья закладывали фундамент социалистической индустрии, проводили коллективизацию в деревне, защищали страну от гитлеровских захватчиков. Внукам выпало штурмовать космос и поднимать целину, овладевать энергией атома, добывать нефть в Западной Сибири, прокладывать трассу Байкало-Амурской магистрали... На долю каждого поколения выпадали свои испытания, свои подвиги, свои замечательные победы. И молодежь не копировала предшественников, что, в сущности говоря, и невозможно, а перенимала их революционную страстность и коммунистическую убежденность, их любовь к Родине и глубокую, беспредельную преданность делу нашей партии. В этом залог всех наших успехов.

Встречаясь с молодыми рабочими, сельскими механизаторами, студентами, строителями, воинами Вооруженных Сил, вглядываясь в их пытливые, веселые, полные задора лица, много раз задумывался над тем, что людям старшего поколения легче сравнивать прошлое и настоящее. Они могут на своем собственном опыте оценить контраст между тем, что было, и тем, что стало. Юноши и девушки такой возможности лишены. О дореволюционной нищете, бесправии народа, об ужасающей эксплуатации рабочих и крестьян наша молодежь знает лишь по учебникам, по книгам. В зрелый возраст уже вступили люди, которые Великую Отечественную войну видели только в кино. Из комсомольского возраста выходят и те, кто был очевидцем наших первых космических свершений.

Время летит быстро, его не остановишь, и это налагает на нас

особую ответственность за воспитание подрастающего поколения. Отчасти по этой причине взялся и я за перо, чтобы рассказать о событиях, в сущности, не таких уж далеких. Но для юношества они действительно становятся легендарными.

По данным прошлой переписи, людей, родившихся после Октября, у нас в стране было уже более двухсот миллионов. Подавляющее большинство населения! Сейчас их, конечно, еще больше. Люди они от рождения советские, другого образа жизни вовсе не знали, у них характер советского человека. И это замечательно, но диалектика такова, что это же, если вдуматься, создает и определенные трудности в воспитании нового поколения.

Мы рады тому, что нашим детям и внукам не пришлось испытывать тягот, какие выпали на нашу долю, что для них созданы иные жилищные и материальные условия, что богаче сейчас возможности образования, культурного развития, занятий физкультурой и спортом. Это сказывается даже на внешнем виде молодежи: красивые, здоровые, рослые у нас девушки и парни. И это, повторяю, не может не радовать. Но плохо, когда молодому человеку, едва вступающему в жизнь, на всех перекрестках твердят, что все ему дано и все ему доступно. Плохо, когда это приводит к иждивенчеству, когда в итоге рождается облегченное восприятие жизни.

К сожалению, некоторые родители, что называется, из самых лучших побуждений стараются оградить своих детей от любых испытаний, от всякого труда. Рассуждают при этом так: мы, мол, потрудились — пусть им будет хорошо. Однако тому, кто умеет только брать, не научившись отдавать, хорошо по-настоящему не бывает. Себялюбцы, накопители, лодыри, пьяницы — они ведь самим себе первые враги. Доходит порой до нелепости: совершит прогул какой-нибудь усатый «детка», напьется в рабочее время или даже похулиганит, уворует, а объясняться в отдел кадров, в милицию спешит его мамаша. Смешного тут, как ни судите, мало. Жизнь показывает, что добром за такую «заботу» очень мало кто платит и своим родителям и своему народу.

Конечно, подобные явления для советской действительности не характерны. Но пусть мало таких случаев, пусть их даже ничтожное меньшинство, наша задача — вести борьбу за каждого человека. Родительская любовь не должна быть слепа, но точно так же не может быть слепой и любовь общества к своему подрастающему поколению. Именно заботясь о наших юношах и девушках, думая всерьез об их будущем, желая им настоящего счастья, мы обязаны воспитывать в молодежи и любовь к труду, и мужество, и чувство долга. Воспитывать не вообще, не только в массе людей, но и в каждом из них в отдельности. Эта работа не знает и не может знать исключений.

Все сказанное отнюдь не умаляет наших успехов. Партия взяла курс на повышение благосостояния советского народа и намерена твердо следовать этому курсу. И чем лучше будут работать наши люди, тем быстрее будет расти уровень жизни. Но чтобы жизнь у нас была еще более чистой, еще более светлой, нужно помнить, что благосостояние — это не одна сытость. Это еще и обязательно рост культуры, духовных запросов людей, их идейной убежденности. Светлое будущее, которое мы строим,— это не царство бездельников, где молочные реки и кисельные берега, а самое трудолюбивое, самое организованное общество в истории человечества. И жить в нем будут трудолюбивые, организованные, добросовестные и высокосознательные люди.

Социализм предоставляет юношеству широчайшие возможности для образования, для всестороннего развития, для творческого роста. В новой Конституции СССР мы записали уже не только гарантиро-

ванное право на труд, чего не знают страны капитала, но и право на выбор профессии, рода занятий, работы в соответствии с призванием, способностями, профессиональной подготовкой и с учетом общественных потребностей. Дело за молодежью: общественные привилегии, данные ей, она должна использовать на благо общества — настойчиво, целеустремленно.

И потому мы, коммунисты, говорим комсомольцам, нашей молодежи, всей нашей смене: дерзайте, пробуйте свои силы, ищите свое настоящее место в жизни, докажите свое право на большие дела. Мы стремились передать в ваши руки могучую промышленность, цветущие нивы, прекрасные города — будьте истинными мастерами своего дела, чтобы стократ приумножить народное богатство. Мы предпринимали все возможное, чтобы сохранить мир на советской земле, нам удалось уберечь от войны ваши детство и юность — будьте сильны и отважны, чтобы и впредь отстаивать нашу Родину от любых посягательств. Мы продвинулись, насколько это было в наших силах, в просторы космоса, в глубины вещества — будьте готовы к тому, чтобы идти еще дальше вперед. Знайте: сколь ни величественны наши достижения, они — фундамент, база для вашего дальнейшего взлета.

Вы, молодые, принадлежите уже к тому поколению, которому суждено перешагнуть в третье тысячелетие нашей эры. Заранее ясно, какие масштабные народнохозяйственные задачи вы сможете ставить перед собой и успешно решать. Не меньшее значение имеют и те программы, которые связаны с прогрессом науки и культуры, с формированием человека и общественных отношений. Облик грядущего складывается во многом сегодня, потому что именно сегодня мы воспитываем людей третьего тысячелетия.

Стране нужны люди творческого склада — все более образованные, восприимчивые к новым научным открытиям, смелые в своих исканиях. И главное, если говорить о подготовке нашей смены,— это научить людей самостоятельно мыслить. Только так можно добиться, чтобы великие идеи коммунизма молодежь восприняла не как заученный урок, а как систему собственных воззрений. Только при этом воззрения остаются незыблемыми, каким бы они ни подвергались нападкам со стороны наших идейных противников.

Все, о чем сказано выше, составляет постоянную заботу нашей партии, и заслуги ее в воспитании молодого поколения очень велики. Это должно стать заботой комсомола, школы, семьи, трудовых коллективов, всего взрослого населения. Это должно стать заботой писателей, деятелей искусства. Сделано многое, но задачи все время растут.

Хочу подчеркнуть: нет у меня ни малейших сомнений, а, наоборот, есть полная уверенность в том, что наша смена будет достойна пройденного народом великого пути, что молодежь подхватит эстафету из рук отцов и пронесет ее к таким высотам прогресса — научного, экономического, социального, нравственного,— которые сегодня нам трудно, быть может, даже и вообразить себе.

«Мы всегда будем партией молодежи передового класса! — подчеркивал Владимир Ильич Ленин и пояснял: — Мы партия будущего, а будущее принадлежит молодежи. Мы партия новаторов, а за новаторами всегда охотнее идет молодежь».

Новаторским делом был выход во Вселенную. И этот отважный рывок в будущее, вобравший в себя труд и дерзания нескольких поколений советских людей, останется незыблемой вехой в истории страны, всегда будет вдохновлять нашу молодежь, весь наш народ на новые подвиги и свершения.

7

Освоение космического пространства стало возможно в результате прочного сплава науки и труда, мастерства, опыта, знаний и, конечно, таланта многих людей. Об одном из них хотелось бы здесь особо сказать. В 1961 году в газетах наряду со словами «Главный конструктор» часто упоминался и «теоретик космонавтики». Им был действительно теоретик космонавтики, крупнейший наш ученый, трижды Герой Социалистического Труда, академик Мстислав Всеволодович Келдыш.

Сама история творилась на наших глазах, и он был в гуще событий. Когда еще в 30-х годах авиаторы столкнулись с загадочной вибрацией, названной флаттером и погубившей многих летчиков в разных странах, казалось, что наступил предел скоростям в авиации. Но Мстислав Всеволодович снял эту преграду, он сумел найти причины возникавших вибраций и подсказал конструкторам, как избавиться от них. «Для Келдыша не существует в математике проблем, которые он не мог бы решить» — так о нем говорили ученые. Дарование Келдыша особенно ярко проявилось в пору становления ракетной и космической техники.

Его огромный талант математика оказал неоценимые услуги в расчетах, без которых немыслим любой космический старт. Его труд сделал возможным точное выведение наших ракет на орбиты. Под руководством Мстислава Всеволодовича рассчитаны дальние дороги спутников и автоматических межпланетных станций, решены сложнейшие проблемы аэродинамики полетов, конструкции кораблей и ракет. Вклад его в космическую теорию и практику нельзя переоценить. Он чрезвычайно велик, и имя академика Келдыша заслуженно стоит рядом с именем академика Королева.

Жизнь этого замечательного человека, потомственного русского интеллигента, с ранних лет была отдана науке. А уже в 1961 году М. В. Келдыш возглавил Академию наук СССР, и отечественная наука сделала при нем огромный шаг в своем развитии, утвердила свой высокий авторитет в мировой науке. Я знал Мстислава Всеволодовича очень хорошо. Много раз и подолгу беседовал с ним. Большое впечатление производили обширность его познаний, точность аргументации, мудрость советов, которые он всегда высказывал с исключительным тактом и благожелательностью.

Об этом человеке я сказал бы так: он прокладывал дороги в космос, рассчитывал их с огромной математической точностью, точно так же как, будучи организатором советской науки, прокладывал многие неизведанные пути в мировой науке, в самых различных ее областях. Он был истинным патриотом своей страны, работал всегда на свой народ, не ждал похвал из-за рубежа, и именно поэтому его имя было окружено уважением во всем мире. Его светлый ум, огромные организаторские способности, глубокая партийная принципиальность — это подлинные черты великого советского ученого-коммуниста.

Не могу не вспомнить еще об одном выдающемся ученом и конструкторе, которому принадлежит огромная роль в развитии ракетно-космической техники и в обеспечении надежной обороноспособности нашей страны. Речь идет об академике Михаиле Кузьмиче Янгеле. Думаю, что судьба его тоже достойна подражания, поучительна для нашей молодежи.

Путь в Главные конструкторы начался для Михаила Кузьмича в крохотной сибирской деревушке Зырянова. После окончания ФЗУ он стал рабочим, ткачом на фабрике. Оттуда, приметив способного парня, комсомол направил его на учебу в Московский авиационный институт. Более десяти лет, в том числе и суровые годы войны, он трудился на различных авиационных предприятиях, а когда начала

рождаться ракетная техника, пришел работать к Сергею Павловичу Королеву. В 1954 году, учитывая его изрядный опыт и огромный талант, М. К. Янгелю было поручено возглавить одно из конструкторских бюро нашей страны. И всего за пять лет под его руководством было создано новое направление в ракетостроении.

От рабочего до Главного конструктора — таков жизненный путь Михаила Кузьмича Янгеля. И можно было бы лишний раз оттенить характерность этой биографии, снова сказать о том, какие возможности открыл Великий Октябрь перед людьми из народа, перед людьми труда. Но мне сейчас другое хочется подчеркнуть: мало дать человеку права — надо еще, чтобы он их использовал. Нынешним Ломоносовым уже необязательно шагать пешком из дальних деревень, государство поможет им найти себя, обеспечит всем необходимым для учебы, но учиться-то им придется самим. Вот что важно помнить молодежи: за каждым шагом людей, подобных Янгелю, людей, добившихся признания в нашей стране, стоит упорный труд.

Янгеля называли чаще всего не по имени-отчеству, а Кузьмичом. И эта деталь говорит о многом: он был прост и доступен каждому человеку. Был для рабочих и Главным конструктором и товарищем по труду. Разумеется, когда создавались первые образцы его новых ракет, он тоже, подобно Королеву, не выходил ночами из КБ и цехов. Люди такого масштаба не умеют себя беречь, но именно поэтому успевают за свою жизнь сделать в сотни раз больше, чем расчетливые себялюбцы. Кузьмич был настоящим руководителем — он умел брать ответственность на себя и не боялся рисковать. И не было случая, чтобы он пообещал и не выполнил.

М. К. Янгелем создан был оборонный ракетный комплекс. Создание этого комплекса требовало не только труда, но и таланта конструктора. Янгель был одаренным от природы человеком.

Скажут, что хорошо бы на что-нибудь другое тратить силы и талант таких людей. Согласен с этим. Но живем мы в такую эпоху, когда не можем позволить себе оказаться беззащитными перед лицом империализма, который продолжает взвинчивать гонку вооружений, пытается подорвать разрядку напряженности.

Создавая системы оружия, в том числе ракетно-ядерного, мы никому не собирались и не собираемся угрожать. Наша страна не претендует ни на один дюйм чужой земли. Но мы помним ленинские слова о том, что всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться. Именно для защиты мирного труда наших людей, для осуществления великих планов, которые начертаны в решениях съездов нашей партии, мы должны иметь прочную и надежную оборону, чтобы не допустить возможности внезапного нападения на нашу страну.

Тридцать с лишним лет народы мира живут, не зная войны, и в этом (я думаю, что наше государство никто не может обвинить в нескромности) большая заслуга принадлежит Советскому Союзу, его миролюбивой внешней политике, надежным защитникам его рубежей — армии и флоту. Политика СССР была и остается политикой мира. Наша партия выдвинула программу разоружения и продолжает добиваться ее претворения в жизнь. Это такая программа, осуществление которой не давало бы односторонних преимуществ ни одной из сторон. Стать на другой путь, ослабить свою оборону в то время, когда империализм наращивает свои вооружения,— это значило бы разоружиться перед лицом империалистических сил. На это мы пойти не можем и не собираемся. Мы хотим подлинного разоружения, которое не нарушало бы сложившегося примерного равновесия сил в мире, чтобы процессы разоружения не нарушали принципа равной безопасности сторон. Этим проникнуты наши предложения, и в этом духе мы ведем переговоры с нашими западными партнерами.

Советский Союз стал автором целого ряда важнейших инициатив, направленных на обеспечение стабильности, мира на земле. В документах партии, в выступлениях руководителей КПСС и Советского правительства постоянно углубляются, развиваются наши мирные предложения. С трибуны ООН мы заявили о том, что берем на себя обязательство не применять ядерного оружия первыми. Это свидетельство не только нашей миролюбивой сути, но и яркий пример исторического оптимизма. Мы верим в мирное будущее и не жалеем сил, чтобы идти по этому пути всегда!

8

Как секретарь ЦК КПСС, занимавшийся вопросами дальнейшего укрепления оборонной мощи страны, развития гражданской авиации, я часто встречался и беседовал с известными нашими авиационными конструкторами — А. Н. Туполевым, С. В. Ильюшиным, А. И. Микояном, П. О. Сухим, А. С. Яковлевым, О. К. Антоновым, Г. В. Новожиловым, Н. Д. Кузнецовым, А. М. Люлькой и другими.

Люди они разные, интересно мыслящие. Как-то во время одного из совещаний, глядя в зал, я подумал, что вот и исполнилась мечта Владимира Ильича Ленина — мы создали свою интеллигенцию, плоть от плоти народа. Пожалуй, один Андрей Николаевич Туполев, старейшина самолетостроителей, сформировался еще до революции. Все остальные прославленные творцы самолетов, двигателей, электроники, средств связи, современного вооружения были воспитаны при советской власти, окончили наши вузы, были пионерами, комсомольцами, стали коммунистами, это представители подлинно народной интеллигенции, беззаветно преданные советскому строю, идеалам нашей партии. Такова суть их мировоззрения, которая диктует замыслы и поступки этих людей, определяла и определяет всю их жизненную линию.

В связи с этим хотелось бы сказать, что наша интеллигенция — это давно уже не тот узкий «образованный слой», который в царской России резко выделялся в темной, забитой, безграмотной массе народа. Все труднее становится провести тут грань, потому что знания, которыми владели немногие избранные, стали доступны большей части населения страны. У нас введено всеобщее обязательное среднее образование, и мы повсюду видим сегодня широко образованных, мыслящих, общественно активных, по-настоящему культурных промышленных рабочих и сельских тружеников. Огромный количественный рост интеллигенции сопровождается, кроме того, и качественными изменениями в ее составе. Достаточно привести две цифры: в царской России специалистов с высшим образованием было 136 тысяч — у нас их теперь свыше 12 миллионов. В восемьдесят восемь раз больше! Легко понять, что подавляющее большинство сегодняшних интеллигентов — это дети рабочих и крестьян.

Если обратиться к статистике, то состав населения СССР выглядит так: более 60 процентов трудящихся составляют рабочие. По-прежнему рабочий класс является цементирующей силой общества, он играет и будет играть ведущую роль в строительстве коммунизма. С полным основанием мы можем говорить, что наше общество базируется на союзе рабочего класса с колхозным крестьянством и трудовой интеллигенцией.

В процессе развивающейся идейно-политической и социальной консолидации общества все отряды нашей подлинно народной, трудовой интеллигенции работают самоотверженно, сознают необходимость своего труда и окружены у нас всеобщим уважением и поче-

том. Это относится к учителям, инженерам, врачам, агрономам, правоведам, работникам культуры, деятелям литературы и искусства. Относится в полной мере и к ученым, исследователям, конструкторам, военным специалистам, о которых мы ведем здесь разговор. Надо сказать, что их вклад в защиту завоеваний Октября, в нашу победу в Великой Отечественной войне, в становление науки и техники общества развитого социализма очень велик.

Возьмите нашу гражданскую авиацию. Сегодня, если разобраться, миллионы советских людей чаще летают, чем ездят в поездах или плавают на морских и речных судах. Это никого уже не удивляет, как и то, что самолеты и вертолеты осуществляют гигантский объем сельскохозяйственных, транспортных, строительных, монтажных и других работ. Первыми в мире мы выпустили на регулярные трассы реактивные лайнеры, открыли эру сверхзвуковых пассажирских перевозок, осуществляем сложнейшие трансконтинентальные перелеты. И тут следует отметить не только заслуги авиаконструкторов, но и опасную работу летчиков-испытателей, и упорный труд пилотов, штурманов, механиков, мотористов Министерства гражданской авиации СССР, которое давно возглавляет главный маршал авиации Б. П. Бугаев. Он сам опытный летчик, в прошлом командир одного из авиационных соединений, испытатель первых советских реактивных самолетов «Ту-104».

Между прочим, именно он доставил Юрия Гагарина из Байконура в Москву, пригласил его по пути в кабину, дал посидеть за штурвалом, и, по его рассказу, первый космонавт Земли не скрыл своей радости, что ему доверили управление большим пассажирским лайнером. Мне тоже не раз приходилось видеть Б. П. Бугаева за штурвалом современных крылатых машин, а однажды испытать на себе его находчивость, редкое самообладание и опыт пилота. Было это много лет назад. Летели мы с официальным визитом в Гвинею и Гану. Я тогда был Председателем Президиума Верховного Совета СССР. Полет шел по плану, небо было чистое, и вдруг наш воздушный корабль подвергся нападению военных самолетов-истребителей колонизаторов, которым явно был не по душе визит советской делегации в молодые страны Африки.

Мне хорошо было видно, как истребители заходили на цель, как сваливались сверху, готовились к атаке, начали обстрел... Странно чувствуешь себя в такой ситуации: похоже на войну, но все по-другому. Потому что ничего от тебя не зависит и единственное, что ты в состоянии сделать,— это сидеть спокойно в кресле, смотреть в иллюминатор и не мешать пилотам выполнять свой долг. Все тогда решали секунды. И именно в эти секунды опытный экипаж, который возглавлял летчик Борис Бугаев, сумел вывести гражданский самолет из зоны обстрела. Эпизод этот привожу здесь в качестве своего рода иллюстрации того, что и в мирное время мы не ограждены от всевозможных провокаций...

Не боясь повторений, ради полной ясности подчеркну еще раз: именно обстановка в мире вынуждает нас оснащать всем необходимым наши Вооруженные Силы. Мы делаем это не для того, чтобы кому-либо угрожать,— агрессия чужда социалистическому строю. Я глубоко убежден, что наши ученые, конструкторы, рабочие — все, кто трудится над созданием новых образцов ракетного, тактического, стратегического оружия,— понимали и понимают свою задачу так: это оружие оборонительное. Оно не будет пущено в ход с целью завоевания чьих-либо территорий, мы никогда не развяжем ракетно-ядерную войну. Наоборот, это — оружие сдерживания тех безумцев, которые могут появиться и попытаются навязать народам такую войну, войну бесчеловечную, разрушительную, уничтожающую.

9

В этих записках отмечены лишь некоторые события из космической летописи нашей Родины. Естественно, мне удалось назвать только немногих из тех, кого знал, с кем вместе работал. Дать полное описание невозможно одному человеку — в истории исследования космического пространства много славных имен и дел. Да и не обо всем еще пришло время рассказать.

Но вот что сказать необходимо: штурм космоса вели не одиночки, не талантливые единицы, а миллионы умов. И все наши победы в этой области стали возможны благодаря той главной победе, с которой ведем мы свое новое летосчисление,— благодаря победе Великой Октябрьской социалистической революции. Штурм неба начался у нас в 1917 году.

Печать капиталистических стран, советологи всех мастей гадали после запуска первого спутника Земли, после полета Юрия Гагарина о «секрете», который позволил коммунистам вырваться вперед. А секрет этот прост и, как говорится, не требует разведывательных проверок. Секрет заключается в том, что социальный, экономический, культурный уровень развития нашего общества позволил ставить и успешно решать задачи такого масштаба. Вполне очевидно, что не было бы у нас ни спутников, ни космических кораблей, если бы страна не накопила огромный научно-технический потенциал.

Понятие это весьма широкое. В него входит прежде всего сама наука — фундаментальная и прикладная. Наука — это как бы родник, исток, из которого берет начало полноводная река научно-технического прогресса. Если нет истока, если иссякнет родник, то и река обмелеет, а затем пересохнет.

Социализм — это такое общество, которое не может не опираться на науку. В этом причина расцвета науки в СССР, в этом и одна из причин победы социализма. Только советский строй сделал возможным использование науки в интересах народа, позволил раскрыть творческие потенции и таланты, которые в изобилии имеются в каждой стране. И только опираясь на новейшие достижения науки о природе и обществе, можно успешно строить социализм и коммунизм.

Окидывая мысленно взглядом космическую эпопею, мы можем с полным основанием сказать, что и в этом отношении советские ученые, конструкторы, испытатели новой техники были на высоте, оправдали доверие и надежду Коммунистической партии, Советского государства, всего нашего народа.

Но и это не все. Научно-технический потенциал в огромной степени зависит от облика самого производства, от развития всей промышленности, от ее восприимчивости к новой технике, способности быстро осваивать достижения науки. Это условие обязательное. И, наконец, в решающей мере научно-технический потенциал определяется кадрами. Не только ученых и конструкторов, но и механиков, техников, наладчиков, монтажников, токарей, слесарей — всех, кто непосредственно создает новейшую технику и работает с ней. Другими словами, речь идет уже о профессиональной подготовке миллионов рабочих, о культуре народа в широком смысле этого слова, обо всей системе образования в стране.

Все это в совокупности и проверялось, испытывалось на прочность, когда мы приступали к осуществлению своей космической программы. И мир лишний раз убедился в том, что надежно сработали все звенья этой цепи. Выше уже сказано, что мне пришлось в ту пору очень многому учиться, многое увидеть, обдумать, понять. О некоторых уроках, видимо, полезно будет здесь рассказать.

В один из приездов на Байконур я залюбовался ладной работой бригады монтажников, которые возводили стартовую позицию. В глу-

бину земли уходило переплетение труб, ввысь поднимались металлоконструкции, устанавливались ажурные стойки, которым предстояло поддерживать гигантскую ракету и отпускать ее в последний момент. Позже все увидели эту картину в кино, на экранах телевизоров, а тогда поражала сложность замысла и воплощения. Но рабочие свободно читали чертежи, трудились четко, и хотя было холодно, дули свирепые степные ветры, впечатление складывалось такое, будто новое дело дается им легко.

Когда монтажники сделали перерыв, я подошел к ним, познакомился с людьми, сказал об этом своем впечатлении. Они заулыбались, а один из рабочих, мужчина кряжистый, основательный, сказал запомнившуюся мне фразу:

— Будет просто, когда сделаешь раз по сто!

Но где они могли сделать это «раз по сто», если все тут строилось впервые? Разговорились, и выяснилось, что позади у монтажников сложнейшие задания. Это были знатоки, умельцы в своем деле. Та же бригада монтировала, например, реактор на первой в мире атомной электростанции в Обнинске. Эти рабочие не только с академиком С. П. Королевым были знакомы, но и с академиком И. В. Курчатовым.

Таких мастеров высочайшего класса приходилось встречать повсюду — на строительных площадках, у прокатных станов и сталеплавильных печей, в угольных шахтах и на нефтепромыслах, в цехах многих заводов. Их отличали гордость своей профессией, глубокие знания, высокое чувство ответственности, преданность избранному делу. Всякое задание, за которое брались эти люди, они выполняли качественно, вовремя, на совесть.

Могу сказать, что с огромным уважением отношусь к мастерству рабочего человека. И, не скрою, без всякого уважения — к тем, кто неряшлив в работе, кто надеется на авось, выпускает брак. Работают они хуже чем плохо. Зря переводят сырье, заставляют исправлять сделанное ими, вкладывать дополнительные силы и средства, а главное, могут подвести в любой момент. Надо ли говорить, что небрежная работа при запуске космических кораблей была бы равносильна преступлению? Говоря о наших достижениях в этой области, мы не должны забывать, что за ними — труд, дисциплина, ответственность десятков тысяч советских людей.

Выступая как-то перед туляками — хранителями традиций древнего русского мастерства, я вспомнил их земляка, знаменитого лесковского Левшу, который блоху подковал. Нынешние потомки Левши научились, пожалуй, выполнять задачи и похитрее — «ловить» сотые доли микрона, осуществлять космические стыковки и расстыковки, управлять с Земли шагами лунохода, доставлять к нам образцы лунного грунта и т. д. Но отношение мастеров к труду в основе своей остается прежним.

— Наверное, вы согласитесь со мной,— говорил я в Туле,— что и в наше время, время стремительного научно-технического прогресса, огромных изменений в характере труда, проблема качества во многом остается проблемой и мастерства, и профессиональной квалификации, и совести каждого работника.

Есть старое правило, которое мы не должны забывать: прочность любой цепи проверяется по ее самому слабому звену. Иначе говоря, безукоризненного исполнения заданий следовало добиться не только на таких ответственных участках, как конструкторские бюро С. П. Королева или М. К. Янгеля, но во всех без единого исключения звеньях этой грандиозной программы. Мы отчетливо сознавали, что любой срыв, даже на самом, казалось бы, второстепенном участке, мог помешать осуществлению наших планов, а в условиях работы в космосе привел бы к непоправимым последствиям.

Суть организационных вопросов состоит в том, чтобы каждый, имея для этого необходимые права и неся в их пределах всю полноту ответственности, занимался своим делом. Это элементарное житейское правило является в то же время основой основ науки и практики управления.

Космическая эпопея, которая и в смысле организованности была образцовой, заслуживает не только благодарной памяти, но и самого пристального изучения. Изучать ее надо для того, чтобы перенести все добытое в другие, чисто земные и сугубо гражданские отрасли производства. Перенести в том числе и высокую требовательность, и повседневную проверку выполнения плановых заданий, и строжайший контроль.

Почему организаторы нашей строительной индустрии до сих пор позволяют срывать планы ввода в строй нужных стране объектов? Почему — я часто задаю себе этот вопрос — некоторые руководители допускают срыв плановых заданий их предприятиями или даже отраслями промышленности? Видимо, мы ослабили спрос с руководителей в гражданских областях. План — это закон, и спрашивать за его невыполнение надо по всей строгости закона. Здесь не может быть оправданий ни для директора, ни для рабочего.

К сожалению, встречаются и такие директора, которые не могут снабдить население своих городов качественными товарами первой необходимости, производят плохую обувь. И пусть они не прячутся за чужими успехами. Пусть наладят порядок на своем участке работы, пусть добьются дисциплины, ответственности, качества труда.

В этой связи хотелось бы подчеркнуть одну примечательную особенность в развитии космической программы. На первый взгляд она полностью оторвана от земных проблем, а на деле уже сегодня оказывает огромное влияние на нашу промышленность, и это влияние с каждым годом становится все ощутимее. К примеру, такие области, как вычислительная техника и электроника, напрямую связаны с космонавтикой, с ее развитием. Космонавтика потребовала создания новых отраслей промышленности, более точной аппаратуры, более компактной, более эффективной. Но, появившись для нужд космонавтики, они начали сразу использоваться и в обычной технике. Машины и приборы, предназначенные для спутников, ракет и космических кораблей, заставили измениться и сами предприятия, где они выпускаются. Повышенные требования к космической аппаратуре и материалам способствовали созданию принципиально новых технологий, автоматических линий, станков. Таким образом, космонавтика как бы повела за собой ведущие отрасли, и это сказалось на качестве работы, на уровне всего производства.

В общем, своеобразная ситуация создается в промышленности, когда возникает новая область техники. Чтобы создать ракету, искусственный спутник Земли, космический корабль, необходим определенный и очень высокий уровень развития производства в различных областях индустрии. И в то же время появление космических аппаратов, в свою очередь, как бы тянет индустрию за собой. Взаимное обогащение космонавтики и промышленности помогает им стремительно развиваться. Можно так сказать: наша промышленность породила космонавтику, космонавтика была ее детищем и в то же время сама стала прародительницей новых направлений в промышленности.

Нередко задают вопрос: велико ли значение полетов в космос для науки и не слишком ли дорогую цену мы заплатили за эти исследования? Отвечу сразу: да, освоение космоса потребовало много сил, труда тысяч ученых, техников, создателей кораблей, героизма

наших летчиков-космонавтов. Разумеется, пришлось еще два десятилетия назад серьезно думать об этом, соразмерять наши планы и возможности, выяснять заранее, что даст реально эта программа народу, стране.

Вспоминаю любопытную встречу, которая произошла, кажется, в 1956 году, еще до запуска первого спутника. Пригласил я в ЦК Александра Николаевича Несмеянова — в те годы он возглавлял Академию наук. Мы попросили его рассказать о том, как ученые представляют в недалеком будущем использование космических аппаратов, какие практические результаты можно получить для нужд народного хозяйства от запуска спутников.

— Мы создали специальную группу ученых, представляющих различные области науки и техники,— сказал президент,— выслушали их мнение о перспективах исследования космоса. Мнение единодушное: запуски спутников нужно проводить обязательно, а вот о прикладном их значении существует множество мнений. К примеру, можно осуществлять фото- и киносъемку из космоса, работа эта аналогична аэрофотосъемке. Очень важны исследования для физиков, астрономов и других специалистов, занимающихся фундаментальными проблемами. Очевидно, через космос можно организовать и новые виды связи с отдаленными районами страны. Так что областей применения спутников будет много.

Таково было мнение авторитетного ученого. Встречалось и немало скептиков, которые говорили: не рано ли заигрывать с Луной, когда и на Земле дел немало? Но мы тогда уже были уверены: космос — это и сугубо земные дела.

А сегодня уже трудно представить нашу жизнь без космических аппаратов, они занимаются вполне будничной работой. Включаешь телевизор, разговариваешь по телефону с Владивостоком и не задумываешься, что космос работает на тебя. Действуют радиотелевизионные станции системы «Орбита», а телефонные разговоры транслируются через спутники «Молния».

Проникая в пространство Вселенной, мы не только расширяем наши представления о мироздании, главное — мы получаем более глубокие сведения о нашей планете. Любые достижения науки советский человек ставит на службу Земле. Под этим лозунгом развиваются у нас космические исследования. Постановления партии нацеливали наших специалистов на решение именно таких проблем. Успехи в этой области очевидны. Академики и рабочие, инженеры и техники, тысячи людей в разных уголках нашей страны, людей самых разнообразных специальностей, работают сегодня в космической индустрии. И если двадцать лет назад, когда началось проникновение в космос, мы могли говорить только о нашем стремлении к познанию неведомых миров и пространств, мечтать о том великом вкладе, который космонавтика сделает в развитие науки, то теперь уже ясно, что космические исследования и космонавтика превратились в отрасль народного хозяйства, от которой мы получаем вполне реальные выгоды. Более того, сегодня можно взвесить на экономических весах ту реальную пользу, которую приносит космонавтика людям.

Советская программа исследования космоса предусматривает планомерное, последовательное решение важнейших теоретических и практических задач современной науки.

Проникновение в космос человека и автоматических аппаратов — это естественный, закономерный процесс. Он будет с каждым годом все ускоряться.

Со времени запуска первого искусственного спутника Земли и стартов наших первых космонавтов мы сделали все, чтобы космос

стал ареной международного сотрудничества. Открылись новые возможности для широкого, плодотворного развития научных связей между странами и народами в интересах мира и прогресса всего человечества.

В связи с полетом Ю. А. Гагарина в космос в Обращении ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР подчеркивалось: «Победы в освоении космоса мы считаем не только достижением нашего народа, но и всего человечества. Мы с радостью ставим их на службу всем народам, во имя прогресса, счастья и блага всех людей на Земле».

На этой принципиальной позиции мы остаемся и сегодня.

Разработаны и успешно осуществляются крупные международные программы. В них принимают участие многие страны мира, плодотворно развивается сотрудничество советских ученых со специалистами Франции, Индии, США. Но особое значение, конечно, в этой работе мы отводим совместным усилиям братских стран социалистического содружества.

С большим волнением мы следили за полетами интернациональных экипажей, в состав которых входили представители братских стран. Они работали на орбитах вместе с советскими космонавтами. Поистине наша дружба достигла космических высот!

Мы — за полеты в космос представителей различных народов, за общие усилия в борьбе за знания, за изучение ближних и дальних миров. Увлекательные перспективы открываются перед людьми — Луна, Марс, Венера превратились в лаборатории ученых. Разве не об этом мечтали многие поколения?! И мы, живущие во второй половине XX века, сумели сделать их мечту реальностью. Но познание безбрежно, как и сама Вселенная, и чтобы стремительней идти по этому нелегкому пути в космос, нужно объединять усилия всех людей.

Мы, советские люди, не рассматриваем свои космические исследования как самоцель, как какую-то гонку. Нам глубоко чужд дух азартных игроков в большом и серьезном деле исследования и освоения космического пространства.

Вновь подчеркну: дело это столь грандиозно и важно для судеб человечества, что требует объединения усилий всех людей Земли. В июле 1975 года был сделан существенный шаг по этому пути — космические корабли СССР и США «Союз» и «Аполлон» осуществили стыковку на околоземной орбите. Экипажи работали слаженно, люди отлично понимали друг друга, они проверили на практике совместимые средства кораблей, разработанные учеными и конструкторами двух стран в целях повышения безопасности полетов человека в космос. Будучи важной вехой сотрудничества между СССР и США в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, проведенный совместный полет закладывает фундамент для возможных последующих советско-американских работ в этой области.

Писатели-фантасты часто помещают своих героев на борт огромной международной орбитальной станции, которая летит к звездам. В экипаж входят представители народов разных континентов, они объединили свои усилия в познании и Вселенной и родной Земли. Это прекрасный образ, и хотя к звездам лететь еще и рановато — дел хватает и в околоземном космическом пространстве,—но уже сделаны первые шаги, чтобы и эту мечту воплотить в жизнь.

СЛОВО О КОММУНИСТАХ

1

Для меня партия, служение ее делу — сердцевина всей жизни. Порой мне кажется, что не смог бы и дня прожить, не сознавая себя частью этого великого целого, не ощущая кровной связи с сообществом бесстрашных, стойких, справедливых борцов. Да так оно и есть в действительности: не смог бы. Как и миллионы людей, составляющих ее ряды, не представляю себя без нашей партии — величайшего создания ленинского гения, олицетворяющей революцию, новый общественный строй, надежды и чаяния своего народа и всего прогрессивного человечества. Хорошо сознаю, что с того дня, как я стал коммунистом, вся моя жизнь получила высокое нравственное оправдание, наполнилась новым, особым смыслом.

Было это еще на Урале. 9 октября 1929 года бюро Бисертского райкома ВКП(б) приняло меня кандидатом в члены партии. Недавно товарищи из Свердловского обкома прислали мне протокол этого бюро за номером 44. И подумалось — в потоке дней не вспоминаешь об этом: сколько лет прошло с того памятного дня. Больше полувека в партии! И с глубокой сердечной благодарностью подумал о славной ленинской гвардии, передовом отряде рабочего класса, всего нашего общества, о миллионах товарищей по партии, которая дала нам счастливую возможность целиком посвятить себя борьбе за правое дело, закалить себя в труднейших испытаниях и ощутить радость побед.

Удивительный это был день! Внешне, казалось, ничто не изменилось: осень, дождь, серое небо над головой, такими же оставались непроезжие проселки уральской деревни. И так же, как обычно, торопили очередные дела, и надо было добираться до дальних околиц, помогать крестьянам сколачивать артели, поднимать людей на работу. А по сути изменилось все: навстречу трудностям и свершениям, хлопотному дню шел уже не просто землеустроитель Брежнев, а полномочный представитель великой партии, воля и разум которой преобразовывали для новой жизни эти исконно русские места. Отныне я, как говорится, всем существом ощутил свою причастность к заботам, думам, свершениям всего народа.

Если бы спросили, чего я не терплю, чего не любил и не люблю больше всего, ответил бы: одиночества. И потому счастлив, что с молодых лет по сей день был и остаюсь в окружении верных друзей, испытанных товарищей, соратников и единомышленников-коммунистов.

Чеканное слово «партия» впитывалось в плоть и кровь с юности — через приобщение к политическим знаниям, неустанному труду, великим делам страны. Оно звучало тогда — и звучит всегда — пламенным призывом к борьбе за народное счастье, к утверждению передовых идей и истинных ценностей человечества, к целеустремленному действию, стойкости, самоотверженности. В нем — надежда и воля трудящихся, могучая сила, обновляющая мир.

В 1931 году меня приняли в члены Коммунистической партии. Об этом знаменательном событии уже рассказано в предыдущих главах; произошло оно в Днепродзержинске. Получая на родном заводе партбилет за номером 1713187, я хорошо сознавал, что эта столь дорогая каждому коммунисту красная книжица дает не какие-то льготы и блага ее владельцу, а большие по сравнению с другими людьми обязанности, требует повышенной ответственности за порученные дела.

Пребывание в рядах партии не делает жизнь человека спокойной и легкой. Напротив, приняв партийный Устав, он добровольно берет на себя дела потяжелее, определяет свое место на самых трудных участках, навсегда лишает себя возможности укрыться в затишье.

Партийные билеты моему поколению вручались в годы первых пятилеток, коллективизации, подлинной культурной революции в СССР. Они опалены огнем тяжелейшей из войн, на них следы мускулистых рук, которые поднимали разбитые заводы, возрождали из руин села и города, зажигали костры в целинной степи, перекрывали плотинами могучие реки, посылали в космос удивительные корабли.

Учетная партийная карточка коммунистов этого поколения недолго хранилась в одном райкоме — на ней отметки всех параллелей и меридианов шестой части земного шара. Именно партия определяла наше рабочее место в общем строю. И каждое ее новое задание было вдохновляющим приказом самого времени.

Ленинская партия — духовная мать каждого коммуниста. Она растит нас на своих идеях, учит преданно служить народу. Партия не укрывает нас от жизненных бурь, а ведет всегда в гущу событий. Слово «партия» произносишь в минуты величайшего душевного подъема и напряжения; оно способно вдохновить человека на подвиг во имя Родины, во имя торжества дела коммунизма, мира и прогресса.

Для меня партия стала политической школой, в ее рядах проходила закалка характера, обреталась партийная принципиальность, требовательность к себе и к людям, с которыми работаешь. Для меня, как и для всех коммунистов, партийная работа — самое благородное поприще служения интересам трудящихся, идеалам справедливости и гуманизма.

Мысли о партии, о ее делах всегда волнуют меня, будоражат душу.

В своих воспоминаниях старался просто рассказать о прожитом и пережитом, о делах и событиях, в которых участвовал, а больше всего — о прекрасных советских людях, которых довелось встретить, увидеть, узнать и полюбить.

Вижу теперь, что одновременно это было и рассказом о партии. Наверное, иначе написать я не мог.

2

Воскрешая в памяти былое, думал я не о себе. Моя жизнь — это частица жизни народа. И если есть в ней поучительное, то, полагаю, заключено оно не в том, что отличает мой путь, а именно в том, что объединяет его с жизненными дорогами большинства наших людей.

Работая над воспоминаниями, я, разумеется, имел в виду прежде всего своих соотечественников, советских людей. Когда говоришь «советский человек», перед мысленным взором встают тысячи знакомых с их неповторимыми судьбами, чертами. Но вместе с тем видишь и сходство их нравственных качеств, присущую им общую определяющую черту — высокую гражданственность.

Становление нового человека наблюдал я, можно считать, с самого начала, с истоков, мальчишкой еще — с незабываемых дней Октября. А потом — огневые годы гражданской войны, преодоление голода и разрухи, все это навсегда врезалось в память. Довелось увидеть мир в момент перелома, когда дни равнялись годам, а годы — десятилетиям.

Рос я, как уже знает читатель, в заводском поселке, сам с пятнадцати лет пришел на завод и был живым свидетелем того, как мужал и закалялся рабочий класс, который взял на себя ответственность за судьбы народа, ощутил себя хозяином страны. Говорят, впе-

чатления детства и отрочества самые сильные, они остаются с человеком на всю жизнь. Мне повезло, что в бурные годы, на стыке эпох, я находился в рабочей среде, что первую профессию дали мне в руки рабочие, что меня воспитывали заводские большевики.

А дальше путь мой складывался так, что ни одно крупное событие в жизни народа не миновало меня. Возможно, тут сказался характер, сыграло роль воспитание, но еще важнее то, что меня, как и миллионы людей моего поколения, вела вперед и воспитывала партия. В годы комсомольской юности попал я в деревню, стал землеустроителем, депутатом райсовета, партийным уполномоченным по коллективизации. Когда же коллективизация заканчивалась, вернулся на завод, чтобы участвовать в социалистической индустриализации. В напряженном труде, в поездках по стране крепло чувство, присущее каждому советскому человеку, чувство Родины, о котором я рассказал во второй главе этой книги.

Потом обрушилась на нас война, и это были в жизни всего нашего народа поистине «минуты роковые». Вместе с миллионами советских солдат и офицеров я прошел войну от начала до конца, от первого дня до парада Победы. Военные годы мне, как и каждому ветерану, особенно памятны, но может ли один человек поведать обо всем, что происходило в огне боев, и обо всем увиденном и пережитом?

«Малая земля» — это только фрагмент необъятной панорамы Великой Отечественной войны советского народа, рассказ о событиях на участке всего в несколько километров. Подобные бои разного масштаба, но повсюду смертельной, непримиримой ожесточенности разыгрывались на всем советско-германском фронте. А ведь его протяженность в худшее для страны время превышала 6200 километров — расстояние большее, чем от Атлантики до Урала. Хотелось, чтобы читатели, в том числе молодые, не знающие войны (а таких у нас, по счастью, уже большинство), вдумались в масштабы происходивших событий и лучше представили себе, как и почему выстоял советский солдат, в чем истоки его героизма и самоотверженности.

Будучи непосредственным участником военных действий, я видел все события глазами фронтового политработника. Но уверен: каждый фронтовик, в каком бы ранге или роде войск он ни воевал, подтвердит тот непреложный факт, что коммунисты и здесь, в смертельной схватке с врагом, доказали, что они — люди особого склада. Определяющая их черта — единство слова и дела. Они всегда вместе с народом, там, где вершатся большие дела, там, где всего труднее. И наш боевой клич «Коммунисты, вперед!» звучал и звучит на всех этапах борьбы советского народа за свое светлое будущее, поднимая массы на подвиг, вселяя ужас в ряды врагов. Вспомним хотя бы партийные мобилизации первых лет Советского государства, борьбу с врагами молодой республики в годы гражданской войны и интервенции, когда на кронштадтский лед уходил в полном составе партийный съезд. Вспомним стройки первых пятилеток и коллективизацию деревни, когда тысячи и тысячи верных бойцов вставали по зову партии и шли туда, где она назначала им очередной рубеж.

Так было и в Великую Отечественную войну. Советские люди старшего поколения помнят толпы добровольцев у военкоматов в первые часы после объявления всеобщей мобилизации — большинство их составляли коммунисты. На фронт ушли миллионы членов партии, среди них — почти треть членов Центрального Комитета КПСС. Не было такого подразделения в Советской Армии, не было такой атаки, боя, сражения на всем гигантском поле битвы, где бы коммунисты не поднимали бойцов личным примером мужества, самоотверженности, беззаветной любви к Родине. Мы помним и никогда не забудем, сколько отважных, лучших своих сынов и дочерей потеряла наша ленинская партия на полях сражений Великой

Отечественной. Какая еще партия, политическая организация в истории человечества принесла более святые жертвы на алтарь его свободы! Ленинская партия стала тем величайшим полководцем, который в ходе второй мировой войны обеспечил решающую победу советского народа над гитлеровской Германией, избавив мир от нашествия коричневой чумы.

Кто из ветеранов Великой Отечественной войны не помнит Дня Победы, возвращения домой после нескончаемых боевых дней! Но радость победы, встречи с родными и близкими была омрачена для нас, фронтовиков, для всех советских людей видом родной земли, разоренной фашистами.

В «Возрождении» я попытался рассказать о том, что мы, фронтовики, застали на опустошенной земле. Почти все надо было начинать с нуля: дать кров десяткам миллионов людей, вернуть жизнь полям, поднять из руин больницы и школы, заводы, шахты, электростанции. В целом была уничтожена одна треть нашего национального богатства. В главе «Возрождение» я больше говорил об Украине, поскольку именно там работал в послевоенный восстановительный период. Недавно побывал в Киеве в связи с открытием мемориального комплекса. Долго беседовал со многими товарищами. Встречался с партийным активом республики. Огромное впечатление оставили дела тружеников советской Украины. За эти годы они достигли весомых успехов, по существу, во всех областях. И немалая заслуга в этом ЦК Компартии Украины, во главе которого многие годы стоит талантливый организатор Владимир Васильевич Щербицкий.

В те послевоенные годы многим за рубежами нашей страны казалось, что война с ее тяготами и потерями чуть ли не до дна вычерпала силы народа и ему уже не поднять своей страны даже на довоенный уровень. Были в мире и такие силы, которые злорадствовали по этому поводу и всячески пытались осложнить внутреннее и внешнее положение Советского Союза. Это они навязали нашей стране пресловутую «холодную войну». Но народ наш, ведомый своим испытанным авангардом — ленинской партией, обрел второе дыхание, одержал трудную победу и на этот раз: экономическое восстановление, возрождение было осуществлено в кратчайшие исторические сроки. Вновь убедился мир в неисчерпаемой мощи свободного народа, неоспоримых преимуществах социалистической системы. Для нашей партии этот сложный период стал еще одним экзаменом политической мудрости, способности руководить экономическим строительством. И она выдержала его с честью.

Я счел необходимым рассказать подробнее о партийной работе — многообразной, творческой, чуждой субъективизма, всегда живой и в то же время проникнутой научным подходом ко всем общественным процессам. Ленинский стиль партийной работы предполагает высокую требовательность к себе и к другим, исключает самодовольство, отвергает верхоглядство и политическую трескотню, противостоит любым проявлениям бюрократизма и формализма. Обо всем этом пришлось размышлять и все это претворять в жизнь, когда после войны меня выдвинули руководить крупными областными партийными организациями, а затем избрали первым секретарем ЦК Компартии Молдавии.

На этой древней земле, также пострадавшей от войны, правобережная часть которой несла вдобавок тяжелый груз наследия прошлого, мне пришлось впервые ощутить ответственность за все, происходящее в целой республике. За развитие сельского хозяйства, промышленности, за рост культуры народа и его благосостояния. Такова тема главы «Молдавская весна», и, должен сказать, в том, что советская Молдавия действительно стала по-весеннему цветущей, решающую роль сыграли борьба молдавских коммунистов, как и помощь всех республик СССР, и сама энергия масс, окрепшее в

них чувство хозяина своей судьбы, своей экономики, своего государства.

Собственно говоря, сродни этой теме и эпопея освоения целинных и залежных земель в Казахстане, которой посвящена глава «Целина». Сотни тысяч людей, главным образом молодежь, откликнувшись на призыв Коммунистической партии, поехали из благоустроенных районов в безлюдные степи, обжили их, превратили в одну из главных житниц страны. Изменился весь облик этих мест: построены новые города и поселки, сельскохозяйственные предприятия, заводы и фабрики, научные центры. Не сомневаюсь, что в летописи свершений нашего народа подъем и освоение целины останутся одной из ярчайших страниц, прекрасным примером негасимости революционного порыва, рожденного Великим Октябрем.

Все эти главы посвящены весьма сложным периодам в жизни нашего народа, событиям отнюдь не обыденного порядка. Трудности, о которых в них рассказано, обусловлены, конечно, не социальной системой нашего государства, а особыми условиями, в которые была поставлена страна, и не в последнюю очередь условиями внешними.

Социализм не требует жертвенности. Он основан на власти всего народа, в интересах общего блага и свободного развития каждой личности. И если советским людям приходится порой идти на жертвы, то это диктуется необходимостью, высоким велением долга.

Конечно, и в нашей жизни бывают иногда столкновения между косностью и дерзким поиском нового, не обходится без упущений и ошибок. Кое-что на этот счет говорится и в моих записках, но хотелось, чтобы читатель увидел главное: наш народ верит в свой путь, он убежден, что именно с социализмом и коммунизмом связаны его мирное завтра, благополучие, счастье, самые большие успехи. И когда советский человек соразмеряет свою жизнь с этими высшими целями, его общественное сознание повелевает ему подчинять личные интересы общим. Это определяющая черта нового типа личности, сформированной социализмом.

«Космический Октябрь» — рассказ об одном из самых ярких исторических достижений советского народа, поразивших мир. Выбрано оно из многих прежде всего потому, что чрезвычайно велико его значение в истории человечества. Кроме того, по заданию партии мне пришлось непосредственно координировать работы, связанные с выходом в космос. А я в этой книге старался нигде не нарушить правило, которое сам определил для себя,— писать только о том, что видел своими глазами, в чем принимал участие.

Довелось и в этом случае узнать истинных патриотов, преданных делу коммунизма,— выдающихся ученых, конструкторов, исследователей, космонавтов, встречаться с новаторскими коллективами рабочих, строителей, монтажников, и захотелось поделиться своими заветными мыслями о судьбах научно-технического прогресса, о роли интеллигенции в обществе развитого социализма, о замечательной советской молодежи, в которой мы видим будущее страны.

И снова, перелистывая страницы воспоминаний, я прихожу к выводу: какие бы события ни происходили в нашей истории — в огне битв и в созидательной деятельности, в ходе огромных по своим масштабам политических, экономических, социальных преобразований видна направляющая воля Коммунистической партии.

Партия определяет общую стратегию нашего движения вперед, разрабатывает конкретные планы развития, организует усилия советских людей по выполнению этих планов, формирует гармонически развитую личность гражданина социалистического общества. Всех советских людей, в том числе, конечно, и автора этих строк. Давно я понял, что всем решительно обязан партии и народу, который ве-

рит своему передовому отряду, который идет за своим испытанным авангардом.

Воля партии, воля советского народа, интересы социалистического отечества всегда были для меня высшим законом, которому я подчинял и подчиняю свою жизнь. Превыше всего для меня было и остается доверие партии, доверие народа.

Так я всегда смотрел на свою работу, на каком бы посту ни находился. Но это особенно стало важно для меня, когда партия в 1964 году доверила мне пост руководителя ЦК КПСС и я стал выполнять обязанности сначала Первого секретаря, а затем Генерального секретаря Центрального Комитета. Мне была оказана самая высокая честь, которая может быть оказана коммунисту. И, конечно, иными стали не только масштабы и сложность работы, но и ответственность перед партией, перед народом.

3

Еще до революции В. И. Ленин подчеркивал, что партия рабочего класса «должна действовать на *научных* основаниях». В этом смысле вся наша история — это история непрерывного обогащения содержания и методов партийной работы достижениями самых разных наук — философии, экономики, психологии, педагогики, социологии и т. д. Научный подход охватывает сегодня не только сферу обоснования политики партии, определения ее генеральной линии, но и всю повседневную работу по руководству жизнью страны. На мой взгляд, этот подход воплощает известное ленинское требование к каждому члену партии — превращать марксизм в действие.

Нам всегда и во всех делах помогали и помогают революционная воля и размах, умение партии мобилизовать миллионные массы, направить трудовой энтузиазм рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции на решение созидательных задач. Партия стремится еще теснее соединять эту великую энергию масс с систематической, кропотливой организаторской работой, с последовательно научным подходом к ведению хозяйства, строгой дисциплиной и деловитостью.

Все мы радуемся тому, какие глубокие корни пустили ленинские идеи социалистического соревнования. Мы гордимся тем, что в авангарде соревнования идут коммунисты. Соревнование оказывает глубокое воздействие на хозяйственную практику, на общественно-политическую жизнь страны, на нравственную атмосферу.

Повышение ответственности, развитие инициативы, деловитости, я бы сказал, социалистической предприимчивости, воспитание сознательной дисциплины и нетерпимости к недостаткам — эти черты партийного стиля работы приобретают все более решающее значение.

Весь мой жизненный, партийный опыт подтверждает непреложную истину — успех дела решают умелые, ответственные работники, правильно понимающие свои задачи, их деловая и политическая подготовка, партийное отношение к обязанностям. Современный руководитель должен органически соединять в себе партийность с глубокой компетентностью, дисциплинированность — с инициативой и творческим подходом к делу. Я всегда высоко ценю такие черты руководителя, как чувство нового, умение видеть перспективу развития, заглядывать в будущее, находить наиболее верные пути к решению возникающих задач.

Бережное, заботливое отношение к кадрам прочно утвердилось в нашей партии. Перемещение кадров производится тогда, когда это вызывается интересами дела, необходимостью укрепить те или иные участки работы. Однако это не означает, что под предлогом закрепления кадров можно оставлять на своих постах тех, кто не справляется со своими обязанностями. Тем более вряд ли целесообразно

оставлять на руководящей работе таких людей, которые из года в год проявляют безответственность, нарушают хозяйственный ритм жизни коллектива предприятия, объединения или даже министерства. Должность сама по себе не обеспечивает ни авторитета, ни уважения.

Ленинские указания о всемерном укреплении дисциплины труда полностью сохраняют свою актуальность и в современных условиях. В организации четкой, слаженной работы, в обеспечении трудовой дисциплины сделано далеко не все, что возможно и необходимо. Нельзя мириться с тем, что на некоторых предприятиях, в колхозах, совхозах, учреждениях дисциплина порою хромает, что не перевелись еще люди, которые халатно относятся к своим прямым трудовым обязанностям. С этими явлениями необходимо вести самую решительную борьбу. Трудовую честь надо беречь, а с тех, кто забывает о ней, нужен самый строгий спрос.

За многие годы в партийных комитетах выработался плодотворный стиль работы, в основе которого — не горячность, не наскок, не скоропалительность выводов, а обстоятельный, глубокий анализ возникающих проблем. Научный подход к партийной работе — это подход сугубо деловой. Он обязывает действовать, не теряя времени, сверяя свой шаг с ходом общественного развития, с содержанием и духом коллективных решений.

Ныне Центральный Комитет партии призывает партийные организации вырабатывать научно обоснованные решения, аргументированно доказывать их политическую целесообразность и экономическую обоснованность. Таков магистральный путь всей нашей партийной работы.

Актив партии умеет видеть все многообразие возможностей развитого социалистического общества, всегда стремится найти оптимальный вариант решения той или иной проблемы.

Эта живая творческая работа не знает перерывов в своем поступательном развитии. Потому что нет и не может быть решений, верных на все времена. Сила теории научного коммунизма в том, что в ее основе — революционная, материалистическая диалектика, всякий раз требующая конкретного анализа конкретной ситуации. В своей повседневной работе мы широко используем те испытанные методы партийного руководства, которые оправдали себя на практике. И вместе с тем мы призваны быть новаторами в поисках новых методов, которые в наибольшей мере отвечают современной обстановке, позволяют с максимальной эффективностью решать задачи дальнейшего продвижения к коммунизму.

Размышляя об этом, я вспомнил один из тезисов резолюции X съезда РКП(б), который гласит: «Партия революционного марксизма в корне отрицает поиски абсолютно правильной, годной для всех ступеней революционного процесса формы партийной организации, а равно и методов ее работы. Наоборот, форма организации и методы работы всецело определяются особенностями данной конкретной исторической обстановки и теми задачами, которые из этой обстановки непосредственно вытекают». Мы верны этому ленинскому принципу, всегда будем верны.

Характер работы всех партийных органов, в том числе Центрального Комитета, Политбюро, Секретариата и отделов ЦК, определяется прежде всего той ролью, которую партия играет в нашей стране.

Круг вопросов, которыми доверено мне заниматься как Генеральному секретарю ЦК КПСС и Председателю Президиума Верховного Совета СССР, широк и ответствен. Приходится ежечасно держать в поле зрения практически все области жизни народа, все, что происходит на просторах страны. Разумеется, немалых усилий требуют и международные дела.

Советские люди хорошо знают, что высшая цель деятельности

партии — благо и счастье народа. Они воспринимают политику партии как свою собственную и доверяют ей руководящую роль в обществе. Этим мы, коммунисты, гордимся, и все наши помыслы направлены на то, чтобы быть достойными доверия великого советского народа.

Это доверие не пришло само по себе, а было завоевано в огне сражений и в созидательном труде. И чем напряженнее были периоды в жизни страны, тем больше усиливался приток трудящихся в ряды партии. В самый опасный момент гражданской войны, когда враг был на подступах к Туле и Москве, коммунистами стали десятки тысяч отважных бойцов. В 1924 году, во время ленинского призыва, в партию вступило свыше 240 тысяч рабочих. В годы Великой Отечественной войны в партию пришло более 5 миллионов человек.

Это все исторические факты, они известны и за рубежом, но недруги Советской страны, порой не понимая сути нашей политической системы, а чаще сознательно извращая ее, пытаются противопоставить партию народу. Тщетные усилия! Они, например, утверждают, будто партия у нас подменяет все другие государственные и общественные организации.

Что на это ответить? Общеизвестно, что Верховный Совет СССР, Совет Министров СССР, республиканские органы власти, местные Советы имеют четко очерченную компетенцию, определенную Конституцией. Они вырабатывают законы, следят за их выполнением, обеспечивают четкую работу всего хозяйственного организма, развитие науки, культуры, народного образования, здравоохранения, охраны природы. У общественных организаций свое поле деятельности: профсоюзы заботятся прежде всего о защите интересов трудящихся, комсомол занят воспитанием молодежи, важные задачи решают добровольные общества, объединения, творческие союзы, и партия добивается их всемерной активизации, стимулирует их инициативу.

Да, скажем прямо, мы заинтересованы в полнокровной жизни всей этой политической системы, ядром которой, вдохновителем, руководящей силой была и остается Коммунистическая партия. Она неустанно воспитывает всех трудящихся в духе высокой идейности и преданности социалистической Родине, делу коммунизма, способствует выработке коммунистического отношения к труду и общественной собственности, всестороннему развитию личности, созданию подлинного богатства духовной культуры.

Партия объединяет передовую, наиболее сознательную и активную часть рабочего класса, крестьянства и интеллигенции. Она сплачивает людей всех социальных групп, всех национальностей и поколений, вооружает их готовностью и умением бороться за идеалы самого справедливого устройства жизни на земле — коммунизма. И вместе с ростом задач, которые решаются народом на этом великом пути, возрастают роль и значение Коммунистической партии. Это — закономерное явление, вытекающее из потребностей общества. Это — закон нашей жизни.

4

Всюду, где приходится бывать,— а в этом смысле на карте страны осталось не так уж много «белых пятен» — я наблюдаю, как не в теории, а на практике все нити народной жизни тянутся к партии, вижу, как от нее исходит самое активное влияние на все клеточки общественного организма.

Приезжаешь, скажем, в крупный промышленный и культурный центр. Миллионное население, сотни заводов, строек, институтов. Нескончаемое движение на улице, напряженные планы, тысячи разнообразных дел. И стремления у людей на первый взгляд разные — интерес к работе, заботы о доме, о семье, тяга к обычным человече-

ским радостям. Бывают споры, случаются нелады, но в конечном счете планы выполняются, жизнь становится лучше, и все течет слаженно, четко... Кто соразмеряет всеобщий шаг? Кто придает делам единую направленность, общий высокий смысл?

Ответ один: партия. Со своими советами, жалобами, предложениями, со своими тревогами и надеждами люди идут в партийные организации. Идут потому, что знают: здесь разберутся, поймут, помогут. Они верят в это, потому что многократно убеждались в действенности партийного влияния, в способности нашей партии объединить бесчисленные ручейки реальной практики, направить их в общее русло, превратить в могучий поток, дать ускоряющие импульсы всему общественному развитию.

Доверием народа сильны коммунисты, в нем видят самый большой свой политический капитал и стремятся не только сберечь его, но и приумножить. Мы всегда помним замечательный завет основателя и вождя нашей партии:

«Жить в *гуще*.
Знать *настроения*.
Знать *все*.
Понимать массу.
Уметь подойти.
Завоевать ее **абсолютное** доверие».

В этом ленинском указании в сжатой, почти конспективной форме раскрыты стратегия и тактика работы партии в массах, заключена программа углубления органической связи партии с народом.

Владимир Ильич Ленин не раз подчеркивал, что один передовой отряд не может построить новое общество. Авангард, говорил он, «лишь тогда выполняет задачи авангарда, когда он умеет не отрываться от руководимой им массы, а действительно вести вперед всю массу». Никакие преграды не страшны передовому отряду, когда за ним идет вся армия. И нет ничего безнадежнее положения авангарда, даже отважного, если он оторвется от основных сил.

Вполне очевидно, что без монолитного единства, крепнущей связи коммунистов с широкими массами не было бы ни наших исторических побед в минувшие годы, ни всего того, чего мы достигли сегодня — на этапе развитого социализма. Когда народ и партия едины, когда неразрывны их устремления и порывы, нам по плечу самые сложные задачи!

Вот почему партия считает своим долгом постоянно прислушиваться к мнению масс, информировать народ о своей политике, о планах на будущее, о событиях внутри страны и за ее пределами. Для этого мы добиваемся, как известно, улучшения работы печати, телевидения, радио, всех средств пропаганды, повышаем уровень идеологической работы.

По поручению Центрального Комитета приходится выступать и мне — на съездах профсоюзов, комсомола, на съездах учителей, на крупных предприятиях, в воинских частях, на партийно-хозяйственных активах, собраниях общественности во многих городах и селах. Всегда воспринимаю эти поездки как выполнение первейшей обязанности руководителя-коммуниста. Всегда стремлюсь разъяснить трудящимся стратегию и тактику нашей партии, подробно и точно доложить о результатах нашей общей работы, откровенно сказать о трудностях и нерешенных задачах.

Как правило, такие выступления регламентированы, слово берут и другие ораторы, на все отведено определенное время. Но в перерывах, во время обхода заводских цехов, колхозных или совхозных угодий я стараюсь познакомиться с людьми, порасспросить об их жизни, внимательно выслушать все, что они хотят мне сказать, да и просто посмотреть им в глаза. Должен признаться, в общении с людьми всегда черпаю новые силы для работы. Эти встречи помога-

ют мне глубже вникать в жизнь тружеников, лучше узнавать мысли, потребности, чаяния народа.

Возвращаясь в свой рабочий кабинет, я постоянно знакомлюсь не только с деловыми бумагами, которые поступают в ЦК, но и с письмами трудящихся, идущими со всех концов страны. Обычно мы получаем их в Центральном Комитете 1500—2000 в день. В пору больших исторических событий — значительно больше.

В этих письмах — добрые слова коммунистов и беспартийных, их забота о судьбах нашей Родины, активная поддержка политики партии, живая заинтересованность во всех ее делах. Эти письма нельзя читать без волнения. В самом деле, садятся люди после рабочего дня и пишут о том, что заботит их, или ночью идут на телеграф, чтобы срочно сообщить о том, что, по их мнению, не терпит отлагательства. Ставят проблемы не только личные, но и общественные, сообщают не только об успехах, но и об отрицательных явлениях, и что отрадно — как правило, мыслят по-государственному, вносят предложения, которые считают важными и полезными для всех.

Если учесть, что такие письма приходят и в местные партийные и советские органы, что они изо дня в день публикуются на страницах нашей печати, то, по существу, речь идет об уникальном явлении, присущем только советскому образу жизни. Разумеется, то или иное суждение может оказаться наивным, да и не всякая инициатива заслуживает немедленного внедрения. Но в целом мы имеем дело с историческим творчеством, опытом народа, а народ мудр, обо всем судит здраво, смотрит на жизнь пристально и видит далеко.

Почти ежедневно я интересуюсь: о чем нам пишут, какая корреспонденция пришла сегодня? Прошу товарищей: вы мне давайте письма и положительные и отрицательные, содержащие критику. И хотя, конечно, не имею физической возможности даже перелистать всю приходящую почту, о сути ее мне докладывают систематически. А самые интересные письма кладут на стол, их надо прочесть иногда не раз.

Информацию обо всем, заслуживающем внимания в письмах трудящихся, получают и другие члены Центрального Комитета. Мы как бы черпаем из кладезя народной мудрости все новые и новые идеи для нашей конкретной работы. Наиболее важные сигналы и предложения рассматриваются на Политбюро и в Секретариате ЦК, учитываются при разработке постановлений и законов.

Связь партии с массами не прекращается ни на один день. Почта, доставляемая в Кремль или на Старую площадь Москвы, где размещаются здания ЦК КПСС,— лишь одно из проявлений таких постоянных контактов. Но и оно красноречиво свидетельствует, что народ и партию объединяет чувство общей ответственности за судьбы коммунизма.

Партии жизненно необходим постоянный обмен мнениями с широкими массами трудящихся. Сама дееспособность партийных организаций прямо зависит от глубины, прочности, многообразия связей с народом. И надо внимательно и кропотливо исследовать их состояние, следить за тем, чтобы не появилось в отдельных звеньях аппарата ржавчины бюрократизма, проверять, не устарели ли те или иные формы этой работы.

Как-то меня пригласили выступить на одном совещании, которое проводил Центральный Комитет. Происходило это в мае 1976 года, день заранее был расписан, заполнен делами, как говорится, забит до отказа, но тут был особый случай. В Москву съехались заведующие общими отделами обкомов, крайкомов, ЦК компартий союзных республик. И отказаться от встречи с этими товарищами я не мог, тем более что на совещания они собираются нечасто.

Помнится, пришел к ним без подробных записей, наметил только тезисы выступления. Подчеркнул, что им доверено многое. Гово-

рил о незыблемости ленинских норм партийной жизни, об улучшении стиля работы нашего аппарата, о дальнейшем развитии внутрипартийной демократии. И конечно, не мог в связи с этим не сказать о том, что постоянно заботит меня,— о необходимости укрепления связей партии с народом. Напомнил, что за письмами трудящихся, за их заявлениями, советами, предложениями, проектами, которые приходят ежедневно в партийные органы, стоят тысячи, десятки тысяч советских людей. Они сами, без указаний свыше, по собственному почину высказывают ценные мысли и предложения и, естественно, ждут справедливой и оперативной оценки своего труда. Работа здесь не аппаратно-техническая, а организационно-творческая.

Вот обо всем этом я счел полезным и нужным сказать, тема меня увлекла, но на часы все-таки поглядывал. Говорю председательствующему:

— Буду, пожалуй, закругляться.

— Нет,— отвечает,— продолжайте, пожалуйста.

Через какое-то время:

— Может, мне достаточно выступать?

— А мы,— улыбается он,— не торопимся. У нас есть время.

И в зале, как пишут в стенограммах, оживление.

Нет, думаю, так опоздаешь к другим делам. Закончил, распрощался с товарищами, а вечером стал досадовать — о том не сказал, то упустил, того не разъяснил до конца... Однако и теперь, взяв перо в руки, вижу, что высказать все до конца не удастся.

Совместными усилиями мы создаем целостную науку о руководящей роли партии и закономерностях ее развития на этапе зрелого социализма. Указания КПСС о дальнейшей разработке проблем партийного строительства отражены во многих важных документах последних лет. Здесь же мне хотелось поделиться лишь некоторыми соображениями, которые возникли в конкретных ситуациях — во время поездок по стране, встреч с кадровыми работниками, активистами партии, трудящимися.

5

Мысли о славной ленинской партии всегда многоплановы. Здесь сказывается сама природа и сущность партийной деятельности — комплексной по содержанию, всепроникающей по влиянию на наше общество. В моих постоянных раздумьях о партии давно присутствует одна главенствующая тема, которую можно сформулировать так: партия и коммунистическое строительство.

Коммунизм для нас не сентиментальное мечтание, не великолепные грезы, а вполне реальная, осязаемая цель, вдохновенная практическая работа. Мы не просто хотим сделать всех людей счастливыми, создать условия для свободного развития каждой личности, для полной материальной обеспеченности всех членов общества, для жизни по законам справедливости, равенства, братства. Мы знаем, как это сделать. Конечно, пока не во всех деталях и подробностях, не на всю глубину времени до победы коммунизма. Многое предстоит определить в самом процессе хозяйственно-политического и культурного строительства. Но чем дальше, тем более уверенно, более умело мы будем действовать.

Наш путь, как путь всех первооткрывателей, труден и сложен. Чтобы не сбиться с него, нужно иметь хороший компас. Для нас таким компасом было и будет марксистско-ленинское учение, руководствуясь которым партия разрабатывает планы коммунистического строительства. Из наследия основоположников научного коммунизма Маркса, Энгельса, Ленина мы не только черпали и черпаем знания о законах общественного развития. Они передали нам и ту неизбывную, вечно молодую силу, перед которой не могут устоять

никакие бастионы угнетения и эксплуатации. Эта сила — методология познания мира, революционного переустройства социальной действительности.

Наша сила умножается партией от поколения к поколению. Она — в духовном порыве миллионов людей, в их творческих делах, высокой идейности, организованности, непоколебимой вере в торжество нашего дела.

Мы зовемся коммунистами, потому что идеалы коммунизма—во всех наших стремлениях и поступках.

Наша партия, ее ленинский Центральный Комитет неустанно ведут гигантскую коллективную работу по глубокому анализу современных социально-экономических и политических процессов, по изучению тенденций общественного развития, по разработке внутреннего и внешнеполитического курса страны. В эту плодотворную деятельность партии огромный творческий вклад вносит Политбюро ЦК КПСС. Работа Политбюро ЦК КПСС насыщена глубоким теоретическим и идейным содержанием, вооружающим коммунистов и всех трудящихся ясным пониманием перспектив и задач нашей борьбы за коммунистическое завтра.

Все наши партийные руководители работают с большой энергией, отдавая свои силы, опыт и знания во имя высших интересов партии и народа, экономического и социального прогресса нашей Родины, дела коммунизма и мира.

У членов и кандидатов в члены Политбюро, секретарей ЦК КПСС яркая трудовая жизнь, большой опыт партийной и государственной деятельности. О некоторых товарищах я уже рассказывал. Здесь несколько слов мне хочется сказать о человеке, с которым нас связывают многие годы партийной работы,— о Юрии Владимировиче Андропове. Я высоко ценю его партийную скромность, человечность, выдающиеся деловые качества. Он прошел большой и славный путь комсомольской и партийной работы. Очень ценю таких людей.

Нашей партии суждено идти непроторенной дорогой истории. Каждый наш шаг вперед — новая ступень нового общества. Она не бывает находкой легкой удачи, подарком слепого случая. Все достается в борьбе с трудностями, требует творческой энергии и целеустремленности.

Отмести в социально-экономических отношениях все отжившее, старое, взлелеять и вырастить всходы нового — дело совсем не простое. Оно требует не только знаний, опыта, научного предвидения, но и мужества, смелости, готовности отдать всего себя людям. Это и борьба, это и работа. В ней кто-то должен браться за самое трудное, тяжелое, может быть, непосильное для других. За это берутся коммунисты. У них есть только одна привилегия — больше, чем другие, отдавать общему делу, лучше, чем другие, бороться и трудиться ради его торжества. У них есть только одно особое право — быть там, где труднее.

Мы зовемся коммунистами, потому что строим коммунизм.

Да, мы строители в наиболее емком смысле слова. Из тысяч и тысяч кирпичей вырастает здание. Из тысяч и тысяч человеческих судеб складывается судьба народная. Строить эту судьбу народ доверил своему передовому отряду, лучшим своим сыновьям и дочерям. Первым оказал нам это высокое доверие рабочий класс — сегодня его идеалы, его коренные цели и интересы стали идеалами, целями, интересами всех трудящихся страны. Коммунисты уже давно взяли на себя великую ответственность за будущее народа. Мы накопили огромный политический и организаторский опыт борьбы за победу и упрочение социализма. Партия как руководящая и направляющая сила советского общества указала генеральную линию дальнейшего

движения вперед и успешно мобилизует массы на претворение ее в жизнь.

Мы зовемся коммунистами, потому что ведем народ к коммунизму.

Наша партия есть партия не только единомыслящих, но и единодействующих. Когда первой из коммунистических партий мира она стала правящей, Владимир Ильич Ленин выдвинул перед ней главную, рассчитанную на целую эпоху задачу — руководить строительством нового общества. Наш вождь призывал коммунистов быть достойными этой, как он указывал, труднейшей и благороднейшей задачи — организовать по-новому самые глубокие основы жизни миллионов. Построенное в Советской стране развитое социалистическое общество, каждая наша новая пятилетка, каждый новый трудовой день — доказательство того, что Коммунистическая партия с честью решает поставленную Лениным задачу.

Мы зовемся коммунистами, потому что силой своего примера прокладываем всем народам земли путь к коммунизму.

Наша партия всегда была верна своему интернациональному долгу. Родина у каждого человека одна и у всего народа тоже одна. Советские люди бесконечно преданы своей отчизне и прежде всего желают ей добра. Мы добились расцвета всех республик СССР. По велению великого чувства — пролетарского интернационализма мы на общей основе развиваем и крепим социалистическое содружество — одно из крупнейших завоеваний нашей эпохи. На мир социализма равняется, по нему сверяет часы истории все прогрессивное человечество.

Нам близки надежды миллионов трудящихся Европы, Азии, Африки, Австралии, Америки, мы не можем быть равнодушными к судьбам и тяготам народов, которые сбросили оковы колониализма и идут своим путем к новой жизни. У каждой страны свой путь развития, определить который должен ее народ. Но силы империализма не просто сдают свои позиции, расстаются со своими колониями. Часто предоставляя им «независимость», они в то же время стремятся, используя экономические и иные трудности, опутать их новыми, более изощренными путами, путами неоколониализма. Есть еще политические деятели, которые живут, заботясь лишь о своем благополучии, извлекая прибыль из войны, голода, несчастий народов. Такая «политическая деятельность» для нас неприемлема. Потому что мы — коммунисты.

Коммунистическое и рабочее движение давно уже стало не только международным, но и поистине всемирным. Сейчас не найдется на нашей планете страны, где в той или иной форме не развивалась бы организованная борьба трудящихся за воплощение в жизнь великого учения Маркса — Ленина. Возглавляют ее коммунисты, которым сплошь и рядом приходится действовать, как когда-то и нашей партии, в условиях глубокого подполья, жесточайших преследований и репрессий. Вместе с тем знаменательно, что ныне во многих странах капиталистического мира коммунистические и рабочие партии стали внушительной общенациональной силой.

И стоит ли удивляться, что это неодолимое движение современности, подкрепленное неоспоримыми достижениями реального социализма, вызывает бешеную злобу, ожесточенное сопротивление всех регрессивных сил обреченного мира капитала. Ведь наша коммунистическая идеология и есть тот самый архимедов рычаг, с помощью которого осуществляется коренной поворот в истории человечества к светлому будущему.

Хотел бы в связи с этим коснуться одного из самых распространенных мифов в арсенале западных пропагандистов, да и некоторых политиков Запада. Как только где-то в очередной точке планеты народы, трудящиеся сделают попытку, а тем более успешную, вернуть себе то, что принадлежит им по праву, там поднимается волна измыш-

лений о «направляющей руке», под которой явно или замаскированно подразумевается, конечно, наша страна.

Да, мы солидарны с теми, кто борется за социальное и национальное освобождение, считаем эту борьбу справедливой. Мы радуемся успехам свободолюбивых народов, которые крушат прогнившие режимы и утверждают независимость своих стран. Прискорбно, что иные западные деятели не могут взять в толк, что процесс бурных национальных и социальных преобразований в мире развивается по своим объективным законам. Революционные перемены созревают только на национальной основе. Приписывать их «козням Москвы» — значит вводить в заблуждение общественность своих стран.

Разрабатывая и проводя в жизнь принципы разрядки, всю Программу мира, Советский Союз не искал и не ищет для себя каких-либо выгод или преимуществ. Мир в равной мере нужен всем людям и всем странам на земле. Именно всем! Всякие разговоры о «советской военной угрозе», любые попытки приписать нам воинственные намерения — это вымыслы, играющие на руку тем, кто хотел бы посеять вражду между народами.

Уважение к другим народам, к их праву самостоятельно решать собственную судьбу — это ленинское требование, и оно остается для нас, членов ленинской партии, всегда в силе. Это одно из уставных положений КПСС. Не экспорт революции, а вдохновляющий пример реального социализма со всеми его достижениями для блага человека, во имя человека будоражит умы, зовет к борьбе народы, все еще угнетенные властью денежного мешка. Вот в чем ясная логика развития человечества, которой пронизано марксистско-ленинское учение.

Разве каждый здравомыслящий человек в современном мире не видит, сколь разителен на фоне раздираемых внутренними и внешними противоречиями взаимоотношений капиталистических государств пример стран социалистического содружества — этого главного завоевания реального социализма в международном масштабе. Не так давно семья братских народов социалистических стран торжественно отметила 30-летие Совета Экономической Взаимопомощи — организации, олицетворяющей качественно новый, социалистический тип сотрудничества государств, международного разделения труда. Наши взаимоотношения, и не только в экономической, но и во всех других сферах общественно-политической жизни, основаны на незыблемых принципах равноправия, добровольности, суверенитета, невмешательства во внутренние дела, взаимной выгоды и взаимопонимания. И это не лозунги, а живая практика деятельности Совета, как и всей жизни братской семьи социалистических государств.

Объединяя ныне десять социалистических государств Европы, Азии и Америки, в которых проживают 435 миллионов человек, СЭВ производит более трети мировой промышленной продукции! Это надежная основа дальнейших успехов содружества братских государств, неуклонного роста благосостояния каждого его труженика, созданная усилиями народов под водительством коммунистических и рабочих партий!

КПСС, братские коммунистические и рабочие партии стран социализма — душа и сердце великого содружества народов, какого не знала история человечества. Они неуклонно двигают вперед свое величайшее завоевание — международный социализм. Это партии особого склада: они не только выковали в суровой борьбе самих себя, плоть от плоти своих народов, но и обеспечили победу их исторического дела, стали правящими партиями в своих странах, и народы вверили им свои судьбы. За прошедшие десятилетия братские партии с честью доказали, что трудящиеся социалистических стран не ошиблись в своем выборе, когда пошли за своим авангардом в новую жизнь.

Мне довелось неоднократно бывать в большинстве братских социалистических стран. Могу утверждать, что знаю их жизнь, их

проблемы и достижения. Знаю по незабываемым встречам с рабочими Красного Чепеля и Варшавского металлургического комбината, с виноградарями Болгарии, с жителями Праги, Бухареста и Берлина, Гаваны и Улан-Батора. Да, мы, социалистические народы, избрали сложную и почетную судьбу первопроходцев будущего, прокладывающих светлую дорогу всему человечеству. Дорога наша — не ухоженный городской проспект. Это путь, который мы укладываем, подобно магистрали в тайге, шаг за шагом, километр за километром. Мы, коммунисты, привыкли мыслить критически и критически оценивать сделанное: отдаем себе ясный отчет в том, чего еще не успели сделать, знаем собственные трудности и недостатки — их еще, как говорится, на наш век хватит, но на то мы и коммунисты, чтобы одолеть все во имя счастья и процветания наших народов.

Когда я пытаюсь мысленно создать для себя обобщенный образ коммуниста, перед моими глазами встают испытанные товарищи по борьбе — руководители братских коммунистических и рабочих партий, с которыми связан крепкой и принципиальной партийной и личной дружбой. Мы встречаемся не только по праздникам, в дни больших торжеств, таких, как съезды братских партий, или во время официальных визитов. Можно без преувеличения сказать, что мы сверяем часы и в будни. Руководители братских партий социалистических стран находятся в постоянном, каждодневном контакте друг с другом. Вырабатывая общую точку зрения, стратегию и тактику общего действия, наши страны всегда и во всем исходят из коренных интересов каждого из народов и всего социалистического содружества в целом. На этом основаны взаимоотношения братских коммунистических и рабочих партий и их руководителей, принявших на свои плечи всю меру исторической ответственности за грядущие судьбы человечества, которые уже сегодня смоделированы в достижениях реального социализма.

На нашей земле воплотилась в конкретные дела мечта великих мыслителей многих веков — мечта о социализме. Построен реальный социализм. И мы сильны тем, что служим гуманным целям, что вся наша работа посвящена служению народу, его благу и счастью. Сильны тем, что боремся за претворение в жизнь самых светлых идеалов всего человечества — за построение коммунизма.

Деятельность Коммунистической партии всегда устремлена в грядущее, но вместе с тем партия должна жить заботами сегодняшнего дня. Одно с другим связано неразрывно. Лучшим примером этому может служить Программа мира, которую выдвинули мы — советские коммунисты — и вместе с нашими друзьями и союзниками проводим неуклонно. Не хочу приуменьшать и своего труда в этом: сохранение мира на земле — одна из коренных сегодняшних задач, она не только близка моим мыслям, но я исполнен желания и сил сделать все возможное, чтобы не допустить возникновения новой войны. От решения этой задачи зависит будущее человечества.

Конечно, проблема эта весьма сложна и порой — не по нашей вине — запутанна. Здесь хотелось бы сказать о ней по-человечески просто. Что дают — не только советскому народу, но и всем народам мира — начатые по нашей инициативе переговоры о сдерживании гонки вооружений? Почему мы так настойчиво готовили их на протяжении десяти лет?

В летописи человечества, как утверждают историки, записано уже почти 15 тысяч войн, полыхавших на земле. В землю полегло около 4 миллиардов человек — армии, поколения, цивилизации. Если посчитать, получается, что за пять с лишним тысячелетий человеческой истории набирается всего четыре столетия мирных лет!

Цифры страшные, но и они не обо всем еще говорят. Войны со временем ужесточались, ширились. Войны стали уничтожать не только солдат, но и мирное население — женщин, детей, стариков,

живших за сотни километров от линии фронта. Войны набирали все большую разрушительную силу, ныне созданы ядерные арсеналы, и угроза нависла не только над отдельными странами, но и над всей планетой в целом.

И если страны социализма вот уже тридцать седьмую весну встречают спокойно, если советские люди вот уже более трети века не знают войны, если идея мира пустила глубокие корни в сознании народов всех стран, всех континентов, то это, несомненно, и заслуга Коммунистической партии Советского Союза.

На протяжении многих лет нашу советскую дипломатию возглавляет Андрей Андреевич Громыко. Много сил и таланта отдает он этой исключительно важной для нашего народа деятельности.

Родина Октября в первые же часы своей истории возвестила народам свою главную цель — бороться за мир во всем мире. Ленинские идеи мирного сосуществования всегда были определяющими в нашей внешней политике. И сегодня они ведут нас вперед, подсказывают нам мудрую сдержанность, уважение к интересам других государств, честное стремление найти с ними общий язык, торговать, обмениваться достижениями науки и культуры. А если возникают споры, то решать их надо мирными средствами и не бряцать оружием, как это кое-кому свойственно и в наш век.

В моих записках немало было сказано о научном обосновании политики партии. Однако есть еще и простой здравый смысл — он тоже неплохой советчик. Ведя переговоры, мы, разумеется, изучаем многие факторы, прибегаем к прогнозам ученых. Но и без электронно-вычислительных машин каждому здравомыслящему человеку ясно — народам не нужна война, народам нужен мир. Знаю, что так же думают и миллионы моих соотечественников. Убежден — опять же без специальных опросов общественного мнения,— что и абсолютное большинство населения земли против того, чтобы взорвать ее смертоубийственной войной. Иначе и не могут думать те, в ком сохранилась хотя бы крупица здравого смысла.

* * *

Итак, есть две вещи, которые всегда были и будут наиболее близки моему сердцу, всегда были и будут предметом моих главных забот. Это — хлеб для народа и безопасность страны.

Читатель знает: мне довелось быть в жизни свидетелем таких времен, когда страна наша была в состоянии всеобщей разрухи, когда наши люди переносили невероятные страдания от голода и холода. Пришлось мне также пройти через огонь тяжелейших сражений, своими глазами видеть смерть и ад, пожары и разрушения, которые агрессор принес на мирную социалистическую землю.

Пройдя через все это, я дал себе клятву — сделать все, что в моих силах, чтобы такое никогда больше не повторилось.

И вот стараюсь как могу выполнить эту свою клятву на тех высоких постах, которые доверили мне партия и народ.

И сегодня я не знаю более высокой цели.

И впредь буду делать все от меня зависящее, чтобы советские люди жили с каждым годом все лучше, чтобы счастливы были наши дети и внуки, чтобы одержала полную победу ленинская политика нашей партии — политика неуклонного повышения уровня жизни народа, обеспечения мира и безопасности страны, строительства светлого коммунистического будущего.

Ради этого стоит жить на белом свете. Ради этого можно не жалеть ни времени, ни сил. Ради такой благородной цели надо работать и работать.

Москва. 1977—1982 гг.

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ

★

КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН

Из книги «Жизнь человека»

* *
*

Блики на плитах
Оставил закат.
Сколько убитых
В могилах лежат!

Племя святое,
Что в пламени том
Умерло стоя.
Упало — потом.

* *
*

Он давно простился с теми,
С кем когда-то был одно.
Милый дом, родные стены,
Он оставил вас давно.

Он со зноем и с метелью
Свыкся полностью уже.
Ни сомненью, ни смятенью
Места нет в его душе.

Но порой прикроет очи,
Тут же — мать, отец, сестра.
Путь короче, если к ночи,
И опять длинней с утра.

Дом. Бетонная отмостка.
Три лица почти сквозь дым,
И от сердца иль от мозга —
Нить, протянутая к ним.

* *
*

Ветер порывами. В небе темно.
Сосны за дачей.
Ночью проснулся. Открыто окно.
Холод собачий.

Днем было столько событий и дел —
Жизнь-то большая.
Днем этот мир полнокровный гудел,
Все заглушая.

Днем уколола душа или грудь
Тоненьким жалом.
Памятью близкой боясь шевельнуть,
Ночью лежал он.

И сквозь остатки разодранных дрем
Явственно где-то
Слышался поезд, неслышимый днем,
Знающий это.